

Ф.М.
ДОСТОЕВСКИЙ

БЕСЫ



«БЕСЫ»:
АНТОЛОГИЯ
РУССКОЙ
КРИТИКИ



Ф.М.
ДОСТОЕВСКИЙ

БЕСЫ

«БЕСЫ»:
АНТОЛОГИЯ
РУССКОЙ
КРИТИКИ

К 175-летию со дня рождения
Ф.М.Достоевского

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
КНИГОИЗДАНИЯ
РОССИИ

БѢСЫ

РОМАНЪ

Федора Достоевскаго.

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

С.-Петербургъ.

Типографъ И. Замиславскій, Вол. Мѣст. д. № 13

1873.

Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ

Бесы

РОМАН В ТРЕХ ЧАСТЯХ

«БЕСЫ»:
АНТОЛОГИЯ
РУССКОЙ
КРИТИКИ

=====

МОСКВА «СОГЛАСИЕ» 1996

ББК 83 ЗР7
Д 70

Составление, подготовка текста, послесловие, комментарии
Л. И. Сараскиной

Художественное оформление
С. А. Стулова

Руководитель программы «Согласие»
В. В. Михальский

С 46030200101 – 019
8Д1 (03) – 96
IBSN 5—86884—045—3

© АО «Согласие», 1996
© Л. И. Сараскина. Составление, подготовка
текста, послесловие, комментарии, 1996
© С. А. Стулов. Оформление, 1996

Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ

Бесы

РОМАН В ТРЕХ ЧАСТЯХ

Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

.....
Сколько их, куда их гонят,
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

А. Пушкин

Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.

Евангелие от Луки. Глава VIII, 32 – 36

Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вместо введения: несколько подробностей из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского

I

Приступая к описанию недавних и столь странных событий, происшедших в нашем, доселе ничем не отличавшемся городе, я принужден, по неумению моему, начать несколько издавлек, а именно некоторыми биографическими подробностями о талантливом и многочтимом Степане Трофимовиче Верховенском. Пусть эти подробности послужат лишь введением к предлагаемой хронике, а самая история, которую я намерен описывать, еще впереди.

Скажу прямо: Степан Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и, так сказать, гражданскую роль и любил эту роль до страсти, — так даже, что, мне кажется, без нее и прожить не мог. Не то чтоб уж я его приравнивал к актеру на театре: сохрани Боже, тем более что сам его уважаю. Тут все могло быть делом привычки, или, лучше сказать, непрерывной и благородной склонности, с детских лет, к приятной мечте о красивой гражданской своей постановке. Он, например, чрезвычайно любил свое положение «гонимого» и, так сказать, «ссылного». В этих обоих словечках есть своего рода классический блеск, соблазнивший его раз навсегда, и, возвышая его потом постепенно в собственном мнении, в продолжение столь многих лет, довел его наконец до некоторого весьма высокого и приятного для самолюбия пьедестала. В одном сатирическом английском романе прошлого столетия некто Гулливер, возвратясь из страны лилипутов, где люди были всего в какие-нибудь два вершка росту, до того приучился считать себя между ними великаном, что, и ходя по улицам Лондона, невольно кричал прохожим и экипажам, чтоб они пред ним сворачивали и остерегались, чтоб он как-нибудь их не раздавил, воображая, что он все еще великан, а они маленькие. За это смеялись над ним и бранили его, а грубые кучера даже стегали великана кнутами; но справедливо ли? Чего не может сделать привычка? Привычка привела почти к тому же и Степана Трофимовича, но еще в более невинном и безобидном виде, если можно так выразиться, потому что прекраснейший был человек.

Я даже так думаю, что под конец его все и везде позабыли; но уже никак ведь нельзя сказать, что и прежде совсем не знали. Бесспорно, что и он некоторое время принадлежал к знаменитой плеяде иных прославленных деятелей нашего прошедшего поколения, и одно время, — впрочем, всего только одну самую маленькую минуточку, — его имя многими тогдашними торопившимися людьми произносилось чуть не наряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского и только что начинавшего тогда за границей Герцена. Но деятельность Степана Трофимовича окончилась почти в ту же минуту, как и началась, — так сказать, от «вихря сошедшихся обстоятельств». И что же? Не только «вихря», но даже и

«обстоятельств» совсем потом не оказалось, по крайней мере в этом случае. Я только теперь, на днях, узнал, к величайшему моему удивлению, но зато уже в совершенной достоверности, что Степан Трофимович проживал между нами, в нашей губернии, не только не в ссылке, как принято было у нас думать, но даже и под присмотром никогда не находился. Какова же после этого сила собственного воображения! Он искренно сам верил всю свою жизнь, что в некоторых сферах его постоянно опасаются, что шаги его беспрерывно известны и сочтены и что каждый из трех сменившихся у нас в последние двадцать лет губернаторов, въезжая править губернией, уже привозил с собою некоторую особую и хлопотливую о нем мысль, внушенную ему свыше, и прежде всего при сдаче губернии. Уверь кто-нибудь тогда честнейшего Степана Трофимовича неопровержимыми доказательствами, что ему вовсе нечего опасаться, и он бы непременно обиделся. А между тем это был ведь человек умнейший и даровитейший, человек, так сказать, даже науки, хотя, впрочем, в науке... ну, одним словом, в науке он сделал не так много и, кажется, совсем ничего. Но ведь с людьми науки у нас на Руси это сплошь да рядом случается.

Он воротился из-за границы и блеснул в виде лектора на кафедре университета уже в самом конце сороковых годов. Успел же прочесть всего только несколько лекций, и, кажется, об аравитянах; успел тоже защитить блестящую диссертацию о возникавшем было гражданском и ганзеатическом значении немецкого городка Ганау, в эпоху между 1413 и 1428 годами, а вместе с тем и о тех особенных и неясных причинах, почему значение это вовсе не состоялось. Диссертация эта ловко и больно уколола тогдашних славянофилов и разом доставила ему между ними многочисленных и разъяренных врагов. Потом – впрочем, уже после потери кафедры – он успел напечатать (так сказать, в виде отместки и чтоб указать, кого они потеряли) в ежемесячном и прогрессивном журнале, переводившем из Диккенса и проповедовавшем Жорж Занда, начало одного глубочайшего исследования – кажется, о причинах необычайного нравственного благородства каких-то рыцарей в какую-то эпоху или что-то в этом роде. По крайней мере, проводилась какая-то высшая и необыкновенно благородная мысль. Говорили потом, что продолжение исследования было поспешно запрещено и что даже прогрессивный журнал пострадал за напечатанную первую половину. Очень могло это быть, потому что чего тогда не было? Но в данном случае вероятнее, что ничего не было и что автор сам поленился закончить исследование. Прекратил же он свои лекции об аравитянах потому, что перехвачено было как-то и кем-то (очевидно, из ретроградных врагов его) письмо к кому-то с изложением каких-то «обстоятельств», вследствие чего кто-то потребовал от него каких-то объяснений. Не знаю, верно ли, но утверждали еще, что в Петербурге было отыскано в то же самое время какое-то громадное, противоестественное и противогосударственное общество, человек в тринадцать, и чуть не потрясшее здание. Говорили, что будто бы они собирались переводить самого Фурье. Как нарочно, в то же самое время в Москве схвачена была и поэма Степана Трофимовича, написанная им еще лет шесть до сего, в Берлине, в самой первой его молодости, и ходившая по рукам, в списках, между двумя любителями и у одного студента. Эта поэма лежит теперь и у меня в столе; я получил ее, не далее как прошлого года, в собственноручном, весьма недавнем списке, от самого Степана Трофимовича, с его надписью и в великолепном красном сафьянном переплете. Впрочем, она не без поэзии и даже не без некоторого таланта; странная, но тогда (то есть, вернее, в тридцатых годах) в этом роде часто пописывали. Рассказать

же сюжет затрудняюсь, ибо, по правде, ничего в нем не понимаю. Это какая-то аллегория, в лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть «Фауста». Сцена открывается хором женщин, потом хором мужчин, пстом каких-то сил и в конце всего хором душ, еще не живших, но которым очень бы хотелось пожить. Все эти хоры поют о чем-то очень неопределенном, большею частью о чьем-то проклятии, но с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг переменяется, и наступает какой-то «Праздник жизни», на котором поют даже насекомые, является черепаха с какими-то латинскими сакраментальными словами, и даже, если припомню, пропел о чем-то один минерал, то есть предмет уже во все неодушевленный. Вообще же все поют непрерывно, а если разговаривают, то как-то неопределенно бранятся, но опять-таки с оттенком высшего значения. Наконец, сцена опять переменяется, и является дикое место, а между утесами бродит один цивилизованный молодой человек, который срывает и сосет какие-то травы и на вопрос феи: зачем он сосет эти травы? – отвечает, что он, чувствуя в себе избыток жизни, ищет забвения и находит его в соке этих трав; но что главное желание его – поскорее потерять ум (желание, может быть, и излишнее). Затем вдруг въезжает неописанной красоты юноша на черном коне, и за ним следует ужасное множество всех народов. Юноша изображает собою смерть, а все народы ее жаждут. И, наконец, уже в самой последней сцене вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты ее наконец достраивают с песней новой надежды, и когда уже достраивают до самого верху, то обладатель, положим хоть Олимпа, убегает в комическом виде, а догадавшееся человечество, завладев его местом, тотчас же начинает новую жизнь с новым проникновением вещей. Ну, вот эту-то поэму и нашли тогда опасною. Я в прошлом году предлагал Степану Трофимовичу ее напечатать, за совершенною ее, в наше время, невинностью, но он отклонил предложение с видимым неудовольствием. Мнение о совершенной невинности ему не понравилось, и я даже приписываю тому некоторую холодность его со мной, продолжавшуюся целых два месяца. И что же? Вдруг, и почти тогда же, как я предлагал напечатать здесь, – печатают нашу поэму *там*, то есть за границей, в одном из революционных сборников, и совершенно без ведома Степана Трофимовича. Он был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург, читал мне его два раза, но не отправил, не зная, кому адресовать. Одним словом, волновался целый месяц; но я убежден, что в таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель, и хоть ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло. Тогда же он и со мной примирился, что и свидетельствует о чрезвычайной доброте его тихого и незлопамятного сердца.

II

Я ведь не утверждаю, что он совсем несколько не пострадал; я лишь убедился теперь вполне, что он мог бы продолжать о своих аравитянах сколько ему угодно, дав только нужные объяснения. Но он тогда самбициозничал и с особенною поспешностью распорядился уверить себя раз навсегда, что карьера его разбита на всю его жизнь «вихрем обстоятельств». А если говорить всю правду, то настоящею причиной перемены карьеры было еще прежнее и снова возобновившееся деликатнейшее предложение ему от Варвары Петровны Ставрогиной,

супруги генерал-лейтенанта и значительной богачки, принять на себя воспитание и все умственное развитие ее единственного сына, в качестве высшего педагога и друга, не говоря уже о блистательном вознаграждении. Предложение это было сделано ему в первый раз еще в Берлине, и именно в то самое время, когда он в первый раз овдовел. Первою супругой его была одна легкомысленная девица из нашей губернии, на которой он женился в самой первой и еще безрассудной своей молодости, и, кажется, вынес с этою, привлекательною впрочем, особой много горя, за недостатком средств к ее содержанию и, сверх того, по другим, отчасти уже деликатным причинам. Она скончалась в Париже, быв с ним последние три года в разлуке и оставив ему пятилетнего сына, «плод первой, радостной и еще не омраченной любви», как вырвалось раз при мне у грустившего Степана Трофимовича. Птенца еще с самого начала переслали в Россию, где он и воспитывался все время на руках каких-то отдаленных теток, где-то в глуши. Степан Трофимович отклонил тогдашнее предложение Варвары Петровны и быстро женился опять, даже раньше году, на одной неразговорчивой берлинской немочке и, главное, без всякой особенной надобности. Но, кроме этой, оказались и другие причины отказа от места воспитателя: его соблазняла гремевшая в то время слава одного незабвенного профессора, и он, в свою очередь, полетел на кафедру, к которой готовился, чтобы испробовать и свои орлиные крылья. И вот теперь, уже с опаленными крыльями, он, естественно, вспомнил о предложении, которое еще и прежде колебало его решение. Внезапная же смерть и второй супруги, не прожившей с ним и году, устроила все окончательно. Скажу прямо: все разрешилось пламенным участием и драгоценною, так сказать классическою, дружбой к нему Варвары Петровны, если только так можно о дружбе выразиться. Он бросился в объятия этой дружбы, и дело закрепилось с лишком на двадцать лет. Я употребил выражение «бросился в объятия», но, сохрани Бог, кого-нибудь подумать о чем-нибудь лишнем и праздном; эти объятия надо разуть в одном лишь самом высоконравственном смысле. Самая тонкая и самая деликатнейшая связь соединила эти два столь замечательные существа навеки.

Место воспитателя было принято еще и потому, что и именнице, оставшееся после первой супруги Степана Трофимовича, — очень маленькое, — приходилось совершенно рядом со Скворешниками, великолепным подгородным имением Ставрогиных в нашей губернии. К тому же всегда возможно было, в тиши кабинета и уже не отвлекаясь огромностью университетских занятий, посвятить себя делу науки и обогатить отечественную словесность глубочайшими исследованиями. Исследований не оказалось; но зато оказалось возможным простоять всю остальную жизнь, более двадцати лет, так сказать, «воплощенной укоризной» пред отчизной, по выражению народного поэта:

Воплощенной укоризною

.....
Ты стоял перед отчизною,
Либерал-идеалист.

Но то лицо, о котором выразился народный поэт, может быть, и имело право всю жизнь позировать в этом смысле, если бы того захотело, хотя это и скучно. Наш же Степан Трофимович, по правде, был только подражателем сравнительно с подобными лицами, да и стоять уставал и частенько полеживал на боку. Но хотя и на боку, а воплощенность укоризны сохранялась и в лежачем положении, — надо отдать справедливость, тем более что для губернии было и того достаточно. Посмотрели бы вы на него у нас в клубе, когда он садился за

карты. Весь вид его говорил: «Карты! Я сажусь с вами в ералаш! Разве это совместно? Кто ж отвечает за это? Кто разбил мою деятельность и обратил ее в ералаш? Э, погибай Россия!» – и он осанисто козырял с червей.

А по правде, ужасно любил сразиться в карточки, за что, и особенно в последнее время, имел частые и неприятные стычки с Варварой Петровной, тем более что постоянно проигрывал. Но об этом после. Замечу лишь, что это был человек даже совестливый (то есть иногда), а потому часто грустил. В продолжение всей двадцатилетней дружбы с Варварой Петровной он раза по три и по четыре в год регулярно впадал в так называемую между нами «гражданскую скорбь», то есть просто в хандру, но словечко это нравилось многоуважаемой Варваре Петровне. Впоследствии, кроме гражданской скорби, он стал впадать и в шампанское; но чуткая Варвара Петровна всю жизнь охраняла его от всех тривиальных наклонностей. Да он и нуждался в няньке, потому что становился иногда очень странен: в середине самой возвышенной скорби он вдруг начинал смеяться самым простонароднейшим образом. Находили минуты, что даже о самом себе начинал выражаться в юмористическом смысле. Но ничего так не боялась Варвара Петровна, как юмористического смысла. Это была женщина-классик, женщина-меценатка, действовавшая в видах одних лишь высших соображений. Капитально было двадцатилетнее влияние этой высшей дамы на ее бедного друга. О ней надо бы поговорить особенно, что я и сделаю.

III

Есть дружбы странные: оба друга один другого почти съесть хотят, всю жизнь так живут, а между тем расстаться не могут. Расстаться даже никак нельзя: раскапризавшийся и разорвавший связь друг первый же заболает и, пожалуй, умрет, если это случится. Я положительно знаю, что Степан Трофимович несколько раз, и иногда после самых интимных излияний глаз на глаз с Варварой Петровной, по уходе ее вдруг вскакивал с дивана и начинал колотить кулаками в стену.

Происходило это без малейшей аллегии, так даже, что однажды отбил от стены штукатурку. Может быть, спросят: как мог я узнать такую тонкую подробность? А что, если я сам бывал свидетелем? Что, если сам Степан Трофимович неоднократно рыдал на моем плече, в ярких красках рисуя предо мной всю свою подноготную? (И уж чего-чего при этом не говорил!) Но вот что случалось почти всегда после этих рыданий: на завтра он уже готов был распять самого себя за неблагодарность; поспешно призывал меня к себе или прибежал ко мне сам, единственно чтобы возвестить мне, что Варвара Петровна «ангел чести и деликатности, а он совершенно противоположное». Он не только ко мне прибежал, но неоднократно описывал все это ей самой в красноречивейших письмах и признавался ей, за своею полною подписью, что не далее как, например, вчера он рассказывал постороннему лицу, что она держит его из тщеславия, завидует его учености и талантам; ненавидит его и боится только выказать свою ненависть явно, в страхе, чтоб он не ушел от нее и тем не повредил ее литературную репутацию; что вследствие этого он себя презирает и решился погнубить насильственной смертью, а от нее ждет последнего слова, которое все решит, и пр., и пр., все в этом роде. Можно представить после этого, до какой истерики доходили иногда нервные взрывы этого невиннейшего из всех пятидесятилетних младенцев! Я сам однажды читал одно из таковых его писем, после какой-то между ними ссоры, из-за ничтожной причины, но ядовитой по выполнению. Я ужаснулся и умолял не посылать письма.

– Нельзя... честнее... долг... я умру, если не признаюсь ей во всем, во всем! – отвечал он чуть не в горячке и послал-таки письмо.

В том-то и была разница между ними, что Варвара Петровна никогда бы не послала такого письма. Правда, он писать любил без памяти, писал к ней, даже живя в одном с нею доме, а в истерических случаях и по два письма в день. Я знаю наверное, что она всегда внимательнейшим образом эти письма прочитывала, даже в случае и двух писем в день, и, прочитав, складывала в особый ящик, помеченные и рассортированные; кроме того, слагала их в сердце своем. Затем, выдержав своего друга весь день без ответа, встречалась с ним как ни в чем не бывало, будто ровно ничего вчера особенного не случилось. Мало-помалу она так его вымуштровала, что он уже и сам не смел напоминать о вчерашнем, а только заглядывал ей некоторое время в глаза. Но она ничего не забывала, а он забывал иногда слишком уж скоро и, ободренный ее же спокойствием, нередко в тот же день смеялся и школьничал за шампанским, если приходили приятели. С каким, должно быть, ядом она смотрела на него в те минуты, а он ничего-то не примечал! Разве через неделю, через месяц или даже через полгода, в какую-нибудь особую минуту, нечаянно вспомнив какое-нибудь выражение из такого письма, а затем и все письмо, со всеми обстоятельствами, он вдруг сгорал от стыда и до того, бывало, мучился, что заболелвал своими припадками холерины. Эти особенные с ним припадки, вроде холерины, бывали в некоторых случаях обыкновенным исходом его нервных потрясений и представляли собою некоторый любопытный в своем роде курьез в его телосложении.

Действительно, Варвара Петровна наверно и весьма часто его ненавидела; но он одного только в ней не приметил до самого конца, того, что стал наконец для нее ее сыном, ее созданием, даже, можно сказать, ее изобретением, стал плотью от плоти ее, и что она держит и содержит его вовсе не из одной только «зависти к его талантам». И как, должно быть, она была оскорбляема такими предположениями! В ней таилась какая-то нестерпимая любовь к нему, среди беспрерывной ненависти, ревности и презрения. Она охраняла его от каждой пылинки, нянчилась с ним двадцать два года, не спала бы целых ночей от заботы, если бы дело коснулось до его репутации поэта, ученого, гражданского деятеля. Она его выдумала и в свою выдумку сама же первая и уверовала. Он был нечто вроде какой-то ее мечты... Но она требовала от него за это действительно многого, иногда даже рабства. Злопамятна же была до невероятности. Кстати уж расскажу два анекдота.

IV

Однажды, еще при первых слухах об освобождении крестьян, когда вся Россия вдруг взликовала и готовилась вся возродиться, посетил Варвару Петровну один проезжий петербургский барон, человек с самыми высокими связями и стоявший весьма близко у дела. Варвара Петровна чрезвычайно ценила подобные посещения, потому что связи ее в обществе высшем, по смерти ее супруга, все более и более ослабевали, под конец и совсем прекратились. Барон просидел у нее час и кушал чай. Никого других не было, но Степана Трофимовича Варвара Петровна пригласила и выставила. Барон о нем кое-что даже слышал и прежде или сделал вид, что слышал, но за чаем мало к нему обращался. Разумеется, Степан Трофимович в грязь себя ударить не мог, да и манеры его были самые изящные. Хотя происхождения он был, кажется, невысокого, но случилось так, что воспитан был с самого малолетства в одном знатном доме в Москве и,

стало быть, прилично; по-французски говорил, как парижанин. Таким образом, барон с первого взгляда должен был понять, какими людьми Варвара Петровна окружает себя, хотя бы и в губернском уединении. Вышло, однако, не так. Когда барон подтвердил положительно совершенную достоверность только что разнесшихся тогда первых слухов о великой реформе, Степан Трофимович вдруг не вытерпел и крикнул *ура!* и даже сделал рукой какой-то жест, изображавший восторг. Крикнул он негромко и даже изящно; даже, может быть, восторг был преднамеренный, а жест нарочно заучен пред зеркалом, за полчаса пред чаем; но, должно быть, у него что-нибудь тут не вышло, так что барон позволил себе чуть-чуть улыбнуться, хотя тотчас же необыкновенно вежливо вернул фразу о всеобщем и надлежащем умилении всех русских сердец ввиду великого события. Затем скоро уехал и, уезжая, не забыл протянуть и Степану Трофимовичу два пальца. Возвратясь в гостиную, Варвара Петровна сначала молчала минуты три, что-то как бы отыскивая на столе; но вдруг обернулась к Степану Трофимовичу и, бледная, со сверкающими глазами, процедила шепотом:

— Я вам этого никогда не забуду!

На другой день она встретилась со своим другом как ни в чем не бывало; о случившемся никогда не поминала. Но тринадцать лет спустя, в одну трагическую минуту, припомнила и попрекнула его, и так же точно побледнела, как и тринадцать лет назад, когда в первый раз попрекала. Только два раза во всю свою жизнь сказала она ему: «Я вам этого никогда не забуду!» Случай с бароном был уже второй случай; но и первый случай, в свою очередь, так характерен и, кажется, так много означал в судьбе Степана Трофимовича, что я решаюсь и о нем упомянуть.

Это было в пятьдесят пятом году, весной, в мае месяце, именно после того как в Скворешниках получилось известие о кончине генерал-лейтенанта Ставругина, старца легкомысленного, скончавшегося от расстройства в желудке, по дороге в Крым, куда он спешил по назначению в действующую армию. Варвара Петровна осталась вдовой и облеклась в полный траур. Правда, не могла она горевать очень много, ибо в последние четыре года жила с мужем в совершенной разлуке, по несходству характеров, и производила ему пенсион. (У самого генерал-лейтенанта было всего только полтора года душ и жалованье, кроме того, знатность и связи; а все богатство и Скворешники принадлежали Варваре Петровне, единственной дочери одного очень богатого откупщика.) Тем не менее она была потрясена неожиданностью известия и удалилась в полное уединение. Разумеется, Степан Трофимович находился при ней безотлучно.

Май был в полном расцвете; вечера стояли удивительные. Зацвела черемуха. Оба друга сходились каждый вечер в саду и просиживали до ночи в беседке, изливая друг пред другом свои чувства и мысли. Минуты бывали поэтические. Варвара Петровна под впечатлением перемены в судьбе своей говорила больше обыкновенного. Она как бы льнула к сердцу своего друга, и так продолжалось несколько вечеров. Одна странная мысль вдруг осенила Степана Трофимовича: «Не рассчитывает ли неутешная вдова на него и не ждет ли, в конце траурного года, предложения с его стороны?» Мысль циническая; но ведь возвышенность организации даже иногда способствует наклонности к циническим мыслям, уже по одной только многосторонности развития. Он стал вникать и нашел, что походило на то. Он задумался: «Состояние огромное, правда, но...» Действительно, Варвара Петровна не совсем походила на красавицу: это была высокая, желтая, костлявая женщина, с чрезмерно длинным лицом, напоминавшим что-то лошадиное. Все более и более

колебался Степан Трофимович, мучился сомнениями, даже всплакнул раза два от нерешимости (плакал он довольно часто). По вечерам же, то есть в беседке, лицо его как-то невольно стало выражать нечто капризное и насмешливое, нечто кокетливое и в то же время высокомерное. Это как-то нечаянно, невольно делается, и даже чем благороднее человек, тем оно и заметнее. Бог знает как тут судить, но вероятнее, что ничего и не начиналось в сердце Варвары Петровны такого, что могло бы оправдать вполне подозрения Степана Трофимовича. Да и не променяла бы она своего имени Ставрогиной на его имя, хотя бы и столь славное. Может быть, была всего только одна лишь женственная игра с ее стороны, проявление бессознательной женской потребности, столь натуральной в иных чрезвычайных женских случаях. Впрочем, не поручусь; неисследима глубина женского сердца даже и до сегодня! Но продолжаю.

Надо думать, что она скоро про себя разгадала странное выражение лица своего друга; она была чутка и приглядчива, он же слишком иногда невинен. Но вечера шли по-прежнему, и разговоры были так же поэтичны и интересны. И вот однажды, с наступлением ночи, после самого оживленного и поэтического разговора, они дружески расстались, горячо пожав друг другу руки у крыльца флигеля, в котором квартировал Степан Трофимович. Каждое лето он перебирался в этот флигелек, стоявший почти в саду, из огромного барского дома Скворешников. Только что он вошел к себе и, в хлопотливом раздумье, взяв сигару и еще не успев ее закурить, остановился, усталый, неподвижно пред раскрытым окном, приглядываясь к легким, как пух, белым облачкам, скользившим вокруг ясного месяца, как вдруг легкий шорох заставил его вздрогнуть и обернуться. Пред ним опять стояла Варвара Петровна, которую он оставил всего только четыре минуты назад. Желтое лицо ее почти посинело, губы были сжаты и вздрагивали по краям. Секунд десять полных смотрела она ему в глаза молча, твердым, неумолимым взглядом и вдруг прошептала скороговоркой:

– Я никогда вам этого не забуду!

Когда Степан Трофимович, уже десять лет спустя, передавал мне эту грустную повесть шепотом, заперев сначала двери, то клялся мне, что он до того остолбенел тогда на месте, что не слышал и не видел, как Варвара Петровна исчезла. Так как она никогда ни разу потом не намекала ему на происшедшее и все пошло как ни в чем не бывало, то он всю жизнь наклонен был к мысли, что все это была одна галлюцинация пред болезнью, тем более что в ту же ночь и вправду заболел на целых две недели, что, кстати, прекратило и свидания в беседке.

Но, несмотря на мечту о галлюцинации, он каждый день, всю свою жизнь, как бы ждал продолжения и, так сказать, развязки этого события. Он не верил, что оно так и кончилось! А если так, то странно же он должен был иногда поглядывать на своего друга.

V

Она сама сочинила ему даже костюм, в котором он и проходил всю свою жизнь. Костюм был изящен и характерен: длиннополый черный сюртук, почти доверху застегнутый, но щегольски сидевший; мягкая шляпа (летом соломенная) с широкими полями; галстук белый, батистовый, с большим узлом и висячими концами; трость с серебряным набалдашником, при этом волосы до плеч. Он был темно-рус, и волосы его только в последнее время начали немного седеть. Усы и бороду он брил. Говорят, в молодости он был чрезвычайно красив собой. Но, по-моему, и в старости был необыкновенно внушителен. Да и какая же ста-

рость в пятьдесят три года? Но, по некоторому гражданскому кокетству, он не только не молодился, но как бы и щеголял солидностью лет своих, и в костюме своем, высокий, сухощавый, с волосами до плеч, походил как бы на патриарха или, еще вернее, на портрет поэта Кукольника, литографированный в тридцатых годах при каком-то издании, особенно когда сидел летом в саду, на лавке, под кустом расцветшей сирени, опершись обеими руками на трость, с раскрытой книгой подле и поэтически задумавшись над закатом солнца. Насчет книг замечу, что под конец он стал как-то удаляться от чтения. Впрочем, это уж под самый конец. Газеты и журналы, выписываемые Варварой Петровной во множестве, он читал постоянно. Успехами русской литературы тоже постоянно интересовался, хотя и нисколько не теряя своего достоинства. Увлечся было когда-то изучением высшей современной политики наших внутренних и внешних дел, но вскоре, махнув рукой, оставил предприятие. Бывало и то: возьмет с собою в сад Токевиля, а в кармашке несет спрятанного Поль де Кока. Но, впрочем, это пустяки.

Замечу в скобках и о портрете Кукольника: попалась эта картинка Варваре Петровне в первый раз, когда она находилась, еще девочкой, в благородном пансионе в Москве. Она тотчас же влюбилась в портрет, по обыкновению всех девочек в пансионах, влюбляющихся во что ни попало, а вместе и в своих учителей, преимущественно чистописания и рисования. Но любопытны в этом не свойства девочки, а то, что даже и в пятьдесят лет Варвара Петровна сохраняла эту картинку в числе самых интимных своих драгоценностей, так что и Степану Трофимовичу, может быть, только поэтому сочинила несколько похожий на изображенный на картинке костюм. Но и это, конечно, мелочь.

В первые годы, или, точнее, в первую половину пребывания у Варвары Петровны, Степан Трофимович все еще помышлял о каком-то сочинении и каждый день серьезно собирался его писать. Но во вторую половину он, должно быть, и зады позабыл. Все чаще и чаще он говаривал нам: «Кажется, готов к труду, материалы собраны, и вот не работается! Ничего не делается!» – и опускал голову в унынии. Без сомнения, это-то и должно было придать ему еще больше величия в наших глазах, как страдальцу науки; но самому ему хотелось чего-то другого. «Забыли меня, никому я не нужен!» – вырывалось у него не раз. Эта усиленная хандра особенно овладела им в самом конце пятидесятых годов. Варвара Петровна поняла наконец, что дело серьезное. Да и не могла она перенести мысли о том, что друг ее забыт и не нужен. Чтобы развлечь его, а вместе для подновления славы, она свозила его тогда в Москву, где у ней было несколько изящных литературных и ученых знакомств; но оказалось, что и Москва неудовлетворительна.

Тогда было время особенное; наступило что-то новое, очень уж непохожее на прежнюю тишину, и что-то очень уж странное, но везде ощущаемое, даже в Скворешниках. Доходили разные слухи. Факты были вообще известны более или менее, но очевидно было, что кроме фактов явились и какие-то сопровождавшие их идеи, и, главное, в чрезмерном количестве. А это-то и смущало: никак невозможно было применить и в точности узнать, что именно означали эти идеи? Варвара Петровна, вследствие женского устройства натуры своей, непременно хотела подразумевать в них секрет. Она принялась было сама читать газеты и журналы, заграничные запрещенные издания и даже начавшиеся тогда прокламации (все это ей доставлялось); но у ней только голова закружилась. Принялась она писать письма: отвечали ей мало, и чем далее, тем непонятнее. Степан Трофимович торжественно приглашен был объяснить ей «все эти идеи» раз навсегда; но объяснениями его она осталась положительно недовольна. Взгляд Степана Трофимовича на всеобщее

движение был в высшей степени высокомерный; у него все сводилось на то, что он сам забыт и никому не нужен. Наконец и о нем вспомнили, сначала в заграничных изданиях, как о ссыльном страдальце, и потом тотчас же в Петербурге, как о бывшей звезде в известном созвездии; даже сравнивали его почему-то с Радищевым. Затем кто-то напечатал, что он уже умер, и обещал его некролог. Степан Трофимович мигом воскрес и сильно приосанился. Все высокомерие его взгляда на современников разом соскочило, и в нем загорелась мечта: примкнуть к движению и показать свои силы. Варвара Петровна тотчас же вновь и во все уверовала и ужасно засуетилась. Решено было ехать в Петербург без малейшего отлагательства, разузнать все на деле, вникнуть лично и, если возможно, войти в новую деятельность всецело и нераздельно. Между прочим, она объявила, что готова основать свой журнал и посвятить ему отныне всю свою жизнь. Увидав, что дошло даже до этого, Степан Трофимович стал еще высокомернее, в дороге же начал относиться к Варваре Петровне почти покровительственно, что она тотчас же сложила в сердце своем. Впрочем, у ней была и другая весьма важная причина к поездке, именно возобновление высших связей. Надо было по возможности напомнить о себе в свете, по крайней мере попытаться. Гласным же предлогом к путешествию было свидание с единственным сыном, оканчивавшим тогда курс наук в петербургском лицее.

VI

Они съездили и прожили в Петербурге почти весь зимний сезон. Все, однако, к Великому посту лопнуло, как радужный мыльный пузырь. Мечты разлетелись, а сумбур не только не выяснился, но стал еще отвратительнее. Во-первых, высшие связи почти не удались, разве в самом микроскопическом виде и с унижительными натяжками. Оскорбленная Варвара Петровна бросилась было всецело в «новые идеи» и открыла у себя вечера. Она позвала литераторов, и к ней их тотчас же привели во множестве. Потом уже приходили и сами, без приглашения; один приводил другого. Никогда еще она не видывала таких литераторов. Они были тщеславны до невозможности, но совершенно открыто, как бы тем исполняя обязанность. Иные (хотя и далеко не все) являлись даже пьяные, но как бы сознавая в этом особенную, вчера только открытую красоту. Все они чем-то гордились до странности. На всех лицах было написано, что они сейчас только открыли какой-то чрезвычайно важный секрет. Они бранились, вменяя себе это в честь. Довольно трудно было узнать, что именно они написали; но тут были критики, романисты, драматурги, сатирики, обличители. Степан Трофимович проник даже в самый высший их круг, туда, откуда управляли движением. До управляющих было до невероятности высоко, но его они встретили радушно, хотя, конечно, никто из них ничего о нем не знал и не слыхивал, кроме того, что он «представляет идею». Он до того маневрировал около них, что и их зазвал раза два в салон Варвары Петровны, несмотря на все их олимпийство. Эти были очень серьезные и очень вежливы; держали себя хорошо; остальные видимо их боялись; но очевидно было, что им некогда. Явились и две-три прежние литературные знаменитости, случившиеся тогда в Петербурге и с которыми Варвара Петровна давно уже поддерживала самые изящные отношения. Но, к удивлению ее, эти действительные и уже несомненные знаменитости были тише воды, ниже травы, а иные из них просто льнули ко всему этому новому сброду и позорно у него заискивали. Сначала Степану Трофимовичу повезло; за него ухватились и стали его выставять на публичных литературных собраниях. Когда он вышел в первый раз на эстраду, в одном из публичных лите-

ратурных чтений, в числе читавших, раздались неистовые рукоплескания, не умолкавшие минут пять. Он со слезами вспоминал об этом девять лет спустя, – впрочем, скорее по художественности своей натуры, чем из благодарности. «Клянусь же вам и пари держу, – говорил он мне сам (но только мне и по секрету), – что никто-то изо всей этой публики знать не знал о мне ровнешенько ничего!» Признание замечательное: стало быть, был же в нем острый ум, если он тогда же, на эстраде, мог так ясно понять свое положение, несмотря на все свое упоение; и, стало быть, не было в нем острого ума, если он даже девять лет спустя не мог вспомнить о том без ощущения обиды. Его заставили подписаться под двумя или тремя коллективными протестами (против чего – он и сам не знал); он подписался. Варвару Петровну тоже заставили подписаться под каким-то «безобразным поступком», и та подписалась. Впрочем, большинство этих новых людей хоть и посещали Варвару Петровну, но считали себя почему-то обязанными смотреть на нее с презрением и с нескрываемою насмешкой. Степан Трофимович намекал мне потом, в горькие минуты, что она с тех-то пор ему и позавидовала. Она, конечно, понимала, что ей нельзя водиться с этими людьми, но все-таки принимала их с жадностью, со всем женским истерическим нетерпением и, главное, все чего-то ждала. На вечерах она говорила мало, хотя и могла бы говорить; но она больше вслушивалась. Говорили об уничтожении цензуры и буквы ъ, о замении русских букв латинскими, о вчерашней ссылке такого-то, о каком-то скандале в Пассаже, о полезности раздробления России по народностям с вольною федеративною связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши по Днепр, о крестьянской реформе и прокламациях, об уничтожении наследства, семейства, детей и священников, о правах женщины, о доме Краевского, которого никто и никогда не мог простить господину Краевскому, и пр., и пр. Ясно было, что в этом сбросе новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых; но неизвестно было, кто у кого в руках. Когда Варвара Петровна объявила свою мысль об издании журнала, то к ней хлынуло еще больше народу, но тотчас же посыпались в глаза обвинения, что она капиталистка и эксплуатирует труд. Бесцеремонность обвинений равнялась только их неожиданности. Престарелый генерал Иван Иванович Дроздов, прежний друг и сослуживец покойного генерала Ставрогина, человек достойнейший (но в своем роде) и которого все мы здесь знаем, до крайности строптивый и раздражительный, ужасно много евший и ужасно боявшийся атеизма, заспорил на одном из вечеров Варвары Петровны с одним знаменитым юношей. Тот ему первым словом: «Вы, стало быть, генерал, если так говорите», то есть в том смысле, что уже хуже генерала он и брани не мог найти. Иван Иванович вспылил чрезвычайно: «Да, сударь, я генерал, и генерал-лейтенант, и служил государю моему, а ты, сударь, мальчишка и безбожник!» Произошел скандал непозволительный. На другой день случай был обличен в печати, и начала собираться коллективная подписка против «безобразного поступка» Варвары Петровны, не захотевшей тотчас же прогнать генерала. В иллюстрированном журнале явилась карикатура, в которой язвительно скопировали Варвару Петровну, генерала и Степана Трофимовича на одной картинке, в виде трех ретроградных друзей; к картинке приложены были и стихи, написанные народным поэтом единственно для этого случая. Замечу от себя, что действительно у многих особ в генеральских чинах есть привычка смешно говорить: «Я служил государю моему...», то есть точно у них не тот же государь, как и у нас, простых государевых подданных, а особенный, ихний.

Оставаться долее в Петербурге было, разумеется, невозможно, тем более что и Степана Трофимовича постигло окончательное *fiasco*¹. Он не выдержал и стал заявлять о правах искусства, а над ним стали еще громче смеяться.

На последнем чтении своем он задумал подействовать гражданским красноречием, воображая тронуть сердца и рассчитывая на почтение к своему «изгнанию». Он бесспорно согласился в бесполезности и комичности слова «отечество»; согласился и с мыслию о вреде религии, но громко и твердо заявил, что сапоги ниже Пушкина, и даже гораздо. Его безжалостно освистали, так что он тут же, публично, не сойдя с эстрады, расплакался. Варвара Петровна привезла его домой едва живого. «*On m'a traité comme un vieux bonnet de coton!*»² – лепетал он бессмысленно. Она ходила за ним всю ночь, давала ему лавровишневых капель и до рассвета повторяла ему: «Вы еще полезны; вы еще явитесь; вас оценят... в другом месте».

На другой же день, рано утром, явились к Варваре Петровне пять литераторов, из них трое совсем незнакомых, которых она никогда и не видывала. Со строгим видом они объявили ей, что рассмотрели дело о ее журнале и принесли по этому делу решение. Варвара Петровна решительно никогда и никому не поручала рассматривать и решать что-нибудь о ее журнале. Решение состояло в том, чтоб она, основав журнал, тотчас же передала его им вместе с капиталами, на правах свободной ассоциации; сама же чтоб уезжала в Скворешники, не забыв захватить с собою Степана Трофимовича, «который устарел». Из деликатности они соглашались признавать за нею права собственности и высылать ей ежегодно одну шестую чистого барыша. Всего трогательнее было то, что из этих пяти человек наверное четверо не имели при этом никакой стяжательной цели, а хлопотали только во имя «общего дела».

«Мы выехали как одурелые, – рассказывал Степан Трофимович, – я ничего не мог сообразить и, помню, все лепетал под стук вагона:

Век и Век и Лев Камбек,
Лев Камбек и Век и Век...

и черт знает что еще такое, вплоть до самой Москвы. Только в Москве опомнился – как будто и в самом деле что-нибудь другое в ней мог найти? О друзья мои! – иногда восклицал он нам во вдохновении, – вы представить не можете, какая грусть и злость охватывает всю вашу душу, когда великую идею, вами давно уже и свято чтимую, подхватят неумелые и вытащат к таким же дуракам, как и сами, на улицу, и вы вдруг встречаете ее уже на толкучем, неузнаваемую, в грязи, поставленную нелепо, углом, без пропорции, без гармонии, игрушкой у глупых ребят! Нет! В наше время было не так, и мы не к тому стремились. Нет, нет, совсем не к тому. Я не узнаю ничего... Наше время настанет опять и опять направит на твердый путь все шатающееся, теперешнее. Иначе что же будет?..»

VII

Тотчас же по возвращении из Петербурга Варвара Петровна отправила друга своего за границу: «отдохнуть»; да и надо было им расстаться на время, она это чувствовала. Степан Трофимович поехал с восторгом. «Там я воскресну! – восклицал он. – Там наконец примусь за науку!» Но с первых же писем из Берлина он затянул свою всегдашнюю ноту. «Сердце разбито, – писал он Варва-

¹ поражение (ит.).

² Со мной обошлись как со старым ночным колпаком! (фр.)

ре Петровне, – не могу забыть ничего! Здесь, в Берлине, все напомнило мне мое старое, прошлое, первые восторги и первые муки. Где она? Где теперь они обе? Где вы, два ангела, которых я никогда не стоил? Где сын мой, возлюбленный сын мой? Где, наконец, я, я сам, прежний я, стальной по силе и непоколебимый, как утес, когда теперь какой-нибудь Andrejeff, un православный шут с бородой, *peut briser mon existence en deux*¹ и т. д., и т. д. Что касается до сына Степана Трофимовича, то он видел его всего два раза в своей жизни, в первый раз, когда тот родился, и во второй – недавно в Петербурге, где молодой человек готовился поступить в университет. Всю же свою жизнь мальчик, как уже и сказано было, воспитывался у теток в О-ской губернии (на иждивении Варвары Петровны), за семьсот верст от Скворешников. Что же касается до Andrejeff, то есть Андреева, то это был просто-запросто наш здешний купец, лавочник, большой чудак, археолог-самоучка, страстный собиратель русских древностей, иногда пикировавшийся со Степаном Трофимовичем познаниями, а главное, в направлении. Этот почтенный купец, с седою бородой и в больших серебряных очках, не доплатил Степану Трофимовичу четырехсот рублей за купленные в его именице (рядом со Скворешниками) несколько десятин лесу на сруб. Хотя Варвара Петровна и роскошно наделила своего друга средствами, отправляя его в Берлин, но на эти четыреста рублей Степан Трофимович, пред поездкой, особо рассчитывал, вероятно на секретные свои расходы, и чуть не заплакал, когда Andrejeff попросил повременить один месяц, имея, впрочем, и право на такую отсрочку, ибо первые взносы денег произвел все вперед чуть не за полгода, по особенной тогдашней нужде Степана Трофимовича. Варвара Петровна с жадностью прочла это первое письмо и, подчеркнув карандашом восклицание: «Где вы обе?», пометила числом и заперла в шкатулку. Он, конечно, вспоминал о своих обеих покойницах женах. Во втором полученном из Берлина письме песня варьировалась: «Работаю по двенадцати часов в сутки («хоть бы по одиннадцати», – проворчала Варвара Петровна), роюсь в библиотеках, сверяюсь, выписываю, бегаю; был у профессоров. Возобновил знакомство с превосходным семейством Дундасовых. Какая прелесть Надежда Николаевна даже до сих пор! Вам кланяется. Молодой ее муж и все три племянника в Берлине. По вечерам с молодежью беседуем до рассвета, и у нас чуть не афинские вечера, но единственно по тонкости и изяществу; все благородное: много музыки, испанские мотивы, мечты всечеловеческого обновления, идея вечной красоты, Сикстинская Мадонна, свет с прорезами тьмы, но и в солнце пятна! О друг мой, благородный, верный друг! Я сердцем с вами и ваш, с одной всегда, *en tout pays*² и хотя бы даже *dans le pays de Makar et de ses veaux*³, о котором, помните, так часто мы, трепеща, говорили в Петербурге пред отъездом. Вспоминаю с улыбкой. Переехав границу, ощутил себя безопасным, ощущение странное, новое, впервые после столь долгих лет...» и т. д., и т. д.

«Ну, все вздор! – решила Варвара Петровна, складывая и это письмо. – Коль до рассвета афинские вечера, так не сидит же по двенадцати часов за книгами. Спьяну, что ль, написал? Эта Дундасова как смеет мне посылать поклоны? Впрочем, пусть его погуляет...»

Фраза «*dans le pays de Makar et de ses veaux*» означала: «куда Макара телят не гонял». Степан Трофимович нарочно глупейшим образом переводил иногда русские пословицы и коренные поговорки на французский язык, без сомнения

¹ может разбить мою жизнь (*фр.*).

² в любой стране (*фр.*).

³ в стране Макара и его телят (*фр.*).

умея и понять и перевести лучше; но это он делывал из особого рода шику и наниходил его остроумным.

Но погулял он немного, четырех месяцев не выдержал и примчался в Скворешники. Последние письма его состояли из одних лишь излияний самой чувствительной любви к своему отсутствующему другу и буквально были смочены слезами разлуки. Есть натуры, чрезвычайно приживающиеся к дому, точно комнатные собачки. Свидание друзей было восторженное. Через два дня все пошло по-старому и даже скучнее старого. «Друг мой, – говорил мне Степан Трофимович через две недели, под величайшим секретом, – друг мой, я открыл ужасную для меня... новость: je suis un простой приживальщик, et rien de plus! Mais r-rien de plus!»¹

VIII

Затем у нас наступило затишье и тянулось почти сплошь все эти девять лет. Истерические взрывы и рыдания на моем плече, продолжавшиеся регулярно, нисколько не мешали нашему благоденствию. Удивляюсь, как Степан Трофимович не растолстел за это время. Покраснел лишь немного его нос и прибавилось благодушия. Мало-помалу около него утвердился кружок приятелей, впрочем постоянно небольшой. Варвара Петровна хоть и мало касалась кружка, но все мы признавали ее нашею патронессой. После петербургского урока она поселилась в нашем городе окончательно; зимой жила в городском своем доме, а летом в подгородном своем имении. Никогда она не имела столько значения и влияния, как в последние семь лет, в нашем губернском обществе, то есть вплоть до назначения к нам нашего теперешнего губернатора. Прежний губернатор наш, незабвенный и мягкий Иван Осипович, приходился ей близким родственником и был когда-то ею благодетельствован. Супруга его трепетала при одной мысли не угодить Варваре Петровне, а поклонение губернскому обществу дошло до того, что напоминало даже нечто греховное. Было, стало быть, хорошо и Степану Трофимовичу. Он был членом клуба, осанисто проигрывал и заслужил почет, хотя многие смотрели на него только как на «ученого». Впоследствии, когда Варвара Петровна позволила ему жить в другом доме, нам стало еще свободнее. Мы собирались у него раза по два в неделю; бывало весело, особенно когда он не жалел шампанского. Вино забиралось в лавке того же Андреева. Расплачивалась по счету Варвара Петровна каждые полгода, и день расплаты почти всегда бывал днем холерины.

Стариннейшим членом кружка был Липутин, губернский чиновник, человек уже немолодой, большой либерал и в городе слывший атеистом. Женат он был во второй раз на молоденькой и хорошенькой, взял за ней приданое и, кроме того, имел трех подросших дочерей. Всю семью держал в страхе Божиим и взаперти, был чрезмерно скуп и службой скопил себе домик и капитал. Человек был беспокойный, притом в маленьком чине; в городе его мало уважали, а в высшем круге не принимали. К тому же он был явный и не раз уже наказанный сплетник, и наказанный больно, раз одним офицером, а в другой раз почтенным отцом семейства, помещиком. Но мы любили его острый ум, любознательность, его особенную злую веселость. Варвара Петровна не любила его, но он всегда как-то умел к ней поддаться.

¹ я всего лишь простой приживальщик, и ничего больше! Да, н-н-ничего больше! (фр.)

Не любила она и Шатова, всего только в последний год ставшего членом кружка. Шатов был прежде студентом и был исключен после одной студентской истории из университета; в детстве же был учеником Степана Трофимовича, а родился крепостным Варвары Петровны, от покойного камердинера ее Павла Федорова, и был ею благодетельствован. Не любила она его за гордость и неблагодарность и никак не могла простить ему, что он по изгнании из университета не приехал к ней тотчас же; напротив, даже на тогдашнее нарочное письмо ее к нему ничего не ответил и предпочел закабалиться к какому-то цивилизованному купцу учить детей. Вместе с семьей этого купца он выехал за границу, скорее в качестве дядьки, чем гувернера; но уж очень хотелось ему тогда за границу. При детях находилась еще и гувернантка, бойкая русская барышня, поступившая в дом тоже пред самым выездом и принятая более за дешевизну. Месяца через два купец ее выгнал «за вольные мысли». Поплелся за нею и Шатов и вскорости обвенчался с нею в Женеве. Прожили они вдвоем недели с три, а потом расстались, как вольные и ничем не связанные люди; конечно, тоже и по бедности. Долго потом скитался он один по Европе, жил Бог знает чем; говорят, чистил на улицах сапоги и в каком-то порте был носильщиком. Наконец, с год тому назад вернулся к нам в родное гнездо и поселился со старухой теткой, которую и схоронил через месяц. С сестрой своею Дашей, тоже воспитанницей Варвары Петровны, жившею у ней фавориткой на самой благородной ноге, он имел самые редкие и отдаленные сношения. Между нами был постоянно угрюм и неразговорчив; но изредка, когда затрагивали его убеждения, раздражался болезненно и был очень неводержан на язык. «Шатова надо сначала связать, а потом уж с ним рассуждать», – шутил иногда Степан Трофимович; но он любил его. За границей Шатов радикально изменил некоторые из прежних социалистических своих убеждений и перескочил в противоположную крайность. Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах под свалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем. Наружностью Шатов вполне соответствовал своим убеждениям: он был неуклюж, белокур, космат, низкого роста, с широкими плечами, толстыми губами, с очень густыми, нависшими белобрысыми бровями, с нахмуренным лбом, с неприветливым, упорно потупленным и как бы чего-то стыдящимся взглядом. На волосах его вечно оставался один такой вихор, который ни за что не хотел пригладиться и стоял торчком. Лет ему было двадцать семь или двадцать восемь. «Я не удивляюсь более, что жена от него сбежала», – отнеслась Варвара Петровна однажды, пристально к нему приглядываясь. Старался он одеваться чистенько, несмотря на чрезвычайную свою бедность. К Варваре Петровне опять не обратился за помощью, а пробивался чем Бог пошлет; занимался и у купцов. Раз сидел в лавке, потом совсем было уехал на пароходе с товаром, приказчиным помощником, но заболел перед самой отправкой. Трудно представить себе, какую нищету способен он был переносить, даже и не думая о ней вовсе. Варвара Петровна после его болезни переслала ему секретно и анонимно сто рублей. Он разузнал, однако же, секрет, подумал, деньги принял и пришел к Варваре Петровне поблагодарить. Та с жаром приняла его, но он и тут постыдно обманул ее ожидания: просидел всего пять минут, молча, тупо уставившись в землю и глупо улыбаясь, и вдруг, не дослушав ее и на самом интересном месте разговора, встал, поклонился как-то боком, ко-солапо, застыдился в прах, кстати уж задел и грохнул об пол ее дорогой набор-

ный рабочий столик, разбил его и вышел, едва живой от позора. Липутин очень укорял его потом за то, что он не отвергнул тогда с презрением эти сто рублей, как от бывшей его деспотки помещицы, и не только принял, а еще благодарить потащился. Жил он уединенно, на краю города, и не любил, если кто-нибудь даже из нас заходил к нему. На вечера к Степану Трофимовичу являлся постоянно и брал у него читать газеты и книги.

Являлся на вечера и еще один молодой человек, некто Виргинский, здешний чиновник, имевший некоторое сходство с Шатовым, хотя, по-видимому, и совершенно противоположный ему во всех отношениях; но это тоже был «семьянин». Жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек, впрочем лет уже тридцати, с значительным образованием, но больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тетку и сестру своей жены. Супруга его да и все дамы были самых последних убеждений, но все это выходило у них несколько грубовато, именно – тут была «идея, попавшая на улицу», как выразился когда-то Степан Трофимович по другому поводу. Они все брали из книжек и, по первому даже слуху из столичных прогрессивных уголков наших, готовы были выбросить за окно все что угодно, лишь бы только советовали выбрасывать. Madame Виргинская занималась у нас в городе повивальной профессией; в девицах она долго жила в Петербурге. Сам Виргинский был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь. «Я никогда, никогда не отстану от этих светлых надежд», – говаривал он мне с сияющими глазами. О «светлых надеждах» он говорил всегда тихо, с сладостию, полушепотом, как бы секретно. Он был довольно высокого роста, но чрезвычайно тонок и узок в плечах, с необыкновенно жиденькими, рыжеватого оттенка волосиками. Все высокомерные насмешки Степана Трофимовича над некоторыми из его мнений он принимал кротко, возражал же ему иногда очень серьезно и во многом ставил его в тупик. Степан Трофимович обращался с ним ласково, да и вообще ко всем нам относился отечески.

– Все вы из «недосиженных», – шутиливо замечал он Виргинскому, – все подобные вам, хотя в вас, Виргинский, я и не замечал той ограненности, которую встречал в Петербурге chez ces séminaristes¹, но все-таки вы «недосиженные». Шатову очень хотелось бы высидеться, но и он недосиженный.

– А я? – спрашивал Липутин.

– А вы просто золотая середина, которая везде уживется... по-своему.

Липутин обижался.

Рассказывали про Виргинского, и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен и что она предпочитает Лебядкина. Этот Лебядкин, какой-то заезжий, оказался потом лицом весьма подозрительным и вовсе даже не был отставным штабс-капитаном, как сам титуловал себя. Он только умел крутить усы, пить и болтать самый неловкий вздор, какой только можно вообразить себе. Этот человек пренеделикатно тотчас же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них и стал, наконец, третировать хозяина свысока. Уверяли, что Виргинский, при объявлении ему женой отставки, сказал ей: «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю», но вряд ли в самом деле произнесено было такое древнеримское изречение; напротив, говорят, навзрыд плакал. Однажды, недели две после отставки, все они, всем «семейством», отправились за город, в рошу, кушать чай вместе с знакомыми. Виргинский был как-то лихора-

¹ у этих семинаристов (фр.).

дочно весело настроен и участвовал в танцах; но вдруг и без всякой предварительной ссоры схватил гиганта Лебядкина, канканировавшего соло, обеими руками за волосы, нагнул и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант до того струсил, что даже не защищался и все время, как его таскали, почти не прерывал молчания; но после таски обиделся со всем пылом благородного человека. Виргинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении; но прощения не вымолил, потому что все-таки не согласился пойти извиниться пред Лебядкиным; кроме того, был обличен в скудости убеждений и в глупости; последнее потому, что, объясняясь с женщиной, стоял на коленях. Штабс-капитан вскоре скрылся и явился опять в нашем городе только в самое последнее время, с своею сестрой и с новыми целями; но о нем впереди. Не мудрено, что бедный «семьянин» отводил у нас душу и нуждался в нашем обществе. О домашних делах своих он никогда, впрочем, у нас не высказывался. Однажды только, возвращаясь со мною от Степана Трофимовича, заговорил было отдаленно о своем положении, но тут же, схватив меня за руку, пламенно воскликнул:

– Это ничего; это только частный случай; это нисколько, нисколько не помешает «общему делу»!

Являлись к нам в кружок и случайные гости; ходил жидок Лямшин, ходил капитан Картузов. Бывал некоторое время один любознательный старичок, но помер. Привел было Липутин ссыльного ксендза Слоныцевского, и некоторое время его принимали по принципу, но потом и принимать не стали.

IX

Одно время в городе передавали о нас, что кружок наш рассадник вольнодумства, разврата и безбожия; да и всегда крепился этот слух. А между тем у нас была одна самая невинная, милая, вполне русская веселенькая либеральная болтовня. «Высший либерализм» и «высший либерал», то есть либерал без всякой цели, возможны только в одной России. Степану Трофимовичу, как и всякому остроумному человеку, необходим был слушатель, и, кроме того, необходимо было сознание о том, что он исполняет высший долг пропаганды идей. А наконец, надобно же было с кем-нибудь выпить шампанского и обменяться за вином известного сорта веселенькими мыслями о России и «русском духе», о Боге вообще и о «русском Боге» в особенности; повторить в сотый раз всем известные и всеми натвержденные русские скандальные анекдоты. Не прочь мы были и от городских сплетен, причем доходили иногда до строгих высоконравственных приговоров. Впадали и в общечеловеческое, строго рассуждали о будущей судьбе Европы и человечества; докторально предсказывали, что Франция после цезаризма разом ниспадает на степень второстепенного государства, и совершенно были уверены, что это ужасно скоро и легко может сделаться. Папе давным-давно предсказали мы роль простого митрополита в объединенной Италии и были совершенно убеждены, что весь этот тысячелетний вопрос, в наш век гуманности, промышленности и железных дорог, одно только плевое дело. Но ведь «высший русский либерализм» иначе и не относится к делу. Степан Трофимович говаривал иногда об искусстве, и весьма хорошо, но несколько отвлеченно. Вспоминал иногда о друзьях своей молодости, – все о лицах, намеченных в истории нашего развития, – вспоминал с умилением и благоговением, но несколько как бы с завистью. Если уж очень становилось скучно, то жидок Лямшин (маленький почтамтский чиновник), мастер на фортепиано, садился играть, а в антрактах представлял свинью, грозу, роды с первым криком ребенка и пр., и пр.; для того только и приглашался. Если уж очень

подпивали, – а это случалось, хотя и не часто, – то приходили в восторг, и даже раз хором, под аккомпанемент Лямшина, пропели «Марсельезу», только не знаю, хорошо ли вышло. Великий день девятнадцатого февраля мы встретили восторженно и задолго еще начали осушать в честь его тосты. Это было еще давно-давно, тогда еще не было ни Шатова, ни Виргинского, и Степан Трофимович еще жил в одном доме с Варварой Петровной. За несколько времени до великого дня Степан Трофимович повадился было бормотать про себя известные, хотя несколько неестественные стихи, должно быть сочиненные каким-нибудь прежним либеральным помещиком:

Идут мужики и несут топоры,
Что-то страшное будет.

Кажется, что-то в этом роде, буквально не помню. Варвара Петровна раз подслушала и крикнула ему: «Вздор, вздор!» – и вышла во гнев. Липутин, при этом случившийся, язвительно заметил Степану Трофимовичу:

– А жаль, если господам помещикам бывшие их крепостные и в самом деле нанесут на радостях некоторую неприятность.

И он черкнул указательным пальцем вокруг своей шеи.

– Cher ami¹, – благодушно заметил ему Степан Трофимович, – поверьте, что *это* (он повторил жест вокруг шеи) нисколько не принесет пользы ни нашим помещикам, ни всем нам вообще. Мы и без голов ничего не сумеем устроить, не смотря на то что наши головы всего более и мешают нам понимать.

Замечу, что у нас многие полагали, что в день манифеста будет нечто необычайное, в том роде, как предсказывал Липутин, и все ведь так называемые знатоки народа и государства. Кажется, и Степан Трофимович разделял эти мысли, и до того даже, что почти накануне великого дня стал вдруг проситься у Варвары Петровны за границу; одним словом, стал беспокоиться. Но прошел великий день, прошло и еще некоторое время, и высокомерная улыбка появилась опять на устах Степана Трофимовича. Он высказал пред нами несколько замечательных мыслей о характере русского человека вообще и русского мужичка в особенности.

– Мы, как торопливые люди, слишком поспешили с нашими мужичками, – заключил он свой ряд замечательных мыслей, – мы их ввели в моду, и целый отдел литературы, несколько лет сряду, носился с ними как с новооткрытою драгоценностью. Мы надевали лавровые венки на вшивые головы. Русская деревня, за всю тысячу лет, дала нам лишь одного комаринского. Замечательный русский поэт, не лишенный притом остроумия, увидев в первый раз на сцене великую Рашель, воскликнул в восторге: «Не променяю Рашель на мужика!» Я готов пойти дальше: я и всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель. Пора взглянуть трезвее и не смешивать нашего родного сиволапого дегтя с bouquet de l'impératrice².

Липутин тотчас же согласился, но заметил, что покривить душой и похвалить мужичков все-таки было тогда необходимо для направления; что даже дамы высшего общества заливались слезами, читая «Антон Горемыку», а некоторые из них так даже из Парижа написали в Россию своим управляющим, чтоб от сей поры обращаться с крестьянами как можно гуманнее.

Случилось, и как нарочно сейчас после слухов об Антоне Петрове, что и в нашей губернии, и все-то в пятнадцати верстах от Скворешников, про-

¹ Дорогой друг (фр.).

² букетом императрицы (фр.).

изошло некоторое недоразумение, так что сгоряча послали команду. В этот раз Степан Трофимович до того взволновался, что даже и нас напугал. Он кричал в клубе, что войска надо больше, чтобы призвали из другого уезда по телеграфу; бегал к губернатору и уверял его, что он тут ни при чем; просил, чтобы не замешали его как-нибудь, по старой памяти, в дело, и предлагал немедленно написать о его заявлении в Петербург, кому следует. Хорошо, что все это скоро прошло и разрешилось ничем; но только я подивился тогда на Степана Трофимовича.

Года через три, как известно, заговорили о национальности и зародилось «общественное мнение». Степан Трофимович очень смеялся.

— Друзья мои, — учил он нас, — наша национальность, если и в самом деле «зародилась», как они там теперь уверяют в газетах, — то сидит еще в школе, в немецкой какой-нибудь петершule, за немецкою книжкой и твердит свой вечный немецкий урок, а немец-учитель ставит ее на колени, когда понадобится. За учителя-немца хвалю; но вероятнее всего, что ничего не случилось и ничего такого не зародилось, а идет все как прежде шло, то есть под покровительством Божиим. По-моему, и довольно бы для России, *pour notre sainte Russie*¹. Притом же все эти всеславянства и национальности — все это слишком старо, чтобы быть новым. Национальность, если хотите, никогда и не являлась у нас иначе как в виде клубной барской затеи, и вдобавок еще московской. Я, разумеется, не про Игорево время говорю. И, наконец, все от праздности. У нас все от праздности, и доброе и хорошее. Все от нашей барской, милой, образованной, прихотливой праздности! Я тридцать тысяч лет про это твержу. Мы своим трудом жить не умеем. И что они там развозились теперь с каким-то «зародившимся» у нас общественным мнением, — так вдруг, ни с того ни с сего, с неба соскочило? Неужто не понимают, что для приобретения мнения первое всего надобен труд, собственный труд, собственный почин в деле, собственная практика! Даром никогда ничего не достанется. Будем трудиться, будем и свое мнение иметь. А так как мы никогда не будем трудиться, то и мнение иметь за нас будут те, кто вместо нас до сих пор работал, то есть все та же Европа, все те же немцы — двухсотлетние учителя наши. К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда. Вот уже двадцать лет, как я бью в набат и зову к труду! Я отдал жизнь на этот призыв и, безумец, веровал! Теперь уже не верую, но звоню и буду звонить до конца, до могилы; буду дергать веревку, пока не зазвонят к моей панихиде!

Увы! мы только поддакивали. Мы аплодировали учителю нашему, да с каким еще жаром! А что, господа, не раздастся ли и теперь, подчас сплошь да рядом, такого же «милого», «умного», «либерального» старого русского вздора?

В Бога учитель наш веровал. «Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником? — говаривал он иногда, — я в Бога верую, *mais distinguons*², я верую, как в Существо, себя лишь во мне сознающее. Не могу же я веровать, как моя Настасья (служанка) или как какой-нибудь барин, верующий «на всякий случай», — или как наш милый Шатов, — впрочем, нет, Шатов не в счет, Шатов верует *насилъно*, как московский славянофил. Что же касается до христианства, то, при всем моем искреннем к нему уважении, я — не христианин. Я скорее древний язычник, как великий Гете или как древний грек. И

¹ для нашей Святой Руси (*фр.*).

² но надо различать (*фр.*).

одно уже то, что христианство не поняло женщину, – что так великолепно развила Жорж Занд в одном из своих гениальных романов. Насчет же поклонений, постов и всего прочего, то не понимаю, кому какое до меня дело? Как бы ни хлопотали здесь наши доносчики, а иезуитом я быть не желаю. В сорок седьмом году Белинский, будучи за границей, послал к Гоголю известное свое письмо и в нем горячо укорял того, что тот верует «в какого-то Бога». *Entre nous soit dit*¹, ничего не могу вообразить себе комичнее того мгновения, когда Гоголь (тогдашний Гоголь!) прочел это выражение и... все письмо! Но, откинув смешное, и так как я все-таки с сущностью дела согласен, то скажу и укажу: вот были люди! Сумели же они любить свой народ, сумели же пострадать за него, сумели же пожертвовать для него всем и сумели же в то же время не сходиться с ним, когда надо, не потворствовать ему в известных понятиях. Не мог же в самом деле Белинский искать спасения в постном масле или в редьке с горохом!..» Но тут вступался Шатов.

– Никогда эти ваши люди не любили народа, не страдали за него и ничем для него не жертвовали, как бы ни воображали это сами, себе в утеху! – угрюмо проворчал он, потупившись и нетерпеливо повернувшись на стуле.

– Это они-то не любили народа! – завопил Степан Трофимович. – О, как они любили Россию!

– Ни России, ни народа! – завопил и Шатов, сверкая глазами. – Нельзя любить то, чего не знаешь, а они ничего в русском народе не смыслили! Все они, и вы вместе с ними, просмотрели русский народ сквозь пальцы, а Белинский особенно; уж из того самого письма его к Гоголю это видно. Белинский, точь-в-точь как Крылова Любопытный, не заметил слона в кунсткамере, а все внимание свое устремил на французских социальных букашек; так и покончил на них. А ведь он еще, пожалуй, всех вас умнее был! Вы мало того что просмотрели народ, – вы с омерзительным презрением к нему относились, уж по тому одному, что под народом вы воображали себе один только французский народ, да и то одних парижан, и стыдились, что русский народ не таков. И это голая правда! А у кого нет народа, у того нет и Бога! Знайте наверно, что все те, которые перестают понимать свой народ и теряют с ним свои связи, тотчас же, по мере того, теряют и веру отеческую, становятся или атеистами, или равнодушными. Верно говорю! Это факт, который оправдается. Вот почему и вы все и мы все теперь – или гнусные атеисты, или равнодушная, развратная дрянь, и ничего больше! И вы тоже, Степан Трофимович, я вас несколько не исключаю, даже на ваш счет и говорил, знайте это!

Обыкновенно, проговорив подобный монолог (а с ним это часто случалось), Шатов схватывал свой картуз и бросался к дверям, в полной уверенности, что уж теперь все кончено и что он совершенно и навеки порвал свои дружеские отношения к Степану Трофимовичу. Но тот всегда успевал остановить его вовремя.

– А не помириться ли нам, Шатов, после всех этих милых словечек? – говорил он, благодушно протягивая ему с кресел руку.

Неуклюжий, но стыдливый Шатов нежностей не любил. Снаружи человек был грубый, но про себя, кажется, деликатнейший. Хоть и терял часто меру, но первый страдал от того сам. Проворчав что-нибудь под нос на призывные слова Степана Трофимовича и потоптавшись, как медведь, на месте, он вдруг неожиданно ухмылялся, откладывая свой картуз и садился на прежний стул, упорно смотря в землю. Разумеется, приносилось вино, и Степан Трофи-

¹ Между нами говоря (*фр.*).

мович провозглашал какой-нибудь подходящий тост, например хоть в память которого-нибудь из прошедших деятелей.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Принц Гарри. Сватовство

I

На земле существовало еще одно лицо, к которому Варвара Петровна была привязана не менее как к Степану Трофимовичу, – единственный сын ее, Николай Всеволодович Ставрогин. Для него-то и приглашен был Степан Трофимович в воспитатели. Мальчику было тогда лет восемь, а легкомысленный генерал Ставрогин, отец его, жил в то время уже в разлуке с его мамашей, так что ребенок возрос под одним только ее попечением. Надо отдать справедливость Степану Трофимовичу, он умел привязать к себе своего воспитанника. Весь секрет его заключался в том, что он и сам был ребенок. Меня тогда еще не было, а в истинном друге он постоянно нуждался. Он не задумался сделать своим другом такое маленькое существо, едва лишь оно капельку подросло. Как-то так естественно сошлось, что между ними не оказалось ни малейшего расстояния. Он не раз пробуждал своего десяти- или одиннадцатилетнего друга ночью, единственно чтоб излить пред ним в слезах свои оскорбленные чувства или открыть ему какой-нибудь домашний секрет, не замечая, что это совсем уже непозволительно. Они бросались друг другу в объятия и плакали. Мальчик знал про свою мать, что она его очень любит, но вряд ли очень любил ее сам. Она мало с ним говорила, редко в чем его очень стесняла, но пристально следящий за ним ее взгляд он всегда как-то болезненно ощущал на себе. Впрочем, во всем деле обучения и нравственного развития мать вполне доверяла Степану Трофимовичу. Тогда еще она вполне в него веровала. Надо думать, что педагог несколько расстроил нервы своего воспитанника. Когда его, по шестнадцатому году, повезли в лицей, то он был тщедушен и бледен, странно тих и задумчив. (Впоследствии он отличался чрезвычайною физическою силой.) Надо полагать тоже, что друзья плакали, бросаясь ночью взаимно в объятия, не все об одних каких-нибудь домашних анекдотах. Степан Трофимович сумел дотронуться в сердце своего друга до глубочайших струн и вызвать в нем первое, еще неопределенное ощущение той вековой, священной тоски, которую иная избранная душа, раз вкусив и познав, уже не променяет потом никогда на дешевое удовлетворение. (Есть и такие любители, которые тоской этой дорожат более самого радикального удовлетворения, если б даже таковое и было возможно.) Но во всяком случае хорошо было, что пенца и наставника, хоть и поздно, а развели в разные стороны.

Из лицея молодой человек в первые два года приезжал на вакацию. Во время поездки в Петербург Варвары Петровны и Степана Трофимовича он присутствовал иногда на литературных вечерах, бывавших у мамы, слушал и наблюдал. Говорил мало и все по-прежнему был тих и застенчив. К Степану Трофимовичу относился с прежним нежным вниманием, но уже как-то сдержаннее: о высоких предметах и о воспоминаниях прошлого видимо удалялся с ним заговаривать. Кончив курс, он, по желанию мамы, поступил в военную службу и вскоре был

зачислен в один из самых видных гвардейских кавалерийских полков. Показаться мамаше в мундире он не приехал и редко стал писать из Петербурга. Денег Варвара Петровна посылала ему не жалея, несмотря на то что после реформы доход с ее имений упал до того, что в первое время она и половины прежнего дохода не получала. У ней, впрочем, накоплен был долгою экономией некоторый, не совсем маленький капитал. Ее очень интересовали успехи сына в высшем петербургском обществе. Что не удалось ей, то удалось молодому офицеру, богатому и с надеждами. Он возобновил такие знакомства, о которых она и мечтать уже не могла, и везде был принят с большим удовольствием. Но очень скоро начали доходить к Варваре Петровне довольно странные слухи: молодой человек как-то безумно и вдруг закутил. Не то чтоб он играл или очень пил; рассказывали только о какой-то дикой разнузданности, о задавленных рысачами людях, о зверском поступке с одною дамой хорошего общества, с которою он был в связи, а потом оскорбил ее публично. Что-то даже слишком уж откровенно грязное было в этом деле. Прибавляя сверх того, что он какой-то бретер, привязывается и оскорбляет из удовольствия оскорбить. Варвара Петровна волновалась и тосковала. Степан Трофимович уверял ее, что это только первые, буйные порывы слишком богатой организации, что море уляжется и что все это похоже на юность принца Гарри, кутившего с Фальстафом, Пойнсом и мистрис Квикли, описанную у Шекспира. Варвара Петровна на этот раз не крикнула: «Вздор, вздор!», как повадилась в последнее время покрикивать очень часто на Степана Трофимовича, а, напротив, очень прислушалась, велела растолковать себе подробнее, сама взяла Шекспира и с чрезвычайным вниманием прочла бессмертную хронику. Но хроника ее не успокоила, да и сходства она не так много нашла. Она лихорадочно ждала ответов на несколько своих писем. Ответы не замедлили; скоро было получено роковое известие, что принц Гарри имел почти разом две дуэли, кругом был виноват в обеих, убил одного из своих противников наповал, а другого искалечил и вследствие таковых деяний был отдан под суд. Дело кончилось разжалованием в солдаты, с лишением прав и ссылкой на службу в один из пехотных армейских полков, да и то еще по особенной милости.

В шестьдесят третьем году ему как-то удалось отличиться; ему дали крестик и произвели в унтер-офицеры, а затем как-то уж скоро и в офицеры. Во все это время Варвара Петровна отправила, может быть, до сотни писем в столицу с просьбами и мольбами. Она позволила себе несколько унизиться в таком необычайном случае. После производства молодой человек вдруг вышел в отставку, в Скворешники опять не приехал, а к матери совсем уже перестал писать. Узнали наконец, посторонними путями, что он опять в Петербурге, но что в прежнем обществе его уже не встречали вовсе; он куда-то как бы спрятался. Доискались, что он живет в какой-то странной компании, связался с каким-то отребьем петербургского населения, с какими-то бессапожными чиновниками, отставными военными, благородно просящими милостыню, пьяницами, посещает их грязные семейства, дни и ночи проводит в темных трущобах и Бог знает в каких закоулках, опустился, оборвался и что, стало быть, это ему нравится. Денег у матери он не просил; у него было свое именье – бывшая деревенька генерала Ставрогина, которое хоть что-нибудь да давало же доходу и которое, по слухам, он сдал в аренду одному саксонскому немцу. Наконец мать умолила его к ней приехать, и принц Гарри появился в нашем городе. Тут-то я в первый раз и разглядел его, а дотоле никогда не видывал.

Это был очень красивый молодой человек, лет двадцати пяти, и, признаюсь, поразил меня. Я ждал встретить какого-нибудь грязного оборванца, испитого от разврата и отдающего водкой. Напротив, это был самый изящный

джентльмен из всех, которых мне когда-либо приходилось видеть, чрезвычайно хорошо одетый, державший себя так, как мог держать себя только господин, привыкший к самому утонченному благообразию. Не я один был удивлен: удивлялся и весь город, которому, конечно, была уже известна вся биография господина Ставрогина, и даже с такими подробностями, что невозможно было представить, откуда они могли получиться, и, что всего удивительнее, из которых половина оказалась верною. Все наши дамы были без ума от нового гостя. Они резко разделились на две стороны – в одной обожали его, а в другой ненавидели до кровомщения; но без ума были и те и другие. Одних особенно прельщало, что на душе его есть, может быть, какая-нибудь роковая тайна; другим положительно нравилось, что он убийца. Оказалось тоже, что он был весьма порядочно образован; даже с некоторыми познаниями. Познаний, конечно, не много требовалось, чтобы нас удивить; но он мог судить и о насущных, весьма интересных темах, и, что всего драгоценнее, с замечательною рассудительностью. Упомяну как странность: все у нас, чуть не с первого дня, нашли его чрезвычайно рассудительным человеком. Он был не очень разговорчив, изыщен без изысканности, удивительно скромен и в то же время смел и самоуверен, как у нас никто. Наши франты смотрели на него с завистью и совершенно пред ним стушевывались. Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярк и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, – казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску; впрочем, многое говорили, между прочим, и о чрезвычайной телесной его силе. Росту он был почти высокого. Варвара Петровна смотрела на него с гордостью, но постоянно с беспокойством. Он прожил у нас с полгода – вяло, тихо, довольно угрюмо; являлся в обществе и с неуклонным вниманием исполнял весь наш губернский этикет. Губернатору, по отцу, он был сродни и в доме его принят как близкий родственник. Но прошло несколько месяцев, и вдруг зверь показал свои когти.

Кстати замечу в скобках, что милый, мягкий наш Иван Осипович, бывший наш губернатор, был несколько похож на бабу, но хорошей фамилии и со связями, – чем и объясняется то, что он просидел у нас столько лет, постоянно отмахиваясь руками от всякого дела. По хлебосольству его и гостеприимству ему бы следовало быть предводителем дворянства старого доброго времени, а не губернатором в такое хлопотливое время, как наше. В городе постоянно говорили, что управляет губернией не он, а Варвара Петровна. Конечно, это было едко сказано, но, однако же, – решительная ложь. Да и мало ли было на этот счет потрачено у нас остроумия. Напротив, Варвара Петровна, в последние годы, особенно и сознательно устранила себя от всякого высшего назначения, несмотря на чрезвычайное уважение к ней всего общества, и добровольно заключилась в строгие пределы, ею самую себе поставленные. Вместо высших назначений она вдруг начала заниматься хозяйством и в два-три года подняла доходность своего имения чуть не на прежнюю степень. Вместо прежних поэтических порывов (поездки в Петербург, намерения издавать журнал и пр.) она стала копить и скупиться. Даже Степана Трофимовича отдалила от себя, позволив ему нанимать квартиру в другом доме (о чем тот давно уже приставал к ней сам под разными предложениями). Мало-помалу Степан Трофимович стал называть ее прозаическою женщиной или еще шутивее: «своим прозаическим другом». Разумеется, эти шутки он позволял себе не иначе как в чрезвычайно почтительном виде и долго выбирая удобную минуту.

Все мы, близкие, понимали, – а Степан Трофимович чувствительнее всех нас, – что сын явился пред нею теперь как бы в виде новой надежды и даже в виде какой-то новой мечты. Страсть ее к сыну началась со времени удач его в петербургском обществе и особенно усилилась с той минуты, когда получено было известие о разжаловании его в солдаты. А между тем она очевидно боялась его и казалась пред ним словно рабой. Заметно было, что она боялась чего-то неопределенного, таинственного, чего и сама не могла бы высказать, и много раз неприметно и пристально приглядывалась к Nicolas, что-то соображая и разгадывая... и вот – зверь вдруг выпустил свои когти.

II

Наш принц вдруг, ни с того ни с сего, сделал две-три невозможные дерзости разным лицам, то есть главное именно в том состояло, что дерзости эти совсем неслыханные, совершенно ни на что не похожие, совсем не такие, какие в обыкновенном употреблении, совсем дрянные и мальчишнические, и черт знает для чего, совершенно без всякого повода. Один из почтеннейших старшин нашего клуба, Павел Павлович Гаганов, человек пожилой и даже заслуженный, взял невинную привычку ко всякому слову с азартом приговаривать: «Нет-с, меня не проведут за нос!» Оно и пусть бы. Но однажды в клубе, когда он, по какому-то горячему поводу, проговорил этот афоризм собравшейся около него кучке клубных посетителей (и все людей не последних), Николай Всеволодович, стоявший в стороне один и к которому никто и не обращался, вдруг подошел к Павлу Павловичу, неожиданно, но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и успел протянуть за собою по зале два-три шага. Злобы он не мог иметь никакой на господина Гаганова. Можно было подумать, что это чистое школьничество, разумеется непростительнейшее; и, однако же, рассказывали потом, что он в самое мгновение операции был почти задумчив, «точно как бы с ума сошел»; но это уже долго спустя припомнили и сообразили. Сгоряча все сначала запомнили только второе мгновение, когда он уже наверно все понимал в настоящем виде и не только не смутился, но, напротив, улыбался злобно и весело, «без малейшего раскаяния». Шум поднялся ужаснейший; его окружили. Николай Всеволодович повертывался и посматривал кругом, не отвечая никому и с любопытством приглядываясь к восклицавшим лицам. Наконец, вдруг как будто задумался опять, – так по крайней мере передавали, – нахмурился, твердо подошел к оскорбленному Павлу Павловичу и скороговоркой, с видимою досадой, пробормотал:

– Вы, конечно, извините... Я, право, не знаю, как мне вдруг захотелось... глупость...

Небрежность извинения равнялась новому оскорблению. Крик поднялся еще пуще. Николай Всеволодович пожал плечами и вышел.

Все это было очень глупо, не говоря уже о безобразии – безобразии рассчитанном и умышленном, как казалось с первого взгляда, а стало быть, составлявшем умышленное, до последней степени наглое оскорбление всему нашему обществу. Так и было это всеми понято. Начали с того, что немедленно и единодушно исключили господина Ставрогина из числа членов клуба; затем порешили от лица всего клуба обратиться к губернатору и просить его немедленно (не дожидаясь, пока дело начнется формально судом) обуздать вредного буяна, столичного «бретера, вверенною ему административною властью, и тем оградить спокойствие всего порядочного круга нашего города от вредных посягновений». С злобною невинностию прибавляли при этом, что, «может быть, и на господи-

на Ставрогина найдется какой-нибудь закон». Именно эту фразу приготавливали губернатору, чтоб уколоть его за Варвару Петровну. Размазывали с наслаждением. Губернатора, как нарочно, не случилось тогда в городе; он уехал неподалеку крестить ребенка у одной интересной и недавней вдовы, оставшейся после мужа в интересном положении; но знали, что он скоро воротится. В ожидании же устроили почтенному и обиженному Павлу Павловичу целую овацию: обнимали и целовали его; весь город перебивал у него с визитом. Проектировали даже в честь его по подписке обед, и только по усиленной его же просьбе оставили эту мысль, — может быть, смекнув наконец, что человека все-таки протащили за нос и что, стало быть, очень-то уж торжествовать нечего.

И, однако, как же это случилось? Как могло это случиться? Замечательно именно то обстоятельство, что никто у нас, в целом городе, не приписал этого дикого поступка сумасшествию. Значит, от Николая Всеволодовича, и от умного, наклонны были ожидать таких же поступков. С своей стороны, я даже до сих пор не знаю, как объяснить, несмотря даже на вскоре последовавшее событие, казалось бы все объяснившее и всех, по-видимому, умиротворившее. Прибавлю тоже, что четыре года спустя Николай Всеволодович на мой осторожный вопрос насчет этого прошедшего случая в клубе ответил нахмурившись: «Да, я был тогда не совсем здоров». Но забегать вперед нечего.

Любопытен был для меня и тот взрыв всеобщей ненависти, с которою все у нас накинулись тогда на «буяна и столичного бретера». Непременно хотели видеть наглый умысел и рассчитанное намерение разом оскорбить все общество. Подлинно не угодил человек никому и, напротив, всех вооружил, — а чем бы, кажется? До последнего случая он ни разу ни с кем не поссорился и никого не оскорбил, а уж вежлив был так, как кавалер с модной картинки, если бы только тот мог заговорить. Полагаю, что за гордость его ненавидели. Даже наши дамы, начавшие обожанием, вопили теперь против него еще пуще мужчин.

Варвара Петровна была ужасно поражена. Она призналась потом Степану Трофимовичу, что все это она давно предугадывала, все эти полгода каждый день, и даже именно в «этом самом роде» — признание замечательное со стороны родной матери. «Началось!» — подумала она содрогаясь. На другое утро после рокового вечера в клубе она приступила, осторожно, но решительно, к объяснению с сыном, а между тем вся так и трепетала, бедная, несмотря на решимость. Она всю ночь не спала и даже ходила рано утром совещаться к Степану Трофимовичу и у него заплакала, чего никогда еще с нею при людях не случалось. Ей хотелось, чтобы Nicolas по крайней мере хоть что-нибудь ей сказал, хоть объясниться бы удостоил. Nicolas, всегда столь вежливый и почтительный с матерью, слушал ее некоторое время насупившись, но очень серьезно; вдруг встал, не ответив ни слова, поцеловал у ней ручку и вышел. А в тот же день, вечером, как нарочно, подоспел и другой скандал, хотя и гораздо послабее и пообыкновеннее первого, но тем не менее, благодаря всеобщему настроению, весьма усиливший городские вопли.

Именно подвернулся наш приятель Липутин. Он явился к Николаю Всеволодовичу тотчас после объяснения того с мамашей и убедительно просил его сделать честь пожаловать к нему в тот же день на вечеринку по поводу дня рождения его жены. Варвара Петровна уже давно с содроганием смотрела на такое низкое направление знакомств Николая Всеволодовича, но заметить ему ничего не смела на этот счет. Он уже и кроме того завел несколько знакомств в этом третьестепенном слое нашего общества и даже еще ниже, — но уж такую имел наклонность. У Липутина же в доме до сих пор еще не был, хотя с ним самим и встречался. Он угадал, что Липутин зовет его теперь вследствие вчерашнего

скандала в клубе и что он, как местный либерал, от этого скандала в восторге, искренно думает, что так и надо поступать с клубными старшинами и что это очень хорошо. Николай Всеволодович рассмеялся и обещал приехать.

Гостей набралось множество; народ был неказистый, но разбитной. Самолюбивый и завистливый Липутин всего только два раза в год созывал гостей, но уж в эти разы не скупился. Самый почетнейший гость, Степан Трофимович, по болезни не приехал. Подавали чай, стояла обильная закуска и водка; играли на трех столах, а молодежь в ожидании ужина затеяла под фортепиано танцы. Николай Всеволодович поднял мадам Липутину – чрезвычайно хорошенькую дамочку, ужасно пред ним робевшую, – сделал с нею два тура, уселся подле, разговаривал, рассмешил ее. Заметив наконец, какая она хорошенькая, когда смеется, он вдруг, при всех гостях, обхватил ее за талию и поцеловал в губы, раза три сряду, в полную сласть. Испуганная бедная женщина упала в обморок. Николай Всеволодович взял шляпу, подошел к оторопевшему среди всеобщего смятения супругу, глядя на него, сконфузился и сам и, пробормотав ему наскоро: «Не сердитесь», вышел. Липутин побежал за ним в переднюю, собственноручно подал ему шубу и с поклонами проводил с лестницы. Но завтра же как раз подоспело довольно забавное прибавление к этой, в сущности невинной, истории, говоря сравнительно, – прибавление, доставившее с тех пор Липутину некоторый даже почет, которым он и сумел воспользоваться в полную свою выгоду.

Часов в десять утра в доме госпожи Ставрогиной явилась работница Липутина, Агафья, развязная, бойкая и румяная бабенка, лет тридцати, посланная им с поручением к Николаю Всеволодовичу и непременно желавшая «повидать их самих-с». У него очень болела голова, но он вышел. Варваре Петровне удалось присутствовать при передаче поручения.

– Сергей Васильич (то есть Липутин), – бойко затараторила Агафья, – перво-наперво приказали вам очень кланяться и о здоровье спросить-с, как после вчерашнего изволили почивать и как изволите теперь себя чувствовать, после вчерашнего-с?

Николай Всеволодович усмехнулся.

– Кланяйся и благодари, да скажи ты своему барину от меня, Агафья, что он самый умный человек во всем городе.

– А они против этого приказали вам отвечать-с, – еще бойчее подхватила Агафья, – что они и без вас про то знают и вам того же желают.

– Вот! да как он мог узнать про то, что я тебе скажу?

– Уж не знаю, каким это манером узнали-с, а когда я вышла и уж весь проулок прошла, слышу, они меня догоняют без картуза-с: «Ты, говорят, Агафьюшка, если, по отчаянии, прикажут тебе: «Скажи, дескать, своему барину, что он умней во всем городе», так ты им тотчас на то не забудь: «Сами очень хорошо про то знаем-с и вам того же самого желаем-с...»

III

Наконец произошло объяснение и с губернатором. Милый, мягкий наш Иван Осипович только что воротился и только что успел выслушать горячую клубную жалобу. Без сомнения, надо было что-нибудь сделать, но он смутился. Гостеприимный наш старичок тоже как будто побаивался своего молодого родственника. Он решился, однако, склонить его извиниться пред клубом и пред обиженным, но в удовлетворительном виде, и если потребуется, то и письменно; а затем мягко уговорить его нас оставить, уехав, например, для любознатель-

ности в Италию и вообще куда-нибудь за границу. В зале, куда вышел он принять на этот раз Николая Всеволодовича (в другие разы прогуливавшегося, на правах родственника, по всему дому невозбранно), воспитанный Алеша Телятников, чиновник, а вместе с тем и домашний у губернатора человек, распечатывал в углу у стола пакеты; а в следующей комнате, у ближайшего к дверям залы окна, поместился один заезжий, толстый и здоровый полковник, друг и бывший сослуживец Ивана Осиповича, и читал «Голос», разумеется не обращая никакого внимания на то, что происходило в зале; даже и сидел спиной. Иван Осипович заговорил отдаленно, почти шепотом, но все несколько путался. Nicolas смотрел очень нелюбезно, совсем не по-родственному, был бледен, сидел потупившись и слушал сдвинув брови, как будто преодолевая сильную боль.

– Сердце у вас доброе, Nicolas, и благородное, – включил, между прочим, старичок, – человек вы образованнейший, вращались в кругу высшем, да и здесь доселе держали себя образцом и тем успокоили сердце дорогой нам всем матушки вашей... И вот теперь все опять является в таком загадочном и опасном для всех колорите! Говорю как друг вашего дома, как искренно любящий вас пожилой и вам родной человек, от которого нельзя обижаться... Скажите, что побуждает вас к таким необузданным поступкам, вне всяких принятых условий и мер? Что могут означать такие выходы, подобно как в бреду?

Nicolas слушал с досадой и с нетерпением. Вдруг как бы что-то хитрое и насмешливое промелькнуло в его взгляде.

– Я вам, пожалуй, скажу, что побуждает, – угрюмо проговорил он и, оглядевшись, наклонился к уху Ивана Осиповича. Воспитанный Алеша Телятников отдалился еще шага на три к окну, а полковник кашлянул за «Голосом». Бедный Иван Осипович поспешно и доверчиво протянул свое ухо; он до крайности был любопытен. И вот тут-то и произошло нечто совершенно невозможное, а с другой стороны, и слишком ясное в одном отношении. Старичок вдруг почувствовал, что Nicolas, вместо того чтобы прошептать ему какой-нибудь интересный секрет, вдруг прихватил зубами и довольно крепко стиснул в них верхнюю часть его уха. Он задрожал, и дух его прервался.

– Nicolas, что за шутки! – простонал он машинально, не своим голосом.

Алеша и полковник еще не успели ничего понять, да им и не видно было и до конца казалось, что те шепчутся; а между тем отчаянное лицо старика их тревожило. Они смотрели выпуча глаза друг на друга, не зная, броситься ли им на помощь, как было условлено, или еще подождать. Nicolas заметил, может быть, это и притиснул ухо побольнее.

– Nicolas, Nicolas! – простонала опять жертва, – ну... пошутил, и довольно...

Еще мгновение, и, конечно, бедный умер бы от испуга; но изверг помиловал и выпустил ухо. Весь этот смертный страх продолжался с полную минуту, и со стариком после того приключился какой-то припадок. Но через полчаса Nicolas был арестован и отведен, покамест, на гауптвахту, где и заперт в особую каморку, с особым часовым у дверей. Решение было резкое, но наш мягкий начальник до того рассердился, что решил взять на себя ответственность даже пред самой Варварой Петровной. Ко всеобщему изумлению, этой даме, поспешно и в раздражении прибывшей к губернатору для немедленных объяснений, было отказано у крыльца в приеме; с тем она и отправилась, не выходя из кареты, обратно домой, не веря самой себе.

И наконец-то все объяснилось! В два часа пополудни арестант, дотеле удивительно спокойный и даже заснувший, вдруг зашумел, стал неистово бить кулаками в дверь, с неестественною силой оторвал от оконца в дверях

железную решетку, разбил стекло и изрезал себе руки. Когда караульный офицер прибежал с командой и ключами и велел отпереть каземат, чтобы броситься на взбесившегося и связать его, то оказалось, что тот был в сильнейшей белой горячке; его перевезли домой к мамаше. Все разом объяснилось. Все три наши доктора дали мнение, что и за три дня пред сим больной мог уже быть как в бреду и хотя и владел, по-видимому, сознанием и хитростию, но уже не здравым рассудком и волей, что, впрочем, подтверждалось и фактами. Выходило таким образом, что Липутин раньше всех догадался. Иван Осипович, человек деликатный и чувствительный, очень сконфузился; но любопытно, что и он считал, стало быть, Николая Всеволодовича способным на всякий сумасшедший поступок в полном рассудке. В клубе тоже устыдились и недоумевали, как это они все слона не заметили и упустили единственное возможное объяснение всем чудесам. Явились, разумеется, и скептики, но продержались не долго.

Nicolas пролежал с лишком два месяца. Из Москвы был выписан известный врач для консилиума; весь город посетил Варвару Петровну. Она простила. Когда, к весне, Nicolas совсем уже выздоровел и, без всякого возражения, согласился на предложение мамашы съездить в Италию, то она же и упросила его сделать всем у нас прощальные визиты и при этом, сколько возможно и где надо, извиниться. Nicolas согласился с большою охотой. В клубе известно было, что он имел с Павлом Павловичем Гагановым деликатнейшее объяснение у того в доме, которым тот остался совершенно доволен. Разъезжая по визитам, Nicolas был очень серьезен и несколько даже мрачен. Все приняли его, по-видимому, с полным участием, но все почему-то конфузились и рады были тому, что он уезжает в Италию. Иван Осипович даже прослезился, но почему-то не решился обнять его даже и при последнем прощании. Право, некоторые у нас так и остались в уверенности, что негодяй просто насмеялся над всеми, а болезнь – это что-нибудь так. Заехал он и к Липутину.

– Скажите, – спросил он его. – каким образом вы могли заране угадать то, что я скажу о вашем уме, и снабдить Агафью ответом?

– А таким образом, – засмеялся Липутин, – что ведь и я вас за умного человека почитаю, а потому и ответ ваш заране мог предугадать.

– Все-таки замечательное совпадение. Но, однако, позвольте: вы, стало быть, за умного же человека меня почитали, когда присылали Агафью, а не за сумасшедшего?

– За умнейшего и за рассудительнейшего, а только вид такой подал, будто верю про то, что вы не в рассудке... Да и сами вы о моих мыслях немедленно тогда догадались и мне, чрез Агафью, патент на остроумие выслали.

– Ну, тут вы немного ошибаетесь; я в самом деле... был нездоров... – пробормотал Николай Всеволодович, нахмурившись. – Ба! – вскричал он, – да неужели вы и в самом деле думаете, что я способен бросаться на людей в полном рассудке? Да для чего же бы это?

Липутин скрючился и не сумел ответить. Nicolas несколько побледнел или так только показалось Липутину.

– Во всяком случае, у вас очень забавное настроение мыслей, – продолжал Nicolas, – а про Агафью я, разумеется, понимаю, что вы ее обругать меня присылали.

– Не на дуэль же было вас вызывать-с?

– Ах да, бишь! Я ведь слышал что-то, что вы дуэли не любите...

– Что с французского-то переводить! – опять скрючился Липутин.

– Народности придерживаетесь?

Липутин еще более скрючился.

– Ба, ба! что я вижу! – вскричал Nicolas, вдруг заметив на самом видном месте, на столе, том Консидерана. – Да уж не фурьерист ли вы? Ведь чего доброго! Так разве это не тот же перевод с французского? – засмеялся он, стуча пальцами в книгу.

– Нет, это не с французского перевод! – с какою-то даже злобой привскочил Липутин, – это со всемирно-человеческого языка будет перевод-с, а не с одного только французского! С языка всемирно-человеческой социальной республики и гармонии, вот что-с! А не с французского одного!..

– Фу, черт, да такого и языка совсем нет! – продолжал смеяться Nicolas.

Иногда даже мелочь поражает исключительно и надолго внимание. О господине Ставрогине вся главная речь впереди; но теперь отмечу, ради курьеза, что из всех впечатлений его, за все время, проведенное им в нашем городе, всего резче отпечаталась в его памяти невзрачная и чуть не подленькая фигурка губернского чиновничика, ревнивца и семейного грубого деспота, скряги и процентщика, запиравшего остатки от обеда и огарки на ключ, и в то же время яростного сектатора Бог знает какой будущей «социальной гармонии», упивавшегося по ночам восторгами пред фантастическими картинами будущей фаланстеры, в ближайшее осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в свое собственное существование. И это там, где сам же он скопил себе «домишко», где во второй раз женился и взял за женой деньжонки, где, может быть, на сто верст кругом не было ни одного человека, начиная с него первого, хоть бы с виду только похожего на будущего члена «всемирно-общечеловеческой социальной республики и гармонии».

«Бог знает как эти люди делаются!» – думал Nicolas в недоумении, припоминая иногда неожиданного фурьериста.

IV

Наш принц путешествовал три года с лишком, так что в городе почти о нем позабыли. Нам же известно было чрез Степана Трофимовича, что он изъездил всю Европу, был даже в Египте и заезжал в Иерусалим; потом примазался где-то к какой-то ученой экспедиции в Исландию и действительно побывал в Исландии. Передавали тоже, что он одну зиму слушал лекции в одном немецком университете. Он мало писал к матери – раз в полгода и даже реже; но Варвара Петровна не сердилась и не обижалась. Раз установившиеся отношения с сыном она приняла безропотно и с покорностью, но, уж конечно, каждый день во все эти три года беспокоилась, тосковала и мечтала о своем Nicolas непрерывно. Ни мечтаний, ни жалоб своих не сообщала никому. Даже от Степана Трофимовича, по-видимому, несколько отдалилась. Она создавала какие-то планы про себя и, кажется, сделалась еще скупее, чем прежде, и еще пуще стала копить и сердиться за карточные проигрыши Степана Трофимовича.

Наконец, в апреле нынешнего года она получила письмо из Парижа, от генеральши Прасковьи Ивановны Дроздовой, подруги своего детства. В письме своем Прасковья Ивановна, – с которою Варвара Петровна не видалась и не переписывалась лет уже восемь, – уведомляла ее, что Николай Всеволодович коротко сошелся с их домом и подружился с Лизой (единственной ее дочерью) и намерен сопровождать их летом в Швейцарию, в Vernex-Montreux, несмотря на то что в семейство графа К... (весьма влиятельного в Петербурге лица), пребывающего теперь в Париже, принят как родной сын, так что почти живет у графа. Письмо было краткое и обнаруживало ясно свою цель, хотя, кроме вышеозна-

ченных фактов, никаких выводов не заключало. Варвара Петровна долго не думала, мигом решила и собралась, захватила с собою свою воспитанницу Дашу (сестру Шатова) и в половине апреля покатила в Париж и потом в Швейцарию. Воротилась она в июле одна, оставив Дашу у Дроздовых; сами же Дроздовы, по привезенному ею известию, обещали явиться к нам в конце августа.

Дроздовы были тоже помещики нашей губернии, но служба генерала Ивана Ивановича (бывшего приятеля Варвары Петровны и сослуживца ее мужа) постоянно мешала им навестить когда-нибудь их великолепное поместье. По смерти же генерала, приключившейся в прошлом году, неутешная Прасковья Ивановна отправилась с дочерью за границу, между прочим и с намерением употребить виноградное лечение, которое и располагала совершить в Vernex-Montreux во вторую половину лета. По возвращении же в отечество намеревалась поселиться в нашей губернии навсегда. В городе у нее был большой дом, много уже лет стоявший пустым, с заколоченными окнами. Люди были богатые. Прасковья Ивановна, в первом супружестве госпожа Тушина, была, как и пансионская подруга ее Варвара Петровна, тоже дочерью откупщика прошедшего времени и тоже вышла замуж с большим приданым. Отставной штаб-ротмистр Тушин и сам был человек со средствами и с некоторыми способностями. Умирая, он завещал своей семилетней и единственной дочери Лизе хороший капитал. Теперь, когда Лизавете Николаевне было уже около двадцати двух лет, за нею смело можно было считать до двухсот тысяч рублей одних ее собственных денег, не говоря уже о состоянии, которое должно было ей достаться со временем после матери, не имевшей детей во втором супружестве. Варвара Петровна была, по видимому, весьма довольна своею поездкой. По ее мнению, она успела сговориться с Прасковьей Ивановной удовлетворительно и тотчас же по приезде сообщила все Степану Трофимовичу; даже была с ним весьма экспансивна, что давно уже с нею не случалось.

— Ура! — вскричал Степан Трофимович и прищелкнул пальцами.

Он был в полном восторге, тем более что все время разлуки с своим другом провел в крайнем унынии. Уезжая за границу, она даже с ним не простилась как следует и ничего не сообщила из своих планов «этой бабе», опасаясь, может быть, чтоб он чего не разболтал. Она сердилась на него тогда за значительный карточный проигрыш, внезапно обнаружившийся. Но еще в Швейцарии почувствовала сердцем своим, что брошенного друга надо по возвращении вознаградить, тем более что давно уже сурово с ним обходилась. Быстрая и таинственная разлука поразила и истерзала робкое сердце Степана Трофимовича, и, как нарочно, разом подошли и другие недоумения. Его мучило одно весьма значительное и давнишнее денежное обязательство, которое без помощи Варвары Петровны никак не могло быть удовлетворено. Кроме того, в мае нынешнего года окончилось наконец губернаторствование нашего доброго, мягкого Ивана Осиповича; его сменили, и даже с неприятностями. Затем, в отсутствие Варвары Петровны, произошел и въезд нашего нового начальника, Андрея Антоновича фон Лембке; вместе с тем тотчас же началось и заметное изменение в отношениях почти всего нашего губернского общества к Варваре Петровне, а стало быть, и к Степану Трофимовичу. По крайней мере, он уже успел собрать несколько неприятных, хотя и драгоценных наблюдений и, кажется, очень оробел один без Варвары Петровны. Он с волнением подозревал, что о нем уже донесли новому губернатору, как о человеке опасном. Он узнал положительно, что некоторые из наших дам намеревались прекратить к Варваре Петровне визиты. О будущей губернаторше (которую ждали у нас только

к осени) повторяли, что она хотя, слышно, и гордячка, но зато уже настоящая аристократка, а не то что «какая-нибудь наша несчастная Варвара Петровна». Всем откудова-то было достоверно известно с подробностями, что новая губернаторша и Варвара Петровна уже встречались некогда в свете и расстались враждебно, так что одно уже напоминание о госпоже фон Лембке производит будто бы на Варвару Петровну впечатление болезненное. Бодрый и победоносный вид Варвары Петровны, презрительное равнодушие, с которым она выслушала о мнениях наших дам и о волнении общества, воскресили упавший дух робевшего Степана Трофимовича и мигом развеселили его. С особенным, радостно-угодливым юмором стал было он ей расписывать про въезд нового губернатора.

– Вам, *excellente amie*¹, без всякого сомнения известно, – говорил он, кокетничая и шегольски растягивая слова, – что такое значит русский администратор, говоря вообще, и что значит русский администратор внове, то есть нововыпеченный, новопоставленный... *Ces interminables mots russes!*² Но вряд ли могли вы узнать практически, что такое значит административный восторг и какая именно это штука?

– Административный восторг? Не знаю, что такое.

– То есть... *Vous savez, cher nous...* *En un mot*³, поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет, *pour vous montrer son pouvoir*⁴. «Дайка, дескать, я покажу над тобою мою власть...» И это в них до административного восторга доходит... *En un mot*, я вот прочел, что какой-то дьячок в одной из наших заграничных церквей, – *mais c'est très curieux*⁵, – выгнал, то есть выгнал буквально, из церкви одно замечательное английское семейство, *les dames charmantes*⁶, пред самым началом великопостного богослужения, – *vous savez ces chants et le Livre de Jov...*⁷ – единственно под тем предлогом, что «шататься иностранцам по русским церквям есть непорядок и чтобы приходили в показанное время...», и довел до обморока... Этот дьячок был в припадке административного восторга, *et il a montré son pouvoir*...⁸

– Сократите, если можете, Степан Трофимович.

– Господин фон Лембке поехал теперь по губернии. *En un mot*, этот Андрей Антонович, хотя и русский немец православного исповедания и даже – уступлю ему это – замечательно красивый мужчина, из сорокалетних...

– С чего вы взяли, что красивый мужчина? У него бараньи глаза.

– В высшей степени. Но уж я уступаю, так и быть, мнению наших дам...

– Перейдемте, Степан Трофимович, прошу вас! Кстати, вы носите красные галстуки, давно ли?

– Это я... я только сегодня...

– А делаете ли вы ваш моцион? Ходите ли ежедневно по шести верст прогуливаться, как вам предписано доктором?

¹ добрейший друг (*фр.*).

² Эти нескончаемые русские слова!.. (*фр.*)

³ Вы знаете, у нас... Одним словом (*фр.*).

⁴ чтоб показать вам свою власть (*фр.*).

⁵ однако это весьма любопытно (*фр.*).

⁶ прелестных дам (*фр.*).

⁷ вы знаете эти псалмы и Книгу Иова... (*фр.*)

⁸ и он показал свою власть... (*фр.*)

– Не... не всегда.

– Так я и знала! Я в Швейцарии еще это предчувствовала! – раздражительно вскричала она. – Теперь вы будете не по шести, а по десяти верст ходить! Вы ужасно опустились, ужасно, уж-жасно! Вы не то что постарели, вы одряхлели... вы поразили меня, когда я вас увидела давеча, несмотря на ваш красный галстук... *quelle idée rouge!*¹ Продолжайте о фон Лембке, если в самом деле есть что сказать, и кончите когда-нибудь, прошу вас; я устала.

– *En un mot*, я только ведь хотел сказать, что это один из тех начинающих в сорок лет администраторов, которые до сорока лет прозябают в ничтожестве и потом вдруг выходят в люди посредством внезапно приобретенной супруги или каким-нибудь другим, не менее отчаянным средством... То есть он теперь уехал... то есть я хочу сказать, что про меня тотчас же нашептали в оба уха, что я развратитель молодежи и рассадник губернского атеизма... Он тотчас же начал справляться.

– Да правда ли?

– Я даже меры принял. Когда про вас «до-ло-жили», что вы «управляли губернией», *vous savez?*² – он позволил себе выразиться, что «подобного более не будет».

– Так и сказал?

– Что «подобного более не будет», и *avec cette morgue*...³ Супругу, Юлию Михайловну, мы узрим здесь в конце августа, прямо из Петербурга.

– Из-за границы. Мы там встретились.

– *Vraiment?*⁴

– В Париже и в Швейцарии. Она Дроздовым родня.

– Родня? Какое замечательное совпадение! Говорят, честолюбива и... с большими будто бы связями?

– Вздор, связишки! До сорока пяти лет просидела в девках без копейки, а теперь выскочила за своего фон Лембке, и, конечно, вся ее цель теперь его в люди вытащить. Оба интриганы.

– И, говорят, двумя годами старше его?

– Пятью. Мать ее в Москве хвост обшлепала у меня на пороге; на балы ко мне, при Всеволоде Николаевиче, как из милости напрашивалась. А эта, бывало, всю ночь одна в углу сидит без танцев, со своею бирюзовою мухой на лбу, так что я уж в третьем часу, только из жалости, ей первого кавалера посылаю. Ей тогда двадцать пять лет уже было, а ее все как девчонку в коротеньком платьице вывозили. Их пускать к себе стало неприлично.

– Эту муху я точно вижу.

– Я вам говорю, я приехала и прямо на интригу наткнулась. Вы ведь читали сейчас письмо Дроздовой, что могло быть яснее? Что же застаю? Сама же эта дура Дроздова, – она всегда только дурой была, – вдруг смотрит вопросительно: зачем, дескать, я приехала? Можете представить, как я была удивлена! Гляжу, а тут финтит эта Лембке и при ней этот кузен, старика Дроздова племянник, – все ясно! Разумеется, я мигом все переделала, и Прасковья опять на моей стороне, но интрига, интрига.

– Которую вы, однако же, победили. О, вы Бисмарк!

¹ что за дикая выдумка! (*фр.*)

² вы знаете (*фр.*).

³ с таким высокомерием... (*фр.*)

⁴ Неужели? (*фр.*)

– Не будучи Бисмарком, я способна, однако же, рассмотреть фальшь и глупость, где встречу. Лембке – это фальшь, а Прасковья – глупость. Редко я встречала более раскисшую женщину, и вдобавок ноги распухли, и вдобавок добра. Что может быть глупее глупого добряка?

– Злой дурак, та *bonne amie*¹, злой дурак еще глупее, – благородно оппонировал Степан Трофимович.

– Вы, может быть, и правы, вы ведь Лизу помните?

– *Charmente enfant*!²

– Но теперь уже не *enfant*, а женщина, и женщина с характером. Благородная и пылкая, и люблю в ней, что матери не спускает, доверчивой дуре. Тут из-за этого кузена чуть не вышла история.

– Ба, да ведь и в самом деле он Лизавете Николаевне совсем не родня... Види, что ли, имеет?

– Видите, это молодой офицер, очень неразговорчивый, даже скромный. Я всегда желаю быть справедливою. Мне кажется, он сам против всей этой интриги и ничего не желает, а финтила только Лембке. Очень уважал *Nicolas*. Вы понимаете, все дело зависит от Лизы, но я ее в превосходных отношениях к *Nicolas* оставила, и он сам обещался непременно приехать к нам в ноябре. Стало быть, интригует тут одна Лембке, а Прасковья только слепая женщина. Вдруг говорит мне, что все мои подозрения – фантазия; я в глаза ей отвечаю, что она дура. Я на Страшном суде готова подтвердить. И если бы не просьба *Nicolas*, чтоб я оставила до времени, то я бы не уехала оттуда, не обнаружив эту фальшивую женщину. Она у графа К. чрез *Nicolas* заискивала, она сына с матерью хотела разделить. Но Лиза на нашей стороне, а с Прасковьей я сговорилась. Вы знаете, ей Кармазинов родственник?

– Как? Родственник мадам фон Лембке?

– Ну да, ей. Дальний.

– Кармазинов, нувеллист?

– Ну да, писатель, чего вы удивляетесь? Конечно, он сам себя почитает великим. Надутая тварь! Она с ним вместе приедет, а теперь там с ним носит. Она намерена что-то завести здесь, литературные собрания какие-то. Он на месяц приедет, последнее имение продавать здесь хочет. Я чуть было не встретила с ним в Швейцарии и очень того не желала. Впрочем, надеюсь, что меня-то он удостоит узнать. В старину ко мне письма писал, в доме бывал. Я бы желала, чтобы вы получше одевались, Степан Трофимович; вы с каждым днем становитесь так неряшливы... О, как вы меня мучаете! Что вы теперь читаете?

– Я... я...

– Понимаю. По-прежнему приятели, по-прежнему попойки, клуб и карты, и репутация атеиста. Мне эта репутация не нравится, Степан Трофимович. Я бы не желала, чтобы вас называли атеистом, особенно теперь не желала бы. Я и прежде не желала, потому что ведь все это одна только пустая болтовня. Надо же наконец сказать.

– *Mais, ma chère*...³

– Слушайте, Степан Трофимович, во всем ученом я, конечно, пред вами невежда, но я ехала сюда и много о вас думала. Я пришла к одному убеждению.

¹ мой добрый друг (*фр.*).

² Прелестное дитя! (*фр.*)

³ Но, моя милая... (*фр.*)

– К какому же?

– К такому, что не мы одни с вами умнее всех на свете, а есть и умнее нас.

– И остроумно и метко. Есть умнее, значит, есть и правее нас, стало быть, и мы можем ошибаться, не так ли? Mais, ma bonne amie, положим, я ошибусь, но ведь имею же я мое всечеловеческое, всегдашнее, верховное право свободной совести? Имею же я право не быть ханжой и изувером, если того хочу, а за это, естественно, буду разными господами ненавидим до скончания века. Et puis, comme on trouve toujours plus de moines que de rasion¹, и так как я совершенно с этим согласен...

– Как, как вы сказали?

– Я сказал: on trouve toujours plus de moines que de rasion, и так как я с этим...

– Это, верно, не ваше; вы, верно, откудова-нибудь взяли?

– Это Паскаль сказал.

– Так я и думала... что не вы! Почему вы сами никогда так не скажете, так коротко и метко, а всегда так длинно тянете? Это гораздо лучше, чем давеча про административный восторг...

– Ma foi, chère...² почему? Во-первых, потому, вероятно, что я все-таки не Паскаль, et puis...³ во-вторых, мы, русские, ничего не умеем на своем языке сказать... По крайней мере, до сих пор ничего еще не сказали...

– Гм! Это, может быть, и неправда. По крайней мере, вы бы записывали и запоминали такие слова, знаете, в случае разговора... Ах, Степан Трофимович, я с вами серьезно, серьезно ехала говорить!

– Chère, chère amie!⁴

– Теперь, когда все эти Лембки, все эти Кармазиновы... О Боже, как вы опустились! О, как вы меня мучаете!.. Я бы желала, чтоб эти люди чувствовали к вам уважение, потому что они пальца вашего, вашего мизинца не стоят, а вы как себя держите? Что они увидят? Что я им покажу? Вместо того чтобы благородно стоять свидетельством, продолжать собою пример, вы окружаете себя какою-то сволочью, вы приобрели какие-то невозможные привычки, вы одряхлели, вы не можете обойтись без вина и без карт, вы читаете одного только Поль де Кока и ничего не пишете, тогда как все они там пишут; все ваше время уходит на болтовню. Можно ли, позволительно ли дружить с такою сволочью, как ваш неразлучный Липутин?

– Почему же он *мой* и *неразлучный*? – робко протестовал Степан Трофимович.

– Где он теперь? – строго и резко продолжала Варвара Петровна.

– Он... он вас беспредельно уважает и уехал в С – к, после матери получить наследство.

– Он, кажется, только и делает, что деньги получает. Что Шатов? Все то же?

– Irascible, mais bon⁵.

– Терпеть не могу вашего Шатова; и зол, и о себе много думает!

– Как здоровье Дарьи Павловны?

– Вы это про Дашу? Что это вам вздумалось? – любопытно поглядела на него Варвара Петровна. – Здорова, у Дроздовых оставила... Я в Швейцарии что-то про вашего сына слышала, дурное, а не хорошее.

¹ И затем, так как монахов всегда встречаешь чаще, чем здравый смысл (фр.).

² Право же, дорогая... (фр.)

³ и затем... (фр.)

⁴ Милый, милый друг! (фр.)

⁵ Раздражителен, но добр (фр.).

– Oh, c'est une histoire bien bête! Je vous attendais, ma bonne amie, pour vous raconter...¹

– Довольно, Степан Трофимович, дайте покой; измучилась. Успею наговориться, особенно про дурное. Вы начинаете брызгаться, когда засмеетесь, это уже дряхлость какая-то! И как странно вы теперь стали смеяться... Боже, сколько у вас накопилось дурных привычек! Кармазинов к вам не поедет! А тут и без того всему рады... Вы всего себя теперь обнаружили. Ну довольно, довольно, устала! Можно же, наконец, пощадить человека!

Степан Трофимович «пощадил человека», но удалился в смущении.

V

Дурных привычек действительно завелось у нашего друга немало, особенно в самое последнее время. Он видимо и быстро опустился, и это правда, что он стал неряшлив. Пил больше, стал слезливее и слабее нервами; стал уж слишком чуток к изящному. Лицо его получило странную способность изменяться необыкновенно быстро, с самого, например, торжественного выражения на самое смешное и даже глупое. Не выносил одиночества и беспрерывно жаждал, чтоб его поскорее развлекли. Надо было непременно рассказать ему какую-нибудь сплетню, городской анекдот, и притом ежедневно новое. Если же долго никто не приходил, то он тоскливо бродил по комнатам, подходил к окну, в задумчивости жевал губами, вздыхал глубоко, а под конец чуть не хныкал. Он все что-то предчувствовал, боялся чего-то, неожиданного, неминуемого; стал пуглив; стал большое внимание обращать на сны.

Весь день этот и вечер провел он чрезвычайно грустно, послал за мной, очень волновался, долго говорил, долго рассказывал, но все довольно бессвязно. Варвара Петровна давно уже знала, что он от меня ничего не скрывает. Мне показалось, наконец, что его заботит что-то особенное и такое, чего, пожалуй, он и сам не может представить себе. Обыкновенно прежде, когда мы сходились наедине и он начинал мне жаловаться, то всегда почти, после некоторого времени, приносилась бутылочка и становилось гораздо утешнее. В этот раз вина не было, и он видимо подавлял в себе неоднократное желание послать за ним.

– И чего она все сердится! – жаловался он поминутно, как ребенок. – Tous les hommes de génie et de progrès en Russie étaient, sont et seront toujours des картежники et des пьяницы, qui boivent en zapoi...² а я еще вовсе не такой картежник и не такой пьяница... Укоряет, зачем я ничего не пишу? Странная мысль!.. Зачем я лежу? Вы, говорит, должны стоять «примером и укоризной». Mais, entre nous soit dit³, что же и делать человеку, которому предназначено стоять «укоризной», как не лежать, – знает ли она это?

И, наконец, разъяснилась мне та главная, особенная тоска, которая так неотвязчиво в этот раз его мучила. Много раз в этот вечер подходил он к зеркалу и подолгу пред ним останавливался. Наконец повернулся от зеркала ко мне и с каким-то странным отчаянием проговорил:

– Mon cher, je suis un⁴ опустившийся человек!

¹ О, это довольно глупая история! Я вас ожидал, мой добрый друг, чтобы вам рассказать... (фр.)

² Все одаренные и передовые люди в России были, есть и будут всегда картежники и пьяницы, которые пьют запоем... (фр.)

³ Но, между нами говоря (фр.).

⁴ Мой милый, я (фр.).

Да, действительно, до сих пор, до самого этого дня, он в одном только оставался постоянно уверенным, несмотря на все «новые взгляды» и на все «перемены идей» Варвары Петровны, именно в том, что он все еще обворожителен для ее женского сердца, то есть не только как изгнанник или как славный ученый, но и как красивый мужчина. Двадцать лет коренилось в нем это льстивое и успокоительное убеждение, и, может быть, из всех его убеждений ему всего тяжелее было бы расстаться с этим. Предчувствовал ли он в тот вечер, какое колоссальное испытание готовилось ему в таком близком будущем?

VI

Приступлю теперь к описанию того отчасти забавного случая, с которого, по-настоящему, и начинается моя хроника.

В самом конце августа возвратились наконец и Дроздовы. Появление их немногим предшествовало приезду давно ожидаемой всем городом родственницы их, нашей новой губернаторши, и вообще произвело замечательное впечатление в обществе. Но обо всех этих любопытных событиях скажу после; теперь же ограничусь лишь тем, что Прасковья Ивановна привезла так нетерпеливо ожидавшей ее Варваре Петровне одну самую хлопотливую загадку: Nicolas расстался с ними еще в июле и, встретив на Рейне графа К., отправился с ним и с семейством его в Петербург. (NB. У графа все три дочери невесты.)

— От Лизаветы, по гордости и по строптивости ее, я ничего не добилась, — заключила Прасковья Ивановна, — но видела своими глазами, что у ней с Николаем Всеволодовичем что-то произошло. Не знаю причин, но, кажется, придется вам, друг мой Варвара Петровна, спросить о причинах вашу Дарью Павловну. По-моему, так Лиза была обижена. Рада-радешенька, что привезла вам наконец вашу фаворитку и сдаю с рук на руки: с плеч долой.

Произнесены были эти ядовитые слова с замечательным раздражением. Видно было, что «раскисшая женщина» заранее их приготовила и вперед наслаждалась их эффектом. Но не Варвару Петровну можно было озадачивать сентиментальными эффектами и загадками. Она строго потребовала самых точных и удовлетворительных объяснений. Прасковья Ивановна немедленно понизила тон и даже кончила тем, что расплакалась и пустилась в самые дружеские излияния. Эта раздражительная, но сентиментальная дама, тоже как и Степан Трофимович, непрерывно нуждалась в истинной дружбе, и главнейшая ее жалоба на дочь ее, Лизавету Николаевну, состояла именно в том, что «дочь ей не друг».

Но из всех ее объяснений и излияний оказалось точным лишь одно то, что действительно между Лизой и Nicolas произошла какая-то размолвка, но какого рода была эта размолвка, — о том Прасковья Ивановна, очевидно, не сумела составить себе определенного понятия. От обвинений же, взводимых на Дарью Павловну, она не только совсем под конец отказалась, но даже особенно просила не давать давешним словам ее никакого значения, потому что сказала она их «в раздражении». Одним словом, все выходило очень неясно, даже подозрительно. По рассказам ее, размолвка началась от «строптивного и насмешливого» характера Лизы; «гордый же Николай Всеволодович, хоть и сильно был влюблен, но не мог насмешек перенести и сам стал насмешлив».

— Вскоре затем познакомились мы с одним молодым человеком, кажется, вашего «профессора» племянник, да и фамилия та же...

– Сын, а не племянник, – поправила Варвара Петровна. Прасковья Ивановна и прежде никогда не могла упомянуть фамилии Степана Трофимовича и всегда называла его «профессором».

– Ну, сын так сын, тем лучше, а мне ведь и все равно. Обыкновенный молодой человек, очень живой и свободный, но ничего такого в нем нет. Ну, тут уж сама Лиза поступила нехорошо, молодого человека к себе приблизила из видов, чтобы в Николае Всеволодовиче ревность возбудить. Не осуждаю я этого очень-то: дело девичье, обыкновенное, даже милое. Только Николай Всеволодович, вместо того чтобы приревновать, напротив, сам с молодым человеком подружился, точно и не видит ничего, али как будто ему все равно. Лизу-то это и взорвало. Молодой человек вскорости уехал (спешил очень куда-то), а Лиза стала при всяком удобном случае к Николаю Всеволодовичу придираться. Заметила она, что тот с Дашей иногда говорит, ну и стала беситься, тут уж и мне, матушка, житья не стало. Раздражаться мне доктора запретили, и так это хваленое озеро ихнее мне надоело, только зубы от него разболелись, такой ревматизм получила. Печатают даже про то, что от Женевского озера зубы болят: свойство такое. А тут Николай Всеволодович вдруг от графини письмо получил и тотчас же от нас и уехал, в один день собрался. Простились-то они по-дружески, да и Лиза, провожая его, стала очень весела и легкомысленна и много хохотала. Только напускное все это. Уехал он, – стала очень задумчива, да и поминать о нем совсем перестала и мне не давала. Да и вам бы я советовала, милая Варвара Петровна, ничего теперь с Лизой насчет этого предмета не начинать, только делу повредите. А будете молчать, она первая сама с вами заговорит; тогда более узнаете. По-моему, опять сойдутся, если только Николай Всеволодович не замедлит приехать, как обещал.

– Напишу ему тотчас же. Коли все было так, то пустая размолвка; все вздор! Да и Дарью я слишком знаю; вздор.

– Про Дашеньку я, покаюсь, – согрешила. Одни только обыкновенные были разговоры, да и то вслух. Да уж очень меня, матушка, все это тогда расстроило. Да и Лиза, видела я, сама же с нею опять сошлась с прежнею лаской...

Варвара Петровна в тот же день написала к Nicolas и умоляла его хоть одним месяцем приехать раньше положенного им срока. Но все-таки оставалось тут для нее нечто неясное и неизвестное. Она продумала весь вечер и всю ночь. Мнение «Прасковьи» казалось ей слишком невинным и сентиментальным. «Прасковья всю жизнь была слишком чувствительна, с самого еще пансиона, – думала она, – не таков Nicolas, чтоб убежать из-за насмешек девчонки. Тут другая причина, если точно размолвка была. Офицер этот, однако, здесь, с собой привезли, и в доме у них как родственник поселился. Да и насчет Дарьи Прасковья слишком уж скоро повинулась: верно, что-нибудь про себя оставила, чего не хотела сказать...»

К утру у Варвары Петровны созрел проект разом покончить, по крайней мере, хоть с одним недоумением – проект замечательный по своей неожиданности. Что было в сердце ее, когда она создала его? – трудно решить, да и не возьмусь я растолковывать заранее все противоречия, из которых он состоял. Как хроникер, я ограничиваюсь лишь тем, что представляю события в точном виде, точно так, как они произошли, и не виноват, если они покажутся невероятными. Но, однако, должен еще раз засвидетельствовать, что подозрений на Дашу у ней к утру никаких не осталось, а по правде, никогда и не начиналось; слишком она была в ней уверена. Да и мысли она не могла допустить, чтоб ее Nicolas мог увлечься ее... «Дарьей». Утром, когда Дарья Павловна за чайным столиком разливала чай, Варвара Петровна долго и пристально в нее всматри-

валась и, может быть в двадцатый раз со вчерашнего дня, с уверенностью произнесла про себя:

– Все вздор!

Заметила только, что у Даши какой-то усталый вид и что она еще тише прежнего, еще апатичнее. После чаю, по заведенному раз навсегда обычаю, обе сели за рукоделье, Варвара Петровна велела ей дать себе полный отчет о ее заграничных впечатлениях, преимущественно о природе, жителях, городах, обычаях, их искусстве, промышленности, – обо всем, что успела заметить. Ни одного вопроса о Дроздовых и о жизни с Дроздовыми. Даша, сидевшая подле нее за рабочим столиком и помогавшая ей вышивать, рассказывала уже с полчаса своим ровным, однообразным, но несколько слабым голосом.

– Дарья, – прервала ее вдруг Варвара Петровна, – ничего у тебя нет такого особенного, о чем хотела бы ты сообщить?

– Нет, ничего, – капельку подумала Даша и взглянула на Варвару Петровну своими светлыми глазами.

– На душе, на сердце, на совести?

– Ничего, – тихо, но с какою-то угрюмою твердостью повторила Даша.

– Так я и знала! Знай, Дарья, что я никогда не усомнюсь в тебе. Теперь сиди и слушай. Перейди на этот стул, садись напротив, я хочу всю тебя видеть. Вот так. Слушай, – хочешь замуж?

Даша отвечала вопросительным длинным взглядом, не слишком, впрочем, удивленным.

– Стой, молчи. Во-первых, есть разница в летах, большая очень; но ведь ты лучше всех знаешь, какой это вздор. Ты рассудительна, и в твоей жизни не должно быть ошибок. Впрочем, он еще красивый мужчина... Одним словом, Степан Трофимович, которого ты всегда уважала. Ну?

Даша посмотрела еще вопросительнее и на этот раз не только с удивлением, но и заметно покраснела.

– Стой, молчи; не спеши! Хоть у тебя и есть деньги, по моему завещанию, но умри я, что с тобой будет, хотя бы и с деньгами? Тебя обманут и деньги отнимут, ну и погибла. А за ним ты жена известного человека. Смотри теперь с другой стороны: умри я сейчас, – хоть я и обеспечу его, – что с ним будет? А на тебя-то уж я понадеюсь. Стой, я не договорила: он легкомыслен, мямля, жесток, эгоист, низкие привычки, но ты его цени, во-первых, уж потому, что есть и гораздо хуже. Ведь не за мерзавца же какого я тебя сбить с рук хочу, ты уж не подумала ли чего? А главное, потому что я прошу, потому и будешь ценить, – оборвала она вдруг раздражительно, – слышишь? Что же ты уперлась?

Даша все молчала и слушала.

– Стой, подожди еще. Он баба – но ведь тебе же лучше. Жалкая, впрочем, баба; его совсем не стоило бы любить женщине. Но его стоит за беззащитность его любить, и ты люби его за беззащитность. Ты ведь меня понимаешь? Понимаешь?

Даша кивнула головой утвердительно.

– Я так и знала, меньше не ждала от тебя. Он тебя любить будет, потому что должен, должен; он обожать тебя должен! – как-то особенно раздражительно взвизгнула Варвара Петровна. – А впрочем, он и без долгу в тебя влюбится, я ведь знаю его. К тому же я сама буду тут. Не беспокойся, я всегда буду тут. Он станет на тебя жаловаться, он клеветать на тебя начнет, шептаться будет о тебе с первым встречным, будет ныть, вечно ныть; письма тебе будет писать из одной комнаты в другую, в день по два письма, но без тебя все-таки не проживет, а в этом и главное. Заставь слушаться; не сумеешь заставить – дура будешь. Пове-

ситься захочет, грозить будет – не верь; один только вздор! Не верь, а все-таки держи ухо востро, неровен час и повесится: с этими-то и бывает; не от силы, а от слабости вешаются; а потому никогда не доводи до последней черты, – и это первое правило в супружестве. Помни тоже, что он поэт. Слушай, Дарья: нет выше счастья, как собою пожертвовать. И к тому же ты мне сделаешь большое удовольствие, а это главное. Ты не думай, что я по глупости сейчас сбрендил; я понимаю, что говорю. Я эгоистка, будь и ты эгоисткой. Я ведь не неволю; все в твоей воле, как скажешь, так и будет. Ну, что ж уселась, говори что-нибудь!

– Мне ведь все равно, Варвара Петровна, если уж непременно надобно замуж выйти, – твердо проговорила Даша.

– Непременно? Ты на что это намекаешь? – строго и пристально посмотрела на нее Варвара Петровна.

Даша молчала, ковыряя в пальцах иголкой.

– Ты хоть и умна, но ты сбрендил. Это хоть и правда, что я непременно теперь тебя вздумала замуж выдать, но это не по необходимости, а потому только, что мне так придумалось, и за одного только Степана Трофимовича. Не будь Степана Трофимовича, я бы и не подумала тебя сейчас выдавать, хоть тебе уж и двадцать лет... Ну?

– Я как вам угодно, Варвара Петровна.

– Значит, согласна! Стой, молчи, куда торопишься, я не договорила: по завещанию тебе от меня пятнадцать тысяч рублей положено. Я их теперь же тебе выдам, после венца. Из них восемь тысяч ты ему отдашь, то есть не ему, а мне. У него есть долг в восемь тысяч; я и уплачу, но надо, чтоб он знал, что твоими деньгами. Семь тысяч останутся у тебя в руках, отнюдь ему не давай ни рубля никогда. Долгов его не плати никогда. Раз заплатишь – потом не оберешься. Впрочем, я всегда буду тут. Вы будете получать от меня ежегодно по тысяче двести рублей содержания, а с экстренными тысячу пятьсот, кроме квартиры и стола, которые тоже от меня будут, точно так, как и теперь он пользуется. Прислугу только свою заведите. Годовые деньги я тебе буду все разом выдавать, прямо тебе на руки. Но будь и добра: иногда выдай и ему что-нибудь, и приятелям ходить позволяй, раз в неделю, а если чаще, то гони. Но я сама буду тут. А коли умру, пенсион ваш не прекратится до самой его смерти, слышишь, до его только смерти, потому что это его пенсион, а не твой. А тебе, кроме теперешних семи тысяч, которые у тебя останутся в целости, если не будешь сама глупа, еще восемь тысяч в завещании оставлю. И больше тебе от меня ничего не будет; надо, чтобы ты знала. Ну, согласна, что ли? Скажешь ли, наконец, что-нибудь?

– Я уже сказала, Варвара Петровна.

– Вспомни, что твоя полная воля, как захочешь, так и будет.

– Только позвольте, Варвара Петровна, разве Степан Трофимович вам уже говорил что-нибудь?

– Нет, он ничего не говорил и не знает, но... он сейчас заговорит!

Она мигом вскочила и набросила на себя свою черную шаль. Даша опять немного покраснела и вопросительным взглядом следила за нею. Варвара Петровна вдруг обернулась к ней с пылающим от гнева лицом.

– Дура ты! – накинулась она на нее, как ястреб, – дура неблагодарная! Что у тебя на уме? Неужто ты думаешь, что я скомпрометирую тебя хоть чем-нибудь, хоть на столько вот! Да он сам на коленках будет ползать просить, он должен от счастья умереть, вот как это будет устроено! Ты ведь знаешь же, что я тебя в обиду не дам! Или ты думаешь, что он тебя за эти восемь тысяч возьмет, а я бегу теперь тебя продавать? Дура, дура, все вы дуры неблагодарные! Поддай зонтик!

И она полетела пешком по мокрым кирпичным тротуарам и по деревянным мосткам к Степану Трофимовичу.

VII

Это правда, что «Дарью» она не дала бы в обиду; напротив, теперь-то и считала себя ее благодетельницей. Самое благородное и безупречное негодование загорелось в душе ее, когда, надевая шаль, она поймала на себе смущенный и недоверчивый взгляд своей воспитанницы. Она искренно любила ее с самого ее детства. Прасковья Ивановна справедливо назвала Дарью Павловну ее фавориткой. Давно уже Варвара Петровна решила раз навсегда, что «Дарин характер не похож на братнин» (то есть на характер брата ее, Ивана Шатова), что она тиха и кротка, способна к большому самопожертвованию, отличается преданностью, необыкновенною скромностью, редкой рассудительностью и, главное, благодарностью. До сих пор, по-видимому, Даша оправдывала все ее ожидания. «В этой жизни не будет ошибок», — сказала Варвара Петровна, когда девочке было еще двенадцать лет, и так как она имела свойство привязываться упрямо и страстно к каждой пленившей ее мечте, к каждому своему новому предначертанию, к каждой мысли своей, показавшейся ей светлой, то тотчас же и решила воспитывать Дашу как родную дочь. Она немедленно отложила ей капитал и пригласила в дом гувернантку, мисс Кригс, которая и прожила у них до шестнадцатилетнего возраста воспитанницы, но ей вдруг почему-то было отказано. Ходили учителя из гимназии, между ними один настоящий француз, который и обучил Дашу по-французски. Этому тоже было отказано вдруг, точно прогнали. Одна бедная заезжая дама, вдова из благородных, обучала на фортепиано. Но главным педагогом был все-таки Степан Трофимович. По-настоящему, он первый и открыл Дашу: он стал обучать тихого ребенка еще тогда, когда Варвара Петровна о ней и не думала. Опять повторю: удивительно, как к нему привязывались дети! Лизавета Николаевна Тушина училась у него с восьми лет до одиннадцати (разумеется, Степан Трофимович учил ее без вознаграждения и ни за что бы не взял его от Дроздовых). Но он сам влюбился в прелестного ребенка и рассказывал ей какие-то поэмы об устройстве мира, земли, об истории человечества. Лекции о первобытных народах и о первобытном человеке были интереснее арабских сказок. Лиза, которая млела за этими рассказами, чрезвычайно смешно передразнивала у себя дома Степана Трофимовича. Тот узнал про это и раз подглядел ее врасплох. Сконфуженная Лиза бросилась к нему в объятия и заплакала. Степан Трофимович тоже, от восторга. Но Лиза скоро уехала, и осталась одна Даша. Когда к Даше стали ходить учителя, то Степан Трофимович оставил с нею свои занятия и мало-помалу совсем перестал обращать на нее внимание. Так продолжалось долгое время. Раз, когда уже ей было семнадцать лет, он был вдруг поражен ее миловидностью. Это случилось за столом у Варвары Петровны. Он заговорил с молодой девушкой, был очень доволен ее ответами и кончил предложением прочесть ей серьезный и обширный курс истории русской литературы. Варвара Петровна похвалила и поблагодарила его за прекрасную мысль, а Даша была в восторге. Степан Трофимович стал особенно приготавливаться к лекциям, и наконец они наступили. Начали с древнейшего периода; первая лекция прошла увлекательно; Варвара Петровна присутствовала. Когда Степан Трофимович кончил и, уходя, объявил ученице, что в следующий раз приступит к разбору «Слова о полку Игореве», Варвара Петровна вдруг встала и объявила, что лекций больше не будет. Степан Трофимович покоробил-

ся, но смолчал, Даша вспыхнула; тем и кончилась, однако же, затея. Произошло это ровно за три года до теперешней неожиданной фантазии Варвары Петровны.

Бедный Степан Трофимович сидел один и ничего не предчувствовал. В грустном раздумье давно уже поглядывал он в окно, не подойдет ли кто из знакомых. Но никто не хотел подходить. На дворе моросило, становилось холодно; надо было протопить печку; он вздохнул. Вдруг страшное видение предстало его очам: Варвара Петровна в такую погоду и в такой неурочный час к нему! И пешком! Он до того был поражен, что забыл переменить костюм и принял ее как был, в своей всегдашней розовой ватной фуфайке.

– Ma bonne amie!... – слабо крикнул он ей навстречу.

– Вы одни, я рада: терпеть не могу ваших друзей! Как вы всегда накурите; господа, что за воздух! Вы и чай не допили, а на дворе двенадцатый час! Ваше блаженство – беспорядок! Ваше наслаждение – сор! Что это за разорванные бумажки на полу? Настасья, Настасья! Что делает ваша Настасья? Отвори, матушка, окна, форточки, двери, все настезь. А мы в залу пойдемте; я к вам за делом. Да подмети ты хоть раз в жизни, матушка!

– Сорят-с! – раздражительно-жалобным голоском пропишала Настасья.

– А ты мети, пятнадцать раз в день мети! Дрянная у вас зала (когда вышли в залу). Затворите крепче двери, она станет подслушивать. Непременно надо обои переменить. Я ведь вам присылала обойщика с образчиками, что же вы не выбрали? Садитесь и слушайте. Садитесь же, наконец, прошу вас. Куда же вы? Куда же вы? Куда же вы!

– Я... сейчас, – крикнул из другой комнаты Степан Трофимович, – вот я и опять!

– А, вы переменяли костюм! – насмешливо оглядела она его. (Он накинул сюртук сверх фуфайки.) Этак действительно будет более подходить... к нашей речи. Садитесь же, наконец, прошу вас.

Она объяснила ему все сразу, резко и убедительно. Намекнула и о восьми тысячах, которые были ему дозарезу нужны. Подробно рассказала о приданом. Степан Трофимович тарачил глаза и трепетал. Слышал все, но ясно не мог сообразить. Хотел заговорить, но все обрывался голос. Знал только, что все так и будет, как она говорит, что возражать и не соглашаться дело пустое, а он женатый человек безвозвратно.

– Mais, ma bonne amie¹, в третий раз и в моих летах... и с таким ребенком! – проговорил он наконец. – Mais c'est une enfant!²

– Ребенок, которому двадцать лет, слава Богу! Не вертите, пожалуйста, зрочками, прошу вас, вы не на театре. Вы очень умны и учены, но ничего не понимаете в жизни, за вами постоянно должна нянька ходить. Я умру, и что с вами будет? А она будет вам хорошею нянькой; это девушка скромная, твердая, рассудительная; к тому же я сама буду тут, не сейчас же умру. Она домоседка, она ангел кротости. Эта счастливая мысль мне еще в Швейцарии приходила. Понимаете ли вы, если я сама вам говорю, что она ангел кротости! – вдруг яростно вскричала она. – У вас сор, она заведет чистоту, порядок, все будет как зеркало... Э, да неужто вы мечтаете, что я еще кланяться вам должна с таким сокровищем, исчислять все выгоды, сватать! Да вы должны бы на коленях... О, пустой, пустой, малодушный человек!

– Но... я уже старик!

¹ Но, мой добрый друг (*фр.*).

² Но ведь это ребенок! (*фр.*)

– Что значат ваши пятьдесят три года! Пятьдесят лет не конец, а половина жизни. Вы красивый мужчина, и сами это знаете. Вы знаете тоже, как она вас уважает. Умри я, что с нею будет? А за вами она спокойна, и я спокойна. У вас значение, имя, любящее сердце; вы получаете пенсион, который я считаю своею обязанностью. Вы, может быть, спасете ее, спасете! Во всяком случае, честь доставите. Вы сформируете ее к жизни, разовьете ее сердце, направите мысли. Нынче сколько погибают оттого, что дурно направлены мысли! К тому времени поспеет ваше сочинение, и вы разом о себе напомним.

– Я именно, – пробормотал он, уже польщенный ловкою лестью Варвары Петровны, – я именно собираюсь теперь присесть за мои «Рассказы из испанской истории»...

– Ну, вот видите, как раз и сошлось.

– Но... она? Вы ей говорили?

– О ней не беспокойтесь, да и нечего вам любопытствовать. Конечно, вы должны ее сами просить, умолять сделать вам честь, понимаете? Но не беспокойтесь, я сама буду тут. К тому же вы ее любите...

У Степана Трофимовича закружилась голова; стены пошли кругом. Тут была одна страшная идея, с которою он никак не мог сладить.

– Excellente amie! – задрожал вдруг его голос, – я... я никогда не мог вообразить, что вы решитесь выдать меня... за другую... женщину!

– Вы не девица, Степан Трофимович; только девиц выдают, а вы сами женитесь, – ядовито прошипела Варвара Петровна.

– Oui, j'ai pris un mot pour un autre. Mais... c'est égal¹, – устался он на нее с потерянным видом.

– Вижу, что c'est égal, – презрительно процедила она. – Господи! да с ним обморок! Настасья, Настасья! воды!

Но до воды не дошло. Он очнулся. Варвара Петровна взяла свой зонтик.

– Я вижу, что с вами теперь нечего говорить...

– Oui, oui, je suis incapable².

– Но к завтраму вы отдохнете и обдумаете. Сидите дома, если что случится, дайте знать, хотя бы ночью. Писем не пишите, и читать не буду. Завтра же в это время приду сама, одна, за окончательным ответом, и надеюсь, что он будет удовлетворителен. Постарайтесь, чтобы никого не было и чтобы сору не было, а это на что похоже? Настасья, Настасья!

Разумеется, назавтра он согласился; да и не мог не согласиться. Тут было одно особое обстоятельство...

VIII

Так называемое у нас имение Степана Трофимовича (душ пятьдесят по старинному счету, и смежное со Скворешниками) было вовсе не его, а принадлежало первой его супруге, а стало быть, теперь их сыну, Петру Степановичу Верховенскому. Степан Трофимович только опекуновствовал, а потому, когда птенец оперился, действовал по формальной от него доверенности на управление имением. Сделка для молодого человека была выгодная: он получал с отца в год до тысячи рублей в виде дохода с имения, тогда как оно при новых порядках не давало и пятисот (а может быть, и того менее). Бог знает как установились подобные отношения.

¹ Да, я оговорился. Но... это все равно (фр.).

² Да, да, я не в состоянии (фр.).

Впрочем, всю эту тысячу целиком высылала Варвара Петровна, а Степан Трофимович ни единым рублем в ней не участвовал. Напротив, весь доход с землицы оставил у себя в кармане и, кроме того, разорил ее вконец, сдав ее в аренду какому-то промышленнику и, тихонько от Варвары Петровны, продав на сруб рощу, то есть главную ее ценность. Эту рощицу он уже давно продавал урывками. Вся она стоила, по крайней мере, тысяч восемь, а он взял за нее только пять. Но он иногда слишком много проигрывал в клубе, а просить у Варвары Петровны боялся. Она скрежетала зубами, когда наконец обо всем узнала. И вдруг теперь сынок извещал, что придет сам продать свои владения во что бы ни стало, а отцу поручал неотлагательно позаботиться о продаже. Ясное дело, что при благородстве и бескорыстии Степана Трофимовича ему стало совестно пред *se cher enfant*¹ (которого он в последний раз видел целых девять лет тому назад, в Петербурге, студентом). Первоначально все имение могло стоять тысяч тринадцать или четырнадцать, теперь вряд ли кто бы дал за него и пять. Без сомнения, Степан Трофимович имел полное право, по смыслу формальной доверенности, продать лес и, поставив в счет тысячерублевый невозможный ежегодный доход, столько лет высылавшийся аккуратно, сильно оградить себя при расчете. Но Степан Трофимович был благороден, со стремлениями ее вышими. В голове его мелькнула одна удивительно красивая мысль: когда придет Петруша, вдруг благородно выложить на стол самый вышний *maximum* цены, то есть даже пятнадцать тысяч, без малейшего намека на высылавшиеся до сих пор суммы, и крепко-крепко, со слезами, прижать к груди *se cher fils*², чем и покончить все счета. Отдаленно и осторожно начал он развертывать эту картинку пред Варварой Петровной. Он намекал, что это даже придаст какой-то особый, благородный оттенок их дружеской связи... их «идее». Это выставило бы в таком бескорыстном и великодушном виде прежних отцов и вообще прежних людей сравнительно с новою легкомысленною и социальною молодежью. Много еще он говорил, но Варвара Петровна все отмачивалась. Наконец сухо объявила ему, что согласна купить их землю и даст за нее *maximum* цены, то есть тысяч шесть, семь (и за четыре можно было купить). Об остальных же восьми тысячах, улетевших с рощей, не сказала ни слова.

Это случилось за месяц до сватовства. Степан Трофимович был поражен и начал задумываться. Прежде еще могла быть надежда, что сынок, пожалуй, и совсем не придет, – то есть надежда, судя со стороны, по мнению кого-нибудь постороннего. Степан же Трофимович, как отец, с негодованием отверг бы самую мысль о подобной надежде. Как бы там ни было, но до сих пор о Петруше доходили к нам все такие странные слухи. Сначала, кончив курс в университете, лет шесть тому назад, он слонялся в Петербурге без дела. Вдруг получилось у нас известие, что он участвовал в составлении какой-то подметной прокламации и притянут к делу. Потом, что он очутился вдруг за границей, в Швейцарии, в Женеве, – бежал чего доброго.

– Удивительно мне это, – проповедовал нам тогда Степан Трофимович, сильно сконфузившийся, – Петруша *c'est une si pauvre tête*!³ Он добр, благороден, очень чувствителен, и я так тогда, в Петербурге, порадовался, сравнив его с современною молодежью, но *c'est un pauvre sire tout de même*...⁴ И, знаете, все от той же недосиженности, сентиментальности! Их пленяет не реализм, а чувстви-

¹ этим дорогим ребенком (*фр.*).

² этого дорогого сына (*фр.*).

³ такой недалекий! (*фр.*)

⁴ это все же жалкий человек... (*фр.*)

тельная, идеальная сторона социализма, так сказать, религиозный оттенок его, поэзия его... с чужого голоса, разумеется. И, однако, мне-то, мне какво! У меня здесь столько врагов, там еще более, припишут влиянию отца... Боже! Петруша двигателем! В какие времена мы живем!

Петруша выслал, впрочем, очень скоро свой точный адрес из Швейцарии для обычной ему высылки денег: стало быть, не совсем же был эмигрантом. И вот теперь, пробыв за границей года четыре, вдруг появляется опять в своем отечестве и извещает о скором своем прибытии: стало быть, ни в чем не обвинен. Мало того, даже как будто кто-то принимал в нем участие и покровительствовал ему. Он писал теперь с юга России, где находился по чьему-то частному, но важному поручению и об чем-то там хлопотал. Все это было прекрасно, но, однако, где же взять остальные семь-восемь тысяч, чтобы составить приличный *taximum* цены за имение? А что, если подымется крик и вместо величественной картины дойдет до процесса? Что-то говорило Степану Трофимовичу, что чувствительный Петруша не отступится от своих интересов. «Почему это, я заметил, – шепнул мне раз тогда Степан Трофимович, – почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие невероятные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник... почему это? Неужели тоже от сентиментальности?» Я не знаю, есть ли правда в этом замечании Степана Трофимовича; я знаю только, что Петруша имел некоторые сведения о продаже роши и о прочем, а Степан Трофимович знал, что тот имеет эти сведения. Мне случалось тоже читать и Петрушины письма к отцу; писал он до крайности редко, раз в год и еще реже. Только в последнее время, уведомляя о близком своем приезде, прислал два письма, почти одно за другим. Все письма его были коротенькие, сухие, состояли из одних лишь распоряжений, и так как отец с сыном еще с самого Петербурга были, по-модному, на *ты*, то и письма Петруши решительно имели вид тех старинных предписаний прежних помещиков из столиц их дворовым людям, поставленным ими в управляющие их имений. И вдруг теперь эти восемь тысяч, разрешающие дело, вылетают из предложения Варвары Петровны, и при этом она дает ясно почувствовать, что они ниоткуда более и не могут вылететь. Разумеется, Степан Трофимович согласился.

Он тотчас же по ее уходе прислал за мной, а от всех других заперся на весь день. Конечно, поплакал много и хорошо говорил, много и сильно сбивался, сказал случайно каламбур и остался им доволен, потом была легкая холерина, – одним словом, все произошло в порядке. После чего он вытащил портрет своей уже двадцать лет тому назад скончавшейся немочки и жалобно начал звать: «Простишь ли ты меня?» Вообще он был как-то сбит с толку. С горя мы немножко и выпили. Впрочем, он скоро и сладко заснул. Наутро мастерски повязал себе галстук, тщательно оделся и часто подходил смотреть в зеркало. Платок sprysнул духами, впрочем лишь чуть-чуть, и, только завидел Варвару Петровну в окно, поскорей взял другой платок, а надушенный спрятал под подушку.

– И прекрасно! – похвалила Варвара Петровна, выслушав его согласие. – Во-первых, благородная решимость, а во-вторых, вы вняли голосу рассудка, которому вы так редко внимаете в ваших частных делах. Спешить, впрочем, нечего, – прибавила она, разглядывая узел его белого галстука, – покамест молчите, и я буду молчать. Скоро день вашего рождения; я буду у вас вместе с нею. Сделайте вечерний чай и, пожалуйста, без вина и без закусок; впрочем, я сама все устрою. Пригласите ваших друзей, – впрочем, мы вместе сделаем выбор. Нака-

нуне вы с нею переговорите, если надо будет; а на вашем вечере мы не то что объявим или там сговор какой-нибудь сделаем, а только так намекнем или дадим знать, безо всякой торжественности. А там недели через две и свадьба, по возможности без всякого шума... Даже обоим вам можно бы и уехать на время, тотчас из-под венца, хоть в Москву например. Я тоже, может быть, с вами поеду... А главное, до тех пор молчите.

Степан Трофимович был удивлен. Он заикнулся было, что невозможно же ему так, что надо же переговорить с невестой, но Варвара Петровна раздражительно на него накинулась:

– Это зачем? Во-первых, ничего еще, может быть, и не будет...

– Как не будет! – пробормотал жених, совсем уже ошеломленный.

– Так. Я еще посмотрю... А впрочем, все так будет, как я сказала, и не беспокойтесь, я сама ее приготовлю. Вам совсем незачем. Все нужное будет сказано и сделано, а вам туда незачем. Для чего? Для какой роли? И сами не ходите и пишем не пишите. И ни слуху ни духу, прошу вас. Я тоже буду молчать.

Она решительно не хотела объясняться и ушла видимо расстроенная. Кажется, чрезмерная готовность Степана Трофимовича поразила ее. Увы, он решительно не понимал своего положения, и вопрос еще не представился ему с некоторых других точек зрения. Напротив, явился какой-то новый тон, что-то победоносное и легкомысленное. Он куражился.

– Это мне нравится! – восклицал он, останавливаясь предо мной и разводя руками. – Вы слышали? Она хочет довести до того, чтоб я, наконец, не захотел. Ведь я тоже могу терпение потерять и... не захотеть! «Сидите, и нечего вам туда ходить», но почему я, наконец, непременно должен жениться? Потому только, что у ней явилась смешная фантазия? Но я человек серьезный и могу не захотеть подчиняться праздным фантазиям взбалмошной женщины! У меня есть обязанности к моему сыну и... и к самому себе! Я жертву приношу – понимает ли она это? Я, может быть, потому согласился, что мне наскутила жизнь и мне все равно. Но она может меня раздражить, и тогда мне будет уже не все равно; я обижусь и откажусь. Et enfin, le ridicule...¹ Что скажут в клубе? Что скажет... Липутин? «Может, ничего еще и не будет» – каково! Но ведь это верх! Это уж... это что же такое? – Je suis un forçat, un Badinguet², un припертый к стене человек!..

И в то же время какое-то капризное самодовольствие, что-то легкомысленно-игривое проглядывало среди всех этих жалобных восклицаний. Вечером мы опять выпили.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Чужие грехи

I

Прошло с неделю, и дело начало несколько раздвигаться.

Замечу вскользь, что в эту несчастную неделю я вынес много тоски, оставаясь почти безотлучно подле бедного сосватанного друга моего в качестве бли-

¹ И наконец, это смешотворно... (фр.)

² Я каторжник, Баденге (фр.).

жайшего его конфиденнта. Тяготил его, главное, стыд, хотя мы в эту неделю никого не видали и все сидели одни; но он стыдился даже и меня, и до того, что чем более сам открывал мне, тем более и досадовал на меня за это. По мнительности же подозревал, что все уже всем известно, всему городу, и не только в клубе, но даже в своем кружке боялся показаться. Даже гулять выходил, для необходимого моциону, только в полные сумерки, когда уже совершенно темно.

Прошла неделя, а он все еще не знал, жених он или нет, и никак не мог узнать об том наверно, как ни бился. С невестой он еще не видался, даже не знал, невеста ли она ему; даже не знал, есть ли тут во всем этом хоть что-нибудь серьезное! К себе почему-то Варвара Петровна решительно не хотела его допустить. На одно из первоначальных писем его (а он написал их к ней множество) она прямо ответила ему просьбой избавить ее на время от всяких с ним сношений, потому что она занята, а имея и сама сообщить ему много очень важного, нарочно ждет для этого более свободной, чем теперь. минуты, и сама даст ему *со временем* знать, когда к ней можно будет прийти. Письма же обещала присылать обратно нераспечатанными, потому что это «одно только баловство». Эту записку я сам читал; он же мне и показывал.

И, однако, все эти грубости и неопределенности, все это было ничто в сравнении с главною его заботой. Эта забота мучила его чрезвычайно, неотступно; от нее он худел и падал духом. Это было нечто такое, чего он уже более всего стыдился и о чем никак не хотел заговорить даже со мной; напротив, при случае лгал и вилял предо мной, как маленький мальчик; а между тем сам же посылал за мною ежедневно, двух часов без меня пробыть не мог, нуждаясь во мне, как в воде или в воздухе.

Такое поведение оскорбляло несколько мое самолюбие. Само собою разумеется, что я давно уже угадал про себя эту главную тайну его и видел все насквозь. По глубочайшему тогдашнему моему убеждению, обнаружение этой тайны, этой главной заботы Степана Трофимовича, не прибавило бы ему чести, и потому я, как человек еще молодой, несколько негодовал на грубость чувств его и на некрасивость некоторых его подозрений. Сгоряча – и, признаюсь, от скуки быть конфиденнтом – я, может быть, слишком обвинял его. По жестокости моей я добивался его собственного признания предо мною во всем, хотя, впрочем, и допускал, что признаваться в иных вещах, пожалуй, и затруднительно. Он тоже меня насквозь понимал, то есть ясно видел, что я понимаю его насквозь и даже злюсь на него, и сам злился на меня за то, что я злюсь на него и понимаю его насквозь. Пожалуй, раздражение мое было мелко и глупо; но взаимное уединение чрезвычайно иногда вредит истинной дружбе. С известной точки он верно понимал некоторые стороны своего положения и даже весьма тонко определял его в тех пунктах, в которых таиться не находил нужным.

– О, такова ли она была тогда! – проговаривался он иногда мне о Варваре Петровне. – Такова ли она была прежде, когда мы с нею говорили... Знаете ли вы, что тогда она умела еще говорить? Можете ли вы поверить, что у нее тогда были мысли, свои мысли. Теперь все переменялось! Она говорит, что все это одна только старинная болтовня! Она презирает прежнее... Теперь она какой-то приказчик, эконо́м, ожесточенный человек, и все сердится...

– За что же ей теперь сердиться, когда вы исполнили ее требование? – возразил я ему.

Он тонко посмотрел на меня.

– Cher ami, если б я не согласился, она бы рассердилась ужасно, ужа-а-сно! но все-таки менее, чем теперь, когда я согласился.

Этим словечком своим он остался доволен, и мы распили в тот вечер бутылочку. Но это было только мгновение; на другой день он был ужаснее и угрюмее, чем когда-либо.

Но всего более досадовал я на него за то, что он не решался даже пойти сделать необходимый визит приехавшим Дроздовым, для возобновления знакомства, чего, как слышно, они и сами желали, так как спрашивали уже о нем, о чем и он тосковал каждодневно. О Лизавете Николаевне он говорил с каким-то непонятным для меня восторгом. Без сомнения, он вспоминал в ней ребенка, которого так когда-то любил; но, кроме того, он, неизвестно почему, воображал, что тотчас же найдет подле нее облегчение всем своим настоящим мукам и даже разрешит свои важнейшие сомнения. В Лизавете Николаевне он предполагал встретить какое-то необычайное существо. И все-таки к ней не шел, хотя и каждый день собирался. Главное было в том, что мне самому ужасно хотелось тогда быть ей представленным и отрекомендованным, в чем мог я рассчитывать единственно на одного лишь Степана Трофимовича. Чрезвычайное впечатление производили на меня тогда частые встречи мои с нею, разумеется на улице, – когда она выезжала прогуливаться верхом, в амазонке и на прекрасном коне, в сопровождении так называемого родственника ее, красивого офицера, племянника покойного генерала Дроздова. Ослепление мое продолжалось одно лишь мгновение, и я сам очень скоро потом сознал всю невозможность моей мечты, – но хоть мгновение, а оно существовало действительно, а потому можно себе представить, как негодовал я иногда в то время на бедного друга моего за его упорное затворничество.

Все наши еще с самого начала были официально предуведомлены о том, что Степан Трофимович некоторое время принимать не будет и просит оставить его в совершенном покое. Он настоял на циркулярном предуведомлении, хотя я и отсоветовал. Я же и обошел всех, по его просьбе, и всем наговорил, что Варвара Петровна поручила нашему «старика» (так все мы между собою звали Степана Трофимовича) какую-то экстренную работу, привести в порядок какую-то переписку за несколько лет; что он заперся, а я ему помогаю, и пр., и пр. К одному только Липутину я не успел зайти и все откладывал, – а вернее сказать, я боялся зайти. Я знал вперед, что он ни одному слову моему не поверит, непременно вообразит себе, что тут секрет, который собственно от него одного хотят скрыть, и только что я выйду от него, тотчас же пустится по всему городу раз узнавать и сплетничать. Пока я все это себе представлял, случилось так, что я нечаянно столкнулся с ним на улице. Оказалось, что он уже обо всем узнал от наших, мною только что предуведомленных. Но, странное дело, он не только не любопытствовал и не расспрашивал о Степане Трофимовиче, а, напротив, сам еще прервал меня, когда я стал было извиняться, что не зашел к нему раньше, и тотчас же перескочил на другой предмет. Правда, у него накопилось, что рассказать; он был в чрезвычайно возбужденном состоянии духа и обрадовался тому, что поймал во мне слушателя. Он стал говорить о городских новостях, о приезде губернаторши «с новыми разговорами», об образовавшейся уже в клубе оппозиции, о том, что все кричат о новых идеях и как это ко всем пристало, и пр., и пр. Он проговорил с четверть часа, и так забавно, что я не мог оторваться. Хотя я терпеть его не мог, но сознаюсь, что у него был дар заставить себя слушать, и особенно когда он очень на что-нибудь злился. Человек этот, по-моему, был настоящий и прирожденный шпион. Он знал во всякую минуту все самые послед-

ние новости и всю подноготную нашего города, преимущественно по части мерзостей, и дивиться надо было, до какой степени он принимал к сердцу вещи, иногда совершенно до него не касавшиеся. Мне всегда казалось, что главной чертой его характера была зависть. Когда я, в тот же вечер, передал Степану Трофимовичу о встрече утром с Липутиным и о нашем разговоре, – тот, к удивлению моему, чрезвычайно взволновался и задал мне дикий вопрос: «Знает Липутин или нет?» Я стал ему доказывать, что возможности не было узнать так скоро, да и не от кого; но Степан Трофимович стоял на своем.

– Вот верьте или нет, – заключил он под конец неожиданно, – а я убежден, что ему не только уже известно все со всеми подробностями о *нашем* положении, но что он и еще что-нибудь сверх того знает, что-нибудь такое, чего ни вы, ни я еще не знаем, а может быть, никогда и не узнаем, или узнаем, когда уже будет поздно, когда уже нет возврата!..

Я промолчал, но слова эти на многое намекали. После того целых пять дней мы ни слова не упоминали о Липутине; мне ясно было, что Степан Трофимович очень жалел о том, что обнаружил предо мною такие подозрения и проговорился.

II

Однажды поутру, – то есть на седьмой или восьмой день после того как Степан Трофимович согласился стать женихом, – часов около одиннадцати, когда я спешил, по обыкновению, к моему скорбному другу, дорогой произошло со мной приключение.

Я встретил Кармазинова, «великого писателя», как величал его Липутин. Кармазинова я читал с детства. Его повести и рассказы известны всему прошлому и даже нашему поколению; я же упивался ими; они были наслаждением моего отрочества и моей молодости. Потом я несколько охладел к его перу; повести с направлением, которые он все писал в последнее время, мне уже не так понравились, как первые, первоначальные его создания, в которых было столько непосредственной поэзии; а самые последние сочинения его так даже вовсе мне не нравились.

Вообще говоря, если осмелюсь выразить и мое мнение в таком щекотливом деле, все эти наши господа таланты средней руки, принимаемые, по обыкновению, при жизни их чуть не за гениев, – не только исчезают чуть не бесследно и как-то вдруг из памяти людей, когда умирают, но случается, что даже и при жизни их, чуть лишь подрастет новое поколение, сменяющее то, при котором они действовали, – забываются и пренебрегаются всеми непостижимо скоро. Как-то это вдруг у нас происходит, точно перемена декорации на театре. О, тут совсем не то, что с Пушкиными, Гоголями, Мольерами, Вольтерами, со всеми этими деятелями, приходившими сказать свое новое слово! Правда и то, что и сами эти господа таланты средней руки, на склоне почтенных лет своих, обыкновенно самым жалким образом у нас исписываются, совсем даже и не замечая того. Нередко оказывается, что писатель, которому долго приписывали чрезвычайную глубину идей и от которого ждали чрезвычайного и серьезного влияния на движение общества, обнаруживает под конец такую жидкость и такую крохотность своей основной идейки, что никто даже и не жалеет о том, что он так скоро умел списаться. Но седые старички не замечают того и сердятся. Самолюбие их, именно под конец их поприща, принимает иногда размеры, достойные удивления. Бог знает за кого они начинают принимать себя, – по крайней мере за

богов. Про Кармазинова рассказывали, что он дорожит связями своими с сильными людьми и с обществом высшим чуть не больше души своей. Рассказывали, что он вас встретит, обласкает, прельстит, обворожит своим простодушием, особенно если вы ему почему-нибудь нужны и, уж разумеется, если вы предварительно были ему зарекомендованы. Но при первом князе, при первой графине, при первом человеке, которого он боится, он почтет священнейшим долгом забыть вас с самым оскорбительным пренебрежением, как щепку, как муху, тут же, когда вы еще не успели от него выйти; он серьезно считает это самым высоким и прекрасным тоном. Несмотря на полную выдержку и совершенное знание хороших манер, он до того, говорят, самолюбив, до такой истерики, что никак не может скрыть своей авторской раздражительности даже и в тех кругах общества, где мало интересуются литературой. Если же случайно кто-нибудь озадачивал его своим равнодушием, то он обижался болезненно и старался отомстить.

С год тому назад я читал в журнале статью его, написанную с страшною претензией на самую наивную поэзию, и при этом на психологию. Он описывал гибель одного парохода где-то у английского берега, чему сам был свидетелем, и видел, как спасали погибавших и вытаскивали утопленников. Вся статья эта, довольно длинная и многоречивая, написана была единственно с целью выставить себя самого. Так и читалось между строками: «Интересуйтесь мною, смотрите, каков я был в эти минуты. Зачем вам это море, буря, скалы, разбитые щепки корабля? Я ведь достаточно описал вам все это моим могучим пером. Чего вы смотрите на эту утопленницу с мертвым ребенком в мертвых руках? Смотрите лучше на меня, как я не вынес этого зрелища и от него отвернулся. Вот я стал спиной; вот я в ужасе и не в силах оглянуться назад; я жмурю глаза – не правда ли, как это интересно?» Когда я передал мое мнение о статье Кармазинова Степану Трофимовичу, он со мной согласился.

Когда пошли у нас недавние слухи, что приедет Кармазинов, я, разумеется, ужасно пожелал его увидеть и, если возможно, с ним познакомиться. Я знал, что мог бы это сделать чрез Степана Трофимовича; они когда-то были друзьями. И вот вдруг я встречаюсь с ним на перекрестке. Я тотчас узнал его; мне уже его показали дня три тому назад, когда он проезжал в коляске с губернаторшей.

Это был очень невысокий, чопорный старичок, лет, впрочем, не более пятидесяти пяти, с довольно румяным личиком, с густыми седенькими локончиками, выбившимися из-под круглой цилиндрической шляпы и завивавшимися около чистеньких, розовеньких, маленьких ушков его. Чистенькое личико его было не совсем красиво, с тонкими, длинными, хитро сложенными губами, с несколько мясистым носом и с востренькими, умными, маленькими глазками. Он был одет как-то ветхо, в каком-то плаще внакидку, какой, например, носили бы в этот сезон где-нибудь в Швейцарии или в Северной Италии. Но по крайней мере все мелкие вещицы его костюма: запоночки, воротнички, пуговики, черепаховый лорнет на черной тоненькой ленточке, перстенок непременно были такие же, как и у людей безукоризненно хорошего тона. Я уверен, что летом он ходит непременно в каких-нибудь цветных прюнелевых ботиночках с перламутровыми пуговками сбоку. Когда мы столкнулись, он приостановился на повороте улицы и осматривался со вниманием. Заметив, что я любопытно смотрю на него, он медовым, хотя несколько крикливым голоском спросил меня:

– Позвольте узнать, как мне ближе выйти на Быкову улицу?

– На Быкову улицу? Да это здесь, сейчас же, – вскричал я в необыкновенном волнении. – Все прямо по этой улице и потом второй поворот налево.

– Очень вам благодарен.

Проклятие на эту минуту: я, кажется, оробел и смотрел подобострастно! Он мигом все это заметил и, конечно, тотчас же все узнал, то есть узнал, что мне уже известно, кто он такой, что я его читал и благоговел пред ним с самого детства, что я теперь оробел и смотрю подобострастно. Он улыбнулся, кивнул еще раз головой и пошел прямо, как я указал ему. Не знаю, для чего я поворотил за ним назад; не знаю, для чего я пробежал подле него десять шагов. Он вдруг опять остановился.

— А не могли бы вы мне указать, где здесь всего ближе стоят извозчики? — прокричал он мне опять.

Скверный крик; скверный голос!

— Извозчики? извозчики всего ближе отсюда... у собора стоят, там всегда стоят, — и вот я чуть было не повернулся бежать за извозчиком. Я подозреваю, что он именно этого и ждал от меня. Разумеется, я тотчас же опомнился и остановился, но движение мое он заметил очень хорошо и следил за мною все с тою же скверною улыбкой. Тут случилось то, чего я никогда не забуду.

Он вдруг уронил крошечный сак, который держал в своей левой руке. Впрочем, это был не сак, а какая-то коробочка, или, вернее, какой-то портфельчик, или, еще лучше, ридикюльчик, вроде старинных дамских ридикюлей, Впрочем не знаю, что это было, но знаю только, что я, кажется, бросился его поднимать.

Я совершенно убежден, что я его не поднял, но первое движение, сделанное мною, было неоспоримо; скрыть его я уже не мог и покраснел как дурак. Хитрец тотчас же извлек из обстоятельства все, что ему можно было извлечь.

— Не беспокойтесь, я сам, — очаровательно проговорил он, то есть когда уже вполне заметил, что я не подниму ему ридикюль, поднял его, как будто предупреждая меня, кивнул еще раз головой и отправился своею дорогой, оставив меня в дураках. Было все равно, как бы я сам поднял. Минут с пять я считал себя вполне и навеки опозоренным; но, подойдя к дому Степана Трофимовича, я вдруг расхохотался. Встреча показалась мне так забавною, что я немедленно решил потешить рассказом Степана Трофимовича и изобразить ему всю сцену даже в лицах.

III

Но на этот раз, к удивлению моему, я застал его в чрезвычайной перемене. Он, правда, с какой-то жадностью набросился на меня, только что я вошел, и стал меня слушать, но с таким растерянным видом, что сначала, видимо, не понимал моих слов. Но только что я произнес имя Кармазинова, он совершенно вдруг вышел из себя.

— Не говорите мне, не произносите! — воскликнул он чуть не в бешенстве, — вот, вот смотрите, читайте! читайте!

Он выдвинул ящик и выбросил на стол три небольшие клочка бумаги, писанные наскоро карандашом, все от Варвары Петровны. Первая записка была от третьего дня, вторая от вчерашнего, а последняя пришла сегодня, всего час назад; содержания самого пустого, все о Кармазинове, и обличали суетное и честолюбивое волнение Варвары Петровны от страха, что Кармазинов забудет ей сделать визит. Вот первая, от третьего дня (вероятно, была и от четвертого дня, а может быть, и от пятого):

«Если он наконец удостоит вас сегодня, то обо мне, прошу, ни слова. Ни малейшего намека. Не заговаривайте и не напоминайте.

В. С.»

Вчерашняя:

«Если он решится наконец сегодня утром вам сделать визит, всего благороднее, я думаю, совсем не принять его. Так по-моему, не знаю, как по-вашему.

В. С.»

Сегодняшняя, последняя:

«Я убеждена, что у вас сору целый воз и дым столбом от табаку. Я вам пришло Марью и Фомушку; они в полчаса приберут. А вы не мешайте и посидите в кухне, пока прибирают. Посылаю бухарский ковер и две китайские вазы: давно собиралась вам подарить, и сверх того моего Теньера (на время). Вазы можно поставить на окошко, а Теньера повесьте справа над портретом Гете, там виднее и по утрам всегда свет. Если он наконец появится, примите утонченно вежливо, но постарайтесь говорить о пустяках, об чем-нибудь ученом, и с таким видом, как будто вы вчера только расстались. Обо мне ни слова. Может быть, зайду взглянуть у вас вечером.

В. С.

P. S. Если и сегодня не приедет, то совсем не приедет».

Я прочел и удивился, что он в таком волнении от таких пустяков. Взглянув на него вопросительно, я вдруг заметил, что он, пока я читал, успел переменить свой всегдашний белый галстук на красный. Шляпа и палка его лежали на столе. Сам же был бледен, и даже руки его дрожали.

– Я знать не хочу ее волнений! – иступленно вскричал он, отвечая на мой вопросительный взгляд. – *Je m'en fiche!*¹ Она имеет дух волноваться о Кармазинове, а мне на мои письма не отвечает! Вот, вот нераспечатанное письмо мое, которое она вчера воротила мне, вот тут на столе, под книгой, под *«L'homme qui rit»*². Какое мне дело, что она убивается о Ни-ко-леньке! *Je m'en fiche et je proclame ma liberté. Au diable le Karmazinoff! Au diable la Lembke!*³ Я вазы спрятал в переднюю, а Теньера в комод, а от нее потребовал, чтоб она сейчас же приняла меня. Слышите: потребовал! Я послал ей такой же клочок бумаги, карандашом, незапечатанный, с Настасьей, и жду. Я хочу, чтобы Дарья Павловна сама объявила мне из своих уст и пред лицом неба, или по крайней мере пред вами. *Vous me seconderez, n'est ce pas, comme ami et témoin*⁴. Я не хочу краснеть, я не хочу лгать, я не хочу тайн, я не допущу тайн в этом деле! Пусть мне во всем признаются, откровенно, просто-душно, благородно, и тогда... тогда я, может быть, удивлю все поколение великодушием!.. Подлец я или нет, милостивый государь? – заключил он вдруг, грозно смотря на меня, как будто я-то и считал его подлецом.

Я попросил его выпить воды; я еще не видал его в таком виде. Все время, пока говорил, он бегал из угла в угол по комнате, но вдруг остановился предо мной в какой-то необычайной позе.

– Неужели вы думаете, – начал он опять с болезненным высокомерием, оглядывая меня с ног до головы, – неужели вы можете предположить, что я, Сте-

¹ Мне наплевать на это! (фр.)

² «Человек, который смеется» (фр.).

³ Мне наплевать на это, и я заявляю о своей свободе. К черту этого Кармазинова! К черту эту Лембке! (фр.)

⁴ Вы, не правда ли, мне не откажете в содействии, как друг и свидетель (фр.).

пан Верховенский, не найду в себе столько нравственной силы, чтобы, взяв мою коробку, – нищенскую коробку мою! – и взвалив ее на слабые плечи, выйти за ворота и исчезнуть отсюда навеки, когда того потребует честь и великий принцип независимости? Степану Верховенскому не в первый раз отражать деспотизм великодушием, хотя бы и деспотизм сумасшедшей женщины, то есть самый обидный и жестокий деспотизм, какой только может осуществиться на свете, несмотря на то что вы сейчас, кажется, позволили себе усмехнуться словам моим, милостивый государь мой! О, вы не верите, что я смогу найти в себе столько великодушия, чтобы суметь кончить жизнь у купца гувернером или умереть с голоду под забором! Отвечайте, отвечайте немедленно: верите вы или не верите?

Но я смолчал нарочно. Я даже сделал вид, что не решаюсь обидеть его ответом отрицательным, но не могу отвечать утвердительно. Во всем этом раздражении было нечто такое, что решительно обижало меня, и не лично, о нет! Но... я потом объяснюсь.

Он даже побледнел.

– Может быть, вам скучно со мной, Г–в (это моя фамилия), и вы бы желали... не приходить ко мне вовсе? – проговорил он тем тоном бледного спокойствия, который обыкновенно предшествует какому-нибудь необычайному взрыву. Я вскочил в испуге; в то же мгновение вошла Настасья и молча протянула Степану Трофимовичу бумажку, на которой написано было что-то карандашом. Он взглянул и перебрал мне. На бумажке рукой Варвары Петровны написаны были всего только два слова: «Сидите дома».

Степан Трофимович молча схватил шляпу и палку и быстро пошел из комнаты; я машинально за ним. Вдруг голоса и шум чьих-то скорых шагов слышались в коридоре. Он остановился как пораженный громом.

– Это Липутин, и я пропал! – прошептал он, схватив меня за руку.

В ту же минуту в комнату вошел Липутин.

IV

Почему бы он пропал от Липутина, я не знал, да и цены не придавал слову; я все приписывал нервам. Но все-таки испуг его был необычайный, и я решился пристально наблюдать.

Уж один вид входившего Липутина заявлял, что на этот раз он имеет особенное право войти, несмотря на все запрещения. Он вел за собою одного неизвестного господина, должно быть приезжего. В ответ на бессмысленный взгляд остолебевшего Степана Трофимовича он тотчас же и громко воскликнул:

– Гостя веду, и особенного! Осмеливаюсь нарушить уединение. Господин Кириллов, замечательнейший инженер-строитель. А главное, сынка вашего знают, многоуважаемого Петра Степановича; очень коротко-с; и поручение от них имеют. Вот только что пожаловали.

– О поручении вы прибавили, – резко заметил гость, – поручения совсем не бывало, а Верховенского я, вправде, знаю. Оставил в Х-ской губернии, десять дней пред нами.

Степан Трофимович машинально подал руку и указал садиться; посмотрел на меня, посмотрел на Липутина и вдруг, как бы опомнившись, поскорее сел сам, но все еще держа в руке шляпу и палку и не замечая того.

– Ба, да вы сами на выходе! А мне-то ведь сказали, что вы совсем прихворнули от занятий.

– Да, я болен, и вот теперь хотел гулять, я... – Степан Трофимович остановился, быстро откинул на диван шляпу и палку и – покраснел.

Я между тем наскоро рассматривал гостя. Это был еще молодой человек, лет около двадцати семи, прилично одетый, стройный и сухощавый брюнет, с бледным, несколько грязноватого оттенка лицом и с черными глазами без блеску. Он казался несколько задумчивым и рассеянным, говорил отрывисто и как-то не грамматически, как-то странно переставлял слова и путался, если приходилось составить фразу подлиннее. Липутин совершенно заметил чрезвычайный испуг Степана Трофимовича и видимо был доволен. Он уселся на плетеном стуле, который вытащил чуть не на середину комнаты, чтобы находиться в одинаковом расстоянии между хозяином и гостем, разместившимися один против другого на двух противоположных диванах. Вострые глаза его с любопытством шныряли по всем углам.

– Я... давно уже не видал Петрушу... Вы за границей встретились? – пробормотал кое-как Степан Трофимович гостю.

– И здесь и за границей.

– Алексей Нилыч сами только что из-за границы, после четырехлетнего отсутствия, – подхватил Липутин, – ездили для усовершенствования себя в своей специальности и к нам прибыли, имея основание надеяться получить место при постройке нашего железнодорожного моста, и теперь ответа ожидают. Они с господами Дроздовыми, с Лизаветой Николаевной знакомы чрез Петра Степановича.

Инженер сидел, как будто нахохлившись, и прислушивался с неловким нетерпением. Мне показалось, что он был на что-то сердит.

– Они и с Николаем Всеволодовичем знакомы-с.

– Знаете и Николая Всеволодовича? – осведомился Степан Трофимович.

– Знаю и этого.

– Я... я чрезвычайно давно уже не видал Петрушу и... так мало нахожу себя вправе называться отцом... *c'est le mot!*¹; я... как же вы его оставили?

– Да так и оставил... он сам приедет, – опять поспешил отделаться господин Кириллов. Решительно, он сердился.

– Приедет! Наконец-то я... видите ли, я слишком давно уже не видал Петрушу! – завяз на этой фразе Степан Трофимович. – Жду теперь моего бедного мальчика, пред которым... о, пред которым я так виноват! То есть я, собственно, хочу сказать, что, оставляя его тогда в Петербурге, я... одним словом, я считал его за ничто, *quelque chose dans ce genre*². Мальчик, знаете, нервный, очень чувствительный и... боязливый. Ложась спать, клал земные поклоны и крестил подушку, чтобы ночью не умереть... *je m'en souviens. Enfin*³, чувства изящного никакого, то есть чего-нибудь высшего, основного, какого-нибудь зародыша будущей идеи... *c'était comme un petit idiot*⁴. Впрочем, я сам, кажется, спутался, извините, я... вы меня застали...

– Вы серьезно, что он подушку крестил? – с каким-то особенным любопытством вдруг осведомился инженер.

– Да, крестил...

– Нет, я так; продолжайте.

Степан Трофимович вопросительно поглядел на Липутину.

¹ именно так (*фр.*).

² что-то в этом роде (*фр.*).

³ я помню это. Наконец (*фр.*).

⁴ он походил на идиотика (*фр.*).

– Я очень вам благодарен за ваше посещение, но, признаюсь, я теперь... не в состоянии... Позвольте, однако, узнать, где квартируете?

– В Богоявленской улице, в доме Филиппова.

– Ах, это там же, где Шатов живет, – заметил я невольно.

– Именно, в том же самом доме, – воскликнул Липутин, – только Шатов наверху стоит, в мезонине, а они внизу поместились, у капитана Лебядкина. Они и Шатова знают и супругу Шатова знают. Очень близко с нею за границей встречались.

– Comment! Так неужели вы что-нибудь знаете об этом несчастном супружестве *de se ravue ami*² и эту женщину? – воскликнул Степан Трофимович, вдруг увлекшись чувством. – Вас первого человека встречаю, лично знакомого; и если только...

– Какой вздор! – отрезал инженер, весь вспыхнув. – Как вы, Липутин, прибавляете! Никак я не видал жену Шатова; раз только издали, а вовсе не близко... Шатова знаю. Зачем же вы прибавляете разные вещи?

Он круто повернулся на диване, захватил свою шляпу, потом опять отложил и, снова усевшись по-прежнему, с каким-то вызовом уставился своими черными вспыхнувшими глазами на Степана Трофимовича. Я никак не мог понять такой странной раздражительности.

– Извините меня, – внушительно заметил Степан Трофимович, – я понимаю, что это дело может быть деликатнейшим...

– Никакого тут деликатнейшего дела нет, и даже это стыдно, а я не вам кричал, что «вздор», а Липутину, зачем он прибавляет. Извините меня, если на свое имя приняли. Я Шатова знаю, а жену его совсем не знаю... совсем не знаю!

– Я понял, понял, и если настаивал, то потому лишь, что очень люблю нашего бедного друга, *notre irascible ami*³, и всегда интересовался... Человек этот слишком круто изменил, на мой взгляд, свои прежние, может быть слишком молодые, но все-таки правильные мысли. И до того кричит теперь об *notre sainte Russie* разные вещи, что я давно уже приписываю этот перелом в его организме – иначе назвать не хочу – какому-нибудь сильному семейному потрясению, и именно неудачной его женитьбе. Я, который изучил мою бедную Россию как два мои пальца, а русскому народу отдал всю мою жизнь, я могу вас заверить, что он русского народа не знает, и вдобавок...

– Я тоже совсем не знаю русского народа и... вовсе нет времени изучать! – отрезал опять инженер и опять круто повернулся на диване. Степан Трофимович осекся на половине речи.

– Они изучают, изучают, – подхватил Липутин, – они уже начали изучение и составляют любопытнейшую статью о причинах участившихся случаев самоубийства в России и вообще о причинах, учащающих или задерживающих распространение самоубийства в обществе. Дошли до удивительных результатов.

Инженер страшно взволновался.

– Это вы вовсе не имеете права, – гневно забормотал он, – я вовсе не статью. Я не стану глупостей. Я вас конфиденциально спросил, совсем нечаянно. Тут не статья вовсе; я не публикую, а вы не имеете права...

Липутин видимо наслаждался.

¹ Как! (*фр.*)

² этого бедного друга (*фр.*).

³ нашего раздражительного друга (*фр.*).

– Виноват-с, может быть, и ошибся, называя ваш литературный труд статьей. Они только наблюдения собирают, а до сущности вопроса или, так сказать, до нравственной его стороны совсем не прикасаются, и даже самую нравственность совсем отвергают, а держатся новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей. Они уже больше чем сто миллионов голов требуют для водворения здравого рассудка в Европе, гораздо больше, чем на последнем конгрессе мира потребовали. В этом смысле Алексей Нилыч дальше всех пошли.

Инженер слушал с презрительною и бледною улыбкой. С полминуты все помолчали.

– Все это глупо, Липутин, – проговорил наконец господин Кириллов с некоторым достоинством. – Если я нечаянно сказал вам несколько пунктов, а вы подхватили, то как хотите. Но вы не имеете права, потому что я никогда никому не говорю. Я презираю, чтобы говорить... Если есть убеждения, то для меня ясно... а это вы глупо сделали. Я не рассуждаю об тех пунктах, где совсем кончено. Я терпеть не могу рассуждать. Я никогда не хочу рассуждать...

– И, может быть, прекрасно делаете, – не утерпел Степан Трофимович.

– Я вам извиняюсь, но я здесь ни на кого не сержусь, – продолжал гость горячею скороговоркой, – я четыре года видел мало людей... Я мало четыре года разговаривал и старался не встречать, для моих целей, до которых нет дела, четыре года. Липутин это нашел и смеется. Я понимаю и не смотрю. Я не обидлив, а только досадно на его свободу. А если я с вами не излагаю мыслей, – заключил он неожиданно и обводя всех нас твердым взглядом, – то вовсе не с тем, что боюсь от вас доноса правительству; это нет; пожалуйста, не подумайте пустяков в этом смысле...

На эти слова уже никто ничего не ответил, а только переглянулись. Даже сам Липутин позабыл хихикнуть.

– Господа, мне очень жаль, – с решимостью поднялся с дивана Степан Трофимович, – но я чувствую себя нездоровым и расстроенным. Извините.

– Ах, это чтоб уходить, – спохватился господин Кириллов, схватывая картуз, – это хорошо, что сказали, а то я забывчив.

Он встал и с простодушным видом подошел с протянутою рукой к Степану Трофимовичу.

– Жаль, что вы нездоровы, а я пришел.

– Желаю вам всякого у нас успеха, – ответил Степан Трофимович, доброжелательно и неторопливо пожимая его руку. – Понимаю, что если вы, по вашим словам, так долго прожили за границей, чуждаясь для своих целей людей, и – забыли Россию, то, конечно, вы на нас, коренных русаков, поневоле должны смотреть с удивлением, а мы равномерно на вас. *Mais cela passera*¹. В одном только я затрудняюсь: вы хотите строить наш мост и в то же время объявляете, что стоите за принцип всеобщего разрушения. Не дадут вам строить наш мост!

– Как? Как это вы сказали... ах черт! – воскликнул пораженный Кириллов и вдруг рассмеялся самым веселым и ясным смехом. На мгновение лицо его приняло самое детское выражение и, мне показалось, очень к нему идущее. Липутин потирал руки в восторге от удачного словца Степана Трофимовича. А я все дивился про себя: чего Степан Трофимович так испугался Липутина и почему вскричал «я пропал», услышав его.

¹ Но это пройдет (фр.).

V

Мы все стояли на пороге в дверях. Был тот миг, когда хозяева и гости обмениваются наскоро последними и самыми любезными словечками, а затем благополучно расходятся.

– Это все оттого они так угрюмы сегодня, – повернул вдруг Липутин, совсем уже выходя из комнаты и, так сказать, на лету, – оттого, что с капитаном Лебядкиным шум у них давеча вышел из-за сестрицы. Капитан Лебядкин ежедневно свою прекрасную сестрицу, помешанную, нагайкой стегают, настоящей казацкой-с, по утрам и по вечерам. Так Алексей Нилыч в том же доме флигель даже заняли, чтобы не участвовать. Ну-с, до свиданья.

– Сестру? Больную? Нагайкой? – так и вскрикнул Степан Трофимович, – точно его самого вдруг охлестнули нагайкой. – Какую сестру? Какой Лебядкин? Давешний испуг воротился в одно мгновение.

– Лебядкин? А, это отставной капитан; прежде он только штабс-капитаном себя называл...

– Э, какое мне дело до чина! Какую сестру? Боже мой... вы говорите: Лебядкин? Но ведь у нас был Лебядкин...

– Тот самый и есть, наш Лебядкин, вот, помните, у Виргинского?

– Но ведь тот с фальшивыми бумажками попался?

– А вот и воротился, уж почти три недели и при самых особенных обстоятельствах.

– Да ведь это негодяй!

– Точно у нас и не может быть негодяя? – осклабился вдруг Липутин, как бы ощупывая своими вороватыми глазками Степана Трофимовича.

– Ах, Боже мой, я совсем не про то... хотя, впрочем, о негодяе с вами совершенно согласен, именно с вами. Но что ж дальше, дальше? Что вы хотели этим сказать?.. Ведь вы непременно что-то хотите этим сказать!

– Да все эти такие пустяки-с... то есть этот капитан, по всем видимостям, уезжал от нас тогда не для фальшивых бумажек, а единственно затем только, чтоб эту сестрицу свою разыскать, а та будто бы от него пряталась в неизвестном месте; ну а теперь привез, вот и вся история. Чего вы точно испугались, Степан Трофимович? Впрочем, я все с его же пьяной болтовни говорю, а трезвый он и сам об этом прималчивает. Человек раздражительный и, как бы так сказать, военно-эстетический, но дурного только вкуса. А сестрица эта не только сумасшедшая, но даже хромоногая. Была будто бы кем-то обольщена в своей чести, и за это вот господин Лебядкин, уже многие годы, будто бы с обольстителя ежегодную дань берет, в вознаграждение благородной обиды, так по крайней мере из его болтовни выходит – а по-моему, пьяные только слова-с. Просто хвастается. Да и делается это гораздо дешевле. А что суммы у него есть, так это совершенно уж верно; полторы недели назад на босу ногу ходил, а теперь, сам сидел, сотни в руках. У сестрицы припадки какие-то ежедневные, визжит она, а он-то ее «в порядок приводит» нагайкой. В женщину, говорит, надо вселять уважение. Вот не пойму, как еще Шатов над ними уживается. Алексей Нилыч только три денька и простояли с ними, еще с Петербурга были знакомы, а теперь флигелек от беспокойства занимают.

– Это все правда? – обратился Степан Трофимович к инженеру.

– Вы очень болтаете, Липутин, – пробормотал тот гневно.

– Тайны, секреты! Откуда у нас вдруг столько тайн и секретов явилось! – не сдерживая себя, восклицал Степан Трофимович.

Инженер нахмурился, покраснел, вскинул плечами и пошел было из комнаты.

– Алексей Нилыч даже нагайку вырвали-с, изломали и в окошко выбросили, и очень поссорились, – прибавил Липутин.

– Зачем вы болтаете, Липутин, это глупо, зачем? – мигом повернулся опять Алексей Нилыч.

– Зачем же скрывать, из скромности, благороднейшие движения своей души, то есть вашей души-с, я не про свою говорю.

– Как это глупо... и совсем не нужно... Лебядкин глуп и совершенно пустой – и для действия бесполезный и... совершенно вредный. Зачем вы болтаете разные вещи? Я ухожу.

– Ах, как жаль! – воскликнул Липутин с ясною улыбкой. – А то бы я вас, Степан Трофимович, еще одним анекдотцем насмешил-с. Даже и шел с тем намерением, чтобы сообщить, хотя вы, впрочем, наверно уж и сами слышали. Ну, да уж в другой раз, Алексей Нилыч так торопятся... До свиданья-с. С Варварой Петровной анекдотик-то вышел, насмешила она меня третьего дня, нарочно за мной посылала, просто умора. До свиданья-с.

Но уж тут Степан Трофимович так и вцепился в него: он схватил его за плечи, круто повернул назад в комнату и посадил на стул. Липутин даже струсил.

– Да как же-с? – начал он сам, осторожно смотря на Степана Трофимовича с своего стула. – Вдруг призвали меня и спрашивают «конфиденциально», как я думаю в собственном мнении: помешан ли Николай Всеволодович или в своем уме? Как же не удивительно?

– Вы с ума сошли! – пробормотал Степан Трофимович и вдруг точно вышел из себя: – Липутин, вы слишком хорошо знаете, что только затем и пришли, чтобы сообщить какую-нибудь мерзость в этом роде и... еще что-нибудь хуже!

В один миг припомнилась мне его догадка о том, что Липутин знает в нашем деле не только больше нашего, но и еще что-нибудь, чего мы сами никогда не узнаем.

– Помилуйте, Степан Трофимович! – бормотал Липутин будто бы в ужасном испуге, – помилуйте...

– Молчите и начинайте! Я вас очень прошу, господин Кириллов, тоже воротиться и присутствовать, очень прошу! Садитесь. А вы, Липутин, начинайте прямо, просто... и без малейших отговорок!

– Знал бы только, что это вас так фраппирует, так я бы совсем и не начал-с... А я-то ведь думал, что вам уже все известно от самой Варвары Петровны!

– Совсем вы этого не думали! Начинайте, начинайте же, говорят вам!

– Только сделайте одолжение, присядьте уж и сами, а то что же я буду сидеть, а вы в таком волнении будете передо мною... бегать. Нескладно выйдет-с.

Степан Трофимович сдержал себя и внушительно опустил в кресло. Инженер пасмурно наставился в землю. Липутин с неистовым наслаждением смотрел на них.

– Да что же начинать... так сконфузили...

VI

— Вдруг третьего дня присылают ко мне своего человека: просят, дескать, побывать вас завтра в двенадцать часов. Можете представить? Я дело бросил и вчера ровнешенько в полдень звоню. Вводят меня прямо в гостиную; подождал с минутку – вышли; посадили, сами напротив сели. Сiju и верить отказываюсь; сами знаете, как она меня всегда третировала! Начинают прямо без изворотов,

по их всегдашней манере: «Вы помните, говорит, что четыре года назад Николай Всеволодович, будучи в болезни, сделал несколько странных поступков, так что недоумевал весь город, пока все объяснилось. Один из этих поступков касался вас лично. Николай Всеволодович тогда к вам заезжал по выздоровлении и по моей просьбе. Мне известно тоже, что он и прежде несколько раз с вами разговаривал. Скажите откровенно и прямодушно, как вы... (тут замялись немного) – как вы находили тогда Николая Всеволодовича... Как вы смотрели на него вообще... какое мнение о нем могли составить и... теперь имеете?..»

Тут уж совершенно замялись, так что даже переждали полную минутку, и вдруг покраснели. Я перепугался. Начинают опять не то чтобы трогательным, к ним это нейдет, а таким внушительным очень тоном:

«Я желаю, говорит, чтобы вы меня хорошо и безошибочно, говорит, поняли. Я послала теперь за вами, потому что считаю вас прозорливым и остроумным человеком, способным составить верное наблюдение (каковы комплименты!). Вы, говорит, поймете, конечно, и то, что с вами говорит мать... Николай Всеволодович испытал в жизни некоторые несчастья и многие перевороты. Все это, говорит, могло повлиять на настроение ума его. Разумеется, говорит, я не говорю про помешательство, этого никогда быть не может! (твердо и с гордостью высказано). Но могло быть нечто странное, особенное, некоторый оборот мыслей, склонность к некоторому особому воззрению (все это точные слова их, и я подивился, Степан Трофимович, с какою точностию Варвара Петровна умеет объяснить дело. Высокого ума дама!). По крайней мере, говорит, я сама заметила в нем некоторое постоянное беспокойство и стремление к особым склонностям. Но я мать, а вы человек посторонний, значит, способны, при вашем уме, составить более независимое мнение. Умоляю вас, наконец (так и было выговорено: умоляю), сказать мне всю правду, безо всяких ужимок, и если вы при этом дадите мне обещание не забыть потом никогда, что я говорила с вами конфиденциально, то можете ожидать моей совершенной и впредь всегдашней готовности отблагодарить вас при всякой возможности». Ну-с, каково-с!

– Вы... вы так фразировали меня... – пролепетал Степан Трофимович, – что я вам не верю...

– Нет, заметьте, заметьте, – подхватил Липутин, как бы и не слыхав Степана Трофимовича, – каково же должно быть волнение и беспокойство, когда с таким вопросом обращаются с такой высоты к такому человеку, как я, да еще снисходят до того, что сами просят секрета. Это что же-с? Уж не получили ли известий каких-нибудь о Николае Всеволодовиче неожиданных?

– Я не знаю... известий никаких... я несколько дней не видался, но... но замечу вам... – лепетал Степан Трофимович, видимо едва справляясь со своими мыслями, – но замечу вам, Липутин, что если вам передано конфиденциально, а вы теперь при всех...

– Совершенно конфиденциально! Да разрази меня Бог, если я... А коли здесь... так ведь что же-с? Разве мы чужие, взять даже хоть бы и Алексея Нилыча?

– Я такого воззрения не разделяю; без сомнения, мы здесь трое сохраним секрет, но вас, четвертого, я боюсь и не верю вам ни в чем!

– Да что вы это-с? Да я пуще всех заинтересован, ведь мне вечная благодарность обещана! А вот я именно хотел, по сему же поводу, на чрезвычайно странный случай один указать, более, так сказать, психологический, чем просто странный. Вчера вечером, под влиянием разговора у Варвары Петровны (сами можете представить, какое впечатление на меня произвело), обратился я к Алексею Нилычу с отдаленным вопросом: вы, говорю, и за границей и в Пе-

тербурге еще прежде знали Николая Всеволодовича; как вы, говорю, его находите относительно ума и способностей? Они и отвечают этак лаконически, по их манере, что, дескать, тонкого ума и со здравым суждением, говорят, человек. А не заметили ли вы в течение лет, говорю, некоторого, говорю, как бы уклонения идей, или особенного оборота мыслей, или некоторого, говорю, как бы, так сказать, помешательства? Одним словом, повторяю вопрос самой Варвары Петровны. Представьте же себе: Алексей Нилыч вдруг задумался и сморщился вот точно так, как теперь: «Да, говорят, мне иногда казалось нечто странное». Заметьте при этом, что если уж Алексею Нилычу могло показаться нечто странное, то что же на самом-то деле может оказаться, а?

– Правда это? – обратился Степан Трофимович к Алексею Нилычу.

– Я желал бы не говорить об этом, – отвечал Алексей Нилыч, вдруг подымая голову и сверкая глазами, – я хочу оспорить ваше право, Липутин. Вы никакого не имеете права на этот случай про меня. Я вовсе не говорил моего всего мнения. Я хоть и знаком был в Петербурге, но это давно, а теперь хоть и встретил, но мало очень знаю Николая Ставрогина. Прошу вас меня устранили... и все это похоже на сплетню.

Липутин развел руками в виде угнетенной невинности.

– Сплетник! Да уж не шпион ли? Хорошо вам, Алексей Нилыч, критиковать, когда вы во всем себя устраниваете. А вы вот не поверите, Степан Трофимович, чего уж, кажется-с, капитан Лебядкин, ведь уж, кажется, глуп как... то есть стыдно только сказать, как глуп; есть такое одно русское сравнение, означающее степень; а ведь и он себя от Николая Всеволодовича обиженным почитает, хотя и преклоняется пред его остроумием: «Поражен, говорит, этим человеком: премудрый змий» (собственные слова). А я ему (все под тем же вчерашним влиянием и уже после разговора с Алексеем Нилычем): а что, говорю, капитан, как вы полагаете с своей стороны, помешан ваш премудрый змий или нет? Так, верите ли, точно я его вдруг сзади кнутом охлестнул, без его позволения; просто привскочил с места: «Да, говорит... да, говорит, только это, говорит, не может повлиять...»; на что повлиять – не досказал; да так потом горестно задумался, так задумался, что и хмель соскочил. Мы в Филипповом трактире сидели-с. И только через полчаса разве ударил вдруг кулаком по столу: «Да, говорит, пожалуй, и помешан, только это не может повлиять...» – и опять не досказал, на что повлиять. Я вам, разумеется, только экстракт разговора передаю, но ведь мысль-то понятна; кого ни спроси, всем одна мысль приходит, хотя бы прежде никому и в голову не входила: «Да, говорят, помешан; очень умен, но, может быть, и помешан».

Степан Трофимович сидел в задумчивости и усиленно соображал.

– А почему Лебядкин знает?

– А об этом не угодно ли у Алексея Нилыча справиться, который меня сейчас здесь шпионом обозвал. Я шпион и – не знаю, а Алексей Нилыч знают всю подноготную и молчат-с.

– Я ничего не знаю, или мало, – с тем же раздражением отвечал инженер, – вы Лебядкина пьяным поите, чтоб узнавать. Вы и меня сюда привели, чтоб узнать и чтоб я сказал. Стало быть, вы шпион!

– Я еще его не поил-с, да и денег таких он не стоит, со всеми его тайнами, вот что они для меня значат, не знаю, как для вас. Напротив, это он деньгами сыплет, тогда как двенадцать дней назад ко мне приходил пятнадцать копеек выпрашивать, и это он меня шампанским поит, а не я его. Но вы мне мысль подаете, и коли надо будет, то и я его напою, и именно чтобы разузнать, и может, и разузнаю-с... секретники все ваши-с, – злобно отгрызнулся Липутин.

Степан Трофимович в недоумении смотрел на обоих спорщиков. Оба сами себя выдавали и, главное, не церемонились. Мне подумалось, что Липутин привел к нам этого Алексея Нилыча именно с целью втянуть его в нужный разговор чрез третье лицо, любимый его маневр.

– Алексей Нилыч слишком хорошо знают Николая Всеволодовича, – раздражительно продолжал он, – но только скрывают-с. А что вы спрашиваете про капитана Лебядкина, то тот раньше всех нас с ним познакомился, в Петербурге, лет пять или шесть тому, в ту малоизвестную, если можно так выразиться, эпоху жизни Николая Всеволодовича, когда еще он и не думал нас здесь приездом своим осчастливить. Наш принц, надо заключить, довольно странный тогда выбор знакомства в Петербурге около себя завел. Тогда вот и с Алексеем Нилычем, кажется, познакомились.

– Берегитесь, Липутин, предупреждаю вас, что Николай Всеволодович скоро сам сюда хотел быть, а он умеет за себя постоять.

– Так меня-то за что же-с? Я первый кричу, что тончайшего и изящнейшего ума человек, и Варвару Петровну вчера в этом смысле совсем успокоил. «Вот в характере его, говорю ей, не могу поручиться». Лебядкин тоже в одно слово вчера: «От характера его, говорит, пострадал». Эх, Степан Трофимович, хорошо вам кричать, что сплетни да шпионство, и заметьте, когда уже сами от меня все выпытали, да еще с таким чрезмерным любопытством. А вот Варвара Петровна, так та прямо вчера в самую точку: «Вы, говорит, лично заинтересованы были в деле, потому к вам и обращаюсь». Да еще же бы Нет-с! Какие уж тут цели, когда я личную обиду при всем обществе от его превосходительства скушал! Кажется, имею причины и не для одних сплетен поинтересоваться. Сегодня жмет вам руку, а завтра ни с того ни с сего, за хлеб-соль вашу, вас же бьет по щекам при всем честном обществе, как только ему полюбит. С жиру-с! А главное у них женский пол, мотыльки и храбрые петушки! Помещики с крылушками, как у древних амуров, Печорины-сердцееды! Вам хорошо, Степан Трофимович, холостяку завязать, так говорить и за его превосходительство меня сплетником называть. А вот женились бы, так как вы и теперь еще такой молодец из себя, на хорошенькой да на молоденькой, так, пожалуй, от нашего принца двери крючком заложите да баррикады в своем же доме выстроите! Да чего уж тут: вот только будь эта *mademoiselle* Лебядкина, которую секут кнутьями, не сумасшедшая и не кривоногая, так, ей-Богу, подумал бы, что она-то и есть жертва страстей нашего генерала и что от этого самого и пострадал капитан Лебядкин «в своем фамильном достоинстве», как он сам выражается. Только разве вкусу их изящному противоречит, да для них и то не беда. Всякая ягодка в ход идет, только чтобы попалась под известное их настроение. Вы вот про сплетни, а разве я это кричу, когда уж весь город стучит, а я только слушаю да поддакиваю: поддакивать-то не запрещено-с.

– Город кричит? Об чем же кричит город?

– То есть это капитан Лебядкин в пьяном виде на весь город, ну, а ведь это не все ли равно, что вся площадь кричит? Чем же я виноват? Я интересуюсь только между друзей-с, потому что я все-таки здесь считаю себя между друзей-с, – с невинным видом обвел он нас глазами. – Тут случай вышел-с, сообщите-ка: выходит, что его превосходительство будто бы выслали еще из Швейцарии с одною наибогороднейшею девицей и, так сказать, скромною сиротой, которую я имею честь знать, триста рублей для передачи капитану Лебядкину. А Лебядкин немного спустя получил точнейшее известие, от кого не скажу, но тоже от наибогороднейшего лица, а стало быть достовернейшего, что не триста руб-

лей, а тысяча была выслана!.. Стало быть, кричит Лебядкин, девица семьсот рублей у меня утащила, и вытребовать хочет чуть не полицейским порядком, по крайней мере угрожает и на весь город стучит...

– Это подло, подло от вас! – вскочил вдруг инженер со стула.

– Да ведь вы сами же и есть это наибогороднейшее лицо, которое подтвердило Лебядкину от имени Николая Всеволодовича, что не триста, а тысяча рублей были высланы. Ведь мне сам капитан сообщил в пьяном виде.

– Это... это несчастное недоумение. Кто-нибудь ошибся и вышло... Это вздор, а вы подло!..

– Да и я хочу верить, что вздор, и с прискорбием слушаю, потому что, как хотите, наибогороднейшая девушка замешана, во-первых, в семистах рублях, а во-вторых, в очевидных интимностях с Николаем Всеволодовичем. Да ведь его превосходительству что стоит девушку благороднейшую осрамить или чужую жену обесславить, подобно тому как тогда со мной казус вышел-с? Подвернется им полный великодушия человек, они и заставят его прикрыть своим честным именем чужие грехи. Так точно и я ведь вынес-с; я про себя говорю-с...

– Берегитесь, Липутин! – привстал с кресел Степан Трофимович и побледнел.

– Не верьте, не верьте! Кто-нибудь ошибся, а Лебядкин пьян... – восклицал инженер в невыразимом волнении, – все объяснится, а я больше не могу... и считаю низостью... и довольно, довольно!

Он выбежал из комнаты.

– Так что же вы? Да ведь и я с вами! – всполохнулся Липутин, вскочил и побежал вслед за Алексеем Нилычем.

VII

Степан Трофимович постоял с минуту в раздумье, как-то не глядя посмотрел на меня, взял свою шляпу, палку и тихо пошел из комнаты. Я опять за ним, как и давеча. Выходя из ворот, он, заметив, что я провожаю его, сказал:

– Ах да, вы можете служить свидетелем... *de l'accident. Vous m'accompagnez, n'est-ce pas?*¹

– Степан Трофимович, неужели вы опять туда? Подумайте, что может выйти?

С жалкою и потерянною улыбкой, – улыбкой стыда и совершенного отчаяния, и в то же время какого-то странного восторга, прошептал он мне, на миг приостанавливаясь:

– Не могу же я жениться на «чужих грехах»!

Я только и ждал этого слова. Наконец-то это заветное, скрываемое от меня словцо было произнесено после целой недели виляний и ужимок. Я решительно вышел из себя:

– И такая грязная, такая... низкая мысль могла появиться у вас, у Степана Верховенского, в вашем светлом уме, в вашем добром сердце и... еще до Липутина!

Он посмотрел на меня, не ответил и пошел тою же дорогой. Я не хотел отставать. Я хотел свидетельствовать пред Варварой Петровной. Я бы простил ему, если б он поверил только Липутину, по бабьему малодушию своему, но теперь уже ясно было, что он сам все выдумал еще гораздо прежде Липутина, а Липутин только теперь подтвердил его подозрения и подлил масла в огонь. Он

¹ происшествия. Вы меня будете сопровождать, не правда ли? (*фр.*)

не задумался заподозрить девушку с самого первого дня, еще не имея никаких оснований, даже липутинских. Деспотические действия Варвары Петровны он объяснил себе только отчаянным желанием ее поскорее замазать свадьбой с почтенным человеком дворянские грешки ее бесценного Nicolas! Мне непременно хотелось, чтоб он был наказан за это.

– O! Dieu qui est si grand et si bon!¹ О, кто меня успокоит! – воскликнул он, пройдя еще шагов сотню и вдруг остановившись.

– Пойдемте сейчас домой, и я вам все объясню! – вскричал я, силой поворачивая его к дому.

– Это он! Степан Трофимович, это вы? Вы? – раздался свежий, резвый, юный голос, как какая-то музыка подле нас.

Мы ничего не видали, а подле нас вдруг появилась наездница, Лизавета Николаевна, со своим всегдашним провожатым. Она остановила коня.

– Идите, идите же скорее! – звала она громко и весело. – Я двенадцать лет не видала его и узнала, а он... Неужто не узнаете меня?

Степан Трофимович схватил ее руку, протянутую к нему, и благоговейно поцеловал ее. Он глядел на нее как бы с молитвой и не мог выговорить слова.

– Узнал и рад! Маврикий Николаевич, он в восторге, что видит меня! Что же вы не шли все две недели? Тетя убеждала, что вы больны и что вас нельзя тревожить; но ведь я знаю, тетя лжет. Я все топала ногами и вас бранила, но я непременно, непременно хотела, чтобы вы сами первый пришли, потому и не посылала. Боже, да он нисколько не переменился! – рассматривала она его, наклоняясь с седла, – он до смешного не переменился! Ах нет, есть морщинки, много морщинок у глаз и на щеках, и седые волосы есть, но глаза те же! А я переменялась? Переменялась? Но что же вы все молчите?

Мне вспомнился в это мгновение рассказ о том, что она была чуть не больна, когда ее увезли одиннадцати лет в Петербург; в болезни будто бы плакала и спрашивала Степана Трофимовича.

– Вы... я... – лепетал он теперь обрывавшимся от радости голосом, – я сейчас вскричал: «Кто успокоит меня!» – и раздался ваш голос... Я считаю это чудом et je commence à croire².

– En Dieu? En Dieu, qui est là-haut et qui est si grand et si bon?³ Видите, я все ваши лекции наизусть помню. Маврикий Николаевич, какую он мне тогда веру преподавал en Dieu, qui est si grand et si bon! А помните ваши рассказы о том, как Колумб открывал Америку и как все закричали: «Земля, земля!» Няня Алена Фроловна говорит, что я после того ночью бредила и во сне кричала: «Земля, земля!» А помните, как вы мне историю принца Гамлета рассказывали? А помните, как вы мне описывали, как из Европы в Америку бедных эмигрантов перевозят? И все-то неправда, я потом все узнала, как перевозят, но как он мне хорошо лгал тогда, Маврикий Николаевич, почти лучше правды! Чего вы так смотрите на Маврикия Николаевича? Это самый лучший и самый верный человек на всем земном шаре, и вы его непременно должны полюбить, как меня! Il fait tout ce que je veux⁴. Но, голубчик Степан Трофимович, стало быть, вы опять несчастны, коли среди улицы кричите о том, кто вас успокоит? Несчастны, ведь так? Так?

– Теперь счастлив...

¹ О Боже, великий и милостивый! (фр.)

² и начинаю веровать (фр.).

³ В Бога? В Бога всевышнего, который так велик и так милостив? (фр.)

⁴ Он делает все, что я хочу (фр.).

– Тетя обижает? – продолжала она не слушая, – все та же злая, несправедливая и вечно нам бесценная тетя! А помните, как вы бросались ко мне в объятия в саду, а я вас утешала и плакала, – да не бойтесь же Маврикия Николаевича; он про вас все, все знает, давно, вы можете плакать на его плече сколько угодно, и он сколько угодно будет стоять!.. Приподнимите шляпу, снимите совсем на минутку, протяните голову, станьте на цыпочки, я вас сейчас поцелую в лоб, как в последний раз поцеловала, когда мы прощались. Видите, та барышня из окна на нас любит... Ну, ближе, ближе. Боже, как он поседел!

И она, принагнувшись в седле, поцеловала его в лоб.

– Ну, теперь к вам домой! Я знаю, где вы живете. Я сейчас, сию минуту буду у вас. Я вам, упряму, сделаю первый визит и потом на целый день вас к себе затащу. Ступайте же, приготовьтесь встречать меня.

И она усакала с своим кавалером. Мы воротились. Степан Трофимович сел на диван и заплакал.

– Dieu! Dieu!¹ – восклицал он, – enfin une minute de bonheur!²

Не более как через десять минут она явилась по обещанию, в сопровождении своего Маврикия Николаевича.

– Vous et le bonheur, vous arrivez en même tems!³ – поднялся он ей навстречу.

– Вот вам букет; сейчас ездил к madame Шевалье, у ней всю зиму для именинниц букеты будут. Вот вам и Маврикий Николаевич, прошу познакомиться. Я хотела было пирог вместо букета, но Маврикий Николаевич уверяет, что это не в русском духе.

Этот Маврикий Николаевич был артиллерийский капитан, лет тридцати трех, высокого росту господин, красивой и безукоризненно порядочной наружности, с внушительною и на первый взгляд даже строгою физиономией, несмотря на его удивительную и деликатнейшую доброту, о которой всякий получал понятие чуть не с первой минуты своего с ним знакомства. Он, впрочем, был молчалив, казался очень хладнокровен и на дружбу не напрашивался. Говорили потом у нас многие, что он недалек; это было не совсем справедливо.

Я не стану описывать красоту Лизаветы Николаевны. Весь город уже кричал об ее красоте, хотя некоторые наши дамы и девицы с негодованием не соглашались с кричавшими. Были из них и такие, которые уже возненавидели Лизавету Николаевну, и, во-первых, за гордость: Дроздовы почти еще не начинали делать визитов, что оскорбляло, хотя виной задержки действительно было болезненное состояние Прасковьи Ивановны. Во-вторых, ненавидели ее за то, что она родственница губернаторши; в-третьих, за то, что она ежедневно прогуливается верхом. У нас до сих пор никогда еще не бывало амазонок; естественно, что появление Лизаветы Николаевны, прогуливавшейся верхом и еще не сделавшей визитов, должно было оскорблять общество. Впрочем, все уже знали, что она ездит верхом по приказанию докторов, и при этом едко говорили об ее болезненности. Она действительно была больна. Что выдавалось в ней с первого взгляда – это ее болезненное, нервное, непрерывное беспокойство. Увы! бедняжка очень страдала, и все объяснилось впоследствии. Теперь, вспоминая прошедшее, я уже не скажу, что она была красавица, какою казалась мне тогда. Может быть, она была даже и совсем нехороша собой. Высокая, тоненькая, но гибкая и сильная, она даже поражала неправильностью линий своего лица. Глаза ее были поставлены как-то по-калмыцки,

¹ Боже! Боже! (фр.)

² наконец одно мгновение счастья! (фр.)

³ Вы и счастье, вы являетесь одновременно! (фр.)

криво; была бледна, скулиста, смугла и худа лицом; но было же нечто в этом лице побеждающее и привлекающее! Какое-то могущество сказывалось в горящем взгляде ее темных глаз; она являлась «как победительница и чтобы победить». Она казалась гордою, а иногда даже дерзкою; не знаю, удавалось ли ей быть доброю; но я знаю, что она ужасно хотела и мучилась тем, чтобы заставить себя быть несколько доброю. В этой натуре, конечно, было много прекрасных стремлений и самых справедливых начинаний; но все в ней как бы вечно искало своего уровня и не находило его, все было в хаосе, в волнении, в беспокойстве. Может быть, она уже со слишком строгими требованиями относилась к себе, никогда не находя в себе силы удовлетворить этим требованиям.

Она села на диван и оглядывала комнату.

– Почему мне в эти минуты всегда становится грустно, разгадайте, ученый человек? Я всю жизнь думала, что и Бог знает как буду рада, когда вас увижу и все припомню, и вот совсем как будто не рада, несмотря на то что вас люблю... Ах, Боже, у него висит мой портрет! Дайте сюда, я его помню, помню!

Превосходный миниатюрный портрет акварелью двенадцатилетней Лизы был выслан Дроздовыми Степану Трофимовичу из Петербурга еще лет девять назад. С тех пор он постоянно висел у него на стене.

– Неужто я была таким хорошеньким ребенком? Неужто это мое лицо?

Она встала и с портретом в руках посмотрелась в зеркало.

– Поскорей возьмите! – воскликнула она, отдавая портрет. – Не вешайте теперь, после, не хочу и смотреть на него. – Она села опять на диван. – Одна жизнь прошла, началась другая, потом другая прошла – началась третья, и все без конца. Все концы, точно как ножницами, обрезывает. Видите, какие я старые вещи рассказываю, а ведь сколько правды!

Она, усмехнувшись, посмотрела на меня; уже несколько раз она на меня взглядывала, но Степан Трофимович в своем волнении и забыл, что обещал меня представить.

– А зачем мой портрет висит у вас под кинжалами? И зачем у вас столько кинжалов и сабель?

У него действительно висели на стене, не знаю для чего, два ятагана накрест, а над ними настоящая черкесская шашка. Спрашивая, она так прямо на меня посмотрела, что я хотел было что-то ответить, но осекся. Степан Трофимович догадался наконец и меня представил.

– Знаю, знаю, – сказала она, – я очень рада. Мамá об вас тоже много слышала. Познакомьтесь и с Маврикием Николаевичем, это прекрасный человек. Я об вас уже составила смешное понятие: ведь вы конфиденгент Степана Трофимовича?

Я покраснел.

– Ах, простите, пожалуйста, я совсем не то слово сказала; вовсе не смешное, а так... (Она покраснела и сконфузилась.) – Впрочем, что же стыдиться того, что вы прекрасный человек? Ну, пора нам, Маврикий Николаевич! Степан Трофимович, через полчаса чтобы вы у нас были. Боже, сколько мы будем говорить! Теперь уж я ваш конфиденгент, и обо всем, обо всем, понимаете?

Степан Трофимович тотчас же испугался.

– О, Маврикий Николаевич все знает, его не конфузьтеся!

– Что же знает?

– Да чего вы! – вскричала она в изумлении. – Ба, да ведь и правда, что они скрывают! Я верить не хотела. Дашу тоже скрывают. Тетя давеча меня не пустила к Даше, говорит, что у ней голова болит.

– Но... но как вы узнали?

– Ах, Боже, так же, как и все. Эка мудрость!

– Да разве все?..

– Ну да как же? Мамаша, правда, сначала узнала через Алену Фроловну, мою няню; ей ваша Настасья прибежала сказать. Ведь вы говорили же Настасье? Она говорит, что вы ей сами говорили.

– Я... я говорил однажды... – пролепетал Степан Трофимович, весь покраснев, – но... я лишь намекнул... j'étais si nerveux et malade et puis...¹

Она захохотала.

– А конфидента под рукой не случилось, а Настасья подвернулась, – ну и довольно! А у той целый город кумушек! Ну да полноте, ведь это все равно; ну пусть знают, даже лучше. Скорее же приходите, мы обедаем рано... Да, забыла, – уселась она опять, – слушайте, что такое Шатов?

– Шатов? Это брат Дарьи Павловны...

– Знаю, что брат, какой вы, право! – перебила она в нетерпении. – Я хочу знать, что он такое, какой человек?

– C'est un pense-creux d'ici. C'est le meilleur et le plus irascible homme du monde...²

– Я сама слышала, что он какой-то странный. Впрочем, не о том. Я слышала, что он знает три языка, и английский, и может литературною работою заниматься. В таком случае у меня для него много работы; мне нужен помощник, и чем скорее, тем лучше. Возьмет он работу или нет? Мне его рекомендовали...

– О, непременно, et vous ferez un bienfait...³

– Я вовсе не для bienfait, мне самой нужен помощник.

– Я довольно хорошо знаю Шатова, – сказал я, – и если вы мне поручите передать ему, то я сию минуту схожу.

– Передайте ему, чтоб он завтра утром пришел в двенадцать часов. Чудесно! Благодарю вас. Маврикий Николаевич, готовы?

Они уехали. Я, разумеется, тотчас же побежал к Шатову.

– Mon ami!⁴ – догнал меня на крыльце Степан Трофимович, – непременно будьте у меня в десять или в одиннадцать часов, когда я вернусь. О, я слишком, слишком виноват пред вами и... пред всеми, пред всеми.

VIII

Шатова я не застал дома; забежал через два часа – опять нет. Наконец, уже в восьмом часу, я направился к нему, чтоб или застать его, или оставить записку; опять не застал. Квартира его была заперта, а он жил один, безо всякой прислуги. Мне было подумалось, не толкнуться ли вниз, к капитану Лебядкину, чтобы спросить о Шатове; но тут было тоже заперто, и ни слуху, ни свету оттуда, точно пустое место. Я с любопытством прошел мимо дверей Лебядкина, под влиянием давешних рассказов. В конце концов я решил зайти завтра пораньше. Да и на записку, правда, я не очень надеялся; Шатов мог пренебречь, он был такой упрямый, застенчивый. Проклиная неудачу и уже выходя из ворот, я вдруг наткнулся на господина Кириллова; он входил в дом и первый узнал меня. Так

¹ Я был так взволнован и болен, и к тому же... (фр.)

² Это местный фантазер. Это самый лучший и самый раздражительный человек на свете... (фр.)

³ и вы совершите благодеяние (фр.).

⁴ Друг мой! (фр.)

как он сам начал расспрашивать, то и рассказал ему все в главных чертах и что у меня есть записка.

– Пойдемте, – сказал он, – я все сделаю.

Я вспомнил, что он, по словам Липутина, занял с утра деревянный флигель на дворе. В этом флигеле, слишком для него просторном, квартировала с ним вместе какая-то старая глухая баба, которая ему и прислуживала. Хозяин дома в другом новом доме своем и в другой улице содержал трактир, а эта старуха, кажется родственница его, осталась смотреть за всем старым домом. Комнаты во флигеле были довольно чисты, но обои грязны. В той, куда мы вошли, мебель была сборная, разнокалиберная и совершенный брак: два ломберных стола, комод ольхового дерева, большой тесовый стол из какой-нибудь избы или кухни, стулья и диван с решетчатыми спинками и с твердыми кожаными подушками. В углу помещался старинный образ, пред которым баба еще до нас затеплила лампадку, а на стенах висели два больших тусклых масляных портрета: один покойного императора Николая Павловича, снятый, судя по виду, еще в двадцатых годах столетия; другой изображал какого-то архиерея.

Господин Кириллов, войдя, засветил свечу и из своего чемодана, стоявшего в углу и еще не разобранный, достал конверт, сургуч и хрустальную печатку.

– Запечатайте вашу записку и надпишите конверт.

Я было возразил, что не надо, но он настоял. Написав конверт, я взял фуражку.

– А я думал, вы чаю, – сказал он, – я чай купил. Хотите?

Я не отказался. Баба скоро внесла чай, то есть большущий чайник горячей воды, маленький чайник с обильно заваренным чаем, две большие каменные, грубо разрисованные чашки, калач и целую глубокую тарелку колотого сахара.

– Я чай люблю, – сказал он, – ночью; много, жожу и пью; до рассвета. За границей чай ночью неудобно.

– Вы ложитесь на рассвете?

– Всегда; давно. Я мало ем; все чай. Липутин хитер, но нетерпелив.

Меня удивило, что он хотел разговаривать; я решился воспользоваться минутой.

– Давеча вышли неприятные недоразумения, – заметил я.

Он очень нахмурился.

– Это глупость; это большие пустяки. Тут все пустяки, потому что Лебядкин пьян. Я Липутину не говорил, а только объяснил пустяки; потому что тот переврал. У Липутина много фантазии, вместо пустяков горы выстроил. Я вчера Липутину верил.

– А сегодня мне? – засмеялся я.

– Да ведь вы уже про все знаете давеча. Липутин или слаб, или нетерпелив, или вреден, или... завидует.

Последнее словцо меня поразило.

– Впрочем, вы столько категорий наставили, не мудрено, что под которую-нибудь и подойдет.

– Или ко всем вместе.

– Да, и это правда. Липутин – это хаос! Правда, он врал давеча, что вы хотите какое-то сочинение писать?

– Почему же врал? – нахмурился он опять, уставившись в землю.

Я извинился и стал уверять, что не выпытываю. Он покраснел.

– Он правду говорил; я пишу. Только это все равно.

С минуту помолчали; он вдруг улыбнулся давешнею детскою улыбкой.

– Он это про головы сам выдумал, из книги, и сам сначала мне говорил, и понимает худо, а я только ищу причины, почему люди не смеют убить себя; вот и все. И это все равно.

– Как не смеют? Разве мало самоубийств?

– Очень мало.

– Неужели вы так находите?

Он не ответил, встал и в задумчивости начал ходить взад и вперед.

– Что же удерживает людей, по-вашему, от самоубийства? – спросил я.

Он рассеянно посмотрел, как бы припоминая, об чем мы говорили.

– Я... я еще мало знаю... два предрассудка удерживают, две вещи; только две; одна очень маленькая, другая очень большая. Но и маленькая тоже очень большая.

– Какая же маленькая-то?

– Боль.

– Боль? Неужто это так важно... в этом случае?

– Самое первое. Есть два рода: те, которые убивают себя или с большой грусти, или со злости, или сумасшедшие, или там все равно... те вдруг. Те мало о боли думают, а вдруг. А которые с рассудка – те много думают.

– Да разве есть такие, что с рассудка?

– Очень много. Если б предрассудка не было, было бы больше; очень много; все.

– Ну уж и все?

Он помолчал.

– Да разве нет способов умирать без боли?

– Представьте, – остановился он предо мною, – представьте камень такой величины, как с большой дом; он висит, а вы под ним; если он упадет на вас, на голову – будет вам больно?

– Камень с дом? Конечно, страшно.

– Я не про страх; будет больно?

– Камень с гору, миллион пудов? Разумеется, ничего не больно.

– А станьте вправду, и пока висит, вы будете очень бояться, что больно. Всякий первый ученый, первый доктор, все, все будут очень бояться. Всякий будет знать, что не больно, и всякий будет очень бояться, что больно.

– Ну, а вторая причина, большая-то?

– Тот свет.

– То есть наказание?

– Это все равно. Тот свет; один тот свет.

– Разве нет таких атеистов, что совсем не верят в тот свет?

Опять он промолчал.

– Вы, может быть, по себе судите?

– Всякий не может судить как по себе, – проговорил он, покраснев. – Вся свобода будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить. Вот всему цель.

– Цель? Да тогда никто, может, и не захочет жить?

– Никто, – произнес он решительно.

– Человек смерти боится, потому что жизнь любит, вот как я понимаю, – заметил я, – и так природа велела.

– Это подло, и тут весь обман! – глаза его засверкали. – Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. Теперь все боль и страх. Теперь человек жизнь любит, потому что боль и страх любит. И так сделали. Жизнь дается те-

перь за боль и страх, и тут весь обман. Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек. Кто победит боль и страх, тот сам Бог будет. А тот Бог не будет.

– Стало быть, тот Бог есть же, по-вашему?

– Его нет, но Он есть. В камне боли нет, но в страхе от камня есть боль. Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет Бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое... Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения Бога и от уничтожения Бога до...

– До гориллы?

– ...До перемены земли и человека физически. Будет Богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства. Как вы думаете, переменится тогда человек физически?

– Если будет все равно, жить или не жить, то все убьют себя, и вот в чем, может быть, перемена будет.

– Это все равно. Обман убьют. Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен смеет убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал. Дальше нет свободы; тут все, а дальше нет ничего. Кто смеет убить себя, тот Бог. Теперь всякий может сделать, что Бога не будет и ничего не будет. Но никто еще ни разу не сделал.

– Самоубийц миллионы были.

– Но все не затем, все со страхом и не для того. Не для того, чтобы страх убить. Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас Бог станет.

– Не успеет, может быть, – заметил я.

– Это все равно, – ответил он тихо, с покойною гордостью, чуть не с презрением. – Мне жаль, что вы как будто смеетесь, – прибавил он через полминуты.

– А мне странно, что вы давеча были так раздражительны, а теперь так спокойны, хотя и горячо говорите.

– Давеча? Давеча было смешно, – ответил он с улыбкой, – я не люблю бранить и никогда не смеюсь, – прибавил он грустно.

– Да, невесело вы проводите ваши ночи за чаем. – Я встал и взял фуражку.

– Вы думаете? – улыбнулся он с некоторым удивлением. – Почему же? Нет, я... я не знаю, – смешался он вдруг, – не знаю, как у других, и я так чувствую, что не могу, как всякий. Всякий думает и потом сейчас о другом думает. Я не могу о другом, я всю жизнь об одном. Меня Бог всю жизнь мучил, – заключил он вдруг с удивительною экспансивностью.

– А скажите, если позволите, почему вы не так правильно по-русски говорите? Неужели за границей в пять лет разучились?

– Разве я неправильно? Не знаю. Нет, не потому, что за границей. Я так всю жизнь говорил... мне все равно.

– Еще вопрос более деликатный: я совершенно вам верю, что вы не склонны встречаться с людьми и мало с людьми говорите. Почему вы со мной теперь разговаривали?

– С вами? Вы давеча хорошо сидели и вы... впрочем, все равно... вы на моего брата очень похожи, много, чрезвычайно, – проговорил он, покраснев, – он семь лет умер; старший, очень, очень много.

– Должно быть, имел большое влияние на ваш образ мыслей.

– Н-нет, он мало говорил; он ничего не говорил. Я вашу записку отдам.

Он проводил меня с фонарем до ворот, чтобы запереть за мной. «Разумеется, помешанный», – решил я про себя. В воротах произошла новая встреча.

IX

Только что я занес ногу за высокий порог калитки, вдруг чья-то сильная рука схватила меня за грудь.

– Кто сей? – взревел чей-то голос, – друг или недруг? Кайся!

– Это наш, наш! – завизжал подле голосок Липутина, – это господин Г–в, классического воспитания и в связях с самым высшим обществом молодой человек.

– Люблю, коли с обществом, классическим... значит, образованийнейший... отставной капитан Игнат Лебядкин, к услугам мира и друзей... если верны, если верны, подлецы!

Капитан Лебядкин, вершков десяти росту, толстый, мясистый, курчавый, красный и чрезвычайно пьяный, едва стоял предо мной и с трудом выговаривал слова. Я, впрочем, его и прежде видал издали.

– А, и этот! – взревел он опять, заметив Кириллова, который все еще не уходил с своим фонарем; он поднял было кулак, но тотчас опустил его.

– Прощаю за ученость! Игнат Лебядкин – образованийнейший...

Любви пылающей граната
Лопнула в груди Игната.
И вновь заплакал горькой мукой
По Севастополю безрукий.

Хоть в Севастополе не был и даже не безрукий, но каковы же рифмы! – лез он ко мне с своею пьяною рожей.

– Им некогда, некогда, они домой пойдут, – уговаривал Липутин, – они завтра Лизавете Николаевне перескажут.

– Лизавете!.. – завопил он опять, – стой-нейди! Варьянт:

И порхает звезда на коне
В хороводе других амазонок;
Улыбается с лошади мне
Ари-сто-кратический ребенок.

«Звезде-амазонке».

– Да ведь это же гимн! Это гимн, если ты не осел! Бездельники не понижают! Стой! – уцепился он за мое пальто, хотя я рвался изо всех сил в калитку. – Передай, что я рыцарь чести, а Дашка... Дашку я двумя пальцами... крепостная раба и не смеет...

Тут он упал, потому что я с силой вырвался у него из рук и побежал по улице. Липутин увязался за мной.

– Его Алексей Нилыч подымут. Знаете ли, что я сейчас от него узнал? – болтал он впопыхах. – Стишки-то слышали? Ну, вот он эти самые стихи к «Звезде-амазонке» запечатал и завтра посылает к Лизавете Николаевне за своею полною подписью. Каков!

– Бьюсь об заклад, что вы его сами подговорили.

– Проиграете! – захохотал Липутин. – Влюблен, влюблен как кошка, а знаете ли, что началось ведь с ненависти. Он до того сперва возненавидел Лизавету Николаевну за то, что она ездит верхом, что чуть не ругал ее вслух на улице; да и ругал же! Еще третьего дня выругал, когда она проезжала, – к счастью, не расслышала, и вдруг сегодня стихи! Знаете ли, что он хочет рискнуть предложение? Серьезно, серьезно!

– Я вам удивляюсь, Липутин, везде-то вы вот, где только этакая дрянь заведется, везде-то вы тут руководите! – проговорил я в ярости.

– Однако же вы далеко заходите, господин Г–в; не сердчишко ли у нас екнуло, испугавшись соперника, – а?

– Что-о-о? – закричал я, останавливаясь.

– А вот же вам в наказание и ничего не скажу дальше! А ведь как бы вам хотелось услышать? Уж одно то, что этот дуралей теперь не простой капитан, а помещик нашей губернии, да еще довольно значительный, потому что Николай Всеволодович ему все свое поместье, бывшие свои двести душ на днях продали, и вот же вам Бог, не лгу! сейчас узнал, но зато из наивернейшего источника. Ну, а теперь дошупывайтесь-ка сами; больше ничего не скажу; до свиданья-с!

Х

Степан Трофимович ждал меня в истерическом нетерпении. Уже с час как он воротился. Я застал его как бы пьяного; первые пять минут, по крайней мере, я думал, что он пьян. Увы, визит к Дроздовым сбил его с последнего толку.

– Mon ami, я совсем потерял мою нитку... Lise... я люблю и уважаю этого ангела по-прежнему; именно по-прежнему; но, мне кажется, они ждали меня обе, единственно чтобы кое-что выведать, то есть попросту вытянуть из меня, а там и ступай себе с Богом... Это так.

– Как вам не стыдно! – вскричал я, не вытерпев.

– Друг мой, я теперь совершенно один. Enfin, c'est ridicule¹. Представьте, что и там все это напичкано тайнами. Так на меня и накнулись об этих носах и ушах и еще о каких-то петербургских тайнах. Они ведь обе только здесь в первый раз проводали об этих здешних историях с Nicolas четыре года назад: «Вы тут были, вы видели, правда ли, что он сумасшедший?» И откуда эта идея вышла, не понимаю. Почему Прасковье непременно так хочется, чтобы Nicolas оказался сумасшедшим? Хочется этой женщине, хочется! Ce Maurice², или, как его, Маврикий Николаевич, brave homme tout de même³, но неужели в его пользу, и после того как сама же первая писала из Парижа к cette pauvre amie... Enfin⁴, эта Прасковья, как называет ее cette chère amie⁵, это тип, это бессмертной памяти Гоголева Коробочка, но только злая Коробочка, задорная Коробочка и в бесконечно увеличенном виде.

– Да ведь это сундук выйдет; уж и в увеличенном?

– Ну, в уменьшенном, все равно, только не перебивайте, потому что у меня все это вертится. Там они совсем расплевались; кроме Lise; та все еще: «Тетя, тетя», но Lise хитра, и тут еще что-то есть. Тайны. Но со старухой рассорились. Cette pauvre⁶ тетя, правда, всех деспотирует... а тут и губернаторша, и непочтительность общества, и «непочтительность» Кармазинова; а тут вдруг эта мысль о помешательстве, ce Lipoutine, ce que je ne comprends pas⁷, и-и, говорят, голову укусом обмочила, а тут и мы с вами, с нашими жалобами и с нашими письмами... О, как я мучил ее, и в такое время! Je suis un ingrat!⁸ Вообразите, возвращаюсь и нахожу от нее письмо; читайте, читайте! О, как неблагоприятно было с моей стороны.

¹ Наконец, это смешно (фр.).

² Этот Маврикий (фр.).

³ славный малый все-таки (фр.).

⁴ этому бедному другу... Наконец (фр.).

⁵ этот дорогой друг (фр.).

⁶ Эта бедная (фр.).

⁷ этот Липутин, все то, чего я не понимаю (фр.).

⁸ Я неблагодарный человек! (фр.)

Он подал мне только что полученное письмо от Варвары Петровны. Она, кажется, раскаялась в утрешнем своем: «Сидите дома». Письмецо было вежливое, но все-таки решительное и немногословное. Послезавтра, в воскресенье, она присила к себе Степана Трофимовича ровно в двенадцать часов и советовала привести с собой кого-нибудь из друзей своих (в скобках стояло мое имя). С своей стороны, обещалась позвать Шатова, как брата Дарьи Павловны. «Вы можете получить от нее окончательный ответ, довольно ли с вас будет? Этой ли формальности вы так добивались?»

– Заметьте эту раздражительную фразу в конце о формальности. Бедная, бедная, друг всей моей жизни! Признаюсь, это внезапное решение судьбы меня точно придавило... Я, признаюсь, все еще надеялся, а теперь *tout est dit*¹, я уж знаю, что кончено; *c'est terrible*². О, кабы не было совсем этого воскресенья, а все по-старому: вы бы ходили, а я бы тут...

– Вас сбили с толку все эти давешние липутинские мерзости, сплетни.

– Друг мой, вы сейчас попали в другое больное место, вашим дружеским пальцем. Эти дружеские пальцы вообще безжалостны, а иногда бестолковы, *pardon*³, но, вот верите ли, а я почти забыл обо всем этом, о мерзостях-то, то есть я вовсе не забыл, но я, по глупости моей, все время, пока был у Lise, старался быть счастливым и уверял себя, что я счастлив. Но теперь... о, теперь я про эту великодушную, гуманную, терпеливую к моим подлым недостаткам женщину, – то есть хоть и не совсем терпеливую, но ведь и сам-то я каков, с моим пустым, скверным характером! Ведь я блажной ребенок, со всем эгоизмом ребенка, но без его невинности. Она двадцать лет ходила за мной, как нянька, *cette pauvre* тетя, как грациозно называет ее Lise... И вдруг, после двадцати лет, ребенок захотел жениться, жени да жени, письмо за письмом, а у ней голова в уксусе и... и вот и достиг, в воскресенье женатый человек, шутка сказать... И чего сам настаивал, ну зачем я письма писал? Да, забыл: Lise боготворит Дарью Павловну, говорит, по крайней мере; говорит про нее: «*C'est un ange*⁴, но только несколько скрытный». Обе советовали, даже Прасковья... впрочем, Прасковья не советовала. О, сколько яду заперто в этой Коробочке! Да и Lise, собственно, не советовала: «К чему вам жениться; довольно с вас и ученых наслаждений». Хохоchet. Я ей простил ее хохот, потому что у ней у самой скребет на сердце. Вам, однако, говорят они, без женщины невозможно. Приближаются ваши немощи, а она вас укроет, или как там... *Ma foi*⁵, я и сам, все это время с вами сидя, думал про себя, что провидение посылает ее на склоне бурных дней моих и что она меня укроет, или как там... *enfin*⁶, понадобится в хозяйстве. Вон у меня такой сор, вон, смотрите, все это валяется, давеча велел прибрать, и книга на полу. *La pauvre amie* все сердилась, что у меня сор... О, теперь уж не будет раздаваться голос ее! *Vingt ans*!⁷ И-и у них, кажется, анонимные письма, вообразите, Nicolas продал будто бы Лебядкину имение. *C'est un monstre: et enfin*⁸, кто такой Лебядкин? Lise слушает, слушает, ух как она слушает! Я простил ей ее хохот, я видел, с каким лицом она слушала, и

¹ все решено (фр.).

² это ужасно (фр.).

³ простите (фр.).

⁴ Это ангел... (фр.).

⁵ Право (фр.).

⁶ наконец (фр.).

⁷ Двадцать лет! (фр.).

⁸ Это чудовище; и наконец (фр.).

се Maurice... я бы не желал быть в его теперешней роли, brave homme tout de même, но несколько застенчив; впрочем, Бог с ним...

Он замолчал; он устал и сбился и сидел, понунив голову, смотря неподвижно в пол усталыми глазами. Я воспользовался промежутком и рассказал о моем посещении дома Филиппова, причем резко и сухо выразил мое мнение, что действительно сестра Лебядкина (которую я не видал) могла быть когда-то какой-нибудь жертвой Nicolas, в загадочную пору его жизни, как выражался Липутин, и что очень может быть, что Лебядкин почему-нибудь получает с Nicolas деньги, но вот и все. Насчет же сплетен о Дарье Павловне, то все это вздор, все это натяжки мерзавца Липутина, и что так по крайней мере с жаром утверждает Алексей Нилыч, которому нет оснований не верить. Степан Трофимович прослушал мои уверения с рассеянным видом, как будто до него не касалось. Я кстати упомянул и о разговоре моем с Кирилловым и прибавил, что Кириллов, может быть, сумасшедший.

– Он не сумасшедший, но это люди с коротенькими мыслями, – вяло и как бы нехотя промямлил он. – Ces gens-là supposent la nature et la société humaine autres que Dieu ne les a faites et qu'elles ne sont réellement¹. С ними заигрывают, но по крайней мере не Степан Верховенский. Я видел их тогда в Петербурге, avec cette chère amie (о, как я тогда оскорблял ее!), и не только их ругательств, – я даже их похвал не испугался. Не испугаюсь и теперь, mais parlons d'autre chose...² я, кажется, ужасных вещей наделал; вообразите, я отослал Дарье Павловне вчера письмо и... как я кляню себя за это!

– О чем же вы писали?

– О друг мой, поверьте, что все это с таким благородством. Я уведомил ее, что я написал к Nicolas, еще дней пять назад, и тоже с благородством.

– Понимаю теперь! – вскричал я с жаром. – И какое право имели вы их так сопоставить?

– Но, mon cher, не давите же меня окончательно, не кричите на меня; я и то весь раздавлен, как... как таракан, и, наконец, я думаю, что все это так благородно. Предположите, что там что-нибудь действительно было... en Suisse...³ или начиналось. Должен же я спросить сердца их предварительно, чтобы... enfin, чтобы не помешать сердцам и не стать столбом на их дороге... Я единственно из благородства.

– О Боже, как вы глупо сделали! – невольно сорвалось у меня.

– Глупо, глупо! – подхватил он даже с жадностью. – Никогда ничего не сказали вы умнее, c'était bête, mais que faire, tout est dit⁴. Все равно женюсь, хоть и на «чужих грехах», так к чему же было и писать? Не правда ли?

– Вы опять за то же!

– О, теперь меня не испугаете вашим криком, теперь пред вами уже не тот Степан Верховенский; тот похоронен; enfin, tout est dit⁵. Да и чего кричите вы? Единственно потому, что не сами женитесь и не вам придется носить известное головное украшение. Опять вас коробит? Бедный друг мой, вы не знаете женщину, а я только и делал, что изучал ее. «Если хочешь побе-

¹ Эти люди представляют себе природу и человеческое общество иными, чем их сотворил Бог и чем они являются в действительности (фр.).

² но поговорим о другом... (фр.)

³ в Швейцарии... (фр.)

⁴ это было глупо, но что делать, все решено (фр.).

⁵ словом, все решено (фр.).

дить весь мир, победи себя», – единственно, что удалось хорошо сказать другому такому же, как и вы, романтику, Шатову, братцу супруги моей. Охотно у него заимствую его изречение. Ну, вот и я готов победить себя, и женюсь, а между тем что завоеую вместо целого-то мира? О друг мой, брак – это нравственная смерть всякой гордой души, всякой независимости. Брачная жизнь развратит меня, отнимет энергию, мужество в служении делу, пойдут дети, еще, пожалуй, не мои, то есть разумеется, не мои; мудрый не боится заглянуть в лицо истине... Липутин предлагал давеча спастись от Nicolas баррикадами; он глуп, Липутин. Женщина обманет само всевидящее око. Le bon Dieu¹, создавая женщину, уж конечно, знал, чему подвергался, но я уверен, что она сама помешала ему и сама заставила себя создать в таком виде и... с такими атрибутами; иначе кто же захотел наживать себе такие хлопоты даром? Настасья, я знаю, может, и рассердится на меня за вольнодумство, но... Enfin, tout est dit.

Он не был бы сам собою, если бы обошелся без дешевенького, каламбурного вольнодумства, так процветавшего в его время, по крайней мере теперь утешил себя каламбурчиком, но ненадолго.

– О, почему бы совсем не быть этому послезавтра, этому воскресенью! – воскликнул он вдруг, но уже в совершенном отчаянии, – почему бы не быть хоть одной этой неделе без воскресенья – si le miracle existe?² Ну что бы стоило Провидению вычеркнуть из календаря хоть одно воскресенье, ну хоть для того, чтобы доказать атеисту свое могущество, et que tout soit dit!³ О, как я любил ее! двадцать лет, все двадцать лет, и никогда-то она не понимала меня!

– Но про кого вы говорите; и я вас не понимаю! – спросил я с удивлением.

– Vingt ans! И ни разу не поняла меня, о, это жестоко! И неужели она думает, что я женюсь из страха, из нужды? О позор! тетя, тетя, я для тебя!.. О, пусть узнает она, эта тетя, что она единственная женщина, которую я обожал двадцать лет! Она должна узнать это, иначе не будет, иначе только силой потащат меня под этот се qu'on appelle le⁴ венец!

Я в первый раз слышал это признание и так энергически высказанное. Не скрою, что мне ужасно хотелось засмеяться. Я был не прав.

– Один, один он мне остался теперь, одна надежда моя! – всплеснул он вдруг руками, как бы внезапно пораженный новой мыслью, – теперь один только он, мой бедный мальчик, спасет меня и – о, что же он не едет! О сын мой, о мой Петруша... и хоть я недостоин названия отца, а скорее тигра, но... laissez-moi, mon ami⁵, я немножко полежу, чтобы собраться с мыслями. Я так устал, так устал, да и вам, я думаю, пора спать, vous-voilà⁶, двенадцать часов...

¹ Господь Бог (фр.).

² если чудеса бывают? (фр.)

³ и пусть все будет кончено! (фр.)

⁴ так называемый (фр.).

⁵ оставьте меня, мой друг (фр.).

⁶ вы видите (фр.).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Хромоножка

I

Шатов не заупряился и, по записке моей, явился в полдень к Лизавете Николаевне. Мы вошли почти вместе; я тоже явился сделать мой первый визит. Они все, то есть Лиза, мамá и Маврикий Николаевич, сидели в большой зале и спорили. Мамá требовала, чтобы Лиза сыграла ей какой-то вальс на фортепиано, и когда та начала требуемый вальс, то стала уверять, что вальс не тот. Маврикий Николаевич, по простоте своей, заступился за Лизу и стал уверять, что вальс тот самый; старуха со злости расплакалась. Она была больна и с трудом даже ходила. У ней распухли ноги, и вот уже несколько дней только и делала, что капризничала и ко всем придиралась, несмотря на то, что Лизу всегда побаивалась. Приходу нашему обрадовались. Лиза покраснела от удовольствия и, проговорив мне *terci*, конечно за Шатова, пошла к нему, любопытно его рассматривая.

Шатов неуклюже остановился в дверях. Поблагодарив его за приход, она подвела его к мамá.

– Это господин Шатов, про которого я вам говорила, а это вот господин Г–в, большой друг мне и Степану Трофимовичу. Маврикий Николаевич вчера тоже познакомился.

– А который профессор?

– А профессора вовсе и нет, мамá.

– Нет, есть, ты сама говорила, что будет профессор; верно, вот этот, – она презгливо указала на Шатова.

– Во все никогда я вам не говорила, что будет профессор. Господин Г–в служит, а господин Шатов – бывший студент.

– Студент, профессор, все одно из университета. Тебе только бы спорить. А швейцарский был в усах и с бородкой.

– Это мамá сына Степана Трофимовича все профессором называет, – сказала Лиза и увела Шатова на другой конец залы на диван.

– Когда у ней ноги распухнут, она всегда такая, вы понимаете, больная, – шепнула она Шатову, продолжая рассматривать его все с тем же чрезвычайным любопытством и особенно его вихор на голове.

– Вы военный? – обратилась ко мне старуха, с которою меня так безжалостно бросила Лиза.

– Нет-с, я служу...

– Господин Г–в большой друг Степана Трофимовича, – отозвалась тотчас же Лиза.

– Служите у Степана Трофимовича? Да ведь и он профессор?

– Ах, мамá, вам, верно, и ночью снятся профессора, – с досадой крикнула Лиза.

– Слишком довольно и наяву. А ты вечно чтобы матери противоречить. Вы здесь, когда Николай Всеволодович приезжал, были, четыре года назад?

Я отвечал, что был.

– А англичанин тут был какой-нибудь вместе с вами?

– Нет, не был.

Лиза засмеялась.

– А, видишь, что и не было совсем англичанина, стало быть, враки. И Варвара Петровна и Степан Трофимович оба врут. Да и все врут.

– Это тетя и вчера Степан Трофимович нашли будто бы сходство у Николая Всеволодовича с принцем Гарри, у Шекспира в «Генрихе IV», и мамá на это говорит, что не было англичанина, – объяснила нам Лиза.

– Коли Гарри не было, так и англичанина не было. Один Николай Всеволодович куролесил.

– Уверю вас, что это мамá нарочно, – нашла нужным объяснить Шатову Лиза, – она очень хорошо про Шекспира знает. Я ей сама первый акт «Отелло» читала; но она теперь очень страдает. Мамá, слышите, двенадцать часов бьет, вам лекарство принимать пора.

– Доктор приехал, – появилась в дверях горничная.

Старуха привстала и начала звать собачку: «Земирка, Земирка, пойдем хоть ты со мной».

Скверная, старая, маленькая собачонка Земирка не слушалась и залезла под диван, где сидела Лиза.

– Не хочешь? Так и я тебя не хочу. Прощайте, батюшка, не знаю вашего имени-отчества, – обратилась она ко мне.

– Антон Лаврентьевич...

– Ну все равно, у меня в одно ухо вошло, в другое вышло. Не провожайте меня, Маврикий Николаевич, я только Земирку звала. Слава Богу, еще и сама хожу, а завтра гулять поеду.

Она сердито вышла из залы.

– Антон Лаврентьевич, вы тем временем поговорите с Маврикием Николаевичем, уверю вас, что вы оба выиграете, если поближе познакомитесь, – сказала Лиза и дружески усмехнулась Маврикию Николаевичу, который так весь и просиял от ее взгляда. Я, нечего делать, остался говорить с Маврикием Николаевичем.

II

Дело у Лизаветы Николаевны до Шатова, к удивлению моему, оказалось в самом деле только литературным. Не знаю почему, но мне все думалось, что она звала его за чем-то другим. Мы, то есть я с Маврикием Николаевичем, видя, что от нас не таятся и говорят очень громко, стали прислушиваться; потом и нас пригласили в совет. Все состояло в том, что Лизавета Николаевна давно уже задумала издание одной полезной, по ее мнению, книги, но по совершенной неопытности нуждалась в сотруднике. Серьезность, с которою она принялась объяснять Шатову свой план, даже меня изумила. «Должно быть, из новых, – подумал я, – недаром в Швейцарии побывала». Шатов слушал со вниманием, уткнув глаза в землю и без малейшего удивления тому, что светская рассеянная барышня берется за такие, казалось бы, неподходящие ей дела.

Литературное предприятие было такого рода. Издается в России множество столичных и провинциальных газет и других журналов, и в них ежедневно сообщается о множестве происшествий. Год отходит, газеты повсеместно складываются в шкапы или сорятся, рвутся, идут на обертки и колпаки. Многие опубликованные факты производят впечатление и остаются в памяти публики, но потом с годами забываются. Многие желали бы потом справиться, но какой же труд разыскивать в этом море листов, часто не зная ни дня, ни места, ни даже года случившегося проис-

шествия? А между тем, если бы совокупить все эти факты за целый год в одну книгу, по известному плану и по известной мысли, с оглавлениями, указаниями, с разрядом по месяцам и числам, то такая совокупность в одно целое могла бы обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год, несмотря даже на то, что фактов публикуется чрезвычайно малая доля в сравнении со всем случившимся.

– Вместо множества листов выйдет несколько толстых книг, вот и все, – заметил Шатов.

Но Лизавета Николаевна горячо отстаивала свой замысел, несмотря на трудность и неумелость высказаться. Книга должна быть одна, даже не очень толстая, – уверяла она. Но, положим, хоть и толстая, но ясная, потому что главное в плане и в характере представления фактов. Конечно, не все собирать и перепечатывать. Указы, действия правительства, местные распоряжения, законы, все это хоть и слишком важные факты, но в предполагаемом издании этого рода факты можно совсем выпустить. Можно многое выпустить и ограничиться лишь выбором происшествий, более или менее выражающих нравственную личную жизнь народа, личность русского народа в данный момент. Конечно, все может войти: курьезы, пожары, пожертвования, всякие добрые и дурные дела, всякие слова и речи, пожалуй, даже известия о разливах рек, пожалуй, даже и некоторые указы правительства, но из всего выбирать только то, что рисует эпоху; все войдет с известным взглядом, с указанием, с намерением, с мыслию, освещающею все целое, всю совокупность. И наконец, книга должна быть любопытна даже для легкого чтения, не говоря уже о том, что необходима для справок! Это была бы, так сказать, картина духовной, нравственной, внутренней русской жизни за целый год. «Нужно, чтобы все покупали, нужно, чтобы книга обратилась в настольную, – утверждала Лиза, – я понимаю, что все дело в плане, а потому к вам и обращаюсь», – заключила она. Она очень разгорячилась, и, несмотря на то что объяснялась темно и неполно, Шатов стал понимать.

– Значит, выйдет нечто с направлением, подбор фактов под известное направление, – пробормотал он, все еще не поднимая головы.

– Отнюдь нет, не надо подбирать под направление, и никакого направления не надо. Одно беспристрастие – вот направление.

– Да направление и не беда, – зашевелился Шатов, – да и нельзя его избежать, чуть лишь обнаружится хоть какой-нибудь подбор. В подборе фактов и будет указание, как их понимать. Ваша идея недурна.

– Так возможна, стало быть, такая книга? – обрадовалась Лиза.

– Надо посмотреть и сообразить. Дело это – огромное. Сразу ничего не выдумаешь. Опыт нужен. Да и когда издадим книгу, вряд ли еще научимся, как ее издавать. Разве после многих опытов; но мысль наклеивается. Мысль полезная.

Он поднял наконец глаза, и они даже засияли от удовольствия, так он был заинтересован.

– Это вы сами выдумали? – ласково и как бы стыдливо спросил он у Лизы.

– Да ведь выдумать не беда, план беда, – улыбалась Лиза, – я мало понимаю, и не очень умна, и преследую только то, что мне самой ясно...

– Преследуете?

– Вероятно, не то слово? – быстро осведомилась Лиза.

– Можно и это слово; я ничего.

– Мне показалось еще за границей, что можно и мне быть чем-нибудь полезною. Деньги у меня свои и даром лежат, почему же и мне не поработать для общего дела? К тому же мысль как-то сама собой вдруг пришла; я несколько ее не выдумывала и очень ей обрадовалась; но сейчас увидела, что нельзя без сотрудника, потому что ничего сама не умею. Сотрудник, разумеется, станет и соиздателем книги. Мы

пополам: ваш план и работа, моя первоначальная мысль и средства к изданию. Ведь окупится книга?

– Если откапаем верный план, то книга пойдет.

– Предупреждаю вас, что я не для барышей, но очень желаю расходу книги и буду горда барышами.

– Ну, а я тут при чем?

– Да ведь я же вас и зову в сотрудники... пополам. Вы план выдумаете.

– Почему же вы знаете, что я в состоянии план выдумать?

– Мне о вас говорили, и здесь я слышала... я знаю, что вы очень умны и... занимаетесь делом и... думаете много; мне о вас Петр Степанович Верховенский в Швейцарии говорил, – торопливо прибавила она. – Он очень умный человек, не правда ли?

Шатов мгновенным, едва скользнувшим взглядом посмотрел на нее, но тотчас же опустил глаза.

– Мне и Николай Всеволодович о вас тоже много говорил...

Шатов вдруг покраснел.

– Впрочем, вот газеты, – торопливо схватила Лиза со стула приготовленную и перевязанную пачку газет, – я здесь попробовала на выбор отметить факты, подбор сделать и нумера поставила... вы увидите.

Шатов взял сверток.

– Возьмите домой, посмотрите, вы ведь где живете?

– В Богоявленской улице, в доме Филиппова.

– Я знаю. Там тоже, говорят, кажется, какой-то капитан живет подле вас, господин Лебядкин? – все по-прежнему торопилась Лиза.

Шатов с пачкой в руке, на отлете, как взял, так и просидел целую минуту без ответа, смотря в землю.

– На эти дела вы бы выбрали другого, а я вам вовсе не годен буду, – проговорил он наконец, как-то ужасно странно понизив голос, почти шепотом.

Лиза вспыхнула.

– Про какие дела вы говорите? Маврикий Николаевич! – крикнула она, – пожалуйста сюда давешнее письмо.

Я тоже за Маврикием Николаевичем подошел к столу.

– Посмотрите это, – обратилась она вдруг ко мне, в большом волнении развертывая письмо. – Видали ли вы когда что-нибудь похожее? Пожалуйста, прочтите вслух; мне надо, чтоб и господин Шатов слышал.

С немалым изумлением прочел я вслух следующее послание:

«Совершенству девицы Тушиной

Милостивая государыня,

Елизавета Николаевна!

О, как мила она,

Елизавета Тушина,

Когда с родственником на дамском седле летает,

А локон ее с ветрами играет,

Или когда с матерью в церкви падает ниц,

И зрится румянец благоговейных лиц!

Тогда брачных и законных наслаждений желаю

И вслед ей, вместе с матерью, слезу посылаю.

Составил неученый за спором

Милостивая государыня!

Всех более жалею себя, что в Севастополе не лишился руки для славы, не быв там вовсе, а служил всю кампанию по сдаче подлого провианта, считая низостью. Вы богиня в древности, а я ничто и догадался о беспредельности. Смотрите как на стихи, но не более, ибо стихи все-таки вздор и оправдывают то, что в прозе считается дерзостью. Может ли солнце рассердиться на инфузорию, если та сочинит ему из капли воды, где их множество, если в микроскоп? Даже самый клуб человеколюбия к крупным скотам в Петербурге при высшем обществе, сострадая по праву собаке и лошади, презирает краткую инфузорию, не упоминая о ней вовсе, потому что не доросла. Не дорос и я. Мысль о браке показалась бы уморительною; но скоро буду иметь бывшие двести душ чрез человеконенавистника, которого презирайте. Могу многое сообщить и вызываюсь по документам даже в Сибирь. Не презирайте предложения. Письмо от инфузории разуместь в стихах.

Капитан Лебядкин, покорнейший друг и имеет досуг».

– Это писал человек в пьяном виде и негодяй! – вскричал я в негодовании. – Я его знаю!

– Это письмо я получила вчера, – покраснев и торопясь, стала объяснять нам Лиза, – я тотчас же и сама поняла, что от какого-нибудь глупца, и до сих пор еще не показала маман, чтобы не расстроить ее еще более. Но если он будет опять продолжать, то я не знаю, как сделать. Маврикий Николаевич хочет сходить запретить ему. Так как я на вас смотрела как на сотрудника, – обратилась она к Шатову, – и так как вы там живете, то я и хотела вас расспросить, чтобы судить, чего еще от него ожидать можно.

– Пьяный человек и негодяй, – пробормотал как бы нехотя Шатов.

– Что ж, он все такой глупый?

– И, нет, он не глупый совсем, когда не пьяный.

– Я знал одного генерала, который писал точь-в-точь такие стихи, – заметил я смеясь.

– Даже и по этому письму видно, что себе на уме, – неожиданно ввернул молчаливый Маврикий Николаевич.

– Он, говорят, с какой-то сестрой? – спросила Лиза.

– Да, с сестрой.

– Он, говорят, ее тиранит, правда это?

Шатов опять поглядел на Лизу, насупился и, проворчав: «Какое мне дело!» – подвинулся к дверям.

– Ах, постойте, – тревожно вскричала Лиза, – куда же вы? Нам так много еще остается переговорить...

– О чем же говорить? Я завтра дам знать...

– Да о самом главном, о типографии! Поверьте же, что я не в шутку, а серьезно хочу дело делать, – уверяла Лиза все в возрастающей тревоге. – Если решим издавать, то где же печатать? Ведь это самый важный вопрос, потому что в Москву мы для этого не поедem, а в здешней типографии невозможно для такого издания. Я давно решила завести свою типографию, на ваше хоть имя, и мамá, я знаю, позволит, если только на ваше имя...

– Почему же вы знаете, что я могу быть типографщиком? – угрюмо спросил Шатов.

– Да мне еще Петр Степанович в Швейцарии именно на вас указал, что вы можете вести типографию и знакомы с делом. Даже записку хотел от себя к вам дать, да я забыла.

Шатов, как припоминаю теперь, изменился в лице. Он постоял еще несколько секунд и вдруг вышел из комнаты.

Лиза рассердилась.

– Он всегда так выходит? – повернулась она ко мне.

Я пожал было плечами, но Шатов вдруг воротился, прямо подошел к столу и положил взятый им сверток газет:

– Я не буду сотрудником, не имею времени...

– Почему же, почему же? Вы, кажется, рассердились? – огорченным и умоляющим голосом спрашивала Лиза.

Звук ее голоса как будто поразил его; несколько мгновений он пристально в нее всматривался, точно желая проникнуть в самую ее душу.

– Все равно, – пробормотал он тихо, – я не хочу...

И ушел совсем. Лиза была совершенно поражена, даже как-то совсем и не в меру; так показалось мне.

– Удивительно странный человек! – громко заметил Маврикий Николаевич.

III

Конечно, «странный», но во всем этом было чрезвычайно много неясного. Тут что-то подразумевалось. Я решительно не верил этому изданию; потом это глупое письмо, но в котором слишком ясно предлагался какой-то донос «по документам» и о чем все они промолчали, а говорили совсем о другом; наконец, эта типография и внезапный уход Шатова именно потому, что заговорили о типографии. Все это навело меня на мысль, что тут еще прежде меня что-то произошло и о чем я не знаю; что, стало быть, я лишний и что все это не мое дело. Да и пора было уходить, довольно было для первого визита. Я подошел откланяться Лизавете Николаевне.

Она, кажется, и забыла, что я в комнате, и стояла все на том же месте у стола, очень задумавшись, склонив голову и неподвижно смотря в одну выбранную на ковре точку.

– Ах и вы, до свидания, – пролепетала она привычно-ласковым тоном. – Передайте мой поклон Степану Трофимовичу и уговорите его прийти ко мне поскорей. Маврикий Николаевич, Антон Лаврентьевич уходит. Извините, мамá не может выйти с вами проститься...

Я вышел и даже сошел уже с лестницы, как вдруг лакей догнал меня на крыльце:

– Барыня очень просили воротиться...

– Барыня или Лизавета Николаевна?

– Оне-с.

Я нашел Лизу уже не в той большой зале, где мы сидели, а в ближайшей приемной комнате. В ту залу, в которой остался теперь Маврикий Николаевич один, дверь была притворена наглухо.

Лиза улыбнулась мне, но была бледна. Она стояла посреди комнаты в видимой нерешимости, в видимой борьбе; но вдруг взяла меня за руку и молча, быстро подвела к окну.

– Я немедленно хочу ее видеть, – прошептала она, устремив на меня горячий, сильный, нетерпеливый взгляд, не допускающий и тени противоречия, – я должна ее видеть собственными глазами и прошу вашей помощи.

Она была в совершенном исступлении и – в отчаянии.

– Кого вы желаете видеть, Лизавета Николаевна? – осведомился я в испуге.

– Эту Лебядкину, эту хромую... Правда, что она хромая?

Я был поражен.

– Я никогда не видал ее, но я слышал, что она хромая, вчера еще слышал, – лепетал я с торопливою готовностью и тоже шепотом.

– Я должна ее видеть непременно. Могли бы вы это устроить сегодня же?

Мне стало ужасно ее жалко.

– Это невозможно, и к тому же я совершенно не понимал бы, как это сделать, – начал было я уговаривать, – я пойду к Шатову...

– Если вы не устроите к завтраму, то я сама к ней пойду, одна, потому что Маврикий Николаевич отказался. Я надеюсь только на вас, и больше у меня нет никого; я глупо говорила с Шатовым... Я уверена, что вы совершенно честный и, может быть, преданный мне человек, только устройте.

У меня явилось страстное желание помочь ей во всем.

– Вот что я сделаю, – подумал я капельку, – я пойду сам и сегодня наверно, *наверно* ее увижу! Я так сделаю, что увижу, даю вам честное слово; но только – позвольте мне ввериться Шатову.

– Скажите ему, что у меня такое желание и что я больше ждать не могу, но что я его сейчас не обманывала. Он, может быть, ушел потому, что он очень честный и ему не понравилось, что я как будто обманывала. Я не обманывала; я в самом деле хочу издавать и основать типографию...

– Он честный, честный, – подтверждал я с жаром.

– Впрочем, если к завтраму не устроится, то я сама пойду, что бы ни вышло и хотя бы все узнали.

– Я раньше как к трем часам не могу у вас завтра быть, – заметил я, несколько опомнившись.

– Стало быть, в три часа. Стало быть, правду я предположила вчера у Степана Трофимовича, что вы – несколько преданный мне человек? – улыбнулась она, торопливо пожимая мне на прощанье руку и спеша к оставленному Маврикию Николаевичу.

Я вышел, подавленный моим обещанием, и не понимал, что такое произошло. Я видел женщину в настоящем отчаянии, не побоявшуюся скомпрометировать себя доверенностью почти к незнакомому ей человеку. Ее женственная улыбка в такую трудную для нее минуту и намек, что она уже заметила вчера мои чувства, точно резнул меня по сердцу; но мне было жалко, жалко, – вот и все! Секреты ее стали для меня вдруг чем-то священным, и если бы даже мне стали открывать их теперь, то я бы, кажется, заткнул уши и не захотел слушать ничего дальше. Я только нечто предчувствовал... И, однако ж, я совершенно не понимал, каким образом я что-нибудь тут устрою. Мало того, я все-таки и теперь не знал, что именно надо устроить: свиданье, но какое свиданье? Да и как их свести? Вся надежда была на Шатова, хотя я и мог знать заранее, что он ни в чем не поможет. Но я все-таки бросился к нему.

IV

Только вечером, уже в восьмом часу, я застал его дома. К удивлению моему, у него сидели гости – Алексей Нилыч и еще один полужнакомый мне господин, некто Шигалев, родной брат жены Виргинского.

Этот Шигалев, должно быть, уже месяца два как гостил у нас в городе; не знаю, откуда приехал; я слышал про него только, что он напечатал в одном прогрессивном петербургском журнале какую-то статью. Виргинский познакомил меня с ним случайно, на улице. В жизнь мою я не видал в лице человека такой мрачности, нахмуренности и пасмурности. Он смотрел так, как будто ждал разрушения мира, и не то чтобы когда-нибудь, по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так-этак послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут одиннадцатого. Мы, впрочем, тогда почти ни слова и не сказали, а только пожали друг другу руки с видом двух заговорщиков. Всего более поразили меня его уши неестественной величины, длинные, широкие и толстые, как-то особенно врозь торчавшие. Движения его были неуклюжи и медленны. Если Липутин и мечтал когда-нибудь, что фаланстера могла бы осуществиться в нашей губернии, то этот наверное знал день и час, когда это случится. Он произвел на меня впечатление зловещее; встретив же его у Шатова теперь, я подивился, тем более что Шатов и вообще был до гостей не охотник.

Еще с лестницы слышно было, что они разговаривают очень громко, все трое разом, и, кажется, спорят; но только что я появился, все замолчали. Они спорили стоя, а теперь вдруг все сели, так что и я должен был сесть. Глупое молчание не нарушалось минуты три полных. Шигалев хотя и узнал меня, но сделал вид, что не знает, и наверно не по вражде, а так. С Алексеем Нилычем мы слегка раскланялись, но молча и почему-то не пожали друг другу руки. Шигалев начал, наконец, смотреть на меня строго и нахмуренно, с самою наивною уверенностью, что я вдруг встану и уйду. Наконец Шатов привстал со стула, и все тоже вдруг вскочили. Они вышли не прощаясь, только Шигалев уже в дверях сказал провожавшему Шатову:

– Помните, что вы обязаны отчетом.

– Наплевать на ваши отчеты, и никакому черту я не обязан, – проводил его Шатов и запер дверь на крюк.

– Кулики! – сказал он, поглядев на меня и как-то криво усмехнувшись.

Лицо у него было сердитое, и странно мне было, что он сам заговорил. Обыкновенно случалось прежде, всегда, когда я заходил к нему (впрочем, очень редко), что он нахмуренно садился в угол, сердито отвечал и только после долгого времени совершенно оживлялся и начинал говорить с удовольствием. Зато, прощаясь, опять, всякий раз, непременно нахмурился и выпускал вас, точно выживал от себя своего личного неприятеля.

– Я у этого Алексея Нилыча вчера чай пил, – заметил я, – он, кажется, помешан на атеизме.

– Русский атеизм никогда дальше каламбура не заходил, – проворчал Шатов, вставляя новую свечу вместо прежнего огарка.

– Нет, этот, мне показалось, не каламбурщик; он и просто говорить, кажется, не умеет, не то что каламбурить.

– Люди из бумажки; от лакейства мысли все это, – спокойно заметил Шатов, присев в углу на стуле и упершись обеими ладонями в колени.

– Ненависть тоже тут есть, – произнес он, помолчав с минуту, – они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм ввевшаяся... И никаких невидимых миру слез из-под видимого смеха тут нету! Никогда еще не было сказано на Руси более фальшивого слова, как про эти незримые слезы! – вскричал он почти с яростью.

– Ну уж это вы Бог знает что! – засмеялся я.

– А вы – «умеренный либерал», – усмехнулся и Шатов. – Знаете, – подхватил он вдруг, – я, может, и сморозил про «лакейство мысли»; вы, верно, мне тотчас же скажете: «Это ты родился от лакея, а я не лакей».

– Вовсе я не хотел сказать... что вы!

– Да вы не извиняйтесь, я вас не боюсь. Тогда я только от лакея родился, а теперь и сам стал лакеем, таким же, как и вы. Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить.

– Какие сапоги? Что за аллегория?

– Какая тут аллегория! Вы, я вижу, смеетесь... Степан Трофимович правду сказал, что я под камнем лежу, раздавлен, да не задавлен, и только корчусь; это он хорошо сравнил.

– Степан Трофимович уверяет, что вы помешались на немцах, – смеялся я, – мы с немцев все же что-нибудь да стащили себе в карман.

– Двугривенный взяли, а сто рублей своих отдали.

С минуту мы помолчали.

– А это он в Америке себе належал.

– Кто? Что належал?

– Я про Кириллова. Мы с ним там четыре месяца в избе на полу пролежали.

– Да разве вы ездили в Америку? – удивился я. – Вы никогда не говорили.

– Чего рассказывать. Третьего года мы отправились втроем на эмигрантском пароходе в Американские Штаты на последние деньжишки, «чтобы испробовать на себе жизнь американского рабочего и таким образом *личным* опытом проверить на себе состояние человека в самом тяжелом его общественном положении». Вот с какою целью мы отправились.

– Господи! – засмеялся я. – Да вы бы лучше для этого куда-нибудь в губернию нашу отправились в страдную пору, «чтоб испытать личным опытом», а то понесло в Америку!

– Мы там нанялись в работники к одному эксплуататору; всех нас, русских, собралось у него человек шесть – студенты, даже помещики из своих поместий, даже офицеры были, и все с тою же величественною целью. Ну и работали, мокли, мучились, уставали, наконец я и Кириллов ушли – заболели, не выдержали. Эксплуататор-хозяин нас при расчете обсчитал, вместо тридцати долларов по условию заплатил мне восемь, а ему пятнадцать; тоже и бивали нас там не раз. Но тут-то без работы мы и пролежали с Кирилловым в городишке на полу четыре месяца рядом; он об одном думал, а я о другом.

– Неужто хозяин вас бил, это в Америке-то? Ну как, должно быть, вы ругали его!

– Ничуть. Мы, напротив, тотчас решили с Кирилловым, что «мы, русские, пред американцами маленькие ребятишки и нужно родиться в Америке или по крайней мере сжиться долгими годами с американцами, чтобы стать с ними в уровень». Да что: когда с нас за копеечную вещь спрашивали по доллару, то мы платили не только с удовольствием, но даже с увлечением. Мы все хвалили: спиритизм, закон Линча, револьверы, бродяг. Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться; мы только переглянулись с Кирилловым и решили, что это хорошо и что это нам очень нравится...

– Странно, что это у нас не только заходит в голову, но и исполняется, – заметил я.

– Люди из бумажки, – повторил Шатов.

– Но, однако ж, переплывать океан на эмигрантском пароходе, в неизвестную землю, хотя бы и с целью «узнать личным опытом» и т. д. – в этом, ей-Богу, есть как будто какая-то великодушная твердость... Да как же вы оттуда выбрались?

– Я к одному человеку в Европу написал, и он мне прислал сто рублей.

Шатов, разговаривая, все время по обычаю своему упорно смотрел в землю, даже когда и горячился. Тут же вдруг поднял голову:

– А хотите знать имя человека?

– Кто же таков?

– Николай Ставрогин.

Он вдруг встал, повернулся к своему липовому письменному столу и начал на нем что-то шарить. У нас ходил неясный, но достоверный слух, что жена его некоторое время находилась в связи с Николаем Ставрогиным в Париже и именно года два тому назад, значит, когда Шатов был в Америке, – правда, уже давно после того, как оставила его в Женеве. «Если так, то зачем же его дернуло теперь с именем вызваться и размазывать?» – подумалось мне.

– Я еще ему до сих пор не отдал, – оборотился он ко мне вдруг опять и, поглядев на меня пристально, уселся на прежнее место в углу и отрывисто спросил совсем уже другим голосом:

– Вы, конечно, зачем-то пришли; что вам надо?

Я тотчас же рассказал все, в точном историческом порядке, и прибавил, что хоть я теперь и успел одуматься после давешней горячки, но еще более спутался: понял, что тут что-то очень важное для Лизаветы Николаевны, крепко желал бы помочь, но вся беда в том, что не только не знаю, как сдержать данное ей обещание, но даже не понимаю теперь, что именно ей обещал. Затем внушительно подтвердил ему еще раз, что она не хотела и не думала его обманывать, что тут вышло какое-то недоразумение и что она очень огорчена его необыкновенным давешним уходом.

Он очень внимательно выслушал.

– Может быть, я, по моему обыкновению, действительно давеча глупость сделал... Ну, если она сама не поняла, отчего я так ушел, так... ей же лучше.

Он встал, подошел к двери, приотворил ее и стал слушать на лестницу.

– Вы желаете эту особу сами увидеть?

– Этого-то и надо, да как это сделать? – вскочил я обрадовавшись.

– А просто пойдемте, пока одна сидит. Он придет, так изобьет ее, коли узнает, что мы приходили. Я часто хожу потихоньку. Я его давеча прибил, когда он опять ее бить начал.

– Что вы это?

– Именно; за волосы от нее отволоч; он было хотел меня за это отколотить, да я испугал его, тем и кончилось. Боюсь, пьяный воротится, припомнит – крепко ее за то исколотит.

Мы тотчас же сошли вниз.

V

Дверь к Лебядкиным была только притворена, а не заперта, и мы вошли свободно. Все помещение их состояло из двух гаденьких небольших комнаток, с закоптелыми стенами, на которых буквально висели клочьями грязные обои. Тут когда-то несколько лет содержалась харчевня, пока хозяин Филиппов не перенес ее в новый дом. Остальные, бывшие под харчевней комнаты были теперь

заперты, а эти две достались Лебядкину. Мебель состояла из простых лавок и тесовых столов, кроме одного лишь старого кресла без ручки. Во второй комнате в углу стояла кровать под ситцевым одеялом, принадлежавшая mademoiselle Лебядкиной, сам же капитан, ложась на ночь, валился каждый раз на пол, нередко в чем был. Везде было накрошено, насорено, намочено; большая, толстая, вся мокрая тряпка лежала в первой комнате посреди пола и тут же, в той же луже, старый истоптанный башмак. Видно было, что тут никто ничем не занимается; печи не топят, кушанье не готовится; самовара даже у них не было, как подробнее рассказал Шатов. Капитан приехал с сестрой совершенно нищим и, как говорил Липутин, действительно сначала ходил по иным домам побираться; но, получив неожиданно деньги, тотчас же запил и совсем ошалел от вина, так что ему было уже не до хозяйства.

Mademoiselle Лебядкина, которую я так желал видеть, смиренно и неслышно сидела во второй комнате в углу, за тесовым кухонным столом, на лавке. Она нас не окликнула, когда мы отворяли дверь, не двинулась даже с места. Шатов говорил, что у них и дверь не запирается, а однажды так настуж в сени всю ночь и простояла. При свете тусклой тоненькой свечки в железном подсвечнике я разглядел женщину лет, может быть, тридцати, болезненно-худощавую, одетую в темное старенькое ситцевое платье, с ничем не прикрытой длинной шеей и с жиденькими темными волосами, свернутыми на затылке в узелок, толщиной в кулачок двухлетнего ребенка. Она посмотрела на нас довольно весело; кроме подсвечника, пред нею на столе находилось маленькое деревенское зеркальце, старая колода карт, истрепанная книжка какого-то песенника и немецкая белая булочка, от которой было уже раз или два откушено. Заметно было, что mademoiselle Лебядкина белится и румянится и губы чем-то мажет. Сурмит тоже брови, и без того длинные, тонкие и темные. На узком и высоком лбу ее, несмотря на белила, довольно резко обозначались три длинные морщинки. Я уже знал, что она хромая, но в этот раз при нас она не вставала и не ходила. Когда-нибудь, в первой молодости, это исхудавшее лицо могло быть и недурным; но тихие, ласковые, серые глаза ее были и теперь еще замечательны; что-то мечтательное и искреннее светилось в ее тихом, почти радостном взгляде. Эта тихая, спокойная радость, выражавшаяся и в улыбке ее, удивила меня после всего, что я слышал о казацкой нагайке и о всех бесчинствах брата. Странно, что вместо тяжелого и даже боязливого отвращения, ощущаемого обыкновенно в присутствии всех подобных, наказанных Богом существ, мне стало почти приятно смотреть на нее с первой же минуты, и только разве жалость, но отнюдь не отвращение, овладела мною потом.

– Вот так и сидит, и буквально по целым дням одна-одинешенька, и не двинется, гадает или в зеркальце смотрится, – указал мне на нее с порога Шатов, – он ведь ее и не кормит. Старуха из флигеля принесет иной раз чего-нибудь Христа ради; как это со свечой ее одну оставляют!

К удивлению моему, Шатов говорил громко, точно бы ее и не было в комнате.

– Здравствуй, Шатушка! – приветливо проговорила mademoiselle Лебядкина.

– Я тебе, Марья Тимофеевна, гостя привел, – сказал Шатов.

– Ну, гостю честь и будет. Не знаю, кого ты привел, что-то не помню этого, – поглядела она на меня пристально из-за свечки и тотчас же опять обратилась к Шатову (а мною уже больше совсем не занималась во все время разговора, точно бы меня и не было подле нее).

– Соскучилось, что ли, одному по светелке шагать? – засмеялась она, причем открылись два ряда превосходных зубов ее.

– И соскучилось, и тебя навестить захотелось.

Шатов подвинул к столу скамейку, сел и меня посадил с собой рядом.

– Разговору я всегда рада, только все-таки смешон ты мне, Шатушка, точно ты монах. Когда ты чесался-то? Дай я тебя еще причешу, – вынула она из кармана гребешок, – небось с того раза, как я причесала, и не притронулся?

– Да у меня и гребенки-то нет, – засмеялся Шатов.

– Вправду? Так я тебе свою подарю, не эту, а другую, только напомни.

С самым серьезным видом принялась она его причесывать, провела даже сбоку пробор, откинулась немножко назад, поглядела, хорошо ли, и положила гребенку опять в карман.

– Знаешь что, Шатушка, – покачала она головой, – человек ты, пожалуй, и рассудительный, а скучаешь. Странно мне на всех вас смотреть; не понимаю я, как это люди скучают. Тоска не скука. Мне весело.

– И с братцем весело?

– Это ты про Лебядкина? Он мой лакей. И совсем мне все равно, тут он или нет. Я ему крикну: «Лебядкин, принеси воды, Лебядкин, подавай башмаки», – он и бежит; иной раз согрешаешь, смешно на него станет.

– И это точь-в-точь так, – опять громко и без церемонии обратился ко мне Шатов, – она его третирует совсем как лакея; сам я слышал, как она кричала ему: «Лебядкин, подай воды», и при этом хохотала; в том только разница, что он не бежит за водой, а бьет ее за это; но она нисколько его не боится. У ней какие-то припадочки нервные, чуть не ежедневные, и ей память отбивают, так что она после них все забывает, что сейчас было, и всегда время перепутывает. Вы думаете, она помнит, как мы вошли; может, и помнит, но уж наверно переделала все по-своему и нас принимает теперь за каких-нибудь иных, чем мы есть, хоть и помнит, что я Шатушка. Это ничего, что я громко говорю; тех, которые не с нею говорят, она тотчас же перестает слушать и тотчас же бросается мечтать про себя; именно бросается. Мечтательница чрезвычайная; по восьми часов, по целому дню сидит на месте. Вот булка лежит, она ее, может, с утра только раз закусилась, а докончит завтра. Вот в карты теперь гадать начала...

– Гадаю-то я гадаю, Шатушка, да не то как-то выходит, – подхватила вдруг Марья Тимофеевна, расслышав последнее словцо, и, не глядя, протянула левую руку к булке (тоже, вероятно, расслышав и про булку). Булочку она наконец захватила, но, продержав несколько времени в левой руке и увлекшись возникшим вновь разговором, положила, не примечая, опять на стол, не откусив ни разу. – Все одно выходит: дорога, злой человек, чье-то коварство, смертная постель, откудова-то письмо, нечаянное известие – враки все это, я думаю, Шатушка, как по-твоему? Коли люди врут, почему картам не врать? – смешала она вдруг карты. – Это самое я матери Прасковье раз говорю, почтенная она женщина, забегала ко мне все в келью в карты погадать, потихоньку от мать-игуменьи. Да и не одна она забегала. Ахают они, качают головами, судят-рядят, а я-то смеюсь: «Ну где вам, говорю, мать Прасковья, письмо получить, коли двенадцать лет оно не приходило?» Дочь у ней куда-то в Турцию муж завез, и двенадцать лет ни слуху ни духу. Только сижу я это назавтра вечером за чаем у мать-игуменьи (княжеского рода она у нас), сидит у ней какая-то тоже барыня заезжая, большая мечтательница, и сидит один захожий монашек афонский, довольно смешной человек, по моему мнению. Что ж ты думаешь, Шатушка, этот самый монашек в то самое утро матери Прасковье из Турции от дочери письмо принес, – вот тебе и валет бубновый – нечаянное-то известие! Пьем мы это чай, а монашек афонский и говорит мать-игуменье: «Всего более, благословенная

мать-игуменья, благословил Господь вашу обитель тем, что такое драгоценное, говорит, сокровище сохраняете в недрах ее». – «Какое это сокровище?» – спрашивает мать-игуменья. «А мать Лизавету блаженную». А Лизавета эта блаженная в ограде у нас вделана в стену, в клетку в сажень длины и в два аршина высоты, и сидит она там же за железною решеткой семнадцатый год, зиму и лето в одной посконной рубахе и все аль соломинкой, али прутиком каким ни на есть в рубашку свою, в холстину тычет, и ничего не говорит, и не чешется, и не моется семнадцать лет. Зимой тулупчик просунут ей да каждый день корочку хлеба и кружку воды. Богомольцы смотрят, ахают, вздыхают, деньги кладут. «Вот нашли сокровище, – отвечает мать-игуменья (рассердилась; страх не любила Лизавету), – Лизавета с одной только злобы сидит, из одного своего упрямства, и все одно притворство». Не понравилось мне это; сама я хотела тогда затвориться: «А по-моему, говорю, Бог и природа есть все одно». Они мне все в один голос: «Вот на!» Игуменья рассмеялась, зашептала о чем-то с барыней, подозвала меня, приласкала, а барыня мне бантик розовый подарила, хочешь, покажу? Ну, а монашек стал мне тут же говорить поучение, да так это ласково и смиренно говорил и с таким, надо быть, умом; сижу я и слушаю. «Поняла ли?» – спрашивает. «Нет, говорю, ничего я не поняла, и оставьте, говорю, меня в полном покое». Вот с тех пор они меня одну в полном покое оставили, Шатушка. А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: «Богородица что́ есть, как мнишь?» – «Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого». – «Так, говорит, Богородица – великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная – радость нам есть; а как напоишь слезами своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей больше не будет, таково, говорит, есть пророчество». Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу. И вот я тебе скажу, Шатушка: ничего-то нет в этих слезах дурного; и хотя бы и горя у тебя никакого не было, все равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я, бывало, на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой – наша Острая гора, так и зовут ее горой Острою. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное, – любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо, да грустно. Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы далеко по озеру, как стрела, бежит, узкая, длинная-длинная и на версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем как есть пополам его перережет, и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет, и все вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать, тут вдруг и память придет, боюсь сумраку, Шатушка. И все больше о своем ребеночке плачу...

– А разве был? – подтолкнул меня локтем Шатов, все время чрезвычайно прилежно слушавший.

– А как же: маленький, розовенький, с крошечными такими ноготочками, и только вся моя тоска в том, что не помню я, мальчик аль девочка. То мальчик вспомнится, то девочка. И как родила я тогда его, прямо в батист да в кружево завернула, розовыми его ленточками обвязала, цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним сотворила, некрещеного понесла, и несу это я его через лес, и боюсь я лесу, и страшно мне, и всего больше я плачу о том, что родила я его, а мужа не знаю.

– А может, и был? – осторожно спросил Шатов.

– Смешон ты мне, Шатушка, с своим рассуждением. Был-то, может, и был, да что в том, что был, коли его все равно что и не было? Вот тебе и загадка нетрудная, отгадай-ка! – усмехнулась она.

– Куда же ребенка-то снесла?

– В пруд снесла, – вздохнула она.

Шатов опять подтолкнул меня локтем.

– А что, коли и ребенка у тебя совсем не было и все это один только бред, а?

– Трудный ты вопрос задаешь мне, Шатушка, – раздумчиво и безо всякого удивления такому вопросу ответила она, – на этот счет я тебе ничего не скажу, может, и не было; по-моему, одно только твое любопытство; я ведь все равно о нем плакать не перестану, не во сне же я видела? – И крупные слезы засветились в ее глазах. – Шатушка, Шатушка, а правда, что жена от тебя сбежала? – положила она ему вдруг обе руки на плечи и жалостливо посмотрела на него. – Да ты не сердись, мне ведь и самой тошно. Знаешь, Шатушка, я сон какой видела: приходит он опять ко мне, манит меня, выкликает: «Кошечка, говорит, моя, кошечка, выйди ко мне!» Вот я «кошечке»-то пуще всего и обрадовалась: любит, думаю.

– Может, и наяву придет, – вполголоса пробормотал Шатов.

– Нет, Шатушка, это уж сон... не прийти ему наяву. Знаешь песню:

Мне не надобен нов-высок терем,
Я останусь в этой келейке,
Уж я стану жить-спасатися,
За тебя Богу молитися.

Ох, Шатушка, Шатушка, дорогой ты мой, что ты никогда меня ни о чем не спросишь?

– Да ведь не скажешь, оттого и не спрашиваю.

– Не скажу, не скажу, хоть зарежь меня, не скажу, – быстро подхватила она, – жги меня, не скажу. И сколько бы я ни терпела, ничего не скажу, не узнают люди!

– Ну вот видишь, всякому, значит, свое, – еще тише проговорил Шатов, все больше и больше наклоняя голову.

– А попросил бы, может, и сказала бы; может, и сказала бы! – восторженно повторила она. – Почему не попросишь? Попроси, попроси меня хорошенько, Шатушка, может, я тебе и скажу; умоли меня, Шатушка, так чтоб я сама согласилась... Шатушка, Шатушка!

Но Шатушка молчал; с минуту продолжалось общее молчание. Слезы тихо текли по ее набеленным щекам; она сидела, забыв свои обе руки на плечах Шатова, но уже не смотря на него.

– Э, что мне до тебя, да и грех, – поднялся вдруг со скамьи Шатов. – При-встаньте-ка! – сердито дернул он из-под меня скамью и, взяв, поставил ее на прежнее место.

– Придет, так чтоб не догадался; а нам пора.

– Ах, ты все про лакея моего! – засмеялась вдруг Марья Тимофеевна. – Бо-ишься! Ну, прощайте, добрые гости; а послушай одну минутку, что я скажу. Давеча пришел это сюда этот Нилыч с Филипповым, с хозяином, рыжая бородача, а мой-то на ту пору на меня налетел. Как хозяин-то схватит его, как дернет по комнате, а мой-то кричит: «Не виноват, за чужую вину терплю!» Так, веришь ли, все мы как были, так и покатались со смеху...

– Эх, Тимофевна, да ведь это я был вместо рыжей-то бороды, ведь это я его давеча за волосы от тебя отволох; а хозяин к вам третьего дня приходил браниться с вами, ты и смешала.

– Постой, ведь и в самом деле смешала, может, и ты. Ну, чего спорить о пустяках; не все ли ему равно, кто его оттаскает, – засмеялась она.

– Пойдемте, – вдруг дернул меня Шатов, – ворота заскрипели; застанет нас, изобьет ее.

И не успели мы еще взбежать на лестницу, как раздался в воротах пьяный крик и посыпались ругательства. Шатов, впустив меня к себе, запер дверь на замок.

– Посидеть вам придется с минуту, если не хотите истории. Вишь, кричит как поросенок, должно быть, опять за порог зацепился; каждый-то раз растянется.

Без истории, однако, не обошлось.

VI

Шатов стоял у запертой своей двери и прислушивался на лестницу; вдруг отскочил.

– Сюда идет, я так и знал! – яростно прошептал он. – Пожалуй, до полуночи теперь не отвяжется.

Раздалось несколько сильных ударов кулаком в двери.

– Шатов, Шатов, отопри! – завопил капитан. – Шатов, друг!..

Я пришел к тебе с приветом,
Р-рассказать, что солнце встало,
Что оно гор-р-рячим светом
По... лесам... затр-р-репетало.

Рассказать тебе, что я проснулся, черт тебя дери,
Весь пр-р-роснулся под... ветвями...

Точно под розгами, ха-ха!

Каждая птичка... просит жажды.
Рассказать, что пить я буду,
Пить... не знаю, пить что буду.

Ну, да и черт поberi с глупым любопытством! Шатов, понимаешь ли ты, как хорошо жить на свете!

– Не отвечайте, – шепнул мне опять Шатов.

– Отвори же! Понимаешь ли ты, что есть нечто высшее, чем драка... между человечеством; есть минуты блага-а-родного лица... Шатов, я добр; я прошу тебя... Шатов, к черту прокламации, а?

Молчание.

– Понимаешь ли ты, осел, что я влюблен, я фрак купил, посмотри, фрак любви, пятнадцать целковых; капитанская любовь требует светских приличий... Отвори! – дико заревел он вдруг и неистово застучал опять кулаками.

– Убирайся к черту! – заревел вдруг и Шатов.

– Р-р-раб! Раб крепостной, и сестра твоя раба и рабыня... вор-ровка!

– А ты свою сестру продал.

– Врешь! Терплю напраслину, когда могу одним объяснением... понимаешь ли, кто она такова?

– Кто? – с любопытством подошел вдруг к дверям Шатов.

– Да ты понимаешь ли?

– Да уж пойму, ты скажи, кто?

– Я смею сказать! Я всегда все смею в публике сказать!..

– Ну, навряд смеешь, – поддразнил Шатов и кивнул мне головой, чтоб я слушал.

– Не смею?

– По-моему, не смеешь.

– Не смею?

– Да ты говори, если барских розог не боишься... Ты ведь трус, а еще капитан!

– Я... я... она... она есть... – залепетал капитан дрожащим, взволнованным голосом.

– Ну? – подставил ухо Шатов.

Наступило молчание по крайней мере на полминуты.

– Па-а-адлец! – раздалось наконец за дверью, и капитан быстро отретировался вниз, пыхтя как самовар, с шумом оступаясь на каждой ступени.

– Нет, он хитер, и пьяный не проговорится, – отошел от двери Шатов.

– Что же это такое? – спросил я.

Шатов махнул рукой, отпер дверь и стал опять слушать на лестницу; долго слушал, даже сошел вниз потихоньку несколько ступеней. Наконец воротился.

– Не слышать ничего, не дрался; значит, прямо повалился дрыхнуть. Вам пора идти.

– Послушайте, Шатов, что же мне теперь заключить из всего этого?

– Э, заключайте что хотите! – ответил он усталым и брезгливым голосом и сел за свой письменный стол.

Я ушел. Одна невероятная мысль все более и более укреплялась в моем воображении. С тоской думал я о завтрашнем дне...

VII

Этот «завтрашний день», то есть то самое воскресенье, в которое должна была уже безвозвратно решиться участь Степана Трофимовича, был одним из знаменательнейших дней в моей хронике. Это был день неожиданностей, день развязок прежнего и завязок нового, резких разъяснений и еще пушей путаницы. Утром, как уже известно читателю, я обязан был сопровождать моего друга к Варваре Петровне, по ее собственному назначению, а в три часа пополудни я уже должен был быть у Лизаветы Николаевны, чтобы рассказать ей – я сам не знал о чем, и способствовать ей – сам не знал в чем. И между тем все разрешилось так, как никто бы не предположил. Одним словом, это был день удивительно сошедшихся случайностей.

Началось с того, что мы со Степаном Трофимовичем, явившись к Варваре Петровне ровно в двенадцать часов, как она назначила, не застали ее дома; она еще не возвращалась от обедни. Бедный друг мой был так настроен, или, лучше сказать, так расстроен, что это обстоятельство тотчас же сразило его: почти в бессилии опустился он на кресло в гостиной. Я предложил ему стакан воды; но, несмотря на бледность свою и даже на дрожь в руках, он с достоинством отказался. Кстати, костюм его отличался на этот раз необыкновенною изысканностью: почти бальное, батистовое с вышивкой белье, белый галстук, новая шляпа в руках, свежие соломенного цвета перчатки и даже, чуть-чуть, духи. Только что мы уселись, вошел Шатов, введенный камердинером, ясное дело, тоже по официальному приглашению. Степан Трофимович привстал было протянуть ему руку, но Шатов, посмотрев на нас обоих внимательно, поворотил в угол, уселся там и даже не кивнул нам головой. Степан Трофимович опять испуганно поглядел на меня.

Так просидели мы еще несколько минут в совершенном молчании. Степан Трофимович начал было вдруг мне что-то очень скоро шептать, но я не расслышал; да и сам он от волнения не докончил и бросил. Вошел еще раз камердинер поправить что-то на столе; а вернее – поглядеть на нас. Шатов вдруг обратился к нему с громким вопросом:

– Алексей Егорыч, не знаете, Дарья Павловна с ней отправилась?

– Варвара Петровна изволили поехать в собор одне-с, а Дарья Павловна изволили остаться у себя наверху, и не так здоровы-с, – назидательно и чинно доложил Алексей Егорыч.

Бедный друг мой опять бегло и тревожно со мной переглянулся, так что я, наконец, стал от него отворачиваться. Вдруг у подъезда прогремела карета, и некоторое отдаленное движение в доме возвестило нам, что хозяйка воротилась. Все мы привскочили с кресел, но опять неожиданность: послышался шум многих шагов, значило, что хозяйка возвратилась не одна, а это действительно было уже несколько странно, так как сама она назначила нам этот час. Послышалось наконец, что кто-то входил до странности скоро, точно бежал, а так не могла входить Варвара Петровна. И вдруг она почти влетела в комнату, запыхавшись и в чрезвычайном волнении. За нею, несколько приотстав и гораздо тише, вошла Лизавета Николаевна, а с Лизаветой Николаевной рука в руку – Марья Тимофеевна Лебядкина! Если б я увидел это во сне, то и тогда бы не поверил.

Чтоб объяснить эту совершенную неожиданность, необходимо взять часом назад и рассказать подробнее о необыкновенном приключении, происшедшем с Варварой Петровной в соборе.

Во-первых, к обедне собрался почти весь город, то есть разумея высший слой нашего общества. Знали, что пожалует губернаторша, в первый раз после своего к нам прибытия. Замечу, что у нас уже пошли слухи о том, что она вольнодумка и «новых правил». Всем дамам известно было тоже, что она великолепно и с необыкновенным изяществом будет одета; а потому наряды наших дам отличались на этот раз изысканностью и пышностью. Одна лишь Варвара Петровна была скромно и по-всегдашнему одета во все черное: так бесценно одевалась она в продолжение последних четырех лет. Прибыв в собор, она поместилась на обычном своем месте, налево, в первом ряду, и ливрейный лакей положил пред нею бархатную подушку для коленопреклонений, одним словом, все по-обыкновенному. Но заметили тоже, что на этот раз она во все продолжение службы как-то чрезвычайно усердно молилась; уверяли даже потом, когда все припомнили, что даже слезы стояли в глазах ее. Кончилась наконец обедня, и наш протоиерей, отец Павел, вышел сказать торжественную проповедь. У нас любили его проповеди и ценили их высоко; уговаривали его даже напечатать, но он все не решался. На этот раз проповедь вышла как-то особенно длинна.

И вот во время уже проповеди подкатила к собору одна дама на легковых извозничьих дрожках прежнего фасона, то есть на которых дамы могли сидеть только сбоку, придерживаясь за кушак извозчика и колыхаясь от толчков экипажа, как полевая былинка от ветра. Эти ваньки в нашем городе до сих пор еще разъезжают. Остановясь у угла собора, – ибо у врат стояло множество экипажей и даже жандармы, – дама соскочила с дрожек и подала ваньке четыре копейки серебром.

– Что ж, мало разве, Ваня! – вскрикнула она, увидав его гримасу. – У меня все, что есть, – прибавила она жалобно.

– Ну, да Бог с тобой, не рядясь сажил, – махнул рукой ванька и поглядел на нее, как бы думая: «Да и грех тебя обижать-то»; затем, сунув за пазуху кожаный

кошель, тронул лошадь и укатил, напутствуемый насмешками близ стоявших извозчиков. Насмешки и даже удивление сопровождали и даму все время, пока она пробиралась к соборным вратам между экипажами и ожидавшим скорого выхода господ лакейством. Да и действительно было что-то необыкновенное и неожиданное для всех в появлении такой особы вдруг откуда-то на улице среди народа. Она была болезненно худа и прихрамывала, крепко набелена и нарумянена, с совершенно оголенной длинной шеей, без платка, без бурнуса, в одном только стареньком темном платье, несмотря на холодный и ветреный, хотя и ясный сентябрьский день; с совершенно открытою головою, с волосами, подвязанными в крошечный узелок на затылке, в которые с правого боку воткнута была одна только искусственная роза, из таких, которыми украшают вербных херувимов. Такого вербного херувима в венке из бумажных роз я именно заметил вчера в углу, под образами, когда сидел у Марьи Тимофеевны. К довершению всего дама шла хоть и скромно опустив глаза, но в то же время весело и лукаво улыбаясь. Если б она еще капельку промедлила, то ее бы, может быть, и не пропустили в собор... Но она успела проскользнуть, а войдя во храм, протиснулась незаметно вперед.

Хотя проповедь была на половине и вся сплошная толпа, наполнявшая храм, слушала ее с полным и беззвучным вниманием, но все-таки несколько глаз с любопытством и недоумением покосились на вошедшую. Она упала на церковный помост, склонив на него свое набеленное лицо, лежала долго и, по-видимому, плакала; но, подняв опять голову и привстав с колен, очень скоро оправилась и развлеклась. Весело, с видимым чрезвычайным удовольствием, стала скользить она глазами по лицам, по стенам собора; с особенным любопытством вглядывалась в иных дам, приподымаясь для этого даже на цыпочки, и даже раза два засмеялась, как-то странно при этом хихикая. Но проповедь кончилась, и вынесли крест. Губернаторша пошла к кресту первая, но, не дойдя двух шагов, приостановилась, видимо желая уступить дорогу Варваре Петровне, с своей стороны подходившей слишком уж прямо и как бы не замечая никого впереди себя. Необычайная учтивость губернаторши, без сомнения, заключала в себе явную и остроумную в своем роде колкость; так все поняли; так поняла, должно быть, и Варвара Петровна; но по-прежнему никого не замечая и с самым непоколебимым видом достоинства приложилась она ко кресту и тотчас же направилась к выходу. Ливрейный лакей расчищал пред ней дорогу, хотя и без того все расступались. Но у самого выхода, на паперти, тесно сбившаяся кучка людей на мгновение загородила путь. Варвара Петровна приостановилась, и вдруг странное, необыкновенное существо, женщина с бумажной розой на голове, протиснувшись между людей, опустилась пред нею на колени. Варвара Петровна, которую трудно было чем-нибудь озадачить, особенно в публике, поглядела важно и строго.

Поспешу заметить здесь, по возможности вкратце, что Варвара Петровна хотя и стала в последние годы излишне, как говорили, расчетлива и даже скупенька, но иногда не жалела денег собственно на благотворительность. Она состояла членом одного благотворительного общества в столице. В недавний голодный год она отослала в Петербург, в главный комитет для приема пособий потерпевшим, пятьсот рублей, и об этом у нас говорили. Наконец, в самое последнее время, пред назначением нового губернатора, она было совсем уже основала местный дамский комитет для пособия самым беднейшим родильницам в городе и в губернии. У нас сильно упрекали ее в честолюбии; но известная стремительность характера Варвары Петровны и в то же время настойчивость чуть не восторжествовали над препятствиями; общество почти уже устроилось, а

первоначальная мысль все шире и шире развивалась в восхищенном уме основательницы: она уже мечтала об основании такого же комитета в Москве, о постепенном распространении его действий по всем губерниям. И вот, с внезапной переменой губернатора, все приостановилось; а новая губернаторша, говорят, уже успела высказать в обществе несколько колких и, главное, метких и дельных возражений насчет будто бы непрактичности основной мысли подобного комитета, что, разумеется с прикрасами, было уже передано Варваре Петровне. Один Бог знает глубину сердец, но полагаю, что Варвара Петровна даже с некоторым удовольствием приостановилась теперь в самых соборных вратах, зная, что мимо должна сейчас же пройти губернаторша, а затем и все, и «пусть сама увидит, как мне все равно, что бы она там ни подумала и что бы ни сострила еще насчет тщеславия моей благотворительности. Вот же вам всем!»

– Что вы, милая, о чем вы просите? – внимательнее всмотрелась Варвара Петровна в коленопреклоненную пред нею просительницу. Та глядела на нее ужасно оробевшим, застыдившимся, но почти благоговейным взглядом и вдруг усмехнулась с тем же странным хихиканьем.

– Что она? Кто она? – Варвара Петровна обвела кругом присутствующих повелительным и вопросительным взглядом. Все молчали.

– Вы несчастны? Вы нуждаетесь в вспоможении?

– Я нуждаюсь... я приехала... – лепетала «несчастливая» прерывавшимся от волнения голосом. – Я приехала только, чтобы вашу ручку поцеловать... – и опять хихикнула. С самым детским взглядом, с каким дети ласкаются, что-нибудь выпрашивая, потянулась она схватить ручку Варвары Петровны, но, как бы испугавшись, вдруг отдернула свои руки назад.

– Только за этим и прибыли? – улыбнулась Варвара Петровна с сострадательною улыбкой, но тотчас же быстро вынула из кармана свой перламутровый портмоне, а из него десятирублевую бумажку и подала незнакомке. Та взяла. Варвара Петровна была очень заинтересована и, видимо, не считала незнакомку какою-нибудь простонародною просительницей.

– Вишь, десять рублей дала, – проговорил кто-то в толпе.

– Ручку-то пожалуйста, – лепетала «несчастливая», крепко прихватив пальцами левой руки за уголок полученную десятирублевую бумажку, которую свивало ветром. Варвара Петровна почему-то немного нахмурилась и с серьезным, почти строгим видом протянула руку; та с благоговением поцеловала ее. Благодарный взгляд ее заблестал каким-то даже восторгом. Вот в это-то самое время подошла губернаторша и прихлынула целая толпа наших дам и старших сановников. Губернаторша поневоле должна была на минутку приостановиться в тесноте; многие остановились.

– Вы дрожите, вам холодно? – заметила вдруг Варвара Петровна и, сбросив с себя свой бурнус, на лету подхваченный лакеем, сняла с плеч свою черную (очень не дешевую) шаль и собственными руками окутала обнаженную шею все еще стоявшей на коленях просительницы.

– Да встаньте же, встаньте с колен, прошу вас! – Та встала.

– Где вы живете? Неужели никто, наконец, не знает, где она живет? – снова нетерпеливо оглянулась кругом Варвара Петровна. Но прежней кучки уже не было; виднелись все знакомые, светские лица, разглядывавшие сцену, одни с строгим удивлением, другие с лукавым любопытством и в то же время с невинною жадой скандальчика, а третьи начинали даже посмеиваться.

– Кажется, это Лебядкиных-с, – выискался наконец один добрый человек с ответом на запрос Варвары Петровны, наш почтенный и многими уважаемый

купец Андреев, в очках, с седой бородой, в русском платье и с круглою цилиндрического шляпой, которую держал теперь в руках, – они у Филипповых в доме проживают, в Богоявленской улице.

– Лебядкин? Дом Филиппова? Я что-то слышала... благодарю вас, Никон Семеныч, но кто этот Лебядкин?

– Капитаном прозывается, человек, надо бы так сказать, неосторожный. А это, уж за верное, их сестрица. Она, полагать надо, из-под надзора теперь ушла, – сбавив голос, проговорил Никон Семеныч и значительно взглянул на Варвару Петровну.

– Понимаю вас; благодарю, Никон Семеныч. Вы, милая моя, госпожа Лебядкина?

– Нет, я не Лебядкина.

– Так, может быть, ваш брат Лебядкин?

– Брат мой Лебядкин.

– Вот что я сделаю, я вас теперь, моя милая, с собой возьму, а от меня вас уже отвезут к вашему семейству; хотите ехать со мной?

– Ах, хочу! – сплеснула ладошками госпожа Лебядкина.

– Тетя, тетя? Возьмите и меня с собой к вам! – раздался голос Лизаветы Николаевны. Замечу, что Лизавета Николаевна прибыла к обедне вместе с губернаторшей, а Прасковья Ивановна, по предписанию доктора, поехала тем временем покататься в карете, а для развлечения увезла с собой и Маврикия Николаевича. Лиза вдруг оставила губернаторшу и подскочила к Варваре Петровне.

– Милая моя, ты знаешь, я всегда тебе рада, но что скажет твоя мать? – начала было осанисто Варвара Петровна, но вдруг смутилась, заметив необычайное волнение Лизы.

– Тетя, тетя, непременно теперь с вами, – умоляла Лиза, целуя Варвару Петровну.

– Mais qu'avez-vous donc, Lise!¹ – с выразительным удивлением проговорила губернаторша.

– Ах, простите, голубчик, chère cousine², я к тете, – на лету повернулась Лиза к неприятно удивленной своей chère cousine и поцеловала ее два раза.

– И тамап тоже скажите, чтобы сейчас же приезжала за мной к тете; тамап непременно, непременно хотела заехать, она давеча сама говорила, я забыла вас предупредить, – трещала Лиза, – виновата, не сердитесь, Julie... chère cousine... тетя, я готова!

– Если вы, тетя, меня не возьмете, то я за вашей каретой побегу и закричу, – быстро и отчаянно прошептала она совсем на ухо Варваре Петровне; хорошо еще, что никто не слышал. Варвара Петровна даже на шаг отшатнулась и пронзительным взглядом посмотрела на сумасшедшую девушку. Этот взгляд все решил: она непременно положила взять с собой Лизу!

– Этому надо положить конец, – вырвалось у ней. – Хорошо, я с удовольствием беру тебя, Лиза, – тотчас же громко прибавила она, – разумеется, если Юлия Михайловна согласится тебя отпустить, – с открытым видом и с прямодушным достоинством повернулась она прямо к губернаторше.

– О, без сомнения, я не захочу лишить ее этого удовольствия, тем более что я сама... – с удивительною любезностью залепетала вдруг Юлия Михайловна, – я сама... хорошо знаю, какая на наших плечиках фантастическая всевластная головка (Юлия Михайловна очаровательно улыбнулась)...

¹ Да что с вами, Лиза! (фр.)

² дорогая кузина (фр.).

– Благодарю вас чрезвычайно, – отблагодарила вежливым и осанистым поклоном Варвара Петровна.

– И мне тем более приятно, – почти уже с восторгом продолжала свой лепет Юлия Михайловна, даже вся покраснев от приятного волнения, – что, кроме удовольствия быть у вас, Лизу увлекает теперь такое прекрасное, такое, могу сказать, высокое чувство... сострадание... (она взглянула на «несчастную»)... и... на самой паперти храма...

– Такой взгляд делает вам честь, – великолепно одобрила Варвара Петровна. Юлия Михайловна стремительно протянула свою руку, и Варвара Петровна с полною готовностью дотронулась до нее своими пальцами. Всеобщее впечатление было прекрасное, лица некоторых присутствовавших просияли удовольствием, показалось несколько сладких и заискивающих улыбок.

Одним словом, всему городу вдруг ясно открылось, что это не Юлия Михайловна пренебрегала до сих пор Варварой Петровной и не сделала ей визита, а сама Варвара Петровна, напротив, «держала в границах Юлию Михайловну, тогда как та пешком бы, может, побежала к ней с визитом, если бы только была уверена, что Варвара Петровна ее не прогонит». Авторитет Варвары Петровны поднялся до чрезвычайности.

– Садитесь же, милая, – указала Варвара Петровна *mademoiselle* Лебядкиной на подъехавшую карету; «несчастливая» радостно побежала к дверцам, у которых подхватил ее лакей.

– Как! Вы хромаете! – вскричала Варвара Петровна совершенно как в испуге и побледнела. (Все тогда это заметили, но не поняли...)

Карета покатила. Дом Варвары Петровны находился очень близко от собора. Лиза сказывала мне потом, что Лебядкина смеялась истерически все эти три минуты переезда, а Варвара Петровна сидела «как будто в каком-то магнетическом сне», собственное выражение Лизы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Премудрый змий

I

Варвара Петровна позвонила в колокольчик и бросилась в кресла у окна.

– Сядьте здесь, моя милая, – указала она Марье Тимофеевне место, посреди комнаты, у большого круглого стола. – Степан Трофимович, что это такое? Вот, вот, смотрите на эту женщину, что это такое?

– Я... я... – залепетал было Степан Трофимович...

Но явился лакей.

– Чашку кофею, сейчас, особенно и как можно скорее! Карету не откладывать.

– Mais, chère et excellente amie, dans quelle inquiétude...¹ – замирающим голосом воскликнул Степан Трофимович.

– Ах! по-французски, по-французски! Сейчас видно, что высший свет! – хлопнула в ладоши Марья Тимофеевна, в упоении приготовляясь послушать разговор по-французски. Варвара Петровна уставилась на нее почти в испуге.

¹ Но, дорогой и добрейший друг, в каком беспокойстве... (*фр.*)

Все мы молчали и ждали какой-нибудь развязки. Шатов не поднимал головы, а Степан Трофимович был в смятении, как будто во всем виноватый; пот выступил на его висках. Я взглянул на Лизу (она сидела в углу, почти рядом с Шатовым). Ее глаза зорко перебегали от Варвары Петровны к хромой женщине и обратно; на губах ее кривилась улыбка, но нехорошая. Варвара Петровна видела эту улыбку. А между тем Марья Тимофеевна увлеклась совершенно: она с наслаждением и нимало не конфузясь рассматривала прекрасную гостиную Варвары Петровны – меблировку, ковры, картины на стенах, старинный расписной потолок, большое бронзовое распятие в углу, фарфоровую лампу, альбомы, вещицы на столе.

– Так и ты тут, Шатушка! – воскликнула она вдруг, – представь, я давно тебя вижу, да думаю: не он! Как он сюда проедет! – и весело рассмеялась.

– Вы знаете эту женщину? – тотчас обернулась к нему Варвара Петровна.

– Знаю-с, – пробормотал Шатов, тронулся было на стуле, но остался сидеть.

– Что же вы знаете? Пожалуйста, поскорей!

– Да что... – ухмыльнулся он ненужной улыбкой и запнулся... – сами видите.

– Что вижу? Да ну же, говорите что-нибудь!

– Живет в том доме, где я... с братом... офицер один.

– Ну?

Шатов запнулся опять.

– Говорить не стоит... – промычал он и решительно смолк. Даже покраснел от своей решимости.

– Конечно, от вас нечего больше ждать! – с негодованием оборвала Варвара Петровна. Ей ясно было теперь, что все что-то знают и между тем все чего-то трусят и уклоняются пред ее вопросами, хотят что-то скрыть от нее.

Вошел лакей и поднес ей на маленьком серебряном подносе заказанную особо чашку кофе, но тотчас же, по ее мановению, направился к Марье Тимофеевне.

– Вы, моя милая, очень озябли давеча, выпейте поскорей и согрейтесь.

– Мерси, – взяла чашку Марья Тимофеевна и вдруг прыснула со смеху над тем, что сказала лакею мерси. Но, встретив грозный взгляд Варвары Петровны, оробела и поставила чашку на стол.

– Тетя, да уж вы не сердитесь ли? – пролепетала она с какою-то легкомысленною игривостью.

– Что-о-о? – вспрыгнула и выпрямилась в креслах Варвара Петровна. – Какая я вам тетя? Что вы подразумевали?

Марья Тимофеевна, не ожидавшая такого гнева, так и задрожала вся мелко конвульсивною дрожью, точно в припадке, и отшатнулась на спинку кресел.

– Я... я думала, так надо, – пролепетала она, смотря во все глаза на Варвару Петровну, – так вас Лиза звала.

– Какая еще Лиза?

– А вот эта барышня, – указала пальчиком Марья Тимофеевна.

– Так вам она уже Лизой стала?

– Вы так сами ее давеча звали, – ободрилась несколько Марья Тимофеевна. – А во сне я точно такую же красавицу видела, – усмехнулась она как бы нечаянно.

Варвара Петровна сообразила и несколько успокоилась; даже чуть-чуть улыбнулась последнему словцу Марьи Тимофеевны. Та, поймав улыбку, встала с кресел и, хромая, робко подошла к ней.

– Возьмите, забыла отдать, не сердитесь за неучтивость, – сняла она вдруг с плеч своих черную шаль, надетую на нее давеча Варварой Петровной.

– Наденьте ее сейчас же опять и оставьте навсегда при себе. Ступайте и сядьте, пейте ваш кофе и, пожалуйста, не бойтесь меня, моя милая, успокойтесь. Я начинаю вас понимать.

– *Chère amie...* – позволил было себе опять Степан Трофимович.

– Ах, Степан Трофимович, тут и без вас всякий толк потеряешь, пощадите хоть вы... Пожалуйста, позвоните вот в этот звонок, подле вас, в девичью.

Наступило молчание. Взгляд ее подозрительно и раздражительно скользил по всем нашим лицам. Явилась Агаша, любимая ее горничная.

– Клетчатый мне платок, который я в Женеве купила. Что делает Дарья Павловна?

– Оне-с не совсем здоровы-с.

– Сходи и попроси сюда. Прибавь, что очень прошу, хотя бы и нездоровы.

В это мгновение из соседних комнат опять послышался какой-то необычный шум шагов и голосов, подобный давешнему, и вдруг на пороге показалась запыхавшаяся и «расстроенная» Прасковья Ивановна. Маврикий Николаевич поддерживал ее под руку.

– Ох, батюшки, насилиу доплелась; Лиза, что ты, сумасшедшая, с матерью делаешь! – взвизгнула она, кладя в этот взвизг, по обыкновению всех слабых, но очень раздражительных особ, все, что накопилось раздражения.

– Матушка, Варвара Петровна, я к вам за дочерью!

Варвара Петровна взглянула на нее исподлобья, полупривстала навстречу и, едва скрывая досаду, проговорила:

– Здравствуй, Прасковья Ивановна, сделай одолжение, садись. Я так и знала ведь, что приедешь.

II

Для Прасковьи Ивановны в таком приеме не могло заключаться ничего неожиданного. Варвара Петровна и всегда, с самого детства, третировала свою бывшую пансионскую подругу деспотически и, под видом дружбы, чуть не с презрением. Но в настоящем случае и положение дел было особенное. В последние дни между обоими домами пошло на совершенный разрыв, о чем уже и было мною вскользь упомянуто. Причины начинающегося разрыва покамест были еще для Варвары Петровны таинственны, а стало быть, еще пуще обидны; но главное в том, что Прасковья Ивановна успела принять пред нею какое-то необычайно высокомерное положение. Варвара Петровна, разумеется, была уязвлена, а между тем и до нее уже стали доходить некоторые странные слухи, тоже чрезмерно ее раздражавшие, и именно свою неопределенностью. Характер Варвары Петровны был прямой и гордо открытый, с наскоком, если так позволено выразиться. Пуще всего она не могла выносить тайных, прячущихся обвинений и всегда предпочитала войну открытую. Как бы то ни было, но вот уже пять дней как обе дамы не виделись. Последний визит был со стороны Варвары Петровны, которая и уехала «от Дроздихи» обиженная и смущенная. Я без ошибки могу сказать, что Прасковья Ивановна вошла теперь в наивном убеждении, что Варвара Петровна почему-то должна пред нею струсить; это видно было уже по выражению лица ее. Но, видно, тогда-то и овладевал Варварой Петровной бес самой заносчивой гордости, когда она чуть-чуть лишь могла заподозрить, что ее почему-либо считают униженной. Прасковья же Ивановна, как и многие слабые особы, сами долго позволяющие себя обижать без протеста, отличалась необыкновенным азартом нападения при первом выгодном для себя

обороте дела. Правда, теперь она была нездорова, а в болезни становилась всегда раздражительнее. Прибавлю, наконец, что все мы, находившиеся в гостиной, не могли особенно стеснить нашим присутствием обеих подруг детства, если бы между ними возгорелась ссора; мы считались людьми своими и чуть не подчиненными. Я не без страха сообразил это тогда же. Степан Трофимович, не сдвинувшись с самого прибытия Варвары Петровны, в изнеможении опустил на стул, услышав взвизг Прасковьи Ивановны, и с отчаянием стал ловить мой взгляд. Шатов круто повернулся на стуле и что-то даже промышчал про себя. Мне кажется, он хотел встать и уйти. Лиза чуть-чуть было привстала, но тотчас же опять опустилась на место, даже не обратив должного внимания на взвизг своей матери, но не от «строптивости характера», а потому что, очевидно, вся была под властью какого-то другого могучего впечатления. Она смотрела теперь куда-то в воздух, почти рассеянно, и даже на Марью Тимофеевну перестала обращать прежнее внимание.

III

— Ох, сюда! — указала Прасковья Ивановна на кресло у стола и тяжело в него опустилась с помощью Маврикия Николаевича. — Не села б у вас, матушка, если бы не ноги! — прибавила она надрывным голосом.

Варвара Петровна приподняла немного голову, с болезненным видом прижимая пальцы правой руки к правому виску и видимо ощущая в нем сильную боль (*tic douloureux*¹).

— Что так, Прасковья Ивановна, почему бы тебе и не сесть у меня? Я от покойного мужа твоего всю жизнь искреннею приязнию пользовалась, а мы с тобой еще девчонками вместе в куклы в пансионе играли.

Прасковья Ивановна замахала руками.

— Уж так и знала! Вечно про пансион начнете, когда попрекать собираетесь, — уловка ваша. А по-моему, одно красноречие. Терпеть не могу этого вашего пансиона.

— Ты, кажется, слишком уж в дурном расположении приехала; что твои ноги? Вот тебе кофе несут, милости просим, кушай и не сердись.

— Матушка, Варвара Петровна, вы со мной точно с маленькою девочкой. Не хочу я кофею, вот!

И она задирчиво махнула рукой подносившему ей кофею слуге. (От кофею, впрочем, и другие отказались, кроме меня и Маврикия Николаевича. Степан Трофимович взял было, но отставил чашку на стол. Марье Тимофеевне хоть и очень хотелось взять другую чашку, она уж и руку протянула, но одумалась и чинно отказалась, видимо довольная за это собой.)

Варвара Петровна криво улыбнулась.

— Знаешь что, друг мой Прасковья Ивановна, ты, верно, опять что-нибудь вообразила себе, с тем вошла сюда. Ты всю жизнь одним воображением жила. Ты вот про пансион разозлилась; а помнишь, как ты приехала и весь класс уверила, что за тебя гусар Шаблыкин посватался, и как *madame Lefebure* тебя тут же изобличила во лжи. А ведь ты и не лгала, просто навоображала себе для утех. Ну, говори: с чем ты теперь? Что еще вообразила, чем недовольна?

— А вы в пансионе в попа влюбились, что закон Божий преподавал, — вот вам, коли до сих пор в вас такая злопамятность, — ха-ха-ха!

¹ болезненный тик (*фр.*).

Она желчно расхохоталась и раскашлялась.

– А-а, ты не забыла про попа... – ненавистно глянула на нее Варвара Петровна.

Лицо ее позеленело. Прасковья Ивановна вдруг приосанилась.

– Мне, матушка, теперь не до смеху; зачем вы мою дочь при всем городе в ваш скандал замешали, вот зачем я приехала!

– В мой скандал? – грозно выпрямилась вдруг Варвара Петровна.

– Мама́, я вас тоже очень прошу быть умереннее, – проговорила вдруг Лизавета Николаевна.

– Как ты сказала? – приготовилась было опять взвизгнуть мамаша, но вдруг осела пред засверкавшим взглядом дочери.

– Как вы могли, мама́, сказать про скандал? – вспыхнула Лиза. – Я поехала сама, с позволения Юлии Михайловны, потому что хотела узнать историю этой несчастной, чтобы быть ей полезной.

– «Историю этой несчастной»! – со злобным смехом протянула Прасковья Ивановна. – Да стать ли тебе мешаться в такие «истории»? Ох, матушка! Довольно нам вашего деспотизма! – бешено повернулась она к Варваре Петровне. – Говорят, правда ли, нет ли, весь город здешний замуштровали, да, видно, пришла и на вас пора!

Варвара Петровна сидела выпрямившись, как стрела, готовая выскочить из лука. Секунд десять строго и неподвижно смотрела она на Прасковью Ивановну.

– Ну, моли Бога, Прасковья, что все здесь свои, – выговорила она наконец со зловещим спокойствием, – много ты сказала лишнего.

– А я, мать моя, светского мнения не так боюсь, как иные; это вы, под видом гордости, пред мнением света трепещете. А что тут свои люди, так для вас же лучше, чем если бы чужие слышали.

– Поумнела ты, что ль, в эту неделю?

– Не поумнела я в эту неделю, а, видно, правда наружу вышла в эту неделю.

– Какая правда наружу вышла в эту неделю? Слушай, Прасковья Ивановна, не раздражай ты меня, объяснись сию минуту, прошу тебя честью: какая правда наружу вышла и что ты под этим подразумеваешь?

– Да вот она, вся-то правда сидит! – указала вдруг Прасковья Ивановна пальцем на Марью Тимофеевну, с тою отчаянною решимостию, которая уже не заботится о последствиях, только чтобы теперь поразить. Марья Тимофеевна, все время смотревшая на нее с веселым любопытством, радостно засмеялась при виде устремленного на нее пальца гневливой гостьи и весело зашевелилась в креслах.

– Господи Иисусе Христе, рехнулись они все, что ли! – воскликнула Варвара Петровна и, побледнев, откинулась на спинку кресла.

Она так побледнела, что произошло даже смятение. Степан Трофимович бросился к ней первый; я тоже приблизился; даже Лиза встала с места, хотя и осталась у своего кресла; но всех более испугалась сама Прасковья Ивановна: она вскрикнула, как могла приподнялась и почти завопила плачевным голосом:

– Матушка, Варвара Петровна, простите вы мою злобную дурость! Да воды-то хоть подайте ей кто-нибудь!

– Не хнычь, пожалуйста, Прасковья Ивановна, прошу тебя, и отстранитесь, господа, сделайте одолжение, не надо воды! – твердо, хоть и негромко выговорила побледневшими губами Варвара Петровна.

– Матушка! – продолжала Прасковья Ивановна, капельку успокоившись, – друг вы мой, Варвара Петровна, я хоть и виновата в неосторожных словах, да уж раздражили меня пуще всего безыменные письма эти, которыми меня какие-то людишки бомбардируют; ну и писали бы к вам, коли про вас же пишут, а у меня, матушка, дочь!

Варвара Петровна безмолвно смотрела на нее широко открытыми глазами и слушала с удивлением. В это мгновение неслышно отворилась в углу боковая дверь, и появилась Дарья Павловна. Она приостановилась и огляделась кругом; ее поразило наше смятение. Должно быть, она не сейчас различила и Марью Тимофеевну, о которой никто ее не предупредил. Степан Трофимович первый заметил ее, сделал быстрое движение, покраснел и громко для чего-то возгласил: «Дарья Павловна!», так что все глаза разом обратились на вошедшую.

– Как, так это-то ваша Дарья Павловна! – воскликнула Марья Тимофеевна. – Ну, Шатушка, не похожа на тебя твоя сестрица! Как же мой-то этакую прелесть крепостною девкой Дашкой зовет!

Дарья Павловна меж тем приблизилась уже к Варваре Петровне; но, пораженная восклицанием Марьи Тимофеевны, быстро обернулась и так и осталась пред своим стулом, смотря на юродивую длинным, приковавшимся взглядом.

– Садись, Даша, – проговорила Варвара Петровна с ужасающим спокойствием, – ближе, вот так; ты можешь и сидя видеть эту женщину. Знаешь ты ее?

– Я никогда ее не видала, – тихо ответила Даша и, помолчав, тотчас прибавила: – должно быть, это больная сестра одного господина Лебядкина.

– И я вас, душа моя, в первый только раз теперь увидела, хотя давно уже с любопытством желала познакомиться, потому что в каждом жесте вашем вижу воспитание, – с увлечением прокричала Марья Тимофеевна. – А что мой лакей бранится, так ведь возможно ли, чтобы вы у него деньги взяли, такая воспитанная и милая? Потому что вы милая, милая, милая, это я вам от себя говорю! – с восторгом заключила она, махая пред собою своею ручкой.

– Понимаешь ты что-нибудь? – с гордым достоинством спросила Варвара Петровна.

– Я все понимаю-с...

– Про деньги слышала?

– Это, верно, те самые деньги, которые я, по просьбе Николая Всеволодовича, еще в Швейцарии, взялась передать этому господину Лебядкину, ее брату.

Последовало молчание.

– Тебя Николай Всеволодович сам просил передать?

– Ему очень хотелось переслать эти деньги, всего триста рублей, господину Лебядкину. А так как он не знал его адреса, а знал лишь, что он прибудет к нам в город, то и поручил мне передать, на случай, если господин Лебядкин придет.

– Какие же деньги... пропали? Про что эта женщина сейчас говорила?

– Этого уж я не знаю-с; до меня тоже доходило, что господин Лебядкин говорил про меня вслух, будто я не все ему доставила; но я этих слов не понимаю. Было триста рублей, и я переслала триста рублей.

Дарья Павловна почти совсем уже успокоилась. И вообще замечу, трудно было чем-нибудь надолго изумить эту девушку и сбить ее с толку, – что бы она там про себя ни чувствовала. Проговорила она теперь все свои ответы не торопясь, тотчас же отвечая на каждый вопрос с точностью, тихо, ровно, безо всякого следа первоначального внезапного своего волнения и без малейшего смущения, которое могло бы свидетельствовать о сознании хотя бы какой-нибудь за

собою вины. Взгляд Варвары Петровны не отрывался от нее все время, пока она говорила. С минуту Варвара Петровна подумала.

– Если, – произнесла она наконец с твердостью и видимо к зрителям, хотя и глядела на одну Дашу, – если Николай Всеволодович не обратился со своим поручением даже ко мне, а просил тебя, то, конечно, имел свои причины так поступить. Не считаю себя вправе о них любопытствовать, если из них делают для меня секрет. Но уже одно твое участие в этом деле совершенно меня за них успокаивает, знай это, Дарья, прежде всего. Но видишь ли, друг мой, ты и с чистою совестью могла, по незнанию света, сделать какую-нибудь неосторожность; и сделала ее, приняв на себя сношения с каким-то мерзавцем. Слухи, распушенные этим негодяем, подтверждают твою ошибку. Но я разужнаю о нем, и так как защитница твоя я, то сумею за тебя заступиться. А теперь это все надо кончить.

– Лучше всего, когда он к вам придет, – подхватила вдруг Марья Тимофеевна, высовываясь из своего кресла, – то пошлите его в лакейскую. Пусть он там на залавке в свои козыри с ними поиграет, а мы будем здесь сидеть кофей пить. Чашку-то кофею еще можно ему послать, но я глубоко его презираю.

И она выразительно мотнула головой.

– Это надо кончить, – повторила Варвара Петровна, тщательно выслушав Марью Тимофеевну, – прошу вас, позвоните, Степан Трофимович.

Степан Трофимович позвонил и вдруг выступил вперед, весь в волнении.

– Если... если я... – залепетал он в жару, краснея, обрываясь и заикаясь, – если я тоже слышал самую отвратительную повесть или, лучше сказать, клевету, то... в совершенном негодовании... enfin, c'est un homme perdu et quelque chose comme un forç évadé...¹

Он оборвал и не докончил; Варвара Петровна, прищурившись, оглядела его с ног до головы. Вошел чинный Алексей Егорыч.

– Карету, – приказала Варвара Петровна, – а ты, Алексей Егорыч, приготовься отвезти госпожу Лебядкину домой, куда она тебе сама укажет.

– Господин Лебядкин некоторое время сами их внизу ожидают-с и очень просили о себе доложить-с.

– Это невозможно, Варвара Петровна, – с беспокойством выступил вдруг все время невозмутимо молчавший Маврикий Николаевич, – если позволите, это не такой человек, который может войти в общество, это... это... это невозможный человек, Варвара Петровна.

– Повременить, – обратилась Варвара Петровна к Алексею Егорычу, и тот скрылся.

– C'est un homme malhonnête et je crois même que c'est un forçat évadé ou quelque chose dans ce genre², – пробормотал опять Степан Трофимович, опять покраснел и опять оборвался.

– Лиза, ехать пора, – брезгливо возгласила Прасковья Ивановна и приподнялась с места.

Ей, кажется, жаль уже стало, что она давеча, в испуге, сама себя обозвала дурой. Когда говорила Дарья Павловна, она уже слушала с высокомерною складкой на губах. Но всего более поразил меня вид Лизаветы Николаевны с тех пор, как вошла Дарья Павловна: в ее глазах засверкали ненависть и презрение, слишком уж нескрываемые.

¹ словом, это погибший человек и что-то вроде беглого каторжника... (фр.)

² Это человек бесчестный, и я полагаю даже, что он беглый каторжник или что-то в этом роде (фр.).

– Повремени одну минутку, Прасковья Ивановна, прошу тебя, – остановила Варвара Петровна, все с тем же чрезмерным спокойствием, – сделай одолжение, присядь, я намерена все высказать, а у тебя ноги болят. Вот так, благодарю тебя. Давеча я вышла из себя и сказала тебе несколько нетерпеливых слов. Сделай одолжение, прости меня; я сделала глупо и первая каюсь, потому что во всем люблю справедливость. Конечно, тоже из себя выйдя, ты упомянула о каком-то анониме. Всякий анонимный извет достоин презрения уже потому, что он не подписан. Если ты понимаешь иначе, я тебе не завидую. Во всяком случае, я бы не полезла на твоём месте за такую дрянью в карман, я не стала бы мараться. А ты вымаралась. Но так как ты уже начала сама, то скажу тебе, что и я получила дней шесть тому назад тоже анонимное, шутовское письмо. В нем какой-то негодяй уверяет меня, что Николай Всеволодович сошел с ума и что мне надо бояться какой-то хромой женщины, которая «будет играть в судьбе моей чрезвычайную роль», я запомнила выражение. Сообравив и зная, что у Николая Всеволодовича чрезвычайно много врагов, я тотчас же послала за одним здесь человеком, за одним тайным и самым мстительным и презренным из всех врагов его, и из разговоров с ним мигом убедилась в презренном происхождении анонима. Если и тебя, моя бедная Прасковья Ивановна, беспокоили *из-за меня* такими же презренными письмами и, как ты выразилась, «бомбардировали», то, конечно, первая жалею, что послужила невинною причиной. Вот и все, что я хотела тебе сказать в объяснение. С сожалением вижу, что ты так устала и теперь вне себя. К тому же я непременно решилась *впустить* сейчас этого подозрительного человека, про которого Маврикий Николаевич выразился не совсем идущим словом: что его невозможно *принять*. Особенно Лизе тут нечего будет делать. Подойди ко мне, Лиза, друг мой, и дай мне еще раз поцеловать тебя.

Лиза перешла комнату и молча остановилась пред Варварой Петровной. Та поцеловала ее, взяла за руки, отдалила немного от себя, с чувством на нее посмотрела, потом перекрестила и опять поцеловала ее.

– Ну, прощай, Лиза (в голосе Варвары Петровны послышались почти слезы), – верь, что не перестану любить тебя, что бы ни сулила тебе судьба отныне... Бог с тобою. Я всегда благословляла святую десницу его...

Она что-то хотела еще прибавить, но скрепила себя и смолкла. Лиза пошла было к своему месту, все в том же молчании и как бы в задумчивости, но вдруг остановилась пред мамашей.

– Я, мамá, еще не поеду, а останусь на время у тети, – проговорила она тихим голосом, но в этих тихих словах прозвучала железная решимость.

– Бог ты мой, что такое! – возопила Прасковья Ивановна, бессильно сплеснув руками. Но Лиза не ответила и как бы даже не слышала; она села в прежний угол и опять стала смотреть куда-то в воздух.

Что-то победоносное и гордое засветилось в лице Варвары Петровны.

– Маврикий Николаевич, я к вам с чрезвычайною просьбой, сделайте мне одолжение, сходите взглянуть на этого человека внизу, и если есть хоть какая-нибудь возможность его *впустить*, то приведите его сюда.

Маврикий Николаевич поклонился и вышел. Через минуту он привел господина Лебядкина.

IV

Я как-то говорил о наружности этого господина: высокий, курчавый, плотный парень, лет сорока, с багровым, несколько опухшим и обрюзглым лицом, со вздрагивающими при каждом движении головы щеками, с малень-

кими, кровавыми, иногда довольно хитрыми глазками, в усах, в бакенбардах и с зарождающимся мясистым кадыком, довольно неприятного вида. Но всего более поражало в нем то, что он явился теперь во фраке и в чистом белье. «Есть люди, которым чистое белье даже неприлично-с», как возразил раз когда-то Липутин на шуточный упрек ему Степана Трофимовича в неряшестве. У капитана были и перчатки черные, из которых правую, еще не надетую, он держал в руке, а левая, туго напаянная и не застегнувшаяся, до половины прикрывала его мясистую левую лапу, в которой он держал совершенно новую, глянцевою и, наверно, в первый еще раз служившую круглую шляпу. Выходило, стало быть, что вчерашний «фрак любви», о котором он кричал Шатову, существовал действительно. Все это, то есть и фрак и белье, было припасено (как узнал я после) по совету Липутина, для каких-то таинственных целей. Сомнения не было, что и приехал он теперь (в извозничьей карете) непременно тоже по постороннему наущению и с чьею-нибудь помощью; один он не успел бы догадаться, а равно одеться, собраться и решиться в какие-нибудь три четверти часа, предполагая даже, что сцена на соборной паперти стала ему тотчас известною. Он был не пьян, но в том тяжелом, грузном, дымном состоянии человека, вдруг проснувшегося после многочисленных дней запоя. Кажется, стоило бы только покачать его раза два рукой за плечо, и он тотчас бы опять охмелел.

Он было разлетелся в гостиную, но вдруг споткнулся в дверях о ковер. Марья Тимофеевна так и померла со смеху. Он зверски поглядел на нее и вдруг сделал несколько быстрых шагов к Варваре Петровне.

– Я приехал, сударыня... – прогремел было он как в трубу.

– Сделайте мне одолжение, милостивый государь, – выпрямилась Варвара Петровна, – возьмите место вот там, на том стуле. Я вас услышу и оттуда, а мне отсюда виднее будет на вас смотреть.

Капитан остановился, тупо глядя пред собой, но, однако, повернулся и сел на указанное место, у самых дверей. Сильная в себе неуверенность, а вместе с тем наглость и какая-то беспрерывная раздражительность сказывались в выражении его физиономии. Он трусил ужасно, это было видно, но страдало и его самолюбие, и можно было угадать, что из раздраженного самолюбия он может решиться, несмотря на трусость, даже на всякую наглость, при случае. Он видимо боялся за каждое движение своего неуклюжего тела. Известно, что самое главное страдание всех подобных господ, когда они каким-нибудь чудным случаем появляются в обществе, составляют их собственные руки и ежеминутно сознаваемая невозможность куда-нибудь прилично деваться с ними. Капитан замер на стуле с своею шляпой и перчатками в руках и не сводя бессмысленного взгляда своего со строгого лица Варвары Петровны. Ему, может быть, и хотелось бы внимательнее осмотреться кругом, но он пока еще не решался. Марья Тимофеевна, вероятно найдя фигуру его опять ужасно смешною, захохотала снова, но он не шевельнулся. Варвара Петровна безжалостно долго, целую минуту, выдержала его в таком положении, беспощадно его разглядывая.

– Сначала позвольте узнать ваше имя от вас самих? – мерно и выразительно произнесла она.

– Капитан Лебядкин, – прогремел капитан, – я приехал, сударыня... – шевельнулся было он опять.

– Позвольте! – опять остановила Варвара Петровна. – Эта жалкая особа, которая так заинтересовала меня, действительно ваша сестра?

– Сестра, сударыня, ускользнувшая из-под надзора, ибо она в таком положении...

Он вдруг запнулся и побагровел.

– Не примите превратно, сударыня, – сбился он ужасно, – родной брат не станет марать... в таком положении – это значит не в таком положении... в смысле, пятнающем репутацию... на последних порах...

Он вдруг оборвал.

– Милостивый государь! – подняла голову Варвара Петровна.

– Вот в каком положении! – внезапно заключил он, ткнув себя пальцем в середину лба. Последовало некоторое молчание.

– И давно она этим страдает? – протянула несколько Варвара Петровна.

– Сударыня, я приехал отблагодарить за выказанное на паперти великодушие по-русски, по-братски...

– По-братски?

– То есть не по-братски, а единственно в том смысле, что я брат моей сестре, сударыня, и поверьте, сударыня, – зачастил он, опять побагровев, – что я не так необразован, как могу показаться с первого взгляда в вашей гостиной. Мы с сестрой ничто, сударыня, сравнительно с пышностью, которую здесь замечаем. Имея к тому же клеветников. Но до репутации Лебядкин горд, сударыня, и... и... я приехал отблагодарить... Вот деньги, сударыня!

Тут он выхватил из кармана бумажник, рванул из него пачку кредиток и стал перебирать их дрожащими пальцами в неистовом припадке нетерпения. Видно было, что ему хотелось поскорее что-то разъяснить, да и очень надо было; но, вероятно чувствуя сам, что возня с деньгами придает ему еще более глупый вид, он потерял последнее самообладание: деньги никак не хотели сосчитаться, пальцы путались, и, к довершению срама, одна зеленая депозитка, выскользнув из бумажника, полетела зигзагами на ковер.

– Двадцать рублей, сударыня, – вскочил он вдруг с пачкой в руках и со вспотевшим от страдания лицом; заметив на полу вылетевшую бумажку, он нагнулся было поднять ее, но, почему-то устыдившись, махнул рукой.

– Вашим людям, сударыня, лакею, который подберет; пусть помнит Лебядкину!

– Я этого никак не могу позволить, – торопливо и с некоторым испугом проговорила Варвара Петровна.

– В таком случае...

Он нагнулся, поднял, побагровел и, вдруг приблизясь к Варваре Петровне, протянул ей отсчитанные деньги.

– Что это? – совсем уже, наконец, испугалась она и даже попятилась в креслах. Маврикий Николаевич, я и Степан Трофимович шагнули каждый вперед.

– Успокойтесь, успокойтесь, я не сумасшедший, ей-Богу, не сумасшедший! – в волнении уверял капитан на все стороны.

– Нет, милостивый государь, вы с ума сошли.

– Сударыня, это вовсе не то, что вы думаете! Я, конечно, ничтожное звено... О, сударыня, богаты чертоги ваши, но бедны они у Марии Неизвестной, сестры моей, урожденной Лебядкиной, но которую назовем пока Марией Неизвестной, пока, сударыня, только *пока*, ибо навечно не допустит сам Бог! Сударыня, вы дали ей десять рублей, и она приняла, но потому, что от *вас*, сударыня! Слышите, сударыня! ни от кого в мире не возьмет эта Неизвестная Мария, иначе содрогнется во гробе штаб-офицер, ее дед, убитый на Кавказе, на глазах самого

Ермолова, но от вас, сударыня, от вас все возьмет. Но одною рукой возьмет, а другою протянет вам уже двадцать рублей, в виде пожертвования в один из столичных комитетов благотворительности, где вы, сударыня, состоите членом... так как и сами вы, сударыня, публиковались в «Московских ведомостях», что у вас состоит здешняя, по нашему городу, книга благотворительного общества, в которую всякий может подписываться...

Капитан вдруг оборвал; он дышал тяжело, как после какого-то трудного подвига. Все это насчет комитета благотворительности, вероятно, было заранее подготовлено, может быть также под редакцией Липутина. Он еще пуще вспотел; буквально капли пота выступали у него на висках. Варвара Петровна пронзительно в него всматривалась.

– Эта книга, – строго проговорила она, – находится всегда внизу у швейцара моего дома, там вы можете подписать ваше пожертвование, если захотите. А потому прошу вас спрятать теперь ваши деньги и не махать ими по воздуху. Вот так. Прошу вас тоже занять ваше прежнее место. Вот так. Очень жалею, милостивый государь, что я ошиблась насчет вашей сестры и подала ей на бедность, когда она так богата. Не понимаю одного только, почему от меня одной она может взять, а от других ни за что не захочет. Вы так на этом настаивали, что я желаю совершенно точного объяснения.

– Сударыня, это тайна, которая может быть похоронена лишь во гробе! – отвечал капитан.

– Почему же? – как-то не так уже твердо спросила Варвара Петровна.

– Сударыня, сударыня!..

Он мрачно примолк, смотря в землю и приложив правую руку к сердцу. Варвара Петровна ждала, не сводя с него глаз.

– Сударыня! – взревел он вдруг, – позвольте ли сделать вам один вопрос, только один, но открыто, прямо, по-русски, от души?

– Сделайте одолжение.

– Страдали вы, сударыня, в жизни?

– Вы просто хотите сказать, что от кого-нибудь страдали или страдаете.

– Сударыня, сударыня! – вскочил он вдруг опять, вероятно и не замечая того и ударяя себя в грудь, – здесь, в этом сердце, накопело столько, столько, что удивится сам Бог, когда обнаружится на Страшном суде!

– Гм, сильно сказано.

– Сударыня, я, может быть, говорю языком раздражительным...

– Не беспокойтесь, я сама знаю, когда вас надо будет остановить.

– Могу ли предложить вам еще вопрос, сударыня?

– Предложите еще вопрос.

– Можно ли умереть единственно от благородства своей души?

– Не знаю, не задавала себе такого вопроса.

– Не знаете! Не задавали себе такого вопроса!! – прокричал он с патетическою иронией. – А коли так, коли так:

Молчи, безнадежное сердце! –

и он неистово стукнул себя в грудь.

Он уже опять заходил по комнате. Признак этих людей – совершенное бессилие сдерживать в себе свои желания; напротив, неудержимое стремление тотчас же их обнаружить, со всюю даже неопрятностью, чуть только они зародятся. Попадая не в свое общество, такой господин обыкновенно начинает робко, но уступите ему на волосок, и он тотчас же перескочит на дерзости. Капи-

тан уже горячился, ходил, махал руками, не слушал вопросов, говорил о себе шибко, шибко, так что язык его иногда подвертывался и, не договорив, он перескакивал на другую фразу. Правда, едва ли он был совсем трезв; тут сидела тоже Лизавета Николаевна, на которую он не взглянул ни разу, но присутствие которой, кажется, страшно кружило его. Впрочем, это только уже предположение. Существовала же, стало быть, причина, по которой Варвара Петровна, преодолевая отвращение, решила выслушивать такого человека. Прасковья Ивановна просто тряслась от страха, правда не совсем, кажется, понимая, в чем дело. Степан Трофимович дрожал тоже, но, напротив, потому что наклонен был всегда понимать с излишком. Маврикий Николаевич стоял в позе всеобщего оберегателя. Лиза была бледненькая и, не отрываясь, смотрела широко раскрытыми глазами на дикого капитана. Шатов сидел в прежней позе; но что страннее всего, Марья Тимофеевна не только перестала смеяться, но сделалась ужасно грустна. Она облокотилась правой рукой на стол и длинным грустным взглядом следила за декламировавшим братцем своим. Одна лишь Дарья Павловна казалась мне спокойною.

– Все это вздорные аллегории, – рассердилась наконец Варвара Петровна, – вы не ответили на мой вопрос: «Почему?» Я действительно жду ответа.

– Не ответил «почему»? Ждете ответа на «почему»? – переговорил капитан подмигивая. – Это маленькое словечко «почему» разлито во всей вселенной с самого первого дня мироздания, сударыня, и вся природа ежеминутно кричит своему творцу: «Почему?» – и вот уже семь тысяч лет не получает ответа. Неужто отвечать одному капитану Лебядкину, и справедливо ли выйдет, сударыня?

– Это все вздор и не то! – гневалась и теряла терпение Варвара Петровна, – это аллегории; кроме того, вы слишком пышно изволите говорить, милостивый государь, что я считаю дерзостью.

– Сударыня, – не слушал капитан, – я, может быть, желал бы называться Эрнестом, а между тем принужден носить грубое имя Игната, – почему это, как вы думаете? Я желал бы называться князем де Монбаром, а между тем я только Лебядкин, от лебедя, – почему это? Я поэт, сударыня, поэт в душе, и мог бы получать тысячу рублей от издателя, а между тем принужден жить в лохани, почему, почему? Сударыня! По-моему, Россия есть игра природы, не более!

– Вы решительно ничего не можете сказать определеннее?

– Я могу вам прочесть пьесу «Таракан», сударыня!

– Что-о-о?

– Сударыня, я еще не помешан! Я буду помешан, буду, наверно, но я еще не помешан! Сударыня, один мой приятель – бла-го-роднейшее лицо – написал одну басню Крылова, под названием «Таракан», – могу я прочесть ее?

– Вы хотите прочесть какую-то басню Крылова?

– Нет, не басню Крылова хочу я прочесть, а мою басню, собственную, мое сочинение! Поверьте же, сударыня, без обиды себе, что я не до такой степени уже необразован и развращен, чтобы не понимать, что Россия обладает великим баснописцем Крыловым, которому министром просвещения воздвигнут памятник в Летнем саду, для игры в детском возрасте. Вы вот спрашиваете, сударыня: «Почему?» Ответ на дне этой басни, огненными ли-терами!

– Прочтите вашу басню.

Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан.
Полный мухоедства...

– Господи, что такое? – воскликнула Варвара Петровна.

– То есть когда летом, – заторопился капитан, ужасно махая руками, с раздражительным нетерпением автора, которому мешают читать, – когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство, всякий дурак поймет, не перебивайте, не перебивайте, вы увидите, вы увидите... (Он все махал руками.)

Место занял таракан,
Мухи возроптали.
«Полон очень наш стакан», –
К Юпитеру закричали.

Но пока у них шел крик,
Подошел Никифор,
Бла-го-роднейший старик...

Тут у меня еще не dokonчено, но все равно, словами! – трещал капитан. – Никифор берет стакан и, несмотря на крик, выплескивает в лохань всю комедию, и мух и таракана, что давно надо было сделать. Но заметьте, заметьте, сударыня, таракан не ропщет! Вот ответ на ваш вопрос: «Почему?» – вскричал он торжествуя: – «Та-ра-кан не ропщет!» Что же касается до Никифора, то он изображает природу, – прибавил он скороговоркой и самодовольно заходил по комнате.

Варвара Петровна рассердилась ужасно.

– А в каких деньгах, позвольте вас спросить, полученных будто бы от Николая Всеволодовича и будто бы вам недоданных, вы осмелились обвинить одно лицо, принадлежащее к моему дому?

– Клевета! – взревел Лебядкин, трагически подняв правую руку.

– Нет, не клевета.

– Сударыня, есть обстоятельства, заставляющие сносить скорее фамильный позор, чем провозгласить громко истину. Не проговорится Лебядкин, сударыня!

Он точно ослеп; он был во вдохновении; он чувствовал свою значительность; ему наверно что-то такое представлялось. Ему уже хотелось обидеть, как-нибудь нагадить, показать свою власть,

– Позвоните, пожалуйста, Степан Трофимович, – попросила Варвара Петровна.

– Лебядкин хитер, сударыня! – подмигнул он со скверною улыбкой, – хитер, но есть и у него препона, есть и у него преддверие страстей! И это преддверие – старая боевая гусарская бутылка, воспетая Денисом Давыдовым. Вот когда он в этом преддверии, сударыня, тут и случается, что он отправит письмо в стихах, ве-ли-колепнейшее, но которое желал бы потом возвратить обратно слезами всей своей жизни, ибо нарушается чувство прекрасного. Но вылетела птичка, не поймаешь за хвост! Вот в этом-то преддверии, сударыня, Лебядкин мог проговорить насчет и благородной девицы, в виде благородного негодования возмущенной обидами души, чем и воспользовались клеветники его. Но хитер Лебядкин, сударыня! И напрасно сидит над ним зловещий волк, ежеминутно подливая и ожидая конца: не проговорится Лебядкин, и на дне бутылки вместо ожидаемого оказывается каждый раз – Хитрость Лебядкина! Но довольно, о, довольно! Сударыня, ваши великолепные чертоги могли бы принадлежать благородней-

шему из лиц, но таракан не ропщет! Заметьте же, заметьте наконец, что не ропщет, и познайте великий дух!

В это мгновение снизу из швейцарской раздался звонок, и почти тотчас же появился несколько замешкавшийся на звон Степана Трофимовича Алексей Егорыч. Старый чинный слуга был в каком-то необыкновенно возбужденном состоянии.

– Николай Всеволодович изволили сию минуту прибыть и идут сюда-с, – произнес он в ответ на вопросительный взгляд Варвары Петровны.

Я особенно припоминаю ее в то мгновение: сперва она побледнела, но вдруг глаза ее засверкали. Она выпрямилась в креслах с видом необычной решимости. Да и все были поражены. Совершенно неожиданный приезд Николая Всеволодовича, которого ждали у нас разве что через месяц, был странен не одною своею неожиданностью, а именно роковым каким-то совпадением с настоящею минутой. Даже капитан остановился как столб среди комнаты, разинув рот и с ужасно глупым видом смотря на дверь.

И вот из соседней залы, длинной и большой комнаты, раздались скорые приближающиеся шаги, маленькие шаги, чрезвычайно частые; кто-то как будто катился, и вдруг влетел в гостиную – совсем не Николай Всеволодович, а совершенно не знакомый никому молодой человек.

V

Позволю себе приостановиться и хотя несколько беглыми штрихами очертить это внезапно появляющееся лицо.

Это был молодой человек лет двадцати семи или около, немного повыше среднего роста, с жидкими белокурыми, довольно длинными волосами и с клочковатыми, едва обозначававшимися усами и бородкой. Одетый чисто и даже по моде, но не щегольски; как будто с первого взгляда сутуловатый и мешковатый, но, однако ж, совсем не сутуловатый и даже развязный. Как будто какой-то чудак, и, однако же, все у нас находили потом его манеры весьма приличными, а разговор всегда идущим к делу.

Никто не скажет, что он дурен собой, но лицо его никому не нравится. Голова его удлинена к затылку и как бы сплюснута с боков, так что лицо его кажется вострым. Лоб его высок и узок, но черты лица мелки; глаз вострый, носик маленький и востренький, губы длинные и тонкие. Выражение лица словно болезненное, но это только кажется. У него какая-то сухая складка на щеках и около скул, что придает ему вид как бы выздоравливающего после тяжелой болезни. И, однако же, он совершенно здоров, силен и даже никогда не был болен.

Он ходит и движется очень торопливо, но никуда не торопится. Кажется, ничто не может привести его в смущение; при всяких обстоятельствах и в каком угодно обществе он останется тот же. В нем большое самодовольство, но сам он его в себе не примечает нисколько.

Говорит он скоро, торопливо, но в то же время самоуверенно, и не лезет за словом в карман. Его мысли спокойны, несмотря на торопливый вид, отчетливы и окончательны, – и это особенно выдается. Выговор у него удивительно ясен; слова его сыплются, как ровные, крупные зернушки, всегда подобранные и всегда готовые к вашим услугам. Сначала это вам и нравится, но потом станет противно, и именно от этого слишком уже ясного выговора, от этого бисера вечно готовых слов. Вам как-то начинает представляться, что язык у него во рту,

должно быть, какой-нибудь особенной формы, какой-нибудь необыкновенно длинный и тонкий, ужасно красный и с чрезвычайно острым, непрерывно и невольно вертящимся кончиком.

Ну вот этот-то молодой человек и влетел теперь в гостиную, и, право, мне до сих пор кажется, что он заговорил еще из соседней залы и так и вошел говоря. Он мигом очутился пред Варварой Петровной.

– ...Представьте же, Варвара Петровна, – сыпал он как бисером, – я вхожу и думаю застать его здесь уже с четверть часа; он полтора часа как приехал; мы сошлись у Кириллова; он отправился, полчаса тому, прямо сюда и велел мне тоже сюда приходить через четверть часа...

– Да кто? Кто велел вам сюда приходить? – допрашивала Варвара Петровна.

– Да Николай же Всеволодович! Так неужели вы в самом деле только сию минуту узнаете? Но багаж же его по крайней мере должен давно прибыть, как же вам не сказали? Стало быть, я первый и возвещаю. За ним можно было бы, однако, послать куда-нибудь, а впрочем, наверно он сам сейчас явится, и, кажется, именно в то самое время, которое как раз отвечает некоторым его ожиданиям и, сколько я по крайней мере могу судить, его некоторым расчетам. – Тут он обвел глазами комнату и особенно внимательно остановил их на капитане. – Ах, Лизавета Николаевна, как я рад, что встречаю вас с первого же шагу, очень рад позвать вашу руку, – быстро подлетел он к ней, чтобы подхватить протянувшуюся к нему ручку весело улыбнувшейся Лизы, – и, сколько замечаю, многоуважаемая Прасковья Ивановна тоже не забыла, кажется, своего «профессора» и даже на него не сердится, как всегда сердилась в Швейцарии. Но как, однако ж, здесь ваши ноги, Прасковья Ивановна, и справедливо ли приговорил вам швейцарский консилиум климат родины?.. как-с? примочки? это очень, должно быть, полезно. Но как я жалел, Варвара Петровна (быстро повернулся он опять), что не успел вас застать тогда за границей и засвидетельствовать вам лично мое уважение, притом же так много имел сообщить... Я уведомлял сюда моего старика, но он, по своему обыкновению, кажется...

– Петруша! – вскричал Степан Трофимович, мгновенно выходя из оцепенения; он сплеснул руками и бросился к сыну. – *Pierre, mon enfant!*¹, а ведь я не узнал тебя! – сжал он его в объятиях, и слезы покатались из глаз его.

– Ну, не шали, не шали, без жестов, ну и довольно, довольно, прошу тебя, – торопливо бормотал Петруша, стараясь освободиться из объятий.

– Я всегда, всегда был виноват пред тобой!

– Ну и довольно; об этом мы после. Так ведь и знал, что зашалишь. Ну будь же немного потрезвее, прошу тебя.

– Но ведь я не видал тебя десять лет!

– Тем менее причин к излияниям...

– *Mon enfant!*

– Ну верю, верю, что любишь, убери свои руки. Ведь ты мешаешь другим... Ах, вот и Николай Всеволодович, да не шали же, прошу тебя, наконец!

Николай Всеволодович действительно был уже в комнате; он вошел очень тихо и на мгновение остановился в дверях, тихим взглядом окидывая собрание.

Как и четыре года назад, когда в первый раз я увидел его, так точно и теперь я был поражен с первого на него взгляда. Я нимало не забыл его; но, кажется, есть такие физиономии, которые всегда, каждый раз, когда появляются, как бы приносят с собой нечто новое, еще не примеченное в них вами, хотя бы вы сто раз прежде встречались. По-видимому, он был все тот же, как и четыре года

¹ Петя, дитя мое (фр.).

назад: так же изящен, так же важен, так же важно входил, как и тогда, даже почти так же молод. Легкая улыбка его была так же официально ласкова и так же самодовольна; взгляд так же строг, вдумчив и как бы рассеян. Одним словом, казалось, мы вчера только расстались. Но одно поразило меня: прежде хоть и считали его красавцем, но лицо его действительно «походило на маску», как выражались некоторые из злоязычных дам нашего общества. Теперь же, – теперь же, не знаю почему, он с первого же взгляда показался мне решительным, неоспоримым красавцем, так что уже никак нельзя было сказать, что лицо его походит на маску. Не оттого ли, что он стал чуть-чуть бледнее, чем прежде, и, кажется, несколько похудел? Или, может быть, какая-нибудь новая мысль светилась теперь в его взгляде?

– Николай Всеволодович! – вскричала, вся выпрямившись и не сходя с кресел, Варвара Петровна, останавливая его повелительным жестом, – остановись на одну минуту!

Но чтоб объяснить тот ужасный вопрос, который вдруг последовал за этим жестом и восклицанием, – вопрос, возможности которого я даже и в самой Варваре Петровне не мог бы предположить, – я попрошу читателя вспомнить, что такое был характер Варвары Петровны во всю ее жизнь и необыкновенную стремительность его в иные чрезвычайные минуты. Прошу тоже сообразить, что, несмотря на необыкновенную твердость души и на значительную долю рассудка и практического, так сказать даже хозяйственного, такта, которыми она обладала, все-таки в ее жизни не переводились такие мгновения, которым она отдавалась вдруг вся, всецело и, если позволительно так выразиться, совершенно без удержу. Прошу взять, наконец, во внимание, что настоящая минута действительно могла быть для нее из таких, в которых вдруг, как в фокусе, сосредоточивается вся сущность жизни, – всего прожитого, всего настоящего и, пожалуй, будущего. Напомню еще вскользь и о полученном ею анонимном письме, о котором она давеча так раздражительно проговорила Прасковье Ивановне, причем, кажется, умолчала о дальнейшем содержании письма; а в нем-то, может быть, и заключалась разгадка возможности того ужасного вопроса, с которым она вдруг обратилась к сыну.

– Николай Всеволодович, – повторила она, отчеканивая слова твердым голосом, в котором зазвучал грозный вызов, – прошу вас, скажите сейчас же, не сходя с этого места: правда ли, что эта несчастная, хромая женщина, – вот она, вон там, смотрите на нее! – правда ли, что она... законная жена ваша?

Я слишком помню это мгновение; он не смигнул даже глазом и пристально смотрел на мать; ни малейшего изменения в лице его не последовало. Наконец он медленно улыбнулся какой-то снисходящей улыбкой и, не ответив ни слова, тихо подошел к мамаше, взял ее руку, почтительно поднес к губам и поцеловал. И до того было сильно всегдашнее, неодолимое влияние его на мать, что она и тут не посмела отдернуть руки. Она только смотрела на него, вся обратясь в вопрос, и весь вид ее говорил, что еще один миг, и она не вынесет неизвестности.

Но он продолжал молчать. Поцеловав руку, он еще раз окинул взглядом всю комнату и, по-прежнему не спеша, направился прямо к Марье Тимофеевне. Очень трудно описывать физиономии людей в некоторые мгновения. Мне, например, запомнилось, что Марья Тимофеевна, вся замирая от испуга, поднялась к нему навстречу и сложила, как бы умоляя его, пред собою руки; а вместе с тем вспоминается и восторг в ее взгляде, какой-то безумный восторг, почти искаживший ее черты, – восторг, который трудно людьми выносятся. Может, было и

то и другое, и испуг и восторг; но помню, что я быстро к ней придвинулся (я стоял почти подле), мне показалось, что она сейчас упадет в обморок.

– Вам нельзя быть здесь, – проговорил ей Николай Всеволодович ласковым, мелодическим голосом, и в глазах его засветилась необыкновенная нежность. Он стоял пред нею в самой почтительной позе, и в каждом движении его сказывалось самое искреннее уважение. Бедняжка стремительным полусшепотом, задыхаясь, пролепетала ему:

– А мне можно... сейчас... стать пред вами на колени?

– Нет, этого никак нельзя, – великолепно улыбнулся он ей, так что и она вдруг радостно усмехнулась. Тем же мелодическим голосом и нежно уговаривая ее, точно ребенка, он с важностью прибавил:

– Подумайте о том, что вы девушка, а я хоть и самый преданный друг ваш, но все же вам посторонний человек, не муж, не отец, не жених. Дайте же руку вашу и пойдемте; я провожу вас до кареты и, если позволите, сам отвезу вас в ваш дом.

Она выслушала и как бы в раздумье склонила голову.

– Пойдемте, – сказала она, вздохнув и подавая ему руку.

Но тут с нею случилось маленькое несчастье. Должно быть, она неосторожно как-нибудь повернулась и ступила на свою больную, короткую ногу, – словом, она упала всем боком на кресло и, не будь этих кресел, полетела бы на пол. Он мигом подхватил ее и поддержал, крепко взял под руку и с участием, осторожно повел к дверям. Она видимо была огорчена своим падением, смутилась, покраснела и ужасно застыдилась. Молча смотря в землю, глубоко прихрамывая, она заковыляла за ним, почти повиснув на его руке. Так они и вышли. Лиза, я видел, для чего-то вдруг привскочила с кресла, пока они выходили, и неподвижным взглядом проследила их до самых дверей. Потом молча села опять, но в лице ее было какое-то судорожное движение, как будто она дотронулась до какого-то гада.

Пока шла вся эта сцена между Николаем Всеволодовичем и Марьей Тимофеевной, все молчали в изумлении; муху бы можно услышать; но только что они вышли, все вдруг заговорили.

VI

Говорили, впрочем, мало, а более восклицали. Я немножко забыл теперь, как это все происходило тогда по порядку, потому что вышла сумятица. Воскликнул что-то Степан Трофимович по-французски и сплеснул руками, но Варваре Петровне было не до него. Даже пробормотал что-то отрывисто и скоро Маврикий Николаевич. Но всех более горячился Петр Степанович; он в чем-то отчаянно убеждал Варвару Петровну, с большими жестами, но я долго не мог понять. Обращался и к Прасковье Ивановне и к Лизавете Николаевне, даже мельком сгоряча крикнул что-то отцу, – одним словом, очень вертелся по комнате. Варвара Петровна, вся раскрасневшись, вскочила было с места и крикнула Прасковье Ивановне: «Слышала, слышала ты, что он здесь ей сейчас говорил?» Но та уж и отвечать не могла, а только пробормотала что-то, махнув рукой. У бедной была своя забота: она поминутно поворачивала голову к Лизе и смотрела на нее в безотчетном страхе, а встать и уехать и думать уже не смела, пока не подымется дочь. Тем временем капитан, наверно, хотел улизнуть, это я подметил. Он был в сильном и несомненном испуге, с самого того мгновения, как появился Николай Всеволодович; но Петр Степанович схватил его за руку и не дал уйти.

– Это необходимо, необходимо, – сыпал он своим бисером Варваре Петровне, все продолжая ее убеждать. Он стоял пред нею, а она уже опять сидела в креслах и, помню, с жадностью его слушала; он-таки добился того и завладел ее вниманием.

– Это необходимо. Вы сами видите, Варвара Петровна, что тут недоразумение, и на вид много чудного, а между тем дело ясное, как свечка, и простое, как палец. Я слишком понимаю, что никем не уполномочен рассказывать и имею, пожалуй, смешной вид, сам напрашиваясь. Но, во-первых, сам Николай Всеволодович не придает этому делу никакого значения, и, наконец, все же есть случаи, в которых трудно человеку решиться на личное объяснение самому, а надо непременно, чтобы взялось за это третье лицо, которому легче высказать некоторые деликатные вещи. Поверьте, Варвара Петровна, что Николай Всеволодович нисколько не виноват, не ответив на ваш давешний вопрос тотчас же, радикальным объяснением, несмотря на то что дело плевое; я знаю его еще с Петербурга. К тому же весь анекдот делает только честь Николаю Всеволодовичу, если уж непременно надо употребить это неопределенное слово «честь»...

– Вы хотите сказать, что вы были свидетелем какого-то случая, от которого произошло... это недоумение? – спросила Варвара Петровна.

– Свидетелем и участником, – поспешно подтвердил Петр Степанович.

– Если вы дадите мне слово, что это не обидит деликатности Николая Всеволодовича, в известных мне чувствах его ко мне, от которой он ни-че-го не скрывает... и если вы так притом уверены, что этим даже сделаете ему удовольствие...

– Непременно удовольствие, потому-то и сам вменяю себе в особенное удовольствие. Я убежден, что он сам бы меня просил.

Довольно странно было и вне обыкновенных приемов это навязчивое желание этого вдруг упавшего с неба господина рассказывать чужие анекдоты. Но он поймал Варвару Петровну на удочку, дотронувшись до слишком наболевшего места. Я еще не знал тогда характера этого человека вполне, а уж тем более его намерений.

– Вас слушают, – сдержанно и осторожно возвестила Варвара Петровна, несколько страдая от своего снисхождения.

– Вещь короткая; даже, если хотите, по-настоящему это и не анекдот, – посыпался бисер. – Впрочем, романист от безделья мог бы испечь роман. Довольно интересная вещица, Прасковья Ивановна, и я уверен, что Лизавета Николаевна с любопытством выслушает, потому что тут много если не чудных, то причудливых вещей. Лет пять тому, в Петербурге, Николай Всеволодович узнал этого господина, – вот этого самого господина Лебядкина, который стоит разиня рот и, кажется, собирался сейчас улизнуть. Извините, Варвара Петровна. Я вам, впрочем, не советую улепетывать, господин отставной чиновник бывшего провиантского ведомства (видите, я отлично вас помню). И мне и Николаю Всеволодовичу слишком известны ваши здешние проделки, в которых, не забудьте это, вы должны будете дать отчет. Еще раз прошу извинения, Варвара Петровна. Николай Всеволодович называл тогда этого господина своим Фальстафом; это, должно быть (пояснил он вдруг), какой-нибудь бывший характер, burlesque¹, над которым все смеются и который сам позволяет над собою всем смеяться, лишь бы платили деньги. Николай Всеволодович вел тогда в Петербурге жизнь, так сказать, насмешливую, – другим словом не могу определить ее, потому что в

¹ шутовской (фр.).

разочарование этот человек не впадет, а делом он и сам тогда пренебрегал заниматься. Я говорю про одно лишь тогдашнее время, Варвара Петровна. У Лебядкина этого была сестра, – вот эта самая, что сейчас здесь сидела. Братец и сестрица не имели своего угла и скитались по чужим. Он бродил под арками Гостиного двора, непременно в бывшем мундире, и останавливал прохожих с виду пощипав, а что наберет – пропивал. Сестрица же кормилась как птица небесная. Она там в углах помогала и за нужду прислуживала. Содом был ужаснейший; я миную картину этой угловой жизни, – жизни, которой из чудачества предавался тогда и Николай Всеволодович. Я только про тогдашнее время, Варвара Петровна; а что касается до «чудачества», то это его собственное выражение. Он многое от меня не скрывает. Mademoiselle Лебядкина, которой одно время слишком часто пришлось встречать Николая Всеволодовича, была поражена его наружностью. Это был, так сказать, бриллиант на грязном фоне ее жизни. Я плохой описатель чувств, а потому пройду мимо; но ее тотчас же поднимали дрянные людишки на смех, и она загрустила. Там вообще над нею смеялись, но прежде она вовсе не замечала того. Голова ее уже и тогда была не в порядке, но тогда все-таки не так, как теперь. Есть основание предположить, что в детстве, через какую-то благодетельницу, она чуть было не получила воспитания. Николай Всеволодович никогда не обращал на нее ни малейшего внимания и играл больше в старые замасленные карты по четверть копейки в преферанс с чиновниками. Но раз, когда ее обижали, он (не спрашивая причины) схватил одного чиновника за шиворот и спустил из второго этажа в окно. Никаких рыцарских негодований в пользу оскорбленной невинности тут не было; вся операция произошла при общем смехе, и смеялся всех больше Николай Всеволодович сам; когда же все кончилось благополучно, то помирились и стали пить пунш. Но угнетенная невинность сама про то не забыла. Разумеется, кончилось окончательным сотрясанием ее умственных способностей. Повторяю, я плохой описатель чувств, но тут главное мечта. А Николай Всеволодович, как нарочно, еще более раздражал мечту: вместо того чтобы рассмеяться, он вдруг стал обращаться к mademoiselle Лебядкиной с неожиданным уважением. Кириллов, тут бывший (чрезвычайный оригинал, Варвара Петровна, и чрезвычайно отрывистый человек; вы, может быть, когда-нибудь его увидите, он теперь здесь), ну так вот, этот Кириллов, который, по обыкновению, все молчит, а тут вдруг разгорячился, заметил, я помню, Николаю Всеволодовичу, что тот третирует эту госпожу как маркизу и тем окончательно ее добивает. Прибавлю, что Николай Всеволодович несколько уважал этого Кириллова. Что же, вы думаете, он ему ответил: «Вы полагаете, господин Кириллов, что я смеюсь над нею; разувьетесь, я в самом деле ее уважаю, потому что она всех нас лучше». И, знаете, таким серьезным тоном сказал. Между тем в эти два-три месяца он, кроме «здравствуйте» да «прощайте», в сущности, не проговорил с ней ни слова. Я, тут бывший, наверно помню, что она до того уже, наконец, дошла, что считала его чем-то вроде жениха своего, не смеющего ее «похитить» единственно потому, что у него много врагов и семейных препятствий или что-то в этом роде. Много тут было смеху! Кончилось тем, что, когда Николаю Всеволодовичу пришлось тогда отправляться сюда, он, уезжая, распорядился о ее содержании и, кажется, довольно значительном ежегодном пенсионе, рублей в триста по крайней мере, если не более. Одним словом, положим, все это с его стороны баловство, фантазия преждевременно уставшего человека, – пусть даже, наконец, как говорил Кириллов, это был новый этюд пресыщенного человека с целью узнать, до чего можно довести сумасшедшую калеку. «Вы, говорит, нарочно выбрали самое последнее существ-

во, калеку, покрытую вечным позором и побоями, – и вдобавок зная, что это существо умирает к вам от комической любви своей, – и вдруг вы нарочно принимаетесь ее морочить, единственно для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет!» Чем, наконец, так особенно виноват человек в фантазиях сумасшедшей женщины, с которой, заметьте, он вряд ли две фразы во все время выговорил! Есть вещи, Варвара Петровна, о которых не только нельзя умно говорить, но о которых и начинать-то говорить неумно. Ну пусть, наконец, чудачество – но ведь более-то уж ничего нельзя сказать; а между тем теперь вот из этого сделали историю... Мне отчасти известно, Варвара Петровна, о том, что здесь происходит.

Рассказчик вдруг оборвал и повернулся было к Лебядкину, но Варвара Петровна остановила его; она была в сильнейшей экзальтации.

– Вы кончили? – спросила она.

– Нет еще; для полноты мне надо бы, если позволите, допросить тут кое в чем вот этого господина... Вы сейчас увидите, в чем дело, Варвара Петровна.

– Довольно, после, остановитесь на минуту, прошу вас. О, как я хорошо сделала, что допустила вас говорить!

– И заметьте, Варвара Петровна, – встрепнулся Петр Степанович, – ну могли Николай Всеволодович сам объяснить вам это все давеча, в ответ на ваш вопрос, – может быть, слишком уж категорический?

– О да, слишком!

– И не прав ли я был, говоря, что в некоторых случаях третьему человеку гораздо легче объяснить, чем самому заинтересованному!

– Да, да... Но в одном вы ошиблись и, с сожалением вижу, продолжаете ошибаться.

– Неужели? В чем это?

– Видите... А впрочем, если бы вы сели, Петр Степанович.

– О, как вам угодно, я и сам устал, благодарю вас.

Он мигом выдвинул кресло и повернул его так, что очутился между Варварой Петровной с одной стороны, Прасковьей Ивановной у стола с другой, и лицом к господину Лебядкину, с которого он ни на минутку не спускал своих глаз.

– Вы ошибаетесь в том, что называете это «чудачеством»...

– О, если только это...

– Нет, нет, нет, подождите, – остановила Варвара Петровна, очевидно приготавливаясь много и с упоением говорить. Петр Степанович, лишь только заметил это, весь обратился во внимание.

– Нет, это было нечто высшее чудачества и, уверяю вас, нечто даже святое! Человек гордый и рано оскорбленный, дошедший до той «насмешливости», о которой вы так метко упомянули, – одним словом, принц Гарри, как великолепно сравнил тогда Степан Трофимович и что было бы совершенно верно, если бы он не походил еще более на Гамлета, по крайней мере по моему взгляду.

– Et vous avez raison¹, – с чувством и веско отозвался Степан Трофимович.

– Благодарю вас, Степан Трофимович, вас я особенно благодарю и именно за вашу всегдашнюю веру в Nicolas, в высоту его души и призвания. Эту веру вы даже во мне подкрепляли, когда я падала духом.

– 'Chère, chère... – Степан Трофимович шагнул было уже вперед, но приостановился, рассудив, что прерывать опасно.

– И если бы всегда подле Nicolas (отчасти пела уже Варвара Петровна) находился тихий, великий в смирении своем Горацио, – другое прекрасное выра-

¹ И вы совершенно правы (фр.).

жение ваше, Степан Трофимович, – то, может быть, он давно уже был бы спасен от грустного и «внезапного демона иронии», который всю жизнь терзал его. (О демоне иронии опять удивительное выражение ваше, Степан Трофимович.) Но у Nicolas никогда не было ни Горацио, ни Офелии. У него была лишь одна его мать, но что же может сделать мать одна и в таких обстоятельствах? Знаете, Петр Степанович, мне становится даже чрезвычайно понятным, что такое существо, как Nicolas, мог являться даже и в таких грязных трущобах, про которые вы рассказывали. Мне так ясно представляется теперь эта «насмешливость» жизни (удивительно меткое выражение ваше!), эта ненасытимая жажда контраста, этот мрачный фон картины, на котором он является как бриллиант, по вашему же опять сравнению, Петр Степанович. И вот он встречается там всеми обиженное существо, калеку и полупомешанную, и в то же время, может быть, с благороднейшими чувствами!

– Гм, да, положим.

– И вам после этого непонятно, что он не смеется над нею, как все! О люди! Вам непонятно, что он защищает ее от обидчиков, окружает ее уважением, «как маркизу» (этот Кириллов, должно быть, необыкновенно глубоко понимает людей, хотя и он не понял Nicolas!). Если хотите, тут именно через этот контраст и вышла беда; если бы несчастная была в другой обстановке, то, может быть, и не дошла бы до такой умоиступленной мечты. Женщина, женщина только может понять это, Петр Степанович, и как жаль, что вы... то есть не то, что вы не женщина, а по крайней мере на этот раз, чтобы понять!

– То есть в том смысле, что чем хуже, тем лучше, я понимаю, понимаю, Варвара Петровна. Это вроде как в религии: чем хуже человеку жить или чем забитее или беднее весь народ, тем упрямее мечтает он о вознаграждении в раю, а если при этом хлопочет еще сто тысяч священников, разжигая мечту и на ней спекулируя, то... я понимаю вас, Варвара Петровна, будьте покойны.

– Это, положим, не совсем так, но скажите, неужели Nicolas, чтобы погасить эту мечту в этом несчастном организме (для чего Варвара Петровна тут употребила слово «организме», я не мог понять), неужели он должен был сам над нею смеяться и с нею обращаться, как другие чиновники? Неужели вы отвергаете то высокое сострадание, ту благородную дрожь всего организма, с которою Nicolas вдруг строго отвечает Кириллову: «Я не смеюсь над нею». Высокий, святой ответ!

– Sublime¹, – пробормотал Степан Трофимович.

– И заметьте, он вовсе не так богат, как вы думаете; богата я, а не он, а он у меня тогда почти вовсе не брал.

– Я понимаю, понимаю все это, Варвара Петровна, – несколько уже нетерпеливо шевелился Петр Степанович.

– О, это мой характер! Я узнаю себя в Nicolas. Я узнаю эту молодость, эту возможность бурных, грозных порывов... И если мы когда-нибудь сблизимся с вами, Петр Степанович, чего я с моей стороны желаю так искренно, тем более что вам уже так обязана, то вы, может быть, поймете тогда...

– О, поверьте, я желаю, с моей стороны, – отрывисто пробормотал Петр Степанович.

– Вы поймете тогда тот порыв, по которому в этой слепоте благородства вдруг берут человека даже недостойного себя во всех отношениях, человека, глубоко не понимающего вас, готового вас измучить при всякой первой воз-

¹ Возвышенно (фр.).

возможности, и такого-то человека, наперекор всему, воплощают вдруг в какой-то идеал, в свою мечту, совокупляют на нем все надежды свои, преклоняются пред ним, любят его всю жизнь, совершенно не зная за что, – может быть, именно за то, что он недостоин того... О, как я страдала всю жизнь, Петр Степанович!

Степан Трофимович с болезненным видом стал ловить мой взгляд; но я вовремя увернулся.

– ...И еще недавно, недавно, – о, как я виновата пред Nicolas. Вы не поверите, они измучили меня со всех сторон, все, все, и враги, и людишки, и друзья; друзья, может быть, больше врагов. Когда мне прислали первое презренное анонимное письмо, Петр Степанович, то, вы не поверите этому, у меня не достало, наконец, презрения, в ответ на всю эту злость... Никогда, никогда не прощу себе моего малодушия!

– Я уже слышал кое-что вообще о здешних анонимных письмах, – оживился вдруг Петр Степанович, – и я вам их разыщу, будьте покойны.

– Но вы не можете вообразить, какие здесь начались интриги! – они измучили даже нашу бедную Прасковью Ивановну – а ее-то уж по какой причине? Я, может быть, слишком виновата пред тобой сегодня, моя милая Прасковья Ивановна, – прибавила она в великодушном порыве умиления, но не без некоторой победоносной иронии.

– Полноте, матушка, – пробормотала та нехотя, – а по-моему, это бы все надо кончить; слишком говорено... – и она опять робко поглядела на Лизу, но та смотрела на Петра Степановича.

– А это бедное, это несчастное существо, эту безумную, утратившую все и сохранившую одно сердце, я намерена теперь сама усыновить, – вдруг воскликнула Варвара Петровна, – это долг, который я намерена свято исполнить. С этого же дня беру ее под мою защиту!

– И это даже будет очень хорошо-с в некотором смысле, – совершенно оживился Петр Степанович. – Извините, я давеча не докончил. Я именно о покровительстве. Можете представить, что, когда уехал тогда Николай Всеволодович (я начинаю с того именно места, где остановился, Варвара Петровна), этот господин, вот этот самый господин Лебядкин мигом вообразил себя вправе распорядиться пенсионом, назначенным его сестрице, без остатка; и распорядился. Я не знаю в точности, как это было тогда устроено Николаем Всеволодовичем, но через год, уж из-за границы, он, узнав о происходившем, принужден был распорядиться иначе. Опять не знаю подробностей, он их сам расскажет, но знаю только, что интересную особу поместили где-то в отдаленном монастыре, весьма даже комфортно, но под дружеским присмотром – понимаете? На что же, вы думаете, решается господин Лебядкин? Он употребляет сперва все усилия, чтобы разыскать, где скрывают от него оброчную статью, то есть сестрицу, недавно только достигает цели, берет ее из монастыря, предъявив какое-то на нее право, и привозит ее прямо сюда. Здесь он ее не кормит, бьет, тиранит, наконец получает каким-то путем от Николая Всеволодовича значительную сумму, тотчас же пускается пьянствовать, а вместо благодарности кончает дерзким вызовом Николаю Всеволодовичу, бессмысленными требованиями, угрожая, в случае неплатежа пенсиону впредь ему прямо в руки, судом. Таким образом, добровольный дар Николая Всеволодовича он принимает за дань, – можете себе представить? Господин Лебядкин, правда ли *все* то, что я здесь сейчас говорил?

Капитан, до сих пор стоявший молча и потупив глаза, быстро шагнул два шага вперед и весь побагровел.

– Петр Степанович, вы жестоко со мной поступили, – проговорил он, точно оборвал.

– Как это жестоко и почему-с? Но позвольте, мы о жестокости или о мягкости после, а теперь я прошу вас только ответить на первый вопрос: правда ли *все* то, что я говорил, или нет? Если вы находите, что неправда, то вы можете немедленно сделать свое заявление.

– Я... вы сами знаете, Петр Степанович... – пробормотал капитан, осекся и замолчал. Надо заметить, что Петр Степанович сидел в креслах, заложив ногу на ногу, а капитан стоял пред ним в самой почтительной позе.

Колебания господина Лебядкина, кажется, очень не понравились Петру Степановичу; лицо его передернулось какой-то злобной судорогой.

– Да вы уже в самом деле не хотите ли что-нибудь заявить? – тонко поглядел он на капитана. – В таком случае сделайте одолжение, вас ждут.

– Вы знаете сами, Петр Степанович, что я не могу ничего заявлять.

– Нет, я этого не знаю, в первый раз даже слышу; почему так вы не можете заявлять?

Капитан молчал, опустив глаза в землю.

– Позвольте мне уйти, Петр Степанович, – проговорил он решительно.

– Но не ранее того, как вы дадите какой-нибудь ответ на мой первый вопрос: правда *все*, что я говорил?

– Правда-с, – глухо проговорил Лебядкин и вскинул глазами на мучителя. Даже пот выступил на висках его.

– *Все* правда?

– Все правда-с.

– Не найдете ли вы что-нибудь прибавить, заметить? Если чувствуете, что мы несправедливы, то заявите это; протестуйте, заявляйте вслух ваше недовольствие.

– Нет, ничего не нахожу.

– Угрожали вы недавно Николаю Всеволодовичу?

– Это... это, тут было больше вино, Петр Степанович. (Он поднял вдруг голову.) Петр Степанович! Если фамильная честь и не заслуженный сердцем позор возопиют меж людей, то тогда, неужели и тогда виноват человек? – взревел он, вдруг забывшись по-давешнему.

– А вы теперь трезвы, господин Лебядкин? – пронзительно поглядел на него Петр Степанович.

– Я... трезв.

– Что это такое значит фамильная честь и не заслуженный сердцем позор?

– Это я про никого, я никого не хотел. Я про себя... – провалился опять капитан.

– Вы, кажется, очень обиделись моими выражениями про вас и ваше поведение? Вы очень раздражительны, господин Лебядкин. Но позвольте, я ведь еще ничего не начинал про ваше поведение, в его настоящем виде. Я начну говорить про ваше поведение, в его настоящем виде. Я начну говорить, это очень может случиться, но я ведь еще не начинал в *настоящем* виде.

Лебядкин вздрогнул и дико уставился на Петра Степановича.

– Петр Степанович, я теперь лишь начинаю просыпаться!

– Гм. И это я вас разбудил?

– Да, это вы меня разбудили, Петр Степанович, а я спал четыре года под висевшей тучей. Могу я, наконец, удалиться, Петр Степанович?

– Теперь можете, если только сама Варвара Петровна не найдет необходимым...

Но та замахала руками.

Капитан поклонился, шагнул два шага к дверям, вдруг остановился, приложил руку к сердцу, хотел было что-то сказать, не сказал и быстро побежал вон. Но в дверях как раз столкнулся с Николаем Всеволодовичем; тот посторожился; капитан как-то весь вдруг съежился пред ним и так и замер на месте, не отрывая от него глаз, как кролик от удава. Подождав немного, Николай Всеволодович слегка отстранил его рукой и вошел в гостиную.

VII

Он был весел и спокоен. Может, что-нибудь с ним случилось сейчас очень хорошее, еще нам неизвестное; но он, казалось, был даже чем-то особенно доволен.

– Простишь ли ты меня, Nicolas? – не утерпела Варвара Петровна и поспешно встала ему навстречу.

Но Nicolas решительно рассмеялся.

– Так и есть! – воскликнул он добродушно и шутливо. – Вижу, что вам уже все известно. А я, как вышел отсюда, и задумался в карете: «По крайней мере надо было хоть анекдот рассказать, а то кто же так уходит?» Но как вспомнил, что у вас остается Петр Степанович, то и забота соскочила.

Говоря, он бегло осматривался кругом.

– Петр Степанович рассказал нам одну древнюю петербургскую историю из жизни одного причудника, – восторженно подхватила Варвара Петровна, – одного капризного и сумасшедшего человека, но всегда высокого в своих чувствах, всегда рыцарски благородного...

– Рыцарски? Неужто у вас до того дошло? – смеялся Nicolas. – Впрочем, я очень благодарен Петру Степановичу на этот раз за его торопливость (тут он обменялся с ним мгновенным взглядом). Надобно вам узнать, тамап, что Петр Степанович – всеобщий примиритель; это его роль, болезнь, конек, и я особенно рекомендую его вам с этой точки. Догадываюсь, о чем он вам тут настроил. Он именно строчит, когда рассказывает; в голове у него канцелярия. Заметьте, что в качестве реалиста он не может солгать и что истина ему дороже успеха... разумеется, кроме тех особенных случаев, когда успех дороже истины. (Говоря это, он все осматривался.) Таким образом, вы видите ясно, тамап, что не вам у меня прощения просить и что если есть тут где-нибудь сумасшествие, то, конечно, прежде всего с моей стороны, и, значит, в конце концов я все-таки помешанный, – надо же поддержать свою здешнюю репутацию...

Тут он нежно обнял мать.

– Во всяком случае, дело это теперь кончено и рассказано, а стало быть, можно и перестать о нем, – прибавил он, и какая-то сухая, твердая нотка прозвучала в его голосе. Варвара Петровна поняла эту нотку; но экзальтация ее не проходила, даже напротив.

– Я никак не ждала тебя раньше как через месяц, Nicolas!

– Я, разумеется, вам все объясню, тамап, а теперь...

И он направился к Прасковье Ивановне.

Но та едва повернула к нему голову, несмотря на то что с полчаса назад была ошеломлена при первом его появлении. Теперь же у ней были новые хло-

поты: с самого того мгновения, как вышел капитан и столкнулся в дверях с Николаем Всеволодовичем, Лиза вдруг принялась смеяться, – сначала тихо, порывисто, но смех разрастался все более и более, громче и явственнее. Она раскраснелась. Контраст с ее недавним мрачным видом был чрезвычайный. Пока Николай Всеволодович разговаривал с Варварой Петровной, она раза два поманила к себе Маврикия Николаевича, будто желая ему что-то шепнуть; но лишь только тот наклонялся к ней, мигом заливалась смехом; можно было заключить, что она именно над бедным Маврикием Николаевичем и смеется. Она, впрочем, видимо старалась скрепиться и прикладывала платок к губам. Николай Всеволодович с самым невинным и простодушным видом обратился к ней с приветствием.

– Вы, пожалуйста, извините меня, – ответила она скороговоркой, – вы... вы, конечно, видели Маврикия Николаевича... Боже, как вы непозволительно высоки ростом, Маврикий Николаевич!

И опять смех. Маврикий Николаевич был роста высокого, но вовсе не так уж непозволительно.

– Вы... давно приехали? – пробормотала она, опять сдерживаясь, даже конфузясь, но со сверкающими глазами.

– Часа два с лишком, – ответил Nicolas, пристально к ней присматриваясь. Замечу, что он был необыкновенно сдержан и вежлив, но, откинув вежливость, имел совершенно равнодушный вид, даже вялый.

– А где будете жить?

– Здесь.

Варвара Петровна тоже следила за Лизой, но ее вдруг поразила одна мысль.

– Где ж ты был, Nicolas, до сих пор, все эти два часа с лишком? – подошла она. – Поезд приходит в десять часов.

– Я сначала завез Петра Степановича к Кириллову. А Петра Степановича я встретил в Матвееве (за три станции), в одном вагоне и доехали.

– Я с рассвета в Матвееве ждал, – подхватил Петр Степанович, – у нас задние вагоны соскочили ночью с рельсов, чуть ног не поломали.

– Ноги сломали! – вскричала Лиза. – Мама́, мама́, а мы с вами хотели ехать на прошлой неделе в Матвеево, вот бы тоже ноги сломали!

– Господи помилуй! – перекрестилась Прасковья Ивановна.

– Мама́, мама́, милая ма, вы не пугайтесь, если я в самом деле обе ноги сломаю; со мной это так может случиться, сами же говорите, что я каждый день скачу верхом слома голову. Маврикий Николаевич, будете меня водить хромоую? – захотела она опять. – Если это случится, я никому не дам себя водить, кроме вас, смело рассчитывайте. Ну, положим, что я только одну ногу сломаю... Ну будьте же любезны, скажите, что почтете за счастье.

– Что уж за счастье с одною ногой? – серьезно нахмурился Маврикий Николаевич.

– Зато вы будете водить, один вы, никому больше!

– Вы и тогда меня водить будете, Лизавета Николаевна, – еще серьезнее проворчал Маврикий Николаевич.

– Боже, да ведь он хотел сказать каламбур! – почти в ужасе воскликнула Лиза. – Маврикий Николаевич, не смейте никогда пускаться на этот путь! Но только до какой же степени вы эгоист! Я убеждена, к чести вашей, что вы сами на себя теперь клевете; напротив: вы с утра до ночи будете меня тогда уверять, что я стала без ноги интереснее! Одно непоправимо – вы безмерно высоки ростом, а без ноги я стану премаленькая, как же вы меня поведете под руку, мы будем не пара!

И она болезненно рассмеялась. Остроты и намеки были плоски, но ей, очевидно, было не до славы.

– Истерика! – шепнул мне Петр Степанович. – Поскорее бы воды стакан.

Он угадал; через минуту все суетились, принесли воды. Лиза обнимала свою мамá, горячо целовала ее, плакала на ее плече и тут же, опять откинувшись и засматривая ей в лицо, принималась хохотать. Захныкала, наконец, и мамá. Варвара Петровна увела их обеих поскорее к себе, в ту самую дверь, из которой вышла к нам давеча Дарья Павловна. Но пробыли они там недолго, минуты четыре, не более...

Я стараюсь припомнить теперь каждую черту этих последних мгновений этого достопамятного утра. Помню, что когда мы остались одни, без дам (кроме одной Дарьи Павловны, не тронувшейся с места), Николай Всеволодович обошел нас и перездоровался с каждым, кроме Шатова, продолжавшего сидеть в своем углу и еще больше, чем давеча, наклонившегося в землю. Степан Трофимович начал было с Николаем Всеволодовичем о чем-то чрезвычайно остроумном, но тот поспешно направился к Дарье Павловне. Но на дороге почти силой перехватил его Петр Степанович и утащил к окну, где и начал о чем-то быстро шептать ему, по-видимому об очень важном, судя по выражению лица и по жестам, сопровождавшим шепот. Николай же Всеволодович слушал очень лениво и рассеянно, с своей официальной усмешкой, а под конец даже и нетерпеливо, и все как бы порывался уйти. Он ушел от окна, именно когда воротились наши дамы; Лизу Варвара Петровна усадила на прежнее место, уверяя, что им минут хоть десять надо непременно повременить и отдохнуть и что свежий воздух вряд ли будет сейчас полезен на больные нервы. Очень уж она ухаживала за Лизой и сама села с ней рядом. К ним немедленно подскочил освободившийся Петр Степанович и начал быстрый и веселый разговор. Вот тут-то Николай Всеволодович и подошел наконец к Дарье Павловне неспешною походкой своей; Даша так и заколыхалась на месте при его приближении и быстро привскочила в видимом смущении и с румянцем во все лицо.

– Вас, кажется, можно поздравить... или еще нет? – проговорил он с какой-то особенною складкой в лице.

Даша что-то ему ответила, но трудно было расслышать.

– Простите за нескромность, – возвысил он голос, – но ведь вы знаете, я был нарочно извещен. Знаете вы об этом?

– Да, я знаю, что вы были нарочно извещены.

– Надеюсь, однако, что я не помешал ничему моим поздравлением, – засмеялся он, – и если Степан Трофимович...

– С чем, с чем поздравить? – подскочил вдруг Петр Степанович, – с чем вас поздравить, Дарья Павловна? Ба! Да уж не с тем ли самым? Краска ваша свидетельствует, что я угадал. В самом деле, с чем же и поздравлять наших прекрасных и благонравных девиц и от каких поздравлений они всего больше краснеют? Ну-с, примите и от меня, если я угадал, и заплатите пари: помните, в Швейцарии бились об заклад, что никогда не выйдете замуж... Ах да, по поводу Швейцарии – что ж это я? Представьте, наполовину затем и ехал, а чуть не забыл: скажи ты мне, – быстро повернулся он к Степану Трофимовичу, – ты-то когда же в Швейцарию?

– Я... в Швейцарию? – удивился и смутился Степан Трофимович.

– Как? разве не едешь? Да ведь ты тоже женишься... ты писал?

– Pierre! – воскликнул Степан Трофимович.

– Да что Pierre... Видишь, если тебе это приятно, то я летел заявить тебе, что я вовсе не против, так как ты непременно желал моего мнения как можно скорее; если же (сыпал он) тебя надо «спасать», как ты тут же пишешь и умоляешь, в том же самом письме, то опять-таки я к твоим услугам. Правда, что он женится, Варвара Петровна? – быстро повернулся он к ней. – Надеюсь, что я не нескромничаю; сам же пишет, что весь город знает и все поздравляют, так что он, чтоб избежать, выходит лишь по ночам. Письмо у меня в кармане. Но поверите ли, Варвара Петровна, что я ничего в нем не понимаю! Ты мне только одно скажи, Степан Трофимович, поздравлять тебя надо или «спасать»? Вы не поверите, рядом с самыми счастливыми строками у него отчаяннейшие. Во-первых, просит у меня прощения; ну, положим, это в их нравах... А впрочем, нельзя не сказать: вообразите, человек в жизни видел меня два раза, да и то нечаянно, и вдруг теперь, вступая в третий брак, воображает, что нарушает этим ко мне какие-то родительские обязанности, умоляет меня за тысячу верст, чтоб я не сердился и разрешил ему! Ты, пожалуйста, не обижайся, Степан Трофимович, черта времени, я широко смотрю и не осуждаю, и это, положим, тебе делает честь и т. д., и т. д., но опять-таки главное в том, что главного-то не понимаю. Тут что-то о каких-то «грехах в Швейцарии». Женюсь, дескать, по грехам, или из-за чужих грехов, или как у него там, – одним словом, «грехи». «Девушка, говорит, перл и алмаз», ну и, разумеется, «он недостоин» – их слог; но из-за каких-то там грехов или обстоятельств «принужден идти к венцу и ехать в Швейцарию», а потому «бросай все и лети спасать». Понимаете ли вы что-нибудь после этого? А впрочем... а впрочем, я по выражению лиц замечаю (повертывался он с письмом в руках, с невинною улыбкой всматриваясь в лица), что, по моему обыкновению, я, кажется, в чем-то дал маху... по глупой моей откровенности или, как Николай Всеволодович говорит, торопливости. Я ведь думал, что мы тут свои, то есть твои свои, Степан Трофимович, твои свои, а я-то, в сущности, чужой, и вижу... и вижу, что все что-то знают, а я-то вот именно чего-то и не знаю.

Он все продолжал осматриваться.

– Степан Трофимович так и написал вам, что женится на «чужих грехах, совершенных в Швейцарии», и чтобы вы летели «спасать его», этими самыми выражениями? – подошла вдруг Варвара Петровна, вся желтая, с искривившимся лицом, со вздрагивающими губами.

– То есть, видите ли-с, если тут чего-нибудь я не понял, – как бы испугался и еще пуще заторопился Петр Степанович, – то виноват, разумеется, он, что так пишет. Вот письмо. Знаете, Варвара Петровна, письма бесконечные и беспрерывные, а в последние два-три месяца просто письмо за письмом, и, признаюсь, я, наконец, иногда не дочитывал. Ты меня прости, Степан Трофимович, за мое глупое признание, но ведь согласишься, пожалуйста, что хоть ты и ко мне адресовал, а писал ведь более для потомства, так что тебе ведь и все равно... Ну, ну, не обижайся; мы-то с тобой все-таки свои! Но это письмо, Варвара Петровна, это письмо я дочитал. Эти «грехи»-с – эти «чужие грехи» – это, наверно, какие-нибудь наши собственные грешки и, об заклад бьюсь, самые невиннейшие, но из-за которых вдруг нам вздумалось поднять ужасную историю с благородным оттенком – именно ради благородного оттенка и подняли. Тут, видите ли, что-нибудь по счетной части у нас прихрамывает – надо же, наконец, сознаться. Мы, знаете, в карточки очень повадливы... а впрочем, это лишнее, это совсем уже лишнее, виноват, я слишком болтлив, но, ей-Богу, Варвара Петровна, он меня напугал, и я действительно приготовился отчасти «спасать» его. Мне, наконец, и

самому совестно. Что я, с ножом к горлу, что ли, лезу к нему? Кредитор неумолимый я, что ли? Он что-то пишет тут о приданом... А впрочем, уж женишься ли ты, полно, Степан Трофимович? Ведь и это станется, ведь мы наговорим, наговорим, а более для слога... Ах, Варвара Петровна, я ведь вот уверен, что вы, пожалуй, осуждаете меня теперь, и именно тоже за слог-с...

– Напротив, напротив, я вижу, что вы выведены из терпения, и, уж конечно, имели на то причины, – злобно подхватила Варвара Петровна.

Она со злобным наслаждением выслушала все «правдивые» словоизвержения Петра Степановича, очевидно игравшего роль (какую – не знал я тогда, но роль была очевидная, даже слишком уж грубовато сыгранная).

– Напротив, – продолжала она, – я вам слишком благодарна, что вы заговорили; без вас я бы так и не узнала. В первый раз в двадцать лет я раскрываю глаза. Николай Всеволодович, вы сказали сейчас, что и вы были нарочно извещены: уж не писал ли и к вам Степан Трофимович в этом же роде?

– Я получил от него невиннейшее и... и... очень благородное письмо...

– Вы затрудняетесь, ищите слов – довольно! Степан Трофимович, я ожидаю от вас чрезвычайного одолжения, – вдруг обратилась она к нему с засверкавшими глазами, – сделайте мне милость, оставьте нас сейчас же, а впредь не переступайте через порог моего дома.

Прошу припомнить недавнюю «экзальтацию», еще и теперь не прошедшую. Правда, и виноват же был Степан Трофимович! Но вот что решительно изумило меня тогда: то, что он с удивительным достоинством выстоял и под «обличениями» Петруши, не думая прерывать их, и под «проклятием» Варвары Петровны. Откуда взялось у него столько духа? Я узнал только одно, что он несомненно и глубоко оскорблен был давешнею первою встречей с Петрушей, именно давешними объятиями. Это было глубокое и *настоящее* уже горе, по крайней мере на его глаза, его сердцу. Было у него и другое горе в ту минуту, а именно язвительное собственное сознание в том, что он сподличал; в этом он мне сам потом признавался со всею откровенностью. А ведь *настоящее*, несомненное горе даже феноменально легкомысленного человека способно иногда сделать солидным и стойким, ну, хоть на малое время; мало того, от истинного, настоящего горя даже дураки иногда умнели, тоже, разумеется, на время; это уж свойство такое горя. А если так, то что же могло произойти с таким человеком, как Степан Трофимович? Целый переворот – конечно, тоже на время.

Он с достоинством поклонился Варваре Петровне и не вымолвил слова (правда, ему ничего и не оставалось более). Он так и хотел было совсем уже выйти, но не утерпел и подошел к Дарье Павловне. Та, кажется, это предчувствовала, потому что тотчас же сама, вся в испуге, начала говорить, как бы спеша предупредить его:

– Пожалуйста, Степан Трофимович, ради Бога, ничего не говорите, – начала она горячею скороговоркой, с болезненным выражением лица и поспешно протягивая ему руку, – будьте уверены, что я вас все так же уважаю... и все так же ценю и... думайте обо мне тоже хорошо, Степан Трофимович, и я буду очень, очень это ценить...

Степан Трофимович низко, низко ей поклонился.

– Воля твоя, Дарья Павловна, ты знаешь, что во всем этом деле твоя полная воля! Была и есть, и теперь и впредь, – веско заключила Варвара Петровна.

– Ба, да и я теперь все понимаю! – ударил себя по лбу Петр Степанович. – Но... но в какое же положение я был поставлен после этого? Дарья Павловна,

пожалуйста, извините меня!.. Что ты наделал со мной после этого, а? – обратился он к отцу.

– Pierre, ты бы мог со мной выражаться иначе, не правда ли, друг мой? – совсем тихо промолвил Степан Трофимович.

– Не кричи, пожалуйста, – замахал Pierre руками, – поверь, что все это старые, больные нервы, и кричать ни к чему не послужит. Скажи ты мне лучше, ведь ты мог бы предположить, что я с первого шага заговорю: как же было не предупредить.

Степан Трофимович проницательно посмотрел на него:

– Pierre, ты, который так много знаешь из того, что здесь происходит, неужели ты и вправду об этом деле так-таки ничего не знал, ничего не слышал?

– Что-о-о? Вот люди! Так мы мало того, что старые дети, мы еще злые дети? Варвара Петровна, вы слышали, что он говорит?

Поднялся шум; но тут разразилось вдруг такое приключение, которого уж никто не мог ожидать.

VIII

Прежде всего упомяну, что в последние две-три минуты Лизаветой Николаевной овладело какое-то новое движение, она быстро шепталась о чем-то с мамá и с наклонившимся к ней Маврикием Николаевичем. Лицо ее было тревожно, но в то же время выражало решимость. Наконец встала с места, видимо торопясь уехать и торопя мамá, которую начал приподымать с кресел Маврикий Николаевич. Но, видно, не суждено им было уехать, не досмотрев всего до конца.

Шатов, совершенно всеми забытый в своем углу (неподалеку от Лизаветы Николаевны) и, по-видимому, сам не знавший, для чего он сидел и не уходил, вдруг поднялся со стула и через всю комнату, неспешным, но твердым шагом направился к Николаю Всеволодовичу, прямо смотря ему в лицо. Тот еще издали заметил его приближение и чуть-чуть усмехнулся; но когда Шатов подошел к нему вплоть, то перестал усмехаться.

Когда Шатов молча пред ним остановился, не спуская с него глаз, все вдруг это заметили и затихли, позже всех Петр Степанович; Лиза и мамá остановились посреди комнаты. Так прошло секунд пять; выражение дерзкого недоумения сменилось в лице Николая Всеволодовича гневом, он нахмурил брови, и вдруг...

И вдруг Шатов размахнулся своею длинною, тяжелою рукою и изо всей силы ударил его по щеке. Николай Всеволодович сильно качнулся на месте.

Шатов и ударил-то по-особенному, вовсе не так, как обыкновенно принято давать пощечины (если только можно так выразиться), не ладонью, а всем кулаком, а кулак у него был большой, веский, костлявый, с рыжим пухом и с веснушками. Если б удар пришелся по носу, то раздробил бы нос. Но пришелся он по щеке, задев левый край губы и верхних зубов, из которых тотчас же потекла кровь.

Кажется, раздался мгновенный крик, может быть, вскрикнула Варвара Петровна – этого не припомню, потому что все тотчас же опять как бы замерло. Впрочем, вся сцена продолжалась не более каких-нибудь десяти секунд.

Тем не менее в эти десять секунд произошло ужасно много.

Напомню опять читателю, что Николай Всеволодович принадлежал к тем натурам, которые страха не ведают. На дуэли он мог стоять под выстрелом противника хладнокровно, сам целить и убивать до зверства спокойно. Если бы кто

ударил его по щеке, то, как мне кажется, он бы и на дуэль не вызвал, а тут же, тотчас же убил бы обидчика; он именно был из таких, и убил бы с полным сознанием, а вовсе не вне себя. Мне кажется даже, что он никогда и не знал тех ослепляющих порывов гнева, при которых уже нельзя рассуждать. При бесконечной злобе, овладевавшей им иногда, он все-таки всегда мог сохранять полную власть над собой, а стало быть, и понимать, что за убийство не на дуэли его непременно сошлют в каторгу; тем не менее он все-таки убил бы обидчика, и без малейшего колебания.

Николая Всеволодовича я изучал все последнее время и, по особым обстоятельствам, знаю о нем теперь, когда пишу это, очень много фактов. Я, пожалуй, сравнил бы его с иными прошедшими господами, о которых уцелели теперь в нашем обществе некоторые легендарные воспоминания. Рассказывали, например, про декабриста Л-на, что он всю жизнь нарочно искал опасности, упивался ощущением ее, обратил его в потребность своей природы; в молодости выходил на дуэль ни за что; в Сибири с одним ножом ходил на медведя, любил встречаться в сибирских лесах с беглыми каторжниками, которые, замечу мимоходом, страшнее медведя. Сомнения нет, что эти легендарные господа способны были ощущать, и даже, может быть, в сильной степени, чувство страха, — иначе были бы гораздо спокойнее и ощущение опасности не обратили бы в потребность своей природы. Но побеждать в себе трусость — вот что, разумеется, их прельщало. Бесперывное упоение победой и сознание, что нет над тобой победителя, — вот что их увлекало. Этот Л-н еще прежде ссылки некоторое время боролся с голодом и тяжким трудом добывал себе хлеб единственно из-за того, что ни за что не хотел подчиниться требованиям своего богатого отца, которые находил несправедливыми. Стало быть, многосторонне понимал борьбу; не с медведями только и не на одних дуэлях ценил в себе стойкость и силу характера.

Но все-таки с тех пор прошло много лет, и нервная, измученная и раздвоившаяся природа людей нашего времени даже и вовсе не допускает теперь потребности тех непосредственных и цельных ощущений, которых так искали тогда иные, беспокойные в своей деятельности, господа доброго старого времени. Николай Всеволодович, может быть, отнесся бы к Л-ну свысока, даже назвал бы его вечно храбрящимся трусом, петушком, — правда, не стал бы высказываться вслух. Он бы и на дуэли застрелил противника, и на медведя сходил бы, если бы только надо было, и от разбойника отбил бы в лесу — так же успешно и так же бесстрашно, как и Л-н, но зато уж безо всякого ощущения наслаждения, а единственно по неприятной необходимости, вяло, лениво, даже со скукой. В злобе, разумеется, выходил прогресс против Л-на, даже против Лермонтова. Злобы в Николае Всеволодовиче было, может быть, больше, чем в тех обоих вместе, но злоба эта была холодная, спокойная и, если можно так выразиться, *разумная*, стало быть, самая отвратительная и самая страшная, какая может быть. Еще раз повторяю: я и тогда считал его и теперь считаю (когда уже все кончено) именно таким человеком; который, если бы получил удар в лицо или подобную равносильную обиду, то немедленно убил бы своего противника, тотчас же, тут же на месте и без вызова на дуэль.

И однако же, в настоящем случае произошло нечто иное и чудное.

Едва только он выпрямился после того, как так позорно качнулся набок, чуть не на целую половину роста, от полученной пощечины, и не затих еще, казалось, в комнате подлый, как бы мокрый какой-то звук от удара кулака по лицу, как тотчас же он схватил Шатова обеими руками за плечи; но тотчас же, в

тот же почти миг, отдернул свои обе руки назад и скрестил их у себя за спиной. Он молчал, смотрел на Шатова и бледнел как рубашка. Но странно, взор его как бы погасал. Через десять секунд глаза его смотрели холодно и – я убежден, что не лгу, – спокойно. Только бледен он был ужасно. Разумеется, я не знаю, что было внутри человека, я видел снаружи. Мне кажется, если бы был такой человек, который схватил бы, например, раскаленную докрасна железную полосу и зажал в руке, с целью измерить свою твердость, и затем, в продолжение десяти секунд, побеждал бы нестерпимую боль и кончил тем, что ее победил, то человек этот, кажется мне, вынес бы нечто похожее на то, что испытал теперь, в эти десять секунд, Николай Всеволодович.

Первый из них опустил глаза Шатов и, видимо, потому что принужден был опустить. Затем медленно повернулся и пошел из комнаты, но вовсе уж не тою походкой, которую подходил давеча. Он уходил тихо, как-то особенно неуклюже приподняв сзади плечи, понунив голову и как бы рассуждая о чем-то сам с собой. Кажется, он что-то шептал. До двери дошел осторожно, ни за что не зацепив и ничего не опрокинув, дверь же приотворил на маленькую щелочку, так что пролез в отверстие почти боком. Когда пролезал, то вихор его волос, стоявший торчком на затылке, был особенно заметен.

Затем, прежде всех криков, раздался один страшный крик. Я видел, как Лизавета Николаевна схватила было свою мамá за плечо, а Маврикия Николаевича за руку и раза два-три рванула их за собой, увлекая из комнаты, но вдруг вскрикнула и со всего росту упала на пол в обмороке. До сих пор я как будто еще слышу, как стукнулась она о ковер затылком.

Часть вторая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ночь

I

Прошло восемь дней. Теперь, когда уже всё прошло и я пишу хронику, мы уже знаем, в чем дело; но тогда мы еще ничего не знали, и естественно, что нам представлялись странными разные вещи. По крайней мере мы со Степаном Трофимовичем в первое время заперлись и с испугом наблюдали издали. Я-то кой-куда еще выходил и по-прежнему приносил ему разные вести, без чего он и пробыть не мог.

Нечего и говорить, что по городу пошли самые разнообразные слухи, то есть насчет пощечины, обморока Лизаветы Николаевны и прочего случившегося в то воскресенье. Но удивительно нам было то: через кого это все могло так скоро и точно выйти наружу? Ни одно из присутствовавших тогда лиц не имело бы, кажется, ни нужды, ни выгоды нарушить секрет происшедшего. Прислуги тогда не было; один Лебядкин мог бы что-нибудь разболтать, не столько по злобе, потому что вышел тогда в крайнем испуге (а страх к врагу уничтожает и злобу к нему), а единственно по невольности. Но Лебядкин, вместе с сестрицей, на другой же день пропал без вести; в доме Филиппова его не оказалось, он переехал неизвестно куда и точно сгинул. Шатов, у которого я хотел было справиться о Марье Тимофеевне, заперся и, кажется, все эти восемь дней просидел у себя на квартире, даже прервав свои занятия в городе. Меня он не принял. Я было зашел к нему во вторник и стукнул в дверь. Ответа не получил, но уверенный, по несомненным данным, что он дома, постучался в другой раз. Тогда он, соскочив, по-видимому, с постели, подошел крупными шагами к дверям и крикнул мне во весь голос: «Шатова дома нет». Я с тем и ушел.

Мы со Степаном Трофимовичем, не без страха за смелость предположения, но обоюдно ободряя друг друга, остановились наконец на одной мысли: мы решили, что виновником разошедшихся слухов мог быть один только Петр Степанович, хотя сам он некоторое время спустя, в разговоре с отцом, уверял, что застал уже историю во всех устах, преимущественно в клубе, и совершенно известною до мельчайших подробностей губернаторше и ее супругу. Вот что еще замечательно: на второй же день, в понедельник ввечеру, я встретил Липутина, и он уже знал все до последнего слова, стало быть, несомненно, узнал из первых.

Многие из дам (и из самых светских) любопытствовали и о «загадочной хромоножке» – так называли Марью Тимофеевну. Нашлись даже пожелавшие непременно увидеть ее лично и познакомиться, так что господа, поспешившие припрятать Лебядкиных, очевидно, поступили и кстати. Но на первом плане все-таки стоял обморок Лизаветы Николаевны, и этим интересовался «весь свет», уже по тому одному, что дело прямо касалось Юлии Михайловны, как родственницы Лизаветы Николаевны и ее покровительницы. И чего-чего не болтали! Болтовне способствовала и таинственность обстановки: оба дома были заперты наглухо; Лизавета Николаевна, как рассказывали, лежала в белой горяч-

ке, то же утверждали и о Николае Всеволодовиче, с отвратительными подробностями о выбитом будто бы зубе и о распухшей от флюса щеке его. Говорили даже по углам, что у нас, может быть, будет убийство, что Ставрогин не таков, чтобы снести такую обиду, и убьет Шатова, но таинственно, как в корсиканской вендетте. Мысль эта нравилась; но большинство нашей светской молодежи выслушивало все это с презрением и с видом самого пренебрежительного равнодушия, разумеется напускного. Вообще древняя враждебность нашего общества к Николаю Всеволодовичу обозначилась ярко. Даже солидные люди стремились обвинить его, хотя и сами не знали в чем. Шепотом рассказывали, что будто бы он погубил честь Лизаветы Николаевны и что между ними была интрига в Швейцарии. Конечно, осторожные люди сдерживались, но все, однако же, слушали с аппетитом. Были и другие разговоры, но не общие, а частные, редкие и почти закрытые, чрезвычайно странные и о существовании которых я упоминаю лишь для предупреждения читателей, единственно ввиду дальнейших событий моего рассказа. Именно: говорили иные, хмурия брови и Бог знает на каком основании, что Николай Всеволодович имеет какое-то особенное дело в нашей губернии, что он чрез графа К. вошел в Петербурге в какие-то высшие отношения, что он даже, может быть, служит и чуть ли не снабжен от кого-то какими-то поручениями. Когда очень уж солидные и сдержанные люди на этот слух улыбались, благоразумно замечая, что человек, живущий скандалами и начинающий у нас с флюса, не похож на чиновника, то им шепотом замечали, что служит он не то чтоб официально, а, так сказать, конфиденциально и что в таком случае самою службой требуется, чтобы служащий как можно менее походил на чиновника. Такое замечание производило эффект; у нас известно было, что на земство нашей губернии смотрят в столице с некоторым особым вниманием. Повторю, эти слухи только мелькнули и исчезли бесследно, до времени, при первом появлении Николая Всеволодовича; но замечу, что причиной многих слухов было отчасти несколько кратких, но злобных слов, неясно и отрывисто произнесенных в клубе недавно возвратившимся из Петербурга отставным капитаном гвардии Артемием Павловичем Гагановым, весьма крупным помещиком нашей губернии и уезда, столичным светским человеком и сыном покойного Павла Павловича Гаганова, того самого почтенного старшины, с которым Николай Всеволодович имел, четыре с лишком года тому назад, то необычайное по своей грубости и внезапности столкновение, о котором я уже упоминал прежде, в начале моего рассказа.

Всем тотчас же стало известно, что Юлия Михайловна сделала Варваре Петровне чрезвычайный визит и что у крыльца дома ей объявили, что «по нездоровью не могут принять». Также и то, что дня через два после своего визита Юлия Михайловна послала узнать о здоровье Варвары Петровны нарочного. Наконец, принялась везде «защищать» Варвару Петровну, конечно лишь в самом высшем смысле, то есть, по возможности, в самом неопределенном. Все же первоначальные торопливые намеки о воскресной истории выслушала строго и холодно, так что в последующие дни, в ее присутствии, они уже не возобновлялись. Таким образом и укрепилась везде мысль, что Юлии Михайловне известна не только вся эта таинственная история, но и весь ее таинственный смысл до мельчайших подробностей, и не как посторонней, а как соучастнице. Замечу кстати, что она начала уже приобретать у нас, помаленьку, то высшее влияние, которого так несомненно добивалась и жаждала, и уже начинала видеть себя «окруженною». Часть общества признала за нею практический ум и такт... но об этом после. Ее же покровительством объяснялись отчасти и весьма быстрые

успехи Петра Степановича в нашем обществе, – успехи, особенно поразившие тогда Степана Трофимовича.

Мы с ним, может быть, и преувеличивали. Во-первых, Петр Степанович перезнакомился почти мгновенно со всем городом, в первые же четыре дня после своего появления. Появился он в воскресенье, а во вторник я уже встретил его в коляске с Артемием Павловичем Гагановым, человеком гордым, раздражительным и заносчивым, несмотря на всю его светскость, и с которым, по характеру его, довольно трудно было ужиться. У губернатора Петр Степанович был тоже принят прекрасно, до того, что тотчас же стал в положение близкого или, так сказать, обласканного молодого человека; обедал у Юлии Михайловны почти ежедневно. Познакомился он с нею еще в Швейцарии, но в быстром успехе его в доме его превосходительства действительно заключалось нечто любопытное. Все-таки он слыл же когда-то заграничным революционером, правда ли, нет ли, участвовал в каких-то заграничных изданиях и конгрессах, «что можно даже из газет доказать», как злобно выразился мне при встрече Алеша Телятников, теперь, увы, отставной чиновничек, а прежде тоже обласканный молодой человек в доме старого губернатора. Но тут стоял, однако же, факт: бывший революционер явился в любезном отечестве не только без всякого беспокойства, но чуть ли не с поощрениями; стало быть, ничего, может, и не было. Липутин шепнул мне раз, что, по слухам, Петр Степанович будто бы где-то принес покаяние и получил отпущение, назвав несколько прочих имен, и таким образом, может, и успел уже заслужить вину, обещая и впредь быть полезным отечеству. Я передал эту ядовитую фразу Степану Трофимовичу, и тот, несмотря на то что был почти не в состоянии соображать, сильно задумался. Впоследствии обнаружилось, что Петр Степанович приехал к нам с чрезвычайно почтенными рекомендательными письмами, по крайней мере привез одно к губернаторше от одной чрезвычайно важной петербургской старушки, муж которой был одним из самых значительных петербургских старичков. Эта старушка, крестная мать Юлии Михайловны, упоминала в письме своем, что и граф К. хорошо знает Петра Степановича, чрез Николая Всеволодовича, обласкал его и находит «достойным молодым человеком, несмотря на бывшие заблуждения». Юлия Михайловна до крайности ценила свои скудные и с таким трудом поддерживаемые связи с «высшим миром» и, уж конечно, была рада письму важной старушки; но все-таки оставалось тут нечто как бы и особенное. Даже супруга своего поставила к Петру Степановичу в отношения почти фамилиарные, так что господин фон Лембке жаловался... но об этом тоже после. Замечу тоже для памяти, что и великий писатель весьма благосклонно отнесся к Петру Степановичу и тотчас же пригласил его к себе. Такая поспешность такого надутого собою человека кольнула Степана Трофимовича больше всего; но я объяснил себе иначе: зазывая к себе нигилиста, господин Кармазинов, уже конечно, имел в виду сношения его с прогрессивными юношами обеих столиц. Великий писатель болезненно трепетал пред новейшею революционною молодежью и, воображая, по незнанию дела, что в руках ее ключи русской будущности, унижительно к ним подлизывался, главное потому, что они не обращали на него никакого внимания.

II

Петр Степанович забежал раза два и к родителю, и, к несчастью моему, оба раза в мое отсутствие. В первый раз посетил его в среду, то есть на четвертый лишь день после той первой встречи, да и то по делу. Кстати, расчет по имению окончился у них как-то неслышно и невидно. Варвара Петровна взяла все

на себя и все выплатила, разумеется приобретаю землицу, а Степана Трофимовича только уведомила о том, что все кончено, и уполномоченный Варвары Петровны, камердинер ее Алексей Егорович, поднес ему что-то подписать, что он и исполнил молча и с чрезвычайным достоинством. Замечу по поводу достоинства, что я почти не узнавал нашего прежнего старичка в эти дни. Он держал себя как никогда прежде, стал удивительно молчалив, даже не написал ни одного письма Варваре Петровне с самого воскресенья, что я счел бы чудом, а главное, стал спокоен. Он укрепился на какой-то окончательной и чрезвычайной идее, придававшей ему спокойствие, это было видно. Он нашел эту идею, сидел и чего-то ждал. Сначала, впрочем, был болен, особенно в понедельник; была холерина. Тоже и без вестей пробыть не мог во все время; но лишь только я, оставляя факты, переходил к сути дела и высказывал какие-нибудь предположения, то он тотчас же начинал махать на меня руками, чтоб я перестал. Но оба свидания с сыном все-таки болезненно на него подействовали, хотя и не поколебали. В оба эти дня, после свиданий, он лежал на диване, обмотав голову платком, намоченным в уксусе; но в высшем смысле продолжал оставаться спокойным.

Иногда, впрочем, он и не махал на меня руками. Иногда тоже казалось мне, что принятая таинственная решимость как бы оставляла его и что он начинал бороться с каким-то новым соблазнительным наплывом идей. Это было мгновениями, но я отмечаю их. Я подозревал, что ему очень бы хотелось опять заявить себя, выйдя из уединения, предложить борьбу, задать последнюю битву.

— Cher, я бы их разгромил! — вырвалось у него в четверг вечером, после второго свидания с Петром Степановичем, когда он лежал, протянувшись на диване, с головой, обернутой полотенцем.

До этой минуты он во весь день еще ни слова не сказал со мной.

— «Fils, fils chéri»¹ и так далее, я согласен, что все эти выражения вздор, кухарочный словарь, да и пусть их, я сам теперь вижу. Я его не кормил и не поил, я отослал его из Берлина в —скую губернию, грудного ребенка, по почте, ну и так далее, я согласен... «Ты, говорит, меня не поил и по почте выслал, да еще здесь ограбил». Но, несчастный, кричу ему, ведь болел же я за тебя сердцем всю мою жизнь, хотя и по почте! Il rit². Но я согласен, согласен... пусть по почте, — закончил он как в бреду.

— Passons³, — начал он опять через пять минут. — Я не понимаю Тургенева. У него Базаров это какое-то фиктивное лицо, не существующее вовсе; они же первые и отвергли его тогда, как ни на что не похожее. Этот Базаров это какая-то неясная смесь Ноздрева с Байроном, c'est le mot⁴. Посмотрите на них внимательно: они кувыркаются и визжат от радости, как щенки на солнце, они счастливы, они победители! Какой тут Байрон!.. И притом какие будни! Какая кухарочная раздражительность самолюбия, какая пошленькая жаждашка faire du bruit autour de son nom⁵, не замечая, что son nom... О карикатура! Помилуй, кричу ему, да неужто ты себя такого, как есть, людям взамен Христа предложить желаешь? Il rit. Il rit beaucoup, il rit trop⁶. У него какая-то странная улыбка. У его матери не было такой улыбки. Il rit toujours⁷.

Опять наступило молчание.

¹ «Сын, возлюбленный сын» (фр.).

² Он смеется (фр.).

³ Оставим это (фр.).

⁴ именно так (фр.).

⁵ поднимать шум вокруг своего имени (фр.).

⁶ Он смеется. Он много, слишком много смеется (фр.).

⁷ Он всегда смеется (фр.).

– Они хитры; в воскресенье они сговорились... – брякнул он вдруг.

– О, без сомнения, – вскричал я, наострив уши, – все это стачка и сшито белыми нитками, и так дурно разыграно.

– Я не про то. Знаете ли, что все это было нарочно сшито белыми нитками, чтобы заметили те... кому надо. Понимаете это?

– Нет, не понимаю.

– Tant mieux. Passons¹. Я очень раздражен сегодня.

– Да зачем же вы с ним спорили, Степан Трофимович? – проговорил я укоризненно.

– Je voulais convertir². Конечно, смейтесь. Cette pauvre тетя, elle entendra de belles choses!³ О друг мой, поверите ли, что я давеча ощутил себя патриотом! Впрочем, я всегда сознавал себя русским... да настоящий русский и не может быть иначе, как мы с вами. Il y a là dedans quelque chose d'aveugle et de louche⁴.

– Непременно, – ответил я.

– Друг мой, настоящая правда всегда неправдоподобна, знаете ли вы это? Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали. Может быть, тут есть, чего мы не понимаем. Как вы думаете, есть тут, чего мы не понимаем, в этом победоносном визге? Я бы желал, чтобы было. Я бы желал.

Я промолчал. Он тоже очень долго молчал.

– Говорят, французский ум... – залепетал он вдруг точно в жару, – это ложь, это всегда так и было. Зачем клеветать на французский ум? Тут просто русская лень, наше унижительное бессилие произвести идею, наше отвратительное паразитство в ряду народов. Ils sont tout simplement des paresseux⁵, а не французский ум. О, русские должны бы быть истреблены для блага человечества, как вредные паразиты! Мы вовсе, вовсе не к тому стремились; я ничего не понимаю. Я перестал понимать! Да понимаешь ли, кричу ему, понимаешь ли, что если у вас гильотина на первом плане и с таким восторгом, то это единственно потому, что рубить головы всего легче, а иметь идею всего труднее! Vous êtes des paresseux! Votre drapeau est une guenille, une impuissance⁶. Эти телеги, или как там: «стук телег, подвозящих хлеб человечеству», полезнее Сикстинской Мадонны, или как у них там... une bêtise dans ce genre⁷. Но понимаешь ли, кричу ему, понимаешь ли ты, что человеку кроме счастья, так же точно и совершенно во столько же, необходимо и несчастье! Il rit. Ты, говорит, здесь бонмо отпускаешь, «нежа свои члены (он пакостнее выразился) на бархатном диване...». И заметьте, эта наша привычка на *ты* отца с сыном: хорошо, когда оба согласны, ну, а если ругаются?

С минуту опять помолчали.

– Cher, – заключил он вдруг, быстро приподнявшись, – знаете ли, что это непременно чем-нибудь кончится?

– Уж конечно, – сказал я.

¹ Тем лучше. Оставим это (*фр.*).

² Я хотел переубедить (*фр.*).

³ А эта бедная тетя, хорошенькие вещи она услышит! (*фр.*)

⁴ Тут скрывается что-то слепое и подозрительное (*фр.*).

⁵ Они попросту лентяи (*фр.*).

⁶ Вы лентяи! Ваше знамя – тряпка, воплощение бессилия (*фр.*).

⁷ какая-то глупость в этом роде (*фр.*).

– Vous ne comprenez pas. Passons¹. Но... обыкновенно на свете кончается ничем, но здесь будет конец, непременно, непременно!

Он встал, прошелся по комнате в сильнейшем волнении и, дойдя опять до дивана, бессильно повалился на него.

В пятницу утром Петр Степанович уехал куда-то в уезд и пробыл до понедельника. Об отъезде его я узнал от Липутина, и тут же, как-то к разговору, узнал от него, что Лебядкины, братец и сестрица, оба где-то за рекой, в Горшечной слободке. «Я же и перевозил», – прибавил Липутин и, прервав о Лебядкиных, вдруг возвестил мне, что Лизавета Николаевна выходит за Маврикия Николаевича, и хоть это и не объявлено, но помолвка была и дело покончено. Назавтра я встретил Лизавету Николаевну верхом в сопровождении Маврикия Николаевича, выехавшую в первый раз после болезни. Она сверкнула на меня издали глазами, засмеялась и очень дружески кивнула головой. Все это я передал Степану Трофимовичу; он обратил некоторое внимание лишь на известие о Лебядкиных.

А теперь, описав наше загадочное положение в продолжение этих восьми дней, когда мы еще ничего не знали, приступлю к описанию последующих событий моей хроники и уже, так сказать, с знанием дела, в том виде, как все это открылось и объяснилось теперь. Начну именно с восьмого дня после того воскресенья, то есть с понедельника вечером, потому что, в сущности, с этого вечера и началась «новая история».

III

Было семь часов вечера, Николай Всеволодович сидел один в своем кабинете – комнате, им еще прежде излюбленной, высокой, устланной коврами, уставленной несколько тяжелою, старинного фасона мебелью. Он сидел в углу на диване, одетый как бы для выхода, но, казалось, никуда не собирался. На столе пред ним стояла лампа с абажуром. Бока и углы большой комнаты оставались в тени. Взгляд его был задумчив и сосредоточен, не совсем спокоен; лицо усталое и несколько похudevшее. Болен он был действительно флюсом; но слух о выбитом зубе был преувеличен. Зуб только шатался, но теперь снова окреп; была тоже рассечена изнутри верхняя губа, но и это зажило. Флюс же не проходил всю неделю лишь потому, что больной не хотел принять доктора и вовремя дать разрезать опухоль, а ждал, пока нарыв сам прорвется. Он не только доктора, но и мать едва допускал к себе, и то на минуту, один раз на дню и непременно в сумерки, когда уже становилось темно, а огня еще не подавали. Не принимал он тоже и Петра Степановича, который, однако же, по два и по три раза в день забегал к Варваре Петровне, пока оставался в городе. И вот наконец в понедельник, возвратясь поутру после своей трехдневной отлучки, обегав весь город и отобедав у Юлии Михайловны, Петр Степанович к вечеру явился наконец к нетерпеливо ожидавшей его Варваре Петровне. Запрет был снят, Николай Всеволодович принимал. Варвара Петровна сама подвела гостя к дверям кабинета; она давно желала их свиданья, а Петр Степанович дал ей слово забежать к ней от Nicolas и пересказать. Робко постучалась она к Николаю Всеволодовичу и, не получая ответа, осмелилась приотворить дверь вершка на два.

– Nicolas, могу я ввести к тебе Петра Степановича? – тихо и сдержанно спросила она, стараясь разглядеть Николая Всеволодовича из-за лампы.

¹ Вы не понимаете. Оставим это (*фр.*).

– Можно, можно, конечно можно! – громко и весело крикнул сам Петр Степанович, отворил дверь своею рукой и вошел.

Николай Всеволодович не слышал стука в дверь, а расслышал лишь только робкий вопрос мамыши, но не успел на него ответить. Пред ним в эту минуту лежало только что прочитанное им письмо, над которым он сильно задумался. Он вздрогнул, заслышав внезапный окрик Петра Степановича, и поскорее накрыл письмо попавшимся под руку пресс-папье, но не совсем удалось: угол письма и почти весь конверт выглядывали наружу.

– Я нарочно крикнул изо всей силы, чтобы вы успели приготовиться, – торопливо, с удивительною наивностью прошептал Петр Степанович, подбегая к столу, и мигом устался на пресс-папье и на угол письма.

– И, конечно, успели подглядеть, как я прятал от вас под пресс-папье только что полученное мною письмо, – спокойно проговорил Николай Всеволодович, не трогаясь с места.

– Письмо? Бог с вами и с вашим письмом, мне что! – воскликнул гость, – но... главное, – зашептал он опять, обертываясь к двери, уже запертой, и кивая в ту сторону головой.

– Она никогда не подслушивает, – холодно заметил Николай Всеволодович.

– То есть если б и подслушивала! – мигом подхватил, весело возвышая голос и усаживаясь в кресло, Петр Степанович. – Я ничего против этого, я только теперь бежал поговорить наедине... Ну, наконец-то я к вам добился! Прежде всего, как здоровье? Вижу, что прекрасно, и завтра, может быть, вы явитесь, – а?

– Может быть.

– Разрешите их наконец, разрешите меня! – неистово зажестиковировал он с шутливым и приятным видом. – Если б вы знали, что я должен был им наболтать. А впрочем, вы знаете. – Он засмеялся.

– Всего не знаю. Я слышал только от матери, что вы очень... двигались.

– То есть я ведь ничего определенного, – вскинулся вдруг Петр Степанович, как бы защищаясь от ужасного нападения, – знаете, я пустил в ход жену Шатова, то есть слухи о ваших связях в Париже, чем и объяснялся, конечно, тот случай в воскресенье... вы не сердитесь?

– Убежден, что вы очень старались.

– Ну, я только этого и боялся. А впрочем, что ж это значит: «очень старались»? Это ведь упрек. Впрочем, вы прямо ставите, я всего больше боялся, идя сюда, что вы не захотите прямо поставить.

– Я ничего и не хочу прямо ставить, – проговорил Николай Всеволодович с некоторым раздражением, но тотчас же усмехнулся.

– Я не про то; не про то, не ошибитесь, не про то! – замахал руками Петр Степанович, сыпля словами как горохом и тотчас же обрадовавшись раздражительности хозяина. – Я не стану вас раздражать *нашим* делом, особенно в вашем теперешнем положении. Я прибежал только о воскресном случае, и то в самую необходимую меру, потому нельзя же ведь. Я с самыми открытыми объяснениями, в которых нуждаюсь, главное, я, а не вы, – это для вашего самолюбия, но в то же время это и правда. Я пришел, чтобы быть с этих пор всегда откровенным.

– Стало быть, прежде были неоткровенны?

– И вы это знаете сами. Я хитрил много раз... вы улыбнулись, очень рад улыбке, как предлогу для разъяснения; я ведь нарочно вызвал улыбку хвастливым словом «хитрил», для того чтобы вы тотчас же и рассердились: как это я

смел подумать, что могу хитрить, а мне чтобы сейчас же объясниться. Видите, видите, как я стал теперь откровенен! Ну-с, угодно вам выслушать?

В выражении лица Николая Всеволодовича, презрительно спокойном и даже насмешливом, несмотря на все очевидное желание гостя раздражить хозяина нахальностью своих заранее наготовленных и с намерением грубых наивностей, выразилось наконец несколько тревожное любопытство.

– Слушайте же, – завертелся Петр Степанович пуще прежнего. – Отправляясь сюда, то есть вообще сюда, в этот город, десять дней назад, я, конечно, решил взять роль. Самое бы лучшее совсем без роли, свое собственное лицо, не так ли? Ничего нет хитрее, как собственное лицо, потому что никто не поверит. Я, признаться, хотел было взять дурачка, потому что дурачок легче, чем собственное лицо; но так как дурачок все-таки крайность, а крайность возбуждает любопытство, то я и остановился на собственном лице окончательно. Ну-с, какое же мое собственное лицо? Золотая середина: ни глуп, ни умен, довольно бездарен и с луны соскочил, как говорят здесь благоразумные люди, не так ли?

– Что ж, может быть и так, – чуть-чуть улыбнулся Николай Всеволодович.

– А, вы согласны – очень рад; я знал вперед, что это ваши собственные мысли... Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я не сержусь и вовсе не для того определил себя в таком виде, чтобы вызвать ваши обратные похвалы: «Нет, дескать, вы не бездарны, нет, дескать, вы умны»... А, вы опять улыбаетесь!.. Я опять попался. Вы не сказали бы: «вы умны», ну и положим; я все допускаю. *Passons*, как говорит папаша, и, в скобках, не сердитесь на мое многословие. Кстати, вот и пример: я всегда говорю много, то есть много слов, и тороплюсь, и у меня всегда не выходит. А почему я говорю много слов и у меня не выходит? Потому что говорить не умею. Те, которые умеют хорошо говорить, те коротко говорят. Вот, стало быть, у меня и бездарность, – не правда ли? Но так как этот дар бездарности у меня уже есть натуральный, так почему мне им не воспользоваться искусственно? Я и пользуюсь. Правда, собираясь сюда, я было подумал сначала молчать; но ведь молчать – большой талант, и, стало быть, мне неприлично, а во-вторых, молчать все-таки ведь опасно; ну, я и решил окончательно, что лучше всего говорить, но именно побездарному, то есть много, много, много, очень торопиться доказывать и под конец всегда спутаться в своих собственных доказательствах, так чтобы слушатель отошел от вас без конца, разведя руки, а всего бы лучше плюнув. Выйдет, во-первых, что вы уверили в своем простодушии, очень надоели и были непоняты – все три выгоды разом! Помилуйте, кто после этого станет вас подозревать в тайственных замыслах? Да всякий из них лично обидится на того, кто скажет, что я с тайными замыслами. А я к тому же иногда рассмешу – а это уж драгоценно. Да они мне теперь все простят уже за то одно, что мудрец, издававший там прокламации, оказался здесь глупее их самих, не так ли? По вашей улыбке вижу, что одобряете.

Николай Всеволодович вовсе, впрочем, не улыбался, а, напротив, слушал нахмуренно и несколько нетерпеливо.

– А? Что? Вы, кажется, сказали «все равно»? – затрещал Петр Степанович (Николай Всеволодович вовсе ничего не говорил). – Конечно, конечно; уверяю вас, что я вовсе не для того, чтобы вас товариществом компрометировать. А знаете, вы ужасно сегодня вскидчивы; я к вам прибежал с открытою и веселою душой, а вы каждое мое словцо в лыко ставите; уверяю же вас, что сегодня ни о чем щекотливом не заговорю, слово даю, и на все ваши условия заранее согласен!

Николай Всеволодович упорно молчал.

– А? Что? Вы что-то сказали? Вижу, вижу, что я опять, кажется, сморозил; вы не предлагали условий, да и не предложите, верю, верю, ну успокойтесь; я и сам

ведь знаю, что мне не стоит их предлагать, так ли? Я за вас вперед отвечаю и – уж конечно, от бездарности; бездарность и бездарность... Вы смеетесь? А? Что?

– Ничего, – усмехнулся наконец Николай Всеволодович, – я припомнил сейчас, что действительно обозвал вас как-то бездарным, но вас тогда не было, значит, вам передали... Я бы вас просил поскорее к делу.

– Да я ведь у дела и есть, я именно по поводу воскресенья! – залепетал Петр Степанович. – Ну чем, чем я был в воскресенье, как по-вашему? Именно торопливою срединною бездарностию, и я самым бездарнейшим образом овладел разговором силой. Но мне все простили, потому что я, во-первых, с луны, это, кажется, здесь теперь у всех решено; а во-вторых, потому, что милую историюшку рассказал и всех вас выручил, так ли, так ли?

– То есть именно так рассказали, чтобы оставить сомнение и выказать нашу стачку и подтасовку, тогда как стачки не было, и я вас ровно ни о чем не просил.

– Именно, именно! – как бы в восторге подхватил Петр Степанович. – Я именно так и делал, чтобы вы всю пружину эту заметили; я ведь для вас, главное, и ломался, потому что вас ловил и хотел компрометировать. Я, главное, хотел узнать, в какой степени вы боитесь.

– Любопытно, почему вы так теперь откровенны?

– Не сердитесь, не сердитесь, не сверкайте глазами... Впрочем, вы не сверкаете. Вам любопытно, почему я так откровенен? Да именно потому, что все теперь переменялось, конечно, прошло и песком заросло. Я вдруг переменял об вас свои мысли. Старый путь кончен совсем; теперь я уже никогда не стану вас компрометировать старым путем, теперь новым путем.

– Переменяли тактику?

– Тактики нет. Теперь во всем ваша полная воля, то есть хотите сказать да, а хотите – скажете *нет*. Вот моя новая тактика. А о *нашем* деле не займусь до тех самых пор, пока сами не прикажете. Вы смеетесь? На здоровье; я и сам смеюсь. Но я теперь серьезно, серьезно, серьезно, хотя тот, кто так торопится, конечно, бездарен, не правда ли? Все равно, пусть бездарен, а я серьезно, серьезно.

Он действительно проговорил серьезно, совсем другим тоном и в каком-то особенном волнении, так что Николай Всеволодович поглядел на него с любопытством.

– Вы говорите, что обо мне мысли переменяли? – спросил он.

– Я переменял об вас мысли в ту минуту, как вы после Шатова взяли руки назад, и довольно, довольно, пожалуйста, без вопросов, больше ничего теперь не скажу.

Он было вскочил, махая руками, точно отмахиваясь от вопросов; но так как вопросов не было, а уходить было незачем, то он и опустился опять в кресла, несколько успокоившись.

– Кстати, в скобках, – затараторил он тотчас же, – здесь одни болтают, будто вы его убьете, и пари держат, так что Лембке думал даже тронуть полицию, но Юлия Михайловна запретила... Довольно, довольно об этом, я только, чтоб известить. Кстати опять: я Лебядкиных в тот же день переправил, вы знаете; получили мою записку с их адресом?

– Получил тогда же.

– Это уж я не по «бездарности», это я искренно, от готовности. Если вышло бездарно, то зато было искренно.

– Да, ничего, может, так и надо... – раздумчиво промолвил Николай Всеволодович. – Только записок больше ко мне не пишите, прошу вас.

– Невозможно было, всего одну.

– Так Липутин знает?

– Невозможно было; но Липутин, сами знаете, не смеет... Кстати, надо бы к нашим сходить, то есть к ним, а не к *нашим*, а то вы опять лыко в строку. Да не беспокойтесь, не сейчас, а когда-нибудь. Сейчас дождь идет. Я им дам знать, они соберутся, и мы вечером. Они так и ждут, разиня рты, как галчаты в гнезде, какого мы им привезли гостинцу? Горячий народ. Книжки вынули, спорить собираются. Виргинский – общечеловек, Липутин – фурьерист, при большой склонности к полицейским делам; человек, я вам скажу, дорогой в одном отношении, но требующий во всех других строгости; и, наконец, тот, с длинными ушами, тот свою собственную систему прочитает. И, знаете, они обижены, что я к ним небрежно и водой их окачиваю, хе-хе! А сходить надо непременно.

– Вы там каким-нибудь шефом меня представили? – как можно небрежнее выпустил Николай Всеволодович. Петр Степанович быстро посмотрел на него.

– Кстати, – подхватил он, как бы не расслышав и поскорей заминая, – я ведь по два, по три раза являлся к многоуважаемой Варваре Петровне и тоже много принужден был говорить.

– Воображаю.

– Нет, не воображайте, я просто говорил, что вы не убьете, ну и там прочие сладкие вещи. И вообразите: она на другой день уже знала, что я Марью Тимофеевну за реку переправил; это вы ей сказали?

– Не думал.

– Так и знал, что не вы. Кто ж бы мог, кроме вас? Интересно.

– Липутин, разумеется.

– Н-нет, не Липутин, – пробормотал, нахмурясь, Петр Степанович, – это я знаю, кто. Тут похоже на Шатова... Впрочем, вздор, оставим это! Это, впрочем, ужасно важно... Кстати, я все ждал, что ваша матушка так вдруг и брякнет мне главный вопрос... Ах да, все дни сначала она была страшно угрюма, а вдруг сегодня приезжаю – вся так и сияет. Это что же?

– Это она потому, что я сегодня ей слово дал через пять дней к Лизавете Николаевне посвататься, – проговорил вдруг Николай Всеволодович с неожиданною откровенностью.

– А, ну... да, конечно, – пролепетал Петр Степанович, как бы замявшись, – там слухи о помолвке, вы знаете? Верно, однако. Но вы правы, она из-под венца прибежит, стоит вам только кликнуть. Вы не сердитесь, что я так?

– Нет, не сержусь.

– Я замечаю, что вас сегодня ужасно трудно рассердить, и начинаю вас бояться. Мне ужасно любопытно, как вы завтра явитесь. Вы, наверно, много штук приготовили. Бы не сердитесь на меня, что я так?

Николай Всеволодович совсем не ответил, что совсем уже раздражило Петра Степановича.

– Кстати, это вы серьезно мамаше насчет Лизаветы Николаевны? – спросил он.

Николай Всеволодович пристально и холодно посмотрел на него.

– А, понимаю, чтобы только успокоить, ну да.

– А если бы серьезно? – твердо спросил Николай Всеволодович.

– Что ж, и с Богом, как в этих случаях говорится, делу не повредит (видите,

я не сказал: нашему делу, вы словцо *наше* не любите), а я... а я что ж, я к вашим услугам, сами знаете.

– Вы думаете?

– Я ничего, ничего не думаю, – заторопился, смеясь, Петр Степанович, – потому что знаю, вы о своих делах сами наперед обдумали и что у вас все придумано. Я только про то, что я серьезно к вашим услугам, всегда и везде и во всяком случае, то есть во всяком, понимаете это?

Николай Всеволодович зевнул.

– Надоел я вам, – вскочил вдруг Петр Степанович, схватывая свою круглую, совсем новую шляпу и как бы уходя, а между тем все еще оставаясь и продолжая говорить беспрерывно, хотя и стоя, иногда шагая по комнате и в одушевленных местах разговора ударяя себя шляпой по коленке.

– Я думал еще повеселить вас Лембками, – весело вскричал он.

– Нет уж, после бы. Как, однако, здоровье Юлии Михайловны?

– Какой это у вас у всех, однако, светский прием: вам до ее здоровья все равно, что до здоровья серой кошки, а между тем спрашиваете. Я это хвалю. Здорова и вас уважает до суеверия, до суеверия многого от вас ожидает. О воскресном случае молчит и уверена, что вы все сами победите одним появлением. Ей-Богу, она воображает, что вы уж Бог знает что можете. Впрочем, вы теперь загадочное и романическое лицо, пуще чем когда-нибудь – чрезвычайно выгодное положение. Все вас ждут до невероятности. Я вот уехал – было горячо, а теперь еще пуще. Кстати, спасибо еще раз за письмо. Они все графа К. боятся. Знаете, они считают вас, кажется, за шпиона? Я поддакиваю, вы не сердитесь?

– Ничего.

– Это ничего; это в дальнейшем необходимо. У них здесь свои порядки. Я, конечно, поощряю; Юлия Михайловна во главе, Гаганов тоже... Вы смеетесь? Да ведь я с тактикой: я вру, вру, а вдруг и умное слово скажу, именно тогда, когда они все его ищут. Они окружают меня, а я опять начну врать. На меня уже все махнули; «со способностями, говорят, но с луны соскочил». Лембке меня в службу зовет, чтоб я выправился. Знаете, я его ужасно третирую, то есть компрометирую, так и лупит глаза. Юлия Михайловна поощряет. Да, кстати, Гаганов на вас ужасно сердится. Вчера в Духове говорил мне о вас прескверно. Я ему тотчас же всю правду, то есть, разумеется, не всю правду. Я у него целый день в Духове прожил. Славное имяние, хороший дом.

– Так он разве и теперь в Духове? – вдруг вскинулся Николай Всеволодович, почти вскочив и сделав сильное движение вперед.

– Нет, меня же и привез сюда давеча утром, мы вместе воротились, – проговорил Петр Степанович, как бы совсем не заметив мгновенного волнения Николая Всеволодовича. – Что это, я книгу уронил, – нагнулся он поднять задетый им кипсек. – «Женщины Бальзака», с картинками, – развернул он вдруг, – не читал. Лембке тоже романы пишет.

– Да? – спросил Николай Всеволодович, как бы заинтересовавшись.

– На русском языке, потихоньку разумеется. Юлия Михайловна знает и позволяет. Колпак; впрочем, с приемами; у них это выработано. Экая строгость форм, экая выдержанность! Вот бы нам что-нибудь в этом роде.

– Вы хвалите администрацию?

– Да еще же бы нет! Единственно, что в России есть натурального и достигнутого... не буду, не буду, – вскинулся он вдруг, – я не про то, о деликатном ни слова. Однако прощайте, вы какой-то зеленый.

– Лихорадка у меня.

– Можно поверить, ложитесь-ка. Кстати: здесь скопцы есть в уезде, любопытный народ... Впрочем, потом. А впрочем, вот еще анекдотик: тут по уезду пехотный полк. В пятницу вечером я в Б – цах с офицерами пил. Там ведь у нас три приятеля, vous comprenez?¹ Об атеизме говорили и, уж разумеется, Бога раскасировали. Рады, визжат. Кстати, Шатов уверяет, что если в России бунт начинать, то чтобы непременно начать с атеизма. Может, и правда. Один седой бурбон капитан сидел, сидел, все молчал, ни слова не говорил, вдруг становится среди комнаты и, знаете, громко так, как бы сам с собой: «Если Бога нет, то какой же я после того капитан?» Взял фуражку, развел руки и вышел.

– Довольно цельную мысль выразил, – зевнул в третий раз Николай Всеволодович.

– Да? Я не понял; вас хотел спросить. Ну, что бы вам еще: интересная фабрика Шпигулиных; тут, как вы знаете, пятьсот рабочих, рассадник холеры, не чистят пятнадцать лет и фабричных усчитывают; купцы-миллионеры. Уверяю вас, что между рабочими иные об Internationale² имеют понятие. Что, вы улынулись? Сами увидите, дайте мне только самый, самый маленький срок! Я уже просил у вас срока, а теперь еще прошу, и тогда... а впрочем, виноват, не буду, не буду, я не про то, не морщитесь. Однако прощайте. Что ж я? – воротился он вдруг с дороги, – совсем забыл, самое главное: мне сейчас говорили, что наш ящик из Петербурга пришел.

– То есть? – посмотрел Николай Всеволодович, не понимая.

– То есть ваш ящик, ваши вещи, с фраками, панталонами и бельем; пришел? Правда?

– Да, мне что-то давеча говорили.

– Ах, так нельзя ли сейчас!..

– Спросите у Алексея.

– Ну завтра, завтра? Там ведь с вашими вещами и мой пиджак, фрак и трое панталон, от Шармера, по вашей рекомендации, помните?

– Я слышал, что вы здесь, говорят, джентльменничаете? – усмехнулся Николай Всеволодович. – Правда, что вы у берейтора верхом хотите учиться?

Петр Степанович улыбнулся искривленной улыбкой.

– Знаете, – затормозил он вдруг чрезмерно, каким-то вздрагивающим и пресекающимся голосом, – знаете, Николай Всеволодович, мы оставим насчет личностей, не так ли, раз навсегда? Вы, разумеется, можете меня презирать сколько угодно, если вам так смешно, но все-таки бы лучше без личностей несколько времени, так ли?

– Хорошо, я больше не буду, – промолвил Николай Всеволодович. Петр Степанович усмехнулся, стукнул по коленке шляпой, ступил с одной ноги на другую и принял прежний вид.

– Здесь иные считают меня даже вашим соперником у Лизаветы Николаевны, как же мне о наружности не заботиться? – засмеялся он. – Это кто же, однако, вам доносит? Гм. Ровно восемь часов; ну, я в путь; я к Варваре Петровне обещал зайти, но спасую, а вы ложитесь и завтра будете бодрее. На дворе дождь и темень, у меня, впрочем, извозчик, потому что на улицах здесь по ночам неспокойно... Ах, как кстати: здесь в городе и около бродит теперь один Федька Каторжный, беглый из Сибири, представьте, мой бывший дворовый человек,

¹ вы понимаете? (фр.)

² Интернационале (фр.).

которого папаша лет пятнадцать тому в солдаты утек и деньги взял. Очень замечательная личность.

– Вы... с ним говорили? – вскинул глазами Николай Всеволодович.

– Говорил. От меня не прячется. На все готовая личность, на все; за деньги разумеется, но есть и убеждения, в своем роде конечно. Ах да, вот и опять кстати: если вы давеча серьезно о том замысле, помните, насчет Лизаветы Николаевны, то возобновляю вам еще раз, что и я тоже на все готовая личность, во всех родах, каких угодно, и совершенно к вашим услугам... Что это, вы за палку хватаетесь? Ах нет, вы не за палку... Представьте, мне показалось, что вы палку ищете?

Николай Всеволодович ничего не искал и ничего не говорил, но действительно он привстал как-то вдруг, с каким-то странным движением в лице.

– Если вам тоже понадобится что-нибудь насчет господина Гаганова, – брякнул вдруг Петр Степанович, уж прямехонько кивая на пресс-папье, – то, разумеется, я могу все устроить и убежден, что вы меня не обойдете.

Он вдруг вышел, не дожидаясь ответа, но высунул еще раз голову из-за двери.

– Я потому так, – прокричал он скороговоркой, – что ведь Шатов, например, тоже не имел права рисковать тогда жизнью в воскресенье, когда к вам подошел, так ли? Я бы желал, чтобы вы это заметили.

Он исчез опять, не дожидаясь ответа.

IV

Может быть, он думал, исчезая, что Николай Всеволодович, оставшись один, начнет колотить кулаками в стену, и, уж конечно бы, рад был подсмотреть, если б это было возможно. Но он очень бы обманулся: Николай Всеволодович оставался спокоен. Минуты две он простоял у стола в том же положении, по-видимому очень задумавшись; но вскоре вялая, холодная улыбка выдавилась на его губах. Он медленно уселся на диван, на свое прежнее место в углу, и закрыл глаза, как бы от усталости. Уголок письма по-прежнему выглядывал из-под пресс-папье, но он и не пошевелился поправить.

Скоро он забылся совсем. Варвара Петровна, измучившая себя в эти дни заботами, не вытерпела и по уходе Петра Степановича, обещавшего к ней зайти и не сдержавшего обещания, рискнула сама навестить Nicolas, несмотря на неуказанное время. Ей все мерещилось: не скажет ли он наконец чего-нибудь окончательно? Тихо, как и давеча, постучалась она в дверь и, опять не получая ответа, отворила сама. Увидав, что Nicolas сидит что-то слишком уж неподвижно, она с бьющимся сердцем осторожно приблизилась сама к дивану. Ее как бы поразило, что он так скоро заснул и что может так спать, так прямо сидя и так неподвижно; даже дыхания почти нельзя было заметить. Лицо было бледное и суровое, но совсем как бы застывшее, недвижимое; брови немного сдвинуты и нахмурены; решительно, он походил на бездушную восковую фигуру. Она простояла над ним минуты три, едва переводя дыхание, и вдруг ее обнял страх; она вышла на цыпочках, приостановилась в дверях, наскоро перекрестила его и удалилась незамеченная, с новым тяжелым ощущением и с новой тоской.

Проспал он долго, более часу, и все в таком же оцепенении; ни один мускул лица его не двинулся, ни малейшего движения во всем теле не выказалось; брови были все так же сурово сдвинуты. Если бы Варвара Петровна осталась еще на три минуты, то, наверно бы, не вынесла подавляющего ощущения этой летаргической неподвижности и разбудила его. Но он вдруг сам открыл глаза и, по-

прежнему не шевелясь, просидел еще минут десять, как бы упорно и любопытно всматриваясь в какой-то поразивший его предмет в углу комнаты, хотя там ничего не было ни нового, ни особенного.

Наконец раздался тихий, густой звук больших стенных часов, пробивших один раз. С некоторым беспокойством повернул он голову взглянуть на циферблат, но почти в ту же минуту отворилась задняя дверь, выходившая в коридор, и показался камердинер Алексей Егорович. Он нес в одной руке теплое пальто, шарф и шляпу, а в другой серебряную тарелочку, на которой лежала записка.

– Половина десятого, – возгласил он тихим голосом и, сложив принесенное платье в углу на стуле, поднес на тарелке записку, маленькую бумажку, незапечатанную, с двумя строчками карандашом. Пробежав эти строки, Николай Всеволодович тоже взял со стола карандаш, черкнул в конце записки два слова и положил обратно на тарелку.

– Передать тотчас же, как я выйду, и одеваться, – сказал он, вставая с дивана.

Заметив, что на нем легкий бархатный пиджак, он подумал и велел подать себе другой, суконный сюртук, употреблявшийся для более церемонных вечерних визитов. Наконец, одевшись совсем и надев шляпу, он запер дверь, в которую входила к нему Варвара Петровна, и, вынув из-под пресс-папье спрятанное письмо, молча вышел в коридор в сопровождении Алексея Егоровича. Из коридора вышли на узкую каменную заднюю лестницу и спустились в сени, выходившие прямо в сад. В углу в сенях стояли припасенные фонарик и большой зонтик.

– По чрезвычайному дождю грязь по здешним улицам нестерпимая, – доложил Алексей Егорович, в виде отдаленной попытки в последний раз отклонить барина от путешествия. Но барин, развернув зонтик, молча вышел в темный, как погреб, отсыревший и мокрый старый сад. Ветер шумел и качал вершинами полуобнаженных деревьев, узенькие песочные дорожки были топки и скользки. Алексей Егорович шел как был, во фраке и без шляпы, освещая путь шага на три вперед фонариком.

– Не заметно ли будет? – спросил вдруг Николай Всеволодович.

– Из окошек заметно не будет, кроме того, что заранее все предусмотрено, – тихо и размеренно ответил слуга.

– Матушка почивает?

– Заперлись, по обыкновению последних дней, ровно в девять часов, и узнать теперь для них ничего невозможно. В каком часу вас прикажете ожидать? – прибавил он, осмеливаясь сделать вопрос.

– В час, в половине второго, не позже двух.

– Слушаю-с.

Обойдя извилистыми дорожками весь сад, который оба знали наизусть, они дошли до каменной садовой ограды и тут, в самом углу стены, отыскали маленькую дверцу, выводящую в тесный и глухой переулоч, почти всегда запертую, но ключ от которой оказался теперь в руках Алексея Егоровича.

– Не заскрипела бы дверь? – осведомился опять Николай Всеволодович.

Но Алексей Егорович доложил, что вчера еще смазана маслом, «равно и сегодня». Он весь уже успел измокнуть. Отперев дверцу, он подал ключ Николаю Всеволодовичу.

– Если изволили предпринять путь отдаленный, то докладываю, будучи неуверен в здешнем народишке, в особенности по глухим переулкам, а паче всего за рекой, – не утерпел он еще раз. Это был старый слуга, бывший дядька Николая Всеволодовича, когда-то нянчивший его на руках, человек серьезный и строгий, любивший послушать и почитать от божественного.

– Не беспокойся, Алексей Егорыч.

– Благослови вас Бог, сударь, но при начинании лишь добрых дел.

– Как? – остановился Николай Всеволодович, уже перешагнув в переулок.

Алексей Егорович твердо повторил свое желание; никогда прежде он не решился бы его выразить в таких словах вслух пред своим господином.

Николай Всеволодович запер дверь, положил ключ в карман и пошел по проулку, увязая с каждым шагом вершка на три в грязь. Он вышел наконец в длинную и пустынную улицу на мостовую. Город был известен ему как пять пальцев; но Богоявленская улица была все еще далеко. Было более десяти часов, когда он остановился наконец перед запертыми воротами темного старого дома Филипповых. Нижний этаж теперь, с выездом Лебядкиных, стоял совсем пустой, с заколоченными окнами, но в мезонине у Шатова светился огонь. Так как не было колокольчика, то он начал бить в ворота рукой. Отворилось оконце, и Шатов выглянул на улицу; темень была страшная, и разглядеть было мудрено; Шатов разглядывал долго, с минуту.

– Это вы? – спросил он вдруг.

– Я, – ответил незваный гость.

Шатов захлопнул окно, сошел вниз и отпер ворота. Николай Всеволодович переступил через высокий порог и, не сказав ни слова, прошел мимо, прямо во флигель к Кириллову.

V

Тут все было отперто и даже не притворено. Сени и первые две комнаты были темны, но в последней, в которой Кириллов жил и пил чай, сиял свет и слышался смех и какие-то странные вскрикивания. Николай Всеволодович пошел на свет, но, не входя, остановился на пороге. Чай был на столе. Среди комнаты стояла старуха, хозяйская родственница, простоволосая, в одной юбке, в башмаках на босу ногу и в заячьей куцавейке. На руках у ней был полутораговой ребенок, в одной рубашонке, с голыми ножками, с разгоревшимися щечками, с белыми всклооченными волосками, только что из колыбели. Он, должно быть, недавно расплакался; слезки стояли еще под глазами; но в эту минуту тянулся ручонками, хлопал в ладошки и хохотал, как хохочут маленькие дети, с захлипом. Пред ним Кириллов бросал о пол большой резиновый красный мяч; мяч отпрыгивал до потолка, падал опять, ребенок кричал: «Мя, мя!» Кириллов ловил «мя» и подавал ему, тот бросал уже сам своими неловкими ручонками, а Кириллов бежал опять поднимать. Наконец «мя» закатился под шкаф. «Мя, мя!» – кричал ребенок. Кириллов припал к полу и протянулся, стараясь из-под шкафа достать «мя» рукой. Николай Всеволодович вошел в комнату; ребенок, увидев его, припал к старухе и закатился долгим детским плачем, та тотчас же его вынесла.

– Ставрогин? – сказал Кириллов, приподымаясь с полу с мячом в руках, без малейшего удивления к неожиданному визиту. – Хотите чаю?

Он приподнялся совсем.

– Очень, не откажусь, если теплый, – сказал Николай Всеволодович, – я весь промок.

– Теплый, горячий даже, – с удовольствием подтвердил Кириллов, – садитесь: вы грязны, ничего; пол я потом мокрою тряпкой.

Николай Всеволодович уселся и почти залпом выпил налитую чашку.

– Еще? – спросил Кириллов.

– Благодарю.

Кириллов, до сих пор не сажившийся, тотчас же сел напротив и спросил:

– Вы что пришли?

– По делу. Вот прочтите это письмо, от Гаганова; помните, я вам говорил в Петербурге.

Кириллов взял письмо, прочел, положил на стол и смотрел в ожидании.

– Этого Гаганова, – начал объяснять Николай Всеволодович, – как вы знаете, я встретил месяц тому, в Петербурге, в первый раз в жизни. Мы столкнулись раза три в людях. Не знакомясь со мной и не заговаривая, он нашел-таки возможность быть очень дерзким. Я вам тогда говорил; но вот чего вы не знаете: уезжая тогда из Петербурга раньше меня, он вдруг прислал мне письмо, хотя и не такое, как это, но, однако, неприличное в высшей степени и уже тем странное, что в нем совсем не объяснено было повода, по которому оно писано. Я ответил ему тотчас же, тоже письмом, и совершенно откровенно высказал, что, вероятно, он на меня сердится за происшествие с его отцом, четыре года назад, здесь в клубе, и что я с моей стороны готов принести ему всевозможные извинения на том основании, что поступок мой был неумышленный и произошел в болезни. Я просил его взять мои извинения в соображение. Он не ответил и уехал; но вот теперь я застаю его здесь уже совсем в бешенстве. Мне передали несколько публичных отзывов его обо мне, совершенно ругательных и с удивительными обвинениями. Наконец, сегодня приходит это письмо, какого, верно, никто никогда не получал, с ругательствами и с выражениями: «ваша битая рожа». Я пришел, надеясь, что вы не откажетесь в секунданты.

– Вы сказали, письма никто не получал, – заметил Кириллов, – в бешенстве можно; пишут не раз. Пушкин Геккерну написал. Хорошо, пойду. Говорите: как?

Николай Всеволодович объяснил, что желает завтра же и чтобы непременно начать с возобновления извинений и даже с обещания вторичного письма с извинениями, но с тем, однако, что и Гаганов, с своей стороны, обещал бы не писать более писем. Полученное же письмо будет считаться как не бывшее вовсе.

– Слишком много уступок, не согласится, – проговорил Кириллов.

– Я прежде всего пришел узнать, согласитесь ли вы понести туда такие условия?

– Я понесу. Ваше дело. Но он не согласится.

– Знаю, что не согласится.

– Он драться хочет. Говорите, как драться.

– В том и дело, что я хотел бы завтра непременно все кончить. Часов в девять утра вы у него. Он выслушает и не согласится, но сведет вас с своим секундантом, – положим, часов около одиннадцати. Вы с тем порешите, и затем в час или в два чтобы быть всем на месте. Пожалуйста, постарайтесь так сделать. Оружие, конечно, пистолеты, и особенно вас прошу устроить так: определить барьер в десять шагов; затем вы ставите нас каждого в десяти шагах от барьера, и по данному знаку мы сходимся. Каждый должен непременно дойти до своего барьера, но выстрелить может и раньше, на ходу. Вот и все, я думаю.

– Десять шагов между барьерами близко, – заметил Кириллов.

– Ну двенадцать, только не больше, вы понимаете, что он хочет драться серьезно. Умеете вы зарядить пистолет?

– Умею. У меня есть пистолеты; я дам слово, что вы из них не стреляли. Его секундант тоже слово про свои; две пары, и мы сделаем чет и нечет, его или нашу?

– Прекрасно.

– Хотите посмотреть пистолеты?

– Пожалуй.

Кириллов присел на корточки пред своим чемоданом в углу, все еще не разобранным, но из которого вытаскивались вещи по мере надобности. Он вытащил со дна ящик пальмового дерева, внутри отделанный красным бархатом, и из него вынул пару щегольских, чрезвычайно дорогих пистолетов.

– Есть все: порох, пули, патроны. У меня еще револьвер; постойте.

Он полез опять в чемодан и вытащил другой ящик с шестиствольным американским револьвером.

– У вас довольно оружия, и очень дорогого.

– Очень. Чрезвычайно.

Бедный, почти нищий, Кириллов, никогда, впрочем, и не замечавший своей нищеты, видимо с похвальбой показывал теперь свои оружейные драгоценности, без сомнения приобретенные с чрезвычайными жертвованиями.

– Вы все еще в тех же мыслях? – спросил Ставрогин после минутного молчания и с некоторою осторожностью.

– В тех же, – коротко ответил Кириллов, тотчас же по голосу угадав, о чем спрашивают, и стал убирать со стола оружие.

– Когда же? – еще осторожнее спросил Николай Всеволодович, опять после некоторого молчания.

Кириллов между тем уложил оба ящика в чемодан и уселся на прежнее место.

– Это не от меня, как знаете; когда скажут, – пробормотал он, как бы несколько тяготясь вопросом, но в то же время с видимою готовностью отвечать на все другие вопросы. На Ставрогина он смотрел, не отрываясь, своими черными глазами без блеску, с каким-то спокойным, но добрым и приветливым чувством.

– Я, конечно, понимаю застрелиться, – начал опять, несколько нахмурившись, Николай Всеволодович, после долгого, трехминутного задумчивого молчания, – я иногда сам представлял, и тут всегда какая-то новая мысль: если бы сделать злодейство или, главное, стыд, то есть позор, только очень подлый и... смешной, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет, и вдруг мысль: «Один удар в висок, и ничего не будет». Какое дело тогда до людей и что они будут плевать тысячу лет, не так ли?

– Вы называете, что это новая мысль? – проговорил Кириллов, подумав.

– Я... не называю... когда я подумал однажды, то почувствовал совсем новую мысль.

– «Мысль почувствовали»? – переговорил Кириллов. – Это хорошо. Есть много мыслей, которые всегда и которые вдруг станут новые. Это верно. Я много теперь как в первый раз вижу.

– Положим, вы жили на луне, – перебил Ставрогин, не слушая и продолжая свою мысль, – вы там, положим, сделали все эти смешные пакости... Вы знаете наверно отсюда, что там будут смеяться и плевать на ваше имя тысячу лет, вечно, во всю луну. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли?

– Не знаю, – ответил Кириллов, – я на луне не был, – прибавил он без всякой иронии, единственно для обозначения факта.

– Чей это давеча ребенок?

– Старухина свекровь приехала; нет, сноха... все равно. Три дня. Лежит больная, с ребенком; по ночам кричит очень, живот. Мать спит, а старуха при-

носит; я мячом. Мяч из Гамбурга. Я в Гамбурге купил, чтобы бросать и ловить: укрепляет спину. Девочка.

– Вы любите детей?

– Люблю, – отозвался Кириллов, довольно, впрочем, равнодушно.

– Стало быть, и жизнь любите?

– Да, люблю и жизнь, а что?

– Если решились застрелиться.

– Что же? Почему вместе? Жизнь особо, а то особо. Жизнь есть, а смерти нет совсем.

– Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?

– Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно.

– Вы надеетесь дойти до такой минуты?

– Да.

– Это вряд ли в наше время возможно, – тоже без всякой иронии отозвался Николай Всеволодович, медленно и как бы задумчиво. – В Апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет.

– Знаю. Это очень там верно; отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. Очень верная мысль.

– Куда ж его спрячут?

– Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме.

– Старые философские места, одни и те же с начала веков, – с каким-то брезгливым сожалением пробормотал Ставрогин.

– Одни и те же! Одни и те же с начала веков, и никаких других никогда! – подхватил Кириллов с сверкающим взглядом, как будто в этой идее заключалась чуть не победа.

– Вы, кажется, очень счастливы, Кириллов?

– Да, очень счастлив, – ответил тот, как бы давая самый обыкновенный ответ.

– Но вы так недавно еще огорчались, сердились на Липутина?

– Гм... я теперь не браню. Я еще не знал тогда, что был счастлив. Видали вы лист, с дерева лист?

– Видал.

– Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист – зеленый, яркий с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал.

– Это что же, аллегория?

– Н-нет... зачем? Я не аллегорию, я просто лист, один лист. Лист хорошо. Все хорошо.

– Все?

– Все. Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту. Эта свекровь умрет, а девочка останется – все хорошо. Я вдруг открыл.

– А кто с голоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку – это хорошо?

– Хорошо. И кто разможжит голову за ребенка, и то хорошо; и кто не разможжит, и то хорошо. Все хорошо, все. Всем тем хорошо, кто знает, что все хорошо. Если б они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо, но пока они не знают, что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот вся мысль, вся, больше нет никакой!

– Когда же вы узнали, что вы так счастливы?

– На прошлой неделе во вторник, нет, в среду, потому что уже была среда, ночью.

– По какому же поводу?

– Не помню, так; ходил по комнате... все равно. Я часы остановил, было тридцать семь минут третьего.

– В эмблему того, что время должно остановиться?

Кириллов промолчал.

– Они нехороши, – начал он вдруг опять, – потому что не знают, что они хороши. Когда узнают, то не будут насилловать девочку. Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого.

– Вот вы узнали же, стало быть, вы хороши?

– Я хорош.

– С этим я, впрочем, согласен, – нахмуренно пробормотал Ставрогин.

– Кто научит, что все хороши, тот мир закончит.

– Кто учил, того распяли.

– Он придет, и имя ему человекобог.

– Богочеловек?

– Человекобог, в этом разница.

– Уж не вы ли и лампадку зажигаете?

– Да, это я зажег.

– Уверовали?

– Старуха любит, чтобы лампадку... а ей сегодня некогда, – пробормотал Кириллов.

– А сами еще не молитесь?

– Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что ползет.

Глаза его опять загорелись. Он все смотрел прямо на Ставрогина, взглядом твердым и неуклонным. Ставрогин нахмуренно и брезгливо следил за ним, но насмешки в его взгляде не было.

– Бьюсь об заклад, что когда я опять приду, то вы уж и в Бога веруете, – проговорил он, вставая и захватывая шляпу.

– Почему? – привстал и Кириллов.

– Если бы вы узнали, что вы в Бога веруете, то вы бы и веровали; но так как вы еще не знаете, что вы в Бога веруете, то вы и не веруете, – усмехнулся Николай Всеволодович.

– Это не то, – обдумал Кириллов, – перевернули мысль. Светская шутка. Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин.

– Прощайте, Кириллов.

– Приходите ночью; когда?

– Да уж вы не забыли ли про завтрашнее?

– Ах, забыл, будьте покойны, не просплю; в девять часов. Я умею просыпаться, когда хочу. Я ложусь и говорю: в семь часов, и проснусь в семь часов; в десять часов – и проснусь в десять часов.

– Замечательные у вас свойства, – поглядел на его бледное лицо Николай Всеволодович.

– Я пойду отопру ворота.

– Не беспокойтесь, мне отопрет Шатов.

– А, Шатов. Хорошо, прощайте.

VI

Крыльцо пустого дома, в котором квартировал Шатов, было незаперто; но, взбравшись в сени, Ставрогин очутился в совершенном мраке и стал искать рукой лестницу в мезонин. Вдруг сверху отворилась дверь и показался свет; Шатов сам не вышел, а только свою дверь отворил. Когда Николай Всеволодович стал на пороге его комнаты, то разглядел его в углу у стола, стоящего в ожидании.

– Вы примете меня по делу? – спросил он с порога.

– Войдите и садитесь, – отвечал Шатов, – закройте дверь, постойте, я сам.

Он запер дверь на ключ, воротился к столу и сел напротив Николая Всеволодовича. В эту неделю он похудел, а теперь, казалось, был в жару.

– Вы меня измучили, – проговорил он потупясь, тихим полупшепотом, – зачем вы не приходили?

– Вы так уверены были, что я приду?

– Да, постойте, я бредил... может, и теперь брежу... Постойте.

Он привстал и на верхней из своих трех полок с книгами, с краю, захватил какую-то вещь. Это был револьвер,

– В одну ночь я бредил, что вы придете меня убивать, и утром рано у бездельника Лямшина купил револьвер на последние деньги; я не хотел вам даваться. Потом я пришел в себя... У меня ни пороху, ни пули; с тех пор так и лежит на полке. Постойте...

Он привстал и отворил было форточку.

– Не выкидывайте, зачем? – остановил Николай Всеволодович. – Он денег стоит, а завтра люди начнут говорить, что у Шатова под окном валяются револьверы. Положите опять, вот так, садитесь. Скажите, зачем вы точно каетесь предо мной в вашей мысли, что я приду вас убить? Я и теперь не мириться пришел, а говорить о необходимом. Разъясните мне, во-первых, вы меня ударили не за связь мою с вашею женой?

– Вы сами знаете, что нет, – опять потупился Шатов.

– И не потому, что поверили глупой сплетне насчет Дарьи Павловны?

– Нет, нет, конечно, нет! Глупость! Сестра мне с самого начала сказала... – с нетерпением и резко проговорил Шатов, чуть-чуть даже топнув ногой.

– Стало быть, и я угадал, и вы угадали, – спокойным тоном продолжал Ставрогин, – вы правы: Марья Тимофеевна Лебядкина – моя законная, обвенчанная со мною жена, в Петербурге, года четыре с половиной назад. Ведь вы меня за нее ударили?

Шатов, совсем пораженный, слушал и молчал.

– Я угадал и не верил, – пробормотал он наконец, странно смотря на Ставрогина.

– И ударили?

Шатов вспыхнул и забормотал почти без связи:

– Я за ваше падение... за ложь. Я не для того подходил, чтобы вас наказать; когда я подходил, я не знал, что ударю... Я за то, что вы так много значили в моей жизни... Я...

– Понимаю, понимаю, берегите слова. Мне жаль, что вы в жару; у меня самое необходимое дело.

– Я слишком долго вас ждал, – как-то весь чуть не затрясся Шатов и привстал было с места, – говорите ваше дело, я тоже скажу... потом...

Он сел.

– Это дело не из той категории, – начал Николай Всеволодович, приглядываясь к нему с любопытством, – по некоторым обстоятельствам я принужден был сегодня же выбрать такой час и идти к вам предупредить, что, может быть, вас убьют.

Шатов дико смотрел на него.

– Я знаю, что мне могла бы угрожать опасность, – проговорил он размеренно, – но вам, вам-то почему это может быть известно?

– Потому что я тоже принадлежу к ним, как и вы, и такой же член их общества, как и вы.

– Вы... вы член общества?

– Я по глазам вашим вижу, что вы всего от меня ожидали, только не этого, – чуть-чуть усмехнулся Николай Всеволодович, – но позвольте, стало быть, вы уже знали, что на вас покушаются?

– И не думал. И теперь не думаю, несмотря на ваши слова, хотя... хотя кто ж тут с этими дураками может в чем-нибудь заручиться! – вдруг вскричал он в бешенстве, ударив кулаком по столу. – Я их не боюсь! Я с ними разорвал. Этот забегал ко мне четыре раза и говорил, что можно... но, – посмотрел он на Ставрогина, – что ж, собственно, вам тут известно?

– Не беспокойтесь, я вас не обманываю, – довольно холодно продолжал Ставрогин, с видом человека, исполняющего только обязанность. – Вы экзаменуете, что мне известно? Мне известно, что вы вступили в это общество за границей, два года тому назад, и еще при старой его организации, как раз пред вашей поездкой в Америку и, кажется, тотчас же после нашего последнего разговора, о котором вы так много написали мне из Америки в вашем письме. Кстати, извините, что я не ответил вам тоже письмом, а ограничился...

– Высылкой денег; подождите, – остановил Шатов, поспешно выдвинул из стола ящик и вынул из-под бумаг радужный кредитный билет, – вот, возьмите, сто рублей, которые вы мне выслали; без вас я бы там погиб. Я долго бы не отдал, если бы не ваша матушка: эти сто рублей подарила она мне девять месяцев назад на бедность, после моей болезни. Но продолжайте, пожалуйста...

Он задыхался.

– В Америке вы переменили ваши мысли и, возвратясь в Швейцарию, хотели отказаться. Они вам ничего не ответили, но поручили принять здесь, в России, от кого-то какую-то типографию и хранить ее до сдачи лицу, которое к вам от них явится. Я не знаю всего в полной точности, но ведь в главном, кажется, так? Вы же, в надежде или под условием, что это будет последним их требованием и что вас после того отпустят совсем, взялись. Все это, так ли, нет ли, узнал я не от них, а совсем случайно. Но вот чего вы, кажется, до сих пор не знаете: эти господа вовсе не намерены с вами расстаться.

– Это нелепость! – завопил Шатов. – Я объявил честно, что я расхожусь с ними во всем! Это мое право, право совести и мысли... Я не потерплю! Нет силы, которая бы могла...

– Знаете, вы не кричите, – очень серьезно остановил его Николай Всеволодович, – этот Верховенский такой человек, что, может быть, нас теперь подслушивает, своим или чужим ухом, в ваших же сенях, пожалуй. Даже пьяница Лебядкин чуть ли не обязан был за вами следить, а вы, может быть, за ним, не так ли? Скажите лучше: согласился теперь Верховенский на ваши аргументы или нет?

– Он согласился; он сказал, что можно и что я имею право...

– Ну, так он вас обманывает. Я знаю, что даже Кириллов, который к ним почти вовсе не принадлежит, доставил об вас сведения; а агентов у них много,

даже таких, которые и не знают, что служат обществу. За вами всегда надсматривали. Петр Верховенский, между прочим, приехал сюда за тем, чтобы порешить ваше дело совсем, и имеет на то полномочие, а именно: истребить вас в удобную минуту, как слишком много знающего и могущего донести. Повторяю вам, что это наверно; и позвольте прибавить, что они почему-то совершенно убеждены, что вы шпион и если еще не донесли, то донесете. Правда это?

Шатов скривил рот, услышав такой вопрос, высказанный таким обыкновенным тоном.

– Если б я и был шпион, то кому доносить? – злобно проговорил он, не отвечая прямо. – Нет, оставьте меня, к черту меня! – вскричал он, вдруг схватываясь за первоначальную, слишком потрясшую его мысль, по всем признакам несравненно сильнее, чем известие о собственной опасности. – Вы, вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость! Вы член их общества! Это ли подвиг Николая Ставрогина! – вскричал он чуть не в отчаянии.

Он даже сплеснул руками, точно ничего не могло быть для него горше и безотраднее такого открытия.

– Извините, – действительно удивился Николай Всеволодович, – но вы, кажется, смотрите на меня как на какое-то солнце, а на себя как на какую-то букашку сравнительно со мной. Я заметил это даже по вашему письму из Америки.

– Вы... вы знаете... Ах, бросим лучше обо мне совсем, совсем! – оборвал вдруг Шатов. – Если можете что-нибудь объяснить о себе, то объясните... На мой вопрос! – повторял он в жару.

– С удовольствием. Вы спрашиваете: как мог я затереться в такую трущобу? После моего сообщения я вам даже обязан некоторою откровенностию по этому делу. Видите, в строгом смысле я к этому обществу совсем не принадлежу, не принадлежал и прежде и гораздо более вас имею права их оставить, потому что и не поступал. Напротив, с самого начала заявил, что я им не товарищ, а если и помогал случайно, то только так, как праздный человек. Я отчасти участвовал в перереорганизации общества по новому плану, и только. Но они теперь одумались и решили про себя, что и меня отпустить опасно, и, кажется, я тоже приговорен.

– О, у них все смертная казнь и все на предписаниях, на бумагах с печатями, три с половиной человека подписывают. И вы верите, что они в состоянии!

– Тут отчасти вы правы, отчасти нет, – продолжал с прежним равнодушием, даже вяло Ставрогин. – Сомнения нет, что много фантазии, как и всегда в этих случаях: кучка преувеличивает свой рост и значение. Если хотите, то, по-моему, их всего и есть один Петр Верховенский, и уж он слишком добр, что почитает себя только агентом своего общества. Впрочем, основная идея не глупее других в этом роде. У них связи с Internationale; они сумели завести агентов в России, даже наткнулись на довольно оригинальный прием... но, разумеется, только теоретически. Что же касается до их здешних намерений, то ведь движение нашей русской организации такое дело темное и почти всегда такое неожиданное, что действительно у нас все можно попробовать. Заметьте, что Верховенский человек упорный.

– Этот клоп, невежда, дуралей, не понимающий ничего в России! – злобно вскричал Шатов.

– Вы его мало знаете. Это правда, что вообще все они мало понимают в России, но ведь разве только немножко меньше, чем мы с вами; и притом Верховенский энтузиаст.

– Верховенский энтузиаст?

– О да. Есть такая точка, где он перестает быть шутком и обращается в... полупомешанного. Попрошу вас припомнить одно собственное выражение ваше: «Знаете ли, как может быть силен один человек?» Пожалуйста, не смейтесь, он очень в состоянии спустить курок. Они уверены, что я тоже шпион. Все они, от неуменья вести дело, ужасно любят обвинять в шпионстве.

– Но ведь вы не боитесь?

– Н-нет... Я не очень боюсь... Но ваше дело совсем другое. Я вас предупредил, чтобы вы все-таки имели в виду. По-моему, тут уж нечего обижаться, что опасность грозит от дураков; дело не в их уме: и не на таких, как мы с вами, у них подымалась рука. А впрочем, четверть двенадцатого, – посмотрел он на часы и встал со стула, – мне хотелось бы сделать вам один совсем посторонний вопрос.

– Ради Бога! – воскликнул Шатов, стремительно вскакивая с места.

– То есть? – вопросительно посмотрел Николай Всеволодович.

– Делайте, делайте ваш вопрос, ради Бога, – в невыразимом волнении повторял Шатов, – но с тем, что и я вам сделаю вопрос. Я умоляю, что вы позволите... я не могу... делайте ваш вопрос!

Ставрогин подождал немного и начал:

– Я слышал, что вы имели здесь некоторое влияние на Марью Тимофеевну и что она любила вас видеть и слушать. Так ли это?

– Да... слушала... – смутился несколько Шатов.

– Я имею намерение на этих днях публично объявить здесь в городе о браке моем с нею.

– Разве это возможно? – прошептал чуть не в ужасе Шатов.

– То есть в каком же смысле? Тут нет никаких затруднений; свидетели брака здесь. Все это произошло тогда в Петербурге совершенно законным и спокойным образом, а если не обнаруживалось до сих пор, то потому только, что двое единственных свидетелей брака, Кириллов и Петр Верховенский, и, наконец, сам Лебядкин (которого я имею удовольствие считать теперь моим родственником) дали тогда слово молчать.

– Я не про то... Вы говорите так спокойно... но продолжайте! Послушайте, вас ведь не силой принудили к этому браку, ведь нет?

– Нет, меня никто не принуждал силой, – улыбнулся Николай Всеволодович на задорную поспешность Шатова.

– А что она там про ребенка своего толкует? – торопился в горячке и без связи Шатов.

– Про ребенка своего толкует? Ба! Я не знал, в первый раз слышу. У ней не было ребенка и быть не могло: Марья Тимофеевна девица.

– А! Так я и думал! Слушайте!

– Что с вами, Шатов?

Шатов закрыл лицо руками, повернулся, но вдруг крепко схватил за плечо Ставрогина.

– Знаете ли, знаете ли вы по крайней мере, – прокричал он, – для чего вы все это наделали и для чего решаетесь на такую кару теперь?

– Ваш вопрос умен и язвителен, но я вас тоже намерен удивить: да, я почти знаю, для чего я тогда женился и для чего решаюсь на такую «кару» теперь, как вы выразились.

– Оставим это... об этом после, подождите говорить; будем о главном, о главном: я вас ждал два года.

– Да?

– Я вас слишком давно ждал, я беспрерывно думал о вас. Вы единый человек, который бы мог... Я еще из Америки вам писал об этом.

– Я очень помню ваше длинное письмо.

– Длинное, чтобы быть прочитанным? Согласен; шесть почтовых листов. Молчите, молчите! Скажите: можете вы уделить мне еще десять минут, но теперь же, сейчас же... Я слишком долго вас ждал!

– Извольте, уделю полчаса, но только не более, если это для вас возможно.

– И с тем, однако, – подхватил яростно Шатов, – чтобы вы переменяли ваш тон. Слышите, я требую, тогда как должен молить... Понимаете ли вы, что значит требовать, тогда как должно молить?

– Понимаю, что таким образом вы возноситесь над всем обыкновенным для более высших целей, – чуть-чуть усмехнулся Николай Всеволодович, – я с прискорбием тоже вижу, что вы в лихорадке.

– Я уважения прошу к себе, требую! – кричал Шатов, – не к моей личности, – к черту ее, – а к другому, на это только время, для нескольких слов... Мы два существа и сошлись в беспредельности... в последний раз в мире. Оставьте ваш тон и возьмите человеческий! Заговорите хоть раз в жизни голосом человеческим. Я не для себя, а для вас. Понимаете ли, что вы должны простить мне этот удар по лицу уже по тому одному, что я дал вам случай познать при этом вашу беспредельную силу... Опять вы улыбаетесь вашей брезгливою светскою улыбкой. О, когда вы поймете меня! Прочь барича! Поймите же, что я этого требую, требую, иначе не хочу говорить, не стану ни за что!

Иступление его доходило до бреда; Николай Всеволодович нахмурился и как бы стал осторожнее.

– Если я уж остался на полчаса, – внушительно и серьезно промолвил он, – тогда как мне время так дорого, то поверьте, что намерен слушать вас по крайней мере с интересом и... и убежден, что услышу от вас много нового.

Он сел на стул.

– Садитесь! – крикнул Шатов и как-то вдруг сел и сам.

– Позвольте, однако, напомнить, – спохватился еще раз Ставрогин, – что я начал было целую к вам просьбу насчет Марьи Тимофеевны, для нее по крайней мере очень важную...

– Ну? – нахмурился вдруг Шатов с видом человека, которого вдруг перебили на самом важном месте и который хоть и глядит на вас, но не успел еще понять вашего вопроса.

– И вы мне не дали закончить, – договорил с улыбкой Николай Всеволодович.

– Э, ну вздор, потом! – брезгливо отмахнулся рукой Шатов, осмыслив наконец претензию, и прямо перешел к своей главной теме.

VII

Знаете ли вы, – начал он почти грозно, принагнувшись вперед на стуле, сверкая взглядом и подняв перст правой руки вверх пред собою (очевидно, не примечая этого сам), – знаете ли вы, кто теперь на всей земле единственный народ-«богоносец», грядущий обновить и спасти мир именем нового Бога и кому единому даны ключи жизни и нового слова... Знаете ли вы, кто этот народ и как ему имя?

– По вашему приему я необходимо должен заключить, и, кажется, как можно скорее, что это народ русский...

– И вы уже смеетесь, о племя! – рванулся было Шатов.

– Успокойтесь, прошу вас; напротив, я именно ждал чего-нибудь в этом роде.

– Ждали в этом роде? А самому вам незнакомы эти слова?

– Очень знакомы; я слишком предвижу, к чему вы клоните. Вся ваша фраза и даже выражение народ-«богоносец» есть только заключение нашего с вами разговора, происходившего с лишком два года назад, за границей, незадолго пред вашим отъездом в Америку... По крайней мере, сколько я могу теперь припомнить.

– Это ваша фраза целиком, а не моя. Ваша собственная, а не одно только заключение нашего разговора. «Нашего» разговора совсем и не было: был учитель, вещавший огромные слова, и был ученик, воскресший из мертвых. Я тот ученик, а вы учитель.

– Но если припомнить, вы именно после слов моих как раз и вошли в то общество и только потом уехали в Америку.

– Да, и я вам писал о том из Америки; я вам обо всем писал. Да, я не мог тотчас же оторваться с кровью от того, к чему прирос с детства, на что пошли все восторги моих надежд и все слезы моей ненависти... Трудно менять богов. Я не поверил вам тогда, потому что не хотел верить, и уцепился в последний раз за этот помойный клоак... Но семя осталось и возросло. Серьезно, скажите серьезно, не дочитали письма моего из Америки? Может быть, не читали вовсе?

– Я прочел из него три страницы, две первые и последнюю, и, кроме того, бегло переглядел средину. Впрочем, я все собирался...

– Э, все равно, бросьте, к черту! – махнул рукой Шатов. – Если вы отступились теперь от тогдашних слов про народ, то как могли вы их тогда выговорить?.. Вот что давит меня теперь.

– Не шутил же я с вами и тогда; убеждая вас, я, может, еще больше хлопотал о себе, чем о вас, – загадочно произнес Ставрогин.

– Не шутили! В Америке я лежал три месяца на соломе, рядом с одним... несчастным, и узнал от него, что в то же самое время, когда вы насаждали в моем сердце Бога и родину, – в то же самое время, даже, может быть, в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кириллова, ядом... Вы утверждали в нем ложь и клевету и довели разум его до иступления... Подите взгляните на него теперь, это ваше создание... Впрочем, вы видели.

– Во-первых, замечу вам, что сам Кириллов сейчас только сказал мне, что он счастлив и что он прекрасен. Ваше предположение о том, что все это произошло в одно и то же время, почти верно; ну, и что же из всего этого? Повторяю, я вас, ни того, ни другого, не обманывал.

– Вы атеист? Теперь атеист?

– Да.

– А тогда?

– Точно так же, как и тогда.

– Я не к себе просил у вас уважения, начиная разговор; с вашим умом вы бы могли понять это, – в негодовании пробормотал Шатов.

– Я не встал с первого вашего слова, не закрыл разговора, не ушел от вас, а сижу до сих пор и смиренно отвечаю на ваши вопросы и... крики, стало быть, не нарушил еще к вам уважения.

Шатов прервал, махнув рукой:

– Вы помните выражение ваше: «Атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестает быть русским», помните это?

– Да? – как бы переспросил Николай Всеволодович.

– Вы спрашиваете? Вы забыли? А между тем это одно из самых точнейших указаний на одну из главнейших особенностей русского духа, вами угаданную. Не могли вы этого забыть? Я напому вам больше, – вы сказали тогда же: «Не православный не может быть русским».

– Я полагаю, что это славянофильская мысль.

– Нет; нынешние славянофилы от нее откажутся. Нынче народ поумнел. Но вы еще дальше шли: вы веровали, что римский католицизм уже не есть христианство; вы утверждали, что Рим провозгласил Христа, подавшегося на третье дьяволово искушение, и что, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир. Вы именно указывали, что если мучается Франция, то единственно по вине католичества, ибо отвергла смрадного бога римского, а нового не сыскала. Вот что вы тогда могли говорить! Я помню наши разговоры.

– Если б я веровал, то, без сомнения, повторил бы это и теперь; я не лгал, говоря как верующий, – очень серьезно произнес Николай Всеволодович. – Но уверяю вас, что на меня производит слишком неприятное впечатление это повторение прошлых мыслей моих. Не можете ли вы перестать?

– Если бы веровали? – вскричал Шатов, не обратив ни малейшего внимания на просьбу. – Но не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? Говорили вы это? Говорили?

– Но позвольте же и мне, наконец, спросить, – возвысил голос Ставрогин, – к чему ведет весь этот нетерпеливый и... злобный экзамен?

– Этот экзамен пройдет навеки и никогда больше не напомнимся вам.

– Вы все настаиваете, что мы вне пространства и времени...

– Молчите! – вдруг крикнул Шатов. – Я глуп и неловок, но погибай мое имя в смешном! Дозволите ли вы мне повторить пред вами всю главную вашу тогдашнюю мысль... О, только десять строк, одно заключение.

– Повторите, если только одно заключение...

Ставрогин сделал было движение взглянуть на часы, но удержался и не взглянул.

Шатов принагнулся опять на стуле и на мгновение даже опять было поднял палец.

– Ни один народ, – начал он, как бы читая по строкам и в то же время продолжая грозно смотреть на Ставрогина, – ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости. Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит Писание, «реки воды живой», иссякновением которых

так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же. «Искание Бога» – как называю я всего проще. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий Бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особеннее его бог. Никогда не было еще народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные. В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия. Полунаука – это деспот, каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, пред которым все преклонилось с любовью и с суеверием, до сих пор немыслимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему. Все это ваши собственные слова, Ставрогин, кроме только слов о полунауке; эти мои, потому что я сам только полунаука, а стало быть, особенно ненавижу ее. В ваших же мыслях и даже в самых словах я не изменил ничего, ни единого слова.

– Не думаю, чтобы не изменили, – осторожно заметил Ставрогин, – вы пламенно приняли и пламенно переименовали, не замечая того. Уж одно то, что вы Бога низводите до простого атрибута народности...

Он с усиленным и особливym вниманием начал вдруг следить за Шатовым, и не столько за словами его, сколько за ним самим.

– Низвожу Бога до атрибута народности? – вскричал Шатов. – Напротив, народ возношу до Бога. Да и было ли когда-нибудь иначе? Народ – это тело Божие. Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения; пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Так веровали все с начала веков, все великие народы по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества. Против факта идти нельзя. Евреи жили лишь для того, чтобы дожидаться Бога истинного, и оставили миру Бога истинного. Греки боготворили природу и завещали миру свою религию, то есть философию и искусство. Рим обоготворил народ в государстве и завещал народам государство. Франция в продолжение всей своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идеи римского бога, и если сбросила наконец в бездну своего римского бога и ударились в атеизм, который называется у них покамест социализмом, то единственно потому лишь, что атеизм все-таки здоровее римского католичества. Если великий народ не верует, что в нем одна истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве или даже с перво-

степенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь Бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов. Единый народ-«богоносец» – это русский народ, и... и... и неужели, неужели вы меня почитаете за такого дурака, Ставрогин, – неистово возопил он вдруг, – который уж и различить не умеет, что слова его в эту минуту или старая, дряхлая дребедень, перемолотая на всех московских славянофильских мельницах, или совершенно новое слово, последнее слово, единственное слово обновления и воскресения, и... и какое мне дело до вашего смеха в эту минуту! Какое мне дело до того, что вы не понимаете меня совершенно, совершенно, ни слова, ни звука!.. О, как я презираю ваш гордый смех и взгляд в эту минуту!

Он вскочил с места; даже пена показалась на губах его.

– Напротив, Шатов, напротив, – необыкновенно серьезно и сдержанно проговорил Ставрогин, не подымаясь с места, – напротив, вы горячими словами вашими воскресили во мне много чрезвычайно сильных воспоминаний. В ваших словах я признаю мое собственное настроение два года назад и теперь уже я не скажу вам, как давеча, что вы мои тогдашние мысли преувеличили. Мне кажется даже, что они были еще исключительнее, еще самовластнее, и уверяю вас в третий раз, что я очень желал бы подтвердить все, что вы теперь говорили, даже до последнего слова, но...

– Но вам надо зайца?

– Что-о?

– Ваше же подлое выражение, – злобно засмеялся Шатов, усаживаясь опять, – «чтобы сделать соус из зайца, надо зайца, чтобы уверовать в Бога, надо Бога», это вы в Петербурге, говорят, приговаривали, как Ноздрев, который хотел поймать зайца за задние ноги.

– Нет, тот именно хвалился, что уж поймал его. Кстати, позвольте, однако же, и вас беспокоить вопросом, тем более что я, мне кажется, имею на него теперь полное право. Скажите мне: ваш-то заяц пойман ли аль еще бегаёт?

– Не смейте меня спрашивать такими словами, спрашивайте другими, другими! – весь вдруг задрожал Шатов.

– Извольте, другими, – сурово посмотрел на него Николай Всеволодович, – я хотел лишь узнать: веруете вы сами в Бога или нет?

– Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я верую в тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую... – залепетал в испуге Шатов.

– А в Бога? В Бога?

– Я... я буду веровать в Бога.

Ни один мускул не двинулся в лице Ставрогина. Шатов пламенно, с вызовом смотрел на него, точно сжечь хотел его своим взглядом.

– Я ведь не сказал же вам, что я не верую вовсе! – вскричал он наконец, – я только лишь знать даю, что я несчастная, скучная книга и более ничего покамест, покамест... Но погибай мое имя! Дело в вас, а не во мне... Я человек без таланта и могу только отдать свою кровь и ничего больше, как всякий человек без таланта. Погибай же и моя кровь! Я об вас говорю, я вас два года здесь ожидал... Я для вас теперь полчаса пляшу нагишом. Вы, вы одни могли бы поднять это знамя!..

Он не договорил и как бы в отчаянии, облокотившись на стол, подпер обеими руками голову.

– Я вам только кстати замечу, как странность, – перебил вдруг Ставрогин, – почему это мне все навязывают какое-то знамя? Петр Верховенский тоже убежден,

что я мог бы «поднять у них знамя», по крайней мере мне передавали его слова. Он задался мыслию, что я мог бы сыграть для них роль Стеньки Разина «по необыкновенной способности к преступлению», – тоже его слова.

– Как? – спросил Шатов, – «по необыкновенной способности к преступлению»?

– Именно.

– Гм. А правда ли, что вы, – злобно ухмыльнулся он, – правда ли, что вы принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу? Правда ли, что маркиз де Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей? Говорите, не смейте лгать, – вскричал он, совсем выходя из себя. – Николай Ставрогин не может лгать пред Шатовым, бившим его по лицу! Говорите все, и если правда, я вас тотчас же, сейчас же убью, тут же на месте!

– Я эти слова говорил, но детей не я обижал, – произнес Ставрогин, но только после слишком долгого молчания. Он побледнел, и глаза его вспыхнули.

– Но вы говорили! – властно продолжал Шатов, не сводя с него сверкающих глаз. – Правда ли, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества? Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения?

– Так отвечать невозможно... я не хочу отвечать, – пробормотал Ставрогин, который очень бы мог встать и уйти, но не вставал и не уходил.

– Я тоже не знаю, почему зло скверно, а добро прекрасно, но я знаю, почему ощущение этого различия стирается и теряется у таких господ, как Ставрогин, – не отставал весь дрожавший Шатов, – знаете ли, почему вы тогда женились, так позорно и подло? Именно потому, что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности! О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головой. Вы женились по страсти к мучительству, по страсти к угрызениям совести, по сладострастию нравственному. Тут был нервный надрыв... Вызов здравому смыслу был уж слишком прельстителен! Ставрогин и плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка! Когда вы прикусили ухо губернатору, чувствовали вы сладострастие? Чувствовали? Праздный, шатающийся барчонок, чувствовали?

– Вы психолог, – бледнел все больше и больше Ставрогин, – хотя в причинах моего брака вы отчасти ошиблись... Кто бы, впрочем, мог вам доставить все эти сведения, – усмехнулся он через силу, – неужто Кириллов? Но он не участвовал...

– Вы бледнеете?

– Чего, однако же, вы хотите? – возвысил наконец голос Николай Всеволодович. – Я полчаса просидел под вашим кнутом, и по крайней мере вы бы могли отпустить меня вежливо... если в самом деле не имеете никакой разумной цели поступать со мной таким образом.

– Разумной цели?

– Без сомнения. В вашей обязанности по крайней мере было объявить мне, наконец, вашу цель. Я все ждал, что вы это сделаете, но нашел одну только иступленную злость. Прошу вас, откройте мне ворота.

Он встал со стула. Шатов неистово бросился вслед за ним.

– Целуйте землю, облейте слезами, просите прощения! – вскричал он, схватывая его за плечо.

– Я, однако, вас не убил... в то утро... а взял обе руки назад... – почти с болью проговорил Ставрогин, потупив глаза.

– Договаривайте, договаривайте! вы пришли предупредить меня об опасности, вы допустили меня говорить, вы завтра хотите объявить о вашем браке

публично!.. Разве я не вижу по лицу вашему, что вас борет какая-то грозная новая мысль... Ставрогин, для чего я осужден в вас верить во веки веков? Разве мог бы я так говорить с другим? Я целомудрие имею, но я не побоялся моего нагиша, потому что со Ставрогиным говорил. Я не боялся окарикатурить великую мысль прикосновением моим, потому что Ставрогин слушал меня... Разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин!

– Мне жаль, что я не могу вас любить, Шатов, – холодно проговорил Николай Всеволодович.

– Знаю, что не можете, и знаю, что не лжете. Слушайте, я все поправить могу: я достану вам зайца!

Ставрогин молчал.

– Вы атеист, потому что вы барич, последний барич. Вы потеряли различие зла и добра, потому что перестали свой народ узнавать. Идет новое поколение; прямо из сердца народного, и не узнаете его вовсе ни вы, ни Верховенские, сын и отец, ни я, потому что я тоже барич; я, сын вашего крепостного лакея Пашки... Слушайте, добудьте Бога трудом; вся суть в этом, или исчезнете, как подлая плесень; трудом добудьте.

– Бога трудом? Каким трудом?

– Мужичким. Идите, бросьте ваши богатства... А! Вы смеетесь, вы боитесь, что выйдет кунштик?

Но Ставрогин не смеялся.

– Вы полагаете, что Бога можно добыть трудом, и именно мужичким? – переговорил он, подумав, как будто действительно встретил что-то новое и серьезное, что стоило обдумать. – Кстати, – перешел он вдруг к новой мысли, – вы мне сейчас напомнили: знаете ли, что я вовсе не богат, так что нечего и бросать? Я почти не в состоянии обеспечить даже будущность Марьи Тимофеевны... Вот что еще: я пришел было вас просить, если можно вам, не оставить и впредь Марью Тимофеевну, так как вы одни могли бы иметь некоторое влияние на ее бедный ум... Я на всякий случай говорю.

– Хорошо, хорошо, вы про Марью Тимофеевну, – замахал рукой Шатов, держа в другой свечу, – хорошо, потом само собой... Слушайте, сходите к Тихону.

– К кому?

– К Тихону. Тихон, бывший архиерей, по болезни живет на покое, здесь, в городе, в черте города, в нашем Ефимьевском Богородском монастыре.

– Это что же такое?

– Ничего. К нему ездят и ходят. Сходите; чего вам? Ну чего вам?

– В первый раз слышу и... никогда еще не видывал этого сорта людей. Благодарю вас, схожу.

– Сюда, – светил Шатов по лестнице, – ступайте, – распахнул он калитку на улицу.

– Я к вам больше не приду, Шатов, – тихо проговорил Ставрогин, шагая чрез калитку.

Темень и дождь продолжались по-прежнему.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ночь (продолжение)

I

Он прошел всю Богоявленскую улицу; наконец пошло под гору, ноги ехали в грязи, и вдруг открылось широкое, туманное, как бы пустое пространство – река. Дома обратились в лачужки, улица пропала во множестве беспорядочных закоулков. Николай Всеволодович долго пробирался около заборов, не отдаляясь от берега, но твердо находя свою дорогу и даже вряд ли много о ней думая. Он занят был совсем другим и с удивлением осмотрелся, когда вдруг, очнувшись от глубокого раздумья, увидел себя чуть не на середине нашего длинного, мокрого плашкотного моста. Ни души кругом, так что странно показалось ему, когда внезапно, почти под самым локтем у него, раздался вежливо-фамильярный, довольно, впрочем, приятный голос, с тем усащенно-скандированным акцентом, которым щеголяют у нас слишком цивилизованные мещане или молодые кудрявые приказчики из Гостиного ряда.

– Не позволите ли, милостивый господин, зонтиком вашим заодно позаимствоваться?

В самом деле, какая-то фигура пролезла, или хотела показать только вид, что пролезла, под его зонтик. Бродяга шел с ним рядом, почти «чувствуя его локтем», – как выражаются солдатики. Убавив шагу, Николай Всеволодович принагнул рассмотреть, насколько это возможно было в темноте: человек росту невысокого и вроде как бы загулявшего мещанинишки; одет не тепло и неприглядно; на лохматой, курчавой голове торчал суконный мокрый картуз с полуоторванным козырьком. Казалось, это был сильный брюнет, сухощавый и смуглый; глаза были большие, непременно черные, с сильным блеском и с желтым отливом, как у цыган; это и в темноте угадывалось. Лет, должно быть, сорока, и не пьян.

– Ты меня знаешь? – спросил Николай Всеволодович.

– Господин Ставрогин, Николай Всеволодович; мне вас на станции, едва лишь машина остановилась, в прошлое воскресенье показывали. Окромя того, что прежде были слышаны.

– От Петра Степановича? Ты... ты Федька Каторжный?

– Крестили Федором Федоровичем; доселе природную родительницу нашу имеем в здешних краях-с, старушку Божию, к земле растет, за нас ежедневно день и ночь Бога молит, чтобы таким образом своего старушечьего времени даром на печи не терять.

– Ты беглый с каторги?

– Переменил участь. Сдал книги и колокола и церковные дела, потому я был решен вдоль по каторге-с, так очень долго уж сроку приходилось дожидаться.

– Что здесь делаешь?

– Да вот день да ночь – сутки прочь. Дяденька тоже наш на прошлой неделе в остроге здешнем по фальшивым деньгам скончались, так я, по нем поминки справляя, два десятка камней собакам раскидал, – вот только и дела нашего было пока. Окромя того, Петр Степанович паспортом по всей Расее, чтобы примерно купеческим, облагодетельствуют, так тоже вот ожидаю их милости. Пото-

му, говорят, папаша тебя в клубе аглицком в карты тогда проиграл; так я, говорят, несправедливым сие бесчеловечие нахожу. Вы бы мне, сударь, согреться, на чаек, три целковых соблаговолили?

– Значит, ты меня здесь стерег; я этого не люблю. По чьему приказанию?

– Чтобы по приказанию, то этого не было-с ничьего, а я единственно человеколюбие ваше знамши, всему свету известное. Наши доходишки, сами знаете, либо сена клок, либо вилы в бок. Я вон в пятницу натрескался пирога, как Мартын мыла, да с тех пор день не ел, другой погодил, а на третий опять не ел. Воды в реке сколько хошь, в брюхе карасей развел... Так вот не будет ли вашей милости от щедрот; а у меня тут как раз неподалеку кума поджидает, только к ней без рублей не являйся.

– Тебе что же Петр Степанович от меня обещал?

– Они не то чтобы пообещали-с, а говорили на словах-с, что могу, пожалуй, вашей милости пригодиться, если полоса такая, примерно, выйдет, но в чем, собственно, того не объяснили, чтобы в точности, потому Петр Степанович меня, примером, в терпении казацком испытывают и доверенности ко мне никакой не питают.

– Почему же?

– Петр Степаныч – астролом и все Божии планиды узнал, а и он критике подвержен. Я пред вами, сударь, как пред Истинным, потому об вас многим наслышаны. Петр Степанович – одно, а вы, сударь, пожалуй что и другое. У того коли сказано про человека: подлец, так уж кроме подлеца он про него ничего не ведает. Али сказано – дурак, так уж кроме дурака у него тому человеку и звания нет. А я, может, по вторникам да по средам только дурак, а в четверг и умнее его. Вот он знает теперь про меня, что я очень паспортом скучаю, – потому в Расее никак нельзя без документа, – так уж и думает, что он мою душу заполонил. Петру Степановичу, я вам скажу, сударь, очень легко жить на свете, потому он человека сам представит себе да с таким и живет. Окромя того больно скуп. Они в том мнении, что я помимо их не посмею вас беспокоить, а я пред вами, сударь, как пред Истинным, – вот уже четвертую ночь вашей милости на сем мосту поджидаю, в том предмете, что и кроме них могу тихими стопами свой собственный путь найти. Лучше, думаю, я уж сапогу поклонюсь, а не лаптю.

– А кто тебе сказал, что я ночью по мосту пойду?

– А уж это, признаться, стороной вышло, больше по глупости капитана Лебядкина, потому они никак чтоб удержать в себе не умеют... Так три-то целковых с вашей милости, примером, за три дня и три ночи, за скуку придется. А что одежи промокло, так мы уж, из обиды одной, молчим.

– Мне налево, тебе направо; мост кончен. Слушай, Федор, я люблю, чтобы мое слово понимали раз навсегда: не дам тебе ни копейки, вперед мне ни на мосту и нигде не встречайся, нужды в тебе не имею и не буду иметь, а если ты не послушаешься – свяжу и в полицию. Марш!

– Эхма, за компанию по крайности набросьте, веселее было идти-с.

– Пошел!

– Да вы дорогу-то здешнюю знаете ли-с? Ведь тут такие проулки пойдут... я бы мог руководствовать, потому здешний город – это все равно, что черт в корзине нес, да растрес.

– Эй, свяжу! – грозно обернулся Николай Всеволодович.

– Рассудите, может быть, сударь; сироту долго ли избидеть.

– Нет, ты, видно, уверен в себе!

– Я, сударь, в вас уверен, а не то чтоб очень в себе.

– Не нужен ты мне совсем, я сказал!

– Да вы-то мне нужны, сударь, вот что-с. Подожду вас на обратном пути, так уж и быть.

– Честное слово даю: коли встречу – свяжу.

– Так я уж и кушачок приготовлю-с. Счастливого пути, сударь, все под зонтиком сироту обогрели, на одном этом по гроб жизни благодарны будем.

Он отстал. Николай Всеволодович дошел до места озабоченный. Этот с неба упавший человек совершенно был убежден в своей для него необходимости и слишком нагло спешил заявить об этом. Вообще с ним не церемонились. Но могло быть и то, что бродяга не все лгал и напрашивался на службу в самом деле только от себя, и именно потихоньку от Петра Степановича; а уж это было всего любопытнее.

II

Дом, до которого дошел Николай Всеволодович, стоял в пустынном закоулке между заборами, за которыми тянулись огороды, буквально на самом краю города. Это был совсем уединенный небольшой деревянный домик, только что отстроенный и еще не обшитый тесом. В одном из окошек ставни были нарочно не заперты и на подоконнике стояла свеча – видимо, с целью служить маяком ожидаемому на сегодня позднему гостю. Шагов еще за тридцать Николай Всеволодович отличил стоявшую на крылечке фигуру высокого ростом человека, вероятно хозяина помещения, вышедшего в нетерпении посмотреть на дорогу. Послышался и голос его, нетерпеливый и как бы робкий:

– Это вы-с? Вы-с?

– Я, – отозвался Николай Всеволодович, не раньше как совсем дойдя до крыльца и свертывая зонтик.

– Наконец-то-с! – затоптался и засуетился капитан Лебядкин, – это был он, – пожалуйста зонтичек; очень мокро-с; я его разверну здесь на полу в уголку, милости просим, милости просим.

Дверь из сеней в освещенную двумя свечами комнату была отворена настежь.

– Если бы только не ваше слово о несомненном прибытии, то перестал бы верить.

– Три четверти первого, – посмотрел на часы Николай Всеволодович, вступая в комнату.

– И при этом дождь и такое интересное расстояние... Часов у меня нет, а из окна одни огороды, так что... отстаешь от событий... но, собственно, не в ропот, потому и не смею, не смею, а единственно лишь от нетерпения, снедаемого всю неделю, чтобы наконец... разрешиться.

– Как?

– Судьбу свою услышать, Николай Всеволодович. Милости просим.

Он склонился, указывая на место у столика пред диваном. Николай Всеволодович осмотрелся; комната была крошечная, низенькая; мебель самая необходимая, стулья и диван деревянные, тоже совсем новой поделки, без обивки и без подушек, два липовые столика, один у дивана, а другой в углу, накрытый скатертью, чем-то весь заставленный и прикрытый сверху чистойшею салфеткой. Да и вся комната содержалась, по-видимому, в большой чистоте. Капитан Лебядкин дней уже восемь не был пьян; лицо его как-то отекло и пожелтело, взгляд был беспокойный, любопытный и очевидно недоумевающий: слишком заметно было,

что он еще сам не знает, каким тоном ему можно заговорить и в какой всего выгоднее было бы прямо попасть.

– Вот-с, – указал он кругом, – живу Зосимой. Трезвость, уединение и нищета – обет древних рыцарей.

– Вы полагаете, что древние рыцари давали такие обеты?

– Может быть, сбился? Увы, мне нет развития! Все погубил! Верите ли, Николай Всеволодович, здесь впервые очнулся от постыдных пристрастий – ни рюмки, ни капли! Имею угол и шесть дней ощущаю благоденствие совести. Даже стены пахнут смолой, напоминая природу. А что я был, чем я был?

Ночью дую без ночлега,
Днем же, высунув язык, –

по гениальному выражению поэта! Но... вы так обмокли... Не угодно ли будет чаю?

– Не беспокойтесь.

– Самовар кипел с восьмого часу, но... потух... как и все в мире. И солнце, говорят, потухнет в свою очередь... Впрочем, если надо, я сочиню. Агафья не спит.

– Скажите, Марья Тимофеевна...

– Здесь, здесь, – тотчас же подхватил Лебядкин шепотом, – угодно будет взглянуть? – указал он на припертую дверь в другую комнату.

– Не спит?

– О нет, нет, возможно ли? Напротив, еще с самого вечера ожидает и, как только узнала давеча, тотчас же сделала туалет, – скривил было он рот в шутиливую улыбочку, но мигом осекся.

– Как она вообще? – нахмурясь, спросил Николай Всеволодович.

– Вообще? Сами изволите знать (он сожалительно вскинул плечами), а теперь... теперь сидит в карты гадает...

– Хорошо, потом; сначала надо кончить с вами.

Николай Всеволодович уселся на стул.

Капитан не посмел уже сесть на диване, а тотчас же придвинул себе другой стул и в трепетном ожидании принагнулся слушать.

– Это что ж у вас там в углу под скатертью? – вдруг обратил внимание Николай Всеволодович.

– Это-с? – повернулся тоже и Лебядкин. – Это от ваших же щедрот, в виде, так сказать, новоселья, взяв тоже во внимание дальнейший путь и естественную усталость, – умилительно подхихикнул он, затем встал с места и на цыпочках, почтительно и осторожно снял со столика в углу скатерть. Под нею оказалась приготовленная закуска: ветчина, телятина, сардины, сыр, маленький зеленоватый графинчик и длинная бутылка бордо; все было уложено чисто, с знанием дела и почти щегольски.

– Это вы хлопотали?

– Я-с. Еще со вчерашнего дня, и все, что мог, чтобы сделать честь... Марья же Тимофеевна на этот счет, сами знаете, равнодушна. А главное, от ваших щедрот, ваше собственное, так как вы здесь хозяин, а не я, а я, так сказать, в виде только вашего приказчика, ибо все-таки, все-таки, Николай Всеволодович, все-таки духом я независим! Не отнимите же вы это последнее достояние мое! – закончил он умилительно.

– Гм!.. вы бы сели опять.

– Блага-а-дарен, благодарен и независим! (Он сел.) Ах, Николай Всеволодович, в этом сердце накопело столько, что я не знал, как вас и дожидаться! Вот вы теперь разрешите судьбу мою и... той несчастной, а там... там, как бывало

прежде, в старину, изолью пред вами все, как четыре года назад! Удостоивали же вы меня тогда слушать, читали строфы... Пусть меня тогда называли вашим Фальстафом из Шекспира, но вы значили столько в судьбе моей!.. Я же имею теперь великие страхи, и от вас одного только и жду и совета и света. Петр Степанович ужасно поступает со мной!

Николай Всеволодович любопытно слушал и пристально вглядывался. Очевидно, капитан Лебядкин хоть и перестал пьянствовать, но все-таки находился далеко не в гармоническом состоянии. В подобных многолетних пьяницах утверждается под конец навсегда нечто нескладное, чадное, что-то как бы поврежденное и безумное, хотя, впрочем, они надувают, хитрят и плутуют почти не хуже других, если надо.

– Я вижу, что вы вовсе не переменялись, капитан, в эти с лишком четыре года, – проговорил как бы несколько ласковее Николай Всеволодович. – Видно, правда, что вся вторая половина человеческой жизни составляет обыкновенно из одних только накопленных в первую половину привычек.

– Высокие слова! Вы разрешаете загадку жизни! – вскричал капитан, наполовину плутуя, а наполовину действительно в неподдельном восторге, потому что был большой любитель словечек. – Из всех ваших слов, Николай Всеволодович, я запомнил одно по преимуществу, вы еще в Петербурге его высказали: «Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла». Вот-с!

– Ну, равно и дураком.

– Так-с, пусть и дураком, но вы всю жизнь вашу сыпали остроумием, а они? Пусть Липутин, пусть Петр Степанович хоть что-нибудь подобное изрекут! О, как жестоко поступал со мной Петр Степанович!..

– Но ведь и вы, однако же, капитан, как сами-то вы вели себя?

– Пьяный вид и к тому же бездна врагов моих! Но теперь все, все проехало, и я обновляюсь, как змей. Николай Всеволодович, знаете ли, что я пишу мое завещание и что я уже написал его?

– Любопытно. Что же вы оставляете и кому?

– Отчеству, человечеству и студентам. Николай Всеволодович, я прочел в газетах биографию об одном американце. Он оставил все свое огромное состояние на фабрики и на положительные науки, свой скелет студентам, в тамошнюю академию, а свою кожу на барабан, с тем чтобы денно и ночно выбивать на нем американский национальный гимн. Увы, мы пигмеи сравнительно с полетом мысли Северо-Американских Штатов; Россия есть игра природы, но не ума. Попробуй я завещать мою кожу на барабан, примерно в Акмолинский пехотный полк, в котором имел честь начать службу, с тем чтобы каждый день выбивать на нем пред полком русский национальный гимн, сочтут за либерализм, запретят мою кожу... и потому ограничился одними студентами. Хочу завещать мой скелет в академию, но с тем, с тем, однако, чтобы на лбу его был наклеен на веки веков ярлык со словами: «Раскаившийся вольнодумец». Вот-с!

Капитан говорил горячо и уже, разумеется, верил в красоту американского завещания, но он был и плут, и ему очень хотелось тоже рассмешить Николая Всеволодовича, у которого он прежде долгое время состоял в качестве шута. Но тот и не усмехнулся, а, напротив, как-то подозрительно спросил:

– Вы, стало быть, намерены опубликовать ваше завещание при жизни и получить за него награду?

– А хоть бы и так, Николай Всеволодович, хоть бы и так? – осторожно вгляделся Лебядкин. – Ведь судьба-то моя какова! Даже стихи перестал писать, а

когда-то и вы забавлялись моими стишками, Николай Всеволодович, помните, за бутылкой? Но конец перу. Написал только одно стихотворение, как Гоголь «Последнюю повесть», помните, еще он возвещал России, что она «выпелась» из груди его. Так и я, пропел, и баста.

– Какое же стихотворение?

– «В случае, если б она сломала ногу»!

– Что-о?

Того только и ждал капитан. Стихотворения свои он уважал и ценил безмерно, но тоже, по некоторой плутовской двойственности души, ему нравилось и то, что Николай Всеволодович всегда, бывало, веселился его стишками и хохотал над ними, иногда схватясь за бока. Таким образом достигались две цели – и поэтическая и служебная; но теперь была и третья, особенная и весьма щекотливая цель: капитан, выдвигая на сцену стихи, думал оправдать себя в одном пункте, которого почему-то всего более для себя опасался и в котором всего более ощущал себя провинившимся.

– «В случае, если б она сломала ногу», то есть в случае верховой езды. Фантазия, Николай Всеволодович, бред, но бред поэта: однажды был поражен, проходя, при встрече с наездницей и задал материальный вопрос: «Что бы тогда было?» – то есть в случае. Дело ясное: все искали на попятный, все женихи прочь, морген фри, нос утри, один поэт остался бы верен с раздавленным в груди сердцем. Николай Всеволодович, даже вошь, и та могла бы быть влюблена, и той не запрещено законами. И, однако же, особа была обижена и письмом, и стихами. Даже вы, говорят, рассердились, так ли-с; это скорбно; не хотел даже верить. Ну, кому бы я мог повредить одним воображением? К тому ж, честью клянусь, тут Липутин: «Пошли да пошли, всякий человек достоин права переписки», – я и послал.

– Вы, кажется, предлагали себя в женихи?

– Враги, враги и враги!

– Скажите стихи, – сурово перебил Николай Всеволодович.

– Бред, бред прежде всего.

Однако же он выпрямился, протянул руку и начал:

Краса красот сломала член
И интересней вдвое стала,
И вдвое сделался влюблен
Влюбленный уж немало.

– Ну, довольно, – махнул рукой Николай Всеволодович.

– Мечтаю о Питере, – перескочил поскорее Лебядкин, как будто и не было никогда стихов, – мечтаю о возрождении... Благодетель! Могу ли рассчитывать, что не откажете в средствах к поездке? Я как солнца ожидал вас всю неделю.

– Ну нет, уж извините, у меня совсем почти не осталось средств, да и зачем мне вам деньги давать?..

Николай Всеволодович как будто вдруг рассердился. Сухо и кратко перечислил он все преступления капитана: пьянство, вранье, трату денег, назначавшихся Марье Тимофеевне, то, что ее взяли из монастыря, дерзкие письма с угрозами опубликовать тайну, поступок с Дарьей Павловной и пр., и пр. Капитан колыхался, жестикулировал, начинал возражать, но Николай Всеволодович каждый раз повелительно его останавливал.

– И позвольте, – заметил он наконец, – вы все пишете о «фамильном позоре». Какой же позор для вас в том, что ваша сестра в законном браке со Ставрогиным?

– Но брак под спудом, Николай Всеволодович, брак под спудом, роковая тайна. Я получаю от вас деньги, и вдруг мне задают вопрос: за что эти деньги? Я связан и не могу отвечать, во вред сестре, во вред фамильному достоинству.

Капитан повысил тон: он любил эту тему и крепко на нее рассчитывал. Увы, он и не предчувствовал, как его огорошат. Спокойно и точно, как будто дело шло о самом обыденном домашнем распоряжении, Николай Всеволодович сообщил ему, что на днях, может быть даже завтра или послезавтра, он намерен свой брак сделать повсеместно известным, «как полиции, так и обществу», а стало быть, кончится сам собою и вопрос о фамильном достоинстве, а вместе с тем и вопрос о субсидиях. Капитан вытаращил глаза; он даже и не понял; надо было растолковать ему.

– Но ведь она... полоумная?

– Я сделаю такие распоряжения.

– Но... как же ваша родительница?

– Ну, уж это как хочет.

– Но ведь вы введете же вашу супругу в ваш дом?

– Может быть и да. Впрочем, это в полном смысле не ваше дело и до вас совсем не относится.

– Как не относится! – вскричал капитан. – А я-то как же?

– Ну, разумеется, вы не войдете в дом.

– Да ведь я же родственник.

– От таких родственников бегут. Зачем мне давать вам тогда деньги, рассудите сами?

– Николай Всеволодович, Николай Всеволодович, этого быть не может, вы, может быть, еще рассудите, вы не захотите наложить руки... что подумают, что скажут в свете?

– Очень я боюсь вашего света. Женился же я тогда на вашей сестре, когда захотел, после пьяного обеда, из-за пари на вино, а теперь вслух опубликую об этом... если это меня теперь тешит?

Он произнес это как-то особенно раздражительно, так что Лебядкин с ужасом начал верить.

– Но ведь я, я-то как, главное ведь тут я!.. Вы, может быть, шутите-с, Николай Всеволодович?

– Нет, не шучу.

– Воля ваша, Николай Всеволодович, а я вам не верю... тогда я просьбу подам.

– Вы ужасно глупы, капитан.

– Пусть, но ведь это все, что мне остается! – сбился совсем капитан. – Прежде за ее службу там в углах по крайней мере нам квартиру давали, а теперь что же будет, если вы меня совсем бросите?

– Ведь хотите же вы ехать в Петербург переменять карьеру. Кстати, правда, я слышал, что вы намерены ехать с доносом, в надежде получить прощение, объявив всех других?

Капитан разинул рот, выпучил глаза и не отвечал.

– Слушайте, капитан, – чрезвычайно серьезно заговорил вдруг Ставрогин, пригнавшись к столу. До сих пор он говорил как-то двусмысленно, так что Лебядкин, искусившийся в роли шута, до последнего мгновения все-таки был капельку неуверен: сердится ли его барин в самом деле или только подшучивает, имеет ли в самом деле дикую мысль объявить о браке или только играет? Теперь же необыкновенно строгий вид Николая Всеволодовича до того был убедителен, что даже озноб пробежал по спине капитана. – Слушайте и говорите правду, Ле-

бядкин: донесли вы о чем-нибудь или еще нет? Успели вы что-нибудь в самом деле сделать? Не послали ли какого-нибудь письма по глупости?

– Нет-с, ничего не успел и... не думал, – неподвижно смотрел капитан.

– Ну, вы лжете, что не думали. Вы в Петербург для того и проситесь. Если не писали, то не сболтнули ли чего-нибудь кому-нибудь здесь? Говорите правду, я кое-что слышал.

– В пьяном виде Липутину. Липутин изменник. Я открыл ему сердце, – прошептал бедный капитан.

– Сердце сердцем, но не надо же быть и дуралеем. Если у вас была мысль, то держали бы про себя; нынче умные люди молчат, а не разговаривают.

– Николай Всеволодович! – задрожал капитан, – ведь вы сами ни в чем не участвовали, ведь я не на вас...

– Да уж на дойную свою корову вы бы не посмели доносить.

– Николай Всеволодович, посудите, посудите!.. – и в отчаянии, в слезах капитан начал торопливо излагать свою повесть за все четыре года. Это была глупейшая повесть о дураке, втянувшемся не в свое дело и почти не понимавшем его важности до самой последней минуты, за пьянством и за гульбой. Он рассказал, что еще в Петербурге «увлекся спервоначалу, просто по дружбе, как верный студент, хотя и не будучи студентом», и, не зная ничего, «ни в чем не повинный», разбрасывал разные бумажки на лестницах, оставлял десятками у дверей, у звонков, засовывал вместо газет, в театр проносил, в шляпы совал, в карманы пропускал. А потом и деньги стал от них получать, «потому что средства-то, средства-то мои каковы-с!». В двух губерниях по уездам разбрасывал «всякую дрянь». – О, Николай Всеволодович, – восклицал он, – всего более возмущало меня, что это совершенно противно гражданским и преимущественно отечественным законам! Напечатано вдруг, чтобы выходили с вилами и чтобы помнили, что кто выйдет поутру бедным, может вечером воротиться домой богатым, – подумайте-с! Самого содрогание берет, а разбрасываю. Или вдруг пять-шесть строк ко всей России, ни с того ни с сего: «Запирайте скорее церкви, уничтожайте Бога, нарушайте браки, уничтожайте права наследства, берите ножи», и только, и черт знает что дальше. Вот с этой бумажкой, с пятистрочною-то, я чуть не попался, в полку офицеры поколотили, да, дай Бог здоровья, выпустили. А там прошлого года чуть не захватили, как я пятидесятирублевые французской подделки Короваеву передал; да, слава Богу, Короваев как раз пьяный в пруду утонул к тому времени и меня не успели изобличить. Здесь у Виргинского провозглашал свободу социальной жены. В июне месяце опять в –ском уезде разбрасывал. Говорят, еще заставят... Петр Степанович вдруг дает знать, что я должен слушаться; давно уже угрожает. Ведь как он в воскресенье тогда поступил со мной! Николай Всеволодович, я раб, я червь, но не Бог, тем только и отличаюсь от Державина. Но ведь средства-то, средства-то мои каковы!

Николай Всеволодович прослушал все любопытно.

– Многого я вовсе не знал, – сказал он, – разумеется, с вами все могло случиться... Слушайте, – сказал он, подумав, – если хотите, скажите им, ну, там кому знаете, что Липутин соврал и что вы только меня попугать доносом собирались, полагая, что я тоже скомпрометирован, и чтобы с меня таким образом больше денег взыскать... Понимаете?

– Николай Всеволодович, голубчик, неужто же мне угрожает такая опасность? Я только вас и ждал, чтобы вас спросить.

Николай Всеволодович усмехнулся.

– В Петербург вас, конечно, не пустят, хотя б я вам и дал денег на поездку... а впрочем, к Марье Тимофеевне пора, – и он встал со стула.

– Николай Всеволодович, а как же с Марьей-то Тимофеевной?

– Да так, как я сказывал.

– Неужто и это правда?

– Вы все не верите?

– Неужели вы меня так и сбросите, как старый изношенный сапог?

– Я посмотрю, – засмеялся Николай Всеволодович, – ну, пустите.

– Не прикажете ли, я на крылечке постою-с... чтобы как-нибудь невзначай чего не подслушать... потому что комнатки крошечные.

– Это дело; постойте на крыльце. Возьмите зонтик.

– Зонтик ваш... стбит ли для меня-с? – пересластил капитан.

– Зонтика всякий стбит.

– Разом определяете minimum прав человеческих...

Но он уже лепетал машинально; он слишком был подавлен известиями и сбился с последнего толку. И, однако же, почти тотчас же, как вышел на крыльцо и распустил над собой зонтик, стала наклеиваться в легкомысленной и плутоватой голове его опять всегдашняя успокоительная мысль, что с ним хитрят и ему лгут, а коли так, то не ему бояться, а его бояться.

«Если лгут и хитрят, то в чем тут именно штука?» – скреблось в его голове. Провозглашение брака ему казалось нелепостью: «Правда, с таким чудотворцем все сдееся; для зла людям живет. Ну, а если сам боится, с воскресного-то афронта, да еще так, как никогда? Вот и прибежал уверять, что сам провозгласит, от страха, чтоб я не провозгласил. Эй, не промахнись, Лебядкин! И к чему придеть ночью, крадучись, когда сам желает огласки? А если боится, то, значит, теперь боится, именно сейчас, именно за эти несколько дней... Эй, не свернись, Лебядкин!..»

Пугает Петром Степановичем. Ой, жутко, ой, жутко; нет, вот тут так жутко! И дернуло меня сболтнуть Липутину. Черт знает что затевают эти черти, никогда не мог разобрать. Опять заворочались, как пять лет назад. Правда, кому бы я донес? «Не написали ли кому по глупости?» Гм. Стало быть, можно написать, под видом как бы глупости? Уж не совет ли дает? «Вы в Петербург затем едете». Мошенник, мне только приснилось, а уж он и сон отгадал! Точно сам подталкивает ехать. Тут две штуки наверно, одна аль другая: или опять-таки сам боится, потому что накуролесил, или... или ничего не боится сам, а только подталкивает, чтоб я на них всех донес! Ох, жутко, Лебядкин, ох, как бы не промахнуться!..»

Он до того задумался, что позабыл и подслушивать. Впрочем, подслушать было трудно; дверь была толстая, одностворчатая, а говорили очень негромко; доносились какие-то неясные звуки. Капитан даже плюнул и вышел опять, в задумчивости, посвистать на крыльцо.

III

Комната Марьи Тимофеевны была вдвое более той, которую занимал капитан, и меблирована такую же топорною мебелью; но стол пред диваном был накрыт цветною нарядною скатертью; на нем горела лампа; по всему полу был разостлан прекрасный ковер; кровать была отделена длинною, во всю комнату, зеленою занавесью, и, кроме того, у стола находилось одно большое мягкое кресло, в которое, однако, Марья Тимофеевна не садилась. В углу, как и в прежней кварти-

ре, помещался образ, с зажженной пред ним лампадкой, а на столе разложены были все те же необходимые вещицы: колода карт, зеркальце, песенник, даже сдобная булочка. Сверх того, явились две книжки с раскрашенными картинками, одна – выдержки из одного популярного путешествия, приспособленные для отроческого возраста, другая – сборник легоньких нравоучительных и большею частью рыцарских рассказов, предназначенный для елок и институтов. Был еще альбом разных фотографий, Марья Тимофеевна, конечно, ждала гостя, как и предварил капитан; но когда Николай Всеволодович к ней вошел, она спала, полулежа на диване, склонившись на гарусную подушку. Гость неслышно притворил за собою дверь и, не сходя с места, стал рассматривать спящую.

Капитан пригнул, сообщая о том, что она сделала туалет. Она была в том же темненьком платье, как и в воскресенье у Варвары Петровны. Точно так же были завязаны ее волосы в крошечный узелок на затылке; точно так же обнажена длинная и сухая шея. Подаренная Варварой Петровной черная шаль лежала, бережно сложенная, на диване. По-прежнему была она грубо набелена и нарумянена. Николай Всеволодович не простоял и минуты, она вдруг проснулась, точно почувствовав его взгляд над собою, открыла глаза и быстро выпрямилась. Но, должно быть, что-то странное произошло и с гостем: он продолжал стоять на том же месте у дверей; неподвижно и пронзительным взглядом, безмолвно и упорно всматривался в ее лицо. Может быть, этот взгляд был излишне суров, может быть, в кем выразилось отвращение, даже злорадное наслаждение ее испугом – если только не померещилось так со сна Марье Тимофеевне; но только вдруг, после минутного почти выжидания, в лице бедной женщины выразился совершенный ужас; по нем пробежали судороги, она подняла, сотрясая их, руки и вдруг заплакала, точь-в-точь как испугавшийся ребенок; еще мгновение, и она бы закричала. Но гость опомнился; в один миг изменилось его лицо, и он подошел к столу с самою приветливою и ласковою улыбкой.

– Виноват, напугал я вас, Марья Тимофеевна, нечаянным приходом, сосна, – проговорил он, протягивая ей руку.

Звуки ласковых слов произвели свое действие, испуг исчез, хотя все еще она смотрела с боязнью, видимо усиливаясь что-то понять. Боязливо протянула и руку. Наконец улыбка робко шевельнулась на ее губах.

– Здравствуйте, князь, – прошептала она, как-то странно в него вглядываясь.

– Должно быть, сон дурной видели? – продолжал он все приветливее и ласковее улыбаться.

– А вы почему узнали, что я *про это* сон видела?..

И вдруг она опять задрожала и отшатнулась назад, подымая пред собой, как бы в защиту, руку и приготовляясь опять заплакать.

– Оправьтесь, полноте, чего бояться, неужто вы меня не узнали? – уговаривал Николай Всеволодович, но на этот раз долго не мог уговорить; она молча смотрела на него, все с тем же мучительным недоумением, с тяжелою мыслию в своей бедной голове и все так же усиливаясь до чего-то додуматься. То потупляла глаза, то вдруг окидывала его быстрым, обхватывающим взглядом. Наконец не то что успокоилась, а как бы решилась.

– Садитесь, прошу вас, подле меня, чтобы можно было мне потом вас разглядеть, – произнесла она довольно твердо, с явною и какою-то новою целью. – А теперь не беспокойтесь, я и сама не буду глядеть на вас, а буду вниз смотреть. Не глядите и вы на меня до тех пор, пока я вас сама не попрошу. Садитесь же, – прибавила она даже с нетерпением.

Новое ощущение видимо овладевало ею все более и более.

Николай Всеволодович уселся и ждал; наступило довольно долгое молчание.

– Гм! Странно мне это все, – пробормотала она вдруг чуть не брезгливо, – меня, конечно, дурные сны одолели; только вы-то зачем в этом самом виде приснились?

– Ну, оставим сны, – нетерпеливо проговорил он, поворачиваясь к ней, не смотря на запрещение, и, может быть, опять давешнее выражение мелькнуло в его глазах. Он видел, что ей несколько раз хотелось, и очень бы, взглянуть на него, но что она упорно крепилась и смотрела вниз.

– Слушайте, князь, – возвысила она вдруг голос, – слушайте, князь...

– Зачем вы отвернулись, зачем на меня не смотрите, к чему эта комедия? – вскричал он, не утерпев.

Но она как бы и не слыхала вовсе.

– Слушайте, князь, – повторила она в третий раз твердым голосом, с неприятною, хлопотливою миной в лице. – Как сказали вы мне тогда в карете, что брак будет объявлен, я тогда же испугалась, что тайна кончится. Теперь уж и не знаю; все думала и ясно вижу, что совсем не гожусь. Нарядиться сумею, принять тоже, пожалуй, могу: эка беда на чашку чая пригласить, особенно коли есть лакеи. Но ведь все-таки как посмотрят со стороны. Я тогда, в воскресенье, многое в том доме утром разглядела. Эта барышня хорошенькая на меня все время глядела, особенно когда вы вошли. Ведь это вы тогда вошли, а? Мать ее просто смешная светская старушонка. Мой Лебядкин тоже отличился; я, чтобы не рассмеяться, все в потолок смотрела, хорошо там потолок расписан. Матери *его* игуменьей бы только быть; боюсь я ее, хоть и подарила черную шаль. Должно быть, все они аттестовали тогда меня с неожиданной стороны; я не сержусь, только сижу я тогда и думаю: какая я им родня? Конечно, с графини требуются только душевные качества, – потому что для хозяйственных у ней много лакеев, – да еще какое-нибудь светское кокетство, чтоб уметь принять иностранных путешественников. Но все-таки тогда в воскресенье они смотрели на меня с безнадельностью. Одна Даша ангел. Очень я боюсь, чтоб они не огорчили *его* как-нибудь неосторожным отзывом на мой счет.

– Не бойтесь и не тревожьтесь, – скривил рот Николай Всеволодович.

– Впрочем, ничего мне это не составит, если ему и стыдно за меня будет немножко, потому что всегда больше жалости, чем стыда, судя по человеку, конечно. Ведь он знает, что скорей мне их жалеть, а не им меня.

– Вы, кажется, очень обиделись на них, Марья Тимофеевна?

– Кто, я? нет, – простодушно усмехнулась она. – Совсем-таки нет. Посмотрела я на вас всех тогда: все-то вы сердитесь, все-то вы перессорились; сойдутся и посмеяться по душе не умеют. Столько богатства и так мало веселья – гнусно мне это все. Мне, впрочем, теперь никого не жалко, кроме себя самой.

– Я слышал, вам с братом худо было жить без меня?

– Это кто вам сказал? Вздор; теперь хуже гораздо; теперь сны нехороши, а сны нехороши стали потому, что вы приехали. Вы-то, спрашивается, зачем появились, скажите, пожалуйста?

– А не хотите ли опять в монастырь?

– Ну, я так и предчувствовала, что они опять монастырь предложат! Эка невидаль мне ваш монастырь! Да и зачем я в него пойду, с чем теперь войду? Теперь уж одна-одинешенька! Поздно мне третью жизнь начинать.

– Вы за что-то очень сердитесь, уж не боитесь ли, что я вас разлюбил?

– Об вас я и совсем не забочусь. Я сама боюсь, чтобы кого очень не разлюбить. Она презрительно усмехнулась.

– Виновата я, должно быть, перед *ним* в чем-нибудь очень большом, – прибавила она вдруг как бы про себя, – вот не знаю только, в чем виновата, вся в этом беда моя век. Всегда-то, всегда, все эти пять лет, я боялась день и ночь, что пред ним в чем-то я виновата. Молюсь я, бывало, молюсь и все думаю про вину мою великую пред ним. Ан вот и вышло, что правда была.

– Да что вышло-то?

– Боюсь только, нет ли тут чего с *его* стороны, – продолжала она, не отвечая на вопрос, даже вовсе его не расслышав. – Опять-таки не мог же он сойтись с такими людишками. Графиня съест меня рада, хоть и в карету с собой посадила. Все в заговоре – неужто и он? Неужто и он изменил? (Подбородок и губы ее задрожали.) Слушайте вы: читали вы про Гришку Отрепьева, что на семи соборах был проклят?

Николай Всеволодович промолчал.

– А впрочем, я теперь поворочусь к вам и буду на вас смотреть, – как бы решила она вдруг, – поворотитесь и вы ко мне и поглядите на меня, только попристальнее. Я в последний раз хочу удостовериться.

– Я смотрю на вас уже давно.

– Гм, – проговорила Марья Тимофеевна, сильно всматриваясь, – потолстели вы очень...

Она хотела было еще что-то сказать, но вдруг опять, в третий раз, давешний испуг мгновенно исказил лицо ее, и опять она отшатнулась, подымая пред собою руку.

– Да что с вами? – вскричал Николай Всеволодович почти в бешенстве.

Но испуг продолжался только одно мгновение; лицо ее перекосилось какою-то странною улыбкой, подозрительною, неприятною.

– Я прошу вас, князь, встаньте и войдите, – произнесла она вдруг твердым и настойчивым голосом.

– Как *войдите*? Куда я войду?

– Я все пять лет только и представляла себе, как *он* войдет. Встаньте сейчас и уйдите за дверь, в ту комнату. Я буду сидеть, как будто ничего не ожидая, и возьму в руки книжку, и вдруг вы войдите после пяти лет путешествия. Я хочу посмотреть, как это будет.

Николай Всеволодович проскрежетал про себя зубами и проворчал что-то неразборчивое.

– Довольно, – сказал он, ударяя ладонью по столу. – Прошу вас, Марья Тимофеевна, меня выслушать. Сделайте одолжение, соберите, если можете, все ваше внимание. Не совсем же ведь вы сумасшедшая! – прорвался он в нетерпении. – Завтра я объявляю наш брак. Вы никогда не будете жить в палатах, разувьетесь. Хотите жить со мною всю жизнь, но только очень отсюда далеко? Это в горах, в Швейцарии, там есть одно место... Не беспокойтесь, я никогда вас не брошу и в сумасшедший дом не отдам. Денег у меня достанет, чтобы жить не прося. У вас будет служанка; вы не будете исполнять никакой работы. Все, что пожелаете из возможного, будет вам доставлено. Вы будете молиться, ходить куда угодно и делать что вам угодно. Я вас не трону. Я тоже с моего места всю жизнь никуда не сойду. Хотите, всю жизнь не буду говорить с вами, хотите, рассказывайте мне каждый вечер, как тогда в Петербурге в углах, ваши повести. Буду вам книги читать, если пожелаете. Но зато так всю жизнь, на

одном месте, а место это угрюмое. Хотите? решаетесь? Не будете раскаиваться, терзать меня слезами, проклятиями?

Она прослушала с чрезвычайным любопытством и долго молчала и думала.

– Невероятно мне это все, – проговорила она наконец насмешливо и брезгливо. – Этак я, пожалуй, сорок лет проживу в тех горах. – Она рассмеялась.

– Что ж, и сорок лет проживем, – очень нахмурился Николай Всеволодович.

– Гм. Ни за что не поеду.

– Даже и со мной?

– А вы что такое, чтоб я с вами ехала? Сорок лет сряду с ним на горе сиди – ишь подъехал. И какие, право, люди нынче терпеливые начались! Нет, не может того быть, чтобы сокол филином стал. Не таков мой князь! – гордо и торжественно подняла она голову.

Его будто осенило.

– С чего вы меня князем зовете и... за кого принимаете? – быстро спросил он.

– Как? разве вы не князь?

– Никогда им и не был.

– Так вы сами, сами, так-таки прямо в лицо, признаетесь, что вы не князь!

– Говорю, никогда не был.

– Господи! – всплеснула она руками, – всего от врагов *его* ожидала, но такой дерзости – никогда! Жив ли он? – вскричала она в исступлении, надвигаясь на Николая Всеволодовича. – Убил ты его или нет, признавайся!

– За кого ты меня принимаешь? – вскочил он с места с искаженным лицом; но ее уже было трудно испугать, она торжествовала:

– А кто тебя знает, кто ты таков и откуда ты выскочил! Только сердце мое, сердце чуяло, все пять лет, всю интригу! А я-то сижу, дивлюсь: что за сова слепая подъехала? Нет, голубчик, плохой ты актер, хуже даже Лебядкина. Поклонись от меня графине пониже да скажи, чтобы присылала почище тебя. Наняла она тебя, говори? У ней при милости на кухне состоишь? Весь ваш обман насквозь вижу, всех вас, до одного, понимаю!

Он схватил ее крепко, выше локтя, за руку; она хохотала ему в лицо:

– Похож-то ты очень похож, может, и родственник ему будешь, – хитрый народ! Только мой – ясный сокол и князь, а ты – сыч и купчишка! Мой-то и Богу, захочет, поклонится, а захочет, и нет, а тебя Шатушка (милый он, родимый, голубчик мой!) по щекам отхлестал, мой Лебядкин рассказывал. И чего ты тогда струсил, вошел-то? Кто тебя тогда напугал? Как увидала я твое низкое лицо, когда упала, а ты меня подхватил, – точно червь ко мне в сердце заполз: не он, думаю, не он! Не постыдился бы сокол мой меня никогда пред светской барышней! О Господи! да я уж тем только была счастлива, все пять лет, что сокол мой где-то там, за горами, живет и летает, на солнце взирает... Говори, самозванец, много ли взял? За большие ли деньги согласился? Я бы гроша тебе не дала. Ха-ха-ха! ха-ха-ха!..

– У, идиотка! – проскрежетал Николай Всеволодович, все еще крепко держа ее за руку.

– Прочь, самозванец! – повелительно вскричала она. – Я моего князя жена, не боюсь твоего ножа!

– Ножа!

– Да, ножа! у тебя нож в кармане. Ты думал, я спала, а я видела: ты как вошел давеча, нож вынимал!

– Что ты сказала, несчастная, какие сны тебя снятся! – возопил он и изо всей силы оттолкнул ее от себя, так что она даже больно ударилась плечами и головой

о диван. Он бросился бежать; но она тотчас же вскочила за ним, хромая и прискакивая, вдогонку, и уже с крыльца, удерживаемая изо всех сил перепугавшимся Лебядкиным, успела ему еще прокричать, с визгом и с хохотом, вослед в темноту:

– Гришка От-реп-ев а-на-фе-ма!

IV

«Нож, нож!» – повторял он в неутолимой злобе, широко шагая по грязи и лужам, не разбирая дороги. Правда, минутами ему ужасно хотелось захохотать, громко, бешено; но он почему-то крепился и сдерживал смех. Он опомнился лишь на мосту, как раз на самом том месте, где давеча ему встретился Федька; тот же самый Федька ждал его тут и теперь и, завидев его, снял фуражку, весело оскалил зубы и тотчас же начал о чем-то бойко и весело растабарывать. Николай Всеволодович сначала прошел не останавливаясь, некоторое время даже совсем и не слушал опять увязавшегося за ним бродягу. Его вдруг поразила мысль, что он совершенно забыл про него, и забыл именно в то время, когда сам ежеминутно повторял про себя: «Нож, нож». Он схватил бродягу за шиворот и, со всею накопившеюся злобой, из всей силы ударил его об мост. Одно мгновение тот думал было бороться, но, почти тотчас же догадавшись, что он пред своим противником, напавшим к тому же нечаянно, – нечто вроде соломинки, затих и примолк, даже нисколько не сопротивляясь. Стоя на коленях, придавленный к земле, с вывернутыми на спину локтями, хитрый бродяга спокойно ожидал развязки, совершенно, кажется, не веря в опасность.

Он не ошибся. Николай Всеволодович уже снял было с себя, левою рукой, теплый шарф, чтобы скрутить своему пленнику руки; но вдруг почему-то бросил его и оттолкнул от себя. Тот мигом вскочил на ноги, обернулся, и короткий широкий сапожный нож, мгновенно откуда-то взявшийся, блеснул в его руке.

– Долой нож, спрячь, спрячь сейчас! – приказал с нетерпеливым жестом Николай Всеволодович, и нож исчез так же мгновенно, как появился.

Николай Всеволодович опять молча и не оборачиваясь пошел своею дорогой; но упрямый негодяй все-таки не отстал от него, правда теперь уже не растабарывая и даже почтительно наблюдая дистанцию на целый шаг позади. Оба прошли таким образом мост и вышли на берег, на этот раз повернув налево, тоже в длинный и глухой переулок, но которым короче было пройти в центр города, чем давешним путем по Богоявленской улице.

– Правда, говорят, ты церковь где-то здесь в уезде на днях обокрал? – спросил вдруг Николай Всеволодович.

– Я, то есть собственно, помолиться спервоначалу зашел-с, – степенно и учтиво, как будто ничего и не произошло, отвечал бродяга; даже не то что степенно, а почти с достоинством. Давешней «дружеской» фамильярности не было и в помине. Видно было человека делового и серьезного, правда напрасно обиженного, но умеющего забывать и обиды.

– Да как завел меня туда Господь, – продолжал он, – эх, благодать небесная, думаю! По сиротству моему произошло это дело, так как в нашей судьбе совсем нельзя без вспомоществования. И вот, верьте Богу, сударь, себе в убыток, наказал Господь за грехи: за махальницу, да за хлопотницу, да за дьяконов чересседельник всего только двенадцать рублей приобрел. Николая Угодника подбородник, чистый серебряный, задаром пошел: симилёровый, говорят.

– Сторожа зарезал?

– То есть мы вместе и прибирали-с с тем сторожем, да уж потом, под утро, у речки, у нас взаимный спор вышел, кому мешок нести. Согрешил, облегчил его маненечко.

– Режь еще, обокради еще.

– То же самое и Петр Степанович, как есть в одно слово с вами, советуют-с, потому что они чрезвычайно скупой и жестокосердый насчет вспомоществования человек-с. Окромя того, что уже в Творца Небесного, нас из персти земной создавшего, ни на грош не веруют-с, а говорят, что все одна природа устроила, даже до последнего будто бы зверя, они и не понимают, сверх того, что по нашей судьбе нам, чтобы без благодетельного вспомоществования, совершенно никак нельзя-с. Станешь ему толковать, смотрит как баран на воду, дивишься на него только. Вон, поверите ли-с, у капитана Лебядкина-с, где сейчас изволили посещать-с, когда еще они до вас проживали у Филиппова-с, так иной раз дверь всю ночь настежь не запертая стоит-с, сам спит пьян мертвецки, а деньги у него изо всех карманов на пол сыплются. Своими глазами наблюдать приходилось, потому по нашему обороту, чтобы без вспомоществования, этого никак нельзя-с...

– Как своими глазами? Заходил, что ли, ночью?

– Может, и заходил, только это никому неизвестно.

– Что ж не зарезал?

– Прикинув на счетах, остепенил себя-с. Потому, раз узнавши доподлинно, что сотни полторы рублей всегда могу вынуть, как же мне пускаться на то, когда и все полторы тысячи могу вынуть; если только пообождав? Потому капитан Лебядкин (своими ушами слышал-с) всегда на вас очень надеялись в пьяном виде-с, и нет здесь такого трактирного заведения, даже последнего кабака, где бы они не объявляли о том в сем самом виде-с. Так что, слышамши про то из многих уст, я тоже на ваше сиятельство всю мою надежду стал возлагать. Я, сударь, вам как отцу али родному брату, потому Петр Степанович никогда того от меня не узнают и даже ни единая душа. Так три-то рублика, ваше сиятельство, соблаговолите аль Нет-с? Развязали бы вы меня, сударь, чтоб я то есть знал правду истинную, потому нам, чтобы без вспомоществования, никак нельзя-с.

Николай Всеволодович громко захохотал и, вынув из кармана портмоне, в котором было рублей до пятидесяти мелкими кредитками, выбросил ему одну бумажку из пачки, затем другую, третью, четвертую. Федька подхватывал на лету, кидался, бумажки сыпались в грязь, Федька ловил и прикрикивал: «Эх, эх!» Николай Всеволодович кинул в него, наконец, всю пачкой и, продолжая хохотать, пустился по переулку на этот раз уже один. Бродяга остался искать, ерзая на коленках в грязи, разлетевшиеся по ветру и потонувшие в лужах кредитки, и целый час еще можно было слышать в темноте его отрывистые вскрикивания: «Эх, эх!»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Поединок

I

На другой день, в два часа пополудни, предположенная дуэль состоялась. Быстрому исходу дела способствовало неукротимое желание Артемия Павловича Гаганова драться во что бы то ни стало. Он не понимал поведения своего противника и был в бешенстве. Целый уже месяц он оскорблял его безнаказанно и все еще не мог вывести из терпения. Вызов ему был необходим со стороны самого Николая Всеволодовича, так как сам он не имел прямого предложения к вызову. В тайных же побуждениях своих, то есть просто в болезненной ненависти к Ставрогину за фамильное оскорбление четыре года назад, он почему-то совестился сознаться. Да и сам считал такой предлог невозможным, особенно ввиду смиренных извинений, уже два раза предложенных Николаем Всеволодовичем. Он положил про себя, что тот бесстыдный трус; понять не мог, как тот мог снести пощечину от Шатова; таким образом и решился наконец послать то необычайное по грубости своей письмо, которое побудило наконец самого Николая Всеволодовича предложить встречу. Отправив накануне это письмо и в лихорадочном нетерпении ожидая вызова, болезненно рассчитывая шансы к тому, то надеясь, то отчаиваясь, он на всякий случай еще с вечера припас себе секунданта, а именно Маврикия Николаевича Дроздова, своего приятеля, школьного товарища и особенно уважаемого им человека. Таким образом, Кириллов, явившийся на другой день поутру в девять часов с своим поручением, нашел уже почву совсем готовую. Все извинения и неслыханные уступки Николая Всеволодовича были тотчас же с первого слова и с необыкновенным азартом отвергнуты. Маврикий Николаевич, накануне лишь узнавший о ходе дела, при таких неслыханных предложениях открыл было рот от удивления и хотел тут же настаивать на примирении, но, заметив, что Артемий Павлович, предугадавший его намерения, почти затрясся на своем стуле, смолчал и не произнес ничего. Если бы не слово, данное товарищу, он ушел бы немедленно; остался же в единственной надежде помочь хоть чем-нибудь при самом исходе дела. Кириллов передал вызов; все условия встречи, обозначенные Ставрогиным, были приняты тотчас же буквально, без малейшего возражения. Сделана была только одна прибавка, впрочем очень жестокая, именно: если с первых выстрелов не произойдет ничего решительного, то сходитьсь в другой раз; если не кончится ничем и в другой, сходитьсь в третий. Кириллов нахмурился, поторговался насчет третьего раза, но, не выторговав ничего, согласился, с тем, однако ж, что «три раза можно, а четыре никак нельзя». В этом уступили. Таким образом, в два часа пополудни и состоялась встреча в Брыкове, то есть в подгородной маленькой рощице между Скворешниками с одной стороны и фабрикой Шпигулиных – с другой. Вчерашний дождь перестал совсем, но было мокро, сыро и ветрено. Низкие мутные разорванные облака быстро неслись по холодному небу; деревья густо и перекатно шумели вершинами и скрипели на корнях своих; очень было грустное утро.

Гаганов с Маврикием Николаевичем прибыли на место в шегольском шабране парой, которым правил Артемий Павлович; при них находился слуга. Почти в ту же минуту явились и Николай Всеволодович с Кирилловым, но не в экипаже, а верхами, и тоже в сопровождении верхового слуги. Кириллов, никогда не садившийся на коня, держался в седле смело и прямо, прихватывая правую

рукой тяжелый ящик с пистолетами, который не хотел доверить слуге, а левою, по неумению, беспрерывно крутя и дергая поводья, отчего лошадь мотала головой и обнаруживала желание стать на дыбы, что, впрочем, нисколько не пугало всадника. Мнительный, быстро и глубоко оскорблявшийся, Гаганов почел прибытие верховых за новое себе оскорбление, в том смысле, что враги слишком, стало быть, надеялись на успех, коли не предполагали даже нужды в экипаже на случай отвоза раненого. Он вышел из своего шарабана весь желтый от злости и почувствовал, что у него дрожат руки, о чем и сообщил Маврикию Николаевичу. На поклон Николая Всеволодовича не ответил совсем и отвернулся. Секунданты бросили жребий: вышло пистолетам Кириллова. Барьер отмерили, противников расставили, экипаж и лошадей с лакеями отослали шагов на триста назад. Оружие было заряжено и вручено противникам.

Жаль, что надо вести рассказ быстрее и некогда описывать; но нельзя и совсем без отметок. Маврикий Николаевич был грустен и озабочен. Зато Кириллов был совершенно спокоен и безразличен, очень точен в подробностях принятой на себя обязанности, но без малейшей суетливости и почти без любопытства к роковому и столь близкому исходу дела. Николай Всеволодович был бледнее обыкновенного, одет довольно легко, в пальто и белой пуховой шляпе. Он казался очень усталым, изредка хмурился и нисколько не находил нужным скрывать свое неприятное расположение духа. Но Артемий Павлович был в сию минуту всех замечательнее, так что никак нельзя не сказать об нем нескольких слов совсем особенно.

II

Нам не случилось до сих пор упомянуть о его наружности. Это был человек большого роста, белый, сытый, как говорит простонародье, почти жирный, с белокурыми жидкими волосами, лет тридцати трех и, пожалуй, даже с красивыми чертами лица. Он вышел в отставку полковником, и если бы дослужился до генерала, то в генеральском чине был бы еще внушительнее и очень может быть, что вышел бы хорошим боевым генералом.

Нельзя пропустить, для характеристики лица, что главным поводом к его отставке послужила столь долго и мучительно преследовавшая его мысль о сраме фамилии, после обиды, нанесенной отцу его, в клубе, четыре года тому назад, Николаем Ставрогиным. Он считал по совести бесчестным продолжать службу и уверен был про себя, что марает собою полк и товарищей, хотя никто из них и не знал о происшествии. Правда, он и прежде хотел выйти однажды из службы, давно уже, задолго до обиды и совсем по другому поводу, но до сих пор колебался. Как ни странно написать, но этот первоначальный повод или, лучше сказать, позыв к выходу в отставку был манифест 19 февраля об освобождении крестьян. Артемий Павлович, богатейший помещик нашей губернии, даже не так много и потерявший после манифеста, мало того, сам способный убедиться в гуманности меры и почти понять экономические выгоды реформы, вдруг почувствовал себя, с появления манифеста, как бы лично обиженным. Это было что-то бессознательное, вроде какого-то чувства, но тем сильнее, чем безотчетнее. До смерти отца своего он, впрочем, не решался предпринять что-нибудь решительное; но в Петербурге стал известен «благородным» образом своих мыслей многим замечательным лицам, с которыми усердно поддерживал связи. Это был человек, уходящий в себя, закрывающийся. Еще черта: он принадлежал к тем странным, но еще уцелевшим на Руси дворянам, которые чрезвычайно дорожат

древностью и чистотой своего дворянского рода и слишком серьезно этим интересуются. Вместе с этим он терпеть не мог русской истории, да и вообще весь русский обычай считал отчасти свинством. Еще в детстве его, в той специальной военной школе для более знатных и богатых воспитанников, в которой он имел честь начать и кончить свое образование, укоренились в нем некоторые поэтические воззрения: ему понравились замки, средневековая жизнь, вся оперная часть ее, рыцарство; он чуть не плакал уже тогда от стыда, что русского боярина времен Московского царства царь мог наказывать телесно, и краснел от сравнений. Этот тугой, чрезвычайно строгий человек, замечательно хорошо знавший свою службу и исполнявший свои обязанности, в душе своей был мечтателем. Утверждали, что он мог бы говорить в собраниях и что имеет дар слова; но, однако, он все свои тридцать три года промолчал про себя. Даже в той важной петербургской среде, в которой он вращался в последнее время, держал себя необыкновенно надменно. Встреча в Петербурге с воротившимся из-за границы Николаем Всеволодовичем чуть не свела его с ума. В настоящий момент, стоя на барьере, он находился в страшном беспокойстве. Ему все казалось, что еще как-нибудь не состоится дело, малейшее промедление бросало его в трепет. Болезненное впечатление выразилось в его лице, когда Кириллов, вместо того чтобы подать знак для битвы, начал вдруг говорить, правда для проформы, о чем сам заявил во всеуслышание:

– Я только для проформы; теперь, когда уже пистолеты в руках и надо командовать, не угодно ли в последний раз помириться? Обязанность секунданта.

Как нарочно, Маврикий Николаевич, до сих пор молчавший, но с самого вчерашнего дня страдавший про себя за свою уступчивость и потворство, вдруг подхватил мысль Кириллова и тоже заговорил:

– Я совершенно присоединяюсь к словам господина Кириллова... эта мысль, что нельзя мириться на барьере, есть предрассудок, годный для французов... Да я и не понимаю обиды, воля ваша, я давно хотел сказать... потому что ведь предлагаются всякие извинения, не так ли?

Он весь покраснел. Редко случалось ему говорить так много и с таким волнением.

– Я опять подтверждаю мое предложение представить всевозможные извинения, – с чрезвычайною поспешностью подхватил Николай Всеволодович.

– Разве это возможно? – неистово вскричал Гаганов, обращаясь к Маврикию Николаевичу и в исступлении топнув ногой. – Объясните вы этому человеку, если вы секундант, а не враг мой, Маврикий Николаевич (он ткнул пистолетом в сторону Николая Всеволодовича), – что такие уступки только усиление обиды! Он не находит возможным от меня обидеться!.. Он позора не находит уйти от меня с барьера! За кого же он принимает меня после этого, в ваших глазах... а вы еще мой секундант! Вы только меня раздражаете, чтоб я не попал. – Он топнул опять ногой, слюна брызгала с его губ.

– Переговоры кончены. Прошу слушать команду! – изо всей силы вскричал Кириллов. – Раз! Два! Три!

Со словом *три* противники направились друг на друга. Гаганов тотчас же поднял пистолет и на пятом или шестом шаге выстрелил. На секунду приостановился и, уверившись, что дал промах, быстро подошел к барьеру. Подошел и Николай Всеволодович, поднял пистолет, но как-то очень высоко, и выстрелил совсем почти не целясь. Затем вынул платок и замотал в него мизинец правой руки. Тут только увидели, что Артемий Павлович не совсем промахнулся, но пу-

ля его скользнула по пальцу, по суставной мякоти, не тронув кости; вышла ничтожная царапина. Кириллов тотчас же заявил, что дуэль, если противники не удовлетворены, продолжается.

– Я заявляю, – прохрипел Гаганов (у него пересохло горло), опять обращаясь к Маврикию Николаевичу, – что этот человек (он ткнул опять в сторону Ставрогина) выстрелил нарочно на воздух... умышленно... Это опять обида! Он хочет сделать дуэль невозможной!

– Я имею право стрелять как хочу, лишь бы происходило по правилам, – твердо заявил Николай Всеволодович.

– Нет, не имеет! Растолкуйте ему, растолкуйте! – кричал Гаганов.

– Я совершенно присоединяюсь к мнению Николая Всеволодовича, – возгласил Кириллов.

– Для чего он шадит меня? – бесновался Гаганов, не слушая. – Я презираю его пощаду... Я плюю... Я...

– Даю слово, что я вовсе не хотел вас оскорблять, – с нетерпением проговорил Николай Всеволодович, – я выстрелил вверх потому, что не хочу более никого убивать, вас ли, другого ли, лично до вас не касается. Правда, себя я не считаю обиженным, и мне жаль, что вас это сердит. Но не позволю никому вмешиваться в мое право.

– Если он так боится крови, то спросите, зачем меня вызывал? – вопил Гаганов, все обращаясь к Маврикию Николаевичу.

– Как же вас было не вызвать? – ввязался Кириллов. – Вы ничего не хотели слушать, как же от вас отвязаться!

– Замечу только одно, – произнес Маврикий Николаевич, с усилием и со страданием обсуждавший дело, – если противник заранее объявляет, что стрелять будет вверх, то поединок действительно продолжаться не может... по причинам деликатным и... ясным...

– Я вовсе не объявлял, что каждый раз буду вверх стрелять! – вскричал Ставрогин, уже совсем теряя терпение. – Вы вовсе не знаете, что у меня на уме и как я опять сейчас выстрелю... я ничем не стесняю дуэли.

– Коли так, встреча может продолжаться, – обратился Маврикий Николаевич к Гаганову.

– Господа, займите ваши места! – скомандовал Кириллов.

Опять сошлись, опять промах у Гаганова и опять выстрел вверх у Ставрогина. Про эти выстрелы вверх можно было бы и поспорить: Николай Всеволодович мог прямо утверждать, что он стреляет как следует, если бы сам не сознался в умышленном промахе. Он наводил пистолет не прямо в небо или в дерево, а все-таки как бы метил в противника, хотя, впрочем, брал на аршин поверх его шляпы. В этот второй раз прицел был даже еще ниже, еще правдоподобнее; но уже Гаганова нельзя было разуверить.

– Опять! – проскрежетал он зубами. – Все равно! Я вызван и пользуюсь правом. Я хочу стрелять в третий раз... во что бы ни стало.

– Имеете полное право, – отрубил Кириллов. Маврикий Николаевич не сказал ничего. Расставили в третий раз, скомандовали; в этот раз Гаганов дошел до самого барьера и с барьера, с двенадцати шагов, стал прицеливаться. Руки его слишком дрожали для правильного выстрела. Ставрогин стоял с пистолетом, опущенным вниз, и неподвижно ожидал его выстрела.

– Слишком долго, слишком долго прицел! – стремительно прокричал Кириллов. – Стреляйте! стреляйте! – Но выстрел раздался, и на этот раз белая пуховая шляпа слетела с Николая Всеволодовича. Выстрел был довольно ме-

ток, тулья шляпы была пробита очень низко; четверть вершка ниже, и все бы было кончено. Кириллов подхватил и подал шляпу Николаю Всеволодовичу.

– Стреляйте, не держите противника! – прокричал в чрезвычайном волнении Маврикий Николаевич, видя, что Ставрогин как бы забыл о выстреле, рассматривая с Кирилловым шляпу. Ставрогин вздрогнул, поглядел на Гаганова, отвернулся и уже безо всякой на этот раз деликатности выстрелил в сторону, в рощу. Дуэль кончилась. Гаганов стоял как придавленный. Маврикий Николаевич подошел к нему и стал что-то говорить, но тот как будто не понимал. Кириллов, уходя, снял шляпу и кивнул Маврикию Николаевичу головой; но Ставрогин забыл прежнюю вежливость; сделав выстрел в рощу, он даже и не повернулся к барьеру, сунул свой пистолет Кириллову и поспешно направился к лошадям. Лицо его выражало злобу, он молчал. Молчал и Кириллов. Сели на лошадей и поскакали в галоп.

III

— **Ч**то вы молчите? – нетерпеливо окликнул он Кириллова уже неподалеку от дома.

– Что вам надо? – ответил тот, чуть не съерзнув с лошади, вскочившей на дыбы.

Ставрогин сдержал себя.

– Я не хотел обидеть этого... дурака, а обидел опять, – проговорил он тихо.

– Да, вы обидели опять, – отрубил Кириллов, – и притом он не дурак.

– Я сделал, однако, все, что мог.

– Нет.

– Что же надо было сделать?

– Не вызывать.

– Еще снести битье по лицу?

– Да, снести и битье.

– Я начинаю ничего не понимать! – злобно проговорил Ставрогин. – Почему все ждут от меня чего-то, чего от других не ждут? К чему мне переносить то, чего никто не переносит, и напрашиваться на бремена, которых никто не может снести?

– Я думал, вы сами ищите бремени.

– Я ишу бремени?

– Да.

– Вы... это видели?

– Да.

– Это так заметно?

– Да.

Помолчали с минуту. Ставрогин имел очень озабоченный вид, был почти поражен.

– Я потому не стрелял, что не хотел убивать, и больше ничего не было, уверяю вас, – сказал он торопливо и тревожно, как бы оправдываясь.

– Не надо было обижать.

– Как же надо было сделать?

– Надо было убить.

– Вам жаль, что я его не убил?

– Мне ничего не жаль. Я думал, вы хотели убить в самом деле. Не знаете, чего ищите.

- Ищу бремени, – засмеялся Ставрогин.
- Не хотели сами крови, зачем ему давали убивать?
- Если б я не вызвал его, он бы убил меня так, без дуэли.
- Не ваше дело. Может, и не убил бы.
- А только прибил?
- Не ваше дело. Несите бремя. А то нет заслуги.
- Наплевать на вашу заслугу, я ни у кого не ищу ее!
- Я думал, ищите, – ужасно хладнокровно заключил Кириллов.

Въехали во двор дома.

- Хотите ко мне? – предложил Николай Всеволодович.
- Нет, я дома, прощайте. – Он встал с лошади и взял свой ящик под мышку.
- По крайней мере вы-то на меня не сердитесь? – протянул ему руку Ставрогин.

– Нисколько! – воротился Кириллов, чтобы пожать руку. – Если мне легко бремя, потому что от природы, то, может быть, вам труднее бремя, потому что такая природа. Очень нечего стыдиться, а только немного.

– Я знаю, что я ничтожный характер, но я не лезу и в сильные.

– И не лезьте; вы не сильный человек. Приходите пить чай.

Николай Всеволодович вошел к себе сильно смущенный.

IV

Он тотчас же узнал от Алексея Егоровича, что Варвара Петровна, весьма довольная выездом Николая Всеволодовича – первым выездом после восьми дней болезни – верхом на прогулку, велела заложить карету и отправилась одна, «по примеру прежних дней, подышать чистым воздухом, ибо восемь дней, как уже забыли, что означает дышать чистым воздухом».

– Одна поехала или с Дарьей Павловной? – быстрым вопросом перебил старика Николай Всеволодович и крепко нахмурился, услышав, что Дарья Павловна «отказались по нездоровью сопутствовать и находятся теперь в своих комнатах».

– Слушай, старик, – проговорил он, как бы вдруг решаясь, – стереги ее сегодня весь день и, если заметишь, что она идет ко мне, тотчас же останови и передай ей, что несколько дней по крайней мере я ее принять не могу... что я так ее сам прошу... а когда придет время, сам позову, – слышишь?

– Передам-с, – проговорил Алексей Егорович с тоской в голосе, опустив глаза вниз.

– Не раньше, однако же, как если ясно увидишь, что она ко мне идет сама.

– Не извольте беспокоиться, ошибки не будет. Через меня до сих пор и происходили посещения; всегда к содействию моему обращались.

– Знаю. Однако же не раньше, как если сама пойдет. Принеси мне чаю, если можешь скорее.

Только что старик вышел, как почти в ту же минуту отворилась та же дверь и на пороге показалась Дарья Павловна. Взгляд ее был спокоен, но лицо бледное.

– Откуда вы? – воскликнул Ставрогин.

– Я стояла тут же и ждала, когда он выйдет, чтобы к вам войти. Я слышала, о чем вы ему наказывали, а когда он сейчас вышел, я спряталась направо за выступ, и он меня не заметил.

– Я давно хотел прервать с вами, Даша... пока... это время. Я вас не мог принять нынче ночью, несмотря на вашу записку. Я хотел вам сам написать, но я

писать не умею, – прибавил он с досадой, даже как будто с гадливостью.

– Я сама думала, что надо прервать. Варвара Петровна слишком подозревает о наших сношениях.

– Ну и пусть ее.

– Не надо, чтоб она беспокоилась. Итак, теперь до конца?

– Вы все еще непременно ждете конца?

– Да, я уверена.

– На свете ничего не кончается.

– Тут будет конец. Тогда кликните меня, я приду. Теперь прощайте.

– А какой будет конец? – усмехнулся Николай Всеволодович.

– Вы не ранены и... не пролили крови? – спросила она, не отвечая на вопрос о конце.

– Было глупо; я не убил никого, не беспокойтесь. Впрочем, вы обо всем услышите сегодня же ото всех. Я нездоров немного.

– Я уйду. Объявления о браке сегодня не будет? – прибавила она с нерешимостью.

– Сегодня не будет; завтра не будет; послезавтра, не знаю, может быть, все померет, и тем лучше. Оставьте меня, оставьте меня наконец.

– Вы не погубите другую... безумную?

– Безумных не погублю, ни той, ни другой, но разумную, кажется, погублю: я так подл и гадок, Даша, что, кажется, вас в самом деле кликну «в последний конец», как вы говорите, а вы, несмотря на ваш разум, придете. Зачем вы сами себя губите?

– Я знаю, что в конце концов с вами останусь одна я, и... жду того.

– А если я в конце концов вас не кликну и убегу от вас?

– Этого быть не может, вы кликнете.

– Тут много ко мне презрения.

– Вы знаете, что не одного презрения.

– Стало быть, презренье все-таки есть?

– Я не так выразилась. Бог свидетель, я чрезвычайно желала бы, чтобы вы никогда во мне не нуждались.

– Одна фраза стоит другой. Я тоже желал бы вас не губить.

– Никогда, ничем вы меня не можете погубить, и сами это знаете лучше всех, – быстро и с твердостью проговорила Дарья Павловна. – Если не к вам, то я пойду в сестры милосердия, в сиделки, ходить за больными, или в книгоноши, Евангелие продавать. Я так решила. Я не могу быть ничьей женой; я не могу жить и в таких домах, как этот. Я не того хочу... Вы все знаете.

– Нет, я никогда не мог узнать, чего вы хотите; мне кажется, что вы интересуетесь мною, как иные устарелые сиделки интересуются почему-либо одним каким-нибудь больным сравнительно пред прочими, или, еще лучше, как иные богомольные старушонки, шатающиеся по похоронам, предпочитают иные трупы попригляднее пред другими. Что вы на меня так странно смотрите?

– Вы очень больны? – с участием спросила она, как-то особенно в него вглядываясь. – Боже! И этот человек хочет обойтись без меня!

– Слушайте, Даша, я теперь все вижу привидения. Один бесенок предлагал мне вчера на мосту зарезать Лебядкина и Марью Тимофеевну, чтобы порешить с моим законным браком, и концы чтобы в воду. Задатку просил три целковых, но дал ясно знать, что вся операция стоить будет не меньше как полторы тысячи. Вот это так расчетливый бес! Бухгалтер! Ха-ха!

– Но вы твердо уверены, что это было привидение?

– О нет, совсем уж не привидение! Это просто был Федька Каторжный, разбойник, бежавший из каторги. Но дело не в том; как вы думаете, что я сделал? Я отдал ему все мои деньги из портмоне, и он теперь совершенно уверен, что я ему выдал задаток!

– Вы встретили его ночью, и он сделал вам такое предложение? Да неужто вы не видите, что вы кругом оплетены их сетью!

– Ну пусть их. А знаете, у вас вертится один вопрос, я по глазам вашим вижу, – прибавил он с злобною и раздражительною улыбкой.

Даша испугалась.

– Вопросы вовсе нет и сомнений вовсе нет никаких, молчите лучше! – вскричала она тревожно, как бы отмахиваясь от вопроса.

– То есть вы уверены, что я не пойду к Федьке в лавочку?

– О Боже! – всплеснула она руками. – За что вы меня так мучаете?

– Ну, простите мне мою глупую шутку, должно быть, я перенимаю от них дурные манеры. Знаете, мне со вчерашней ночи ужасно хочется смеяться, все смеяться, непрерывно, долго, много. Я точно заряжен смехом... Чу! Мать приехала; я узнаю по стуку, когда карета ее останавливается у крыльца.

Даша схватила его руку.

– Да сохранит вас Бог от вашего демона и... позовите, позовите меня скорей!

– О, какой мой демон! Это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся. А ведь вы, Даша, опять не смеете говорить чего-то?

Она поглядела на него с болью и укором и повернулась к дверям.

– Слушайте! – вскричал он ей вслед, с злобною, искривленною улыбкой. – Если... ну там, одним словом, если... понимаете, ну, если бы даже и в лавочку, и потом я бы вас кликнул, – пришли бы вы после-то лавочки?

Она вышла не оборачиваясь и не отвечая, закрыв руками лицо.

– Придет и после лавочки! – прошептал он, подумав, и брезгливое презрение выразилось в лице его. – Сиделка! Гм!.. А впрочем, мне, может, того-то и надо.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Все в ожидании

I

Впечатление, произведенное во всем нашем обществе быстро огласившеюся историей поединка, было особенно замечательно тем единодушием, с которым все поспешили заявить себя безусловно за Николая Всеволодовича. Многие из бывших врагов его решительно объявили себя его друзьями. Главною причиной такого неожиданного переворота в общественном мнении было несколько слов, необыкновенно метко высказанных вслух одною особой, доселе не высказывавшеюся, и разом придавших событию значение, чрезвычайно заинтересовавшее наше крупное большинство. Случилось это так: как раз на другой же день после события у супруги предводителя дворянства нашей губернии, в тот день именинницы, собрался весь город. Присутствовала или, вернее, первенствовала и Юлия Михайловна, прибывшая с Лизаветой Николаевной, сиявшею красотой и особенною веселостью, что многим из наших

дам на этот раз тотчас же показалось особенно подозрительным. Кстати сказать: в помолвке ее с Маврикием Николаевичем не могло уже быть никакого сомнения. На шуточный вопрос одного отставного, но важного генерала, о котором речь ниже, Лизавета Николаевна сама прямо в тот вечер ответила, что она невеста. И что же? Ни одна решительно из наших дам этой помолвке не хотела верить. Все упорно продолжали предполагать какой-то роман, какую-то роковую семейную тайну, совершившуюся в Швейцарии, и почему-то с неизменным участием Юлии Михайловны. Трудно сказать, почему так упорно держались все эти слухи или, так сказать, даже мечты и почему именно так непременно приплетали тут Юлию Михайловну. Только что она вошла, все обратилось к ней со странными взглядами, преисполненными ожиданий. Надо заметить, что по недавности события и по некоторым обстоятельствам, сопровождавшим его, на вечере о нем говорили еще с некоторою осторожностью, не вслух. К тому же ничего еще не знали о распоряжениях власти. Оба дуэлиста, сколько известно, обеспокоены не были. Все знали, например, что Артемий Павлович рано утром отправился к себе в Духово, без всякой помехи. Между тем все, разумеется, жаждали, чтобы кто-нибудь заговорил вслух первый и тем отворил бы дверь общественному нетерпению. Именно надеялись на вышеупомянутого генерала, и не ошиблись.

Этот генерал, один из самых осанистых членов нашего клуба, помещик не очень богатый, но с бесподобнейшим образом мыслей, старомодный волокита за барышнями, чрезвычайно любил, между прочим, в больших собраниях заговаривать вслух, с генеральскою вескостью, именно о том, о чем все еще говорили осторожным шепотом. В этом состояла его как бы, так сказать, специальная роль в нашем обществе. При этом он особенно растягивал и сладко выговаривал слова, вероятно заимствовав эту привычку у путешественников за границей русских или у тех прежде богатых русских помещиков, которые наиболее разорились после крестьянской реформы. Степан Трофимович даже заметил однажды, что чем более помещик разорился, тем слаще он подсюсюкивает и растягивает слова. Он и сам, впрочем, сладко растягивал и подсюсюкивал, но не замечал этого за собой.

Генерал заговорил как человек компетентный. Кроме того, что с Артемием Павловичем он состоял как-то в дальней родне, хотя в ссоре и даже в тяжбе, он, сверх того, когда-то сам имел два поединка и даже за один из них сослан был на Кавказ в рядовые. Кто-то упомянул о Варваре Петровне, начавшей уже второй день выезжать «после болезни», и не собственно о ней, а о превосходном подборе ее каретной серой четверни, собственного ставрогинского завода. Генерал вдруг заметил, что он встретил сегодня «молодого Ставрогина» верхом... Все тотчас смолкли. Генерал почмокал губами и вдруг провозгласил, вертя между пальцами золотую, жалованную табатерку:

– Сожалею, что меня не было тут несколько лет назад... то есть я был в Карлсбаде... Гм. Меня очень интересует этот молодой человек, о котором я так много застал тогда всяких слухов. Гм. А что, правда, что он помешан? Тогда кто-то говорил. Вдруг слышу, что его оскорбляет здесь какой-то студент, в присутствии кузин, и он полез от него под стол; а вчера слышу от Степана Высоцкого, что Ставрогин дрался с этим... Гагановым. И единственно с галантной целью подставить свой лоб человеку взбесившемуся; чтобы только от него отвязаться. Гм. Это в нравах гвардии двадцатых годов. Бывает он здесь у кого-нибудь?

Генерал замолчал, как бы ожидая ответа. Дверь общественному нетерпению была отперта.

– Чего же проще? – возвысила вдруг голос Юлия Михайловна, раздраженная тем, что все вдруг точно по команде обратили на нее свои взгляды. – Разве возможно удивление, что Ставрогин дрался с Гагановым и не отвечал студенту? Не мог же он вызвать на поединок бывшего крепостного своего человека!

Слова знаменательные! Простая и ясная мысль, но никому, однако, не приходившая до сих пор в голову. Слова, имевшие необыкновенные последствия. Все скандальное и сплетническое, все мелкое и анекдотическое разом отодвинуто было на задний план; выдвигалось другое значение. Объявлялось лицо новое, в котором все ошиблись, лицо почти с идеальной строгостью понятий. Оскорбленный насмерть студентом, то есть человеком образованным и уже не крепостным, он презирает обиду, потому что оскорбитель – бывший крепостной его человек. В обществе шум и сплетни; легкомысленное общество с презрением смотрит на человека, битого по лицу; он презирает мнением общества, не доросшего до настоящих понятий, а между тем о них толкующего.

– А между тем мы с вами, Иван Александрович, сидим и толкуем о правых понятиях-с, – с благородным азартом самообличения замечает один клубный старичок другому.

– Да-с, Петр Михайлович, да-с, – с наслаждением поддакивает другой, – вот и говорите про молодежь.

– Тут не молодежь, Иван Александрович, – замечает подвернувшийся третий, – тут не о молодежи вопрос; тут звезда-с, а не какой-нибудь один из молодежи; вот как понимать это надо.

– А нам того и надобно; оскудели в людях.

Тут главное состояло в том, что «новый человек», кроме того что оказался «несомненным дворянином», был вдобавок и богатейшим землевладельцем губернии, а стало быть, не мог не явиться подмогой и деятелем. Я, впрочем, упоминал и прежде вскользь о настроении наших землевладельцев.

Входили даже в азарт:

– Он мало того что не вызвал студента, он взял руки назад, заметьте это особенно, ваше превосходительство, – выставял один.

– И в новый суд его не потащил-с, – подбавлял другой.

– Несмотря на то что в новом суде ему за дворянскую *личную* обиду пятнадцать рублей присудили бы-с, хе-хе-хе!

– Нет, это я вам скажу тайну новых судов, – приходил в иступление третий. – Если кто своровал или смошенничал, явно пойман и уличен – беги скорей домой, пока время, и убей свою мать. Мигом во всем оправдают, и дамы с эстрады будут махать батистовыми платочками; несомненная истина!

– Истина, истина!

Нельзя было и без анекдотов. Вспомнили о связях Николая Всеволодовича с графом К. Строгие, уединенные мнения графа К. насчет последних реформ были известны. Известна была и его замечательная деятельность, несколько приостановленная в самое последнее время. И вот вдруг стало всем несомненно, что Николай Всеволодович помолвлен с одною из дочерей графа К., хотя ничто не подавало точного повода к такому слуху. А что касается до каких-то чудесных швейцарских приключений и Лизаветы Николаевны, то даже дамы перестали о них упоминать. Упомянем кстати, что Дроздовы как раз к этому времени успели сделать все доселе упущенные ими визиты. Лизавету Николаевну уже несомненно все нашли самую обыкновенною девушкой, «франтащею» своими большими нервами. Обморок ее в день приезда Николая Всеволодовича объяснили теперь

просто испугом при безобразном поступке студента. Даже усиливали прозаичность того самого, чему прежде так стремились придать какой-то фантастический колорит; а об какой-то хромоножке забыли окончательно; стыдились и помнить. «Да хоть бы и сто хромоножек, – кто молод не был!» Ставили на вид почитательность Николая Всеволодовича к матери, подыскивали ему разные добродетели, с благодушием говорили об его учености, приобретенной в четыре года по немецким университетам. Поступок Артемия Павловича окончательно объявили бестактным: «своя своих не познаша»; за Юлией же Михайловной окончательно признали высшую проницательность.

Таким образом, когда наконец появился сам Николай Всеволодович, все встретили его с самою наивною серьезностью, во всех глазах, на него устремленных, читались самые нетерпеливые ожидания. Николай Всеволодович тотчас же заключился в самое строгое молчание, чем, разумеется, удовлетворил всех гораздо более, чем если бы наговорил с три короба. Одним словом, все ему удавалось, он был в моде. В обществе в губернском если кто раз появился, то уж спрятаться никак нельзя. Николай Всеволодович стал по-прежнему исполнять все губернские порядки до утонченности. Веселым его не находили: «Человек претерпел, человек не то, что другие; есть о чем и задуматься». Даже гордость и та брезгливая неприступность, за которую так ненавидели его у нас четыре года назад, теперь уважались и нравились.

Всех более торжествовала Варвара Петровна. Не могу сказать, очень ли тужила она о разрушившихся мечтах насчет Лизаветы Николаевны. Тут помогла, конечно, и фамильная гордость. Странно одно: Варвара Петровна в высшей степени вдруг уверовала, что Nicolas действительно «выбрал» у графа К., но, и что страннее всего, уверовала по слухам, пришедшим к ней, как и ко всем, по ветру; сама же боялась прямо спросить Николая Всеволодовича. Раза два-три, однако, не утерпела и весело исподтишка попрекнула его, что он с нею не так откровенен; Николай Всеволодович улыбался и продолжал молчать. Молчание принималось было за знак согласия. И что же: при всем этом она никогда не забывала о хромоножке. Мысль о ней лежала на ее сердце камнем, кошмаром, мучила ее странными привидениями и гаданиями, и все это совместно и одновременно с мечтами о дочерях графа К. Но об этом еще речь впереди. Разумеется, в обществе к Варваре Петровне стали вновь относиться с чрезвычайным и предупредительным почтением, но она мало им пользовалась и выезжала чрезвычайно редко.

Она сделала, однако, торжественный визит губернаторше. Разумеется, никто более ее не был пленен и очарован вышеприведенными знаменательными словами Юлии Михайловны на вечере у предводительши: они много сняли тоски с ее сердца и разом разрешили многое из того, что так мучило ее с того несчастного воскресенья. «Я не понимала эту женщину!» – изрекла она и прямо, с свойственною ей стремительностью, объявила Юлии Михайловне, что приехала ее *благодарить*. Юлия Михайловна была польщена, но выдержала себя независимо. Она в ту пору уже очень начала себе чувствовать цену, даже, может быть, немного и слишком. Она объявила, например, среди разговора, что никогда ничего не слыхивала о деятельности и учености Степана Трофимовича.

– Я, конечно, принимаю и ласкою молодого Верховенского. Он безрассуден, но он еще молод; впрочем, с солидными знаниями. Но все же это не какой-нибудь отставной бывший критик.

Варвара Петровна тотчас же поспешила заметить, что Степан Трофимович вовсе никогда не был критиком, а, напротив, всю жизнь прожил в ее

доме. Знаменит же обстоятельствами первоначальной своей карьеры, «слишком известными всему свету», а в самое последнее время – своими трудами по испанской истории; хочет тоже писать о положении теперешних немецких университетов и, кажется, еще что-то о дрезденской Мадонне. Одним словом, Варвара Петровна не захотела уступить Юлии Михайловне Степана Трофимовича.

– О дрезденской Мадонне? Это о Сикстинской? *Chère* Варвара Петровна, я просидела два часа пред этою картиной и ушла разочарованная. Я ничего не поняла и была в большом удивлении. Кармазинов тоже говорит, что трудно понять. Теперь все ничего не находят, и русские и англичане. Всю эту славу старики прокричали.

– Новая мода, значит?

– А я так думаю, что не надо пренебрегать и нашею молодежью. Кричат, что они коммунисты, а по-моему, надо щадить их и дорожить ими. Я читаю теперь всё – все газеты, коммуны, естественные науки, – всё получаю, потому что надо же наконец знать, где живешь и с кем имеешь дело. Нельзя же всю жизнь прожить на верхах своей фантазии. Я сделала вывод и приняла за правило ласкать молодежь и тем самым удерживать ее на краю. Поверьте, Варвара Петровна, что только мы, общество, благотворным влиянием и именно лаской можем удержать их у бездны, в которую толкает их нетерпимость всех этих старикашек. Впрочем, я рада, что узнала от вас о Степане Трофимовиче. Вы подаете мне мысль: он может быть полезен на нашем литературном чтении. Я, знаете, устраиваю целый день увеселений, по подписке, в пользу бедных гувернанток из нашей губернии. Они рассеяны по России; их насчитывают до шести из одного нашего уезда; кроме того, две телеграфистки, две учатся в академии, остальные желали бы, но не имеют средств. Жребий русской женщины ужасен, Варвара Петровна! Из этого делают теперь университетский вопрос, и даже было заседание государственного совета. В нашей странной России можно делать все, что угодно. А потому опять-таки лишь одною лаской и непосредственным теплым участием всего общества мы могли бы направить это великое общее дело на истинный путь. О Боже, много ли у нас светлых личностей! Конечно, есть, но они рассеяны. Сомкнемтесь же и будем сильнее. Одним словом, у меня будет сначала литературное утро, потом легкий завтрак, потом перерыв и в тот же день вечером бал. Мы хотели начать вечер живыми картинами, но, кажется, много издержек, и потому для публики будут одна или две кадрили в масках и характерных костюмах, изображающих известные литературные направления. Эту шутивную мысль предложил Кармазинов; он много мне помогает. Знаете, он прочтет у нас свою последнюю вещь, еще никому не известную. Он бросает перо и более писать не будет; эта последняя статья есть его прощание с публикой. Прелестная вещичка под названием: «*Merci*». Название французское, но он находит это шутивее и даже тоньше. Я тоже, даже я и присоветовала. Я думаю, Степан Трофимович мог бы тоже прочесть, если покороче и... не так чтоб очень ученое. Кажется, Петр Степанович и еще кто-то что-то такое прочтут. Петр Степанович к вам забежит и сообщит программу; или, лучше, позвольте мне самой завезти к вам.

– А вы позвольте и мне подписаться на вашем листе. Я передам Степану Трофимовичу и сама буду просить его.

Варвара Петровна воротилась домой окончательно привороженная; она стояла горой за Юлию Михайловну и почему-то уже совсем рассердилась на Степана Трофимовича; а тот, бедный, и не знал ничего, сидя дома.

– Я влюблена в нее, я не понимаю, как я могла так ошибаться в этой женщине, – говорила она Николаю Всеволодовичу и забежавшему к вечеру Петру Степановичу.

– А все-таки вам надо помириться со стариком, – доложил Петр Степанович, – он в отчаянии. Вы его совсем сослали на кухню. Вчера он встретил вашу коляску, поклонился, а вы отвернулись. Знаете, мы его выдвинем; у меня на него кой-какие расчеты, и он еще может быть полезен.

– О, он будет читать.

– Я не про одно это. А я и сам хотел к нему сегодня забежать. Так сообщить ему?

– Если хотите. Не знаю, впрочем, как вы это устроите, – проговорила она в нерешимости. – Я была намерена сама объясниться с ним и хотела назначить день и место. – Она сильно нахмурилась.

– Ну, уж назначать день не стоит. Я просто передам.

– Пожалуй, передайте. Впрочем, прибавьте, что я непременно назначу ему день. Непременно прибавьте.

Петр Степанович побежал, ухмыляясь. Вообще, сколько припомню, он в это время был как-то особенно зол и даже позволял себе чрезвычайно нетерпеливые выходки чуть не со всеми. Странно, что ему как-то все прощали. Вообще установилось мнение, что смотреть на него надо как-то особенно. Замечу, что он с чрезвычайной злобой отнесся к поединку Николая Всеволодовича. Его это застало врасплох; он даже позеленел, когда ему рассказали. Тут, может быть, страдало его самолюбие: он узнал на другой лишь день, когда всем было известно.

– А ведь вы не имели права драться, – шепнул он Ставрогину на пятый уже день, случайно встретясь с ним в клубе. Замечательно, что в эти пять дней они нигде не встречались, хотя к Варваре Петровне Петр Степанович забегал почти ежедневно.

Николай Всеволодович молча поглядел на него с рассеянным видом, как бы не понимая, в чем дело, и прошел не останавливаясь. Он проходил чрез большую залу клуба в буфет.

– Вы и к Шатову заходили... вы Марью Тимофеевну хотите опубликовать, – бежал он за ним и как-то в рассеянности ухватился за его плечо.

Николай Всеволодович вдруг стряс с себя его руку и быстро к нему оборотился, грозно нахмурившись. Петр Степанович поглядел на него, улыбаясь странно, длинною улыбкой. Все продолжалось одно мгновение. Николай Всеволодович прошел далее.

II

К старику он забежал тотчас же от Варвары Петровны, и если так поспешил, то единственно из злобы, чтоб отомстить за одну прежнюю обиду, о которой я доселе не имел понятия. Дело в том, что в последнее их свидание, именно на прошлой неделе в четверг, Степан Трофимович, сам, впрочем, начавший спор, кончил тем, что выгнал Петра Степановича палкой. Факт этот он от меня тогда утаил; но теперь, только что вбежал Петр Степанович, с своею всегдашнею усмешкой, столь наивно высокомерною, и с неприятно любопытным, шныряющим по углам взглядом, как тотчас же Степан Трофимович сделал мне тайный знак, чтоб я не оставлял комнату. Таким образом и обнаружались предо мною их настоящие отношения, ибо на этот раз прослушал весь разговор.

Степан Трофимович сидел, протянувшись на кушетке. С того четверга он похудел и пожелтел. Петр Степанович с самым фамильярным видом уселся подле него, бесцеремонно поджав под себя ноги, и занял на кушетке гораздо более места, чем сколько требовало уважение к отцу. Степан Трофимович молча и с достоинством посторонился.

На столе лежала раскрытая книга. Это был роман «Что делать?». Увы, я должен признаться в одном странном малодушии нашего друга: мечта о том, что ему следует выйти из уединения и задать последнюю битву, все более и более одерживала верх в его соблазненном воображении. Я догадался, что он достал и *изучает* роман единственно с тою целью, чтобы в случае несомненного столкновения с «визжавшими» знать заранее их приемы и аргументы по самому их «катехизису» и, таким образом приготовившись, торжественно их всех опровергнуть в *ее глазах*. О, как мучила его эта книга! Он бросал иногда ее в отчаянии и, вскочив с места, шагал по комнате почти в иступлении.

– Я согласен, что основная идея автора верна, – говорил он мне в лихорадке, – но ведь тем ужаснее! Та же наша идея, именно наша; мы, мы первые насадили ее, возрастили, приготовили, – да и что бы они могли сказать сами нового, после нас! Но, Боже, как все это выражено, искажено; исковеркано! – восклицал он, стуча пальцами по книге. – К таким ли выводам мы устремлялись? Кто может узнать тут первоначальную мысль?

– Просвещаешься? – ухмыльнулся Петр Степанович, взяв книгу со стола и прочтя заглавие. – Давно пора. Я тебе и получше принесу, если хочешь.

Степан Трофимович снова и с достоинством промолчал. Я сидел в углу на диване.

Петр Степанович быстро объяснил причину своего прибытия. Разумеется, Степан Трофимович был поражен не в меру и слушал в испуге, смешанном с чрезвычайным негодованием.

– И эта Юлия Михайловна рассчитывает, что я приду к ней читать!

– То есть они ведь вовсе не так нуждаются. Напротив, это чтобы тебя обласкасть и тем подлизаться к Варваре Петровне. Но, уж само собою, ты не посмеешь отказать читать. Да и самому-то, я думаю, хочется, – ухмыльнулся он, – у вас у всех, у старичья, адская амбиция. Но послушай, однако, надо, чтобы не так скучно. У тебя там что, испанская история, что ли? Ты мне дня за три дай просмотреть, а то ведь усыпишь, пожалуй.

Торопливая и слишком обнаженная грубость этих колкостей была явно преднамеренная. Делался вид, что со Степаном Трофимовичем как будто и нельзя говорить другим, более тонким языком и понятиями. Степан Трофимович твердо продолжал не замечать оскорблений. Но сообщаемые события производили на него все более и более потрясающее впечатление.

– И она сама, *сама* велела передать это мне через... *вас*? – спросил он бледнея.

– То есть, видишь ли, она хочет назначить тебе день и место для взаимного объяснения; остатки вашего сентиментальничанья. Ты с нею двадцать лет кокетничал и приучил ее к самым смешным приемам. Но не беспокойся, теперь уж совсем не то; она сама поминутно говорит, что теперь только начала «прозирать». Я ей прямо растолковал, что вся эта ваша дружба есть одно только взаимное излияние помой. Она мне много, брат, рассказала; фу, какую лакейскую должность исполнял ты все время. Даже я краснел за тебя.

– Я исполнял лакейскую должность? – не выдержал Степан Трофимович.

– Хуже, ты был приживальщиком, то есть лакеем добровольным. Леня трудиться, а на денюжки-то у нас аппетит. Все это и она теперь понимает; по крайней мере ужас, что про тебя рассказала. Ну, брат, как я хохотал над твоими письмами к ней; совестно и гадко. Но ведь вы так развращены, так развращены! В милостыне есть нечто навсегда развращающее – ты явный пример!

– Она тебе показывала мои письма!

– Все. То есть, конечно, где же их прочитать? Фу, сколько ты исписал бумаги, я думаю, там более двух тысяч писем... А знаешь, старик, я думаю, у вас было одно мгновение, когда она готова была бы за тебя выйти? Глупейшим ты образом упустил! Я, конечно, говорю с твоей точки зрения, но все-таки ж лучше, чем теперь, когда чуть не сосватали на «чужих грехах», как шута для потехи, за деньги.

– За деньги! Она, она говорит, что за деньги! – болезненно возопил Степан Трофимович.

– А то как же? Да что ты, я же тебя и защищал. Ведь это единственный твой путь оправдания. Она сама поняла, что тебе денег надо было, как и всякому, и что ты с этой точки, пожалуй, и прав. Я ей доказал, как дважды два, что вы жили на взаимных выгодах: она капиталисткой, а ты при ней сентиментальным шутком. Впрочем, за деньги она не сердится, хоть ты ее и доил, как козу. Ее только злоба берет, что она тебе двадцать лет верила, что ты ее так облапошил на благородстве и заставил так долго лгать. В том, что сама лгала, она никогда не сознается, но за это-то тебе и достанется вдвое. Не понимаю, как ты не догадался, что тебе придется когда-нибудь рассчитаться. Ведь был же у тебя хоть какой-нибудь ум. Я вчера посоветовал ей отдать тебя в богадельню, успокойся, в приличную, обидно не будет; она, кажется, так и сделает. Помнишь последнее письмо твоё ко мне в Х-скую губернию, три недели назад?

– Неужели ты ей показал? – в ужасе вскочил Степан Трофимович,

– Ну еще же бы нет! Первым делом. То самое, в котором ты уведомял, что она тебя эксплуатирует, завидуя твоему таланту, ну и там об «чужих грехах». Ну, брат, кстати, какое, однако, у тебя самолюбие! Я так хохотал. Вообще твои письма прескучные; у тебя ужасный слог. Я их часто совсем не читал, а одно так и теперь валяется у меня нераспечатанным; я тебе завтра пришлю. Но это, это последнее твоё письмо – это верх совершенства! Как я хохотал, как хохотал!

– Изверг, изверг! – возопил Степан Трофимович.

– Фу, черт, да с тобой нельзя разговаривать. Послушай, ты опять обижаешься, как в прошлый четверг?

Степан Трофимович грозно выпрямился:

– Как ты смеешь говорить со мной таким языком?

– Каким это языком? Простым и ясным?

– Но скажи же мне наконец, изверг, сын ли ты мой или нет?

– Об этом тебе лучше знать. Конечно, всякий отец склонен в этом случае к ослеплению...

– Молчи, молчи! – весь затрясся Степан Трофимович.

– Видишь ли, ты кричишь и бранишься, как и в прошлый четверг, ты свою палку хотел поднять, а ведь я документ-то тогда отыскал. Из любопытства весь вечер в чемодане прошарил. Правда, ничего нет точного, можешь утешиться. Это только записка моей матери к тому полячку. Но, судя по ее характеру...

– Еще слово, и я надаю тебе пощечин.

– Вот люди! – обратился вдруг ко мне Петр Степанович. – Видите, это здесь у нас уже с прошлого четверга. Я рад, что нынче по крайней мере вы здесь и рассудите. Сначала факт: он упрекает, что я говорю так о матери, но не он ли меня

натолкнул на то же самое? В Петербурге, когда я был еще гимназистом, не он ли будил меня по два раза в ночь, обнимал меня и плакал, как баба, и как вы думаете, что рассказывал мне по ночам-то? Вот те же скоромные анекдоты про мою мать! От него я от первого и услышал.

– О, я тогда это в высшем смысле! О, ты не понял меня. Ничего, ничего ты не понял.

– Но все-таки у тебя подлее, чем у меня, ведь подлее, признайся. Ведь видишь ли, если хочешь, мне все равно. Я с твоей точки. С моей точки зрения, не беспокойся: я мать не виню; ты так ты, поляк так поляк, мне все равно. Я не виноват, что у вас в Берлине вышло так глупо. Да и могло ли у вас выйти что-нибудь умней. Ну не смешные ли вы люди после всего! И не все ли тебе равно, твой ли я сын или нет? Послушайте, – обратился он ко мне опять, – он рубля на меня не истратил всю жизнь, до шестнадцати лет меня не знал совсем, потом здесь ограбил, а теперь кричит, что болел обо мне сердцем всю жизнь, и ломается предо мной, как актер. Да ведь я же не Варвара Петровна, помилуй!

Он встал и взял шляпу.

– Проклинаю тебя отсель моим именем! – протянул над ним руку Степан Трофимович, весь бледный как смерть.

– Эк ведь в какую глупость человек въедет! – даже удивился Петр Степанович. – Ну прощай, старина, никогда не приду к тебе больше. Статью доставь раньше, не забудь, и постарайся, если можешь, без вздоров: факты, факты и факты, а главное, короче. Прощай.

III

Впрочем, тут влияли и посторонние поводы. У Петра Степановича действительно были некоторые замыслы на родителя. По-моему, он рассчитывал довести старика до отчаяния и тем натолкнуть его на какой-нибудь явный скандал, в известном роде. Это нужно было ему для целей дальнейших, посторонних, о которых еще речь впереди. Подобных разных расчетов и предначертаний в ту пору накопилось у него чрезвычайное множество, – конечно, почти всё фантастических. Был у него в виду и другой мученик, кроме Степана Трофимовича. Вообще мучеников было у него немало, как и оказалось впоследствии; но на этого он особенно рассчитывал, и это был сам господин фон Лембке.

Андрей Антонович фон Лембке принадлежал к тому фаворизованному (природой) племени, которого в России числится по календарю несколько сот тысяч и которое, может, и само не знает, что составляет в ней всю свою массу один строго организованный союз. И, уж разумеется, союз не предумышленный и не выдуманный, а существующий в целом племени сам по себе, без слов и без договора, как нечто нравственно обязательное, и состоящий во взаимной поддержке всех членов этого племени одного другим всегда, везде и при каких бы то ни было обстоятельствах. Андрей Антонович имел честь воспитываться в одном из тех высших русских учебных заведений, которые наполняются юношеством из более одаренных связями или богатством семейств. Воспитанники этого заведения почти тотчас же по окончании курса назначались к занятию довольно значительных должностей по одному отделу государственной службы. Андрей Антонович имел одного дядю инженер-подполковника, а другого булочника; но в высшую школу протерся и встретил в ней довольно подобных соплеменников. Был он товарищ веселый; учился довольно тупо, но его все полюбили. И когда, уже в высших классах, многие из юношей, преимущественно русских, научились

толковать о весьма высоких современных вопросах, и с таким видом, что вот только дожидаться выпуска, и они порешат все дела, – Андрей Антонович все еще продолжал заниматься самыми невинными школьничествами. Он всех смешил, правда выходками весьма нехитрыми, разве лишь циническими, но поставил это себе целью. То как-нибудь удивительно высморкается, когда преподаватель на лекции обратится к нему с вопросом, – чем рассмешит и товарищей и преподавателя; то в дортуаре изобразит из себя какую-нибудь циническую живую картину, при всеобщих рукоплесканиях; то сыграет, единственно на своем носу (и довольно искусно), увертюру из «Фра-Диаволо». Отличался тоже умышленным неряшеством, находя это почему-то остроумным. В самый последний год он стал пописывать русские стишки. Свой собственный племенной язык знал он весьма неграмматически, как и многие в России этого племени. Эта наклонность к стишкам свела его с одним мрачным и как бы забытым чем-то товарищем, сыном какого-то бедного генерала, из русских, и который считался в заведении великим будущим литератором. Тот отнесся к нему покровительственно. Но случилось так, что по выходе из заведения, уже года три спустя, этот мрачный товарищ, бросивший свое служебное поприще для русской литературы и вследствие того уже щеголявший в разорванных сапогах и стучавший зубами от холода, в летнем пальто в глубокую осень, встретил вдруг случайно у Аничкова моста своего бывшего protégé¹ «Лембку», как все, впрочем, называли того в училище. И что же? Он даже не узнал его с первого взгляда и остановился в удивлении. Пред ним стоял безукоризненно одетый молодой человек, с удивительно отделанными бакенбардами рыжеватого отлива, с пенсне, в лакированных сапогах, в самых свежих перчатках, в широком шармеровском пальто и с портфелем под мышкой. Лембке обласкал товарища, сказал ему адрес и позвал к себе когда-нибудь вечером. Оказалось тоже, что он уже не «Лембка», а фон Лембке. Товарищ к нему, однако, отправился, может быть, единственно из злобы. На лестнице, довольно некрасивой и совсем уже не парадной, но устланной красным сукном, его встретил и опросил швейцар. Звонко прозвенел наверх колокол. Но вместо богатств, которые посетитель ожидал встретить, он нашел своего «Лембку» в боковой очень маленькой комнатке, имевшей темный и ветхий вид, разгороженной надвое большою темно-зеленою занавесью, меблированной хоть и мягкой, но очень ветхою темно-зеленою мебелью, с темно-зелеными шторами на узких и высоких окнах. Фон Лембке помещался у какого-то очень дальнего родственника, протежировавшего его генерала. Он встретил гостя приветливо, был серьезен и изящно вежлив. Поговорили и о литературе, но в приличных пределах. Лакей в белом галстуке принес жидковатого чаю, с маленьким, кругленьким сухим печеньем. Товарищ из злобы попросил зельтерской воды. Ему подали, но с некоторыми задержками, причем Лембке как бы сконфузился, призывая лишний раз лакея и ему приказывая. Впрочем, сам предложил, не хочет ли гость чего заказать, и видимо был доволен, когда тот отказался и наконец ушел. Просто-запросто Лембке начинал свою карьеру, а у единоплеменного, но важного генерала приживал.

Он в то время вздыхал по пятой дочке генерала, и ему, кажется, отвечали взаимностью. Но Амалию все-таки выдали, когда пришло время, за одного старого заводчика-немца, старого товарища старому генералу. Андрей Антонович не очень плакал, а склеил из бумаги театр. Поднимался занавес, выходили актеры, делали жесты руками; в ложах сидела публика, оркестр по машинке водил

¹ протеже, то есть опекаемого, покровительствуемого (фр.).

смычками по скрипкам, капельмейстер махал палочкой, а в партере кавалеры и офицеры хлопали в ладоши. Все было сделано из бумаги, все выдуманно и сработано самим фон Лембке; он просидел над театром полгода. Генерал устроил нарочно интимный вечерок, театр вынесли напоказ, все пять генеральских дочек с новобрачной Амалией, ее заводчик и многие барышни и барыни со своими немцами внимательно рассматривали и хвалили театр; затем танцевали. Лембке был очень доволен и скоро утешился.

Прошли годы, и карьера его устроилась. Он все служил по видным местам, и все под начальством единоплеменников, и дослужился наконец до весьма значительного, сравнительно с его летами, чина. Давно уже он желал жениться и давно уже осторожно высматривал. Втихомолку от начальства послал было повесть в редакцию одного журнала, но ее не напечатали. Зато склеил целый поезд железной дороги, и опять вышла преудачная вещь: публика выходила из вокзала, с чемоданами и саками, с детьми и собачками, и входила в вагоны. Кондукторы и служителя расхаживали, звенел колокольчик, давался сигнал, и поезд трогался в путь. Над этою хитрою штукой он просидел целый год. Но все-таки надо было жениться. Круг знакомств его был довольно обширен, все больше в немецком мире; но он вращался и в русских сферах, разумеется по начальству. Наконец, когда уже стукнуло ему тридцать восемь лет, он получил и наследство. Умер его дядя, булочник, и оставил ему тринадцать тысяч по завещанию. Дело стало за местом. Господин фон Лембке, несмотря на довольно высокий пошиб своей служебной сферы, был человек очень скромный. Он очень бы удовольствовался каким-нибудь самостоятельным казенным местечком, с зависящим от его распоряжений приемом казенных дров, или чем-нибудь сладеньким в этом роде, и так бы на всю жизнь. Но тут, вместо какой-нибудь ожидаемой Минны или Эрнестины, подвернулась вдруг Юлия Михайловна. Карьера его разом поднялась степенью виднее. Скромный и аккуратный фон Лембке почувствовал, что и он может быть самолюбивым.

У Юлии Михайловны, по старому счету, было двести душ, и, кроме того, с ней являлась большая протекция. С другой стороны, фон Лембке был красив, а ей уже за сорок. Замечательно, что он мало-помалу влюбился в нее и в самом деле, по мере того как все более и более ощущал себя женихом. В день свадьбы утром послал ей стихи. Ей все это очень нравилось, даже стихи: сорок лет не шутка. Вскорости он получил известный чин и известный орден, а затем назначен был в нашу губернию.

Собираясь к нам, Юлия Михайловна старательно поработала над супругом. По ее мнению, он был не без способностей, умел войти и показаться, умел глубокомысленно выслушать и промолчать, схватил несколько весьма приличных осанок, даже мог сказать речь, даже имел некоторые обрывки и кончики мыслей, схватил лоск новейшего необходимого либерализма. Но все-таки ее беспокоило, что он как-то уж очень мало восприимчив и, после долгого, вечного искания карьеры, решительно начинал ощущать потребность покоя. Ей хотелось перелить в него свое честолюбие, а он вдруг начал клеить кирку: пастор выходил говорить проповедь, молящиеся слушали, набожно сложив пред собою руки, одна дама утирала платочком слезы, один старичок сморкался; под конец звенел органчик, который нарочно был заказан и уже выписан из Швейцарии, несмотря на издержки. Юлия Михайловна даже с каким-то испугом отобрала всю работу, только лишь узнала о ней, и заперла к себе в ящик; взамен того позволила ему писать роман, но потихоньку. С тех пор прямо стала рассчитывать только на одну себя. Беда в том, что тут было порядочное легкомыслие и мало мерки.

Судьба слишком уже долго продержала ее в старых девах. Идея за идеей замесили теперь в ее честолюбивом и несколько раздраженном уме. Она питала замыслы, она решительно хотела управлять губернией, мечтала быть сейчас же окруженною, выбрала направление. Фон Лембке даже несколько испугался, хотя скоро догадался, с своим чиновничьим тактом, что собственно губернаторства пугаться ему вовсе нечего. Первые два, три месяца протекли даже весьма удовлетворительно. Но тут подвернулся Петр Степанович, и стало происходить нечто странное.

Дело в том, что молодой Верховенский с первого шагу обнаружил решительную непочтительность к Андрею Антоновичу и взял над ним какие-то странные права, а Юлия Михайловна, всегда столь ревнивая к значению своего супруга, вовсе не хотела этого замечать; по крайней мере не придавала важности. Молодой человек стал ее фаворитом, ел, пил и почти спал в доме. Фон Лембке стал защищаться, называл его при людях «молодым человеком», покровительственно трепал по плечу, но этим ничего не внушил: Петр Степанович все как будто смеялся ему в глаза, даже разговаривая, по-видимому, серьезно, а при людях говорил ему самые неожиданные вещи. Однажды, возвращаясь домой, он нашел молодого человека у себя в кабинете, спящим на диване без приглашения. Тот объяснил, что зашел, но, не застав дома, «кстати выспался». Фон Лембке был обижен и снова пожаловался супруге; осмеяв его раздражительность, та колко заметила, что он сам, видно, не умеет стать на настоящую ногу; по крайней мере с ней «этот мальчик» никогда не позволяет себе фамильярностей, а впрочем, «он наивен и свеж, хотя и вне рамок общества». Фон Лембке надулся. В тот раз она их помирила. Петр Степанович не то чтобы попросил извинения, а отделался какою-то грубою шуткой, которую в другой раз можно было бы принять за новое оскорбление, но в настоящем случае приняли за раскаяние. Слабое место состояло в том, что Андрей Антонович дал маху с самого начала, а именно сообщил ему свой роман. Вообразив в нем пылкого молодого человека с поэзией и давно уже мечтая о слушателе, он еще в первые дни знакомства прочел ему однажды вечером две главы. Тот выслушал, не скрывая скуки, невежливо зевал, ни разу не похвалил, но, уходя, выпросил себе рукопись, чтобы дома на досуге составить мнение, а Андрей Антонович отдал. С тех пор он рукописи не возвращал, хотя и забегал ежедневно, а на вопрос отвечал только смехом; под конец объявил, что потерял ее тогда же на улице. Узнав о том, Юлия Михайловна рассердилась на своего супруга ужасно.

— Уж не сообщил ли ты ему и о кирке? — всполохнулась она чуть не в испуге.

Фон Лембке решительно начал задумываться, а задумываться ему было вредно и запрещено докторами. Кроме того, что оказывалось много хлопот по губернии, о чем скажем ниже, — тут была особая материя, даже страдало сердце, а не то что одно начальническое самолюбие. Вступая в брак, Андрей Антонович ни за что бы не предположил возможности семейных раздоров и столкновений в будущем. Так всю жизнь воображал он, мечтая о Минне и Эрнестине. Он почувствовал, что не в состоянии переносить семейных громов. Юлия Михайловна объяснилась с ним наконец откровенно.

— Сердиться ты на это не можешь, — сказала она, — уже потому, что ты втрое его рассудительнее и неизмеримо выше на общественной лестнице. В этом мальчике еще много остатков прежних вольнодумных замашек, а по-моему, просто шалость; но вдруг нельзя, а надо постепенно. Надо дорожить нашею молодежью; я действую лаской и удерживаю их на краю.

– Но он черт знает что говорит, – возражал фон Лембке. – Я не могу относиться толерантно, когда он при людях и в моем присутствии утверждает, что правительство нарочно опаивает народ водкой, чтоб его абютировать и тем удержать от восстания. Представь мою роль, когда я принужден при всех это слушать.

Говоря это, фон Лембке припомнил недавний разговор свой с Петром Степановичем. С невинною целью обезоружить его либерализмом, он показал ему свою собственную интимную коллекцию всевозможных прокламаций, русских и из-за границы, которую он тщательно собирал с пятьдесят девятого года, не то что как любитель, а просто из полезного любопытства. Петр Степанович, угадав его цель, грубо выразился, что в одной строчке иных прокламаций более смысла, чем в целой какой-нибудь канцелярии, «не исключая, пожалуй, и вашей».

Лембке покорило.

– Но это у нас рано, слишком рано, – произнес он почти просительно, указывая на прокламации.

– Нет, не рано; вот вы же боитесь, стало быть, не рано.

– Но, однако же, тут, например, приглашение к разрушению церквей.

– Отчего же и нет? Ведь вы же умный человек и, конечно, сами не веруете, а слишком хорошо понимаете, что вера вам нужна, чтобы народ абютировать. Правда честнее лжи.

– Согласен, согласен, я с вами совершенно согласен, но это у нас рано, рано... – морщился фон Лембке.

– Так какой же вы после этого чиновник правительства, если сами согласны ломать церкви и идти с дрекольем на Петербург, а всю разницу ставите только в сроке?

Так грубо пойманный, Лембке был сильно пикирован.

– Это не то, не то, – увлекался он, все более и более раздражаясь в своем самолюбии, – вы, как молодой человек и, главное, незнакомый с нашими целями, заблуждаетесь. Видите, милейший Петр Степанович, вы называете нас чиновниками от правительства? Так. Самостоятельными чиновниками? Так. Но позвольте, как мы действуем? На нас ответственность, а в результате мы так же служим общему делу, как и вы. Мы только сдерживаем то, что вы расшатываете, и то, что без нас расплозлось бы в разные стороны. Мы вам не враги, отнюдь нет, мы вам говорим: идите вперед, прогрессируйте, даже расшатывайте, то есть все старое, подлежащее переделке; но мы вас, когда надо, и сдержим в необходимых пределах и тем вас же спасем от самих себя, потому что без нас вы бы только расколыхали Россию, лишив ее приличного вида, а наша задача в том и состоит, чтобы заботиться о приличном виде. Проникнитесь, что мы и вы взаимно друг другу необходимы. В Англии виги и тории тоже взаимно друг другу необходимы. Что же: мы тории, а вы виги, я именно так понимаю.

Андрей Антонович вошел даже в пафос. Он любил поговорить умно и либерально еще с самого Петербурга, а тут, главное, никто не подслушивал. Петр Степанович молчал и держал себя как-то не по-обычному серьезно. Это еще более подзадорило оратора.

– Знаете ли, что я, «хозяин губернии», – продолжал он, расхаживая по кабинету, – знаете ли, что я по множеству обязанностей не могу исполнить ни одной, а с другой стороны, могу так же верно сказать, что мне здесь нечего делать. Вся тайна в том, что тут все зависит от взглядов правительства. Пусть правительство основывает там хоть республику, ну там из политики или для усмирения страстей, а с другой стороны, параллельно, пусть усилит губерна-

торскую власть, и мы, губернаторы, поглотим республику; да что республику: все, что хотите, поглотим; я по крайней мере чувствую, что готов... Одним словом, пусть правительство провозгласит мне по телеграфу *activité dévorante*¹, и я даю *activité dévorante*. Я здесь прямо в глаза сказал: «Милостивые государи, для уравновешения и процветания всех губернских учреждений необходимо одно: усиление губернаторской власти». Видите, надо, чтобы все эти учреждения – земские ли, судебные ли – жили, так сказать, двойственной жизнью, то есть надобно, чтоб они были (я согласен, что это необходимо), ну, а с другой стороны, надо, чтоб их и не было. Все судя по взгляду правительства. Выйдет такой стих, что вдруг учреждения окажутся необходимыми, и они тотчас же у меня явятся налицо. Пройдет необходимость, и их никто у меня не отыщет. Вот как я понимаю *activité dévorante*, а ее не будет без усиления губернаторской власти. Мы с вами глаз на глаз говорим. Я, знаете, уже заявил в Петербурге о необходимости особого часового у дверей губернаторского дома. Жду ответа.

– Вам надо двух, – проговорил Петр Степанович.

– Для чего двух? – остановился пред ним фон Лембке.

– Пожалуй, одного-то мало, чтобы вас уважали. Вам надо непременно двух.

Андрей Антонович скривил лицо.

– Вы... вы Бог знаете что позволяете себе, Петр Степанович. Пользуясь моей добротой, вы говорите колкости и разыгрываете какого-то *bougti bienfaisant*...²

– Ну это как хотите, – пробормотал Петр Степанович, – а все-таки вы нам прокладываете дорогу и приготавливаете наш успех.

– То есть кому же нам и какой успех? – в удивлении уставился на него фон Лембке, но ответа не получил.

Юлия Михайловна, выслушав отчет о разговоре, была очень недовольна.

– Но не могу же я, – защищался фон Лембке, – третировать начальнически твоего фаворита, да еще когда глаз на глаз... Я мог проговориться... от доброго сердца.

– От слишком уж доброго. Я не знала, что у тебя коллекция прокламаций, сделай одолжение, покажи.

– Но... но он их выпросил к себе на один день.

– И вы опять дали! – рассердилась Юлия Михайловна. – Что за бестактность!

– Я сейчас пошлю к нему взять.

– Он не отдаст.

– Я потребую! – вскипел фон Лембке и вскочил даже с места. – Кто он, чтобы так его опасаться, и кто я, чтобы не сметь ничего сделать?

– Садитесь и успокойтесь, – остановила Юлия Михайловна, – я отвечу на ваш первый вопрос: он отлично мне зарекомендован, он со способностями и говорит иногда чрезвычайно умные вещи. Кармазинов уверял меня, что он имеет связи почти везде и чрезвычайное влияние на столичную молодежь. А если я через него привлеку их всех и сгруппирую около себя, то я отвлеку их от гибели, указав новую дорогу их честолюбию. Он предан мне всем сердцем и во всем меня слушается.

¹ бешеную активность (*фр.*).

² благотельного грубияна... (*фр.*)

– Но ведь пока их ласкать, они могут... черт знает что сделать. Конечно, это идея... – смутно защищался фон Лембке, – но... но вот, я слышу, в –ском уезде появились какие-то прокламации.

– Но ведь этот слух был еще летом – прокламации, фальшивые ассигнации, мало ли что, однако до сих пор не доставили ни одной. Кто вам сказал?

– Я от фон Блюма слышал.

– Ах, избавьте меня от вашего Блюма и никогда не смейте о нем упоминать!

Юлия Михайловна вскипела и даже с минуту не могла говорить. Фон Блюм был чиновником при губернаторской канцелярии, которого она особенно ненавидела. Об этом ниже.

– Пожалуйста, не беспокойся о Верховенском, – заключила она разговор, – если б он участвовал в каких-нибудь шалостях, то не стал бы так говорить, как он с тобою и со всеми здесь говорит. Фразеры не опасны, и даже, я так скажу, случись что-нибудь, я же первая чрез него и узнаю. Он фанатически, фанатически предан мне.

Замечу, предупреждая события, что если бы не самомнение и честолюбие Юлии Михайловны, то, пожалуй, и не было бы всего того, что успели натворить у нас эти дурные людишки. Тут она во многом ответственна!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Пред праздником

I

День праздника, задуманного Юлией Михайловной по подписке в пользу гувернанток нашей губернии, уже несколько раз назначали вперед и откладывали. Около нее вертелись бессменно Петр Степанович, состоявший на побегушках маленький чиновник Лямшин, в оно время посещавший Степана Трофимовича и вдруг попавший в милость в губернаторском доме за игру на фортепиано; отчасти Липутин, которого Юлия Михайловна прочила в редакторы будущей независимой губернской газеты; несколько дам и девиц и, наконец, даже Кармазинов, который хоть и не вертелся, но вслух и с довольным видом объявил, что приятно изумит всех, когда начнется кадрили литературы. Подписчиков и жертвователей объявилось чрезвычайное множество, все избранное городское общество; но допускались и самые избранные, если только являлись с деньгами. Юлия Михайловна заметила, что иногда даже должно допустить смешение условий, «иначе кто ж их просветит?». Образовался негласный домашний комитет, на котором порешено было, что праздник будет демократический. Чрезмерная подписка манила на расходы; хотели сделать что-то чудесное – вот почему и откладывалось. Всё еще не решались, где устроить вечерний бал: в огромном ли доме предводительши, который та уступала для этого дня, или у Варвары Петровны в Скворешниках? В Скворешники было бы далековато, но многие из комитета настаивали, что там будет «вольнее». Самой Варваре Петровне слишком хотелось бы, чтобы назначили у нее. Трудно решить, почему эта гордая женщина почти заискивала у Юлии Михайловны. Ей, вероятно, нравилось, что та, в свою очередь, почти принижается пред Николаем Всеволодовичем и любезнича-

ет с ним, как ни с кем. Повторю еще раз: Петр Степанович все время и постоянно, шепотом, продолжал укоренять в губернаторском доме одну пущенную еще прежде идею, что Николай Всеволодович человек, имеющий самые таинственные связи в самом таинственном мире, и что наверно здесь с каким-нибудь поручением.

Странное было тогда настроение умов. Особенно в дамском обществе обозначилось какое-то легкомыслие, и нельзя сказать, чтобы мало-помалу. Как бы по ветру было пущено несколько чрезвычайно развязных понятий. Наступило что-то развеселое, легкое, не скажу чтобы всегда приятное. В моде был некоторый беспорядок умов. Потом, когда все кончилось, обвиняли Юлию Михайловну, ее круг и влияние; но вряд ли все произошло от одной только Юлии Михайловны. Напротив, очень многие сначала взапуски хвалили новую губернаторшу за то, что умеет соединить общество и что стало вдруг веселее. Произошло даже несколько скандальных случаев, в которых вовсе уж была не виновата Юлия Михайловна; но все тогда только хохотали и тешились, а останавливать было некому. Устояла, правда, в стороне довольно значительная кучка лиц, с своим особенным взглядом на течение тогдашних дел; но и эти еще тогда не ворчали; даже улыбались.

Я помню, образовался тогда как-то сам собою довольно обширный кружок, центр которого, пожалуй, и вправду что находился в гостиной Юлии Михайловны. В этом интимном кружке, толпившемся около нее, конечно между молодежью, позволялось и даже вошло в правило делать разные шалости – действительно иногда довольно развязные. В кружке было несколько даже очень милых дам. Молодежь устраивала пикники, вечеринки, иногда разъезжали по городу целою кавалькадой, в экипажах и верхах. Искали приключений, даже нарочно подсочиняли и составляли их сами, единственно для веселого анекдота. Город наш третировали они как какой-нибудь город Глупов. Их звали насмешниками или надсмешниками, потому что они мало чем брезгали. Случилось, например, что жена одного местного поручика, очень еще молоденькая брюнеточка, хотя и испитая от дурного содержания у мужа, на одной вечеринке, по легкомыслию, села играть в ералаш по большой, в надежде выиграть себе на мантилью, и вместо выигрыша проиграла пятнадцать рублей. Боясь мужа и не имея чем заплатить, она, припомнив прежнюю смелость, решила потихоньку попросить займы, тут же на вечеринке, у сына нашего городского головы, прескверного мальчишки, истаскавшегося не по летам. Тот не только ей отказал, но еще пошел, хохоча вслух, сказать мужу. Поручик, действительно бедовавший на одном только жалованье, приведя домой супругу, натешился над нею досыта, несмотря на вопли, крики и просьбы на коленях о прощении. Эта возмутительная история возбудила везде в городе только смех, и хотя бедная поручица и не принадлежала к тому обществу, которое окружало Юлию Михайловну, но одна из дам этой «кавалькады», эксцентричная и бойкая личность, знавшая как-то поручицу, заехала к ней и просто-запросто увезла ее к себе в гости. Тут ее тотчас же захватили наши шалуны, заласкали, задарили и продержали дня четыре, не возвращая мужу. Она жила у бойкой дамы и по целым дням разъезжала с нею и со всем разрезвившимся обществом в прогулках по городу, участвовала в увеселениях, в танцах. Ее все подбивали тащить мужа в суд, завести историю. Уверяли, что все поддержат ее, пойдут свидетельствовать. Муж молчал, не осмеливаясь бороться. Бедняжка смекнула наконец, что закопалась в беду, и еле живая от страха убежала на четвертый день в сумерки от своих покровителей к своему поручику. Неизвестно в точности, что произошло между супругами; но две став-

ни низенького деревянного домика, в котором поручик нанимал квартиру, не отпирались две недели. Юлия Михайловна посердилась на шалунов, когда обо всем узнала, и была очень недовольна поступком бойкой дамы, хотя та представляла ей же поручицу в первый день ее похищения. Впрочем, об этом скоро забыли.

В другой раз, у одного мелкого чиновника, почтенного с виду семьянина, заезжий из другого уезда молодой человек, тоже мелкий чиновник, высватал дочку, семнадцатилетнюю девочку, красотку, известную в городе всем. Но вдруг узнали, что в первую ночь брака молодой супруг поступил с красоткой весьма невежливо, мстя ей за свою поруганную честь. Лямшин, почти бывший свидетелем дела, потому что на свадьбе запьянствовал и остался в доме ночевать, чуть свет утром обежал всех с веселым известием. Мигом образовалась компания человек в десять, все до одного верхами, иные на наемных казацких лошадях, как, например, Петр Степанович и Липутин, который, несмотря на свою седину, участвовал тогда почти во всех скандальных похождениях нашей ветреной молодежи. Когда молодые показались на улице, на дрожжах парой, делая визиты, законные нашим обычаем непременно на другой же день после венца, несмотря ни на какие случайности, – вся эта кавалькада окружила дрожки с веселым смехом и сопровождала их целое утро по городу. Правда, в дома не входили, а ждали на конях у ворот; от особенных оскорблений жениху и невесте удержались, но все-таки произвели скандал. Весь город заговорил. Разумеется, все хохотали. Но тут рассердился фон Лембке и имел с Юлией Михайловной опять оживленную сцену. Та тоже рассердилась чрезвычайно и вознамерилась было отказать шалунам от дому. Но на другой же день всем простила, вследствие увещаний Петра Степановича и нескольких слов Кармазинова. Тот нашел «шутку» довольно остроумною.

– Это в здешних нравах, – сказал он, – по крайней мере характерно и... смело; и, смотрите, все смеются, а негодуют одна вы.

Но были шалости уже нестерпимые, с известным оттенком.

В городе появилась книгоноша, продававшая Евангелие, почтенная женщина, хотя и из мещанского звания. О ней заговорили, потому что о книгоношах только что появились любопытные отзывы в столичных газетах. Опять тот же плут Лямшин, с помощью одного семинариста, праздношатавшегося в ожидании учительского места в школе, подложил потихоньку книгоноше в мешок, будто бы покупая у нее книги, целую пачку соблазнительных мерзких фотографий из-за границы, нарочно пожертвованных для сего случая, как узнали потом, одним весьма почтенным старичком, фамилию которого опускаю, с важным орденом на шее и любившим, по его выражению, «здоровый смех и веселую шутку». Когда бедная женщина стала вынимать святые книги у нас в Гостином ряду, то посыпались и фотографии. Поднялся смех, ропот; толпа стеснилась, стали ругаться, дошло бы и до побоев, если бы не подоспела полиция. Книгоношу заперли в каталажку, и только вечером, стараниями Маврикия Николаевича, с негодованием узнавшего интимные подробности этой гадкой истории, освободили и вывели из города. Тут уж Юлия Михайловна решительно прогнала было Лямшина, но в тот же вечер наши целою компанией привели его к ней, с известием, что он выдумал новую особенную штучку на фортепьяно, и угостили ее лишь выслушать. Штучка в самом деле оказалась забавною, под смешным названием «Франко-прусская война». Начиналась она грозными звуками «Марсельезы»:

Qu'un sang impur abreuve nos sillons!¹

Слышался напыщенный вызов, упоение будущими победами. Но вдруг, вместе с мастерски варьированными тактами гимна, где-то сбоку, внизу, в уголку, но очень близко, послышались гаденькие звуки «Mein lieber Augustin»². «Марсельеза» не замечает их, «Марсельеза» на высшей точке упоения своим величием; но «Augustin» укрепляется, «Augustin» все нахальнее, и вот такты «Augustin» как-то неожиданно начинают совпадать с тактами «Марсельезы». Та начинает как бы сердиться; она замечает наконец «Augustin», она хочет сбросить ее, отогнать как навязчивую ничтожную муху, но «Mein lieber Augustin» уцепилась крепко; она весела и самоуверенна; она радостна и нахальна; и «Марсельеза» как-то вдруг ужасно глупеет: она уже не скрывает, что раздражена и обижена; это вопли негодования, это слезы и клятвы с простертыми к провидению руками:

Pas un pouce notre terrain, pas une pierre de nos forteresses!³

Но уже она принуждена петь с «Mein lieber Augustin» в один такт. Ее звуки как-то глупейшим образом переходят в «Augustin», она склоняется, погасает. Изредка лишь, прорывом, послышится опять «qu'un sang impur...», но тотчас же преобидно перескочит в гаденький вальс. Она смиряется совершенно: это Жюль Фавр, рыдающий на груди Бисмарка и отдающий всё, всё... Но тут уже свирепеет и «Augustin»: слышатся сиплые звуки, чувствуется безмерно выпитое пиво, бешенство самохвальства, требования миллиардов, тонких сигар, шампанского и заложников; «Augustin» переходит в неистовый рев... Франко-прусская война оканчивается. Наши аплодируют, Юлия Михайловна улыбается и говорит: «Ну как его прогнать?» Мир заключен. У мерзавца действительно был талант. Степан Трофимович уверял меня однажды, что самые высокие художественные таланты могут быть ужаснейшими мерзавцами и что одно другому не мешает. Был потом слух, что Лямшин украл эту пиеску у одного талантливого и скромного молодого человека, знакомого ему проезжего, который так и остался в неизвестности; но это в сторону. Этот негодяй, который несколько лет вертелся пред Степаном Трофимовичем, представляя на его вечерах, по востребованию, разных жидков, исповедь глухой бабы или родины ребенка, теперь уморительно карикатурил иногда у Юлии Михайловны, между прочим, и самого Степана Трофимовича, под названием «Либерал сороковых годов». Все покатывались со смеху, так что под конец его решительно нельзя было прогнать: слишком нужным стал человеком. К тому же он раболепно заискивал у Петра Степановича, который в свою очередь приобрел к тому времени уже до странности сильное влияние на Юлию Михайловну...

Я не заговорил бы об этом мерзавце особливо, и не стоил бы он того, чтобы на нем останавливаться; но тут произошла одна возмущающая история, в которой он, как уверяют, тоже участвовал, а истории этой я никак не могу обойти в моей хронике.

В одно утро пронеслась по всему городу весть об одном безобразном и возмутительном кощунстве. При входе на нашу огромную рыночную площадь находится ветхая церковь Рождества Богородицы, составляющая замечательную

¹ Пусть нечистая кровь напоит наши нивы! (фр.)

² «Моего милого Августина» (нем.).

³ Ни одной пяди нашей земли, ни одного камня наших крепостей! (фр.)

древность в нашем древнем городе. У врат ограды издавна помещалась большая икона Богоматери, вделанная за решеткой в стену. И вот икона была в одну ночь ограблена, стекло киота выбито, решетка изломана и из венца и ризы было вынуто несколько камней и жемчужин, не знаю, очень ли драгоценных. Но главное в том, что кроме кражи совершенно было бессмысленное, глумительное кощунство: за разбитым стеклом иконы нашли, говорят, утром живую мышь. Положительно известно теперь, четыре месяца спустя, что преступление совершено было каторжным Федькой, но почему-то прибавляют тут и участие Лямшина. Тогда никто не говорил о Лямшине и совсем не подозревали его, а теперь все утверждают, что это он впустил тогда мышь. Помню, все наше начальство немного потерялось. Народ толпился у места преступления с утра. Постоянно стояла толпа, хоть не Бог знает какая, но все-таки человек во сто. Одни приходили, другие уходили. Подходившие крестились, прикладывались к иконе; стали подавать, и явилось церковное блюдо, а у блюда монахи, и только к трем часам пополудни начальство догадалось, что можно народу приказать и не останавливаться толпой, а, помолившись, приложившись и пожертвовав, проходить мимо. На фон Лембке этот несчастный случай произвел самое мрачное впечатление. Юлия Михайловна, как передавали мне, выразилась потом, что с этого зловещего утра она стала замечать в своем супруге то странное уныние, которое не прекращалось у него потом вплоть до самого выезда, два месяца тому назад, по болезни, из нашего города и, кажется, сопровождает его теперь и в Швейцарии, где он продолжает отдыхать после краткого своего поприща в нашей губернии.

Помню, в первом часу пополудни я зашел тогда на площадь; толпа была молчалива и лица важно-угрюмые. Подъехал на дрожках купец, жирный и желтый, вылез из экипажа, отдал земной поклон, приложился, пожертвовал рубль, охая взобрался на дрожки и опять уехал. Подъехала и коляска с двумя нашими дамами в сопровождении двух наших шалунов. Молодые люди (из коих один был уже не совсем молодой) вышли тоже из экипажа и протеснились к иконе, довольно небрежно отстраняя народ. Оба шляп не скинули, а один надвинул на нос пенсне. В народе зароптали, правда глухо, но неприветливо. Молодец в пенсне вынул из портмоне, туго набитого кредитками, медную копейку и бросил на блюдо; оба, смеясь и громко говоря, повернулись к коляске. В эту минуту вдруг подскакала, в сопровождении Маврикия Николаевича, Лизавета Николаевна. Она соскочила с лошади, бросила повод своему спутнику, оставшемуся по ее приказанию на коне, и подошла к образу именно в то время, когда брошена была копейка. Румянец негодования залил ее щеки; она сняла свою круглую шляпу, перчатки, упала на колени пред образом, прямо на грязный тротуар, и благоговейно положила три земных поклона. Затем вынула свой портмоне, но так как в нем оказалось только несколько гривенников, то мигом сняла свои бриллиантовые серьги и положила на блюдо.

– Можно, можно? На украшение ризы? – вся в волнении спросила она монаха.

– Позволительно, – отвечал тот, – всякое даяние благо.

Народ молчал, не выказывая ни порицания, ни одобрения; Лизавета Николаевна села на коня в загрязненном своем платье и усакала.

II

Два дня спустя после сейчас описанного случая я встретил ее в многочисленной компании, отправлявшейся куда-то в трех колясках, окруженных верхо-

выми. Она поманила меня рукой, остановила коляску и настоятельно потребовала, чтоб я присоединился к их обществу. В коляске нашлось мне место, и она откомендовала меня, смеясь, своим спутницам, пышным дамам, а мне пояснила, что все отправляются в чрезвычайно интересную экспедицию. Она хохотала и казалась что-то уж не в меру счастливою. В самое последнее время она стала весела как-то до резвости. Действительно, предприятие было эксцентрическое: все отправлялись за реку, в дом купца Севостьянова, у которого во флигеле, вот уже лет с десять, проживал на покое, в довольстве и в холе, известный не только у нас, но и по окрестным губерниям и даже в столицах Семен Яковлевич, наш блаженный и пророчествующий. Его все посещали, особенно заезжие, добываясь юродивого слова, поклоняясь и жертвуя. Пожертвования, иногда значительные, если не распоряжался ими тут же сам Семен Яковлевич, были набожно отправляемы в храм Божий, и по преимуществу в наш Богородский монастырь; от монастыря с этою целью постоянно дежурил при Семене Яковлевиче монах. Все ожидали большого веселия. Никто из этого общества еще не видал Семена Яковлевича. Один Лямшин был у него когда-то прежде и уверял теперь, что тот велел его прогнать метлой и пустил ему вслед собственною рукой двумя большими вареными картофелинами. Между верховыми я заметил и Петра Степановича, опять на наемной казацкой лошади, на которой он весьма скверно держался, и Николая Всеволодовича, тоже верхом. Этот не уклонялся иногда от всеобщих увеселений и в таких случаях всегда имел прилично веселую мину, хотя по-прежнему говорил мало и редко. Когда экспедиция поравнялась, спускаясь к мосту, с городской гостиницей, кто-то вдруг объявил, что в гостинице, в номере, сейчас только нашли застрелившегося проезжего и ждут полицию. Готчас же явилась мысль посмотреть на самоубийцу. Мысль поддержали: наши дамы никогда не видали самоубийц. Помню, одна из них сказала тут же вслух, что «все так уж прискучило, что нечего церемониться с развлечениями, было бы занимательно». Только немногие остались ждать у крыльца; остальные же гурьбой вошли в грязный коридор, и между прочими я, к удивлению, увидал и Лизавету Николаевну. Номер застрелившегося был отперт, и, разумеется, нас не пропустили. Это был еще молоденький мальчик, лет девятнадцати, никак не более, очень, должно быть, хорошенький собой, с густыми белокурыми волосами, с правильным овальным обликом, с чистым прекрасным лбом. Он уже окончил, и беленькое личико его казалось как будто из мрамора. На столе лежала записка, его рукой, чтобы не винили никого в его смерти и что он застрелился потому, что «прокутил» четыреста рублей. Слово «прокутил» так и стояло в записке: в четырех ее строчках нашлось три грамматических ошибки. Тут особенно охал над ним какой-то, по-видимому, сосед его, толстый помещик, стоявший в другом номере по своим делам. Из слов того оказалось, что мальчик отправлен был семейством, вдовою матерью, сестрами и тетками, из деревни их в город, чтобы, под руководством проживавшей в городе родственницы, сделать разные покупки для приданого старшей сестры, вышедшей замуж, и доставить их домой. Ему вверили эти четыреста рублей, накопленные десятилетиями, охая от страха и напутствуя его бесконечными назиданиями, молитвами и крестами. Мальчик доселе был скромн и благонадежен. Приехав три дня тому назад в город, он к родственнице не явился, остановился в гостинице и пошел прямо в клуб – в надежде отыскать где-нибудь в задней комнате какого-нибудь заезжего банкомета или по крайней мере стуколку. Но стуколки в тот вечер не было, банкомета тоже. Возвратясь в номер уже около полуночи, он потребовал шампанского, гаванских сигар и заказал ужин из шести или семи блюд. Но от шампан-

ского опьянел, от сигары его стошнило, так что до внесенных кушаний и не при-
тронулся, а улегся спать чуть не без памяти. Проснувшись назавтра, свежий как
яблоко, тотчас же отправился в цыганский табор, помещавшийся за рекой в сло-
бодке, о котором услышал вчера в клубе, и в гостиницу не являлся два дня. На-
конец, вчера, часам к пяти пополудни, прибыл хмельной, тотчас лег спать и про-
спал до десяти часов вечера. Проснувшись, спросил котлетку, бутылку шато-
д'икему и винограду, бумаги, чернил и счет. Никто не заметил в нем ничего осо-
бенного; он был спокоен, тих и ласков. Должно быть, он застрелился еще около
полуночи, хотя странно, что никто не слышал выстрела, а хватились только се-
годня в час пополудни и, не достучавшись, выломали дверь. Бутылка шато-
д'икему была наполовину опорожнена, винограду оставалось тоже с полтарелки.
Выстрел был сделан из трехствольного маленького револьвера прямо в сердце.
Крови вытекло очень мало; револьвер выпал из рук на ковер. Сам юноша полу-
лежал в углу на диване. Смерть, должно быть, произошла мгновенно; никакого
смертного мучения не замечалось в лице; выражение было спокойное, почти
счастливое, только бы жить. Все наши рассматривали с жадным любопытством.
Вообще в каждом несчастье ближнего есть всегда нечто веселящее посторонний
глаз – и даже кто бы вы ни были. Наши дамы рассматривали молча, спутники же
отличались остротой ума и высшим присутствием духа. Один заметил, что это
наилучший исход и что умнее мальчик и не мог ничего выдумать; другой заклю-
чил, что хоть миг, да хорошо пожил. Третий вдруг брякнул: почему у нас так
часто стали вешаться и застреливаться, – точно с корней соскочили, точно пол
из-под ног у всех выскользнул? На резонера неприветливо посмотрели. Зато
Лямшин, ставивший себе за честь роль шута, стянул с тарелки кисточку вино-
граду, за ним, смеясь, другой, а третий протянул было руку и к шато-д'икему. Но
остановил прибывший полицеймейстер, и даже попросил «очистить комнату».
Так как все уже нагляделись, то тотчас же без спору и вышли, хотя Лямшин и
пристал было с чем-то к полицеймейстеру. Всеобщее веселье, смех и резвый го-
вор в остальную половину дороги почти вдвое оживились.

Прибыли к Семену Яковлевичу ровно в час пополудни. Ворота довольно
большого купеческого дома стояли настежь, и доступ во флигель был открыт.
Тотчас же узнали, что Семен Яковлевич изволит обедать, но принимает. Вся на-
ша толпа вошла разом. Комната, в которой принимал и обедал блаженный, бы-
ла довольно просторная, в три окна, и разгорожена поперек на две равные части
деревянною решеткой от стены до стены, по пояс высотой. Обыкновенные посе-
тители оставались за решеткой, а счастливыцы допускались, по указанию бла-
женного, чрез дверцы решетки в его половину, и он сажал их, если хотел, на свои
старые кожаные кресла и на диван; сам же заседал неизменно в старинных истер-
тых вольтеровских креслах. Это был довольно большой, одутловатый, желтый
лицом человек, лет пятидесяти пяти, белокурый и лысый, с жидкими волосами,
бривший бороду, с раздутою правою щекой и как бы несколько перекосившимся
ртом, с большою бородавкой близ левой ноздри, с узенькими глазками и с спо-
койным, солидным, заспанным выражением лица. Одет был по-немецки, в чер-
ный сюртук, но без жилета и без галстука. Из-под сюртука выглядывала доволь-
но толстая, но белая рубашка; ноги, кажется больные, держал в туфлях. Я слы-
шал, что когда-то он был чиновником и имеет чин. Он только что откушал уху
из легкой рыбки и принялся за второе свое кушанье – картофель в мундире, с
солью. Другого ничего и никогда не вкушал; пил только много чаю, которого
был любителем. Около него сновало человека три прислуги, содержавшейся от
купца; один из слуг был во фраке, другой похож на артельщика, третий на при-

четника. Был еще и мальчишка лет шестнадцати, весьма резвый. Кроме прислуги присутствовал и почтенный седой монах с кружкой, немного слишком полный. На одном из столов кипел огромный самовар и стоял поднос чуть не с двумя дюжинами стаканов. На другом столе, противоположном, помещались приношения: несколько голов и фунтиков сахара, фунта два чаю, пара вышитых туфель, фуляровый платок, отрезок сукна, штука холста и пр. Денежные пожертвования почти все поступали в кружку монаха. В комнате былолюдно – человек до дюжины одних посетителей, из коих двое сидели у Семена Яковлевича за решеткой; то были седенький старичок, богомолец, из «простых», и один маленький, сухенький захожий монашек, сидевший чинно и потупив очи. Прочие посетители все стояли по сю сторону решетки, все тоже больше из простых, кроме одного толстого купца, приезжего из уездного города, бородача, одетого по-русски, но которого знали за стотысячника; одной пожилой и убогой дворянки и одного помещика. Все ждали своего счастья, не осмеливаясь заговорить сами. Человека четыре стояли на коленях, но всех более обращал на себя внимание помещик, человек толстый, лет сорока пяти, стоявший на коленях у самой решетки, ближе всех на виду, и с благоговением ожидавший благосклонного взгляда или слова Семена Яковлевича. Стоял он уже около часу, а тот все не замечал.

Наши дамы стеснились у самой решетки, весело и смешливо шушукая. Стоявших на коленях и всех других посетителей оттеснили или заслонили, кроме помещика, который упорно остался на виду, ухватясь даже руками за решетку. Веселые и жадно-любопытные взгляды устремились на Семена Яковлевича, равно как лорнет, пенсне и даже бинокли; Лямшин, по крайней мере, рассматривал в бинокль. Семен Яковлевич спокойно и лениво окинул всех своими маленькими глазками.

– Миловзоры! миловзоры! – изволил он выговорить сиплым баском и с легким восклицанием.

Все наши засмеялись: «Что значит миловзоры?» Но Семен Яковлевич погружился в молчание и доедал свой картофель. Наконец утерся салфеткой, и ему подали чаю.

Кушал он чай обыкновенно не один, а наливал и посетителям, но далеко не всякому, обыкновенно указывая сам, кого из них осчастливить. Распоряжения эти всегда поражали своею неожиданностью. Минув богачей и сановников, приказывал иногда подавать мужику или какой-нибудь ветхой старушонке; другой раз, минуя нищую братию, подавал какому-нибудь одному жирному купцу-богачу. Наливалось тоже разное, одним внакладку, другим вприкуску, а третьим и вовсе без сахара. На этот раз осчастливлены были захожий монашек стаканом внакладку и старичок богомолец, которому дали совсем без сахара. Толстому же монаху с кружкой из монастыря почему-то не поднесли вовсе, хотя тот до сих пор каждый день получал свой стакан.

– Семен Яковлевич, скажите мне что-нибудь, я так давно желала с вами познакомиться, – пропела с улыбкой и прищуриваясь та пышная дама из нашей коляски, которая заметила давеча, что с развлечениями нечего церемониться, было бы занимательно. Семен Яковлевич даже не поглядел на нее. Помещик, стоявший на коленях, звучно и глубоко вздохнул, точно приподняли и опустили большие мехи.

– Внакладку! – указал вдруг Семен Яковлевич на купца-стотысячника; тот выдвинулся вперед и стал рядом с помещиком.

– Еще ему сахару! – приказал Семен Яковлевич, когда уже налили стакан; положили еще порцию. – Еще, еще ему! – Положили еще в третий раз и, наконец, в четвертый. Купец беспрекословно стал пить свой сироп.

– Господи! – зашептал и закрестился народ. Помещик опять звучно и глубоко вздохнул.

– Батюшка! Семен Яковлевич! – раздался вдруг горестный, но резкий до того, что трудно было и ожидать, голос убогой дамы, которую наши оттерли к стене. – Целый час, родной, благодати ожидаю. Изреки ты мне, рассуди меня, сироту.

– Спроси, – указал Семен Яковлевич слуге-причетнику. Тот подошел к решетке.

– Исполнили ли то, что приказал в прошлый раз Семен Яковлевич? – спросил он вдову тихим и размеренным голосом

– Какое, батюшка Семен Яковлевич, исполнила, исполнишь с ними! – завопила вдова, – людоеды, просьбу на меня в окружной подают, в Сенат грозят; это на родную-то мать!..

– Дай ей!.. – указал Семен Яковлевич на голову сахару. Мальчишка подскочил, схватил голову и потащил ко вдове.

– Ох, батюшка, велика твоя милость. И куда мне столько? – завопила было вдовица.

– Еще, еще! – награждал Семен Яковлевич.

Притащили еще голову. «Еще, еще», – приказывал блаженный; принесли третью и, наконец, четвертую. Вдовицу обставили сахаром со всех сторон. Монах от монастыря вздохнул: все это бы сегодня же могло попасть в монастырь, по прежним примерам.

– Да куда мне столько? – приниженно охала вдовица. – Стошнит одну-то!.. Да уж не пророчество ли какое, батюшка?

– Так и есть, пророчество, – проговорил кто-то в толпе.

– Еще ей фунт, еще! – не унимался Семен Яковлевич.

На столе оставалась еще целая голова, но Семен Яковлевич указал подать фунт, и вдове подали фунт.

– Господи, Господи! – вздыхал и крестился народ. – Видимое пророчество.

– Усладите вперед сердце ваше добротой и милостью и потом уже приходите жаловаться на родных детей, кость от костей своих, вот что, должно полагать, означает эмблема сия, – тихо, но самодовольно проговорил толстый, но обнесенный чаем монах от монастыря, в припадке раздраженного самолюбия взяв на себя толкование.

– Да что ты, батюшка, – озлилась вдруг вдовица, – да они меня на аркане в огонь тащили, когда у Верхишиных загорелось. Они мне мертву кошку в укладку заперли, то есть всякое-то бесчинство готовы...

– Гони, гони! – вдруг замахал руками Семен Яковлевич.

Причетник и мальчишка вырвались за решетку. Причетник взял вдову под руку, и она, присмирив, потащилась к дверям, озираясь на дареные сахарные головы, которые за нею поволок мальчишка.

– Одну отнять, отними! – приказал Семен Яковлевич остававшемуся при нем артельщику. Тот бросился за уходившими, и все трое слуг воротились через несколько времени, неся обратно раз подаренную и теперь отнятую у вдовицы одну голову сахару; она унесла, однако же, три.

– Семен Яковлевич, – раздался чей-то голос сзади у самых дверей, – видел я во сне птицу, галку, вылетела из воды и полетела в огонь. Что сей сон значит?

– К морозу, – произнес Семен Яковлевич.

– Семен Яковлевич, что же вы мне-то ничего не ответили, я так давно вами интересуюсь, – начала было опять наша дама.

– Спроси! – указал вдруг, не слушая ее, Семен Яковлевич на помещика, стоявшего на коленях.

Монах от монастыря, которому указано было спросить, степенно подошел к помещику.

– Чем согрешили? И не велено ль было чего исполнить?

– Не драться, рукам воли не давать, – сипло отвечал помещик.

– Исполнили? – спросил монах.

– Не могу выполнить, собственная сила одолевает.

– Гони, гони! Метлой его, метлой! – замахал руками Семен Яковлевич. Помещик, не дожидаясь исполнения кары, вскочил и бросился вон из комнаты.

– На месте златницу оставили, – провозгласил монах, подымая с полу полуимперал.

– Вот кому! – ткнул пальцем на стотысячника купца Семен Яковлевич. Стотысячник не посмел отказаться и взял.

– Злато к злату, – не утерпел монах от монастыря.

– А этому внакладку, – указал вдруг Семен Яковлевич на Маврикия Николаевича. Слуга налил чаю и поднес было ошибкой франту в пенсне.

– Длинному, длинному, – поправил Семен Яковлевич.

Маврикий Николаевич взял стакан, отдал военный полупоклон и начал пить. Не знаю почему, все наши так и покатались со смеху.

– Маврикий Николаевич! – обратилась к нему вдруг Лиза, – тот господин на коленях ушел, станьте на его место на колени.

Маврикий Николаевич в недоумении посмотрел на нее.

– Прошу вас, вы сделаете мне большое удовольствие. Слушайте, Маврикий Николаевич, – начала она вдруг настойчиво, упрямо, горячею скороговоркой, – непременно станьте, я хочу непременно видеть, как вы будете стоять. Если не станете – и не приходите ко мне. Непременно хочу, непременно хочу!..

Я не знаю, что она хотела этим сказать; но она требовала настойчиво, неумолимо, точно была в припадке. Маврикий Николаевич растолковывал, как увидим ниже, такие капризные порывы ее, особенно частые в последнее время, вспышками слепой к нему ненависти, и не то чтоб от злости, – напротив, она чтילה, любила и уважала его, и он сам это знал, – а от какой-то особенной бессознательной ненависти, с которою она никак не могла справиться минутами.

Он молча передал чашку какой-то сзади него стоявшей старушонке, отворил дверцу решетки, без приглашения шагнул в интимную половину Семена Яковлевича и стал среди комнаты на колени, на виду у всех. Думаю, что он слишком был потрясен в деликатной и простой душе своей грубою, глумительною выходкой Лизы, в виду всего общества. Может быть, ему подумалось, что ей станет стыдно за себя, видя его унижение, на котором она так настаивала. Конечно, никто не решился бы исправлять таким наивным и рискованным способом женщину, кроме него. Он стоял на коленях с своею невозмутимою важностью в лице, длинный, нескладный, смешной. Но наши не смеялись; неожиданность поступка произвела болезненный эффект. Все глядели на Лизу.

– Елей, елей! – пробормотал Семен Яковлевич.

Лиза вдруг побледнела, вскрикнула, ахнула и бросилась за решетку. Тут произошла быстрая, истерическая сцена: она изо всех сил стала подымать Маврикия Николаевича с колен, дергая его обеими руками за локоть.

– Вставайте, вставайте! – вскрикивала она как без памяти, – встаньте сейчас, сейчас! Как вы смели стать!

Маврикий Николаевич приподнялся с колен. Она стиснула своими руками его руки выше локтей и пристально смотрела ему в лицо. Страх был в ее взгляде.

– Миловзоры, миловзоры! – повторил еще раз Семен Яковлевич.

Она втащила наконец Маврикия Николаевича обратно за решетку; во всей нашей толпе произошло сильное движение. Дама из нашей коляски, вероятно желая перебить впечатление, в третий раз звонко и визгливо спросила Семена Яковлевича, по-прежнему с жеманною улыбкой:

– Что же, Семен Яковлевич, неужто не «изречете» и мне чего-нибудь? А я так много на вас рассчитывала.

– В... тебя, в... тебя!.. – произнес вдруг, обращаясь к ней, Семен Яковлевич крайне нецензурное словцо. Слова сказаны были свирепо и с ужасающе отчетливостью. Наши дамы взвизгнули и бросились стремглав бегом вон, кавалеры гомерически захохотали. Тем и кончилась наша поездка к Семену Яковлевичу.

И, однако же, тут, говорят, произошел еще один чрезвычайно загадочный случай, и, признаюсь, для него-то более я и упомянул так подробно об этой поездке.

Говорят, что когда все гурьбой бросились вон, то Лиза, поддерживаемая Маврикием Николаевичем, вдруг столкнулась в дверях, в тесноте, с Николаем Всеволодовичем. Надо сказать, со времени воскресного утра и обморока они оба хоть и встречались не раз, но друг к другу не подходили и ничего между собою не сказали. Я видел, как они столкнулись в дверях: мне показалось, что они оба на мгновение приостановились и как-то странно друг на друга поглядели. Но я мог худо видеть в толпе. Уверяли, напротив, и совершенно серьезно, что Лиза, взглянув на Николая Всеволодовича, быстро подняла руку, так-таки вровень с его лицом, и наверно бы ударила, если бы тот не успел отстраниться. Может быть, ей не понравилось выражение лица его или какая-нибудь усмешка его, особенно сейчас, после такого эпизода с Маврикием Николаевичем. Признаюсь, я сам не видел ничего, но зато все уверяли, что видели, хотя все-то уж никак не могли этого увидеть за суматохой, а разве иные. Только я этому тогда не поверил. Помню, однако, что Николай Всеволодович во всю обратную дорогу был несколько бледен.

III

Почти в то же время и именно в этот же самый день состоялось наконец и свидание Степана Трофимовича с Варварой Петровной, которое та давно держала в уме и давно уже возвестила о нем своему бывшему другу, но почему-то до сих пор все откладывала. Оно произошло в Скворешниках. Варвара Петровна прибыла в свой загородный дом вся в хлопотах: накануне определено было окончательно, что предстоящий праздник будет дан у предводительши. Но Варвара Петровна тотчас же смекнула в своем быстром уме, что после праздника никто не помешает ей дать свой особый праздник, уже в Скворешниках, и снова созвать весь город. Тогда все могли бы убедиться на деле, чей дом лучше и где умеют лучше принять и с большим вкусом дать бал. Вообще ее узнать нельзя было. Казалось, она точно переродилась и из прежней недоступной «высшей дамы» (выражение Степана Трофимовича) обратилась в самую обыкновенную взбалмошную светскую женщину. Впрочем, это только могло казаться.

Прибыв в пустой дом, она обошла комнаты в сопровождении верного и старинного Алексея Егоровича и Фомушки, человека, выдавшего виды и специалиста по декоративному делу. Начались советы и соображения: что из мебели

перенести из городского дома; какие вещи, картины; где их расставить; как всего удобнее распорядиться оранжереей и цветами; где сделать новые драпри, где устроить буфет, и один или два? и пр., и пр. И вот, среди самых горячих хлопот, ей вдруг вздумалось послать карету за Степаном Трофимовичем.

Тот был уже давно извещен и готов и каждый день ожидал именно такого внезапного приглашения. Садясь в карету, он перекрестился; решалась судьба его. Он застал своего друга в большой зале, на маленьком диванчике в нише, пред маленьким мраморным столиком, с карандашом и бумагой в руках: Фомушка вымеривал аршином высоту хор и окон, а Варвара Петровна сама записывала цифры и делала на полях отметки. Не отрываясь от дела, она кивнула головой в сторону Степана Трофимовича и, когда тот пробормотал какое-то приветствие, подала ему наскоро руку и указала, не глядя, подле себя место.

«Я сидел и ждал минут пять, «сдавив мое сердце», – рассказывал он мне потом. – Я видел не ту женщину, которую знал двадцать лет. Полнейшее убеждение, что всему конец, придало мне силы, изумившие даже ее. Клянусь, она была удивлена моею стойкостью в этот последний час».

Варвара Петровна вдруг положила карандаш на столик и быстро повернулась к Степану Трофимовичу.

– Степан Трофимович, нам надо говорить о деле. Я уверена, что вы приготовили все ваши пышные слова и разные словечки, но лучше бы к делу прямо, не так ли?

Его передернуло. Она слишком спешила заявить свой тон, что же могло быть далее?

– Подождите, молчите, дайте мне сказать, потом вы, хотя, право, не знаю, что бы вы могли мне ответить? – продолжала она быстрою скороговоркой. – Тысячу двести рублей вашего пенсионера я считаю моею священной обязанностью до конца вашей жизни; то есть зачем священной обязанностью, просто договором, это будет гораздо реальнее, не так ли? Если хотите, мы напишем. На случай моей смерти сделаны особые распоряжения. Но вы получаете от меня теперь, сверх того, квартиру и прислугу и все содержание. Переведем это на деньги, будет тысяча пятьсот рублей, не так ли? Кладу еще экстренных триста рублей, итого полных три тысячи. Довольно с вас в год? Кажется, не мало? В самых экстренных случаях я, впрочем, буду набавлять. Итак, возьмите деньги, пришлите мне моих людей и живите сами по себе, где хотите, в Петербурге, в Москве, за границей или здесь, только не у меня. Слышите?

– Недавно так же настойчиво и так же быстро передано было мне из тех же уст другое требование, – медленно и с грустною отчетливостью проговорил Степан Трофимович. – Я смирился и... плясал казачка вам в угоду. *Oui, la comparaison peut être permise. C'était comme un petit cozak du Don, qui sautait sur sa propre tombe*¹. Теперь...

– Остановитесь, Степан Трофимович. Вы ужасно многоречивы. Вы не плясали, а вы вышли ко мне в новом галстуке, белье, в перчатках, напомаженный и раздушенный. Уверяю вас, что вам очень хотелось самому жениться; это было на вашем лице написано, и поверьте, выражение самое неизящное. Если я не заметила вам тогда же, то единственно из деликатности. Но вы желали, вы желали жениться, несмотря на мерзости, которые вы писали интимно обо мне и о вашей невесте. Теперь вовсе не то. И к чему тут *cozak du Don* над какою-то вашею мо-

¹ Да, такое сравнение допустимо. Как донской казачок, пляшущий на собственной могиле (фр.).

гилой? Не понимаю, что за сравнение. Напротив, не умирайте, а живите; живите как можно больше, я очень буду рада.

– В богадельне?

– В богадельне? В богадельню нейдут с тремя тысячами дохода. Ах, припоминаю, – усмехнулась она, – в самом деле, Петр Степанович как-то расшутился раз о богадельне. Ба, это действительно особенная богадельня, о которой стоит подумать. Это для самых почтенных особ, там есть полковники, туда даже теперь хочет один генерал. Если вы поступите со всеми вашими деньгами, то найдете покой, довольство, служителей. Вы там будете заниматься науками и всегда можете составить партию в преферанс...

– Passons¹.

– Passons? – покорило Варвару Петровну. – Но в таком случае всё; вы извещены, мы живем с этих пор совершенно порознь.

– И все? Все, что осталось от двадцати лет? Последнее прощание наше?

– Вы ужасно любите восклицать, Степан Трофимович. Нынче это совсем не в моде. Они говорят грубо, но просто. Дались вам наши двадцать лет! Двадцать лет обоюдного самолюбия, и больше ничего. Каждое письмо ваше ко мне писано не ко мне, а для потомства. Вы стилист, а не друг, а дружба – это только прославленное слово, в сущности: взаимное излияние помой...

– Боже, сколько чужих слов! Затверженные уроки! И на вас уже надели они свой мундир! Вы тоже в радости, вы тоже на солнце; chère, chère, за какое чечевичное варево продали вы им вашу свободу!

– Я не попугай, чтобы повторять чужие слова, – вскипела Варвара Петровна. – Будьте уверены, что у меня свои слова накопились. Что сделали вы для меня в эти двадцать лет? Вы отказывали мне даже в книгах, которые я для вас выписывала и которые, если бы не переплетчик, остались бы неразрезанными. Что давали вы мне читать, когда я, в первые годы, просила вас руководить меня? Все Капфиг да Капфиг. Вы ревновали даже к моему развитию и брали меры. А между тем над вами же все смеются. Признаюсь, я всегда вас считала только за критика; вы литературный критик, и ничего более. Когда дорогой в Петербург я вам объявила, что намерена издавать журнал и посвятить ему всю мою жизнь, вы тотчас же поглядели на меня иронически и стали вдруг ужасно высокомерны.

– Это было не то, не то... мы тогда боялись преследований...

– Это было то самое, а преследований в Петербурге вы уж никак не могли бояться. Помните, потом в феврале, когда пронеслась весть, вы вдруг прибежали ко мне перепуганный и стали требовать, чтоб я тотчас же дала вам удостоверение, в виде письма, что затеваемый журнал до вас совсем не касается, что молодые люди ходят ко мне, а не к вам, а что вы только домашний учитель, который живет в доме потому, что ему еще недодано жалование, не так ли? Помните это вы? Вы отменно отличались всю вашу жизнь, Степан Трофимович.

– Это была только одна минута малодушия, минута глаз на глаз, – горестно воскликнул он, – но неужели, неужели же все порвать из-за таких мелких впечатлений? Неужели же ничего более не уцелело между нами за столь долгие годы?

– Вы ужасно расчетливы; вы все хотите так сделать, чтоб я еще оставалась в долгу. Когда вы воротились из-за границы, вы смотрели предо мною свысока и не давали мне выговорить слова, а когда я сама поехала и заговорила с вами потом о впечатлении после Мадонны, вы не дослушали и высокомерно стали улыбаться в свой галстук, точно я уж не могла иметь таких же точно чувств, как и вы.

¹ Оставим это (фр.).

– Это было не то, вероятно не то... J'ai oublié¹.

– Нет, это было то самое, да и хвалиться-то было нечем предо мною, потому что все это вздор и одна только ваша выдумка. Нынче никто, никто уж Мадонной не восхищается и не теряет на это времени, кроме закоренелых стариков. Это доказано.

– Уж и доказано?

– Она совершенно ни к чему не служит. Эта кружка полезна, потому что в нее можно влить воды; этот карандаш полезен, потому что им можно все записать, а тут женское лицо хуже всех других лиц в натуре. Попробуйте нарисовать яблоко и положите тут же рядом настоящее яблоко – которое вы возьмете? Небось не ошибетесь. Вот к чему сводятся теперь все ваши теории, только что озарил их первый луч свободного исследования.

– Так, так.

– Вы усмехаетесь иронически. А что, например, говорили вы мне о милостыне? А между тем наслаждение от милостыни есть наслаждение надменное и безнравственное, наслаждение богача своим богатством, властью и сравнением своего значения с значением нищего. Милостыня развращает и подающего и берущего и, сверх того, не достигает цели, потому что только усиливает нищету. Лентяи, не желающие работать, толпятся около дающих, как игроки у игорного стола, надеясь выиграть. А меж тем жалких грошей, которые им бросают, недостает и на сотую долю. Много ль вы роздали в вашу жизнь? Гривен восемь, не более, припомните-ка. Постарайтесь вспомнить, когда вы подавали в последний раз; года два назад, а пожалуй, четыре будет. Вы кричите и только делу мешаете. Милостыня и в теперешнем обществе должна быть законом запрещена. В новом устройстве совсем не будет бедных.

– О, какое извержение чужих слов! Так уж и до нового устройства дошло? Несчастливая, помоги вам Бог!

– Да, дошло, Степан Трофимович; вы тщательно скрывали от меня все новые идеи, теперь всем уже известные, и делали это единственно из ревности, чтоб иметь надо мною власть. Теперь даже эта Юлия на сто верст впереди меня. Но теперь и я прозрела. Я защищала вас, Степан Трофимович, сколько могла; вас решительно все обвиняют.

– Довольно! – поднялся было он с места, – довольно! И что еще пожелаю вам, неужто раскаяния?

– Сядьте на минуту, Степан Трофимович, мне надо еще вас спросить. Вам передано было приглашение читать на литературном утре; это чрез меня устроилось. Скажите, что именно вы прочтете?

– А вот именно об этой царице цариц, об этом идеале человечества, Мадонне Сикстинской, которая не стоит, по-вашему, стакана или карандаша.

– Так вы не из истории? – горестно изумилась Варвара Петровна. – Но вас слушать не будут. Далась же вам эта Мадонна! Ну что за охота, если вы всех усыпите? Будьте уверены, Степан Трофимович, что я единственно в вашем интересе говорю. То ли дело, если бы вы взяли какую-нибудь коротенькую, но занимательную средневековую придворную историю, из испанской истории, или, лучше сказать, один анекдот, и наполнили бы его еще анекдотами и острыми словечками от себя. Там были пышные дворы, там были такие дамы, отравления. Кармазинов говорит, что странно будет, если уж и из испанской истории не прочесть чего-нибудь занимательного.

¹ Я забыл (фр.).

– Кармазинов, этот исписавшийся глупец, ищет для меня темы!

– Кармазинов, этот почти государственный ум! Вы слишком дерзки на язык, Степан Трофимович.

– Ваш Кармазинов – это старая, исписавшаяся, обозленная баба! *Chère, chère*, давно ли вы так поработились ими, о Боже!

– Я и теперь его терпеть не могу за важничание, но я отдаю справедливость его уму. Повторяю, я защищала вас изо всех сил, сколько могла. И к чему непременно заявлять себя смешным и скучным? Напротив, выйдите на эстраду с почтенною улыбкой, как представитель прошедшего века, и расскажите три анекдота, со всем вашим остроумием, так, как вы только умеете иногда рассказать. Пусть вы старик, пусть вы отжившего века, пусть, наконец, отстали от них; но вы сами с улыбкой в этом сознаетесь в предисловии, и все увидят, что вы милый, добрый, остроумный обломок... Одним словом, человек старой соли и настолько передовой, что сам способен оценить во что следует все безобразие иных понятий, которыми до сих пор он следовал. Ну сделайте мне удовольствие, я вас прошу.

– *Chère*, довольно! Не просите, не могу. Я прочту о Мадонне, но подыму бурю, которая или раздавит их всех, или поразит одного меня!

– Наверно, одного вас, Степан Трофимович.

– Таков мой жребий. Я расскажу о том подлом рабе, о том вонючем и развратном лакее, который первый взмостится на лестницу с ножницами в руках и раздерет божественный лик великого идеала, во имя равенства, зависти и... пищеварения. Пусть прогремит мое проклятие, и тогда, тогда...

– В сумасшедший дом?

– Может быть. Но во всяком случае, останусь ли я побежденным, или победителем, я в тот же вечер возьму мою суму, нищенскую суму мою, оставлю все мои пожитки, все подарки ваши, все пенсии и обещания будущих благ и уйду пешком, чтобы кончить жизнь у купца гувернером либо умереть где-нибудь с голоду под забором. Я сказал. *Alea jacta est!*¹

Он приподнялся снова.

– Я была уверена, – поднялась, засверкав глазами, Варвара Петровна, – уверена уже годы, что вы именно на то только и живете, чтобы под конец опозорить меня и мой дом клеветой! Что вы хотите сказать вашим гувернерством у купца или смертью под забором? Злость, клевета, и ничего больше!

– Вы всегда презирали меня; но я кончу как рыцарь, верный моей даме, ибо ваше мнение было мне всегда дороже всего. С этой минуты не принимаю ничего, а чту бескорыстно.

– Как это глупо!

– Вы всегда не уважали меня. Я мог иметь бездну слабостей. Да, я вас объедал; я говорю языком нигилизма; но объедать никогда не было высшим принципом моих поступков. Это случилось так, само собою, я не знаю как... Я всегда думал, что между нами остается нечто высшее еды, и – никогда, никогда не был я подлецом! Итак, в путь, чтобы поправить дело! В поздний путь, на дворе поздняя осень, туман лежит над полями, мерзлый, старческий иней покрывает будущую дорогу мою, а ветер завывает о близкой могиле... Но в путь, в путь, в новый путь:

Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте...

¹ Жребий брошен! (лат.)

О, прощайте, мечты мои! Двадцать лет! *Alea jacta est!*

Лицо его было обрызгано прорвавшимися вдруг слезами; он взял свою шляпу.

– Я ничего не понимаю по-латыни, – проговорила Варвара Петровна, изо всех сил скрепляя себя.

Кто знает, может быть, ей тоже хотелось заплакать, но негодование и каприз еще раз взяли верх.

– Я знаю только одно, именно, что все это шалости. Никогда вы не в состоянии исполнить ваших угроз, полных эгоизма. Никуда вы не пойдете, ни к какому купцу, а преспокойно кончите у меня на руках, получая пенсию и собирая ваших ни на что не похожих друзей по вторникам. Прощайте, Степан Трофимович.

– *Alea jacta est!* – глубоко поклонился он ей и воротился домой еле живой от волнения.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Петр Степанович в хлопотах

I

День праздника был назначен окончательно, а фон Лембке становился все грустнее и задумчивее. Он был полон странных и зловещих предчувствий, и это сильно беспокоило Юлию Михайловну. Правда, не все обстояло благополучно. Прежний мягкий губернатор наш оставил управление не совсем в порядке; в настоящую минуту надвигалась холера; в иных местах объявился сильный скотский падеж; все лето свирепствовали по городам и селам пожары, а в народе все сильнее и сильнее укоренялся глупый ропот о поджогах. Грабительство возросло вдвое против прежних размеров. Но все бы это, разумеется, было более чем обыкновенно, если бы при этом не было других более веских причин, нарушавших спокойствие доселе счастливого Андрея Антоновича.

Всего более поражало Юлию Михайловну, что он с каждым днем становился молчаливее и, странное дело, скрытнее. И чего бы, кажется, ему было скрывать? Правда, он редко ей возражал и большею частию совершенно повиновался. По ее настоянию были, например, проведены две или три меры, чрезвычайно рискованные и чуть ли не противозаконные, в видах усиления губернской власти. Было сделано несколько зловещих потворств с тою же целью; люди, например, достойные суда и Сибири, единственно по ее настоянию были представлены к награде. На некоторые жалобы и запросы положено было систематически не отвечать. Все это обнаружилось впоследствии. Лембке не только все подписывал, но даже и не обсуждал вопроса о мере участия своей супруги в исполнении его собственных обязанностей. Зато вдруг начинал временами дыбиться из-за «совершенных пустяков» и удивлял Юлию Михайловну. Конечно, за дни послушания он чувствовал потребность вознаградить себя маленькими минутами бунта. К сожалению, Юлия Михайловна, несмотря на всю свою проницательность, не могла понять этой благородной тонкости в благородном характере. Увы! ей было не до того, и от этого произошло много недоумений.

Мне не стать, да и не сумею я, рассказывать об иных вещах. Об административных ошибках рассуждать тоже не мое дело, да и всю эту администра-

тивную сторону я устраняю совсем. Начав хронику, я задался другими задачами. Кроме того, многое обнаружится назначенным теперь в нашу губернию следствием, стоит только немножко подождать. Однако все-таки нельзя миновать иных разъяснений.

Но продолжаю о Юлии Михайловне. Бедная дама (я очень сожалею о ней) могла достигнуть всего, что так влекло и манило ее (славы и прочего) вовсе без таких сильных и эксцентрических движений, какими она задалась у нас с самого первого шага. Но, от избытка ли поэзии, от долгих ли грустных неудач первой молодости, она вдруг, с переменной судьбы, почувствовала себя как-то слишком уж особенно призванною, чуть ли не помазанною, «над коей вспыхнул сей язык», а в языке-то этом и заключалась беда; все-таки ведь он не шиньон, который может накрыть каждую женскую голову. Но в этой истине всего труднее уверить женщину; напротив, кто захочет поддакивать, тот и успеет, а поддакивали ей взапуски. Бедняжка разом очутилась игралищем самых различных влияний, в то же время вполне воображая себя оригинальною. Многие мастера погрели около нее руки и воспользовались ее простодушием в краткий срок ее губернаторства. И что за каша выходила тут под видом самостоятельности! Ей нравились и крупное землевладение, и аристократический элемент, и усиление губернаторской власти, и демократический элемент, и новые учреждения, и порядок, и вольнодумство, и социальные идейки, и строгий тон аристократического салона, и развязность чуть не трактирная окружавшей ее молодежи. Она мечтала *дать счастье* и примирить непримиримое, вернее же соединить всех и все в обожании собственной ее особы. Были у ней и любимцы; Петр Степанович, действуя, между прочим, грубейшею лестью, ей очень нравился. Но он нравился ей и по другой причине, самой диковинной и самой характерно рисующей бедную даму: она все надеялась, что он укажет ей целый государственный заговор! Как ни трудно это представить, а это было так. Ей почему-то казалось, что в губернии непременно укрывается государственный заговор. Петр Степанович своим молчанием в одних случаях и намеками в других способствовал укоренению ее странной идеи. Она же воображала его в связях со всем, что есть в России революционного, но в то же время ей преданным до обожания. Открытие заговора, благодарность из Петербурга, карьера впереди, воздействие «лаской» на молодежь для удержания ее на краю – все это вполне уживалось в фантастической ее голове. Ведь спасла же она, покорила же она Петра Степановича (в этом она была почему-то неотразимо уверена), спасет и других. Никто, никто из них не погибнет, она спасет их всех; она их рассортирует; она так о них доложит; она поступит в видах высшей справедливости, и даже, может быть, история и весь русский либерализм благословят ее имя; а заговор все-таки будет открыт. Все выгоды разом.

Но все-таки требовалось, чтобы хоть к празднику Андрей Антонович стал посветлее. Надо было непременно его развеселить и успокоить. С этою целию она командировала к нему Петра Степановича, в надежде повлиять на его уныние каким-нибудь ему известным успокоительным способом. Может быть, даже какими-нибудь сообщениями, так сказать, прямо из первых уст. На его ловкость она вполне надеялась. Петр Степанович уже давно не был в кабинете господина фон Лембке. Он разлетелся к нему именно в ту самую минуту, когда пациент находился в особенно тугом настроении.

II

Произошла одна комбинация, которую господин фон Лембке никак не мог разрешить. В уезде (в том самом, в котором пировал недавно Петр Степанович) один подпоручик подвергся словесному выговору своего ближайшего командира. Случилось это пред всею ротой. Подпоручик был еще молодой человек, недавно из Петербурга, всегда молчаливый и угрюмый, важный с виду, хотя в то же время маленький, толстый и краснощекий. Он не вынес выговора и вдруг бросился на командира с каким-то неожиданным взвизгом, удивившим всю роту, как-то дико наклонив голову; ударил и изо всей силы укусил его в плечо; насили могли оттащить. Сомнения не было, что сошел с ума, по крайней мере обнаружилось, что в последнее время он замечен был в самых невозможных странностях. Выбросил, например, из квартиры своей два хозяйские образа и один из них изрубил топором; в своей же комнате разложил на подставках, в виде трех налоев, сочинения Фохта, Молешотта и Бюхнера и пред каждым налоем зажигал восковые церковные свечки. По количеству найденных у него книг можно было заключить, что человек он начитанный. Если б у него было пятьдесят тысяч франков, то он уплыл бы, может быть, на Маркизские острова, как тот «кадет», о котором упоминает с таким веселым юмором господин Герцен в одном из своих сочинений. Когда его взяли, то в карманах его и в квартире нашли целую пачку самых отчаянных прокламаций.

Прокламации сами по себе тоже дело пустое и, по-моему, вовсе не хлопотливое. Мало ли мы их видали. Притом же это были и не новые прокламации: такие же точно, как говорили потом, были недавно рассыпаны в Х-ской губернии, а Липутин, ездивший месяца полтора назад в уезд и в соседнюю губернию, уверял, что уже тогда видел там такие же точно листки. Но поразило Андрея Антоновича, главное, то, что управляющий на Шпигулинской фабрике доставил как раз в то же время в полицию две или три пачки совершенно таких же точно листочков, как и у подпоручика, подкинутых ночью на фабрике. Пачки были еще и не распакованы, и никто из рабочих не успел прочесть ни одной. Факт был глупенький, но Андрей Антонович усиленно задумался. Дело представлялось ему в неприятно сложном виде.

В этой фабрике Шпигулиных только что началась тогда та самая «шпигулинская история», о которой так много у нас прокричали и которая с такими вариантами перешла и в столичные газеты. Недели с три назад заболел там и умер один рабочий азиатскою холерой; потом заболело еще несколько человек. Все в городе струсили, потому что холера надвигалась из соседней губернии. Замечу, что у нас были приняты по возможности удовлетворительные санитарные меры для встречи непрощеной гостьи. Но фабрику Шпигулиных, миллионеров и людей со связями, как-то просмотрели. И вот вдруг все стали вопить, что в ней-то и таится корень и рассадник болезни, что на самой фабрике и особенно в помещениях рабочих такая закоренелая нечистота, что если б и не было совсем холеры, то она должна была бы там сама зародиться. Меры, разумеется, были тотчас же приняты, и Андрей Антонович энергически настоял на немедленном их исполнении. Фабрику очистили недели в три, но Шпигулины неизвестно почему ее закрыли. Один брат Шпигулин постоянно проживал в Петербурге, а другой, после распоряжения начальства об очистке, уехал в Москву. Управляющий приступил к расчету работников и, как теперь оказывается, нагло мошенничал. Работники стали роптать, хотели расчета справедливого, по глупости ходили в полицию, впрочем без большого крика и

вовсе уж не так волновались. Вот в это-то время и доставлены были Андрею Антоновичу прокламации от управляющего.

Петр Степанович влетел в кабинет не доложившись, как добрый друг и свой человек, да и к тому же с поручением от Юлии Михайловны. Увидев его, фон Лембке угрюмо нахмурился и неприветливо остановился у стола. До этого он расхаживал по кабинету и толковал о чем-то глаз на глаз с чиновником своей канцелярии Блюмом, чрезвычайно неуклюжим и угрюмым немцем, которого привез с собой из Петербурга, несмотря на сильнейшую оппозицию Юлии Михайловны. Чиновник при входе Петра Степановича отступил к дверям, но не вышел. Петру Степановичу даже показалось, что он как-то знаменательно переглянулся с своим начальником.

– Ого, поймал-таки вас, скрытный градоначальник! – возопил, смеясь, Петр Степанович и накрыл ладонью лежавшую на столе прокламацию. – Это умножит вашу коллекцию, а?

Андрей Антонович вспыхнул. Что-то вдруг как бы перекошилось в его лице.

– Оставьте, оставьте сейчас! – вскричал он, вздрогнув от гнева, – и не смейте... сударь...

– Чего вы так? Вы, кажется, сердитесь?

– Позвольте вам заметить, милостивый государь, что я вовсе не намерен отселе терпеть вашего *sans façon*¹ и прошу вас припомнить...

– Фу, черт, да ведь он и в самом деле!

– Молчите же, молчите! – затопал по ковру ногами фон Лембке, – и не смейте...

Бог знает до чего бы дошло. Увы, тут было еще одно обстоятельство помимо всего, совсем неизвестное ни Петру Степановичу, ни даже самой Юлии Михайловне. Несчастный Андрей Антонович дошел до такого расстройства, что в последние дни про себя стал ревновать свою супругу к Петру Степановичу. В уединении, особенно по ночам, он выносил неприятнейшие минуты.

– А я думал, если человек два дня сряду за полночь читает вам наедине свой роман и хочет вашего мнения, то уж сам по крайней мере вышел из этих официальностей... Меня Юлия Михайловна принимает на короткой ноге; как вас тут распознаешь? – с некоторым даже достоинством произнес Петр Степанович. – Вот вам кстати и ваш роман, – положил он на стол большую, вескую, свернутую в трубку тетрадь, наглухо обернутую синею бумагой.

Лембке покраснел и замялся.

– Где же вы отыскиали? – осторожно спросил он с приливом радости, которую сдерживать не мог, но сдерживал, однако ж, изо всех сил.

– Вообразите, как была в трубке, так и скатилась за комод. Я, должно быть, как вошел, бросил ее тогда неловко на комод. Только третьего дня отыскали, полы мыли, задали же вы мне, однако, работу!

Лембке строго опустил глаза.

– Две ночи сряду не спал по вашей милости. Третьего дня еще отыскиали, а я удержал, все читал, днем-то некогда, так я по ночам. Ну-с, и – недоволен: мысль не моя. Да наплевать, однако, критиком никогда не бывал, но – оторваться, батюшка, не мог, хоть и недоволен! Четвертая и пятая главы это... это... это... черт знает что такое! И сколько юмору у вас напихано, хохотал. Как вы, однако ж, умеете поднять на

¹ бесцеремонности (фр.).

смех sans que cela paraisse!¹ Ну, там в девятой, десятой, это все про любовь, не мое дело; эффектно, однако; за письмом Игренева чуть не занюнил, хотя вы его так тонко выставили... Знаете, оно чувствительно, а в то же время вы его как бы фальшивым боком хотите выставить, ведь так? Угадал я или нет? Ну, а за конец просто избил бы вас. Ведь вы что проводите? Ведь это то же прежнее обоготворение семейного счастья, приумножения детей, капиталов, стали жить-поживать да добра наживать, помилюйте! Читателя очаруете, потому что даже я оторваться не мог, да ведь тем сквернее. Читатель глуп по-прежнему, следовало бы его умным людям расталкивать, а вы... Ну да довольно, однако, прощайте. Не сердитесь в другой раз; я пришел было вам два словечка нужных сказать, да вы какой-то такой...

Андрей Антонович между тем взял свой роман и запер на ключ в дубовый книжный шкаф, успев, между прочим, мигнуть Блюму, чтобы тот стушевался. Тот исчез с вытянутым и грустным лицом.

— Я не *какой-то такой*, а я просто... всё неприятности, — пробормотал он нахмурясь, но уже без гнева и подсаживаясь к столу, — садитесь и скажите ваши два слова. Я вас давно не видал, Петр Степанович, и только не влетайте вы вперед с вашей манерой... иногда при делах оно...

— Манеры у меня одни...

— Знаю-с, и верю, что вы без намерения, но иной раз находишься в хлопотах... Садитесь же.

Петр Степанович разлегся на диване и мигом поджал под себя ноги.

III

— Это в каких же вы хлопотах; неужто эти пустяки? — кивнул он на прокламацию. — Я вам таких листков сколько угодно натаascaю, еще в X-ской губернии познакомился.

— То есть в то время, как вы там проживали?

— Ну, разумеется, не в мое отсутствие. Еще она с виньеткой, топор наверху нарисован. Позвольте (он взял прокламацию); ну да, топор и тут; та самая, точнехонько.

— Да, топор. Видите — топор.

— Что ж, топора испугались?

— Я не топора-с... и не испугался-с, но дело это... дело такое, тут обстоятельства.

— Какие? Что с фабрики-то принесли? Хе-хе. А знаете, у вас на этой фабрике сами рабочие скоро будут писать прокламации.

— Как это? — строго уставился фон Лембке.

— Да так. Вы и смотрите на них. Слишком вы мягкий человек, Андрей Антонович; романы пишете. А тут надо бы по-старинному.

— Что такое по-старинному, что за советы? Фабрику вычистили; я велел, и вычистили.

— А между рабочими бунт. Перепороть их сплошь, и дело с концом.

— Бунт? Вздор это; я велел, и вычистили.

— Эх, Андрей Антонович, мягкий вы человек!

— Я, во-первых, вовсе не такой уж мягкий, а во-вторых... — укололся было опять фон Лембке. Он разговаривал с молодым человеком через силу, из любопытства, не скажет ли тот чего новенького.

¹ не подавая виду (*фр.*).

– А-а, опять старая знакомая! – перебил Петр Степанович, нацелившись на другую бумажку под пресс-папье, тоже вроде прокламации, очевидно заграничной печати, но в стихах. – Ну, это я наизусть знаю: «Светлая личность»! Посмотрим; ну так, «Светлая личность» и есть. Знаком с этой личностью еще с границы. Где откопали?

– Вы говорите, что видели за границей? – встрепенулс фон Лембке.

– Еще бы, четыре месяца назад или даже пять.

– Как много вы, однако, за границей видели, – тонко посмотрел фон Лембке. Петр Степанович, не слушая, развернул бумажку и прочел вслух стихотворение:

СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ

Он незнатной был породы,
Он возрос среди народа,
Но, гонимый мезью царской,
Злобной завистью боярской,
Он обрек себя страданью,
Казням, пыткам, истязанью
И пошел вешать народу
Братство, равенство, свободу.

И, восстанье начиная.
Он бежал в чужие кран
Из царева каземата,
От кнута, шипцов и ката.
А народ, восстать готовый
Из-под участи суровой,
От Смоленска до Ташкента
С нетерпеньем ждал студента.

Ждал его он поголовно,
Чтоб идти беспрекословно
Порешить вконец боярство,
Порешить совсем и царство,
Сделать общими именья
И предать навеки мщенью
Церкви, браки и семейство –
Мира старого злодейство!

– Должно быть, у того офицера взяли, а? – спросил Петр Степанович.

– А вы и того офицера изволите знать?

– Еще бы. Я там с ними два дня пировал. Ему так и надо было сойти с ума.

– Он, может быть, и не сходил с ума.

– Не потому ли, что кусаться начал?

– Но, позвольте, если вы видели эти стихи за границей и потом, оказывается, здесь, у того офицера...

– Что? замысловато! Вы, Андрей Антонович, меня, как вижу, экзаменуете? Видите-с, – начал он вдруг с необыкновенною важностью, – о том, что я видел за границей, я, возвратясь, уже кой-кому объяснил, и объяснения мои найдены удовлетворительными, иначе я не осчастливил бы моим присутствием здешнего города. Считаю, что дела мои в этом смысле покончены, и никому не обязан отчетом. И не потому покончены, что я доносчик, а потому, что не мог иначе поступить. Те, которые писали Юлии Михайловне, зная дело, писали обо мне как о человеке честном... Ну, это все, однако же, к черту, а я вам пришел сказать одну серьезную вещь, и хорошо, что вы этого трубочиста вашего выслали. Дело для меня важное, Андрей Антонович; будет одна моя чрезвычайная просьба к вам.

– Просьба? Гм, сделайте одолжение, я жду, и, признаюсь, с любопытством. И вообще прибавлю, вы меня довольно удивляете, Петр Степанович.

Фон Лембке был в некотором волнении. Петр Степанович закинул ногу за ногу.

– В Петербурге, – начал он, – я насчет многого был откровенен, но насчет чего-нибудь или вот этого, например (он стукнул пальцем по «Светлой личности»), я умолчал, во-первых, потому, что не стоило говорить, а во-вторых, потому, что объявлял только о том, о чем спрашивали. Не люблю в этом смысле сам вперед забегать; в этом и вижу разницу между подлецом и честным человеком, которого просто-запросто накрыли обстоятельства... Ну, одним словом, это в сторону. Ну-с, а теперь... теперь, когда эти дураки... ну, когда это вышло наружу и уже у вас в руках и от вас, я вижу, не укроется – потому что вы человек с глазами и вас вперед не распознаешь, а эти глупцы между тем продолжают, я... я... ну да, я, одним словом, пришел вас просить спасти одного человека, одного тоже глупца, пожалуй сумасшедшего, во имя его молодости, несчастий, во имя вашей гуманности... Не в романах же одних собственного изделия вы так гуманны! – с грубым сарказмом и в нетерпении оборвал он вдруг речь.

Одним словом, было видно человека прямого, но неловкого и неполитичного, от избытка гуманных чувств и излишней, может быть, щекотливости, главное, человека недалекого, как тотчас же с чрезвычайною тонкостью оценил фон Лембке и как давно уже об нем полагал, особенно когда в последнюю неделю, один в кабинете, по ночам особенно, ругал его изо всех сил про себя за необъяснимые успехи у Юлии Михайловны.

– За кого же вы просите и что же это все означает? – сновито осведомился он, стараясь скрыть свое любопытство.

– Это... это... черт... Я не виноват ведь, что в вас верю! Чем же я виноват, что почитаю вас за благороднейшего человека и, главное, толкового... способного то есть понять... черт...

Бедняжка, очевидно, не умел с собой справиться.

– Вы, наконец, поймите, – продолжал он, – поймите, что, называя вам его имя, я вам его ведь предаю; ведь предаю, не так ли? Не так ли?

– Но как же, однако, я могу угадать, если вы не решаетесь высказаться?

– То-то вот и есть, вы всегда подкосите вот эту вашу логику, черт... ну, черт... эта «светлая личность», этот «студент» – это Шатов... вот вам и все!

– Шатов? То есть как это Шатов?

– Шатов, это «студент», вот про которого здесь упоминается. Он здесь живет; бывший крепостной человек, ну, вот пощечину дал.

– Знаю, знаю! – прищурился Лембке. – Но, позвольте, в чем же, собственно, он обвиняется и о чем вы-то, главнейше, ходатайствуете?

– Да спасти же его прошу, понимаете! Ведь я его восемь лет тому еще знал, ведь я ему другом, может быть, был, – выходил из себя Петр Степанович. – Ну, да я вам не обязан отчетами в прежней жизни, – махнул он рукой, – все это ничтожно, все это три с половиной человека, а с заграничными и десяти не наберется, а главное – я понадеялся на вашу гуманность, на ум. Вы поймете и сами покажете дело в настоящем виде, а не как Бог знает что, как глупую мечту сумасбродного человека... от несчастий, заметьте, от долгих несчастий, а не как черт знает там какой небывалый государственный заговор!..

Он почти задыхался.

– Гм. Вижу, что он виновен в прокламациях с топором, – почти величаво заключил Лембке, – позвольте, однако же, если б один, то как мог он их разбро-

сать и здесь, и в провинциях, и даже в Х-й губернии и... и, наконец, главнейшее, где взял?

– Да говорю же вам, что их, очевидно, всего-на-все пять человек, ну десять, почему я знаю?

– Вы не знаете?

– Да почему мне знать, черт возьми?

– Но вот знали же, однако, что Шатов один из сообщников?

– Эх! – махнул рукой Петр Степанович, как бы отбиваясь от подавляющей прозорливости вопрошателя, – ну, слушайте, я вам всю правду скажу: о прокламациях ничего не знаю, то есть ровнешенько ничего, черт возьми, понимаете, что значит ничего?.. Ну, конечно, тот подпоручик, да еще кто-нибудь, да еще кто-нибудь здесь... ну и, может, Шатов, ну и еще кто-нибудь, ну вот и все, дрянь и мизер... но я за Шатова пришел просить, его спасти надо, потому что это стихотворение – его, его собственное сочинение и за границей через него отпечатано; вот что я знаю наверно, а о прокламациях ровно ничего не знаю.

– Если стихи – его, то, наверно, и прокламации. Какие же, однако, данные заставляют вас подозревать господина Шатова?

Петр Степанович, с видом окончательно выведенного из терпения человека, выхватил из кармана бумажник, а из него записку.

– Вот данные! – крикнул он, бросив ее на стол. Лембке развернул; оказалось, что записка писана, с полгода назад, отсюда куда-то за границу, коротенькая, в двух словах:

«Светлую личность» отпечатать здесь не могу, да и ничего не могу: печатайте за границей.

Ив. Шатов».

Лембке пристально уставился на Петра Степановича. Варвара Петровна правду отнеслась, что у него был несколько бараний взгляд, иногда особенно.

– То есть это вот что, – рвался Петр Степанович, – значит, что он написал здесь, полгода назад, эти стихи, но здесь не мог отпечатать, ну, в тайной типографии какой-нибудь – и потому просит напечатать за границей... Кажется, ясно?

– Да-с, ясно, но кого же он просит? – вот это еще не ясно, – с хитрейшей иронией заметил Лембке.

– Да Кириллова же, наконец; записка писана к Кириллову за границу... Не знали, что ли? Ведь что досадно, что вы, может быть, предо мною только прикидываетесь, а давным-давно уже сами знаете про эти стихи, и все! Как же очутились они у вас на столе? Сумели очутиться! За что же вы меня истязуете, если так?

Он судорожно утер платком пот со лба.

– Мне, может, и известно нечто... – ловко уклонился Лембке, – но кто же этот Кириллов?

– Ну да вот инженер приезжий, был секундantom у Ставрогина, маньяк, сумасшедший; подпоручик ваш действительно только, может, в белой горячке, ну, а этот уж совсем сумасшедший, – совсем, в этом гарантирую. Эх, Андрей Антонович, если бы знало правительство, какие это сплошь люди, так на них бы рука не поднялась. Всех как есть целиком на седьмую версту; я еще в Швейцарии да на конгрессах наглядился.

– Там, откуда управляют здешним движением?

– Да кто управляет-то? три человека с полчеловеком. Ведь, на них глядя, только скука возьмет. И каким это здешним движением? Прокламациями, что ли? Да и кто на вербован-то, подпоручики в белой горячке да два-три студента! Вы умный человек, вот вам вопрос: отчего не вербуются к ним люди значительнее, отчего все студенты да недоросли двадцати двух лет? Да и много ли? Небось миллион собак ищет, а много ль всего отыскиали? Семь человек. Говорю вам, скука возьмет.

Лембке выслушал со вниманием, но с выражением, говорившим: «Соловья баснями не накормишь».

– Позвольте, однако же, вот вы изволите утверждать, что записка адресована была за границу; но здесь адреса нет; почему же вам стало известно, что записка адресована к господину Кириллову и, наконец, за границу и... и... что писана она действительно господином Шатовым?

– Так достаньте сейчас руку Шатова да и сверьте. У вас в канцелярии непременно должна отыскаться какая-нибудь его подпись. А что к Кириллову, так мне сам Кириллов тогда же и показал.

– Вы, стало быть, сами...

– Ну да, конечно, стало быть, сам. Мало ли что мне там показывали. А что эти вот стихи, так это будто покойный Герцен написал их Шатову, когда еще тот за границей скитался, будто бы на память встречи, в похвалу, в рекомендацию, ну, черт... а Шатов и распространяет в молодежи. Самого, дескать, Герцена обо мне мнение.

– Те-те-те, – догадался наконец совсем Лембке, – то-то я думаю: прокламация – это понятно, а стихи зачем?

– Да как уж вам не понять. И черт знает для чего я вам разболтал! Слушайте, мне Шатова отдайте, а там черт дерит их всех остальных, даже с Кирилловым, который заперся теперь в доме Филиппова, где и Шатов, и таится. Они меня не любят, потому что я воротился... но обещайте мне Шатова, и я вам их всех на одной тарелке подам. Пригожусь, Андрей Антонович! Я эту всю жалкую кучку полагаю человек в девять – в десять. Я сам за ними слежу, от себя-с. Нам уж трое известны: Шатов, Кириллов и тот подпоручик. Остальных я еще только *разглядываю*... впрочем, не совсем близорук. Это как в X-й губернии; там схвачено с прокламациями два студента, один гимназист, два двадцатилетних дворянина, один учитель и один отставной майор, лет шестидесяти, одуревший от пьянства, вот и всё, и уж поверьте, что всё; даже удивились, что тут и всё. Но надо шесть дней. Я уже смекнул на счетах, шесть дней, и не раньше. Если хотите какого-нибудь результата – не шевелите их еще шесть дней, и я вам их в один узел свяжу; а пошевелите раньше – гнездо разлетится. Но дайте Шатова. Я за Шатова... А всего бы лучше призвать его секретно и дружески, хоть сюда в кабинет, и проэкзаменовать, поднявши пред ним завесу... Да он, наверно, сам вам в ноги бросится и заплачет! Это человек нервный, несчастный; у него жена гуляет со Ставрогиним. Приголубьте его, и он все сам откроет, но надо шесть дней... А главное, главное – ни полсловечка Юлии Михайловне. Секрет. Можете секрет?

– Как? – вытаращил глаза Лембке, – да разве вы Юлии Михайловне ничего не... открывали?

– Ей? Да сохрани меня и помилуй! Э-эх, Андрей Антонович! Видите-с: я слишком ценю ее дружбу и высоко уважаю... ну и там всё это... но я не промажусь. Я ей не противоречу, потому что ей противоречить, сами знаете, опасно. Я ей, может, и закинул словечко, потому что она это любит, но чтоб я выдал ей,

как вам теперь, имена или там что-нибудь, э-эх, батюшка! Ведь я почему обращаюсь теперь к вам? Потому что вы все-таки мужчина, человек серьезный, с старинною твердою служебною опытностью. Вы видали виды. Вам каждый шаг в таких делах, я думаю, наизусть известен еще с петербургских примеров. А скажи я ей эти два имени, например, и она бы так забарабанила... Ведь она отсюда хочет Петербург удивить. Нет-с, горяча слишком, вот что-с.

– Да, в ней есть несколько этой фуги, – не без удовольствия пробормотал Андрей Антонович, в то же время ужасно жалея, что этот неуч осмеливается, кажется, выражаться об Юлии Михайловне немного уж вольно. Петру же Степановичу, вероятно, казалось, что этого еще мало и что надо еще поддать пару, чтобы польстить и совсем уж покорить «Лембку».

– Именно фуги, – поддакнул он, – пусть она женщина, может быть, гениальная, литературная, но – воробьев она распугает. Шести часов не выдержит, не то что шести дней. Э-эх, Андрей Антонович, не налагайте на женщину срока в шесть дней! Ведь признаете же вы за мною некоторую опытность, то есть в этих делах; ведь знаю же я кое-что, и вы сами знаете, что я могу знать кое-что. Я у вас не для баловства шести дней прошу, а для дела.

– Я слышал... – не решался высказать мысль свою Лембке, – я слышал, что вы, возвратясь из-за границы, где следует изъявились... вроде раскаяния?

– Ну, там что бы ни было.

– Да и я, разумеется, не желаю входить... но мне все казалось, вы здесь до сих пор говорили совсем в ином стиле, о христианской вере, например, об общественных установлениях и, наконец, о правительстве...

– Мало ли что я говорил. Я и теперь то же говорю, только не так эти мысли следует проводить, как те дураки, вот в чем дело. А то что в том, что укусил в плечо? Сами же вы соглашались со мной, только говорили, что рано.

– Я не про то, собственно, соглашался и говорил, что рано.

– Однако же у вас каждое слово на крюк повешено, хе-хе! осторожный человек! – весело заметил вдруг Петр Степанович. – Слушайте, отец родной, надо же было с вами познакомиться, ну вот потому я в моем стиле и говорил. Я не с одним с вами, а со многими так знакомлюсь. Мне, может, ваш характер надо было распознать.

– Для чего бы вам мой характер?

– Ну почем я знаю, для чего (он опять рассмеялся). Видите ли, дорогой и многоуважаемый Андрей Антонович, вы хитры, но до *этого* еще не дошло и, наверно, не дойдет, понимаете? Может быть, и понимаете? Я хоть и дал, где следует, объяснения, возвратясь из-за границы, и, право, не знаю, почему бы человек известных убеждений не мог действовать в пользу искренних своих убеждений... но мне никто еще там не заказывал вашего характера, и никаких подобных заказов *оттуда* я еще не брал на себя. Вникните сами: ведь мог бы я не вам открыть первому два-то имени, а прямо *туда* махнуть, то есть туда, где первоначальные объяснения давал; и уж если б я старался из-за финансов али там из-за выгоды, то, уж конечно, вышел бы с моей стороны нерасчет, потому что благодарны-то будут теперь вам, а не мне. Я единственно за Шатова, – с благодарством прибавил Петр Степанович, – за одного Шатова, по прежней дружбе... ну, а там, пожалуй, когда возьмете перо, чтобы *туда* отписать, ну похвалите меня, если хотите... противоречить не стану, хе-хе! Adieu, однако же, засиделся, и не надо бы столько болтать! – прибавил он не без приятности и встал с дивана.

– Напротив, я очень рад, что дело, так сказать, определяется, – встал и фон Лембке, тоже с любезным видом, видимо под влиянием последних слов. – Я с признательностью принимаю ваши услуги и, будьте уверены, все, что можно с моей стороны насчет отзыва о вашем усердии...

– Шесть дней, главное, шесть дней срока, и чтобы в эти дни вы не шевелились, вот что мне надо!

– Пусть.

– Разумеется, я вам рук не связываю, да и не смею. Не можете же вы не следить; только не пугайте гнезда раньше времени, вот в чем я надеюсь на ваш ум и на опытность. А довольно у вас, должно быть, своих-то гончих припасено и всяких там ищеек, хе-хе! – весело и легкомысленно (как молодой человек) брякнул Петр Степанович.

– Не совсем это так, – приятно уклонился Лембке. – Это – предрассудок молодости, что слишком много припасено... Но кстати, позвольте одно словцо: ведь если этот Кириллов был секундантом у Ставрогина, то и господин Ставрогин в таком случае...

– Что Ставрогин?

– То есть если они такие друзья?

– Э, нет, нет, нет! Вот тут маху дали, хоть вы и хитры. И даже меня удивляете. Я ведь думал, что вы насчет этого не без сведений... Гм, Ставрогин – это совершенно противоположное, то есть совершенно... *Avis au lecteur*¹.

– Неужели! и может ли быть? – с недоверчивостью произнес Лембке. – Мне Юлия Михайловна сообщила, что, по ее сведениям из Петербурга, он человек с некоторыми, так сказать, наставлениями...

– Я ничего не знаю, ничего не знаю, совсем ничего. *Adieu. Avis au lecteur!* – вдруг и явно уклонился Петр Степанович.

Он полетел к дверям.

– Позвольте, Петр Степанович, позвольте, – крикнул Лембке, – еще одно крошечное дельце, и я вас не задержу.

Он вынул из столового ящика конверт.

– Вот-с один экземплярчик, по той же категории, и я вам тем самым доказываю, что вам в высшей степени доверяю. Вот-с, и каково ваше мнение?

В конверте лежало письмо, – письмо странное, анонимное, адресованное к Лембке и вчера только им полученное. Петр Степанович, к крайней досаде своей, прочел следующее:

«Ваше превосходительство!

Ибо по чину вы так. Сим объявляю в покушении на жизнь генеральских особ и отечества; ибо прямо ведет к тому. Сам разбрасывал непрерывно множество лет. Тоже и безбожие. Приготавливается бунт, а прокламаций несколько тысяч, и за каждой побежит сто человек, высуня язык, если заранее не отобрать начальством, ибо множество обещано в награду, а простой народ глуп, да и водка. Народ, почитаю виновника, разоряет того и другого, и, боясь обеих сторон, раскаялся, в чем не участвовал, ибо обстоятельства мои таковы. Если хотите, чтобы донос для спасения отечества, а также церковей и икон, то я один только могу. Но с тем, чтобы мне прощение из Третьего отделения по телеграфу немедленно одному из всех, а другие пусть отвечают. На окошке у швейца-

¹ К сведению читателя (*фр.*). Здесь в смысле: вы предупреждены.

ра для сигнала в семь часов ставьте каждый вечер свечу. Увидав, поверю и приду облобызать милосердную длань из столицы, но с тем, чтобы пенсион, ибо чем же я буду жить? Вы же не раскаетесь, потому что вам выйдет звезда. Надо потихоньку, а не то свернут голову.

Вашего превосходительства отчаянный человек.

Припадает к стопам

раскаявшийся вольнодумец Incognito».

Фон Лембке объяснил, что письмо очутилось вчера в швейцарской, когда там никого не было.

– Так вы как же думаете? – спросил чуть не грубо Петр Степанович.

– Я бы предположил, что это анонимный пашквиль, в насмешку.

– Вероятнее всего, что так и есть. Вас не надуеть.

– Я главное потому, что так глупо.

– А вы получали здесь еще какие-нибудь пашквили?

– Получал раза два, анонимные.

– Ну, уж разумеется, не подпишут. Разным слогом? Разных рук?

– Разным слогом и разных рук.

– И шутовские были, как это?

– Да, шутовские, и знаете... очень гадкие.

– Ну, коли уж были, так, наверно, и теперь то же самое.

– А главное потому, что так глупо. Потому что те люди образованные и, наверно, так глупо не напишут.

– Ну да, ну да.

– А что, если это и в самом деле кто-нибудь хочет действительно донести?

– Невероятно, – сухо отрезал Петр Степанович. – Что значит телеграмма из Третьего отделения и пенсион? Пашквиль очевидный.

– Да, да, – устыдился Лембке.

– Знаете что, оставьте-ка это у меня. Я вам наверно разыщу. Раньше, чем тех, разыщу.

– Возьмите, – согласился фон Лембке, с некоторым, впрочем, колебанием.

– Вы кому-нибудь показывали?

– Нет, как можно, никому.

– То есть Юлии Михайловне?

– Ах, Боже сохрани, и ради Бога не показывайте ей сами! – вскричал Лембке в испуге. – Она будет так потрясена... и рассердится на меня ужасно.

– Да, вам же первому и достанется, скажет, что сами заслужили, коли вам так пишут. Знаем мы женскую логику. Ну, прощайте. Я вам, может, даже дня через три этого сочинителя представлю. Главное, уговор!

IV

Петр Степанович был человек, может быть, и неглупый, но Федька Каторжный верно выразился о нем, что он «человека сам сочинит да с ним и живет». Ушел он от фон Лембке вполне уверенный, что по крайней мере на шесть дней того успокоил, а срок этот был ему до крайности нужен. Но идея была ложная, и все основано было только на том, что он сочинил себе Андрея Антоновича, с самого начала и раз навсегда, совершеннейшим простачком.

Как и каждый страдальчески мнительный человек, Андрей Антонович всяческий раз бывал чрезвычайно и радостно доверчив в первую минуту выхода из

неизвестности. Новый оборот вещей представился ему сначала в довольно приятном виде, несмотря на некоторые вновь наступавшие хлопотливые сложности. По крайней мере старые сомнения падали в прах. К тому же он так устал за последние дни, чувствовал себя таким измученным и беспомощным, что душа его поневоле жаждала покоя. Но увы, он уже опять был беспокоен. Долгое жительство в Петербурге оставило в душе его следы неизгладимые. Официальная и даже секретная история «нового поколения» ему была довольно известна, – человек был любопытный и прокламации собирал, – но никогда не понимал он в ней самого первого слова. Теперь же был как в лесу: он всеми инстинктами своими предчувствовал, что в словах Петра Степановича заключалось нечто совершенно несообразное, вне всяких форм и условий, – «хотя ведь черт знает что может случиться в этом «новом поколении» и черт знает как это у них там совершается!» – раздумывал он, теряясь в соображениях.

А тут как нарочно снова просунул к нему голову Блюм. Все время посещения Петра Степановича он выжидал недалеко. Блюм этот приходился даже родственником Андрею Антоновичу, дальним, но всю жизнь тщательно и боязливо скрываемым. Прошу прощения у читателя в том, что этому ничтожному лицу отделил здесь хоть несколько слов. Блюм был из странного рода «несчастливых» немцев – и вовсе не по крайней своей бездарности, а именно неизвестно почему. «Несчастливые» немцы не миф, а действительно существуют, даже в России, и имеют свой собственный тип. Андрей Антонович всю жизнь питал к нему самое трогательное сочувствие и везде, где только мог, по мере собственных своих успехов по службе, выдвигал его на подчиненное, подведомственное ему местечко; но тому нигде не везло. То место оставлялось за штатом, то переменялось начальство, то чуть не упекли его однажды с другими под суд. Был он аккуратен, но как-то слишком, без нужды и во вред себе, мрачен; рыжий, высокий, сгорбленный, унылый, даже чувствительный и, при всей своей приниженности, упрямый и настойчивый, как вол, хотя всегда невпопад. К Андрею Антоновичу питал он с женой и с многочисленными детьми многолетнюю и благоговейную привязанность. Кроме Андрея Антоновича, никто никогда не любил его. Юлия Михайловна сразу его забракowała, но одолеть упорство своего супруга не могла. Это была их первая супружеская ссора, и случилась она тотчас после свадьбы, в самые первые медовые дни, когда вдруг обнаружился пред нею Блюм, до тех пор тщательно от нее припрятанный, с обидною тайной своего к ней родства. Андрей Антонович умолял сложа руки, чувствительно рассказал всю историю Блюма и их дружбы с самого детства, но Юлия Михайловна считала себя опозоренною навеки и даже пустила в ход обмороки. Фон Лембке не уступил ей ни шагу и объявил, что не покинет Блюма ни за что на свете и не отдаст от себя, так что она наконец удивилась и принуждена была позволить Блюма. Решено было только, что родство будет скрываемо еще тщательнее, чем до сих пор, если только это возможно, и что даже имя и отчество Блюма будут изменены, потому что его тоже почему-то звали Андреем Антоновичем. Блюм у нас ни с кем не познакомился, кроме одного только немца-аптекаря, никому не сделал визитов и, по обычаю своему, зажил скупой и уединенный. Ему давно уже были известны и литературные грешки Андрея Антоновича. Он преимущественно призывался выслушивать его роман в секретных чтениях наедине, просиживал по шести часов сряду столбом; потел, напрягал все свои силы, чтобы не заснуть и улыбаться; придя домой, стонал вместе с длинноногою и сухопарою женой о несчастной слабости их благодетеля к русской литературе.

Андрей Антонович со страданием посмотрел на вошедшего Блюма.

– Я прошу тебя, Блюм, оставить меня в покое, – начал он тревожною скороговоркой, очевидно желая отклонить возобновление давешнего разговора, прерванного приходом Петра Степановича.

– И однако ж, это может быть устроено деликатнейше, совершенно негласно; вы же имеете все полномочия, – почтительно, но упорно настаивал на чем-то Блюм, сгорбив спину и придвигаясь все ближе и ближе мелкими шагами к Андрею Антоновичу.

– Блюм, ты до такой степени предан мне и услужлив, что я всякий раз смотрю на тебя вне себя от страха.

– Вы всегда говорите острые вещи и в удовольствии от сказанного засыпаете спокойно, но тем самым себе повреждаете.

– Блюм, я сейчас убедился, что это вовсе не то, вовсе не то.

– Не из слов ли этого фальшивого, порочного молодого человека, которого вы сами подозреваете? Он вас победил лстивыми похвалами вашему таланту в литературе.

– Блюм, ты не смыслишь ничего; твой проект нелепость, говорю тебе. Мы не найдем ничего, а крик подымется страшный, затем смех, а затем Юлия Михайловна...

– Мы несомненно найдем все, чего ищем, – твердо шагнул к нему Блюм, приставляя к сердцу правую руку, – мы сделаем осмотр внезапно, рано поутру, соблюдая всю деликатность к лицу и всю предписанную строгость форм закона. Молодые люди, Лямшин и Телятников, слишком уверяют, что мы найдем все желаемое. Они посещали там многократно. К господину Верховенскому никто внимательно не расположен. Генеральша Ставрогина явно отказала ему в своих благодеяниях, и всякий честный человек, если только есть таковой в этом грубом городе, убежден, что там всегда укрывался источник безверия и социального учения. У него хранятся все запрещенные книги, «Думы» Рылеева, все сочинения Герцена... Я на всякий случай имею приблизительный каталог...

– О Боже, эти книги есть у всякого; как ты прост, мой бедный Блюм!

– И многие прокламации, – продолжал Блюм, не слушая замечаний. – Мы кончим тем, что непременно нападём на след настоящих здешних прокламаций. Этот молодой Верховенский мне весьма и весьма подозрителен.

– Но ты смешиваешь отца с сыном. Они не в ладах; сын смеется над отцом явно.

– Это одна только маска.

– Блюм, ты поклялся меня замучить! Подумай, он лицо все-таки здесь заметное. Он был профессором, он человек известный, он раскричится, и тотчас же пойдут насмешки по городу, ну и все манкируем... и подумай, что будет с Юлией Михайловной!

Блюм лез вперед и не слушал.

– Он был лишь доцентом, всего лишь доцентом, и по чину всего только коллежский ассессор при отставке, – ударял он себя рукой в грудь, – знаков отличия не имеет, уволен из службы по подозрению в замыслах против правительства. Он состоял под тайным надзором и, несомненно, еще состоит. И ввиду обнаружившихся теперь беспорядков вы, несомненно, обязаны долгом. Вы же, наоборот, упускаете ваше отличие, потворствуя настоящему виновнику.

– Юлия Михайловна! Убир-райся, Блюм! – вскричал вдруг фон Лембке, слышавший голос своей супруги в соседней комнате.

Блюм вздрогнул, но не сдался.

– Дозвольте же, дозвольте, – приступал он, еще крепче прижимая обе руки к груди.

– Убир-райся! – проскрежетал Андрей Антонович. – Делай, что хочешь... после... О, Боже мой!

Поднялась портьера, и появилась Юлия Михайловна. Она величественно остановилась при виде Блюма, высокомерно и обидчиво окинула его взглядом, как будто одно присутствие этого человека здесь было ей оскорблением. Блюм молча и почтительно отдал ей глубокий поклон и, согбенный от почтения, направился к дверям на цыпочках, расставив несколько врозь свои руки.

Оттого ли, что он и в самом деле понял последнее истерическое восклицание Андрея Антоновича за прямое дозволение поступить так, как он спрашивал, или покривил душой в этом случае для прямой пользы своего благодетеля, слишком уверенный, что конец увенчает дело, – но, как увидим ниже, из этого разговора начальника с своим подчиненным произошла одна самая неожиданная вещь, насмешившая многих, получившая огласку, возбудившая жестокий гнев Юлии Михайловны и всем этим сбившая окончательно с толку Андрея Антоновича, ввергнув его, в самое горячее время, в самую плачевную нерешительность.

V

День для Петра Степановича выдался хлопотливый. От фон Лембке он поскорее побегал в Богоявленскую улицу, но, проходя по Быковой улице, мимо дома, в котором квартировал Кармазинов, он вдруг приостановился, усмехнулся и вошел в дом. Ему ответили: «Ожидают-с», что очень заинтересовало его, потому что он вовсе не предупреждал о своем прибытии.

Но великий писатель действительно его ожидал, и даже еще вчера и третьего дня. Четвертого дня он вручил ему свою рукопись «Мерси» (которую хотел прочесть на литературном утре в день праздника Юлии Михайловны) и сделал это из любезности, вполне уверенный, что приятно польстит самолюбию человека, дав ему узнать великую вещь заранее. Петр Степанович давно уже примечал, что этот тщеславный, избалованный и оскорбительно-недоступный для неизбранных господин, этот «почти государственный ум» просто-запросто в нем заискивает, и даже с жадностью. Мне кажется, молодой человек наконец догадался, что тот если и не считал его коноводом всего тайно-революционного в целой России, то по крайней мере одним из самых посвященных в секреты русской революции и имеющим неоспоримое влияние на молодежь. Настроение мыслей «умнейшего в России человека» интересовало Петра Степановича, но доселе он, по некоторым причинам, уклонялся от разъяснений.

Великий писатель квартировал в доме своей сестры, жены камергера и помещицы; оба они, и муж и жена, благоговели пред знаменитым родственником, но в настоящий приезд его находились оба в Москве, к великому их сожалению, так что принять его имела честь старушка, очень дальняя и бедная родственница камергера, проживавшая в доме и давно уже заведовавшая всем домашним хозяйством. Весь дом заходил на цыпочках с приездом господина Кармазинова. Старушка извещала в Москву, чуть не каждый день о том, как он почивал и что изволил скушать, а однажды отправила телеграмму с известием, что он, после званого обеда у градского головы, принужден был принять ложку одного лекарства. В комнату к нему она осмеливалась входить редко, хотя он обращался с нею вежливо, впрочем сухо, и говорил с нею только по какой-нибудь надоб-

ности. Когда вошел Петр Степанович, он кушал утреннюю свою котлетку с полстаканом красного вина. Петр Степанович уже и прежде бывал у него и всегда заставлял его за этою утреннею котлеткой, которую тот и съедал в его присутствии, но ни разу его самого не попотчевал. После котлетки подавалась еще маленькая чашечка кофе. Лакей, внесший кушанье, был во фраке, в мягких неслышных сапогах и в перчатках.

– А-а! – приподнялся Кармазинов с дивана, утираясь салфеткой, и с видом чистой радости полез лобызаться – характерная привычка русских людей, если они слишком уж знамениты. Но Петр Степанович помнил по бывшему уже опыту, что он лобызаться-то лезет, а сам подставляет щеку, и потому сделал на сей раз то же самое; обе щеки встретились. Кармазинов, не показывая виду, что заметил это, уселся на диван и с приятностию указал Петру Степановичу на кресло против себя, в котором тот и развалился.

– Вы ведь не... Не желаете ли завтракать? – спросил хозяин, на этот раз изменяя привычке, но с таким, разумеется, видом, которым ясно подсказывался вежливый отрицательный ответ. Петр Степанович тотчас же пожелал завтракать. Тень обидчивого изумления омрачила лицо хозяина, но на один только миг; он нервно позвонил слугу и, несмотря на все свое воспитание, брезгливо возвысил голос, приказывая подать другой завтрак.

– Вам чего, котлетку или кофею? – осведомился он еще раз.

– И котлетку, и кофею, и вина прикажите еще прибавить, я проголодался, – отвечал Петр Степанович, с спокойным вниманием рассматривая костюм хозяина. Господин Кармазинов был в какой-то домашней куцавеечке на вате, вроде как бы жакеточки, с перламутровыми пуговками, но слишком уж коротенькой, что вовсе и не шло к его довольно сытенному брюшку и к плотно округленным частям начала его ног; но вкусы бывают различны. На коленях его был развернут до полу шерстяной клетчатый плед, хотя в комнате было тепло.

– Больны, что ли? – заметил Петр Степанович.

– Нет, не болен, но боюсь стать больным в этом климате, – ответил писатель своим крикливым голосом, впрочем нежно скандируя каждое слово и приятно, по-барски, шепелявя, – я вас ждал еще вчера.

– Почему же? я ведь не обещал.

– Да, но у вас моя рукопись. Вы... прочли?

– Рукопись? какая?

Кармазинов удивился ужасно.

– Но вы, однако, принесли ее с собою? – встревожился он вдруг до того, что оставил даже кушать и смотрел на Петра Степановича с испуганным видом.

– Ах, это про эту «Bonjour», что ли...

– «Merci».

– Ну пусть. Совсем забыл и не читал, некогда. Право, не знаю, в карманах нет... должно быть, у меня на столе. Не беспокойтесь, отыщется.

– Нет, уж я лучше сейчас к вам пошлю. Она может пропасть, и, наконец, украсть могут.

– Ну, кому надо! Да чего вы так испугались, ведь у вас, Юлия Михайловна говорила, готовится всегда по несколько списков, один за границей у нотариуса, другой в Петербурге, третий в Москве, потом в банк, что ли, отсылаете.

– Но ведь и Москва сгореть может, а с ней моя рукопись. Нет, я лучше сейчас пошлю.

– Стойте, вот она! – вынул Петр Степанович из заднего кармана пачку почтовых листиков. – Измялась немножко. Вообразите, как взял тогда у вас, так и пролежала все время в заднем кармане с носовым платком; забыл.

Кармазинов с жадностью схватил рукопись, бережно осмотрел ее, сосчитал листки и с уважением положил покамест подле себя, на особый столик, но так, чтоб иметь ее каждый миг на виду.

– Вы, кажется, не так много читаете? – прошипел он, не вытерпев.

– Нет, не так много.

– А уж по части русской беллетристики – ничего?

– По части русской беллетристики? Позвольте, я что-то читал... «По пути»... или «В путь»... или «На перепутье», что ли, не помню. Давно читал, лет пять. Некогда.

Последовало некоторое молчание.

– Я, как приехал, уверил их всех, что вы чрезвычайно умный человек, и теперь, кажется, все здесь от вас без ума.

– Благодарю вас, – спокойно отозвался Петр Степанович.

Принесли завтрак. Петр Степанович с чрезвычайным аппетитом набросился на котлетку, мигом съел ее, выпил вино и выхлебнул кофе.

«Этот неуч, – в раздумье оглядывал его искоса Кармазинов, доедая последний кусочек и выпивая последний глоточек, – этот неуч, вероятно, понял сейчас всю колкость моей фразы... да и рукопись, конечно, прочитал с жадностью, а только лжет из видов. Но может быть и то, что не лжет, а совершенно искренно глуп. Гениального человека я люблю несколько глупым. Уж не гений ли он какой у них в самом деле, черт его, впрочем, дери».

Он встал с дивана и начал прохаживаться по комнате из угла в угол, для моциону, что исполнял каждый раз после завтрака.

– Скоро отсюда? – спросил Петр Степанович с кресел, закурив папироску.

– Я, собственно, приехал продать имение и завишу теперь от моего управляющего.

– Вы ведь, кажется, приехали потому, что там эпидемии после войны ожидали?

– Н-нет, не совсем потому, – продолжал господин Кармазинов, благодушно скандируя свои фразы и при каждом обороте из угла в другой угол бодро дрыгая правою ножкой, впрочем чуть-чуть. – Я действительно, – усмехнулся он не без яду, – намереваюсь прожить как можно дольше. В русском барстве есть нечто чрезвычайно быстро изнашивающееся, во всех отношениях. Но я хочу износиться как можно позже и теперь перебираюсь за границу совсем; там и климат лучше, и строение каменное, и все крепче. На мой век Европы хватит, я думаю. Как вы думаете?

– Я почему знаю.

– Гм. Если там действительно рухнет Вавилон и падение его будет великое (в чем я совершенно с вами согласен, хотя и думаю, что на мой век его хватит), то у нас в России и рушиться нечему, сравнительно говоря. Упадут у нас не камни, а все расплывется в грязь. Святая Русь менее всего на свете может дать отпор чему-нибудь. Простой народ еще держится кое-как русским Богом; но русский Бог, по последним сведениям, весьма неблагонадежен и даже против крестьянской реформы едва устоял, по крайней мере, сильно покачнулся. А тут железные дороги, а тут вы... уж в русского-то Бога я совсем не верую.

– А в европейского?

– Я ни в какого не верую. Меня оклеветали пред русскою молодежью. Я всегда сочувствовал каждому движению ее. Мне показывали эти здешние прокла-

мации. На них смотрят с недоумением, потому что всех пугает форма, но все, однако, уверены в их могуществе, хотя бы и не сознавая того. Все давно падают, и все давно знают, что не за что ухватиться. Я уже потому убежден в успехе этой таинственной пропаганды, что Россия есть теперь по преимуществу то место в целом мире, где все что угодно может произойти без малейшего отпора. Я понимаю слишком хорошо, почему русские с состоянием все хлынули за границу, и с каждым годом больше и больше. Тут просто инстинкт. Если кораблю потонуть, то крысы первые из него выселяются. Святая Русь – страна деревянная, нищая и... опасная, страна тщеславных нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живет в избушках на курьих ножках. Она обрадуется всякому выходу, стоит только растолковать. Одно правительство еще хочет сопротивляться, но машет дубиной в темноте и бьет по своим. Тут все обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет будущности. Я сделался немцем и вменяю это себе в честь.

– Нет, вы вот начали о прокламациях; скажите всё, как вы на них смотрите?

– Их все боятся, стало быть, они могущественны. Они открыто обличают обман и доказывают, что у нас не за что ухватиться и не на что опереться. Они говорят громко, когда все молчат. В них всего победительнее (несмотря на форму) эта неслыханная до сих пор смелость засматривать прямо в лицо истине. Эта способность смотреть истине прямо в лицо принадлежит одному только русскому поколению. Нет, в Европе еще не так смелы: там царство каменное, там еще есть на чем опереться. Сколько я вижу и сколько судить могу, вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести. Мне нравится, что это так смело и безбоязненно выражено. Нет, в Европе еще этого не поймут, а у нас именно на это-то и набросятся. Русскому человеку честь одно только лишнее бремя. Да и всегда было бременем, во всю его историю. Открытым «правом на бесчестье» его скорей всего увлечь можно. Я поколения старого и, признаюсь, еще стою за честь, но ведь только по привычке. Мне лишь нравятся старые формы, положим по малодушию; нужно же как-нибудь дожить век.

Он вдруг приостановился.

«Однако я говорю-говорю, – подумал он, – а он все молчит и высматривает. Он пришел затем, чтоб я задал ему прямой вопрос. А я и задам».

– Юлия Михайловна просила меня как-нибудь обманом у вас выпытать, какой это сюрприз вы готовите к балу послезавтра? – вдруг спросил Петр Степанович.

– Да, это действительно будет сюрприз, и я действительно изумлю... – приосанился Кармазинов, – но я не скажу вам, в чем секрет.

Петр Степанович не настаивал.

– Здесь есть какой-то Шатов, – осведомился великий писатель, – и, вообразите, я его не видал.

– Очень хорошая личность. А что?

– Так, он про что-то там говорит. Ведь это он по щеке ударил Ставрогина?

– Он.

– А о Ставрогине как вы полагаете?

– Не знаю; волокита какой-то.

Кармазинов возненавидел Ставрогина, потому что тот взял привычку не замечать его вовсе.

– Этого волокиту, – сказал он, хихикая, – если у нас осуществится когда-нибудь то, о чем проповедуют в прокламациях, вероятно, вздернут первого на сук.

– Может, и раньше, – вдруг сказал Петр Степанович.

– Так и следует, – уже не смеясь и как-то слишком серьезно поддакнул Кармазинов.

– А вы уж это раз говорили, и, знаете, я ему передал.

– Как, неужто передали? – рассмеялся опять Кармазинов.

– Он сказал, что если его на сук, то вас довольно и высечь, но только не из чести, а больно, как мужика секут.

Петр Степанович взял шляпу и встал с места. Кармазинов протянул ему на прощание обе руки.

– А что, – пропищал он вдруг медовым голосом и с какою-то особенной интонацией, все еще придерживая его руки в своих, – что, если назначено осуществиться всему тому... о чем замышляют, то... когда это могло бы произойти?

– Почему я знаю, – несколько грубо ответил Петр Степанович. Оба пристально смотрели друг другу в глаза.

– Примерно? приблизительно? – еще слаще пропищал Кармазинов.

– Продать имение успеете и убраться тоже успеете, – еще грубее пробормотал Петр Степанович. Оба еще пристальнее смотрели друг на друга.

Произошла минута молчания.

– К началу будущего мая начнется, а к Покрову все кончится, – вдруг проговорил Петр Степанович.

– Благодарю вас искренно, – проникнутым голосом произнес Кармазинов, сжав ему руки.

«Успеешь, крыса, выселиться из корабля! – думал Петр Степанович, выходя на улицу. – Ну, коли уж этот «почти государственный ум» так уверенно осведомляется о дне и часе и так почтительно благодарит за полученное сведение, то уж нам-то в себе нельзя после того сомневаться. (Он усмехнулся.) Гм. А он в самом деле у них не глуп и... всего только переселяющаяся крыса; такая не донесет!»

Он побежал в Богоявленскую улицу, в дом Филиппова.

VI

Петр Степанович прошел сперва к Кириллову. Тот был, по обыкновению, один и в этот раз проделывал среди комнаты гимнастику, то есть, расставив ноги, вертел каким-то особенным образом над собою руками. На полу лежал мяч. На столе стоял неприбранный утренний чай, уже холодный. Петр Степанович постоял с минуту на пороге.

– Вы, однако ж, о здоровье своем сильно заботитесь, – проговорил он громко и весело, входя в комнату, – какой славный, однако же, мяч, фу, как отскакивает; он тоже для гимнастики?

Кириллов надел сюртук.

– Да, тоже для здоровья, – пробормотал он сухо, – садитесь.

– Я на минуту. А впрочем, сяду. Здоровье здоровьем, но я пришел напомнить об уговоре. Приближается «в некотором смысле» наш срок-с, – заключил он с неловким вывертом.

– Какой уговор?

– Как какой уговор? – всполохнулся Петр Степанович, даже испугался.

– Это не уговор и не обязанность, я ничем не вязал себя, с вашей стороны ошибка.

– Послушайте, что же вы это делаете? – вскочил уж совсем Петр Степанович.

– Свою волю.

– Какую?

– Прежнюю.

– То есть как же это понять? Значит ли, что вы в прежних мыслях?

– Значит. Только уговору нет и не было, и я ничем не вязал. Была одна моя воля и теперь одна моя воля.

Кириллов объяснялся резко и брезгливо.

– Я согласен, согласен, пусть воля, лишь бы эта воля не изменилась, – уселся опять с удовлетворенным видом Петр Степанович. – Вы сердитесь за слова. Вы что-то очень стали последнее время сердиты; я потому избегал посещать. Впрочем, был совершенно уверен, что не измените.

– Я вас очень не люблю; но совершенно уверены можете быть. Хоть и не признаю измены и неизмены.

– Однако знаете, – всполохнулся опять Петр Степанович, – надо бы опять поговорить толком, чтобы не сбиться. Дело требует точности, а вы меня ужасно как горошите. Позволяете поговорить?

– Говорите, – отрезал Кириллов, смотря в угол.

– Вы давно уже положили лишить себя жизни... то есть у вас такая была идея. Так, что ли, я выразился? Нет ли какой ошибки?

– У меня и теперь такая же идея.

– Прекрасно. Заметьте при этом, что вас никто не принуждал к тому.

– Еще бы; как вы говорите глупо.

– Пусть, пусть; я очень глупо выразился. Без сомнения, было бы очень глупо к тому принуждать; я продолжаю: вы были членом Общества еще при старой организации и открылись тогда же одному из членов Общества.

– Я не открывался, а просто сказал.

– Пусть. И смешно бы было в этом «открываться», что за исповедь? Вы просто сказали, и прекрасно.

– Нет, не прекрасно, потому что вы очень мямлите. Я вам не обязан никаким отчетом, и мыслей моих вы не можете понимать. Я хочу лишить себя жизни потому, что такая у меня мысль, потому что я не хочу страха смерти, потому... потому что вам нечего тут знать... Чего вы? Чай хотите пить? Холодный. Дайте я вам другой стакан принесу.

Петр Степанович действительно схватился было за чайник и искал порожней посуды. Кириллов сходил в шкаф и принес чистый стакан.

– Я сейчас у Кармазинова завтракал, – заметил гость, – потом слушал, как он говорил, и вспотел, а сюда бежал – тоже вспотел, смерть хочется пить.

– Пейте. Чай холодный хорошо.

Кириллов опять уселся на стул и опять уперся глазами в угол.

– В Обществе произошла мысль, – продолжал он тем же голосом, – что я могу быть тем полезен, если убью себя, и что когда вы что-нибудь тут накоутите и будут виновных искать, то я вдруг застрелюсь и оставлю письмо, что это я все сделал, так что вас целый год подозревать не могут.

– Хоть несколько дней; и день один дорог.

– Хорошо. В этом смысле мне сказали, чтоб я, если хочу, подождал. Я сказал, что подожду, пока скажут срок от Общества, потому что мне все равно.

– Да, но вспомните, что вы обязались, когда будете сочинять предсмертное письмо, то не иначе как вместе со мной, и, прибыв в Россию, будете в моем... ну, одним словом, в моем распоряжении, то есть на один только этот случай, разумеется, а во всех других вы, конечно, свободны, – почти с любезностью прибавил Петр Степанович.

– Я не обязался, а согласился, потому что мне все равно.

– И прекрасно, прекрасно, я нисколько не имею намерения стеснять ваше самолюбие, но...

– Тут не самолюбие.

– Но вспомните, что вам собрали сто двадцать талеров на дорогу, стало быть, вы брали деньги.

– Совсем нет, – вспыхнул Кириллов, – деньги не с тем. За это не берут.

– Берут иногда.

– Врете вы. Я заявил письмом из Петербурга, а в Петербурге заплатил вам сто двадцать талеров, вам в руки... и они туда отосланы, если только вы не задержали у себя.

– Хорошо, хорошо, я ни в чем не спору, отосланы. Главное, что вы в тех же мыслях, как прежде.

– В тех самых. Когда вы придете и скажете «пора», я все исполню. Что, очень скоро?

– Не так много дней... Но помните, записку мы сочиняем вместе, в ту же ночь.

– Хоть и днем. Вы сказали, надо взять на себя прокламации?

– И кое-что еще.

– Я не всё возьму на себя.

– Чего же не возьмете? – всполохнулся опять Петр Степанович.

– Чего не захочу; довольно. Я не хочу больше о том говорить.

Петр Степанович скрепился и переменял разговор.

– Я о другом, – предупредил он, – будете вы сегодня вечером у наших? Виргинский именинник, под тем предлогом и соберутся.

– Не хочу.

– Сделайте одолжение, будьте. Надо. Надо внушить и числом и лицом... У вас лицо... ну, одним словом, у вас лицо фатальное.

– Вы находите? – рассмеялся Кириллов. – Хорошо, приду; только не для лица. Когда?

– О, пораньше, в половине седьмого. И знаете, вы можете войти, сесть и ни с кем не говорить, сколько бы там их ни было. Только, знаете, не забудьте захватить с собою бумагу и карандаш.

– Это зачем?

– Ведь вам все равно; а это моя особенная просьба. Вы только будете сидеть, ни с кем ровно не говоря, слушать и изредка делать как бы отметки; ну хоть рисуйте что-нибудь.

– Какой вздор, зачем?

– Ну коли вам все равно; ведь вы все говорите, что вам все равно.

– Нет, зачем?

– А вот затем, что тот член от Общества, ревизор, засел в Москве, а я там кой-кому объявил, что, может быть, посетит ревизор; и они будут думать, что вы-то и есть ревизор, а так как вы уже здесь три недели, то еще больше удивятся.

– Фокусы. Никакого ревизора у вас нет в Москве.

– Ну пусть нет, черт его и дери, вам-то какое дело и чем это вас затруднит? Сами же член Общества.

– Скажите им, что я ревизор; я буду сидеть и молчать, а бумагу и карандаш не хочу.

– Да почему?

– Не хочу.

Петр Степанович разозлился, даже позеленел, но опять скрепил себя, встал и взял шляпу.

– *Этот* у вас? – произнес он вдруг вполголоса.

– У меня.

– Это хорошо. Я скоро его выведу, не беспокойтесь.

– Я не беспокоюсь. Он только ночует. Старуха в больнице, сноха померла; я два дня один. Я ему показал место в заборе, где доска вынимается; он пролезет, никто не видит.

– Я его скоро возьму.

– Он говорит, что у него много мест ночевать.

– Он врёт, его ищут, а здесь пока незаметно. Разве вы с ним пускаетесь в разговоры?

– Да, всю ночь. Он вас очень ругает. Я ему ночью Апокалипсис читал, и чай. Очень слушал; даже очень, всю ночь.

– А, черт, да вы его в христианскую веру обратите!

– Он и то христианской веры. Не беспокойтесь, зарежет. Кого вы хотите резать?

– Нет, он не для того у меня; он для другого... а Шатов про Федьку знает?

– Я с Шатовым ничего не говорю и не вижу.

– Злитесь, что ли?

– Нет, не злимся, а только отворачиваемся. Слишком долго вместе в Америке пролежали.

– Я сейчас к нему зайду.

– Как хотите.

– Мы со Ставрогиным к вам тоже, может, зайдем оттуда, этак часов в десять.

– Приходите.

– Мне с ним надо поговорить о важном... Знаете, подарите-ка мне ваш мяч; к чему вам теперь? Я тоже для гимнастики. Я вам, пожалуй, заплачу деньги.

– Возьмите так.

Петр Степанович положил мяч в задний карман.

– А я вам не дам ничего против Ставрогина, – пробормотал вслед Кириллов, выпуская гостя. Тот с удивлением посмотрел на него, но не ответил.

Последние слова Кириллова смутили Петра Степановича чрезвычайно; он еще не успел их осмыслить, но еще на лестнице к Шатову постарался переделать свой недовольный вид в ласковую физиономию. Шатов был дома и немного болен. Он лежал на постели, впрочем одетый.

– Вот неудача! – вскричал Петр Степанович с порога. – Seriously больны?

Ласковое выражение его лица вдруг исчезло; что-то злобное засверкало в глазах.

– Нисколько, – нервно привскочил Шатов, – я вовсе не болен, немного голова...

Он даже потерялся; внезапное появление такого гостя решительно испугало его.

– Я именно по такому делу, что хворать не следует, – начал Петр Степанович быстро и как бы властно, – позвольте сесть (он сел), а вы садитесь опять на вашу койку, вот так. Сегодня под видом дня рождения Виргинского соберутся у него из наших; другого, впрочем, оттенка не будет вовсе, приняты меры. Я приду с Николаем Ставрогиным. Вас бы я, конечно, не потащил туда, зная ваш теперешний образ мыслей... то есть в том смысле, чтобы вас там не мучить, а не из того, что мы думаем, что вы донесете. Но вышло так, что вам придется идти. Вы там встретите тех самых,

с которыми окончательно и порешим, каким образом вам оставить Общество и кому сдать, что у вас находится. Сделаем неприметно; я вас отведу куда-нибудь в угол; народу много, а всем незачем знать. Признаться, мне пришлось-таки из-за вас язык поточить; но теперь, кажется, и они согласны, с тем, разумеется, чтобы вы сдали типографию и все бумаги. Тогда ступайте себе на все четыре стороны.

Шатов выслушал нахмуренно и злобно. Нервный недавний испуг оставил его совсем.

– Я не признаю никакой обязанности давать черт знает кому отчет, – проговорил он наотрез, – никто меня не может отпускать на волю.

– Не совсем. Вам многое было доверено. Вы не имели права прямо разрывать. И, наконец, вы никогда не заявляли о том ясно, так что вводили их в двусмысленное положение.

– Я, как приехал сюда, заявил ясно письмом.

– Нет, не ясно, – спокойно оспаривал Петр Степанович, – я вам прислал, например, «Светлую личность», чтобы здесь напечатать и экземпляры сложить до востребования где-нибудь тут у вас; тоже две прокламации. Вы воротили с письмом двусмысленным, ничего не обозначающим.

– Я прямо отказался печатать.

– Да, но не прямо. Вы написали: «Не могу», но не объяснили, по какой причине. «Не могу» не значит «не хочу». Можно было подумать, что вы просто от материальных причин не можете. Так это и поняли и сочли, что вы все-таки согласны продолжать связь с Обществом, а стало быть, могли опять вам что-нибудь доверить, следовательно, себя компрометировать. Здесь они говорят, что вы просто хотели обмануть, с тем чтобы, получив какое-нибудь важное сообщение, донести. Я вас защищал изо всех сил и показал ваш письменный ответ в две строки, как документ в вашу пользу. Но и сам должен был сознаться, перечитав теперь, что эти две строчки неясны и вводят в обман.

– А у вас так тщательно сохранилось это письмо?

– Это ничего, что оно у меня сохранилось; оно и теперь у меня.

– Ну и пускай, черт!.. – яростно вскричал Шатов. – Пускай ваши дураки считают, что я донес, какое мне дело! Я бы желал посмотреть, что вы мне можете сделать?

– Вас бы отметили и при первом успехе революции повесили.

– Это когда вы захватите верховную власть и покорите Россию?

– Вы не смейтесь. Повторяю, я вас отстаивал. Так ли, этак, а все-таки я вам явиться сегодня советую. К чему напрасные слова из-за какой-то фальшивой гордости? Не лучше ли расстаться дружелюбно? Ведь уж во всяком случае вам придется сдавать станок и буквы и старые бумажки, вот о том и поговорим.

– Приду, – проворчал Шатов, в раздумье понутив голову. Петр Степанович искоса рассматривал его с своего места.

– Ставрогин будет? – спросил вдруг Шатов, подымая голову.

– Будет непременно.

– Хе-хе!

Опять с минуту помолчали. Шатов брезгливо и раздражительно ухмылялся.

– А эта ваша подлая «Светлая личность», которую я не хотел здесь печатать, напечатана?

– Напечатана.

– Гимназистов уверять, что вам сам Герцен в альбом написал?

– Сам Герцен.

Опять помолчали минуты с три. Шатов встал наконец с постели.

– Ступайте вон от меня, я не хочу сидеть вместе с вами.

– Иду, – даже как-то весело проговорил Петр Степанович, немедленно подымаясь, – одно только слово: Кириллов, кажется, один-одинешенек теперь во флигеле, без служанки?

– Один-одинешенек. Ступайте, я не могу оставаться в одной с вами комнате.

«Ну, хорош же ты теперь! – весело обдумывал Петр Степанович, выходя на улицу, – хорош будешь и вечером, а мне именно такого тебя теперь надо, и лучше желать нельзя, лучше желать нельзя! Сам русский Бог помогает!»

VII

Вероятно, он очень много хлопотал в этот день по разным побегушкам – и, должно быть, успешно, – что и отозвалось в самодовольном выражении его физиономии, когда вечером, ровно в шесть часов, он явился к Николаю Всеволодовичу. Но к тому его не сейчас допустили; с Николаем Всеволодовичем только что заперся в кабинете Маврикий Николаевич. Это известие мигом его озаботило. Он уселся у самых дверей кабинета, с тем чтобы ждать выхода гостя. Разговор был слышен, но слов нельзя было уловить. Визит продолжался недолго; вскоре послышался шум, раздался чрезвычайно громкий и резкий голос, вслед за тем отворилась дверь и вышел Маврикий Николаевич с совершенно бледным лицом. Он не заметил Петра Степановича и быстро прошел мимо. Петр Степанович тотчас же вбежал в кабинет.

Не могу обойти подробного отчета об этом, чрезвычайно кратком свидании двух «соперников», – свидании, по-видимому невозможном при сложившихся обстоятельствах, но, однако же, состоявшемся.

Произошло это так: Николай Всеволодович дремал в своем кабинете после обеда на кушетке, когда Алексей Егорович доложил о приходе неожиданного гостя. Услышав возвещенное имя, он вскочил даже с места и не хотел верить. Но вскоре улыбка сверкнула на губах его, – улыбка высокомерного торжества и в то же время какого-то тупого недоверчивого изумления. Вошедший Маврикий Николаевич, кажется, был поражен выражением этой улыбки, по крайней мере вдруг приостановился среди комнаты, как бы не решаясь: идти ли дальше или воротиться? Хозяин тотчас же успел изменить свое лицо и с видом серьезного недоумения шагнул ему навстречу. Тот не взял протянутой ему руки, неловко придвинул стул и, не сказав ни слова, сел еще прежде хозяина, не дождавшись приглашения. Николай Всеволодович уселся наискось на кушетке и, всматриваясь в Маврикия Николаевича, молчал и ждал.

– Если можете, то женитесь на Лизавете Николаевне, – подарил вдруг Маврикий Николаевич, и, что было всего любопытнее, никак нельзя было узнать по интонации голоса, что это такое: просьба, рекомендация, уступка или приказание.

Николай Всеволодович продолжал молчать; но гость, очевидно, сказал уже все, для чего пришел, и глядел в упор, ожидая ответа.

– Если не ошибаюсь (впрочем, это слишком верно), Лизавета Николаевна уже обручена с вами, – проговорил наконец Ставрогин.

– Помолвлена и обручилась, – твердо и ясно подтвердил Маврикий Николаевич.

– Вы... поссорились?.. Извините меня, Маврикий Николаевич.

– Нет, она меня «любит и уважает», ее слова. Ее слова драгоценнее всего.

– В этом нет сомнения.

– Но знайте, что если она будет стоять у самого налоя под венцом, а вы ее кликнете, то она бросит меня и всех и пойдет к вам.

– Из-под венца?

– И после венца.

– Не ошибаетесь ли?

– Нет. Из-под непрерывной к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновение сверкает любовь и... безумие... самая искренняя и безмерная любовь и – безумие! Напротив, из-за любви, которую она ко мне чувствует, тоже искренно, каждое мгновение сверкает ненависть, – самая великая! Я бы никогда не мог вообразить прежде все эти... метаморфозы.

– Но я удивляюсь, как могли вы, однако, прийти и располагать рукой Лизаветы Николаевны? Имеете ли вы на то право? Или она вас уполномочила?

Маврикий Николаевич нахмурился и на минуту потупил голову.

– Ведь это только одни слова с вашей стороны, – проговорил он вдруг, – мстительные и торжествующие слова: я уверен, вы понимаете недосказанное в строках, и неужели есть тут место мелкому тщеславию? Мало вам удовлетворения? Неужели надо размазывать, ставить точки над i Извольте, я поставлю точки, если вам так нужно мое унижение: права я не имею, полномочие невозможно; Лизавета Николаевна ни о чем не знает, а жених ее потерял последний ум и достоин сумасшедшего дома, и в довершение сам приходит вам об этом рапортовать. На всем свете только вы одни можете сделать ее счастливою, и только я один – несчастною. Вы ее оспариваете, вы ее преследуете, но, не знаю почему, не женитесь. Если это любовная ссора, бывшая за границей, и, чтобы пресечь ее, надо принести меня в жертву, – приносите. Она слишком несчастна, и я не могу того вынести. Мои слова не позволение, не предписание, а потому и самолюбию вашему нет оскорбления. Если бы вы хотели взять мое место у налоя, то могли это сделать безо всякого позволения с моей стороны, и мне, конечно, нечего было приходиться к вам с безумием. Тем более что и свадьба наша после теперешнего моего шага уже никак невозможна. Не могу же я вести ее к алтарю подлецом? То, что я делаю здесь, и то, что я предаю ее вам, может быть, непримиримейшему ее врагу, на мой взгляд, такая подлость, которую я, разумеется, не перенесу никогда.

– Застрелитесь, когда нас будут венчать?

– Нет, позже гораздо. К чему марать моею кровью ее брачную одежду. Может, я и совсем не застрелюсь, ни теперь, ни позже.

– Говоря так, желаете, вероятно, меня успокоить?

– Вас? Один лишний брызг крови что для вас может значить?

Он побледнел, и глаза его засверкали. Последовало минутное молчание.

– Извините меня за предложенные вам вопросы, – начал вновь Ставрогин, – некоторые из них я не имел никакого права вам предлагать, но на один из них я имею, кажется, полное право: скажите мне, какие данные заставили вас заключить о моих чувствах к Лизавете Николаевне? Я разумею о той степени этих чувств, уверенность в которой позволила вам прийти ко мне и... рискнуть таким предложением.

– Как? – даже вздрогнул немного Маврикий Николаевич, – разве вы не домогались? Не домогаетесь и не хотите домогаться?

– Вообще о чувствах моих к той или другой женщине я не могу говорить вслух третьему лицу, да и кому бы то ни было, кроме той одной женщины. Извините, такова уж странность организма. Но взамен того я скажу вам всю остальную правду: я женат, и жениться или «домогаться» мне уже невозможно.

Маврикий Николаевич был до того изумлен, что отшатнулся на спинку кресла и некоторое время смотрел неподвижно на лицо Ставрогина.

– Представьте, я никак этого не подумал, – пробормотал он, – вы сказали тогда, в то утро, что не женаты... я так и поверил, что не женаты...

Он ужасно бледнел; вдруг он ударил изо всей силы кулаком по столу.

– Если вы после такого признания не оставите Лизавету Николаевну и делаете ее несчастною сами, то я убью вас палкой, как собаку под забором!

Он вскочил и быстро вышел из комнаты. Вбежавший Петр Степанович застал хозяина в самом неожиданном расположении духа.

– А, это вы! – громко захохотал Ставрогин; хохотал он, казалось, одной только фигуре Петра Степановича, вбежавшего с таким стремительным любопытством.

– Вы у дверей подслушивали? Постойте, с чем это вы прибыли? Ведь я что-то вам обещал... А, ба! Помню: к «нашим»! Идем, очень рад, и ничего вы не могли придумать теперь более кстати.

Он схватил шляпу, и оба немедленно вышли из дому.

– Вы заранее смеетесь, что увидите «наших»? – весело юлил Петр Степанович, то стараясь шагать рядом с своим спутником по узкому кирпичному тротуару, то сбегая даже на улицу, в самую грязь, потому что спутник совершенно не замечал, что идет один по самой середине тротуара, а стало быть, занимает его весь одною своею особой.

– Нисколько не смеюсь, – громко и весело отвечал Ставрогин, – напротив, убежден, что у вас там самый серьезный народ.

– «Угрюмые тупицы», как вы изволили раз выразиться.

– Ничего нет веселее иной угрюмой тупицы.

– А, это вы про Маврикия Николаевича! Я убежден, что он вам сейчас невесту приходил уступать, а? Это я его подуськал косвенно, можете себе представить. А не уступит, так мы у него сами возьмем – а?

Петр Степанович, конечно, знал, что рискует, пускаясь в такие выверты, но уж когда он сам бывал возбужден, то лучше желал рисковать хоть на всё, чем оставлять себя в неизвестности. Николай Всеволодович только рассмеялся.

– А вы все еще рассчитываете мне помогать? – спросил он.

– Если кликнете. Но знаете что, есть один самый лучший путь.

– Знаю ваш путь.

– Ну нет, это покамест секрет. Только помните, что секрет денег стоит.

– Знаю, сколько и стоит, – проворчал про себя Ставрогин, но удержался и замолчал.

– Сколько? что вы сказали? – встрепенулс Петр Степанович.

– Я сказал: ну вас к черту и с секретом! Скажите мне лучше, кто у вас там? Я знаю, что мы на именины идем, но кто там именно?

– О, в высшей степени всякая всячина! Даже Кириллов будет.

– Все члены кружков?

– Черт возьми, как вы торопитесь! Тут и одного кружка еще не состоялось.

– Как же вы разбросали столько прокламаций?

– Там, куда мы идем, членов кружка всего четверо. Остальные, в ожидании, шпионят друг за другом взапуски и мне переносят. Народ благонадежный. Все это материал, который надо организовать, да и убираться. Впрочем, вы сами устав писали, вам нечего объяснять.

– Что ж, трудно, что ли, идет? Заколodило?

– Идет? Как не надо легче. Я вас посмешу: первое, что ужасно действует, – это мундир. Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и долж-

ности: у меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, председатели, регистраторы, их товарищи – очень нравятся и отлично принялось. Затем следующая сила, разумеется, сентиментальность. Знаете, социализм у нас распространяется преимущественно из сентиментальности. Но тут беда, вот эти кусающиеся подпоручики; нет-нет да и нарвешься. Затем следуют чистые мошенники; ну эти, пожалуй, хороший народ, иной раз выгодны очень, но на них много времени идет, неусыпный надзор требуется. Ну и наконец, самая главная сила – цемент, все связующий, – это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал, кто этот «миленький» трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове? За стыд почитают.

– А коли так, из чего вы хлопочете?

– А коли лежит просто, рот разевает на всех, так как же его не стибрить! Будто серьезно не верите, что возможен успех? Эх, вера-то есть, да надо хотенья. Да, именно с этими и возможен успех. Я вам говорю, он у меня в огонь пойдет, стоит только прикрикнуть на него, что недостаточно либерален. Дураки попрекают, что я всех здесь надул центральным комитетом и «бесчисленными разветвлениями». Вы сами раз этим меня корили, а какое тут надувание: центральный комитет – я да вы, а разветвлений будет сколько угодно.

– И всё этакая-то сволочь!

– Материал. Пригодятся и эти.

– А вы на меня все еще рассчитываете?

– Вы начальник, вы сила; я у вас только сбоку буду, секретарем. Мы, знаете, сядем в ладью, веселки кленовые, паруса шелковые, на корме сидит красна девица, свет Лизавета Николаевна... или как там у них, черт, поется в этой песне...

– Запнулся! – захохотал Ставрогин. – Нет, я вам скажу лучше притяжку. Вы вот высчитываете по пальцам, из каких сил кружки составляются? Все это чиновничество и сентиментальность – все это клейстер хороший, но есть одна штука еще лучше: договорите четырех членов кружка укокошить пятого, под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитой кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать. Ха-ха-ха!

«Однако же ты... однако же ты мне эти слова должен выкупить, – подумал про себя Петр Степанович, – и даже сегодня же вечером. Слишком ты много уж позволяешь себе».

Так или почти так должен был задуматься Петр Степанович. Впрочем, уж подошли к дому Виргинского.

– Вы, конечно, меня там выставили каким-нибудь членом из-за границы, в связях с Internationale, ревизором? – спросил вдруг Ставрогин.

– Нет, не ревизором; ревизором будете не вы; но вы член-учредитель из-за границы, которому известны важнейшие тайны, – вот ваша роль. Вы, конечно, станете говорить?

– Это с чего вы взяли?

– Теперь обязаны говорить.

Ставрогин даже остановился в удивлении среди улицы, недалеко от фонаря. Петр Степанович дерзко и спокойно выдержал его взгляд. Ставрогин плюнул и пошел далее.

– А вы будете говорить? – вдруг спросил он Петра Степановича.

– Нет, уж я вас слушаю.

– Черт вас возьми! Вы мне в самом деле даете идею!

– Какую? – выскочил Петр Степанович.

– Там-то я, пожалуй, поговорю, но зато потом вас отколочу, и, знаете, хорошо отколочу.

– Кстати, я давеча сказал про вас Кармазинову, что будто вы говорили про него, что его надо высечь, да и не просто из чести, а как мужика секут, больно.

– Да я этого никогда не говорил, ха-ха!

– Ничего. *Se non è vero...*¹

– Ну спасибо, искренно благодарю.

– Знаете еще, что говорит Кармазинов: что в сущности наше учение есть отрицание чести и что откровенным правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно.

– Превосходные слова! Золотые слова! – вскричал Ставрогин. – Прямо в точку попал! Право на бесчестье – да это все к нам прибегут, ни одного там не останется! А слушайте, Верховенский, вы не из высшей полиции, а?

– Да ведь кто держит в уме такие вопросы, тот их не выговаривает.

– Понимаю, да ведь мы у себя.

– Нет, покамест не из высшей полиции. Довольно, пришли. Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин; я всегда сочиняю, когда к ним вхожу. Побольше мрачности, и только, больше ничего не надо; очень нехитрая вещь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

У наших

I

Виргинский жил в собственном доме, то есть в доме своей жены, в Муравьиной улице. Дом был деревянный, одноэтажный, и посторонних жильцов в нем не было. Под видом дня рождения хозяина собралось гостей человек до пятнадцати; но вечеринка совсем не походила на обыкновенную провинциальную именинную вечеринку. Еще с самого начала своего сожития супруги Виргинские положили взаимно, раз навсегда, что собирать гостей в именины совершенно глупо, да и «нечему вовсе радоваться». В несколько лет они как-то успели совсем отдалить себя от общества. Он, хотя и человек со способностями и вовсе не «какой-нибудь бедный», казался всем почему-то чудачком, полюбившим уединение и сверх того говорившим «надменно». Сама же *madame* Виргинская, занимавшаяся повивальною профессией, уже тем одним стояла ниже всех на общественной лестнице; даже ниже попадьи, несмотря на офицерский чин мужа. Сответственного же ее званию смирения не примечалось в ней вовсе. А после глупейшей и непростительно откровенной связи ее, из принципа, с каким-то мошенником, капитаном Лебядкиным, даже самые снисходительные из наших дам отвернулись от нее с замечательным пренебрежением. Но *madame* Виргинская приняла все так, как будто ей того и надо было. Замечательно, что те же самые строгие дамы, в случаях интересного своего положения, обращались по возможности к Арине Прохоровне (то есть к Виргинской), минуя остальных трех акушерок нашего города. Присылали за нею даже из уезда к помещицам – до того все веровали в ее знание, счастье и ловкость в решительных случаях. Кончилось

¹ Если и не правда... (*ит.*)

тем, что она стала практиковать единственно только в самых богатых домах; деньги же любила до жадности. Ощувив вполне свою силу, она под конец уже нисколько не стесняла себя в характере. Может быть, даже нарочно на практике в самых знатных домах пугала слабонервных родильниц каким-нибудь неслыханным нигилистическим забвением приличий или, наконец, насмешками над «всем священным», и именно в те минуты, когда «священное» наиболее могло бы пригодиться. Наш штаб-лекарь Розанов, он же и акушер, положительно засвидетельствовал, что однажды, когда родильница в муках вопила и призывала всемогущее имя Божие, именно одно из таких вольнодумств Арины Прохоровны, внезапных, «вроде выстрела из ружья», подействовав на больную испугом, способствовало быстрейшему ее разрешению от бремени. Но хоть и нигилистка, а в нужных случаях Арина Прохоровна вовсе не брезгала не только светскими, но и стародавними, самыми предрассудочными обычаями, если таковые могли принести ей пользу. Ни за что не пропустила бы она, например, крестин повитого ею младенца, причем являлась в зеленом шелковом платье со шлейфом, а шиньон расчесывала в локоны и в букли, тогда как во всякое другое время доходила до самоуслаждения в своем неряшестве. И хотя во время совершения таинства сохраняла всегда «самый наглый вид», так что конфузила причет, но по совершении обряда шампанское непременно выносила сама (для того и являлась, и рядилась), и попробовали бы вы, взяв бокал, не положить ей «на кашу».

Собравшиеся на этот раз к Виргинскому гости (почти все мужчины) имели какой-то случайный и экстренный вид. Не было ни закуски, ни карт. Посреди большой гостиной комнаты, оклеенной отменно старыми голубыми обоями, сдвинуты были два стола и покрыты большою скатертью, не совсем, впрочем, чистою, а на них кипели два самовара. Огромный поднос с двадцатью пятью стаканами и корзина с обыкновенным французским белым хлебом, изрезанным на множество ломтей, вроде как в благородных мужских и женских пансионах для воспитанников, занимали конец стола. Чай разливала тридцатилетняя дева, сестра хозяйки, безбровая и белобрысая, существо молчаливое и ядовитое, но разделявшее новые взгляды, и которой ужасно боялся сам Виргинский в домашнем быту. Всех дам в комнате было три: сама хозяйка, безбровая ее сестрица и родная сестра Виргинского, девица Виргинская, как раз только что прикатившая из Петербурга. Арина Прохоровна, видная дама лет двадцати семи, собою недурная, несколько растрепанная, в шерстяном непраздничном платье зеленоватого оттенка, сидела, обводя смелыми глазами гостей и как бы спеша проговорить своим взглядом: «Видите, как я совсем ничего не боюсь». Прибывшая девица Виргинская, тоже недурная собой, студентка и нигилистка, сытенькая и плотненькая, как шарик, с очень красными щеками и низенького роста, поместилась подле Арины Прохоровны, еще почти в дорожном своем костюме, с каким-то свертком бумаг в руке, и разглядывала гостей нетерпеливыми прыгающими глазами. Сам Виргинский в этот вечер был несколько нездоров, однако же вышел посидеть в креслах за чайным столом. Все гости тоже сидели, и в этом чинном размещении на стульях вокруг стола предчувствовалось заседание. Видимо, все чего-то ждали, а в ожидании вели хотя и громкие, но как бы посторонние речи. Когда появились Ставрогин и Верховенский, все вдруг затихло.

Но позволю себе сделать некоторое пояснение для определенности.

Я думаю, что все эти господа действительно собрались тогда в приятной надежде услышать что-нибудь особенно любопытное, и собрались предуведомленные. Они представляли собою цвет самого ярко-красного либерализма в нашем древнем городе и были весьма тщательно подобраны Виргинским для этого

«заседания». Замечу еще, что некоторые из них (впрочем, очень немногие) прежде совсем не посещали его. Конечно, большинство гостей не имело ясного понятия, для чего их предуведомляли. Правда, все они принимали тогда Петра Степановича за приехавшего заграничного эмиссара, имеющего полномочия; эта идея как-то сразу укоренилась и, натурально, лстыла. А между тем в этой собравшейся кучке граждан, под видом празднования именин, уже находились некоторые, которым были сделаны и определенные предложения. Петр Верховенский успел слепить у нас «пятерку», наподобие той, которая уже была у него заведена в Москве и еще, как оказалось теперь, в нашем уезде между офицерами. Говорят, тоже была одна у него и в X-ской губернии. Эти пятеро избранных сидели теперь за общим столом и весьма искусно умели придать себе вид самых обыкновенных людей, так что никто их не мог узнать. То были, – так как теперь это не тайна, – во-первых, Липутин, затем сам Виргинский, длинноухий Шигалев – брат госпожи Виргинской, Лямшин и, наконец, некто Толкаченко – странная личность, человек уже лет сорока и славившийся огромным изучением народа, преимущественно мошенников и разбойников, ходивший нарочно по кабакам (впрочем, не для одного изучения народного) и щеголявший между нами дурным платьем, смазными сапогами, прищуренно-хитрым видом и народными фразами с завитком. Раз или два еще прежде Лямшин приводил его к Степану Трофимовичу на вечера, где, впрочем, он особенного эффекта не произвел. В городе появлялся он временами, преимущественно когда бывал без места, а служил по железным дорогам. Все эти пятеро деятелей составили свою первую кучку с теплою верой, что она лишь единица между сотнями и тысячами таких же пятерок, как и ихняя, разбросанных по России, и что все зависит от какого-то центрального, огромного, но тайного места, которое в свою очередь связано органически с европейскою всемирною революцией. Но, к сожалению, я должен признаться, что между ними даже и в то уже время начал обнаруживаться разлад. Дело в том, что они хоть и ждали еще с весны Петра Верховенского, возведенного им сперва Толкаченко, а потом приехавшим Шигалевым, хоть и ждали от него чрезвычайных чудес и хоть и пошли тотчас же все, без малейшей критики и по первому его зову, в кружок, но только что составили пятерку, все как бы тотчас же и обиделись, и именно, я полагаю, за быстроту своего согласия. Пошли они, разумеется, из великодушного стыда, чтобы не сказали потом, что они не посмели пойти; но все-таки Петр Верховенский должен бы был оценить их благородный подвиг и по крайней мере рассказать им в награждение какой-нибудь самый главный анекдот. Но Верховенский вовсе не хотел удовлетворить их законного любопытства и лишнего ничего не рассказывал; вообще ретировал их с замечательною строгостью и даже небрежностью. Это решительно раздражило, и член Шигалев уже подбивал остальных «потребовать отчета», но, разумеется, не теперь у Виргинского, где собралось столько посторонних.

По поводу посторонних у меня тоже есть одна мысль, что вышеозначенные члены первой пятерки наклонны были подозревать в этот вечер в числе гостей Виргинского еще членов каких-нибудь им неизвестных групп, тоже заведенных в городе, по той же тайной организации и тем же самым Верховенским, так что в конце концов все собравшиеся подозревали друг друга и один пред другим принимали разные осанки, что и придавало всему собранию весьма сбивчивый и даже отчасти романический вид. Впрочем, тут были люди и вне всякого подозрения. Так, например, один служащий майор, близкий родственник Виргинского, совершенно невинный человек, которого и не приглашали, но который сам пришел к имениннику, так что никак нельзя было его не принять. Но именинник все-таки

был спокоен, потому что майор «никак не мог донести»; ибо, несмотря на всю свою глупость, всю жизнь любил сновать по всем местам, где водятся крайние либералы; сам не сочувствовал, но послушать очень любил. Мало того, был даже компрометирован: случилось так, что чрез его руки, в молодости, прошли целые склады «Колокола» и прокламаций, и хоть он их даже развернуть боялся, но отказываясь распространять их почел бы за совершенную подлость – и таковы иные русские люди даже и до сего дня. Остальные гости или представляли собою тип придушенного до желчи благородного самолюбия, или тип первого благороднейшего порыва пылкой молодости. То были два или три учителя, из которых один хромой, лет уже сорока пяти, преподаватель в гимназии, очень ядовитый и замечательно тщеславный человек, и два или три офицера. Из последних один очень молодой артиллерист, всего только на днях приехавший из одного учебного военного заведения, мальчик молчаливый и еще не успевший составить знакомства, вдруг очутился теперь у Виргинского с карандашом в руках и, почти не участвуя в разговоре, поминутно отмечал что-то в своей записной книжке. Все это видели, но все почему-то старались делать вид, что не примечают. Был еще тут праздношатающийся семинарист, который с Лямшиным подsunул книгоноше мерзостные фотографии, крупный парень с развязною, но в то же время недоверчивою манерой, с бессменно обличительною улыбкой, а вместе с тем и со спокойным видом торжествующего совершенства, заключенного в нем самом. Был, не знаю для чего, и сын нашего городского головы, тот самый скверный мальчишка, истаскавшийся не по летам и о котором я уже упоминал, рассказывая историю маленькой поручицы. Этот весь вечер молчал. И, наконец, в заключение, один гимназист, очень горячий и взъерошенный мальчик лет восемнадцати, сидевший с мрачным видом оскорбленного в своем достоинстве молодого человека и видимо страдавший за свои восемнадцать лет. Этот крошка был уже начальником самостоятельной кучки заговорщиков, образовавшейся в высшем классе гимназии, что и обнаружилось, ко всеобщему удивлению, впоследствии. Я не упомянул о Шатове: он расположился тут же в заднем углу стола, несколько выдвинув из ряда свой стул, смотрел в землю, мрачно молчал, от чаю и хлеба отказался и все время не выпускал из рук свой картуз, как бы желая тем заявить, что он не гость, а пришел по делу, и когда захочет, встанет и уйдет. Недалеко от него поместился и Кириллов, тоже очень молчаливый, но в землю не смотрел, а, напротив, в упор рассматривал каждого говорившего своим неподвижным взглядом без блеску и выслушивал все без малейшего волнения или удивления. Некоторые из гостей, никогда не выдавшие его прежде, разглядывали его задумчиво и украдкой. Неизвестно, знала ли что-нибудь сама madame Виргинская о существовавшей пятерке? Полагаю, что знала все, и именно от супруга. Студентка же, конечно, ни в чем не участвовала, но у ней была своя забота; она намеревалась прогостить всего только день или два, а затем отправиться дальше и дальше, по всем университетским городам, чтобы «принять участие в страданиях бедных студентов и возбудить их к протесту». Она везла с собою несколько сот экземпляров литографированного воззвания и, кажется, собственного сочинения. Замечательно, что гимназист возненавидел ее с первого взгляда почти до кровомщения, хотя и видел ее в первый раз в жизни, а она равномерно его. Майор приходился ей родным дядей и встретил ее сегодня в первый раз после десяти лет. Когда вошли Ставрогин и Верховенский, щеки ее были красны, как клюква: она только что разбранилась с дядей за убеждения по женскому вопросу.

II

Верховенский замечательно небрежно развалился на стуле в верхнем углу стола, почти ни с кем не поздоровавшись. Вид его был брезгливый и даже надменный. Ставрогин раскланялся вежливо, но, несмотря на то что все только их и ждали, все как по команде сделали вид, что их почти не примечают. Хозяйка строго обратилась к Ставрогину, только что он уселся.

– Ставрогин, хотите чаю?

– Дайте, – ответил тот.

– Ставрогину чаю, – скомандовала она разливательнице, – а вы хотите? (Это уже к Верховенскому.)

– Давайте, конечно, кто ж про это гостей спрашивает? Да дайте и сливок, у вас всегда такую мерзость дают вместо чаю; а еще в доме именинник.

– Как, и вы признаете именины? – засмеялась вдруг студентка. – Сейчас о том говорили.

– Старо, – проворчал гимназист с другого конца стола.

– Что такое старо? Забывать предрассудки не старо, хотя бы самые невинные, а, напротив, к общему стыду, до сих пор еще ново, – мигом заявила студентка, так и дернувшись вперед со стула. – К тому же нет невинных предрассудков, – прибавила она с ожесточением.

– Я только хотел заявить, – заволновался гимназист ужасно, – что предрассудки хотя, конечно, старая вещь и надо истреблять, но насчет именин все уже знают, что глупости и очень старо, чтобы терять драгоценное время, и без того уже всем светом потерянное, так что можно бы употребить свое остроумие на предмет более нуждающийся...

– Слишком долго тянете, ничего не поймешь, – прокричала студентка.

– Мне кажется, что всякий имеет право голоса наравне с другим, и если я желаю заявить мое мнение, как и всякий другой, то...

– У вас никто не отнимает права вашего голоса, – резко оборвала уже сама хозяйка, – вас только приглашают не мямлить, потому что вас никто не может понять.

– Однако же позвольте заметить, что вы меня не уважаете; если я и не мог закончить мысль, то это не оттого, что у меня нет мыслей, а скорее от избытка мыслей... – чуть не в отчаянии пробормотал гимназист и окончательно спутался.

– Если не умеете говорить, то молчите, – хлопнула студентка.

Гимназист даже привскочил со стула.

– Я только хотел заявить, – прокричал он, весь горя от стыда и боясь осмотреться вокруг, – что вам только хотелось выскочить с вашим умом потому, что вошел господин Ставрогин, – вот что!

– Ваша мысль грязна и безнравственна и означает все ничтожество вашего развития. Прошу более ко мне не относиться, – протрещала студентка.

– Ставрогин, – начала хозяйка, – до вас тут кричали сейчас о правах семейства, – вот этот офицер (она кивнула на родственника своего, майора). И, уж конечно, не я стану вас беспокоить таким старым вздором, давно порешенным. Но откуда, однако, могли взяться права и обязанности семейства в смысле того предрассудка, в котором теперь представляются? Вот вопрос. Ваше мнение?

– Как откуда могли взяться? – переспросил Ставрогин.

– То есть мы знаем, например, что предрассудок о Боге произошел от грома и молнии, – вдруг рванулась опять студентка, чуть не вскакивая глазами на Ставрогина, – слишком известно, что первоначальное человечество, пугаясь грома и молнии, обоготворило невидимого врага, чувствуя пред ним свою сла-

бость. Но откуда произошел предрассудок о семействе? Откуда могло взяться само семейство?

– Это не совсем то же самое... – хотела было остановить хозяйка.

– Я полагаю, что ответ на такой вопрос нескромен, – отвечал Ставрогин.

– Как так? – дернулась вперед студентка.

Но в учительской группе послышалось хихиканье, которому тотчас же отозвались с другого конца Лямшин и гимназист, а за ними сиплым хохотом и родственник майор.

– Вам бы писать водевили, – заметила хозяйка Ставрогину.

– Слишком не к чести вашей относится, не знаю, как вас зовут, – отрезала в решительном негодовании студентка.

– А ты не высказывай! – брякнул майор. – Ты барышня, тебе должно скромно держать себя, а ты ровно на иголку села.

– Извольте молчать и не смейте обращаться ко мне фамильярно с вашими пакостными сравнениями. Я вас в первый раз вижу и знать вашего родства не хочу.

– Да ведь я ж тебе дядя; я тебя на руках еще грудного ребенка таскал!

– Какое мне дело, что бы вы там ни таскали. Я вас тогда не просила таскать, значит, вам, господин неучтивый офицер, самому тогда доставляло удовольствие. И позвольте мне заметить, что вы не смее говорить мне *ты*, если не от гражданства, и я вам раз навсегда запрещаю.

– Вот все они так! – стукнул майор кулаком по столу, обращаясь к сидевшему напротив Ставрогину. – Нет-с, позвольте, я либерализм и современность люблю и люблю послушать умные разговоры, но, предупреждаю, – от мужчин. Но от женщин, но вот от современных этих разлетаек – Нет-с, это боль моя! Ты не вертись! – крикнул он студентке, которая порывалась со стула. – Нет, я тоже слова прошу, я обижен-с.

– Вы только мешаете другим, а сами ничего не умеете сказать, – с негодованием проворчала хозяйка.

– Нет, уж я выскажу, – горячился майор, обращаясь к Ставрогину. – Я на вас, господин Ставрогин, как на нового вошедшего человека рассчитываю, хотя и не имею чести вас знать. Без мужчин они пропадут, как мухи, – вот мое мнение. Весь их женский вопрос это – один только недостаток оригинальности. Уверяю же вас, что женский этот весь вопрос выдумали им мужчины, сдуру, сами на свою шею, – слава только Богу, что я не женат! Ни малейшего разнообразия-с, узора простого не выдумают; и узоры за них мужчины выдумывают! Вот-с, я ее на руках носил, с ней, десятилетней, мазурку танцевал, сегодня она приехала, натурально лечу обнять, а она мне со второго слова объявляет, что Бога нет. Да хоть бы с третьего, а не со второго слова, а то спешит! Ну, положим, умные люди не веруют, так ведь это от ума, а ты-то, говорю, пузырь, ты что в Боге понимаешь? Ведь тебя студент научил, а научил бы лампадки зажигать, ты бы и зажигала.

– Вы всё лжете, вы очень злой человек, а я давеча доказательно выразила вам вашу несостоятельность, – ответила студентка с пренебрежением и как бы презирая много объясняться с таким человеком. – Я вам именно говорила давеча, что нас всех учили по катехизису: «Если будешь почитать своего отца и своих родителей, то будешь долголетним и тебе дано будет богатство». Это в десяти заповедях. Если Бог нашел необходимым за любовь предлагать награду, стало быть, ваш Бог безнравствен. Вот в каких словах я вам давеча доказала, и не со

второго слова, а потому что вы заявили права свои. Кто ж виноват, что вы тупы и до сих пор не понимаете. Вам обидно и вы злитесь – вот вся разгадка вашего поколения.

– Дурында! – проговорил майор.

– А вы дурак.

– Ругайся!

– Но позвольте, Капитон Максимович, ведь вы сами же говорили мне, что в Бога не веруете, – пропищал с конца стола Липутин.

– Что ж, что я говорил, я другое дело! я, может, и верую, но только не совсем. Я хоть и не верую вполне, но все-таки не скажу, что Бога расстрелять надо. Я, еще в гусарах служа, насчет Бога задумывался. Во всех стихах принято, что гусар пьет и кутит; так-с, я, может, и пил, но, верите ли, вскочишь ночью с постели в одних носках и давай кресты крестить пред образом, чтобы Бог веру послал, потому что я и тогда не мог быть спокойным: есть Бог или нет? До того оно мне солоно доставалось! Утром, конечно, развлечешься, и опять вера как будто пропадет, да и вообще я заметил, что днем всегда вера несколько пропадает.

– А не будет ли у вас карт? – зевнул во весь рот Верховенский, обращаясь к хозяйке.

– Я слишком, слишком сочувствую вашему вопросу! – рванулась студентка, рдея в негодовании от слов майора.

– Теряется золотое время, слушая глупые разговоры, – отрезала хозяйка и взыскательно посмотрела на мужа.

Студентка подобралась:

– Я хотела заявить собранию о страдании и о протесте студентов, а так как время тратится в безнравственных разговорах...

– Ничего нет ни нравственного, ни безнравственного! – тотчас же не вытерпел гимназист, как только начала студентка.

– Это я знала, господин гимназист, гораздо прежде, чем вас тому научили.

– А я утверждаю, – остервенился тот, – что вы – приехавший из Петербурга ребенок, с тем чтобы нас всех просветить, тогда как мы и сами знаем. О заповеди: «Чти отца твоего и мать твою», которую вы не умели прочесть, и что она безнравственна, – уже с Белинского всем в России известно.

– Кончится ли это когда-нибудь? – решительно проговорила madame Виргинская мужу. Как хозяйка, она краснела за ничтожество разговоров, особенно заметив несколько улыбок и даже недоумение между новопозванными гостями.

– Господа, – возвысил вдруг голос Виргинский, – если бы кто пожелал начать о чем-нибудь более идущем к делу или имеет что заявить, то я предлагаю приступить, не теряя времени.

– Осмелюсь сделать один вопрос, – мягко проговорил доселе молчавший и особенно чинно сидевший хромым учитель, – я желал бы знать, составляем ли мы здесь, теперь, какое-нибудь заседание или просто мы собрание обыкновенных смертных, пришедших в гости? Спрашиваю более для порядку и чтобы не находиться в неведении.

«Хитрый» вопрос произвел впечатление; все переглянулись, каждый как бы ожидая один от другого ответа, и вдруг все как по команде обратили взгляды на Верховенского и Ставрогина.

– Я просто предлагаю вотировать ответ на вопрос: «Заседание мы или нет?» – проговорила madame Виргинская.

– Совершенно присоединяюсь к предложению, – отозвался Липутин, – хотя оно и несколько неопределенно.

– И я присоединяюсь, и я, – слышались голоса.

– И мне кажется, действительно будет более порядку, – скрепил Виргинский.

– Итак, на голоса! – объявила хозяйка. – Лямшин, прошу вас, сядьте за фортепьяно: вы и оттуда можете подать ваш голос, когда начнут вотировать.

– Опять! – крикнул Лямшин. – Довольно я вам барабанил.

– Я вас прошу настойчиво, сядьте играть; вы не хотите быть полезным делу?

– Да уверяю же вас, Арина Прохоровна, что никто не подслушивает. Одна ваша фантазия. Да и окна высоки, да и кто тут поймет что-нибудь, если б и подслушивал.

– Мы и сами-то не понимаем, в чем дело, – проворчал чей-то голос.

– А я вам говорю, что предосторожность всегда необходима. Я на случай, если бы шпионы, – обратилась она с толкованием к Верховенскому, – пусть услышат с улицы, что у нас именины и музыка.

– Э, черт! – выругался Лямшин, сел за фортепьяно и начал барабанить вальс, зря и чуть не кулаками стуча по клавишам.

– Тем, кто желает, чтобы было заседание, я предлагаю поднять правую руку вверх, – предложила madame Виргинская.

Одни подняли, другие нет. Были и такие, что подняли и опять взяли назад. Взяли назад и опять подняли.

– Фу, черт! я ничего не понял, – крикнул один офицер.

– И я не понимаю, – крикнул другой.

– Нет, я понимаю, – крикнул третий, – если да, то руку вверх.

– Да что да-то значит?

– Значит, заседание.

– Нет, не заседание.

– Я вотировал заседание, – крикнул гимназист, обращаясь к madame Виргинской.

– Так зачем же вы руку не подняли?

– Я все на вас смотрел, вы не подняли, так и я не поднял.

– Как глупо, я потому, что я предлагала, потому и не подняла. Господа, предлагаю вновь обратно: кто хочет заседание, пусть сидит и не подымает руки, а кто не хочет, тот пусть подымет правую руку.

– Кто не хочет? – переспросил гимназист.

– Да вы это нарочно, что ли? – крикнула в гнев madame Виргинская.

– Нет-с, позвольте, кто хочет или кто не хочет, потому что это надо точнее определить? – раздалось два-три голоса.

– Кто не хочет, не хочет.

– Ну да, но что надо делать, подымать или не подымать, если не хочет? – крикнул офицер.

– Эх, к конституции-то мы еще не привыкли! – заметил майор.

– Господин Лямшин, сделайте одолжение, вы так стучите, никто не может расслышать, – заметил хромой учитель.

– Да ей-Богу же, Арина Прохоровна, никто не подслушивает, – вскочил Лямшин. – Да не хочу же играть! Я к вам в гости пришел, а не барабанить!

– Господа, – предложил Виргинский, – отвечайте все голосом: заседание мы или нет?

– Заседание, заседание! – раздалось со всех сторон.

– А если так, то нечего и вотировать, довольно. Довольны ли вы, господа, надо ли еще вотировать?

– Не надо, не надо, поняли!

– Может быть, кто не хочет заседания?

– Нет, нет, все хотим.

– Да что такое заседание? – крикнул голос. Ему не ответили.

– Надо выбрать президента, – крикнули с разных сторон.

– Хозяина, разумеется хозяина!

– Господа, коли так, – начал выбранный Виргинский, – то я предлагаю давешнее первоначальное мое предложение: если бы кто пожелал начать о чем-нибудь более идущем к делу или имеет что заявить, то пусть приступит, не теряя времени.

Общее молчание. Взгляды всех вновь обратились на Ставрогина и Верховенского.

– Верховенский, вы не имеете ничего заявить? – прямо спросила хозяйка.

– Ровно ничего, – потянулся он, зевая, на стуле. – Я, впрочем, желал бы рюмку коньяку.

– Ставрогин, вы не желаете?

– Благодарю, я не пью.

– Я говорю, желаете вы говорить или нет, а не про коньяк.

– Говорить, об чем? Нет, не желаю.

– Вам принесут коньяку, – ответила она Верховенскому.

Поднялась студентка. Она уже несколько раз подвскакивала.

– Я приехала заявить о страданиях несчастных студентов и о возбуждении их повсеместно к протесту...

Но она осеклась; на другом конце стола явился уже другой конкурент, и все взоры обратились к нему. Длинноухий Шигалев с мрачным и угрюмым видом медленно поднялся с своего места и меланхолично положил толстую и чрезвычайно мелко исписанную тетрадь на стол. Он не сажился и молчал. Многие с замешательством смотрели на тетрадь, но Липутин, Виргинский и хромой учитель были, казалось, чем-то довольны.

– Прошу слова, – угрюмо, но твердо заявил Шигалев.

– Имеете, – разрешил Виргинский.

Оратор сел, помолчал с полминуты и произнес важным голосом:

– Господа...

– Вот коньяк! – брезгливо и презрительно отрубил родственница, разливавшая чай, уходившая за коньяком, и ставя его теперь пред Верховенским вместе с рюмкой, которую принесла в пальцах, без подноса и без тарелки.

Прерванный оратор с достоинством приостановился.

– Ничего, продолжайте, я не слушаю, – крикнул Верховенский, наливая себе рюмку.

– Господа, обращаясь к вашему вниманию, – начал вновь Шигалев, – и, как увидите ниже, испрашивая вашей помощи в пункте первостепенной важности, я должен произнести предисловие.

– Арина Прохоровна, нет у вас ножниц? – спросил вдруг Петр Степанович.

– Зачем вам ножниц? – выпучила та на него глаза.

– Забыл ногти обстричь, три дня собираюсь, – промолвил он, безмятежно рассматривая свои длинные и нечистые ногти.

Арина Прохоровна вспыхнула, но девице Виргинской как бы что-то понравилось.

– Кажется, я их здесь на окне давеча видела, – встала она из-за стола, пошла, отыскала ножницы и тотчас же принесла с собой. Петр Степанович даже не посмотрел на нее, взял ножницы и начал возиться с ними. Арина Прохоровна поняла, что это реальный прием, и устыдилась своей обидчивости. Собрание переглядывалось молча. Хромой учитель злобно и завистливо наблюдал Верховенского. Шигалев стал продолжать:

– Посвятив мою энергию на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, которым заменится настоящее, я пришел к убеждению, что все созидатели социальных систем, с древнейших времен до нашего 187... года, были мечтатели, сказочники, глупцы, противоречившие себе, ничего ровно не понимавшие в естественной науке и в том странном животном, которое называется человеком. Платон, Руссо, Фурье, колонны из алюминия – все это годится разве для воробьев, а не для общества человеческого. Но так как будущая общественная форма необходима именно теперь, когда все мы наконец собираемся действовать, чтоб уже более не задумываться, то я и предлагаю собственную мою систему устройства мира. Вот она! – стукнул он по тетради. – Я хотел изложить собранию мою книгу по возможности в сокращенном виде; но вижу, что потребуется еще прибавить множество изустных разъяснений, а потому все изложение потребует по крайней мере десяти вечеров, по числу глав моей книги. (Послышался смех.) Кроме того, объявляю заранее, что система моя не окончена. (Смех опять.) Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что, кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого.

Смех разрастался сильнее и сильнее, но смеялись более молодые и, так сказать, мало посвященные гости. На лицах хозяйки, Липутина и хромого учителя выразилась некоторая досада.

– Если вы сами не сумели слепить свою систему и пришли к отчаянию, то нам-то тут чего делать? – осторожно заметил один офицер.

– Вы правы, господин служащий офицер, – резко оборотился к нему Шигалев, – и всего более тем, что употребили слово «отчаяние». Да, я приходил к отчаянию; тем не менее все, что изложено в моей книге, – незаменимо, и другого выхода нет; никто ничего не выдумает. И потому спешу, не теряя времени, пригласить все общество, по выслушании моей книги в продолжение десяти вечеров, заявить свое мнение. Если же члены не захотят меня слушать, то разойдемся в самом начале, – мужчины чтобы заняться государственною службой, женщины в свои кухни, потому что, отвергнув книгу мою, другого выхода они не найдут. Ни-ка-кого! Упустив же время, повредят себе, так как потом неминуемо к тому же воротятся.

Началось движение: «Что он, помешанный, что ли?» – раздались голоса.

– Значит, все дело в отчаянии Шигалева, – заключил Лямшин, – а насущный вопрос в том: быть или не быть ему в отчаянии?

– Близость Шигалева к отчаянию есть вопрос личный, – заявил гимназист.

– Я предлагаю утирывать, насколько отчаяние Шигалева касается общего дела, а с тем вместе, стоит ли слушать его или нет? – весело решил офицер.

– Тут не то-с, – ввязался, наконец, хромой. Вообще он говорил с некоторой как бы насмешливою улыбкой, так что, пожалуй, трудно было и разобрать, искренно он говорит или шутит. – Тут, господа, не то-с. Господин Шигалев слишком серьезно предан своей задаче и притом слишком скромен. Мне книга его известна.

Он предлагает, в виде конечного разрешения вопроса, – разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать. Меры, предлагаемые автором для отнятия у девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо, посредством перевоспитания целых поколений, – весьма замечательны, основаны на естественных данных и очень логичны. Можно не согласиться с иными выводами, но в уме и в знаниях автора усомниться трудно. Жаль, что условие десяти вечеров совершенно несовместимо с обстоятельствами, а то бы мы могли услышать много любопытного.

– Неужели вы серьезно? – обратилась к хромому madame Виргинская, в которой даже тревоге. – Если этот человек, не зная, куда деваться с людьми, обращает их девять десятых в рабство? Я давно подозревала его.

– То есть вы про вашего братца? – спросил хромой.

– Родство? Вы смеетесь надо мною или нет?

– И, кроме того, работать на аристократов и повиноваться им, как богам, – это подлость! – яростно заметила студентка.

– Я предлагаю не подлость, а рай, земной рай, и другого на земле быть не может, – властно заключил Шигалев.

– А я бы вместо рая, – вскричал Лямшин, – взял бы этих девять десятых человечества, если уж некуда с ними деваться, и взорвал их на воздух, а оставил бы только кучку людей образованных, которые и начали бы жить-поживать по-ученому.

– Так может говорить только шут! – вспыхнула студентка.

– Он шут, но полезен, – шепнула ей madame Виргинская.

– И, может быть, это было бы самым лучшим разрешением задачи! – горячо оборотился Шигалев к Лямшину. – Вы, конечно, и не знаете, какую глубокую вещь удалось вам сказать, господин веселый человек. Но так как ваша идея почти невыполнима, то и надо ограничиться земным раем, если уж так это назвали.

– Однако порядочный вздор! – как бы вырвалось у Верховенского. Впрочем, он, совершенно равнодушно и не подымая глаз, продолжал обстригать свои ногти.

– Почему же вздор-с! – тотчас же подхватил хромой, как будто так и ждал от него первого слова, чтобы вцепиться. – Почему же именно вздор? Господин Шигалев отчасти фанатик человеколюбия; но вспомните, что у Фурье, у Кабета особенно и даже у самого Прудона есть множество самых деспотических и самых фантастических предreshений вопроса. Господин Шигалев даже, может быть, гораздо трезвее их разрешает дело. Уверяю вас, что, прочитав книгу его, почти невозможно не согласиться с иными вещами. Он, может быть, менее всех удалился от реализма, и его земной рай есть почти настоящий, тот самый, о потере которого вздыхает человечество, если только он когда-нибудь существовал.

– Ну, я так и знал, что нарвусь, – пробормотал опять Верховенский.

– Позвольте-с, – вскипал все более и более хромой, – разговоры и суждения о будущем социальном устройстве – почти настоятельная необходимость всех мыслящих современных людей. Герцен всю жизнь только о том и заботился. Белинский, как мне достоверно известно, проводил целые вечера с своими друзьями, дебатирова и предreshая заранее даже самые мелкие, так сказать кухонные, подробности в будущем социальном устройстве.

– Даже с ума сходят иные, – вдруг заметил майор.

– Все-таки хоть до чего-нибудь договориться можно, чем сидеть и молчать в виде диктаторов, – прошипел Липутин, как бы осмеливаясь наконец начать нападение.

– Я не про Шигалева сказал, что вздор, – промямлил Верховенский. – Видите, господа, – приподнял он капельку глаза, – по-моему, все эти книги, Фурье, Кабеты, все эти «права на работу», шигалевщина – все это вроде романов, которых можно написать сто тысяч. Эстетическое препровождение времени. Я понимаю, что вам здесь в городишке скучно, вы и бросаетесь на писаную бумагу.

– Позвольте-с, – задержался на стуле хромой, – мы хоть и провинциалы и, уж конечно, достойны тем сожаления, но, однако же, знаем, что на свете покамест ничего такого нового не случилось, о чем бы нам плакать, что проглядели. Нам вот предлагают, чрез разные подкидные листки иностранной фактуры, сомкнуться и завести кучки с единственной целью всеобщего разрушения, под тем предлогом, что, как мир ни лечи, все не вылечишь, а срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку. Мысль прекрасная, без сомнения, но по крайней мере столь же несовместимая с действительностью, как и «шигалевщина», о которой вы сейчас отнеслись так презрительно.

– Ну, да я не для рассуждений приехал, – промахнулся значительным словом Верховенский и, как бы вовсе не замечая своего промаха, подвинул к себе свечу, чтобы было светлее.

– Жаль-с, очень жаль, что не для рассуждений приехали, и очень жаль, что вы так теперь заняты своим туалетом.

– А чего вам мой туалет?

– Сто миллионов голов так же трудно осуществить, как и переделать мир пропагандой. Даже, может быть, и труднее, особенно если в России, – рискнул опять Липутин.

– На Россию-то теперь и надеются, – проговорил офицер.

– Слышали мы и о том, что надеются, – подхватил хромой. – Нам известно, что на наше прекрасное отечество обращен таинственный index¹ как на страну, наиболее способную к исполнению великой задачи. Только вот что-с: в случае постепенного разрешения задачи пропагандой я хоть что-нибудь лично выигрываю, ну хоть приятно поболтаю, а от начальства так и чин получу за услуги социальному делу. А во втором, в быстром-то разрешении, посредством ста миллионов голов, мне-то, собственно, какая будет награда? Начнешь пропагандировать, так еще, пожалуй, язык отрежут.

– Вам непременно отрежут, – сказал Верховенский.

– Видите-с. А так как при самых благоприятных обстоятельствах раньше пятидесяти лет, ну тридцати, такую резню не dokonчишь, потому что ведь не бараны же те-то, пожалуй, и не дадут себя резать, – то не лучше ли, собравши свой скарб, переселиться куда-нибудь за тихие моря на тихие острова и закрыть там свои глаза безмятежно? Поверьте-с, – постучал он значительно пальцем по столу, – вы только эмиграцию такою пропагандой вызовете, а более ничего-с!

Он закончил, видимо торжествуя. Это была сильная губернская голова. Липутин коварно улыбался, Виргинский слушал несколько уныло, остальные все с чрезвычайным вниманием следили за спором, особенно дамы и офицеры. Все понимали, что агента ста миллионов голов приперли к стене, и ждали, что из этого выйдет.

¹ перст (лат.).

– Это вы, впрочем, хорошо сказали, – еще равнодушнее, чем прежде, даже как бы со скукой промямлил Верховенский. – Эмигрировать – мысль хорошая. Но все-таки если, несмотря на все явные невыгоды, которые вы предчувствуете, солдат на общее дело является все больше и больше с каждым днем, то и без вас обойдется. Тут, батюшка, новая религия идет взамен старой, оттого так много солдат и является, и дело это крупное. А вы эмигрируйте! И знаете, я вам советую в Дрезден, а не на тихие острова. Во-первых, это город, никогда не выдавший никакой эпидемии, а так как вы человек развитый, то, наверно, смерти боитесь; во-вторых, близко от русской границы, так что можно скорее получать из любезного отечества доходы; в-третьих, заключает в себе так называемые сокровища искусств, а вы человек эстетический, бывший учитель словесности, кажется; ну и наконец, заключает в себе свою собственную карманную Швейцарию – это уж для поэтических вдохновений, потому, наверно, стихи пописываете. Одним словом, клад в табатерке!

Произошло движение; особенно офицеры зашевелились. Еще мгновение, и все бы разом заговорили. Но хромой раздражительно накинулся на приманку:

– Нет-с, мы еще, может быть, и не уедем от общего дела! Это надо понимать-с...

– Как так, вы разве пошли бы в пятерку, если б я вам предложил? – брякнул вдруг Верховенский и положил ножницы на стол.

Все как бы вздрогнули. Загадочный человек слишком вдруг раскрылся. Даже прямо про «пятерку» заговорил.

– Всякий чувствует себя честным человеком и не уклонится от общего дела, – закривился хромой, – но...

– Нет-с, тут уж дело не в *но*, – властно и резко перебил Верховенский. – Я объявляю, господа, что мне нужен прямой ответ. Я слишком понимаю, что я, прибыв сюда и собрав вас сам вместе, обязан вам объяснениями (опять неожиданное раскрытие), но я не могу дать никаких, прежде чем не узнаю, какого образа мыслей вы держитесь. Миную разговоры – потому что не тридцать же лет опять болтать, как болтали до сих пор тридцать лет, – я вас спрашиваю, что вам милее: медленный ли путь, состоящий в сочинении социальных романов и в канцелярском предрешении судеб человеческих на тысячи лет вперед на бумаге, тогда как деспотизм тем временем будет глотать жареные куски, которые вам сами в рот летят и которые вы мимо рта пропускаете, или вы держитесь решения скорого, в чем бы оно ни состояло, но которое наконец развяжет руки и даст человечеству на просторе самому социально устроиться, и уже на деле, а не на бумаге? Кричат: «Сто миллионов голов», – это, может быть, еще и метафора, но чего их бояться, если при медленных бумажных мечтаниях деспотизм в какие-нибудь во сто лет съест не сто, а пятьсот миллионов голов? Заметьте еще, что неизлечимый больной все равно не вылечится, какие бы ни прописывали ему на бумаге рецепты, а, напротив, если промедлить, до того загниет, что и нас заразит, перепортил все свежие силы, на которые теперь еще можно рассчитывать, так что мы все наконец провалимся. Я согласен совершенно, что либерально и красноречиво болтать чрезвычайно приятно, а действовать – немного кусается... Ну, да, впрочем, я говорить не умею; я прибыл сюда с сообщениями, а потому прошу всю почтенную компанию не то что вотировать, а прямо и просто заявить, что вам веселее: черепаший ли ход в болоте или на всех парах через болото?

– Я положительно за ход на парах! – крикнул в восторге гимназист.

– Я тоже, – отозвался Лямшин.

– В выборе, разумеется, нет сомнения, – пробормотал один офицер, за ним другой, за ним еще кто-то. Главное, всех поразило, что Верховенский с «сообщениями» и сам обещал сейчас говорить.

– Господа, я вижу, что почти все решают в духе прокламаций, – проговорил он, озирая общество.

– Все, все, – раздалось большинство голосов.

– Я, признаюсь, более принадлежу к решению гуманному, – проговорил майор, – но так как уж все, то и я со всеми.

– Выходит, стало быть, что и вы не противоречите? – обратился Верховенский к хрому.

– Я не то чтобы... – покраснел было несколько тот, – но я если и согласен теперь со всеми, то единственно, чтобы не нарушить...

– Вот вы все таковы! Полгода спорить готов для либерального красноречия, а кончит ведь тем, что вотирует со всеми! Господа, рассудите, однако, правда ли, что вы все готовы? (К чему готовы? – вопрос неопределенный, но ужасно заманчивый.)

– Конечно, все... – раздались заявления. Все, впрочем, поглядывали друг на друга.

– А, может, потом и обидитесь, что скоро согласились? Ведь это почти всегда так у вас бывает.

Заволновались в различном смысле, очень заволновались. Хромой налетел на Верховенского.

– Позвольте вам, однако, заметить, что ответы на подобные вопросы обуславливаются. Если мы и дали решение, то заметьте, что все-таки вопрос, заданный таким странным образом...

– Каким странным образом?

– Таким, что подобные вопросы не так задаются.

– Научите, пожалуйста. А знаете, я так ведь и уверен был, что вы первый обидитесь.

– Вы из нас вытянули ответ на готовность к немедленному действию, а какие, однако же, права вы имели так поступать? Какие полномочия, чтобы задавать такие вопросы?

– Так вы об этом раньше бы догадались спросить! Зачем же вы отвечали? Согласились, да и спохватились.

– А по-моему, легкомысленная откровенность вашего главного вопроса дает мне мысль, что вы вовсе не имеете ни полномочий, ни прав, а лишь от себя любопытствовали.

– Да вы про что, про что? – вскричал Верховенский, как бы начиная очень тревожиться.

– А про то, что аффилиации, какие бы ни были, делаются по крайней мере глаз на глаз, а не в незнакомом обществе двадцати человек! – брякнул хромой. Он высказался весь, но уже слишком был раздражен. Верховенский быстро оборотился к обществу с отлично подделанным встревоженным видом.

– Господа, считаю долгом всем объявить, что все это глупости и разговор наш далеко зашел. Я еще ровно никого не аффилировал, и никто про меня не имеет права сказать, что я аффилирую, а мы просто говорили о мнениях. Так ли? Но так или этак, а вы меня очень тревожите, – повернулся он опять к хрому, – я никак не думал, что здесь о таких почти невинных вещах надо гово-

рить глаз на глаз. Или вы боитесь доноса? Неужели между нами может заключаться теперь доносчик?

Волнение началось чрезвычайное; все заговорили.

– Господа, если бы так, – продолжал Верховенский, – то ведь всех более компрометировал себя я, а потому предложу ответить на один вопрос, разумеется, если захотите. Вся ваша полная воля.

– Какой вопрос? какой вопрос? – загалдели все.

– А такой вопрос, что после него станет ясно: оставаться нам вместе или молча разобрать наши шапки и разойтись в свои стороны.

– Вопрос, вопрос?

– Если бы каждый из нас знал о замышленном политическом убийстве, то пошел ли бы он донести, предвидя все последствия, или остался бы дома, ожидая событий? Тут взгляды могут быть разные. Ответ на вопрос скажет ясно – разойтись нам или оставаться вместе, и уже далеко не на один этот вечер. Позвольте обратиться к вам первому, – обернулся он к хромому.

– Почему же ко мне первому?

– Потому что вы все и начали. Сделайте одолжение, не уклоняйтесь, ловкость тут не поможет. Но, впрочем, как хотите; ваша полная воля.

– Извините, но подобный вопрос даже обиден.

– Нет уж, нельзя ли поточнее.

– Агентом тайной полиции никогда не бывал-с, – скривился тот еще более.

– Сделайте одолжение, точнее, не задерживайте.

Хромой до того озлился, что даже перестал отвечать. Молча, злобным взглядом из-под очков в упор смотрел он на истязателя.

– Да или нет? Донесли бы или не донесли? – крикнул Верховенский.

– Разумеется, не донесу! – крикнул вдвое сильнее хромой.

– И никто не донесет, разумеется, не донесет, – слышались многие голоса.

– Позвольте обратиться к вам, господин майор, донесли бы вы или не донесли? – продолжал Верховенский. – И заметьте, я нарочно к вам обращаюсь.

– Не донесу-с.

– Ну, а если бы вы знали, что кто-нибудь хочет убить и ограбить другого, обыкновенного смертного, ведь вы бы донесли, предупредили?

– Конечно-с, но ведь это гражданский случай, а тут донос политический. Агентом тайной полиции не бывал-с.

– Да и никто здесь не бывал, – слышались опять голоса. – Напрасный вопрос. У всех один ответ. Здесь не доносчики!

– Отчего встает этот господин? – крикнула студентка.

– Это Шатов. Отчего вы встали, Шатов? – крикнула хозяйка.

Шатов встал действительно; он держал свою шапку в руке и смотрел на Верховенского. Казалось, он хотел ему что-то сказать, но колебался. Лицо его было бледно и злобно, но он выдержал, не проговорил ни слова и молча пошел вон из комнаты.

– Шатов, ведь это для вас же невыгодно! – загадочно крикнул ему вслед Верховенский.

– Зато тебе выгодно, как шпиону и подлецу! – прокричал ему в дверях Шатов и вышел совсем.

Опять крики и восклицания.

– Вот она, проба-то! – крикнул голос.

– Пригодилась! – крикнул другой.

– Не поздно ли пригодилась-то? – заметил третий.

– Кто его приглашал? – Кто принял? – Кто таков? – Кто такой Шатов? – Донесет или не донесет? – сыпались вопросы.

– Если бы доносчик, он бы прикинулся, а то он наплевал да и вышел, – заметил кто-то.

– Вот и Ставрогин встает, Ставрогин тоже не отвечал на вопрос, – крикнула студентка.

Ставрогин действительно встал, а с ним вместе с другого конца стола поднялся и Кириллов.

– Позвольте, господин Ставрогин, – резко обратилась к нему хозяйка, – мы все здесь ответили на вопрос, между тем как вы молча уходите?

– Я не вижу надобности отвечать на вопрос, который вас интересует, – пробормотал Ставрогин.

– Но мы себя компрометировали, а вы нет, – закричало несколько голосов.

– А мне какое дело, что вы себя компрометировали? – засмеялся Ставрогин, но глаза его сверкали.

– Как какое дело? Как какое дело? – раздались восклицания. Многие вскочили со стульев.

– Позвольте, господа, позвольте, – кричал хромым, – ведь и господин Верховенский не отвечал на вопрос, а только его задавал.

Замечание произвело эффект поразительный. Все переглянулись. Ставрогин громко засмеялся в глаза хромому и вышел, а за ним Кириллов. Верховенский выбежал вслед за ними в переднюю.

– Что вы со мной делаете? – пролепетал он, схватив Ставрогина за руку и изо всей силы стиснув ее в своей. Тот молча вырвал руку.

– Будьте сейчас у Кириллова, я приду... Мне необходимо, необходимо!

– Мне нет необходимости, – отрезал Ставрогин.

– Ставрогин будет, – покончил Кириллов. – Ставрогин, вам есть необходимость. Я вам там покажу.

Они вышли.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Иван-Царевич

Они вышли. Петр Степанович бросился было в «заседание», чтоб унять хаос, но, вероятно, рассудив, что не стоит возиться, оставил все и через две минуты уже летел по дороге вслед за ушедшими. На бегу ему припомнился переулок, которым можно было еще ближе пройти к дому Филиппова; увязая по колена в грязи, он пустился по переулку и в самом деле прибежал в ту самую минуту, когда Ставрогин и Кириллов проходили в ворота.

– Вы уже здесь? – заметил Кириллов. – Это хорошо. Входите.

– Как же вы говорили, что живете один? – спросил Ставрогин, проходя в сенях мимо наставленного и уже закипавшего самовара.

– Сейчас увидите, с кем я живу, – пробормотал Кириллов, – входите.

Едва вошли, Верховенский тотчас же вынул из кармана давешнее анонимное письмо, взятое у Лембе, и положил пред Ставрогиным. Все трое сели. Ставрогин молча прочел письмо.

– Ну? – спросил он.

– Этот негодяй сделает как по писаному, – пояснил Верховенский. – Так как он в вашем распоряжении, то научите, как поступить. Уверю вас, что он, может быть, завтра же пойдет к Лембке.

– Ну и пусть идет.

– Как пусть? Особенно если можно обойтись.

– Вы ошибаетесь, он от меня не зависит. Да и мне все равно; мне он ничем не угрожает, а угрожает лишь вам.

– И вам.

– Не думаю.

– Но вас могут другие не пощадить, неужто не понимаете? Слушайте, Ставрогин, это только игра на словах. Неужто вам денег жалко?

– А надо разве денег?

– Непременно, тысячи две или *minimum* полторы. Дайте мне завтра или даже сегодня, и завтра к вечеру я спроважу его вам в Петербург, того-то ему и хочется. Если хотите, с Марьей Тимофеевной – это заметьте.

Было в нем что-то совершенно сбившееся, говорил он как-то неосторожно, вырывались слова необдуманные. Ставрогин присматривался к нему с удивлением.

– Мне незачем отсылать Марью Тимофеевну.

– Может быть, даже и не хотите? – иронически улыбнулся Петр Степанович.

– Может быть, и не хочу.

– Одним словом, будут или не будут деньги? – в злобном нетерпении и как бы властно крикнул он на Ставрогина. Тот оглядел его серьезно.

– Денег не будет.

– Эй, Ставрогин! Вы что-нибудь знаете или что-нибудь уже сделали! Вы – кутите!

Лицо его искривилось, концы губ вздрогнули, и он вдруг рассмеялся каким-то совсем беспредметным, ни к чему не идущим смехом.

– Ведь вы от отца вашего получили же деньги за имение, – спокойно заметил Николай Всеволодович. – Матан выдала вам тысячу шесть или восемь за Степана Трофимовича. Вот и заплатите полторы тысячи из своих. Я не хочу, наконец, платить за чужих, я и так много роздал, мне это обидно... – усмехнулся он сам на свои слова.

– А, вы шутить начинаете...

Ставрогин встал со стула, мигом вскочил и Верховенский и машинально стал спиной к дверям, как бы загораживая выход. Николай Всеволодович уже сделал жест, чтоб оттолкнуть его от двери и выйти, но вдруг остановился.

– Я вам Шатова не уступлю, – сказал он. Петр Степанович вздрогнул; оба глядели друг на друга.

– Я вам давеча сказал, для чего вам Шатова кровь нужна, – засверкал глазами Ставрогин. – Вы этою мазью ваши кучки слепить хотите. Сейчас вы отлично выгнали Шатова: вы слишком знали, что он не сказал бы: «не донесу», а солгать пред вами почел бы низостью. Но я-то, я-то для чего вам теперь понадобился? Вы ко мне пристаёте почти что с заграницы. То, чем вы это объясняли мне до сих пор, один только бред. Меж тем вы клоните, чтоб я, отдав полторы тысячи Лебядкину, дал тем случай Федьке его зарезать. Я знаю, у вас мысль, что мне хочется зарезать заодно и жену. Связав меня преступлением, вы, конечно, думаете получить надо мною власть, ведь так? Для чего вам власть? На кой черт я вам понадобился? Раз навсегда рассмотрите ближе: ваш ли я человек, и оставьте меня в покое.

– К вам Федька сам приходил? – одышливо проговорил Верховенский.

– Да, он приходил; его цена тоже полторы тысячи... Да вот он сам подтвердит, вон стоит... – протянул руку Ставрогин.

Петр Степанович быстро обернулся. На пороге, из темноты, выступила новая фигура – Федька, в полушубке, но без шапки, как дома. Он стоял и посмеивался, скаля свои ровные белые зубы. Черные с желтым отливом глаза его осторожно шмыгали по комнате, наблюдая господ. Он чего-то не понимал; его, очевидно, сейчас привел Кириллов, и к нему-то обращался его вопросительный взгляд; стоял он на пороге, но переходить в комнату не хотел.

– Он здесь у вас припасен, вероятно, чтобы слышать наш торг или видеть даже деньги в руках, ведь так? – спросил Ставрогин и, не дожидаясь ответа, пошел вон из дому. Верховенский нагнал его у ворот почти в сумасшествии.

– Стой! Ни шагу! – крикнул он, хватая его за локоть. Ставрогин рванул руку, но не вырвал. Бешенство овладело им: схватив Верховенского за волосы левой рукой, он бросил его изо всей силы об землю и вышел в ворота. Но он не прошел еще тридцати шагов, как тот опять нагнал его.

– Помиримтесь, помиримтесь! – прошептал он ему судорожным шепотом.

Николай Всеволодович вскинул плечами, но не остановился и не оборотился.

– Слушайте, я вам завтра же приведу Лизавету Николаевну, хотите? Нет? Что же вы не отвечаете? Скажите, чего вы хотите, я сделаю. Слушайте: я вам отдам Шатова, хотите?

– Стало быть, правда, что вы его убить положили? – вскричал Николай Всеволодович.

– Ну зачем вам Шатов? Зачем? – задыхающейся скороговоркой продолжал иступленный, поминутно забегая вперед и хватаясь за локоть Ставрогина, вероятно и не замечая того. – Слушайте: я вам отдам его, помиримтесь. Ваш счет велик, но... помиримтесь!

Ставрогин взглянул на него наконец и был поражен. Это был не тот взгляд, не тот голос, как всегда или как сейчас там в комнате; он видел почти другое лицо. Интонация голоса была не та: Верховенский молил, упрасивал. Это был еще не опомнившийся человек, у которого отнимают или уже отняли самую драгоценную вещь.

– Да что с вами? – вскричал Ставрогин. Тот не ответил, но бежал за ним и глядел на него прежним умоляющим, но в то же время и непреклонным взглядом.

– Помиримтесь! – прошептал он еще раз. – Слушайте, у меня в сапоге, как у Федьки, нож припасен, но я с вами помирюсь.

– Да на что я вам, наконец, черт! – вскричал в решительном гневе и изумлении Ставрогин. – Тайна, что ль, тут какая? Что я вам за талисман достался?

– Слушайте, мы сделаем смуту, – бормотал тот быстро и почти как в бреду. – Вы не верите, что мы сделаем смуту? Мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ. Кармазинов прав, что не за что ухватиться. Кармазинов очень умен. Всего только десять таких же кучек по России, и я неуловим.

– Это таких же все дураков, – нехотя вырвалось у Ставрогина.

– О, будьте поглупее, Ставрогин, будьте поглупее сами! Знаете, вы вовсе ведь не так и умны, чтобы вам этого желать: вы боитесь, вы не верите, вас пугают размеры. И почему они дураки? Они не такие дураки; нынче у всякого ум не свой. Нынче ужасно мало особливых умов. Виргинский – это человек чистейший, чище таких, как мы, в десять раз; ну и пусть его, впрочем. Липутин мошенник, но я у него одну точку знаю. Нет мошенника, у которого бы не было своей точки. Один Лямшин безо всякой точки, зато у меня в руках. Еще

несколько таких кучек, и у меня повсеместно паспорта и деньги, хотя бы это? Хотя бы это одно? И сохранные места, и пусть ищут. Одну кучку вырвут, а на другой сядут. Мы пустим смуту... Неужто вы не верите, что нас двоих совершенно достаточно?

– Возьмите Шигалева, а меня бросьте в покое...

– Шигалев гениальный человек! Знаете ли, что это гений вроде Фурье; но смелее Фурье, но сильнее Фурье; я им займусь. Он выдумал «равенство»!

«С ним лихорадка, и он бредит; с ним что-то случилось очень особенное», – посмотрел на него еще раз Ставрогин. Оба шли, не останавливаясь.

– У него хорошо в тетради, – продолжал Верховенский, – у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное – равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями – вот шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина! Ха-ха-ха, вам странно? Я за шигалевщину!

Ставрогин старался ускорить шаг и добраться поскорее домой. «Если этот человек пьян, то где же он успел напиться, – приходило ему на ум. – Неужели коньяк?»

– Слушайте, Ставрогин: горы сравнять – хорошая мысль, не смешная. Я за Шигалева! Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только недостает: послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Всё к одному знаменателю, полное равенство. «Мы научились ремеслу, и мы честные люди, нам не надо ничего другого» – вот недавний ответ английских рабочих. Необходимо лишь необходимое – вот девиз земного шара отседа. Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое; в шигалевщине не будет желаний. Желание и страдание для нас, а для рабов шигалевщина.

– Себя вы исключаете? – сорвалось опять у Ставрогина.

– И вас. Знаете ли, я думал отдать мир папе. Пусть он выйдет пеш и бос и покажется черни: «Вот, дескать, до чего меня довели!» – и все повалит за ним, даже войско. Папа вверх, мы кругом, а под нами шигалевщина. Надо только, чтобы с папой Internationale согласилась; так и будет. А старикашка согласится мигом. Да другого ему и выхода нет, вот помяните мое слово, ха-ха-ха, глупо? Говорите, глупо или нет?

– Довольно, – пробормотал Ставрогин с досадой.

– Довольно! Слушайте, я бросил папу! К черту шигалевщину! К черту папу! Нужно злобу дня, а не шигалевщину, потому что шигалевщина ювелирская вещь. Это идеал, это в будущем. Шигалев ювелир и глуп, как всякий филантроп.

Нужна черная работа, а Шигалев презирает черную работу. Слушайте: папа будет на Западе, а у нас, у нас будете вы!

– Отстаньте от меня, пьяный человек! – пробормотал Ставрогин и ускорил шаг.

– Ставрогин, вы красавец! – вскричал Петр Степанович почти в упоеании. – Знаете ли, что вы красавец! В вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете. О, я вас изучил! Я на вас часто сбоку, из угла гляжу! В вас даже есть простодушие и наивность, знаете ли вы это? Еще есть, есть! Вы, должно быть, страдаете, и страдаете искренно, от того простодушия. Я люблю красоту. Я нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят, ну а я люблю идола! Вы мой идол! Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все боятся, это хорошо. К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен! Вам ничего не значит пожертвовать жизнью, и своею и чужою. Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк...

Он вдруг поцеловал у него руку. Холод прошел по спине Ставрогина, и он в испуге вырвал свою руку. Они остановились.

– Помешанный! – прошептал Ставрогин.

– Может, и брежу, может, и брежу! – подхватил тот скороговоркой, – но я выдумал первый шаг. Никогда Шигалеву не выдумать первый шаг. Много Шигалевых! Но один, один только человек в России изобрел первый шаг и знает, как его сделать. Этот человек я. Что вы глядите на меня? Мне вы, вы надобны, без вас я нуль. Без вас я муха, идея в стеклянке, Колумб без Америки.

Ставрогин стоял и пристально глядел в его безумные глаза.

– Слушайте, мы сначала пустим смуту, – торопился ужасно Верховенский, поминутно схватывая Ставрогина за левый рукав. – Я уже вам говорил: мы проникнем в самый народ. Знаете ли, что мы уж и теперь ужасно сильны? Наши не те только, которые режут и жгут да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают. Я без дисциплины ничего не понимаю. Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха! Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их Богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши. Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают! С другой стороны, послушание школьников и дурачков достигло высшей черты; у наставников раздавлен пузырь с желчью; везде тщеславие размеров непомерных, аппетит зверский, неслыханный... Знаете ли, знаете ли, сколько мы одними готовыми идейками возьмем? Я поехал – свирепствовал тезис Littré, что преступление есть помешательство; приезжаю – и уже преступление не помешательство, а именно здравый-то смысл и есть, почти долг, по крайней мере благородный протест. «Ну как развитому убийце не убить, если ему денег надо!» Но это лишь ягодки. Русский Бог уже спасовал пред «дешевкой». Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах: «двести розог, или тащи ведро». О, дайте возрасти поколению! Жаль только, что некогда ждать, а то пусть бы они еще попьянее стали! Ах, как жаль, что нет пролетариев! Но будут, будут, к этому идет...

– Жаль тоже, что мы поглупели, – пробормотал Ставрогин и двинулся прежнюю дорогой.

– Слушайте, я сам видел ребенка шести лет, который вел домой пьяную мать, а та его ругала скверными словами. Вы думаете, я этому рад? Когда в наши руки попадет, мы, пожалуй, и вылечим... если потребуется, мы на сорок лет в пустыню выгоним... Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь, – вот чего надо! А тут еще «свеженькой кровушки», чтоб попривык. Чего вы смеетесь? Я себе не противоречу. Я только филантропам и шигалевщине противоречу, а не себе. Я мошенник, а не социалист. Ха-ха-ха! Жаль только, что времени мало. Я Кармазинову обещал в мае начать, а к Покрову кончить. Скоро? Ха-ха! Знаете ли, что я вам скажу, Ставрогин: в русском народе до сих пор не было цинизма, хоть он и ругался скверными словами. Знаете ли, что этот раб крепостной больше себя уважал, чем Кармазинов себя? Его драли, а он своих богов отстоял, а Кармазинов не отстоял.

– Ну, Верховенский, я в первый раз слушаю вас, и слушаю с изумлением, – промолвил Николай Всеволодович, – вы, стало быть, и впрямь не социалист, а какой-нибудь политический... честолюбец?

– Мошенник, мошенник. Вас заботит, кто я такой? Я вам скажу сейчас, кто я такой, к тому и веду. Недаром же я у вас руку поцеловал. Но надо, чтоб и народ уверовал, что мы знаем, чего хотим, а что те только «машут дубиной и бьют по своим». Эх, кабы время! Одна беда – времени нет. Мы провозгласим разрушение... почему, почему, опять-таки, эта идея так обаятельна! Но надо, надо косточки поразмять. Мы пустим пожары... Мы пустим легенды... Тут каждая шелудивая «кучка» пригодится. Я вам в этих же самых кучках таких охотников отыщу, что на всякий выстрел пойдут да еще за честь благодарны останутся. Ну-с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого?

– Кого?

– Ивана-Царевича.

– Кого-о?

– Ивана-Царевича; вас, вас!

Ставрогин подумал с минуту.

– Самозванца? – вдруг спросил он, в глубоком удивлении смотря на испуганного. – Э! так вот наконец ваш план.

– Мы скажем, что он «скрывается», – тихо, каким-то любовным шепотом проговорил Верховенский, в самом деле как будто пьяный. – Знаете ли вы, что значит это слово: «Он скрывается»? Но он явится, явится. Мы пустим легенду получше, чем у скопцов. Он есть, но никто не видал его. О, какую легенду можно пустить! А главное – новая сила идет. А ее-то и надо, по ней-то и плачут. Ну что в социализме: старые силы разрушил, а новых не внес. А тут сила, да еще какая, неслыханная! Нам ведь только на раз рычаг, чтобы землю поднять. Все подымется!

– Так это вы серьезно на меня рассчитывали? – усмехнулся злобно Ставрогин.

– Чего вы смеетесь, и так злобно? Не пугайте меня. Я теперь как ребенок, меня можно до смерти испугать одною вот такою улыбкой. Слушайте, я вас никому не покажу, никому: так надо. Он есть, но никто не видал его, он скрывается. А знаете, что можно даже и показать из ста тысяч одному, например. И пойдет по всей земле: «Видели, видели». И Ивана Филипповича Бога Саваофа видели, как он в колеснице на небо вознесся пред людьми, «собственными» глазами видели. А вы

не Иван Филиппович; вы красавец, гордый, как Бог, ничего для себя не ищущий, с ореолом жертвы, «скрывающийся». Главное, легенду! Вы их победите, взглянете и победите. Новую правду несет и «скрывается». А тут мы два-три соломоновских приговора пустим. Кучки-то, пятерки-то – газет не надо! Если из десяти тысяч одну только просьбу удовлетворить, то все пойдут с просьбами. В каждой волости каждый мужик будет знать, что есть, дескать, где-то такое дупло, куда просьбы опускать указано. И застонет стоном земля: «Новый правый закон идет», и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз! Строить мы будем, мы, одни мы!

– Неистовство! – проговорил Ставрогин.

– Почему, почему вы не хотите? Бойтесь? Ведь я потому и схватился за вас, что вы ничего не боитесь. Неразумно, что ли? Да ведь я пока еще Колумб без Америки; разве Колумб без Америки разумен?

Ставрогин молчал. Меж тем пришли к самому дому и остановились у подъезда.

– Слушайте, – наклонился к его уху Верховенский, – я вам без денег; я кончу завтра с Марьей Тимофеевной... без денег, и завтра же приведу к вам Лизу. Хотите Лизу, завтра же?

«Что он, вправду помешался?» – улыбнулся Ставрогин. Двери крыльца отворились.

– Ставрогин, наша Америка? – схватил в последний раз его за руку Верховенский.

– Зачем? – серьезно и строго проговорил Николай Всеволодович.

– Охоты нет, так я и знал! – вскричал тот в порыве неистовой злобы. – Вре-те вы, дрянной, блудливый, изломанный барчонок, не верю, аппетит у вас волчий!.. Поймите же, что ваш счет теперь слишком велик, и не могу же я от вас отказать! Нет на земле иного, как вы! Я вас с заграницы выдумал; выдумал, на вас же глядя. Если бы не глядел я на вас из угла, не пришло бы мне ничего в голову!..

Ставрогин, не отвечая, пошел вверх по лестнице.

– Ставрогин! – крикнул ему вслед Верховенский, – даю вам день... ну два... ну три; больше трех не могу, а там – ваш ответ!

[ГЛАВА ДЕВЯТАЯ]

У Тихона

I

Николай Всеволодович в эту ночь не спал и всю просидел на диване, часто устремляя неподвижный взор в одну точку в углу у комода. Всю ночь у него горела лампа. Часов в семь поутру заснул сидя, а когда Алексей Егорович, по обычаю, раз навсегда заведенному, вошел к нему ровно в половину десятого с утреннею чашкою кофею и появлением своим разбудил его, то, открыв глаза, он, казалось, неприятно был удивлен, что мог так долго проспать и что так уже поздно. Наскоро выпил он кофе, наскоро оделся и торопливо вышел из дому. На осторожный спрос Алексея Егоровича: «Не будет ли каких приказаний?» – ничего не ответил. По улице шел, смотря в землю, в глубокой задумчивости и лишь

мгновениями подымая голову, вдруг выказывал иногда какое-то неопределенное, но сильное беспокойство. На одном перекрестке, еще недалеко от дому, ему пересекла дорогу толпа проходивших мужиков, человек в пятьдесят или более; они шли чинно, почти молча, в нарочном порядке. У лавочки, возле которой с минуту пришлось ему подождать, кто-то сказал, что это «шпигулинские рабочие». Он едва обратил на них внимание. Наконец около половины одиннадцатого дошел он к воротам нашего Спасо-Ефимьевского Богородского монастыря, на краю города, у реки. Тут только он вдруг как бы что-то вспомнил, остановился, наскоро и тревожно пощупал что-то в своем боковом кармане и – усмехнулся. Войдя в ограду, он спросил у первого попавшегося ему служки: как пройти к проживавшему в монастыре на спокойе архиерею Тихону. Служка принял его кланяться и тотчас же повел его. У крылечка, в конце длинного двухэтажного монастырского корпуса, властно и проворно отбил его у служки повстречавшийся с ними толстый и седой монах и повел его длинным узким коридором, тоже все кланяясь (хотя по толстоте своей не мог наклоняться низко, а только дергал часто и отрывисто головой) и все приглашая пожаловать, хотя Ставрогин и без того шел за ним. Монах все предлагал какие-то вопросы и говорил об отце архимандрите; не получая же ответов, становился все почтительнее. Ставрогин заметил, что его здесь знают, хотя, сколько помнилось ему, он здесь бывал только в детстве. Когда дошли до двери в самом конце коридора, монах отворил ее как бы властно рукой, фамильярно осведомился у подскочившего келейника, можно ль войти, и, даже не выждав ответа, отмахнул совсем дверь и, наклонившись, пропустил мимо себя «дорогого» посетителя: получив же благодарность, быстро скрылся, точно бежал. Николай Всеволодович вступил в небольшую комнату, и почти в ту же минуту в дверях соседней комнаты показался высокий и сухоощавый человек, лет пятидесяти пяти, в простом домашнем подряснике и на вид как будто несколько больной, с неопределенною улыбкой и с странным, как бы застенчивым взглядом. Это и был тот самый Тихон, о котором Николай Всеволодович в первый раз услышал от Шатова и о котором он, с тех пор, успел собрать кое-какие сведения.

Сведения были разнообразны и противоположны, но имели и нечто общее, именно то, что любившие и не любившие Тихона (а таковые были), все о нем как-то умалчивали – не любившие, вероятно, от пренебрежения, а приверженцы, и даже горячие, от какой-то скромности, что-то как будто хотели утаить о нем, какую-то его слабость, может быть юродство. Николай Всеволодович узнал, что он уже лет шесть как проживает в монастыре и что приходят к нему и из самого простого народа, и из знатнейших особ; что даже в отдаленном Петербурге есть у него горячие почитатели и преимущественно почитательницы. Зато услышал от одного осанистого нашего «клубного» старичка, и старичка богомольного, что «этот Тихон чуть ли не сумасшедший, по крайней мере совершенно бездарное существо и, без сомнения, выпивает». Прибавлю от себя, забегая вперед, что последнее решительный вздор, а есть одна только закоренелая ревматическая болезнь в ногах и по временам какие-то нервные судороги. Узнал тоже Николай Всеволодович, что проживавший на спокойе архиерей, по слабости ли характера или «по непростительной и несвойственной его сану рассеянности», не сумел внушить к себе, в самом монастыре, особого уважения. Говорили, что отец архимандрит, человек суровый и строгий относительно своих настоятельских обязанностей и, сверх того, известный ученостию, даже питал к нему некоторое будто бы враждебное чувство и осуждал его (не в глаза, а косвенно) в небрежном житии и чуть ли не в ереси. Монастырская же братия тоже как будто относилась

к больному святителю не то чтоб очень небрежно, а, так сказать, фамильярно. Две комнаты, составлявшие келью Тихона, были убраны тоже как-то странно. Рядом с дубоватою старинною мебелью с протертой кожей стояли три-четыре изящные вещицы: богатейшее покойное кресло, большой письменный стол превосходной отделки, изящный резной шкаф для книг, столики, этажерки – все дареное. Был дорогой бухарский ковер, а рядом с ним и циновки. Были гравюры «светского» содержания и из времен мифологических, а тут же, в углу, большой киот с сиявшими золотом и серебром иконами, из которых одна древнейших времен, с мощами. Библиотека тоже, говорили, была составлена слишком уж многообразно и противоположно: рядом с сочинениями великих святителей и подвижников христианства находились сочинения театральные, «а может быть, еще и хуже».

После первых приветствий, произнесенных почему-то с явною обоюдною неловкостью, поспешно и даже неразборчиво, Тихон провел гостя в свой кабинет и усадил на диване, перед столом, а сам поместился подле в плетеных креслах. Николай Всеволодович все еще был в большой рассеянности от какого-то внутреннего подавлявшего его волнения. Похоже было на то, что он решил на что-то чрезвычайное и неоспоримое и в то же время почти для него невозможное. Он с минуту осматривался в кабинете, видимо не замечая рассматриваемого; он думал и, конечно, не знал о чем. Его разбудила тишина, и ему вдруг показалось, что Тихон как будто стыдливо потупляет глаза и даже с какой-то ненужной смешной улыбкой. Это мгновенно возбудило в нем отвращение; он хотел встать и уйти, тем более что Тихон, по мнению его, был решительно пьян. Но тот вдруг поднял глаза и посмотрел на него таким твердым и полным мысли взглядом, а вместе с тем с таким неожиданным и загадочным выражением, что он чуть не вздрогнул. Ему с чего-то показалось, что Тихон уже знает, зачем он пришел, уже предуведомлен (хотя в целом мире никто не мог знать этой причины), и если не заговаривает первый сам, то щадя его, пугаясь его унижения.

– Вы меня знаете? – спросил он вдруг отрывисто, – рекомендовался я вам или нет, когда вошел? Я так рассеян...

– Вы не рекомендовались, но я имел удовольствие видеть вас однажды, еще года четыре назад, здесь в монастыре... случайно.

Тихон говорил очень неспешно и ровно, голосом мягким, ясно и отчетливо выговаривая слова.

– Я не был в здешнем монастыре четыре года назад, – даже как-то грубо возразил Николай Всеволодович, – я был здесь только маленьким, когда вас еще тут совсем не было.

– Может быть, забыли? – осторожно и не настаивая заметил Тихон.

– Нет, не забыл; и смешно, если б я не помнил, – как-то не в меру настаивал Ставрогин, – вы, может быть, обо мне только слышали и составили какое-нибудь понятие, а потому и сбились, что видели.

Тихон смолчал. Тут Николай Всеволодович заметил, что по лицу его проходит иногда нервное содрогание, признак давнишнего нервного расслабления.

– Я вижу только, что вы сегодня нездоровы, – сказал он, – и, кажется, лучше, если б я ушел.

Он даже привстал было с места.

– Да, я чувствую сегодня и вчера сильные боли в ногах и ночью мало спал...

Тихон остановился. Гость его снова и внезапно впал опять в свою давешнюю неопределенную задумчивость. Молчание продолжалось долго, минуты две.

– Вы наблюдали за мной? – спросил он вдруг тревожно и подозрительно.

– Я на вас смотрел и припоминал черты лица вашей родительницы. При несходстве внешнем много сходства внутреннего, духовного.

– Никакого сходства, особенно духовного. Даже совершенно никакого! – затревожился опять, без нужды и не в меру настаивая, сам не зная почему, Николай Всеволодович. – Это вы говорите так... из сострадания к моему положению и вздор, – брякнул он вдруг. – Ба! разве мать моя у вас бывает?

– Бывает.

– Не знал. Никогда не слыхал от нее. Часто?

– Почти ежемесячно, и чаще.

– Никогда, никогда не слыхал. Не слыхал. А вы, конечно, слышали от нее, что я помешанный, – прибавил он вдруг.

– Нет, не то чтобы как о помешанном. Впрочем, и об этой идее слышал, но от других.

– Вы, стало быть, очень внимательны, коли могли о таких пустяках припомнить. А о пощечине слышали?

– Слышал нечто.

– То есть все. Ужасно много у вас времени лишнего. И об дуэли?

– И о дуэли.

– Вы много очень здесь слышали. Вот где газет не надо. Шатов предупреждал вас обо мне? А?

– Нет. Я, впрочем, знаю господина Шатова, но давно уже не видал его.

– Гм... Что это у вас там за карта? Ба, карта последней войны! Вам-то это зачем?

– Справлялся по ландкарте с текстом. Интереснейшее описание.

– Покажите; да, это недурное изложение. Странное, однако же, для вас чтение.

Он придвинул к себе книгу и мельком взглянул на нее. Это было одно объемистое и талантливое изложение обстоятельств последней войны, не столько, впрочем, в военном, сколько в чисто литературном отношении. Повертев книгу, он вдруг нетерпеливо отбросил ее.

– Я решительно не знаю, зачем я пришел сюда? – брезгливо произнес он, смотря прямо в глаза Тихону, будто ожидая от него же ответа.

– Вы тоже как бы нездоровы?

– Да, нездоров.

И вдруг он, впрочем в самых кратких и отрывистых словах, так что иное трудно было и понять, рассказал, что он подвержен, особенно по ночам, некоторого рода галлюцинациям, что он видит иногда или чувствует подле себя какое-то злобное существо, насмешливое и «разумное», «в разных лицах и в разных характерах, но оно одно и то же, а я всегда злюсь...».

Дикие и сбивчивые были эти открытия и действительно как бы шли от помешанного. Но при этом Николай Всеволодович говорил с такою странною откровенностью, не виданною в нем никогда, с таким простодушием, совершенно ему несвойственным, что, казалось, в нем вдруг и нечаянно исчез прежний человек совершенно. Он нисколько не постыдился обнаружить тот страх, с которым говорил о своем припадении. Но все это было мгновенно и так же вдруг исчезло, как и явилось.

– Все это вздор, – быстро и с неловкой досадой проговорил он, спохватившись. – Я схожу к доктору.

– Несомненно сходите, – подтвердил Тихон.

– Вы так говорите утвердительно... Вы видели таких, как я, с такими видениями?

– Видывал, но очень редко. Запомнил лишь одного такого же в моей жизни, из военных офицеров, после потери им своей супруги, незаменимой для него подруги жизни. О другом лишь слышал. Оба были излечены за границей... И давно вы сему подвержены?

– Около году, но все это вздор. Я схожу к доктору. И все это вздор, вздор ужасный. Это я сам в разных видах, и больше ничего. Так как я прибавил сейчас эту... фразу, то вы, наверно, думаете, что я все еще сомневаюсь и не уверен, что это я, а не в самом деле бес?

Тихон посмотрел вопросительно.

– И... вы видите его действительно? – спросил он, то есть устраняя всякое сомнение в том, что это несомненно фальшивая и болезненная галлюцинация, – видите ли вы в самом деле какой-нибудь образ?

– Странно, что вы об этом настаиваете, тогда как я уже сказал вам, что вижу, – стал опять раздражаться с каждым словом Ставрогин, – разумеется, вижу, вижу так, как вас... а иногда вижу и не уверен, что вижу, хоть и вижу... а иногда не уверен, что я вижу, и не знаю, что правда: я или он... вздор все это. А вы разве никак не можете предположить, что это в самом деле бес? – прибавил он, засмеявшись и слишком резко переходя в насмешливый тон, – ведь это было бы сообразнее с вашей профессией?

– Вероятнее, что болезнь, хотя...

– Хотя что?

– Беси существуют несомненно, но понимание о них может быть весьма различное.

– Вы оттого опять опустили сейчас глаза, – подхватил Ставрогин с раздражительной насмешкой, – что вам стало стыдно за меня, что я в беса верую, а под видом того, что не верую, хитро задаю вам вопрос: есть ли он или нет в самом деле?

Тихон неопределенно улыбнулся.

– И знаете, вам вовсе нейдет опускать глаза: неестественно, смешно и манерно, а чтоб удовлетворить вас за грубость, я вам серьезно и нагло скажу: я верую в беса, верую канонически, в личного, не в аллегория, и мне ничего не нужно ни от кого выпытывать, вот вам и все. Вы должны быть ужасно рады...

Он нервно, неестественно засмеялся. Тихон с любопытством смотрел на него мягким и как бы несколько робким взглядом.

– В Бога веруете? – брякнул вдруг Ставрогин.

– Верую.

– Ведь сказано, если веруешь и прикажешь горе сдвинуться, то она сдвинется... впрочем, вздор. Однако я все-таки хочу полюбопытствовать: сдвинете вы гору или нет?

– Бог повелит, и сдвину, – тихо и сдержанно произнес Тихон, начиная опять опускать глаза.

– Ну, это все равно, что сам Бог сдвинет. Нет, вы, вы, в награду за веру в Бога?

– Может быть, и не сдвину.

– «Может быть»? Это недурно. Почему же сомневаетесь?

– Не совершенно верую.

– Как? *вы* не совершенно? не вполне?

– Да... может быть, и не в совершенстве.

– Ну! По крайней мере все-таки веруете, что хоть с Божиею-то помощью сдвинете, и это ведь не мало. Это все-таки побольше, чем *très peu*¹ одного тоже архиепископа, правда под саблей. Вы, конечно, и христианин?

– Креста Твоего, Господи, да не постыжуся, – почти прошептал Тихон, каким-то страстным шепотом и склоняя еще более голову. Уголки губ его вдруг задвигались нервно и быстро.

– А можно ль веровать в беса, не веруя совсем в Бога? – засмеялся Ставрогин.

– О, очень можно, сплошь и рядом, – поднял глаза Тихон и тоже улыбнулся.

– И уверен, что такую веру вы находите все-таки почтеннее, чем полное безверие... О, поп! – захохотал Ставрогин.

Тихон опять улыбнулся ему.

– Напротив, полный атеизм почтеннее светского равнодушия, – прибавил он весело и простодушно.

– Ого, вот вы как.

– Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры (там перешагнет ли ее, нет ли), а равнодушный никакой веры не имеет, кроме дурного страха.

– Однако вы... вы читали Апокалипсис?

– Читал.

– Помните ли вы: «Ангелу Лаодикийской церкви напиши...»?

– Помню. Прелестные слова.

– Прелестные? Странное выражение для архиерея, и вообще вы чудак... Где у вас книга? – как-то странно заторопился и затревожился Ставрогин, ища глазами на столе книгу, – мне хочется вам прочесть... русский перевод есть?

– Я знаю, знаю место, я помню очень, – проговорил Тихон.

– Помните наизусть? Прочтите!..

Он быстро отпустил глаза, упер обе ладони в колени и нетерпеливо приготовился слушать. Тихон прочел, припоминая слово в слово: «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: сие глаголет Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ни холоден, ни горяч; о, если б ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты жалок, и беден, и нищ, и слеп, и наг...»

– Довольно, – оборвал Ставрогин, – это для середины, это для равнодушных, так ли? Знаете, я вас очень люблю.

– И я вас, – отозвался вполголоса Тихон.

Ставрогин замолк и вдруг впал опять в давешнюю задумчивость. Это происходило точно припадками, уже в третий раз. Да и Тихону сказал он «люблю» тоже чуть не в припадке, по крайней мере неожиданно для себя самого. Прошло более минуты.

– Не сердись, – прошептал Тихон, чуть-чуть дотронувшись пальцем до его локтя и как бы сам робея. Тот вздрогнул и гневно нахмурил брови.

– Почему вы узнали, что я рассердился, – быстро произнес он. Тихон хотел было что-то сказать, но тот вдруг перебил его в необъяснимой тревоге: – Почему вы именно предположили, что я непременно должен был разозлиться? Да, я был зол, вы правы, и именно за то, что вам сказал «люблю». Вы правы, но вы грубый циник, вы унизительно думаете о природе человеческой. Злобы могло и не быть,

¹ очень мало (фр.).

будь только другой человек, а не я... Впрочем, дело не о человеке, а обо мне. Все-таки вы чудак и юродивый...

Он раздражался все больше и больше и, странно, не стеснялся в словах:

– Слушайте, я не люблю шпионов и психологов, по крайней мере таких, которые в мою душу лезут. Я никого не зову в мою душу, я ни в ком не нуждаюсь, я умею сам обойтись. Вы думаете, я вас боюсь? – возвысил он голос и с вызовом приподнял лицо, – вы совершенно убеждены, что я пришел вам открыть одну «страшную» тайну и ждете ее со всем келейным любопытством, к которому вы способны? Ну, так знайте, что я вам ничего не открою, никакой тайны, потому что в вас совсем не нуждаюсь.

Тихон твердо посмотрел на него:

– Вас поразило, что Агнец любит лучше холодного, чем только лишь теплого, – сказал он, – вы не хотите быть *только* теплым. Предчувствую, что вас борет намерение чрезвычайное, может быть ужасное. Если так, то, умоляю, не мучьте себя и скажите все, с чем пришли.

– А вы наверно знали, что я с чем-то пришел?

– Я... угадал по лицу, – прошептал Тихон, опуская глаза.

Николай Всеволодович был несколько бледен, руки его немного дрожали. Несколько секунд он неподвижно и молча смотрел на Тихона, как бы решаясь окончательно. Наконец вынул из бокового кармана своего сюртука какие-то печатные листики и положил на стол.

– Вот листки, назначенные к распространению, – проговорил он несколько обрывающимся голосом. – Если прочтет хоть один человек, то знайте, что я уже их не скрою, а прочтут и все. Так решено. Я в вас совсем не нуждаюсь, потому что я все решил. Но прочтите... Когда будете читать, ничего не говорите, а как прочтете – скажите все...

– Читать ли? – нерешительно спросил Тихон.

– Читайте; я давно спокоен.

– Нет, без очков не разберу, печать тонкая, заграничная.

– Вот очки, – подал ему со стола Ставрогин и отклонился на спинку дивана. Тихон углубился в чтение.

II

Печать была действительно заграничная – три отпечатанных и сброшюрованных листочка обыкновенной почтовой бумаги малого формата. Должно быть, отпечатано было секретно в какой-нибудь заграничной русской типографии, и листочки с первого взгляда очень походили на прокламацию. В заголовке стояло: «От Ставрогина».

Вношу в мою летопись этот документ буквально. Надо полагать, что он уже многим теперь известен. Я позволил себе лишь исправить орфографические ошибки, довольно многочисленные и даже несколько меня удивившие, так как автор все-таки был человеком образованным и даже начитанным (конечно, судя относительно). В слогже же изменений не сделал никаких, несмотря на неправильности и даже неясности. Во всяком случае явно, что автор прежде всего не литератор.

«От Ставрогина.

Я, Николай Ставрогин, отставной офицер, в 186- году жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия. У меня было тогда в

продолжение некоторого времени три квартиры. В одной из <них> проживал я сам в номерах со столом и прислугой, где находилась тогда и Марья Лебядкина, ныне законная жена моя. Другие же обе квартиры мои я нанял тогда помесечно для интриги: в одной принимал одну любившую меня даму, а в другой ее горничную и некоторое время был очень занят намерением свести их обеих так, чтобы барыня и девка у меня встретились при моих приятелях и при муже. Зная оба характера, ожидал себе от этой глупой шутки большого удовольствия.

Приготовляя исподволь эту встречу, я должен был чаще посещать одну из сих квартир в большом доме в Гороховой, так как сюда приходила та горничная. Тут у меня была одна лишь комната, в четвертом этаже, нанятая от мещан из русских. Сами они помещались рядом в другой, теснее, и до того, что дверь разделявшая всегда стояла отворенною, чего я и хотел. Муж у кого-то был в конторе и уходил с утра до ночи. Жена, баба лет сорока, что-то разрезывала и сшивала из старого в новое и тоже нередко уходила из дому относить, что нашла. Я оставался один с их дочерью, думаю, лет четырнадцати, совсем ребенком на вид. Ее звали Матрешей. Мать ее любила, но часто била и по их привычке ужасно кричала на нее по-бабьи. Эта девочка мне прислуживала и убирала у меня за ширмами. Объявляю, что я забыл номер дома. Теперь, по справке, знаю, что старый дом сломан, перепродан и на месте двух или трех прежних домов стоит один новый, очень большой. Забыл тоже имя моих мещан (а может быть, и тогда не знал). Помню, что мещанку звали Степанидой, кажется, Михайловной. Его не помню. Чьи они, откуда и куда теперь делись – совсем не знаю. Полагаю, что если очень начать их искать и делать возможные справки в петербургской полиции, то найти следы можно. Квартира была на дворе, в углу. Все произошло в июне. Дом был светло-голубого цвета.

Однажды у меня со стола пропал перочинный ножик, который мне вовсе был не нужен и валялся так. Я сказал хозяйке, никак не думая о том, что она высечет дочь. Но та только что кричала на ребенка (я жил просто, и они со мной не церемонились) за пропажу какой-то тряпки, подозревая, что та ее стащила, и даже отодрала за волосы. Когда же эта самая тряпка нашлась под скатертью, девочка не захотела сказать ни слова в попрек и смотрела молча. Я это заметил и тут же в первый раз хорошо заметил лицо ребенка, а до тех пор оно лишь мелькало. Она была белобрысая и весноватая, лицо обыкновенное, но очень много детского и тихого, чрезвычайно тихого. Матери не понравилось, что дочь не попрекнула за битье даром, и она замахнулась на нее кулаком, но не ударила; тут как раз подоспел мой ножик. В самом деле, кроме нас троих, никого не было, а ко мне за ширмы входила только девочка. Баба остервенилась, потому что в первый раз прибила несправедливо, бросилась к венику, нарвала из него прутьев и высекла ребенка до рубцов, на моих глазах. Матреша от розог не кричала, но как-то странно всхлипывала при каждом ударе. И потом очень всхлипывала, целый час.

Но прежде того было вот что: в ту самую минуту, когда хозяйка бросилась к венику, чтобы надергать розог, я нашел ножик на моей кровати, куда он как-нибудь упал со стола. Мне тотчас пришло в голову не объявлять, для того чтоб ее высекли. Решился я мгновенно; в такие минуты у меня всегда прерывается дыхание. Но я намерен рассказать все в более твердых словах, чтоб уж ничего более не оставалось скрытого.

Всякое чрезвычайно позорное, без меры унижительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение.

Точно так же и в минуты преступлений, и в минуты опасности жизни. Если б я что-нибудь крал, то я бы чувствовал при совершении кражи упоение от сознания глубины моей подлости. Не подлость я любил (тут рассудок мой бывал совершенно цел), но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости. Равно всякий раз, когда я, стоя на барьере, выжидал выстрела противника, то ощущал то же самое позорное и неистовое ощущение, а однажды чрезвычайно сильно. Сознаюсь, что часто я сам искал его, потому что оно для меня сильнее всех в этом роде. Когда я получал пощечины (а я получил их две в мою жизнь), то и тут это было, несмотря на ужасный гнев. Но если сдержать при этом гнев, то наслаждение превысит все, что можно вообразить. Никогда я не говорил о том никому, даже намеком, и скрывал как стыд и позор. Но когда меня раз больно били в кабаке в Петербурге и таскали за волосы, я не чувствовал этого ощущения, а только неимоверный гнев, не быв пьян, и лишь дрался. Но если бы схватил меня за волосы и нагнул за границей тот француз, виконт, который ударил меня по щеке и которому я отстрелил за это нижнюю челюсть, то я бы почувствовал упоение и, может быть, не чувствовал бы и гнева. Так мне тогда показалось.

Все это для того, чтобы всякий знал, что никогда это чувство не покоряло меня всего совершенно, а всегда оставалось сознание, самое полное (да на сознании-то все и основывалось!). И хотя овладевало мною до безрассудства, но никогда до забвения себя. Доходя во мне до совершенного огня, я в то же время мог совсем одолеть его, даже остановить в верхней точке; только сам никогда не хотел останавливать. Я убежден, что мог бы прожить целую жизнь как монах, несмотря на звериное сладострастие, которым одарен и которое всегда вызывал. Предаваясь до шестнадцати лет, с необыкновенною неумеренностью, пороку, в котором исповедовался Жан-Жак Руссо, я прекратил в ту же минуту, как положил захотеть, на семнадцатом году. Я всегда господин себе, когда захочу. Итак, пусть известно, что я ни средой, ни болезнями безответственности в преступлениях моих искать не хочу.

Когда кончилась экзекуция, я положил ножик в жилетный карман и, выйдя, выбросил на улицу, далеко от дому, так, чтобы никто никогда не узнал. Потом я выждал два дня. Девочка, поплавав, стала еще молчаливее; на меня же, я убежден, не имела злобного чувства. Впрочем, наверно, был некоторый стыд за то, что ее наказали в таком виде при мне, она не кричала, а только всхлипывала под ударами, конечно потому, что тут стоял я и все видел. Но и в стыде этом она, как ребенок, винила, наверно, одну себя. До сих пор она, может быть, только боялась меня, но не лично, а как постояльца, человека чужого, и, кажется, была очень робка.

Вот тогда-то в эти два дня я и задал себе раз вопрос, могу ли я бросить и уйти от замышленного намерения, и я тотчас почувствовал, что могу, могу во всякое время и сию минуту. Я около того времени хотел убить себя от болезни равнодушия; впрочем, не знаю от чего. В эти же два-три дня (так как непременно надо было выждать, чтобы девочка все забыла) я, вероятно чтоб отвлечь себя от непрерывной мечты или только на смех, сделал в номерах кражу. Это была единственная кража в моей жизни.

В этих номерах гнездились много людей. Между прочим, и жил один чиновник, с семейством, в двух меблированных комнатках; лет сорока, не совсем глупый и имевший приличный вид, но бедный. Я с ним не сходил, и компании, которая там окружала меня, он боялся. Он только что получил жалование, тридцать пять рублей. Главное натолкнуло меня, что мне в самом деле в ту минуту

нужны были деньги (хотя я через четыре дня и получил с почты), так что я крал как будто из нужды, а не из шутки. Сделано было нагло и явственно: я просто вошел в его номер, когда жена, дети и он обедали в другой каморке. Тут на стуле у самой двери лежал сложенный вицмундир. У меня вдруг блеснула эта мысль еще в коридоре. Я запустил руку в карман и вытащил портмоне. Но чиновник услышал шорох и выглянул из каморки. Он, кажется, даже видел по крайней мере что-нибудь, но так как не все, то, конечно, и не поверил глазам. Я сказал, что, проходя коридором, зашел взглянуть, который час на его стенных. «Стоят-с», — отвечал он, я и вышел.

Тогда я много пил, и в номерах у меня была целая ватага, в том числе и Лебядкин. Портмоне я выбросил с мелкими деньгами, а бумажки оставил. Было тридцать два рубля, три красных и две желтых. Я тотчас же разменял красную и послал за шампанским; потом еще послал красную, а затем и третью. Часа через четыре, и уже вечером, чиновник выждал меня в коридоре.

— Вы, Николай Всеволодович, когда давеча заходили, не сронили ли нечаянно со стула вицмундир... у двери лежал?

— Нет, не помню. А у вас лежал вицмундир?

— Да, лежал-с.

— На полу?

— Сначала на стуле, а потом на полу.

— Что ж, вы его подняли?

— Поднял.

— Ну, так чего же вам еще?

— Да коли так, так и ничего-с...

Он договорить не посмел, да и в номерах не посмел никому сказать, — до того бывают робки эти люди. Впрочем, в номерах все меня боялись ужасно и почитали. Я потом любил с ним встречаться глазами, раза два в коридоре. Скоро наскучило.

Как только кончились три дня, я воротился в Гороховую. Мать куда-то собиралась с узлом; мещанина, разумеется, не было. Остались я и Матреша. Окна были отперты. В доме всё жили мастеровые, и целый день изо всех этажей слышался стук молотков или песни. Мы пробыли уже с час. Матреша сидела в своей каморке, на скамеечке, ко мне спиной, и что-то копалась с иголкой. Наконец вдруг тихо запела, очень тихо; это с ней иногда бывало. Я вынул часы и посмотрел, который час, было два. У меня начинало биться сердце. Но тут я вдруг опять спросил себя: могу ли остановить? и тотчас же ответил себе, что могу. Я встал и начал к ней подкрадываться. У них на окнах стояло много герани, и солнце ужасно ярко светило. Я тихо сел подле на полу. Она вздрогнула и сначала неимоверно испугалась и вскочила. Я взял ее руку и тихо поцеловал, принагнул ее опять на скамейку и стал смотреть ей в глаза. То, что я поцеловал у ней руку, вдруг рассмешило ее, как дитю, но только на одну секунду, потому что она стремительно вскочила в другой раз, и уже в таком испуге, что судорога прошла по лицу. Она смотрела на меня до ужаса неподвижными глазами, а губы стали дергаться, чтобы заплакать, но все-таки не закричала. Я опять стал целовать ей руки, взяв ее к себе на колени, целовал ей лицо и ноги. Когда я поцеловал ноги, она вся отдернулась и улыбнулась как от стыда, но какою-то кривою улыбкой. Все лицо вспыхнуло стыдом. Я что-то все шептал ей. Наконец вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление: девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо ее выражало совершенное восхищение. Я чуть не встал и не ушел —

так это было мне неприятно в таком крошечном ребенке – от жалости. Но я преодолел внезапное чувство моего страха и остался.

Когда все кончилось, она была смущена. Я не пробовал ее разуверять и уже не ласкал ее. Она глядела на меня, робко улыбаясь. Лицо ее мне показалось вдруг глупым. Смущение быстро с каждой минутой овладевало ею все более и более. Наконец она закрыла лицо руками и стала в угол лицом к стене неподвижно. Я боялся, что она опять испугается, как давеча, и молча ушел из дому.

Полагаю, что все случившееся должно было ей представиться окончательно как беспредельное безобразие, со смертным ужасом. Несмотря на русские ругательства, которые она должна была слышать с пеленок, и всякие странные разговоры, я имею полное убеждение, что она еще ничего не понимала. Наверное ей показательно в конце концов, что она сделала неимоверное преступление и в нем смертельно виновата, – «Бога убила».

В ту ночь я и имел ту драку в кабаке, о которой мельком упоминал. Но я проснулся у себя в номерах наутро, меня привез Лебядкин. Первая мысль по пробуждении была о том: сказала она или нет; это была минута настоящего страха, хоть и не очень еще сильного. Я был очень весел в то утро и ужасно ко всем добр, и вся ватага была мною очень довольна. Но я бросил их всех и пошел в Гороховую. Я встретился с нею еще внизу, в сенях. Она шла из лавочки, куда ее посылали за цикорием. Увидев меня, она стрельнула в ужасном страхе вверх по лестнице. Когда я вошел, мать уже хлестнула ее два раза по щеке за то, то вбежала в квартиру «сломя голову», чем и прикрылась настоящая причина ее испуга. Итак, все пока было спокойно. Она куда-то забилась и не входила все время, пока я был. Я пробыл с час и ушел.

К вечеру я опять почувствовал страх, но уже несравненно сильнее. Конечно, я мог отпереться, но меня могли и уличить. Мне мерещилась каторга. Я никогда не чувствовал страху и, кроме этого случая в моей жизни, ни прежде, ни после ничего не боялся. И уж особенно Сибири, хотя и мог быть сослан не однажды. Но в этот раз я был испуган и действительно чувствовал страх, не знаю почему, в первый раз в жизни, – ощущение очень мучительное. Кроме того, вечером, у меня в номерах, я возненавидел ее до того, что решился убить. Главная ненависть моя была при воспоминании об ее улыбке. Во мне рождалось презрение с непомерною гадливостью за то, как она бросилась после всего в угол и закрылась руками, меня взяло неизъяснимое бешенство, затем последовал озноб; когда же под утро стал наступать жар, меня опять одолел страх, но уже такой сильный, что я никакого мучения не знал сильней. Но я уже не ненавидел более девочку; по крайней мере до такого пароксизма, как с вечера, не доходило. Я заметил, что сильный страх совершенно прогоняет ненависть и чувство мщения.

Проснулся я около полудня, здоровый, и даже удивился некоторым из вчерашних ощущений. Я, однако же, был в дурном расположении духа и опять-таки принужден был пойти в Гороховую, несмотря на все отвращение. Помню, что мне ужасно хотелось бы в ту минуту иметь с кем-нибудь ссору, но только сериозную. Но, придя на Гороховую, я вдруг нашел у себя в комнате Нину Савельевну, ту горничную, которая уже с час ожидала меня. Эту девушку я совсем не любил, так что она пришла сама немного в страхе, не рассержусь ли я за незванный визит. Но я вдруг ей очень обрадовался. Она была недурна, но скромна и с манерами, которые любит мещанство, так что моя баба-хозяйка давно уже очень мне хвалила ее. Я застал их обеих за кофеем, а хозяйку в чрезвычайном удовольствии от приятной беседы. В углу их каморки я заметил Матрешу. Она стояла и смотрела на мать и на гостью неподвижно. Когда я вошел, она не спря-

талась, как тогда, и не убежала. Мне только показалось, что она очень похудела и что у ней жар. Я приласкал Нину и запер дверь к хозяйке, чего давно не делал, так что Нина ушла совершенно обрадованная. Я ее сам вывел и два дня не возвращался в Гороховую. Мне уже надоело.

Я решился все покончить, отказаться от квартиры и уехать из Петербурга. Но когда я пришел, чтоб отказаться от квартиры, я застал хозяйку в тревоге и в горе: Матреша была больна уже третий день, каждую ночь лежала в жару и ночью бредила. Разумеется, я спросил, об чем она бредит (мы говорили шепотом в моей комнате). Она мне зашептала, что бредит «ужасти»: «Я, дескать, Бога убила». Я предложил привести доктора на мой счет, но она не хотела: «Бог даст, и так пройдет, не все лежит, днем-то выходит, сейчас в лавочку сбегала». Я решился застать Матрешу одну, а так как хозяйка проговорилась, что к пяти часам ей надо сходить на Петербургскую, то и положил воротиться вечером.

Я пообедал в трактире. Ровно в пять с четвертью воротился. Я входил всегда с своим ключом. Никого, кроме Матрешы, не было. Она лежала в каморке за ширмами на материнной кровати, и я видел, как она выглянула; но я сделал вид, что не замечаю. Все окна были открыты. Воздух был тепл, было даже жарко. Я походил по комнате и сел на диван. Все помню до последней минуты. Мне решительно доставляло удовольствие не заговаривать с Матрешей. Я ждал и просидел целый час, и вдруг она вскочила сама из-за ширм. Я слышал, как стукнули ее обе ноги об пол, когда она вскочила с кровати, потом довольно быстрые шаги, и она стала на пороге в мою комнату. Она глядела на меня молча. В эти четыре или пять дней, в которые я с того времени ни разу не видал ее близко, действительно очень похудела. Лицо ее как бы высохло, и голова, наверно, была горяча. Глаза стали большие и глядели на меня неподвижно, как бы с тупым любопытством, как мне показалось сначала. Я сидел в углу дивана, смотрел на нее и не трогался. И тут вдруг опять я почувствовал ненависть. Но очень скоро заметил, что она совсем меня не пугается, а, может быть, скорее в бреду. Но она и в бреду не была. Она вдруг часто кивала на меня головой, как кивают, когда очень укоряют, и вдруг подняла на меня свой маленький кулачок и начала грозить им мне с места. Первое мгновение мне это движение показалось смешным, но дальше я не мог его вынести: я встал и подвинулся к ней. На ее лице было такое отчаяние, которое невозможно было видеть в лице ребенка. Она все махала на меня своим кулачком с угрозой и все кивала, укоряя. Я подошел близко и осторожно заговорил, но увидел, что она не поймет. Потом вдруг она стремительно закрылась обеими руками, как тогда, отошла и стала к окну, ко мне спиной. Я оставил ее, воротился в свою комнату и сел тоже у окна. Никак не пойму, почему я тогда не ушел и остался как будто ждать. Вскоре я опять услышал поспешные шаги ее, она вышла в дверь на деревянную галерею, с которой и был сход вниз по лестнице, и я тотчас побежал к моей двери, приотворил и успел еще подглядеть, как Матреша вошла в крошечный чулан вроде курятника, рядом с другим местом. Странная мысль блеснула в моем уме. Я притворил дверь – и к окну. Разумеется, мелькнувшей мысли верить еще было нельзя; «но однако»... (Я все помню.)

Через минуту я посмотрел на часы и заметил время. Надвигался вечер. Надо мною жужжала муха и все садилась мне на лицо. Я поймал, подержал в пальцах и выпустил за окно. Очень громко въехала внизу во двор какая-то телега. Очень громко (и давно уже) пел песню в углу двора в окне один мастеровой, портной. Он сидел за работой, и мне его было видно. Мне пришло в голову, что

так как меня никто не повстречал, когда я входил в ворота и подымался по лестнице, то, конечно, не надо, чтобы и теперь повстречали, когда я буду сходить вниз, и я отодвинул стул от окна. Затем взял книгу, но бросил и стал смотреть на крошечного красненького паучка на листке герани и забылся. Я все помню до последнего мгновения.

Я вдруг выхватил часы. Прошло двадцать минут с тех пор, как она вышла. Догадка принимала вид вероятности. Но я решил подождать еще с четверть часа. Приходило тоже в голову, не воротилась ли она, а я, может быть, прослышал; но этого не могло и быть: была мертвая тишина, и я мог слышать писк каждой мушки. Вдруг у меня стало биться сердце. Я вынул часы: недоставало трех минут; я их высидел, хотя сердце билось до боли. Тут-то я встал, накрылся шляпой, застегнул пальто и осмотрелся в комнате, все ли на прежнем месте, не осталось ли следов, что я заходил? Стул я придвинул ближе к окну, как он стоял прежде. Наконец, тихо отворил дверь, запер ее моим ключом и пошел к чуланчику. Он был приперт, но не заперт; я знал, что он не запирался, но я отворить не хотел, а поднялся на цыпочки и стал глядеть в щель. В это самое мгновение, подымаясь на цыпочки, я припомнил, что когда сидел у окна и смотрел на красного паучка и забылся, то думал о том, как я приподымусь на цыпочки и достану глазом до этой щелки. Вставляя здесь эту мелочь, хочу непременно доказать, до какой степени явственно я владел моими умственными способностями. Я долго глядел в щель, там было темно, но не совершенно. Наконец я разглядел, что было надо... все хотелось совершенно удостовериться.

Я решил наконец, что мне можно уйти, и спустился с лестницы. Я никого не встретил. Часа через три мы все, без сюртуков, пили в номерах чай и играли в старые карты, Лебядкин читал стихи. Много рассказывали и, как нарочно, все удачно и смешно, а не так, как всегда, глупо. Был и Кириллов. Никто не пил, хотя и стояла бутылка рому, но прикладывался один Лебядкин. Прохор Малов заметил, что «когда Николай Всеволодович довольны и не хандрят, то все наши веселы и умно говорят». Я запомнил это тогда же.

Но часов уже в одиннадцать прибежала дворникова девочка от хозяйки, с Гороховой, с известием ко мне, что Матреша повесилась. Я пошел с девочкой и увидел, что хозяйка сама не знала, зачем посылала за мной. Она вопила и билась, была кутерьма, много народу, полицейские. Я постоял в сенях и ушел.

Меня почти не беспокоили, впрочем, спросили что следует. Но, кроме того, что девочка была больна и бывала в бреду в последние дни, так что я предлагал с своей стороны доктора на мой счет, я решительно ничего не мог показать. Спрашивали меня и про ножик; я сказал, что хозяйка высекла, но что это было ничего. Про то, что я приходил вечером, никто не узнал. Про результат медицинского свидетельства я ничего не слыхал.

С неделю я не заходил туда. Зашел, когда уже давно похоронили, чтобы сдать квартиру. Хозяйка все еще плакала, хотя уже возилась с своим лоскутьем и с шитьем по-прежнему. «Это я за ваш ножик ее обидела», – сказала она мне, но без большого укора. Я рассчитался под тем предлогом, что нельзя же мне теперь оставаться в такой квартире, чтоб принимать в ней Нину Савельевну. Она еще раз похвалила Нину Савельевну на прощанье. Уходя, я подарил ей пять рублей сверх должного за квартиру.

Мне и вообще тогда очень скучно было жить, до одури. Происшествие в Гороховой, по миновании опасности, я было совсем забыл, как и все тогдашнее, если бы некоторое время я не вспоминал еще со злостью о том, как я струсил. Я изливал мою злость на ком я мог. В это же время, но вовсе не почему-

нибудь, пришла мне идея искалечить как-нибудь жизнь, но только как можно противнее. Я уже с год назад помышлял застрелиться; представилось нечто лучше. Раз, смотря на хромую Марью Тимофеевну Лебядкину, прислуживавшую отчасти в углах, тогда еще не помешанную, но просто восторженную идиотку, без ума влюбленную в меня втайне (о чем выследили наши), я решился вдруг на ней жениться. Мысль о браке Ставрогина с таким последним существом шевелила мои нервы. Безобразнее нельзя было вообразить ничего. Но не берусь решить, входила ли в мою решимость хоть бессознательно (разумеется, бессознательно!) злоба за низкую трусость, овладевшая мною после дела с Матрешей. Право, не думаю; но во всяком случае я обвенчался не из-за одного только «пари на вино после пьяного обеда». Свидетелями брака были Кириллов и Петр Верховенский, тогда случившийся в Петербурге; наконец, сам Лебядкин и Прохор Малов (теперь умер). Более никто никогда не узнал, а те дали слово молчать. Мне всегда казалось это молчание как бы гадостью, но до сих пор оно не нарушено, хотя я и имел намерение объявить; объявляю заодно теперь.

Обвенчавшись, я тогда уехал в губернию к моей матери. Я поехал для развлечения, потому что было невыносимо. В нашем городе я оставил по себе идею, что я помешан, — идею, до сих пор даже не искоренившуюся и мне, несомненно, вредную, о чем объясню ниже. Потом я уехал за границу и пробыл четыре года.

Я был на Востоке, на Афоне выстаивал восьмичасовые всенощные, был в Египте, жил в Швейцарии, был даже в Исландии; просидел целый годовой курс в Геттингене. В последний год я очень сошелся с одним знатным русским семейством в Париже и с двумя русскими девицами в Швейцарии. Года два тому назад, в Франкфурте, проходя мимо бумажной лавки, я, между продажными фотографиями, заметил маленькую карточку одной девочки, одетой в изящный детский костюм, но очень похожей на Матрешу. Я тотчас купил карточку и, придя в отель, положил на камин. Здесь она так и пролежала с неделю нетронутая, и я ни разу не взглянул на нее, а уезжая из Франкфурта, забыл взять с собой.

Заново это именно, чтобы доказать, до какой степени я мог властвовать над моими воспоминаниями и стал к ним бесчувствен. Я отвергал их все разом в массе, и вся масса послушно исчезала, каждый раз как только я того хотел. Мне всегда было скучно припоминать прошлое, и никогда я не мог толковать о прошлом, как делают почти все. Что же касается до Матрешы, то я даже карточку ее позабыл на камине.

Тому назад с год, весной, следуя через Германию, я в рассеянности проехал станцию, с которой должен был повернуть на мою дорогу, и попал на другую ветвь. Меня высадили на следующей станции; был третий час пополудни, день ясный. Это был крошечный немецкий городок. Мне указали гостиницу. Надо было выждать: следующий поезд проходил в одиннадцать часов ночи. Я даже был доволен приключением, потому что никуда не спешил. Гостиница оказалась дрянная и маленькая, но вся в зелени и кругом обставленная клумбами цветов. Мне дали тесную комнатку. Я славно поел, и так как всю ночь был в дороге, то отлично заснул после обеда часа в четыре пополудни.

Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, потому что я никогда не видал в этом роде. В Дрездене, в галерее, существует картина Клод Лоррена, по каталогу, кажется, «Асис и Галатей», я же называл ее всегда «Золотым веком», сам не знаю почему. Я уже и прежде ее видел, а теперь, дня три назад, еще раз, мимоездом, заметил. Эта-то картина мне и приснилась, но не как картина, а как будто какая-то быть.

Это – уголок греческого архипелага; голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее побережье, волшебная панорама вдаль, заходящее зовущее солнце – словами не передашь. Тут запомнило свою колыбель европейское человечество, здесь первые сцены из мифологии, его земной рай... Тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные; рощи наполнялись их веселыми песнями, великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало лучами эти острова и море, радуясь на своих прекрасных детей. Чудный сон, высокое заблуждение! Мечта, самая невероятная из всех, какие были, которой все человечество, всю свою жизнь отдавало все свои силы, для которой всем жертвовало, для которой умирали на крестах и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть. Все это ощущение я как будто прожил в этом сне; я не знаю, что мне именно снилось, но скалы, и море, и косые лучи заходящего солнца – все это я как будто еще видел, когда проснулся и раскрыл глаза, в первый раз в жизни буквально омоченные слезами. Ощущение счастья, еще мне неизвестного, прошло сквозь сердце мое даже до боли. Был уже полный вечер; в окно моей маленькой комнаты сквозь зелень стоящих на окне цветов прорывался целый пук ярких косых лучей заходящего солнца и обливал меня светом. Я поскорее закрыл опять глаза, как бы жаждая возвратить миновавший сон, но вдруг как бы среди яркого-яркого света я увидел какую-то крошечную точку. Она принимала какой-то образ, и вдруг мне явственно представился крошечный красненький паучок. Мне сразу припомнился он на листке герани, когда так же лились косые лучи заходящего солнца. Что-то как будто вонзилось в меня, я приподнялся и сел на постель... (Вот все как это тогда случилось!)

Я увидел пред собою (о, не наяву! если бы, если бы это было настоящее видение!), я увидел Матрешу, исхудающую и с лихорадочными глазами, точь-в-точь как тогда, когда она стояла у меня на пороге и, кивая мне головой, подняла на меня свой крошечный кулачок. И никогда ничего не являлось мне столь мучительным! Жалкое отчаяние беспомощного десятилетнего существа с несложившимся рассудком, мне грозившего (чем? что могло оно мне сделать?), но обвинявшего, конечно, одну себя! Никогда еще ничего подобного со мной не было. Я просидел до ночи, не двигаясь и забыв время. Это ли называется угрызением совести или раскаянием? Не знаю и не мог бы сказать до сих пор. Мне, может быть, не омерзительно даже доселе воспоминание о самом поступке. Может быть, это воспоминание заключает в себе даже и теперь нечто для страстей моих приятное. Нет – мне невыносим только один этот образ, и именно на пороге, с своим поднятым и грозящим мне кулачком, один только ее тогдашний вид, только одна тогдашняя минута, только это кивание головой. Вот чего я не могу выносить, потому что с тех пор представляется мне почти каждый день. Не само представляется, а я его сам вызываю и не могу не вызывать, хотя и не могу с этим жить. О, если б я когда-нибудь увидел ее наяву, хотя бы в галлюцинации!

У меня есть другие старые воспоминания, может быть получше и этого. С одной женщиной я поступил хуже, и она оттого умерла. Я лишил жизни на дуэли двух невинных передо мною. Я однажды был оскорблен смертельно и не отместил противнику. На мне есть одно отравление – намеренное и удавшееся и никому не известное. (Если надо, я обо всем сообщу.)

Но почему ни одно из этих воспоминаний не возбуждает во мне ничего подобного? Одну разве ненависть, да и то вызванную теперешним положением, а прежде я хладнокровно забывал и отстранял.

Я скитался после того почти весь этот год и старался заняться. Я знаю, что я бы мог устранить и теперь девочку, когда захочу. Я совершенно владею моею волей по-прежнему. Но в том все и дело, что никогда не хотел того сделать, сам не хочу и не буду хотеть; я уж про это знаю. Так и продолжится вплоть до моего сумасшествия.

В Швейцарии я смог, два месяца спустя, влюбиться в одну девушку, или, лучше сказать, я ощутил припадок такой же страсти с одним из таких же неистовых порывов, как бывало это лишь когда-то первоначально. Я почувствовал ужасный соблазн на новое преступление, то есть совершить двоеженство (потому что я уже женат); но я бежал, по совету другой девушки, которой я открылся почти во всем. К тому же это новое преступление несколько не избавило бы меня от Матрешки.

Таким образом, я решил отпечатать эти листки и ввезти их в Россию в трехстах экземплярах. Когда придет время, я отошлю в полицию и к местной власти; одновременно пошлю в редакции всех газет, с просьбою гласности, и множеству меня знающих в Петербурге и в России лиц. Равномерно появится в переводе за границей. Я знаю, что юридически я, может быть, и не буду обеспокоен, по крайней мере значительно; я один на себя объявляю и не имею обвинителя; кроме того, никаких или чрезвычайно мало доказательств. Наконец, укоренившаяся идея о расстройстве моего рассудка и, наверно, старание моих родных, которые этою идеею воспользуются и затушат всякое опасное для меня юридическое преследование. Это я заявляю, между прочим, для того, чтобы доказать, что я в полном уме и положение мое понимаю. Но для меня останутся те, которые будут знать все и на меня глядеть, а я на них. И чем больше их, тем лучше. Облегчит ли это меня – не знаю. Прибегаю как к последнему средству.

Еще раз: если очень поискать в петербургской полиции, то, может быть, что-нибудь и отыщется. Мещане, может быть, и теперь в Петербурге. Дом, конечно, припомнят. Он был светло-голубой. Я же никуда не уеду и некоторое время (с год или два) всегда буду находиться в Скворешниках, имении моей матери. Если же потребуют, явлюсь всюду.

Николай

Ставрогин».

Чтение продолжалось около часу. Тихон читал медленно и, может быть, перечитывал некоторые места по другому разу. Во все это время Ставрогин сидел молча и неподвижно. Странно, что оттенок нетерпения, рассеянности и как бы бреда, бывший в лице его все это утро, почти исчез, сменившись спокойствием и как бы какой-то искренностью, что придало ему вид почти достоинства. Тихон снял очки и начал первый, с некоторою осторожностью.

– А нельзя ли в документе сем сделать иные исправления?

– Зачем? Я писал искренно, – ответил Ставрогин.

– Немного бы в слог.

– Я забыл вас предупредить, что все слова ваши будут напрасны; я не отложу моего намерения; не трудитесь отговаривать.

– Вы об этом не забыли предупредить еще давеча, прежде чтения.

– Все равно, повторяю опять: какова бы ни была сила ваших возражений, я от моего намерения не отстану. Заметьте, что этою неловкою фразой или ловкою – думайте как хотите – я вовсе не напрашиваюсь, чтобы вы поскорее начали мне возражать и меня упрашивать, – прибавил он, как бы не выдержав

и вдруг впадая опять на мгновение в давешний тон, но тотчас же грустно улыбнулся своим словам.

– Я возражать вам и особенно упрашивать, чтоб оставили ваше намерение, и не мог бы. Мысль эта – великая мысль, и полнее не может выразиться христианская мысль. Дальше подобного удивительного подвига, который вы замыслили, идти покаяние не может, если бы только...

– Если бы что?

– Если б это действительно было покаяние и действительно христианская мысль.

– Это, мне кажется, тонкости; не все ли равно? Я писал искренно.

– Вы как будто нарочно грубее хотите представить себя, чем бы желало сердце ваше... – осмеливался все более и более Тихон. Очевидно, «документ» произвел на него сильное впечатление.

– «Представить»? – повторяю вам: я не «представлялся» и в особенности не «ломался».

Тихон быстро опустил глаза.

– Документ этот идет прямо из потребности сердца, смертельно уязвленного, – так ли я понимаю? – продолжал он с настойчивостью и с необыкновенным жаром. – Да, сие есть покаяние и натуральная потребность его, вас поборовавшая, и вы попали на великий путь, путь из неслыханных. Но вы как бы уже ненавидите вперед всех тех, которые прочтут здесь описанное, и зовете их в бой. Не стыдись признаться в преступлении, зачем стыдитесь вы покаяния? Пусть глядят на меня, говорят вы; ну, а вы сами, как будете глядеть на них? Иные места в вашем изложении усилены слогом; вы как бы любуетесь психологией вашею и хватаетесь за каждую мелочь, только бы удивить читателя бесчувственностью, которой в вас нет. Что же это как не горделивый вызов от виноватого к судье?

– Где же вызов? Я устранил всякие рассуждения от моего лица.

Тихон смолчал. Даже краска покрыла его бледные щеки.

– Оставим это, – резко прекратил Ставрогин. – Позвольте сделать вам вопрос уже с моей стороны: вот уже пять минут, как мы говорим после этого (он кивнул на листки), и я не вижу в вас никакого выражения гадливости или стыда... вы, кажется, не брезгливы!..

Он не dokonчил и усмехнулся.

– То есть вам хотелось бы, чтоб я высказал вам поскорее мое презрение, – твердо договорил Тихон. – Я пред вами ничего не утаю: меня ужаснула великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость.

Что же до самого преступления, то и многие грешат тем же, но живут со своею совестью в мире и в спокойствии, даже считая неизбежными проступками юности. Есть и старцы, которые грешат тем же, и даже с утешением и с игривостью. Всеми этими ужасами наполнен весь мир. Вы же почувствовали всю глубину, что очень редко случается в такой степени.

– Уж не уважать ли вы меня стали после листков? – криво усмехнулся Ставрогин.

– Отвечать прямо о сем не буду. Но более великого и более страшного преступления, как поступок ваш с отроковицей, разумеется, нет и не может быть.

– Оставим меру на аршины. Меня несколько дивит ваш отзыв о других людях и об обыкновенности подобного преступления. Я, может быть, вовсе не так страдаю, как здесь написал, и, может быть, действительно много налгал на себя, – прибавил он неожиданно.

Тихон смолчал еще раз. Ставрогин и не думал уходить, напротив, опять стал впадать мгновениями в сильную задумчивость.

– А эта девица, – очень робко начал опять Тихон, – с которой вы прервали в Швейцарии, если осмелюсь спросить, находится... где в сию минуту?

– Здесь.

Опять молчание.

– Я, может быть, вам очень нагнал на себя, – настойчиво повторил еще раз Ставрогин. – Впрочем, что же, что я их вызываю грубостью моей исповеди, если вы уж заметили вызов? Я заставляю их еще более ненавидеть меня, вот и только. Так ведь мне же будет легче.

– То есть их ненависть вызовет вашу, и, ненавидя, вам станет легче, чем если бы приняв от них сожаление?

– Вы правы; знаете, – засмеялся он вдруг, – меня, может быть, назовут иезуитом и богомольною ханжой, ха-ха-ха? Ведь так?

– Конечно, будет и такой отзыв. А скоро вы надеетесь исполнить сие намерение?

– Сегодня, завтра, послезавтра, почему я знаю? Только очень скоро. Вы правы: я думаю, именно так придется, что оглашу внезапно и именно в какую-нибудь мстительную, ненавистную минуту, когда всего больше буду их ненавидеть.

– Ответьте на вопрос, но искренно, мне одному, только мне: если б кто простил вас за это (Тихон указал на листки), и не то чтоб из тех, кого вы уважаете или боитесь, а незнакомец, человек, которого вы никогда не узнаете, молча, про себя читая вашу страшную исповедь, легче ли бы вам было от этой мысли или все равно?

– Легче, – ответил Ставрогин вполголоса, опуская глаза. – Если бы вы меня простили, мне было бы гораздо легче, – прибавил он неожиданно и полупшепотом.

– С тем, чтоб и вы меня также, – проникнутым голосом промолвил Тихон.

– За что? что вы мне сделали? Ах, да, это монастырская формула?

– За вольная и невольная. Согрешив, каждый человек уже против всех согрешил и каждый человек хоть чем-нибудь в чужом грехе виноват. Греха единичного нет. Я же грешник великий, и, может быть, более вашего.

– Я вам всю правду скажу: я желаю, чтобы вы меня простили, вместе с вами другой, третий, но все – все пусть лучше ненавидят. Но для того желаю, чтобы со смирением перенести...

– А всеобщего сожаления о вас вы не могли бы с тем же смирением перенести?

– Может быть, и не мог бы. Вы очень тонко подхватываете. Но... зачем вы это делаете?

– Чувствую степень вашей искренности и, конечно, много виноват, что не умею подходить к людям. Я всегда в этом чувствовал великий мой недостаток, – искренне и задушевно промолвил Тихон, смотря прямо в глаза Ставрогину. – Я потому только, что мне страшно за вас, – прибавил он, – перед вами почти непродолимая бездна.

– Что не выдержу? что не вынесу со смирением их ненависти?

– Не одной лишь ненависти.

– Чего же еще?

– Их смеху, – как бы через силу и полупшепотом вырвалось у Тихона.

Ставрогин смутился; беспокойство выразилось в его лице.

– Я это предчувствовал, – сказал он. – Стало быть, я показался вам очень комическим лицом по прочтении моего «документа», несмотря на всю трагедию? Не беспокойтесь, не конфузьтесь... я ведь и сам предчувствовал.

– Ужас будет повсеместный и, конечно, более фальшивый, чем искренний. Люди боязливы лишь перед тем, что прямо угрожает личным их интересам. Я не про чистые души говорю: те ужаснутся и себя обвинят, но они незаметны будут. Смех же будет всеобщий.

– И прибавьте замечание мыслителя, что в чужой беде всегда есть нечто нам приятное.

– Справедливая мысль.

– Однако же вы... вы-то сами... Я удивляюсь, как дурно вы думаете про людей, как гадливо, – с некоторым видом озлобления произнес Ставрогин.

– А верите, я более по себе судя сказал, чем про людей! – воскликнул Тихон.

– В самом деле? да неужто же есть в душе вашей хоть что-нибудь, что вас здесь веселит в моей беде?

– Кто знает, может, и есть. О, может, и есть!

– Довольно. Укажите же, чем именно я смешон в моей рукописи? Я знаю чем, но я хочу, чтоб указали вы вашим пальцем. И скажите поциничнее, скажите именно со всею тою искренностью, к которой вы способны. И еще повторю вам, что вы ужасный чудака.

– Даже в форме самого великого покаяния сего заключается уже нечто смешное. О, не верьте тому, что не победите! – воскликнул он вдруг почти в восторге, – даже сия форма победит (указал он на листки), если только искренно примете заушение и заплевание. Всегда кончалось тем, что наипозорнейший крест становился великою славой и великою силой, если искренно было смирение подвига. Даже, может, при жизни вашей уже будете утешены!..

– Итак, вы в одной форме, в слог, находите смешное? – настаивал Ставрогин.

– И в сущности. Некрасивость убьет, – прошептал Тихон, опуская глаза.

– Что-с? некрасивость? чего некрасивость?

– Преступления. Есть преступления поистине некрасивые. В преступлениях, каковы бы они ни были, чем более крови, чем более ужаса, тем они внушительнее, так сказать, картиннее; но есть преступления стыдные, позорные, мимо всякого ужаса, так сказать, даже слишком уж не изящные...

Тихон не договорил.

– То есть, – подхватил в волнении Ставрогин, – вы находите весьма смешною фигуру мою, когда я целовал ногу грязной девчонки... и все, что я говорил о моем темпераменте и... ну и все прочее... понимаю. Я вас очень понимаю. И вы именно потому отчаиваетесь за меня, что некрасиво, гадливо, нет, не то что гадливо, а стыдно, смешно, и вы думаете, что этого-то я всего скорее не перенесу?

Тихон молчал.

– Да, вы знаете людей, то есть знаете, что я, именно я, не перенесу... Понимаю, почему вы спросили про барышню из Швейцарии, здесь ли она?

– Не приготовлены, не закалены, – робко прошептал Тихон, опустив глаза.

– Слушайте, отец Тихон: я хочу простить сам себе, и вот моя главная цель, вся моя цель! – сказал вдруг Ставрогин с мрачным восторгом в глазах. – Я знаю, что только тогда исчезнет видение. Вот почему я и ищу страдания безмерного, сам ищу его. Не пугайте же меня.

– Если веруете, что можете простить сами себе и сего прощения себе в сем мире достигнуть, то вы во все веруете! – восторженно воскликнул Тихон. – Как же сказали вы, что в Бога не веруете?

Ставрогин не ответил.

– Вам за неверие Бог простит, ибо Духа Святого чтите, не зная Его.

– Кстати, Христос ведь не простит, – спросил Ставрогин, и в тоне вопроса послышался легкий оттенок иронии, – ведь сказано в книге: «Если соблазните единого от малых сих» – помните? По Евангелию, больше преступлений нет и не может (быть). Вот в этой книге!

Он указал на Евангелие.

– Я вам радостную весть за сие скажу, – с умилением промолвил Тихон, – и Христос простит, если только достигнете того, что простите сами себе... О нет, нет, не верьте, я хулу сказал: если и не достигнете примирения с собою и прощения себе, то и тогда Он простит за намерение и страдание ваше великое... ибо нет ни слов, ни мысли в языке человеческом для выражения *всех* путей и поводов Агнца, «дондеже пути Его въявь не откроются нам». Кто обнимет Его, необъятного, кто поймет *всего*, бесконечного!

Углы губ его задержались, как давеча, и едва заметная судорога опять прошла по лицу. Покрепившись мгновение, он не выдержал и быстро опустил глаза.

Ставрогин взял с дивана свою шляпу.

– Я приеду и еще когда-нибудь, – сказал он с видом сильного утомления, – мы с вами... я слишком ценю удовольствие беседы и честь... и чувства ваши. Поверьте, я понимаю, почему иные вас так любят. Прошу молитв ваших у Того, Которого вы так любите...

– И вы идете уже? – быстро привстал и Тихон, как бы не ожидав совсем такого скорого прощания. – А я... – как бы потерялся он, – я имел было представить вам одну мою просьбу, но... не знаю как... и боюсь теперь.

– Ах, сделайте одолжение. – Ставрогин немедленно сел, имея шляпу в руке. Тихон посмотрел на эту шляпу, на эту позу, позу человека, вдруг сделавшегося светским, и взволнованного, и полупомешанного, дающего ему пять минут для окончания дела, и смутился еще более.

– Вся просьба моя лишь в том, что вы... ведь вы уже сознаетесь, Николай Всеволодович (так, кажется, ваше имя и отчество?), что если огласите ваши листки, то испортите вашу участь... в смысле карьеры, например, и... в смысле всего остального.

– Карьеры? – Николай Всеволодович неприятно поморщился.

– К чему же бы портить? К чему бы, казалось, такая непреклонность? – почти просительно, с явным сознанием собственной неловкости заключил Тихон. Болезненное впечатление отразилось на лице Николая Всеволодовича.

– Я вас уже просил, прошу вас еще: все слова ваши будут излишни... да и вообще все наше объяснение начинает быть невыносимым.

Он знаменательно повернулся в креслах.

– Вы меня не понимаете, выслушайте и не раздражайтесь. Вы мое мнение знаете: подвиг ваш, если от смирения, был бы величайшим христианским подвигом, если бы выдержали. Даже если б и не выдержали, все равно вам первоначальную жертву сочтет Господь. Все сочтется: ни одно слово, ни одно движение душевное, ни одна полумысль не пропадут даром. Но я вам предлагаю взамен сего подвига другой, еще величайший того, нечто уже несомненно великое...

Николай Всеволодович молчал.

– Вас борет желание мученичества и жертвы собою; покорите и сие желание ваше, отложите листки и намерение ваше – и тогда уже все поборете. Всю гордость свою и беса вашего посрамите! Победителем кончите, свободы достигнете...

Глаза его загорелись; он просительно сложил пред собой руки.

– Просто-запросто вам очень не хочется скандала, и вы ставите мне ловушку, добрый отец Тихон, – небрежно и с досадой промямлил Ставрогин, порываясь встать. – Короче, вам хочется, чтоб я остепенился, пожалуй, женился и кончил жизнь членом здешнего клуба, посещая каждый праздник ваш монастырь. Ну, эпитимья! А впрочем, вы, как сердцевед, может, и предчувствуете, что это ведь несомненно так и будет и все дело за тем, чтобы меня теперь хорошенько поупросить для приличия, так как я сам только того и жажду, не правда ли?

Он изломанно рассмеялся.

– Нет, не та эпитимья, я другую готовлю! – с жаром продолжал Тихон, не обращая ни малейшего внимания на смех и замечание Ставрогина. – Я знаю одного старца не здесь, но и недалеко отсюда, отшельника и схимника, и такой христианской премудрости, что нам с вами и не понять того. Он послушает моих просьб. Я скажу ему о вас все. Подите к нему в послушание, под начало его лет на пять, на семь, сколько сами найдете потребным впоследствии. Дайте себе обет, и сею великою жертвой купите все, чего жаждете и даже чего не ожидаете, ибо и понять теперь не можете, что получите!

Ставрогин выслушал очень, даже очень серьезно его последнее предложение.

– Просто-запросто вы предлагаете мне вступить в монахи в тот монастырь? Как ни уважаю я вас, а я совершенно того должен был ожидать. Ну, так я вам даже признаюсь, что в минуты малодушия во мне уже мелькала мысль: раз заявив эти листки всенародно, спрятаться от людей в монастырь хоть на время. Но я тут же краснел за эту низость. Но чтобы постричься в монахи – это мне даже в минуту самого малодушного страха не приходило в голову.

– Вам не надо быть в монастыре, не надо постригаться, будьте только послушником тайным, неявным, можно так, что и совсем в свете живя...

– Оставьте, отец Тихон, – брезгливо прервал Ставрогин и поднялся со стула. Тихон тоже.

– Что с вами? – вскричал он вдруг, почти в испуге всматриваясь в Тихона. Тот стоял перед ним, сложив перед собою вперед ладонями руки, и болезненная судорога, казалось как бы от величайшего испуга, прошла мгновенно по лицу его.

– Что с вами? Что с вами? – повторял Ставрогин, бросаясь к нему, чтоб его поддержать. Ему казалось, что тот упадет.

– Я вижу... я вижу как наяву, – воскликнул Тихон проникающим душу голосом и с выражением сильнейшей горести, – что никогда вы, бедный, погибший юноша, не стояли так близко к самому ужасному преступлению, как в сию минуту!

– Успокойтесь! – повторял решительно встревоженный за него Ставрогин, – я, может быть, еще отложу... вы правы, я, может, не выдержу, я в злобе сделаю новое преступление... все это так... вы правы, я отложу.

– Нет, не после обнародования, а еще до обнародования листков, за день, за час, может быть, до великого шага, вы броситесь в новое преступление как в исход, чтобы только *избежать* обнародования листков!

Ставрогин даже задрожал от гнева и почти от испуга.

– Проклятый психолог! – оборвал он вдруг в бешенстве и, не оглядываясь, вышел из кельи.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Степана Трофимовича описали

Между тем произошло у нас приключение, меня удивившее, а Степана Трофимовича потрясшее. Утром в восемь часов прибежала от него ко мне Настасья, с известием, что барина «описали». Я сначала ничего не мог понять: добился только, что «описали» чиновники, пришли и взяли бумаги, а солдат завязал в узел и «отвез в тачке». Известие было дикое. Я тотчас же поспешил к Степану Трофимовичу.

Я застал его в состоянии удивительном: расстроенного и в большом волнении, но в то же время с несомненно торжествующим видом. На столе, среди комнаты, кипел самовар и стоял налитый, но не тронутый и забытый стакан чаю. Степан Трофимович слонялся около стола и заходил во все углы комнаты, не давая себе отчета в своих движениях. Он был в своей обыкновенной красной фуфайке, но, увидев меня, поспешил надеть свой жилет и сюртук, чего прежде никогда не делал, когда кто из близких заставлял его в этой фуфайке. Он тотчас же и горячо схватил меня за руку.

— Enfin un ami!¹ (Он вздохнул полною грудью.) Cher, я к вам к одному послал, и никто ничего не знает. Надо велеть Настасье запереть двери и не впускать никого, кроме, разумеется, *тех*... Vous comprenez?²

Он с беспокойством смотрел на меня, как бы ожидая ответа. Разумеется, я бросился расспрашивать и кое-как из несвязной речи, с перерывами и ненужными вставками, узнал, что в семь часов утра к нему «вдруг» пришел губернский чиновник...

— Pardon, j'ai oublié son nom. Il n'est pas du pays³, но, кажется, его привез Лембке, quelque chose de bête et d'allemand dans la physionomie. Il s'appelle Rosenthal⁴.

— Не Блюм ли?

— Блюм. Именно он так и назвался. Vous le connaissez? Quelque chose d'hébéte et de très content dans la figure, pourtant très sévère, roide et sérieux⁵. Фигура из полиции, из повинующихся, je m'y connais⁶. Я спал еще, и, вообразите, он попросил меня «взглянуть» на мои книги и рукописи, oui, je m'en souviens, il a employé ce mot⁷. Он меня не арестовал, а только книги... Il se tenait à distance⁸ и когда начал мне объяснять о приходе, то имел вид, что я... enfin, il avait l'air de croire que je tomberai sur lui immédiatement et que je commencerai à le battre comme plâtre. Tous ces gens du bas étage sont comme ça⁹, когда имеют дело с порядочным человеком. Само собою, я тотчас все понял. Voilà vingt ans que je m'y prépare¹⁰. Я

¹ Наконец-то друг! (фр.)

² Вы понимаете? (фр.)

³ Виноват, я забыл его имя. Он нездешний (фр.).

⁴ в выражении лица что-то тупое и немецкое. Его зовут Розенталь (фр.).

⁵ Вы его знаете? Что-то тупое и очень самодовольное во внешности, в то же время очень суровый, неприступный и важный (фр.).

⁶ я в этом кое-что смыслю (фр.).

⁷ да, я вспоминаю, он употребил это слово (фр.).

⁸ Он держался на расстоянии (фр.).

⁹ короче, он как будто думал, что я немедленно брошусь на него и начну его нещадно бить. Все эти люди низшего состояния таковы (фр.).

¹⁰ Вот уже двадцать лет, как я подготавливаю себя к этому (фр.).

ему отпер все ящики и передал все ключи; сам и подал, я ему всё подал. J'étais digne et caime¹. Из книг он взял заграничные издания Герцена, переплетенный экземпляр «Колокола», четыре списка моей поэмы, et, enfin, tout ça². Затем бумаги и письма et quelques une de mes ébauches historiques, critiques et politiques³. Все это они понесли. Настасья говорит, что солдат в тачке сvez и фартуком накрыли; oui, c'est cela⁴, фартуком.

Это был бред. Кто мог что-нибудь тут понять? Я вновь забросал его вопросами: один ли Блюм приходил или нет? от чьего имени? по какому праву? как он смел? чем объяснил?

— Il était seul, bien seul⁵, впрочем, и еще кто-то был dans l'antichambre, oui, je m'en souviens, et puis...⁶ Впрочем, и еще кто-то, кажется, был, а в сенях стоял сторож. Надо спросить у Настасьи; она все это лучше знает. J'étais surexcité, voyez-vous. Il parlait, il parlait... un tas de choses⁷; впрочем, он очень мало говорил, а это все я говорил... Я рассказал мою жизнь, разумеется, с одной этой точки зрения... J'étais surexcité, mais digne, je vous l'assure⁸. Боюсь, впрочем, что я, кажется, заплакал. Тачку они взяли у лавочника, рядам.

— О Боже, как могло все это сделаться! Но ради Бога, говорите точнее, Степан Трофимович, ведь это сон, что вы рассказываете!

— Cher, я и сам как во сне... Savez-vous, il a prononcé le nom de Teliatnikoff⁹, и я думаю, что вот этот-то и прятался в сенях. Да, вспомнил, он предлагал прокурора и, кажется, Дмитрия Митрича... qui me doit encore quinze roubles de ералаш soit dit en passant. Enfin, je n'ai pas trop compris¹⁰. Но я их перехитрил, и какое мне дело до Дмитрия Митрича. Я, кажется, очень стал просить его скрыть, очень просил, очень, боюсь даже, что унизился, comment croyez-vous? Enfin il a consenti¹¹. Да, вспомнил, это он сам просил, что будет лучше, чтобы скрыть, потому что он пришел только «взглянуть», et rien de plus¹², и больше ничего, ничего... и что если ничего не найдут, то и ничего не будет. Так что мы и кончили все en amis, je suis tout-à-fait content¹³.

— Помилуйте, да ведь он предлагал вам известный в таких случаях порядок и гарантии, а вы же сами и отклонили! — вскричал я в дружеском негодовании.

— Нет, этак лучше, без гарантии. И к чему скандал? Пускай до поры до en amis...¹⁴ Вы знаете, в нашем городе, если узнают... mes ennemis... et puis à quoi bon ce procureur, ce cochon de notre procureur, qui deux fois m'a manqué de politesse et qu'on a rossé à plaisir l'autre année chez cette charmante et belle Наталья Павловна,

¹ Я держал себя спокойно и с достоинством (фр.).

² и, словом, все это (фр.).

³ и кое-какие из моих исторических, критических и политических набросков (фр.).

⁴ да, именно так (фр.).

⁵ Он был один, совсем один (фр.).

⁶ в передней, да, я вспоминаю, и потом... (фр.).

⁷ Я был, видите ли, слишком возбужден. Он говорил, говорил... кучу вещей (фр.).

⁸ Я был слишком возбужден, но, уверяю вас, держался с достоинством (фр.).

⁹ Знаете, он упомянул имя Телятникова (фр.).

¹⁰ который мне, между прочим, еще должен пятнадцать рублей в ералаш. Словом, я не совсем понял (фр.).

¹¹ как вы полагаете? Наконец он согласился (фр.).

¹² и ничего больше (фр.).

¹³ по-дружески, я совершенно доволен (фр.).

¹⁴ на дружеских началах (фр.).

quand il se cacha dans son boudoir. Et puis, mon ami¹, не возражайте мне и не обескураживайте, прошу вас, потому что нет ничего несноснее, когда человек несчастен, а ему тут-то и указывают сто друзей, как он сглупил. Садитесь, однако, и пейте чай, и признаюсь, я очень устал... не прилечь ли мне и не приложить ли уксусу к голове, как вы думаете?

– Непременно, – вскричал я, – и даже бы льду. Вы очень расстроены. Вы бледны, и руки трясутся. Лягте, отдохните и подождите рассказывать. Я посижу подле и подожду.

Он не решался лечь, но я настоял. Настасья принесла в чашке уксусу, я намочил полотенце и приложил к его голове. Затем Настасья стала на стул и полезла зажигать в углу лампадку пред образом. Я с удивлением это заметил; да и лампадки прежде никогда не бывало, а теперь вдруг явилась.

– Это я давеча распорядился, только что те ушли, – пробормотал Степан Трофимович, хитро посмотрев на меня, – quand on a de ces choses-là dans sa chambre et qu'on vient vous arrêter², то это внушает, и должны же они доложить, что видели...

Кончив с лампадкой, Настасья стала в дверях, приложила правую ладонь к щеке и начала смотреть на него с плачевным видом.

– Eloignez-la³ под каким-нибудь предлогом, – кивнул он мне с дивана, – терпеть я не могу этой русской жалости, et puis ça m'embête⁴.

Но она ушла сама. Я заметил, что он все озирался к дверям и прислушивался в переднюю.

– Il faut être prêt, voyez-vous⁵, – значительно взглянул он на меня, – chaque moment...⁶ придут, возьмут, и фью – исчез человек!

– Господи! Кто придет? Кто вас возьмет?

– Voyez-vous, mon cher⁷, я прямо спросил его, когда он уходил: что со мной теперь сделают?

– Вы бы уж лучше спросили, куда сошлют! – вскричал я в том же негодовании.

– Я это и подразумевал, задавая вопрос, но он ушел и ничего не ответил. Voyez-vous: насчет белья, платья, теплого платья особенно, это уж как они сами хотят, велят взять – так, а то так и в солдатской шинели отправят. Но я тридцать пять рублей (понижил он вдруг голос, озираясь на дверь, в которую вышла Настасья) тихонько просунул в прореху в жилетном кармане, вот тут, пощупайте... Я думаю, жилета они снимать не станут, а для виду в портмоне оставил семь рублей, «все, дескать, что имею». Знаете, тут мелочь и сдача медными на столе, так что они не догадаются, что я деньги спрятал, а подумают, что тут все. Ведь Бог знает где сегодня придется ночевать.

Я поник головой при таком безумии. Очевидно, ни арестовать, ни обыскивать так нельзя было, как он передавал, и, уж конечно, он сбивался. Правда, все это случилось тогда, еще до теперешних последних законов. Правда

¹ мои враги... и затем к чему этот прокурор, эта свинья прокурор наш, который два раза был со мной невежлив и которого в прошлом году с удовольствием поколотили у этой очаровательной и прекрасной Натальи Павловны, когда он спрятался в ее будуаре. И затем, мой друг (фр.).

² когда у тебя в комнате такие вещи и приходят тебя арестовать (фр.).

³ Удалите ее (фр.).

⁴ и потом это мне докучает (фр.).

⁵ Нужно, видите ли, быть готовым (фр.).

⁶ каждую минуту... (фр.)

⁷ Видите ли, мой милый (фр.).

и то, что ему предлагали (по его же словам) более правильную процедуру, но он *перехитрил* и отказался... Конечно, прежде, то есть еще так недавно, губернатор и мог в крайних случаях... Но какой же опять тут мог быть такой крайний случай? Вот что сбивало меня с толку.

– Тут, наверно, телеграмма из Петербурга была, – сказал вдруг Степан Трофимович.

– Телеграмма! Про вас? Это за сочинения-то Герцена да за вашу поэму, с ума вы сошли, да за что тут арестовать?

Я просто озлился. Он сделал гримасу и видимо обиделся – не за окрик мой, а за мысль, что не за что было арестовать.

– Кто может знать в наше время, за что его могут арестовать? – загадочно пробормотал он. Дикая, нелепая идея мелькнула у меня в уме.

– Степан Трофимович, скажите мне как другу, – вскричал я, – как истинному другу, я вас не выдам: принадлежите вы к какому-нибудь тайному обществу или нет?

И вот, к удивлению моему, он и тут был не уверен: участвует он или нет в каком-нибудь тайном обществе.

– Ведь как это считать, *voyez-vous*...

– Как «как считать»?

– Когда принадлежишь всем сердцем прогрессу и... кто может заручиться: думаешь, что не принадлежишь, ан, смотришь, окажется, что к чему-нибудь и принадлежишь.

– Как это можно, тут да или нет?

– *Cela date de Pétersbourg*¹, когда мы с нею хотели там основать журнал. Вот где корень. Мы тогда ускользнули, и они нас забыли, а теперь вспомнили. *Cher, cher*, разве вы не знаете! – воскликнул он болезненно. – У нас возьмут, посадят в кибитку, и марш в Сибирь на весь век, или забудут в каземате...

И он вдруг заплакал, горячими, горячими слезами. Слезы так и хлынули. Он закрыл глаза своим красным фуляром и рыдал, рыдал минут пять, конвульсивно. Меня всего передернуло. Этот человек, двадцать лет нам пророчествовавший, наш проповедник, наставник, патриарх, Кукольник, так высоко и величественно державший себя над всеми нами, пред которым мы так от души преклонялись, считая за честь, – и вдруг он теперь рыдал, рыдал, как крошечный, нашаливший мальчик в ожидании розги, за которую отправился учитель. Мне ужасно стало жаль его. В «кибитку» он, очевидно, верил, как в то, что я сидел подле него, и ждал ее именно в это утро, сейчас, сию минуту, и все это за сочинения Герцена да за какую-то свою поэму! Такое полнейшее, совершеннейшее незнание обыденной действительности было и умилительно и как-то противно.

Он наконец плакать перестал, встал с дивана и начал опять ходить по комнате, продолжая со мною разговор, но поминутно поглядывая в окошко и прислушиваясь в переднюю. Разговор наш продолжался бессвязно. Все уверения мои и успокоения отскакивали как от стены горох. Он мало слушал, но все-таки ему ужасно нужно было, чтоб я его успокаивал и без умолку говорил в этом смысле. Я видел, что он не мог теперь без меня обойтись и ни за что бы не отпустил от себя. Я остался, и мы просидели часа два с лишком. В разговоре он вспомнил, что Блюм захватил с собою две найденные у него прокламации.

– Как прокламации! – испугался я сдуру. – Разве вы...

¹ Это началось в Петербурге (*фр.*).

– Э, мне подкинули десять штук, – ответил он досадливо (он со мною говорил то досадливо и высокомерно, то ужасно жалобно и приниженно), но я с восьмью уже распорядился, а Блюм захватил только две...

И он вдруг покраснел от негодования.

– Vous me mettez avec ces gens-là!¹ Неужто вы полагаете, что я могу быть с этими подлецами, с подметчиками, с моим сыном Петром Степановичем, avec ces esprits-forts de la lâcheté!² О Боже!

– Ба, да не смешали ли вас как-нибудь... Впрочем, вздор, быть не может! – заметил я.

– Savez-vous³, – вырвалось у него вдруг, – я чувствую минутами, que je ferai là-bas quelque esclandre⁴. О, не уходите, не оставляйте меня одного! Ma carrière est finie aujourd'hui, je le sens⁵. Я, знаете, я, может быть, брошусь и укушу там кого-нибудь, как тот подпоручик...

Он посмотрел на меня странным взглядом – испуганным и в то же время как бы и желающим испугать. Он действительно все более и более раздражался на кого-то и на что-то, по мере того как проходило время и не являлись «кибитки»; даже злился. Вдруг Настасья, зашедшая зачем-то из кухни в переднюю, задела и уронила там вешалку. Степан Трофимович задрожал и помертвел на месте; но когда дело обозначилось, он чуть не завизжал на Настасью и, топоча ногами, прогнал ее обратно на кухню. Минуту спустя он проговорил, смотря на меня в отчаянии:

– Я погиб! Cher, – сел он вдруг подле меня и жалко-жалко посмотрел мне пристально в глаза, – cher, я не Сибири боюсь, кланюсь вам, о, je vous jure⁶ (даже слезы проступили в глазах его), я другого боюсь...

Я догадался уже по виду его, что он хочет сообщить мне наконец что-то чрезвычайное, но что до сих пор он, стало быть, удерживался сообщить.

– Я позора боюсь, – прошептал он таинственно.

– Какого позора? да ведь напротив! Поверьте, Степан Трофимович, что все это сегодня же объяснится и кончится в вашу пользу...

– Вы так уверены, что меня простят?

– Да что такое «простят»? Какие слова! Что вы сделали такого? Уверю же вас, что вы ничего не сделали!

– Qu'en savez-vous⁷? вся моя жизнь была... cher... Они все припомнят... а если ничего и не найдут, так *тем хуже*, – прибавил он вдруг неожиданно.

– Как тем хуже?

– Хуже.

– Не понимаю.

– Друг мой, друг мой, ну пусть в Сибирь, в Архангельск, лишение прав, – погибать так погибать! Но... я другого боюсь (опять шепот, испуганный вид и таинственность).

– Да чего, чего?

– Высекут, – произнес он и с потерянным видом посмотрел на меня.

¹ Вы меня ставите на одну доску с этими людьми! (фр.)

² с этими вольнодумцами от подлости! (фр.)

³ Знаете ли (фр.).

⁴ что я произведу там какой-нибудь скандал (фр.).

⁵ Мой жизненный путь сегодня закончен, я это чувствую (фр.).

⁶ я вам кланюсь (фр.).

⁷ Что вы об этом знаете (фр.).

– Кто вас высечет? Где? Почему? – вскричал я, испугавшись, не сходит ли он с ума.

– Где? Ну, там... где это делается.

– Да где это делается?

– Э, cher, – зашептал он почти на ухо, – под вами вдруг раздвигается пол, вы опускаетесь до половины... Это всем известно.

– Басни! – вскричал я, догадавшись, – старые басни, да неужто вы верили до сих пор? – Я расхохотался.

– Басни! С чего-нибудь да взялись же эти басни; сеченый не расскажет. Я десять тысяч раз представлял себе в воображении!

– Да вас-то, вас-то за что? Ведь вы ничего не сделали?

– Тем хуже, увидят, что ничего не сделал, и высекут.

– И вы уверены, что вас за тем в Петербург повезут!

– Друг мой, я сказал уже, что мне ничего не жаль, *ma carrière est finie*¹. С того часа в Скворешниках, как она простилась со мною, мне не жаль моей жизни... но позор, позор, *que dira-t-elle*², если узнает?

Он с отчаянием взглянул на меня и, бедный, весь покраснел. Я тоже опустил глаза.

– Ничего она не узнает, потому что ничего с вами не будет. Я с вами точно в первый раз в жизни говорю, Степан Трофимович, до того вы меня удивили в это утро.

– Друг мой, да ведь это не страх. Но пусть даже меня простят, пусть опять сюда привезут и ничего не сделают – и вот тут-то я и погиб. *Elle me soupçonnera toute sa vie*...³ меня, меня, поэта, мыслителя, человека, которому она поклонялась двадцать два года!

– Ей и в голову не придет.

– Придет, – прошептал он с глубоким убеждением. – Мы с ней несколько раз о том говорили в Петербурге, в Великий пост, пред выездом, когда оба боялись... *Elle me soupçonnera toute sa vie*... и как разуверить? Выйдет невероятно. Да и кто здесь в городишке поверит, *c'est invraisemblable*... *Et puis les femmes*...⁴ Она обрадуется. Она будет очень огорчена, очень, искренно, как истинный друг, но втайне – обрадуется... Я дам ей оружие против меня на всю жизнь. О, погибла моя жизнь! Двадцать лет такого полного счастья с нею... и вот!

Он закрыл лицо руками.

– Степан Трофимович, не дать ли вам знать сейчас же Варваре Петровне о происшедшем? – предложил я.

– Боже меня упаси! – вздрогнул он и вскочил с места. – Ни за что, никогда, после того, что было сказано при прощанье в Скворешниках, ни-ког-да!

Глаза его засверкали.

Мы просидели, я думаю, еще час или более, все чего-то ожидая, – уж такая задалась идея. Он прилег опять, даже закрыл глаза и минут двадцать пролежал, не говоря ни слова, так что я подумал даже, что он заснул или в забытии. Вдруг он стремительно приподнялся, сорвал с головы полотенце, вскочил с дивана, бросился к зеркалу, дрожащими руками повязал галстук и

¹ мой жизненный путь закончен (фр.).

² что скажет она (фр.).

³ Она будет меня подозревать всю жизнь... (фр.)

⁴ это неправдоподобно... И затем женщины... (фр.)

громовым голосом крикнул Настасью, приказывая подать себе пальто, новую шляпу и палку.

– Я не могу терпеть более, – проговорил он обрывающимся голосом, – не могу, не могу!.. Иду сам.

– Куда? – вскочил я тоже.

– К Лембке. Cher, я должен, я обязан. Это долг. Я гражданин и человек, а не щепка, я имею права, я хочу моих прав... Я двадцать лет не требовал моих прав, я всю жизнь преступно забывал о них... но теперь я их потребую. Он должен мне все сказать, все. Он получил телеграмму. Он не смеет меня мучить, не то арестуй, арестуй, арестуй!

Он восклицал с какими-то взвизгами и топал ногами.

– Я вас одобряю, – сказал я нарочно как можно спокойнее, хотя очень за него боялся, – право, это лучше, чем сидеть в такой тоске, но я не одобряю вашего настроения; посмотрите, на кого вы похожи и как вы пойдете туда. Il faut être digne et calme avec Lembke! Действительно, вы можете теперь броситься и кого-нибудь там укусить.

– Я предаю себя сам. Я иду прямо в львиную пасть...

– Да и я пойду с вами.

– Я ожидал от вас не менее, принимаю вашу жертву, жертву истинного друга, но до дому, только до дому: вы не должны, вы не вправе компрометировать себя далее моим сообществом. О, croyez-moi, je serai calme!² Я сознаю себя в эту минуту à la hauteur de tout ce qu'il y a de plus sacré...³

– Я, может быть, и в дом с вами войду, – прервал я его. – Вчера меня известили из их глупого комитета, чрез Высоцкого, что на меня рассчитывают и приглашают на этот завтрашний праздник в число распорядителей, или как их... в число тех шести молодых людей, которые назначены смотреть за подносами, ухаживать за дамами, отводить гостям место и носить бант из белых с пунсовыми лент на левом плече. Я хотел отказаться, но теперь почему мне не войти в дом под предлогом объясниться с самой Юлией Михайловной... Вот так мы и войдем с вами вместе.

Он слушал, кивая головой, но ничего, кажется, не понял. Мы стояли на пороге.

– Cher, – протянул он руку в угол к лампадке, – cher, я никогда этому не верил, но... пусть, пусть! (Он перекрестился.) Allons!⁴

«Ну, так-то лучше, – подумал я, выходя с ним на крыльцо, – дорогой по-может свежий воздух, и мы поутихнем, воротимся домой и ляжем почивать...»

Но я рассчитывал без хозяина. Дорогой именно как раз случилось приключение, еще более потрясшее и окончательно направившее Степана Трофимовича... так что я, признаюсь, даже и не ожидал от нашего друга такой прыти, какую он вдруг в это утро выказал. Бедный друг, добрый друг!

¹ С Лембке нужно держать себя достойно и спокойно (фр.).

² О, поверьте мне, я буду спокоен! (фр.)

³ на высоте всего, что только есть самого святого (фр.).

⁴ Идемте! (фр.)

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Флибустьеры. Роковое утро

I

Происшествие, случившееся с нами дорогой, было тоже из удивительных. Но надо рассказать все в порядке. Часом раньше того, как мы со Степаном Трофимовичем вышли на улицу, по городу проходила и была многими с любопытством замечена толпа людей, рабочих с шпигулинской фабрики, человек в семьдесят, может и более. Она проходила чинно, почти молча, в нарочном порядке. Потом утверждали, что эти семьдесят были выборные от всех фабричных, которых было у Шпигулиных до девятисот, с тем чтоб идти к губернатору и, за отсутствием хозяев, искать у него управы на хозяйского управляющего, который, закрывая фабрику и отпуская рабочих, нагло обсчитал их всех, — факт, не подверженный теперь никакому сомнению. Другие до сих пор у нас отвергают выбор, утверждая, что семидесяти человек слишком было бы много для выборных, а что просто эта толпа состояла из наиболее обиженных и приходили они просить лишь сами за себя, так что общего фабричного «бунта», о котором потом так прогремели, совсем никакого не было. Третьи с азартом уверяют, что семьдесят эти человек были не простые бунтовщики, а решительно политические, то есть, будучи из самых буйных, были возбуждены, сверх того, не иначе как подметными грамотами. Одним словом, было ли тут чье влияние или подговор — до сих пор в точности неизвестно. Мое же личное мнение, это — что подметных грамот рабочих совсем не читали, а если б и прочли, так не поняли бы из них ни слова, уже по тому одному, что пишущие их, при всей обнаженности их стиля, пишут крайне неясно. Но так как фабричным приходилось в самом деле туго, — а полиция, к которой они обращались, не хотела войти в их обиду, — то что же естественнее было их мысли идти скопом к «самому генералу», если можно, то даже с бумагой на голове, выстроиться чинно перед его крыльцом и, только что он покажется, броситься всем на колени и возопить как бы к самому Провидению? По-моему, тут не надо ни бунта, ни даже выборных, ибо это средство старое, историческое; русский народ искони любил разговор с «самим генералом», собственнно из одного уж удовольствия и даже чем бы сей разговор ни оканчивался.

И потому я совершенно убежден, что хотя Петр Степанович, Липутин, может, и еще кто-нибудь, даже, пожалуй, и Федька, и шмыгали предварительно между фабричными (так как на это обстоятельство действительно существуют довольно твердые указания) и говорили с ними, но наверно не более как с двумя, с тремя, ну с пятью, лишь для пробы, и что из этого разговора ничего не вышло. Что же касается до бунта, то если и поняли что-нибудь из их пропаганды фабричные, то наверно тотчас же перестали и слушать, как о деле глупом и вовсе не подходящем. Другое дело Федька: этому, кажется, посчастливилось более, чем Петру Степановичу. В последовавшем три дня спустя городском пожаре, как несомненно теперь обнаружилось, действительно вместе с Федькой участвовали двое фабричных, и потом, спустя месяц, схвачены были еще трое бывших фабричных в уезде, тоже с поджогом и грабежом. Но если Федька и успел их переманить к прямой, непосредственной деятельности, то опять-таки единственно с их пятерых, ибо о других ничего не слышно было подобного.

Как бы там ни было, но рабочие пришли наконец всю толпою на площадку пред губернаторским домом и выстроились чинно и молча. Затем разинули

рты на крыльцо и начали ждать. Говорили мне, что они будто бы, едва стали, тотчас же и сняли шапки, то есть, может, за полчаса до появления хозяина губернии, которого, как нарочно, не случилось в ту минуту дома. Полиция тотчас же показалась, сначала в отдельных явлениях, а потом и в возможном комплексе; начала, разумеется, грозно, повелевая разойтись. Но рабочие стали в упор, как стадо баранов, дошедшее до забора, и отвечали лаконически, что они к «самому енералу»; видна была твердая решимость. Неестественные окрики прекратились; их быстро сменила задумчивость, таинственная распорядительность шепотом и суровая хлопотливая забота, сморщившая брови начальства. Полицеймейстер предпочел выждать прибытия самого фон Лембке. Это вздор, что он прилетел на тройке во весь опор и еще с дрожек будто бы начал драться. Он у нас действительно летал и любил летать в своих дрожках с желтым задком, и по мере того как «до разврата доведенные пристяжные» сходили все больше и больше с ума, приводя в восторг всех купцов из Гостиного ряда, он подымался на дрожках, становился во весь рост, придерживаясь за нарочно приделанный сбоку ремень, и, простирая правую руку в пространство, как на монументах, обозревал таким образом город. Но в настоящем случае он не дрался, и хотя не мог же он, слетая с дрожек, обойтись без крепкого словца, но сделал это, единственно чтобы не потерять популярности. Еще более вздор, что приведенные были солдаты со штывками и что по телеграфу дано было знать куда-то о присылке артиллерии и казаков: это сказки, которыми не верят теперь сами изобретатели. Вздор тоже, что привезены были пожарные бочки с водой, из которых обливали народ. Просто-запросто Илья Ильич крикнул, разгорячившись, что ни один у него сух из воды не выйдет; вероятно, из этого и сделали бочки, которые и перешли таким образом в корреспонденции столичных газет. Самый верный вариант, надо полагать, состоял в том, что толпу оцепили на первый раз всеми случившимися под рукой полицейскими, а к Лембке послали нарочного, пристава первой части, который и полетел на полицеймейстерских дрожках по дороге в Скворешники, зная, что туда, назад тому полчаса, отправился фон Лембке в своей коляске...

Но, признаюсь, для меня все-таки остается нерешенный вопрос: каким образом пустую, то есть обыкновенную, толпу просителей – правда, в семьдесят человек – так-таки с первого приема, с первого шагу обратили в бунт, угрожавший потрясением основ? Почему сам Лембке накинусь на эту идею, когда явился через двадцать минут вслед за нарочным? Я бы так предположил (но опять-таки личным мнением), что Илье Ильичу, покумившемуся с управляющим, было даже выгодно представить фон Лембке эту толпу в этом свете, и именно чтоб не доводить его до настоящего разбирательства дела; а надоумил его к тому сам же Лембке. В последние два дня он имел с ним два таинственных и экстренных разговора, весьма, впрочем, сбивчивых, но из которых Илья Ильич все-таки усмотрел, что начальство крепко уперлось на идее о прокламациях и о подговоре шпигулинских кем-то к социальному бунту, и до того уперлось, что, пожалуй, само пожалело бы, если бы подговор оказался вздором. «Как-нибудь отличиться в Петербурге хотят, – подумал наш хитрый Илья Ильич, выходя от фон Лембке, – ну что ж, нам и на руку».

Но я убежден, что бедный Андрей Антонович не пожелал бы бунта даже для собственного отличия. Это был чиновник крайне исполнительный, до самой своей женитьбы пребывавший в невинности. Да и он ли был виноват, что вместо невинных казенных дров и столь же невинной Минхен сорокалетняя княжна вознесла его до себя? Я почти положительно знаю, что вот с этого-то рокового

утра и начались первые явные следы того состояния, которое и привело, говорят, бедного Андрея Антоновича в то известное особое заведение Швейцарии, где он будто бы теперь собирается с новыми силами. Но если только допустить, что именно с этого утра обнаружились явные факты *чего-нибудь*, то возможно, по-моему, допустить, что и накануне уже могли случиться проявления подобных же фактов, хотя бы и не так явные. Мне известно, по слухам самым интимнейшим (ну предположите, что сама Юлия Михайловна впоследствии, и уже не в торжестве, а *почти* раскаиваясь, – ибо женщина никогда *вполне* не раскается – сообщила мне частичку этой истории), – известно мне, что Андрей Антонович пришел к своей супруге накануне, уже глубокою ночью, в третьем часу утра, разбудил ее и потребовал выслушать «свой ультиматум». Требование было до того настойчивое, что она принуждена была встать с своего ложа, в негодовании и в папилютках, и, усевшись на кушетке, хотя и с саркастическим презрением, а все-таки выслушать. Тут только в первый раз поняла она, как далеко хватил ее Андрей Антонович, и про себя ужаснулась. Ей бы следовало наконец опомниться и смягчиться, но она скрыла свой ужас и уперлась еще упорнее прежнего. У нее (как и у всякой, кажется, супруги) была своя манера с Андреем Антоновичем, уже не однажды испытанная и не раз доводившая его до иступления. Манера Юлии Михайловны состояла в презрительном молчании, на час, на два, на сутки, и чуть ли не на трое суток, – в молчании во что бы ни стало, что бы он там ни говорил, что бы ни делал, даже если бы полез в окошко броситься из третьего этажа, – манера нестерпимая для чувствительного человека! Наказывала ли Юлия Михайловна своего супруга за его промахи в последние дни и за ревнивую зависть его как градоначальника к ее административным способностям; негодовала ли на его критику ее поведения с молодежью и со всем нашим обществом, без понимания ее тонких и дальновидных политических целей; сердилась ли за тупую и бессмысленную ревность его к Петру Степановичу, – как бы там ни было, но она решилась и теперь не смягчаться, даже несмотря на три часа ночи и еще не виданное ею волнение Андрея Антоновича. Расхаживая вне себя взад и вперед и во все стороны по коврам ее будуара, он изложил ей все, все, правда, безо всякой связи, но зато *все* накипевшее, ибо – «перешло за пределы». Он начал с того, что над ним все смеются и его «водят за нос». «Наплевать на выражение! – привзвизгнул он тотчас же, подхватив ее улыбку, – пусть «за нос», но ведь это правда!...» «Нет, сударыня, настала минута; знаете, что теперь не до смеху и не до приемов женского кокетства. Мы не в будуаре жеманной дамы, а как бы два отвлеченные существа на воздушном шаре, встретившиеся, чтобы высказать правду». (Он, конечно, сбивался и не находил правильных форм для своих, впрочем, верных мыслей.) «Это вы, вы, сударыня, вывели меня из прежнего состояния, я принял это место лишь для вас, для вашего честолюбия... Вы улыбаетесь саркастически? Не торжествуйте, не торопитесь. Знайте, сударыня, знаете, что я бы мог, что я бы сумел справиться с этим местом, и не то что с одним этим местом, а с десятью такими местами, потому что имею способности; но с вами, сударыня, но при вас – нельзя справиться; ибо я при вас не имею способностей. Два центра существовать не могут, а вы их устроили два – один у меня, а другой у себя в будуаре, – два центра власти, сударыня, но я того не позволю, не позволю!! В службе, как и в супружестве, один центр, а два невозможны... Чем отплатили вы мне? – восклицал он далее. – Наше супружество состояло лишь в том, что вы все время, ежечасно доказывали мне, что я ничтожен, глуп и даже подл, а я все время, ежечасно и унижительно принужден был доказывать вам, что я не

ничтожен, совсем не глуп и поражаю всех своим благородством, – ну не унизительно ли это с обеих сторон?» Тут он начал скоро и часто топотать по ковру обеими ногами, так что Юлия Михайловна принуждена была приподняться с суровым достоинством. Он быстро стих, но зато перешел в чувствительность и начал рыдать (да, рыдать), ударяя себя в грудь, почти целые пять минут, все более и более вне себя от глубочайшего молчания Юлии Михайловны. Наконец, окончательно дал маху и проговорился, что ревнует ее к Петру Степановичу. Догадавшись, что сглупил свыше меры, – рассвирепел до ярости и закричал, что «не позволит отвергать Бога»; что он разгонит ее «беспардонный салон без веры»; что градоначальник даже обязан верить в Бога, «а стало быть, и жена его»; что молодых людей он не потерпит; что «вам, вам, сударыня, следовало бы из собственного достоинства позаботиться о муже и стоять за его ум, даже если б он был и с плохими способностями (а я вовсе не с плохими способностями!), а между тем вы-то и есть причина, что все меня здесь презирают, вы-то их всех и настроили!..» Он кричал, что женский вопрос уничтожит, что душок этот выкурит, что нелепый праздник по подписке для гувернанток (черт их дерил!) он завтра же запретит и разгонит; что первую встретившуюся гувернантку он завтра же утром выгонит из губернии «с казаком-с!». «Нарочно, нарочно!» – привзвизгивал он. «Знаете ли, знаете ли, – кричал он, – что на фабрике подговаривают людей ваши негодяи и что мне это известно? Знаете ли, что разбрасывают нарочно прокламации, на-рочно-с! Знаете ли, что мне известны имена четырех негодяев и что я схожу с ума, схожу окончательно, окончательно!!!..» Но тут Юлия Михайловна вдруг прервала молчание и строго объявила, что она давно сама знает о преступных замыслах и что все это глупость, что он слишком серьезно принял, и что касается до шалунов, то она не только тех четверых знает, но и всех (она солгала); но что от этого совсем не намерена сходить с ума, а, напротив, еще более верует в свой ум и надеется все привести к гармоническому окончанию: ободрить молодежь, образумить ее, вдруг и неожиданно доказать им, что их замыслы известны, и затем указать им на новые цели для разумной и более светлой деятельности. О, что случилось в ту минуту с Андреем Антоновичем! Узнав, что Петр Степанович опять надул его и так грубо над ним насмеялся, что ей он открыл гораздо больше и прежде, чем ему, и что, наконец, может быть, сам-то Петр Степанович и есть главный зачинщик всех преступных замыслов, – он пришел в иступление. «Знай, бестолковая, но ядовитая женщина, – воскликнул он, разом порывая все цепи, – знай, что я недостойного твоего любовника сейчас же арестую, закую в кандалы и препровожу в равелин или – или выпрыгну сам сейчас в твоих глазах из окошка!» На эту тираду Юлия Михайловна, позеленев от злобы, разразилась немедленно хохотом, долгим, звонким, с переливом и перекатами, точь-в-точь как на французском театре, когда парижская актриса, выписанная за сто тысяч и играющая кокеток, смеется в глаза над мужем, осмелившимся приревновать ее. Фон Лембке бросился было к окну, но вдруг остановился как вкопанный, сложил на груди руки и, бледный как мертвец, зловещим взглядом посмотрел на смеющуюся. «Знаешь ли, знаешь ли, Юля... – проговорил он задыхаясь, умоляющим голосом, – знаешь ли, что и я могу что-нибудь сделать?» Но при новом, еще сильнее взрыве хохота, последовавшем за его последними словами, он стиснул зубы, застонал и вдруг бросился – не в окно – а на свою супругу, занеся над нею кулак! Он не опустил его, – нет, трижды нет; но зато пропал тут же на месте. Не слыша под собою ног, добежал он к себе в кабинет, как был, одетый, бросился ничком на посланную ему постель, судорожно закутался весь с головой в простыню и так пролежал часа два, – без сна, без раз-

мышлений, с камнем на сердце и с тупым, неподвижным отчаянием в душе. Изредка вздрагивал он всем телом мучительно лихорадочною дрожью. Вспомнились ему какие-то несвязные вещи, ни к чему не подходящие: то он думал, например, о старых стенных часах, которые были у него лет пятнадцать назад в Петербурге и от которых отвалилась минутная стрелка; то о развеселом чиновнике Мильбуа и как они с ним в Александровском парке поймали раз воробья, а поймав, вспомнили, смеясь на весь парк, что один из них уже коллежский асессор. Я думаю, он заснул часов в семь утра, не заметив того, спал с наслаждением, с прелестными снами. Проснувшись около десяти часов, он вдруг дико вскочил с постели, разом вспомнил все и плотно ударил себя ладонью по лбу: ни завтрака, ни Блюма, ни полицеймейстера, ни чиновника, явившегося напомнить, что члены –ского собрания ждут его председательства в это утро, он не принял, он ничего не слышал и не хотел понимать, а побежал как шальной на половину Юлии Михайловны. Там Софья Антроповна, старушка из благородных, давно уже проживавшая у Юлии Михайловны, растолковала ему, что та еще в десять часов изволила отправиться в большой компании, в трех экипажах, к Варваре Петровне Ставрогиной в Скворешники, чтоб осмотреть тамошнее место для будущего, уже второго, замышляемого праздника, через две недели, и что так еще три дня тому было условлено с самою Варварой Петровной. Пораженный известием, Андрей Антонович возвратился в кабинет и стремительно приказал лошадей. Даже едва мог дождаться. Душа его жаждала Юлии Михайловны – взглянуть только на нее, побыть около нее пять минут; может быть, она на него взглянет, заметит его, улыбнется по-прежнему, простит – о-о! «Да что же лошади?» Машинально развернул он лежавшую на столе толстую книгу (иногда он загадывал так по книге, развертывая наудачу и читая на правой странице, сверху, три строки). Вышло: «*Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles*». Voltaire, «Candide»¹. Он плюнул и побежал садиться: «В Скворешники!» Кучер рассказывал, что барин погонял всю дорогу, но только что стали подъезжать к господскому дому, он вдруг велел повернуть и везти опять в город: «Поскорей, пожалуйста, поскорей». Не доезжая городского валу, «они мне велели снова остановиться, вышли из экипажа и прошли через дорогу в поле; думал, что по какой ни есть слабости, а они стали и начали цветочки рассматривать и так время стояли, чудно, право, совсем уже я усумнился». Так показывал кучер. Я припоминаю в то утро погоду: был холодный и ясный, но ветреный сентябрьский день; пред зашедшим за дорогу Андреем Антоновичем расстилался суровый пейзаж обнаженного поля с давно уже убраным хлебом; завывавший ветер колыхал какие-нибудь жалкие остатки умиравших желтых цветочков... Хотелось ли ему сравнить себя и судьбу свою с чахлыми и побитыми осенью и морозом цветочками? Не думаю. Даже думаю наверно, что нет и что он вовсе и не помнил ничего про цветочки, несмотря на показания кучера и подъехавшего в ту минуту на полицеймейстерских дрожжах пристава первой части, утверждавшего потом, что он действительно застал начальство с пучком желтых цветов в руке. Этот пристав – восторженно-административная личность, Василий Иванович Флибустьеров, был еще недавним гостем в нашем городе, но уже отличился и прогремел своею непомерною ревностью, своим каким-то наскоком во всех приемах по исполнительской части и прирожденным нетрезвым состоянием. Соскочив с дрожек и не усумнившись нимало при виде занятий начальства, с сумасшедшим, но убежденным видом, он залпом доложил, что «в городе неспокойно».

¹ «Все к лучшему в этом лучшем из возможных миров». Вольтер, «Кандид» (фр.).

– А? что? – обернулся к нему Андрей Антонович, с лицом строгим, но без малейшего удивления или какого-нибудь воспоминания о коляске и кучере, как будто у себя в кабинете.

– Пристав первой части Флибустьеров, ваше превосходительство. В городе бунт.

– Флибустьеры? – переговорил Андрей Антонович в задумчивости.

– Точно так, ваше превосходительство. Бунтуют шпигулинские.

– Шпигулинские!..

Что-то как бы напомнилось ему при имени «шпигулинские». Он даже вздрогнул и поднял палец ко лбу: «шпигулинские!» Молча, но все еще в задумчивости, пошел он, не торопясь, к коляске, сел и велел в город. Пристав на дрожках за ним.

Я воображаю, что ему смутно представлялись дорогою многие весьма интересные вещи, на многие темы, но вряд ли он имел какую-нибудь твердую идею или какое-нибудь определенное намерение при въезде на площадь перед губернаторским домом. Но только лишь завидел он выстроившуюся и твердо стоявшую толпу «бунтовщиков», цепь городских, бессильного (а может быть, и нарочно бессильного) полицеймейстера и общее устремленное к нему ожидание, как вся кровь прилила к его лицу. Бледный, он вышел из коляски.

– Шапки долой! – проговорил он едва слышно и задыхаясь. – На колени! – взвизгнул он неожиданно, неожиданно для самого себя, и вот в этой-то неожиданности и заключалась, может быть, вся последовавшая развязка дела. Это как на горах на масленице; ну можно ли, чтобы санки, слетевшие сверху, остановились посредине горы? Как назло себе, Андрей Антонович всю жизнь отличался ясностью характера и ни на кого никогда не кричал и не топал ногами; а с такими опаснее, если раз случится, что их санки почему-нибудь вдруг сорвутся с горы. Все пред ним закружилось.

– Флибустьеры! – проповил он еще визгливее и нелепее, и голос его пресекся. Он стал, еще не зная, что он будет делать, но зная и ощущая всем существом своим, что непременно сейчас что-то сделает.

«Господи!» – послышалось из толпы. Какой-то парень начал креститься; три, четыре человека действительно хотели было стать на колени, но другие подвинулись всею громадой шага на три вперед и вдруг все разом загалдели: «Ваше превосходительство... рядили по сороку... управляющий... ты не моги говорить» и т. д., и т. д. Ничего нельзя было разобрать.

Увы! Андрей Антонович не мог разбирать: цветочки еще были в руках его. Бунт ему был очевиден, как давеча кибитки Степану Трофимовичу. А между толпою выпучивших на него глаза «бунтовщиков» так и сновал пред ним «возбуждавший» их Петр Степанович, не покидавший его ни на один момент со вчерашнего дня, – Петр Степанович, ненавидимый им Петр Степанович...

– Розог! – крикнул он еще неожиданное.

Наступило мертвое молчание.

Вот как произошло это в самом начале, судя по точнейшим сведениям и по моим догадкам. Но далее сведения становятся не так точны, равно как и мои догадки. Имеются, впрочем, некоторые факты.

Во-первых, розги явились как-то уж слишком поспешно; очевидно, были в ожидании припасены догадливым полицеймейстером. Наказаны, впрочем, были всего двое, не думаю, чтобы даже трое; на этом настаиваю. Сушая выдумка, что наказаны были все или по крайней мере половина людей. Вздор тоже, что будто бы какая-то проходившая мимо бедная, но благородная дама была схвачена и

немедленно для чего-то высечена; между тем я сам читал об этой даме спустя в корреспонденции одной из петербургских газет. Многие говорили у нас о какой-то кладбищенской богаделенке, Авдотье Петровне Тарапыгиной, что будто бы она, возвращаясь из гостей назад в свою богадельню и проходя по площади, протеснилась между зрителями, из естественного любопытства, и, видя происходящее, воскликнула: «Экой страм!» – и плюнула. За это ее будто бы подхватили и тоже «отрапортовали». Об этом случае не только напечатали, но даже устроили у нас в городе сгоряча ей подписку. Я сам подписал двадцать копеек. И что же? Оказывается теперь, что никакой такой богаделенки Тарапыгиной совсем у нас и не было! Я сам ходил справляться в их богадельню на кладбище: ни о какой Тарапыгиной там и не слыхивали; мало того, очень обиделись, когда я рассказал им ходивший слух. Я же потому, собственно, упоминаю об этой несуществовавшей Авдотье Петровне, что со Степаном Трофимовичем чуть-чуть не случилось того же, что и с нею (в случае, если б та существовала в действительности); даже, может быть, с него-то как-нибудь и взялся весь этот нелепый слух о Тарапыгиной, то есть просто в дальнейшем развитии сплетни взяли да и переделали его в какую-то Тарапыгину. Главное, не понимаю, каким образом он от меня ускользнул, только что мы с ним вышли на площадь. Предчувствуя что-то очень недоброе, я хотел было обвести его кругом площади прямо к губернаторскому крыльцу, но залюбопытствовался сам и остановился лишь на одну минуту расспросить какого-то первого встречного, и вдруг смотрю, Степана Трофимовича уж нет подле меня. По инстинкту тотчас же бросился я искать его в самом опасном месте; мне почему-то предчувствовалось, что и у него санки полетели с горы. И действительно, он отыскался уже в самом центре события. Помню, я схватил его за руку; но он тихо и гордо посмотрел на меня с непомерным авторитетом:

– Cher, – произнес он голосом, в котором задрожала какая-то надорванная струна. – Если уж все они тут, на площади, при нас так бесцеремонно распоряжаются, то чего же ждать хоть от *этого...* если случится ему действовать самостоятельно.

И он, дрожа от негодования и с непомерным желанием вызова, перевел свой грозный обличительный перст на стоявшего в двух шагах и выпучившего на нас глаза Флибустьерова.

– *Этого!* – воскликнул тот, не взвидя света. – Какого этого? А ты кто? – подступил он, сжав кулак. – Ты кто? – проревел он бешено, болезненно и отчаянно (замечу, что он отлично знал в лицо Степана Трофимовича). Еще мгновение, и, конечно, он схватил бы его за шиворот; но, к счастью, Лембке повернул на крик голову. С недоумением, но пристально посмотрел он на Степана Трофимовича, как бы что-то соображая, и вдруг нетерпеливо замахал рукой. Флибустьеров осекся. Я потащил Степана Трофимовича из толпы. Впрочем, может быть, он уже и сам желал отступить.

– Домой, домой, – настаивал я, – если нас не прибили, то, конечно, благодаря Лембке.

– Идите, друг мой, я виновен, что вас подвергаю. У вас будущность и карьера своего рода, а я – *mon heure a sonné*¹.

Он твердо ступил на крыльцо губернаторского дома. Швейцар меня знал; я объявил, что мы оба к Юлии Михайловне. В приемной зале мы уселись и стали ждать. Я не хотел оставлять моего друга, но лишним находил еще что-нибудь

¹ мой час пробил (*фр.*).

ему говорить. Он имел вид человека, обрекшего себя вроде как бы на верную смерть за отечество. Расселись мы не рядом, а по разным углам, я ближе ко входным дверям, он далеко напротив, задумчиво склонив голову и обеими руками слегка опираясь на трость. Широкополую шляпу свою он придерживал в левой руке. Мы просидели так минут десять.

II

Лембке вдруг вошел быстрыми шагами, в сопровождении полицеймейстера, рассеянно поглядел на нас и, не обратив внимания, прошел было направо в кабинет, но Степан Трофимович стал пред ним и заслонил дорогу. Высокая, совсем непохожая на других фигура Степана Трофимовича произвела впечатление; Лембке остановился.

— Кто это? — пробормотал он в недоумении, как бы с вопросом к полицеймейстеру, нимало, впрочем, не повернув к нему головы и все продолжая осматривать Степана Трофимовича.

— Отставной коллежский асессор Степан Трофимов Верховенский, ваше превосходительство, — ответил Степан Трофимович, осанисто наклоняя голову. Его превосходительство продолжал всматриваться, впрочем весьма тупым взглядом.

— О чем? — и он с начальническим лаконизмом, брезгливо и нетерпеливо повернул к Степану Трофимовичу ухо, приняв его наконец за обыкновенного просителя с какою-нибудь письменною просьбой.

— Был сегодня подвергнут домашнему обыску чиновником, действовавшим от имени вашего превосходительства; потому желал бы...

— Имя? имя? — нетерпеливо спросил Лембке, как бы вдруг о чем-то догадавшись. Степан Трофимович еще осанистее повторил свое имя.

— А-а-а! Это... это тот рассадник... Милостивый государь, вы заявили себя с такой точки... Вы профессор? Профессор?

— Когда-то имел честь прочесть несколько лекций юношеству — ского университета.

— Ю-но-шеству! — как бы вздрогнул Лембке, хотя, бьюсь об заклад, еще мало понимал, о чем идет дело и даже, может быть, с кем говорит. — Я, милостивый государь мой, этого не допущу-с, — рассердился он вдруг ужасно. — Я юношества не допускаю. Это всё прокламации. Это наскок на общество, милостивый государь, морской наскок, флибустьерство... О чем изволите просить?

— Напротив, ваша супруга просила меня читать завтра на ее празднике. Я же не прошу, а пришел искать прав моих...

— На празднике? Праздника не будет. Я вашего праздника не допущу-с! Лекций? лекций? — вскричал он бешено.

— Я бы очень желал, чтобы вы говорили со мной повежливее, ваше превосходительство, не топали ногами и не кричали на меня, как на мальчика.

— Вы, может быть, понимаете, с кем говорите? — покраснел Лембке.

— Совершенно, ваше превосходительство.

— Я ограждаю собою общество, а вы его разрушаете. Разрушаете! Вы... Я, впрочем, об вас припоминаю: это вы состояли гувернером в доме генеральши Ставрогиной?

— Да, я состоял... гувернером... в доме генеральши Ставрогиной.

— И в продолжение двадцати лет составляли рассадник всего, что теперь накопилось... все плоды... Кажется, я вас сейчас видел на площади. Бой-

тесь, однако, милостивый государь, бойтесь; ваше направление мыслей известно. Будьте уверены, что я имею в виду. Я, милостивый государь, лекций ваших не могу допустить, не могу-с. С такими просьбами обращайтесь не ко мне.

Он опять хотел было пройти.

– Повторяю, что вы изволите ошибаться, ваше превосходительство: это ваша супруга просила меня прочесть – не лекцию, а что-нибудь литературное на завтрашнем празднике. Но я и сам теперь от чтения отказываюсь. Покорнейшая просьба моя объяснить мне, если возможно: каким образом, за что и почему я подвергнут был сегодняшнему обыску? У меня взяли некоторые книги, бумаги, частные, дорогие для меня письма и повезли по городу в тачке...

– Кто обыскивал? – встрепенулся и опомнился совершенно Лембке и вдруг весь покраснел. Он быстро обернулся к полицеймейстеру. В сию минуту в дверях показалась согбенная, длинная, неуклюжая фигура Блюма.

– А вот этот самый чиновник, – указал на него Степан Трофимович. Блюм выступил вперед с виноватым, но вовсе не сдающимся видом.

– *Vous ne faites que des bêtises*¹, – с досадой и злобой бросил ему Лембке и вдруг как бы весь преобразился и разом пришел в себя. – Извините... – пролепетал он с чрезвычайным замешательством и краснея как только можно, – это все... все это была одна лишь, вероятно, неловкость, недоразумение... одно лишь недоразумение.

– Ваше превосходительство, – заметил Степан Трофимович, – в молодости я был свидетелем одного характерного случая. Раз в театре, в коридоре, некто быстро приблизился к кому-то и дал тому при всей публике звонкую пощечину. Разглядев тотчас же, что пострадавшее лицо было вовсе не то, которому назначалась его пощечина, а совершенно другое, лишь несколько на то похожее, он, со злобой и торопясь, как человек, которому некогда терять золотого времени, произнес точь-в-точь как теперь ваше превосходительство: «Я ошибся... извините, это недоразумение, одно лишь недоразумение». И когда обиженный человек все-таки продолжал обижаться и закричал, то с чрезвычайною досадой заметил ему: «Ведь говорю же вам, что это недоразумение, чего же вы еще кричите!»

– Это... это, конечно, очень смешно... – криво улыбнулся Лембке, – но... но неужели вы не видите, как я сам несчастен?

Он почти вскрикнул и... и, кажется, хотел закрыть лицо руками.

Это неожиданное болезненное восклицание, чуть не рыдание, было нестерпимо. Это, вероятно, была минута первого полного, со вчерашнего дня, яркого сознания всего происшедшего – и тотчас же затем отчаяния, полного, унижительного, предающегося; кто знает, – еще мгновение, и он, может быть, зарыдал бы на всю залу. Степан Трофимович сначала дико посмотрел на него, потом вдруг склонил голову и глубоко проникнутым голосом произнес:

– Ваше превосходительство, не беспокойте себя более моею сварливою жалобой и велите только возвратить мне мои книги и письма...

Его прервали. В это самое мгновение с шумом возвратилась Юлия Михайловна со всею сопровождавшею ее компанией. Но тут мне хотелось бы описать как можно подробнее.

¹ Вы делаете одни только глупости (*фр.*).

III

Во-первых, все разом, из всех трех колясок, толпой вступили в приемную. Вход в покои Юлии Михайловны был особый, прямо с крыльца, налево; но на сей раз все направились через залу – и, я полагаю, именно потому, что тут находился Степан Трофимович и что все с ним случившееся, равно как и все о шпигулинских, уже было возведено Юлии Михайловне при въезде в город. Успел возвестить Лямшин, за какую-то провинность оставленный дома и не участвовавший в поездке и таким образом раньше всех все узнавший. С злобною радостью бросился он на наемной казачьей клячонке по дороге в Скворешники, навстречу возвращавшейся кавалькаде, с веселыми известиями. Я думаю, Юлия Михайловна, несмотря на всю свою высшую решимость, все-таки немного сконфузилась, услышав такие удивительные новости; впрочем, вероятно, на одно только мгновение. Политическая, например, сторона вопроса не могла ее озаботить: Петр Степанович уже раза четыре внушал ей, что шпигулинских буянов надо бы всех пересечь, а Петр Степанович, с некоторого времени, действительно стал для нее чрезвычайным авторитетом. «Но... все-таки он мне за это заплатит», – наверно, подумала она про себя, причем *он*, конечно, относилось к супругу. Мельком замечу, что Петр Степанович на этот раз в общей поездке тоже, как нарочно, не участвовал, и с самого утра его никто нигде не видал. Упомяну еще, кстати, что Варвара Петровна, приняв у себя гостей, возвратилась вместе с ними в город (в одной коляске с Юлией Михайловной), с целью участвовать непременно в последнем заседании комитета о завтрашнем празднике. Ее, конечно, должны были тоже заинтересовать известия, сообщенные Лямшиным о Степане Трофимовиче, а может быть, даже и взволновать.

Расплата с Андреем Антоновичем началась немедленно. Увы, он почувствовал это с первого взгляда на свою прекрасную супругу. С открытым видом, с обворожительною улыбкой, быстро приблизилась она к Степану Трофимовичу, протянула ему прелестно гантированную ручку и засыпала его самыми лестными приветствиями, – как будто у ней только и заботы было во все это утро, что поскорей подбежать и обласкать Степана Трофимовича за то, что видит его наконец в своем доме. Ни одного намека об утрешнем обыске; точно как будто она еще ничего не знала. Ни одного слова мужу, ни одного взгляда в его сторону, – как будто того и не было в зале. Мало того, Степана Трофимовича тотчас же властно конфисковала и увела в гостиную, – точно и не было у него никаких объяснений с Лембке, да и не стоило их продолжать, если б и были. Опять повторяю: мне кажется, что, несмотря на весь свой высокий тон, Юлия Михайловна в сем случае дала еще раз большого маху. Особенно помог ей тут Кармазинов (участвовавший в поездке по особой просьбе Юлии Михайловны и таким образом, хотя косвенно, сделавший наконец визит Варваре Петровне, чем та, по малодушию своему, была совершенно восхищена). Еще из дверей (он вошел позже других) закричал он, завидев Степана Трофимовича, и полез к нему с объятиями, перебивая даже Юлию Михайловну.

– Сколько лет, сколько зим! Наконец-то... *Excellent ami*¹.

Он стал целоваться и, разумеется, подставил щеку. Потерявшийся Степан Трофимович принужден был облобызывать ее.

– *Cher*, – говорил он мне уже вечером, припоминая все о тогдашнем дне, – я подумал в ту минуту: кто из нас подлее? Он ли, обнимающий меня с тем, чтобы

¹ Добрейший друг (*фр.*).

тут же унизить, я ли, презирующий его и его щеку и тут же ее лобызающий, хотя и мог отвернуться... тьфу!

– Ну расскажите же, расскажите все, – мямлил и сюсюкал Кармазинов, как будто так и можно было взять и рассказать ему всю жизнь за двадцать пять лет. Но это глупенькое легкомыслие было в «высшем» тоне.

– Вспомните, что мы виделись с вами в последний раз в Москве, на обеде в честь Грановского, и что с тех пор прошло двадцать четыре года... – начал было очень резонно (а стало быть, очень не в высшем тоне) Степан Трофимович.

– *Se cher homme*¹, – крикливо и фамильярно перебил Кармазинов, слишком уж дружески сжимая рукой его плечо, – да отведите же нас поскорее к себе, Юлия Михайловна, он там сядет и все расскажет.

– А между тем я с этою раздражительною бабой никогда и близок-то не был, – трясаясь от злобы, все тогда же вечером, продолжал мне жаловаться Степан Трофимович. – Мы были почти еще юношами, и уже тогда я начинал его ненавидеть... равно как и он меня, разумеется...

Салон Юлии Михайловны быстро наполнился. Варвара Петровна была в особенно возбужденном состоянии, хотя и старалась казаться равнодушною, но я уловил ее два-три ненавистных взгляда на Кармазинова и гневных на Степана Трофимовича, – гневных заранее, гневных из ревности, из любви: если бы Степан Трофимович на этот раз как-нибудь оплошал и дал себя срезать при всех Кармазинову, то, мне кажется, она тотчас бы вскочила и прибила его. Я забыл сказать, что тут же находилась и Лиза, и никогда еще я не видал ее более радостною, беспечно веселою и счастливою. Разумеется, был и Маврикий Николаевич. Затем в толпе молодых дам и полураспущенных молодых людей, составлявших обычную свиту Юлии Михайловны и между которыми эта распущенность принималась за веселость, а грошовый цинизм за ум, я заметил два-три новых лица: какого-то заезжего, очень юлившего поляка, какого-то немца-доктора, здорового старика, громко и с наслаждением смеявшегося поминутно собственным своим вицам, и, наконец, какого-то очень молодого князька из Петербурга, автоматической фигуры, с осанкой государственного человека и в ужасно длинных воротничках. Но видно было, что Юлия Михайловна очень ценила этого гостя и даже беспокоилась за свой салон...

– *Cher monsieur Karmazinoff*², – заговорил Степан Трофимович, картинно усевшись на диване и начав вдруг сюсюкать не хуже Кармазинова, – *cher monsieur Karmazinoff*, жизнь человека нашего прежнего времени и известных убеждений, хотя бы и в двадцатипятилетний промежуток, должна представляться однообразною...

Немец громко и отрывисто захохотал, точно заржал, очевидно полагая, что Степан Трофимович сказал что-то ужасно смешное. Тот с выделанным изумлением посмотрел на него, не произведя, впрочем, на того никакого эффекта. Посмотрел и князь, повернувшись к немцу всеми своими воротничками и наставив пенсне, хотя и без малейшего любопытства.

– ...Должна представляться однообразною, – нарочно повторил Степан Трофимович, как можно длиннее и бесцеремоннее растягивая каждое слово. – Такова была и моя жизнь за всю эту четверть столетия, *et comme on trouve*

¹ Дражайший (фр.).

² Дорогой господин Кармазинов (фр.).

partout plus de moines que de raison¹, и так как я с этим совершенно согласен, то и вышло, что я во всю эту четверть столетия...

– C'est charmant, les moines², – прошептала Юлия Михайловна, повернувшись к сидевшей подле Варваре Петровне.

Варвара Петровна ответила гордым взглядом. Но Кармазинов не вынес успеха французской фразы и быстро и крикливо перебил Степана Трофимовича.

– Что до меня, то я на этот счет успокоен и сижу вот уже седьмой год в Карльсруэ. И когда прошлого года городским советом положено было проложить новую водосточную трубу, то я почувствовал в своем сердце, что этот карльсруйский водосточный вопрос милее и дороже для меня всех вопросов моего милого отечества... за все время так называемых здешних реформ.

– Принужден сочувствовать, хотя бы и против сердца, – вздохнул Степан Трофимович, многозначительно наклоняя голову.

Юлия Михайловна торжествовала: разговор становился и глубоким, и с направлением.

– Труба для стока нечистот? – громко осведомился доктор.

– Водосточная, доктор, водосточная, и я даже тогда помогал им писать проект.

Доктор с треском захохотал. За ним многие, и уже на этот раз в глаза доктору, который этого не заметил и ужасно был доволен, что все смеются.

– Позвольте не согласиться с вами, Кармазинов, – поспешила вставить Юлия Михайловна. – Карльсруэ своим чередом, но вы любите мистифицировать, и мы на этот раз вам не поверим. Кто из русских людей, из писателей, выставил столько самых современных типов, угадал столько самых современных вопросов, указал именно на те главные современные пункты, из которых составляется тип современного деятеля? Вы, один вы, и никто другой. Уверяйте после того в вашем равнодушии к родине и в страшном интересе к карльсруйской водосточной трубе! Ха-ха!

– Да, я, конечно, – засюсюкал Кармазинов, – выставил в типе Погожева все недостатки славянофилов, а в типе Никодимова все недостатки западников...

– Уж будто и *все*, – прошептал тихонько Лямшин.

– Но я делаю это вскользь, лишь бы как-нибудь убить неотвязчивое время и... удовлетворить всяким этим неотвязчивым требованиям соотечественников.

– Вам, вероятно, известно, Степан Трофимович, – восторженно продолжала Юлия Михайловна, – что завтра мы будем иметь наслаждение услышать прелестные строки... одно из самых последних изящнейших беллетристических вдохновений Семена Егоровича, оно называется «Merci». Он объявляет в этой пьесе, что писать более не будет, не станет ни за что на свете, если бы даже ангел с неба или, лучше сказать, все высшее общество его упрашивало изменить решение. Одним словом, кладет перо на всю жизнь, и это грациозное «Merci» обращено к публике в благодарность за тот постоянный восторг, которым она сопровождала столько лет его постоянное служение честной русской мысли.

Юлия Михайловна была наверху блаженства.

– Да, я распрощаюсь; скажу свое «Merci» и уеду, и там... в Карльсруэ... закрою глаза свои, – начал мало-помалу раскисать Кармазинов.

Как многие из наших великих писателей (а у нас очень много великих писателей), он не выдерживал похвал и тотчас же начинал слабеть, несмотря на

¹ и так как монахов везде встречаешь чаще, чем здравый смысл (фр.).

² Это прелестно, о монахах (фр.).

свое остроумие. Но я думаю, что это простительно. Говорят, один из наших Шекспиров прямо так и брякнул в частном разговоре, что, «дескать, нам, *великим людям*, иначе и нельзя» и т. д., да еще и не заметил того.

– Там, в Карльсруэ, я закрою глаза свои. Нам, великим людям, остается, сделав свое дело, поскорее закрывать глаза, не ища награды. Сделаю так и я.

– Дайте адрес, и я приеду к вам в Карльсруэ на вашу могилу, – безмерно расхохотался немец.

– Теперь мертвых и по железным дорогам пересылают, – неожиданно проговорил кто-то из незначительных молодых людей.

Лямшин так и завизжал от восторга. Юлия Михайловна нахмурилась. Вошел Николай Ставрогин.

– А мне сказали, что вас взяли в часть? – громко проговорил он, обращаясь прежде всех к Степану Трофимовичу.

– Нет, это был всего только *частный* случай, – скаламбурил Степан Трофимович.

– Но надеюсь, что он не будет иметь ни малейшего влияния на мою просьбу, – опять подхватила Юлия Михайловна, – я надеюсь, что вы, невзирая на эту несчастную неприятность, о которой я не имею до сих пор понятия, не обманете наших лучших ожиданий и не лишите нас наслаждения услышать ваше чтение на литературном утре.

– Я не знаю, я... теперь...

– Право, я так несчастна, Варвара Петровна... и представьте, именно когда я так жаждала поскорее узнать лично одного из самых замечательных и независимых русских умов, и вот вдруг Степан Трофимович изъявляет намерение от нас удалиться.

– Похвала произнесена так громко, что я, конечно, должен был бы не слышать, – отчеканил Степан Трофимович, – но не верю, чтобы моя бедная личность была так необходима завтра для вашего праздника. Впрочем, я...

– Да вы его избалуете! – прокричал Петр Степанович, быстро вбегая в комнату. – Я только лишь взял его в руки, и вдруг в одно утро – обыск, арест, полицейский хватает его за шиворот, а вот теперь его убаюкивают дамы в салоне градоправителя! Да у него каждая косточка ноет теперь от восторга; ему и во сне не снился такой бенефис. То-то начнет теперь на социалистов доносить!

– Быть не может, Петр Степанович. Социализм слишком великая мысль, чтобы Степан Трофимович не сознавал того, – с энергией заступилась Юлия Михайловна.

– Мысль великая, но исповедующие не всегда великаны, *et brisons-là, mon cher!*, – заключил Степан Трофимович, обращаясь к сыну и красиво приподымаясь с места.

Но тут случилось самое неожиданное обстоятельство. Фон Лембке уже несколько времени находился в салоне, но как бы никем не примеченный, хотя все видели, как он вошел. Настроенная на прежнюю идею, Юлия Михайловна продолжала его игнорировать. Он поместился около дверей и мрачно, с строгим видом прислушивался к разговорам. Заслышав намеки об утренних происшествиях, он стал как-то беспокойно повертываться, уставился было на князя, видимо пораженный его торчащими вперед, густо накрахмаленными воротничками; потом вдруг точно вздрогнул, заслышав голос и увидев вбежавшего Пет-

¹ и на этом кончим, мой милый (*фр.*).

ра Степановича, и, только что Степан Трофимович успел проговорить свою сентенцию о социалистах, вдруг подошел к нему, толкнув по дороге Лямина, который тотчас же отскочил с выделанным жестом и изумлением, потирая плечо и представляясь, что его ужасно больно ушибли.

– Довольно! – проговорил фон Лембке, энергически схватив испуганного Степана Трофимовича за руку и изо всех сил сжимая ее в своей. – Довольно, флибустьеры нашего времени определены. Ни слова более. Меры приняты...

Он проговорил громко, на всю комнату, заключил энергически. Произведенное впечатление было болезненное. Все почувствовали нечто неблагоприятное. Я видел, как Юлия Михайловна побледнела. Эффект завершился глупой случайностью. Объявив, что меры приняты, Лембке круто повернулся и быстро пошел из комнаты, но с двух шагов запнулся за ковер, клюнулся носом вперед и чуть было не упал. На мгновение он остановился, поглядел на то место, о которое запнулся, и, вслух проговорив: «Переменить», – вышел в дверь. Юлия Михайловна побежала вслед за ним. С ее выходом поднялся шум, в котором трудно было что-нибудь разобрать. Говорили, что «расстроено», другие, что «подвержено». Третьи показывали пальцем около лба; Лямшин в уголку наставил два пальца выше лба. Намекали на какие-то домашние происшествия, все шепотом разумеется. Никто не брался за шляпу, а все ожидали. Я не знаю, что успела сделать Юлия Михайловна, но минут через пять она воротилась, стараясь изо всех сил казаться спокойною. Она отвечала уклончиво, что Андрей Антонович немного в волнении, но что это ничего, что с ним это еще с детства, что она знает «гораздо лучше» и что завтрашний праздник, конечно, развеселит его. Затем еще несколько лестных, но единственно для приличия, слов Степану Трофимовичу и громкое приглашение членам комитета теперь же, сейчас, открыть заседание. Тут только стали было не участвовавшие в комитете собираться домой; но болезненные приключения этого рокового дня еще не окончились...

Еще в самую ту минуту, как вошел Николай Всеволодович, я заметил, что Лиза быстро и пристально на него поглядела и долго потом не отводила от него глаз, – до того долго, что под конец это возбудило внимание. Я видел, что Маврикий Николаевич нагнулся к ней сзади и, кажется, хотел было что-то ей пошептать, но, видно, переменял намерение и быстро выпрямился, оглядывая всех как виноватый. Возбудил любопытство и Николай Всеволодович: лицо его было бледнее обыкновенного, а взгляд необычайно рассеян. Бросив свой вопрос Степану Трофимовичу при входе, он как бы забыл о нем тотчас же, и, право, мне кажется, так и забыл подойти к хозяйке. На Лизу не взглянул ни разу, – не потому, что не хотел, а потому, утверждаю это, что и ее тоже во все не замечал. И вдруг, после некоторого молчания, последовавшего за приглашением Юлии Михайловны открыть, не теряя времени, последнее заседание, – вдруг раздался звонкий, намеренно громкий голос Лизы. Она позвала Николая Всеволодовича.

– Николай Всеволодович, мне какой-то капитан, называющий себя вашим родственником, братом вашей жены, по фамилии Лебядкин, все пишет неприличные письма и в них жалуется на вас, предлагая мне открыть какие-то про вас тайны. Если он в самом деле ваш родственник, то запретите ему меня обижать и избавьте от неприятностей.

Страшный вызов послышался в этих словах, все это поняли. Обвинение было явное, хотя, может быть, и для нее самой внезапное. Похоже было на то, когда человек, зажмуря глаза, бросается с крыши.

Но ответ Николая Ставрогина был еще изумительнее.

Во-первых, уже то было странно, что он вовсе не удивился и выслушал Лизу с самым спокойным вниманием. Ни смущения, ни гнева не отразилось в лице его. Просто, твердо, даже с видом полной готовности ответил он на роковой вопрос:

– Да, я имею несчастье состоять родственником этого человека. Я муж его сестры, урожденной Лебядиной, вот уже скоро пять лет. Будьте уверены, что я передам ему ваши требования в самом скорейшем времени, и отвечаю, что более он не будет вас беспокоить.

Никогда не забуду ужаса, изобразившегося в лице Варвары Петровны. С безумным видом привстала она со стула, приподняв пред собою, как бы защищаясь, правую руку. Николай Всеволодович посмотрел на нее, на Лизу, на зрителей и вдруг улыбнулся с беспредельным высокомерием; не торопясь вышел он из комнаты. Все видели, как Лиза вскочила с дивана, только лишь повернулся Николай Всеволодович уходить, и явно сделала движение бежать за ним, но опомнилась и не побежала, а тихо вышла, тоже не сказав никому ни слова и ни на кого не взглянув, разумеется в сопровождении бросившегося за нею Маврикия Николаевича...

О шуме и речах в городе в этот вечер не упоминаю. Варвара Петровна заперлась в своем городском доме, а Николай Всеволодович, говорили, прямо проехал в Скворешники, не выдавшись с матерью. Степан Трофимович посылал меня вечером к «*cette chère amie*» вымолить ему разрешение явиться к ней, но меня не приняли. Он был поражен ужасно, плакал. «Такой брак! Такой брак! Такой ужас в семействе», – повторял он поминутно. Однако вспоминал и про Кармазинова и ужасно бранил его. Энергически приготавлился и к завтрашнему чтению и – художественная натура! – приготавлился пред зеркалом и припоминал все свои острые словца и каламбурчики за всю жизнь, записанные отдельно в тетрадку, чтобы вставить в завтрашнее чтение.

– Друг мой, я это для великой идеи, – говорил он мне, очевидно оправдываясь. – *Cher ami*, я двинулся с двадцатипятилетнего места и вдруг поехал, куда – не знаю, но я поехал...

Часть третья

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Праздник. Отдел первый

I

Праздник состоялся, несмотря ни на какие недоумения прошедшего «шпигулинского» дня. Я думаю, что если бы даже Лембке умер в ту самую ночь, то праздник все-таки бы состоялся наутро, – до того много соединяла с ним какого-то особенного значения Юлия Михайловна. Увы, она до последней минуты находилась в ослеплении и не понимала настроения общества. Никто под конец не верил, что торжественный день пройдет без какого-нибудь колоссального приключения, без «развязки», как выражались иные, заранее потирая руки. Многие, правда, старались принять самый нахмуренный и политический вид; но, вообще говоря, непомерно веселит русского человека всякая общественная скандальная суматоха. Правда, было у нас нечто и весьма посерьезнее одной лишь жажды скандала: было всеобщее раздражение, что-то неутолимо злобное; казалось, всем все надоело ужасно. Воцарился какой-то всеобщий сбивчивый цинизм, цинизм через силу, как бы с натуги. Только дамы не сбивались, и то в одном только пункте: в беспощадной ненависти к Юлии Михайловне. В этом сошлись все дамские направления. А та, бедная, и не подозревала; она до последнего часу все еще была уверена, что «окружена» и что ей всё еще «преданы фанатически».

Я уже намекал о том, что у нас появились разные людишки. В смутное время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки. Я не про тех так называемых «передовых» говорю, которые всегда спешат прежде всех (главная забота) и хотя очень часто с глупейшею, но все же с определенною более или менее целью. Нет, я говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки «передовых», которые действуют с определенною целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов, что, впрочем, тоже случается. У нас вот говорят теперь, когда уже все прошло, что Петром Степановичем управляла Интернационалка, а Петр Степанович Юлией Михайловной, а та уже регулировала по его команде всякую сволочь. Солиднейшие из наших умов дивятся теперь на себя: как это они тогда вдруг оплошали? В чем состояло наше смутное время и от чего к чему был у нас переход – я не знаю, да и никто, я думаю, не знает – разве вот некоторые посторонние гости. А между тем дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать все священное, тогда как прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать; а иные так позорнейшим образом подхихикивать. Какие-то Лямшины, Телятниковы, помещики Тентетниковы, доморощенные сопляки Радищевы, скорбно, но надменно улыбающиеся жидашки, хохотуны заезжие путеше-

стенники, поэты с направлением из столицы, поэты взамен направления и таланта в поддевках и смазных сапогах, майоры и полковники, смеющиеся над бессмысленностью своего звания и за лишний рубль готовые тотчас же снять свою шпагу и улизнуть в писаря на железную дорогу; генералы, перебежавшие в адвокаты; развитые посредники, развивающиеся купчики, бесчисленные семинаристы, женщины, изображающие собою женский вопрос, – все это вдруг у нас взяло полный верх, и над кем же? Над клубом, над почтенными сановниками, над генералами на деревянных ногах, над строжайшим и неприступнейшим нашим дамским обществом. Уж если Варвара Петровна, до самой катастрофы с ее сынком, состояла чуть не на посылках у всей этой сволочи, то другим из наших Минерв отчасти и простительна их тогдашняя одурь. Теперь все приписывают, как я уже и сказал, Интернационалке. Идея эта до того укрепилась, что в этом смысле доносят даже наехавшим посторонним. Еще недавно советник Кубриков, шестидесяти двух лет и со Станиславом на шее, пришел безо всякого зову и проникнутым голосом объявил, что в продолжение целых трех месяцев несомненно состоял под влиянием Интернационалки. Когда же, со всем уважением к его летам и заслугам, пригласили его объяснить удовлетворительнее, то он хотя и не мог представить никаких документов, кроме того, что «ощущал всеми своими чувствами», но тем не менее твердо остался при своем заявлении, так что его уже более не допрашивали.

Повторю еще раз. Сохранилась и у нас маленькая кучка особ осторожных, уединившихся в самом начале и даже затворившихся на замок. Но какой замок устоит пред законом естественным? В самых осторожнейших семействах так же точно растут девицы, которым необходимо потанцевать. И вот все эти особы тоже кончили тем, что подписались на гувернанток. Бал же предполагался такой блистательный, непомерный; рассказывали чудеса; ходили слухи о заезжих князьях с лорнетами, о десяти распорядителях, все молодых кавалерах, с бантами на левом плече; о петербургских каких-то двигателях; о том, что Кармазинов, для приумножения сбору, согласился прочесть «Мерси» в костюме гувернантки нашей губернии; о том, что будет «кадриль литературы», тоже вся в костюмах, и каждый костюм будет изображать собою какое-нибудь направление. Наконец, в костюме же пропляшет и какая-то «честная русская мысль», – что уже само собою представляло совершенную новость. Как же было не подписаться? Все подписались.

II

Праздничный день по программе был разделен на две части: на литературное утро, с полудня до четырех, и потом на бал, с девяти часов во всю ночь. Но в самом этом распоряжении уже таились зародыши беспорядка. Во-первых, с самого начала в публике укрепился слух о завтраке, сейчас после литературного утра или даже во время оно, при нарочно устроенном для того перерыве, – о завтраке, разумеется, даровом, входящем в программу, и с шампанским. Огромная цена билета (три рубля) способствовала укоренению слуха. «А то стал бы я по-пустому подписываться? Праздник предполагается сутки, ну и корми. Народ проголодается», – вот как у нас рассуждали. Я должен признаться, что сама же Юлия Михайловна и укоренила этот пагубный слух чрез свое легкомыслие. С месяц назад, еще под первым обаянием великого замысла, она лепетала о своем празднике первому встречному, а о том, что у нее будут провозглашены тосты, послала даже в одну из столичных газет. Ее, главное, прельщали тогда эти тосты: она сама хотела провозгласить их и в ожидании все сочиняла их. Они должны были разъяснить наше главное знамя (какое? бьюсь об заклад, бедняжка так

ничего и не сочинила), перейти в виде корреспонденций в столичные газеты, умилить и очаровать высшее начальство, а затем разлететься по всем губерниям, возбуждая удивление и подражание. Но для тостов необходимо шампанское, а так как шампанское нельзя же пить натошак, то, само собою, необходим стал и завтрак. Потом, когда уже ее усилиями устроился комитет и приступили к делу серьезнее, то ей тотчас же и ясно было доказано, что если мечтать о пирах, то на гувернанток очень мало останется, даже и при богатейшем сборе. Вопрос представил таким образом два исхода: вальтасаровский пир и тосты, и рублей девяносто на гувернанток, или – осуществление значительного сбора при празднике, так сказать, только для формы. Комитет, впрочем, только хотел задать страху, сам же, конечно, придумал третье решение, примиряющее и благоразумное, то есть весьма порядочный праздник во всех отношениях, только без шампанского, и таким образом в остатке сумма весьма приличная, гораздо больше девяноста рублей. Но Юлия Михайловна не согласилась; ее характер презирал мещанскую средину. Она тут же положила, что если первая мысль неосуществима, то немедленно и всецело броситься в обратную крайность, то есть осуществить колоссальный сбор на зависть всем губерниям. «Должна же наконец понять публика, – заключила она свою пламенную комитетскую речь, – что достижение общечеловеческих целей несравненно возвышеннее минутных наслаждений телесных, что праздник в сущности есть только провозглашение великой идеи, а потому должно удовольствоваться самым экономическим, немецким балком, единственно для аллегории и если уж совсем без этого несносного бала обойтись невозможно!» – до того она вдруг возненавидела его. Но ее наконец успокоили. Тогда-то, например, выдумали и предложили «кадриль литературы» и прочие эстетические вещи, для замещения ими наслаждений телесных. Тогда же и Кармазинов окончательно согласился прочесть «Мерси» (а до тех пор только томил и мямлил) и тем истребить даже самую идею еды в умах нашей неводержной публики. Таким образом опять-таки бал становился великолепнейшим торжеством, хотя и не в том уже роде. А чтобы не уходить совсем в облака, решили, что в начале бала можно будет подать чаю с лимоном и кругленьким печением, потом оршад и лимонад, а под конец даже и мороженое, но и только. Для тех же, которые непременно всегда и везде ощущают голод и, главное, жажду, – можно открыть в конце анфилады комнат особый буфет, которым и займется Прохорыч (главный клубный повар), и – впрочем, под строжайшим надзором комитета – будет подавать, что угодно, но за особую плату, а для того нарочно объявить в дверях залы надписью, что буфет – вне программы. Но утром положили совсем не открывать буфета, чтобы не помешать чтению, несмотря на то что буфет назначался за пять комнат до белой залы, в которой Кармазинов согласился прочесть «Мерси». Любопытно, что этому событию, то есть чтению «Мерси», кажется придали в комитете слишком уже колоссальное значение, и даже самые практические люди. Что же до людей поэтических, то предводительша, например, объявила Кармазинову, что она после чтения велит тотчас же вделать в стену своей белой залы мраморную доску с золотой надписью, что такого-то числа и года, здесь, на сем месте, великий русский и европейский писатель, кладя перо, прочел «Мерси» и таким образом в первый раз простился с русскою публикой в лице представителей нашего города, и что эту надпись все уже прочтут на бале, то есть всего только пять часов спустя после того, как будет прочитано «Мерси». Я наверно знаю, что Кармазинов-то, главное, и потребовал, чтобы буфета утром не было, пока он будет читать, ни под каким видом, несмотря на замечания иных комитетских, что это не совсем в наших нравах.

В таком положении были дела, когда в городе все еще продолжали верить в вальтасаровский пир, то есть в буфет от комитета; верили до последнего часа. Даже барышни мечтали о множестве конфет и варенья и еще чего-то неслыханного. Все знали, что сбор осуществился богатейший, что ломится весь город, что едут из уездов и недостает билетов. Известно было тоже, что сверх положенной цены состоялись и значительные пожертвования: Варвара Петровна, например, заплатила за свой билет триста рублей и отдала на украшение залы все цветы из своей оранжереи. Предводительша (член комитета) дала дом и освещение; клуб – музыку и прислугу и на весь день уступил Прохорыча. Были и еще жертвования, хотя и не столь крупные, так что даже приходила мысль сбавить первоначальную цену билета с трех рублей на два. Комитет действительно сперва опасался, что по три рубля не поедут барышни, и предлагал устроить как-нибудь билеты посемейные, а именно, чтобы каждое семейство платило за одну лишь барышню, а все остальные барышни, принадлежащие к этой фамилии, хотя бы в числе десяти экземпляров, входили даром. Но все опасения оказались напрасными: напротив, барышни-то и явились. Даже самые беднейшие чиновники привезли своих девиц, и слишком ясно, не будь у них девиц, им самим и в мысль не пришло бы подписаться. Один ничтожнейший секретарь привез всех своих семейных дочерей, не считая, разумеется, супруги, и еще племянницу, и каждая из этих особ держала в руке входной трехрублевый билет. Можно, однако, представить, какая была в городе революция! Взять уже то, что так как праздник был разделен на два отделения, то и костюмов дамских потребовалось по два на каждую – утренний для чтения и бальный для танцев. Многие из среднего класса, как оказалось потом, заложили к этому дню все, даже семейное белье, даже простыни и чуть ли не тюфяки нашим жидам, которых, как нарочно, вот уже два года ужасно много укрепилось в нашем городе и наезжает чем дальше, тем больше. Почти все чиновники забрали вперед жалованье, а иные помещики продали необходимый скот, и все только чтобы привезти маркизами своих барышень и быть никого не хуже. Великолепие костюмов на сей раз было по нашему месту неслыханное. Город еще за две недели был начинен семейными анекдотами, которые все тотчас же переносились ко двору Юлии Михайловны нашими зубоскалами. Стали ходить семейные карикатуры. Я сам видел в альбоме Юлии Михайловны несколько в этом роде рисунков. Обо всем этом стало слишком хорошо известно там, откуда выходили анекдоты; вот почему, мне кажется, и выросла такая ненависть в семействах к Юлии Михайловне в самое последнее время. Теперь все бранятся и, вспоминая, скрежещут зубами. Но ясно было еще заранее, что не угоди тогда в чем-нибудь комитет, оплошай в чем-нибудь бал, и взрыв негодования будет неслыханный. Вот почему всяк про себя и ожидал скандала; а если уж так его ожидали, то как мог он не осуществиться?

Ровно в полдень загредел оркестр. Будучи в числе распорядителей, то есть в числе двенадцати «молодых людей с бантом», я сам своими глазами видел, как начался этот позорной памяти день. Началось с непомерной давки у входа. Как это случилось, что все оплошало с самого первого шагу, начиная с полиции? Я настоящую публику не виню: отцы семейств не только не теснились и никого не теснили, несмотря на чины свои, но, напротив, говорят, сконфузились еще на улице, видя необычайный по нашему городу напор толпы, которая осаждала подъезд и рвалась на приступ, а не просто входила. Меж тем экипажи всё подъезжали и наконец запрудили улицу. Теперь, когда пишу, я имею твердые данные утверждать, что некоторые из мерзейшей сволочи нашего города были просто проведены Лямшиным и Липутиным без билетов, а может быть, и еще кое-кем,

состоявшими в распорядителях, как и я. По крайней мере, явились даже совсем неизвестные личности, съехавшиеся из уездов и еще откуда-то. Эти дикари, только лишь вступали в залу, тотчас же в одно слово (точно их подучили) осведомлялись, где буфет, и, узнав, что нет буфета, безо всякой политики и с необычною до сего времени у нас дерзостью начинали браниться. Правда, иные из них пришли пьяные. Некоторые были поражены, как дикие, великолепием залы предводительши, так как ничего подобного никогда не видавали, и, входя, на минуту затихали и осматривались разиня рот. Эта большая Белая зала, хотя и ветхой уже постройки, была в самом деле великолепна: огромных размеров, с два света, с расписанным по-старинному и отделанным под золото потолком, с хорами, с зеркальными простенками, с красною по белому драпировкою, с мраморными статуями (какими ни на есть, но все же статуями), с старинною, тяжелою, наполеоновского времени мебелью, белою с золотом и обитою красным бархатом. В описываемый момент в конце залы возвышалась высокая эстрада для имеющих читать литераторов, а вся зала сплошь была уставлена, как партер театра, стульями с широкими проходами для публики. Но после первых минут удивления начинались самые бессмысленные вопросы и заявления. «Мы, может быть, еще и не хотим чтения... Мы деньги заплатили... Публика нагло обманута... Мы хозяева, а не Лембки!..» Одним словом, точно их для этого и впустили. Особенно вспоминаю одно столкновение, в котором отличился вчерашний заезжий князек, бывший вчера утром у Юлии Михайловны, в стоячих воротничках и с видом деревянной куклы. Он тоже, по неотступной ее просьбе, согласился пришить к своему левому плечу бант и стать нашим товарищем-распорядителем. Оказалось, что эта немая восковая фигура на пружинах умела если не говорить, то в своем роде действовать. Когда к нему пристал один рябой колосальный отставной капитан, опираясь на целую кучку всякой толпившейся за ним сволочи: куда пройти в буфет? — он мигнул квартальному. Указание было немедленно выполнено: несмотря на брань пьяного капитана, его вытащили из залы. Меж тем начала наконец появляться и «настоящая» публика и тремя длинными нитями потянулась по трем проходам между стульями. Беспорядочный элемент стал утихать, но у публики, даже у самой «чистой», был недовольный и изумленный вид; иные же из дам просто были испуганы.

Наконец разместились; утихла и музыка. Стали сморкаться, осматриваться. Ожидали с слишком уже торжественным видом — что уже само по себе всегда дурной признак. Но «Лембок» еще не было. Шелки, бархаты, бриллианты сияли и горели со всех сторон; по воздуху разнеслось благовоние. Мужчины были при всех орденах, а старички так даже в мундирах. Явилась наконец и предводительша, вместе с Лизой. Никогда еще Лиза не была так ослепительно прелестна, как в это утро и в таком пышном туалете. Волосы ее были убраны в локонах, глаза сверкали, на лице сияла улыбка. Она видимо произвела эффект; ее осматривали, про нее шептались. Говорили, что она ищет глазами Ставрогина, но ни Ставрогина, ни Варвары Петровны не было. Я не понял тогда выражения ее лица: почему столько счастья, радости, энергии, силы было в этом лице? Я припоминал вчерашний случай и становился в тупик. Но «Лембков», однако, все еще не было. Это была уже ошибка. Я после узнал, что Юлия Михайловна до последней минуты ожидала Петра Степановича, без которого в последнее время и ступить не могла, несмотря на то что никогда себе в этом не сознавалась. Замечу в скобках, что Петр Степанович накануне, в последнем комитетском заседании, отказался от распорядительского банта, чем очень ее огорчил, даже до слез. К удивлению, а потом и к чрезвычайному ее смущению (о чем объявляю вперед), он исчез на все утро и на литера-

турное чтение совсем не явился, так что до самого вечера его никто не встречал. Наконец публика начала обнаруживать явное нетерпение. На эстраде тоже никто не показывался. В задних рядах начали аплодировать, как в театре. Старики и барыни хмурились: «Лембки», очевидно, уже слишком важничали. Даже в лучшей части публики начался нелепый шепот о том, что праздника, пожалуй, и в самом деле не будет, что сам Лембке, пожалуй, и в самом деле так нездоров, и пр., и пр. Но, слава Богу, Лембке наконец явились: он вел ее под руку; я, признаюсь, и сам ужасно опасался за их появление. Но басни, стало быть, падали, и правда брала свое. Публика как будто отдохнула. Сам Лембке, казалось, был в полном здорovie, как, помню, заключили и все, потому что можно предположить, сколько на него обратилось взглядов. Замечу для характеристики, что и вообще очень мало было таких из нашего высшего общества, которые предполагали, что Лембке чем-нибудь таким нездоров; деяния же его находили совершенно нормальными и даже так, что вчерашнюю утрешнюю историю на площади приняли с одобрением. «Так-то бы и сначала, – говорили сановники. – А то приедут филантропами, а кончат все тем же, не замечая, что оно для самой филантропии необходимо», – так по крайней мере рассудили в клубе. Осуждали только, что он при этом погорячился. «Это надо бы хладнокровнее, ну да человек внове», – говорили знатоки. С такою же жадностью все взоры обратились и к Юлии Михайловне. Конечно, никто не вправе требовать от меня как от рассказчика слишком точных подробностей касательно одного пункта: тут тайна, тут женщина; но я знаю только одно: ввечеру вчерашнего дня она вошла в кабинет Андрея Антоновича и пробыла с ним гораздо позже полуночи. Андрей Антонович был прощен и утешен. Супруги согласились во всем, все было забыто, и когда, в конце объяснения, фон Лембке все-таки стал на колени, с ужасом вспоминая о главном заключительном эпизоде прошлой ночи, то прелестная ручка, а за нею и уста супруги заградили пламенные излияния покаянных речей рыцарски деликатного, но ослабленного умилением человека. Все видели на лице ее счастье. Она шла с открытым видом и в великолепном костюме. Казалось, она была наверху желаний; праздник – цель и венец ее политики – был осуществлен. Проходя до своих мест, перед самою эстрадой, оба Лембке раскланивались и отвечали на поклоны. Они тотчас же были окружены. Предводительница встала им навстречу... Но тут случилось одно скверное недоразумение: оркестр ни с того ни с сего грянул туш, – не какой-нибудь марш, а просто столовый туш, как у нас в клубе за столом, когда на официальном обеде пьют чье-нибудь здоровье. Я теперь знаю, что об этом постарался Лямшин в своем качестве распорядителя, будто бы в честь входящих «Лембок». Конечно, он мог всегда отговориться тем, что сделал по глупости или по чрезмерной ревности... Увы, я еще не знал тогда, что они об отговорках уже не заботились и с сегодняшним днем все заканчивали. Но тушем не кончилось: вместе с досадным недоумением и улыбками публики вдруг в конце залы и на хорах раздалось ура, тоже как бы в честь Лембке. Голосов было немного, но, признаюсь, они продолжались некоторое время. Юлия Михайловна вспыхнула, глаза ее засверкали. Лембке остановился у своего места и, обернувшись в сторону кричавших, величественно и строго оглядывал залу... Его поскорее посадили. Я опять со страхом заметил на его лице ту опасную улыбку, с которою он стоял вчера поутру в гостиной своей супруги и смотрел на Степана Трофимовича, прежде чем к нему подошел. Мне показалось, что и теперь в его лице какое-то зловещее выражение и, что хуже всего, несколько комическое, – выражение существа, приносящего, так и быть, себя в жертву, чтобы только угодить высшим целям своей супруги... Юлия Михайловна наскоро поманила меня к себе и прошептала, чтоб я бежал к Кармазинову и умолял его начинать. И вот, только

что я успел повернуться, произошла другая мерзость, но только гораздо сквернее первой. На эстраде, на пустой эстраде, куда до сей минуты обращались все взоры и все ожидания и где только и видели небольшой стол, пред ним стул, а на столе стакан воды на серебряном подносыке, – на пустой эстраде вдруг мелькнула колоссальная фигура капитана Лебядкина во фраке и в белом галстуке. Я так был поражен, что не поверил глазам своим. Капитан, казалось, сконфузился и приостановился в углублении эстрады. Вдруг в публике послышался крик: «Лебядкин! ты?» Глупая красная рожа капитана (он был совершенно пьян) при этом оклике раздвинулась широкою тупою улыбкой. Он поднял руку, потер ею лоб, тряхнул своею мохнатой головой и, как будто решившись на все, шагнул два шага вперед и – вдруг фыркнул смехом, не громким, но залихватым, длинным, счастливым, от которого заколыхалась вся его деbeatая масса и съезжились глазки. При этом виде чуть не половина публики засмеялась, двадцать человек зааплодировали. Публика серьезная мрачно переглядывалась; все, однако, продолжалось не более полминуты. На эстраду вдруг взбежали Липутин с своим распорядительским бантом и двое слуг; они осторожно подхватили капитана под руки, а Липутин что-то пошептал ему. Капитан нахмурился, пробормотал: «А ну, коли так», махнул рукой, повернул к публике свою огромную спину и скрылся с провожатыми. Но мгновение спустя Липутин опять вскочил на эстраду. На губах его была самая сладчайшая из всегдашних его улыбок, обыкновенно напоминающих уксус с сахаром, а в руках листок почтовой бумаги. Мелкими, но частыми шагами подошел он к переднему краю эстрады.

– Господа, – обратился он к публике, – по недосмотру произошло комическое недоразумение, которое и устранено; но я с надеждою взял на себя поручение и глубокую, самую почтительную просьбу одного из местных здешних наших стихотворцев... Проникнутый гуманною и высокою целью... несмотря на свой вид... тою самою целью, которая соединила нас всех... отереть слезы бедных образованных девушек нашей губернии... этот господин, то есть я хочу сказать этот здешний поэт... при желании сохранить инкогнито... очень желал бы видеть свое стихотворение прочитанным пред началом бала... то есть я хотел сказать – чтения. Хотя это стихотворение не в программе и не входит... потому что полчас, как доставлено... но *нам* (кому нам? Я слово в слово привожу эту отрывистую и сбивчивую речь) показалось, что по замечательной наивности чувства, соединенного с замечательною тоже веселостью, стихотворение могло бы быть прочитано, то есть не как нечто серьезное, а как нечто подходящее к торжеству... Одним словом, к идее... Тем более что несколько строк... и хотел просить разрешения благосклоннейшей публики.

– Читайте! – рявкнул голос в конце залы.

– Так читать-с?

– Читайте, читайте! – раздалось много голосов.

– Я прочту-с, с позволения публики, – покривился опять Липутин все с тою же сахарною улыбкой. Он все-таки как бы не решался, и мне даже показалось, что он в волнении. При всей дерзости этих людей все-таки иногда они спотыкаются. Впрочем, семинарист не споткнулся бы, а Липутин все же принадлежал к обществу прежнему.

– Я предупреждаю, то есть имею честь предупредить, что это все-таки не то чтоб ода, как писались прежде на праздники, а это почти, так сказать, шутка, но при несомненном чувстве, соединенном с игривою веселостью и, так сказать, при самореальнейшей правде.

– Читай, читай!

Он развернул бумажку. Разумеется, его никто не успел остановить. К тому же он являлся с своим распорядительским бантом. Звонким голосом он продекламировал:

– Отечественной гувернантке здешних мест от поэта с праздника.

Здравствуй, здравствуй, гувернантка!
Веселись и торжествуй,
Ретроградка иль жорж-зандка,
Все равно теперь ликуй!

– Да это Лебядкина! Лебядкина и есть! – отозвалось несколько голосов. Раздался смех и даже аплодисмент, хотя и немногочисленный.

Учишь ты детей сопливых
По-французски букварю
И подмигивать готова,
Чтобы взял, хоть понмарю!

– Ура! ура!

Но в наш век реформ великих
Не возьмет и пономарь:
Надо, барышня, «толиких»,
Или снова за букварь.

– Именно, именно, вот это реализм, без «толиких» ни шагу!

Но теперь, когда, пируя,
Мы собрали капитал,
И приданое, танцуя,
Шлем тебе из этих зал, –

Ретроградка иль жорж-зандка,
Все равно теперь ликуй!
Ты с приданым, гувернантка,
Плой на все и торжествуй!

Признаюсь, я не верил ушам своим. Тут была такая явная наглость, что возможности не было извинить Липутина даже глупостью. А Липутин уж как был не глуп. Намерение было ясное, для меня по крайней мере: как будто торопились беспорядком. Некоторые стихи этого идиотского стихотворения, например самый последний, были такого рода, что никакая глупость не могла бы его допустить. Липутин, кажется, и сам почувствовал, что слишком много взял на себя: совершив свой подвиг, он так опешил от собственной дерзости, что даже не уходил с эстрады и стоял, как будто желая что-то еще прибавить. Он, верно, предполагал, что выйдет как-нибудь в другом роде; но даже кучка безобразников, аплодировавшая во время выходки, вдруг замолкла, тоже как бы опешившая. Глупее всего, что многие из них приняли всю выходку патетически, то есть вовсе не за пасквиль, а действительно за реальную правду насчет гувернантки, за стишки с направлением. Но излишняя развязность стихов поразила наконец и их. Что же до всей публики, то вся зала не только была скандализирована, но видимо обиделась. Я не ошибаюсь, передавая впечатление. Юлия Михайловна говорила потом, что еще мгновение, и она бы упала в обморок. Один из самых наипочтеннейших старичков поднял свою старушку, и оба вышли из залы под

проводжавшими их тревожными взглядами публики. Кто знает, может быть, пример увлек бы и еще некоторых, если бы в ту минуту не явился на эстраду сам Кармазинов, во фраке и в белом галстуке и с тетрадью в руке. Юлия Михайловна обратила на него восторженный взгляд, как на избавителя... Но я уже был за кулисами; мне надо было Липутина.

– Это вы нарочно! – проговорил я, хватая его в негодовании за руку.

– Я, ей-Богу, никак не думал, – скорчился он, тотчас же начиная лгать и прикидываться несчастным, – стишки только что сейчас принесли, я и подумал, что как веселая шутка...

– Вовсе вы этого не подумали. Неужто вы находите эту бездарную дрянь веселою шуткой?

– Да-с, нахожу-с.

– Вы просто лжете, и вовсе вам не сейчас принесли. Вы сами это сочинили с Лебядкиным вместе, может быть еще вчера, для скандалу. Последний стих непременно ваш, про пономаря тоже. Почему он вышел во фраке? Значит, вы его и читать готовили, если б он не напился пьян?

Липутин холодно и язвительно посмотрел на меня.

– Вам-то что за дело? – спросил он вдруг с странным спокойствием.

– Как что? Вы тоже носите этот бант... Где Петр Степанович?

– Не знаю; здесь где-нибудь; а что?

– А то, что я теперь вижу насквозь. Это просто заговор против Юлии Михайловны, чтоб оскандалить день...

Липутин опять искоса посмотрел на меня.

– Да вам-то что? – ухмыльнулся он, пожал плечами и отошел в сторону.

Меня как бы обдало. Все мои подозрения оправдывались. А я-то еще надеялся, что ошибаюсь! Что мне было делать? Я было думал посоветоваться со Степаном Трофимовичем, но тот стоял пред зеркалом, примеривал разные улыбки и непрерывно справлялся с бумажкой, на которой у него были сделаны отметки. Ему сейчас после Кармазинова следовало выходить, и разговаривать со мною он уже был не в состоянии. Бежать к Юлии Михайловне? Но к той было рано: той надо было гораздо покрепче урок, чтоб исцелить ее от убеждения в «окруженности» и во всеобщей к ней «фанатической преданности». Она бы мне не поверила и сочла духовидцем. Да и чем она могла помочь? «Э, – подумал я, – да ведь и в самом деле мне-то что за дело, сниму бант и уйду домой, *когда начнется*». Я так и произнес «когда начнется», я это помню.

Но надо было идти слушать Кармазинова. Оглянувшись в последний раз за кулисами, я заметил, что тут шныряет-таки довольно постороннего народа и даже женщин, выходят и уходят. Эти «за кулисы» было довольно узкое пространство, отгороженное от публики наглухо занавесью и сообщавшееся сзади через коридор с другими комнатами. Тут наши читавшие ожидали своей очереди. Но меня особенно поразил в это мгновение следующий после Степана Трофимовича лектор. Это был тоже какой-то вроде профессора (я и теперь не знаю в точности, кто он такой), удалившийся добровольно из какого-то заведения после какой-то студенческой истории и заехавший зачем-то в наш город всего только несколько дней назад. Его тоже рекомендовали Юлии Михайловне, и она приняла его с благоговением. Я знаю теперь, что он был у ней всего только на одном вечере до чтения, весь тот вечер промолчал, двусмысленно улыбался шуткам и тону компании, окружавшей Юлию Михайловну, и на всех произвел впечатление неприятное надменным и в то же время до пугливости обидчивым своим видом. Это сама Юлия Михайловна его завербовала читать. Теперь он ходил

из угла в угол и тоже, как и Степан Трофимович, шептал про себя, но смотрел в землю, а не в зеркало. Улыбок не примерял, хотя часто и плотоядно улыбался. Ясно, что и с ним тоже нельзя было говорить. Ростом он был мал, лет сорока на вид, лысый и плешивый, с седоватою бородкой, одет прилично. Но всего интереснее было, что он с каждым поворотом подымал вверх свой правый кулак, мотал им в воздухе над головою и вдруг опускал его вниз, как будто разбивая в прах какого-то противника. Этот фокус проделывал он поминутно. Мне стало жутко. Поскорее побежал я слушать Кармазинова.

III

В зале опять носилось что-то неладное. Объявляю заранее: я преклоняюсь пред величием гения; но к чему же эти господа наши гении в конце своих славных лет поступают иногда совершенно как маленькие мальчишки? Ну что же в том, что он Кармазинов и вышел с осанкою пятерых камергеров? Разве можно продержаться на одной статье такую публику, как наша, целый час? Вообще я сделал замечание, что будь разгений, но в публичном легком литературном чтении нельзя занимать собою публику более двадцати минут безнаказанно. Правда, выход великого гения встречен был до крайности почтительно. Даже самые строгие старички изъявили одобрение и любопытство, а дамы так даже некоторый восторг. Аплодисмент, однако, был коротенький и как-то недружный, сбившийся. Зато в задних рядах ни единой выходки, до самого того мгновения, когда господин Кармазинов заговорил, да и тут почти ничего не вышло особенно дурного, а так, как будто недоразумение. Я уже прежде упоминал, что у него был слишком крикливый голос, несколько даже женственный, и притом с настоящим благородным дворянским присюсюкиванием. Только лишь произнес он несколько слов, вдруг кто-то громко позволил себе засмеяться, – вероятно, какой-нибудь неопытный дурачок, не выдавший еще ничего светского, и притом при врожденной смешливости. Но демонстрации не было ни малейшей; напротив, дураку же и зашикали, и он уничтожился. Но вот господин Кармазинов, жеманясь и тонируя, объявляет, что он «сначала ни за что не соглашался читать» (очень надо было объявлять!). «Есть, дескать, такие строки, которые до того выпеваются из сердца, что и сказать нельзя, так что эту такую святыню никак нельзя нести в публику» (ну так зачем же понес?); «но так как его упростили, то он и понес, и так как, сверх того, он кладет перо навеки и поклялся более ни за что не писать, то уж так и быть, написал эту последнюю вещь; и так как он поклялся ни за что и ничего никогда не читать в публике, то уж так и быть, прочтет эту последнюю статью публике» и т. д., и т. д. – все в этом роде.

Но все бы это ничего, и кто не знает авторских предисловий? Хотя замечу, при малой образованности нашей публики и при раздражительности задних рядов это все могло повлиять. Ну не лучше ли было бы прочитать маленькую повесть, крошечный рассказик в том роде, как он прежде писывал, – то есть хоть обточенно и жеманно, но иногда с остроумием? Этим было бы все спасено. Нет-с, не тут-то было! Началась рацея! Боже, чего тут не было! Положительно скажу, что даже столичная публика доведена была бы до столбняка, не только наша. Представьте себе почти два печатных листа самой жеманной и бесполезной болтовни; этот господин вдобавок читал еще как-то свысока, пригорюнясь, точно из милости, так что выходило даже с обидой для нашей публики. Тема... Но кто ее мог разобрать, эту тему? Это был какой-то отчет о каких-то впечатлениях, о каких-то воспоминаниях. Но чего? Но об чем? Как ни хмурились наши губернские лбы целую полови-

ну чтения, ничего не могли одолеть, так что вторую половину прослушали лишь из учтивости. Правда, много говорилось о любви, о любви гения к какой-то особе, но, признаюсь, это вышло несколько неловко. К небольшой толстенькой фигурке гениального писателя как-то не шло бы рассказывать, на мой взгляд, о своем первом поцелуе... И, что опять-таки обидно, эти поцелуи происходили как-то не так, как у всего человечества. Тут непременно кругом растет дрок (непременно дрок или какая-нибудь такая трава, о которой надобно справляться в ботанике). При этом на небе непременно какой-то фиолетовый оттенок, которого, конечно, никто никогда не примечал из смертных, то есть и все видели, но не умели приметить, а «вот, дескать, я поглядел и описываю вам, дуракам, как самую обыкновенную вещь». Дерево, под которым уселась интересная пара, непременно какого-нибудь оранжевого цвета. Сидят они где-то в Германии. Вдруг они видят Помпея или Кассия накануне сражения, и обоих пронизывает холод восторга. Какая-то русалка запищала в кустах. Глюк заиграл в тростнике на скрипке. Пьеса, которую он играл, названа *en toutes lettres*¹, но никому не известна, так что об ней надо справляться в музыкальном словаре. Меж тем за клубился туман, так за клубился, так за клубился, что более похож был на миллион подушек, чем на туман. И вдруг все исчезает, и великий гений переправляется зимой в оттепель через Волгу. Две с половиною страницы переправы, но все-таки попадает в прорубь. Гений тонет, – вы думаете, утонул? И не думал; это все для того, что когда он уже совсем утонул и захлебывался, то перед ним мелькнула льдинка, крошечная льдинка с горошинку, но чистая и прозрачная, «как замороженная слеза», и в этой льдинке отразилась Германия или, лучше сказать, небо Германии, и радужною игрой своею отражение напомнило ему ту самую слезу, которая, «помнишь, скатилась из глаз твоих, когда мы сидели под изумрудным деревом и ты воскликнула радостно: «Нет преступления!» «Да, – сказал я сквозь слезы, – но коли так, то ведь нет и праведников». Мы зарыдали и расстались навеки». – Она куда-то на берег моря, и в какие-то пещеры; и вот он спускается, спускается, три года спускается в Москве под Сухаревою башней, и вдруг в самых недрах земли, в пещере находит лампадку, а перед лампадкой схимника. Схимник молится. Гений приникает к крошечному решетчатому оконцу и вдруг слышит вздох. Вы думаете, это схимник вздохнул? Очень ему надо вашего схимника! Нет-с, просто-запросто этот вздох «напомнил ему ее первый вздох, тридцать семь лет назад», когда, «помнишь, в Германии, мы сидели под агатовым деревом, и ты сказала мне: «К чему любить? Смотри, кругом растет вохра, и я люблю, но перестанет расти вохра, и я разлюблю». Тут опять за клубился туман, явился Гофман, просвистала из Шопена русалка, и вдруг из тумана, в лавровом венке, над кровлями Рима появился Анк Марций. «Озноб восторга охватил наши спины, и мы расстались навеки» и т. д., и т. д. Одним словом, я, может, и не так передаю и передать не умею, но смысл болтовни был именно в этом роде. И наконец, что за позорная страсть у наших великих умов к каламбурам в высшем смысле! Великий европейский философ, великий ученый, изобретатель, труженик, мученик – все эти труждающиеся и обремененные для нашего русского великого гения решительно вроде поваров у него на кухне. Он барин, а они являются к нему с колпаками в руках и ждут приказаний. Правда, он надменно усмехается и над Россией, и ничего нет приятнее ему, как объявить банкротство России во всех отношениях пред великими умами Европы, но что касается его самого, – Нет-с, он уже над этими великими умами Европы возвысился; все они лишь материал для его каламбуров. Он берет чужую идею, приплетает к ней ее антитезу, и каламбур готов. Есть

¹ полностью (*фр.*).

преступление, нет преступления; правды нет, праведников нет; атеизм, дарвинизм, московские колокола... Но увы, он уже не верит в московские колокола; Рим, лавры... но он даже не верит в лавры... Тут казенный припадок байроновской тоски, гримаса из Гейне, что-нибудь из Печорина, – и пошла, и пошла, засвистала машина... «А впрочем, похвалите; похвалите, я ведь это ужасно люблю; я ведь это только так говорю, что кладу перо; подождите, я еще вам триста раз надоем, читать устанете...»

Разумеется, кончилось не так ладно; но то худо, что с него-то и началось. Давно уже началось шарканье, сморканье, кашель и все то, что бывает, когда на литературном чтении литератор, кто бы он ни был, держит публику более двадцати минут. Но гениальный писатель ничего этого не замечал. Он продолжал сюсюкать и мямлить, зная не зная публики, так что все стали приходить в недоумение. Как вдруг в задних рядах послышался одинокий, но громкий голос:

– Господи, какой вздор!

Это выскочило невольно и, я уверен, безо всякой демонстрации. Просто устал человек. Но господин Кармазинов приостановился, насмешливо поглядел на публику и вдруг просюсюкал с осанкою уязвленного камергера:

– Я, кажется, вам, господа, надоел порядочно?

Вот в том-то и вина его, что он первый заговорил; ибо, вызывая таким образом на ответ, тем самым дал возможность всякой сволочи тоже заговорить и, так сказать, даже законно, тогда как если б удержался, то посморкались-посморкались бы, и сошло бы как-нибудь... Может быть, он ждал аплодисмента в ответ на свой вопрос; но аплодисмента не раздалось; напротив, все как будто испугались, съезжились и притихли.

– Вы вовсе никогда не видали Анк Марция, это все слог, – раздался вдруг один раздраженный, даже как бы наболевший голос.

– Именно, – подхватил сейчас же другой голос, – нынче нет привидений, а естественные науки. Справьтесь с естественными науками.

– Господа, я менее всего ожидал таких возражений, – ужасно удивился Кармазинов. Великий гений совсем отвык в Карлсруэ от отечества.

– В наш век стыдно читать, что мир стоит на трех рыбах, – протрещала вдруг одна девица. – Вы, Кармазинов, не могли спускаться в пещеры к пустыннику. Да и кто говорит теперь про пустынников?

– Господа, всего более удивляет меня, что это так серьезно. Впрочем... впрочем, вы совершенно правы. Никто более меня не уважает реальную правду...

Он хоть и улыбался иронически, но сильно был поражен. Лицо его так и выражало: «Я ведь не такой, как вы думаете, я ведь за вас, только хвалите меня, хвалите больше, как можно больше, я это ужасно люблю...»

– Господа, – прокричал он наконец, уже совсем уязвленный, – я вижу, что моя бедная поэмка не туда попала. Да и сам я, кажется, не туда попал.

– Метил в ворону, а попал в корову, – крикнул во все горло какой-то дурак, должно быть пьяный, и на него, уж конечно, не надо бы обращать внимания. Правда, раздался непочтительный смех.

– В корову, говорите вы? – тотчас же подхватил Кармазинов. Голос его становился все крикливее. – Насчет ворон и коров я позволю себе, господа, удержаться. Я слишком уважаю даже всякую публику, чтобы позволить себе сравнения, хотя бы и невинные; но я думал...

– Однако вы, милостивый государь, не очень бы... – прокричал кто-то из задних рядов.

– Но я полагал, что, кладя перо и прощаясь с читателем, буду выслушан...

– Нет, нет, мы желаем слушать, желаем, – раздалось несколько осмелившихся наконец голосов из первого ряда.

– Читайте, читайте! – подхватило несколько восторженных дамских голосов, и наконец-то прорвался аплодисмент, правда мелкий, жиденький. Кармазинов криво улыбнулся и привстал с места.

– Поверьте, Кармазинов, что все считают даже за честь... – не удержалась даже сама предводительша.

– Господин Кармазинов, – раздался вдруг один свежий юный голос из глубины залы. Это был голос очень молоденького учителя уездного училища, прекрасного молодого человека, тихого и благородного, у нас недавнего еще гостя. Он даже привстал с места. – Господин Кармазинов, если бы я имел счастье так полюбить, как вы нам описали, то, право, я не поместил бы про мою любовь в статью, назначенную для публичного чтения...

Он даже весь покраснел.

– Господа, – прокричал Кармазинов, – я кончил. Я опускаю конец и удаляюсь. Но позвольте мне прочесть только шесть заключительных строк.

«Да, друг читатель, прощай! – начал он тотчас же по рукописи и уже не садясь в кресла. – Прощай, читатель; даже не очень настаиваю на том, чтобы мы расстались друзьями: к чему в самом деле тебя беспокоить? Даже брани, о, брани меня, сколько хочешь, если тебе это доставит какое-нибудь удовольствие. Но лучше всего, если бы мы забыли друг друга навеки. И если бы все вы, читатели, стали вдруг настолько добры, что, стоя на коленях, начали упрашивать со слезами: «Пиши, о, пиши для нас, Кармазинов, – для отечества, для потомства, для лавровых венков», то и тогда бы я вам ответил, разумеется поблагодарив со всею учтивостью: «Нет уж, довольно мы повозились друг с другом, милые соотечественники, merci! Пора нам в разные стороны! Merci, merci, merci!».

Кармазинов церемонно поклонился и весь красный, как будто его сварили, отправился за кулисы.

– И вовсе никто не будет стоять на коленях; дикая фантазия.

– Экое ведь самолюбие!

– Это только юмор, – поправил было кто-то потолковее.

– Нет, уж избавьте от вашего юмора.

– Однако ведь это дерзость, господа.

– По крайней мере теперь-то хоть кончил.

– Эк скуки наташили!

Но все эти невежественные возгласы задних рядов (не одних, впрочем, задних) были заглушены аплодисментом другой части публики. Вызывали Кармазинова. Несколько дам, имея во главе Юлию Михайловну и предводительшу, столпились у эстрады. В руках Юлии Михайловны явился роскошный лавровый венок, на белой бархатной подушке, в другом венке из живых роз.

– Лавры! – произнес Кармазинов с тонкою и несколько язвительною усмешкой. – Я, конечно, тронут и принимаю этот заготовленный заранее, но еще не успевший увянуть венок с живым чувством; но уверяю вас, mesdames, я настолько вдруг сделался реалистом, что считаю в наш век лавры гораздо уместнее в руках искусного повара, чем в моих...

– Да повара-то полезнее, – прокричал тот самый семинарист, который был в «заседании» у Виргинского. Порядок несколько нарушился. Из многих рядов повскачили, чтобы видеть церемонию с лавровым венком.

– Я за повара теперь еще три целковых придам, – громко подхватил другой голос, слишком даже громко, громко с настойчивостью.

– И я.

– И я.

– Да неужели здесь нет буфета?

– Господа, это просто обман...

Впрочем, надо признаться, что все эти разнузданные господа еще сильно боялись наших сановников, да и пристава, бывшего в зале. Кое-как, минут в десять, все опять разместились, но прежнего порядка уже не восстанавлилось. И вот в этот-то начинающийся хаос и попал бедный Степан Трофимович...

IV

Я, однако, сбегал к нему еще раз за кулисы и успел предупредить, вне себя, что, по моему мнению, все лопнуло и что лучше ему вовсе не выходить, а сейчас же уехать домой, отговорившись хоть холериной, а я бы тоже скинул бант и с ним отправился. Он в это мгновение проходил уже на эстраду, вдруг остановился, оглядел меня высокомерно с головы до ног и торжественно произнес:

– Почему же вы считаете меня, милостивый государь, способным на подобную низость?

Я отступил. Я убежден был как дважды два, что без катастрофы он оттуда не выйдет. Между тем как я стоял в полном унынии, предо мною мелькнула опять фигура приезжего профессора, которому очередь была выходить после Степана Трофимовича и который давеча все поднимал вверх и опускал со всего размаху кулак. Он все еще так же расхаживал взад и вперед, углубившись в себя и бормоча что-то себе под нос с ехидною, но торжествующею улыбкой. Я как-то почти без намерения (дернуло же меня и тут) подошел и к нему.

– Знаете, – сказал я, – по многим примерам, если читающий держит публику более двадцати минут, то она уже не слушает. Полчаса никакая даже знаменитость не продержится...

Он вдруг остановился и даже как бы весь затрясся от обиды. Необъятное высокомерие выразилось в его лице.

– Не беспокойтесь, – пробормотал он презрительно и прошел мимо. В эту минуту раздался в зале голос Степана Трофимовича.

«Э, чтобы вас всех!» – подумал я и побежал в залу.

Степан Трофимович уселся в кресла, еще среди остававшегося беспорядка. В передних рядах его, видимо, встретили нерасположенные взгляды. (В клубе его в последнее время как-то перестали любить и гораздо меньше прежнего уважали.) Впрочем, и то уж было хорошо, что не шикали. Странная была у меня идея еще со вчерашнего дня: мне все казалось, что его тотчас же освистут, лишь только он покажется. А между тем его не сейчас даже и заметили за некоторым остававшимся беспорядком. И на что мог надеяться этот человек, если уж с Кармазиновым так поступили? Он был бледен; десять лет не являлся он пред публикой. По волнению и по всему, слишком мне в нем знакомому, для меня ясно было, что и сам он смотрит на теперешнее появление свое на эстраде как на решение судьбы своей или вроде того. Вот этого-то я и боялся. Дорог мне был этот человек. И что же случилось со мной, когда он отверз уста и я услышал его первую фразу!

– Господа! – произнес он вдруг, как бы решившись на все и в то же время почти срывавшимся голосом. – Господа! Еще сегодня утром лежала предо мною одна из недавно разбросанных здесь незаконных бумажек, и я в сотый раз задавал себе вопрос: «В чем ее тайна?»

Вся зала разом притихла, все взгляды обратились к нему, иные с испугом. Нечего сказать, умел заинтересовать с первого слова. Даже из-за кулис выставились головы; Липутин и Лямшин с жадностью прислушивались. Юлия Михайловна опять замахала мне рукой:

– Остановите, во что бы ни стало остановите! – прошептала она в тревоге. Я только пожал плечами; разве можно было остановить человека *решившегося*? Увы, я понял Степана Трофимовича.

– Эге, о прокламациях! – зашептали в публике; вся зала шевельнулась.

– Господа, я разрешил всю тайну. Вся тайна их эффекта – в их глупости! (Глаза его засверкали.) – Да, господа, будь это глупость умышленная, подделанная из расчета, – о, это было бы даже гениально! Но надо отдать им полную справедливость: они ничего не подделали. Это самая обнаженная, самая простодушная, самая коротенькая глупость, – *c'est la bêtise dans son essence la plus pure, quelque chose comme un simple chimique*¹. Будь это хоть каплю умнее высказано, и всяк увидал бы тотчас всю нищету этой коротенькой глупости. Но теперь все останавливаются в недоумении: никто не верит, чтоб это было так первоначально глупо. «Не может быть, чтоб тут ничего больше не было», – говорит себе всякий и ищет секрета, видит тайну, хочет прочесть между строчками – эффект достигнут! О, никогда еще глупость не получала такой торжественной награды, несмотря на то что так часто ее заслуживала... Ибо, *en parenthèse*², глупость, как и высочайший гений, одинаково полезны в судьбах человечества...

– Каламбуры сороковых годов! – послышался чей-то, весьма, впрочем, скромный, голос, но вслед за ним все точно сорвалось; зашумели и загалдели.

– Господа, ура! Я предлагаю тост за глупость! – прокричал Степан Трофимович, уже в совершенном иступлении, бравируя залу.

Я подбежал к нему как бы под предлогом налить ему воды.

– Степан Трофимович, бросьте, Юлия Михайловна умоляет...

– Нет, бросьте вы меня, праздный молодой человек! – накинулся он на меня во весь голос. Я убежал. – *Messieurs*!³ – продолжал он, – к чему волнение, к чему крики негодования, которые слышу? Я пришел с оливной ветвью. Я принес последнее слово, ибо в этом деле обладаю последним словом, – и мы помирился.

– Долой! – кричали одни.

– Тише, дайте сказать, дайте высказаться, – вопила другая часть. Особенно волновался юный учитель, который, раз осмелившись заговорить, как будто уже не мог остановиться.

– *Messieurs*, последнее слово этого дела – есть всепрощение. Я, отживший старик, я объявляю торжественно, что дух жизни веет по-прежнему и живая сила не иссякла в молодом поколении. Энтузиазм современной юности так же чист и светел, как и наших времен. Произошло лишь одно: перемещение целей, замещение одной красоты другою! Все недоумение лишь в том, что прекраснее: Шекспир или сапоги, Рафаэль или петролей?

– Это донос? – ворчали одни.

– Компрометирующие вопросы!

– *Agent-provocateur*!⁴

¹ это глупость в ее самой чистейшей сущности, нечто вроде химического элемента (*фр.*).

² между прочим (*фр.*).

³ Господа! (*фр.*)

⁴ Агент-provocатор! (*фр.*)

– А я объявляю, – в последней степени азарта провизжал Степан Трофимович, – а я объявляю, что Шекспир и Рафаэль – выше освобождения крестьян, выше народности, выше социализма, выше юного поколения, выше химии, выше почти всего человечества, ибо они уже плод, настоящий плод всего человечества и, может быть, высший плод, какой только может быть! Форма красоты уже достигнутая, без достижения которой я, может, и жить-то не соглашусь... О Боже! – всплеснул он руками, – десять лет назад я точно так же кричал в Петербурге, с эстрады, точно то же и теми словами, и точно так же они не понимали ничего, смеялись и шикали, как теперь; коротенькие люди, чего вам недостает, чтобы понять? Да знаете ли, знаете ли вы, что без англичанина еще можно прожить человечеству, без Германии можно, без русского человека слишком возможно, без науки можно, без хлеба можно, без одной только красоты невозможно, ибо совсем нечего будет делать на свете! Вся тайна тут, вся история тут! Сама наука не простоит минуты без красоты, – знаете ли вы про это, смеющиеся, – обратится в хамство, гвоздя не выдумаете!.. Не уступлю! – нелепо прокричал он в заключение и стукнул изо всей силы по столу кулаком.

Но покамест он визжал без толку и без порядку, нарушался порядок и в зале. Многие повскачили с мест, иные хлынули вперед, ближе к эстраде. Вообще все это произошло гораздо быстрее, чем я описываю, и мер не успели принять. Может, тоже и не хотели.

– Хорошо вам на всем на готовом, баловники! – проревел у самой эстрады тот же семинарист, с удовольствием скаля зубы на Степана Трофимовича. Тот заметил и подскочил к самому краю.

– Не я ли, не я ли сейчас объявил, что энтузиазм в молодом поколении так же чист и светел, как был, и что оно погибает, ошибаясь лишь в формах прекрасного! Мало вам? И если взять, что провозгласил это убитый, оскорбленный отец, то неужели, – о коротенькие, – неужели можно стать выше в беспристрастии и спокойствии взгляда?.. Неблагодарные... несправедливые... для чего, для чего вы не хотите мириться!..

И он вдруг зарыдал истерически. Он утирал пальцами текущие слезы. Плечи и грудь его сотрясались от рыданий... Он забыл все на свете.

Решительный испуг охватил публику, почти все встали с мест. Быстро вскочила и Юлия Михайловна, схватив под руку супруга и подымая его с кресел... Скандал выходил непомерный.

– Степан Трофимович! – радостно проревел семинарист. – Здесь в городе и в окрестностях бродит теперь Федька Каторжный, беглый с каторги. Он грабит и недавно еще совершил новое убийство. Позвольте спросить: если б вы его пятнадцать лет назад не отдали в рекруты в уплату за карточный долг, то есть попросту не проиграли в картишки, скажите, попал бы он в каторгу? резал бы людей, как теперь, в борьбе за существование? Что скажете, господин эстетик?

Я отказываюсь описывать последовавшую сцену. Во-первых, раздался неистовый аплодисмент. Аплодировали не все, какая-нибудь пятая доля залы, но аплодировали неистово. Вся остальная публика хлынула к выходу, но так как аплодировавшая часть публики все теснилась вперед к эстраде, то и произошло всеобщее замешательство. Дамы вскрикивали, некоторые девицы заплакали и просились домой. Лембке, стоя у своего места, дико и часто озирался кругом. Юлия Михайловна совсем потерялась – в первый раз во время своего у нас поприща. Что же до Степана Трофимовича, то в первое мгновение он, казалось, буквально был раздавлен словами семинариста; но вдруг поднял обе руки, как бы распростирая их над публикой, и завопил:

– Отрясаю прах ног моих и проклинаю... Конец... конец...

И, повернувшись, он побежал за кулисы, махая и грозя руками.

– Он оскорбил общество!.. Верховенского! – заревели неистовые. Хотели даже броситься за ним в погоню. Унять было невозможно, по крайней мере в ту минуту, и – вдруг окончательная катастрофа как бомба разразилась над собранием и треснула среди его: третий чтец, тот маньяк, который все махал кулаком за кулисами, вдруг выбежал на сцену.

Вид его был совсем сумасшедший. С широкою, торжествующею улыбкой, полной безмерной самоуверенности, осматривал он взволнованную залу и, казалось, сам был рад беспорядку. Его нимало не смущало, что ему придется читать в такой суматохе, напротив, видимо радовало. Это было так очевидно, что сразу обратило на себя внимание.

– Это еще что? – раздался вопросы, – это еще кто? Тс! что он хочет сказать?

– Господа! – закричал изо всей силы маньяк, стоя у самого края эстрады и почти таким же визгливо-женственным голосом, как и Кармазинов, но только без дворянского присюсюкивания. – Господа! Двадцать лет назад, накануне войны с пол-Европой, Россия стояла идеалом в глазах всех статских и тайных советников. Литература служила в цензуре; в университетах преподавалась шагистика; войско обратилось в балет, а народ платил подати и молчал под кнутом крепостного права. Патриотизм обратился в дранье взяток с живого и с мертвого. Не бравшие взятку считались бунтовщиками, ибо нарушали гармонию. Березовые рощи истреблялись на помощь порядку. Европа трепетала... Но никогда Россия, во всю бестолковую тысячу лет своей жизни, не доходила до такого позора...

Он поднял кулак, восторженно и грозно махая им над головой, и вдруг яростно опустил его вниз, как бы разбивая в прах противника. Неистовый вопль раздался со всех сторон, грянул оглушительный аплодисман. Аплодировала уже чуть не половина залы; увлекались невиннейше: бесчестилась Россия всенародно, публично, и разве можно было не реветь от восторга?

– Вот это дело! Вот так дело! Ура! Нет, это уж не эстетика!

Маньяк продолжал в восторге:

– С тех пор прошло двадцать лет. Университеты открыты и приумножены. Шагистика обратилась в легенду; офицеров недостает до комплекта тысячами. Железные дороги поели все капиталы и облегли Россию как паутиной, так что лет через пятнадцать, пожалуй, можно будет куда-нибудь и съездить. Мосты горят только изредка, а города сгорают правильно, в установленном порядке по очереди, в пожарный сезон. На судах соломоновские приговоры, а присяжные берут взятки единственно лишь в борьбе за существование, когда приходится умирать им с голоду. Крепостные на воле и лупят друг друга розгачами вместо прежних помещиков. Моря и океаны водки испиваются на помощь бюджету, а в Новгороде, напротив древней и бесполозной Софии, – торжественно воздвигнут бронзовый колоссальный шар на память тысячелетию уже минувшего беспорядка и бестолковщины. Европа хмурится и вновь начинает беспокоиться... Пятнадцать лет реформ! А между тем никогда Россия, даже в самые карикатурные эпохи своей бестолковщины, не доходила...

Последних слов даже нельзя было и расслышать за ревом толпы. Видно было, как он опять поднял руку и победоносно еще раз опустил ее. Восторг перешел все пределы: вопили, хлопали в ладоши, даже иные из дам кричали: «Довольно! Лучше ничего не скажете!» Были как пьяные. Оратор обводил всех

глазами и как бы таял в собственном торжестве. Я видел мельком, что Лембке в невыразимом волнении кому-то что-то указывал. Юлия Михайловна, вся бледная, торопливо говорила о чем-то подбегавшему к ней князю... Но в эту минуту целая толпа, человек в шесть, лиц более или менее официальных, ринулась из-за кулис на эстраду, подхватила оратора и повлекла за кулисы. Не понимаю, как мог он от них вырваться, но он вырвался, вновь подскочил к самому краю и успел еще прокричать что было мочи, махая своим кулаком:

– Но никогда Россия еще не доходила...

Но уже его тащили вновь. Я видел, как человек пятнадцать, может быть, ринулись его освобождать за кулисы, но не через эстраду, а сбоку, разбивая легкую загородку, так что та наконец и упала... Я видел потом, не веря глазам своим, что на эстраду вдруг откуда-то вскочила студентка (родственница Виргинского), с тем же своим свертком подмышкой, так же одетая, такая же красная, такая же сытенная, окруженная двумя-тремя женщинами, двумя-тремя мужчинами, в сопровождении смертельного врага своего, гимназиста. Я успел даже расслышать фразу:

– Господа, я приехала, чтоб заявить о страданиях несчастных студентов и возбудить их повсеместно к протесту.

Но я бежал. Свой бант я спрятал в карман и задними ходами, мне известными, выбрался из дому на улицу. Прежде всего, конечно, к Степану Трофимовичу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Окончание праздника

I

Он меня не принял. Он заперся и писал. На мой повторительный стук и зов отвечал сквозь двери:

– Друг мой, я все покончил, кто может требовать от меня более?

– Вы ничего не кончили, а только способствовали, что все провалилось. Ради Бога без каламбуров, Степан Трофимович; отворяйте. Надо принять меры; к вам еще могут прийти и вас оскорбить...

Я считал себя вправе быть особенно строгим и даже взыскательным. Я боялся, чтоб он не предпринял чего-нибудь еще безумнее. Но, к удивлению моему, встретил необыкновенную твердость:

– Не оскорбляйте же меня первый. Благодарю вас за все прежнее, но повторяю, что я все покончил с людьми, с добрыми и злыми. Я пишу письмо к Дарье Павловне, которую так непростительно забывал до сих пор. Завтра снесите его, если хотите, а теперь «тегсі».

– Степан Трофимович, уверяю вас, что дело серьезнее, чем вы думаете. Вы думаете, что вы там кого-нибудь раздробили? Никого вы не раздробили, а сами разбились, как пустая стеклянка (о, я был груб и невежлив; вспоминаю с огорчением!). К Дарье Павловне вам решительно писать незачем... и куда вы теперь без меня денетесь? Что смыслите вы на практике? Вы, верно, еще что-нибудь замышляете? Вы только еще раз пропадете, если опять что-нибудь замышляете...

Он встал и подошел к самым дверям.

– Вы пробыли с ними недолго, а заразились их языком и тоном, Dieu vous pardonne, mon ami, et Dieu vous garde¹. Но я всегда замечал в вас зачатки порядочности, и вы, может быть, еще одумаетесь, – après le temps² разумеется, как и все мы, русские люди. Насчет замечания вашего о моей непрактичности напому вам одну мою давнишнюю мысль: что у нас в России целая бездна людей тем и занимаются, что всего яростнее и с особенным надоеданием, как мухи летом, нападают на чужую непрактичность, обвиняя в ней всех и каждого, кроме только себя. Cher, вспомните, что я в волнении, и не мучьте меня. Еще раз вам merci за все, и расстанемся друг с другом, как Кармазинов с публикой, то есть забудем друг друга как можно великодушнее. Это он схитрил, что так слишком уж упрасивал о забвении своих бывших читателей; quant á moi³, я не так самолюбив и более всего надеюсь на молодость вашего неискущенного сердца: где вам долго помнить бесполезного старика? «Живите больше», мой друг, как пожелала мне в прошлые именины Настасья (ces pauvres gens ont quelquefois des mots charmants et pleins de philosophie⁴). Не желаю вам много счастья – наскучит; не желаю и беды; а вслед за народною философией повторю просто: «Живите больше» и постарайтесь как-нибудь не очень скучать; это тщетное пожелание прибавлю уже от себя. Ну, прощайте, и прощайте серьезно. Да не стойте у моих дверей, я не отпущу.

Он отошел, и я более ничего не добился. Несмотря на «волнение», он говорил плавно, неспешно, с весом и видимо стараясь внушить. Конечно, он на меня несколько досадовал и косвенно мстил мне, ну, может, еще за вчерашние «кибитки» и «раздвигающиеся половицы». Публичные же слезы сего утра, несмотря на некоторого рода победу, ставили его, он знал это, в несколько комическое положение, а не было человека, столь заботящегося о красоте и о строгости форм в сношениях с друзьями, как Степан Трофимович. О, я не виню его! но эта-то щепетильность и саркастичность, удержавшиеся в нем, несмотря на все потрясения, меня тогда и успокоили: человек, так мало, по-видимому, изменившийся против всегдашнего, уж конечно, не расположен в ту минуту к чему-нибудь трагическому или необычайному. Так я тогда рассудил, и, Боже мой, как ошибся!

Слишком многое я упустил из виду...

Предупреждая события, приведу несколько первых строк этого письма к Дарье Павловне, которое та действительно на завтра же получила.

«Mon enfant⁵, рука моя дрожит, но я все закончил. Вас не было в последней схватке моей с людьми; вы не приехали на это «чтение» и хорошо сделали. Но вам расскажут, что в нашей обнищавшей характерами России встал один бодрый человек и, несмотря на смертные угрозы, сыпавшиеся со всех сторон, сказал этим дурачкам их правду, то есть что они дурачки. О, ce sont des pauvres petits vauriens et rien de plus, des petits дурачки—voilà le mot!⁶ Жребий брошен; я ухожу из этого города навеки и не знаю куда. Все, кого любил, от меня отвернулись. Но вы, вы, создание чистое и наивное, вы, кроткая, которой судьба едва не соединилась с моею, по воле одного капризного и самовластного сердца, вы, может быть, с презрением смотревшая, когда я проливал мои малодушные слезы нака-

¹ да простит вас Бог, мой друг, и да хранит Он вас (фр.).

² со временем (фр.).

³ что касается меня (фр.).

⁴ у этих бедных людей бывают иногда прелестные выражения, полные философского смысла (фр.).

⁵ Дитя мое (фр.).

⁶ это жалкие мелкие негодяи, и больше ничего, жалкие дурачки – именно так! (фр.).

нуне несостоявшегося нашего брака; вы, которая не можете, кто бы вы ни были, смотреть на меня иначе как на лицо комическое, о, вам, вам последний крик моего сердца, вам последний мой долг, вам одной! Не могу же оставить вас навеки с мыслию обо мне как о неблагодарном глупце, невеже и эгоисте, как, вероятно, и утверждает вам обо мне ежедневно одно неблагодарное и жестокое сердце, которое, увы, не могу забыть...»

И так далее, и так далее, всего четыре страницы большого формата.

Стукнув в ответ на его «не отопру» три раза в дверь кулаком и прокричав ему вслед, что он сегодня же три раза пришлет за мной Настасью, но я уже сам не пойду, я бросил его и побежал к Юлии Михайловне.

II

Здесь я очутился свидетелем сцены возмутительной: бедную женщину обманывали в глаза, а я ничего не мог сделать. В самом деле, что мог я сказать ей? Я уже успел несколько опомниться и рассудить, что у меня всего лишь какие-то ощущения, подозрительные предчувствия, а более ведь ничего. Я застал ее в слезах, почти в истерике, за одекOLONными примочками, за стаканом воды. Перед нею стоял Петр Степанович, говоривший без умолку, и князь, молчавший, как будто его заперли на замок. Она со слезами и вскрикиваниями укоряла Петра Степановича за «отступничество». Меня сразу поразило, что всю неудачу, весь позор этого утра, одним словом все, она приписывала одному лишь отсутствию Петра Степановича.

В нем же я заметил одну важную перемену: он был как будто чем-то слишком уж озабочен, почти серьезен. Обыкновенно он никогда не казался серьезным, всегда смеялся, даже когда злился, а злился он часто. О, он и теперь был зол, говорил грубо, небрежно, с досадой и нетерпением. Он уверял, что заболел головною болью и рвотой на квартире у Гаганова, к которому забежал случайно ранним утром. Увы, бедной женщине так хотелось быть еще обманутой! Главный вопрос, который я застал на столе, состоял в том: быть или не быть балу, то есть всей второй половине праздника? Юлия Михайловна ни за что не соглашалась явиться на бал после «давешних оскорблений», другими словами, всеми силами желала быть к тому принужденною, и непременно им, Петром Степановичем. Она глядела на него как на оракула, и, кажется, если б он сейчас ушел, то слегла бы в постель. Но он и не хотел уходить: ему самому надо было изо всех сил, чтобы бал состоялся сегодня и чтоб Юлия Михайловна непременно была на нем...

— Ну, чего плакать! Вам непременно надо сцену? На ком-нибудь злобу сорвать? Ну и рвите на мне, только скорее, потому что время идет, а надо решиться. Напортили чтением, скрасим балом. Вот и князь того же мнения. Да-с, не будь князя, чем бы у вас там кончилось?

Князь был вначале против бала (то есть против появления Юлии Михайловны на бале, бал же во всяком случае должен был состояться), но после двух-трех таких ссылок на его мнение он стал мало-помалу мычать в знак согласия.

Удивила меня тоже уж слишком необыкновенная невежливость тона Петра Степановича. О, я с негодованием отвергаю низкую сплетню, распространившуюся уже потом, о каких-то будто бы связях Юлии Михайловны с Петром Степановичем. Ничего подобного не было и быть не могло. Взял он над нею лишь тем, что поддакивал ей изо всех сил с самого начала в ее мечтах влиять на общество и на министерство, вошел в ее планы, сам сочинял их ей, действовал грубейшею лестью, опутал ее с головы до ног и стал ей необходим, как воздух.

Увидев меня, она вскричала, сверкая глазами:

– Вот спросите его, он тоже все время не отходил от меня, как и князь. Скажите, не явно ли, что все это заговор, низкий, хитрый заговор, чтобы сделать все, что только можно злого, мне и Андрею Антоновичу? О, они уговорились! У них был план. Это партия, целая партия!

– Далеко махнули, как и всегда. Вечно в голове поэма. Я, впрочем, рад господину... (он сделал вид, что забыл мое имя), он нам скажет свое мнение.

– Мое мнение, – поторопился я, – во всем согласно с мнением Юлии Михайловны. Заговор слишком явный. Я принес вам эти ленты, Юлия Михайловна. Состоится или не состоится бал, – это, конечно, не мое дело, потому что не моя власть; но роль моя как распорядителя кончена. Простите мою горячность, но я не могу действовать в ущерб здравому смыслу и убеждению.

– Слышите, слышите! – всплеснула она руками.

– Слышу-с и вот что скажу вам, – обратился он ко мне, – я полагаю, что все вы чего-то такого съели, от чего все в бреду. По-моему, ничего не произошло, ровно ничего такого, чего не было прежде и чего не могло быть всегда в здешнем городе. Какой заговор? Вышло некрасиво, глупо до позора, но где же заговор? Это против Юлии-то Михайловны, против ихней-то баловницы, покровительницы, прощавшей им без пути все их школьничества? Юлия Михайловна! О чем я вам долбил весь месяц без умолку? О чем предупреждал? Ну на что, на что вам был весь этот народ? Надо было связаться с людишками! Зачем, для чего? Соединять общество? Да разве они соединятся, помилосердуйте!

– Когда же вы предупреждали меня? Напротив, вы одобряли, вы даже требовали... Я, признаюсь, до того удивлена... Вы сами ко мне приводили многих странных людей.

– Напротив, я спорил с вами, а не одобрял, а водить – это точно водил, но когда уже они сами налезли дюжинами, и то только в последнее время, чтобы составить «кадриль литературы», а без этих хамов не обойдешься. Но только бьюсь об заклад, сегодня десяток-другой таких же других хамов без билетов провели!

– Непременно, – подтвердил я.

– Вот видите, вы уже соглашаетесь. Вспомните, какой был в последнее время здесь тон, то есть во всем городишке? Ведь это обратилось в одно только нахальство, бесстыдство; ведь это был скандал с трезвоном без перерыву. А кто поощрял? Кто авторитетом своим прикрывал? Кто всех с толку сбил? Кто всю мелюзгу разозлил? Ведь у вас в альбоме все здешние семейные тайны воспроизведены. Не вы ли гладили по головке ваших поэтов и рисовальщиков? Не вы ли давали целовать ручку Лямшину? Не в вашем ли присутствии семинарист действительного статского советника обругал, а его дочери дегтярными сапожницами платье испортил? Чего ж вы удивляетесь, что публика против вас настроена?

– Но ведь это все вы, вы же сами! О Боже мой!

– Нет-с, я вас предостерегал, мы ссорились, слышите ли, мы ссорились!

– Да вы в глаза лжете.

– Ну да уж конечно, вам это ничего не стоит сказать. Вам теперь надо жертву, на ком-нибудь злобу сорвать; ну и рвите на мне, я сказал. Я лучше к вам обращусь, господин... (Он все не мог вспомнить моего имени.) Сочтем по пальцам: я утверждаю, что, кроме Липутина, никакого заговора не было, ни-ка-кого! Я докажу, но анализирую сначала Липутина. Он вышел со стихами дурака Лебядкина – что ж это, по-вашему, заговор? Да знаете ли, что Липутину это просто остроумным могло показаться? Серьезно, серьезно, остроумным. Он просто вы-

шел с целью всех насмешить и развеселить, а покровительницу Юлию Михайловну первую, вот и все. Не верите? Ну не в тоне ли это всего того, что было здесь целый месяц? И, хотите, все скажу: ей-Богу, при других обстоятельствах, пожалуй бы, и прошло! Шутка грубая, ну там сальная, что ли, а ведь смешная, ведь смешная?

– Как! Вы считаете поступок Липутина остроумным? – в страшном негодовании вскричала Юлия Михайловна. – Этакую глупость, этакую бестактность, эту низость, подлость, этот умысел, о, вы это нарочно! Вы сами с ними после этого в заговоре!

– Непременно, сзади сидел, спрятался, всю машинку двигал! Да ведь если бы я участвовал в заговоре, – вы хоть это поймите! – так не кончилось бы одним Липутиным! Стало быть, я, по-вашему, сговорился и с папенькой, чтоб он нарочно такой скандал произвел? Ну-с, кто виноват, что папашу допустили читать? Кто вас вчера останавливал, еще вчера, вчера?

– Oh, hier il avait tant d'esprit¹, я так рассчитывала, и притом у него манеры: я думала, он и Кармазинов... и вот!

– Да-с, и вот. Но, несмотря на весь tant d'esprit, папенька подгадил, а если бы я сам знал вперед, что он так подгадит, то, принадлежа к несомненному заговору против вашего праздника, я бы уж, без сомнения, вас не стал вчера уговаривать не пускать козла в огород, так ли-с? А между тем я вас вчера отговаривал, – отговаривал потому, что предчувствовал. Все предусмотреть, разумеется, возможности не было: он, наверно, и сам не знал, еще за минуту, чем выпалит. Эти нервные старички разве похожи на людей! Но еще можно спасти: пошлите к нему завтра же, для удовлетворения публики, административным порядком и со всеми онёрами, двух докторов, узнать о здоровье, даже сегодня бы можно, и прямо в больницу, на холодные примочки. По крайней мере все рассмеются и увидят, что обижаться нечем. Я об этом еще сегодня же на бале возведу, так как я сын. Другое дело Кармазинов, тот вышел зеленым ослом и протащил свою статью целый час, – вот уж этот, без сомнения, со мной в заговоре! Дай, дескать, уж и я нагажу, чтобы повредить Юлии Михайловне!

– О, Кармазинов, quelle honte!² Я сгорела, сгорела со стыда за нашу публику!

– Ну-с, я бы не сгорел, а его самого изжарил. Публика-то ведь права. А кто опять виноват в Кармазинове? Навязывал я вам его или нет? Участвовал в его обожании или нет? Ну да черт с ним, а вот третий маньяк, политический, ну это другая статья. Тут уж все дали маху, а не мой один заговор.

– Ах, не говорите, это ужасно, ужасно! В этом я, я одна виновата!

– Конечно-с, но уж тут я вас оправдаю. Э, кто за ними усмотрит, за откровенными! От них и в Петербурге не уберегутся. Ведь он вам был рекомендован; да еще как! Так согласитесь, что вы теперь даже обязаны появиться на бале. Ведь это штука важная, ведь вы его сами на кафедру взвели. Вы именно должны теперь публично заявить, что вы с этим не солидарны, что молодец уже в руках полиции, а что вы были необъяснимым образом обмануты. Вы должны объявить с негодованием, что вы были жертвою сумасшедшего человека. Потому что ведь это сумасшедший, и больше ничего. О нем так и доложить надо. Я этих кусающихся терпеть не могу. Я, пожалуй, сам еще пуще говорю, но ведь не с кафедры же. А они теперь как раз кричат про сенатора.

– Про какого сенатора? Кто кричит?

¹ О, вчера он был так остроумен (*фр.*).

² какой стыд! (*фр.*)

– Видите ли, я сам ничего не понимаю. Вам, Юлия Михайловна, ничего не известно про какого-нибудь сенатора?

– Сенатора?

– Видите ли, они убеждены, что сюда назначен сенатор, а что вас сменяют из Петербурга. Я от многих слышал.

– И я слышал, – подтвердил я.

– Кто это говорил? – вся вспыхнула Юлия Михайловна.

– То есть кто заговорил первый? Почему я знаю. А так, говорят. Масса говорит. Вчера особенно говорили. Все как-то уж очень серьезные, хоть ничего не разберешь. Конечно, кто поумнее и покомпетентнее – не говорят, но и из тех иные прислушиваются.

– Какая низость! И... какая глупость!

– Ну так вот именно вам теперь и явиться, чтобы показать этим дуракам.

– Признаюсь, я сама чувствую, что я даже обязана, но... что, если ждет другой позор? Что, если не соберутся? Ведь никто не придет, никто, никто!

– Экой пламень! Это они-то не придут? А платья нашитые, а костюмы девиц? Да я от вас после этого как от женщины отрекаюсь. Вот человекознание!

– Предводительша не будет, не будет!

– Да что тут, наконец, случилось! Почему не придут? – вскричал он наконец в злобном нетерпении.

– Бесславие, позор – вот что случилось. Было я не знаю что, но такое, после чего мне войти невозможно.

– Почему? Да вы-то, наконец, чем виноваты? С чего вы берете вину на себя? Не виновата ли скорее публика, ваши старцы, ваши отцы семейств? Они должны были негодяев и шелопаев сдерживать, – потому что тут ведь одни шелопаи да негодяи, и ничего серьезного. Ни в каком обществе и нигде одною полицией не управляешься. У нас каждый требует, входя, чтоб за ним особого кварташку отрядили его оберегать. Не понимают, что общество оберегает само себя. А что у нас делают отцы семейств, сановники, жены, девы в подобных обстоятельствах? Молчат и дуются. Даже настолько, чтобы шалунов сдерживать, общественной инициативы недостает.

– Ах, это золотая правда! Молчат, дуются и... озираются.

– А коли правда, вам тут ее и высказать, вслух, гордо, строго. Именно показать, что вы не разбиты. Именно этим старичкам и матерям. О, вы сумеете, у вас есть дар, когда голова ясна. Вы их сгруппируете – и вслух, и вслух. А потом корреспонденцию в «Голос» и в «Биржевые». Постойте, я сам за дело возьмусь, я вам все устрою. Разумеется, побольше внимания, наблюдать буфет; просить князя, просить господина... Не можете же вы нас оставить, monsieur, когда именно надо все вновь начинать. Ну и, наконец, вы под руку с Андреем Антоновичем. Как здоровье Андрея Антоновича?

– О, как несправедливо, как неверно, как обидно судили вы всегда об этом ангельском человеке! – вдруг, с неожиданным порывом и чуть не со слезами, вскричала Юлия Михайловна, поднося платок к глазам. Петр Степанович в первое мгновение даже осекся:

– Помилуйте, я... да я что же... я всегда...

– Вы никогда, никогда! Никогда вы не отдавали ему справедливости!

– Никогда не поймешь женщину! – проворчал Петр Степанович с кривою усмешкой.

– Это самый правдивый, самый деликатный, самый ангельский человек! Самый добрый человек!

– Помилуйте, да я что ж насчет доброты... я всегда отдавал насчет доброты...

– Никогда! Но оставим. Я слишком неловко вступилась. Давеча этот иезуит предводительша закинула тоже несколько саркастических намеков о вчерашнем.

– О, ей теперь не до намеков о вчерашнем, у ней нынешнее. И чего вы так беспокоитесь, что она на бал не придет? Конечно, не придет, коли въехала в такой скандал. Может, она и не виновата, а все-таки репутация; ручки грязны.

– Что такое, я не пойму: почему руки грязны? – с недоумением посмотрела Юлия Михайловна.

– То есть я ведь не утверждаю, но в городе уже звонят, что она-то и сводила.

– Что такое? Кого сводила?

– Э, да вы разве еще не знаете? – вскричал он с удивлением, отлично подделанным, – да Ставрогина и Лизавету Николаевну!

– Как? Что? – вскричали мы все.

– Да неужто же не знаете? Фью! Да ведь тут трагироманы произошли: Лизавета Николаевна прямо из кареты предводительши изволила пересестись в карету Ставрогина и улизнула с «сим последним» в Скворешники среди бела дня. Всего час назад, часу нет.

Мы остоленбели. Разумеется, кинулись расспрашивать далее, но, к удивлению, он хоть и был сам, «нечаянно», свидетелем, ничего, однако же, не мог рассказать обстоятельно. Дело происходило будто бы так: когда предводительша подвезла Лизу и Маврикия Николаевича, с «чтения», к дому Лизиной матери (все больной ногами), то недалеко от подъезда, шагах в двадцати пяти, в стороне, ожидала чья-то карета. Когда Лиза выпрыгнула на подъезд, то прямо побежала к этой карете, дверца отворилась, захлопнулась; Лиза крикнула Маврикию Николаевичу: «Пощадите меня!» – и карета во всю прыть понеслась в Скворешники. На торопливые вопросы наши: «Было ли тут условие? Кто сидел в карете?» – Петр Степанович отвечал, что ничего не знает; что, уж конечно, было условие, но что самого Ставрогина в карете не разглядел; могло быть, что сидел камердинер, старичок Алексей Егорыч. На вопрос: «Как же вы тут очутились? И почему наверно знаете, что поехала в Скворешники?» – он ответил, что случился тут потому, что проходил мимо, а увидав Лизу, даже подбежал к карете (и все-таки не разглядел, кто в карете, при его-то любопытстве!), а что Маврикий Николаевич не только не пустился в погоню, но даже не попробовал остановить Лизу, даже своею рукой придержал кричавшую во весь голос предводительшу: «Она к Ставрогину, она к Ставрогину!» Тут я вдруг вышел из терпения и в бешенстве закричал Петру Степановичу:

– Это ты, негодяй, все устроил! Ты на это и утро убил. Ты Ставрогину помогал, ты приехал в карете, ты посадил... ты, ты, ты! Юлия Михайловна, это враг ваш, он погубит и вас! Берегитесь!

И я опрометью выбежал из дому.

Я до сих пор не понимаю и сам дивлюсь, как это я тогда ему крикнул. Но я совершенно угадал: все почти так и произошло, как я ему высказал, что и оказалось впоследствии. Главное, слишком замечен был тот очевидно фальшивый прием, с которым он сообщил известие. Он не сейчас рассказал, придя в дом, как первую и чрезвычайную новость, а сделал вид, что мы будто уж знаем и без него, – что невозможно было в такой короткий срок. А если бы и знали, все равно не могли бы молчать о том, пока он заговорит. Не мог он тоже слышать, что в городе уже «звонят» про предводительшу, опять-таки по краткости срока. Кроме того, рассказывая, он раза два как-то подло и ветрено улыбнулся, вероятно считая нас уже за вполне обманутых дураков. Но мне было уже не до него; глав-

ному факту я верил и выбежал от Юлии Михайловны вне себя. Катастрофа поразила меня в самое сердце. Мне было больно почти до слез; да, может быть, я и плакал. Я совсем не знал, что предпринять. Бросился к Степану Трофимовичу, но досадный человек опять не отпер. Настасья уверяла меня с благоговейным шепотом, что лег поживать, но я не поверил. В доме Лизы мне удалось расспросить слуг; они подтвердили о бегстве, но ничего не знали сами. В доме происходила тревога; с больною барыней начались обмороки; а при ней находился Маврикий Николаевич. Мне показалось невозможным вызвать Маврикия Николаевича. О Петре Степановиче, на расспросы мои, подтвердили, что он шнырял в доме все последние дни, иногда по два раза на день. Слуги были грустны и говорили о Лизе с какою-то особенною почтительностью; ее любили. Что она погибла, погибла совсем, – в этом я не сомневался, но психологической стороны дела я решительно не понимал, особенно после вчерашней сцены ее с Ставрогинным. Бегать по городу и справляться в знакомых, злорадных домах, где уже весть, конечно, теперь разнеслась, казалось мне противным, да и для Лизы унижительным. Но странно, что я забежал к Дарье Павловне, где, впрочем, меня не приняли (в ставрогинском доме никого не принимали со вчерашнего дня); не знаю, что бы мог я сказать ей и для чего забежал? От нее направился к ее брату. Шатов выслушал угрюмо и молча. Замечу, что я застал его еще в небывалом мрачном настроении; он был ужасно задумчив и выслушал меня как бы через силу. Он почти ничего не сказал и стал ходить взад и вперед, из угла в угол, по своей каморке, больше обыкновенного топая сапогами. Когда же я сходил уже с лестницы, крикнул мне вслед, чтобы я зашел к Липутину: «Там все узнаете». Но к Липутину я не зашел, а воротился уже далеко с дороги опять к Шатову и, полурастворив дверь, не входя, предложил ему лаконически и безо всяких объяснений: не сходит ли он сегодня к Марье Тимофеевне? На это Шатов выбранился, и я ушел. Записываю, чтобы не забыть, что в тот же вечер он нарочно ходил на край города к Марье Тимофеевне, которую давненько не видал. Он нашел ее в возможно добром здоровье и расположении, а Лебядкина мертвецки пьяным, спавшим на диване в первой комнате. Было это ровно в девять часов. Так сам он мне передавал уже на завтра, встретясь со мной впопыхах на улице. Я же в десятом часу вечера решил сходить на бал, но уже не в качестве «молодого человека распорядителя» (да и бант мой остался у Юлии Михайловны), а из непреодолимого любопытства прислушаться (не расспрашивая): как говорят у нас в городе обо всех этих событиях вообще? Да и на Юлию Михайловну хотелось мне поглядеть, хотя бы издали. Я очень упрекал себя, что так выбежал от нее давеча.

III

Вся эта ночь с своими почти нелепыми событиями и с страшною «развязкой» наутро мерещится мне до сих пор как безобразный, кошмарный сон и составляет – для меня по крайней мере – самую тяжелую часть моей хроники. Я хотя и опоздал на бал, но все-таки приехал к его концу, – так быстро суждено было ему окончиться. Был уже одиннадцатый час, когда я достиг подъезда дома предводительши, где та же давешняя Белая зала, в которой происходило чтение, уже была, несмотря на малый срок, прибрана и приготовлена служить главною танцевальною залой, как предполагалось, для всего города. Но как ни был я худо настроен в пользу бала еще давеча утром, – все же я не предчувствовал полной истины: ни единого семейства из высшего круга не явилось; даже чиновники чуть-чуть позначительнее манкировали, – а уж

это была чрезвычайно сильная черта. Что до дам и девиц, то давешние расчеты Петра Степановича (теперь уже очевидно коварные) оказались в высшей степени неправильными: съехалось чрезвычайно мало; на четырех мужчин вряд ли приходилась одна дама, да и какие дамы! «Какие-то» жены полковых обер-офицеров, разная почтамтская и чиновничья мелюзга, три лекарши с дочерьми, две-три помещицы из бедненьких, семь дочерей и одна племянница того секретаря, о котором я как-то упоминал выше, купчихи, – того ли ожидала Юлия Михайловна? Даже купцы наполовину не съехались. Что до мужчин, то, несмотря на компактное отсутствие всей нашей элиты, масса их все-таки была густа, но производила двусмысленное и подозрительное впечатление. Конечно, тут было несколько весьма тихих и почтительных офицеров со своими женами, несколько самых послушных отцов семейств, как все тот же, например, секретарь, отец своих семи дочерей. Весь этот смирный мелкотравчатый люд явился, так сказать, «по неизбежности», как выразился один из этих господ. Но, с другой стороны, масса бойких особ и, кроме того, масса таких лиц, которых я и Петр Степанович заподозрили давеча как впущенных без билетов, казалось, еще увеличилась против давешнего. Все они пока сидели в буфете и, являясь, так и проходили прямо в буфет, как в заранее условленное место. Так по крайней мере мне показалось. Буфет помещался в конце анфилады комнат, в просторной зале, где водворился Прохорыч со всеми обольщениями клубной кухни и с заманчивою выставкой закусок и выпивок. Я заметил тут несколько личностей чуть не в прорванных сюртуках, в самых сомнительных, слишком не в бальных костюмах, очевидно вытрезвленных с непомерным трудом и на малое время, и Бог знает откуда взятых, каких-то иногородных. Мне, конечно, было известно, что по идее Юлии Михайловны предположено было устроить бал самый демократический, «не отказывая даже и мещанам, если бы случилось, что кто-нибудь из таковых внесет за билет». Эти слова она смело могла выговорить в своем комитете, в полной уверенности, что никому из мещан нашего города, сплошь нищих, не придет в голову взять билет. Но все-таки я усумнился, чтоб этих мрачных и почти оборванных сертучников можно было впустить, несмотря на весь демократизм комитета. Но кто же их пустил и с какою целью? Липутин и Лямшин были уже лишены своих распорядительских бантов (хотя и присутствовали на бале, участвуя в «кадрили литературы»); но место Липутина занял, к удивлению моему, тот давешний семинарист, который всего более оскандалил «утро» схваткой со Степаном Трофимовичем, а место Лямшина – сам Петр Степанович; чего же можно было ожидать в таком случае? Я старался прислушаться к разговорам. Иные мнения поражали своею дикостью. Утверждали, например, в одной кучке, что всю историю Ставрогина с Лизой обделала Юлия Михайловна и за это взяла со Ставрогина деньги. Называли даже сумму. Утверждали, что даже и праздник устроила она с этою целью; потому-то-де половина города и не явилась, узнав, в чем дело, а сам Лембке был так фраппирован, что «расстроился в рассудке», и она теперь его «водит» помешанного. Тут много было и хохоту, сиплого, дикого и себе на уме. Все страшно тоже критиковали бал, а Юлию Михайловну ругали безо всякой церемонии. Вообще болтовня была беспорядочная, отрывистая, хмельная и беспокойная, так что трудно было сообразиться и что-нибудь вывести. Тут же в буфете приютился и просто веселый люд, даже было несколько дам из таких, которых уже ничем не удивишь и не испугаешь, прелюбезных и развеселых, большею частью все офицерских жен, с своими мужьями. Они устроились на отдельных столиках компаниями и чрезвычайно весело пили чай. Буфет об-

ратился в теплое пристанище чуть не для половины съехавшейся публики. И однако, через несколько времени вся эта масса должна была нахлынуть в залу; страшно было и подумать.

А пока в Белой зале с участием князя образовались три жиденские кадрили. Барышни танцевали, а родители на них радовались. Но и тут многие из этих почтенных особ уже начинали обдумывать, как бы им, повеселив своих девиц, убраться посвоевременнее, а не тогда, «когда начнется». Решительно все уверены были, что непременно начнется. Трудно было бы мне изобразить душевное состояние самой Юлии Михайловны. Я с нею не заговаривал, хотя и подходил довольно близко. На мой поклон при входе она не ответила, не заметив меня (действительно не заметив). Лицо ее было болезненное, взгляд презрительный и высокомерный, но блуждающий и тревожный. Она с видимым мучением преодолевала себя, — для чего и для кого? Ей следовало непременно уехать и, главное, увезти супруга, а она оставалась! Уже по лицу ее можно было заметить, что глаза ее «совершенно открылись» и что ей нечего больше ждать. Она даже не подзывала к себе и Петра Степановича (тот, кажется, и сам ее избегал; я видел его в буфете, он был чрезмерно весел). Но она все-таки оставалась на бале и ни на миг не отпускала от себя Андрея Антоновича. О, она до самого последнего мгновения с самым искренним негодованием отвергла бы всякий намек на его здоровье, даже давеча утром. Но теперь глаза ее и на этот счет должны были открыться. Что до меня, то мне с первого взгляда показалось, что Андрей Антонович смотрит хуже, чем давеча утром. Казалось, он был в каком-то забвении и не совсем сознавал, где находится. Иногда вдруг оглядывался с неожиданною строгостью, например раза два на меня. Один раз попробовал о чем-то заговорить, начал вслух и громко, и не dokonчил, произведя почти испуг в одном смиренном старичке чиновнике, случившемся подле него. Но даже и эта смиренная половина публики, присутствовавшая в Белой зале, мрачно и боязливо сторонилась от Юлии Михайловны, бросая в то же время чрезвычайно странные взгляды на ее супруга, взгляды, слишком не гармонизировавшие, по своей пристальности и откровенности, с напуганностью этих людей.

«Вот эта-то черта меня и пронзила, и я вдруг начала догадываться об Андрее Антоновиче», — признавалась потом мне самой Юлия Михайловна.

Да, она опять была виновата! Вероятно, давеча, когда после моего бегства порешено было с Петром Степановичем быть балу и быть на бале, — вероятно, она опять ходила в кабинет уже окончательно «потрясенного» на «чтении» Андрея Антоновича, опять употребила все свои обольщения и привлекла его с собой. Но как мучилась, должно быть, теперь! И все-таки не уезжала! Гордость ли ее мучила или просто она потерялась — не знаю. Она с унижением и с улыбками, при всем своем высокомерии, пробовала заговорить с иными дамами, но те тотчас терялись, отделивались односложными, недоверчивыми «да-с» и «Нет-с» и видимо ее избегали.

Из бесспорных сановников нашего города очутился тут на бале лишь один — тот самый важный отставной генерал, которого я уже раз описывал и который у предводительши после дуэли Ставрогина с Гагановым «отворил дверь общественному нетерпению». Он важно расхаживал по залам, присматривался и прислушивался и старался показать вид, что приехал более для наблюдения нравов, чем для несомненного удовольствия. Он кончил тем, что совсем пристроился к Юлии Михайловне и не отходил от нее ни шагу, видимо стараясь ее ободрить и успокоить. Без сомнения, это был человек добрейший, очень сановитый и до того уже старый, что от него можно было вынести даже и сожаление. Но соз-

наться себе самой, что этот старый болтун осмеливается ее сожалеть и почти протезировать, понимая, что делает ей честь своим присутствием, было очень досадно. А генерал не отставал и все болтал без умолку.

— Город, говорят, не стоит без семи праведников... семи, кажется, не помню по-ло-жен-ного числа. Не знаю, сколько из этих семи... несомненных праведников вашего города... имели честь посетить ваш бал, но, несмотря на их присутствие, я начинаю чувствовать себя не безопасным. *Vous me pardonnerez, charmante dame, n'est-ce pas?*¹ Говорю ал-ле-го-ри-чески, но сходил в буфет и рад, что цел вернулся... Наш бесценный Прохорыч там не на месте, и, кажется, к утру его палатку снесут. Впрочем, смеюсь. Я только жду, какая это будет «кадриль ли-те-ратуры», а там в постель. Простите старого подагрика, я ложусь рано, да и вам бы советовал ехать «спатиньки», как говорят *aux enfants*². А я ведь приехал для юных красавиц... которых, конечно, нигде не могу встретить в таком богатом комплекте, кроме здешнего места... Все из-за реки, а я туда не езжу. Жена одного офицера... кажется, егерского... очень даже недурна, очень и... и сама это знает. Я с плутовочкой разговаривал; бойка и... ну и девочки тоже свежи; но и только; кроме свежести, ничего. Впрочем, я с удовольствием. Есть бутончики; только губы толсты. Вообще в русской красоте женских лиц мало той правильности и... и несколько на блин сводится... *Vous me pardonnerez, n'est-ce pas...*³ при хороших, впрочем, глазках... смеющихся глазках. Эти бутончики года по два своей юности о-ча-ро-вательны, даже по три... ну а там расплываются навеки... производя в своих мужьях тот печальный индиф-фе-рентизм, который столь способствует развитию женского вопроса... если только я правильно понимаю этот вопрос... Гм. Зала хороша; комнаты убраны недурно. Могло быть хуже. Музыка могла быть гораздо хуже... не говорю — должна быть. Дурной эффект, что мало дам вообще. О нарядах не упоми-наю. Дурно, что этот в серых брюках так откровенно позволяет себе кан-ка-ни-ровать. Я прощу, если он с радости и так как он здешний аптекарь... но в одиннадцатом часу все-таки рано и для аптекаря... Там в буфете двое подрались и не были выведены. В одиннадцатом часу еще должно выводить драчунов, каковы бы ни были нравы публики... не говорю в третьем часу, тут уже необходима уступка общественному мнению, — и если только этот бал доживет до третьего часу. Варвара Петровна слова, однако, не сдержала и не дала цветов. Гм, ей не до цветов, *rauvre mège!*⁴ А бедная Лиза, вы слышали? Говорят, таинственная история и... и опять на арене Ставрогин... Гм. Я бы спать поехал... совсем кляю носом. А когда же эта «кадриль ли-те-ратуры»?

Наконец началась и «кадриль литературы». В городе, в последнее время, чуть только начинался где-нибудь разговор о предстоящем бале, непременно сейчас же сводили на эту «кадриль литературы», и так как никто не мог представить, что это такое, то и возбуждала она непомерное любопытство. Опаснее ничего не могло быть для успеха, и — каково же было разочарование!

Отворились боковые двери Белой залы, до тех пор запертые, и вдруг появилось несколько масок. Публика с жадностью их обступила. Весь буфет до последнего человека разом ввалился в залу. Маски расположились танцевать. Мне удалось протесниться на первый план, и я пристроился как раз сзади Юлии Ми-

¹ Вы меня простите, прелестнейшая, не правда ли? (фр.)

² детям (фр.).

³ Вы меня простите, не правда ли... (фр.)

⁴ бедная мать! (фр.)

хайловны, фон Лембке и генерала. Тут подскочил к Юлии Михайловне пропа-
давший до сих пор Петр Степанович.

– Я все в буфете и наблюдаю, – прошептал он с видом виноватого школь-
ника, впрочем нарочно подделанным, чтобы еще более ее раздражить. Та
вспыхнула от гнева.

– Хотя бы теперь-то вы меня не обманывали, наглый человек! – вырвалось
у ней почти громко, так что в публике слышали. Петр Степанович отскочил,
чрезвычайно довольный собой.

Трудно было бы представить более жалкую, более пошлую, более бездар-
ную и пресную аллегория, как эта «кадриль литературы». Ничего нельзя было
придумать менее подходящего к нашей публике; а между тем придумывал ее, го-
ворят, Кармазинов. Правда, устраивал Липутин, советуясь с тем самым хромым
учителем, который был на вечере у Виргинского. Но Кармазинов все-таки давал
идею и даже сам, говорят, хотел нарядиться и взять какую-то особую и само-
стоятельную роль. Кадриль состояла из шести пар жалких масок, – даже почти
не масок, потому что они были в таких же платьях, как и все. Так, например,
один пожилой господин, невысокого роста, во фраке, – одним словом, так, как
все одеваются, – с почтенною седою бородой (подвязанною, и в этом состоял
весь костюм), танцую, толкаясь на одном месте с солидным выражением в лице,
часто и мелко семеня ногами и почти не сдвигаясь с места. Он издавал какие-то
звуки умеренным, но охрипшим баском, и вот эта-то охриплость голоса и долж-
на была означать одну из известных газет. Напротив этой маски танцевали два
какие-то гиганта X и Z, и эти буквы были у них пришпилены на фраках, но что
означали эти X и Z, так и осталось неразъясненным. «Честная русская мысль»
изображалась в виде господина средних лет, в очках, во фраке, в перчатках и – в
кандалах (в настоящих кандалах). Под мышкой этой мысли был портфель с ка-
ким-то «делом». Из кармана выглядывало распечатанное письмо из-за границы,
заклучавшее в себе удостоверение, для всех сомневающихся, в честности
«честной русской мысли». Все это досказывалось распорядителями уже изустно,
потому что торчавшее из кармана письмо нельзя же было прочесть. В приподня-
той правой руке «честная русская мысль» держала бокал, как будто желая про-
возгласить тост. По обе стороны ее с нею рядом семенили две стриженные ниги-
листски, а *vis-à-vis*¹ танцевал какой-то тоже пожилой господин, во фраке, но с тя-
желюю дубиной в руке и будто бы изображал собою непетербургское, но грозное
издание: «Прихлопну – мокренько будет». Но, несмотря на свою дубину, он ни-
как не мог снести пристально устремленных на него очков «честной русской
мысли» и старался глядеть по сторонам, а когда делал *pas de deux*², то изгибался,
вертелся и не знал, куда деваться, – до того, вероятно, мучила его совесть...
Впрочем, не упомяну всех этих тупеньких выдумок; все было в таком же роде, так
что, наконец, мне стало мучительно стыдно. И вот именно то же самое впечатле-
ние как бы стыда отразилось и на всей публике, даже на самых угрюмых физио-
номиях, явившихся из буфета. Некоторое время все молчали и смотрели в сердитом
недоумении. Человек в стыде обыкновенно начинает сердиться и наклонен к
цинизму. Мало-помалу загудела наша публика:

– Это что ж такое? – пробормотал в одной кучке один буфетник.

– Глупость какая-то.

– Какая-то литература. «Голос» критикуют.

¹ напротив (фр.).

² па-де-де (фр.).

– Да мне-то что.

Из другой кучки:

– Ослы!

– Нет, они не ослы, а ослы-то мы.

– Почему ты осел?

– Да я не осел.

– А коль уж ты не осел, так я и подавно.

Из третьей кучки:

– Надавать бы всем киселей, да и к черту!

– Растрясти весь зал!

Из четвертой:

– Как не совестно Лембкам смотреть?

– Почему им совестно? Ведь тебе не совестно?

– Да и мне совестно, а он губернатор.

– А ты свинья.

– В жизнь мою не видывала такого самого обыкновенного бала, – ядовито проговорила подле самой Юлии Михайловны одна дама, очевидно с желанием быть услышанною. Эта дама была лет сорока, плотная и нарумяненная, в ярком шелковом платье; в городе ее почти все знали, но никто не принимал. Была она вдова статского советника, оставившего ей деревянный дом и скудный пенсион, но жила хорошо и держала лошадей. Юлии Михайловне, месяца два назад, сделала визит первая, но та не приняла ее.

– Так точно и предвидеть было возможно-с, – прибавила она, нагло заглядывая в глаза Юлии Михайловне.

– А если могли предвидеть, то зачем же пожаловали? – не стерпела Юлия Михайловна.

– Да по наивности-с, – мигом отрезала бойкая дама и вся так и всполохнулась (ужасно желая сцепиться); но генерал стал между ними:

– *Chère dame!*, – наклонился он к Юлии Михайловне, – право бы уехать. Мы их только стесняем, а без нас они отлично повеселятся. Вы всё исполнили, открыли им бал, ну и оставьте их в покое... Да и Андрей Антонович не совсем, кажется, чувствует себя у-до-вле-тво-рительно... Чтобы не случилось беды?

Но уже было поздно.

Андрей Антонович все время кадрили смотрел на танцующих с каким-то гневливым недоумением, а когда начались отзывы в публике, начал беспокойно озираться кругом. Тут в первый раз бросились ему в глаза некоторые буфетные личности; взгляд его выразил чрезвычайное удивление. Вдруг раздался громкий смех над одною проделкой в кадрили: издатель «грозного непетербургского издания», танцевавший с дубиной в руках, почувствовав окончательно, что не может вынести на себе очков «честной русской мысли», и не зная, куда от нее деваться, вдруг, в последней фигуре, пошел навстречу очкам вверх ногами, что, кстати, и должно было обозначать постоянное извращение вверх ногами здравого смысла в «грозном непетербургском издании». Так как один Лямшин умел ходить вверх ногами, то он и взялся представлять издателя с дубиной. Юлия Михайловна решительно не знала, что будут ходить вверх ногами. «От меня это утаили, утаили», – повторяла она мне потом в отчаянии и негодовании. Хохот толпы приветствовал, конечно, не аллегорию, до которой никому не было дела, а просто хождение вверх ногами во фраке с фалдочками. Лембке вскипел и затрясся.

¹ Дорогая (фр.).

– Негодяй! – крикнул он, указывая на Лямшина. – Схватить мерзавца, обернуть... обернуть его ногами... головой... чтоб голова вверх... вверху!

Лямшин вскочил на ноги. Хохот усиливался.

– Выгнать всех мерзавцев, которые смеются! – предписал вдруг Лембке. Толпа загудела и загрохотала.

– Этак нельзя, ваше превосходительство.

– Публику нельзя ругать-с.

– Сам дурак! – раздался голос откуда-то из угла.

– Флибустьеры! – крикнул кто-то из другого конца.

Лембке быстро обернулся на крик и весь побледнел. Тупая улыбка показалась на его губах, – как будто он что-то вдруг понял и вспомнил.

– Господа, – обратилась Юлия Михайловна к надвигавшейся толпе, в то же время увлекая за собою мужа, – господа, извините Андрея Антоновича, Андрей Антонович нездоров... извините... простите его, господа!

Я именно слышал, как она сказала: «простите». Сцена была очень быстра. Но я решительно помню, что часть публики уже в это самое время устремилась вон из залы, как бы в испуге, именно после этих слов Юлии Михайловны. Я даже запоминаю один истерический женский крик сквозь слезы:

– Ах, опять как давеча!

И вдруг в эту уже начавшуюся почти давку опять ударила бомба, именно «опять как давеча»:

– Пожар! Все Заречье горит!

Не помню только, где впервые раздался этот ужасный крик: в залах ли, или, кажется, кто-то вбежал с лестницы из передней, но вслед за тем наступила такая тревога, что и рассказать не возьмусь. Больше половины собравшейся на бал публики были из Заречья – владельцы тамошних деревянных домов или их обитатели. Бросились к окнам, мигом раздвинули гардины, сорвали шторы. Заречье пылало. Правда, пожар только еще начался, но пылало в трех совершенно разных местах, – это-то и испугало.

– Поджог! Шпигулинские! – вопили в толпе.

Я упомянул несколько весьма характерных восклицаний:

– Так и предчувствовало мое сердце, что подожгут, все эти дни оно чувствовало!

– Шпигулинские, шпигулинские, некому больше!

– Нас и собрали тут нарочно, чтобы там поджечь!

Этот последний, самый удивительный крик был женский, неумышленный, невольный крик погоревшей Коробочки. Все хлынуло к выходу. Не стану описывать давки в передней при разборе шуб, платков и салопов, визга испуганных женщин, плача барышень. Вряд ли было какое воровство, но не удивительно, что при таком беспорядке некоторые так и уехали без теплой одежды, не отыскав своего, о чем долго потом рассказывалось в городе с легендами и прикрасами. Лембке и Юлия Михайловна были почти сдавлены толпою в дверях.

– Всех остановить! Не выпускать ни одного! – вопил Лембке, грозно простирая руку навстречу теснившимся. – Всем поголовно строжайший обыск, немедленно!

Из залы посыпались крепкие ругательства.

– Андрей Антонович! Андрей Антонович! – восклицала Юлия Михайловна в совершенном отчаянии.

– Арестовать первую! – крикнул тот, грозно наводя на нее свой перст. – Обыскать первую! Бал устроен с целью поджога...

Она вскрикнула и упала в обморок (о, уж конечно, в настоящий обморок). Я, князь и генерал бросились на помощь; были и другие, которые нам помогли в эту трудную минуту, даже из дам. Мы вынесли несчастную из этого ада в карету; но она очнулась, лишь подъезжая к дому, и первый крик ее был опять об Андрее Антоновиче. С разрушением всех ее фантазий пред нею остался один только Андрей Антонович. Послали за доктором. Я прождал у нее целый час, князь тоже; генерал в припадке великодушия (хотя и очень перепугался сам) хотел не отходить всю ночь от «постели несчастной», но через десять минут заснул в зале, еще в ожидании доктора, в креслах, где мы его так и оставили.

Полицеймейстер, поспешивший с бала на пожар, успел вывести вслед за нами Андрея Антоновича и хотел было усадить его в карету к Юлии Михайловне, убеждая из всех сил его превосходительство «взять покой». Но, не понимая почему, не настоял. Конечно, Андрей Антонович не хотел и слышать о покое и рвался на пожар; но это был не резон. Кончилось тем, что он же и повез его на пожар в своих дрожках. Потом рассказывал, что Лембке всю дорогу жестикулировал и «такие идеи выкрикивали, что по необычайности невозможно было исполнить-с». Впоследствии так и доложено было, что его превосходительство в те минуты уже состояли от «внезапности испуга» в белой горячке.

Нечего рассказывать, как кончился бал. Несколько десятков гуляк, а с ними даже несколько дам осталось в залах. Полиции никакой. Музыку не отпустили и уходивших музыкантов избили. К утру всю «палатку Прохорыча» снесли, пили без памяти, плясали камаринского без цензуры, комнаты изгадили, и только на рассвете часть этой ватаги, совсем пьяная, подоспела на догоравшее пожарище на новые беспорядки... Другая же половина так и заночевала в залах, в мертвопьяном состоянии, со всеми последствиями, на бархатных диванах и на полу. Поутру, при первой возможности, их вытащили за ноги на улицу. Тем и кончилось празднество в пользу гувернанток нашей губернии.

IV

Пожар испугал нашу заречную публику именно тем, что поджог был очевидный. Замечательно, что при первом крике «горим» сейчас же раздался и крик, что «поджигают шпигулинские». Теперь уже слишком хорошо известно, что и в самом деле трое шпигулинских участвовали в поджоге, но – и только; все остальные с фабрики совершенно оправданы и общим мнением и официально. Кроме тех трех негодяев (из коих один пойман и сознался, а двое по сию пору в бегах), несомненно участвовал в поджоге и Федька Каторжный. Вот и все, что покамест известно в точности о происхождении пожара; совсем другое дело догадки. Чем руководствовались эти три негодяя, были или нет кем направлены? На все это очень трудно ответить даже теперь.

Огонь, благодаря сильному ветру, почти сплошь деревянным постройкам Заречья и, наконец, поджогу с трех концов, распространился быстро и охватил целый участок с неимоверною силой (впрочем, поджог надо считать скорее с двух концов: третий был захвачен и потушен почти в ту же минуту, как вспыхнуло, о чем ниже). Но в столичных корреспонденциях все-таки преувеличили нашу беду: сгорело не более (а может, и менее) одной четвертой доли всего Заречья, говоря примерно. Наша пожарная команда, хотя и слабая сравнительно с пространством и населением города, действовала, однако, весьма аккуратно и самоотверженно. Но немного бы она сделала, даже и при дружном содействии обывателей, если бы не переменявшийся к утру ветер, вдруг упавший пред са-

мым рассветом. Когда я, всего час спустя после бегства с бала, пробрался в Заречье, огонь был уже в полной силе. Целая улица, параллельная реке, пылала. Было светло как днем. Не стану описывать в подробности картину пожара: кто ее на Руси не знает? В ближайших проулках от пылавшей улицы суета и теснота стояли непомерные. Тут огня ждали наверно, и жители вытаскивали имущество, но все еще не отходили от своих жилищ, а в ожидании сидели на вытасненных сундуках и перинах, каждый под своими окнами. Часть мужского населения была в тяжелой работе, безжалостно рубила заборы и даже сносила целые лачуги, стоявшие ближе к огню и под ветром. Плакали лишь проснувшиеся ребятишки да выли, причитывая, женщины, уже успевшие вытащить свою рухлядь. Неудавшиеся пока молча и энергически вытаскивались. Искры и гальки разлетались далеко; их тушили по возможности. На самом пожаре теснились зрители, сбегавшиеся со всех концов города. Иные помогали тушить, другие глазели как любители. Большой огонь по ночам всегда производит впечатление раздражающее и веселящее; на этом основаны фейерверки; но там огни располагаются по изящным, правильным очертаниям и, при полной своей безопасности, производят впечатление игривое и легкое, как после бокала шампанского. Другое дело настоящий пожар: тут ужас и все же как бы некоторое чувство личной опасности, при известном веселящем впечатлении ночного огня, производят в зрителе (разумеется, не в самом погоревшем обывателе) некоторое сотрясение мозга и как бы вызов к его собственным разрушительным инстинктам, которые, увы! таятся во всякой душе, даже в душе самого смиренного и семейного титулярного советника... Это мрачное ощущение почти всегда упоительно. «Я, право, не знаю, можно ли смотреть на пожар без некоторого удовольствия?» Это, слово в слово, сказал мне Степан Трофимович, возвратясь однажды с одного ночного пожара, на который попал случайно, и под первым впечатлением зрелища. Разумеется, тот же любитель ночного огня бросится и сам в огонь спасать погоревшего ребенка или старуху; но ведь это уже совсем другая статья.

Теснясь вслед за любопытною толпой, я без расспрашиваний добрел до главного и опаснейшего пункта, где и увидел наконец Лембке, которого отыскивал по поручению самой Юлии Михайловны. Положение его было удивительное и чрезвычайное. Он стоял на обломках забора; налево от него, шагах в тридцати, высился черный скелет уже совсем почти догоревшего двухэтажного деревянного дома, с дырками вместо окон в обоих этажах, с провалившеюся крышей и с пламенем, все еще змеившимся кое-где по обугленным бревнам. В глубине двора, шагах в двадцати от погоревшего дома, начинал пылать флигель, тоже двухэтажный, и над ним изо всех сил старались пожарные. Направо пожарные и народ отстаивали довольно большое деревянное строение, еще не загоревшееся, но уже несколько раз загоравшееся, и которому неминуемо суждено было сгореть. Лембке кричал и жестикулировал лицом к флигелю и отдавал приказания, которых никто не исполнял. Я было подумал, что его так тут и бросят и совсем от него отступились. По крайней мере густая и чрезвычайно разнородная толпа, его окружавшая, в которой вместе со всяким людом были и господа и даже соборный протопоп, хотя и слушали его с любопытством и удивлением, но никто из них с ним не заговаривал и не пробовал его отвести. Лембке, бледный, с сверкающими глазами, произносил самые удивительные вещи; к довершению был без шляпы и уже давно потерял ее.

– Все поджог! Это нигилизм! Если что пылает, то это нигилизм! – услышал я чуть не с ужасом, и хотя удивляться было уже нечему, но наглядная действительность всегда имеет в себе нечто потрясающее.

– Ваше превосходительство, – очутился подле него квартальный, – если бы вы соизволили испробовать домашний покой-с... А то здесь даже и стоять опасно для вашего превосходительства.

Этот квартальный, как я узнал потом, нарочно был оставлен при Андрее Антоновиче полицеймейстером, с тем чтобы за ним наблюдать и изо всех сил стараться увести его домой, а в случае опасности так даже действовать силой, – поручение, очевидно, свыше сил исполнителя.

– Слезы погоревших утрут, но город сожгут. Это все четыре мерзавца, четыре с половиной. Арестовать мерзавца! Он тут один, а четыре с половиной им оклеветаны. Он втирается в честь семейств. Для зажигания домов употребили гувернанток. Это подло, подло! Ай, что он делает! – крикнул он, заметив вдруг на кровле пылавшего флигеля пожарного, под которым уже прогорела крыша и кругом вспыхивал огонь. – Стащить его, стащить, он провалится, он загорится, тушите его... Что он там делает?

– Тушит, ваше превосходительство.

– Невероятно. Пожар в умах, а не на крышах домов. Стащить его и бросить все! Лучше бросить, лучше бросить! Пусть уж само как-нибудь! Ай, кто еще плачет? Старуха! Кричит старуха, зачем забыли старуху?

Действительно, в нижнем этаже пылавшего флигеля кричала забытая старуха, восьмидесятилетняя родственница купца, хозяина горевшего дома. Но ее не забыли, а она сама воротилась в горевший дом, пока было можно, с безумною целью вытащить из угловой каморки, еще уцелевшей, свою перину. Задыхаясь в дыму и крича от жару, потому что загорелась и каморка, она все-таки изо всех сил старалась просунуть сквозь выбитое в раме стекло дряхлыми руками свою перину. Лембке бросился к ней на помощь. Все видели, как он подбежал к окну, ухватился за угол перины и изо всех сил стал дергать ее из окна. Как на грех с крыши слетела в этот самый момент выломанная доска и ударила в несчастного. Она не убила его, задев лишь на лету концом по шее, но поприще Андрея Антоновича кончилось, по крайней мере у нас; удар сбил его с ног, и он упал без памяти.

Наступил наконец угрюмый, мрачный рассвет. Пожар уменьшился; после ветра настала вдруг тишина, а потом пошел мелкий медленный дождь, как сквозь сито. Я уже был в другой части Заречья, далеко от того места, где упал Лембке, и тут в толпе услышал очень странные разговоры. Обнаружился один странный факт: совсем на краю квартала, на пустыре, за огородами, не менее как в пятидесяти шагах от других строений, стоял один только что отстроенный небольшой деревянный дом, и этот-то уединенный дом загорелся чуть не прежде всех, при самом начале пожара. Если б и сгорел, то за расстоянием не мог бы передать огня ни одному из городских строений, и обратно – если бы сгорело все Заречье, то один этот дом мог бы уцелеть, даже при каком бы то ни было ветре. Выходило, что он запылал отдельно и самостоятельно и, стало быть, неспроста. Но главное состояло в том, что сгореть он не успел и внутри его, к рассвету, обнаружены были удивительные дела. Хозяин этого нового дома, мешанин, живший в ближайшей слободке, только что увидел пожар в своем новом доме, бросился к нему и успел его отстоять, раскидав с помощью соседей зажженные дрова, сложенные у боковой стены. Но в доме жили жильцы – известный в городе капитан с сестрицей и при них пожилая работница, и вот эти-то жильцы, капитан, сестра его и работница, все трое были в эту ночь зарезаны и, очевидно, ограблены. (Вот сюда-то и отлучался полицеймейстер с пожара, когда Лембке спасал перину.) К утру известие распространилось, и огромная масса всякого люда и даже погоревшие из Заречья хлынули на пустырь к новому дому. Трудно было

и пройти, до того столпились. Мне тотчас рассказали, что капитана нашли с перерезанным горлом, на лавке, одетого, и что зарезали его, вероятно, мертвецки пьяного, так что он и не услышал, а крови из него вышло «как из быка»; что сестра его Марья Тимофеевна вся «истыкана» ножом, а лежала на полу в дверях, так что, верно, билась и боролась с убийцей уже наяву. У служанки, тоже, верно, проснувшейся, пробита была совсем голова. По рассказам хозяина, капитан еще накануне утром заходил к нему нетрезвый, похвалялся и показывал много денег, рублей до двухсот. Старый истрепанный зеленый капитанский бумажник найден на полу пустой; но сундук Марьи Тимофеевны не тронут, и риза серебряная на образе тоже не тронута; из капитанского платья тоже все оказалось цело. Видно было, что вор торопился и человек был, капитанские дела знавший, приходил за одними деньгами и знал, где они лежат. Если бы не прибежал в ту же минуту хозяин, то дрова, разгоревшись, наверно бы сожгли дом, «а по обгоревшим трупам трудно было бы правду узнать».

Так передавалось дело. Прибавлялось и еще сведение: что квартиру эту снял для капитана и сестры его сам господин Ставрогин, Николай Всеволодович, сынок генеральши Ставрогиной, сам и нанимать приходил, очень уговаривал, потому что хозяин отдавать не хотел и дом назначал для кабака, но Николай Всеволодович за ценой не постояли и за полгода вперед выдали.

– Горели неспроста, – слышалось в толпе.

Но большинство молчало. Лица были мрачны, но раздражения большого, видимого, я не заметил. Кругом, однако же, продолжались истории о Николае Всеволодовиче и о том, что убитая – его жена, что вчера он из первого здешнего дома, у генеральши Дроздовой, сманил к себе девуцу, дочь, «нечестным порядком», и что жаловаться на него будут в Петербург, а что жена зарезана, то это, видно, для того, чтоб на Дроздовой ему жениться. Скворешники были не более как в двух с половиною верстах, и, помню, мне подумалось: не дать ли туда знать? Впрочем, я не заметил, чтоб особенно кто-нибудь поджигал толпу, не хочу грешить, хотя и мелькнули предо мной две-три рожи из «буфетных», очутившиеся к утру на пожаре и которых я тотчас узнал. Но особенно припоминаю одного худошавого, высокого парня, из мещан, испитого, курчавого, точно сажень вымазанного, слесаря, как узнал я после. Он был не пьян, но, в противоположность мрачно стоявшей толпе, был как бы вне себя. Он все обращался к народу, хотя и не помню слов его. Все, что он говорил связного, было не длиннее, как: «Братцы, что ж это? Да неужто так и будет?» – и при этом размахивал руками.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Законченный роман

I

Из большой залы в Скворешниках (той самой, в которой состоялось последнее свидание Варвары Петровны и Степана Трофимовича) пожар был как на ладони. На рассвете, часу в шестом утра, у крайнего окна справа стояла Лиза и пристально глядела на потухавшее зарево. Она была одна в комнате. Платье было на ней вчерашнее, праздничное, в котором она явилась на чтении, – светло-зеленое, пышное, все в кружевах, но уже измятое, надетое наскоро и небрежно.

Заметив вдруг неплотно застегнутую грудь, она покраснела, торопливо оправила платье, схватила с кресел еще вчера брошенный ею при входе красный платок и накинула на шею. Пышные волосы в разбившихся локонах выбились из-под платка на правое плечо. Лицо ее было усталое, озабоченное, но глаза горели из-под нахмуренных бровей. Она вновь подошла к окну и прислонилась горячим лбом к холодному стеклу. Отворилась дверь, и вошел Николай Всеволодович.

– Я отправил нарочного верхом, – сказал он, – через десять минут все узнаем, а пока люди говорят, что сгорела часть Заречья, ближе к набережной, по правую сторону моста. Загорелось еще в двенадцатом часу; теперь утихает.

Он не подошел к окну, а остановился сзади нее в трех шагах; но она к нему не повернулась.

– По календарю еще час тому должно светать, а почти как ночь, – проговорила она с досадой.

– Всё врут календари, – заметил было он с любезною усмешкой, но, устыдившись, поспешил прибавить: – по календарю жить скучно, Лиза.

И замолчал окончательно, досадуя на новую сказанную пошлость; Лиза криво улыбнулась.

– Вы в таком грустном настроении, что даже слов со мной не находите. Но успокойтесь, вы сказали кстати: я всегда живу по календарю, каждый мой шаг рассчитан по календарю. Вы удивляетесь?

Она быстро повернулась от окна и села в кресла.

– Садитесь и вы, пожалуйста. Нам недолго быть вместе, и я хочу говорить все, что мне угодно... Почему бы и вам не говорить все, что вам угодно?

Николай Всеволодович сел рядом с нею и тихо, почти боязливо взял ее за руку.

– Что значит этот язык, Лиза? Откуда он вдруг? Что значит «нам немного быть вместе»? Вот уже вторая фраза загадочная в полчаса, как ты проснулась.

– Вы принимаетесь считать мои загадочные фразы? – засмеялась она. – А помните, я вчера, входя, мертвецом отрекомендовалась? Вот это вы нашли нужным забыть. Забыть или не приметить.

– Не помню, Лиза. Зачем мертвецом? Надо жить...

– И замолчали? У вас совсем пропало красноречие. Я прожила мой час на свете, и довольна. Помните вы Христофора Ивановича?

– Нет, не помню, – нахмурился он.

– Христофора Ивановича, в Лозанне? Он вам ужасно надоел. Он отворял дверь и всегда говорил: «Я на минутку», а просидит весь день. Я не хочу походить на Христофора Ивановича и сидеть весь день.

Болезненное впечатление отразилось в лице его.

– Лиза, мне больно за этот надломанный язык. Эта гримаса вам дорого стоит самой. К чему она? Для чего?

Глаза его загорелись.

– Лиза, – воскликнул он, – клянусь, я теперь больше люблю тебя, чем вчера, когда ты вошла ко мне!

– Какое странное признание! Зачем тут вчера и сегодня, и обе мерки?

– Ты не оставишь меня, – продолжал он почти с отчаянием, – мы уедем вместе, сегодня же, так ли? Так ли?

– Ай, не жмите руку так больно! Куда нам ехать вместе сегодня же? Куда-нибудь опять «воскресать»? Нет, уж довольно проб... да и медленно для меня; да и неспособна я; слишком для меня высоко. Если ехать, то в Москву, и там делать визиты и самим принимать – вот мой идеал, вы знаете; я от вас не скрыла, еще в

Швейцарии, какова я собою. Так как нам невозможно ехать в Москву и делать визиты, потому что вы женаты, так и нечего о том говорить.

– Лиза! Что же такое было вчера?

– Было то, что было.

– Это невозможно! Это жестоко!

– Так что ж, что жестоко, и снесите, коли жестоко.

– Вы мстите мне за вчерашнюю фантазию... – пробормотал он, злобно усмехнувшись. Лиза вспыхнула.

– Какая низкая мысль!

– Так зачем же вы дарили мне... «столько счастья»? Имею я право узнать?

– Нет, уж обойдитесь как-нибудь без прав; не завершайте низость вашего предположения глупостью. Вам сегодня не удастся. Кстати, уж не боитесь ли вы и светского мнения и что вас за это «столько счастья» осудят? О, коли так, ради Бога не тревожьте себя. Вы ни в чем тут не причина и никому не в ответе. Когда я отворяла вчера вашу дверь, вы даже не знали, кто это входит. Тут именно одна моя фантазия, как вы сейчас выразились, и более ничего. Вы можете всем смело и победоносно смотреть в глаза.

– Твои слова, этот смех, вот уже час, насылают на меня холод ужаса. Это «счастье», о котором ты так неистово говоришь, стоит мне... всего. Разве я могу теперь потерять тебя? Клянусь, я любил тебя вчера меньше. Зачем же ты у меня все отнимаешь сегодня? Знаешь ли ты, чего она стоила мне, эта новая надежда? Я жизнью за нее заплатил.

– Своею или чужой?

Он быстро приподнялся.

– Что это значит? – проговорил он, неподвижно смотря на нее.

– Своею или моею жизнью заплатили, вот что я хотела спросить. Или вы совсем теперь понимать перестали? – вспыхнула Лиза. – Чего вы так вдруг вскочили? Зачем на меня глядите с таким видом? Вы меня пугаете. Чего вы всё боитесь? Я уж давно заметила, что вы боитесь, именно теперь, именно сейчас... Господи, как вы бледнеете!

– Если ты что-нибудь знаешь, Лиза, то клянусь, я не знаю... и вовсе не о том сейчас говорил, говоря, что жизнью заплатил...

– Я вас совсем не понимаю, – проговорила она, боязливо запинаясь.

Наконец медленная, задумчивая усмешка показалась на его губах. Он тихо сел, положил локти на колени и закрыл руками лицо.

– Дурной сон и бред... Мы говорили о двух разных вещах.

– Я совсем не знаю, о чем вы говорили... Неужели вчера вы не знали, что я сегодня от вас уйду, знали или нет? Не лгите, знали или нет?

– Знал... – тихо вымолвил он.

– Ну так чего же вам: знали и оставили «мгновение» за собой. Какие же тут счеты?

– Скажи мне всю правду, – вскричал он с глубоким страданием, – когда вчера ты отворила мою дверь, знала ты сама, что отворишь ее на один только час?

Она ненавистно на него поглядела:

– Правда, что самый серьезный человек может задавать самые удивительные вопросы. И чего вы так беспокоитесь? Неужто из самолюбия, что вас женщина первая бросила, а не вы ее? Знаете, Николай Всеволодович, я, пока у вас, убедилась, между прочим, что вы ужасно ко мне великодушны; а я вот этого-то и не могу у вас выносить.

Он встал с места и прошел несколько шагов по комнате.

– Хорошо, пусть так должно кончиться... Но как могло это все случиться?

– Вот забота! И главное, что вы это сами знаете как по пальцам и понимаете лучше всех на свете и сами рассчитывали. Я барышня, мое сердце в опере воспитывалось, вот с чего и началось, вся разгадка.

– Нет.

– Тут нет ничего, что может растерзать ваше самолюбие, и все совершенная правда. Началось с красивого мгновения, которого я не вынесла. Третьего дня, когда я вас всенародно «обидела», а вы мне ответили таким рыцарем, я приехала домой и тотчас догадалась, что вы потому от меня бежали, что женаты, а вовсе не из презрения ко мне, чего я в качестве светской барышни всего более опасалась. Я поняла, что меня же вы, безрассудную, берегли, убегая. Видите, как я ценю ваше великодушие. Тут подскочил Петр Степанович и тотчас же мне все объяснил. Он мне открыл, что вас колеблет великая мысль, пред которою мы оба с ним совершенно ничто, но что я все-таки у вас поперек дороги. Он и себя тут причел; он непременно хотел втроем и говорил префантастические вещи, про ладью и про кленовые весла из какой-то русской песни. Я его похвалила, сказала ему, что он поэт, и он принял за самую неразменную монету. А так как я и без того давно знала, что меня всего на один миг только хватит, то взяла и решилась. Ну вот и все, и довольно, и, пожалуйста, больше без объяснений. Пожалуй, еще поссоримся. Никого не бойтесь, я все на себя беру. Я дурная, капризная, я оперною ладью соблазнилась, я барышня... А знаете, я все-таки думала, что вы ужасно как меня любите. Не презирайте дуру и не смейтесь за эту слезинку, что сейчас упала. Я ужасно люблю плакать «себя жалеючи». Ну, довольно, довольно. Я ни на что не способна, и вы ни на что не способны; два щелчка с обеих сторон, тем и утешимся. По крайней мере самолюбие не страдает.

– Сон и бред! – вскричал Николай Всеволодович, ломая руки и шагая по комнате. – Лиза, бедная, что ты сделала над собою?

– Обожглась на свечке и больше ничего. Уж не плачете ли и вы? Будьте приличнее, будьте бесчувственнее...

– Зачем, зачем ты пришла ко мне?

– Но вы не понимаете, наконец, в какое комическое положение ставите сами себя пред светским мнением такими вопросами?

– Зачем ты себя погубила, так уродливо и так глупо, и что теперь делать?

– И это Ставрогин, «кровопийца Ставрогин», как называет вас здесь одна дама, которая в вас влюблена! Слушайте, я ведь вам уже сказала: я разочла мою жизнь на один только час и спокойна. Разочтите и вы так свою... впрочем, вам не для чего; у вас так еще много будет разных «часов» и «мгновений».

– Столько же, сколько у тебя; даю тебе великое слово мое, ни часу более, как у тебя!

Он все ходил и не видал ее быстрого, пронзительного взгляда, вдруг как бы озарившегося надеждой. Но луч света погас в ту же минуту.

– Если бы ты знала цену моей теперешней невозможной искренности, Лиза, если б я только мог открыть тебе...

– Открыть. Вы хотите мне что-то открыть? Сохрани меня Боже от ваших открытий! – прервала она почти с испугом.

Он остановился и ждал с беспокойством.

– Я вам должна признаться, у меня тогда, еще с самой Швейцарии, укрепилась мысль, что у вас что-то есть на душе ужасное, грязное и кровавое, и... и в то же время такое, что ставит вас в ужасно смешном виде. Берегитесь мне откры-

вать, если правда: я вас засмею. Я буду хохотать над вами всю вашу жизнь... Ай, вы опять бледнеете? Не буду, не буду, я сейчас уйду, – вскричала она со стула с брезгливым и презрительным движением.

– Мучь меня, казни меня, срывай на мне злобу, – вскричал он в отчаянии. – Ты имеешь полное право! Я знал, что я не люблю тебя, и погубил тебя. Да, «я оставил мгновение за собой»; я имел надежду... давно уже... последнюю... Я не мог устоять против света, озарившего мое сердце, когда ты вчера вошла ко мне, сама, одна, первая. Я вдруг поверил... Я, может быть, верую еще и теперь.

– За такую благородную откровенность отплачу вам тем же: не хочу я быть вашей сердобольною сестрой. Пусть я, может быть, и в самом деле в сиделки пойду, если не сумею умереть кстати сегодня же; но хоть пойду, да не к вам, хотя и вы, конечно, всякого безногого и безрукого стоите. Мне всегда казалось, что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдет наша взаимная любовь. Обратитесь к Дашеньке; та с вами поедет куда хотите.

– А вы ее и тут не могли не вспомнить?

– Бедная собачка! Кланяйтесь ей. Знает она, что вы еще в Швейцарии ее себе под старость определили? Какая заботливость! Какая предусмотрительность! Ай, кто это?

В глубине залы чуть-чуть отворилась дверь; чья-то голова просунулась и торопливо спряталась.

– Это ты, Алексей Егорыч? – спросил Ставрогин.

– Нет, это всего только я, – высунулся опять до половины Петр Степанович. – Здравствуйте, Лизавета Николаевна; во всяком случае с добрым утром. Так и знал, что найду вас обоих в этой зале. Я совершенно на одно мгновение, Николай Всеволодович, – во что бы то ни стало спешил на пару слов... необходимейших... всего только парочку!

Ставрогин пошел, но с трех шагов воротился к Лизе.

– Если сейчас что-нибудь услышишь, Лиза, то знай: я виновен.

Она вздрогнула и пугливо посмотрела на него; но он поспешно вышел.

II

Комната, из которой выглянул Петр Степанович, была большая овальная прихожая. Тут до него сидел Алексей Егорыч, но он его выслал. Николай Всеволодович притворил за собою дверь в залу и остановился в ожидании. Петр Степанович быстро и пытливо оглядел его.

– Ну?

– То есть если вы уже знаете, – заторопился Петр Степанович, казалось желая вскочить глазами в душу, – то, разумеется, никто из нас ни в чем не виноват, и прежде всех вы, потому что это такое стечение... совпадение случаев... одним словом, юридически до вас не может коснуться, и я летел предупредить.

– Сгорели? Зарезаны?

– Зарезаны, но не сгорели, это-то и скверно, но я вам даю честное слово, что я и тут не виновен, как бы вы ни подозревали меня, – потому что, может быть, подозреваете, а? Хотите всю правду: видите, у меня действительно мелькала мысль, – сами же вы ее мне подсказали, не серьезно, а дразня меня (потому что не стали же бы вы серьезно подсказывать), – но я не решался, и не решился бы ни за что, ни за сто рублей, – да тут и выгод-то никаких, то есть

для меня, для меня... (Он ужасно спешил и говорил как трещотка.) Но вот какое совпадение обстоятельств: я из своих (слышите, из своих, ваших не было ни рубля, и, главное, вы это сами знаете) дал этому пьяному дурачине Лебядкину двести тридцать рублей, третьего дня, еще с вечера, – слышите, третьего дня, а не вчера после «чтения», заметьте это: это весьма важное совпадение, потому что я ведь ничего не знал тогда наверно, поедет или нет к вам Лизавета Николаевна; дал же собственные деньги единственно потому, что вы третьего дня отличились, вздумали всем объявить вашу тайну. Ну, там я не вхожу... ваше дело... рыцарь... но, признаюсь, удивился, как дубиной по лбу. Но так как мне эти трагедии наскучили вельми, – и заметьте, я говорю серьезно, хоть и употребляю славянские выражения, – так как все это вредит, наконец, моим планам, то я и дал себе слово спровадить Лебядкиных во что бы ни стало и без вашего ведома в Петербург, тем более что и сам он туда порывался. Одна ошибка: дал деньги от вашего имени; ошибка или нет? Может, и не ошибка, а? Слушайте же теперь, слушайте, как это все обернулось... – В горячке речи он приблизился к Ставрогину вплоть и стал было хватать его за лацкан сюртука (ей-Богу, может быть, нарочно). Ставрогин сильным движением ударил его по руке.

– Ну чего ж вы... полноте... этак руку сломаете... тут главное в том, как это обернулось, – затрещал он вновь, нимало даже не удивившись удару. – Я с вечера выдаю деньги, с тем чтоб он и сестрица завтра чем свет отправлялись; поручаю это дельце подлецу Липутину, чтобы сам посадил и отправил. Но мерзавцу Липутину понадобилось сошкольничать с публикой – может быть, слышали? На «чтении»? Слушайте же, слушайте: оба пьют, сочиняют стихи, из которых половина липутинских; тот его одевает во фрак, меня между тем уверяет, что уже отправил с утра, а его бережет где-то в задней каморке, чтобы выпихнуть на эстраду. Но тот быстро и неожиданно напивается. Затем известный скандал, затем его доставляют домой полумертвого, а Липутин у него вынимает тихонько двести рублей, оставляя мелочь. Но, к несчастью, оказывается, что тот уже утром эти двести рублей тоже из кармана вынимал, хвастался и показывал где не следует. А так как Федька того и ждал, а у Кириллова кое-что слышал (помните, ваш намек?), то и решился воспользоваться. Вот и вся правда. Я рад по крайней мере, что Федька денег не нашел, а ведь на тысячу подлец рассчитывал! Торопился и пожара, кажется, сам испугался... Верите, мне этот пожар как поленом по голове. Нет, это черт знает что такое! Это такое самовластие... Вот видите, я пред вами, столького от вас ожидая, ничего не потаю: ну да, у меня уже давно эта идея об огне созревала, так как она столь народна и популярна; но ведь я берег ее на критический час, на то драгоценное мгновение, когда мы все встанем и... А они вдруг вздумали своевластно и без приказания теперь, в такое мгновение, когда именно надо бы притаиться да в кулак дышать! Нет, это такое самовластие!.. одним словом, я еще ничего не знаю, тут говорят про двух шпигулинских... но если тут есть и наши, если хоть один из них тут погрел свои руки – горе тому! Вот видите, что значит хоть капельку распустить! Нет, эта демократическая сволочь с своими пятерками – плохая опора; тут нужна одна великолепная, кумирная, деспотическая воля, опирающаяся на нечто не случайное и вне стоящее... Тогда и пятерки подожмут хвосты повиновения и с подобострастием пригодятся при случае. Но во всяком случае, хоть там теперь и кричат во все трубы, что Ставрогину надо было жену сжечь, для того и город сгорел, но...

– А уж кричат во все трубы?

– То есть еще вовсе нет, и, признаюсь, я ровно ничего не слышал, но ведь с народом что поделаешь, особенно с погорелыми: *Vox populi vox Dei*¹. Долго ли глупейший слух по ветру пустить?.. Но ведь, в сущности, вам ровно нечего опасаться. Юридически вы совершенно правы, по совести тоже, – ведь вы не хотели же? Не хотели? Улик никаких, одно совпадение... Разве вот Федька припомнит ваши тогдашние неосторожные слова у Кириллова (и зачем вы их тогда сказали?), но ведь это вовсе ничего не доказывает, а Федьку мы сократим. Я сегодня же его сокращаю...

– А трупы совсем не сгорели?

– Нимало; эта каналья ничего не сумела устроить как следует. Но я рад по крайней мере, что вы так спокойны... потому что хоть вы и ничем тут не виноваты, ни даже мыслью, но ведь все-таки. И притом согласитесь, что все это отлично обертывает ваши дела: вы вдруг свободный вдовец и можете сию минуту жениться на прекрасной девице с огромными деньгами, которая, вдобавок, уже в ваших руках. Вот что может сделать простое, грубое совпадение обстоятельств – а?

– Вы угрожаете мне, глупая голова?

– Ну полноте, полноте, уж сейчас и глупая голова, и что за тон? Чем бы радоваться, а вы... Я нарочно летел, чтобы скорей предупредить... Да и чем мне вам угрожать? Очень мне вас надо из-за угроз-то! Мне надо вашу добрую волю, а не из страха. Вы свет и солнце... Это я вас изо всей силы боюсь, а не вы меня! Я ведь не Маврикий Николаевич... И представьте, я лечу сюда на беговых дрожках, а Маврикий Николаевич здесь у садовой вашей решетки, на заднем углу сада... в шинели, весь промок, должно быть всю ночь сидел! Чудеса! до чего могут люди с ума сходить!

– Маврикий Николаевич? Правда?

– Правда, правда. Сидит у садовой решетки. Отсюда, – отсюда в шагах трехстах, я думаю. Я поскорее мимо него, но он меня видел. Вы не знали? В таком случае очень рад, что не забыл передать. Вот такой-то всего опаснее на случай, если с ним револьвер, и, наконец, ночь, слякоть, естественная раздражительность, – потому что ведь каковы же его обстоятельства-то, ха-ха! Как вы думаете, зачем он сидит?

– Лизавету Николаевну, разумеется, ждет.

– Во-от! Да с чего она к нему выйдет? И... в такой дождь... вот дурак-то!

– Она сейчас к нему выйдет.

– Эге! Вот известие! Стало быть... Но послушайте, ведь теперь совершенно изменились ее дела: к чему теперь ей Маврикий? Ведь вы свободный вдовец и можете завтра же на ней жениться? Она еще не знает, – предоставьте мне, и я вам тотчас же все обделаю. Где она, надо и ее обрадовать.

– Обрадовать?

– Еще бы, идем.

– А вы думаете, она про эти трупы не догадается? – как-то особенно прищурился Ставрогин.

– Конечно, не догадается, – решительным дурачком подхватил Петр Степанович, – потому что ведь юридически... Эх, вы! Да хоть бы и догадалась! У женщин все это так отлично стушевывается, вы еще не знаете женщин! Кроме того, что ей теперь вся выгода за вас выйти, потому что ведь все-таки она себя оскандалила, кроме того, я ей про «ладью» наговорил: я именно увидел, что «ладью»-то на нее и подействуешь, стало быть, вот какого она калибра девица.

¹ Глас народа – глас Божий (лат.).

Не беспокойтесь, она так через эти трупики перешагнет, что лю-ли! – тем более что вы совершенно, совершенно невинны, не правда ли? Она только побережет эти трупики, чтобы вас потом уколоть, этак на второй годик супружества. Всякая женщина, идя к венцу, в этом роде чем-нибудь запасается из мужнина старого, но ведь тогда... что через год-то будет? Ха-ха-ха!

– Если вы на беговых дрожках, то довозите ее сейчас до Маврикия Николаевича. Она сейчас сказала, что терпеть меня не может и от меня уйдет, и, конечно, не возьмет от меня экипажа.

– Вот-от! Да неужто вправду уезжает? Отчего бы это могло произойти? – глуповато посмотрел Петр Степанович.

– Догадалась как-нибудь, в эту ночь, что я вовсе не ее люблю... о чем, конечно, всегда знала.

– Да разве вы ее не любите? – подхватил Петр Степанович с видом беспредельного удивления. – А коли так, зачем же вы ее вчера, как вошла, у себя оставили и как благородный человек не уведомили прямо, что не любите? Это ужасно подло с вашей стороны; да и в каком же подлом виде вы меня пред нею поставили?

Ставрогин вдруг рассмеялся.

– Я на обезьяну мою смеюсь, – пояснил он тотчас же.

– А! догадались, что я распаясничался, – ужасно весело рассмеялся и Петр Степанович, – я чтобы вас рассмешить! Представьте, я ведь тотчас же, как вы вышли ко мне, по лицу догадался, что у вас «несчастье». Даже, может быть, полная неудача, а? Ну, бьюсь же об заклад, – вскричал он, почти захлебываясь от восторга, – что вы всю ночь просидели в зале рядышком на стульях и о каком-нибудь высочайшем благородстве проспорили все драгоценное время... Ну простите, простите; мне что: я ведь еще вчера знал наверно, что у вас глупостью кончится. Я вам привез ее единственно, чтобы вас позабавить и чтобы доказать, что со мною вам скучно не будет; триста раз пригожусь в этом роде; я вообще люблю быть приятен людям. Если же теперь она вам не нужна, на что я и рассчитывал, с тем и ехал, то...

– Так это вы для одной моей забавы ее привезли?

– А то зачем же?

– А не затем, чтобы заставить меня жену убить?

– Во-от, да разве вы убили? Что за трагический человек!

– Все равно, вы убили.

– Да разве я убил? Говорю же вам, я тут ни при капле. Однако вы начинаете меня беспокоить...

– Продолжайте, вы сказали: «Если теперь она вам не нужна, то...»

– То предоставьте мне, разумеется! Я отлично ее выдам за Маврикия Николаевича, которого, между прочим, вовсе не я у саду посадил, не возьмите еще этого в голову. Я ведь его боюсь теперь. Вот вы говорите: на беговых дрожках, а я так-таки мимо пролепетнул... право, если с ним револьвер?.. Хорошо, что я свой захватил. Вот он (он вынул из кармана револьвер, показал и тотчас же опять спрятал) – захватил за дальностью пути... Впрочем, я вам это мигом слажу: у ней именно теперь сердчишко по Маврикию ноет... должно по крайней мере ныть... и знаете – ей-Богу, мне ее даже несколько жалко! Сведу с Маврикием, и она тотчас про вас начнет вспоминать, – ему вас хвалить, а его в глаза бранить, – сердце женщины! Ну вот вы опять смеетесь? Я ужасно рад, что вы так развеселились. Ну что ж, идем. Я прямо с Маврикия и начну, а про тех... про убитых... знаете, не промолчать ли теперь? Все равно потом узнает.

– Об чем узнает? Кто убит? Что вы сказали про Маврикия Николаевича? – отворила вдруг дверь Лиза.

– А! вы подслушивали?

– Что вы сказали сейчас про Маврикия Николаевича? Он убит?

– А! стало быть, вы не расслышали! Успокойтесь, Маврикий Николаевич жив и здоров, в чем можете мигом удостовериться, потому что он здесь у дороги, у садовой решетки... и, кажется, всю ночь просидел; промок, в шинели... Я ехал, он меня видел.

– Это неправда. Вы сказали «убит»... Кто убит? – настаивала она с мучительно недоверчивостью.

– Убита только моя жена, ее брат Лебядкин и их служанка, – твердо заявил Ставрогин.

Лиза вздрогнула и ужасно побледнела.

– Зверский, странный случай, Лизавета Николаевна, глупейший случай грабежа, – тотчас затрещал Петр Степанович, – одного грабежа, пользуясь пожаром; дело разбойника Федьки Каторжного и дурака Лебядкина, который всем показывал свои деньги... я с тем и летел... как камнем по лбу. Ставрогин едва устоял, когда я сообщил. Мы здесь советовались: сообщить вам сейчас или нет?

– Николай Всеволодович, правду он говорит? – едва вымолвила Лиза.

– Нет, неправду.

– Как неправду! – вздрогнул Петр Степанович. – Это еще что!

– Господи, я с ума сойду! – вскричала Лиза.

– Да поймите же по крайней мере, что он сумасшедший теперь человек! – кричал изо всей силы Петр Степанович. – Ведь все-таки жена его убита. Видите, как он бледен... Ведь он с вами же всю ночь пробыл, ни на минуту не отходил, как же его подозревать?

– Николай Всеволодович, скажите как пред Богом, виноваты вы или нет, а я, клянусь, вашему слову поверю, как Божьему, и на край света за вами пойду, о, пойду! Пойду как собачка...

– Из-за чего же вы терзаете ее, фантастическая вы голова! – остервенился Петр Степанович. – Лизавета Николаевна, ей-ей, столкните меня в ступе, он невинен, напротив, сам убит и бредит, вы видите. Ни в чем, ни в чем, даже мыслью неповинен!.. Все только дело разбойников, которых, наверно, через неделю разыщут и накажут плетьюми... Тут Федька Каторжный и шпигулинские, об этом весь город трещит, потому и я.

– Так ли? Так ли? – вся трепеща ждала последнего себе приговора Лиза.

– Я не убивал и был против, но я знал, что они будут убиты, и не остановил убийц. Ступайте от меня, Лиза, – вымолвил Ставрогин и пошел в залу.

Лиза закрыла лицо руками и пошла из дому. Петр Степанович бросился было за нею, но тотчас воротился в залу.

– Так вы так-то? Так вы так-то? Так вы ничего не боитесь? – накинулся он на Ставрогина в совершенном бешенстве, бормоча несвязно, почти слов не находя, с пеною у рта.

Ставрогин стоял среди залы и не отвечал ни слова. Он захватил левою рукой слегка клок своих волос и потерянно улыбался. Петр Степанович сильно дернул его за рукав.

– Пропали вы, что ли? Так вы вот за что принялись? На всех донесете, а сами в монастырь уйдете или к черту... Но ведь я вас все равно укукошу, хоть бы вы и не боялись меня!

– А, это вы трещите? – разглядел его наконец Ставрогин. – Бегите, – очнувшись он вдруг, – бегите за нею, велите карету, не покидайте ее... Бегите, бегите же! Проводите до дому, чтобы никто не знал и чтоб она туда не ходила... на тела... на тела... в карету силой посадите. Алексей Егорыч! Алексей Егорыч!

– Стойте, не кричите! Она уж теперь в объятиях у Маврикия... Не сядет Маврикий в вашу карету... Стойте же! Тут дороже кареты!

Он выхватил опять револьвер; Ставрогин серьезно посмотрел на него.

– А что ж, убейте, – проговорил он тихо, почти примирительно.

– Фу, черт, какую ложь натащит на себя человек! – так и затрясся Петр Степанович. – Ей-Богу бы убить! Подлинно она плюнуть на вас должна была!.. Какая вы «ладья», старая вы, дырявая дровяная барка на слом!.. Ну хоть из злобы, хоть из злобы теперь вам очнуться! Э-эх! Ведь уж все бы вам равно, коли сами себе пулю в лоб просите?

Ставрогин странно усмехнулся.

– Если бы вы не такой шут, я бы, может, и сказал теперь: да... Если бы только хоть каплю умнее...

– Я-то шут, но не хочу, чтобы вы, главная половина моя, были шутом! Понимаете вы меня?

Ставрогин понимал, один только он, может быть. Был же изумлен Шатов, когда Ставрогин сказал ему, что в Петре Степановиче есть энтузиазм.

– Ступайте от меня теперь к черту, а к завтраму я что-нибудь выдавлю из себя. Приходите завтра.

– Да? Да?

– Почему я знаю!.. К черту, к черту!

И ушел вон из залы.

– А пожалуй, еще к лучшему, – пробормотал про себя Петр Степанович, пряча револьвер.

III

Он бросился догонять Лизавету Николаевну. Та еще недалеко отошла, всего несколько шагов от дому. Ее задержал было Алексей Егорович, следовавший за нею и теперь, на шаг позади, во фраке, почтительно преклонившись и без шляпы. Он неотступно умолял ее дожждаться экипажа; старик был испуган и почти плакал.

– Ступай, барин чаю просит, некому подать, – оттолкнул его Петр Степанович и прямо взял под руку Лизавету Николаевну.

Та не вырвала руки, но, кажется, была не при всем рассудке, еще не опомнилась.

– Во-первых, вы не туда, – залепетал Петр Степанович, – нам надо сюда, а не мимо сада; а во-вторых, во всяком случае пешком невозможно, до вас три версты, а у вас и одежды нет. Если бы вы капельку подождали. Я ведь на беговых, лошадь тут на дворе, мигом подам, посажу и доставлю, так что никто не увидит.

– Какой вы добрый... – ласково проговорила Лиза.

– Помилуйте, в подобном случае всякий гуманный человек на моем месте также...

Лиза поглядела на него и удивилась:

– Ах, Боже мой, а я думала, что тут все еще тот старик!

– Послушайте, я ужасно рад, что вы это так принимаете, потому что все это предрассудок ужаснейший, и если уж на то пошло, то не лучше ли я этому

старику сейчас велю обработать карету, всего десять минут, а мы воротимся и под крыльцом подождем, а?

– Я прежде хочу... где эти убитые?

– А, ну вот еще фантазия! Я так и боялся... Нет, мы уж эту дрянь лучше оставим в стороне; да и нечего вам смотреть.

– Я знаю, где они, я этот дом знаю.

– Ну что ж, что знаете! Помилуйте, дождь, туман (вот, однако ж, обязанность священную наташил!)... Слушайте, Лизавета Николаевна, одно из двух: или вы со мной на дрожках, тогда подождите и ни шагу вперед, потому что если еще шагов двадцать, то нас непременно заметит Маврикий Николаевич.

– Маврикий Николаевич! Где? Где?

– Ну, а если вы с ним хотите, то я, пожалуй, вас еще немного проведу и укажу его, где сидит, а сам уж слуга покорный; я к нему не хочу теперь подходить.

– Он ждет меня, Боже! – вдруг остановилась она, и краска разлилась по ее лицу.

– Но помилуйте, если он человек без предрассудков! Знаете, Лизавета Николаевна, это все не мое дело; я совершенно тут в стороне, и вы это сами знаете; но я ведь вам все-таки желаю добра... Если не удалась наша «ладья», если оказалось, что это всего только старый, гнилой баркас, годный на слом...

– Ах, чудесно! – вскричала Лиза.

– Чудесно, а у самой слезы текут. Тут нужно мужество. Надо ни в чем не уступать мужчине. В наш век, когда женщина... фу, черт (едва не отплевался Петр Степанович)! А главное, и жалеть не о чем: может, оно и отлично обернется. Маврикий Николаевич человек... одним словом, человек чувствительный, хотя и неразговорчивый, что, впрочем, тоже хорошо, конечно при условии, если он без предрассудков...

– Чудесно, чудесно! – истерически рассмеялась Лиза.

– А, ну, черт... Лизавета Николаевна, – опикировался вдруг Петр Степанович, – я ведь, собственно, тут для вас же... мне ведь что... Я вам услужил вчера, когда вы сами того захотели, а сегодня... Ну, вот отсюда видно Маврикия Николаевича, вон он сидит, нас не видит. Знаете, Лизавета Николаевна, читали вы «Полиньку Сакс»?

– Что такое?

– Есть такая повесть, «Полинька Сакс». Я еще студентом читал... Там какой-то чиновник, Сакс, с большим состоянием, арестовал на даче жену за неверность... А, ну, черт, наплевать! Вот увидите, что Маврикий Николаевич еще до дому сделает вам предложение. Он нас еще не видит.

– Ах, пусть не видит! – вскричала вдруг Лиза как безумная. – Уйдемте, уйдемте! В лес, в поле!

И она побежала назад.

– Лизавета Николаевна, это уж такое малодушие! – бежал за нею Петр Степанович. – И к чему вы не хотите, чтоб он вас видел? Напротив, посмотрите ему прямо и гордо в глаза... Если вы что-нибудь насчет *того*... девичьего... то ведь это такой предрассудок, такая отсталость... Да куда же вы, куда же вы? Эх, бежит! Воротимтесь уж лучше к Ставрогину, возьмем мои дрожки... Да куда же вы? Там поле... Ну, упала!..

Он остановился. Лиза летела как птица, не зная куда, и Петр Степанович уже шагов на пятьдесят отстал от нее. Она упала, споткнувшись о кочку. В ту же минуту сзади, в стороне, раздался ужасный крик, крик Маврикия Николаевича,

который видел ее бегство и падение и бежал к ней чрез поле. Петр Степанович в один миг отретировался в ворота ставрогинского дома, чтобы поскорее сесть на свои дрожки.

А Маврикий Николаевич, в страшном испуге, уже стоял подле поднявшейся Лизы, склонясь над нею и держа ее руку в своих руках. Вся невероятная обстановка этой встречи потрясла его разум, и слезы текли по его лицу. Он видел ту, пред которою столь благоговел, безумно бегущую чрез поле, в такой час, в такую погоду, в одном платье, в этом пышном вчерашнем платье, теперь измятом, загрязненном от падения... Он не мог сказать слова, снял свою шинель и дрожащими руками стал укрывать ее плечи. Вдруг он вскрикнул, почувствовав, что она прикоснулась губами к его руке.

– Лиза! – вскричал он, – я ничего не умею, но не отгоняйте меня от себя!

– О да, пойдете скорей отсюда, не оставляйте меня! – и, сама схватив его за руку, она повлекла его за собой. – Маврикий Николаевич, – испуганно понизила она вдруг голос, – я там все храбрилась, а здесь смерти боюсь. Я умру, очень скоро умру, но я боюсь, боюсь умирать... – шептала она, крепко сжимая его руку.

– О, хоть бы кто-нибудь! – в отчаянии оглядывался он кругом, – хоть бы какой проезжий! Вы промочите ноги, вы... потеряете рассудок!

– Ничего, ничего, – ободряла она его, – вот так, при вас я меньше боюсь, держите меня за руку, ведите меня... Куда мы теперь, домой? Нет, я хочу сначала видеть убитых. Они, говорят, зарезали его жену, а он говорит, что он сам зарезал; ведь это неправда, неправда? Я хочу видеть сама зарезанных... за меня... из-за них он в эту ночь разлюбил меня... Я увижу и все узнаю. Скорей, скорей, я знаю этот дом... там пожар... Маврикий Николаевич, друг мой, не прощайте меня, бесчестную! Зачем меня прощать? Чего вы плачете? Дайте мне пощечину и убейте здесь в поле, как собаку!

– Никто вам теперь не судья, – твердо произнес Маврикий Николаевич, – прости вам Бог, а я ваш судья меньше всех!

Но странно было бы описывать их разговор. А между тем оба шли рука в руку, скоро, спеша, словно полоумные. Они направлялись прямо на пожар. Маврикий Николаевич все еще не терял надежды встретить хоть какую-нибудь телегу, но никто не попадался. Мелкий, тонкий дождь проникал всю окрестность, поглощая всякий отблеск и всякий оттенок и обращая все в одну дымную, свинцовую, безразличную массу. Давно уже был день, а казалось, все еще не рассвело. И вдруг из этой дымной, холодной мглы вырезалась фигура, странная и нелепая, шедшая им навстречу. Воображая теперь, думаю, что я бы не поверил глазам, если б даже был на месте Лизаветы Николаевны; а между тем она радостно вскрикнула и тотчас узнала подходившего человека. Это был Степан Трофимович. Как он ушел, каким образом могла осуществиться безумная, головная идея его бегства – о том впереди. Упомяну лишь, что в это утро он был уже в лихорадке, но и болезнь не остановила его: он твердо шагал по мокрой земле; видно было, что обдумал предприятие, как только мог это сделать лучше, один при всей своей кабинетной неопытности. Одет был «по-дорожному», то есть шинель в рукава, а подпоясан широким кожаным лакированным поясом с пряжкой, при этом высокие новые сапоги и панталоны в голенищах. Вероятно, он так давно уже воображал себе дорожного человека, а пояс и высокие сапоги с блестящими гусарскими голенищами, в которых он не умел ходить, припас еще несколько дней назад. Шляпа с широкими полями, гарусный шарф, плотно обматывавший шею, палка в правой руке, а в левой чрезвычайно маленький, но чрезмерно туго

набитый саквояж довершали костюм. Вдобавок, в той же правой руке распушенный зонтик. Эти три предмета – зонтик, палку и саквояж – было очень неловко нести всю первую версту, а со второй и тяжело.

– Неужто это в самом деле вы? – вскричала Лиза, оглядывая его в скорбном удивлении, сменившем первый порыв ее бессознательной радости.

– Lise! – вскричал и Степан Трофимович, бросаясь к ней тоже почти в бреду. – Chère, chère, неужто и вы... в таком тумане? Видите: зарево! Vous êtes malheureuse, n'est-ce pas?¹ Вижу, вижу, не рассказывайте, но не расспрашивайте и меня. Nous sommes tous malheureux, mais il faut les pardonner tous. Pardonnons, Lise², и будем свободны навеки. Чтобы разделиться с миром и стать свободным вполне – il faut pardonner, pardonner et pardonner!³

– Но зачем вы становитесь на колени?

– Затем, что, прощаясь с миром, хочу, в вашем образе, проститься и со всем моим прошлым! – Он заплакал и поднес обе ее руки к своим заплаканным глазам. – Становлюсь на колена пред всем, что было прекрасно в моей жизни, лобызаю и благодарю! Теперь я разбил себя пополам: там – безумец, мечтавший взлететь на небо, vingt deux ans!⁴ Здесь – убитый и озябший старик-гувернер... chez ce marchand, s'il existe pourtant ce marchand...⁵ Но как вы измокли, Lise! – вскричал он, вскакивая на ноги, почувствовав, что промокли и его колени на мокрой земле, – и как это можно, вы в таком платье?... и пешком, и в таком поле... Вы плачете? Vous êtes malheureuse?⁶ Ба, я что-то слышал... Но откуда же вы теперь? – с боязливым видом ускорил он вопросы, в глубоком недоумении поглядывая на Маврикия Николаевича, – mais savez-vous l'heure qu'il est!⁷

– Степан Трофимович, слышали вы что-нибудь там про убитых людей... Это правда? Правда?

– Эти люди! Я видел зарево их деяний всю ночь. Они не могли кончить иначе... (Глаза его вновь засверкали.) Бегу из бреда, горячечного сна, бегу искать Россию, existe-t-elle Russie? Bah, c'est vous, cher capitaine!⁸ Никогда не сомневался, что встречу вас где-нибудь при высоком подвиге... Но возьмите мой зонтик и – почему же непременно пешком? Ради Бога возьмите хоть зонтик, а я все равно где-нибудь найму экипаж. Ведь я потому пешком, что Stasie (то есть Настасья) раскричалась бы на всю улицу, если б узнала, что я уезжаю; я и ускользнул сколь возможно incognito. Я не знаю, там в «Голосе» пишут про повсеместные разбои, но ведь не может же, я думаю, быть, что сейчас, как вышел на дорогу, тут и разбойник? Chère Lise⁹, вы, кажется, сказали, что кто-то кого-то убил? O mon Dieu!¹⁰, с вами дурно!

– Идем, идем! – вскричала как в истерике Лиза, опять увлекая за собою Маврикия Николаевича. – Пойдите, Степан Трофимович, – воротилась она вдруг к нему, – пойдите, бедняжка, дайте я вас перекрещу. Может быть, вас бы лучше связать, но я уж лучше вас перекрещу. Помолитесь и вы за «бедную» Ли-

¹ Вы несчастны, не правда ли? (фр.)

² Мы все несчастны, но нужно их простить всех. Простим, Лиза (фр.).

³ нужно прощать, прощать и прощать! (фр.)

⁴ двадцать два года! (фр.)

⁵ у этого купца, если только он существует, этот купец... (фр.)

⁶ Вы несчастны? (фр.)

⁷ но знаете ли вы, который теперь час? (фр.)

⁸ существует ли она, Россия? Ба, это вы, дорогой капитан! (фр.)

⁹ Дорогая Лиза (фр.).

¹⁰ О Боже мой (фр.).

зу – так, немножко, не утруждайте себя очень. Маврикий Николаевич, отдайте этому ребенку его зонтик, отдайте непременно. Вот так... Пойдемте же! Пойдемте же!

Прибытие их к роковому дому произошло именно в то самое мгновение, когда сбившаяся пред домом густая толпа уже довольно наслушалась о Ставрогине и о том, как выгодно было ему зарезать жену. Но все-таки, повторяю, огромное большинство продолжало слушать молча и неподвижно. Выходили из себя лишь пьяные горланы да люди «срывающиеся», вроде как тот махавший руками мещанин. Его все знали как человека даже тихого, но он вдруг как бы срывался и куда-то летел, если что-нибудь известным образом поражало его. Я не видел, как прибыли Лиза и Маврикий Николаевич. Впервой я заметил Лизу, остолбенев от изумления, уже далеко от меня в толпе, а Маврикия Николаевича даже сначала и не разглядел. Кажется, был такой миг, что он от нее отстал шага на два за теснотой или его оттерли. Лиза, прорывавшаяся сквозь толпу, не видя и не замечая ничего кругом себя, словно горячая, словно убежавшая из больницы, разумеется, слишком скоро обратила на себя внимание: громко заговорила и вдруг завопила. Тут кто-то крикнул: «Это ставрогинская!» И с другой стороны: «Мало что убьют, глядеть придут!» Вдруг я увидел, что над ее головой, сзади, поднялась и опустилась чья-то рука; Лиза упала. Раздался ужасный крик Маврикия Николаевича, рванувшегося на помощь и ударившего изо всех сил заклонявшего от него Лизу человека. Но в тот же самый миг обхватил его сзади обеими руками тот мещанин. Несколько времени нельзя было ничего разглядеть в начавшейся свалке. Кажется, Лиза поднялась, но опять упала от другого удара. Вдруг толпа расступилась, и образовался небольшой пустой круг около лежавшей Лизы, а окровавленный, обезумевший Маврикий Николаевич стоял над нею, крича, плача и ломая руки. Не помню в полной точности, как происходило дальше; помню только, что Лизу вдруг понесли. Я бежал за нею; она была еще жива и, может быть, еще в памяти. Из толпы схватили мещанина и еще трех человек. Эти трое до сих пор отрицают всякое свое участие в злодеянии, упорно уверяя, что их захватили ошибкой; может, они и правы. Мещанин, хоть и явно уличенный, но, как человек без толку, до сих пор еще не может разъяснить обстоятельно происшедшего. Я тоже, как очевидец, хотя и отдаленный, должен был дать на следствии мое показание: я заявил, что все произошло в высшей степени случайно, через людей, хотя, может быть, и настроенных, но мало сознававших, пьяных и уже потерявших нитку. Такого мнения держусь и теперь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Последнее решение

I

В это утро Петра Степановича многие видели; видевшие упомянули, что он был в чрезвычайно возбужденном состоянии. В два часа пополудни он забежал к Гаганову, всего за день прибывшему из деревни и у которого собрался полон дом посетителей, много и горячо говоривших о только что происшедших событиях. Петр Степанович говорил больше всех и заставил себя слушать. Его всегда считали у нас за «болтливую студента с дырой в голове», но теперь он

говорил об Юлии Михайловне, а при всеобщей суматохе тема была захватывающая. Он сообщил о ней, в качестве ее недавнего и интимнейшего конфиден-та, много весьма новых и неожиданных подробностей; нечаянно (и, конечно, неосторожно) сообщил несколько ее личных отзывов о всем известных в городе лицах, чем тут же кольнул самолюбия. Выходило у него неясно и сбивчиво, как у человека не хитрого, но который поставлен, как честный человек, в мучительную необходимость разъяснить разом целую гору недоумений и который, в простодушной своей неловкости, сам не знает, с чего начать и чем кончить. Довольно тоже неосторожно проскользнуло у него, что Юлии Михайловне была известна вся тайна Ставрогина и что она-то и вела всю интригу. Она-де и его, Петра Степановича, подвела, потому что он сам был влюблен в эту несчастную Лизу, а между тем его так «подвернули», что он же *почти* проводил ее в карете к Ставрогину. «Да, да, хорошо вам, господа, смеяться, а если б я только знал, если б знал, чем это кончится!» – заключил он. На разные тревожные вопросы о Ставрогине он прямо заявил, что катастрофа с Лебядкиным, по его мнению, чистый случай и виновен во всем сам Лебядкин, показывавший деньги. Он это особенно хорошо разъяснил. Один из слушателей как-то заметил ему, что он напрасно «представляется»; что он ел, пил, чуть не спал в доме Юлии Михайловны, а теперь первый же ее и чернит, и что это вовсе не так красиво, как он полагает. Но Петр Степанович тотчас же защитил себя: «Я ел и пил не потому, что у меня не было денег, и не виноват, что меня туда приглашали. Позвольте мне самому судить, насколько мне быть за то благодарным».

Вообще впечатление осталось в его пользу: «Пусть он малый нелепый и, конечно, пустой, но ведь чем же он виноват в глупостях Юлии Михайловны? Напротив, выходит, что он же ее останавливал...»

Около двух часов разнеслось вдруг известие, что Ставрогин, о котором было столько речей, уехал внезапно с полуденным поездом в Петербург. Это очень заинтересовало; многие нахмурились. Петр Степанович был до того поражен, что, рассказывают, даже переменялся в лице и странно вскричал: «Да кто же мог его выпустить?» Он тотчас убежал от Гаганова. Однако же его видели еще в двух или трех домах.

Около сумерек он нашел возможность проникнуть и к Юлии Михайловне, хотя и с величайшим трудом, потому что та решительно не хотела принять его. Только три недели спустя узнал я об этом обстоятельстве от нее же самой, пред выездом ее в Петербург. Она не сообщила подробностей, но заметила с содроганием, что он «изумил ее тогда вне всякой меры». Полагаю, что он просто напугал ее угрозой сообщничества, в случае если б ей вздумалось «говорить». Необходимость же попутать тесно связывалась с его тогдашними замыслами, ей, разумеется, неизвестными, и только потом, дней пять спустя, догадалась она, почему он так сомневался в ее молчании и так опасался новых взрывов ее негодования...

В восьмом часу вечера, когда уже совсем стемнело, на краю города, в Фомином переулке, в маленьком покривившемся домике, в квартире прапорщика Эркеля, собрались *наши* в полном комплекте, впятером. Общее собрание назначено было тут самим Петром Степановичем; но он непростительно опоздал, и члены ждали его уже час. Этот прапорщик Эркель был тот самый заезжий офицерик, который на вечере у Виргинского просидел все время с карандашом в руках и с записною книжкой пред собою. В город он прибыл недавно, нанимал уединенно в глухом переулке у двух сестер, старух мещанок, и скоро должен был уехать; собраться у него было всего неприметнее. Этот странный мальчик отли-

чался необыкновенною молчаливостью; он мог просидеть десять вечеров сряду в шумной компании и при самых необыкновенных разговорах, сам не говоря ни слова, а напротив, с чрезвычайным вниманием следя своими детскими глазами за говорившими и слушая. Лицо у него было прехорошенькое и даже как бы умное. К пятерке он не принадлежал; наши предполагали, что он имел какие-то и откуда-то особые поручения, чисто по исполнительной части. Теперь известно, что у него не было никаких поручений, да и вряд ли сам он понимал свое положение. Он только преклонился пред Петром Степановичем, встретив его незадолго. Если б он встретился с каким-нибудь преждевременно развращенным монстром и тот под каким-нибудь социально-романическим предлогом подбил его основать разбойничью шайку и для пробы велел убить и ограбить первого встречного мужика, то он непременно бы пошел и послушался. У него была где-то больная мать, которой он отсылал половину своего скудного жалованья, – и как, должно быть, она целовала эту бедную белокурую головку, как дрожала за нее, как молилась о ней! Я потому так много о нем распространяюсь, что мне его очень жаль.

Наши были возбуждены. Происшествия прошлой ночи их поразили, и, кажется, они перетрусили. Простой, хотя и систематический скандал, в котором они так усердно до сих пор принимали участие, развязался для них неожиданно. Ночной пожар, убийство Лебядкиных, буйство толпы над Лизой – все это были такие сюрпризы, которых они не предполагали в своей программе. Они с жаром обвиняли двигавшую их руку в деспотизме и неоткровенности. Одним словом, пока ждали Петра Степановича, они так настроили себя взаимно, что опять решились окончательно спросить у него категорического объяснения, а если он еще раз, как это уже и было, уклонится, то разорвать даже и пятерку, но с тем, чтобы вместо нее основать новое тайное общество «пропаганды идей», и уже от себя, на началах равноправных и демократических. Липутин, Шигалев и знаток народа особенно поддерживали эту мысль; Лямшин помалчивал, хотя и с согласным видом. Виргинский колебался и желал выслушать сначала Петра Степановича. Положили выслушать Петра Степановича; но тот все еще не приходил; такая небрежность еще больше подлила яду. Эркель совершенно молчал и распорядился лишь подать чаю, который принес от хозяек собственноручно в стаканах на подносе, не внося самовара и не впуская служанки.

Петр Степанович явился только в половине девятого. Быстрыми шагами подошел он к круглому столу пред диваном, за которым разместилась компания; шапку оставил в руках и от чаю отказался. Вид имел злой, строгий и высокомерный. Должно быть, тотчас же заметил по лицам, что «бунтуют».

– Прежде чем раскрою рот, выкладывайте свое, вы что-то подобрались, – заметил он, с злобною усмешкой обводя глазами физиономии.

Липутин начал «от лица всех» и вздрагивавшим от обиды голосом заявил, «что если так продолжать, то можно самому разбить лоб-с». О, они вовсе не боятся разбивать свои лбы и даже готовы, но единственно лишь для общего дела. (Общее шевеление и одобрение.) А потому пусть будут и с ними откровенны, чтоб им всегда знать заранее, «а то что ж будет?». (Опять шевеление, несколько гортанных звуков.) Так действовать унижительно и опасно... Мы вовсе не потому, что боимся, а если действует один, а остальные только пешки, то один наврет, и все попадутся. (Восклицания: да, да! Общая поддержка.)

– Черт возьми, чего же вам надо?

– А какое отношение с общим делом, – закипел Липутин, – имеют интрижки господина Ставрогина? Пусть он там принадлежит каким-то таинственным

образом к центру, если только в самом деле существует этот фантастический центр, да мы-то этого знать не хотим-с. А между тем совершилось убийство, возбуждена полиция; по нитке и до клубка дойдут.

– Попадетесь вы со Ставрогиным, и мы попадемся, – прибавил знаток народа.

– И совсем бесполезно для общего дела, – уныло закончил Виргинский.

– Что за вздор! Убийство – дело случая, сделано Федькой для грабежа.

– Гм. Странное, однако же, совпадение-с, – скорчился Липутин.

– А если хотите, произошло чрез вас же.

– Это как через нас?

– Во-первых, вы, Липутин, сами в этой интриге участвовали, а во-вторых и главное, вам приказано было отправить Лебядкина и выданы деньги, а вы что сделали? Если б отправили, так ничего бы и не было.

– Да не вы ли сами дали идею, что хорошо бы было выпустить его читать стихи?

– Идея не приказание. Приказание было отправить.

– Приказание. Довольно странное слово... Напротив, вы именно приказали остановить отправку.

– Вы ошиблись и выказали глупость и своеволие. А убийство – дело Федьки, и действовал он один, из грабежа. Вы слышали, что звонят, и поверили. Вы трусили. Ставрогин не так глуп, а доказательство – он уехал в двенадцать часов дня, после свидания с вице-губернатором; если бы что-нибудь было, его бы не выпустили в Петербург среди бела дня.

– Да ведь мы вовсе не утверждаем, что господин Ставрогин сам убивал, – ядовито и не стесняясь подхватил Липутин, – он мог даже и не знать-с, равно как и я; а вам самим слишком хорошо известно, что я ничего не знал-с, хотя тут же влез как баран в котел.

– Кого же вы обвиняете? – мрачно посмотрел Петр Степанович.

– А тех самых, кому надобно города сжигать-с.

– Хуже всего то, что вы вывертываетесь. Впрочем, не угодно ли прочесть и показать другим; это только для сведения.

Он вынул из кармана анонимное письмо Лебядкина к Лембке и передал Липутину. Тот прочел, видимо удивился и задумчиво передал соседу; письмо быстро обошло круг.

– Действительно ли это рука Лебядкина? – заметил Шигалев.

– Его рука, – заявили Липутин и Толкаченко (то есть знаток народа).

– Я только для сведения и зная, что вы так расчувствовались о Лебядкине, – повторил Петр Степанович, принимая назад письмо, – таким образом, господа, какой-нибудь Федька совершенно случайно избавляет нас от опасного человека. Вот что иногда значит случай! Не правда ли, поучительно?

Члены быстро переглянулись.

– А теперь, господа, пришел и мой черед спрашивать, – приосанился Петр Степанович. – Позвольте узнать, с какой стати вы изволили зажечь город без позволения?

– Это что! Мы, мы город зажгли? Вот уж с больной-то головы! – раздались восклицания.

– Я понимаю, что вы уж слишком заигрались, – упорно продолжал Петр Степанович, – но ведь это не скандалчики с Юлией Михайловной. Я собрал вас сюда, господа, чтобы разъяснить вам ту степень опасности, которую вы так глупо на себя натащили и которая слишком многому и кроме вас угрожает.

– Позвольте, мы, напротив, вам же намерены были сейчас заявить о той степени деспотизма и неравенства, с которыми принята была, помимо членов, такая серьезная и вместе с тем странная мера, – почти с негодованием заявил молчавший до сих пор Виргинский.

– Итак, вы отрицаетесь? А я утверждаю, что сожгли вы, вы одни и никто другой. Господа, не лгите, у меня точные сведения. Своеволием вашим вы подвергли опасности даже общее дело. Вы всего лишь один узел бесконечной сети узлов и обязаны слепым послушанием центру. Между тем трое из вас подговаривали к пожару шпигулинских, не имея на то ни малейших инструкций, и пожар состоялся.

– Кто трое? Кто трое из нас?

– Третьего дня в четвертом часу ночи вы, Толкаченко, подговаривали Фомку Завьялова в «Незабудке».

– Помилуйте, – привскочил тот, – я едва одно слово сказал, да и то без намерения, а так, потому что его утром секли, и тотчас бросил, вижу – слишком пьян. Если бы вы не напомнили, я бы совсем и не вспомнил. От слова не могло загореться.

– Вы похожи на того, который бы удивился, что от крошечной искры взлетел на воздух весь пороховой завод.

– Я говорил шепотом и в углу, ему на ухо, как могли вы узнать? – сообразил вдруг Толкаченко.

– Я там сидел под столом. Не беспокойтесь, господа, я все ваши шаги знаю. Вы ехидно улыбаетесь, господин Липутин? А я знаю, например, что вы четвертого дня ищипали вашу супругу, в полночь, в вашей спальне, ложась спать.

Липутин разинул рот и побледнел.

(Потом стало известно, что он о подвиге Липутина узнал от Агафьи, липутинской служанки, которой с самого начала платил деньги за шпионство, о чем только после разъяснилось.)

– Могу ли я констатировать факт? – поднялся вдруг Шигалев.

– Констатируйте.

Шигалев сел и подобрался:

– Сколько я понял, да и нельзя не понять, вы сами, вначале и потом еще раз, весьма красноречиво, – хотя и слишком теоретически, – развивали картину России, покрытой бесконечной сетью узлов. С своей стороны, каждая из действующих кучек, делая прозелитов и распространяясь боковыми отделениями в бесконечность, имеет в задаче систематическую обличительную пропагандой беспрерывно ронять значение местной власти, произвести в селениях недоумение, зародить цинизм и скандалы, полное безверие во что бы то ни было, жажду лучшего и, наконец, действуя пожарами, как средством народным по преимуществу, свергнуть страну в предписанный момент, если надо, даже в отчаяние. Ваши ли это слова, которые я старался припомнить буквально? Ваша ли это программа действий, сообщенная вами в качестве уполномоченного из центрального, но совершенно неизвестного до сих пор и почти фантастического для нас комитета?

– Верно, только вы очень тянете.

– Всякий имеет право своего слова. Давая нам угадывать, что отдельных узлов всеобщей сети, уже покрывшей Россию, состоит теперь до нескольких сотен, и развивая предположение, что если каждый сделает свое дело успешно, то вся Россия, к данному сроку, по сигналу...

– Ах, черт возьми, и без вас много дела! – повернулся в креслах Петр Степанович.

– Извольте, я сокращу и кончу лишь вопросом: мы уже видели скандалы, видели недовольство населений, присутствовали и участвовали в падении здешней администрации и, наконец, своими глазами увидели пожар. Чем же вы недовольны? Не ваша ли это программа? В чем можете вы нас обвинять?

– В своеволии! – яростно крикнул Петр Степанович. – Пока я здесь, вы не смели действовать без моего позволения. Довольно. Готов донос, и, может быть, завтра же или сегодня в ночь вас перехватывают. Вот вам. Известие верное.

Тут уже все разинули рты.

– Перехватывают не только как подстрекателей в поджоге, но и как пятерку. Доносчику известна вся тайна сети. Вот что вы напрокудили!

– Наверное, Ставрогин! – крикнул Липутин.

– Как... почему Ставрогин? – как бы осекся вдруг Петр Степанович. – Э, черт, – спохватился он тотчас же, – это Шатов! Вам, кажется, всем уже теперь известно, что Шатов в свое время принадлежал делу. Я должен открыть, что, следя за ним чрез лиц, которых он не подозревает, я, к удивлению, узнал, что для него не тайна и устройство сети, и... одним словом, все. Чтобы спасти себя от обвинения в прежнем участии, он донесет на всех. До сих пор он все еще колебался, и я щадил его. Теперь вы этим пожаром его развязали: он потрясен и уже не колеблется. Завтра же мы будем арестованы, как поджигатели и политические преступники.

– Верно ли? Почему Шатов знает?

Волнение было неописанное.

– Все совершенно верно. Я не вправе вам объявить пути мои и как открывал, но вот что покамест я могу для вас сделать: чрез одно лицо я могу подействовать на Шатова, так что он, совершенно не подозревая, задержит донос, – но не более как на сутки. Дальше суток не могу. Итак, вы можете считать себя обеспеченными до послезавтраго утра.

Все молчали.

– Да отправить же его наконец к черту! – первый крикнул Толкаченко.

– И давно бы надо сделать! – злобно ввернул Лямшин, стукнув кулаком по столу.

– Но как сделать? – пробормотал Липутин.

Петр Степанович тотчас же подхватил вопрос и изложил свой план. Он состоял в том, чтобы завлечь Шатова, для сдачи находившейся у него тайной типографии, в то уединенное место, где она закопана, завтра, в начале ночи, и – «уж там и распорядиться». Он вошел во многие нужные подробности, которые мы теперь опускаем, и разъяснил обстоятельно те настоящие двусмысленные отношения Шатова к центральному обществу, о которых уже известно читателю.

– Все так, – нетвердо заметил Липутин, – но так как опять... новое приключение в том же роде... то слишком уже паразит умы.

– Без сомнения, – подтвердил Петр Степанович, – но и это предусмотрено. Есть средство вполне отклонить подозрение.

И он с прежнею точностью рассказал о Кириллове, о его намерении застрелиться и о том, как он обещал ждать сигнала, а умирая, оставить записку и принять на себя все, что ему продикут. (Одним словом, все, что уже известно читателю.)

– Твердое его намерение лишить себя жизни – философское, а по-моему, сумасшедшее – стало известно *там* (продолжал разъяснять Петр Степанович). Там не теряют ни волоска, ни пылинки, все идет в пользу общего дела. Предвидя пользу и убедившись, что намерение его совершенно серьезное, ему предложили

средства доехать до России (он для чего-то непременно хотел умереть в России), дали поручение, которое он обязался исполнить (и исполнил), и, сверх того, обязали его уже известным вам обещанием кончить с собою лишь тогда, когда ему скажут. Он все обещал. Заметьте, что он принадлежит делу на особых основаниях и желает быть полезным; больше я вам открыть не могу. Завтра, *после Шатова*, я продиктую ему записку, что причина смерти Шатова он. Это будет очень вероятно: они были друзьями и вместе ездили в Америку, там поссорились, и все это будет в записке объяснено... и... и даже, судя по обстоятельствам, можно будет и еще кое-что продиктовать Кириллову, например о прокламациях и, пожалуй, отчасти пожар. Об этом, впрочем, я подумаю. Не беспокойтесь, он без предрассудков; все подпишет.

Раздались сомнения. Повесть показалась фантастическою. О Кириллове, впрочем, все более или менее несколько слышали; Липутин же более всех.

— Вдруг он раздумает и не захочет, — сказал Шигалев, — так или этак, а все-таки он сумасшедший, стало быть, надежда неточная.

— Не беспокойтесь, господа, он захочет, — отрезал Петр Степанович. — По уговору, я обязан предупредить его накануне, значит, сегодня же. Я приглашаю Липутину идти сейчас со мною к нему и удостовериться, а он вам, господа, возвратясь, сообщит, если надо сегодня же, правду ли я вам говорил или нет. Впрочем, — оборвал он вдруг с непомерным раздражением, как будто вдруг почувствовал, что слишком много чести так убеждать и так возиться с такими людишками, — впрочем, действуйте как вам угодно. Если вы не решитесь, то союз расторгнут, — но единственно по факту вашего непослушания и измены. Таким образом, мы с этой минуты все врозь. Но знайте, что в таком случае вы, кроме неприятности шатовского доноса и последствий его, навлекаете на себя и еще одну маленькую неприятность, о которой было твердо заявлено при образовании союза. Что до меня касается, то, я, господа, не очень-то вас боюсь... Не подумайте, что я уж так с вами связан... Впрочем, это все равно.

— Нет, мы решаемся, — заявил Лямшин.

— Другого выхода нет, — пробормотал Толкаченко, — и если только Липутин подтвердит про Кириллова, то...

— Я против; я всеми силами души моей протестую против такого кровавого решения! — встал с места Виргинский.

— Но? — спросил Петр Степанович.

— Что *но*?

— Вы сказали *но*... и я жду.

— Я, кажется, не сказал *но*... Я только хотел сказать, что если решаются, то...

— То?

Виргинский замолчал.

— Я думаю, можно пренебрегать собственной безопасностью жизни, — отворил вдруг рот Эркель, — но если может пострадать общее дело, то, я думаю, нельзя сметь пренебрегать собственной безопасностью жизни...

Он сбился и покраснел. Как ни были все заняты каждый своим, но все посматривали на него с удивлением, до такой степени было неожиданно, что он тоже мог заговорить.

— Я за общее дело, — произнес вдруг Виргинский. Все поднялись с мест. Порешено было завтра в полдень еще раз сообщить вестями, хотя и не сходясь всем вместе, и уже окончательно условиться. Объявлено было место, где зарыта типография, розданы роли и обязанности. Липутин и Петр Степанович немедленно отправились вместе к Кириллову.

II

В то, что Шатов донесет, наши все поверили; но в то, что Петр Степанович играет ими как пешками, – тоже верили. А затем все знали, что завтра все-таки явятся в комплекте на место, и судьба Шатова решена. Чувствовали, что вдруг как мухи попали в паутину к огромному пауку; злились, но тряслись от страха.

Петр Степанович несомненно был виноват пред ними: все бы могло обойтись гораздо согласнее и *легче*, если б он позаботился хоть на капельку скрасить действительность. Вместо того чтобы представить факт в приличном свете, чем-нибудь римско-гражданским или вроде того, он только выставил грубый страх и угрозу собственной шкуре, что было уже просто невежливо. Конечно, во всем борьба за существование, и другого принципа нет, это всем известно, но ведь все-таки...

Но Петру Степановичу некогда было шевелить римлян; он сам был выбит из рельсов. Бегство Ставрогина ошеломило и придавило его. Он солгал, что Ставрогин виделся с вице-губернатором; то-то и есть, что тот уехал, не выдавшись ни с кем, даже с матерью, – и уж действительно было странно, что его даже не беспокоили. (Впоследствии начальство принуждено было дать на это особый ответ.) Петр Степанович разуживал целый день, но покамест ничего не узнал, и никогда он так не тревожился. Да и мог ли, мог ли он так, разом, отказаться от Ставрогина! Вот почему он и не мог быть слишком нежным с нашими. К тому же они ему руки связывали: у него уже решено было немедленно скакать за Ставрогиным, а между тем задерживал Шатов, надо было окончательно скрепить пятерку, на всякий случай. «Не бросать же ее даром, пожалуй и пригодится». Так, я полагаю, он рассуждал.

А что до Шатова, то он совершенно был уверен, что тот донесет. Он все налгал, что говорил *нашим* о доносе: никогда он не видал этого доноса и не слышал о нем, но был уверен в нем как дважды два. Ему именно казалось, что Шатов ни за что не перенесет настоящей минуты – смерти Лизы, смерти Марьи Тимофеевны, – и именно теперь наконец решится. Кто знает, может, он и имел какие-нибудь данные так полагать. Известно тоже, что он ненавидел Шатова лично; между ними была когда-то ссора, а Петр Степанович никогда не прощал обиды. Я даже убежден, что это-то и было главнейшею причиной.

Тротуары у нас узенькие, кирпичные, а то так и мостки. Петр Степанович шагал посредине тротуара, занимая его весь и не обращая ни малейшего внимания на Липутину, которому не оставалось рядом места, так что тот должен был поспевать или на шаг позади, или, чтоб идти разговаривая рядом, сбежать на улицу в грязь. Петр Степанович вдруг вспомнил, как он еще недавно семенил точно так же по грязи, чтобы поспеть за Ставрогиным, который, как и он теперь, шагал посредине, занимая весь тротуар. Он припомнил всю эту сцену, и бешенство захватило его дух.

Но и Липутину захватывало дух от обиды. Пусть Петр Степанович обращается с *нашими* как угодно, но с ним? Ведь он более всех наших *знает*, ближе всех стоит к делу, интимнее всех приобщен к нему и до сих пор косвенно, но непрерывно участвовал в нем. О, он знал, что Петр Степанович даже и теперь мог его погубить в *крайнем случае*. Но Петра Степановича он уже возненавидел давно, и не за опасность, а за высокомерие его обращения. Теперь, когда приходилось решаться на такое дело, он злился более всех наших, вместе взятых. Увы, он знал, что непременно «как раб» будет завтра же первым на месте, да еще всех ос-

тальных приведет, и если бы мог теперь, до завтра, как-нибудь убить Петра Степановича, не погубив себя, разумеется, то непременно бы убил.

Погруженный в свои ощущения, он молчал и трусил за своим мучителем. Тот, казалось, забыл о нем; изредка только неосторожно и невежливо толкал его локтем. Вдруг Петр Степанович на самой видной из наших улиц остановился и вошел в трактир.

– Это куда же? – вскипел Липутин, – да ведь это трактир.

– Я хочу съесть бифштекс.

– Помилуйте, это всегда полно народу.

– Ну и пусть.

– Но... мы опоздаем. Уж десять часов.

– Туда нельзя опоздать.

– Да ведь я опоздаю! Они меня ждут обратно.

– Ну и пусть; только глупо вам к ним являться. Я с вашей возней сегодня не обедал. А к Кириллову чем позднее, тем вернее.

Петр Степанович взял особую комнату. Липутин гневно и обидчиво уселся в кресла в сторонке и смотрел, как он ест. Прошло полчаса и более. Петр Степанович не торопился, ел со вкусом, звонил, требовал другой горчицы, потом пива, и все не говорил ни слова. Он был в глубокой задумчивости. Он мог делать два дела – есть со вкусом и быть в глубокой задумчивости. Липутин до того наконец возненавидел его, что не в силах был от него оторваться. Это было нечто вроде нервного припадка. Он считал каждый кусок бифштекса, который тот отправлял в свой рот, ненавидел его за то, как он разевает его, как он жует, как он, смакуя, обсасывает кусок пожирнее, ненавидел самый бифштекс. Наконец, стало как бы мешаться в его глазах; голова слегка начала кружиться; жар поочередно с морозом пробегал по спине.

– Вы ничего не делаете, прочтите, – перебрал ему вдруг бумажку Петр Степанович. Липутин приблизился к свечке. Бумажка была мелко исписана, скверным почерком и с помарками на каждой строке. Когда он осилил ее, Петр Степанович уже расплатился и уходил. На тротуаре Липутин протянул ему бумажку обратно.

– Оставьте у себя; после скажу. А впрочем, что вы скажете?

Липутин весь вздрогнул.

– По моему мнению... подобная прокламация... одна лишь смешная нелепость.

Злоба прорвалась; он почувствовал, что как будто его подхватили и понесли.

– Если мы решимся, – дрожал он весь мелкою дрожью, – распространять подобные прокламации, то нашею глупостью и непониманием дела заставим себя презирать-с.

– Гм. Я думаю иначе, – твердо шагнул Петр Степанович.

– А я иначе; неужели вы это сами сочинили?

– Это не ваше дело.

– Я думаю тоже, что и стишонки «Светлая личность» самые дряннейшие стишонки, какие только могут быть, и никогда не могли быть сочинены Герценом.

– Вы врете; стихи хороши.

– Я удивляюсь, например, и тому, – все неся, скача и играя духом, Липутин, – что нам предлагают действовать так, чтобы все провалилось. Это в Европе натурально желать, чтобы все провалилось, потому что там пролетариат, а мы здесь только любители и, по-моему, только пылим-с.

– Я думал, вы фурьерист.

– У Фурье не то, совсем не то-с.

– Знаю, что вздор.

– Нет, у Фурье не вздор... Извините меня, никак не могу поверить, чтобы в мае месяце было восстание.

Липутин даже расстегнулся, до того ему было жарко.

– Ну довольно, а теперь, чтобы не забыть, – ужасно хладнокровно перескочил Петр Степанович, – этот листок вы должны будете собственноручно набрать и напечатать. Шатова типографию мы выроем, и ее завтра же примете вы. В возможно скором времени вы наберете и оттиснете сколько можно более экземпляров, и затем всю зиму разбрасывать. Средства будут указаны. Надо как можно более экземпляров, потому что у вас потребуют из других мест.

– Нет-с, уж извините, я не могу взять на себя такую... Отказываюсь.

– И однако же, возьмете. Я действую по инструкции центрального комитета, а вы должны повиноваться.

– А я считаю, что заграничные наши центры забыли русскую действительность и нарушили всякую связь, а потому только бредят... Я даже думаю, что вместо многих сотен пятаков в России мы только одна и есть, а сети никакой совсем нет, – задохнулся наконец Липутин.

– Тем презреннее для вас, что вы, не веря делу, побежали за ним... и бежите теперь за мной, как подлая собачонка.

– Нет-с, не бегу. Мы имеем полное право отстать и образовать новое общество.

– Дур-рак! – грозно прогремел вдруг Петр Степанович, засверкав глазами.

Оба стояли некоторое время друг против друга. Петр Степанович повернулся и самоуверенно направился прежнею дорогой.

В уме Липутина пронеслось, как молния: «Повернусь и пойду назад: если теперь не повернусь, никогда не пойду назад». Так думал он ровно десять шагов, но на одиннадцатом одна новая и отчаянная мысль загорелась в его уме: он не повернулся и не пошел назад.

Пришли к дому Филиппова, но, еще не доходя, взяли проулком, или, лучше сказать, неприметною тропинкой вдоль забора, так что некоторое время пришлось пробираться по крутому откосу канавки, на котором нельзя было ноги сдержать и надо было хвататься за забор. В самом темном углу покривившегося забора Петр Степанович вынул доску; образовалось отверстие, в которое он тотчас же и пролез. Липутин удивился, но пролез в свою очередь; затем доску вставили по-прежнему. Это был тот самый тайный ход, которым лазил к Кириллову Федька.

– Шатов не должен знать, что мы здесь, – строго прошептал Петр Степанович Липутину.

III

Кириллов, как всегда в этот час, сидел на своем кожаном диване за чаем. Он не привстал навстречу, но как-то весь вскинулся и тревожно поглядел на входивших.

– Вы не ошиблись, – сказал Петр Степанович, – я за тем самым.

– Сегодня?

– Нет, нет, завтра... около этого времени.

И он поспешно подсел к столу, с некоторым беспокойством приглядываясь ко встревожившемуся Кириллову. Тот, впрочем, уже успокоился и смотрел по-всегодашнему.

- Вот эти всё не верят. Вы не сердитесь, что я привел Липутина?
- Сегодня не сержусь, а завтра хочу один.
- Но не раньше, как я приду, а потому при мне.
- Я бы хотел не при вас.
- Вы помните, что обещали написать и подписать все, что я продиктую.
- Мне все равно. А теперь долго будете?
- Мне надо видиться с одним человеком и остается с полчаса, так уж как

хотите, а эти полчаса я просижу.

Кириллов промолчал. Липутин поместился между тем в сторонке, под портретом архиерея. Давешняя отчаянная мысль все более и более овладевала его умом. Кириллов почти не замечал его. Липутин знал теорию Кириллова еще прежде и смеялся над ним всегда; но теперь молчал и мрачно глядел вокруг себя.

– А я бы не прочь и чаю, – подвинулся Петр Степанович, – сейчас ел бифштекс и так и рассчитывал у вас чай застать.

- Пейте, пожалуй.
- Прежде вы сами потчевали, – кисло вато заметил Петр Степанович.
- Это все равно. Пусть и Липутин пьет.
- Нет-с, я... не могу.
- Не хочу или не могу? – быстро обернулся Петр Степанович.
- Я у них не стану-с, – с выражением отказался Липутин. Петр Степанович нахмурил брови.

– Пахнет мистицизмом; черт вас знает, что вы все за люди!

Никто ему не ответил; молчали целую минуту.

– Но я знаю одно, – резко прибавил он вдруг, – что никакие предрассудки не остановят каждого из нас исполнить свою обязанность.

– Ставрогин уехал? – спросил Кириллов.

– Уехал.

– Это он хорошо сделал.

Петр Степанович сверкнул было глазами, но придержался.

– Мне все равно, как вы думаете, лишь бы каждый сдержал свое слово.

– Я сдержу свое слово.

– Впрочем, я и всегда был уверен, что вы исполните ваш долг, как независимый и прогрессивный человек.

– А вы смешны.

– Это пусть, я очень рад рассмешить. Я всегда рад, если могу угодить.

– Вам очень хочется, чтоб я застрелил себя, и боитесь, если вдруг нет?

– То есть, видите ли, вы сами соединили ваш план с нашими действиями.

Рассчитывая на ваш план, мы уже кое-что предприняли, так что вы уж никак не могли бы отказаться, потому что нас подвели.

– Права никакого.

– Понимаю, понимаю, ваша полная воля, а мы ничто, но только чтоб эта полная ваша воля совершилась.

– И я должен буду взять на себя все ваши мерзости?

– Послушайте, Кириллов, вы не трусите ли? Если хотите отказаться, объявите сейчас же.

– Я не трушу.

– Я потому, что вы очень уж много спрашиваете.

– Скоро вы уйдете?

– Опять спрашиваете?

Кириллов презрительно оглядел его.

– Вот видите ли, – продолжал Петр Степанович, все более и более сердясь и беспокоясь и не находя надлежащего тона, – вы хотите, чтоб я ушел, для уединения, чтобы сосредоточиться; но все это опасные признаки для вас же, для вас же первого. Вы хотите много думать. По-моему, лучше бы не думать, а так. И вы, право, меня беспокоите.

– Мне только одно очень скверно, что в ту минуту будет подле меня гадина, как вы.

– Ну, это-то все равно. Я, пожалуй, в то время выйду и простою на крыльце. Если вы умираете и так равнодушны, то... все это очень опасно. Я выйду на крыльцо, и предположите, что я ничего не понимаю и что я безмерно ниже вас человек.

– Нет, вы не безмерно; вы со способностями, но очень много не понимаете, потому что вы низкий человек.

– Очень рад, очень рад. Я уже сказал, что очень рад доставить развлечение... в такую минуту.

– Вы ничего не понимаете.

– То есть я... во всяком случае я слушаю с уважением.

– Вы ничего не можете; вы даже теперь мелкой злобы спрятать не можете, хоть вам и невыгодно показывать. Вы меня разозлите, и я вдруг захочу еще полгода.

Петр Степанович посмотрел на часы.

– Я ничего никогда не понимал в вашей теории, но знаю, что вы не для нас ее выдумали, стало быть, и без нас исполните. Знаю тоже, что не вы съели идею, а вас съела идея, стало быть, и не отложите.

– Как? Меня съела идея?

– Да.

– А не я съел идею? Это хорошо. У вас есть маленький ум. Только вы дразните, а я горжусь.

– И прекрасно, и прекрасно. Это именно так и надо, чтобы вы гордились.

– Довольно; вы допили, уходите.

– Черт возьми, придется, – привстал Петр Степанович. – Однако все-таки рано. Послушайте, Кириллов, у Мясничихи застану я того человека, понимаете? Или и она наврала?

– Не застанете, потому что он здесь, а не там.

– Как здесь, черт возьми, где?

– Сидит в кухне, ест и пьет.

– Да как он смел? – гневно покраснел Петр Степанович. – Он обязан был ждать... вздор! У него ни паспорта, ни денег!

– Не знаю. Он пришел проститься; одет и готов. Уходит и не воротится. Он говорил, что вы подлец, и не хочет ждать ваших денег.

– А-а! Он боится, что я... ну, да я и теперь могу его, если... Где он, в кухне?

Кириллов отворил боковую дверь в крошечную темную комнату; из этой комнаты тремя ступенями вниз сходили в кухню, прямо в ту отгороженную каморку, в которой обыкновенно помещалась кухаркина кровать. Здесь-то в углу, под образами, и сидел теперь Федька за тесовым непокрытым столом. На столе перед ним помещался и полуштоф, на тарелке хлеб и на глиняной посудине холодный кусок говядины с картофелем. Он закусывал с прохладой и был уже вполпьяна, но сидел в тулупе и, очевидно, совсем готовый в поход. За перегородкой закипал самовар, но не для Федьки, а сам Федька обязательно раздувал и наставлял его, вот уже с неделю или более, каждую ночь для «Алексея Нилыча-с, ибо очень привык-

ли, чтобы чай по ночам-с». Я сильно думаю, что говядину с картофелем, за неимением кухарки, зажарил для Федьки еще с утра сам Кириллов.

– Это что ты выдумал? – вкатился вниз Петр Степанович. – Почему не ждал, где приказано?

И он с размаху стукнул по столу кулаком.

Федька приосанился.

– Ты постой, Петр Степанович, постой, – щеголевато отчеканивая каждое слово, заговорил он, – ты первым долгом здесь должен понимать, что ты на благородном визите у господина Кириллова, Алексея Нилыча, у которого всегда сапоги чистить можешь, потому он пред тобой образованный ум, а ты всего только – тьфу!

И он щеголевато отплевался в сторону сухим плевком. Видна была надменность, решимость и некоторое весьма опасное напускное спокойное резонерство до первого взрыва. Но Петру Степановичу уже некогда было замечать опасности, да и не сходилось с его взглядом на вещи. Происшествия и неудачи дня совсем его закружили... Липутин с любопытством выглядывал вниз, с трех ступеней, из темной каморки.

– Хочешь или не хочешь иметь верный паспорт и хорошие деньги на проезд куда сказано? Да или нет?

– Видишь, Петр Степанович, ты меня с самого первоначалу начал обманывать, потому как ты выходишь передо мною настоящий подлец. Все равно как поганая человечья вошь, – вот я тебя за кого почитаю. Ты мне за неповинную кровь большие деньги сулил и за господина Ставрогина клятву давал, не смотря на то что выходит одно лишь твое неучтивство. Я как есть ни одной каплей не участвовал, не то что полторы тысячи, а господин Ставрогин тебя давеча по щекам отхлестали, что уже и нам известно. Теперь ты мне сызнава угрожаешь и деньги сулишь, на какое дело – молчишь. А я сумлеваюсь в уме, что в Петербург меня шлешь, чтоб господину Ставрогину, Николаю Всеволодовичу, чем ни на есть по злобе своей отомстить, надеясь на мое легкоеверие. И из этого ты выходишь первый убивец. И знаешь ли ты, чего стал достоин уже тем одним пунктом, что в самого Бога, Творца истинного, перестал по разврату своему веровать? Все одно что идолопоклонник, и на одной линии с татаринном или мордвой состоишь. Алексей Нилыч, будучи философом, тебе истинного Бога, Творца Создателя, многократно объяснял и о сотворении мира, равно и будущих судеб и преобразования всякой твари и всякого зверя из книги Апокалипсиса. Но ты, как бестолковый идол, в глухоте и немоте упорствуешь и прапорщика Эркелева к тому же самому привел, как тот самый злодей-соблазнитель, называемый атеист...

– Ах ты, пьяная харя! Сам образа обдирает, да еще Бога проповедует!

– Я, видишь, Петр Степанович, говорю тебе это верно, что обдирал; но я только зеньчуг поснимал, и почему ты знаешь, может, и моя слеза пред горнилом Всевышнего в ту самую минуту преобразилась, за некую обиду мою, так как есть точь-в-точь самый сей сирота, не имея насущного даже пристанища. Ты знаешь ли по книгам, что некогда в древние времена некоторый купец, точь-в-точь с таким же слезным воздыханием и молитвой, у Пресвятой Богородицы с сияния перл похитил и потом всенародно с коленопреклонением всю сумму к самому подножию возвратил, и Мать Заступница пред всеми людьми его пленой осенила, так что по этому предмету даже в ту пору чудо вышло и в государственные книги все точь-в-точь через начальство велено записать. А ты пустил мышь, значит, надругался над самым Божиим

перстом. И не будь ты природный мой господин, которого я, еще отроком бывши, на руках наших нашивал, то как есть тебя теперича порешил бы, даже с места сего не сходя!

Петр Степанович вошел в чрезмерный гнев:

– Говори, виделся ты сегодня со Ставрогиным?

– Это ты никогда не смеешь меня чтобы допрашивать. Господин Ставрогин как есть в удивлении пред тобою стоит и ниже пожеланием своим участвовал, не только распоряжением каким али деньгами. Ты меня дерзнул.

– Деньги ты получишь, и две тысячи тоже получишь, в Петербурге, на месте, все целиком, и еще получишь.

– Ты, любезнейший, врешь, и смешно мне тебя даже видеть, какой ты есть легковесный ум. Господин Ставрогин пред тобою как на лестнице состоит, а ты на них снизу, как глупая собачонка, твякаешь, тогда как они на тебя сверху и плюнуть-то за большую честь почитают.

– А знаешь ли ты, – остервенился Петр Степанович, – что я тебя, мерзавца, ни шагу отсюда не выпущу и прямо в полицию передам?

Федька вскочил на ноги и яростно сверкнул глазами. Петр Степанович выхватил револьвер. Тут произошла быстрая и отвратительная сцена: прежде чем Петр Степанович мог направить револьвер, Федька мгновенно извернулся и изо всей силы ударил его по щеке. В тот же миг послышался другой ужасный удар, затем третий, четвертый, все по щеке. Петр Степанович ошалел, выпучил глаза, что-то пробормотал и вдруг грохнулся со всего роста на пол.

– Вот вам, берите его! – с победоносным вывертом крикнул Федька; мигом схватил картуз, из-под лавки узелок и был таков. Петр Степанович хрипел в беспомощности. Липутин даже подумал, что совершилось убийство. Кириллов опрометью сбежал в кухню.

– Водой его! – вскрикнул он и, зачерпнув железным ковшом в ведре, вылил ему на голову. Петр Степанович пошевелился, приподнял голову, сел и бессмысленно смотрел пред собою.

– Ну, каково? – спросил Кириллов.

Тот, пристально и все еще не узнавая, глядел на него; но, увидев выставившегося из кухни Липутину, улыбнулся своею гадкою улыбкой и вдруг вскочил, захватив с полу револьвер.

– Если вы вздумаете завтра убежать, как подлец Ставрогин, – иступленно накинуся он на Кириллова, весь бледный, заикаясь и неточно выговаривая слова, – то я вас на другом конце шара... повешу как муху... раздавлю... понимаете!

И он наставил Кириллову револьвер прямо в лоб; но почти в ту же минуту, опомнившись наконец совершенно, отдернул руку, сунул револьвер в карман и, не сказав более ни слова, побежал из дому. Липутин за ним. Вылезли в прежнюю лазейку и опять прошли откосом, придерживаясь за забор. Петр Степанович быстро зашагал по переулку, так что Липутин едва поспевал. У первого перекрестка вдруг остановился.

– Ну? – с вызовом повернулся он к Липутину.

Липутин помнил револьвер и еще весь трепетал от бывшей сцены; но ответ как-то сам вдруг и неудержимо соскочил с его языка:

– Я думаю... я думаю, что «от Смоленска до Ташкента вовсе уж не с таким нетерпением ждут студента».

– А видели, что пил Федька на кухне?

– Что пил? Водку пил.

– Ну так знайте, что он в последний раз в жизни пил водку. Рекомендую запомнить для дальнейших соображений. А теперь убирайтесь к черту, вы до завтра не нужны... Но смотрите у меня: не глупить!

Липутин бросился сломя голову домой.

IV

У него давно уже был припасен паспорт на чужое имя. Дико даже подумать, что этот аккуратный человек, мелкий тиран семьи, во всяком случае чиновник (хотя и фурыерист) и, наконец, прежде всего капиталист и процентщик, – давным-давно уже возымел про себя фантастическую мысль припасти на всякий случай этот паспорт, чтобы с помощью его улизнуть за границу, *если...* допускал же он возможность этого *если!* хотя, конечно, он и сам никогда не мог формулировать, что именно могло бы означать это *если...*

Но теперь оно вдруг само формулировалось, и в самом неожиданном роде. Та отчаянная идея, с которою он вошел к Кириллову, после «дурака», выслушанного от Петра Степановича на тротуаре, состояла в том, чтобы завтра же чем свет бросить все и экспатрироваться за границу! Кто не поверит, что такие фантастические вещи случаются в нашей обыденной действительности и теперь, тот пусть справится с биографией всех русских настоящих эмигрантов за границей. Ни один не убежал умнее и реальнее. Все то же необузданное царство призраков и более ничего.

Прибежав домой, он начал с того, что заперся, достал сак и судорожно начал укладываться. Главная забота его состояла о деньгах и о том, сколько и как он их успеет спасти. Именно спасти, ибо, по понятиям его, медлить нельзя было уже ни часу и чем свет надо было находиться на большой дороге. Не знал он тоже, как он сядет в вагон; он смутно решил сесть где-нибудь на второй или на третьей большой станции от города, до нее же добраться хоть и пешком. Таким образом, инстинктивно и машинально, с целым вихрем мыслей в голове, возился он над сакom и – вдруг остановился, бросил все и с глубоким стоном протянулся на диване.

Он ясно почувствовал и вдруг осознал, что бежит-то он, пожалуй, бежит, но что разрешить вопрос, *до* или *после* Шатова ему придется бежать? – он уже совершенно теперь не в силах; что теперь он только грубое, бесчувственное тело, инерционная масса, но что им движет посторонняя ужасная сила и что хоть у него и есть паспорт за границу, хоть бы и мог он убежать от Шатова (а иначе для чего бы было так торопиться?), но что бежит он не до Шатова, не от Шатова, а именно *после* Шатова, и что уже так это решено, подписано и запечатано. В нестерпимой тоске, ежеминутно трепеща и удивляясь на самого себя, стена и замирая попеременно, дожидаясь он кое-как, запершись и лежа на диване, до одиннадцати часов утра следующего дня, и вот тут-то вдруг и последовал ожидаемый толчок, вдруг направивший его решимость. В одиннадцать часов, только что он отперся и вышел к домашним, он вдруг от них же узнал, что разбойник, беглый каторжный Федька, наводивший на всех ужас, грабитель церквей, недавний убийца и поджигатель, за которым следила и которого все не могла схватить наша полиция, найден чем свет утром убитым, в семи верстах от города, на повороте с большой дороги на проселок, к Захарьину, и что о том говорит уже весь город. Тотчас же сломя голову бросился он из дому узнавать подробности и узнал, во-первых, что Федька, найденный с проломленною головою, был по всем признакам ограблен и, во-вторых, что полиция уже имела сильные подозрения и

даже некоторые твердые данные заключить, что убийцей его был шпигулинский Фомка, тот самый, с которым он несомненно резал и зажег у Лебядкиных, и что ссора между ними произошла уже дорогой из-за утаенных будто бы Федькой больших денег, похищенных у Лебядкина... Липутин пробежал и в квартиру Петра Степановича и успел узнать с заднего крыльца потаенно, что Петр Степанович хоть и воротился домой вчера, этак уже около часу пополуночи, но всю ночь преспокойно изволил почивать у себя дома вплоть до восьми часов утра. Разумеется, не могло быть сомнения, что в смерти разбойника Федьки ровно ничего не было необыкновенного и что таковые развязки именно всего чаще случаются в подобных карьерах, но совпадение роковых слов: «что Федька в последний раз в этот вечер пил водку», с немедленным оправданием пророчества было до того знаменательно, что Липутин вдруг перестал колебаться. Толчок был дан; точно камень упал на него и придавил навсегда. Воротаясь домой, он молча ткнул свой сак ногой под кровать, а вечером в назначенный час первым из всех явился на условленное место для встречи Шатова, правда все еще с своим паспортом в кармане...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Путешественница

I

Катастрофа с Лизой и смерть Марьи Тимофеевны произвели подавляющее впечатление на Шатова. Я уже упоминал, что в то утро я его мельком встретил, он показался мне как бы не в своем уме. Между прочим, сообщил, что накануне вечером, часов в девять (значит, часа за три до пожара), был у Марьи Тимофеевны. Он ходил поутру взглянуть на трупы, но, сколько знаю, в то утро показаний не давал нигде никаких. Между тем к концу дня в душе его поднялась целая буря и... и, кажется, могу сказать утвердительно, был такой момент в сумерки, что он хотел встать, пойти и – объявить все. Что такое было это *все* – про то он сам знал. Разумеется, ничего бы не достиг, а предал бы просто себя. У него не было никаких доказательств, чтоб изобличить только что совершившееся злодеяние, да и сам он имел об нем лишь смутные догадки, только для него одного равнявшиеся полному убеждению. Но он готов был погубить себя, лишь бы только «раздавить мерзавцев», – собственные его слова. Петр Степанович отчасти верно предугадал в нем этот порыв и сам знал, что сильно рискует, откладывая исполнение своего нового ужасного замысла до завтра. С его стороны тут было, по обыкновению, много самонадеянности и презрения ко всем этим «людишкам», а к Шатову в особенности. Он презирал Шатова уже давно за его «плаксивое идиотство», как выражался он о нем еще за границей, и твердо надеялся справиться с таким нехитрым человеком, то есть не выпускать его из виду во весь этот день и пресечь ему путь при первой опасности. И однако спасло «мерзавцев» еще на малое время лишь одно совершенно неожиданное, а ими совсем не предвиденное обстоятельство...

Часу в восьмом вечера (это именно в то самое время, когда *наши* собрались у Эркеля, ждали Петра Степановича, негодовали и волновались) Шатов, с головною болью и в легком ознобе, лежал, протянувшись, на своей кровати, в тем-

ноте, без свечи; мучился недоумением, злился, решался, никак не мог решиться окончательно и с проклятием предчувствовал, что все это, однако, ни к чему не поведет. Мало-помалу он забылся на миг легким сном и видел во сне что-то похожее на кошмар; ему приснилось, что он опутан на своей кровати веревками, весь связан и не может шевельнуться, а между тем раздаются по всему дому страшные удары в забор, в ворота, в его дверь, во флигеле у Кириллова, так что весь дом дрожит, и какой-то отдаленный, знакомый, но мучительный для него голос жалобно призывает его. Он вдруг очнулся и приподнялся на постели. К удивлению, удары в ворота продолжались, и хоть далеко не так сильные, как представлялось во сне, но частые и упорные, а странный и «мучительный» голос, хотя вовсе не жалобно, а, напротив, нетерпеливо и раздражительно, все слышался внизу у ворот попеременно с чьим-то другим, более воздержным и обыкновенным голосом. Он вскочил, отворил форточку и высунул голову.

– Кто там? – окликнул он, буквально коченея от испуга.

– Если вы Шатов, – резко и твердо ответили ему снизу, – то, пожалуйста, благоволите объявить прямо и честно, согласны ли вы впустить меня или нет?

Так и есть; он узнал этот голос!

– Marie!.. Это ты?

– Я, я, Марья Шатова, и уверяю вас, что ни одной минуты более не могу задерживать извозчика.

– Сейчас... я только свечу... – слабо прокричал Шатов. Затем бросился искать спичек. Спички, как обыкновенно в таких случаях, не отыскивались. Уронил подсвечник со свечой на пол и, только что снизу опять послышался нетерпеливый голос, бросил все и сломя голову полетел вниз по своей крутой лестнице отворяя калитку.

– Сделайте одолжение, подержите сак, пока я разделаюсь с этим болваном, – встретила его внизу госпожа Марья Шатова и сунула ему в руки довольно легонький, дешевый ручной сак из парусины, с бронзовыми гвоздиками, дрезденской работы. Сама же раздражительно накинулась на извозчика:

– Смею вас уверить, что вы берете лишнее. Если вы протаскали меня целый лишний час по здешним грязным улицам, то виноваты вы же, потому что сами, стало быть, не знали, где эта глупая улица и этот дурацкий дом. Извольте принять ваши тридцать копеек и убедиться, что ничего больше не получите.

– Эх, барынька, сама ж тыкала на Вознесенску улицу, а эта Богоявленска: Вознесенской-то проулок эвона где отселева. Только мерина запарили.

– Вознесенская, Богоявленская – все эти глупые названия вам больше моего должны быть известны, так как вы здешний обыватель, и к тому же вы несправедливы: я вам прежде всего заявила про дом Филиппова, а вы именно подтвердили, что его знаете. Во всяком случае можете искать на мне завтра в мировом суде, а теперь прошу вас оставить меня в покое.

– Вот, вот еще пять копеек! – стремительно выхватил Шатов из кармана свой пятак и подал извозчику.

– Сделайте одолжение, прошу вас, не смейте этого делать! – вскипела было madame Шатова, но извозчик тронул «мерина», а Шатов, схватив ее за руку, повлек в ворота.

– Скорей, Marie, скорей... это все пустяки и – как ты измокла! Тише, тут подыматься, – как жаль, что нет огня, – лестница крутая, держись крепче, крепче, ну вот и моя каморка. Извини, я без огня... Сейчас!

Он поднял подсвечник, но спички еще долго не отыскивались. Госпожа Шатова стояла в ожидании посреди комнаты молча и не шевелясь.

– Слава Богу, наконец-то! – радостно вскричал он, осветив каморку. Марья Шатова бегло обозрела помещение.

– Мне говорили, что вы скверно живете, но все-таки я думала не так, – брезгливо произнесла она и направилась к кровати.

– Ох, устала! – присела она с бессильным видом на жесткую постель. – Пожалуйста, поставьте сак и сядьте сами на стул. Впрочем, как хотите, вы торчите на глазах. Я у вас на время, пока приищу работу, потому что ничего здесь не знаю и денег не имею. Но если вас стесняю, сделайте одолжение, опять прошу, заявите сейчас же, как и обязаны сделать, если вы честный человек. Я все-таки могу что-нибудь завтра продать и заплатить в гостинице, а уж в гостиницу извольте меня проводить сами... Ох, только я устала!

Шатов весь так и затрясся.

– Не нужно, Marie, не нужно гостиницу! Какая гостиница? Зачем, зачем?

Он, умоляя, сложил руки.

– Ну, если можно обойтись без гостиницы, то все-таки необходимо разъяснить дело. Вспомните, Шатов, что мы прожили с вами брачно в Женеве две недели и несколько дней, вот уже три года как разошлись, без особенной, впрочем, ссоры. Но не подумайте, чтоб я воротилась что-нибудь возобновлять из прежних глупостей. Я воротилась искать работы, и если прямо в этот город, то потому, что мне все равно. Я не приехала в чем-нибудь раскаиваться; сделайте одолжение, не подумайте еще этой глупости.

– О Marie! Это напрасно, совсем напрасно! – неясно бормотал Шатов.

– А коли так, коли вы настолько развиты, что можете и это понять, то позволю себе прибавить, что если теперь обратилась прямо к вам и пришла в вашу квартиру, то отчасти и потому, что всегда считала вас далеко не подлецом, а, может быть, гораздо лучше других... мерзавцев!..

Глаза ее сверкали. Должно быть, она много перенесла кое-чего от каких-нибудь «мерзавцев».

– И, пожалуйста, будьте уверены, я над вами вовсе не смеялась сейчас, заявляя вам, что вы добры. Я говорила прямо, без красноречия, да и терпеть не могу. Однако все это вздор. Я всегда надеялась, что у вас хватит ума не надоедать... Ох, довольно, устала!

И она поглядела на него длинным, измученным, усталым взглядом. Шатов стоял пред ней, через комнату, в пяти шагах, и робко, но как-то обновленно, с каким-то небывалым сиянием в лице ее слушал. Этот сильный и шершавый человек, постоянно шерстью вверх, вдруг весь смягчился и просветлел. В душе его задрожало что-то необычайное, совсем неожиданное. Три года разлуки, три года расторгнутого брака не вытеснили из сердца его ничего. И, может быть, каждый день в эти три года он мечтал о ней, о дорогом существе, когда-то ему сказавшем: «люблю». Зная Шатова, наверно скажу, что никогда бы он не мог допустить в себе даже мечты, чтобы какая-нибудь женщина могла сказать ему: «люблю». Он был целомудрен и стыдлив до дикости, считал себя страшным уродом, ненавидел свое лицо и свой характер, приравнивал себя к какому-то монстру, которого можно возить и показывать лишь на ярмарках. Вследствие всего этого выше всего считал честность, а убеждениям своим предавался до фанатизма, был мрачен, горд, гневлив и несловоохотлив. Но вот это единственное существо, две недели его любившее (он всегда, всегда тому верил!), – существо, которое он всегда считал неизмеримо выше себя, несмотря на совершенно трезвое понимание ее заблуждений; существо, которому он совершенно все, все мог простить (о том и вопроса быть не могло, а было даже нечто обратное, так что вы-

ходило по его, что он сам пред нею во всем виноват), эта женщина, эта Марья Шатова вдруг опять, в его доме, опять пред ним... этого почти невозможно было понять! Он так был поражен, в этом событии заключалось для него столько чего-то страшного и вместе с тем столько счастья, что, конечно, он не мог, а может быть, не желал, боялся опомниться. Это был сон. Но когда она поглядела на него этим измученным взглядом, вдруг он понял, что это столь любимое существо страдает, может быть, обижено. Сердце его замерло. Он с болью вгляделся в ее черты: давно уже исчез с этого усталого лица блеск первой молодости. Правда, она все еще была хороша собой – в его глазах, как и прежде, красавица. (На самом деле это была женщина лет двадцати пяти, довольно сильного сложения, росту выше среднего (выше Шатова), с темно-русыми пышными волосами, с бледным овальным лицом, большими темными глазами, теперь сверкавшими лихорадочным блеском.) Но легкомысленная, наивная и простодушная прежняя энергия, столь ему знакомая, сменилась в ней угрюмою раздражительностью, разочарованием, как бы цинизмом, к которому она еще не привыкла и которым сама тяготилась. Но главное, она была больна, это разглядел он ясно. Несмотря на весь свой страх пред нею, он вдруг подошел и схватил ее за обе руки:

– Марге... знаешь... ты, может быть, очень устала, ради Бога, не сердись... Если бы ты согласилась, например, хоть чаю, а? Чай очень подкрепляет, а? Если бы ты согласилась!..

– Чего тут согласилась, разумеется соглашусь, какой вы по-прежнему ребенок. Если можете, дайте. Как у вас тесно! Как у вас холодно!

– О, я сейчас дров, дров... дрова у меня есть! – весь заходил Шатов, – дрова... то есть, но... впрочем, и чаю сейчас, – махнул он рукой, как бы с отчаянною решимости, и схватил фуражку.

– Куда ж вы? Стало быть, нет дома чаю?

– Будет, будет, будет, сейчас будет все... я... – Он схватил с полки револьвер.

– Я продам сейчас этот револьвер... или заложу...

– Что за глупости и как это долго будет! Возьмите, вот мои деньги, коли у вас нет ничего, тут восемь гривен, кажется; все. У вас точно в помешанном доме.

– Не надо, не надо твоих денег, я сейчас, в один миг, я и без револьвера...

И он бросился прямо к Кириллову. Это было, вероятно, еще часа за два до посещения Кириллова Петром Степановичем и Липутиным. Шатов и Кириллов, жившие на одном дворе, почти не видались друг с другом, а встречаясь, не кланялись и не говорили: слишком долго уж они «пролежали» вместе в Америке.

– Кириллов, у вас всегда чай; есть у вас чай и самовар?

Кириллов, ходивший по комнате (по обыкновению своему, всю ночь из угла в угол), вдруг остановился и пристально посмотрел на вбежавшего, впрочем без особого удивления.

– Чай есть, сахар есть и самовар есть. Но самовара не надо, чай горячий. Садитесь и пейте просто.

– Кириллов, мы вместе лежали в Америке... Ко мне пришла жена... Я... Давайте чаю... Надо самовар.

– Если жена, то надо самовар. Но самовар после. У меня два. А теперь берите со стола чайник. Горячий, самый горячий. Берите все; берите сахар; весь. Хлеб... Хлеба много; весь. Есть телятина. Денег рубль.

– Давай, друг, отдам завтра! Ах, Кириллов!

– Это та жена, которая в Швейцарии? Это хорошо. И то, что вы так вбежали, тоже хорошо.

– Кириллов! – вскричал Шатов, захватывая под локоть чайник, а в обе руки сахар и хлеб, – Кириллов! Если б... если б вы могли отказаться от ваших ужасных фантазий и бросить ваш атеистический бред... о, какой бы вы были человек, Кириллов!

– Видно, что вы любите жену после Швейцарии. Это хорошо, если после Швейцарии. Когда надо чаю, приходите опять. Приходите всю ночь, я не сплю совсем. Самовар будет. Берите рубль, вот. Ступайте к жене, я останусь и буду думать о вас и о вашей жене.

Марья Шатова была видимо довольна поспешностью и почти с жадностью принялась за чай, но за самоваром бежать не понадобилось: она выпила всего полчашки и проглотила лишь крошечный кусочек хлеба. От телятины брезгливо и раздражительно отказалась.

– Ты больна, Marie, все это так в тебе болезненно... – робко заметил Шатов, робко около нее ухаживая.

– Конечно, больна, пожалуйста, сядьте. Где вы взяли чай, если не было?

Шатов рассказал про Кириллова, слегка, вкратце. Она кое-что про него слышала.

– Знаю, что сумасшедший; пожалуйста, довольно; мало, что ли, дураков? Так вы были в Америке? Слышала, вы писали.

– Да, я... в Париж писал.

– Довольно, и пожалуйста, о чем-нибудь другом. Вы по убеждениям славянофил?

– Я... я не то что... За невозможностью быть русским стал славянофилом, – криво усмехнулся он, с натугой человека, сострившего нехоти и через силу.

– А вы не русский?

– Нет, не русский.

– Ну, все это глупости. Сядьте, прошу вас, наконец. Что вы все туда-сюда? Вы думаете, я в бреду? Может, и буду в бреду. Вы говорите, вас только двое в доме?

– Двое... внизу...

– И все таких умных. Что внизу? Вы сказали внизу?

– Нет, ничего.

– Что ничего? Я хочу знать.

– Я только хотел сказать, что мы тут теперь двое во дворе, а внизу прежде жили Лебядкины...

– Это та, которую сегодня ночью зарезали? – вскинулась она вдруг. – Слышала. Только что приехала, слышала. У вас был пожар?

– Да, Marie, да, и, может быть, я делаю страшную подлость в сию минуту, что прощаю подлецов... – встал он вдруг и зашагал по комнате, подняв вверх руки как бы в иступлении.

Но Marie не совсем поняла его. Она слушала ответы рассеянно; она спрашивала, а не слушала.

– Славные дела у вас делаются. Ох, как все подло! Какие все подлецы! Да сядьте же, прошу вас, наконец, о, как вы меня раздражаете! – и в изнеможении она опустила голову на подушку.

– Marie, я не буду... Ты, может быть, прилегла бы, Marie?

Она не ответила и в бессилии закрыла глаза. Бледное ее лицо стало точно у мертвой. Она заснула почти мгновенно. Шатов посмотрел кругом, поправил свечу, посмотрел еще раз в беспокойстве на ее лицо, крепко сжал пред собой руки и на цыпочках вышел из комнаты в сени. На верху лестницы он уперся лицом

в угол и простоял так минут десять, безмолвно и недвижимо. Простоял бы и дольше, но вдруг внизу послышались тихие, осторожные шаги. Кто-то подымался вверх. Шатов вспомнил, что забыл запереть калитку.

– Кто тут? – спросил он шепотом.

Незнакомый посетитель подымался не спеша и не отвечая. Взойдя наверх, остановился; рассмотреть его было в темноте невозможно; вдруг послышался его осторожный вопрос:

– Иван Шатов?

Шатов назвал себя, но немедленно протянул руку, чтоб остановить его; но тот сам схватил его за руку и – Шатов вздрогнул, как бы прикоснувшись к какому-то страшному гаду.

– Стойте здесь, – быстро прошептал он, – не входите, я не могу вас теперь принять. Ко мне воротилась жена. Я вынесу свечу.

Когда он воротился со свечкой, стоял какой-то молоденький офицерик; имени его он не знал, но где-то видел.

– Эркель, – отрекомендовался тот. – Видели меня у Виргинского.

– Помню; вы сидели и писали. Слушайте, – вскипел вдруг Шатов, испуганно подступая к нему, но говоря по-прежнему шепотом, – вы сейчас мне сделали знак рукой, когда схватили мою руку. Но знайте, я могу наплевать на все эти знаки! Я не признаю... не хочу... Я могу вас спустить сейчас с лестницы, знаете вы это?

– Нет, я этого ничего не знаю и совсем не знаю, за что вы так рассердились, – незлобиво и почти простодушно ответил гость. – Я имею только передать вам нечто и за тем пришел, главное не желая терять времени. У вас станок, вам не принадлежащий и в котором вы обязаны отчетом, как знаете сами. Мне велено потребовать от вас передать его завтра же, ровно в семь часов пополудни, Липутину. Кроме того, велено сообщить, что более от вас ничего никогда не потребуются.

– Ничего?

– Совершенно ничего. Ваша просьба исполняется, и вы навсегда устранены. Это положительно мне велено вам сообщить.

– Кто велел сообщить?

– Те, которые передали мне знак.

– Вы из-за границы?

– Это... это, я думаю, для вас безразлично.

– Э, черт! А почему вы раньше не приходили, если вам велено?

– Я следовал некоторым инструкциям и был не один.

– Понимаю, понимаю, что были не один. Э... черт! А зачем Липутин сам не пришел?

– Итак, я явлюсь за вами завтра ровно в шесть часов вечера, и пойдем туда пешком. Кроме нас троих, никого не будет.

– Верховенский будет?

– Нет, его не будет. Верховенский уезжает завтра поутру из города, в одиннадцать часов.

– Так я и думал, – бешено прошептал Шатов и стукнул себя кулаком по бедру, – бежал, каналья!

Он взволнованно задумался. Эркель пристально смотрел на него, молчал и ждал.

– Как же вы возьмете? Ведь это нельзя зараз взять в руки и унести.

– Да и не нужно будет. Вы только укажете место, а мы только удостоверимся, что действительно тут зарыто. Мы ведь знаем только, где это место, самого места не знаем. А вы разве указывали еще кому-нибудь место?

Шатов посмотрел на него.

– Вы-то, вы-то, такой мальчишка, – такой глупенький мальчишка, – вы тоже туда влезли с головой, как баран? Э, да им и надо эдакого соку! Ну, ступайте! Э-эх! Тот подлец вас всех надул и бежал.

Эркель смотрел ясно и спокойно, но как будто не понимал.

– Верховенский бежал, Верховенский! – яростно проскрежетал Шатов.

– Да ведь он еще здесь, не уехал. Он только завтра уедет, – мягко и убедительно заметил Эркель. – Я его особенно приглашал присутствовать в качестве свидетеля; к нему моя вся инструкция была (соткровенничал он как молоденький неопытный мальчик). Но он, к сожалению, не согласился, под предлогом отъезда; да и в самом деле что-то спешит.

Шатов еще раз сожалительно вскинул глазами на простачка, но вдруг махнул рукой, как бы подумав: «Стоит жалеть-то».

– Хорошо, приду, – оборвал он вдруг, – а теперь убирайтесь, марш!

– Итак, я ровно в шесть часов, – вежливо поклонился Эркель и не спеша пошел с лестницы.

– Дурачок! – не утерпел крикнуть ему вслед с верху лестницы Шатов.

– Что-с? – отозвался тот уже снизу.

– Ничего, ступайте.

– Я думал, вы что-то сказали.

II

Эркель был такой «дурачок», у которого только главного толку не было в голове, царя в голове; но маленького, подчиненного толку у него было довольно, даже до хитрости. Фанатически, младенчески преданный «общему делу», а в сущности Петру Верховенскому, он действовал по его инструкции, данной ему в то время, когда в заседании у *наших* условились и распределили роли на завтра. Петр Степанович, назначая ему роль посланника, успел поговорить с ним минут десять в сторонке. Исполнительная часть была потребностью этой мелкой, малорассудочной, вечно жаждущей подчинения чужой воле натуры – о, конечно не иначе как ради «общего» или «великого» дела. Но и это было все равно, ибо маленькие фанатики, подобные Эркелю, никак не могут понять служения идее, иначе как слив ее с самим лицом, по их понятию выражающим эту идею. Чувствительный, ласковый и добрый Эркель, быть может, был самым бесчувственным из убийц, собравшихся на Шатова, и безо всякой личной ненависти, не смигнув глазом, присутствовал бы при его убийстве. Ему велено было, например, хорошенько, между прочим, высмотреть обстановку Шатова, во время исполнения своего поручения, и когда Шатов, приняв его на лестнице, сболтнул в жару, всего вероятнее не заметив того, что к нему воротилась жена, – у Эркеля тотчас же достало инстинктивной хитрости не выказать ни малейшего дальнейшего любопытства, несмотря на блеснувшую в уме догадку, что факт воротившейся жены имеет большое значение в успехе их предприятия...

Так в сущности и было: один только этот факт и спас «мерзавцев» от намерения Шатова, а вместе с тем и помог им от него «избавиться»... Во-первых, он взволновал Шатова, выбил его из колен, отнял от него обычную прозорливость и осторожность. Какая-нибудь идея о своей собственной безопасности менее всего могла прийти теперь в его голову, занятую совсем другим. Напротив, он с увлечением поверил, что Петр Верховенский завтра бежит: это так совпадало с его

подозрениями! Возвратясь в комнату, он опять уселся в угол, уперся локтями в колена и закрыл руками лицо. Горькие мысли его мучили...

И вот он снова подымал голову, вставал на цыпочки и шел на нее поглядеть: «Господи! Да у нее завтра же разовьется горячка, к утру, пожалуй, уже теперь началась! Конечно, простудилась. Она не привыкла к этому ужасному климату, а тут вагон, третий класс, кругом вихрь, дождь, а у нее такой холодный бурнусик, совсем никакой одежки... И тут-то ее оставить, бросить без помощи! Сак-то, сак-то какой крошечный, легкий, сморщенный, десять фунтов! Бедная, как она изнурена, сколько вынесла! Она горда, оттого и не жалуется. Но раздражена, раздражена! Это болезнь: и ангел в болезни станет раздражителен. Какой сухой, горячий, должно быть, лоб, как темно под глазами и... и как, однако, прекрасен этот овал лица и эти пышные волосы, как...»

И он поскорее отводил глаза, поскорей отходил, как бы пугаясь одной идеи видеть в ней что-нибудь другое, чем несчастное, измученное существо, которому надо помочь, – «какие уж тут надежды! О, как низок, как подл человек!» – и он шел опять в свой угол, садился, закрывал лицо руками и опять мечтал, опять припоминал... и опять мерещились ему надежды.

«Ох, устала, ох, устала!» – припоминал он ее восклицания, ее слабый, надорванный голос. Господи! Бросить ее теперь, а у ней восемь гривен; протянула свой портмоне, старенький, крошечный! Приехала места искать – ну что она понимает в местах, что они понимают в России? Ведь это как блажные дети, все у них собственные фантазии, ими же созданные; и сердится, бедная, зачем не похожа Россия на их иностранные мечтаница! О несчастные, о невинные!.. И однако, в самом деле здесь холодно...»

Он вспомнил, что она жаловалась, что он обещался затопить печь. «Дрова тут, можно принести, не разбудить бы только. Впрочем, можно. А как решить насчет телятины? Встанет, может быть, захочет кушать... Ну, это после; Кириллов всю ночь не спит. Чем бы ее накрыть, она так крепко спит, но ей, верно, холодно, ах, холодно!»

И он еще раз подошел на нее посмотреть; платье немного завернулось, и половина правой ноги открылась до колена. Он вдруг отвернулся, почти в испуге, снял с себя теплое пальто и, оставшись в стареньком скюртучишке, накрыл, стараясь не смотреть, обнаженное место.

Зажигание дров, хождение на цыпочках, осматривание спящей, мечты в углу, потом опять осматривание спящей взяли много времени. Прошло два-три часа. И вот в это-то время у Кириллова успели побывать Верховенский и Липутин. Наконец и он задремал в углу. Раздался ее стон; она пробудилась, она звала его; он вскочил как преступник.

– Marie! Я было заснул... Ах, какой я подлец, Marie!

Она привсталла, озираясь с удивлением, как бы не узнавая, где находится, и вдруг вся всполошилась в негодовании, в гневе:

– Я заняла вашу постель, я заснула вне себя от усталости; как смели вы не разбудить меня? Как осмелились подумать, что я намерена быть вам в тягость?

– Как мог я разбудить тебя, Marie?

– Могли; должны были! Для вас тут нет другой постели, а я заняла вашу. Вы не должны были ставить меня в фальшивое положение. Или вы думаете, я приехала пользоваться вашими благодеяниями? Сейчас извольте занять вашу постель, а я лягу в углу на стульях...

– Marie, столько нет стульев, да и нечего постлать.

– Ну так просто на полу. Ведь вам же самому придется спать на полу. Я хочу на полу, сейчас, сейчас!

Она встала, хотела шагнуть, но вдруг как бы сильнейшая судорожная боль разом отняла у ней все силы и всю решимость, и она с громким стоном опять упала на постель. Шатов подбежал, но Марге, спрятав лицо в подушки, захватила его руку и изо всей силы стала сжимать и ломать ее в своей руке. Так продолжалось с минуту.

– Марге, голубчик, если надо, тут есть доктор Френцель, мне знакомый, очень... Я бы сбежал к нему.

– Вздор!

– Как вздор? Скажи, Марге, что у тебя болит? А то бы можно припарки... на живот например... Это я и без доктора могу... А то горчичники.

– Что ж это? – странно спросила она, подымая голову и испуганно смотря на него.

– То есть что именно, Марге? – не понимал Шатов, – про что ты спрашиваешь? О Боже, я совсем теряюсь, Марге, извини, что ничего не понимаю.

– Эх, отстаньте, не ваше дело понимать. Да и было бы очень смешно... – горько усмехнулась она. – Говорите мне про что-нибудь. Ходите по комнате и говорите. Не стойте подле меня и не глядите на меня, об этом особенно прошу вас в пятисотый раз!

Шатов стал ходить по комнате, смотря в пол и изо всех сил стараясь не взглянуть на нее.

– Тут – не рассердись, Марге, умоляю тебя, – тут есть телятина, недалеко, и чай... Ты так мало давеча скушала...

Она брезгливо и злобно замахала рукой. Шатов в отчаянии прикусил язык.

– Слушайте, я намерена здесь открыть переплетную, на разумных началах ассоциации. Так как вы здесь живете, то как вы думаете: удастся или нет?

– Эх, Марге, у нас и книг-то не читают, да и нет их совсем. Да и станет он книгу переплетать?

– Кто он?

– Здешний читатель и здешний житель вообще, Марге.

– Ну так и говорите яснее, а то: он, а кто он – неизвестно. Грамматики не знаете.

– Это в духе языка, Марге, – пробормотал Шатов.

– Ах, подите вы с вашим духом, надоели. Почему здешний житель или читатель не станет переплетать?

– Потому что читать книгу и ее переплетать – это целых два периода развития, и огромных. Сначала он помаленьку читать приучается, веками разумеется, но треплет книгу и валяет ее, считая за несерьезную вещь. Переплет же означает уже и уважение к книге, означает, что он не только читать полюбил, но и за дело признал. До этого периода еще вся Россия не дожила. Европа давно переплетает.

– Это хоть и по-педантски, но по крайней мере неглупо сказано и напоминает мне три года назад; вы иногда были довольно остроумны три года назад.

Она это высказала так же брезгливо, как и все прежние капризные свои фразы.

– Марге, Марге, – в умилении обратился к ней Шатов, – о Марге! Если б ты знала, сколько в эти три года прошло и проехало! Я слышал потом, что ты будто бы презирала меня за перемену убеждений. Кого ж я бросил? Врагов живой жизни; устарелых либералишек, боящихся собственной независимости; лакеев мыс-

ли, врагов личности и свободы, дряхлых проповедников мертвечины и тухлятины! Что у них: старчество, золотая середина, самая мещанская, подлая бездарность, завистливое равенство, равенство без собственного достоинства, равенство, как сознает его лакей или как сознавал француз девяносто третьего года... А главное, везде мерзавцы, мерзавцы и мерзавцы!

– Да, мерзавцев много, – отрывисто и болезненно проговорила она. Она лежала протянувшись, недвижимо и как бы боясь пошевелиться, откинувшись головой на подушку, несколько вбок, смотря в потолок утомленным, но горячим взглядом. Лицо ее было бледно, губы высохли и запеклись.

– Ты сознаешь, Marie, сознаешь! – воскликнул Шатов. Она хотела было сделать отрицательный знак головой, и вдруг с нею сделалась прежняя судорога. Опять она спрятала лицо в подушку и опять изо всей силы целую минуту сжимала до боли руку подбежавшего и обезумевшего от ужаса Шатова.

– Marie, Marie! Но ведь это, может быть, очень серьезно, Marie!

– Молчите... Я не хочу, не хочу, – восклицала она почти в ярости, повертываясь опять вверх лицом, – не смейте глядеть на меня, с вашим состраданием! Ходите по комнате, говорите что-нибудь, говорите...

Шатов как потерянный начал было снова что-то бормотать.

– Вы чем здесь занимаетесь? – спросила она, с брезгливым нетерпением перебивая его.

– На контору к купцу одному хожу. Я, Marie, если б особенно захотел, мог бы и здесь хорошие деньги доставать.

– Тем для вас лучше...

– Ах, не подумай чего, Marie, я так сказал...

– А еще что делаете? Что проповедуете? Ведь вы не можете не проповедовать; таков характер!

– Бога проповедую, Marie.

– В которого сами не верите. Этой идеи я никогда не могла понять.

– Оставим, Marie, это потом.

– Что такое была здесь эта Марья Тимофеевна?

– Это тоже мы потом, Marie.

– Не смейте мне делать такие замечания! Правда ли, что смерть эту можно отнести к злодейству... этих людей?

– Непременно так, – проскрежетал Шатов.

Marie вдруг подняла голову и болезненно прокричала:

– Не смейте мне больше говорить об этом, никогда не смейте, никогда не смейте!

И она опять упала на постель в припадке той же судорожной боли; это уже в третий раз, но на этот раз стоны стали громче, обратились в крики.

– О, несносный человек! О, нестерпимый человек! – металась она, уже не жалея себя, отталкивая стоявшего над нею Шатова.

– Marie, я буду что хочешь... я буду ходить, говорить...

– Да неужто вы не видите, что началось?

– Что началось, Marie?

– А почему я знаю? Я разве тут знаю что-нибудь... О, проклятие! О, будь проклято всё заране!

– Marie, если б ты сказала, что начинается... а то я... что я пойму, если так?

– Вы отвлеченный, бесполезный болтун. О, будь проклято все на свете!

– Marie! Marie!

Он серьезно подумал, что с ней начинается помешательство.

– Да неужели вы, наконец, не видите, что я мучаюсь родами, – приподнялась она, смотря на него со страшною, болезненною, искажившею все лицо ее злобой. – Будь он заране проклят, этот ребенок!

– Marie, – воскликнул Шатов, догадавшись наконец, в чем дело, – Marie... Но что же ты не сказала заране? – спохватился он вдруг и с энергическою решимостью схватил свою фуражку.

– А я почему знала, входя сюда? Неужто пришла бы к вам? Мне сказали, еще через десять дней! Куда же вы, куда же вы, не смейте!

– За повивальною бабкой! я продам револьвер; прежде всего теперь деньги!

– Не смейте ничего, не смейте повивальную бабку, просто бабу, старуху, у меня в портмоне восемь гривен... Родят же деревенские бабы без бабок... А околею, так тем лучше...

– И бабка будет, и старуха будет. Только как я, как я оставлю тебя одну, Marie!

Но, сообразив, что лучше теперь оставить ее одну, несмотря на все ее иступление, чем потом оставить без помощи, он, не слушая ее стонов, ни гневливых восклицаний и надеясь на свои ноги, пустился сломя голову с лестницы.

III

Прежде всего к Кириллову. Было уже около часу пополудни. Кириллов стоял посреди комнаты.

– Кириллов, жена родит!

– То есть как?

– Родит, ребенка родит!

– Вы... не ошибаетесь?

– О нет, нет, у ней судороги!.. Надо бабу, старуху какую-нибудь, непременно сейчас... Можно теперь достать? У вас было много старух...

– Очень жаль, что я родить не умею, – задумчиво отвечал Кириллов, – то есть не я родить не умею, а сделать так, чтобы родить, не умею... или... Нет, это я не умею сказать.

– То есть вы не можете сами помочь в родах; но я не про то; старуху, старуху, я прошу бабу, сиделку, служанку!

– Старуха будет, только, может быть, не сейчас. Если хотите, я вместо...

– О, невозможно; я теперь к Виргинской, к бабке.

– Мерзавка!

– О да, Кириллов, да, но она лучше всех! О да, все это будет без благословения, без радости, брезгливо, с бранью, с богохульством – при такой великой тайне, появлении нового существа!.. О, она уж теперь проклинает его!..

– Если хотите, я...

– Нет, нет, а пока я буду бегать (о, я притащу Виргинскую!), вы иногда подходите к моей лестнице и тихонько прислушивайтесь, но не смейте входить, вы ее испугаете, ни за что не входите, вы только слушайте... на всякий ужасный случай. Ну, если что крайнее случится, тогда войдите.

– Понимаю. Денег еще рубль. Вот. Я хотел завтра курицу, теперь не хочу. Бегите скорей, бегите изо всей силы. Самовар всю ночь.

Кириллов ничего не знал о намерениях насчет Шатова, да и прежде никогда не знал о всей степени опасности, ему угрожающей. Знал только, что у

него какие-то старые счета с «теми людьми», и хотя сам был в это дело отчасти замешан сообщенными ему из-за границы инструкциями (впрочем, весьма поверхностными, ибо близко он ни в чем не участвовал), но в последнее время он все бросил, все поручения, совершенно устранил себя от всяких дел, прежде же всего от «общего дела», и предался жизни созерцательной. Петр Верховенский в заседании хотя и позвал Липутина к Кириллову, чтоб удостовериться, что тот примет в данный момент «дело Шатова» на себя, но, однако, в объяснениях с Кирилловым ни слова не сказал про Шатова, даже не намекнул, – вероятно считая не политичным, а Кириллова даже и неблагонадежным, и оставив до завтра, когда уже все будет сделано, а Кириллову, стало быть, будет уже «все равно»; по крайней мере, так рассуждал о Кириллове Петр Степанович. Липутин тоже очень заметил, что о Шатове, несмотря на обещание, ни слова не было упомянуто, но Липутин был слишком взволнован, чтобы протестовать.

Как вихрь бежал Шатов в Муравьиную улицу, проклиная расстояние и не видя ему конца.

Надо было долго стучать у Виргинского: все давно уже спали. Но Шатов изо всей силы и безо всякой церемонии заколотил в ставню. Цепная собака на дворе рвалась и заливалась злобным лаем. Собаки всей улицы подхватили; поднялся собачий гам.

– Что вы стучите и чего вам угодно? – раздался наконец у окна мягкий и несоответственный «оскорблению» голос самого Виргинского. Ставня приотворилась, открылась и форточка.

– Кто там, какой подлец? – злобно провизжал уже совершенно соответственный оскорблению женский голос старой девы, родственницы Виргинского.

– Я, Шатов, ко мне воротилась жена и теперь сейчас родит...

– Ну пусть и родит, убирайтесь!

– Я за Ариной Прохоровной, я не уйду без Арины Прохоровны!

– Не может она ко всякому ходить. По ночам особая практика... Убирайтесь к Макшеевой и не смейте шуметь! – трещал обозленный женский голос. Слышно было, как Виргинский останавливал; но старая дева его отталкивала и не уступала.

– Я не уйду! – прокричал опять Шатов.

– Подождите, подождите же! – прикрикнул наконец Виргинский, осилив деву. – Прошу вас, Шатов, подождать пять минут, я разбуду Арину Прохоровну, и, пожалуйста, не стучите и не кричите... О, как все это ужасно!

Через пять бесконечных минут явилась Арина Прохоровна.

– К вам жена приехала? – слышался из форточки ее голос и, к удивлению Шатова, вовсе не злой, а так только по-обыкновенному повелительный; но Арина Прохоровна иначе и не могла говорить.

– Да, жена, и родит.

– Марья Игнатьевна?

– Да, Марья Игнатьевна. Разумеется, Марья Игнатьевна!

Наступило молчание. Шатов ждал. В доме перешептывались.

– Она давно приехала? – спросила опять madame Виргинская.

– Сегодня вечером, в восемь часов. Пожалуйста, поскорей.

Опять пошептались, опять как будто посоветовались.

– Слушайте, вы не ошибаетесь? Она сама вас послала за мной?

– Нет, она не посылала за вами, она хочет бабу, простую бабу, чтобы меня не обременять расходами, но не беспокойтесь, я заплачу.

– Хорошо, приду, заплатите или нет. Я всегда ценила независимые чувства Марьи Игнатьевны, хотя она, может быть, не помнит меня. Есть у вас самые необходимые вещи?

– Ничего нет, но все будет, будет, будет...

«Есть же и в этих людях великодушие! – думал Шатов, направляясь к Лямшину. – Убеждения и человек – это, кажется, две вещи во многом различные. Я, может быть, много виноват пред ними!.. Все виноваты, все виноваты и... если бы в этом все убедились!..»

У Лямшина пришлось стучать недолго; к удивлению, он мигом отворил форточку, вскочив с постели босой и в белье, рискуя насморком; а он очень был мнителен и постоянно заботился о своем здоровье. Но была особая причина такой чуткости и поспешности: Лямшин трепетал весь вечер и до сих пор еще не мог заснуть от волнения вследствие заседания у *наших*; ему все мерещилось посещение некоторых незваных и уже совсем нежеланных гостей. Известие о доносе Шатова больше всего его мучило... И вот вдруг, как нарочно, так ужасно громко застучали в окошко!..

Он до того струсил, увидав Шатова, что тотчас же захлопнул форточку и убежал на кровать. Шатов стал неистово стучать и кричать.

– Как вы смеете так стучать среди ночи? – грозно, но замирая от страху, крикнул Лямшин, по крайней мере минуты через две решившись отворить снова форточку и убедившись, наконец, что Шатов пришел один.

– Вот вам револьвер; берите обратно, давайте пятнадцать рублей.

– Что это, вы пьяны? Это разбой; я только простужусь. Постойте, я сейчас плед накину.

– Сейчас давайте пятнадцать рублей. Если не дадите, буду стучать и кричать до зари; я у вас раму выбью.

– А я закричу караул, и вас в каталажку возьмут.

– А я немой, что ли? Я не закричу караул? Кому бояться караула, вам или мне?

– И вы можете питать такие подлые убеждения... Я знаю, на что вы намекаете... Стойте, стойте, ради Бога, не стучите! Помилуйте, у кого деньги ночью? Ну зачем вам деньги, если вы не пьяны?

– Ко мне жена воротилась. Я вам десять рублей скинул, я ни разу не стрелял; берите револьвер, берите сию минуту.

Лямшин машинально протянул из форточки руку и принял револьвер; подождет и вдруг, быстро выскочив головой из форточки, пролепетал, как бы не помня себя и с ознобом в спине:

– Вы врете, к вам совсем не пришла жена. Это... это вы просто хотите куда-нибудь убежать.

– Дурак вы, куда мне бежать? Это ваш Петр Верховенский пусть бежит, а не я. Я был сейчас у бабки Виргинской, и она тотчас согласилась ко мне прийти. Справьтесь. Жена мучается; нужны деньги; давайте денег!

Целый фейерверк идей блеснул в изворотливом уме Лямшина. Все вдруг приняло другой оборот, но все еще страх не давал рассудить.

– Да как же... ведь вы не живете с женой?

– А я вам голову пробью за такие вопросы.

– Ах, Бог мой, простите, понимаю, меня только ошеломило... Но я понимаю, понимаю. Но... но – неужели Арина Прохоровна придет? Вы сказали сейчас, что она пошла? Знаете, ведь это неправда. Видите, видите, видите, как вы говорите неправду на каждом шагу.

– Она, наверно, теперь у жены сидит, не задерживайте, я не виноват, что вы глупы.

– Неправда, я не глуп. Извините меня, никак не могу...

И он, совсем уже потерявшись, в третий раз стал опять запирать, но Шатов так завопил, что он мигом опять выставился.

– Но это совершенное посягновение на личность! Чего вы от меня требуете, ну чего, чего? – формулируйте! И заметьте, заметьте себе, среди такой ночи!

– Пятнадцать рублей требую, баранья голова!

– Но я, может, вовсе не хочу брать назад револьвер. Вы не имеете права. Вы купили вещь – и все кончено, и не имеете права. Я такую сумму ночью ни за что не могу. Где я достану такую сумму?

– У тебя всегда деньги есть; я тебе сбавил десять рублей, но ты известный жиденек.

– Приходите послезавтра, – слышите, послезавтра утром, ровно в двенадцать часов, и я все отдам, все, не правда ли?

Шатов в третий раз неистово застучал в раму:

– Давай десять рублей, а завтра чем свет утром пять.

– Нет, послезавтра утром пять, а завтра, ей-Богу, не будет. Лучше и не приходите, лучше не приходите.

– Давай десять; о, подлец!

– За что же вы так ругаетесь? Подождите, надобно засветить; вы вот стекло выбили... Кто по ночам так ругается? Вот! – протянул он из окна бумажку.

Шатов схватил – бумажка была пятирублевая.

– Ей-Богу, не могу, хоть зарежьте, не могу, послезавтра всё могу, а теперь ничего не могу.

– Не уйду! – заревел Шатов.

– Ну вот берите, вот еще, видите, еще, а больше не дам. Ну хоть орите во все горло, не дам, ну хоть что бы там ни было, не дам; не дам и не дам!

Он был в исступлении, в отчаянии, в поту. Две кредитки, которые он еще выдал, были рублевые. Всего скопилось у Шатова семь рублей.

– Ну черт с тобой, завтра приду. Изобью тебя, Лямшин, если не приготовишь восьми рублей.

«А дома-то меня не будет, дурак!» – быстро подумал про себя Лямшин.

– Стойте, стойте! – неистово закричал он вслед Шатову, который уже побежал. – Стойте, воротитесь. Скажите, пожалуйста, это правду вы сказали, что к вам воротилась жена?

– Дурак! – плюнул Шатов и побежал что было мочи домой.

IV

Замечу, что Арина Прохоровна ничего не знала о вчерашних намерениях, принятых в заседании. Виргинский, возвратясь домой, пораженный и ослабевший, не осмелился сообщить ей принятое решение; но все-таки не утерпел и открыл половину, – то есть все известие, сообщенное Верховенским о непременно намерении Шатова донести; но тут же заявил, что не совсем доверяет известию. Арина Прохоровна испугалась ужасно. Вот почему, когда прибежал за нею Шатов, она, несмотря на то что была утомлена, промаявшись с одною родильницей всю прошлую ночь, немедленно решила пойти. Она всегда была уверена, что «такая дрянь, как Шатов, способен на гражданскую подлость»; но прибытие Марьи Игнатьевны подводило дело под новую точку зрения. Испуг Шатова, от-

чаянный тон его просьб, мольбы о помощи обозначали переворот в чувствах предателя: человек, решившийся даже предать себя, чтобы только погубить других, кажется, имел бы другой вид и тон, чем представлялось в действительности. Одним словом, Арина Прохоровна решила рассмотреть все сама, своими глазами. Виргинский остался очень доволен ее решимостью – как будто пять пудов с него сняли! У него даже родилась надежда: вид Шатова показался ему в высшей степени несоответственным предположению Верховенского...

Шатов не ошибся; возвратясь, он уже застал Арину Прохоровну у Marie. Она только что приехала, с презрением прогнала Кириллова, торчавшего в низу лестницы; наскоро познакомилась с Marie, которая за прежнюю знакомую ее не признала; нашла ее в «сквернейшем положении», то есть злобною, расстроенною и в «самом малодушном отчаянии», и – в каких-нибудь пять минут одержала решительный верх над всеми ее возражениями.

– Чего вы наладили, что не хотите дорогой акушерки? – говорила она в ту самую минуту, как входил Шатов. – Совершенный вздор, фальшивые мысли от ненормальности вашего положения. С помощью простой какой-нибудь старухи, простонародной бабки, вам пятьдесят шансов кончить худо; а уж тут хлопот и расходов будет больше, чем с дорогою акушеркой. Почему вы знаете, что я дорогая акушерка? Заплатите после, я с вас лишнего не возьму, а за успех поручусь; со мной не умрете, не таких видывала. Да и ребенка хоть завтра же вам отправлю в приют, а потом в деревню на воспитание, тем и дело с концом. А там вы выздоравливаете, принимаетесь за разумный труд и в очень короткий срок вознаграждаете Шатова за помещение и расходы, которые вовсе будут не так велики...

– Я не то... Я не вправе обременять...

– Рациональные и гражданские чувства, но поверьте, что Шатов ничего почти не истратит, если захочет из фантастического господина обратиться хоть капельку в человека верных идей. Стоит только не делать глупостей, не бить в барабан, не бегать высуня язык по городу. Не держать его за руки, так он к утру подымет, пожалуй, всех здешних докторов; поднял же всех собак у меня на улице. Докторов не надо, я уже сказала, что ручаюсь за все. Старуху, пожалуй, еще можно нанять для прислуги, это ничего не стоит. Впрочем, он и сам может на что-нибудь пригодиться, не на одни только глупости. Руки есть, ноги есть, в аптеку сбегает, без всякого оскорбления ваших чувств благодеянием. Какое черт благодеяние! Разве не он вас привел к этому положению? Разве не он поссорил вас с тем семейством, где вы были в гувернантках, с эгоистическою целью на вас жениться? Ведь мы слышали... Впрочем, он сам сейчас прибежал как ошалелый и накричал на всю улицу. Я ни к кому не навязываюсь и пришла единственно для вас, из принципа, что все наши обязаны солидарностью; я ему заявила это, еще не выходя из дому. Если я, по-вашему, лишняя, то прощайте; только не вышло бы беды, которую так легко устранить.

И она даже поднялась со стула.

Marie была так беспомощна, до того страдала и, надо правду сказать, до того пугалась предстоящего, что не посмела ее отпустить. Но эта женщина стала ей вдруг ненавистна: совсем не о том она говорила, совсем не то было в душе Marie! Но пророчество о возможной смерти в руках неопытной повитухи победило отвращение. Зато к Шатову она стала с этой минуты еще требовательнее, еще беспощаднее. Дошло наконец до того, что запретила ему не только смотреть на себя, но и стоять к себе лицом. Мучения становились сильнее. Проклятия, да же брань становились все неистовее.

– Э, да мы его вышлем, – отрезала Арина Прохоровна, – на нем лица нет, он только вас пугает; побледнел как мертвец! Вам-то чего, скажите пожалуйста, смешной чудака? Вот комедия!

Шатов не отвечал; он решил ничего не отвечать.

– Видала я глупых отцов в таких случаях, тоже с ума сходят. Но ведь те по крайней мере...

– Перестаньте или бросьте меня, чтоб я околела! Чтобы ни слова не говорили! Не хочу, не хочу! – раскричалась Магье.

– Ни слова не говорить нельзя, если вы сами не лишились рассудка; так я и понимаю об вас в этом положении. По крайней мере надо о деле: скажите, заготовлено у вас что-нибудь? Отвечайте вы, Шатов, ей не до того.

– Скажите, что именно надобно?

– Значит, ничего не заготовлено.

Она высчитала все необходимо нужное и, надо отдать ей справедливость, ограничилась самым крайне необходимым, до нищенства. Кое-что нашлось у Шатова. Магье вынула ключ и протянула ему, чтоб он поискал в ее саквояже. Так как у него дрожали руки, то он и прокопался несколько дольше, чем следовало, отпирая незнакомый замок. Магье вышла из себя, но когда подскочила Арина Прохоровна, чтоб отнять у него ключ, то ни за что не позволила ей заглянуть в свой сак и с блаженным криком и плачем настояла, чтобы сак отпирал один Шатов.

За иными вещами приходилось сбегать к Кириллову. Чуть только Шатов повернулся идти, она тотчас стала неистово звать его назад и успокоилась лишь тогда, когда опрометью воротившийся с лестницы Шатов разъяснил ей, что уходит лишь на минуту, за самым необходимым, и тотчас опять воротится.

– Ну, на вас трудно, барыня, угодить, – рассмеялась Арина Прохоровна, – то стой лицом к стене и не смей на вас посмотреть, то не смей даже и на минутку отлучиться, заплачете. Ведь он этак что-нибудь, пожалуй, подумает. Ну, ну, не блажите, не кукситесь, я ведь смеюсь.

– Он не смеет ничего подумать.

– Та-та-та, если бы не был в вас влюблен как баран, не бегал бы по улицам высуня язык и не поднял бы по городу всех собак. Он у меня раму выбил.

V

Шатов застал Кириллова, все еще ходившего из угла в угол по комнате, до того рассеянным, что тот даже забыл о приезде жены, слушал и не понимал.

– Ах да, – вспомнил он вдруг, как бы отрываясь с усилием и только на миг от какой-то увлекавшей его идеи, – да... старуха... Жена или старуха? Постойте: и жена и старуха, так? Помню; ходил; старуха придет, только не сейчас. Берите подушку. Еще что? Да... Постойте, бывают с вами, Шатов, минуты вечной гармонии?

– Знаете, Кириллов, вам нельзя больше не спать по ночам.

Кириллов очнулся и – странно – заговорил гораздо складнее, чем даже всегда говорил; видно было, что он давно уже все это формулировал и, может быть, записал:

– Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспо-

римое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: «Да, это правда, это хорошо». Это... это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, о – тут выше любви! Все страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более пяти секунд – то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдаю всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически. Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресении не будут родить, а будут как ангелы Божии. Намек. Ваша жена родит?

– Кириллов, это часто приходит?

– В три дня раз, в неделю раз.

– У вас нет падучей?

– Нет.

– Значит, будет. Берегитесь, Кириллов, я слышал, что именно так падучая начинается. Мне один epileptик подробно описывал это предварительное ощущение пред припадком, точь-в-точь как вы; пять секунд и он назначал и говорил, что более нельзя вынести. Вспомните Магометов кувшин, не успевший пролиться, пока он облетел на коне своем рай. Кувшин – это же пять секунд; слишком напоминает вашу гармонию, а Магомет был epileptик. Берегитесь, Кириллов, падучая!

– Не успеет, – тихо усмехнулся Кириллов.

VI

Ночь проходила. Шатова посылали, бранили, призывали. Marie дошла до последней степени страха за свою жизнь. Она кричала, что хочет жить «непременно, непременно!» и боится умереть. «Не надо, не надо!» – повторяла она. Если бы не Арина Прохоровна, то было бы очень плохо. Мало-помалу она совершенно овладела пациенткой. Та стала слушаться каждого слова ее, каждого окрика, как ребенок. Арина Прохоровна брала строгостью, а не лаской, зато работала мастерски. Стало рассветать. Арина Прохоровна вдруг выдумала, что Шатов сейчас выбегал на лестницу и Богу молился, и стала смеяться. Marie тоже засмеялась злобно, язвительно, точно ей легче было от этого смеха. Наконец Шатова выгнали совсем. Наступило сырое, холодное утро. Он приник лицом к стене, в углу, точь-в-точь как накануне, когда входил Эркель. Он дрожал как лист, боялся думать, но ум его цеплялся мыслию за все представлявшееся, как бывает во сне. Мечты непрерывно увлекали его и непрерывно обрывались, как гнилые нитки. Из комнаты раздались наконец уже не стоны, а ужасные, чисто животные крики, невыносимые, невозможные. Он хотел было заткнуть уши, но не мог и упал на колена, бессознательно повторяя: «Marie, Marie!» И вот наконец раздался крик, новый крик, от которого Шатов вздрогнул и вскочил с колен, крик младенца, слабый, надтреснутый. Он перекрестился и бросился в комнату. В руках у Арины Прохоровны кричало и копошилось крошечными ручками и ножками маленькое, красное, сморщенное существо, беспомощное до ужаса и зависящее, как пылинка, от первого дуновения ветра, но кричавшее и заявлявшее о себе, как будто тоже имело какое-то самое полное право на жизнь... Marie лежала как без чувств, но через минуту открыла глаза и странно, странно поглядела на Шатова: совсем какой-то новый был этот взгляд, какой именно, он еще

понять был не в силах, но никогда прежде он не знал и не помнил у ней такого взгляда.

– Мальчик? Мальчик? – болезненным голосом спросила она Арину Прохоровну.

– Мальчишка! – крикнула та в ответ, увертывая ребенка.

На мгновение, когда она уже увертела его и собиралась положить поперек кровати, между двумя подушками, она передала его подержать Шатову. Marie, как-то исподтишка и как будто боясь Арины Прохоровны, кивнула ему. Тот сейчас понял и поднес показать ей младенца.

– Какой... хорошенький... – слабо прошептала она с улыбкой.

– Фу, как он смотрит! – весело рассмеялась торжествующая Арина Прохорова, заглянув в лицо Шатову. – Экое ведь у него лицо!

– Веселитесь, Арина Прохоровна... Это великая радость... – с идиотски блаженным видом пролепетал Шатов, просяивший после двух слов Marie о ребенке.

– Какая такая у вас там великая радость? – веселилась Арина Прохорова, суется, прибираясь и работая как каторжная.

– Тайна появления нового существа, великая тайна и необъяснимая, Арина Прохорова, и как жаль, что вы этого не понимаете!

Шатов бормотал бессвязно, чадно и восторженно. Как будто что-то шаталось в его голове и само собою, без воли его, выливалось из души.

– Было двое, и вдруг третий человек, новый дух, цельный, законченный, как не бывает от рук человеческих; новая мысль и новая любовь, даже страшно... И нет ничего выше на свете!

– Эк напорол! Просто дальнейшее развитие организма, и ничего тут нет, никакой тайны, – искренно и весело хохотала Арина Прохорова. – Этак всякая муха тайна. Но вот что: лишним людям не надо бы родиться. Сначала перекуйте так все, чтоб они не были лишние, а потом и родите их. А то вот его в приют послезавтра тащить... Впрочем, это так и надо.

– Никогда он не пойдет от меня в приют! – уставившись в пол, твердо произнес Шатов.

– Усыновляете?

– Он и есть мой сын.

– Конечно, он Шатов, по закону Шатов, и нечего вам выставляться благодетелем-то рода человеческого. Не могут без фраз. Ну, ну, хорошо, только вот что, господа, – кончила она наконец прибираться, – мне идти пора. Я еще поутру приду и вечером приду, если надо, а теперь, так как все слишком благополучно сошло, то надо и к другим сбегать, давно ожидают. Там у вас, Шатов, старуха где-то сидит; старуха-то старухой, но не оставляйте и вы, муженек; посидите подле, авось пригодитесь; Марья-то Игнатьевна, кажется, вас не прогонит... ну, ну, ведь я смеюсь...

У ворот, куда проводил ее Шатов, она прибавила уже ему одному:

– Насмешили вы меня на всю жизнь; денег с вас не возьму; во сне рассмеюсь. Смешнее, как вы в эту ночь, ничего не видывала.

Она ушла совершенно довольная. По виду Шатова и по разговору его оказалось ясно как день, что этот человек «в отцы собирается и тряпка последней руки». Она нарочно забежала домой, хотя прямее и ближе было пройти к другой пациентке, чтобы сообщить об этом Виргинскому.

– Marie, она велела тебе погодить спать некоторое время, хотя это, я вижу, ужасно трудно... – робко начал Шатов. – Я тут у окна посижу и постерегу тебя, а?

И он уселся у окна сзади дивана, так что ей никак нельзя было его видеть. Но не прошло и минуты, она подозвала его и брезгливо попросила поправить подушку. Он стал оправлять. Она сердито смотрела в стену.

– Не так, ох, не так... Что за руки!

Шатов поправил еще.

– Нагнитесь ко мне, – вдруг дико проговорила она, как можно стараясь не глядеть на него.

Он вздрогнул, но нагнулся.

– Еще... не так... ближе, – и вдруг левая рука ее стремительно обхватила его шею, и на лбу своем он почувствовал крепкий, влажный ее поцелуй.

– Marie!

Губы ее дрожали, она крепилась, но вдруг приподнялась и, засверкав глазами, проговорила:

– Николай Ставрогин подлец!

И бессильно, как подрезанная, упала лицом в подушку, истерически зарывав и крепко сжимая в своей руке руку Шатова.

С этой минуты она уже не отпускала его более от себя, она потребовала, чтоб он сел у ее изголовья. Говорить она могла мало, но все смотрела на него и улыбалась ему как блаженная. Она вдруг точно обратилась в какую-то дурочку. Все как будто переродилось. Шатов то плакал, как маленький мальчик, то говорил Бог знает что, дико, чадно, вдохновенно; целовал у ней руки; она слушала с упоением, может быть и не понимая, но ласково перебирала ослабевшую рукой его волосы, приглаживала их, любовалась ими. Он говорил ей о Кириллове, о том, как теперь они жить начнут, «вновь и навсегда», о существовании Бога, о том, что все хороши... В восторге опять вынули ребеночка посмотреть.

– Marie, – вскричал он, держа на руках ребенка, – конечно с старым бредом, с позором и мертвечиной! Давай трудиться и на новую дорогу втроем, да, да!.. Ах, да: как же мы его назовем, Marie?

– Его? Как назовем? – переговорила она с удивлением, и вдруг в лице ее изобразилась страшная горесть.

Она сплеснула руками, укоризненно посмотрела на Шатова и бросилась лицом в подушку.

– Marie, что с тобой? – вскричал он с горестным испугом.

– И вы могли, могли... О, неблагодарный!

– Marie, прости, Marie... Я только спросил, как назвать. Я не знаю...

– Иваном, Иваном, – подняла она разгоревшееся и омоченное слезами лицо, – неужели вы могли предположить, что каким-нибудь другим, ужасным именем?

– Marie, успокойся, о, как ты расстроена!

– Новая грубость; что вы расстройству приписываете? Бьюсь об заклад, что если б я сказала назвать его... тем ужасным именем, так вы бы тотчас же согласились, даже бы не заметили! О, неблагодарные, низкие, все, все!

Через минуту, разумеется, помирились. Шатов уговорил ее заснуть. Она заснула, но, все еще не выпуская его руки из своей, просыпалась часто, взглядывала на него, точно боясь, что он уйдет, и опять засыпала.

Кириллов прислал старуху «поздравить» и, кроме того, горячего чаю, только что зажаренных котлет и бульону с белым хлебом для «Марьи Игнатьевны». Больная выпила бульон с жадностью, старуха перепеленала ребенка, Marie заставила и Шатова съесть котлет.

Время проходило. Шатов в бессилии заснул и сам на стуле, головой на подушке Marie. Так застала их сдержавшая слово Арина Прохоровна, весело их

разбудила, поговорила о чем надо с Marie, осмотрела ребенка и опять не велела Шатову отходить. Затем, сострив над «супругами» с некоторым оттенком презрения и высокомерия, ушла так же довольная, как и давеча.

Было уже совсем темно, когда проснулся Шатов. Он поскорее зажег свечу и побежал за старухой; но едва ступил с лестницы, как чьи-то тихие, неспешные шаги поднимавшегося навстречу ему человека поразили его. Вошел Эркель.

– Не входите! – прошептал Шатов и, стремительно схватив его за руку, потащил назад к воротам. – Ждите здесь, сейчас выйду, я совсем, совсем позабыл о вас! О, как вы о себе напомнили!

Он так заспешил, что даже не забежал к Кириллову, а вызвал только старуху. Marie пришла в отчаяние и негодование, что он «мог только подумать оставить ее одну».

– Но, – вскричал он восторженно, – это уже самый последний шаг! А там новый путь, и никогда, никогда не вспомняем о старом ужасе!

Кое-как он уговорил ее и обещал вернуться ровно в девять часов; крепко поцеловал ее, поцеловал ребенка и быстро сбежал к Эркелю.

Оба отправились в ставрогинский парк в Скворешниках, где года полтора назад, в уединенном месте, на самом краю парка, там, где уже начинался сосновый лес, была зарыта им доверенная ему типография. Место было дикое и пустынное, совсем незаметное, от скворешниковского дома довольно отдаленное. От дома Филиппова приходилось идти версты три с половиной, может и четыре.

– Неужели все пешком? Я возьму извозчика.

– Очень прошу вас не брать, – возразил Эркель, – они именно на этом настаивали. Извозчик тоже свидетель.

– Ну... черт! Все равно, только бы кончить, кончить!

Пошли очень скоро.

– Эркель, мальчик вы маленький! – вскричал Шатов, – бывали вы когда-нибудь счастливы?

– А вы, кажется, очень теперь счастливы, – с любопытством заметил Эркель.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Многотрудная ночь

I

Виргинский в продолжение дня употребил часа два, чтоб обежать всех *наших* и возвестить им, что Шатов наверно не донесет, потому что к нему воротилась жена и родился ребенок, и, «зная сердце человеческое», предположить нельзя, что он может быть в эту минуту опасен. Но, к смущению своему, почти никого не застал дома, кроме Эркеля и Лямшина. Эркель выслушал это молча и ясно смотря ему в глаза; на прямой же вопрос: «Пойдет ли он в шесть часов или нет?» – отвечал с самою ясною улыбкой, что, «разумеется, пойдет».

Лямшин лежал, по-видимому весьма серьезно больной, укутавшись головой в одеяло. Вошедшего Виргинского испугался и, только что тот заговорил, вдруг замахал из-под одеяла руками, умоляя оставить его в покое. Однако о Шатове все выслушал; а известием, что никого нет дома, был чрезвычайно по-

чему-то поражен. Оказалось тоже, что он уже знал (через Липутина) о смерти Федьки и сам рассказал об этом поспешно и бессвязно Виргинскому, чем в свою очередь поразил того. На прямой же вопрос Виргинского: «Надо идти или нет?» — опять вдруг начал умолять, махая руками, что он «сторона, ничего не знает и чтоб оставили его в покое».

Виргинский воротился домой удрученный и сильно встревоженный; тяжело ему было и то, что он должен был скрывать от семейства; он все привык открывать жене, и если б не загорелась в воспаленном мозгу его в ту минуту одна новая мысль, некоторый новый, примиряющий план дальнейших действий, то, может быть, он слез бы в постель, как и Лямшин. Но новая мысль его подкрепила, и, мало того, он даже с нетерпением стал ожидать срока и даже ранее, чем надо, двинулся на сборное место.

Это было очень мрачное место, в конце огромного ставрогинского парка. Я потом нарочно ходил туда посмотреть; как, должно быть, казалось оно утрюмым в тот суровый осенний вечер. Тут начинался старый заказной лес; огромные вековые сосны мрачными и неясными пятнами обозначались во мраке. Мрак был такой, что в двух шагах почти нельзя было рассмотреть друг друга, но Петр Степанович, Липутин, а потом Эркель принесли с собою фонари. Неизвестно для чего и когда, в незапамятное время, устроен был тут из диких нетесаных камней какой-то довольно смешной грот. Стол, скамейки внутри грота давно уже сгнили и рассыпались. Шагах в двухстах вправо оканчивался третий пруд парка. Эти три пруда, начинаясь от самого дома, шли, один за другим, с лишком на версту, до самого конца парка. Трудно было предположить, чтобы какой-нибудь шум, крик или даже выстрел мог дойти до обитателей покинутого ставрогинского дома. Со вчерашним выездом Николая Всеволодовича и с отбытием Алексея Егорыча во всем доме осталось не более пяти или шести человек обитателей, характера, так сказать, инвалидного. Во всяком случае почти с полной вероятностью можно было предположить, что если б и услышаны были кем-нибудь из этих уединившихся обитателей вопли или крики о помощи, то возбудили бы лишь страх, но ни один из них не пошевелился бы на помощь с теплых печей и нагретых лежанок.

В двадцать минут седьмого почти уже все, кроме Эркеля, командированного за Шатовым, оказались в сборе. Петр Степанович на этот раз не промедлил; он пришел с Толкаченкой. Толкаченко был нахмурен и озабочен; вся напускная и нахально-хвастливая решимость его исчезла. Он почти не отходил от Петра Степановича и, казалось, вдруг стал неограниченно ему предан; часто и суетливо лез с ним перешептываться; но тот почти не отвечал ему или досадливо бормотал что-нибудь, чтоб отвязаться.

Шигалев и Виргинский явились даже несколько раньше Петра Степановича и при появлении его тотчас же отошли несколько в сторону, в глубоком и явно преднамеренном молчании. Петр Степанович поднял фонарь и осмотрел их с бесцеремонною и оскорбительною внимательностью. «Хотят говорить», — мелькнуло в его голове.

— Лямшина нет? — спросил он Виргинского. — Кто сказал, что он болен?

— Я здесь, — откликнулся Лямшин, вдруг выходя из-за дерева. Он был в теплом пальто и плотно укутан в плед, так что трудно было рассмотреть его физиономию даже и с фонарем.

— Стало быть, только Липутина нет?

И Липутин молча вышел из грота. Петр Степанович опять поднял фонарь.

— Зачем вы туда забились, почему не выходили?

– Я полагаю, что мы все сохраняем право свободы... наших движений, – забормотал Липутин, впрочем вероятно не совсем понимая, что хотел выразить.

– Господа, – возвысил голос Петр Степанович, в первый раз нарушая полупшепот, что произвело эффект, – вы, я думаю, хорошо понимаете, что нам нечего теперь размазывать. Вчера все было сказано и пережевано, прямо и определенно. Но, может быть, как я вижу по физиономиям, кто-нибудь хочет что-нибудь заявить; в таком случае прошу поскорее. Черт возьми, времени мало, а Эркель может сейчас привести его...

– Он непременно приведет его, – для чего-то ввернул Толкаченко.

– Если не ошибаюсь, сначала произойдет передача типографии? – осведомился Липутин, опять как бы не понимая, для чего задает вопрос,

– Ну разумеется, не терять же вещи, – поднял к его лицу фонарь Петр Степанович. – Но ведь вчера все условились, что взаправду принимать не надо. Пусть он укажет только вам точку, где у него тут зарыто; потом сами выроем. Я знаю, что это где-то в десяти шагах от какого-то угла этого грота... Но черт возьми, как же вы это забыли, Липутин? Условлено, что вы встретите его один, а уже потом выйдем мы... Странно, что вы спрашиваете, или вы только так?

Липутин мрачно промолчал. Все замолчали. Ветер колыхал верхушки сосен.

– Я надеюсь, однако, господа, что всякий исполнит свой долг, – нетерпеливо оборвал Петр Степанович.

– Я знаю, что к Шатову пришла жена и родила ребенка, – вдруг заговорил Виргинский, волнуясь, торопясь, едва выговаривая слова и жестикулируя. – Зная сердце человеческое... можно быть уверенным, что теперь он не донесет... потому что он в счастье... Так что я давеча был у всех и никого не застал... так что, может быть, теперь совсем ничего и не надо...

Он остановился: у него пресеклось дыхание.

– Если бы вы, господин Виргинский, стали вдруг счастливы, – шагнул к нему Петр Степанович, – то отложили бы вы – не донос, о том речи нет, а какой-нибудь рискованный гражданский подвиг, который бы замыслили прежде счастья и который бы считали своим долгом и обязанностью, несмотря на риск и потерю счастья?

– Нет, не отложил бы! Ни за что бы не отложил! – с каким-то ужасно нелепым жаром проговорил, весь задвигавшись, Виргинский.

– Вы скорее бы захотели стать опять несчастным, чем подлецом?

– Да, да... Я даже совершенно напротив... захотел бы быть совершенным подлецом... то есть нет... хотя вовсе не подлецом, а, напротив, совершенно несчастным, чем подлецом.

– Ну так знайте, что Шатов считает этот донос своим гражданским подвигом, самым высшим своим убеждением, а доказательство, – что сам же он отчасти рискует пред правительством, хотя, конечно, ему много простят за донос. Этакой уже ни за что не откажется. Никакое счастье не победит; через день опомнится, укоряя себя, пойдет и исполнит. К тому же я не вижу никакого счастья в том, что жена, после трех лет, пришла к нему родить ставрогинского ребенка.

– Но ведь никто не видал доноса, – вдруг и настоятельно произнес Шигалев.

– Донос видел я, – крикнул Петр Степанович, – он есть, и все это ужасно глупо, господа!

– А я, – вдруг вскипел Виргинский, – я протестую... я протестую изо всех сил... Я хочу... Я вот что хочу: я хочу, когда он придет, все мы выйдем и все его спросим: если правда, то с него взять раскаяние, и если честное слово, то отпус-

тить. Во всяком случае – суд; по суду. А не то чтобы всем спрятаться, а потом кидаться.

– На честное слово рисковать общим делом – это верх глупости! Черт возьми, как это глупо, господа, теперь! И какую вы принимаете на себя роль в минуту опасности?

– Я протестую, я протестую, – заладил Виргинский.

– По крайней мере не орите, сигнала не услышим. Шатов, господа... (Черт возьми, как это глупо теперь!) Я уже вам говорил, что Шатов славянофил, то есть один из самых глупых людей... А впрочем, черт, это все равно и наплевать! Вы меня только сбиваете с толку!.. Шатов, господа, был озлобленный человек, и так как все-таки принадлежал к обществу, хотел или не хотел, то я до последней минуты надеялся, что им можно воспользоваться для общего дела и употребить как озлобленного человека. Я его берег и щадил, несмотря на точнейшие предписания... Я его щадил в сто раз более, чем он стоил! Но он кончил тем, что донес; ну, да, черт, наплевать!.. А вот попробуйте кто-нибудь улигнуть теперь! Ни один из вас не имеет права оставить дело! Вы можете с ним хоть целоваться, если хотите, но предать на честное слово общее дело не имеете права! Так поступают свиньи и подкупленные правительством!

– Кто же здесь подкупленные правительством? – профильтровал опять Липутин.

– Вы, может быть. Вы бы уж лучше молчали, Липутин, вы только так говорите, по привычке. Подкупленные, господа, все те, которые трусят в минуту опасности. Из страха всегда найдется дурак, который в последнюю минуту побежит и закричит: «Ай, простите меня, а я всех продам!» Но знайте, господа, что вас уже теперь ни за какой донос не простят. Если и спустят две степени юридически, то все-таки Сибирь каждому, и, кроме того, не уйдете и от другого меча. А другой меч повострее правительственного.

Петр Степанович был в бешенстве и наговорил лишнего. Шигалев твердо шагнул к нему три шага.

– Со вчерашнего вечера я обдумал дело, – начал он уверенно и методически, по-всегдашнему (и мне кажется, если бы под ним провалилась земля, то он и тут не усилил бы интонации и не изменил бы ни одной йоты в методичности своего изложения), – обдумав дело, я решил, что замышляемое убийство есть не только потеря драгоценного времени, которое могло бы быть употреблено более существенным и ближайшим образом, но сверх того представляет собою то пагубное отклонение от нормальной дороги, которое всегда наиболее вредило делу и на десятки лет отклоняло успехи его, подчиняясь влиянию людей легкомысленных и по преимуществу политических, вместо чистых социалистов. Я явился сюда, единственно чтобы протестовать против замышляемого предприятия, для общего назидания, а затем – устранить себя от настоящей минуты, которую вы, не знаю почему, называете минутой вашей опасности. Я уйду – не из страха этой опасности и не из чувствительности к Шатову, с которым вовсе не хочу целоваться, а единственно потому, что все это дело, с начала до конца, буквально противоречит моей программе. Насчет же доноса и подкупа от правительства с моей стороны можете быть совершенно спокойны: доноса не будет.

Он обернулся и пошел.

– Черт возьми, он встретится с ними и предупредит Шатова! – вскричал Петр Степанович и выхватил револьвер. Раздался щелчок взведенного курка.

– Можете быть уверены, – повернулся опять Шигалев, – что, встретив Шатова на дороге, я еще, может быть, с ним раскланяюсь, но предупреждать не стану.

– А знаете ли, что вы можете поплатиться за это, господин Фурье?

– Прошу вас заметить, что я не Фурье. Смешивая меня с этою сладкою, отвлеченною мямлей, вы только доказываете, что рукопись моя хотя и была в руках ваших, но совершенно вам неизвестна. Насчет же вашего мщения скажу вам, что вы напрасно взвели курок; в сию минуту это совершенно для вас невыгодно. Если же вы грозите мне на завтра или на послезавтра, то, кроме лишних хлопот, опять-таки ничего себе не выиграете, застрелив меня: меня убьете, а рано или поздно все-таки придете к моей системе. Прощайте.

В это мгновение шагах в двухстах, из парка, со стороны пруда, раздался свисток. Липутин тотчас же ответил, еще по вчерашнему уговору, тоже свистком (для этого он, не надеясь на свой довольно беззубый рот, еще утром купил на базаре за копейку глиняную детскую свистульку). Эркель успел дорогой предупредить Шатова, что будут свистки, так что у того не зародилось никакого сомнения.

– Не беспокойтесь, я пройду от них в стороне, и они вовсе меня не заметят, – внушительным шепотом предупредил Шигалев и затем, не спеша и не прибавляя шагу, окончательно направился домой через темный парк.

Теперь совершенно известно до малейших подробностей, как произошло это ужасное происшествие. Сначала Липутин встретил Эркеля и Шатова у самого грота; Шатов с ним не раскланялся и не подал руки, но тотчас же торопливо и громко произнес:

– Ну, где же у вас тут заступ и нет ли еще другого фонаря? Да не бойтесь, тут ровно нет никого, и в Скворешниках теперь, хотя из пушек отсюда пали, не услышат. Это вот здесь, вот тут, на самом этом месте...

И он стукнул ногой действительно в десяти шагах от заднего угла грота, в стороне леса. В эту самую минуту бросился сзади на него из-за дерева Толкаченко, а Эркель схватил его сзади же за локти. Липутин накинудся спереди. Все трое тотчас же сбили его с ног и придавили к земле. Тут подскочил Петр Степанович с своим револьвером. Рассказывают, что Шатов успел повернуть к нему голову и еще мог разглядеть и узнать его. Три фонаря освещали сцену. Шатов вдруг прокричал кратким и отчаянным криком; но ему кричать не дали: Петр Степанович аккуратно и твердо наставил ему револьвер прямо в лоб, крепко в упор и – спустил курок. Выстрел, кажется, был не очень громок, по крайней мере в Скворешниках ничего не слышали. Слышал, разумеется, Шигалев, вряд ли успевший отойти шагов триста, – слышал и крик и выстрел, но, по его собственному потом свидетельству, не повернулся и даже не остановился. Смерть произошла почти мгновенно. Полную распорядительность – не думаю, чтоб и хладнокровие, – сохранил в себе один только Петр Степанович. Присев на корточки, он поспешно, но твердою рукой обыскал в карманах убитого. Денег не оказалось (портмоне остался под подушкой у Марьи Игнатьевны). Нашлись две-три бумажки, пустые: одна конторская записка, заглавие какой-то книги и один старый заграничный трактирный счет, Бог знает почему уцелевший два года в его кармане. Бумажки Петр Степанович переложил в свой карман и, заметив вдруг, что все столпились, смотрят на труп и ничего не делают, начал злостно и невежливо браниться и по-нукать. Толкаченко и Эркель, опомнившись, побежали и мигом принесли из грота еще с утра запасенные ими там два камня, каждый фунтов по двадцати весу, уже приготовленные, то есть крепко и прочно обвязанные веревками. Так как труп предназначено было снести в ближайший (третий) пруд и в нем погрузить его, то и стали привязывать к нему эти камни, к ногам и к шее. Привязывал Петр Степанович, а Толкаченко и Эркель только держали и подавали по очереди. Эркель подал первый, и, пока Петр Степанович, ворча и бранясь, связывал верев-

кой ноги трупа и привязывал к ним этот первый камень, Толкаченко все это довольно долгое время продержал свой камень в руках на отвесе, сильно и как бы почтительно наклонившись всем корпусом вперед, чтобы подать без замедления при первом спросе, и ни разу не подумал опустить свою ношу пока на землю. Когда наконец оба камня были привязаны и Петр Степанович поднялся с земли всмотреться в физиономии присутствующих, тогда вдруг случилась одна странность, совершенно неожиданная и почти всех удивившая.

Как уже сказано, почти все стояли и ничего не делали, кроме отчасти Толкаченки и Эркеля. Виргинский хотя и бросился, когда все бросились, к Шатову, но за Шатова не схватился и держать его не помогал. Лямшин же очутился в кучке уже после выстрела. Затем все они в продолжение всей этой, может быть десятиминутной, возни с трупом как бы потеряли часть своего сознания. Они сгруппировались кругом и, прежде всякого беспокойства и тревоги, ощущали как бы лишь одно удивление. Липутин стоял впереди, у самого трупа. Виргинский – сзади его, выглядывая из-за его плеча с каким-то особенным и как бы посторонним любопытством, даже приподнимаясь на цыпочки, чтобы лучше разглядеть. Лямшин же спрятался за Виргинского и только изредка и опасливо из-за него выглядывал и тотчас же опять прятался. Когда же камни были подвязаны, а Петр Степанович приподнялся, Виргинский вдруг задрожал весь мелкою дрожью, сплеснул руками и горестно воскликнул во весь голос:

– Это не то, не то! Нет, это совсем не то!

Он бы, может быть, и еще что-нибудь прибавил к своему столь позднему восклицанию, но Лямшин ему не дал закончить: вдруг и изо всей силы обхватил он и сжал его сзади и завизжал каким-то невероятным визгом. Бывают сильные моменты испуга, например когда человек вдруг закричит не своим голосом, а каким-то таким, какого и предположить в нем нельзя было раньше, и это бывает иногда даже очень страшно. Лямшин закричал не человеческим, а каким-то звериным голосом. Все крепче и крепче, с судорожным порывом, сжимая сзади руками Виргинского, он визжал без умолку и без перерыва, выпучив на всех глаза и чрезвычайно раскрыв свой рот, а ногами мелко топотал по земле, точно выбивая по ней барабанную дробь. Виргинский до того испугался, что сам закричал, как безумный, и в каком-то остервенении, до того злобном, что от Виргинского и предположить нельзя было, начал дергаться из рук Лямшина, царапая и колотя его сколько мог достать сзади руками. Эркель помог ему наконец отдернуть Лямшина. Но когда Виргинский отскочил в испуге шагов на десять в сторону, то Лямшин вдруг, увидев Петра Степановича, завопил опять и бросился уже к нему. Запнувшись о труп, он упал через труп на Петра Степановича и уже так крепко обхватил его в своих объятиях, прижимаясь к его груди своею головой, что ни Петр Степанович, ни Толкаченко, ни Липутин в первое мгновение почти ничего не могли сделать. Петр Степанович кричал, ругался, бил его по голове кулаками; наконец, кое-как вырвавшись, выхватил револьвер и наставил его прямо в раскрытый рот все еще вопившего Лямшина, которого уже крепко схватили за руки Толкаченко, Эркель и Липутин; но Лямшин продолжал визжать, несмотря и на револьвер. Наконец Эркель, скомкав кое-как свой фуляровый платок, ловко вбил его ему в рот, и крик таким образом прекратился. Толкаченко между тем связал ему руки оставшимся концом веревки.

– Это очень странно, – проговорил Петр Степанович, в тревожном удивлении рассматривая сумасшедшего.

Он видимо был поражен.

– Я думал про него совсем другое, – прибавил он в задумчивости.

Пока оставили при нем Эркеля. Надо было спешить с мертвецом: было столько крику, что могли где-нибудь и услышать. Толкаченко и Петр Степанович подняли фонари, подхватили труп под голову; Липутин и Виргинский взялись за ноги и понесли. С двумя камнями ноша была тяжела, а расстояние более двухсот шагов. Сильнее всех был Толкаченко. Он было подал совет идти в ногу, но ему никто не ответил, и пошли как пришлось. Петр Степанович шел справа и, совсем нагнувшись, нес на своем плече голову мертвеца, левою рукой снизу подерживая камень. Так как Толкаченко целую половину пути не догадался помочь придержать камень, то Петр Степанович наконец с ругательствам закричал на него. Крик был внезапный и одинокий; все продолжали нести молча, и только уже у самого пруда Виргинский, нагибаясь под ношей и как бы утомаясь от ее тяжести, вдруг воскликнул опять точно таким же громким и плачущим голосом:

– Это не то, нет, нет, это совсем не то!

Место, где оканчивался этот третий, довольно большой скворешниковский пруд и к которому донесли убитого, было одним из самых пустынных и непосещаемых мест парка, особенно в такое позднее время года. Пруд в этом конце, у берега, зарос травой. Поставили фонарь, раскатали труп и бросили в воду. Раздался глухой и долгий звук. Петр Степанович поднял фонарь, за ним выставились и все, с любопытством высматривая, как погрузился мертвец; но ничего уже не было видно: тело с двумя камнями тотчас же потонуло. Крупные струи, пошедшие по поверхности воды, быстро замирали. Дело было кончено.

– Господа, – обратился ко всем Петр Степанович, – теперь мы разойдемся. Без сомнения, вы должны ощущать ту свободную гордость, которая сопряжена с исполнением свободного долга. Если же теперь, к сожалению, встревожены для подобных чувств, то, без сомнения, будете ощущать это завтра, когда уже стыдно будет не ощущать. На слишком постыдное волнение Лямшина я соглашаюсь смотреть как на бред, тем более что он вправду, говорят, еще с утра болен. А вам, Виргинский, один миг свободного размышления покажет, что ввиду интересов общего дела нельзя было действовать на честное слово, а надо именно так, как мы сделали. Последствия вам укажут, что был донос. Я согласен забыть ваши восклицания. Что до опасности, то никакой не предвидится. Никому и в голову не придет подозревать из нас кого-нибудь, особенно если вы сами сумеете повести себя; так что главное дело все-таки зависит от вас же и от полного убеждения, в котором, надеюсь, вы утвердитесь завтра же. Для того, между прочим, вы и сплотились в отдельную организацию свободного собрания единомыслящих, чтобы в общем деле разделить друг с другом, в данный момент, энергию и, если надо, наблюдать и замечать друг за другом. Каждый из вас обязан высшим отчетом. Вы призваны обновить дряхлое и завонявшее от застоя дело; имейте всегда это пред глазами для бодрости. Весь ваш шаг пока в том, чтобы все рушилось: и государство и его нравственность. Останемся только мы, заранее предназначившие себя для приема власти: умных приобщим к себе, а на глупцах поедом верхом. Этого вы не должны конфузиться. Надо перевоспитать поколение, чтобы сделать достойным свободы. Еще много тысяч предстоит Шатовых. Мы организуемся, чтобы захватить направление; что праздно лежит и само на нас рот пялит, того стыдно не взять рукой. Сейчас я отправлюсь к Кириллову, и к утру получится тот документ, в котором он, умирая, в виде объяснения с правительством, примет все на себя. Ничего не может быть вероятнее такой комбинации. Во-первых, он враждовал с Шатовым; они жили вместе в Америке, стало быть, имели время поссориться. Известно, что Шатов изменил убеждения; значит, у них вражда из-за убеждений и боязни доноса, – то есть самая непрощаю-

щая. Все это так и будет написано. Наконец, упомянется, что у него, в доме Филиппова, квартировал Федька. Таким образом, все это совершенно отдалит от вас всякое подозрение, потому что собьет все эти бараньи головы с толку. Завтра, господа, мы уже не увидимся; я на самый короткий срок отлучусь в уезд. Но послезавтра вы получите мои сообщения. Я бы советовал вам собственно завтрашний день просидеть по домам. Теперь мы отправимся все по двое разными дорогами. Вас, Толкаченко, я прошу заняться Лямшиным и отвести его домой. Вы можете на него подействовать и, главное, растолковать, до какой степени он первый себе повредит своим малодушием. В вашем родственнике Шигалева, господин Виргинский, я, равно как и в вас, не хочу сомневаться: он не донесет. Остается сожалеть о его поступке; но, однако, он еще не заявил, что оставляет общество, а потому хоронить его еще рано. Ну – скорее же, господа; там хоть и бараньи головы, но осторожность все-таки не мешает...

Виргинский отправился с Эркелем. Эркель, сдавая Лямшина Толкаченке, успел подвести его к Петру Степановичу и заявить, что тот опомнился, раскаивается и просит прощения и даже не помнит, что с ним такое было. Петр Степанович отправился один, взяв обходом по ту сторону прудов мимо парка. Эта дорога была самая длинная. К его удивлению, чуть не на половине пути нагнал его Липутин.

– Петр Степанович, а ведь Лямшин донесет!

– Нет, он опомнится и догадается, что первый пойдет в Сибирь, если донесет. Теперь никто не донесет. И вы не донесете.

– А вы?

– Без сомнения, упрячу вас всех, только что шевельнетесь, чтоб изменить, и вы это знаете. Но вы не измените. Это вы за этим-то бежали за мной две версты?

– Петр Степанович, Петр Степанович, ведь мы, мажет, никогда не увидимся!

– Это с чего вы взяли?

– Скажите мне только одно.

– Ну что? Я, впрочем, желаю, чтоб вы убирались.

– Один ответ, но чтобы верный: одна ли мы пятерка на свете или правда, что есть несколько сотен пятерок? Я в высшем смысле спрашиваю, Петр Степанович.

– Вижу по вашему иступлению. А знаете ли, что вы опаснее Лямшина, Липутин?

– Знаю, знаю, но – ответ, ваш ответ!

– Глупый вы человек! Ведь уж теперь-то, кажется, вам все равно – одна пятерка или тысяча.

– Значит, одна! Так я и знал! – вскричал Липутин. – Я все время знал, что одна, до самых этих пор...

И, не дождавшись другого ответа, он повернул и быстро исчез в темноте.

Петр Степанович немного задумался.

– Нет, никто не донесет, – проговорил он решительно, – но – кучка должна остаться кучкой и слушаться, или я их... Экая дрянь народ, однако!

II

Он сначала зашел к себе и аккуратно, не торопясь, уложил свой чемодан. Утром в шесть часов отправлялся экстренный поезд. Этот ранний экстренный поезд приходился лишь раз в неделю и установлен был очень недавно, пока лишь в виде пробы. Петр Степанович хотя и предупредил *наших*, что на время

удаляется будто бы в уезд, но, как оказалось впоследствии, намерения его были совсем другие. Кончив с чемоданом, он рассчитался с хозяйкой, предупредительно им заранее, и переехал на извозчике к Эркелю, жившему близко от вокзала. А затем уже, примерно в исходе первого часа ночи, направился к Кириллову, к которому проникнул опять через потаенный Федькин ход.

Настроение духа Петра Степановича было ужасное. Кроме других чрезвычайно важных для него неудовольствий (он все еще ничего не мог узнать о Ставрогине), он, как кажется – ибо не могу утверждать наверно, – получил в течение дня откуда-то (вероятнее всего из Петербурга) одно секретное уведомление о некоторой опасности, в скором времени его ожидающей. Конечно, об этом времени у нас в городе ходит теперь очень много легенд; но если и известно что-нибудь наверное, то разве тем, кому о том знать надлежит. Я же лишь полагаю в собственном моем мнении, что у Петра Степановича могли быть где-нибудь дела и кроме нашего города, так что он действительно мог получать уведомления. Я даже убежден, вопреки циническому и отчаянному сомнению Липутина, что пятерок у него могло быть действительно две-три и кроме нашей, например в столицах; а если не пятерки, то связи и сношения – и, может быть, даже очень курьезные. Не более как три дня спустя по его отъезде у нас в городе получено было из столицы приказание немедленно заарестовать его – за какие собственно дела, наши или другие, – не знаю. Этот приказ подоспел тогда как раз, чтоб усилить то потрясающее впечатление страха, почти мистического, вдруг овладевшего нашим начальством и упорно дотоле легкомысленным обществом, по обнаружении таинственного и многозначительного убийства студента Шатова, – убийства, восполнившего меру наших нелепостей, – и чрезвычайно загадочных сопровождавших этот случай обстоятельств. Но приказ опоздал: Петр Степанович находился уже тогда в Петербурге, под чужим именем, где, проникнув, в чем дело, мигом проскользнул за границу... Впрочем, я ужасно ушел вперед.

Он вошел к Кириллову, имея вид злобный и задорный. Ему как будто хотелось, кроме главного дела, что-то еще лично сорвать с Кириллова, что-то выместить на нем. Кириллов как бы обрадовался его приходу; видно было, что он ужасно долго и с болезненным нетерпением его ожидал. Лицо его было бледнее обыкновенного, взгляд черных глаз тяжелый и неподвижный.

– Я думал, не придете, – тяжело проговорил он из угла дивана, откуда, впрочем, не шевельнулся навстречу. Петр Степанович стал пред ним и, прежде всякого слова, пристально взгляделся в его лицо.

– Значит, все в порядке, и мы от нашего намерения не отступим, молодец! – улыбнулся он обидно-покровительственною улыбкой. – Ну так что ж, – прибавил он со скверною шутливостью, – если и опоздал, не вам жаловаться: вам же три часа подарил.

– Я не хочу от вас лишних часов в подарок, и ты не можешь дарить мне... дурак!

– Как? – вздрогнул было Петр Степанович, но мигом овладел собой, – вот обидчивость! Э, да мы в ярости? – отчеканил он все с тем же видом обидного высокомерия. – В такой момент нужно бы скорее спокойствие. Лучше всего считать теперь себя за Колумба, а на меня смотреть как на мышь и мной не обижаться. Я это вчера рекомендовал.

– Я не хочу смотреть на тебя как на мышь.

– Это что же, комплимент? А впрочем, и чай холодный, – значит, все вверх дном. Нет, тут происходит нечто неблагонадежное. Ба! Да я что-то примечаю там на окне, на тарелке (он подошел к окну). Ого, вареная с рисом курица!.. Но

почему ж до сих пор не початая? Стало быть, мы находились в таком настроении духа, что даже и курицу...

– Я ел, и не ваше дело; молчите!

– О, конечно, и притом все равно. Но для меня-то оно теперь не равно: вообразите, совсем почти не обедал и потому, если теперь эта курица, как полагаю, уже не нужна... а?

– Ешьте, если можете.

– Вот благодарю, а потом и чаю.

Он мигом устроился за столом на другом конце дивана и с чрезвычайною жадностью накинулся на кушанье; но в то же время каждый миг наблюдал свою жертву. Кириллов с злобным отвращением глядел на него неподвижно, словно не в силах оторваться.

– Однако, – вскинулся вдруг Петр Степанович, продолжая есть, – однако о деле-то? Так мы не отступим, а? А бумажка?

– Я определил в эту ночь, что мне все равно. Напишу. О прокламациях?

– Да, и о прокламациях. Я, впрочем, продиктую. Вам ведь все равно. Неужели вас могло бы беспокоить содержание в такую минуту?

– Не твое дело.

– Не мое, конечно. Впрочем, всего только несколько строк: что вы с Шатовым разбрасывали прокламации, между прочим с помощью Федьки, скрывавшегося в вашей квартире. Этот последний пункт о Федьке и о квартире весьма важный, самый даже важный. Видите, я совершенно с вами откровенен.

– Шатова? Зачем Шатова? Ни за что про Шатова.

– Вот еще, вам-то что? Повредить ему уже не можете.

– К нему жена пришла. Она проснулась и присылала у меня: где он?

– Она к вам присылала справиться, где он? Гм, это неладно. Пожалуй, опять прийдет; никто не должен знать, что я тут...

Петр Степанович забеспокоился.

– Она не узнает, спит опять; у ней бабка, Арина Виргинская.

– То-то и... не услышит, я думаю? Знаете, запереть бы крыльцо.

– Ничего не услышит. А Шатов если придет, я вас спрячу в ту комнату.

– Шатов не придет; и вы напишете, что вы поссорились за предательство и донос... нынче вечером... и причиной его смерти.

– Он умер! – вскричал Кириллов, вскакивая с дивана.

– Сегодня в восьмом часу вечера или, лучше, вчера в восьмом часу вечера, а теперь уже первый час.

– Это ты убил его!.. И я это вчера предвидел!

– Еще бы не предвидеть! Вот из этого револьвера (он вынул револьвер, по-видимому показать, но уже не спрятал его более, а продолжал держать в правой руке, как бы наготове). – Станный вы, однако, человек, Кириллов, ведь вы сами знали, что этим должно было кончиться с этим глупым человеком. Чего же тут еще предвидеть? Я вам в рот разжевывал несколько раз. Шатов готовил донос: я следил; оставить никак нельзя было. Да и вам дана была инструкция следить; вы же сами сообщали мне недели три тому...

– Молчи! Это ты его за то, что он тебе в Женеве плюнул в лицо!

– И за то и еще за другое. За многое другое; впрочем, без всякой злобы. Чего же вскакивать? Чего же фигуры-то строить? Ого! Да мы вот как!..

Он вскочил и поднял пред собою револьвер. Дело в том, что Кириллов вдруг захватил с окна свой револьвер, еще с утра заготовленный и заряженный.

Петр Степанович стал в позицию и навел свое оружие на Кириллова. Тот злобно рассмеялся.

– Признайся, подлец, что ты взял револьвер потому, что я застрелю тебя... Но я тебя не застрелю... хотя... хотя...

И он опять навел свой револьвер на Петра Степановича, как бы примериваясь, как бы не в силах отказаться от наслаждения представить себе, как бы он застрелил его. Петр Степанович, все в позиции, выжидал, выжидал до последнего мгновения, не спуская курка, рискуя сам прежде получить пулю в лоб: от «маньяка» могло стать. Но «маньяк» наконец опустил руку, задыхаясь и дрожа и не в силах будучи говорить.

– Поиграли, и довольно, – опустил оружие и Петр Степанович. – Я так и знал, что вы играете; только, знаете, вы рисковали: я мог спустить.

И он довольно спокойно уселся на диван и налил себе чаю, несколько трепетавшего, впрочем, рукой. Кириллов положил револьвер на стол и стал ходить взад и вперед.

– Я не напишу, что убил Шатова и... ничего теперь не напишу. Не будет бумаги!

– Не будет?

– Не будет.

– Что за подлость и что за глупость! – позеленел от злости Петр Степанович. – Я, впрочем, это предчувствовал. Знайте, что вы меня не берете врасплох. Как хотите, однако. Если б я мог вас заставить силой, то я бы заставил. Вы, впрочем, подлец, – все больше и больше не мог вытерпеть Петр Степанович. – Вы тогда у нас денег просили и наобещали три короба... Только я все-таки не выйду без результата, увижу по крайней мере, как вы сами-то себе лоб раскроите.

– Я хочу, чтобы ты вышел сейчас, – твердо остановился против него Кириллов.

– Нет, уж это никак-с, – схватился опять за револьвер Петр Степанович, – теперь, пожалуй, вам со злобы и с трусости вздумается все отложить и завтра пойти донести, чтоб опять деньжонок добыть; за это ведь заплатят. Черт вас возьми, таких людишек, как вы, на все хватит! Только не беспокойтесь, я все предвидел: я не уйду, не раскроив вам черепа из этого револьвера, как подлецу Шатову, если вы сами струсите и намерение отложите, черт вас дерит!

– Тебе хочется непременно видеть и мою кровь?

– Я не по злобе, поймите; мне все равно. Я потому, чтобы быть спокойным за наше дело. На человека положиться нельзя, сами видите. Я ничего не понимаю, в чем у вас там фантазия себя умертвить. Не я это вам выдумал, а вы сами еще прежде меня и заявили об этом первоначально не мне, а членам за границей. И заметьте, никто из них у вас не пытал, никто из них вас и не знал совсем, а сами вы пришли откровенничать, из чувствительности. Ну что ж делать, если на этом был тогда же основан, с вашего же согласия и предложения (заметьте это себе: предложения!), некоторый план здешних действий, которого теперь изменить уже никак нельзя. Вы так себя теперь поставили, что уже слишком много знаете лишнего. Если сбрендите и завтра доносить отправитесь, так ведь это, пожалуй, вам и невыгодно будет, как вы об этом думаете? Нет-с; вы обязались, вы слово дали, деньги взяли. Этого вы никак не можете отрицать...

Петр Степанович сильно разгорячился, но Кириллов давно уж не слушал. Он опять в задумчивости шагал по комнате.

– Мне жаль Шатова, – сказал он, снова останавливаясь пред Петром Степановичем.

– Да ведь и мне жаль, пожалуй, и неужто...

– Молчи, подлец! – заревел Кириллов, сделав страшное и недвусмысленное движение, – убью!

– Ну, ну, ну, солгал, согласен, вовсе не жаль; ну довольно же, довольно! – опасливо привскочил, выставив вперед руку, Петр Степанович.

Кириллов вдруг утих и опять зашагал.

– Я не отложу; я именно теперь хочу умертвить себя: все подлецы!

– Ну вот это идея; конечно, все подлецы, и так как на свете порядочному человеку мерзко, то...

– Дурак, я тоже такой подлец, как ты, как все, а не порядочный. Порядочного нигде не было.

– Наконец-то догадался. Неужели вы до сих пор не понимали, Кириллов, с вашим умом, что все одни и те же, что нет ни лучше, ни хуже, а только умнее и глупее, и что если все подлецы (что, впрочем, вздор), то, стало быть, и не должно быть неподлеца?

– А! Да ты в самом деле не смеешься? – с некоторым удивлением посмотрел Кириллов. – Ты с жаром и просто... Неужто у таких, как ты, убеждения?

– Кириллов, я никогда не мог понять, за что вы хотите убить себя. Я знаю только, что из убеждения... из твердого. Но если вы чувствуете потребность, так сказать, излить себя, я к вашим услугам... Только надо иметь в виду время...

– Который час?

– Ого, ровно два, – посмотрел на часы Петр Степанович и закурил папиросу. «Кажется, еще можно сговориться», – подумал он про себя.

– Мне нечего тебе говорить, – пробормотал Кириллов.

– Я помню, что тут что-то о Боге... ведь вы раз мне объясняли; даже два раза. Если вы застрелитесь, то вы станете Богом, кажется, так?

– Да, я стану Богом.

Петр Степанович даже не улыбнулся; он ждал; Кириллов тонко посмотрел на него.

– Вы политический обманщик и интриган, вы хотите свести меня на философию и на восторг и произвести примирение, чтобы разогнать гнев, и, когда помирюсь, упротить записку, что я убил Шатова.

Петр Степанович ответил почти с натуральным простодушием:

– Ну, пусть я такой подлец, только в последние минуты не все ли вам это равно, Кириллов? Ну за что мы ссоримся, скажите, пожалуйста: вы такой человек, а я такой человек, что ж из этого? И оба вдобавок...

– Подлецы.

– Да, пожалуй и подлецы. Ведь вы знаете, что это только слова.

– Я всю жизнь не хотел, чтоб это только слова. Я потому и жил, что все не хотел. Я и теперь каждый день хочу, чтобы не слова.

– Что ж, каждый ищет, где лучше. Рыбы... то есть каждый ищет своего рода комфорта; вот и все. Чрезвычайно давно известно.

– Комфорта, говоришь ты?

– Ну, стоит из-за слов спорить.

– Нет, ты хорошо сказал; пусть комфорта. Бог необходим, а потому должен быть.

– Ну, и прекрасно.

– Но я знаю, что Его нет и не может быть.

– Это вернее.

– Неужели ты не понимаешь, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых?

– Застрелиться, что ли?

– Неужели ты не понимаешь, что из-за этого только одного можно застрелить себя? Ты не понимаешь, что может быть такой человек, один человек из тысячи ваших миллионов, один, который не захочет и не перенесет.

– Я понимаю только, что вы, кажется, колеблетесь... Это очень скверно.

– Ставрогина тоже съела идея, – не заметил замечания Кириллов, утрюмо шагая по комнате.

– Как? – наострил уши Петр Степанович, – какая идея? Он вам сам что-нибудь говорил?

– Нет, я сам угадал: Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует.

– Ну, у Ставрогина есть и другое, поумнее этого... – сварливо пробормотал Петр Степанович, с беспокойством следя за оборотом разговора и за бледным Кирилловым.

«Черт возьми, не застрелится, – думал он, – всегда предчувствовал; мозговой выверт и больше ничего; экая шваль народ!»

– Ты последний, который со мной: я бы не хотел с тобой расстаться дурно, – подарил вдруг Кириллов.

Петр Степанович не сейчас ответил. «Черт возьми, это что ж опять?» – подумал он снова.

– Поверьте, Кириллов, что я ничего не имею против вас, как человека лично, и всегда...

– Ты подлец и ты ложный ум. Но я такой же, как и ты, и застрелю себя, а ты останешься жив.

– То есть вы хотите сказать, что я так низок, что захочу остаться в живых.

Он еще не мог разрешить, выгодно или невыгодно продолжать в такую минуту такой разговор, и решился «предаться обстоятельствам». Но тон превосходства и нескрываемого всегдашнего к нему презрения Кириллова всегда и прежде раздражал его, а теперь почему-то еще больше прежнего. Потому, может быть, что Кириллов, которому через час какой-нибудь предстояло умереть (все-таки Петр Степанович это имел в виду), казался ему чем-то вроде уже получеловека, чем-то таким, что ему уже никак нельзя было позволить высокомерия.

– Вы, кажется, хвастаетесь предо мной, что застрелитесь?

– Я всегда был удивлен, что все остаются в живых, – не слышал его замечания Кириллов.

– Гм, положим, это идея, но...

– Обезьяна, ты поддакиваешь, чтобы меня покорить. Молчи, ты не поймешь ничего. Если нет Бога, то я Бог.

– Вот я никогда не мог понять у вас этого пункта: почему вы-то Бог?

– Если Бог есть, то вся воля Его, и из воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие.

– Своеволие? А почему обязаны?

– Потому что вся воля стала моя. Неужели никто на всей планете, кончив Бога и уверовав в своеволие, не осмелится заявить своеволие, в самом полном пункте? Это так, как бедный получил наследство и испугался и не смеет подойти к мешку, почитая себя малосильным владеть. Я хочу заявить своеволие. Пусть один, но сделаю.

– И делайте.

– Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия – это убить себя самому.

– Да ведь не один же вы себя убиваете; много самоубийц.

– С причиною. Но безо всякой причины, а только для своеволия – один я.

«Не застрелится», – мелькнуло опять у Петра Степановича.

– Знаете что, – заметил он раздражительно, – я бы на вашем месте, чтобы показать своеволие, убил кого-нибудь другого, а не себя. Полезным могли бы стать. Я укажу кого, если не испугаетесь. Тогда, пожалуй, и не стреляйтесь сегодня. Можно сговориться.

– Убить другого будет самым низким пунктом моего своеволия, и в этом весь ты. Я не ты: я хочу высший пункт и себя убью.

«Своим умом дошел», – злобно проворчал Петр Степанович.

– Я обязан неверие заявить, – шагал по комнате Кириллов. – Для меня нет выше идеи, что Бога нет. За меня человеческая история. Человек только и делал, что выдумывал Бога, чтобы жить, не убивая себя; в этом вся всемирная история до сих пор. Я один во всемирной истории не захотел первый раз выдумывать Бога. Пусть узнают раз навсегда.

«Не застрелится», – тревожился Петр Степанович.

– Кому узнавать-то? – поджигал он. – Тут я да вы; Липутину, что ли?

– Всем узнавать; все узнают. Ничего нет тайного, что бы не сделалось явным. Вот *Он* сказал.

И он с лихорадочным восторгом указал на образ Спасителя, пред которым горела лампада. Петр Степанович совсем озлился.

– В *Него-то*, стало быть, все еще веруете и лампадку зажгли; уж не на «всякий ли случай»?

Тот промолчал.

– Знаете что, по-моему, вы веруете, пожалуй, еще больше попа.

– В кого? В *Него*? Слушай, – остановился Кириллов, неподвижным, иступленным взглядом смотря пред собой. – Слушай большую идею: был на земле один день, и в середине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: «Будешь сегодня со мною в раю». Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдывалось сказанное. Слушай: этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого человека – одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после *Ему* такого же, и никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда. А если так, если законы природы не пожалели и *Этого*, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и *Его* жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек?

– Это другой оборот дела. Мне кажется, у вас тут две разные причины смешались; а это очень неблагонадежно. Но позвольте, ну, а если вы Бог? Если кончилась ложь и вы догадались, что вся ложь оттого, что был прежний Бог?

– Наконеч-то ты понял! – вскричал Кириллов восторженно. – Стало быть, можно же понять, если даже такой, как ты, понял! Понимаешь теперь, что все спасение для всех – всем доказать эту мысль. Кто докажет? Я! Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет Бога, и не убить себя тотчас же? Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам Богом стал, есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам. Если сознаешь – ты царь и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но один, тот, кто первый, должен убить

себя сам непременно, иначе кто же начнет и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать. Я еще только Бог поневоле и я несчастен, ибо *обязан* заявить своеволие. Все несчастны потому, что все боятся заявлять своеволие. Человек потому и был до сих пор так несчастен и беден, что боялся заявить самый главный пункт своеволия и своевольничал с краю, как школьник. Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь. Страх есть проклятие человека... Но я заявлю своеволие, я обязан уверовать, что не верую. Я начну, и кончу, и дверь отворю. И спасу. Только это одно спасет всех людей и в следующем же поколении переродит физически; ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего Бога никак. Я три года искал атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего – Своеволие! Это все, чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую страшную свободу мою. Ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою.

Лицо его было неестественно бледно, взгляд нестерпимо тяжелый. Он был как в горячке. Петр Степанович подумал было, что он сейчас упадет.

– Давай перо! – вдруг совсем неожиданно крикнул Кириллов в решительном вдохновении. – Диктуй, все подпишу. И что Шатова убил, подпишу. Диктуй, пока мне смешно. Не боюсь мыслей высокомерных рабов! Сам увидишь, что все тайное станет явным! А ты будешь раздавлен... Верую! Верую!

Петр Степанович схватился с места и мигом подал чернильницу, бумагу и стал диктовать, ловя минуту и трепеща за успех.

«Я, Алексей Кириллов, объявляю...»

– Стой! Не хочу! Кому объявляю?

Кириллов трясся как в лихорадке. Это объявление и какая-то особенная внезапная мысль о нем, казалось, вдруг поглотила его всего, как будто какой-то исход, куда стремительно ударился, хоть на минутку, измученный дух его:

– Кому объявляю? Хочу знать, кому?

– Никому, всем, первому, который прочтет. К чему определенность? Всему миру!

– Всему миру? Браво! И чтобы не надо раскаяния. Не хочу, чтобы раскаиваться; и не хочу к начальству!

– Да нет же, не надо, к черту начальство! да пишите же, если вы серьезно!.. – истерически прикрикнул Петр Степанович.

– Стой! я хочу сверху рожу с высунутым языком.

– Э, вздор! – озлился Петр Степанович. – И без рисунка можно все это выразить одним тоном.

– Тонем? Это хорошо. Да, тоном, тоном! Диктуй тоном.

«Я, Алексей Кириллов, – твердо и повелительно диктовал Петр Степанович, нагнувшись над плечом Кириллова и следя за каждой буквой, которую тот выводил трепетавшею от волнения рукой, – я, Кириллов, объявляю, что сегодня... октября, ввечеру, в восьмом часу, убил студента Шатова, за предательство, в парке, и за донос о прокламациях и о Федьке, который у нас обоих, в доме Филиппова, тайно квартировал и ночевал десять дней. Убиваю же сам себя сегодня из револювера не потому, что раскаиваюсь и вас боюсь, а потому, что имел за границей намерение прекратить свою жизнь».

– Только? – с удивлением и с негодованием воскликнул Кириллов.

– Ни слова больше! – махнул рукой Петр Степанович, норовя вырвать у него документ.

– Стой! – крепко наложил на бумагу свою руку Кириллов, – стой, вздор! Я хочу, с кем убил. Зачем Федька? А пожар? Я все хочу и еще изругать хочу, тоном, тоном!

– Довольно, Кириллов, уверяю вас, что довольно! – почти умолял Петр Степанович, трепеща, чтоб он не разорвал бумагу. – Чтобы поверили, надо как можно темнее, именно так, именно одними намеками. Надо правды только уголок показать, ровно настолько, чтоб их раздражить. Всегда сами себе налгут больше нашего и уж себе-то, конечно, поверят больше, чем нам, а ведь это всего лучше, всего лучше! Давайте; великолепно и так; давайте, давайте!

И он все старался вырвать бумагу. Кириллов, выпуча глаза, слушал и как бы старался сообразить, но, кажется, он переставал понимать.

– Э, черт! – озлился вдруг Петр Степанович, – да он еще и не подписал! что ж вы глаза-то выпучили, подписывайте!

– Я хочу изругать... – пробормотал Кириллов, однако взял перо и подписался. – Я хочу изругать...

– Подпишите: *Vive la république!*, и довольно.

– Bravo! – почти заревел от восторга Кириллов. – *Vive la république démocratique, sociale et universelle ou la mort!*² Нет, нет, не так. – *Liberté, égalité, fraternité ou la mort!*³ Вот это лучше, это лучше, – написал он с наслаждением под подписью своего имени.

– Довольно, довольно, – все повторял Петр Степанович.

– Стой, еще немножко... Я, знаешь, подпишу еще раз по-французски: «de Kiriloff, gentilhomme russe et citoyen du monde»⁴. Ха-ха-ха! – залился он хохотом. – Нет, нет, нет, стой, нашел всего лучше, эврика: *gentilhomme-séminariste russe et ciloyen du monde civilisé!*⁵ – вот что лучше всяких... – вскочил он с дивана и вдруг быстрым жестом схватил с окна револьвер, выбежал с ним в другую комнату и плотно притворил за собою дверь. Петр Степанович постоял с минуту в раздумье, глядя на дверь.

«Если сейчас, так, пожалуй, и выстрелит, а начнет думать – ничего не будет».

Он взял пока бумажку, присел и переглядел ее снова. Редакция объявления опять ему понравилась:

«Чего же пока надо? Надо, чтобы на время совсем их сбить с толку и тем отвлечь. Парк? В городе нет парка, ну и дойдут своим умом, что в Скворешниках. Пока будут доходить, пройдет время, пока искать – опять время, а отыщут труп – значит, правда написана; значит, и все правда, значит, и про Федьку правда. А что такое Федька? Федька – это пожар, это Лебядкины: значит, все отсюда, из дому Филипповых, и выходило, а они-то ничего не видали, а они-то все проглядели, – это уж их совсем закружит! Про *наших* и в голову не войдет; Шатов, да Кириллов, да Федька, да Лебядкин; и зачем они убили друг друга – вот еще им вопросик. Э, черт, да выстрела-то не слышно!..»

Он хоть и читал и любовался редакцией, но каждый миг с мучительным беспокойством прислушивался и – вдруг озлился. Тревожно взглянул он на часы; было поздненько; и минут десять, как тот ушел... Схватив свечку, он направился к дверям комнаты, в которой затворился Кириллов. У самых дверей ему как раз пришло в голову, что вот и свечка на исходе и минут через двадцать совсем до-

¹ Да здравствует республика (фр.).

² Да здравствует демократическая, социальная и всемирная республика или смерть!.. (фр.)

³ Свобода, равенство, братство или смерть! (фр.)

⁴ «Кириллов, русский дворянин и гражданин мира» (фр.).

⁵ русский дворянин-семинарист и гражданин цивилизованного мира! (фр.)

горит, а другой нет. Он взялся за замок и осторожно прислушался, не слышно было ни малейшего звука; он вдруг отпер дверь и приподнял свечу: что-то заревело и бросилось к нему. Изю всей силы прихлопнул он дверь и опять налег на нее, но уже все утихло – опять мертвая тишина.

Долго стоял он в нерешимости со свечой в руке. В ту секунду, как отворял, он очень мало мог разглядеть, но, однако, мелькнуло лицо Кириллова, стоявшего в глубине комнаты у окна, и зверская ярость, с которою тот вдруг к нему кинулся. Петр Степанович вздрогнул, быстро поставил свечку на пол, приготовил револьвер и отскочил на цыпочках в противоположный угол, так что если бы Кириллов отворил дверь и устремился с револьвером к столу, он успел бы еще прицелиться и спустить курок раньше Кириллова.

В самоубийство Петр Степанович уже совсем теперь не верил! «Стоял среди комнаты и думал, – проходило, как вихрь, в уме Петра Степановича. – К тому же темная, страшная комната... Он заревел и бросился – тут две возможности: или я помешал ему в ту самую секунду, как он спускал курок, или... или он стоял и обдумывал, как бы меня убить. Да, это так, он обдумывал... Он знает, что я не уйду, не убив его, если сам он струсит, – значит, ему надо убить меня прежде, чтобы я не убил его... И опять, опять там тишина! Страшно даже: вдруг отворит дверь... Свинство в том, что он в Бога верует, пуще чем поп... Ни за что не застрелится!.. Этих, которые «своим умом дошли», много теперь развелось. Сволочь! фу, черт, свечка, свечка! Догорит через четверть часа непременно... Надо кончить; во что бы ни стало надо кончить... Что ж, убить теперь можно... С этою бумагой никак не подумают, что я убил. Его можно так сложить и приладить на полу с разряженным револьвером в руке, что непременно подумают, что он сам... Ах черт, как же убить? Я отворю, а он опять бросится и выстрелит прежде меня. Э, черт, разумеется промахнется!»

Так мучился он, трепеща пред неизбежностью замысла и от своей нерешительности. Наконец взял свечу и опять подошел к дверям, приподняв и приготовив револьвер; левою же рукой, в которой держал свечу, налег на ручку замка. Но вышло неловко: ручка щелкнула, произошел звук и скрип. «Прямо выстрелит!» – мелькнуло у Петра Степановича. Изю всей силы толкнул он ногой дверь, поднял свечу и выставил револьвер; но ни выстрела, ни крика... В комнате никого не было.

Он вздрогнул. Комната была непроходная, глухая, и убежать было некуда. Он поднял еще больше свечу и вгляделся внимательно: ровно никого. Вполголоса он окликнул Кириллова, потом в другой раз громче; никто не откликнулся.

«Неужто в окно убежал?»

В самом деле, в одном окне отворена была форточка. «Нелепость, не мог он убежать через форточку». Петр Степанович прошел через всю комнату прямо к окну: «Никак не мог». Вдруг он быстро обернулся, и что-то необычайное сотрясло его.

У противоположной окнам стены, вправо от двери, стоял шкаф. С правой стороны этого шкафа, в углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кириллов, и стоял ужасно странно, – неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, приподняв голову и плотно прижавшись затылком к стене, в самом углу, казалось желая весь стусеваться и спрятаться. По всем признакам, он прятался, но как-то нельзя было поверить. Петр Степанович стоял несколько наискось от угла и мог наблюдать только выдающиеся части фигуры. Он все еще не решался подвинуться влево, чтобы разглядеть всего Кириллова и понять загадку. Сердце его стало сильно биться... И вдруг им овладело совер-

шенное бешенство: он сорвался с места, закричал и, топая ногами, яростно бросился к страшному месту.

Но, дойдя вплоть, он опять остановился как вкопанный, еще более пораженный ужасом. Его, главное, поразило то, что фигура, несмотря на крик и на бешеный наскок его, даже не двинулась, не шевельнулась ни одним своим членом – точно окаменевшая или восковая. Бледность лица ее была неестественная, черные глаза совсем неподвижны и глядели в какую-то точку в пространстве. Петр Степанович провел свечой сверху вниз и опять вверх, освещая со всех точек и разглядывая это лицо. Он вдруг заметил, что Кириллов хоть и смотрит куда-то перед собой, но искоса его видит и даже, может быть, наблюдает. Тут пришла ему мысль поднести огонь прямо к лицу «этого мерзавца», поджечь и посмотреть, что тот сделает. Вдруг ему почудилось, что подбородок Кириллова шевельнулся и на губах как бы скользнула насмешливая улыбка – точно тот угадал его мысль. Он задрожал и, не помня себя, крепко схватил Кириллова за плечо.

Затем произошло нечто до того безобразное и быстрое, что Петр Степанович никак не мог потом уладить свои воспоминания в каком-нибудь порядке. Едва он дотронулся до Кириллова, как тот быстро нагнул голову и головой же выбил из рук его свечку; подсвечник долетел со звоном на пол, и свеча потухла. В то же мгновение он почувствовал ужасную боль в мизинце своей левой руки. Он закричал, и ему припомнилось только, что он вне себя три раза изо всей силы ударил револьвером по голове припавшего к нему и укусившего ему палец Кириллова. Наконец палец он вырвал и сломя голову бросился бежать из дому, отыскивая в темноте дорогу. Вослед ему из комнаты летели страшные крики:

– Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас...

Раз десять. Но он все бежал и уже выбежал было в сени, как вдруг послышался громкий выстрел. Тут он остановился в сенях в темноте и минут пять соображал; наконец вернулся опять в комнаты. Но надо было добыть свечу. Стоило отыскать направо у шкафа на полу выбитый из рук подсвечник; но чем засветить огарок? В уме его вдруг промелькнуло одно темное воспоминание: ему припомнилось, что вчера, когда он сбежал в кухню, чтоб наброситься на Федьку, то в углу, на полке, он как будто заметил мельком большую красную коробку спичек. Ощупью направился он влево, к кухонной двери, отыскал ее, прошел сенцы и спустился по лестнице. На полке, прямо в том самом месте, которое ему сейчас припомнилось, нашарил он в темноте полную, еще не початую коробку спичек. Не зажигая огня, поспешно воротился он вверх, и только лишь около шкафа, на том самом месте, где он бил револьвером укусившего его Кириллова, вдруг вспомнил про свой укушенный палец и в то же мгновение ощутил в нем почти невыносимую боль. Стиснув зубы, он кое-как засветил огарок, вставил его опять в подсвечник и осмотрелся кругом: у окошка с отворенною форточкой, ногами в правый угол комнаты, лежал труп Кириллова. Выстрел был сделан в правый висок, и пуля вышла вверх с левой стороны, пробив череп. Виднелись брызги крови и мозга. Револьвер оставался в опустившейся на пол руке самоубийцы. Смерть должна была произойти мгновенно. Осмотрев все со всею аккуратностью, Петр Степанович приподнялся и вышел на цыпочках, припер дверь, свечу поставил на стол в первой комнате, подумал и решил не тушить ее, сообразив, что она не может произвести пожара. Взглянув еще раз на лежавший на столе документ, он машинально усмехнулся и затем уже, все почему-то на цыпочках, пошел из дому. Он пролез опять через Федькин ход и опять аккуратно заделал его за собою.

III

Ровно без десяти минут в шесть часов в вокзале железной дороги, вдоль вытянувшегося, довольно длинного ряда вагонов, прохаживались Петр Степанович и Эркель. Петр Степанович отъезжал, а Эркель прощался с ним. Кладь была сдана, сак отнесен в вагон второго класса, на выбранное место. Первый звонок уже прозвенел, ждали второго. Петр Степанович открыто смотрел по сторонам, наблюдая входивших в вагоны пассажиров. Но близких знакомых не встретилось; всего лишь раза два пришлось ему кивнуть головой – одному купцу, которого он знал отдаленно, и потом одному молодому деревенскому священнику, отъезжавшему за две станции, в свой приход. Эркелю, видимо, хотелось в последние минуты поговорить о чем-нибудь поважнее, – хотя, может быть, он и сам не знал, о чем именно; но он все не смел начать. Ему все казалось, что Петр Степанович как будто с ним тяготится и с нетерпением ждет остальных звонков.

– Вы так открыто на всех смотрите, – с некоторою робостью заметил он, как бы желая предупредить.

– Почему ж нет? Мне еще нельзя прятаться. Рано. Не беспокойтесь. Я вот только боюсь, чтобы не наслал черт Липутина; пронюхает и прибежит.

– Петр Степанович, они ненадежны, – решительно высказал Эркель.

– Липутин?

– Все, Петр Степанович.

– Вздор, теперь все связаны вчерашним. Ни один не изменит. Кто пойдет на явную гибель, если не потеряет рассудка?

– Петр Степанович, да ведь они потеряют рассудок.

Эта мысль уже, видимо, заходила в голову и Петру Степановичу, и потому замечание Эркеля еще более его рассердило:

– Не трусите ли и вы, Эркель? Я на вас больше, чем на всех их, надеюсь. Я теперь увидел, чего каждый стоит. Передайте им все словесно сегодня же, я вам их прямо поручаю. Обегите их с утра. Письменную мою инструкцию прочтите завтра или послезавтра, собравшись, когда они уже станут способны выслушать... но поверьте, что они завтра же будут способны, потому что ужасно струсят и станут послушны, как воск... Главное, вы-то не унывайте.

– Ах, Петр Степанович, лучше, если б вы не уезжали!

– Да ведь я только на несколько дней; я мигом назад.

– Петр Степанович, – осторожно, но твердо вымолвил Эркель, – хотя бы вы и в Петербург. Разве я не понимаю, что вы делаете только необходимое для общего дела.

– Я меньшего и не ждал от вас, Эркель. Если вы догадались, что я в Петербург, то могли понять, что не мог же я сказать им вчера, в тот момент, что так далеко уезжаю, чтобы не испугать. Вы видели сами, каковы они были. Но вы понимаете, что я для дела, для главного и важного дела, для общего дела, а не для того, чтоб улизнуть, как полагает какой-нибудь Липутин.

– Петр Степанович, да хотя бы и за границу, ведь я пойму-с; я пойму, что вам нужно сберечь свою личность, потому что вы – все, а мы – ничто. Я пойму, Петр Степанович.

У бедного мальчика задрожал даже голос.

– Благодарю вас, Эркель... Ай, вы мне больной палец тронули (Эркель не ловко пожал ему руку; больной палец был приглядно перевязан черною тафтой). – Но я вам положительно говорю еще раз, что в Петербург я только про-

нюхать и даже, может быть, всего только сутки, и тотчас обратно сюда. Воротясь, я для виду поселился в деревне у Гаганова. Если они полагают в чем-нибудь опасность, то я первый во главе пойду разделить ее. Если же и замедлю в Петербурге, то в тот же миг дам вам знать... известным путем, а вы им.

Раздался второй звонок.

– А, значит, всего пять минут до отъезда. Я, знаете, не желал бы, чтобы здешняя кучка рассыпалась. Я-то не боюсь, обо мне не беспокойтесь; этих узлов общей сети у меня довольно, и мне нечего особенно дорожить; но и лишний узел ничему бы не помешал. Впрочем, я за вас спокоен, хотя и оставляю вас почти одного с этими уродами: не беспокойтесь, не донесут, не посмеют... А-а, и вы сегодня? – крикнул он вдруг совсем другим, веселым голосом одному очень молодому человеку, весело подошедшему к нему поздороваться. – Я не знал, что и вы тоже экстренным. Куда, к мамаше?

Мамаша молодого человека была богатейшая помещица соседней губернии, а молодой человек приходился отдаленным родственником Юлии Михайловны и прогостил в нашем городе около двух недель.

– Нет, я подальше, я в Р... Часов восемь в вагоне прожить предстоит. В Петербург? – засмеялся молодой человек.

– Почему вы предположили, что я так-таки в Петербург? – еще открытее засмеялся и Петр Степанович.

Молодой человек погрозил ему гантированным пальчиком.

– Ну да, вы угадали, – таинственно зашептал ему Петр Степанович, – я с письмами Юлии Михайловны и должен там обегать трех-четыре знаете каких лиц, черт бы их драл, откровенно говоря. Чертова должность!

– Да чего, скажите, она так струсила? – зашептал и молодой человек. – Она даже меня вчера к себе не пустила; по-моему, ей за мужа бояться нечего; напротив, он так приглядно упал на пожаре, так сказать, жертвуя даже жизнью.

– Ну вот подите, – рассмеялся Петр Степанович, – она, видите, боится, что отсюда уже написали... то есть некоторые господа... Одним словом, тут, главное, Ставрогин; то есть князь К... Эх, тут целая история; я, пожалуй, вам дорогой кое-что сообщу – сколько, впрочем, рыцарство позволит... Это мой родственник, прапорщик Эркель, из уезда.

Молодой человек, косивший глаза на Эркеля, притронулся к шляпе; Эркель отдал поклон.

– А знаете, Верховенский, восемь часов в вагоне – ужасный жребий. Тут уезжает с нами в первом классе Берестов, пресмешной один полковник, сосед по имению; женат на Гариной (*née de Garine*¹), и, знаете, он из порядочных. Даже с идеями. Пробыл здесь всего двое суток. Отчаянный охотник до ералаша; не затеять ли, а? Четвертого я уже наглядел – Припухлов, наш т – ский купец с бородой, миллионщик, то есть настоящий миллионщик, это я вам говорю... Я вас познакомлю, преинтересный мешок с добром, хохотать будем.

– В ералаш я с превеликим и ужасно люблю в вагоне, но я во втором классе.

– Э, полноте, ни за что! Садитесь с нами. Я сейчас велю вас перенести в первый класс. Обер-кондуктор меня слушается. Что у вас, сак? Плед?

– Чудесно, пойдемте!

Петр Степанович захватил свой сак, плед, книгу и тотчас же с величайшею готовностью перебрался в первый класс. Эркель помогал. Ударил третий звонок.

¹ урожденной Гариной (*фр.*).

– Ну, Эркель, – торопливо и с занятым видом протянул в последний раз руку уже из окна вагона Петр Степанович, – я ведь вот сажусь с ними играть.

– Но зачем же объяснять мне, Петр Степанович, я ведь пойму, я все пойму, Петр Степанович!

– Ну, так до приятнейшего, – отвернулся вдруг тот на оклик молодого человека, который позвал его знакомиться с партнерами. И Эркель уже более не видал своего Петра Степановича!

Он воротился домой весьма грустный. Не то чтоб он боялся того, что Петр Степанович так вдруг их покинул, но... но он так скоро от него отвернулся, когда позвал его этот молодой франт, и... он ведь мог бы ему сказать что-нибудь другое, а не «до приятнейшего», или... или хоть покрепче руку пожать.

Последнее-то и было главное. Что-то другое начинало царапать его бедненькое сердце, чего он и сам еще не понимал, что-то связанное со вчерашним вечером.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Последнее странствование Степана Трофимовича

I

Я убежден, что Степан Трофимович очень боялся, чувствуя приближение срока его безумного предприятия. Я убежден, что он очень страдал от страху, особенно в ночь накануне, в ту ужасную ночь. Настасья упоминала потом, что он лег спать уже поздно и спал. Но это ничего не доказывает; приговоренные к смерти, говорят, спят очень крепко и накануне казни. Хотя он и вышел уже при дневном свете, когда нервный человек всегда несколько ободряется (а майор, родственник Виргинского, так даже в Бога переставал веровать, чуть лишь проходила ночь), но я убежден, что он никогда бы прежде без ужаса не мог вообразить себя одного на большой дороге и в таком положении. Конечно, нечто отчаянное в его мыслях, вероятно, смягчило для него на первый раз всю силу того страшного ощущения внезапного одиночества, в котором он вдруг очутился, едва лишь оставил Stasie¹ и свое двадцатилетнее нагретое место. Но все равно: он и при самом ясном сознании всех ужасов, его ожидающих, все-таки бы вышел на большую дорогу и пошел по ней! Тут было нечто гордое и его восхищавшее, несмотря ни на что. О, он бы мог принять роскошные условия Варвары Петровны и остаться при ее милостях «comme un² простой приживальщик»! Но он не принял милости и не остался. И вот он сам оставляет ее и подымает «знамя великой идеи» и идет умереть за него на большой дороге! Именно так должен он был ощущать это; именно так должен был представляться ему его поступок.

Представлялся мне не раз и еще вопрос: почему он именно бежал, то есть бежал ногами, в буквальном смысле, а не просто уехал на лошадах? Я сначала объяснял это пятидесятилетнюю непрактичность и фантастическим уклонением

¹ Настасью (фр.).

² как (фр.).

идей под влиянием сильного чувства. Мне казалось, что мысль о подорожной и лошадях (хотя бы и с колокольчиком) должна была представляться ему слишком простою и прозаичною; напротив, пилигримство, хотя бы и с зонтиком, гораздо более красивым и мстительно-любовным. Но ныне, когда все уже кончилось, я полагаю, что все это тогда совершилось гораздо проще: во-первых, он побоялся брать лошадей, потому что Варвара Петровна могла проведать и задержать его силой, что наверно и исполнило бы, а он наверно бы подчинился и – прощай тогда великая идея навеки. Во-вторых, чтобы взять подорожную, надо было по крайней мере знать, куда едешь. Но именно знать об этом и составляло самое главное страдание его в ту минуту: назвать и назначить место он ни за что не мог. Ибо решился он на какой-нибудь город, и вмиг предприятие его стало бы в собственных его глазах и нелепым и невозможным; он это очень предчувствовал. Ну что будет он делать в таком именно городе и почему не в другом? Искать се *marchand*? Но какого *marchand*? Тут опять выскакивал этот второй, и уже самый страшный вопрос. В сущности, не было для него ничего страшнее, чем се *marchand*, которого он так вдруг сломя голову пустился отыскивать и которого, уж разумеется, всего более боялся отыскать в самом деле. Нет, уж лучше просто большая дорога, так просто выйти на нее и пойти и ни о чем не думать, пока только можно не думать. Большая дорога – это есть нечто длинное-длинное, чему не видно конца, – точно жизнь человеческая, точно мечта человеческая. В большой дороге заключается идея; а в подорожной какая идея? В подорожной конец идеи... *Vive la grande route*², а там что Бог даст.

После внезапного и неожиданного свидания с Лизой, которое я уже описал, пустился он еще в большем самозабвении далее. Большая дорога проходила в полувостере от Скворешников, и – странно – он даже и не приметил сначала, как вступил на нее. Основательно рассуждать или хоть отчетливо сознавать было для него в ту минуту невыносимо. Мелкий дождь то переставал, то опять начинался; но он не замечал и дождя. Не заметил тоже, как закинул себе сак за плечо и как от этого стало ему легче идти. Должно быть, он прошел так версту или полторы, когда вдруг остановился и осмотрелся. Старая, черная и изрытая колеями дорога тянулась пред ним бесконечною нитью, усаженная своими ветлами; направо – голое место, давным-давно сжатые нивы; налево – кусты, а далее за ними лесок. И вдали – вдали едва приметная линия уходящей вкось железной дороги и на ней дымок какого-то поезда; но звуков уже не было слышно. Степан Трофимович немного оробел, но лишь на мгновение. Беспредметно вздохнул он, поставил свой сак подле ветлы и присел отдохнуть. Делая движение садясь, он ощутил в себе озноб и закутался в плед; заметив тут же и дождь, распустил над собою зонтик. Довольно долго сидел он так, изредка шамкая губами и крепко сжав в руке ручку зонтика. Разные образы лихорадочной вереницей неслись пред ним, быстро сменяясь в его уме. «*Lise, Lise*, – думал он, – а с нею се *Maurice*...³ Странные люди... Но что же это за странный был там пожар, и про что они говорили, и какие убитые?.. Мне кажется, *Stasie* еще ничего не успела узнать и еще ждет меня с кофеем... В карты? Разве я проигрывал в карты людей? Гм... у нас на Руси, во время так называемого крепостного права... Ах Боже мой, а Федька?»

Он весь встрепенулся в испуге и осмотрелся кругом: «Ну что, если где-нибудь тут за кустом сидит этот Федька; ведь, говорят, у него где-то тут целая

¹ этого купца (фр.).

² Да здравствует большая дорога (фр.).

³ этот Маврикий... (фр.)

шайка разбойников на большой дороге? О Боже, я тогда... Я тогда скажу ему всю правду, что я виноват... и *что я десять лет страдал за него, более чем он там в солдатах, и... и я ему отдам портмоне. Гм, j'ai en tout quarante roubles; il prendra les roubles et il me tuera tout de même*¹.

От страха он неизвестно почему закрыл зонтик и положил его подле себя. Вдали, по дороге от города, показалась какая-то телега; он с беспокойством начал всматриваться:

«Grâce à Dieu², это телега, и – едет шагом; это не может быть опасно. Эти здешние заморенные лошаденки... Я всегда говорил о породе... Это Петр Ильич, впрочем, говорил в клубе про породу, а я его тогда обремизил, et puis³, но что там сзади и... кажется, баба в телеге. Баба и мужик – *cela commence à être rassurant*⁴. Баба сзади, а мужик впереди – *c'est très rassurant*⁵. Сзади у них к телеге привязана за рога корова, *c'est rassurant au plus haut degré*»⁶.

Телега поровнялась, довольно прочная и порядочная мужицкая телега. Баба сидела на туго набитом мешке, а мужик на облучке, свесив сбоку ноги в сторону Степана Трофимовича. Сзади в самом деле плелась рыжая корова, привязанная за рога. Мужик и баба выпуча глаза смотрели на Степана Трофимовича, а Степан Трофимович так же точно смотрел на них, но, когда уже пропустил их мимо себя шагов на двадцать, вдруг торопливо встал и пошел догонять. В соседстве телеги ему, естественно, показалось благонадежнее, но, догнав ее, он тотчас же опять забыл обо всем и опять погрузился в свои обрывки мыслей и представлений. Он шагал и, уж конечно, не подозревал, что для мужика и бабы он, в этот миг, составляет самый загадочный и любопытный предмет, какой только можно встретить на большой дороге.

– Вы то есть из каких будете, коли не будет неучтиво спросить? – не вытерпела наконец бабенка, когда Степан Трофимович вдруг, в рассеянности, посмотрел на нее. Бабенка была лет двадцати семи, плотная, чернобровая и румяная, с ласково улыбающимися красными губами, из-под которых сверкали белые ровные зубы.

– Вы... вы ко мне обращаетесь? – с прискорбным удивлением пробормотал Степан Трофимович.

– Из купцов, надо-ть быть, – самоуверенно проговорил мужик. Это был рослый мужичина лет сорока, с широким и неглупым лицом и с рыжеватою окладистою бородой.

– Нет, я не то что купец, я... я... *moi c'est autre chose*⁷, – кое-как отпарировал Степан Трофимович и на всякий случай на капельку приотстал до задка телеги, так что пошел уже рядом с коровой.

– Из господ, надо-ть быть, – решил мужик, услышав нерусские слова, и дернул лошаденку.

– То-то мы и смотрим на вас, точно вы на прогулку вышли? – залюбопытствовала опять бабенка.

– Это... это вы меня спрашиваете?

– Иностранцы заезжие по чутунке иной приезжают, словно не по здешнему месту у вас сапоги такие...

¹ у меня всего-навсего сорок рублей; он возьмет эти рубли и все-таки убьет меня (фр.).

² Слава Богу (фр.).

³ и потом (фр.).

⁴ это начинает меня успокаивать (фр.).

⁵ это очень успокоительно (фр.).

⁶ это успокоительно в высшей степени (фр.).

⁷ я – совсем другое (фр.).

– Сапог военный, – самодовольно и значительно вставил мужик.

– Нет, я не то чтобы военный, я...

«Любопытная какая бабенка, – злился про себя Степан Трофимович, – и как они меня рассматривают... mais, enfin...¹ Одним словом, странно, что я точно виноват пред ними, а я ничего не виноват пред ними».

Бабенка пошептала с мужиком.

– Коли вам не обидно, мы, пожалуй, вас подвезем, если только приятно станет.

Степан Трофимович вдруг спохватился.

– Да, да, мои друзья, я с большим удовольствием, потому что очень устал, только как я тут влезу?

«Как это удивительно, – подумал он про себя, – что я так долго шел рядом с этою коровой и мне не пришло в голову попроситься к ним сесть... Эта «действительная жизнь» имеет в себе нечто весьма характерное...»

Мужик, однако, все еще не останавливал лошадь.

– Да вам куда будет? – осведомился он с некоторою недоверчивостью.

Степан Трофимович не вдруг понял.

– До Хатова, надо-ть быть?

– К Хатову? Нет, не то чтобы к Хатову... И я не совсем знаком; хотя слышал.

– Село Хатово, село, девять верст отселева.

– Село? C'est charmant², то-то я как будто бы слышал...

Степан Трофимович все шел, а его все еще не сажали. Гениальная догадка мелькнула в его голове:

– Вы, может быть, думаете, что я... Со мной паспорт и я – профессор, то есть, если хотите, учитель... но главный. Я главный учитель. Oui, c'est comme ça qu'on peut traduire³. Я бы очень хотел сесть, и я вам куплю... я вам за это куплю полштофа вина.

– Полтинник с вас, сударь, дорога тяжелая.

– А то нам уж очень обидно будет, – вставила бабенка.

– Полтинник? Ну хорошо, полтинник. C'est encore mieux, j'ai en tout quarante roubles, mais...⁴

Мужик остановил, и Степана Трофимовича общими усилиями втащили и усадили в телегу, рядом с бабой, на мешок. Вихрь мыслей не покидал его. Порой он сам ощущал про себя, что как-то ужасно рассеян и думает совсем не о том, о чем надо, и дивился тому. Это сознание в болезненной слабости ума мгновениями становилось ему очень тяжело и даже обидно.

– Это... это как же сзади корова? – спросил он вдруг сам бабенку.

– Чтой-то вы, господин, точно не видывали, – рассмеялась баба.

– В городе купили, – ввязался мужик, – своя скотина, поди ты, еще с весны передохла; мор. У нас кругом все попадали, все, половины не осталось, хошь взвой.

И он опять стегнул завязшую в колее лошаденку.

– Да, это бывает у нас на Руси... и вообще мы, русские... ну да, бывает, – не dokonчил Степан Трофимович.

¹ но, наконец... (фр.)

² Это прелестно (фр.).

³ Да, это именно так можно перевести (фр.).

⁴ Это еще лучше, у меня всего сорок рублей, но... (фр.)

– Вы коль учителем, то вам что же в Хатове? Али дальше куда?

– Я... то есть я не то чтобы дальше куда... *C'est-à-dire*¹, я к одному купцу.

– В Спасов, надо-ть быть?

– Да, да, именно в Спасов. Это, впрочем, все равно.

– Вы коли в Спасов, да пешком, так в ваших сапожках недельку бы шли, – засмеялась бабенка.

– Так, так, и это все равно, *mes amis*², все равно, – нетерпеливо оборвал Степан Трофимович.

«Ужасно любопытный народ; бабенка, впрочем, лучше его говорит, и я замечая, что с девятнадцатого февраля у них слог несколько переменился, и... и какое дело, в Спасов я или не в Спасов? Впрочем, я им заплачу, так чего же они пристают».

– Коли в Спасов, так на праходе, – не отставал мужик.

– Это как есть так, – ввернула бабенка с одушевлением, – потому, коли на лошадях по берегу, – верст тридцать крюку будет.

– Сорок будет.

– К завтраму к двум часам как раз в Устье праход застанете, – скрепила бабенка. Но Степан Трофимович упорно замолчал. Замолчали и вопрошатели. Мужик подергивал лошаденку; баба изредка и коротко перекидывалась с ним замечаниями. Степан Трофимович задремал. Он ужасно удивился, когда баба, смеясь, растолкала его и он увидел себя в довольно большой деревне у подъезда одной избы в три окна.

– Задремали, господин?

– Что это? Где это я? Ах, ну! Ну... все равно, – вздохнул Степан Трофимович и слез с телеги.

Он грустно осмотрелся; странным и ужасно чем-то чуждым показался ему деревенский вид.

– А полтинник-то, я и забыл! – обратился он к мужику с каким-то не в меру торопливым жестом; он, видимо, уже боялся расстаться с ними.

– В комнате рассчитаетесь, пожалуйста, – приглашал мужик.

– Тут хорошо, – ободряла бабенка.

Степан Трофимович ступил на шаткое крылечко.

«Да как же это возможно», – прошептал он в глубоком и пугливом недоумении, однако вошел в избу. «*Elle l'a voulu*»³, – вонзилось что-то в его сердце, и он опять вдруг забыл обо всем, даже о том, что вошел в избу.

Это была светлая, довольно чистая крестьянская изба в три окна и в две комнаты; и не то что постоялый двор, а так, приезжая изба, в которой по старой привычке останавливались знакомые проезжие. Степан Трофимович, не конфузясь, прошел в передний угол, забыл поздороваться, уселся и задумался. Между тем чрезвычайно приятное ощущение тепла после трехчасовой сырости на дороге вдруг разлилось по его телу. Даже самый озноб, коротко и отрывисто забегавший по спине его, как это всегда бывает в лихорадке с особенно нервными людьми, при внезапном переходе с холода в тепло, стал ему вдруг как-то странно приятен. Он поднял голову, и сладостный запах горячих блинов, над которыми старалась у печки хозяйка, защекотал его обоняние. Улыбаясь ребячьей улыбкой, он потянулся к хозяйке и вдруг залепетал:

¹ То есть (фр.).

² друзья мои (фр.).

³ «Она этого хотела» (фр.).

– Это что ж? Это блины? Mais... c'est charmant¹.

– Не пожелаете ли, господин, – тотчас же и вежливо предложила хозяйка.

– Пожелаю, именно пожелаю, и... я бы вас попросил еще чаю, – оживился Степан Трофимович.

– Самоварчик поставить? Это с большим нашим удовольствием.

На большой тарелке с крупными синими узорами явились блины – известные крестьянские, тонкие, полупшеничные, облитые горячим свежим маслом, вкуснейшие блины. Степан Трофимович с наслаждением попробовал.

– Как жирно и как это вкусно! И если бы только возможно un doigt d'eau de vie².

– Уж не водочки ли, господин, пожелали?

– Именно, именно, немножко, un tout petit rien³.

– На пять копеек, значит?

– На пять – на пять – на пять – на пять, un tout petit rien, – с блаженною улыбочкой поддакивал Степан Трофимович.

Попросите простолоудина что-нибудь для вас сделать, и он вам, если может и хочет, услужит старательно и радушно; но попросите его сходить за водочкой – и обыкновенное спокойное радушие переходит вдруг в какую-то торопливую, радостную услужливость, почти в родственную о вас заботливость. Идущий за водкой, – хотя будете пить только вы, а не он, и он знает это заранее, – все равно ощущает как бы некоторую часть вашего будущего удовлетворения... Не больше как через три-четыре минуты (кабак был в двух шагах) очутилась пред Степаном Трофимовичем на столе косушка и большая зеленоватая рюмка.

– И это все мне! – удивился он чрезвычайно. – У меня всегда была водка, но я никогда не знал, что так много на пять копеек.

Он налил рюмку, встал и с некоторою торжественностью перешел через комнату в другой угол, где поместилась его спутница на мешке, чернобровая бабенка, так надоедавшая ему дорогой расспросами. Бабенка законфузилась и стала было отнекиваться, но, высказав все предписанное приличием, под конец встала, выпила учтиво, в три хлебка, как пьют женщины, и, изобразив чрезвычайное страдание в лице, отдала рюмку и поклонилась Степану Трофимовичу. Он с важностию отдал поклон и воротился за стол даже с гордым видом.

Все это совершалось в нем по какому-то вдохновению: он и сам, еще за секунду, не знал, что пойдет потчевать бабенку.

«Я в совершенстве, в совершенстве умею обращаться с народом, и я это им всегда говорил», – самодовольно подумал он, наливая себе оставшееся вино из косушки; хотя вышло менее рюмки, но вино живительно согрело его и немного даже бросилось в голову.

«Je suis malade tout à fait, mais ce n'est pas trop mauvais d'être malade»⁴.

– Не пожелаете ли приобрести? – раздался подле него тихий женский голос.

Он поднял глаза и, к удивлению, увидел пред собою одну даму – une dame et elle en avait l'air⁵ – лет уже за тридцать, очень скромную на вид, одетую погородскому, в темненькое платье и с большим серым платком на плечах. В лице ее было нечто очень приветливое, немедленно понравившееся Степану Трофимовичу. Она только что сей час воротилась в избу, в которой оставались ее вещи

¹ Но... это прелестно (фр.).

² чуточку водки (фр.).

³ самую малость (фр.).

⁴ «Я совсем болен, но это не так уж плохо – быть больным» (фр.).

⁵ она имела вид дамы (фр.).

на лавке, подле самого того места, которое занял Степан Трофимович, – между прочим, портфель, на который, он помнил это, войдя, посмотрел с любопытством, и не очень большой клеенчатый мешок. Из этого-то мешка она вынула две красиво переплетенные книжки с вытисненными крестами на переплетах и поднесла их к Степану Трофимовичу.

– Eh... mais je crois que c'est l'Evangile¹; с величайшим удовольствием... А, я теперь понимаю... Vous êtes ce qu'on appelle² книгоноша; я читал неоднократно... Полтинник?

– По тридцати пяти копеек, – ответила книгоноша.

– С величайшим удовольствием. Je n'ai rien contre l'Evangile, et...³ Я давно уже хотел перечитать...

У него мелькнуло в ту минуту, что он не читал Евангелия по крайней мере лет тридцать и только разве лет семь назад припомнил из него капельку лишь по Ренановой книге «Vie de Jésus»⁴. Так как у него мелочи не было, то он и вытащил свои четыре десятирублевые билета – все, что у него было. Хозяйка взялась разменять, и тут только он заметил, всмотревшись, что в избу набралось довольно народу и что все давно уже наблюдают его и, кажется, о нем говорят. Толковали тоже и о городском пожаре, более всех хозяин телеги с коровой, так как он только что вернулся из города. Говорили про поджог, про шпигулинских.

«Ведь вот ничего он не говорил со мной про пожар, когда вез меня, а обо всем говорил», – подумалось что-то Степану Трофимовичу.

– Батюшка, Степан Трофимович, вас ли я, сударь, вижу? Вот уж и не чаял совсем!.. Али не признали? – воскликнул один пожилой малый, с виду вроде старинного дворового, с бритой бородой и одетый в шинель с длинным откидным воротником.

Степан Трофимович испугался, услышав свое имя.

– Извините, – пробормотал он, – я вас не совсем припоминаю...

– Запоминали! Да ведь я Анисим, Анисим Иванов. Я у покойного господина Гаганова на службе состоял и вас, сударь, сколько раз с Варварой Петровной у покойницы Авдотьи Сергевны видывал. Я к вам от нее с книжками хаживал и конфеты вам петербургские от нее два раза приносил...

– Ах, да, помню тебя, Анисим, – улыбнулся Степан Трофимович. – Ты здесь и живешь?

– А подле Спасова-с, в В – м монастыре, в посаде у Марфы Сергевны, сестрицы Авдотьи Сергевны, может, изволите помнить, ногу сломали, из коляски выскочили, на бал ехали. Теперь около монастыря проживают, а я при них-с; а теперь вот, изволите видеть, в губернию собрался, своих попроведать...

– Ну да, ну да.

– Вас увидав, обрадовался, милостивы до меня бывали-с, – восторженно улыбался Анисим. – Да куда ж вы, сударь, так это собрались, кажись, как бы одни-одинешеньки... Никогда, кажись, не выезжали одни-с?

Степан Трофимович пугливо посмотрел на него.

– Уж не к нам ли в Спасов-с?

– Да, я в Спасов. Il me semble que tout le monde va à Spassof...⁵

¹ Э... да это, кажется, Евангелие (фр.).

² Вы, что называется (фр.).

³ Я ничего не имею против Евангелия, и... (фр.)

⁴ «Жизнь Иисуса» (фр.).

⁵ Мне кажется, что все направляются в Спасов... (фр.)

– Да уж не к Федору ли Матвеевичу? То-то вам обрадуются. Ведь уж как в старину уважали вас; теперь даже вспоминают неоднократно...

– Да, да, и к Федору Матвеевичу.

– Надо быть-с, надо быть-с. То-то мужики здесь дивятся, словно, сударь, вас на большой дороге будто бы пешком повстречали. Глупый они народ-с.

– Я... Я это... Я, знаешь, Анисим, я об заклад побился, как у англичан, что я дойду пешком, и я...

Пот пробивался у него на лбу и на висках.

– Надо быть-с, надо быть-с... – вслушивался с безжалостным любопытством Анисим. Но Степан Трофимович не мог дольше вынести. Он так сконфузился, что хотел было встать и уйти из избы. Но подали самовар, и в ту же минуту воротилась выходившая куда-то книгоноша. С жестом спасающего себя человека обратился он к ней и предложил чаю. Анисим уступил и отошел.

Действительно, между мужиками поднималось недоумение:

«Что за человек? Нашли пешком на дороге, говорит, что учитель, одет как бы иностранец, а умом словно малый ребенок, отвечает несуразно, точно бы убежал от кого, и деньги имеет!» Начиналась было мысль возвестить по начальству – «так как при всем том в городе не совсем спокойно». Но Анисим все это уладил в ту же минуту. Выйдя в сени, он сообщил всем, кто хотел слушать, что Степан Трофимович не то чтоб учитель, а «сами большие ученые и большими науками занимаются, а сами здешние помещики были и живут уже двадцать два года у полной генеральши Ставрогиной, заместо самого главного человека в доме, а почет имеют от всех по городу чрезвычайный. В клубе дворянском по серенькой и по радужной в один вечер оставляли, а чином советник, все равно что военный подполковник, одним только чином ниже полного полковника будут. А что деньги имеют, так деньгам у них через полную генеральшу Ставрогину счету нет» и пр., и пр.

«*Mais c'est une dame, et très comme il faut*»¹, – отдыхал от Анисимова нападения Степан Трофимович, с приятным любопытством наблюдая свою соседку книгоношу, пившую, впрочем, чай с блюдечка и вприкуску. «*Se petit morceau de sucre se n'est rien...*»² В ней есть нечто благородное и независимое и в то же время – тихое. *Le comme il faut tout pur*³, но только несколько в другом роде».

Он скоро узнал от нее, что она Софья Матвеевна Улитина и проживает собственно в К., имеет там сестру вдовую, из мещан; сама также вдова, а муж ее, подпоручик за выслугу из фельдфебелей, был убит в Севастополе.

– Но вы еще так молоды, *vous n'avez pas trente ans*⁴.

– Тридцать четыре-с, – улыбнулась Софья Матвеевна.

– Как, вы и по-французски понимаете?

– Немножко-с; я в благородном доме одном прожила после того четыре года и там от детей понаучилась.

Она рассказала, что, после мужа оставшись всего восемнадцати лет, находилась некоторое время в Севастополе «в сестрах», а потом жила по разным местам-с, а теперь вот ходит и Евангелие продает.

– *Mais mon Dieu*⁵, это не с вами ли у нас была в городе одна странная, очень даже странная история?

¹ «Да ведь это дама, и вполне приличная» (фр.).

² Этот кусочек сахара – это ничего... (фр.).

³ В высшей степени приличное (фр.).

⁴ вам нет и тридцати лет (фр.).

⁵ Но Боже мой (фр.).

Она покраснела; оказалось, что с нею.

– Ces vauriens, ces malheureux!..¹ – начал было он задрожавшим от негодования голосом; болезненное и ненавистное воспоминание отозвалось в его сердце мучительно. На минуту он как бы забылся.

«Ба, да она опять ушла, – спохватился он, заметив, что ее уже опять нет подле. – Она часто выходит и чем-то занята; я замечаю, что даже встревожена... Bah, je deviens égoïste...»²

Он поднял глаза и опять увидел Анисима, но на этот раз уже в самой угрожающей обстановке. Вся изба была полна мужиками, и всех их притащил с собой, очевидно, Анисим. Тут был и хозяин избы, и мужик с коровой, какие-то еще два мужика (оказались извозчики), какой-то еще маленький полупьяный человек, одетый по-мужицки, а между тем бритый, похожий на пропившегося мещанина и более всех говоривший. И все-то они толковали о нем, о Степане Трофимовиче. Мужик с коровой стоял на своем, уверяя, что по берегу верст сорок крюку будет и что непременно надобно на праходе. Полупьяный мещанин и хозяин с жаром возражали:

– Потому, если, братец ты мой, их высокоблагородию, конечно, на праходе через озеро ближе будет; это как есть; да праход-то, по-теперешнему, пожалуй, и не подойдет.

– Доходит, доходит, еще неделю будет ходить, – более всех горячился Анисим.

– Так-то оно так! да неаккуратно приходит, потому время позднее, иной раз в Устье по три дня поджидают.

– Завтра будет, завтра к двум часам аккуратно придет. В Спасов еще до вечера аккуратно, сударь, прибудете, – лез из себя Анисим.

«Mais qu'est ce qu'il a cet homme»³, – трепетал Степан Трофимович, со страхом ожидая своей участи.

Выступили вперед и извозчики, стали рядиться; брали до Устьева три рубля. Остальные кричали, что не обидно будет, что это как есть цена и что отселева до Устьева все лето за эту цену возили.

– Но... здесь тоже хорошо... И я не хочу, – прошамкал было Степан Трофимович.

– Хорошо, сударь, это вы справедливо, в Спасове у нас теперь куды хорошо, и Федор Матвеевич так вами будут обрадованы.

– Mon Dieu, mes amis⁴, все это так для меня неожиданно.

Наконец-то воротилась Софья Матвеевна. Но она села на лавку такая убитая и печальная.

– Не быть мне в Спасове! – проговорила она хозяйке.

– Как, так и вы в Спасов? – встрепенулся Степан Трофимович.

Оказалось, что одна помещица, Надежда Егоровна Светлицына, велела ей еще вчера поджидать себя в Хатове и обещалась довести до Спасова, да вот и не приехала.

– Что я буду теперь делать? – повторяла Софья Матвеевна.

– Mais, ma chère et nouvelle amie⁵, ведь и я вас тоже могу довести, как и помещица, в это, как его, в эту деревню, куда я нанял, а завтра, – ну, а завтра мы вместе в Спасов.

¹ Эти негодяи, эти презренные!.. (фр.)

² Ба, я становлюсь эгоистом... (фр.)

³ «Но что надо этому человеку» (фр.).

⁴ Боже мой, друзья мои (фр.).

⁵ Но, мой дорогой и новый друг (фр.).

– Да разве вы тоже в Спасов?

– Mais que faire, et je suis enchanté!¹ Я вас с чрезвычайною радостью довезу; вон они хотят, я уже нанял... Я кого же из вас нанял? – ужасно захотел вдруг в Спасов Степан Трофимович.

Через четверть часа уже усаживались в крытую бричку: он очень оживленный и совершенно довольный; она с своим мешком и с благодарною улыбкой подле него. Подсаживал Анисим.

– Доброго пути, сударь, – хлопотал он изо всех сил около брички, – вот уж как были вами обрадованы!

– Прощай, прощай, друг мой, прощай.

– Федора Матвеевича, сударь, увидите...

– Да, мой друг, да... Федора Петровича... только прощай.

II

– Видите, друг мой, вы позволите мне называть себя вашим другом, n'est-ce pas?² – торопливо начал Степан Трофимович, только что тронулась бричка. – Видите, я... J'amie le peuple, c'est indispensable, mais il me semble que je ne l'avais jamais vu de près. Stasie... cela va sans dire qu'elle est aussi du peuple... mais le vrai peuple³, то есть настоящий, который на большой дороге, мне кажется, ему только и дела, куда я, собственно, еду... Но оставим обиды. Я немного как будто заговариваюсь, но это, кажется, от торопливости.

– Кажется, вы нездоровы-с, – зорко, но почтительно присматривалась к нему Софья Матвеевна.

– Нет, нет, стоит только закутаться, и вообще свежий какой-то ветер, даже уж очень свежий, но мы забудем это. Я, главное, не то бы хотел сказать. Chère et incompréhensible amie⁴, мне кажется, что я почти счастлив, и виною того – вы. Мне счастье невыгодно, потому что я немедленно лезу прощать всех врагов моих...

– Что ж, ведь это очень хорошо-с.

– Не всегда, chère innocente. L'Evangile... Voyez-vous, désormais nous le grêcherons ensemble⁵, и я буду с охотой продавать ваши красивые книжки. Да, я чувствую, что это, пожалуй, идея, quelque chose de très nouveau dans ce genre⁶. Народ религиозен, c'est admis⁷, но он еще не знает Евангелия. Я ему изложу его... В изложении устном можно исправить ошибки этой замечательной книги, к которой я, разумеется, готов отнестись с чрезвычайным уважением. Я буду полезен и на большой дороге. Я всегда был полезен, я всегда говорил им это et à cette chère ingrate...⁸ О, простим, простим, прежде всего простим всем и всегда... Будем надеяться, что и нам простят. Да, потому что все и каждый один пред другим виноваты. Все виноваты!..

– Вот это, кажется, вы очень хорошо изволили сказать-с.

– Да, да... Я чувствую, что я очень хорошо говорю. Я буду говорить им очень хорошо, но, но что же я хотел было главного сказать? Я все сбиваюсь и не

¹ Что же делать, да я в восторге! (фр.)

² не правда ли? (фр.)

³ Я люблю народ, это необходимо, но мне кажется, что я никогда не видал его вблизи. Настасья... нечего и говорить, она тоже из народа... но настоящий народ (фр.).

⁴ Дорогой и несравненный друг (фр.).

⁵ дорогая простушка. Евангелие... Видите ли, отныне мы его будем проповедовать вместе (фр.).

⁶ нечто совершенно новое в этом роде (фр.).

⁷ это установлено (фр.).

⁸ и этой дорогой неблагодарной женщине... (фр.)

помню... Позвольте ли вы мне не расставаться с вами? Я чувствую, что ваш взгляд и... я удивляюсь даже вашей манере: вы простодушны, вы говорите слово-ерс и опрокидываете чашку на блюдечко... с этим безобразным кусочком; но в вас есть нечто прелестное, и я вижу по вашим чертам... О, не краснейте и не бойтесь меня как мужчину. *Chère et incomparable, pour moi une femme c'est tout*¹. Я не могу не жить подле женщины, но только подле... Я ужасно, ужасно сбился... Я никак не могу вспомнить, что я хотел сказать. О, блажен тот, кому Бог посылает всегда женщину, и... и я думаю даже, что я в некотором восторге. И на большой дороге есть высшая мысль! вот – вот что я хотел сказать – про мысль, вот теперь и вспомнил, а то я все не попадал. И зачем они повезли нас дальше? Там было тоже хорошо, а тут – *cela devient trop froid*. А *propos*, j'ai en tout quarante roubles et voilà cet argent², возьмите, возьмите, я не умею, я потеряю и у меня возьмут, и... Мне кажется, что мне хочется спать; у меня что-то в голове вертится. Так вертится, вертится, вертится. О, как вы добры, чем это вы меня накрываете?

– У вас, верно, совершенная лихорадка-с, и я вас одеялом моим накрыла, а только про деньги-с я бы...

– О, ради Бога, *n'en parlons plus, parce que cela me fait mal*³, о, как вы добры!

Он как-то быстро прервал говорить и чрезвычайно скоро заснул лихорадочным, знобящим сном. Проселок, по которому ехали эти семнадцать верст, был не из гладких, и экипаж жестоко подталкивало. Степан Трофимович часто просыпался, быстро поднимался с маленькой подушки, которую просунула ему под голову Софья Матвеевна, схватывал ее за руку и осведомлялся: «Вы здесь?» – точно опасался, чтоб она не ушла от него. Он уверял ее тоже, что видит во сне какую-то раскрытую челюсть с зубами и что ему это очень противно. Софья Матвеевна была в большом за него беспокойстве.

Извозчики подвезли их прямо к большой избе в четыре окна и с жилыми пристройками на дворе. Проснувшийся Степан Трофимович поспешил войти и прямо прошел во вторую, самую просторную и лучшую комнату дома. Заспанное лицо его приняло самое хлопотливое выражение. Он тотчас же объяснил хозяйке, высокой и плотной бабе, лет сорока, очень черноволосой и чуть не с усами, что требует для себя всю комнату «и чтобы комнату затворить и никого более сюда не впускать, *parce que nous avons à parler*»⁴.

– *Où, j'ai beaucoup à vous dire, chère amie*⁵. Я вам заплачу, заплачу! – замахал он хозяйке.

Он хоть и торопился, но как-то туго шевелил языком. Хозяйка выслушала неприветливо, но промолчала в знак согласия, в котором, впрочем, предчувствовалось как бы нечто угрожающее. Он ничего этого не заметил и торопливо (он ужасно торопился) потребовал, чтоб она ушла и подала сейчас же как можно скорее обедать, «нимало не медля».

Тут баба с усами не вытерпела.

– Здесь вам не постоялый двор, господин, мы обеда для проезжих не держим. Раков сварить аль самовар поставить, а больше нет у нас ничего. Рыба свежая завтра лишь будет.

Но Степан Трофимович замахал руками, с гневным нетерпением повторяя: «Заплачу, только скорее, скорее». Порешили на ухе и на жареной курице; хозяй-

¹ Дорогая и несравненная, для меня женщина – это все (фр.).

² становится слишком холодно. Между прочим, у меня всего сорок рублей, и вот эти деньги (фр.).

³ не будем больше говорить об этом, потому что меня это огорчает (фр.).

⁴ потому что нам надо поговорить (фр.).

⁵ Да, мне нужно много сказать вам, дорогой друг (фр.).

ка объявила, что во всей деревне нельзя достать курицу; впрочем, согласилась пойти поискать, но с таким видом, как будто делала необычайное одолжение.

Только что она вышла, Степан Трофимович мигом уселся на диване и посадил подле себя Софью Матвеевну. В комнате были и диван и кресла, но ужасного вида. Вообще вся комната, довольно обширная (с отделением за перегородкой, где стояла кровать), с желтыми, старыми, порвавшимися обоями, с мифологическими ужасными литографиями на стенах, с длинным рядом икон и медных складней в переднем углу, с своею странною сборною мебелью, представляла собою неприглядную смесь чего-то городского и искони крестьянского. Но он даже не взглянул на все это, даже не поглядел в окошко на огромное озеро, начинавшееся в десяти саженях от избы.

– Наконец мы отдельно, и мы никого не пустим! Я хочу вам все, все рассказать с самого начала.

Софья Матвеевна с сильным даже беспокойством остановила его:

– Вам известно ли, Степан Трофимович...

– Comment, vous savez déjà mon nom?¹ – улыбнулся он радостно.

– Я давеча от Анисима Ивановича слышала, как вы с ним разговаривали.

А я вот в чем осмелюсь вам с своей стороны...

И она быстро зашептала ему, оглядываясь на запертую дверь, чтобы кто не подслушал, – что здесь, в этой деревне, беда-с. Что все здешние мужики хотя и рыболовы, а что тем собственно и промышляют, что каждым летом с постояльцев берут плату, какую только им вздумается. Деревня эта не проезжая, а глухая, и что потому только и приезжают сюда, что здесь пароход останавливается, и что когда пароход не приходит, потому чуть-чуть непогода, так он ни за что не придет, – то наберется народу за несколько дней, и уж тут все избы по деревне заняты, а хозяева только того и ждут; потому за каждый предмет в три цены берут, и хозяин здешний гордый и надменный, потому что уж очень по здешнему месту богат: у него невод один тысячу рублей стоит.

Степан Трофимович глядел в чрезвычайно одушевившееся лицо Софьи Матвеевны чуть не с укором и несколько раз делал жест, чтоб остановить ее. Но она стала на своем и досказала: по ее словам, она уже была здесь летом с одною «очень благородною госпожой-с» из города и тоже заночевали, пока пароход не приходил, целых даже два дня-с, и что такого горя натерпелись, что вспомнить страшно. «Вот вы, Степан Трофимович, изволили спросить эту комнату для одного себя-с... Я только потому, чтобы предупредить-с... Там, в той комнате, уже есть приезжие, один пожилой человек и один молодой человек, да какая-то госпожа с детьми, а к завтраму полная изба наберется до двух часов, потому что пароход, так как два дня не приходил, так уж наверно завтра придет. Так за особую комнату и за то, что вы вот спросили у них обедать-с, и за обиду всем проезжим они столько с вас потребуют, что и в столицах не слыхано-с...»

Но он страдал, страдал истинно:

– Assez, mon enfant², я вас умоляю; nous avons notre argent, et après – et après le bon Dieu³. И я даже удивляюсь, что вы, с возвышенностию ваших понятий... Assez, assez, vous me tourmentez⁴, – произнес он истерически, – пред нами вся наша будущность, а вы... вы меня пугаете за будущее...

¹ Как, вы знаете уже мое имя? (фр.)

² Довольно, дитя мое (фр.).

³ у нас есть деньги, а затем – а затем Бог поможет (фр.).

⁴ Довольно, довольно, вы меня мучаете (фр.).

Он тотчас же стал излагать всю историю, до того торопясь, что сначала даже и понять было трудно. Продолжалась она очень долго. Подавали уху, подавали курицу, подали, наконец, самовар, а он все говорил... Несколько странно и болезненно у него выходило, да ведь и был же он болен. Это было внезапное напряжение умственных сил, которое, конечно, – и это с тоской предвидела Софья Матвеевна во все время его рассказа, – должно было отозваться тотчас же потом чрезвычайным упадком сил в его уже расстроенном организме. Начал он чуть не с детства, когда «с свежелою грудью бежал по полям»; через час только добрался до своих двух женитьб и берлинской жизни. Я, впрочем, не посмею смеяться. Тут было для него действительно нечто высшее и, говоря новейшим языком, почти борьба за существование. Он видел пред собою ту, которую он уже предызбрал себе в будущий путь, и спешил, так сказать, посвятить ее. Его гениальность не должна была более оставаться для нее тайною... Может быть, он сильно насчет Софьи Матвеевны преувеличивал, но он уже избрал ее. Он не мог быть без женщины. Он сам по лицу ее ясно видел, что она совсем почти его не понимает, и даже самого капитального.

«Ce n'est rien, nous attendrons¹, а пока она может понять предчувствием...»

– Друг мой, мне всего только и надо одно ваше сердце! – восклицал он ей, прерывая рассказ, – и вот этот теперешний милый, обаятельный взгляд, каким вы на меня смотрите. О, не краснейте! Я уже вам сказал...

Особенно много было туманного для бедной попавшейся Софьи Матвеевны, когда история перешла чуть не в целую диссертацию о том, как никто и никогда не мог понять Степана Трофимовича и как «гибнут у нас в России таланты». Уж очень было «такое все умное-с», передавала она потом с унынием. Она слушала с видимым страданием, немного вытаращив глаза. Когда же Степан Трофимович бросился в юмор и в остроумнейшие колкости насчет наших «передовых и господствующих», то она с горя попробовала даже раза два усмехнуться в ответ на его смех, но вышло у ней хуже слез, так что Степан Трофимович даже, наконец, сам сконфузился и тем с большим азартом и злобой ударил на нигилистов и «новых людей». Тут уж он ее просто испугал, и отдохнула она лишь несколько, самым обманчивым, впрочем, отдыхом, когда собственно начался роман. Женщина всегда женщина, будь хоть монахиня. Она улыбалась, качала головой и тут же очень краснела и потупляла глаза, тем приводя Степана Трофимовича в совершенное восхищение и вдохновение, так что он даже много и прилгнул. Варвара Петровна вышла у него прелестнейшею брюнеткой («восхищавшею Петербург и весьма многие столицы Европы»), а муж ее умер, «сраженный в Севастополе пулей», единственно лишь потому, что чувствовал себя недостойным любви ее и уступая сопернику, то есть все тому же Степану Трофимовичу... «Не смущайтесь, моя тихая, моя христианка! – воскликнул он Софье Матвеевне, почти сам веря всему тому, что рассказывал. – Это было нечто высшее, нечто до того тонкое, что мы оба ни разу даже и не объяснились во всю нашу жизнь». Причиною такого положения вещей являлась в дальнейшем рассказе уже блондинка (если не Дарья Павловна, то я уж и не знаю, кого тут подразумевал Степан Трофимович). Эта блондинка была всем обязана брюнетке и в качестве дальней родственницы выросла в ее доме. Брюнетка, заметив наконец любовь блондинки к Степану Трофимовичу, заключилась сама в себя. Блондинка, с своей стороны, заметив любовь брюнетки к Степану Трофимовичу, тоже заключилась сама в себя. И все трое, изнемогая от взаимного великодушия, про-

¹ Это ничего, мы подождем (фр.).

молчали таким образом двадцать лет, заключившись сами в себя. «О, что это была за страсть, что это была за страсть! – восклицал он, всхлипывая в самом искреннем восторге. – Я видел полный расцвет красоты ее (брюнетки), видел «с нарывом в сердце» ежедневно, как она проходила мимо меня, как бы стыдясь красоты своей». (Раз он сказал: «стыдясь своей полноты».) Наконец он убежал, бросив весь этот горячечный двадцатилетний сон. – «Vingt ans!»¹ И вот теперь на большой дороге... Затем, в каком-то воспалительном состоянии мозга, принялся он объяснять Софье Матвеевне, что должна означать сегодняшняя «столь нечаянная и столь роковая встреча их на веки веков». Софья Матвеевна в ужасном смущении встала наконец с дивана; он даже сделал попытку опуститься пред нею на колени, так что она заплакала. Сумерки сгущались; оба пробыли в запертой комнате уже несколько часов...

– Нет, уж лучше вы меня отпустите в ту комнату-с, – лепетала она, – а то, пожалуй, ведь что люди подумают-с.

Она вырвалась наконец; он ее отпустил, дав ей слово сейчас же лечь спать. Прощаясь, пожаловался, что у него очень болит голова. Софья Матвеевна, еще как входила, оставила свой сак и вещи в первой комнате, намереваясь ночевать с хозяйками; но ей не удалось отдохнуть.

В ночи со Степаном Трофимовичем приключился столь известный мне и всем друзьям его припадок холерины – обыкновенный исход всех нервных напряжений и нравственных его потрясений. Бедная Софья Матвеевна не спала всю ночь. Так как ей, ухаживая за больным, приходилось довольно часто входить и выходить из избы через хозяйскую комнату, то спавшие тут проезжие и хозяйка ворчали и даже начали под конец браниться, когда она вздумала под утро поставить самовар. Степан Трофимович все время припадка был в полузабытьи; иногда как бы мерещилось ему, что ставят самовар, что его чем-то поят (малиной), греют ему чем-то живот, грудь. Но он чувствовал почти каждую минуту, что *она* была тут подле него; что это она приходила и уходила, снимала его с кровати и опять укладывала на нее. Часам к трем пополуночи ему стало легче; он привстал, спустил ноги с постели и, не думая ни о чем, свалился пред нею на пол. Это было уже не давешнее коленопреклонение; он просто упал ей в ноги и целовал полы ее платья...

– Полноте-с, я совсем не стою-с, – лепетала она, стараясь поднять его на кровать.

– Спасительница моя, – благоговейно сложил он пред нею руки. – Vous êtes noble comme une marquise!² Я – я негодяй! О, я всю жизнь был бесчестен...

– Успокойтесь, – упрашивала Софья Матвеевна.

– Я вам давеча все налгал, – для славы, для роскоши, из праздности, – все, все до последнего слова, о негодяй, негодяй!

Холерина перешла, таким образом, в другой припадок, истерического самоосуждения. Я уже упоминал об этих припадках, говоря о письмах его к Варваре Петровне. Он вспомнил вдруг о Lise, о вчерашней встрече утром: «Это было так ужасно и – тут, наверно, было несчастье, а я не спросил, не узнал! Я думал только о себе! О, что с нею, не знаете ли вы, что с нею?» – умолял он Софью Матвеевну.

Потом он клялся, что «не изменит», что он к *ней* воротится (то есть к Варваре Петровне). «Мы будем подходить к ее крыльцу (то есть все с Софьей Мат-

¹ «Двадцать лет!» (фр.).

² Вы благородны, как маркиза! (фр.)

веевной) каждый день, когда она садится в карету для утренней прогулки, и будем тихонько смотреть... О, я хочу, чтоб она ударила меня в другую щеку; с наслаждением хочу! Я подставляю ей мою другую щеку *comme dans votre livre!*¹ Я теперь, теперь только понял, что значит подставить другую... «ланиту». Я никогда не понимал прежде!»

Для Софьи Матвеевны наступили два страшные дня ее жизни; она и теперь припоминает о них с содроганием. Степан Трофимович заболел так серьезно, что он не мог отправиться на пароходе, который на этот раз явился аккуратно в два часа пополудни; она же не в силах была оставить его одного и тоже не поехала в Спасов. По ее рассказу, он очень даже обрадовался, что пароход ушел.

— Ну и славно, ну и прекрасно, — пробормотал он с постели, — а то я все боялся, что мы уедем. Здесь так хорошо, здесь лучше всего... Вы меня не оставите? О, вы меня не оставили!

«Здесь», однако, было вовсе не так хорошо. Он ничего не хотел знать из ее затруднений; голова его была полна одними фантазиями. Свою же болезнь он считал чем-то мимолетным, пустяками, и не думал о ней вовсе, а думал только о том, как они пойдут и станут продавать «эти книжки». Он просил ее почитать ему Евангелие.

— Я давно уже не читал... в оригинале. А то кто-нибудь спросит, и я ошибусь; надо тоже все-таки подготовиться.

Она уселась подле него и развернула книжку.

— Вы прекрасно читаете, — прервал он ее с первой же строки. — Я вижу, вижу, что я не ошибся! — прибавил он неясно, но восторженно. И вообще он был в непрерывном восторженном состоянии. Она прочитала Нагорную проповедь.

— *Assez, assez, mon enfant*², довольно... Неужто вы думаете, что *этого* не довольно!

И он в бессилии закрыл глаза. Он был очень слаб, но еще не терял сознания. Софья Матвеевна поднялась было, полагая, что он хочет заснуть. Но он остановил:

— Друг мой, я всю жизнь мою лгал. Даже когда говорил правду. Я никогда не говорил для истины, а только для себя, я это и прежде знал, но теперь только вижу... О, где те друзья, которых я оскорблял моею дружбой всю мою жизнь? И все, и все! *Savez-vous*³, я, может, лгу и теперь; наверно лгу и теперь. Главное в том, что я сам себе верю, когда лгу. Всего труднее в жизни жить и не лгать... и... и собственной лжи не верить, да, да, вот это именно! Но подождите, это все потом... Мы вместе, вместе! — прибавил он с энтузиазмом.

— Степан Трофимович, — робко попросила Софья Матвеевна, — не послать ли в «губернию» за доктором?

Он ужасно был поражен.

— Зачем? *Est-ce que je suis si malade? Mais rien de sérieux*⁴. И зачем нам посторонние люди? Еще узнают и — что тогда будет? Нет, нет, никто из посторонних, мы вместе, вместе!

— Знаете, — сказал он помолчав, — прочтите мне еще что-нибудь, так, на выбор, что-нибудь, куда глаз попадет.

Софья Матвеевна развернула и стала читать.

¹ как в вашей книге! (фр.)

² Довольно, довольно, дитя мое (фр.).

³ Знаете ли (фр.).

⁴ Неужели же я так болен? Да ведь ничего серьезного (фр.).

– Где развернется, где развернется нечаянно, – повторил он.

– «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши...»

– Это что? что? Это откуда?

– Это из Апокалипсиса.

– О, *je m'en souviens, oui, l'Apocalypse. Lisez, lisez¹*, я загадал по книге о нашей будущности, я хочу знать, что вышло; читайте с ангела, с ангела...

– «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если б ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг».

– Это... и это в вашей книге! – воскликнул он, сверкая глазами и приподнимаясь с изголовья. – Я никогда не знал этого великого места! Слышите: скорее холодного, холодного, чем теплого, чем *только* теплого. О, я докажу. Только не оставляйте, не оставляйте меня одного! Мы докажем, мы докажем!

– Да не оставлю же я вас, Степан Трофимович, никогда не оставлю-с! – схватила она его руки и сжала в своих, поднося их к сердцу, со слезами на глазах смотря на него. («Жалко уж очень мне их стало в ту минуту», – передавала она.) Губы его задергались как бы судорожно.

– Однако, Степан Трофимович, как же нам все-таки быть-с? Не дать ли знать кому из ваших знакомых али, может, родных?

Но тут уж он до того испугался, что она и не рада была, что еще раз помянула. Трепеща и дрожа умолял он не звать никого, не предпринимать ничего; брал с нее слово, уговаривал: «Никого, никого! Мы одни, только одни, *pour partager ensemble*»².

Очень худо было и то, что хозяева тоже стали беспокоиться, ворчали и приставали к Софье Матвеевне. Она им уплатила и постаралась показать деньги; это смягчило на время; но хозяин потребовал «вид» Степана Трофимовича. Больной с высокомерною улыбкой указал на свой маленький сак; в нем Софья Матвеевна отыскала его указ об отставке или что-то в этом роде, по которому он всю жизнь проживал. Хозяин не унялся и говорил, что «надо их куда ни на есть принять, потому у нас не больница, а помрет, так еще, пожалуй, что выйдет; натерпимся». Софья Матвеевна заговорила было и с ним о докторе, но выходило, что если послать в «губернию», то до того могло дорого обойтись, что, уж, конечно, надо было оставить о докторе всякую мысль. Она с тоской воротилась к своему больному. Степан Трофимович слабел все более и более.

– Теперь прочитайте мне еще одно место... о свиньях, – произнес он вдруг.

– Чего-с? – испугалась ужасно Софья Матвеевна.

– О свиньях... это тут же... *ses cochons*...³ я помню, бесы вошли в свиней и все потонули. Прочтите мне это непременно; я вам после скажу, для чего. Я припомнить хочу буквально. Мне надо буквально.

Софья Матвеевна знала Евангелие хорошо и тотчас отыскала от Луки то самое место, которое я и выставил эпиграфом к моей хронике. Приведу его здесь опять:

«Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в

¹ О, я припоминаю это, да, Апокалипсис. Читайте, читайте (*фр.*).

² «...мы отправимся вместе» (*фр.*).

³ эти свиньи... (*фр.*)

свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся».

– Друг мой, – произнес Степан Трофимович в большом волнении, – *savez-vous*¹, это чудесное и... необыкновенное место было мне всю жизнь камнем преткновения... *dans ce livre*...² так что я это место еще с детства упомянул. Теперь же мне пришла одна мысль; *une comparaison*³. Мне ужасно много приходит теперь мыслей: видите, это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, – это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века! *Oui, cette Russie, que j'ai jamais toujours*⁴. Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности... и сами будут проситься войти в свиней. Да и вошли уже, может быть! Это мы, мы и те, и Петруша... *et les autres avec lui*⁵, и я, может быть, первый, во главе, и мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и «сядет у ног Иисусовых»... и будут все глядеть с изумлением... Милая, *vous comprendrez après*⁶, а теперь это очень волнует меня... *Vous comprendrez après... Nous comprendrons ensemble*⁷.

С ним сделался бред, и он наконец потерял сознание. Так продолжалось и весь следующий день. Софья Матвеевна сидела подле него и плакала, не спала почти совсем уже третью ночь и избегала показываться на глаза хозяевам, которые, она предчувствовала, что-то уже начинали предпринимать. Избавление последовало лишь на третий день. Наутро Степан Трофимович очнулся, узнал ее и протянул ей руку. Она перекрестилась с надеждою. Ему хотелось посмотреть в окно: «*Tiens, un lac*⁸, – проговорил он, – ах, Боже мой, я еще и не видал его...» В эту минуту у подъезда избы прогремел чей-то экипаж и в доме поднялась чрезвычайная суматоха.

III

То была сама Варвара Петровна, прибывшая в четырехместной карете, четверней, с двумя лакеями и с Дарьей Павловной. Чудо совершилось просто: умиравший от любопытства Анисим, прибыв в город, зашел-таки на другой день в дом Варвары Петровны и разболтал прислуге, что встретил Степана Трофимовича одного в деревне, что видели его мужики на большой дороге одного, пешком, а что отправился он в Спасов, на Устьево, уже вдвоем с Софьей Матвеевной. Так как Варвара Петровна, с своей стороны, уже страшно тревожилась и разыскивала, как могла, своего беглого друга, то об Анисиме ей тотчас же доложили. Выслушав его и, главное, о подробностях отъезда в Устьево вместе с ка-

¹ вы знаете (фр.).

² в этой книге... (фр.)

³ одно сравнение (фр.).

⁴ Да, Россия, которую я любил всегда (фр.).

⁵ и другие вместе с ним (фр.).

⁶ вы поймете потом (фр.).

⁷ Вы поймете потом... Мы пойдем вместе (фр.).

⁸ «Вот как, тут озеро...» (фр.)

кою-то Софьей Матвеевной в одной бричке, она мигом собралась и по горячему следу прикатила сама в Устьево. О болезни его она еще не имела понятия.

Раздался суровый и повелительный ее голос; даже хозяева струсили. Она остановилась лишь осведомиться и расспросить, уверенная, что Степан Трофимович давно уже в Спасове; узнав же, что он тут и болен, в волнении вступила в избу.

– Ну, где тут он? А, это ты! – крикнула она, увидав Софью Матвеевну, как раз в ту самую минуту показавшуюся на пороге из второй комнаты. – Я по твоему бесстыжему лицу догадалась, что это ты. Прочь, негодяйка! Чтобы сейчас духа ее не было в доме! Выгнать ее, не то, мать моя, я тебя в острог навек упрячу. Стеречь ее пока в другом доме. Она уже в городе сидела раз в остроге, еще посидит. И прошу тебя, хозяин, не смей никого впускать, пока я тут. Я генеральша Ставрогина и занимаю весь дом. А ты, голубушка, мне во всем дашь отчет.

Знакомые звуки потрясли Степана Трофимовича. Он затрепетал. Но она уже вступила за перегородку. Сверкая глазами, подтолкнула она ногой стул и, откинувшись на спинку, прокричала Даше:

– Выйди пока вон, побудь у хозяев. Что за любопытство? Да двери-то покрепче затвори за собой.

Несколько времени она молча и каким-то хищным взглядом всматривалась в испуганное его лицо.

– Ну, как поживаете, Степан Трофимович? Каково погуляли? – вырвалось вдруг у нее с яростною иронией.

– *Chère*, – залепетал, не помня себя, Степан Трофимович, – я узнал русскую действительную жизнь... *Et je prêcherai l'Évangile...*¹

– О бесстыдный, неблагородный человек! – возопила она вдруг, сплеснув руками. – Мало вам было осрамить меня, вы связались... О старый, бесстыжий развратник!

– *Chère...*

У него пресекся голос, и он ничего не мог вымолвить, а только смотрел, вытаращив глаза от ужаса.

– Кто *она* такая?

– *C'est un ange... C'était plus qu'un ange pour moi*², она всю ночь... О, не кричите, не пугайте ее, *chère*, *chère*...

Барвара Петровна вдруг, гремя, вскочила со стула; раздался ее испуганный крик: «Воды, воды!» Он хоть и очнулся, но она все еще дрожала от страху и, бледная, смотрела на искажившееся его лицо: тут только в первый раз догадалась она о размерах его болезни.

– Дарья, – зашептала она вдруг Дарье Павловне, – немедленно за доктором, за Зальцфишем; пусть едет сейчас Егорыч; пусть наймет здесь лошадей, а из города возьмет другую карету. Чтобы к ночи быть тут.

Даша бросилась исполнять приказание. Степан Трофимович смотрел все тем же вытаращенным, испуганным взглядом; побелевшие губы его дрожали.

– Подожди, Степан Трофимович, подожди, голубчик! – уговаривала она его как ребенка, – ну подожди же, подожди, вот Дарья воротится и... Ах, Боже мой, хозяйка, хозяйка, да приди хоть ты, матушка!

В нетерпении она побежала сама к хозяйке.

– Сейчас, сию минуту *эту* опять назад. Воротить ее, воротить!

¹ И я буду проповедовать Евангелис... (фр.)

² Это ангел... Она была для меня больше, чем ангел (фр.).

К счастью, Софья Матвеевна не успела еще выбраться из дому и только выходила из ворот с своим мешком и узелком. Ее вернули. Она так была испугана, что даже ноги и руки ее тряслись. Варвара Петровна схватила ее за руку, как коршун цыпленка, и стремительно потащила к Степану Трофимовичу.

– Ну, вот она вам. Не съела же я ее. Вы думали, что я ее так и съела.

Степан Трофимович схватил Варвару Петровну за руку, поднес ее к своим глазам и залился слезами, навзрыд, болезненно, припадочно.

– Ну успокойся, успокойся, ну голубчик мой, ну батюшка! Ах, Боже мой, да ус-по-кой-тесь же! – крикнула она неистово. – О мучитель, мучитель, вечный мучитель мой!

– Милая, – пролепетал наконец Степан Трофимович, обращаясь к Софье Матвеевне, – побудьте, милая, там, я что-то хочу здесь сказать...

Софья Матвеевна тотчас же поспешила выйти.

– *Chérie, chérie...*¹ – задыхался он.

– Подождите говорить, Степан Трофимович, подождите немного, пока отдохнете. Вот вода. Да по-дож-ди-те же!

Она села опять на стул. Степан Трофимович крепко держал ее за руку. Долго она не позволяла ему говорить. Он поднес руку ее к губам и стал целовать. Она стиснула зубы, смотря куда-то в угол.

– *Je vous aimais!*² – вырвалось у него наконец. Никогда не слыхала она от него такого слова, так выговоренного.

– Гм, – промычала она в ответ.

– *Je vous aimais toute ma vie... vingt ans!*³

Она все молчала – минуты две, три.

– А как к Даше готовился, духами опрыскался... – проговорила она вдруг страшным шепотом. Степан Трофимович так и обомлел.

– Новый галстук надел...

Опять молчание минуты на две.

– Сигарку помните?

– Друг мой, – прошамкал было он в ужасе.

– Сигарку, вечером, у окна... месяц светил... после беседки... в Скворешниках? Помнишь ли, помнишь ли, – вскочила она с места, схватив за оба угла его подушку и потрясая ее вместе с его головой. – Помнишь ли, пустой, пустой, бесславный, малодушный, вечно, вечно пустой человек! – шипела она своим яростным шепотом, удерживаясь от крику. Наконец бросила его и упала на стул, закрыв руками лицо. – Довольно! – отрезала она, выпрямившись. – Двадцать лет прошло, не воротишь; дура и я.

– *Je vous aimais*, – сложил он опять руки.

– Да что ты мне все *aimais* да *aimais*! Довольно! – вскочила она опять. – И если вы теперь сейчас не заснете, то я... Вам нужен покой; спать, сейчас спать, закройте глаза. Ах, Боже мой, он, может быть, завтракать хочет! Что вы едите? Что он ест? Ах, Боже мой, где *та*? Где она?

Началась было суматоха. Но Степан Трофимович слабым голосом пролепетал, что он действительно бы заснул *une heure*⁴, а там – *un bouillon, un thé... enfin, il est si heureux*⁵. Он лег и действительно как будто заснул (вероятно,

¹ Любимая, любимая... (фр.)

² Я вас любил! (фр.)

³ Я вас любил всю свою жизнь... двадцать лет! (фр.)

⁴ часок (фр.).

⁵ бульону, чаю... наконец, он так счастлив (фр.).

притворился). Варвара Петровна подождала и на цыпочках вышла из-за перегородки.

Она уселась в хозяйской комнате, хозяев выгнала и приказала Даше привести к себе *ту*. Начался серьезный допрос.

– Расскажи теперь, матушка, все подробности; садись подле, так. Ну?

– Я Степана Трофимовича встретила...

– Стой, молчи. Предупреждаю тебя, что если ты что совершь или утаишь, то я из-под земли тебя выкопаю. Ну?

– Я со Степаном Трофимовичем... как только я пришла в Хатово-с... – почти задыхалась Софья Матвеевна...

– Стой, молчи, подожди; чего забарабанила? Во-первых, сама ты что за птица?

Та рассказала ей кое-как, впрочем в самых коротких словах, о себе, начиная с Севастополя. Варвара Петровна выслушала молча, выпрямившись на стуле, строго и упорно смотря прямо в глаза рассказчице.

– Чего ты такая запуганная? Чего ты в землю смотришь? Я люблю таких, которые смотрят прямо и со мною спорят. Продолжай.

Она досказала о встрече, о книжках, о том, как Степан Трофимович потчевал бабу водкой...

– Так, так, не забывай ни малейшей подробности, – ободрила Варвара Петровна. Наконец о том, как поехали и как Степан Трофимович все говорил, «уже совсем больные-с», а здесь всю жизнь, с самого первоначалу, несколько даже часов рассказывали.

– Расскажи про жизнь.

Софья Матвеевна вдруг запнулась и совсем стала в тупик.

– Ничего я тут не умею сказать-с, – промолвила она чуть не плача, – да и не поняла я почти ничего-с.

– Врешь, – не могла совсем ничего не понять.

– Про одну черноволосую знатную даму долго рассказывали-с, – покраснела ужасно Софья Матвеевна, заметив, впрочем, белокурые волосы Варвары Петровны и совершенное несходство ее с «брюнеткой».

– Черноволосую? Что же именно? Ну говори!

– О том, как эта знатная дама уж очень были в них влюблены-с, во всю жизнь, двадцать целых лет; но все не смели открыться и стыдились пред ними, потому что уж очень были полны-с...

– Дурак! – задумчиво, но решительно отрезала Варвара Петровна.

Софья Матвеевна совсем уже плакала.

– Ничего я тут не умею хорошо рассказать, потому сама в большом страхе за них была и понять не могла, так как они такие умные люди...

– Об уме его не такой вороне, как ты, судить. Руку предлагал?

Рассказчица затрепетала.

– Влюбился в тебя? Говори! Предлагал тебе руку? – прикрикнула Варвара Петровна.

– Почти что так оно было-с, – всплакнула она. – Только я все это за ничто приняла, по их болезни, – прибавила она твердо, подымая глаза.

– Как тебя зовут: имя-отчество?

– Софья Матвеевна-с.

– Ну так знай ты, Софья Матвеевна, что это самый дрянной, самый пустой человечешко... Господи, Господи! За негодяйку меня считаешь?

Та выпучила глаза.

– За негодяйку, за тиранку? Его жизнь сгубившую?

– Как же это можно-с, когда вы сами плачете-с?

У Варвары Петровны действительно стояли слезы в глазах.

– Ну садись, садись, не пугайся. Посмотри мне еще раз в глаза, прямо; чего за-краснелась? Даша, поди сюда, смотри на нее: как ты думаешь, у ней сердце чистое?..

И к удивлению, а может, еще к большому страху Софьи Матвеевны, она вдруг потрепала ее по щеке.

– Жаль только, что дура. Не по летам дура. Хорошо, милая, я тобою займусь. Вижу, что все это вздор. Живи пока подле, квартиру тебе наймут, а от меня тебе стол и все... пока спрошу.

Софья Матвеевна заикнулась было в испуге, что ей надо спешить.

– Некуда тебе спешить. Книги твои все покупаю, а ты сиди здесь. Молчи, без отговорок. Ведь если б я не приехала, ты бы все равно его не оставила?

– Ни за что бы их я не оставила-с, – тихо и твердо промолвила Софья Матвеевна, утирая глаза.

Доктора Зальцфиша привезли уже поздно ночью. Это был весьма почтенный старичок и довольно опытный практик, недавно потерявший у нас, вследствие какой-то амбициозной ссоры с своим начальством, свое служебное место. Варвара Петровна в тот же миг изо всех сил начала ему «протезировать». Он осмотрел больного внимательно, расспросил и осторожно объявил Варваре Петровне, что состояние «страждущего» весьма сомнительно, вследствие происшедшего осложнения болезни, и что надо ожидать «всего даже худшего». Варвара Петровна, в двадцать лет отвыкшая даже от мысли о чем-нибудь серьезном и решительном во всем, что исходило лично от Степана Трофимовича, была глубоко потрясена, даже побледнела:

– Неужто никакой надежды?

– Возможно ли, чтобы не было отнюдь и совершенно никакой надежды, но...

Она не ложилась спать всю ночь и едва дождалась утра. Лишь только больной открыл глаза и пришел в память (он все пока был в памяти, хотя с каждым часом ослабевал), приступила к нему с самым решительным видом:

– Степан Трофимович, надо все предвидеть. Я послала за священником. Вы обязаны исполнить долг...

Зная его убеждения, она чрезвычайно боялась отказа. Он посмотрел с удивлением.

– Вздор, вздор! – возопила она, думая, что он уже отказывается. – Теперь не до шалостей. Довольно дурачились.

– Но... разве я так уже болен?

Он задумчиво согласился. И вообще я с большим удивлением узнал потом от Варвары Петровны, что нисколько не испугался смерти. Может быть, просто не поверил и продолжал считать свою болезнь пустяками.

Он исповедовался и причастился весьма охотно. Все, и Софья Матвеевна, и даже слуги, пришли поздравить его с приобщением Святых Таин. Все до единого сдержанно плакали, смотря на его осунувшееся и изнеможенное лицо и побелевшие, вздрагивавшие губы.

– Oui, mes amis¹, и я удивляюсь только, что вы так... хлопчете. Завтра я, вероятно, встану, и мы... отправимся... Toute cette cérémonie...² которой я, разумеется, отдаю все должное... была...

¹ Да, друзья мои (фр.).

² Вся эта церемония... (фр.)

– Прошу вас, батюшка, непременно остаться с больным, – быстро остановила Варвара Петровна разоблачившегося уже священника. – Как только обнесут чай, прошу вас немедленно заговорить про божественное, чтобы поддержать в нем веру.

Священник заговорил; все сидели или стояли около постели больного.

– В наше греховное время, – плавно начал священник, с чашкой чая в руках, – вера во Всевышнего есть единственное прибежище рода человеческого во всех скорбях и испытаниях жизни, равно как в уповании вечного блаженства, обещанного праведникам...

Степан Трофимович как будто весь оживился; тонкая усмешка скользнула на губах его.

– *Mon père, je vous remercie, et vous êtes bien bon, mais...*¹

– Совсем не *mais*, вовсе не *mais*! – воскликнула Варвара Петровна, срываясь со стула. – Батюшка, – обратилась она к священнику, – это, это такой человек, это такой человек... его через час опять переисповедать надо будет! Вот какой это человек!

Степан Трофимович сдержанно улыбнулся.

– Друзья мои, – проговорил он, – Бог уже потому мне необходим, что это единственное существо, которое можно вечно любить...

В самом ли деле он уверовал, или величественная церемония совершенного таинства потрясла его и возбудила художественную восприимчивость его натуры, но он твердо и, говорят, с большим чувством произнес несколько слов прямо вразрез многому из его прежних убеждений.

– Мое бессмертие уже потому необходимо, что Бог не захочет сделать неправды и погасить совсем огонь раз возгоревшейся к Нему любви в моем сердце. И что дороже любви? Любовь выше бытия, любовь венец бытия, и как же возможно, чтобы бытие было ей неподклонно? Если я полюбил Его и обрадовался любви моей – возможно ли, чтоб Он погасил и меня и радость мою и обратил нас в нуль? Если есть Бог, то и я бессмертен! *Voilà ma profession de foi*².

– Бог есть, Степан Трофимович, уверяю вас, что есть, – умоляла Варвара Петровна, – отрекитесь, бросьте все ваши глупости хоть раз в жизни! (Она, кажется, не совсем поняла его *profession de foi*.)

– Друг мой, – одушевлялся он более и более, хотя голос его часто прерывался, – друг мой, когда я понял... эту подставленную ланиту, я... я тут же и еще кой-что понял... *J'ai menti toute ma vie*³, всю, всю жизнь! я бы хотел... впрочем, завтра... Завтра мы все отправимся.

Варвара Петровна заплакала. Он искал кого-то глазами.

– Вот она, она здесь! – схватила она и подвела к нему за руку Софью Матвеевну. Он умиленно улыбнулся.

– О, я бы очень желал опять жить! – воскликнул он с чрезвычайным приливом энергии. – Каждая минута, каждое мгновение жизни должны быть блаженством человеку... должны, непременно должны! Это обязанность самого человека так устроить; это его закон – скрытый, но существующий непременно... О, я бы желал видеть Петрушу... и их всех... и Шатова!

Замечу, что о Шатове еще ничего не знали ни Дарья Павловна, ни Варвара Петровна, ни даже Зальцциш, последним прибывший из города.

¹ Батюшка, я вас благодарю, вы очень добры, но... (фр.)

² Вот мой символ веры (фр.).

³ Я лгал всю свою жизнь (фр.).

Степан Трофимович волновался более и более, болезненно, не по силам.

– Одна уже всегдашняя мысль о том, что существует нечто безмерно справедливейшее и счастливейшее, чем я, уже наполняет и меня всего безмерным умилением и – славой, – о, кто бы я ни был, что бы ни сделал! Человеку гораздо необходимее собственного счастья знать и каждое мгновение веровать в то, что есть где-то уже совершенное и спокойное счастье, для всех и для всего... Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно великим. Если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии. Безмерное и бесконечное так же необходимо человеку, как и та малая планета, на которой он обитает... Друзья мои, все, все: да здравствует Великая Мысль! Вечная, безмерная Мысль! Всякому человеку, кто бы он ни был, необходимо преклониться пред тем, что есть Великая Мысль. Даже самому глупому человеку необходимо хотя бы нечто великое. Петруша... О, как я хочу увидеть их всех опять! Они не знают, не знают, что и в них заключена все та же вечная Великая Мысль!

Доктор Зальцфиш не был при церемонии. Войдя внезапно, он пришел в ужас и разогнал собрание, настаивая, чтобы больного не волновали.

Степан Трофимович скончался три дня спустя, но уже в совершенном беспомоществе. Он как-то тихо угас, точно догоревшая свеча. Варвара Петровна, совершив на месте отпевание, перевезла тело своего бедного друга в Скворешники. Могила его в церковной ограде и уже покрыта мраморною плитой. Надпись и решетка оставлены до весны.

Все отсутствие Варвары Петровны из города продолжалось дней восемь. Вместе с нею, рядом в ее карете, прибыла и Софья Матвеевна, кажется навеки у нее поселившаяся. Замечу, что едва лишь Степан Трофимович потерял сознание (в то же утро), как Варвара Петровна немедленно опять устранила Софью Матвеевну, совсем вон из избы, и ухаживала за больным сама, одна до конца; а только лишь он испустил дух, немедленно позвала ее. Никаких возражений ей, ужасно испуганной предложением (вернее приказанием) поселиться навеки в Скворешниках, она не хотела слушать.

– Все вздор! я сама буду с тобой ходить продавать Евангелие. Нет у меня теперь никого на свете!

– У вас, однако, есть сын, – заметил было Зальцфиш.

– Нет у меня сына! – отрезала Варвара Петровна и – словно напроорочила.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Заключение

Все совершившиеся бесчинства и преступления обнаружились с чрезвычайною быстротой, гораздо быстрее, чем предполагал Петр Степанович. Началось с того, что несчастная Марья Игнатьевна в ночь убийства мужа проснулась пред рассветом, хватилась его и пришла в неопределенное волнение, не видя его подле себя. С ней ночевала нанятая тогда Ариной Прохоровной прислужница. Та никак не могла ее успокоить и, чуть лишь стало светать, побежала за самой Ариной Прохоровной, уверив больную, что та знает, где ее муж и когда он воротится. Между тем и Арина Прохоровна находилась тоже в некоторой заботе:

она уже узнала от своего мужа о ночном подвиге в Скворешниках. Он воротился домой часу уже в одиннадцатом ночи, в ужасном состоянии и виде; ломая руки, бросился ничком на кровать и все повторял, сотрясаясь от конвульсивных рыданий: «Это не то, не то; это совсем не то!» Разумеется, кончил тем, что признался приступившей к нему Арине Прохоровне во всем – впрочем, только ей одной во всем доме. Та оставила его в постели, строго внушив, что «если хочет хныкать, то ревел бы в подушку, чтоб не слышали, и что дурак он будет, если завтра покажет какой-нибудь вид». Она-таки призадумалась и тотчас же начала прибираться на всякий случай: лишние бумаги, книги, даже, может быть, прокламации, успела припрятать или истребить дотла. За всем тем рассудила, что собственно ей, ее сестре, тетке, студентке, а может быть, и вислоухому братцу бояться очень-то нечего. Когда к утру прибежала за ней сиделка, она пошла к Марье Игнатьевне не задумавшись. Ей, впрочем, ужасно хотелось поскорее проведать, верно ли то, что вчера испуганным и безумным шепотом, похожим на бред, сообщил ей супруг о расчетах Петра Степановича, в видах общей пользы, на Кириллова.

Но пришла она к Марье Игнатьевне уже поздно: отправив служанку и оставшись одна, та не вытерпела, встала с постели и, накинув на себя что попало под руку из одежды, кажется очень что-то легкое и к сезону не подходящее, отправилась сама во флигель к Кириллову, соображая, что, может быть, он ей вернее всех сообщит о муже. Можно представить, как подействовало на родильницу то, что она там увидела. Замечательно, что она не прочла предсмертной записки Кириллова, лежавшей на столе, на виду, конечно в испуге проглядев ее вовсе. Она вбежала в свою светелку, схватила младенца и пошла с ним из дома по улице. Утро было сырое, стоял туман. Прохожих в такой глухой улице не встретилось. Она все бежала, задыхаясь, по холодной и тонкой грязи и наконец начала стучаться в дома; в одном доме не отперли, в другом долго не отпирали; она бросила в нетерпении и начала стучаться в третий дом. Это был дом нашего купца Титова. Здесь она наделала большой суматохи, вошла и бессвязно уверяла, что «ее мужа убили». Шатова и отчасти его историю у Титовых несколько знали; поражены были ужасом, что она, по ее словам всего только сутки родивши, бежит в такой одежде и в такой холод по улицам, с едва прикрытым младенцем в руках. Подумали было сначала, что только в бреду, тем более что никак не могли выяснить, кто убит: Кириллов или ее муж? Она, смекнув, что ей не верят, бросилась было бежать дальше, но ее остановили силой, и, говорят, она страшно кричала и билась. Отправились в дом Филиппова, и через два часа самоубийство Кириллова и его предсмертная записка стали известны всему городу. Полиция приступила к родильнице, бывшей еще в памяти; тут-то и оказалось, что она записки Кириллова не читала, а почему именно заключила, что и муж ее убит, – от нее не могли добиться. Она только кричала, что «коли тот убит, так и муж убит; они вместе были!». К полудню она впала в беспамятство, из которого уж и не выходила, и скончалась дня через три. Простуженный ребенок помер еще раньше ее. Арина Прохоровна, не найдя на месте Марьи Игнатьевны и младенца и смекнув, что худо, хотела было бежать домой, но остановилась у ворот и послала сиделку «спросить во флигеле, у господина, не у них ли Марья Игнатьевна и не знает ли он чего о ней?». Посланица воротилась, неистово крича на всю улицу. Убедив ее не кричать и никому не объявлять знаменитым аргументом: «засудят», она улизнула со двора.

Само собою, что ее в то же утро обеспокоили, как бывшую повитуху родильницы; но немногого добились: она очень дельно и хладнокровно рассказала

все, что сама видела и слышала у Шатова, но о случившейся истории отозвалась, что ничего в ней не знает и не понимает.

Можно себе представить, какая по городу поднялась суматоха. Новая «история», опять убийство! Но тут уже было другое: становилось ясно, что есть, действительно есть тайное общество убийц, поджигателей-революционеров, бунтовщиков. Ужасная смерть Лизы, убийство жены Ставрогина, сам Ставрогин, поджог, бал для гувернанток, распушенность вокруг Юлии Михайловны... Даже в исчезновении Степана Трофимовича хотели непременно видеть загадку. Очень, очень шептались про Николая Всеволодовича. К концу дня узнали и об отсутствии Петра Степановича и, странно, о нем менее всего говорили. Но более всего в тот день говорили «о сенаторе». У дома Филиппова почти все утро стояла толпа. Действительно, начальство было введено в заблуждение запиской Кириллова. Поверили и в убийство Кирилловым Шатова и в самоубийство «убийцы». Впрочем, начальство хоть и потерялось, но не совсем. Слово «парк», например, столь неопределенно помещенное в записке Кириллова, не сбило никого с толку, как рассчитывал Петр Степанович. Полиция тотчас же кинулась в Скворешники, и не по тому одному, что там был парк, которого нигде у нас в другом месте не было, а и по некоторому даже инстинкту, так как все ужасы последних дней или прямо, или отчасти связаны были со Скворешниками. Так по крайней мере я догадываюсь. (Замечу, что Варвара Петровна, рано утром и не зная ни о чем, выехала для поимки Степана Трофимовича.) Тело отыскали в пруде в тот же день к вечеру, по некоторым следам; на самом месте убийства найден был картуз Шатова, с чрезвычайным легкомыслием позабытый убийцами. Наглядное и медицинское исследование трупа и некоторые догадки с первого шагу возбудили подозрение, что Кириллов не мог не иметь товарищей. Выяснилось существование шатово-кирилловского тайного общества, связанного с прокламациями. Кто же были эти товарищи? О *наших* ни об одном в тот день и мысли еще не было. Узнали, что Кириллов жил затворником и до того уединенно, что с ним вместе, как объявлялось в записке, мог квартировать столько дней Федька, которого везде так искали... Главное, томило всех то, что из всей представлявшейся путаницы ничего нельзя было извлечь общего и связующего. Трудно представить, до каких заплочений и до какого безначалия мысли дошло бы наконец наше перепутанное до паники общество, если бы вдруг не объяснилось все разом, на другой же день, благодаря Лямшину.

Он не вынес. С ним случилось то, что даже и Петр Степанович под конец стал предчувствовать. Порученный Толкаченке, а потом Эркелю, он весь следующий день пролежал в постели, по-видимому, смирно, отвернувшись к стене и не говоря ни слова, почти не отвечая, если с ним заговаривали. Он ничего, таким образом, не узнал во весь день из происходившего в городе. Но Толкаченке, отлично узнавшему происшедшее, вздумалось к вечеру бросить возложенную на него Петром Степановичем роль при Лямшине и отлучиться из города в уезд, то есть попросту убежать: подлинно, что потеряли рассудок, как напроорочил о них о всех Эркель. Замечу кстати, что и Липутин в тот же день исчез из города, еще прежде полудня. Но с этим как-то так произошло, что об исчезновении его узналось начальством лишь только на другой день к вечеру, когда прямо приступили с расспросами к перепуганному его отсутствием, но молчавшему от страха его семейству. Но продолжаю о Лямшине. Лишь только он остался один (Эркель, надеясь на Толкаченку, еще прежде ушел к себе), как тотчас же выбежал из дому и, разумеется, очень скоро узнал о положении дел. Не заходя даже домой, он бросился тоже бежать куда глаза глядят. Но ночь была так темна, а предприятие до того страшное и многотрудное, что, пройдя две-три улицы, он воротился до-

мой и заперся на всю ночь. Кажется, к утру он сделал попытку к самоубийству; но у него не вышло. Просидел он, однако, взаперти почти до полудня и – вдруг побежал к начальству. Говорят, он ползал на коленях, рыдал и визжал, целовал пол, крича, что недостойн целовать даже сапогов стоявших пред ним сановников. Его успокоили и даже обласкали. Допрос тянулся, говорят, часа три. Он объявил все, все, рассказал всю подноготную, все, что знал, все подробности; забегал вперед, спешил признаниями, передавал даже ненужное и без спросу. Оказалось, что он знал довольно и довольно хорошо поставил на вид дело: трагедия с Шатовым и Кирилловым, пожар, смерть Лебядкиных и пр. поступили на план второстепенный. На первый план выступали Петр Степанович, тайное общество, организация, сеть. На вопрос: для чего было сделано столько убийств, скандалов и мерзостей? – он с горячею торопливостью ответил, что «для систематического потрясения основ, для систематического разложения общества и всех начал; для того, чтобы всех обескуражить и из всего сделать кашу и расшатавшееся таким образом общество, болезненное и раскисшее, циничское и неверующее; но с бесконечною жаждой какой-нибудь руководящей мысли и самосохранения, – вдруг взять в свои руки, подняв знамя бунта и опираясь на целую сеть пятерок, тем временем действовавших, вербовавших и изыскивавших практически все приемы и все слабые места, за которые можно ухватиться». Заключил он, что здесь, в нашем городе, устроена была Петром Степановичем лишь первая проба такого систематического беспорядка, так сказать программа дальнейших действий, и даже для всех пятерок, – и что это уже собственно его (Лямшина) мысль, его догадка и «чтобы непременно попомнили и чтобы все это поставили на вид, до какой степени он откровенно и благонравно разъясняет дело и, стало быть, очень может пригодиться даже и впредь для услуг начальства». На положительный вопрос: много ли пятерок? – отвечал, что бесконечное множество, что вся Россия покрыта сетью, и хотя не представил доказательств, но, думаю, отвечал совершенно искренно. Представил только печатную программу общества, заграничной печати, и проект развития системы дальнейших действий, написанный хотя и начерно, но собственной рукой Петра Степановича. Оказалось, что о «потрясении основ» Лямшин буквально цитовал по этой бумажке, не забыв даже точек и запятых, хотя и уверял, что это его только собственное соображение. Про Юлию Михайловну он удивительно смешно и даже без спросу, а забегая вперед, выразился, что «она невинна и что ее только одурачили». Но замечательно, что Николая Ставрогина он совершенно выгородил из всякого участия в тайном обществе, из всякого соглашения с Петром Степановичем. (О заветных и весьма смешных надеждах Петра Степановича на Ставрогина Лямшин не имел никакого понятия.) Смерть Лебядкиных, по словам его, была устроена лишь одним Петром Степановичем, без всякого участия Николая Всеволодовича, с хитрою целью втянуть того в преступление и, стало быть, в зависимость от Петра Степановича; но вместо благодарности, на которую несомненно и легкомысленно рассчитывал, Петр Степанович возбудил лишь полное негодование и даже отчаяние в «благородном» Николае Всеволодовиче. Закончил он о Ставрогине, тоже спеша и без спросу, видимо нарочным намеком, что тот чуть ли не чрезвычайно важная птица, но что в этом какой-то секрет; что проживал он у нас, так сказать, *incognito*, что он с поручениями и что очень возможно, что и опять пожелает к нам из Петербурга (Лямшин уверен был, что Ставрогин в Петербурге), но только уже совершенно в другом виде и в другой обстановке и в свите таких лиц, о которых, может быть, скоро и у нас услышат, и что все это он слышал от Петра Степановича, «тайного врага Николая Всеволодовича».

Сделаю нотабене. Два месяца спустя Лямшин сознался, что выгораживал тогда Ставрогина нарочно, надеясь на протекцию Ставрогина и на то, что тот в Петербурге выхлопочет ему облегчение двумя степенями, а в ссылку снабдит деньгами и рекомендательными письмами. Из этого признания видно, что он имел действительно чрезмерно преувеличенное понятие о Николае Ставрогине.

В тот же день, разумеется, арестовали и Виргинского, а сгоряча и весь дом. (Арина Прохоровна, ее сестра, тетка и даже студентка теперь давно уже на воле; говорят даже, что и Шигалев будто бы непременно будет выпущен в самом скором времени, так как ни под одну категорию обвиняемых не подходит; впрочем, это все еще только разговор.) Виргинский сразу и во всем повинился: он лежал больной и был в жару, когда его арестовали. Говорят, он почти обрадовался: «Сердца свалилось», – проговорил он будто бы. Слышно про него, что он дает теперь показания откровенно, но с некоторым даже достоинством и не отступает ни от одной из «светлых надежд» своих, проклиная в то же время политический путь (в противоположность социальному), на который был увлечен так нечаянно и легкомысленно «вихрем сошедшихся обстоятельств». Поведение его при совершении убийства разъясняется в смягчающем для него смысле, кажется и он тоже может рассчитывать на некоторое смягчение своей участи. Так по крайней мере у нас утверждают.

Но вряд ли возможно будет облегчить судьбу Эркеля. Этот с самого ареста своего все молчит или по возможности извращает правду. Ни одного слова раскаяния до сих пор от него не добились. А между тем он даже в самых строгих судьях возбудил к себе некоторую симпатию – своею молодостью, своею беззащитностью, явным свидетельством, что он только фанатическая жертва политического обольстителя; а более всего обнаружившимся поведением его с матерью, которой он отсылал чуть не половину своего незначительного жалованья. Мать его теперь у нас; это слабая и больная женщина, старушка не по летам; она плачет и буквально валяется в ногах, выпрашивая за сына. Что-то будет, но Эркеля у нас многие жалеют.

Липутину арестовали уже в Петербурге; где он прожил целых две недели. С ним случилось почти невероятное дело, которое даже трудно и объяснить. Говорят, он имел и паспорт на чужое имя, и полную возможность успеть улизнуть за границу, и весьма значительные деньги с собой, а между тем остался в Петербурге и никуда не поехал. Некоторое время он разыскивал Ставрогина и Петра Степановича и вдруг запил и стал развратничать безо всякой меры, как человек, совершенно потерявший всякий здравый смысл и понятие о своем положении. Его и арестовали в Петербурге где-то в доме терпимости и нетрезвого. Носится слух, что теперь он вовсе не теряет духа, в показаниях своих лжет и готовится к предстоящему суду с некоторою торжественностью и надеждою (?). Он намерен даже поговорить на суде. Толкаченко, арестованный где-то в уезде, дней десять спустя после своего бегства, ведет себя несравненно учтивее, не лжет, не вилает, говорит все, что знает, себя не оправдывает, винится со всею скромностию, но тоже наклонен покраснобайничать; много и с охотою говорит, а когда дело дойдет до знания народа и революционных (?) его элементов, то даже позирует и жаждет эффекта. Он тоже, слышно, намерен поговорить на суде. Вообще он и Липутин не очень испуганы, и это даже странно.

Повторяю, дело это еще не кончено. Теперь, три месяца спустя, общество наше отдохнуло, оправилось, отгулялось, имеет собственное мнение и до того, что даже самого Петра Степановича иные считают чуть не за гения, по крайней мере «с гениальными способностями». «Организация-с!» – говорят в клубе, по-

дымая палец кверху. Впрочем, все это очень невинно, да и немногие говорят-то. Другие, напротив, не отрицают в нем остроты способностей, но при совершенном незнании действительности, при страшной отвлеченности, при уродливом и тупом развитии в одну сторону, с чрезвычайным происходящим от того легкомыслием. Относительно нравственных его сторон все соглашаются; тут уж никто не спорит.

Право, не знаю, о ком бы еще упомянуть, чтобы не забыть кого. Маврикий Николаевич куда-то совсем уехал. Старуха Дроздова впала в детство... Впрочем, остается рассказать еще одну очень мрачную историю. Ограничусь лишь фактами.

Варвара Петровна по приезде остановилась в городском своем доме. Разом хлынули на нее все накопившиеся известия и потрясли ее ужасно. Она затворилась у себя одна. Был вечер; все устали и рано легли спать.

Полутру горничная передала Дарье Павловне, с таинственным видом, письмо. Это письмо, по ее словам, пришло еще вчера, но поздно, когда все уже почивали, так что она не посмела разбудить. Пришло не по почте, а в Скворешники через неизвестного человека к Алексею Егорычу. А Алексей Егорыч тотчас сам и доставил, вчера вечером, ей в руки, и тотчас же опять уехал в Скворешники.

Дарья Павловна с биением сердца долго смотрела на письмо и не смела распечатать. Она знала от кого: писал Николай Ставрогин. Она прочла надпись на конверте: «Алексею Егорычу с передачею Дарье Павловне, секретно».

Вот это письмо, слово в слово, без исправления малейшей ошибки в слоге русского барича, не совсем доучившегося русской грамоте, несмотря на всю европейскую свою образованность:

«Милая Дарья Павловна,

Вы когда-то захотели ко мне «в сиделки» и взяли обещание прислать за вами, когда будет надо. Я еду через два дня и не ворочусь. Хотите со мной?

Прошлого года я, как Герцен, записался в граждане кантона Ури, и этого никто не знает. Там я уже купил маленький дом. У меня еще есть двенадцать тысяч рублей; мы поедем и будем там жить вечно. Я не хочу никогда никуда выезжать.

Место очень скучно, ущелье; горы теснят зрение и мысль. Очень мрачное. Я потому, что продавался маленький дом. Если вам не понравится, я продам и куплю другой в другом месте.

Я нездоров, но от галлюцинаций надеюсь избавиться с тамошним воздухом. Это физически; а нравственно вы все знаете; только все ли?

Я вам рассказал многое из моей жизни. Но не все. Даже вам не все! Кстати, подтверждаю, что совестью я виноват в смерти жены. Я с вами не виделся после того, а потому подтверждаю. Виноват и пред Лизаветой Николаевной; но тут вы знаете; тут вы все почти предсказали.

Лучше не приезжайте. То, что я зову вас к себе, есть ужасная низость. Да и зачем вам хоронить со мной вашу жизнь? Мне вы милы, и мне, в тоске, было хорошо подле вас: при вас при одной я мог вслух говорить о себе. Из этого ничего не следует. Вы определили сами «в сиделки» — это ваше выражение; к чему столько жертвовать? Вникните тоже, что я вас не жалею, коли зову, и не уважаю, коли жду. А между тем и зову и жду. Во всяком случае, в вашем ответе нуждаюсь, потому что надо ехать очень скоро. В таком случае уеду один.

Я ничего от Ури не надеюсь; я просто еду. Я не выбирал нарочно угрюмого места. В России я ничем не связан — в ней мне все так же чужое, как и везде. Правда, я в ней более, чем в другом месте, не любил жить; но даже и в ней ничего не мог возненавидеть!

Я пробовал везде мою силу. Вы мне советовали это, «чтоб узнать себя». На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказывалась беспредельною. На ваших глазах я снес пощечину от вашего брата; я признался в браке публично. Но к чему приложить эту силу – вот чего никогда не видел, не вижу и теперь, несмотря на ваши ободрения в Швейцарии, которым поверил. Я все так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовольствие. Но и то и другое чувство по-прежнему всегда слишком мелко, а очень никогда не бывает. Мои желания слишком несильны; руководить не могут. На бревне можно переплыть реку, а на щепке нет. Это чтобы не подумали вы, что я уеду в Ури с какими-нибудь надеждами.

Я по-прежнему никого не виню. Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы; но я не люблю и не хотел разврата. Вы за мной в последнее время следили. Знаете ли, что я смотрел даже на отрицающих наших со злобой, от зависти к их надеждам? Но вы напрасно боялись: я не мог быть тут товарищем, ибо не разделял ничего. А для смеху, со злобы, тоже не мог, и не потому, чтобы боялся смешного, – я смешного не могу испугаться, – а потому, что все-таки имею привычки порядочного человека и мне мерзило. Но если б имел к ним злобы и зависти больше, то, может, и пошел бы с ними. Судите, до какой степени мне было легко и сколько я метался!

Друг милый, создание нежное и великодушное, которое я угадал! Может быть, вы мечтаете дать мне столько любви и излить на меня столько прекрасного из прекрасной души вашей, что надеетесь тем самым поставить предо мной наконец и цель? Нет, лучше вам быть осторожнее: любовь моя будет так же мелка, как и я сам, а вы несчастны. Ваш брат говорил мне, что тот, кто теряет связи с своею землей, тот теряет и богов своих, то есть все свои цели. Обо всем можно спорить бесконечно, но из меня вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы. Даже отрицания не вылилось. Все всегда мелко и вяло. Великодушный Кириллов не вынес идеи и – застрелился; но ведь я вижу, что он был великодушен потому, что не в здравом рассудке. Я никогда не могу потерять рассудок и никогда не могу поверить идее в той степени, как он. Я даже заняться идеей в той степени не могу. Никогда, никогда я не могу застрелиться!

Я знаю, что мне надо бы убить себя, смести себя с земли как подлое насекомое; но я боюсь самоубийства, ибо боюсь показать великодушие. Я знаю, что это будет еще обман, – последний обман в бесконечном ряду обманов. Что же пользы себя обмануть, чтобы только сыграть в великодушие? Негодования и стыда во мне никогда быть не может; стало быть, и отчаяния.

Простите, что так много пишу. Я опомнился, и это нечаянно. Этак страниц мало и десяти строк довольно. Довольно и десяти строк призыва «в сиделки».

Я, с тех пор как выехал, живу на шестой станции у зрителя. С ним я сошелся во время кутежа пять лет назад в Петербурге. Что там я живу, никто не знает. Напишите на его имя. Прилагаю адрес.

Николай Ставрогин.

Дарья Павловна тотчас же пошла и показала письмо Варваре Петровне. Та прочитала и попросила Дашу выйти, чтоб еще одной прочитать; но что-то очень скоро опять позвала ее.

– Поедешь? – спросила она почти робко.

– Поеду, – ответила Даша.

– Собирайся! Едем вместе!

Даша посмотрела вопросительно.

– А что мне теперь здесь делать? Не все ли равно? Я тоже в Ури запишусь и проживу в ущелье... Не беспокойся, не помешаю.

Начали быстро собираться, чтобы успеть к полуденному поезду. Но не прошло получаса, как явился из Скворешников Алексей Егорыч. Он доложил, что Николай Всеволодович «вдруг» приехали поутру, с ранним поездом, и находятся в Скворешниках, но «в таком виде, что на вопросы не отвечают, прошли по всем комнатам и заперлись на своей половине...».

– Я помимо их приказаania заключил приехать и доложить, – прибавил Алексей Егорыч с очень внушительным видом.

Варвара Петровна пронзительно поглядела на него и не стала расспрашивать. Мигом подали карету. Поехала с Дашей. Пока ехали, часто, говорят, крепилась.

На «своей половине» все двери были отперты, и нигде Николая Всеволодовича не оказалось.

– Уж не в мезонине ли-с? – осторожно произнес Фомушка.

Замечательно, что следом за Варварой Петровной на «свою половину» вошло несколько слуг; а остальные слуги все ждали в зале. Никогда бы они не посмели прежде позволить себе такого нарушения этикета. Варвара Петровна видала и молчала.

Взобрались и в мезонин. Там было три комнаты; но ни в одной никого не нашли.

– Да уж не туда ли пошли-с? – указал кто-то на дверь в светелку. В самом деле, всегда затворенная дверца в светелку была теперь отперта и стояла настежь. Подыматься приходилось чуть не под крышу по деревянной, длинной, очень узенькой и ужасно крутой лестнице. Там была тоже какая-то комнатка.

– Я не пойду туда. С какой стати он полезет туда? – ужасно побледнела Варвара Петровна, озираясь на слуг. Те смотрели на нее и молчали. Даша дрожала.

Варвара Петровна бросилась по лесенке; Даша за нею; но едва вошла в светелку, закричала и упала без чувств.

Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей. На столике лежал клочок бумаги со словами карандашом: «Никого не винить, я сам». Тут же на столике лежал и молоток, кусок мыла и большой гвоздь, очевидно припасенный про запас. Крепкий шелковый снурок, очевидно заранее припасенный и выбранный, на котором повесился Николай Всеволодович, был жирно намылен. Все означало преднамеренность и сознание до последней минуты.

Наши медики по вскрытии трупа совершенно и настойчиво отвергли помешательство.

Бесы.

Роман в трех частях

Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ. <i>Вместо введения: несколько подробностей из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского</i>	7
ГЛАВА ВТОРАЯ. <i>Принц Гарри. Сватовство</i>	27
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. <i>Чужие грехи</i>	51
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. <i>Хромоножка</i>	80
ГЛАВА ПЯТАЯ. <i>Премудрый змий</i>	100

Часть вторая

ГЛАВА ПЕРВАЯ. <i>Ночь</i>	131
ГЛАВА ВТОРАЯ. <i>Ночь (продолжение)</i>	161
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. <i>Поединок</i>	176
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. <i>Все в ожидании</i>	183
ГЛАВА ПЯТАЯ. <i>Пред праздником</i>	197
ГЛАВА ШЕСТАЯ. <i>Петр Степанович в хлопотах</i>	212
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. <i>У наших</i>	239
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. <i>Иван-Царевич</i>	254
[ГЛАВА ДЕВЯТАЯ]. <i>У Тихона</i>	260
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. <i>Степана Трофимовича описали</i>	281
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. <i>Флибустьеры. Роковое утро</i>	288

Часть третья

ГЛАВА ПЕРВАЯ. <i>Праздник. Отдел первый</i>	303
ГЛАВА ВТОРАЯ. <i>Окончание праздника</i>	320
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. <i>Законченный роман</i>	337
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. <i>Последнее решение</i>	350
ГЛАВА ПЯТАЯ. <i>Путешественница</i>	365
ГЛАВА ШЕСТАЯ. <i>Многотрудная ночь</i>	384
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. <i>Последнее странствование Степана Трофимовича</i> ...	404
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. <i>Заключение</i>	426

«Бесы», или Русская трагедия

В феврале 1873 г., сразу после того, как «Бесы» вышли отдельным изданием, Ф.М. Достоевский отправил экземпляр романа вместе с сопроводительным письмом А.А. Романову, наследнику престола, будущему императору Александру III. Много позднее этот эпизод из биографии писателя так комментировала А.Г. Достоевская: «Письмо это было адресовано его императорскому высочеству наследнику цесаревичу Александру Александровичу по следующему поводу: его высочество, всегда интересовавшийся произведениями Федора Михайловича, в разговоре с К.П. Победоносцевым выразил желание знать, как автор «Бесов» смотрит на свое произведение».

«Ваше императорское высочество Милостивейший государь, – писал Достоевский. – Дозвольте мне иметь честь и счастье представить вниманию Вашему – труд мой. Это – почти исторический этюд, которым я желал объяснить возможность в нашем странном обществе таких чудовищных явлений, как нечаевское преступление. Взгляд мой состоит в том, что эти явления не случайность, не единичны, а потому и в романе моем нет ни списанных событий, ни списанных лиц...»

Впрочем, это был далеко не единственный автокомментарий к «Бесам». Уже отослав в редакцию «Русского вестника» (журнал М.Н. Каткова, где печатались «Бесы») начало романа, Ф.М. Достоевский разъяснял редактору свой замысел. «Одним из числа крупнейших происшествий моего рассказа будет известное в Москве убийство Нечаевым Иванова. Спешу оговориться: ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не знал и совсем не знаю, кроме как из газет. Да если б и знал, то не стал бы копировать. Я только беру совершившийся факт».

Нет ничего удивительного в том, как скупое, без подробностей и обстоятельств дела, высказывается Достоевский о нечаевской истории: ведь он адресует к своим современникам, в чьей памяти события недавнего прошлого еще способны вызвать впечатления живые и непосредственные.

1

«Чудовищное преступление», «отвратительное московское убийство» – так квалифицировал Достоевский происшествие, имевшее место 21 ноября 1869 года. «Нам сообщают, – писала газета «Московские ведомости» несколько дней спустя, – что вчера, 25-го ноября, два крестьянина, проходя в отдаленном месте сада Петровской Академии, около входа в грот заметили валяющиеся шапку, башлык и дубину; от грота кровавые следы прямо вели к пруду, где подо льдом виднелось тело убитого, опоясанное черным ремнем и в башлыке... Тут же найдены два связанные веревками кирпича и еще конец веревки». Еще два дня спустя появились новые подробности преступления: «Убитый оказался слушатель Петровской Академии, по имени Иван Иванович Иванов... Деньги и часы, бывшие при покойном, найдены в целости; валявшиеся же шапка и башлык оказались чужими. Ноги покойного связаны башлыком, как говорят, взятым им у одного из слушателей Академии... шея обмотана шарфом, в край которого завернут кирпич; лоб прошиблен, как должно думать, острым орудием».

Достоевский читал «Московские ведомости» вдали от Москвы и от России. Уехав в 1867 году вместе с женой за границу, он тосковал по родине, жадно набрасывался на русские газеты и журналы; ревниво и страстно вникал во все, что происходило в России. Около середины сентября 1869 года из Москвы в Дрезден, где тогда жили Достоевские, приехал брат Анны Григорьевны, Иван Григорьевич Сниткин, студент той самой Петровской земледельческой академии, где (через полтора месяца после приезда И.Г. Сниткина к сестре и ее мужу) произошло убийство студента Иванова, близкого друга брата Анны Григорьевны. Впоследствии Анна Григорьевна писала: «Опасаясь, что мой брат, по молодости и бесхарактерности, может принять в них (студенческих беспорядках. – Л.С.) деятельное участие, муж уговорил мою мать вызвать сына погостить у нас в Дрездене... О студенте Иванове мой брат говорил как об умном и выдающемся по своему твердому характеру человеке и коренным образом изменившем свои прежние убеждения. И как глубоко потрясен был мой брат, узнав потом из газет об убийстве студента Иванова, к которому он чувствовал искреннюю привязанность!»

В Государственном архиве Москвы и Московской области хранится первый официальный документ, положивший начало многотомному делу, именуемому «Нечаевский процесс». Прочитаем рапорт исполнявшего должность директора Петровской академии профессора П.А. Ильенкова: «Честь имею донести для сведения, что 25 числа сего месяца (рапорт датирован 26 ноября 1869 г. – Л.С.) старостой и некоторыми крестьянами деревни Петровские Выселки усмотрено под льдом в верхней части академического пруда близ грота, прилегающего к академической роще, мертвое тело. Близ входа в грот находилась окровавленная меховая шапка, окровавленный кирпич с привязанной к нему бечевкой и кровавый след от грота к тому месту, где находился труп... Сегодня в присутствии пристава 4-го стана Московского уезда сделан осмотр вышеозначенной местности и признаков убийства и труп поднят из-под льда. При этом оказалось, что погибший есть студент Академии Иван Иванов, жительствовавший на ферме и который, отлучившись в Москву в пятницу 21-го ноября, с тех пор на занимаемую квартиру не возвращался».

Среди документов, которые были направлены руководством академии судебному следователю, имелось «Свидетельство о бедности», выданное Ивану Иванову в 1865 году, а также уведомление о том, что в течение трех лет Иванов, мещанин по происхождению, пользовался одной из свободных стипендий Лесного ведомства в размере 250 рублей в год. На момент убийства этого вспомоществования он уже не получал. Но и по другим признакам было понятно, что убийство совершено совсем не с целью ограбления.

«Вы вот высчитываете по пальцам, из каких сил кружки составляются?.. – скажет Ставрогин Петру Верховенскому, замышляющему убийство Шатова. – Подговорите четырех членов кружка уколошить пятого, под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитую кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать».

2

Трагедия в Петровской земледельческой академии имела предысторию. За три месяца до событий, в начале сентября 1869 года, из Женевы в Москву приехал Сергей Геннадиевич Нечаев, двадцатидвухлетний молодой человек, посланец М.А. Бакунина, наделенный мандатом, в котором было сказано: «Податель сего является од-

ним из доверенных представителей русского отделения Всемирного революционного альянса». За полгода, проведенных в Швейцарии (Нечаев бежал туда весной 1869 года, после того как принял участие в студенческих беспорядках в Петербургском университете), начинающему революционеру удалось, обманывая и мифицируя, создать себе репутацию вожака российского студенчества и политического мученика, преследуемого и гонимого самодержавием. Именно ему, маньяку революции, было поручено Бакуниным создать в России революционное общество, которое бы приняло к исполнению программу партии анархистов.

Выбор Нечаева пал на студентов Петровской земледельческой академии; максимально афишируя свои полномочия и связи с вождями русской эмиграции, он сколачивает революционные пятерки-ячейки и называет созданную организацию «Народной расправой». Впоследствии его сподвижники вспоминали: «У него ничего не было – ни семьи, ни личных привязанностей, ни своего угла, никакого решительно имущества, хотя бы такого же скудного, как у нас; не было даже своего имени, звали его тогда не Сергеем Геннадиевичем, а Иваном Петровичем...» Этот «худенький, маленький, нервный, вечно кусающий свои изъеденные до крови ногти молодой человек с горящими глазами и резкими жестами» (так характеризовал Нечаева один из членов кружка) был жесток и неумолим, когда речь шла о партийной дисциплине и беспрекословном ей подчинении. Худенький, маленький и нервный молодой человек в ходе создания партийной организации и решился испробовать надежнейший, как ему казалось, политический клейстер.

Позднейшие биографы Нечаева – особенно те из них, кто относился к революционеру-фанатику вполне сочувственно, – излагали версию о справедливом возмездии непослушному кружковцу примерно так: «Когда один из членов “Народной расправы”, студент Иванов, своими постоянными возражениями и невыполнением возлагаемых на него поручений стал подрывать работу кружка, то Нечаев всячески старался доказать ему недопустимость такой политики. Но Иванов продолжал действовать по-прежнему и пригрозил даже уходом из организации, что создавало опасность общего провала. Нечаев собрал тогда наиболее надежных членов кружка (Успенского, Кузнецова, Прыжова и Николаева) и предложил им убить Иванова, заманив его в темный грот парка при Петровско-Разумовской академии, под предлогом отыскания зарытого там типографского шрифта».

Читая показания одного из участников дела, Николаева, на судебном процессе, можно увидеть практику «нечаевщины» – гнусное, банальное, обусловленное «революционной пользой» разбойное нападение пятерых на одного: «Кузнецов схватил Иванова и повалил его у входа в грот. Тогда Нечаев, я и Успенский бросились на Иванова. Нечаев сел на грудь Иванова и стал его душить. Кузнецов сидел на ногах, а я и Успенский стояли около и ничего не делали. В это время Иванов несколько раз крикнул и сказал: “За что вы меня бьете, что я сделал?” ...Немного погодя он уже не кричал, но еще шевелился. Тогда Нечаев взял у меня револьвер и прострелил им голову Иванова...»

Но «нечаевщина» имела еще один, может быть, даже более важный по последствиям аспект – теоретический. Программа общества «Народная расправа», принципы и структура организации были зафиксированы в «Катехизисе революционера» – документе сколь циничном, столь и жестоком.

«...Товарищество всеми силами и средствами будет способствовать к развиту и разобщению тех бед и тех зол, которые должны вывести наконец народ из терпения и принудить его к поголовному восстанию...»

«...Наше дело – страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение...»

«...Революционер вступает в государственный, сословный, так называемый образованный мир и живет в нем только с верой в его полнейшее скорейшее разрушение. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире. Если он может, то становится пред истреблением положения, отношения или какого-либо человека, принадлежащего к этому миру, – все и всё должно быть ему равно ненавистно. Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, дружеские и любовные отношения; он не революционер, если они могут остановить его руку...»

«...Революционер... презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что помешает ему...»

«...У каждого товарища должно быть под рукою несколько революционеров второго и третьего разрядов, то есть не совсем посвященных. На них он должен смотреть как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение. Он должен экономически тратить свою часть капитала, стараясь извлечь из него наибольшую пользу. На себя он смотрит как на капитал, обреченный на трату для торжества революционного дела, только как на такой капитал, которым он сам и один без согласия всего товарищества вполне посвященных распоряжаться не может...»

«Катехизис» явочным порядком вводил и давал революционную санкцию иезуитской тактике «все средства хороши» – «товарищам» предлагалось проникать всюду, во все низшие и средние сословия, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в III отделение и даже в Зимний дворец. «Товарищам» рекомендовалось также использовать все остальное человечество, поделенное на категории, с одной-единственной точки зрения – пользы революционного дела.

И, видимо руководствуясь соображениями пользы, а также рассматривая себя как основной капитал революции, Нечаев сбежал за границу после расправы над Ивановым и краха «Народной расправы», оставив своих поделщиков расхлебывать чашу следствия, суда и приговора. Так что, если бы швейцарские власти спустя три года не выдали Нечаева российскому правительству, он никогда бы и не подумал о необходимости разделить ответственность за убийство со своими бывшими товарищами.

Через несколько месяцев после того, как Нечаев был привезен в Петербург, судим и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости (приговор от 8 января 1873 года на две недели опередил выход в свет отдельного издания «Бесов»), Достоевский в статье «Одна из современных фальшей», своеобразном автокомментарии к роману, так определил его цель: «Я хотел поставить вопрос и, сколько возможно яснее, в форме романа дать на него ответ: каким образом в нашем переходном и удивительном современном обществе возможны – не Нечаев, а *Нечаевы*, и каким образом может случиться, что эти *Нечаевы* набирают себе под конец нечаевцев?»

Поразительно, что и в самый момент убийства (на два месяца опередивший начало работы Достоевского над «Бесами»), и по завершении нечаевской истории, совпавшем с выходом отдельного издания романа, фигура вожака (Нечаева – Петра Верховенского) не была для писателя искомой целью. Как бы заведомо он понимал и хорошо представлял себе, откуда берутся Нечаевы. «Да, из Нечаевых могут быть существа весьма мрачные, весьма безотрадные и исковерканные, с многосложнейшей по происхождению жаждой интриги, власти, с стра-

стной и болезненно-ранней потребностью выказать личность». Но откуда берутся солдаты революции? Из кого вербуются прозелиты? И Достоевский формулирует итоговую задачу: «В моем романе “Бесы” я попытался изобразить те многочисленные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же злодеяния. Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем!.. В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, – вот в чем наша современная беда!»

«Бесы» – роман о дьявольском соблазне переделать мир, о соблазне революции. «Анатомируя и распластывая душу революционного подполья, Достоевский добрался до таких интимных тайников ее, в какие не хотели заглядывать, робко обходя их, сами деятели революционного подполья... Он знал о революции больше, чем радикальнейшие из радикалов, и то, что он знал о ней, было мучительно и жутко, раскалывало надвое и терзало противоречиями его душу». Так было сказано о Достоевском еще в 1921 году, всего через четыре года после того, как самая кровавая за всю историю России революция «победоносно» совершилась, и в провидческом знании писателя еще можно было усомниться. Сегодня, перечитывая «Бесов», мы имеем гораздо больше оснований для сопоставления нечаевской фантасмагории, отразившейся в романе, с трагедией реальной истории.

3

Большая Россия, больные люди... Мир искаженный и извращенный; мутный мир; «...мутно небо, ночь мутна». Первый из двух эпиграфов к роману – строки из пушкинских «Бесов». «Хоть убей, следа не видно, /Сбились мы, что делать нам? /В поле бес нас водит, видно, /Да кружит по сторонам».

Как липкая паутина, опутывают жителей губернии «роковые тайны». «Страшные и пугающие слухи» как «нечто неясное и неизбежное» вторгаются в быт обывателей, сеют неуверенность и подозрения. «Тайны, секреты! Откуда у нас вдруг столько тайн и секретов явилось!» – восклицает в недоумении Степан Трофимович Верховенский. Тайна прошлого, тайна брака, тайна семьи, тайна убийства держат в тисках едва ли не каждого персонажа романа. Всякое слово двусмысленно, всякое действие – с двойным дном, и всякий человек вовсе не тот, за кого себя выдает. «Это город тайн», – записал Достоевский в черновых материалах к роману.

Когда же наконец тайна «объявляется» или сама «выходит наружу», люди с ужасом шарахаются друг от друга, горестно восклицая: «Это не то, нет, нет, это совсем не то!» Из тайных превращаясь в явные, события вдруг обнаруживают свое истинное лицо; «с хохотом и визгом» изнаночный бесовский мир выдает свои секреты. И тогда помолвка оборачивается трескучим скандалом, именины – сборищем заговорщиков, «праздник гувернанток» – разбоем и пожаром, «роковая страсть» – разлукой и гибелью, «последняя надежда» – гримасой отвращения и петлей. Не только люди, но и события оказываются ряжеными, они только притворяются благопристойными и приличными, однако под видом одного происходит совсем другое, под личиной дозволенного таится запрещенное, под маской легального совершается подпольное.

Мир испорченный и отравленный, с плотной и густой атмосферой тайн, с событиями-оборотнями и людьми-ряжеными порождает тайных эмиссаров власти – ревизоров, соглядатаев, шпионов. Соблазн злоупотребления самозваной

властью в «городе тайн» чрезвычайно велик и легкодоступен – достаточно воображения и ловко пущенной в ход сплетни. Обаяние секретных поручений, особых полномочий, частных связей в Петербургах и Европах действует неотразимо; иллюзия «высоких сфер», «заграничных комитетов», «бесчисленных разветвлений» и «центральных бюро» смущает даже и нелегковерных. «Вышеозначенные члены первой пятерки наклонны были подозревать в этот вечер в числе гостей Виргинского еще членов каких-нибудь им неизвестных групп, тоже заведенных в городе, по той же тайной организации и тем же самым Верховенским, так что в конце концов все собравшиеся подозревали друг друга и один пред другим принимали разные осанки, что и придавало всему собранию весьма сбивчивый и даже отчасти романтический вид».

Микроб самозванной власти, пусть и совсем незначительной, кружит голову, и «самозванческая мелкота» – «мелкие бесы» – любой ценой стремится узаконить свой статус, укрепиться в новом качестве, удостовериться в надежности полномочий вышестоящего. Поэтому идея, что Петр Степанович Верховенский – эмиссар, приехавший из-за границы с высоким мандатом, «как-то сразу укоренилась и, натурально, льстила».

Болезнь русской личности, слабость и неопределенность пределов, ею занимаемых, легкость, с какой душа человека вытесняется из круга своего бытия, – эти основные черты российского самозванства проявились в «Бесах» с поистине неистощимым разнообразием вариантов.

Вряд ли можно назвать другое подобное произведение, даже и у Достоевского, где слабость и неопределенность пределов, занимаемых человеком, были бы столь значительны. Рамки бытия персонажей «Бесов» не просто слабы и неопределенны, они попросту фиктивны. Статус человека зыбок и крайне неустойчив; с большим трудом и лишь очень условно можно говорить о героях «Бесов», кто они. Видимость некоего положения, в высказка, под которой многие из них живут и «что-то там делают», меняется от ситуации; и даже тот, кто настойчиво пытается уяснить свой статус, испытывает серьезные затруднения.

В тех случаях, когда статус человека определен его профессией или службой (Кириллов – инженер, строитель мостов, Шатов – помощник приказчика у купца, Липутин – губернский чиновник, Лямшин – почтмейстер, Виргинский и Хроникер – мелкие конторские служащие и т. п.), служба, равно как и «присутственное место», также оказывается фикцией, ибо люди пребывают вне круга казенных обязанностей во все время своего романного существования. Не имея определенных занятий, герои «Бесов» сосредоточены на неких сокровенных планах, захвачены новыми мыслями, одержимы подпольными идеями. Борясь то за сохранение своих, то за разоблачение чужих тайн, они с необыкновенной легкостью втягиваются во всевозможные интриги, обманы и преступления. Подпольная деятельность приобретает профессиональный характер, полулегальное существование порождает манию «чужого статуса». Человек выдает себя не за того, кто он есть, и стремится к несвойственной для него роли; участвуя в событиях, которые имеют второй, изначальный смысл, он присваивает не принадлежащую ему власть.

Роман начинается с момента, когда в губернии только что поменялась законная власть и вместо доброго, мягкого Ивана Осиповича губернаторство приняли

Андрей Антонович и Юлия Михайловна Лембке. Процесс замены городской власти омраченотягчающими обстоятельствами; прежнего губернатора «сменили, и даже с неприятностями», а новому начальству, обнаружившему значительные злоупотребления и упущения со стороны предшественника, приходится принимать «срочные меры».

«Срочные меры», или административный восторг новоиспеченного и новопоставленного начальника, сразу обнажают ординарную схему: Лембке начинается правление с дискредитации прежних порядков, обещая, что «подобного более не будет», а свита губернатора верноподданнически стремится вытеснить из «высших сфер» влиятельную фаворитку старой власти Варвару Петровну Ставрогину.

Вместе с тем выясняется, что люди, завладевшие властью, получили ее абсолютно случайно – как бы дуриком. Нежданно-негаданно свалившееся на Лембке бремя власти застаёт его врасплох: с некоторым ужасом ощущает он полную неспособность и неготовность к осуществлению своей миссии. Будучи человеком отнюдь не губернаторских масштабов и амбиций, а, по собственному признанию, очень скромным деятелем, Лембке вполне бы удовольствовался «каким-нибудь самостоятельным казенным местечком, с зависящим от его распоряжений приемом казенных дров, или чем-нибудь сладеньким в этом роде, и так бы на всю жизнь». Женившись же на честолюбивой Юлии Михайловне, скромный и аккуратный фон Лембке «почувствовал, что и он может быть самолюбивым»: так начинается его вхождение в новую роль. Ореол крупного чина, мираж большой власти оказывают даже и на робкого, испуганного Лембке воздействие магнетическое: место хозяина губернии, отличаясь неотразимым обаянием, очень скоро освобождает от каких бы то ни было комплексов. И власть в лице губернатора, по сути своей случайная и выморочная, начинает притворяться законной, естественной и призванной.

Самозванец, севший на трон губернии, придумывает образ правления, нацеленный исключительно на воспроизводство самовласти. Имитация деятельности становится ключом к тому спектаклю, который разыгрывает власть-оборотень. Механизмы функционирования губернаторской власти, пусть и случайной, но намертво вцепившейся в шальное кресло, обнажены Лембке с предельным и каким-то неустрашимым цинизмом.

Во-первых, предусматривается предельная концентрация власти на самом верху. Лембке ни на миг не ставит под сомнение право верховной государственной власти на любое решение, принятое без обсуждений с кем бы то ни было по каким угодно соображениям. Произвол и автократическая деспотия верхов – краеугольный камень концепции Лембке. Во-вторых, допуская главенство верховной власти, которая может иметь разные виды, даже и диаметрально противоположные, новоиспеченный губернатор рассуждает жестко и определенно: придумывайте сверху все, что хотите, но дайте нам при этом полную власть на местах, и мы вас поддержим словесно во всех ваших начинаниях. Показательно, что саботаж нововведений становится естественным следствием губернской политики, занимающей позицию «чего изволите» по отношению к верху и позицию «что хочу, то и ворочу» по отношению к низу. В этом смысле Лембке допускает даже и республику: при условии сильной, бесконтрольной, циничной и узурпаторской власти на местах судьба такой республики заранее предreshена.

Идет как бы двойная игра с ориентиром на верх: при полном подчинении, полном послушании и полном верноподданничестве полное же и бездействие; и самое поразительное, что верхи такую структуру прекрасно понимают и с благодарностью принимают. Любая деятельность – общественная, политическая,

социальная – лишается в этом случае всякого смысла, ведь торжествующий цинизм в отношении целей власти, господствующей в «начальственном государстве», не допускает никакого гражданского общества, никакой социальной жизни. Все институты власти приобретают откровенно бутафорский характер, когда всякое преобразование фиктивно, всякий закон двусмыслен, всякое право иллюзорно. Имитация институтов власти – ударный пункт программы губернатора Лембе. «...Надобно, чтоб они были... ну, а с другой стороны, надо, чтоб их и не было. Все судя по взгляду правительства. Выйдет такой стих, что вдруг учреждения окажутся необходимыми, и они тотчас же у меня явятся налицо. Пройдет необходимость, и их никто у меня не отыщет».

Власть, которая признает законом только самое себя и стремится к самореализации, становится единственной и реальной ценностью манипуляционного и имитаторского способа правления.

Образ беспринципной, безыдейной, деспотической губернаторской власти, опутывающей Россию и цинично парализующей всякие политические преобразования, предложенные сверху и требуемые снизу, приобретает в декларациях Лембе черты мрачной социальной карикатуры. Однако при всей очевидной абсурдности картина власти, изображенная градоначальником, обнаруживает реально укорененные в действительности и весьма опасные тенденции.

Привычное стремление к имитации и маскараду власти, к бутафории и фикции в институтах управления имеет в своей основе одну серьезную причину. Неистребимое и всеобщее сомнение в законности законной власти порождает злоупотребление силой со стороны власти, не имеющей никакой другой идеи, кроме себя самой. Власть случайных людей, доставшаяся им путем интриг и мошенничеств, стремится узаконить себя любыми средствами, поэтому произвол со стороны аппарата власти выступает как самозащитный способ удерживать недоверие и сомнение в допустимых пределах. Но еще важнее другое. Власть, запятнанная самозванством и своеволием, неминуемо порождает, плодит новых самозванцев-претендентов; эскалация самозванства приводит к эскалации произвола.

5

«В чем состояло наше смутное время и от чего к чему был у нас переход – я не знаю, да и никто, я думаю, не знает...» – сетует Хроникер. Тем не менее образ смуты в «Бесах» имеет вполне ясные очертания. Смута как общественная реакция на незаконность законной власти плодит новых самозванцев, прельщает их соблазном легкодоступного и как бы вакантного губернского трона. Впрочем, это черта универсальная. «В смутное время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки... Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою из всех сил беспокойство и нетерпение». Но вот черта специфическая: «Правда, было у нас нечто и весьма посерьезнее одной лишь жажды скандала: было всеобщее раздражение, что-то неутолимо злобное; казалось, всем все надоело ужасно. Воцарился какой-то всеобщий сбивчивый цинизм, цинизм через силу, как бы с натуги».

Символично, что именно представители законной власти, то есть губернаторская чета, усыновляют всю эту «нетерпеливую сволочь», открывают двери «дрянейшим людишкам», дают приют бесовскому самозванству, всплывшему на волне смутного времени перемен.

Анализ взаимоотношений «хозяев губернии» и представителей «циничного племени» дает убедительную картину сращения власти «в законе» с преступным миром. Суть этих взаимоотношений можно назвать идейной коррупцией: обе стороны корыстно нуждаются друг в друге как в выигрышном средстве для достижения своих политических целей. «Мы так же служим общему делу, как и вы, — утверждает губернатор Лембке. — Мы только сдерживаем то, что вы расшатываете, и то, что без нас расплодилось бы в разные стороны. Мы вам не враги, отнюдь нет, мы вам говорим: идите вперед, прогрессируйте, даже расшатывайте, то есть все старое, подлежащее переделке; но мы вас, когда надо, и сдержим в необходимых пределах и тем вас же спасем от самих себя, потому что без нас вы бы только расколыхали Россию, лишив ее приличного вида, а наша задача в том и состоит, чтобы заботиться о приличном виде. Проникнитесь, что мы и вы взаимно друг другу необходимы».

Однако выгоды политического симбиоза, как бы ни декларировал их Лембке, начисто лишены «высшего смысла», то есть некоей государственной стратегии или дипломатической тактики. Виды губернаторской четы на «молодежь» связаны исключительно с соображениями честолюбия и служебного тщеславия. Жертвуя своими истинными убеждениями, Лембке вынужден (для успеха затеянной им политической игры) притворяться либералом.

Ставка на либерализм, когда он является не целью, а коварным, корыстным и временным средством нечестной политики, оборачивается крупным поражением всей политической игры. Крах губернаторской карьеры Лембке, наступивший в кратчайшие (уже через три месяца после начала правления) сроки, означал обреченность «верхних бесов», нежизнеспособность политического симбиоза мимикрирующей под маской либерализма законной власти с «циничным племенем» заговорщиков. Политическими авантюристами оказываются изначально обе «партии» — и партия правителей, и партия заговорщиков, и обе несут моральную ответственность за происшедшую катастрофу.

Более того, вина «верхов» за «всеобщий сбивчивый цинизм» неизмеримо серьезней, ибо атмосферу общественного скандала и раздражения стремятся выгодно использовать и они, попустительствуя и злорадствуя: как сказано об этом в романе, «дрянные людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать все священное, тогда как прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать; а иные так позорнейшим образом подхихикивать». Бесы смутного времени, таким образом, не изобретают, а лишь заимствуют у «законной власти» политические способы и методы, усваивая и притворство, и корысть, и манипуляторство, и игру в либерализм.

Сотрудничество бесов «верхних» и «нижних», равно как и статус Петруши Верховенского в доме губернатора («совершенно свой человек») имеют в романе глубоко символический смысл. Приют, который нашел Петр Степанович в гостиницах губернаторской четы, должен быть оплачен — и обе стороны в самом начале знают, чего они ждут друг от друга. Приближая Петра Степановича к своему дому, оба Лембке рассчитывают на него как на провокатора, который раскроет им заговор.

Обласканный и пригретый властями доносчик и провокатор Петр Верховенский формально совершает акт доноса: именно от него Лембке узнает о кучке заговорщиков во главе с Шатовым. Петруша идет даже дальше — он раскрывает Лембке всю заграничную сеть тайных обществ и ее здешних эмиссаров, называя связи и явки, квартиры (дом Филиппова) и готовящиеся акции.

Но только позже поймут и Лембке, и его супруга, что доносчик и провокатор так или иначе выйдет из-под контроля, что деятельности, находящейся за пределами морали, невозможно поставить рамки, что человек, предавший одну сторону, обязательно предаст и другую. Услуги провокатора стоят дорого, их нельзя контролировать, а особенно нельзя рассчитывать на его верность.

Итак, бесы – политические авантюристы, борясь с законной властью, копируют все ее методы и способы, воспроизводят все ее структуры. Являясь плотью от плоти системы, они в своем противостоянии старой государственности лишь меняют знаки, и то не все, а лишь некоторые. За вычетом псевдореволюционной фразеологии единственной серьезной претензией остается борьба за власть, желание заменить собой тех, кто у власти. Собственно говоря, это желание и становится энергией смуты; предельно категорично формулирует свой меморандум главный претендент на власть – Петр Верховенский: «Вы призваны обновить дряхлое и завонявшее от застоя дело; имейте всегда это пред глазами для бодрости. Весь ваш шаг пока в том, чтобы все рушилось: и государство и его нравственность... Этого вы не должны конфузиться... Мы организуемся, чтобы захватить направление; что праздно лежит и само на нас рот пялит, того стыдно не взять рукой».

Неправедная, эфемерная и неэффективная власть как бы приглашает желающих вступить с ней в легкую борьбу и одержать над ней быструю победу. Концепция российской власти, трактуемая в мире прокламаций как нечто праздное и вздорное, имеет весьма широкое хождение. «У нас не за что ухватиться и не на что опереться» – этот тезис становится руководящим; в стране, где все оказывается фикцией, господствуют маски, а не люди – они присваивают себе роли и должности, они имитируют государственную деятельность, они же и внушают, что с властью церемониться нечего. «Я уже потому убежден в успехе этой таинственной пропаганды, – объясняет онемечившийся русский писатель Кармазинов Петру Верховенскому, – что Россия есть теперь по преимуществу то место в целом мире, где все что угодно может произойти без малейшего отпора... Святая Русь – страна деревянная, нищая и... опасная, страна тщеславных нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живет в избушках на курьих ножках. Она обрадуется всякому выходу, стоит только растолковать. Одно правительство еще хочет сопротивляться, но машет дубиной в темноте и бьет по своим. Тут все обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет будущности».

По логике рассуждений уже порвавшего с Россией Кармазинова, логике в первую очередь самооправдательной и самообманной, смута и в самом деле кажется чуть ли не единственно возможным выходом из кризиса власти. В таком своем качестве смута нуждается в искусных толкователях – пропагандистах и агитаторах.

Власть «в законе», равно как и самозванцы, рвущиеся к власти, создают идеологический миф, который должен обосновать все властные притязания туманом неопровержимой законности.

Но если Лембке для поддержания своего престижа и авторитета не может придумать ничего лучше, чем укрепление губернской власти любой ценой, в том числе ценой грубого насилия, если его соперница Юлия Михайловна взамен безыдейной концепции супруга выдвигает программу сотрудничества салона при губернаторе с «молодежью, стоящей на краю», то платформа их политиче-

ских оппонентов, этих самых «людей на краю», уже по определению должна содержать идеи суперрадикальные, альтернативные, революционные.

И действительно, образ действия новых претендентов на власть имеет в романе теоретическое обоснование: идеология смуты опирается на ряд обязательных, программных источников, различных по жанру и происхождению.

«На столе лежала раскрытая книга. Это был роман “Что делать?”... – Просвещаешься? – ухмыльнулся Петр Степанович, взяв книгу со стола и прочтя заглавие. – Давно пора. Я тебе и получше принесу, если хочешь». В контексте «Бесов» социальная утопия, обещавшая счастье в виде колонн из алюминия и тружеников, поющих на тучных полях, является революционной Библией, каноном смуты, ее философской базой и политической платформой. «Их “Катехизисом”» называет Степан Трофимович роман-утопию Чернышевского и подчеркивает, что учебник не так и прост – в нем «приемы и аргументы», практика, может быть, и умеренная, но все равно опасная.

«О, как мучила его эта книга! Он бросал иногда ее в отчаянии и, вскочив с места, шагал по комнате почти в иступлении. – ...Как все это выражено, искажено, исковеркано! – восклицал он, стуча пальцами по книге. – К таким ли мы устремлялись? Кто может узнать тут первоначальную мысль?» Мечта Степана Трофимовича выйти из уединения и дать последний бой «Катехизису» терпит крах именно потому, что главный вывод из книги в глазах ее поклонников носит не дискуссионный характер. «Бесы» как бы фиксируют моменты, когда социальная утопия с прихотливыми фантазиями и чисто романическими ситуациями обретает статус «учебника жизни» и становится своеобразным указующим перстом для «деятелей движения».

Социальная утопия с репутацией догмы – таким представлен в Бесах идейный первоисточник, провоцирующий смуту. Идеологическое своеволие объявляет себя единственным носителем истины; политическая программа переделки мира «по новому штату» без всяких гарантий своей состоятельности, аморальность деятелей, самозванно присвоивших себе право решать за других, в чем их счастье, образуют некий изначальный дефект того теоретического фундамента, который положен в основу социального проектирования.

Утопия, принятая на веру, вместо веры и ставшая догмой, перестраивает сознание на мифологический лад; процесс канонизации представлений из «утопического набора», как показано в «Бесах», зашел слишком далеко. Так, взбунтовавшийся подпоручик «замечен был в самых невозможных странностях. Выбросил, например, из квартиры своей два хозяйские образа и один из них изрубил топором; в своей же комнате разложил на подставках, в виде трех налоев, сочинения Фохта, Мошотта и Бюхнера и пред каждым налоем зажигал восковые церковные свечи... Когда его взяли, то в карманах его и в квартире нашли целую пачку самых отчаянных прокламаций». Эпизод знаменательный: смена предметов культа сопровождается насилием – неважно, что новой Библией радикально настроенного и материалистически мыслящего человека оказываются естественнонаучные сочинения. Момент разрушения опостылевших святынь как бы освещается правотой новых; праведное насилие как бы санкционируется новообретенной истиной. Не случайно, что именно с фигурой взбесившегося подпоручика связана тема «самых отчаянных прокламаций» – второго по значению идеологического топлива для огня смуты.

Лозунги подпольных листовок, распространением которых заняты члены пятерки, обнаруживают поразительное сходство с идеями и символикой утопического учения, его социально-политической программой. Лишенные флера уче-

ной диалектики, подметные бумажки с беззастенчивой откровенностью указывают на основное средство к реализации утопии – безудержное насилие. Идеи, инспирированные утопией и переведенные на язык подпольной агитации, обретают образ устрашающе кровавый. В десятках вариантов разрабатывает писатель программу опровержения идеологического мифа смуты.

«Вы предлагаете счастье. Если предположить даже, что вы совершенно правы в окончательной цели стремления... то уже из одной прокламации вашей видно, до какой степени незрелы, ничтожны, легкомысленны ваши умы, а стало быть, до какой степени и не годятся они для достижения вашей же цели...»

«Но если вы не знаете наверно, что программа ваша истинна, каким образом вы берете на свою совесть злодейство разрушения?»

«Какую ответственность берете вы на себя за потоки крови, которые вы хотите пролить?»

«Но почему вы так уверены, что программа ваша непогрешима? Что, если это только вздор и совершенно нелепейшее незнание природы человеческой, во-первых, и русского народа в особенности?.. Вы говорите: кто не за нас, тот против нас, и всех с противоположными убеждениями обрекаете смерти, забывая, что спор есть во всяком случае развитие дела».

«Народ если и увлечется бунтом и грабежом, то тотчас же и усмирится, устроит что-нибудь другое, но по-своему и, пожалуй, еще гораздо худшее».

Однако логика вопросов на тему насилия как главного метода переустройства человечества должна была привести к созданию программы ответов – теми, перед кем эти вопросы ставились.

Так в романе «Бесы» появляется автор оригинальной, самостоятельно изобретенной теоретической системы о социальном устройстве общества Шигалев, главный идеолог смуты, бес-мономан. Свое право на монополию в области устройства мира он утверждает с фанатичным упорством:

«Кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого»; «Все, что изложено в моей книге, – незаменимо, и другого выхода нет; никто ничего не выдумает»; «Отвергнув книгу мою, другого выхода они не найдут. Никакого! Упустив же время, повредят себе, так как потом неминуемо к тому же воротятся»; «Я предлагаю не подлость, а рай, земной рай, и другого на земле быть не может»; «Меня убьете, а рано или поздно все-таки придете к моей системе».

Что лежит в основе идеологического своеволия и властной уверенности Шигалева? Узурпатор истины, якобы завладевший ключами от земного рая, он выдвигает и обосновывает тезис, согласно которому его доктрине нет и не может быть никакой альтернативы. Иначе говоря: отсутствие какой бы то ни было альтернативы, любого другого выбора, нежели тот, который навязывается волевым порядком, становится центральным пунктом идеологического мифа, конструируемого самозванцами, рвущимися к власти. Политический фатализм Шигалева, с которым он заталкивает своих собеседников, заговорщиков в изобретенную им систему земного рая, выступает как главный и решающий аргумент в его теоретических притязаниях. Произвол идеологического своеволия, претензия на личный духовный гегемонизм, самозванное мессианство теснят и вытесняют совесть – таков урок собеседования по толстой, мелко исписанной тетради из десяти глав. И, приглашая своих собеседников потратить десять вечеров на обсуждение книги, Шигалев рассчитывает утвердить диктат доктрины: приучить ее адептов к мысли о допустимости и неизбежности насилия в деле построения мировой гармонии, коллективно адаптироваться к грядущему и неотвратимому безграничному деспотизму с его якобы спасительной миссией и чудодейственной преобразующей ролью.

«Странное животное, которое называется человеком», считает Шигалев, обречено на безграничный деспотизм, ибо не приспособлено ни к чему другому. Идеология смуты в поисках царства справедливости упиралась в тупики безграничного произвола, декларировала отказ от ценностей гуманистических и демократических, насаждала тоталитаризм и насилие. В сущности, под знаменем этой идеологии смута, намереваясь радикально срезать сто миллионов голов, приняла окраску той среды, от которой она хотела отмежеваться, – все то же, только удешевленное самовластие, все то же разделение общества на разряды, все та же участь великого народа – быть рабом авторитарного государства. Своевольно предрешив будущее человечества «в духе прокламаций», бесы-самозванцы, одолеваемые нетерпением и жадой немедленного преобразования мира и целого века по приказу, переходят от идейных споров и «выработки мировоззрения» к политической практике. Идеологи уступают место политикам.

7

Политическая биография Петра Верховенского туманна и темна. Его прошлое возникает из странных слухов, недомолвок и двусмысленностей, его фигура «заграничного революционера» имеет некий непонятный изъян, отбрасывая злоеущую тень на все, что он делает и говорит в романе. С одной стороны, участвовал в составлении какой-то подметной прокламации, был притянут к делу и бежал (?) в Швейцарию, с другой – регулярно и по точному женевскому адресу получал из России деньги, а спустя четыре года возвратился домой; стало быть, не стал эмигрантом и не был ни в чем обвинен. Более того, «бывший революционер», известный как будто по заграничным изданиям и конгрессам, «явился в любезном отечестве не только без всякого беспокойства, но чуть ли не с поощрениями».

Однако сомнительная репутация Петра Верховенского, тянущийся за ним шлейф предательства и ренегатства, подозрения в связях с охранкой и разного рода фальсификации не мешают «нашим» признать Петрушу «двигателем» и вождем: слишком лестно и соблазнительно иметь шефом уполномоченного из заграничного центрального комитета.

Организация, которую за краткий период пребывания в России сумел слепить Петр Степанович, составила двадцать человек, или четыре пятерки. Но ни один из членов групп не знает истинных масштабов организации; в основе ее построения лежит принцип блефа – легенда о едином центре и огромной сети: «...пятеро деятелей составили свою первую кучку с теплою верой, что она лишь единица между сотнями и тысячами таких же пятерок, как и ихняя, разбросанных по России, и что все зависят от какого-то центрального, огромного, но тайного места, которое в свою очередь связано органически с европейскою всемирною революцией».

Итак, в основе организации, которую хочет создать Петр Верховенский, лежит принцип иерархического централизма с диктатурой центра. Объединенная уставом и программой, она задумана как общество тотального интеллектуального послушания, как собрание «единомыслящих». Чтобы внутри организации не возникало инакомыслия, тем паче оппозиции, все ее члены должны, «если надо, наблюдать и замечать друг за другом»; кроме того, каждый «обязан высшим отчетом», то есть отчетом только снизу вверх. Таким образом, система широчайшего взаимного политического контроля, насаждаемая Петром Верховенским и реализуемая как непрерывная слежка членов организации друг за другом, не распространялась только на самого организатора. Являясь устав-

ной обязанностью члена организации, донос и слежка должны были быть не только священным долгом, но и способом выживания.

«Там, куда мы идем, членов кружка всего четверо. Остальные, в ожидании, шпионят друг за другом взапуски и мне переносят. Народ благонадежный. Все это материал, который надо организовать...» – поясняет ситуацию Ставрогину Петр Верховенский.

Мощным рычагом кадровой политики организации должно было стать ее поголовное обюрокрачивание. Не стихийно, а как раз планомерно надеется Петр Степанович внедрить бюрократические принципы в структуру пятерок. «...Первое, что ужасно действует, – это мундир. Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности: у меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, председатели, регистраторы, их товарищи – очень нравятся и отлично принялось». Зная изнутри нравы и принципы общества, его бюрократические повадки, Шатов зло иронизирует, не ведая, разумеется, какую страшную и пророческую правду провидит в своем негодовании. «О, у них все смертная казнь и все на предписаниях, на бумагах с печатями, три с половиной человека подписывают», – сообщает он о механизмах внесудебных решений и технике приговоров.

Социалистическому идеалу как некой отвлеченной, абстрактной идее Петр Верховенский отводит место сугубо подсобное. От него – от идеала – должна остаться словесная оболочка, идейный антураж. Утилизация социалистической идеи, использование социалистической фразеологии необходимы Верховенскому в силу «чувствительности» к этой идее многих ее приверженцев. Сам же Петр Степанович чужд какой бы то ни было идеологической чувствительности и сентиментальности и с восторгом приемлет формулу Кармазинова: «В сущности наше учение есть отрицание чести... откровенным правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно». Обосновать это право как свободу от моральных норм, препятствий и обязательств, приучить организацию действовать любыми средствами становится актуальнейшей политической задачей. Борьба за цель, не боящаяся никаких средств, отрицание нравственных соображений, если они не увязываются с интересами организации или тем более противоречат ей, провозглашаются как новое революционное слово, как стратегия и тактика смуты. Старые тезисы Раскольникова «кровь по совести» и «все дозволено» в практике смуты выходят из подполья и внедряются в жизнь явочным порядком, подкрепляемые разрешительными декларациями.

Фарс политического спектакля «У наших», где Петр Верховенский осуществляет первую пробу новоиспеченной пятерке, состоит в публичном выявлении врага организации, шпиона и предателя, в назидательном уроке бдительности, в пропаганде особых приемов, при которых бдительность приносит свои плоды. Шпиономания как прием расправы с оппозицией была принята «нашими» с пониманием и сочувствием.

Органическое недоверие к «шелудивой кучке», презрение к «материалу», который ее составляет, пренебрежение, грубость, нелояльность по отношению к своим подопечным связаны, помимо всего прочего, с тем раздражением, которое испытывает Петр Верховенский по поводу независимого положения «наших». Незапятнанные, неskomпрометиrowанные и поэтому свободные, они опасны для него и для его дела. «Я вам давеча сказал, для чего вам Шатова кровь нужна... Вы эту мазью ваши кучки слепить хотите. Сейчас вы отлично выгнали Шатова: вы слишком знали, что он не сказал бы: “не донесу”, а солгать пред вами почел бы низостью». Совместная преступная акция, общий разделен-

ный грех злодейства, угадывает Ставрогин, и должны стать залогом группового единства, внутренней дисциплины и беспрекословного повиновения.

В контексте намечаемых событий Верховенскому вовсе не безразличен выбор жертвы. Первое, почти ритуальное, жертвоприношение задумано против оппонента, который (как почти «случайно» удается узнать) является личным врагом организатора убийства.

Можно представить себе, с каким волнением, а может быть, и с ужасом читал Достоевский материалы нечаевского дела – признания соучастников: ведь и ему предстояло описать поведение людей, впервые вышедших на террористический акт.

Только здесь и только сейчас, в момент уже неотвратимый, происходит раскол пятерки на тупых, безвольных исполнителей (Толкаченко, Эркель, Липутин, Лямшин) и людей опомнившихся. Только здесь и только сейчас осеняет Виргинского простая и здравая мысль: «Я хочу, когда он (Шатов. – Л.С.) придет, все мы выйдем и все его спросим: если правда, то с него взять раскаяние, и если честное слово, то отпустить. Во всяком случае – суд; по суду. А не то чтобы всем спрятаться, а потом кидаться». Только сейчас вспоминает Шигалев, что никто не видел доноса, и только здесь доводит до сведения собравшихся, что с точки зрения его теории замышляемое убийство есть потеря драгоценного времени и пагубное уклонение с дороги «чистого социализма».

Но именно потому, что даже те, кто в эту минуту протестовал против убийства, думали больше о своем политическом лице, а не о Шатове (которого по-человечески никто и не пожалел), он в конце концов и был убит. Ибо дистанция между казуистикой политического убийства и спасением человеческой жизни оказалась для всех без исключения «наших» непреодолимой. Тот факт, что никто из них не смог и не захотел реально помешать убийству, не сделал эффективной попытки предотвратить гибель человека, когда его жизнь была в их руках, преисполнен зловещего и трагического смысла. Политический клейстер был сварен, и отныне судьба пятерки была предрешена.

8

С чувством настоящего хозяина положения, с полным правом власть имущего держит Петр Верховенский заключительную речь «по сле Шатова». Он великодушен, он готов забыть «постыдное волнение Лямшина» (то есть его звериный вой и визг), «восклицания» Виргинского («Это не то, нет, нет, это совсем не то!»), «поступок» Шигалева (его уход). Он призывает всех преисполниться свободной гордостью, необходимой для «исполнения свободного долга», ибо теперь уже нет сомнения, что его «наши», загнанные в угол, выполняют «свободный долг» по первому требованию и по страшной инерции первого разделенного греха. «Теперь никто не донесет». В контексте этой минуты отчетливо обнажаются и политические амбиции Петра Верховенского в «воспитании и подборе кадров», – не скрывая своих намерений и уже не стесняя себя церемониями, он излагает свою кадровую программу: «Надо перевоспитать поколение, чтобы сделать достойным свободы. Еще много тысяч предстоит Шатовых». Здесь же и последнее напутствие: «Этого вы не должны конфузиться».

Акт политического бандитизма, совершенный пятеркой во главе с ее лидером, высветил генетический код будущего – если оно пойдет вслед за предначертаниями Петруши. Однако сам Петруша, этот уродливый гибрид политики и уголовщины, полагается в своих расчетах не только на такую банальщину, как

общая ответственность за совместно совершенные злодеяния. И хотя растление общим преступным грехом целого поколения действительно отвечало его программе, все же главное было не в этом. «Останемся только мы, заранее предназначенные себя для приема власти: умных приобщим к себе, а на глупцах поедем верхом». Главное было не только в факте приема власти, ее средствах и методах. Главное было в той философии и стратегии, символом которых явился, по предвидению Достоевского, Петр Верховенский.

«Мы проникнем в самый народ», – провозглашает Верховенский. При ближайшем рассмотрении самые неотложные, самые первоначальные цели главарей смуты – нравственное разложение народа, «одно или два поколения разврата... неслышанного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь, – вот чего надобно». Неоднократно на протяжении романа назначает Петр Верховенский сроки смуты: в мае начать, а к Покрову кончить, то есть в течение нескольких месяцев перевести Россию в режим правления смуты. В черновых планах «О том, чего хотел Нечаев» вопрос о новом режиме власти и сроках обсуждается еще более определенно: «Год такого порядка или ближе – и все элементы к огромному русскому бунту готовы. Три губернии вспыхнут разом. Все начнут истреблять друг друга, *предания не уцелеют*. Капиталы и состояния лопнут, и потом, с обезумевшим после года бунта населением, разом ввести социальную республику, коммунизм и социализм... Если же не согласятся – опять резать их будут, *и тем лучше*».

Принцип же Нечаева, новое слово его в том, чтоб возбудить наконец бунт, но чтоб был действительный, и чем более смуты и беспорядка, крови и провала, огня и разрушения преданий – тем лучше. «Мне нет дела, что потом выйдет: главное, чтоб существующее было потрясено, расшатано и лопнуло».

Образ смуты представляется Петру Верховенскому в подробностях поистине апокалипсических. Русский Бог, который спасовал перед «женевскими идеями», Россия, на которую обращен некий таинственный *index* как на страну, наиболее способную к исполнению «великой задачи», народ русский, которому предстоит хлебнуть «свеженькой кровушки», – не устоят. И когда начнется смута, «раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...».

Той новой силой, которая сможет ускорить события («одна беда – времени нет»), тем рычагом, который должен разом землю поднять, и явится Самозванец, Иван-Царевич. «Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого?.. Ивана-Царевича: вас, вас!»

Самозванец, ложный царь, обманным путем взявший власть и ставший во главе смуты, – это и был, наконец, тот план Петра Верховенского, за который он платил любой ценой.

Но ни с кем и ни за что делиться властью Петр Верховенский не собирается. Казарменный социализм – фаланстера (здесь пригодятся Фурье – Шигалев), авторитарное правление (здесь Петруша сам), тоталитарный режим («надо устроить послушанию») с мистикой и мифологией (легенда о скрывающемся царь-идоле, для чего и нужен поначалу Ставрогин), а также «новый правый закон» (то есть заведомо ложная агитация и пропаганда) – все это и составит «каменное строение», о котором самозабвенно пророчествует Верховенский.

«...И тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз! Строить *мы* будем, *мы*, одни *мы*!»

Неистово рвущийся к власти самозванец, автор и дирижер смуты, маньяк и одержимый, манипулятор и мистификатор Петр Верховенский вполне точно обозначил пунктиры будущего строительства. Под маской революционера, со-

циалиста и демократа, прикрываясь для официального политического ханжества фразеологией «ярко-красного либерализма», он намеревается устроить «равенство в муравейнике» при условии его полного подчинения деспотической диктатуре и идолократии. Страна, которую он избрал опытным полем для эксперимента, обрекается им на диктаторский режим, где народ, объединенный вокруг ложной идеологии, превращается в толпу, где правители, насаждая идолопоклонство и культ человекобога, манипулируют сознанием миллионов, где всё и вся подчиняется «единой великолепной, кумирной, деспотической воле». Логика смуты вела к диктатуре диктатора, к власти идеологического бреда, к кошмару привычного насилия.

«Боже! Петруша двигателем! В какие времена мы живем!» – поражался Степан Трофимович Верховенский. «О карикатура! – обращался он к сыну. – ...Да неужто ты себя такого, как есть, людям взамен Христа предложить желаешь?»

Взамен Христа – такая перспектива нисколько не смущала Петрушу.

«Политический обольститель», «провокактор-предатель», «ложный ум», «первый убивец», «шпион и подлец», «обезьяна», «злодей-соблазнитель» – так рекомендуют его «соратники», – оборотень Петруша перед самым своим таинственным исчезновением за пределы отечества кокетливо сокрушается: «Чертова должность».

Бесовская одержимость силами зла и разрушения, гордыня идеологического своеволия, самозванные претензии на владение миром, «сверхчеловеческое», «самобожеское» («сам Бог вместо Христа») мироощущение – эти глубинные, неискоренимые духовные пороки политического честолюбца и руководителя смуты на языке исторических былей обретали апокалипсическое значение, обнажая некие сущностные, неотменимые законы противостояния добра и зла. Россия, раздираемая бесами, стояла перед выбором своей судьбы; угроза ее духовному существованию, опасность превращения страны в арену для «дьяволова водевиля», а народа – в человеческое стадо, ведомое и понуждаемое к «земному раю» с «земными богами», были явственно различимы в демоническом хоре персонажей смуты. Нравственный и политический диагноз болезни, коренившейся в русской революции, художественный анализ симптомов и неизбежных осложнений равнялись ясновидению и пророчеству.

В 1914 году в статье «Русская трагедия» С.Н. Булгаков писал: «Если Достоевский, действительно, презирал в жизни ее трагическую закономерность, тогда уж наверное можно сказать, что не политика, как таковая, существенна для этой трагедии, есть для нее самое важное... Не в политической инстанции обсуждается здесь дело революции и произносится над ней приговор. Здесь иное, высшее судьбище, здесь состязаются не большевики и меньшевики, не эсдеки и эсэры, не черносотенцы и кадеты. Нет, здесь “Бог с дьяволом борется, а поле битвы – сердца людей”, и потому-то трагедия “Бесы” имеет не только политическое, временное, преходящее значение, но содержит в себе такое зерно бессмертной жизни, луч немеркнувшей истины, какие имеют все великие и подлинные трагедии...»

Вряд ли можно что-либо возразить автору. И все-таки действительность давала пищу для размышлений, окрашенных именно политическими реалиями. «Все сбылось по Достоевскому, – утверждал в 1921 году В. Переврзев. – ...В революции есть что-то дьявольски хитрое, бесовски лукавое. Ужас революции не в том, что она аморальна, обрызгана кровью, напоена жестокостью, а в том, что она дает золото дьявольских кладов, которое обращается в битые черепки, после совершения ради этого золота всех жестокостей. Революция соблазнительна, и

понятно вполне почти маниакальное увлечение ею. Достоевский и его герои прекрасно знают этот революционный соблазн... Но вот из бездны поднимается навстречу, рассеивая обаятельные призраки, ничем не ограниченная тирания, – и соблазн уступает место отвращению».

9

Если самозванство есть болезнь личности, утратившей духовный центр, если фанатическая претензия на мировое господство рвущегося к власти руководителя смуты обнажает ее коренной дефект, то чем в таком случае является отказ «героя-солнца», «князя и ясного сокола» Николая Ставрогина от трона и венца царя-самозванца, которые он может получить из рук заговорщиков? Что означает – и на языке символов, и на языке исторических былей – отказ от соучастия в смуте, пренебрежение несправедливой властью, сопротивление бесовской идее захвата мира, неприятие звания кумира – идола живого Бога?

В предыстории романа есть одна любопытная дата: конец 1867 года, когда русский путешественник за границей, дворянин и аристократ, красавец и проповедник Николай Ставрогин участвует в реорганизации общества по новому плану и пишет для него устав.

«Поймите же, – с неистовой злобой закричит на Николая Ставрогина два года спустя Петр Верховенский, – что ваш счет теперь слишком велик, и не могу же я от вас отказаться!.. Я вас с заграницы выдумал; выдумал, на вас же глядя. Если бы не глядел я на вас из угла, не пришлось бы мне ничего в голову!»

Причины, по которым ввязался Николай Всеволодович в политическую авантюру Петра Верховенского, ничего общего с политикой не имели; нечаянность, непреднамеренность его прежнего соучастия очевидны. Но даже случайное сотрудничество с «организацией» не проходит бесследно: тот, кто попал в ее орбиту, – человек меченый, обреченный.

«Вы, вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость! Вы член их общества! Это ли подвиг Николая Ставрогина!» – отчаянно восклицает Шатов во время их ночной встречи. И Ставрогин вынужден объясниться: «Видите, в строгом смысле я к этому обществу совсем не принадлежу, не принадлежал и прежде и гораздо более вас имею права их оставить, потому что и не поступал. Напротив, с самого начала заявил, что я им не товарищ, а если и помогал случайно, то только так, как праздный человек... Но они теперь одумались и решили про себя, что и меня отпустить опасно, и, кажется, я тоже приговорен».

В сущности говоря, пружиной романного действия, тайной интригой «Бесов» и является противостояние Верховенского и Ставрогина, которых связывает «взаимность тайн случайная». Широкомасштабная провокация Петра Степановича, предполагавшая убийство Шатова и самоубийство Кириллова, имела на данном отрезке времени конечную цель: обрести союзника, соучастника и соруководителя смуты в лице Ставрогина, затолкнув его с помощью шантажа в ситуацию подчинения и навязав ему роль Лжецаря – Стеньки Разина.

И что бы ни говорили о порочных свойствах «великого грешника», как бы ни осуждали его явные и тайные аморальные поступки, нельзя не считать с главным фактом: кровавого кошмара, который значился в программе Петра Верховенского, а также роли предводителя в ней Ставрогин не принял. Разобравшись в специфике надежд и упований «деятелей движения», от дальнейшего

соучастия отказался. Сознав реальную опасность мести Шатову, предупредил его о готовящемся убийстве. Несмотря на опутавшую его сеть шантажа, сохранил за собой личную свободу, игнорируя тактику компрометации и слежки. Разглядев амбиции беса-политика Петруши, не скрыл своего разочарования («если бы вы не такой шут, если бы только хоть каплю умнее») и почти физического отвращения к «пьяному» и «помешанному». Подводя итог своей жизни, дал нравственную оценку «верховенцам».

«Я не мог быть тут товарищем, ибо не разделял ничего, – пишет Ставрогин в предсмертном письме к Даше. – А для смеху, со злобы, тоже не мог, и не потому, чтобы боялся смешного, – я смешного не могу испугаться, – а потому, что все-таки имею привычки порядочного человека и мне мерзило». Черновик письма содержит не только нравственное, но и политическое суждение: «Я не могу обрадоваться, как вся наша молодежь, царству посредственности, завистливого равенства, глупой безличности, отрицанию всякого долга, всякой чести, всякой обязанности, отрицанию отечества и видящих цель в одном разрушении, и цинически отрицая всякую основу, которая бы могла их связать вновь, по разрушении всего, по осквернении всего и по разграблении всего, в то мгновение, когда уже нельзя будет жить и малым запасом уцелевших от истребления продуктов и вещей старого порядка». Трезвый политический анализ дает твердый прогноз: «Говорят, они хотят работать – не станут они работать. Говорят, они хотят составить новое общество? Нет у них связей для нового общества, но они об этом не думают. Не думают! Но все учения их сложились именно так, чтоб отвлечь их от думы».

Ставрогин не совершил подвига исповеди и покаяния. Ставрогин не избежал греха попустительства и бросил город на произвол разрушителей. Ставрогин был против убийства, но знал, что люди будут убиты, и не остановил убийц. Ставрогин не устоял в искушениях страсти и погубил Лизу. Ставрогин совершил смертный грех самоубийства.

Но Ставрогин не совершил преступления соучастия в «крови по совести», в разрушении по принципу. И может быть, в свете того реального опыта, который не обошел Россию, где была «попробована» программа Верховенского, феномен ее осмысления и осуждения, а также пример несоучастия, противоборства и отказа от самозванной власти и в самом деле явили собой нечто в высшей степени поучительное. Во всяком случае – по меркам позднейшего времени, – почти неслыханное.

Попробуем составить мартиролог романа «Бесы» – здесь список точен, и жертв можно назвать поименно... Расчет несложен: из тринадцати погибших персонажей (что составляет треть всех действующих лиц романа) только трое умерли своей смертью, без видимой связи с катастрофой, постигшей город. Остальные десять – прямые и косвенные ее жертвы, среди которых и те, кто был приговорен, и те, кто оказался свидетелем или родственником, и те, кто осуществлял убийство.

Опыт смуты – в виде лабораторного эксперимента – был произведен в масштабах только одного города, в течение только одного месяца, силами только одной пятерки заговорщиков, действовавших подпольно и пока не имевших власти.

Через три месяца после завершения первой пробы город оправился, отдохнул и отдышался – но не одумался: похоронив своих мертвецов и изолировав пятерку, он легкомысленно выпустил и позволил ускользнуть за границу ее руководителю. Успокоившись, люди начали вновь творить мифы, даже самого Петра

Степановича считая «чуть не за гения», по крайней мере с «гениальными способностями».

Ни под одну категорию обвиняемых не подошел Шигалев; смягчения своей участи ждал Виргинский; ни в чем не раскаялся Эркель; лгал и с надеждой готовился к предстоящему суду Липутин; позировал и жаждал судебных эффектов Толкаченко. Все, кто мешал или отказывался помогать, самоустранились или были устранены.

Все могло начаться снова и с иным размахом: ведь Россия «Бесам» не поверила.

10

Читающая публика, за малым исключением, была оскорблена романом Достоевского. Либеральное и демократическое общество считало своим долгом ахать и ужасаться при одной мысли об «уродливой карикатуре» и «злой клевете». За Достоевским было записано творческое банкротство, неспособность к объективному наблюдению, болезненное состояние духа. Его герои получили квалификацию манекенов, маньяков, психопатов, а роман в целом – нелестную аттестацию госпиталя для умалишенных, галереи сумасшедших.

Негодование по поводу «самого слабого, самого нехудожественного» произведения Достоевского наверняка было бы не столь значительным, если бы не особый пункт скорее идейного, чем художественного плана. Насколько верно (похоже или непохоже) изобразил писатель участников современного ему революционно-освободительного движения – вот ключевой вопрос, мимо которого не мог пройти никто из критиков и читателей Достоевского.

У всех на памяти был нечаевский процесс 1871 года. Все хорошо помнили речь адвоката В.Д. Спасовича о подсудимом. «Этот страшный, роковой человек всюду, где он ни останавливался, приносил заразу, смерть, аресты, уничтожение».

Демократическая молодежь, познакомившись с материалами судебного процесса, спешила отмежеваться от «мистического кошмара», искренне заявляла свое негодование по поводу теории и практики Нечаева и стремилась противопоставить его авантюризму нечто совершенно другое: образование, пропаганду книг. О тенденциях антинечаевского движения вспоминал П.А. Кропоткин: «Наш кружок оставался тесной семьей друзей. Никогда впоследствии я не встречал такой группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те человек двадцать, которых я встретил на первом заседании кружка Чайковского. До сих пор я горжусь тем, что был принят в такую семью».

Именно неприязнь к Нечаеву и к нечаевщине заставила Н.К. Михайловского возмутиться романом «Бесы». «Нечаевское дело есть до такой степени во всех отношениях монстр, что не может служить темой для романа с более или менее широким захватом». Ссылаясь на то, что нечаевщина нехарактерна для русского общественного движения, что она составляет «печальное, ошибочное и преступное исключение», революционная молодежь клялась, что никогда не пойдет по этому губительному следу.

Отрекаясь от нечаевщины, общество отворачивалось и от романа Достоевского. Вопрос стоял так: мы, которые так открыто заявляем о своем неприятии нечаевщины, не хотим видеть себя в персонажах «Бесов», мы – другие. Такая реакция была в целом нравственно здоровой, хотя и политически близорукой. Тот факт, что роман Достоевского возмутил демократическую интеллигенцию, свидетельствовал скорее в пользу возмущавшихся и сулил надежду, что болезненная прививка нечаевщины оградит русскую революцию от рецидива болезни. Тогда

казалось, что с нечаевщиной покончено раз и навсегда, ибо, как уверял Кропоткин, «такие приемы не могут иметь успеха в России».

В сущности же, осуждение Нечаева и нечаевщины ни тогда, ни позже не было ни безусловным, ни безоговорочным.

Уже в ходе процесса явственно обозначились демонизация и романтизация Нечаева. Подсудимые отзывались о нем с уважением, хотя и не без горечи. Даже более остальных разочаровавшийся в Нечаеве Кузнецов показывал, что Нечаев «о положении народа... говорил с страшным энтузиазмом, и видно было, что во всяком его слове была искренняя любовь...». Ему вторили Николаев, Прыжов, Рипман и другие. Особенно восторженно говорил о Нечаеве Успенский: «Нечаев обладал страшной энергией и производил большое влияние на лиц, знавших его. Он был верен своей цели, очень предан своему делу и личной вражды ни к кому не имел...»

Имеет смысл сопоставить по крайней мере три оценки М.А. Бакунина, сыгравшего роковую роль в создании феномена Нечаева и становлении личности этого подпольного революционера. Первая относится к лету 1870 года, когда Нечаев, скрывшись от ареста после убийства студента Иванова, находился в Европе. «Он обманул доверие всех нас, он похитил наши письма, он нас страшно скомпрометировал, одним словом, он вел себя как негодяй. Единственным извинением может служить его фанатизм... Это фанатик». Вторая оценка зафиксирована в дневнике Бакунина спустя год, 1 августа 1871 года, после прочтения судебных отчетов по делу нечаевцев. «Процесс Нечаева. Какой мерзавец!» И третья – спустя еще год с лишним, после ареста Нечаева швейцарской полицией и выдачи русским властям; обращаясь к Огареву, разделяя с ним груз моральной ответственности за «художества» Нечаева, Бакунин писал: «Итак, старый друг, неслыханное свершилось. Несчастного Нечаева республика выдала... Не знаю, как тебе, а мне страшно жаль его... Он был человек редкой энергии, и, когда мы с тобой его встретили, в нем горело яркое пламя любви к нашему забитому народу...»

Дело, конечно, не в том, что Бакунин пожалел арестованного Нечаева и посочувствовал «несчастному». Несомненно, несчастный нуждался в сострадании и сочувствии, кем бы он ни был и что бы ни делал до наступившего несчастья. Дело в наборе оправдательных аргументов и в той логике, которая сквозит в письме Бакунина, – логике исторической реабилитации: да, Нечаев лгал и сделал много зла, но в нем горело «яркое пламя любви к народу».

Не один Бакунин страдал отсутствием этического максимализма. Простая истина о том, что цель, достигаемая дурными методами, не есть благая цель, была недоступна сознанию даже тех, кого пугали и настораживали методы: пусть Нечаев и его соратники поступали бесчестно и подло, но они стремились к великой и прекрасной цели.

Исподволь в мире революционного подполья разворачивался процесс нравственной адаптации к Нечаеву и нечаевщине. Внимательный читатель «Бесов» и беспощадный их критик, опубликовавший два разбора романа («Недоконченные люди» и «Больные люди») в 1872 и 1873 годах, П.Н. Ткачев, сам, видимо, того не замечая, повторял пассажи Петра Верховенского, агитирующего за «скорый ход на всех парах через болото». В пылу полемики Ткачев негодовал: «Ждать! Учиться, перевоспитываться!.. О Боже, неужели это говорит живой человек живым людям?.. Да имеем ли мы право ждать? Имеем ли мы право тратить время на перевоспитание? Ведь каждый час, каждая минута, отдаляющая нас от революции, стоит народу тысячи жертв; мало того, она уменьшает самую вероятность успеха переворота... Мы не можем и не хотим ждать!»

Подталкивать историю в спину (знакомое нам «Клячу историю загоним!») становилось постепенно делом все более привычным. Пропаганда, хождение в народ не давали желаемого эффекта и мгновенного результата, народ оказывался совсем не таким, каким он должен был быть по планам народников, – социалистических идей не понимал и от пропаганды не возгорался.

Обратим внимание на поразительный факт: изобразив «своего Нечаева» – Петра Верховенского – нравственным монстром и мошенником, Достоевский предупреждает: «Да неужели же вы вправду думаете, что прозелиты, которых мог бы набрать у нас какой-нибудь Нечаев, должны быть непременно лишь одни шалопаи? Не верю, не все; я сам старый “нечаевец”, я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, и уверяю вас, что стоял в компании людей образованных... Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, *в случае если б так обернулось дело?* Конечно, тогда и представить нельзя было: как бы это могло *так обернуться дело?* Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать: *Нечаевым*, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но *нечаевцем*, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности».

Это признание исключительно важно не только как констатация той общности – типологической или генетической, – которую Достоевский увидел в петрашевцах и нечаевцах. Может быть, в гораздо большей степени это – предупреждение, пророческое предостережение об опасности, угрожающей лучшим из лучших, о разрушительной и прилипчивой болезни, могущей перерасти в эпидемию.

Совершенно очевидно: Достоевский предвидел появление революционеров совсем иного, чем Нечаев, склада, «чистейших сердцем и простодушнейших», но делавших «явную и бесспорную мерзость». Предсказал их появление в самом ближайшем будущем, в своем «теперешнем времени», разглядев в них людей «большого террора».

24 января 1878 года политическое затишье было нарушено. Выстрел Веры Засулич в петербургского градоначальника Трепова стал началом нового этапа движения – и по качеству революционного поведения, и по методам, и по способам борьбы. И сегодня потрясает хронология террора 1878–1879 годов: 1 февраля 1878 года – убийство шпиона Никонова, 23 февраля – покушение на товарища прокурора киевского окружного суда Котляревского, май – убийство киевского жандарма Гейкинга, август – Кравчинский на улице закалывает кинжалом шефа жандармов Мезенцова, февраль 1879 года – убийство харьковского губернатора Кропоткина, март – убийство шпиона Рейнштейна и покушение на шефа жандармов Дрентельна, 2 апреля А.К. Соловьев стреляет в Александра II. Уже в марте 1878 года на прокламациях, выпускавшихся в связи с террористическими актами, появилась печать с изображением пистолета, кинжала и топора (!). Под листовками стояла подпись: «Исполнительный комитет Социально-революционной партии» (такое название получила террористическая фракция «Земли и воли»).

Тень «Народной расправы» нависла над Россией, дух ее лидера, заточенного в Петропавловской крепости, будоражил воображение землевольцев и им сочувствовавших.

Как-то незаметно для самих землевольцев пункт их программы, предусматривавший «систематическое истребление наиболее вредных или выдающихся лиц из правительства и вообще людей, которыми держится тот или другой ненавистный нам порядок», становился главным в их деятельности. Революционные кружки сначала на юге России, а затем и землевольцы в Петербурге посте-

пенно втягивались в террор. Тактикой политического убийства «вредных или выдающихся лиц» овладели «чистейшие сердцем и простодушнейшие», «блестящая плеяда». Цель вновь начала оправдывать средства. Даже выстрел Веры Засулич не отнял у Достоевского надежду на «чистых сердцем». Проникновенные слова Засулич на суде: «Страшно тяжело поднять руку на человека» – Достоевский прокомментировал в «Дневнике писателя» в «ее пользу»: «Это колебание было нравственное, чем само пролитие крови».

Чем дальше, тем больше «чистые сердцем» действовали уже без колебаний. Право на теракт – «кровь по совести» – нашло общественное признание и было нравственно санкционировано.

«Тяжело, страшно, но бывает необходимо, а потому ты невиновна» – эта экстраординарная судебная формула, примененная к Засулич, узаконивала насилие и кровопролитие: методы грубой силы против грубой силы. Каждый получал право самостоятельно решать, кто должен быть убит, а кто нет и когда именно «бывает необходимо» лишить человека жизни. Убийство по политическим мотивам или покушение на убийство переставало быть преступлением.

В этом «бывает необходимо» таилась огромная разрушительная сила: двойной стандарт применительно к морали и правосудию делает любого человека беззащитным перед террором.

«В истории развития общественного сознания 24 января и 31 марта (выстрел Засулич и суд над ней. – Л.С.) являются прологом той великой исторической драмы, которая называется судом народа над правительством, – писал впоследствии видный земледелец О.В. Аптекман. – В истории же развития нашего революционного движения делу Засулич суждено было стать решительным поворотом этого движения».

Земледелец Аптекман, создавший обстоятельные и, как удостоверяют историки, точные воспоминания, увидел и понял главное в переломном моменте, когда Россия остановилась, «колеблясь над бездной». «Революционер становится все более и более агрессивным... У него за поясом кинжал, а в кармане револьвер: он не только не будет защищаться, но и нападать... Неумолимая логика событий втянула революционеров в свой водоворот, и они, чтобы не захлебнуться, ухватились за террор, как утопающий за соломинку». О.В. Аптекман увидел и другое: программа «Земли и воли», в принципе осуждающая террор, верная народнической стратегии и тактике, все-таки содержала зерно, из которого мог вырасти и вырос монстр-колосс. Землеольцы успокаивали себя: «Террористы – это не более как охранительный отряд, назначение которого – оберегать... работников от предательских ударов врагов... “Земля и воля”... считает... нужным прибегать к террору как к специальной форме борьбы для специальных случаев». Определять «специальность» случая оставалось делом субъективным, произвольным, непредсказуемым.

Тайное общество «Свобода или смерть», возникшее внутри другого тайного общества – Исполнительного комитета «Земли и воли», – в мае 1879 года подвело окончательную черту: раскол «Земли и воли» стал реальностью. И вот важнейшее свидетельство одного из участников: «Теперь, когда я вновь переживаю перипетии этих драматических событий, для меня все более и более становится понятной роковая неизбежность этого раскола». Общество, в печатном органе которой могла появиться статья, где черным по белому было написано: политическое убийство – это осуществление революции в настоящем, – такое общество было обречено. «Проклятая нечаевщина...» – так, по преданию, бормотали землеольцы, противники террора. «Не надо так уж трястись и скрипеть зубами при

слове “нечаевщина”» – так, по преданию, возражали противникам террора его сторонники.

Для доказательства того, что общество застраховано от перерождения, что оно не превратится в корпорацию убийц, в фабрику тайных казней по нечаевскому образцу, была изобретена теория одного, самого главного, последнего убийства, убивающего все прочие убийства. Соблазнительная теория окончательного убийства стала краеугольным камнем «Народной воли», центральным пунктом ее программы...

Январь 1881 года. Полным ходом идут приготовления к убийству Александра II. Нежданно-негаданно Исполнительный комитет «Народной воли» получает письмо от Нечаева, того самого Нечаева, который вот уже восемь лет как исчез в казематах Петропавловской крепости. Узник рavelина не просит и не требует – он предлагает принять меры к его освобождению.

В исторической повести Ю. Трифонова об Андрее Желябове «Нетерпение» воспроизводится реакция народовольцев на это предложение.

«Два, три года назад мы, действительно, были далеки от него (Нечаева. – Л.С.) и имели право возмущаться, а сейчас, дорогие друзья, мы заметно к нему приблизились... Мы почти выполняем программу “Катехизиса”. Там было сказано, что революционер должен проникнуть всюду, во все сословия, в барский дом, в военный мир, в литературу, в Третье отделение и даже в Зимний дворец. Я помню отлично, потому что это место меня тогда поразило и показалось сказкой. Теперь мы знаем, что вовсе не сказка, все выполнено: мы проникли к военным, к литераторам, наш агент есть у Цепного моста и побывал в Зимнем дворце!

...Мы собираемся в одно из ближайших воскресений казнить царя, а он – не шпион, не предатель, не личный враг. Но мы надеемся этой казнью приобрести некую власть над историей, повернуть колесо российской фортуны. Убиваем ради блага России! В этом-то вся трагическая сложность: мечтаем о мирном процветании, а вынуждены убивать, стремимся к земскому собору, чтоб убеждать словами, а сами готовим снаряды, чтоб убеждать динамитом... Если бы Сергей Геннадиевич не был сейчас в рavelине, он бы сидел с нами и руки у него были бы такие же черные... от динамита».

Спустя годы Вера Фигнер так вспоминала о впечатлении, которое произвело на нее и на ее товарищей письмо Нечаева: «Он писал, как революционер, только что выбывший из строя, пишет товарищам, еще оставшимся на свободе... Исчезло все, темным пятном лежавшее на личности Нечаева, вся та ложь, которая окутывала революционный образ Нечаева. Оставался разум, не померкший в долголетнем одиночестве застенка, оставалась воля, не согнутая всей тяжестью обрушившейся кары, энергия, не разбитая всеми неудачами жизни».

Адаптация к имени и личности Нечаева исподволь сменялась его исторической реабилитацией. Политический монстр, нравственное чудовище, циник и мистификатор, лжец и убийца уступал место страдальцу-революционеру, положившему жизнь за святое дело, из последних сил боровшемуся против «поганого строя».

Микроб нечаевщины оставался реальной угрозой. Но болезнь, о которой столь недвусмысленно предупреждал Достоевский, старались не замечать, даже когда ее симптомы стали очевидны, – на знамени социальной революции не должно было быть никаких «лишних» пятен. От «Бесов» предпочитали отмахиваться: клеймо «реакционного романа» позволяло не принимать в расчет его истины – и вечные, и злободневные. Уроки «Бесов», к несчастью для России, не пошли ей впрок.

В настоящем издании «Бесов» предпринята еще одна попытка публикации романа вместе с главой «У Тихона» (глава девятая второй части), то есть так, как это соответствовало замыслу Ф.М. Достоевского (см.: Ф.М. Достоевский. Бесы. /Предисловие Ю.Ф. Карякина. Примечания Л.И. Сараскиной. Ижевск: Удмуртия, 1990; Ф.М. Достоевский. Бесы/, Предисловие, подготовка текста, примечания Л.И. Сараскиной. М.: Московский рабочий, 1993).

В академических, научных изданиях роман «Бесы» принято публиковать в соответствии с текстом отдельного прижизненного (1873) издания произведения, то есть без главы «У Тихона» в корпусе романа. Однако, несмотря на многие бесспорные аргументы, препятствующие включению выпавшей главы в текст «Бесов» (все они приведены в статьях Антологии), есть один, по слову Достоевского, «неотразимый» аргумент в пользу публикации главы в основном корпусе романа. А именно: сознание читателя, независимо от прежних цензурных рога-ток включающее исповедь Ставрогина в событийный и художественный ряд романа. Тот факт, что романное бытие Ставрогина осмыслено только при наличии у него исповеди («новой пробы», «новой мысли»), только при осуществлении акта исповеди (то есть визита к Тихону) и последовавшей неудаче, – требует прочтения «Бесов» с главой «У Тихона», занимающей в архитектонике романа свое законное место и время: наутро, после объяснения с Петром Верховенским («Иван-Царевич»), Ставрогин отправился к Тихону, а от него к Юлии Михайловне Лембке; неудача с исповедью обусловила катастрофический обвал событий романа.

Текстологические накладки, связанные с изъятием главы «У Тихона» и последовавшей правкой романа, неизмеримо менее ощутимы для целостного восприятия «Бесов», чем те смысловые потери, которые неизбежны при чтении романа без главы или главы вне романа. Подобные соображения (также воспроизведенные в статьях Антологии) и позволили подготовить данное издание с включением главы «У Тихона» в корпус романа.

Текст романа «Бесы» дается по изданию: Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. В 30-ти тт. Т. 10. Л.: Наука, 1974.

Текст главы «У Тихона» дается по изданию: Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. В 30-ти тт. Т. 11. Л.: Наука, 1974. С. 5–30.

В настоящем издании восстановлено написание религиозных терминов в соответствии с текстом романа «Бесы», вышедшего при жизни Ф.М. Достоевского (1873).

Л.И. Сараскина

«БЕСЫ»:

АНТОЛОГИЯ
РУССКОЙ
КРИТИКИ

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Пророк русской революции

(К юбилею Достоевского)

28 января 1906 года исполнится 25 лет со дня смерти Достоевского.

Вещим предзнаменованием кажется то, что он умер накануне 1 марта, первого громового удара той грозы, которая надвигалась на нас четверть века, и что первые поминки по нем справляются среди разразившейся наконец бури.

Он ведь и сам носил в себе начало этой бури, начало бесконечного движения, несмотря на то, что хотел быть или казаться оплотом бесконечной неподвижности; он был революцией, которая притворилась реакцией.

«Будущая самостоятельная русская идея у нас еще не родилась, а только чревата ею земля ужасно и в страшных муках готовится родить ее», — писал он в своем предсмертном дневнике.

Сам Достоевский — первый вопль этих мук рождения.

«Вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездною», — писал он еще раньше, в 1878 году. От этой бездны он и отворачивался, и пятился, и цеплялся судорожно за скользкие края обрыва, за мнимые твердыни прошлого — православие, самодержавие, народность. Но если бы он увидел то, что мы сейчас видим, — понял ли бы, что православие, самодержавие, народность, как он их разумел, не три твердыни, а три провала в неизбежных путях России к будущему? Она пошла туда, куда он звал, к тому, что он считал истиной. И вот плоды этой истины. Россия уже не «колеблется», а падает в бездну. Самодержавие рушится. Православие в большем «параличе», нежели когда-либо. И русской народности поставлен вопрос уже не о первенстве, а о самом

существовании среди других европейских народов.

На чью же сторону стал бы Достоевский, на сторону революции или реакции? Неужели и теперь не почувствовал бы дыхания уст Божиих в этой буре свободы? Неужели и теперь не отрекся бы от своей великой лжи для своей великой истины?

Достоевский — пророк русской революции. Но как это часто бывает с пророками, от него был скрыт истинный смысл его же собственных пророчеств.

Существует непримиримое противоречие между внешнею оболочкою и внутренним существом Достоевского. Извне — мертвая скорлупа временной лжи; внутри — живое ядро вечной истины. Надо разбить скорлупу, чтобы вынуть ядро. Это оказалось не по зубам русской критике. Но у русской революции достаточно крепкие зубы: разбивая многое из того, что представлялось несокрушимо твердым, она разбила и политическую ложь Достоевского. И вот перед нами три осколка, три грани этой лжи: «самодержавие», «православие» и «народность». А за ними — нетленное ядро истины, лучезарное семя новой жизни, то малое горчичное зерно, из которого вырастет великое дерево будущего: эта истина — пророчество о Святом Духе и о Святой Плоти, о Церкви и Царстве Грядущего Господа.

Может быть, правда, которую я хочу сказать о Достоевском на этой юбилейной тризне, покажется жестокою. Но я люблю его достаточно благоговейною любовью, чтобы сказать о нем всю правду. Он — самый родной и близкий из всех русских и всемирных писателей не мне одному. Он дал нам

всем, ученикам своим, величайшее благо, какое может дать человеку человек: открыл нам путь ко Христу Грядущему. И вместе с тем он же, Достоевский, едва не сделал нам величайшего зла, какое может сделать человек человеку, – едва не соблазнил нас соблазном Антихриста, впрочем, не по своей вине, ибо единственный путь ко Христу Грядущему – ближе всех путей к Антихристу. Мы одолели соблазн; но, зная, по собственному опыту, всю его силу, мы должны предостеречь тех, кто идет за ним по тому же пути.

Не мы судим Достоевского, сама история совершает свой страшный суд над ним, так же как над всей Россией. Но мы, которые любили его, которые погибали с ним, чтобы с ним спастись, не покинем его на этом страшном суде: будем с ним осуждены или с ним оправданы. Суд над ним – над нами суд. Мы не обвинители, даже не свидетели – мы сообщники Достоевского.

Доныне казалось, что у него два лица – Великого Инквизитора, предтечи Антихриста, и старца Зосимы – предтечи Христа. И никто не мог решить, иногда сам Достоевский не знал, какое из этих двух лиц подлинное, где лицо и где личина. Мы уже знаем. Но чтобы увидеть лицо, надо снять личину. Я это и хочу сделать.

Только Достоевским можно обличить Достоевского; только Достоевским можно оправдать Достоевского. С ним я против него, с ним я за него. То, что я делаю, он сделал бы сам.

I

Однажды в детстве, будучи совсем один в ясный предосенний день, на опушке леса, он услышал над собою, среди глубокой тишины, громкий крик: «Волк бежит!» – и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал в поле, прямо на пашущего мужика Марей; разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другою за его рукав. Тот

успокоил его: «Что ты, что ты?.. какой волк?.. Померещилось... Уж я тебя волку не дам... Христос с тобой!» И мужик перекрестил мальчика «с почти материнской улыбкою пальцами, запачканными в земле».

В этом воспоминании преобразована вся религиозная жизнь Достоевского. Маленький Федя вырос и сделался великим писателем. Вместе с Федей вырос и мужик Марей в великий «народ-богоносец». Но таинственная связь между ними осталась неразрывною. С тех пор часто слышал Достоевский страшный крик: «Волк бежит! Зверь идет! Антихрист идет!» – и каждый раз кидался к мужику Марейу вне себя от испуга. И тот защищал его и успокаивал с «почти материнской улыбкою»: «Уж я тебя волку не дам! Христос с тобой!» И крестил. Это и было истинное крещение Достоевского – не в церкви, а в поле, не святой водою, а святой землею.

В чем же собственно сила мужика Марейя, спасающая от «волка», от Зверя-Антихриста? В святой Божьей земле, в сырой матери-земле, которая там, на последней черте горизонта, соединяется со святым Божиим небом. «Христианин – крестьянин», – объясняет сам Достоевский. В этом последнем грядущем, не совершившемся, но возможном соединении крестьянства с христианством, правды о земле с правдою о небе, заключается религиозная сила мужика Марейя. Он – древний Микула Селянинович, богатырь темных земных глубин, и в то же время – новый Святогор, богатырь горных, звездных вершин. Святой Егорий, победитель «Дракона, Змия древнего». Он – русский «народ-богоносец». Крестьянство есть христианство, а может быть, и наоборот: христианство есть крестьянство. Не старое, государственное, византийское, греко-российское, а юное, вольное, народное, мужичье христианство и есть «православие». Такова основная мысль Достоевского.

«Русский народ весь в православии. Более в нем и у него ничего нет да и не надо, потому что православие – все. Православие – Церковь, а Церковь – увенчание здания и уже навеки. Кто не понимает православия, тот никогда и ничего не поймет в народе. Мало того: тот не может и любить русского народа».

В этой основной мысли и основная ошибка Достоевского. Он принимает будущее за настоящее, возможное за действительное, свое новое апокалипсическое христианство за старое историческое православие.

Крестьянство хочет сделаться христианством, но не сделалось. Правда о земле хочет соединиться с правдой о небе, но не соединилась: для исторического христианства, православия, соединение это оказалось невозможным. И никогда еще до такой степени, как в настоящее время, крестьянство не было противоположным христианству. Тут в первобытном стихийном единстве народных верований что-то раскололось, дало трещину, и эта сперва малая трещина, постепенно углубляясь, сделалась, наконец, тою бездною, о которой говорит Достоевский: «вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездною».

Сила мужика Марeya в земле; но земля куда-то уходит от него. «Нет земли», эта, некогда тихая, жалоба, делаясь все громче и громче, превратилась, наконец, в отчаянный вопль, рев мятежа крестьянского и всенародного великой русской революции. Вопит земля, а небо глухо. Земля залита кровью, а небо черно или красно от зарева пожаров. Христианство, уйдя на небо, покинуло землю; и крестьянство, отчаявшись в правде земной, готово отчаяться и в правде небесной. Земля – без неба, небо – без земли; земля и небо грозят слиться в одном беспредельном хаосе. И кто знает, где дно этого хаоса, этой бездны, которая вы-

рылась между землей и небом, между крестьянством и христианством?

Из этой основной ошибки вытекают все остальные обманы и самообманы Достоевского.

Как в отношении своем к русскому простонародному христианству, так и в отношении этого христианства к просвещению вселенскому смешивает он будущее с настоящим, возможное с действительным, апокалипсическое с историческим.

«Окончательная сущность русского призвания заключается в разоблачении пред миром русского Христа, миру неведомого и которого начало заключается в нашем родном православии. По-моему, в этом вся сущность нашего могучего будущего. цивилизаторства и воскрешения хотя бы всей Европы».

В чем же заключается особенность православия или, как Достоевский выражается, «русского Христа»? Он дает несколько определений православия, но не может остановиться ни на одном.

«Во всей вселенной нет имени, кроме Его (Христа), которым можно спастись» – вот будто бы «главная идея православия». Определение слишком широкое: оно обнимает не только православное, но и католическое, и протестантское, и всякое вообще христианское исповедание, ибо все они, точно так же, как православие, признают имя Христово единственно спасительным.

«Господи, Владыко живота моего» – в этой молитве вся суть христианства, а народ знает эту молитву наизусть. Главная же школа христианства, которую прошел он, – это века бесчисленных и бесконечных страданий.

Последнее определение, в противоположность первому, слишком узкое для религии самого Достоевского, хотя, может быть, и верное для православия.

Ведь если монашество в пору своего расцвета не сумело включить в себя зачаток светской культуры, то нет никакого основания думать, что теперь, в пору своего упадка, оно сумеет включить в покаянную молитву Исаака Сирина все необъятные горизонты современного европейского и всемирного просвещения. Ведь именно монашеский уклон, понимание христианства как уходение от мира, и был главной причиной того, что Христос действительно ушел от мира и мир ушел от Христа. Утверждать этот уклон значит утверждать и это расхождение. Если бы Достоевский настаивал на последнем определении, то ему пришлось бы отказаться или от России с ее «русским Христом», или от Европы с ее вселенским просвещением. Ни того, ни другого он сделать не мог. Он искал другого определения и, действительно, нашел более глубокое и точное для всей собственной религии, но для православия окончательно ложное.

Православие восточное есть, будто бы, всемирное духовное объединение людей во Христе. Западное, римско-католическое, папское христианство противоположно восточному. Западное воплощение идеи всемирного объединения «утратило христианское духовное начало». «Римским папством было провозглашено, что христианство и идея его без всемирного владения землями и народами *не духовно, а государственно* – другими словами, без осуществления на земле новой всемирной римской монархии, во главе которой уже не римский император, а папа, – осуществлено быть не может. Таким образом, в восточном идеале – сначала духовное единение человечества во Христе, а потом уж, в силу этого духовного соединения, и несомненно вытекающее из него правильное государственное и социальное единение; тогда как по римскому толкованию – наоборот: сначала заручиться прочным государственным единением в виде все-

мирной монархии, а потом уж, пожалуй, и духовное единение под началом папы как владыки мира сего».

Тут неясность от двусмысленного употребления слова «государство». В первом случае, когда говорится о православии и вытекающем из духовного единения во Христе «правильном государственном единении», под «государством» разумеется нечто абсолютно противоположное тому, что обозначается теми же словами «государство» во втором случае, когда говорится о римском католичестве и об его отречении от христианского, «духовного начала» во имя «государственного владения землями и народами».

В первом случае «государство» понимается как царство Божие, как *теократия*, то есть безгранично свободная, любовная общечеловечность, отрицающая всякую внешнюю насильственную власть, и, следовательно, как нечто не похожее ни на одну из доньше существовавших в истории государственных форм; во втором случае «государство» разумеется как внешняя насильственная власть, как царство от мира сего, царство дьявола – *демонократия*. Если бы устранить эту двусмысленность и довести до конца противоположение любовного, свободного единения людей единению насильственному, государственному, то получились бы для самого Достоевского неожиданный, но неминуемый вывод: совершенное отрицание всякой внешней государственной власти, всякого земного царства, во имя единого Царя царствующих и Господа господствующих, совершенная *анархия*, конечно, не в старом, поверхностном, социально-политическом, а в новом, гораздо более глубоком религиозном смысле, всемирная анархия как путь ко всемирной теократии, безвластие как путь к боговластию.

Но едва ли бы Достоевский решился утверждать, что теократическая

анархия есть идеал восточного и, в частности, русского христианства, православия. А чего нет в религиозном идеале, того, конечно, нет и быть не может в религиозной действительности: безграничная покорность всем властям земным, совершенный отказ от любовной и свободной общественности, совершенное порабощение церкви государству – такова историческая действительность православия. На Западе происходила борьба духовной власти со светской, нового христианского идеала всемирной теократии с древнеримским, языческим идеалом всемирной монархии; римский первосвященник для того, чтобы превратиться в римского кесаря, должен был изменить своему первоначальному христианскому идеалу. На Востоке отречение от свободы Христовой в области общественной, победа языческого государства над христианскою церковью произошла без всякой борьбы и без всякой измены, потому что и бороться было не с чем, изменять нечему за отсутствием всякой идеи общественной святости в самом идеале православия. Историческая деятельность совершенно противоположна исторической схеме Достоевского: идея всемирного духовного единения человечества во Христе существовала, хотя и с неудачными попытками осуществления, только в западной половине христианства, в католичестве, тогда как в православии эта идея и не брезжила. Здесь, на Востоке, римский кесарь, самодержец в языческом смысле, «земной бог», «человекобог» – каким был до христианства, таким и остался в христианстве. И не было такого насилия, такого кошунства, такого непотребства самодержавной власти, которые не благословлялись бы православной церковью. Последний предел этой власти достигнут в естественном продолжении и завершении восточной Римской империи – в русском самодержавии. И ежели государственная

власть пап Достоевскому кажется отречением от Христа, то русское самодержавие должно бы ему казаться прямым и широким путем в царство Антихриста.

А противопоставлять самодержавие папству, как духовную христианскую свободу – государственному языческому насилию, как теократию – демократии, значит делать черное белым и белое черным.

Достоевский наконец понял, что, оставаясь на почве православия, нельзя найти вселенский смысл в «русском Христе». Тогда, оставив церковь, обратился он к русскому просвещению, к двум величайшим представителям его – Петру и Пушкину.

В преобразованиях Петра Достоевский находит «способность высоко синтетическую, способность всепримиримости, всечеловечности». «В русском человеке нет европейской непроницаемости. Он со всем уживается и во все вживается. Он сочувствует всему человеческому, вне национальности, крови и почвы. Он инстинктом угадывает общечеловеческую черту даже в самых резких исключительностях других народов: тотчас же соглашает, примиряет их в своей идее и нередко открывает точку соединения и примирения в совершенно противоположных сопернических идеях двух различных европейских наций».

«Допетровская Россия понимала, что несет внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше, – православие, что она – хранительница настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других народах». Но «древняя Россия в замкнутости своей готовилась быть не права. С петровской реформой явилось расширение взгляда беспримерное. Подобной реформы нигде никогда и не было. Это – почти братская любовь наша к другим народам; это – потребность наша всеслужения человечеству, даже в ущерб иногда собственным ближайшим ин-

тересам; это – нажитая нами способность в каждой из европейских цивилизаций или, вернее, в каждой из европейских личностей открывать и находить заключающуюся в ней истину. Там, в Европе, каждая народная личность живет лишь для себя и в себе, а мы начинаем с того, что станем всем слугами, для всеобщего примирения. И в этом величие наше, потому что все это ведет к окончательному единению человечества. Кто хочет быть выше всех в царствии Божием, стань всем слугой. Вот как я понимаю русское назначение в его идеале».

Ту же русскую особенность Достоевский видит в Пушкине: «мы поняли в нем (Пушкине), что русский идеал – всецелость, всепримиримость, всечеловечность».

Петр дал общественную, Пушкин – эстетическую форму русской «всечеловечности»; Достоевскому предстояло влить религиозное содержание в эту форму. Всечеловечество как путь к Богочеловечеству, соединение света Христова с просвещением вселенским возможно только в том случае, если во вселенском просвещении скрыто начало света Христова, во всечеловечестве – Богочеловечество, которое христианскому сознанию и предстоит раскрыть во всей полноте. Причем недостаток или даже совершенное отсутствие этого христианского сознания в современной европейской культуре – в науке, философии, искусстве, общечеловечности – не должно смущать: ведь главное отличие всечеловечества как пути и средства, от Богочеловечества как цели и заключается именно в том, что в первом, во всечеловечестве, еще не соединено религиозным сознанием человеческое с Божеским, тогда как во втором, в Богочеловечестве, это соединение уже произошло окончательно. Достоевскому и предстояла задача соединить несоединенное, показать, что европейская культура, помимо

Христа и даже как будто против Христа, все-таки идет ко Христу, от Христа Пришедшего ко Христу Грядущему, и что, следовательно, путь России и Европы, несмотря на все кажущиеся временные расхождения, один и тот же вечный путь.

Как же Достоевский разрешил эту задачу? – Никак.

Едва успев ее поставить, тотчас же сам для себя закрыл все пути к ее разрешению.

«На Западе, воистину, уже нет христианства». «Европа отвергает Христа». В римском католичестве «продажа истинного Христа за царства земные совершилась». И в наследии католичества, в социализме, этой попытке современного человечества «устроиться на земле без Бога», – закончилось, будто бы, то, что началось в католичестве, – сознательное отречение западного христианства от Христа.

Ежели это действительно так, ежели в Европе совершается не отречение Петра, который покается, когда пропоет Петух, а отречение Иуды Предателя, ежели современное европейское просвещение – абсолютная ложь, царство Антихриста, то какое может быть «общение света с тьмою, Христа с Велиаром» – абсолютной истины с абсолютной ложью? И какое реальное значение имеет русская способность «находить в каждой из европейских цивилизаций заключающуюся в ней истину»?

Наука – главная творческая и движущая сила европейского просвещения. «Но в науке лишь то, – говорит старец Зосима, – что подвержено чувствам. Мир же духовный, высшая половина существа человеческого отвергнута вовсе, изгнана с неким торжеством, даже с ненавистью. Вослед науке хотят устроиться без Христа...» Достоевский признает, что Россия должна получить от Европы только внешнюю прикладную сторо-

ну знания. «Но просвещения духовного нам нечего черпать из западноевропейских источников за полнейшим присутствием источников русских... Наш народ просветился уже давно... Все, чего они желают в Европе, – все это давно уже есть в России в виде истины Христовой, которая всецело сохраняется в православии». С таким принятием Европы согласилась бы, пожалуй, и старая Московская Русь. Но тогда зачем Петр? И какие могут быть отсюда пути к христианскому всечеловечеству?

Такой же смертный приговор произносится Достоевским над всю общественностью, над освободительным движением новой Европы. «Провозгласил мир свободу, и что же мы видим в этой свободе? Одно лишь рабство и самоубийство».

В настоящем Европы, в ее промышленно-капиталистической жизни – «царство Ваала», бога крови и золота. «Да будет проклята цивилизация, если для ее сохранения необходимо сдирать с людей кожу. Но однако же это факт: для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу».

Будущее Европы еще безнадежнее настоящего. «В Европе все подковано и, может быть, завтра же рухнет бесследно, на веки веков». «Она накануне падения, ваша Европа, повсеместного, общего и ужасного». «Пролетарии бросятся на Европу – и все старое рухнет навеки». «Германия – мертвый народ и без будущего». «Провалится Франция. Сами себя погубят. Таких даже и не жалко». «Уничтожатся французы... Останутся дикие, которые проглотят Европу. Из них подготавливается исподволь, но твердо и неуклонно, будущая бесчувственная мразь».

А к прошлому нет возврата. «Европа – кладбище. Дорогие там лежат покойники... Паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, в то же время убежденный всем

сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более».

Так вот что значит «почти братская любовь» России к Европе: любовь живого к мертвому. Русский образованный человек может целовать эти «старые чужие камни», плакать над ними и умиляться: «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия». Но что же делать русскому мужику Марею, Микуле Селяниновичу с европейским кладбищем? Разве только смести мертвые камни, мертвые кости, «осколки святых чудес», и вспахать для нового русского сева старую европейскую землю, утучненную прахом «дорогих покойников». Вся Европа – только затонувший материк, древняя Атлантида, которую зальет волнами русский океан. Если это и любовь, то от такой любви не поздоровится!

Кажется, сам Достоевский иногда чувствовал, что его необыкновенная «всечеловеческая» любовь к Европе похожа на необыкновенную человеческую ненависть. «Если бы вы знали, – пишет он приятелю из Дрездена в 1870 г., – какое кровное отвращение, до ненависти, возбудила во мне к себе Европа в эти четыре года. Господи, какие у нас предрассудки насчет Европы!.. Пусть они ученые, но они ужасные глупцы... Здешний народ грамотен, но до невероятности необразован, глуп, туп, с самыми низменными интересами».

Кажется, Достоевский чувствовал и то, что на такую любовь Европа не может ответить России ничем, кроме ненависти. «В Европе все держат против нас камень за пазухой». «Европа нас ненавидит». «Европа презирует нас, считает низшими себя, как людей, как породу, а иногда дерзим мы им, мерзим вовсе, особенно когда им на шею бросаемся с братскими поцелуями». «Мы для них не европейцы, мешаем мы им, пахнем нехорошо». Всех славян вообще «Европа готова заваривать кипятком, как гнезда кло-

пов в старушечьих деревянных кроватях». «Там (в Европе) порешили давно уже покончить с Россией. Нам не укрыться от их скрежета, и когда-нибудь они бросятся на нас и съедят нас».

В заключение совет – чтобы не быть съеденными, самим съест Европу. Таково наше христианское «вселенение человечеству». Но мы ли съедем Европу или Европа съест нас, во всяком случае этот русский скрежет уже тем омерзительнее европейского, что прикрывается «братскими поцелуями», от которых действительно «нехорошо пахнет». На эти поцелуи «русскому Христу» Христос вселенский мог бы ответить: друг, целованием ли предаешь Сына Человеческого?

Начав за здравие, Достоевский кончает за упокой не только европейской, но и русской Европы – русской интеллигенции. Тут в его суждениях такое же противоречие между первою посылкою и последним выводом, как и в суждениях о западноевропейской культуре. Посылка: истина всечеловечности, заключенная в русской интеллигенции, должна быть соединена с истиной Христовой, заключенной в русском народе. Вывод: у русской интеллигенции нет никакой истины, никакого возможного соединения с православным «русским Христом»; для того, чтобы соединиться с народом, русская интеллигенция должна отречься от своей последней сущности – от Европы.

«Мы (русские интеллигенты), – говорит Достоевский, – заключаем в себе великие русские начала общечеловечности и всепримиримости». – «Но мы сознали, что идти далее нам одним нельзя, что в помощь нашему дальнейшему развитию необходимы нам и все силы нашего русского духа. Мы приносим на родную нашу почву образование, показываем прямо и откровенно, до чего мы дошли с ним и что оно из нас сделало. А затем будем ждать, что скажет вся нация, приняв от

нас науку». – «Мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего – и мысли и образа. Но преклониться мы должны под одним лишь условием, чтобы народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой. Не можем же мы совсем перед ним уничтожиться и даже перед какой бы то ни было его правдой; наше пусть остается при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже в крайнем случае и за счастье соединения с народом. В противном случае, пусть уже мы оба погибаем врозь».

Такова посылка, а вот вывод.

По поводу унтер-офицера, Фомы Данилова, попавшегося в плен к туркменам и замученного за православную веру, Достоевский восклицает: «Это эмблема всей России, всей нашей народной России!» – «Нам (русским интеллигентам) вовсе и нечему учить такой народ. О, конечно, мы образованнее его, но чему мы, однако, научили его – вот беда! Я, разумеется, не про ремесла говорю, не про технику, не про математические знания – этому и немцы заезжие по найму научат. А мы чему?.. У народа есть Фомы Даниловы и их тысячи, а мы совсем и не верим в русские силы, да и неверие это считаем за высшее просвещение и чуть не за доблесть». – «Нам даже и невозможно уже теперь сойтись с народом, если только не совершится какого чуда в земле Русской». – «И тут прямо можно поставить формулу: кто не понимает православия, тот никогда не поймет народа нашего. Мало того: тот не может и любить народа русского».

Но ведь это формула не соединения, а разъединения. Русский интеллигент, пока остается самим собою, то есть русским европейцем, не может понять православия, так же как Европа не понимает его. А следовательно, не может понять и русского народа. Остается «погибать врозь». Достоевский, впрочем, надеется, что

погибающий интеллигент в последнюю минуту, как маленький Федя, испуганный волком, бросится к мужику Марею, уцепится за него и будет им спасен, но, разумеется, только ценою отречения от своей интеллигентской, европейской сущности.

Как бы то ни было, Достоевскому не удалось определить «русского Христа» ни из русского и вселенского христианства, ни из русского и вселенского просвещения – всечеловечности. После всех тщетных попыток определения получился безвыходный круг неопределенности, уравнения с двумя неизвестными: православие есть всечеловечность, всечеловечность есть православие; $X = Y$, $Y = X$.

Эта невозможность определить свою религию происходит у Достоевского не от бессилия религиозного сознания, а от противоречия между этим сознанием, которое во что бы то ни стало хочет быть православным, и бессознательными религиозными переживаниями, которые в православие не вмещаются.

Противоречие, видимое уже и в отвлеченном созерцании, во всемирно-исторической схеме, которой Достоевский старался определить отношение России к Европе, обнаруживается окончательно в реальном действии, в современной международной политике, в которой мечтал он воплотить эту всемирно-историческую схему, особенно в статьях по восточному вопросу из «Дневника писателя» за 1876–77 год, накануне и во время русско-турецкой войны.

«Константинополь должен быть наш», – неожиданно заключает Достоевский проповедь о смиренном «всеслужении» русского народа человечеству. «Константинополь должен быть наш, завоеван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки», – повторяет он во время русско-турецкой войны. «Спасение именно в том, если Россия займет Константинополь одна, для се-

бя, за свой счет». – «Вовсе не для политического захвата и насилия».

Пусть «не для», но ведь и не без «политического захвата и насилия», не без кровопролитий, может быть, всевропейской войны. «Восточная война, – предсказывает Достоевский, – сольется со всевропейской, и даже лучше будет, если так разрешится дело. О, бесспорно страшное будет дело, если прольется столько драгоценной человеческой крови... Но пролитая кровь спасет Европу».

«Спасет ли пролитая кровь?» – ставит он тот же вопрос, как в «Преступлении и наказании», и в области общественной дает тот же страшный ответ, как нигилист Раскольников в области личной: «разрешает себе кровь по совести».

«Разумеется, это грустно, но что же делать, если это так. Уж лучше раз извлечь меч, чем страдать без срока». – «Человечество любит войну: тут потребность... Долгий мир ожесточает людей, производит разврат». – «Война очищает зараженный воздух, лечит душу, прогоняет позорную трусость и лень». – «Без войны провалился бы мир или, по крайней мере, обратился бы в какую-то слизь, в какую подлую слякоть, зараженную гнилыми ранами». – «Война необходима... Это возмутительно, если подумать отвлеченно, но на практике выходит, кажется, так».

А христианство? «Христианство само признает факт войны и пророчествует, что меч не пройдет до кончины мира... Война разбивает братолюбие и соединяет народы».

В этом оправдании войны скрыт софизм, достойный Великого Инквизитора. Что «пролитая кровь спасает», доказано жертвою Голгофы. Но освящать именем Христовым пролитие не своей, а чужой крови – значит не с Христом распинаться, а распинать Христа; освящать войну, всемирное человекоубийство, именем христиан-

ства – значит распинать Богочеловека в Богочеловечестве.

Социалисты, по уверению Достоевского, «хотят залить мир кровью», и он за это считает их бесноватыми; но ведь и сам он того же хочет, с тою лишь разницей, что революционеры, подобные Шигалеву, требуют «сто миллионов голов» во внутренней, а реакционеры, подобные Достоевскому, во внешней политике. И не с тем же ли правом, с каким он восклицает: «Да будет проклята цивилизация, если для ее сохранения необходимо сдирать с людей кожу», – можно бы воскликнуть «Да будет проклято христианство, если для его сохранения необходимо сдирать с людей кожу»?

Остается только утешаться тем, что сдирание кожи с еретического человечества спасает православное «всечеловечество». «Это возмутительно, если подумать отвлеченно, но на практике выходит, кажется, так».

Римское католичество, по мнению Достоевского, «возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, тем самым провозгласило Антихриста». Но не то же ли самое делает и православие Достоевского, который только и мечтает о царстве земном, о всемирной римской монархии?

«Москва (Россия) еще третьим Римом не была, а между тем, должно же исполниться пророчество: без Рима мир не обойдется».

Константинополь и должен быть третьим русским Римом, главою новой всемирной монархии. «Константинополь должен быть наш» по праву византийского двуглавого орла, древнего герба России, по праву наследия восточной Римской империи. Русский «православный царь» и есть восстановитель этой империи и, «когда прогремит веление Божие, – освободитель православия от мусульманского варварства и западного еретичества».

Кстати, сопоставление «западного еретичества», то есть, в сущности, всего западноевропейского просвещения, с «мусульманским варварством», как двух темных царств, побеждаемых единым светлым царством православия, находится в бездонном противоречии с тем, что Достоевский говорит о преобразовании Петра Великого как явлении русской «всечеловечности». Тут, впрочем, что ни мысль, то провал в бездонное противоречие.

Завоевание Константинополя только первый шаг России в Азию по следам всех великих завоевателей, ибо только там, в Азии, над колыбелью и гробом человечества возможно последнее всемирное единение человечества, всемирная монархия. И Достоевский предсказывает для России «необходимость в захвате Азии». – «В Азию! В Азию!» – как будто бредит он в предсмертном дневнике. – «Пронесется гул по всей Азии, до самых отдаленных пределов ее. Пусть в этих миллионах народов, до самой Индии, даже и в Индии, пожалуй, растет убеждение в непобедимости Белого Царя и в несокрушимости меча его... Имя Белого Царя должно стоять превыше ханов и эмиров, превыше Индейской императрицы, превыше даже самого калифова имени».

Наполеон шел в Азию. Он казался русскому мужику Марю «Антихристом». Но Достоевский все-таки жалеет, что «в двенадцатом году, выгнав от себя Наполеона, мы не помирились с ним, под условием, чтоб у нас был Восток, а у него Запад». Мы разделили бы мир пополам, конечно, только до времени, пока обе половины старого мира не соединились бы в новый третий русский Рим.

Разумеется, для такого соединения Европы с Азией «всеевропейская война» должна сделаться всемирною, должны пролиться уже не реки, а моря «драгоценной человеческой крови». Но над этими морями крови и про-

изойдет «настоящее воздвижение Христа Христова»; это и будет «окончательное слово Православия, во главе которого давно уже стоит Россия».

Такова «братская любовь России к другим народам» – не только в религиозном созерцании, но и в политическом действии, не только в теории, но и на практике: Россия проглотит сначала Европу, потом Азию и, наконец, весь мир. Это любовь даже не живого к мертвому, а хищного зверя к добыче, хищной птицы к труп. «Где труп, там соберутся орлы». Вселенная – труп. И русский двуглавый орел насытится трупом вселенной.

Берет Его дьявол на весьма высокую гору, и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если падиши поклониться мне.

В кровавом бреде Достоевского о всемирной русской монархии «русский Христос» поклонился дьяволу:

«Взявший меч от меча погибнет. Нет, непрочно мечом составленное... После такого духа ввериться идее меча, крови, насилья». ...Это сказал Достоевский о Германии, и это можно бы сказать о нем самом.

«Нам нужна война и победа». – «Россия, особенно теперь, самая сильная из всех стран в Европе». – «Об такую силу разбилась бы вся Европа». – «Россия удивит мир». – «Россия непобедима ничем в мире».

Какою жалкою кажется эта гордыня теперь, когда взявший меч от меча погибает.

О Русь! Забудь бытую славу:
Орел двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.
Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть...
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.

Мы упали в яму, которую рыли другим. В то время как думали, что вселенная – труп, мы сами были уже

почти труп; в то время как мечтали «русским Христом» воскрешать вселенную, от нас самих уже отступил Христос. И ежели такой человек, как Достоевский, впал в искушение, значит, действительно, мы были на краю гибели.

Господь наказал нас – и слава Господу! Выпьем же чашу гнева Господня до дна, ибо на дне спасение.

II

В политическом действии нашел Достоевский то, чего не мог найти в религиозном созерцании, – определение православия.

Это определение дает в «Бесах» раскаявшийся нигилист Шатов нераскаянному нигелисту Ставрогину, повторяя его же собственные, давнишние мысли.

«Цель всякого движения народного во всяком народе и во всякий период его бытия есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в Него как в единственного истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, святого с начала его и до конца. Чем сильнее народ, тем особливее его Бог. Всякий народ до тех пор и народ, пока имеет своего Бога особого, а всех остальных богов на свете исключает без всякого примирения; пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Если великий народ не верует, что в нем одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Но истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь Бога истинного. Единый народ-«богоносец» – это русский народ».

Можно бы сомневаться, разделяет ли эти мысли своего героя Достоев-

ский, если бы не повторял он их в «Дневнике писателя».

«Всякий великий народ верит и должен верить, что в нем-то и только в нем одном и заключается спасение мира, что живет он на то, чтобы стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной... Великое самомнение, вера то, что хочешь и можешь сказать последнее слово миру, есть залог самой высшей жизни наций».

Итак, православие, истинное христианство, по мнению Достоевского, есть «великое самомнение» русского народа, вера его в себя самого, как в Бога, потому что русский бог, «русский Христос» – не что иное, как «синтетическая личность» русского народа. Вместо прежней формулы: «русский народ весь в православии» – получается новая, обратная: все православие в русском народе. Только тогда, когда Россия своим богом, своим Христом «победит и изгонит из мира всех остальных богов и христов», «русский Христос» делается вселенским.

Мы думали, что христианство – истина вселенская; но вот оказывается, что христианство – истина одного народа избранного, русского народа-богоносца, нового Израиля.

Когда христиане называют евреев «жидами», они произносят хулу на Христа во чреве Матери Его, в тайне Рождества Его, во святом Израиле. Истинные «жиды» – не евреи, а те христиане, которые возвращаются от Нового завета к Ветхому, от Христа вселенского к Мессии народному. О каждом народе можно сказать то же, что о каждом человеке: народ, который хочет сохранить свою душу, свою исключительную народную истину, потеряет ее, а тот, который потеряет ее, ради вселенской истины, – сохранит ее. Каждый народ должен отречься от себя, от своей «синтетической лично-

сти», от своего особого бога, должен сделаться жертвою за все другие народы, умереть, как народ, во всечеловечестве, для того, чтобы воскреснуть в Богочеловечестве. Каждый народ должен Христу сораспяться, чтобы со Христом воскреснуть. А народ, который утверждает свое первенство в том, чтобы не самому быть слугою всем, а чтобы все были слугами ему одному, который не собою жертвует всем, а всеми жертвует себе, такой народ не со Христом распинается, а распинает Христа, Богочеловека – в Богочеловечестве. Это и есть подлинное «жидовство» – «жидовство вместо неудавшегося христианства», как выразился однажды Достоевский о современной Европе с ее царством еврейской биржи и как можно бы выразиться с гораздо большим правом о национально-исключительном, суженном, «обрезанном», жидовствующем православии самого Достоевского.

Но тут есть и нечто худшее.

«Вы низводите Бога до простого атрибута народности» – это возражение Ставрогина Шатову совершенно справедливо; а оправдание Шатова: «Напротив, я народ возношу до Бога, народ есть тело Божие» – ни на чем не основано. Ежели Бог только «синтетическая личность народа» и не более, то не народ есть тело Божие, а Бог есть тело, воплощение народной души; не народ получает бытие свое от Бога, а Бог – от народа. Не Бог создал народ, а народ и вообще род человеческий, человек создал Бога по образу и подобию своему. Народ – абсолютное; Бог – относительное. Значит, все религии – только мифологии, только мнимо-божественные подобию человеческой истины. Значит, прав атеист Фейербах, утверждающий, что человек поклоняется в Боге себе самому до тех пор, пока не сознает, что сам он, человек, и есть Бог и что нет иного Бога, кроме него.

Человек станет Богом – это откровение Человекобожества, совер-

шенно противоположное откровению Богочеловечества: Бог стал Человеком.

Но Ставрогин и Шатов, а вместе с ним, кажется, и сам Достоевский смешивают оба откровения в соблазнительном чтении о новом Израиле, русском народе-богоносце, в учении о народобожестве, которое есть скрытое человекобожество: делать Богом народ или даже весь род человеческий – такое же отступление от истинного Бога, как делать человека Богом. Недаром Ставрогин одновременно проповедует Шатову мнимое Богочеловечество, а Кириллову подлинное человекобожество, находя «совпадение красоты в обоих полюсах», а последней религиозной истины не находя ни в одном из них, потому что для него последняя истина та, что Бога нет. Но и Шатов, приняв учение о русском Христе, как собирательной личности русского народа, недалеко ушел от той же последней истины.

«– Чтобы сделать соус из зайца – надо зайца, чтобы уверовать в Бога – надо Бога.

– Ваш-то заяц пойман ли аль еще бегае? – спрашивает Ставрогин.

– Не смейте меня спрашивать такими словами, спрашивайте другими, другими! – весь вдруг задрожал Шатов.

– Извольте, другими, – сурово посмотрел на него Николай Всеволодович. – Я хотел лишь узнать: веруете ли сами в Бога или нет?

– Я верую в Россию, я верую в православие... Я верую в тело Христова... Я верую... – залепетал в иступлении Шатов.

– А в Бога? В Бога?

– Я... я буду веровать в Бога».

Вот страшное признание, неужели не только Шатова, но и самого Достоевского? Можно верить в православие, не веря в Бога. Но, кажется, последний ужас в том, что, веря в «русского Христа», «русского Бога»,

нельзя верить в истинного Бога-Слово, во Христа вселенского. Мнимое Богочеловечество, «Народобожество», так же как и подлинное человекобожество, есть неизбежный путь к безбожию.

Религиозная трагедия Достоевского в том, что его истинная религия – не православие; но он думал, что «неправославный не может быть русским», а ему нельзя было ни на минуту отойти от России, как маленькому Феде, напуганному вешим криком «волк бежит!», нельзя было ни на минуту отойти от мужика Марeya. Маленький Федя ошибся: этот веший крик раздался не около него, а в нем самом; это был первый крик последнего ужаса: Зверь идет, Антихрист идет! От этого ужаса не мог его спасти мужик Марей, русский народ, который, сделавшись «русским Христом», двойником Христа, сам превратился в Зверя, в Антихриста, потому что Антихрист и есть двойник Христа.

III

В самодержавии завершилось для Достоевского то, что началось в православии, – смешение человекобожества с богочеловечеством.

«Народ наш – дети царицы, а царь им отец. Тут идея глубокая и оригинальнейшая; тут организм живой и могучий, организм народа, слившегося с своим царем воедино. Царь для народа не внешняя сила, не сила какого-нибудь победителя, а всенародная, всеединящая сила, которую сам народ восхотел, которую вырастил в сердцах своих, за которую претерпел, потому что от нее только одной ждал исхода своего из Египта. Для народа царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и верований. Отношение русского народа к Царю своему есть самый особый пункт, отличающий народ наш от всех других народов Европы и всего мира; это не временное только дело у нас, не преходящее, но

вековое, всегдашнее, и никогда оно не изменится. Идея же эта заключает в себе такую великую у нас силу, что, конечно, повлияет на всю дальнейшую историю нашу, а так как она, идея эта, совсем особливая и как ни у кого, то и история наша не может быть похожа на историю других европейских народов. Если хотите, у нас в России и нет никакой другой силы, зиждущей, сохраняющей и ведущей нас, как эта органическая живая связь народа с царем своим, и из нее у нас все и исходит».

Как примирить утверждение Достоевского: «русский народ весь в православии, больше у него нет ничего, да и не надо, потому что православие все», – с этим новым утверждением: русский народ весь в самодержавии, больше у него нет ничего, да и не надо, потому что самодержавие все? Или оба эти утверждения друг другом уничтожаются, или сводятся к третьему: самодержавие и православие в своей последней сущности одно и то же. Самодержавие – тело, православие – душа. Самодержавие – такая же абсолютная, вечная, божественная истина, как православие. Это и есть то «новое слово», которое русский «народ-бог-носец» призван сказать миру.

Самодержавие вместе с православием получила Россия от Византии, от второго христианского Рима, который, в свою очередь, получил его от первого Рима языческого. Уже и там, в язычестве, идея самодержавия, в последней глубине своей, была идея не только политическая, но и религиозная. Беспредельная власть кесаря над Римской всемирной империей, власть одного человека над всем человечеством казалась властью божеской, и человек, обладавший этой властью, казался не человеком, а богом, земным богом, равным Богу Небесному. Произшел апофеоз римского кесаря: Divus Caesar, Кесарь Божественный, Кесарь-Бог, Человеко-Бог. Но под ли-

чиною Бога скрывалось лицо Зверя – Нерона, Тиберия, Каликулы. И в то самое мгновение, когда на лучезарной вершине империи, в чертогах римских кесарей человек стал богом, в темной подземной глубине ее, в пещере вифлеемских пастухов, Бог стал Человеком – родился Христос. По слову Достоевского, «произошло столкновение двух самых противоположных идей, которые только могли существовать на земле: Человекобог встретил Богочеловека, Аполлон Бельведерский – Христа».

Чем же разрешилось это столкновение? Кто победил? – Никто. «Явился компромисс», – отвечает сам же Достоевский. «Компромисс», то есть чудовищная сделка между Богочеловеком и Богом-Зверем. Пока самодержавие оставалось языческим, христианские мученики умирали, чтобы не поклониться Зверю в лице Кесаря. Но когда самодержавие приняло «христианство», разумеется, только по имени, ибо в существе своем царство Зверя не может быть царством Христа, тогда Церковь, в свою очередь, приняла самодержавие, поклонилась римскому Кесарю, благословила Зверя именем Христа. Достоевский утверждает, будто бы это поклонение совершилось только на Западе, в католичестве, а отнюдь не на Востоке, не в православии. Но мы уже видели, что утверждение это – обман или самообман Достоевского. Как на Западе, так и на Востоке совершалось одно и то же, хотя и в двух противоположных направлениях: на Западе церковь претворялась в государство, папа, христианский первосвященник, делался римским кесарем; на Востоке государство претворяло в себя, поглощало церковь, римский кесарь делался христианским первосвященником, главою церкви, «крайним судиею дел церковных», по выражению Петра Великого и в Духовном Регламенте Священного Синода. Но здесь и там произошло одина-

ковое смешение кесарева и Божьего, с той лишь разницей, что на Западе попыткой теократии, хотя и неудачною, борьбою духовной власти со светской, пап с императорами, была истощена и ослаблена религиозная идея Римской империи; тогда как на Востоке эта идея, не встречая никаких препятствий, развивалась, вырастала и достигла, наконец, своего последнего всемирно-исторического завершения в третьем Риме, в русском «православном самодержавии». Древняя языческая личина Человекобожества заменилась новой христианской личиной Богочеловечества; но лицо осталось то же – лицо Зверя. И нигде в мире царство Зверя не было таким свирепым, безбожным и кощунственным, как именно здесь, в русском самодержавии.

Православная церковь сама не знает, что творит, когда называет наследников римского Зверя «Помазанниками Божиими», то есть «Христами», потому что Христос и значит «Помазанник Божий». Но если бы она когда-нибудь узнала это и все-таки не отреклась от самодержавия, то могла бы сказать о себе то, что Великий Инквизитор Достоевского говорит Христу о римской церкви.

«Мы не с Тобой, а с ним (с дьяволом), вот наша тайна!.. Мы взяли от него то, что Ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал Тебе, показав Тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч Кесаря».

Чем же, как не мечом Кесаря, православное самодержавие должно завоевать Константинополь и основать последний – третий – Рим, «заллив мир кровью»? Что лицо самодержавия во внешней политике, обращенное ко всем народам, есть лицо Зверя, в этом, кажется, сам Достоевский не сомневался. Но он, вместе с тем, думал, что в политике внутренней, обращенное к России, лицо Зверя становится лицом Бога.

«У нас гражданская свобода, – уверяет он, – может водвориться самая полная, полнее, чем где-либо в мире, в Европе или даже в Северной Америке, и именно на этом же алмазовом основании (на самодержавии) она и создается. Не письменным листом терпится, а создается лишь на детской любви народа к Царю, как к отцу, ибо детям можно многое такое позволить, что и немислимо у других, у договорных народов; детям можно столь многое доверить и столь многое разрешить, как нигде еще не бывало видано, ибо не изменят дети отцу своему». – «Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут нам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду».

Слова о серых зипунах – намек на Земский собор. Говорят, Достоевский боялся, что цензура запретит эти слова. «Не пропустят – и все пропало», – восклицал он будто бы в смертельной тревоге.

Пропустили, но это ничего не спасло. Кажется, впрочем, самим Достоевским чувствовалось что-то неладное в этих мыслях о доверии царя к народу, что-то похожее не столько на «алмазовое основание», сколько на ту бездну, над которою Медный Всадник Россию «вздернул на дыбы».

«Я слуга царю. Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень долго не верит», – писал он в своей записной книжке за несколько дней до смерти.

Почему же так долго не верит и может ли вообще когда-нибудь поверить? – вот вопрос, который должен бы решить Достоевский, но не успел – умер. И только что он умер, грянуло 1 марта, первый громовой удар Великой русской революции. Четверть века эта гроза собиралась и разразилась на-

конец только теперь, накануне двадцатипятилетней тризны Достоевского.

Народ все ждал, когда-то царь поверит, и, может быть, думал, как Достоевский: «что-то уж очень долго не верит». Народ не дождался царя: царь не пошел к народу, и тогда народ пошел к царю.

9 января 1905 года, в лице сотен тысяч русских рабочих, которые шли по петербургским улицам на площадь Зимнего дворца, с детьми и женами, с образами и хоругвями, весь русский народ шел к царю своему, как дети к отцу, с верою в него, как в Самого Христа Спасителя. «Такому ли народу отказать в доверии?» Казалось бы, стоило только ответить верой на веру – и совершилось бы чудо любви, чудо соединения царя с народом. Казалось бы так, по Достоевскому. Но – увы! – мы знаем, что произошло и чем ответила власть народу, любовь отчая детской мольбе. Народоубийством, детоубийством. И в том вина не какого-либо отдельного самодержца, а всего «православного самодержавия», всего «христианского государства», от Константина Великого до наших дней.

И лицо русской земли залито русскою кровью. И под личиной Христа народ увидел лицо Зверя.

«Зверь идет! Антихрист идет!» – если бы теперь снова, услышав это вещий крик, Достоевский, как некогда маленький Федя, бросился к мужику Маркою, то нашел ли бы у него защиту? И не оказался ли бы сам он, мужик Марей, то есть весь русский народ, в таком же беспомощном ужасе, как Достоевский, перед Грядущим Зверем?

Ибо что такое в своих последних религиозных и метафизических основах вера православного народа в православного царя? В самодержавие народ верит, как в последнее соединение крестьянства с христианством, правды о земле с правдой о небе: царь будто бы даст народу землю и установит правду Божию на земле, соединит че-

ловеческое с Божеским в Богочеловеческое, или *человекобожеское*, – это не решено, не отвечено и даже не спрошено. Но самая возможность такого вопроса указывает на опасность страшного соблазна и смешения в идее самодержавия: ведь ежели действительно русский царь призван соединить земное с небесным, человеческое с Божеским, значит, это соединение еще не совершилось во Христе Пришедшем, в Богочеловеке, и русскому самодержцу предназначено исполнить то, чего, будто бы, не исполнил Христос; значит, русский царь, разумеется, не какой-либо пришедший, а грядущий царь, Кесарь Третьего Рима, новой всемирной монархии и есть «русский Христос, *еще миру неведомый*», как и утверждает сам Достоевский: «Россия воскресит Европу русским Христом, еще миру неведомым». И по другой формуле: «Бог есть синтетическая личность народа», а «русский царь есть воплощение личности русского народа», выходит опять-таки, что «русский Бог», «русский Христос» есть русский царь. Но ведь это уже не христианство, а хлыстовство. От веры в Мессию народного, воплощенного в целом народе-богоносце, к вере во Христа, воплощенного в отдельном человеке-богоносце, в Царе, то есть от жидовства к хлыстовству, – таков путь Достоевского от православия к самодержавию.

И этот второй грядущий «русский Христос» не только отличен от первого, пришедшего, вселенского Христа, но и противоположен Ему: Тот, первый, отделил будто бы правду небесную от правды земной; а этот, второй, соединит их. Тот пришел для того, чтобы спасти только немногих, избранных, а этот придет, чтобы «спасти всех». «Ты придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, – говорит Великий Инквизитор Христу Пришедшему, – но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех».

И не противоположен ли второй Христос первому именно так, как Человекобог противоположен Богочеловеку, Зверь – Христу? Последняя тайна Великого Инквизитора в этом призвании: «мы не с Тобой, а с *ним*» – не со Христом, а со Зверем. И последняя тайна, последний ужас православного самодержавия не в том ли, что самодержец – самозванец Христа?

О самозванце говорит в «Бесах» революционер Петр Верховенский Николаю Ставрогину, как будто предвосхищая и продолжая мысли Великого Инквизитора:

«– Я думал отдать мир папе... Надо только, чтобы с папой интернационал согласился: так и будет. Да другого ему и выхода нет... Слушайте, папа будет на Западе, а у нас будете вы».

Кстати, эта безумная мечта Верховенского отчасти совпадает с не менее, может быть, безумною мечтою Достоевского:

«Константинополь (то есть Третий русский Рим, столица новой всемирной монархии) может послужить хоть на время подножием нового папы», то есть, конечно, русского и вселенского патриарха или русского и тоже вселенского царя-первосвященника.

«– Папа будет на Западе, а у нас будете вы. Мы провозгласим разрушение... Мы пустим пожары... Мы пустим легенды... Ну-с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого?»

– Кого?

– Ивана-Царевича.

– Кого-о?

– Ивана-Царевича: вас, вас!

Ставрогин подумал с минуту.

– Самозванца? – вдруг спросил он, в глубоком удивлении смотря на иступленного. – Э, так вот, наконец, ваш план!

– Мы скажем, что он «скрывается», – тихо, каким-то любовным шепотом проговорил Верховенский, в самом деле как будто пьяный. – Знаете ли вы, что значит это слово: «он скрывается»? Но он явится, явится. Мы пустим легенду, получше чем у скопцов. Он есть, но никто не видал его. О, какую легенду можно пустить! А главное – новая сила идет. А ее-то и надо, по ней-то и плачут. Ну, что в социализме: старые силы разрушил, а новых не внес. А тут сила, да еще какая – неслыханная! Нам ведь только на раз рычаг, чтобы землю поднять. Все подымется! Слушайте, я вас никому не покажу, никому: так надо. Он есть, но никто не видел его – он скрывается. А знаете, что можно даже и показать, из ста тысяч одному, например. И пойдет по всей земле: «видели, видели». И Данилу Филипповича, бога-саваофа, видели, как он в колеснице на небо вознесся пред людьми, «собственными» глазами видели. А вы не Данила Филиппович; вы красавец, гордый, как бог, ничего для себя не ищущий, с ореолом жертвы, «скрывающийся». Главное, легенду! Вы их победите, взгляните и победите. Новую правду несет и «скрывается». И застонет стоном земля, и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз! Строить мы будем, мы, одни мы!..

– Неистовство! – проговорил Ставрогин».

Да, «неистовство». Но разве вся история русского самодержавия – не самое фантастическое и самое реальное «неистовство»? Во всяком случае, это не что-то трезвое, умеренное и благоразумное, «конституционно-демократическое», а пьяное, дикое, как тот огненный бред, из которого родились легенды скопцов и хлыстов о бже-саваофе, «сокатившем» с неба на землю. Петр Верховенский, гениальнейший из русских революционеров, первый понял, что в русском самодер-

жавии, которое доньше казалось только силою реакционною, задерживающей, скрывается величайшая разрушительная революционная сила. Революция не что иное, как обратная сторона, изнанка самодержавия; самодержавие – не что иное, как изнанка революции. Анархия и монархия – два различные состояния одной и той же *prima materia*, «первого вещества» – насилия как начала власти: насилие одного над всеми – монархия, всех над одним – анархия. Постоянный и узаконенный ужас насилия, застывший «белый террор», обледенелая, кристаллизованная анархия и есть монархия; расплавленная монархия и есть анархия. Мы это видим на опыте, в том, что перед нашими глазами теперь происходит: тающая глыба самодержавия течет огненною лавою революции.

«Романов, Пестель или Пугачев?» – таким вопросом Бакунин озаглавил одну из своих статей, в которой, между прочим, доказывал, что русский царь мог бы спасти, по крайней мере, на время самодержавие, если бы стал во главе русской и всемирной социальной революции. Выкинув среднего, слишком срединного Пестеля и оставив двух крайних, получим вопрос: Романов или Пугачев, самодержец или самозванец? – вопрос монархиста Достоевского, совпавший с вопросом анархиста Бакунина.

Из русской истории мы знаем, как трудно иногда отличить самодержца от самозванца. Каждый пришедший царь оказывается вовсе не тем грядущим царем, которого ожидает народ как Мессию. В этом смысле каждый самодержец – самозванец воли народной. И если бы даже избрание царя совершилось по воле народа, то где ручательство, что воля эта совпадает с волею Божией, «с милостью Божией»? В соборном голосе церкви? Но церковь давно лишена соборного голоса; церковь обезглавлена царем, ко-

торый стал сам «главою церкви», «крайним судьей» дел церковных. Помазание на царство совершается в церкви, но не с церковью, а самим царем: это значит, что не только исторически, но и мистически каждый самодержец – самозванец.

С другой стороны, низвержение какой-либо династии еще вовсе не означает падения самодержавия в его последней мистической сущности. Перемена династии дело исторического случая: были Рюрики, Шуйские, Годуновы, Романовы – почему бы не быть и Ставрогиным? От этого метафизическое существо дела не меняется. И не с большим ли правом, чем весьма многие исторические представители власти, мог бы оказаться «помазанником Божиим» Николай Ставрогин, этот подлинно русский «Иван-Царевич», «красавец, гордый, как бог»? Не с большим ли правом мог бы он повторить слова Наполеона: «*Dio mi la dona, guai a chi la tocca*. Бог мне дал корону; горе тому, кто к ней прикоснется». Или по слову Платона: «пусть царствует гений». Ежели гений есть великая идея, в человеке воплощенная, то со времени Петра Великого на престоле русских царей не было гения, равного Николаю Ставрогину, пророку двух величайших идей, которые когда-либо существовали на земле, – Богочеловечества и Человекобожества. И ведь еще неизвестно, какую из этих двух идей противоположных, но для него одинаково истинных, воплотит он в своем самозванстве или самодержавии. Ежели идею о Богочеловечестве в русском народе-богоносце, то что мог бы Достоевский возразить на такое самодержавие, чем бы мог он отличить такого самозванца от самодержца? Историческою невозможностью? Но невозможность историческая не предпрещает вопроса о возможности мистической. К тому же, по совершающимся перед нами невероятным событиям мы все больше убеждаемся,

да с этим и сам Достоевский спорить не стал бы, что в России все возможно.

Не казалась ли невозможностью и первая половина пророчества о русской революции? А между тем эта половина уже исполняется, почти исполнилась с ужасающей точностью: «такая раскачка пошла, какой еще мир не видал», и не сегодня-завтра «рухнет балаган». Отчего бы не исполниться и второй половине пророчества – о самозванце?

Кто проливает кровь, тот переступает черту, отделяющую возможное от невозможного, действительное от призрачного. В том-то и ужас революций, что в них целые народы переступают эту черту крови и тем вовлекаются в область, где «все возможно». Когда же пролито столько крови, что земля уже не может выпить, и всюду стоят кровавые лужи, как лужи осенних дождей, тогда поднимаются от них страшные мглы, с чудовищными маревами, всемирно-историческими призраками. Один из таких призраков – «Иван-Царевич», который уже есть, хотя никто его не видал, который «скрывается, но явится, явится». Он – вверху, вокруг него вожди религиозной всемирной революции, ученики Великого Инквизитора, «страдальцы, взявшие на себя подвиг познания добра и зла»; под ними – «шигалевщина», то есть военная диктатура пролетариата, социал-демократия и, наконец, в самом низу – «стомиллионное стадо счастливых младенцев», все человечество, «всемирное объединение людей» – в Богочеловеке или Человекобоге, это опять-таки не решено, не отвечено и даже не спрошено, это – последняя тайна Великого Инквизитора, «мы не с Тобой, а с *ним*, вот наша тайна».

В настоящем, по всей вероятности, очень раннем фазисе русской революции поразительно отсутствует идея религиозная. Как будто русский «народ-богоносец» сделался безбож-

нейшим из всех народов и крестьянство перестало быть христианством. Крестьянство ищет земли, только земли, как будто окончательно забыв о небе и отчаявшись в правде небесной. Церковь что-то лепечет о Боге, но такое жалкое, что, кажется, сама себя не слышит и не понимает. Самодержавие, подписывая конституцию, и не вспомнило, что оно – «православное» и что нельзя ему отречься от своего помазания, не спросясь у тех, от кого оно приняло помазание. Об интеллигентных вождях революции и говорить нечего: для них религия – просто невежество.

Не только не способны они преодолеть религиозный соблазн, который заключен для народа в идее самодержавия, именно в кровной связи самодержавия с православием, но не подозревают о существовании этого соблазна. Мало того: сами соблазняются, подчиняются бессознательно религии самодержавия, когда, не успев развенчать царя, венчают на царство пролетариат или весь народ, как будто религиозное существо самодержавия, то есть власти человеческой, ставшей на место власти Божией, не одинаково в обоих случаях – в самодержавии царя, то есть в насилии одного над всеми, и в самодержавии народа, то есть в насилии всех над каждым; как будто не одинаковое отречение от Бога Небесного – признание какого бы то ни было «земного бога», его величества Кесаря, или его величества Народа, и как будто, наконец, «военная диктатура пролетариата» не должна привести неизбежно к военному диктатору, к Наполеону или Кромвелю, самозванцу или самодержцу. Был бы круг, будет и центр, было бы самодержавие, будет и самодержец.

Но отсутствие религиозной идеи в русской революции свидетельствует именно только о том, что ее настоящий фазис очень ранний. Как ни огромен поднявшийся вал, он все еще не

возмутит последних глубин стихии народной. Как ни страшна буря над землею, она лишь слабый отзвук того, что происходит под землею: это одна из тех бурь, которые предшествуют землетрясениям.

Впрочем, и теперь уже русская революция – бессознательная религия, как всякий великий переворот общественный, потому что во всякой революционной общественности скрыто начало соборности и притом соборности вселенской – мечта «всемирного объединения человечества» в какой-нибудь последней, всечеловеческой истине, то есть начало бессознательно-религиозное. В этом смысле душа русской революции – социал-демократия, уже и теперь соборно-вселенская и, следовательно, бессознательно-религиозная. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – этот призывный клич, напоминающий крик журавлей, нигде еще не раздавался с такой недостигаемо-далекой и торжественно-грозною, словно апокалипсическою, надеждою или угрозою, как именно в русской революции.

Но самодержавие тоже религия. Когда оно будет низвергнуто окончательно, как строй политический, то обнажится его существо религиозное; когда оно умрет в политике, то воскреснет в религии: «он есть, но никто его не видал, он скрывается, но явится, явится» – «Царь-батюшка», «красное солнышко», грядущий Мессия народный, новый Папа и Кесарь Третьего Рима всемирной монархии, Кесарь Божественный, Кесарь-Бог, Человеко-Бог. Власть одного, человекобожество прошлого кажется навеки противоположной власти всех, человекобожеству будущего; «зверь, выходящий из земли», монархия – навеки противоположным «зверю, восходящему из бездны», анархии. Но, может быть, оба зверя борются только до тех пор, пока не соединятся для борьбы с общим врагом – с Агнцем. Тогда-то снова в

Третьем Риме, как некогда в Первом, «произойдет столкновение двух самых противоположных идей, которые когда-либо существовали на земле», – Человекобог встретит Богочеловека, Антихрист – Христа. Тогда-то исполнится и пророчество Великого Инквизитора: «Приползет к нам Зверь и будет лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на Зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написано: «Тайна». То, что я говорю Тебе, сбудется, и царство наше созиждется».

Откуда самодержавие, все равно, царя или народа, откуда всякая власть человеческая, откуда всякое государство – от Христа или от Антихриста? – вот вопрос, который безмолвно, но неотразимо поставлен Великой русской и уже Всемирной революцией, в настоящем только социально-политической, в будущем – неизбежно и религиозной.

Вот из-за чего «взволновалось море», «затуманилась Русь» и «такая раскачка пошла, какой мир не видал».

И если на этот вопрос никто не ответит среди последнего немого ужаса, то мы, ученики великого учителя, великого пророка русской революции, Достоевского, ответим, как будто против него, а на самом деле за него:

Самодержавие – от Антихриста.

IV

Самодержавие от Антихриста! Сказать это без всяких оговорок – значит сделать слишком много чести самодержавию, которое в современной исторической действительности своей относительно религии невменяемо, безответственно; ему дела нет ни до Христа, ни до Антихриста; тут самодержавие, по русской пословице: ни Богу свечка, ни черту кочерга.

Но ставя вопрос об отношении самодержавия к религии, я говорю не об исторической действительности, а о

мистической возможности. Чем ближе к своей вершине, тем самодержавие безбожнее; чем глубже в стихию народную, тем оно религиознее. Только там, в подземных глубинах этой стихии, огненных, но темных, происходит смешение Христа с Антихристом в идее самодержавия. «Православный царь-батюшка, красное солнышко» – сначала символ, образ, икона, потом одно из воплощений Христа и, наконец, воплощение совершенное, единственное – сам Христос Грядущий, новый «русский Христос», миру неизвестный». Человек становится иконою, икона – идолом, идол – Богом. Христианство подменяется хлыстовством, то есть непобежденным, неосознанным, до-христианским язычеством. Невомоверные апокалипсические чаяния вдруг, на какой-то последней высшей точке, срываются и падают в бездну апокалипсических ужасов. Тут в живом сердце народа величайшая истина сплетена с величайшею ложью такими тонкими и крепкими нитями, что, пересекая эти нити, легко ранить насмерть и самое сердце. Чтобы рассечь их, нужен до последней остроты заостренный на обе стороны «обоюдоострый меч» сознания.

Достоевский вложил этот меч в наши руки. Сам он только и делал всю жизнь, что выковывал и оттачивал его, но не поднял в бою, потому ли, что не успел или не наступил еще срок для последнего боя. Во всяком случае, одна черта отделяет сознание Достоевского от нашего религиозного сознания, от нашего религиозного действия – борьбы с Грядущим Зверем под личиною Господа Грядущего – в апокалипсических чаяниях и ужасах русского народа о самодержавии.

Когда мы поднимаем для этой борьбы, не нами начатой, этот меч, не нами отточенный, когда произносим это слово рассекающее: самодержавие от Антихриста – мы говорим, повторяя, как будто против Достоевского, а

на самом деле за него; мы делаем то, что он сделал бы сам, если бы довел до конца свое религиозное сознание.

В его последнем, величайшем и наиболее синтетическом произведении, в «Братьях Карамазовых», дана уже почти совершенная формула этого сознания; уже сверкает из-под такой легкой дымки, что ее ничего не стоит снять, этот обоюдоострый меч, который нельзя направить в борьбе иначе, как против самодержавия за Христа; уже почти вскрывается неразрешимое религиозное противоречие между Церковью и государством, как между абсолютною истиной и абсолютной ложью, царством Божьим и царством дьявола.

О смешении этих двух царств говорит недаром в первых же главах романа – в прелюдии к симфонии – некто другой, как Иван Карамазов, ученик Великого Инквизитора, старцу Зосиме, ученику или учителю самого Достоевского.

«Смешение церкви и государства будет вечным, несмотря на то, что оно невозможно, потому что ложь лежит в самом основании дела... Церковь должна заключать сама в себе все государство, а не занимать в нем лишь некоторый угол, и если это теперь невозможно, то должно быть поставлено прямою и главнейшею целью всего дальнейшего развития христианского общества... В древние времена христианство являлось лишь церковью и было лишь церковью. Когда же римское языческое государство возжелало стать христианским, то оно лишь включило в себя церковь, но само продолжало оставаться государством языческим... Христова же церковь, вступив в государство, не могла уступить ничего от своих основ, от того камня, на котором стояла она, и могла лишь преследовать свои цели, раз твердо поставленные и указанные ей Самим Господом: обратить весь мир, а стало быть, и все древнее языческое

государство в церковь. Таким образом, не церковь должна искать себе места в государстве, а, напротив, всякое земное государство должно бы впоследствии обратиться в церковь вполне и стать не чем иным, как лишь церковью».

Ученый монах о. Паисий обостряет и доводит до конца эти мысли Ивана Карамазова.

«Не церковь обращается в государство. То Рим и его мечта. То третье диаволово искушение. А, напротив, государство обращается в церковь, восходит до церкви и становится церковью на всей земле, что совершенно противоположно Риму...»

«Церковь есть воистину царство и определена царствовать и в конце своем должна явиться как царство, на всей земле несомненно – на что имеем обетование...»

Здесь, конечно, разумеется обетование Апокалипсиса о «тысячелетнем царстве святых на земле», на *этой* земле, и под *этим* небом, в конце всемирной истории, но до конца мира: «Агнец сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле» (Откр., V, 10). Те, «которые не поклонились Зверю, – ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Это – «стан святых и город возлюбленный» (Откр., XX, 4, 8).

И старец Зосима подтверждает:

«Общество христианское пребывает незыблемо в ожидании своего полного преображения из общества как союза почти еще языческого во единую вселенскую и владычествующую церковь. Сие и буди, буди, хотя бы и в конце веков, ибо лишь сему предназначено совершиться».

Тут с такою ясностью, как еще никогда и нигде, дано определение теократического сознания, определение пока лишь отвлеченное; указана лишь цель, а не путь, лишь воинствующая, а не торжествующая теократия, лишь положительное, а не отри-

цательное в отношении человечества к Богочеловечеству. Но при первой попытке воплотить теократическое сознание в действие обнаруживается и это отрицательное, враждебное; возникает непримиримая борьба вследствие непримиримого противоречия между Церковью и Государством. Тут не может быть никаких соглашений, никаких компромиссов. И ежели Иван Карамазов допускает «необходимый еще в наше грешное и не завершившееся время компромисс», то старец Зосима возражает: *«Церковь с государством сочетаться даже и в компромисс временный не может. Тут нельзя уже в сделки вступить»*. Это безусловное отрицание компромиссов и есть собственно первая точка нового теократического сознания, точка, в которой оно отличается от старой общественной бессознательности всего исторического христианства с его невольными и неизбежными допущениями всевозможных компромиссов, не только временных, но и вечных между государством и церковью. Только этой непримиримостью меч Христов и заостряется до последней остроты для последней битвы со Зверем.

Но для того, чтобы избежать опаснейших недоразумений, следует строго различать понятие «государство» от понятия «общество».

Общество есть первоначальная стихия человеческого, только человеческого, которое, достигнув своего завершения в полноте религиозного сознания, избирает неминуемо один из двух путей: или через церковь к Богочеловечеству, или через государство к Человекобожеству. И раз один из этих двух путей избран, возврата нет, и каждый путь должен быть пройден до конца. Общество есть та земля, на которой растет всякое посеянное семя – или плевелы вражды, или пшеница Божия. Но раз выросли плевелы, они уже не могут стать пшеницею; раз выросло государство, оно уже не может стать

церковью. Впрочем, плевелы и пшеница растут вместе до последней жатвы, когда серп отделит посеянное Богом от посеянного дьяволом. Заострение этого серпа и есть теократическое сознание. Государство не может стать церковью уже потому, что оно само церковь, но церковь противоположно Христу – Антихристу. Борьба между государством и церковью – борьба на жизнь и смерть. Всему, чему государство говорит абсолютное «да», церковь говорит абсолютное «нет».

У Достоевского, вследствие недостаточного строгого различия общества от государства, человечества от Человекобожества происходит и смешение Государства с Церковью.

Как невозможен переход абсолютной лжи в абсолютную истину, дьявола – в Бога, так невозможен и переход Государства в Церковь. *Возможен только переход общества в Церковь*, и этот переход, естественная эволюция действительно совершается во всемирно-историческом процессе. Конец всемирно-исторического процесса определяется началом теократического сознания, которое вскрывает неразрешимое противоречие между Государством и Церковью. И только что противоречие вскрыто, постепенный переход становится внезапным переворотом, история – Апокалипсисом, эволюция – революцией, самую разрушительную и убийственной для государства из всех революций. Ибо все политические революции отрицают старый государственный порядок во имя нового, лучшего, то есть, по-видимому, отрицая, на самом деле утверждают идею государственной власти как абсолютную; у них нет ни рычага, ни точки опоры для ниспровержения этой идеи; и если бы даже была возможность ее ниспровергнуть, то им нечем ее заменить. У революции религиозной есть этот рычаг, и эта точка опоры в идее любви как власти, в идее Церкви как Царства. Религиозная революция –

предельная и окончательная, ниспровергающая всякую человеческую власть, всякое государство в его последних, метафизических основаниях.

Это – тот малый камень, пущенный из пращи Божией, который разбивает в прах глиняные ноги Истукана в видении пророка Даниила. Это – та малая искра, которая взрывает пороховой погреб, так что не остается камня на камне. *«Огонь пришел Я низвестить на землю и как томлюсь, чтоб он возгорелся»*. Будучи внутри себя величайшим порядком, властью, стройностью, теократия будет казаться извне величайшим бунтом, возмущением, анархией.

Один из слушателей беседы старца Зосимы с Иваном Карамазовым, русский атеист и либерал, вспоминает слова, сказанные ему в Париже, вскоре после французской революции, одним французом, очень влиятельным лицом, «не то что сыщиком, а вроде управляющего целую командой политических сыщиков».

«– Мы, собственно, этих всех социалистов-анархистов, безбожников и революционеров не очень-то и опасаемся; мы за ними следим, и ходы их нам известны. Но есть из них, хотя и немного, несколько особенных людей: это в Бога верующие и христиане, а в то же время и социалисты. Вот этих-то мы больше всех и опасаемся; это страшный народ. Социалист-христианин страшнее социалиста-безбожника».

Слова эти и тогда меня поразили, но теперь у вас, господа, они мне как-то вдруг припомнились.

– То есть вы их прикладываете к нам и в нас видите социалистов? – прямо и без обиняков спросил отец Паисий».

Вопрос остался без ответа, а между тем это самый важный, все решающий вопрос для религиозно-общественных идей Достоевского. Ответ, впрочем, для нас теперь уже ясен: конечно, старец Зосима, отец Паисий,

Иван Карамазов и сам Достоевский, с точки зрения не только французских и русских сыщиков, но и тех, кого эти сыщики преследуют, – опаснейшие бунтовщики, революционеры и анархисты. Красные знамена политических восстаний бледнеют перед этим невиданным ультрапурпуровым цветом религиозной революции. Внутри для вошедших в теократию – бесконечная надежда, утешение, успокоение, а извне – бесконечный террор, – тот страх, о котором сказано: «плоди будут издыхать от страха». Внутри – тишина, а извне – буря. Внутри последнее утверждение человеческого порядка в порядке Божеском, а извне самая анархическая из всех анархий. Рассказывают, будто бы иногда над самой воронкой смерча появляется малое круглое отверстие голубого неба: теократия – голубое небо над смерчем всесокрушающей религиозной революции.

Такова последняя сущность общественных идей Достоевского, которую проглядели одинаково как русские реакционеры, так и русские революционеры, да и сам он если не проглядел, то не хотел видеть, боялся увидеть. По крайней мере сделал все, чтобы скрыть от других и от себя это слишком язвительное жало, притупить это слишком острое острие своего религиозного сознания.

Вот одно из таких притуплений: Иван Карамазов, с лукавством, достойным Великого Инквизитора, утверждает, будто бы переход государства в церковь *«ничем не унизит государства, не отнимет ни чести, ни славы его, как великого государства, ни славы властителей его»*. Это значит: волки будут сыты и овцы целы. Это и есть поклонение Христа князю мира сего за славу земных царств – та удочка дьявола, на которую попало все историческое христианство.

«Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякой нечистой и от-

вратительной птице, ибо яростным видом блудодеяния своего она напоила все народы. За то в один день придут из нее казни, смерть, и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. И сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его».

Таково окончательное поражение, предсказанное Государству в его последней борьбе с Церковью. Революционеры, верующие в это предсказание, конечно, опаснее, революционнее, чем неверующие.

Все ошибки Достоевского происходят от того, что он вовсе не определяет *силы сопротивления*, которое Государство оказывает Церкви. Эта сила сопротивления равна всей жизненной силе Государства: жизнь Церкви – смерть Государства, жизнь Государства – смерть Церкви.

«Поверьте, что мы не только абсолютного, но более или менее даже законченного государства еще не видели, все эмбрионы». Эти загадочные слова из предсмертного дневника Достоевского указывают на какой-то глубокий и скрытый ход мысли. Ежели «эмбрионам» отдельных исторических государств суждено развиваться в единое Государство будущего, «законченное и абсолютное», то не есть ли оно предсказанный в Апокалипсисе «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» – та всемирная монархия, ложная теократия, царство как церковь, с которою смешивается иногда у самого Достоевского теократия истинная, церковь как царство.

Тогда же, когда осуществится, как историческая реальность, при конце всемирной истории, но до конца мира, это «абсолютное государство», осуществится и «абсолютная церковь», абсолютная, религиозная общественность, тоже как историческая реальность, как царство на земле, «город возлюбленный», «стан святых». И между этими двумя царствами, опять-таки здесь же, на земле, при конце всемирной истории, но до конца мира, произойдет последняя борьба.

«Антихрист придет и станет на безначалии», – в том же предсмертном дневнике своем говорит Достоевский. Это не совсем точно. Антихрист придет, выйдет из «безначалия», анархии, но станет не на анархии, а на монархии, не на безначалии, а на единоначалии, единодержавии, самодержавии. Антихрист будет последний и величайший самодержец, самозванец Христа. И в этом смысле все исторические самодержавия, все исторические государства только зародыши, «эмбрионы» апокалипсического Государства, Самодержавия Антихристова.

Антихрист – самозванец, ложный царь, ибо единый истинный царь – Христос. В последней борьбе Государства с Церковью и произойдет та борьба ложного царя с Истинным, Зверя с Агнцем, о которой сказано: «они (самодержцы, слуги Антихриста) передадут силу и власть свою Зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей».

Или теократическое сознание еще не рождалось, и тогда тщетно «буди, буди» старца Зосимы и Достоевского: будет то, что было, – безысходное смешение церкви с государством. Или же это сознание уже родилось, и тогда в нем начинается последняя брань Агнца со Зверем. И острие меча Христова, поднятого для этой брани, есть первое пророческое слово

великой русской религиозной революции – слово, недаром идущее именно от нас, учеников Достоевского: самодержавие – от Антихриста.

Как мог Достоевский не произвести этого слова, как мог он скрыть свою величайшую истину под величайшей ложью, свою религиозную революцию под политической реакцией, лицо святого мятежника, старца Зосимы, под личиной проклятого насильника Великого Инквизитора? Как мог он принять самодержавие, царство дьявола, за царство Божие?

«Государство обращается в церковь» – это «есть великое предназначение православия» – так отец Паисий сводит к исторической реальности апокалипсическое «буди, буди» своего учителя.

Вот главное заблуждение Достоевского, источник неодолимого страха, который заставлял его скрывать новое лицо свое под ветхою личиною, вливать новое вино свое в мехи ветхие. Он думал или хотел думать, что его религия – православие. Но истинная религия его, если еще не в сознании, то в глубочайших бессознательных переживаниях, вовсе не православие, не историческое христианство, не даже христианство вообще, а то, что за христианством, за Новым Заветом, – Апокалипсис, Грядущий, Третий Завет, откровение Третьей Ипостаси Божеской – религия Святого Духа.

Неразрешимое противоречие земного и небесного, плотского или духовного, Отчего и Сыновнего – таков предел *христианства, только христианства*. Окончательное разрешение этого противоречия, последнее соединение Отца и Сына в Духе – таков предел Апокалипсиса. Откровение Святого Духа – святая плоть, святая земля, святая общественность – теократия, церковь как царство, не только небесное, но и земное, исполнение апокалипсического чаяния: мы будем царствовать на земле, – связанного с чаяни-

ем евангельским: да будет воля Твоя на земле, как на небе.

Я не буду повторять здесь того, что говорил о святой плоти много раз, может быть смутно и преждевременно, но всегда с надеждою, что сказанное мною принадлежит не мне одному, а нам всем, идущим от Церкви Петровой к церкви Иоанновой, и больше всего первому из нас, Достоевскому. Напомню только некоторые точки соприкосновения нашего с ним.

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С Древней Матерью-Землею
Он вступил в союз навек.

В этой затверженной Дмитрием Карамазовым песне элевзинских таинств слышится тоска всего язычества, всего человечества, от Эллинизма до Возрождения, от Возрождения до современной Европы, о святой земле, святой плоти. «Богородица что́ есть, как мнишь?» – спрашивает кто-то в «Бесах» одну странницу, сосланную в монастырь на покаяние. – «Богородица есть Великая Мать сыра земля», – отвечает странница. Древняя мать сыра земля, Великая Мать элевзинских таинств, есть в то же время «новая земля» под новым небом, о котором сказано в Откровении: «и увидел я новое небо и новую землю». Тут незапамятно-древнее, прошлое сливается с будущим, утренняя заря мира с вечернею, Книга Бытия с Апокалипсисом. «Братья мои, оставайтесь верными земле», – эту заповедь Ницше, который сам не знал, Кого проповедовал в образе «Диониса Распятого», повторяет и старец Зосима. «Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, ищи восторга и иступления сего. Омочи землю слезами радости твоей и люби сии слезы твои. Иступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо есть дар Божий, великий и не многим дается, а избранным». «Не люби земного, люби

небесное» – таков завет христианства, только христианства. «Люби земное в небесном, небесное в земном» – таков завет религии Святого Духа – Святой Плоти. И после видения Каны Галилейской, нового брачного пиршества, где «премудрый Архитриклин воду в вино превращает, в вино радости новой», Алеша исполнил завет старца Зосимы: «повергся на землю; не знал, для чего обнимает ее, не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать всю; но он целовал ее, плача, рыдая и обливая своими слезами, и иступленно клялся любить ее, любить во веки веков... Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом».

Бойцом для какого боя? Не для начинающегося ли великого боя Государства с Церковью, не для великой ли русской и всемирной религиозной революции?

Христианство есть откровение единой Личности Богочеловеческой; вот почему подлинная святость христианская есть по преимуществу святость личная, внутренняя, уединенная, безобщественная; и вот почему так бесплодны все попытки включить в христианство общественность, которая есть начало множественности, по существу своему если не противоречие, то противоположное началу единства, началу личности. Не в христианство, а только в религию Троицы, Всех Трех – Божеской Множественности, открывающейся в Божеском Единстве, – включается и человеческая множественность, совокупность личностей – святая общественность; только в религии Святой Земли естественно включается и всемирное соединение и устроение людей на земле – церковь как царство. В христианстве церковь есть царство небесное – безземное, духовное – бесплотное; в религии Святого Духа церковь есть царство небесно-земное, духовно-плотское, не только невидимо, мистически, но и видимо, истори-

чески реальное. Это – исполнение Третьего Завета, воплощение Третьей Ипостаси Божеской. Ибо точно так же, как Первая Ипостась Отчая воплотилась в мире природном, дочеловеческом – в космосе и Вторая Сыновняя – в Богочеловечестве, Третья Ипостась Духа воплотится в Богочеловечестве, в Теократии.

Вот что значит для нас это пророчество Достоевского: «Церковь есть воистину царство и определена царствовать и в конце своем должна явиться как царство на всей земле». Мы ничего не прибавляем от себя к этому пророчеству, мы только завершаем его, доводим до степени нашего религиозного сознания и повторяем вместе с Достоевским, первым пророком Святого Духа, Святой Плоти.

«Сие и буди, буди!»

Таково лицо и такова личина его; лицо противоположно личине. Личина – православие, самодержавие, народность; лицо – преодоление народности – во всечеловечности, преодоление самодержавия – в теократии, преодоление православия – в религии Святого Духа.

Иногда кажется, что такая же, как у Достоевского, противоположность лица личине существует и у всей России и что русская революция есть не что иное, как срывание личины с лица. Об этом неоткрывшемся лице, об этой неродившейся идее говорит и Достоевский: «будущая самостоятельная русская идея у нас еще не родилась, а только чревата ею земля ужасно и в страшных муках готовится родить ее». Если бы эта идея заключалась в православии, самодержавии, народности, то ей бы и рождаться нечего. Но переживаемые нами муки революции действительно похожи на страшные муки каких-то родов, кажется, не только русских, но и всемирных; не одна Россия, но и вся Европа, вся земля, «Великая Мать сыра земля», в наши дни точно так же, как во дни Рождества Христова, «чревата

ужасно», ужасно беременна. И, может быть, недаром первый приступ рождающих болей происходит именно в России. Достоевский думал, что всемирная революция, которой он ждал, которую звал, начнется в Европе и окончится в России. «Социалисты, – говорит он, – бросятся на Европу, и все старое рухнет. Волна разобьется лишь о наш берег». Происходит обратное: волна поднялась от нашего берега, и еще неизвестно, разобьется ли об Европу или Европу разобьет.

Ежели мера народа – государственность, то можно бы отчаяться в России: она всегда показывала, и теперь больше, чем когда-либо, поразительную бездарность в творчестве государственных форм. После тысячелетних усилий создать что-нибудь похожее на политически реальное тело создала, вместо тела, призрак, чудовищную химеру, полубога, полужверя – православное самодержавие, которое давит Россию, как бред, и, чтобы очнуться от этого бреда, нужны почти предсмертные судороги. Ведь казалось же и Достоевскому, что весь самодержавный, «петербургский период русской истории вот-вот поднимется вместе с петербургским туманом и разлетится, как сон». Русская монархия – узаконенное беззаконие, застывший террор, обледенелая анархия; и русская революция слишком часто – только «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», по слову Пушкина, – та же анархия.

Но, может быть, в этом вашем последнем отчаянии о государстве Российском – наша первая надежда на русский народ. Не потому ли этот народ по преимуществу безгосударственный, анархический, что он по преимуществу религиозно-общественный, теократический? Не потому ли оказался он таким бездарным в творчестве государственном, что истинное признание его – создать не мертвый механизм государства, этого «Автомата»,

«Искусственного Человека», Номо Artificialis, по выражению Гоббса, – а живое тело церкви, Богочеловечества? И в неутолимой тоске русского народа о грядущем царе-Мессии, соединителе правды земной с правдой небесной, не заключается ли, хотя и бессознательное и уродливо искаженное исторической действительностью, но в идеальном существе своем подлинное, теократическое чаяние?

Доныне во всемирной истории ни один великий народ не жил без государства; доныне быть в истории значит быть в государстве. Все попытки выйти из государственности кончались или тем, что народ погибал, порабошлся другими, более государственно крепкими народами, или через революцию переходил от одного менее – к другому более совершенному, более государственному государству.

Подвергнется ли Россия этой общей исторической участи народов: найдет ли наконец свою государственность в своей революции или погибнет от своей анархии, умрет в «страшных муках родов»?

Во всяком случае, наша бесконечная религиозная надежда только в нашем бесконечном отчаянии: только там, где кончается абсолютная государственность, начинается абсолютная религиозная общественность. Мы надеемся не на государственное благополучие и долгоденствие, а на величайшие бедствия, может быть, гибель России, как самостоятельного политического тела, и на ее воскресение, как члена вселенской Церкви, Теократии. «Если семя не умрет, то не оживет» – это истина как для отдельных лич-

ностей, так и для целых обществ целых народов.

Одно из двух: или Апокалипсис – ничто, и тогда все христианство – ничто. Или за исторической действительностью есть иная, высшая, не менее, а более реальная действительность апокалипсическая. За государственно-стью есть иная, высшая и опять-таки не менее, а более реальная общественность теократическая. И выйти из истории, из государственности – еще не значит погибнуть, перейти в ничтожество, а, может быть, значит перейти из одного бытия в другое, из низшего измерения – в высшее, из плоскости исторической – в глубину апокалипсическую.

Мы и надеемся, что русская революция, сделавшись религиозной, будет началом этого выхода.

Только в подвиге вольного страдания («надо страдание принять» – завет самого Достоевского), вольной смерти политической для воскресения теократического может заключаться то «всеслужение человечеству», в котором видел Достоевский призвание России; в этом и только в этом смысле русский народ может сделаться «народом-богоносцем».

«Сие и буди, буди!»

А если это будет, то, несмотря на все заблуждения, Достоевский окажется все-таки истинным пророком.

И здесь, на этой грозно-торжественной тризне, уготованной ему самой историей, не наш слабый голос, а голоса Великой русской революции, голоса громов человеческих, в которых уже слышатся громы Господни, да споют ему вечную славу.

С.Н. БУЛГАКОВ

*Русская трагедия'*О «Бесах» Ф.М. Достоевского, в связи с инсценировкой романа
в Московском Художественном театре

Хотя Достоевский не написал ни одной страницы в драматической форме, тем не менее по существу дела в своих больших романах он является великим трагиком. Это выступает с полной очевидностью при сценической постановке его романов, особенно же с такими несравненными сценическими средствами, как Московского Художественного театра, которому принадлежит огромная заслуга – постановка «Братьев Карамазовых» и «Бесов» – выявить лик трагика в Достоевском. Что есть трагедия по внутреннему смыслу?

Как художественная форма она должна удовлетворять требованиям, устанавливаемым литературным канонам (каково, например, аристотельское единство места, времени и действия); по внутреннему же смыслу ход и развитие трагедии устанавливается не человеком в его индивидуальной драме или эмпирической, бытовой, временной оболочке, но надчеловеческим, сверхчеловеческим (или, вернее, но-уменьально-человеческим) законом, неким божественным фатумом, который осуществляет свои приговоры с неотвратимой силой. Он, этот божественный закон, есть подлинный герой трагедии, он раскрывается в своем значении Провидения в человеческой жизни, вершит на земле свой страшный суд и выполняет свой приговор. Содержание трагедии есть поэтому внутренняя закономерность человеческой жизни, осуществляющаяся и раскрывающаяся с очевидностью при попытке ее нарушить или отклониться от своей орбиты.

Отсюда – возвышающий, но и устрашающий характер трагедии: и

некая высшая обреченность ее героев, и непрерываемая правда этой обреченности.

Трагедией в указанном смысле, несмотря на отсутствие внешней драматической формы, являются и «Бесы». Удивительно, до чего рельефно выступают эти черты романа при его сценическом воплощении: уже в первых сценах на паперти и в гостиной, в первых аккордах слышится неотвратимый приговор, предначертывается неизбежная гибель героев во взаимной сплетенности их судеб. Привычный масштаб, по которому часто судят и рядят о «Бесах», есть политическая расценка политических тенденций этого романа. Одни ценят в нем глубокое и правдивое изображение русской революции, прямое пророчествование о ней, удивительно предвосхитившее многие и многие черты подлинной, лишь через четверть века пришедшей русской революции; другие ненавидят «Бесы» как политический пасквиль на эту же революцию, тенденциозный и вредный; это впечатление усиливается отдельными чертами злобной карикатуры и шаржа, неоспоримо имеющимися в образах Кармазинова, отчасти Степана Федоровича, отдельных персонажей из революционеров и подобных. Нельзя отрицать, что роману, точнее автору, свойственны известные политические тенденции, которые могут быть развернуты и в целое политическое мировоззрение, здесь просвечивают политические симпатии и антипатии, обнаруживающиеся вполне в «Дневнике писателя». Ведь и древние трагики, как, например, Эсхил, тоже имели свои политические мнения и настроения,

которые ощущались их современниками. Однако как жалок был бы тот грек, который стал бы уничтожать трагедию Эсхила за «черносотенство» ее автора, и таким же вандализмом представляется нам теперь на весах политической партийности взвешивать творчество Достоевского. Ибо, если Достоевский действительно прозирал в жизни ее трагическую закономерность, тогда уже наверное можно сказать, что не политика как таковая существенна для этой трагедии, есть для нее самое важное. Политика не может составить основы трагедии, мир политики остается вне трагического, и не может быть политической трагедии в собственном смысле слова. Мы совсем не хотим умалить этим общего значения земного строительства, в частности, и политики в ее особой области. Однако справедливо, что чисто политические ценности относятся к миру феноменального, временного, производного, трагедия же стремится проникнуть всегда к сверхвременному, глубинному, ноуменальному, хотя, конечно, извне она может облекаться, в числе других, и в политические формы. И политика в «Бесах» есть нечто производное, а потому и второстепенное. Не в политической инстанции обсуждается здесь дело революции и произносится над ней приговор. Здесь иное, высшее судьбище, здесь состязаются не большевики и меньшевики, не эсдеки и эсеры, не черносотенцы и кадеты. Нет, здесь «Бог с дьяволом борется, а поле битвы – сердца людей», и потому-то трагедия «Бесы» имеет не только политическое, временное, преходящее значение, но содержит в себе такое зерно бессмертной жизни, луч немеркнущей истины, какие имеют все великие и подлинные трагедии, тоже берущие для себя форму из исторически ограниченной среды, из определенной эпохи. В этом смысле, хотя по внешности «Бесы» как будто и представляют собой страницу из политической исто-

рии России, в действительности произведение это к ней вовсе не приурочено, останется от нее свободно и над нею возвышается. Это отнюдь не есть, вместе с тем, исторический, «реалистический» роман из истории русской революции, это даже не ее «Война и мир», где некоторое психологическое содержание связано с исторической плотью, дано историческое прозрение. Роман «Бесы», как и все вообще творчество Достоевского, принадлежит к искусству символическому, только внешне прикрытому бытовой оболочкой, и реалистичен лишь в смысле реалистического символизма (по терминологии Вяч. И. Иванова); здесь символизм есть восхождение *a realibus ad realiora*, постижение высших реальностей в символах низшего мира. И этот характер своего творчества создавал и сам Достоевский, когда писал о себе в своей записной книжке: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т.е. изображаю все глубины души человеческой»². Но своими корнями душа человеческая для Достоевского несомненно уходит в мир иной, божественный, и его реализм простирается поэтому не на человеческий только, но и на божественный мир, то есть является символизмом. Этот символический характер творчества Достоевского с удивительной прозрачностью просвечивает при постановке «Бесов» на сцене Художественного театра, и в этом следует видеть еще одну его заслугу в художественном трактовании Достоевского.

Итак, «Бесы» есть символическая трагедия. Но в то же время она существенно есть и русская трагедия, изображающая судьбы именно русской души. Говоря частнее, это есть трагедия русской интеллигенции как определенного духовного уклада личности. Для Достоевского, так же как и для нас, прислушивающихся к его заветам, русская трагедия есть по преимуществу религиозная – трагедия веры и не-

верия. «Верую, Господи, помоги моему неверию», – вот что и в жизни, и в творчестве Достоевского, а в частности и в «Бесах», молитвенным и покаянным воплем вырывается из его души. Для него есть только одна правда в жизни, одна истина – Христос, а поэтому и одна трагедия – не вообще религиозная, но именно христианская. Стремление ко Христу, бессилие быть с Ним и борьба с Ним бушующего своеволия – вот ее предустановленное содержание. Известно биографически, что Достоевский намечал себе написать книгу о Христе как завершение своего жизненного дела; то была, так сказать, литературная проекция всех его религиозных устремлений, мыслей и чувств. Думается, что никогда бы не написал он этой книги, ибо такие книги вообще не пишутся, это выходит за пределы литературы, мира книг. Зато можно сказать, что все им написанные книги в сущности написаны о Христе, и разве же он мог писать о чем-либо ином, кроме как о Нем, Его познав и Его возлюбив? Ибо любовь ко Христу в Достоевском, как и в его героях, тверже и несомненнее даже, чем самая вера в Него. И книга «Бесы», как ни парадоксально звучит это, написана о Христе, любимом и желанном русскою душою, о русском Христе, и о борьбе с Ним, о противлении Ему – об антихристе, и тоже о русском антихристе. Внешним образом об этом достаточно свидетельствует и эпиграф к роману, взятый из евангельского рассказа об исцелении гадаринского бесноватого. Русский Христос – вот настоящий, хотя и незримый, неоявляющийся герой трагедии «Бесы», только Он может совершить экзорцизм, властен изгнать «бесов», силен исцелить бесноватого. В средние века сценические представления, в которых действующими лицами являлись Христос и святые, носили название мистерий, и в этом смысле и «Бесы» есть мистерия, хотя и – по отсутствию на сцене главного

действующего лица – отрицательная мистерия. Однако «Бесы» имеют право на это название не только в литературно-историческом смысле, в них есть предначаток той священной и трепетной подлинности, какой должна явиться чаемая и лелеемая в душах грядущая мистерия – богодействие. И этот мистерияльный характер трагедии Достоевского со страшной силой ощущается и при постановке ее в Художественном театре: все время мучительно чувствуется, что это не обычное представление для «развлечения» жадной до зрелищ театральной публики, но нечто, уже на границе сценического искусства стоящее, его перерастающее. Подлинная мистерия не может быть только зрелищем, она обязывает ко многому, не позволяя зрителю оставаться пассивно-эстетическим созерцателем, как и актеру – только лицедеем; роль только зрителя или только актера кажется уже кощунственной, и как будто теургический трепет пробегает по зале... В этих высших достижениях сцены сильнее всего сказывается ее условность и искусственность и даже ограниченность искусства вообще, поскольку оно остается отвлеченно-эстетическим. Ибо не об этом искусстве произнес Достоевский свое пророчество: «Красота спасет мир». Мир спасет не театральная, не эстетическая красота, – сама она ценна и важна, пока зовет к этой спасающей красоте, а не отвлекает от нее, не завораживает, не обманывает.

Трагедия Достоевского называется «Бесы». Силы не добра, но зла владеют в ней русской душой, не Спаситель, но искуситель, имя которому – «легион, потому что нас много», – само многоликое зло. Религиозная природа не терпит пустоты; и раз душа пробудилась для Бога и, однако, не в силах родиться к новой жизни, обрести в Боге свое подлинное я, она делается личиной самой себя, игральным злом. В этой одержимости она теряет свое есте-

ственное равновесие, до пробуждения инстинктивно поддерживавшееся в ней природой; как гадаринский бесноватый, она «живет не в доме, но во гробах», мучимая и сотрясаемая в иступлении и бунте. Она становится медиумом злой силы, сама и не будучи злой, не убеждаемая, но принуждаемая ею к покорности. Это не есть состояние религиозной непробужденности и слепоты, напротив, зрячесть обострена здесь до чрезвычайности, и недостает здесь не знания, но волевого, жизненного самоопределения. В Евангелии бесы неизменно узнают Христа раньше людей, но что же говорят они Ему? «Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю Тебя, не мучь меня» (Лк., VIII, 28). «Тот, Кто есть сама Радость, Кто говорил Своим ученикам: Радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна» (Ин., XIV, 10), – Он мучит Собою духов зла и ими одержимых. Такое состояние мучения о Христе переживают главные герои «Бесов». «Меня всю жизнь Бог мучил», – говорит Кириллов, и в действительности не о себе только, но и о Шатове, Ставрогине, о Федьке даже и об остальных действующих лицах, которым суждена роль гадаринских свиней, т.е. слепых орудий злой силы. Одержимость – какая-то странная медиумичность – действительно есть главная черта героев «Бесов». Все они в мучительном параллели личности. Она словно отсутствует, кем-то выедена, а вместо лица – личина, маска. Лицо Ставрогина, центрального героя «Бесов», не только напоминало маску, но, в сущности, оно и было маской. Загадочной и почти непреодолимой трудностью для инсценировки «Бесов» является это отсутствие живого Ставрогина, его личинность, особенно ярко обнаруживающаяся при сценическом воплощении этого образа. Ставрогин есть герой этой трагедии, в нем ее узел, с ним связаны все ее нити, к нему устремлены все чаяния, надежды и верования, и в то же время *его нет*,

страшно, зловеще, адски нет, нет вовсе не постольку, поскольку он не удался автору или исполнителю, но именно постольку удался. Достоевский знал, чего хотел, точнее, знал это его мистический и художественный гений. Ставрогина нет, ибо им владеет дух небытия, и он сам знает о себе, что его нет, отсюда вся его мука, вся странность его поведения, эти неожиданности и эксцентричности, которыми он хочет как будто самого себя разубедить в своем небытии; а равно и та гибель, которую он неизбежно и неотвратно приносит существам, с ним связанным. От него останется лишь психологический скелет – железная воля, темперамент, бесстрашие и даже авантюристское искажение опасности как острого впечатления, но дух его «связан» цепями и узами, и в нем живет «легион». Как возможно такое изнасилование свободного человеческого духа, образа и подобия Божия, что такое эта одержимость, эта черная благодать бесноватости? Однако не соприкасается ли этот вопрос с другим вопросом, именно о том, как действует исцеляющая, спасающая, перерождающая, освобождающая благодать Божия, как возможно искупление и спасение? как возможно обожение? прощение грехов, которые становятся как бы не бывшими? Здесь мы подходим к самой глубокой тайне в отношениях между Богом и человеком, и сатана, который есть обезьяна Бога, плагиатор и вор, сеет и свою черную благодать, связывая, парализуя человеческую личность, которую освобождает только Христос. «И пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме» (Лк., VIII, 35). Медиумичность, женственная рецептивность, паралич мужского начала Логоса отличают Ставрогина, как и большинство действующих лиц в «Бесах». К слову сказать, в современной литературе есть писатель, который в художественном постижении именно медиумичности

души приближается к Достоевскому, это – Андрей Белый. В «Серебряном Голубе», а равно и в «Петербурге» с огромной силой и поразительным ясно-видением изображено это медиумическое состояние души, ее одержимость темными силами из иных «планов» бытия, иных миров. «Петербург» (в пока напечатанных главах) оказывается как бы прямым продолжением «Бесов», и это тем более поразительно, что, очевидно, чуждо преднамеренности. Однако в творчестве А. Белого (как и духовно наиболее сродного ему Гоголя) до сих пор отсутствуют те именно черты творчества Достоевского, которые позволяют признать его романы (не исключая и «Бесов») «книгою о Христе»; по крайней мере, до сих пор этого нельзя сказать об авторе «Серебряного Голубя» и «Петербурга». Думается, что и будущее его зависит от того, найдет ли он спасение от пронизывающих его душу вихрей, от их «легиона», «у ног Иисусовых». Но возвратимся «Бесам».

Ставрогину, этой личине небытия, принадлежит центральное место в романе, в него все почти более или менее влюблены, и мужчины и женщины, с ним связываются лучшие надежды и мечты, у каждого свои – и только вещь Хромоножка, этот медиум Добра, из «снов» своих узнает страшную тайну о том, что он самозванец, личина, скорлупа, что его нет, и этот суд Хромоножки, или высшей силы, через нее гласящей, окончательно решает судьбы Ставрогина: после него он (как Иван Карамазов в разговоре со Смердяковым об убийстве отца) внутренне соглашается на убийство Хромоножки. Епископу Тихону (см. приложение к «Бесам») Ставрогин признается, что к нему (как и к Ивану Карамазову) приходит бес.

«Тихон посмотрел вопросительно. – И... вы видите его действительно... видите ли вы в самом деле какой-нибудь образ?

– Странно, что вы об этом настаиваете, тогда как я уже сказал вам, что вижу... разумеется, вижу, вижу так, как вас...»

Но вот что важно, это – тот вопрос, которым выдает себя при этом Ставрогин: «А можно ль веровать в беса, не веруя совсем в Бога?» – «О, очень можно, сплошь и рядом», – был ответ Тихона, и это был ответ о Ставрогине. В том состоянии одержимости, в каком находится Ставрогин, он является как бы отдушиной из преисподней, через которую проходят адские испарения. Он есть не что иное, как орудие провокации зла. В романе Достоевского художественно поставлена эта проблема провокации, понимаемой не в политическом только смысле, но в более существенном, жизненно-религиозном. Ставрогин есть одновременно и провокатор, и орудие провокации. Он умеет воздействовать на то, в чем состоит индивидуальное устремление данного человека, толкнуть на гибель, воспламенив в каждом его особый огонь, и это испепеляющее, злое, адское пламя светит, но не согревает, жжет, но не очищает. Ведь это Ставрогин прямо или косвенно губит и Лизу, и Шатова, и Кириллова, и даже Верховенского и иже с ним, причем в действительности губит не он, но *оно*, то, что действует в нем, через него и помимо него. Каждого из подчиняющихся его влиянию обманывает его личина, но все эти личины – разные, и ни одна не есть его настоящее лицо. Он одновременно возбуждает душевную бурю в Шатове и внушает Кириллову его бред, рыцарски-капризно женится на Хромоножке и участвует в садистском обществе, растлевает ребенка, чтобы не говорить уже об остальном. И так и не совершилось его исцеление, не изгнаны были бесы, и «гражданина кантона Ури» постигает участь гадаринских свиней, как и всех, его окружающих. Никто из них не находит полного исцеления у

ног Иисусовых, хотя иные (Шатов, Кириллов) его уже ищут, но... «Но, – говорит Ставрогину еп. Тихон, – полный атеизм не только почтеннее светского равнодушия, но совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры (там перешагнет ли ее, нет ли), а равнодушный никакой веры не имеет, кроме дурного страха». Здесь, как и в других романах, Достоевский старается проникнуть в глубину «совершенного атеизма», того религиозного отчаяния, из которого трагически рождается (или же так и не рождается) вера. Христос или гадаринская бездна – вот религиозный смысл трагедии, вот ее правда, ее проповедь: иначе нельзя, иного выхода нет, *tertium non datur*. Так стояло это в душе Достоевского, в которой всегда совершенная вера трагически боролась с совершенным неверием, то побеждающая, то побеждаемая, и эту же трагедию чрез свой собственный дух он ощущал и в русской душе, и в духовном организме России, в которой святая Русь борется с царством карамазовщины. В «Бесах» еще нет того разделения света и тьмы, как в «Братьях Карамазовых», где старикашке Федору Карамазову противостоит старец Зосима, а Ивану – Алеша, здесь одни лишь гадаринские бесноватые, один мрак, зато он сгущен до последней мучительности, и эта его острота, его невыносимость и делает его предрассветным, не тьмой безразличия и хаоса, но той «сенью смертной», в которой рождается «свет велий». И в этом смысле «Бесы», повторяем, есть книга о Христе, есть отрицательная мистерия.

Царство света намечено здесь немногими, хотя и высоко художественными штрихами, в образе еп. Тихона (однако не включенного в роман автором) и вещей Хромоножки, одним из удивительнейших созданий творчества Достоевского (нашедших художе-

ственное воплощение в высокоталантливом исполнении г-жи Лилиной). Хромоножка – ясновидящая, она из рода сивилл, которые читают в книге судеб с закрытыми глазами, но и она не принадлежит к положительным героям Добра, носителям мужественного начала религии, и она тоже медиум, хотя по чистоте своего сердца и подпитом своей юродивости, уродства и слабоумия она недоступна силе злобы и открыта добру. Ее охраняет от злых чар покров чистой женственности; это не дурная, бесплодная, ведовская женственность колдуньи, но исполненная воли к материнству, и в девственности своей не хотящая бесплодия, – отблеск немеркнувшего света «Девы и Матери». Она рассказывает Шатову про своего, конечно, никогда не существовавшего ребенка, и это не только бред, это говорит сама рождающая женственность, хочется верить, что этот ребенок есть, хотя и никогда он не рождался. Однако зрячесть Хромоножки сильно напоминает то, что на теософическом языке зовется астральным ясновидением и существенно отличается от религиозного вдохновения. Она – сивилла, но не пророчица. Через сны находит она дорогу к действительности. «Теперь сны не хороши (жалуется она Ставрогину), а сны не хороши потому, что вы приехали». Этому излюбленному созданию своей музыки, этой возлюбленной дочери Матери Земли Достоевский влагает в уста самые сокровенные, самые значительные, самые пророчесственные свои мысли. Мало найдется во всей мировой литературе огненосных слов, которые созвучны были бы этой нездешней музыкой обвеянной речи.

«А по-моему, говорю, Бог и природы есть всё одно. Они мне все в один голос: «Вот на!» Игуменья рассмеялась, зашептала о чем-то с барыней, подозвала меня, приласкала... Ну, а монашек стал мне тут же говорить поучение, да так это ласково и смиренно

говорил и с таким, надо быть, умом; сижу я и слушаю. «Поняла ли?» – спрашивает. «Нет, говорю, ничего я не поняла, и оставьте, говорю, меня в полном покое». ...А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: «Богородица что есть, как мнишь?» – «Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого». – «Так, говорит, Богородица – великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная, и всякая слеза земная – радость нам есть; а как напоишь слезами своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей не будет, таково, говорит, есть пророчество». Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу. И вот я тебе скажу, Шатушка: ничего-то нет в этих слезах дурного; и хотя бы и горя у тебя никакого не было, все равно слезы твои от одной радости у тебя побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я, бывало, на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой – наша Острая гора, так и зовут ее горой Острою. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращаюсь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пыльное, да славное, – любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо, да грустно. Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то от нашей горы далеко по озеру, как стрела, бежит, узкая, длинная-длинная и на версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем как есть пополам его пережмет, и как пережмет пополам, тут и солнце совсем зайдет, и все вдруг погаснет».

Хромоножка пронизана нездешними лучами, ей слышны нездешние голоса, поэтому ее не обманет маска, она не примет личины за лицо и не поверит самозванцу. И тем не менее в сущности и ее нет, как лица, как индивидуальности, она вся как будто расщеплена своим слабоумием, юродивостью, даже своим ясновидением. Она из рода тех, о которых говорил еще Платон в «Тимее», относя их пророческий дар не к голове, не к сердцу, но к печени: «Часть души, поселенная около печени... не будучи причастна мысли и разума, пользуется зато по ночам, когда ведет жизнь ровную, пророчесственными сновидениями... Есть и достаточное доказательство тому, что силу прозрения Бог присвоил именно человеческому неразумию, ибо ведь никто в трезвом состоянии ума не владеет даром боговдохновенного и истинного прорицания, а владеют им люди либо тогда, когда сила их мышления бывает связана сном, либо в состоянии извращения, приносимого либо болезнью, или известного рода восторгом. Но затем дело человека мыслящего припомнить и обсудить, что изрекла ему, во сне или наяву, эта провещательная или боговдохновенная природа... человеку же иступленному, пока он находится еще в иступлении, не дело судить о своих собственных представлениях и словах»³. И то, что Платон уже вполне знал и понимал Хромоножку, лучше всего свидетельствует об ее религиозной природе: она религиозная его современница, она принадлежит к дохристианской эпохе. Сказать ли? Ведь, может быть, она вообще и не знает Иисуса, не ведает лика Христова, а о «Богородице» говорит совсем в особом, космическом смысле. Она праведна и свята, но лишь естественной святостью Матери Земли, природной мистики, живет от «слов, написанных в сердцах язычников», и еще не родилась к христианству. Конечно, Хромоножка, уже как носительница

Вечной Женственности, всем существом своим вырастает в Церковь, есть одна из Ее человеческих ипостасей, но лишь в природном, близком Ее аспекте, как Души Мира, Матери Земли, «богоматери», но еще не Богоматери. В образе Хромоножки таится величайшее прозрение Достоевского в Вечную Женственность, хотя и безликую.

Это – дохристианская или внехристианская душа, которая разумеет шепот Додонского дуба, прислушивается к органистическому лепету пифийской жрицы на ее треножнике и пророчеству весталки. Она хорошо знает святость земли, для нее «Бог и природа одно», но она еще не знает того Бога, Который преклонил небеса и воплотился в Совершенного Человека, чтобы соединить в Себе божеское и человеческое, и Бога, и природу, именно потому, что они – одно, а вместе с тем и не одно. И на Голгофе, вместе с последним вздохом Распятого, «умер великий Пан», чтобы уже не воскреснуть, и сокрушились чары естественной благодати, Новый завет отменил и поглотил Ветхий, – и ветхий закон, и ветхую природу. И не ей заклать ставрогинского беса, она может только его назвать, сорвать с него маску. И сама она мученически гибнет от мстительной злобы обличенного самозванца судьбою Кассандры, античной ее сестры.

Мужественными и положительными чертами отмечена Даша, «сиделка», которую одну из всех, собравшихся у Варвары Петровны, выделила Хромоножка: «Одна Даша ангел». Только она не боится Ставрогина и знает ему цену: «Никогда, ничем вы меня не можете погубить, и сами это знаете лучше всех... Если не к вам, то я пойду в сестры милосердия, в сиделки, ходить за больными, или в книгоноши, Евангелие продавать». Она знает, что он к ней придет, на ее плечо захочет положить слабую голову, ее кликнет. Она станет его сиделкой. Однако и она

не в силах совершить экзорцизм, возродить Ставрогина. Он ее третирует, ее добродетель для него слишком пресна, элементарна, ограничена. К тому же и в самом ее чувстве, в характере ее привязанности к Ставрогину есть что-то недостойное, напоминающее собачью преданность. И такой же двусмысленный и недостойный характер имеет и ее тайная связь с Ставрогим, заведомо основанная не на взаимной любви или даже уважении, но на раболепной покорности с одной стороны и капризной прихоти с другой (и это еще более оттеняется налаживавшеюся комбинацией с Степаном Трофимовичем). «Придет и после лавочки! – прошептал он (Ставрогин), подумав, и брезгливое презрение разлилось в лице его: – Сиделка! Гм!.. А впрочем, мне, может, того-то и надо!» Он таки позвал ее, когда окончательно рушилась под ним почва, но силы жить от нее не получил, а потому и ее услугами воспользоваться не мог. Впрочем, не женская любовь могла спасти Ставрогина. И как можно требовать от женщины того, что не могла сама Женственность (Хромоножка).

Из всех женщин, окружающих Ставрогина, наиболее сродна ему Лиза. В отличие от целого ряда лиц, в отношении к которым Ставрогин выступает в роли интеллектуального искusstителя, в данном случае совершенно нет места идейному соблазну. В отношениях Лизы к Ставрогину наблюдается скорее какая-то зачарованность воли, магический гипноз, которым удав парализует обреченную на съедение птичку. Между Ставрогим и Лизой существует музыкальное соответствие душ, *Wahlverwandschaft*, но это есть сродство в одержимости, ибо и Лиза принадлежит не себе, и она влечется слепой и злой силой. В ней пробужден какой-то иррациональный авантюризм, сладострастие гибели, стремление в бездну. Ставрогин обронил однажды Лебядкину мысль, произведшую на него большое

впечатление (ибо ведь и на него распространяется обаяние Ставрогина): «Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла». Лиза делает вызов не только здравому смыслу, но и гораздо более почтенным чувствам, когда, не помня о матери и Маврикии Николаевиче, бросается в карету Ставрогина. Она не обманывает себя относительно Ставрогина, и, когда отдается ему, она ищет не его, но гибели, она ищет той неведомой свободы, которую сулит переход за последние грани, но, обманутая бесовским маревом, находит отчаяние и пустоту; недаром, уже вступая в Скворешники, она рекомендуется «трупом». «Мне всегда казалось, – говорит она Ставрогину в это роковое утро в Скворешниках, – что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдет наша взаимная любовь». И воистину так, она не обманывает себя, не впадает в иллюзии. Ну а если так, то какая же злая сила бросила ее в объятия Ставрогина? Любовь ли? Но ведь не любовь это говорит ее языком в скворешниковское утро, это – не тот божественный дар, который в эротическом сиянии показывает вечный образ любимого. То не крылья, которыми душа взмывает в вечную синеву неба, это – оковы, демонские чары, это – любовь наизнанку, любовь-ненависть, тоже обладающая ясновидением, только не добра, но зла, видящая в любимом и вместе ненавидимом человеке не создание Божественной любви, но добычу ада, злого паука или «золотушного бесенка с насморком из неудавшихся», это не эрос, но анти-эрос, какая-то черная любовь. Вот какой любовью любит Лиза Ставрогина, и едва ли не такую же и он ей отвечает.

Ставрогин играет исключительную роль в жизни не одних только женщин, но не менее, если не более, и мужчин. «Вспомните, как много зна-

чили вы в моей жизни», – в один голос говорят ему и Кириллов, и Шатов, и Петр Верховенский, даже Лебядкин. Кириллов и Шатов в романе сгорают в огне пожара, зажженного в их душах Ставрогиным. Своей плотью и кровью одели они отвлеченные, как бы бесхозяйные идеи, которые, как искры из костра, вылетают, фосфорически светящиеся и холодные, из неживущего Ставрогина, утратившего личное бытие и превратившегося в личину, в медиум. Поэтому-то он и становится духовным провокатором, он зажигает других тем, чем сам не горит и заведомо не способен загореться – льдистое отражение чужого огня и света. Он – актер, но не на сцене, не в искусстве, а в жизни. Ведь и актер есть тоже медиум и тот же провокатор, – его, как живого лица, нет в его роли, он отдает себя, свой психический механизм как средство, как материал для медиумического воспроизведения чужого содержания, которое, однако, должно отразиться подлинным переживанием в душе его зрителей. Такова природа актера, и в этом граница сцены, последняя предполагает, так сказать, законный, признанный медиумизм, иллюзионизм, зеркальность. Этим медиумическим, провокаторским характером сцены именно и устанавливается грань между сценическим представлением и теургическим искусством, как оно мыслится в современных чаяниях: грань эту полагает подлинное перерождение, одинаково распространяющееся и на исполнителей, переставших быть пустыми личинами, и на зрителей, переставших тоже быть пустыми или праздными, пассивными созерцателями. Различие между сценическим искусством и мистериальным действием определяется, таким образом, зеркальной призрачностью достижений первого и жизненной реальностью второго.

Эта грань ощущается совершенно явственно и теперь в различии меж-

ду богослужением, литургическим обрядом, который всегда представляет собой и некое действие, реален одинаково и для клира, и для народа, и между сценическим представлением, которое, как бы ни было оно совершенно, всегда только зеркально, обманчиво и притворно. Сцена есть область дурного идеализма зеркальности и призрачности, в противоположность реальности литургического обряда. Медиумичность, провокация, зеркальность является самой основой сценического искусства, в этом его сила, ибо им раздвигаются грани эмпирически ограниченной индивидуальности, и в одной человеческой коже вмещается несколько тел, как на одно лицо можно накладывать много различных гримов, но в этом и его ограниченность. Соответственно своей природе, актер может быть медиумом одинаково и добра, и зла, хотя в служении красоте он и имеет во всяком случае здоровяющее начало, перед которым никнет сила зла. Напротив, актерство, перенесенное в жизнь, неизбежно становится провокацией. Ставрогин, этот актер в жизни, личина личин, провокатор. Такой Ставрогин, по меткому определению Кириллова, «ищет бремя», чтобы осилить свою внутреннюю распря, справиться с распадом личности, родиться к жизни, ощутить непризрачную ее реальность, но остается побежденным в этой борьбе. И в последнем письме к Даше читаем горькое признание: «Из меня вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы. Даже отрицания не вылилось. Всё всегда мелко и вяло». И небытие поглощает свою жертву, мертвую ранее смерти. А в этого мертвого человека верило столько людей, с ним связывалось столько надежд: «марево и наваждение!»⁴.

Сказанным определяется и роль Ставрогина в судьбе Шатова и Кириллова, в которых он обострил заложенную в них душевную драму, чем нару-

шил их душевное равновесие. Оба они не в силах выносить зачатый в душе и преждевременно родившийся плод, и оба влекутся к гибели. Шатов говорит Ставрогину: «В Америке я лежал три месяца на соломе, рядом с одним... несчастным, и узнал от него, что в то же самое время, когда вы насаждали в моем сердце Бога и родину, – в то же самое время, даже, может быть, в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кириллова, ядом... Вы утверждали в нем ложь и клевету и довели разум его до иступления». И Ставрогин подтверждает: «Ваше предположение о том, что все это произошло в одно и то же время, почти верно; ну и что же из всего этого? Повторяю, я вас, ни того, ни другого, не обманывал» – искренний и типичный ответ. Иначе сказать, по определению Кириллова, «Ставрогин, если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует». Конечно, ни Бога, ни родины не насаждал и не мог насаждать Ставрогин одинаково как в душе Шатова, так и в душе Кириллова. Он явился для обоих искушителем, соблазняя их призрачной истиной и призрачным добром. Искушение всегда имеет дело с полуистиной, выдаваемой за целостную истину, причем следствие в нем подставляется в качестве самостоятельной цели, так что получается погоня, вместо причины, за следствием. Искушение обманывает, нарушая лад и строй целого, ниспровергая мудрость целостности – целомудрие, и такое именно разрушительное действие оказывает на души Кириллова и Шатова Ставрогин, обольщая одного идеей божественности всякого индивидуального человека, а другого – божественности народа. Кириллов представляет собою одно из самых глубоких и поразительных порождений мистического гения Достоевского, в нем раскрываются религиозные бездны человеческого духа. Инженер по образо-

ванию, Кириллов живет только религиозными интересами. «Меня всю жизнь Бог мучил». Характерно еще, что при всех его сомнениях и отрицаниях в его сердце остается нетронутой вера в Христа или, точнее, совершенно исключительная, никакими доводами не оправданная, но в них и не нуждающаяся любовь к Нему. Надо думать, что так же это было и с самим Достоевским. В последнем разговоре с Петром Верховенским Кириллов неожиданно ссылается на слова Спасителя: «Вот Он сказал». «И он с лихорадочным восторгом указал на образ Спасителя, перед которым горела лампада». И дальше следуют безумные и великие слова неверующей любви.

«Знаете что, по-моему, вы веруете, пожалуй, еще больше попа. – В кого? В Него? Слушай, – остановился Кириллов, неподвижным, иступленным взглядом смотря пред собой. – Слушай большую идею: был на земле один день, и в середине земли стояли три креста... Слушай: этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого человека одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после Ему такого же, и никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда». С этой иступленной любовью ко Христу пришлось встретиться в Кириллове и Ставрогину, и в отношении последнего интересна в особенности следующая черта. В разговоре Шатова со Ставрогиным имеется такое упоминание: «Не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?»

В этой альтернативе, которая, очевидно, еще более, чем для Шатова, предназначается для Кириллова, под личиной любви и восторженности заключена тонкая хула и неверие: «Не лобзанием ли предаешь Сына Челове-

ческого?» Это противопоставление Христа, Который для верующего есть Путь, Истина и Жизнь, какой-то отвлеченной истине есть замаскированное кощунство, предназначенное для обмана простодушных сердец. Христос-Истина здесь подменяется кумиром, избранным прихотью, капризом вкуса, субъективной привязанностью, то есть в конце концов тоже... своеволием.

Сердце Кириллова с этой стороны осталось, по-видимому, недоступно соблазнам Ставрогина: при нем сохранилась нетронутой и его любовь ко Христу и даже непосредственное чувство Бога, его общее религиозное мироощущение. «Я всему молось, – вырывается признание у этого «атеиста», – видите, паук ползет по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что он ползет». Вероятно, творя эту непрерывно струящуюся из него молитву Спинозы, он зажигает лампаду пред Ликом Того, Кому, помимо ведома, молится его душа. Он и в Федьке-каторжнике, с которым читает Апокалипсис, воскрешает религиозную веру. И однако, Ставрогин отравил его сознание, сделал его маниаком одной глубокой и важной идеи, которая, завладев им всецело, получила богоборческий и бредовый характер. Это – идея человеческой свободы и человеческой божественности – «будете, как боги, знающие добро и зло». Есть два пути человеческой свободы: «да будет воля Твоя» – путь, указанный Сыном Человеческим, пришедшим не во имя Свое, но во имя Отца, и творившим волю не Свою, на Пославшего Его; и «да будет воля моя» – путь своеволия, богопротивления, опирающегося, однако, на чувство своей мощи, на сознание своей божественности. Есть два пути человеческой божественности: путь Сына Божия, который «не хищением считал» быть равен Богу, но, Себя умалив, принял «знак раба», послушен был до смерти крестной, исто-

щив Себя и Свое Божество, – и путь того, который хочет быть противобогом, соперником Бога, хищением стяжав и присвоив себе не свое. Простодушный, наивно отрицающий атеизм остается бесконечно ниже мистических запросов Кириллова: последний не отвергает Бога, но Его не хочет, это не атеизм, но антиатеизм, причем антиатеос и есть тот, кто себя хочет поставить вместо Бога. И для этого второго бога, бога-самозванца, бунтовщика, узурпатора, плагиатора бунт и своеволие неизбежно оказываются атрибутами божества, самоуверением в божественности, ее пробой и осуществлением. «Я три года искал атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего – Своеволие! Это всё, чем я могу в главном пункте показать непокорность и страшную свободу мою. Ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою».

Как сатана есть карикатура Бога, так и своеволие есть карикатура свободы, так и религиозный бунт есть пародия мощи.

Божественная свобода есть Любовь и потому есть Смирение. Святая Троица есть предвечно осуществляемый акт Любви-Смирения, в котором каждая ипостась истощает себя в смирении-любви, чтобы найти себя в другой, потому для Троичности, этой свободы в смирении, нет места в царстве раздора и своеволия: сатана есть унитарист, космически выпячивающий свое я. И самое творение мира как акт божественной любви, обеспечивающий миру и мирочеловеку всю свободу и отказывающийся ради этой свободы от неограниченности божественного всемогущества, есть акт смирения, самоотвержения: в «да будет» первого дня творения уже предначертаны Голгофа и последнее божественное самоистощение: «Боже мой, Боже мой, вскую Меня оставил?» Сатана несовместим со свободным миром, он мо-

жет хотеть мира лишь как вещь, как игрушку, а человечество – как рабов, которыми можно помыкать. Он есть всегда притязание и претензия, воплощенное *улёр* или *Ueber*: *Ueberwelt*, *Uebermensch*, *Uebergott*, он весь – усилие, зависть, соревнование. Ему всегда нужно уверять себя и доказывать себе эту призрачную и ложную свою божественность. И если атрибут Божества в том, чтобы животворить и воскрешать, – «воскресение – документ истинного Бога» (В. Соловьев), – то атрибут противобога есть своевольное разрушение без силы созидания. И наиболее радикальным доказательством этого самозваного божества становится разрушение самого себя, собственной жизни, самоубийство по религиозным мотивам. Вот общая схема искушения Кириллова, которая усложняется и обрастает в его психологии, тема эта звучит, переливаясь, в мистической музыке его души. «Вся свобода будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить. Вот всему цель». «Бог есть боль страха смерти. Кто победил боль и страх, тот сам станет бог...» «Дальше нет свободы; тут все, а дальше нет ничего. Кто смеет убить себя, тот бог». Самоубийство как религиозный эксперимент, как доказательство своеволия, с которого начнется новая эра в истории человечества, – такова идея Кириллова. Но этот новый бог или противобог, искушающий Кириллова, есть обманщик и самозванец, ибо он может только разрушать. Он не лжет в том, что человек должен знать и сознать и свою свободу, и свою мощь, чтобы в смирении самоотречения отдать их Богу. Ибо и Бог хочет в сынах Своих иметь не пасынков, не рабов и не манекенов. Ему нужна не наша пассивность и лень, но наша активность, свобода и мощь. Но когда мы их в себе утверждаем, то находимся на острие ножа, подвергаемся величайшей опасности подменов, в которых в качестве свободы появляется

своеволие, в качестве дерзновения – дерзость, вместо мощи – разрушительный вандализм. Так и Кириллов пьян почувствованной свободой и сознанный мощью своей, но он и раб ее, ибо не знает и не ощущает ее действительных границ и подлинной природы, раб, ибо утратил смирение, действительный «атрибут» Бога-Любви, раб потому, что видит мощь в вандализме, самоистреблении. Украсть жизнь у Бога, объявив ее своей собственностью, между тем как она нам лишь вверена, это есть дело самозванца, а не истинного человекобога: «если нет Бога, то я бог, – говорит мессия человекобожия, – потому что вся воля моя», но вне Бога она есть нуль, небытие, бесильная, неутолимая жажда. Таков остов религиозной драмы Кириллова, подобной которой нет в мировой литературе. В инсценировке «Бесов» на сцене Художественного театра пока совсем отсутствует этот образ, может быть и к лучшему: сцена не вынесла бы этой потрясающей драмы...

Кириллов неизбежно утрачивает при этом чувство реальности и Бога, и мира и впадает в идеалистический субъективизм. Если Бог лишь идея, которая, подобно времени, может погаснуть в человеческом уме, то и человек в своем духовном мире окутан призрачной майей, которая может меняться по желанию. «Всё хорошо, всё. Всем тем хорошо, кто знает, что всё хорошо. Если б они знали, что им хорошо, то им не было бы хорошо, но пока они не знают, что им хорошо, то им будет хорошо... Они не хороши, потому что не знают, что они хороши... надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого».

Рядом с Кирилловым в окружении Ставрогина стоит Шатов. Теперь, после высокохудожественного воплощения этого образа на сцене Художественного театра, не нужно напоминать душевную драму Шатова: как будто с амвона, слышатся со сцены за-

ветные, бесконечно волнующие слова о народе – теле Божиим, о народе-богоносце. Здесь мы имеем одно из ранних выражений самых сокровенных верований и самого Достоевского, полнее раскрывающихся в «Братьях Карамазовых» и в «Дневнике писателя». Что такое народ? Какова его религиозная природа? И что представляет собою русский народ? Достоевский отвечает устами Шатова на эти вопросы вполне определенно, рассматривая эти ответы как аксиомы религиозного мирозерцания. Народ есть в основе своей религиозное единство, «тело Божие», народы создаются их религиями, и углубленное, и обостренное национальное самосознание неизбежно приводит к убеждению о богоносности народа. Всякий народ потенциально богоносен, поскольку он вынашивает в себе свою религиозную идею, дает в себе место раскрытию божества. Народы живут верою, ею они слагаются и с утратой ее разлагаются. Конкретность, индивидуальная напряженность национально-религиозного самосознания не позволяет ограничиться лишь отвлеченно резонирующими утверждениями о равенстве и равноценности всех народов перед Богом, ибо это не делает их равноценными перед человеком. С отказом от своего лица не мирится живое чувство своего собственного национального призвания. Выраженное же от имени первого лица, оно неизбежно получает еще дополнительный обертон, именно сознание исключительности, единственности своего призвания и значения. Такова горячая, живая, не резонирующая вера. Приблизительно такой порядок идей с потрясающей силой выражен в речах Шатова, причем самые эти идеи были заронены в нем в момент духовного кризиса, года за два-три перед тем, Ставрогиным. Шатов в известном смысле тоже есть одно из реальных отображений Ставрогина, его вампирных двойников, которых он напустил

кругом себя и которые присасывались к сердцу и пили кровь своих пленников – Шатова, как и Кириллова. Насколько последний стал маниаком человекобожия, настолько же первый становится маниаком национальной идеи. Если присмотреться ближе, то все пламенные утверждения Шатова, как будто содержащие истинные, а в некотором роде даже аксиоматические положения, страдают, однако, религиозной двусмысленностью, представляют ряд искажений, подобно тому, как в слегка искривленном зеркале путем малозаметных удлинений и расширений получается, при большом сходстве, и именно в силу такого сходства, обидная карикатура. Такое кривое зеркало представляет собой, конечно, не Шатов, но Ставрогин, обостривший в нем до такой степени именно эту проблему. Мы знаем из романа, что Шатов загорелся религиозной идеей национальности в такое время, когда он еще не имел веры в Бога, хотя и страстно хотел ее иметь; в народ-богоносец он поверил раньше, чем поверил в Бога, и этот призрак, за которым он погнался, и эта мечта, на которую он затратил хотя и несложные и небогатые, но сосредоточенные силы своего духа, исказили его духовную личность. Он тоже сделался жертвой провокации и обмана, – неверующий проповедник идеи народа-богоносца. Отсюда понятна столь жгучая его потребность опереться на Ставрогина, оттого Бог у него, действительно, становится атрибутом национальности. Делая столь чрезмерное ударение на идее особенности, национальности, религии, Шатов впадает в явный конфликт с христианством, проповедь которого обращена ко всем языкам. Шатов стоит поэтому на ветхозаветной или даже политеистической точке зрения, допускающей множество равноправных, борющихся между собою национальных богов. «Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого

с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтобы у всех или у многих народов был один общий Бог, но всегда и у каждого был особый. Чем сильнее народ, тем особливее бог». Ясно, что, исходя из этих положений, нельзя подойти к христианству как религии языков, а следовательно, и приблизиться к вопросу о «русском Христе». В Шатове нарушено религиозное равновесие, то, что должно быть лишь производным, занято место основного, – произошло смещение религиозного центра. Религиозное искушение именно и состоит в этом нарушении духовных пропорций, благодаря которому частичная истина, получая не принадлежащее ей место, из полуистины становится ложью. В христианстве идее национальности бесспорно принадлежит свое определенное место, но если самое христианство понимается и истолковывается лишь из идеи национальности, а не из Христа как единого, живого и пребывающего центра, то, очевидно, мы имеем подмен: уже не народ – тело Божие, но сама вера становится телом народа. Шатов поистине оказывается идеологическим предшественником того болезненного явления русской жизни, которое так же, как и он сам, порождено в известном смысле революцией: так называемое черносотенство, или союзничество, тем и отличается, что национализм становится в нем выше религии, а православие нередко оказывается средством для политики. Нет сомнения, что чистый сердцем Шатов ужаснулся бы на это свое духовное потомство, однако именно он является его духовным прообразом. Этот уклон был и в Достоевском, который знал его в себе и художественно объективировал в образе Шатова этот соблазн беса национализма, прикрывающегося религиозным облачением. Этот соблазн подстерегает всякого, чье сердце бьется любовью к родине, ибо национальное чувство неизбежно раздирается этой

антиномией – исключительности и универсализма – и, по совести говоря, кто из тех, в ком оно живо, не знает в тайниках души Шатова? Это тот самый старинный соблазн, каким все время искушался народ Божий, возмнивший о себе, что не он избран Иеговой, но Иегова избран им. Что же касается Ставрогина, то для него Шатов – не лихорадочный, маниакальный, фанатический, но здоровый, уравновешенный, верующий Шатов – есть то, в чем он сам видит спасение от демона небытия, чем бы он сам хотел стать, но, однако, не может.

«Не шутил я с вами и тогда, – говорит Шатову Ставрогин, – убеждая вас, я, может, еще больше хлопотал о себе, чем о вас». «Если б я веровал, – прибавляет он позже, – то, без сомнения, повторил бы это и теперь; я не лгал, говоря как верующий». Ставрогин головой отлично знает, где спасение, но она отделена у него от сердца, и от этого знания не родится духовного плода. Так бесы узнавали мимоходящего Христа и кричали через бесноватых: «Ты Христос, Сын Бога Живого», но Он запрещал им эти бесплодные признания. В душе Шатова Ставрогин мог лишь вызвать бурю, поразив его воображение и помешав ему дорасти, созреть до своей идеи. Делом Ставрогина и здесь оказалась духовная провокация.

Надломленный своим прошлым и отравленный чарами Ставрогина, Шатов, однако, принадлежит к уже исцеляющимся, он судорожно припал к «ногам Иисусовым», и его коснулась исцеляющая рука: он выпрямляется и вырастает на глазах – тому свидетельством раздирающая душу повесть о возвращении жены, рождении ребенка и смерти Шатова, – эта потрясающая *Ночь*. Светозарная молния разрезает тьму, в душе Шатова звенит гимн любви, радости, всепрощения, – он исцелен. Но в эту минуту злобная и мстительная рука направляет на него

пистолет простоватого Эркеля... Не суждено было Шатову поведать людям о своем исцелении.

Около Ставрогина, как кругом великого светила малое, обращается и Петр Верховенский. События последних лет сделали для нас несравненно более понятным этот образ, с таким высоким искусством воплощенный на сцене Художественного театра. Петр Верховенский есть то, что можно называть провокатором политическим. При этом он отнюдь не есть предатель из-за корысти, не трус, не нигилист и обманщик, он даже энтузиаст, по компетентному определению Ставрогина, он способен на жертвы и все время, в сущности, играет с опасностью. И однако, в то же время он циник, который откровенно презирает и водит за нос свои «пятерки», рассматривая их как пушечное мясо. Потому он так хладнокровно перешагивает через убийства и при этом вовсе не ощущает каких-нибудь «проблем» или сомнений, укров совести. Как будто у него кем-то выедено нравственное нутро, а в мозгу засела одна лишь фанатическая и фантастическая идея. Под маской демократа, эгалитариста и социалиста он совершенно откровенно третирует всех, рассматривая людей, как шашки в шахматном ходе. Над всем царит у него одна холодная, насмешливая, презрительная воля. Но при этом и трезвый, расчетливый в злодействе Верховенский в действительности есть маниак и одержимый. И он ощущает себя сверхчеловеком и человекобогом отнюдь не менее Кириллова, и это самочувствие создает из него органического противника демократической идеи, которая годится ему лишь для официального политического ханжества. Он готов разрешить для человеческого стада демократию, его осчастливить, он позволяет ему устраиваться в своем муравейнике, при условии повиновения его диктатуре. Образ Великого Инквизитора просвечивает в

Верховенском. Это впечатление еще восполняется от социальных построений Шигалева, уже вполне определенно содержащих основную мелодию «Легенды о Великом Инквизиторе». Вот как излагает идеи Шигалева хромой. «Он предлагает, в виде конечного разрешения вопроса, – разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятими. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать». Шигалевские же речи в самозабвении повторяет и сам Верховенский в сцене со Ставрогиним. Именно это человекобожеское самосознание и ставит Верховенского «по ту сторону добра и зла», он считает, что для него все позволено, всякие, хотя бы самые рискованные и необычные средства, и это-то самочувствие и делает из него провокатора и в политическом смысле. Провокатор – предатель, «сотрудник», за деньги выдающий тайны партии, есть вырождение этого типа, его обратная сторона, или его осложнение и загрязнение, впрочем, вероятно, и неизбежное. Но мотивами одной низости и мелкой корысти его никоим образом не объяснить, и в его основе должно лежать сверхчеловеческое, самобожеское самочувствие Верховенского, для которого нет преград на пути к облагодетельствованию человеческого стада, насмешливо ведомого к «земному раю».

Верховенский остается совершенно последователен и искренен и в своей лживости, и в своем авантюризме, и в своей отваге, которой нельзя же отрицать, – он служит своей идее. И если он ужасен и даже омерзителен, то потому, что ужасна его идея. Несмотря на внешность шута, он всегда серьезен

и сосредоточен до последней степени; он презирает людей, покрыт кровью и весь в преступлениях, но остается предан своей идее до самоотвержения. Он способен ради нее и к личному самоустранению, да он и верит-то собственнo не в себя, не в свою силу, но в Ставрогина, в «Ивана-Царевича», которому целует в самозабвении руку; мечту о нем он взлелеял в своей душе и в нее уверовал: человекобог, преклоняющийся колени перед сверхчеловекобогом! «Ставрогин, вы красавец! – вскричал Петр Степанович почти в упоении. – Знаете ли, что вы красавец! В вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете. О, я вас изучил! Я на вас часто сбоку, из угла гляжу... Вы мой идол!.. Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк... Мне вы, вы надобны, без вас я нуль. Без вас я муха, идея в стклянке, Колумб без Америки».

«Нет на земле иного, как вы! Я вас с границы выдумал; выдумал, на вас же глядя».

Ставрогин «значит» для Верховенского не меньше, если не больше, чем для Шатова и Кириллова, он есть его выявленное я, его проекция вовне, живой «самозванец». Но неужели же все так слепы, неужели и трезвый, расчетливый Верховенский не видит, что Ставрогин совсем не то, что ему нужно, не видит, что Ставрогин пустое место, отдушина для инспираций зла, медиум? Но потому-то этого-то не видит и Верховенский, что в основе он вовсе не трезв, но одержим, как и все остальные, для него Ставрогин тоже есть только зеркало, двойник. Тот самозванец, которого хочет найти в Ставрогине Верховенский, конечно, есть он сам, а еще более тот, кто им владеет, – настоящий и подлинный самозванец. В сцене Верховенского со Ставрогиним г. Берсенева удалось с удивительным мастерством сделать ощутимой эту ин-

спирацию зла, Верховенский как будто развоплощается, становится прозрачным, и видно, как адским пламенем дышит на Ставрогина одержавший его дух.

Таким образом, провокатор сам оказывается жертвой провокации, одержавшая его сила зла не встречает в нем сопротивления и, превращая его в свою личину или «скорлупу», делает его своим орудием. И постольку то движение, которое порождается и руководится Верховенским, есть порождение духовной провокации, в которой лишь одним из частных случаев является провокация политическая:

Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Этими строками Пушкина, взятыми эпиграфом к «Бесам», определяется и общественная философия романа. Революция в нем рассматривается как религиозная драма, борьба веры с неверием, столкновением двух стихий в русской душе. Прав или неправ Достоевский в своем понимании религиозной природы русской революции? Очевидно во всяком случае, что это не есть вопрос политического учения или социальной доктрины, но прежде всего вопрос религиозного миропонимания. Существенна здесь совсем не политическая доктрина самого Достоевского (которая к тому же отсутствует в романе), но религиозный диагноз той группы интеллигенции, которой принадлежала духовно руководящая роль в русской революции. Поэтому вдумчивое отношение к проблеме Достоевского требует прежде всего совершенно освободить ее от политиканства или политики и вообще от связи с каким-либо политическим мировоззрением (ведь не забудем, что одержимыми представлены не только «социал-революционер» Верховенский, но и «черносотенец» Шатов). Вопрос о ре-

лигиозном смысле революции поставлен в «Бесах» так: представляется ли для нее духовно определяющим такое человекобожие, которое силою вещей становится демоническим, переходит в одержимость? Ставругин и Верховенский, орудие и жертва духовной провокации, есть ли для нее существенный симптом или только случайное явление, накипь? Вопрос этот, который за четверть века до революции с таким изумительным ясновидением поставил Достоевский, можно на язык наших исторических былей перевести так: представляет ли собою Азеф-Верховенский и вообще азефовщина лишь случайное явление в истории революции, болезненный нарос, которого могло и не быть, или же в этом обнаруживается коренная духовная ее болезнь? Речь идет таким образом не о политическом содержании революции и не о полицейской стороне провокации, но о духовном ее существе. Страшная проблема Азефа во всем ее огромном значении так и осталась не оцененной в русском сознании, от нее постарались отмахнуться политическим жестом. Между тем, Достоевским уже наперед была дана, так сказать, художественная теория Азефа и азефовщины, поставлена ее проблема. Конечно, вполне можно не соглашаться с Достоевским в оценке симптоматического значения нащупанных им явлений, можно видеть в них не духовное существо русской революции, но ее болезнь (читателям «Вех» известно, что я лично здесь на стороне Достоевского). Пусть так, пусть Достоевский заблуждается в своем историческом суждении, пусть этот роман будет не о русской революции, но о болезни русской души. Но и тогда остается вне всякого спора и его глубокая жизненная правда, и величайшая важность того художественного анализа, которому подвергнута здесь проблема «одержимости», утраты духовного центра. И ныне, когда со сцены Художественно-

го театра Достоевский своими образами снова ставит перед русским обществом тот же вопрос, его стараются заглушить надругательством над Достоевским, топаньем, кашлем, протестами. Нет, роман «Бесы» нужен современной России не меньше, чем раньше, должна же она углубиться в себя и совершить метάβολα, переворот в мыслях и чувствах, то «покаяние», о котором говорится в самом начале евангельской проповеди. Достоевский приносил в этом романе покаяние за свою родину, по образу боговидца Моисея, который прекословил Богу, споря за народ свой. «И возвратился Моисей к Господу и сказал: о (Господи!), народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога; прости им грех их; а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты меня вписал» (Исх., XXXII, 31–32).

Таково основное содержание трагедии «Бесы». Если современный театр вообще может иметь оправдание – а об этом можно, конечно, спорить, – то высшая его задача состоит не в инсценировке социально-дидактических пасторалей или гнилостных продуктов духовного распада, но в мужественной и возвышающей трагедии. И таковую мы имеем в теперешней постановке «Бесов» на сцене Художественного театра. Можно, конечно, оспаривать эту постановку в частностях, возражать против приспособления романа к сцене и т.п., но все это не имеет существенного значения. Думаю, что если бы были поставлены даже совершенно разрозненные бесвязные сцены из Достоевского, выполняемые чтением отрывков, то и это было бы более значительно и нужно, нежели многие постановки репертуара даже и Художественного театра. И если современная публика, вообще столь равнодушная к морали, по поводу «Бесов» вдруг начинает требовать морали и поучения, то следует помнить, что трагедия имеет свою мораль, об-

наруживая торжество высшей правды, закон жизни, которым просветляются и осмеливаются ее ужасы. Трагедия смотрит на жизнь с высоты, и это возвышение, как духовное освобождение, переживается прежде всего ее автором, когда ему удастся художественно объективировать, изнести из недр своего духа его муку и его раскол. Таково и было отношение Достоевского к «Бесам». Популярным писателем наших дней недавно было заявлено, что Достоевский хотя и гений, но злой гений, который должен быть взят под надзор полиции нравов. В этом понятии «злой гений» я вижу *contradictio in adjecto* и в свидетели призову Пушкина, устами Моцарта определившего непорочность гения:

Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство
Две вещи несовместные.

И действительно, истинный гений, тот, который имеет родиной «отчизну пламени и слова», не может быть злым, не может быть лживым в своей естественной боговдохновенности. Конечно, носитель гения может иметь и пороки, и страсти, вообще гениальность не предполагает necessarily личной святости, но поскольку он творит гениально, он поднимается над личиной своей ограниченности, и поэтому приравнивание Достоевского как гения одному из его созданий есть просто суждение дурного вкуса. К сожалению, эта точка зрения нашла и вполне серьезного выразителя в лице биографа Достоевского Н.Н. Страхова; в недавно опубликованном письме к Л.Н. Толстому⁵ Страхов дает самую уничтожающую характеристику личности Достоевского, которая производит особенно тяжелое впечатление в устах человека правдивого и к нему близкого. Отдавая должное моральным качествам Страхова, я все-таки нахожу в ней признаки неоспоримой ограниченности и близорукости: несложному и рациональному

Страхову была слишком чужда и не-симпатична вся противоречивая сложность личности Достоевского с ее провалами, подпольем, эпилепсией не только в нервах, а и в моральном характере, но и с ее солнечными озарениями и пророческими прозрениями. Плохо ощущая последнее, Страхов отталкивался от первого, оттого изображение Достоевского, сделанное к тому же в письме к прямолинейно морализирующему Толстому, и носит столь неприятный привкус. В этом письме Достоевский приравнивается своим героям. «Лица, наиболее на него похожие, это гений «Записок из подполья», Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах»¹. Когда Страхов характеризует Достоевского по личным впечатлениям, с ним трудно спорить, потому что лично мы уже не можем знать Достоевского; однако вправе находить эту характеристику музыкально детонирующей. Но когда наряду с этим применяется и только что указанный прием, мы можем уже судить и протестовать против неверности и близорукости этого утверждения, и даже более того, этот прием делает сомнительной ценность и всего остального рассуждения. Нет сомнения, что всеми «бесами», о которых рассказывает Достоевский в своем романе, был одержим он сам, и все его герои, в известном смысле, суть тоже он сам, во всей антиномичности своего духа. И ту духовную борьбу, которая раздирает Россию, он изживал в своем всеобъемлющем духе. Но поскольку он художественно понимал и объективировал ее, он уже освобождался и возвышался над нею: когда говорят, что сам Достоевский – это Федор

Карамазов, или Ставрогин, или Свидригайлов, забывают, что каждый из них, исчерпываясь и ограничиваясь данным своим устремлением, себя не видит и не может написать ни своего художественного автопортрета, ни всего остального содержания романа. Достоевский не был святым или праведником, в его душе шла ужасная борьба Бога с дьяволом, но верю, он вышел из нее не побежденным, а победителем. Ведь уже если приравнивать Достоевского его героям, то отчего же не сказать, что в нем есть не только Федор Карамазов или Свидригайлов, но и Идиот, и Хромоножка, и Алеша, и Зосима, а главное, Тот, Кому зажигал лампаду Кириллов, и Кого заточил в темницу Великий Инквизитор. Ведь коли давать веру художественному гению и его правдивости, то надо давать ее до конца. А это значит, что душа Достоевского не была в том мраке, в котором находится Ставрогин, или в том гниении, в каком живет Федор Карамазов, хотя она знала эти состояния как свою болезнь и спаслась от нее «у ног Иисусовых». «Не здоровые имеют нужду во врачах, но больные», «не к праведникам пришел Я, но к грешникам», – говорил Тот, Кто был окружен блудниками, грешниками и мытарями, Кто исцелял бесноватых, и Он приходил вечерами и к той многострадальной душе, в которой жил «легион», ее сотрясавший. И, чувствуя Его приближение, больной начинал видеть свою болезнь, понимать свою одержимость и тем уже освобождался от нее. Этот предрассветный час в жизни исполинской русской души и запечатлен в романе «Бесы».

¹ Читано в Московском Религиозно-философском обществе 2 февраля 1914 года.

² Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. СПб., 1883, с. 373.

³ Тимей, 71 D. E., 72 A.

⁴ В образе Ставрогина Достоевский дает ключ к пониманию творчества одного из значительнейших представителей современного искусства – Пабло Пикассо (московская коллекция С.И. Щукина). Демоническое искусство Пикассо показывает, как видит Божий мир и красоту его демон и как возможна адская мука красотой. Здесь мы имеем поразительный пример демонической одержимости крупного художника. К проблеме Пикассо я надеюсь еще вернуться.

⁵ Современный мир, 1913, октябрь, с. 307–309.

⁶ Здесь же имеется и такое суждение, неверность которого ясна для всякого, проникавшего в творчество Достоевского: «При животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести» (много ли его было у произносящего этот суд?). Рассказ Достоевского Висковатову (представляющий аналогию с рассказом Тургеневу) о растлении девочки во всяком случае требует проверки, ибо мог быть «надрывом» самоуничтожения – при болезненной сложности характера Достоевского возможна и прямая клевета на себя.

ВЯЧ. И. ИВАНОВ

Основной миф в романе «Бесы»

Роман «Бесы» – символическая трагедия, и символизм романа – именно тот «реализм в высшем смысле», по выражению самого Достоевского, который мы называем реалистическим символизмом. Реалистический символизм возводит воспринимающего художественное произведение а *realibus ad realiora* – от низшей действительности к реальности реальнейшей. В процессе же творчества, обратном процессу восприятия, обуславливается он нисхождением художника от предварительного интуитивного постижения высшей реальности к ее воплощению в реальности низшей – а *realioribus ad realia*. Если это так, необходимо, для целостного постижения этого эпоса-трагедии, раскрыть затаенную в глубинах его наличность некоего – эпического по форме, трагического по внутреннему антиномизму – ядра, в коем изначально сосредоточена вся символическая энергия целого и весь его «высший реализм», то есть коренная интуиция сверхчувственных реальностей, предопределившая эпическую ткань действия в чувственном мире. Такому ядру символического изображения жизни приличествует наименование мифа.

Миф определяем мы, как синтетическое суждение, где подлежащему-символу придан глагольный предикат. В древнейшей истории религий таков тип пра-мифа, обусловившего первоначальный обряд; из обряда лишь впо-

следствии расцветает роскошная мифология, обычно этиологическая, то есть имеющая целью осмыслить уже данную культовую наличность; примеры пра-мифа: «солнце – рождается», «солнце – умирает», «бог – входит в человека», «душа – вылетает из тела». Если символ обогащен глагольным сказуемым, он получил жизнь и движение; символизм превращается в мифотворчество. Истинный реалистический символизм, основанный на интуиции высших реальностей, обретает этот принцип жизни и движения (глагол символа, или символ-глагол) в самой интуиции, как постижение динамического начала упостижаемой сущности, как созерцание ее актуальной формы, или, что то же, как созерцание ее мировой действенности и ее мирового действия.

Кажется, что именно миф в вышеопределенном смысле имеет в виду Достоевский, когда говорит о «художественной идее», обретаемой «поэтическим порывом», и о трудности ее охвата средствами поэтической изобразительности¹. Что «идея» есть по преимуществу прозрение в сверх-реальное действие, скрытое под зыбью внешних событий и единственно их осмысливающее, видим из заявлений Достоевского о его quasi-«идеализме», он же – «реализм в высшем смысле»:

«Совершенно другие я понятия имеют о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой

идеализм – реальнее ихнего. Господи! Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии, – да разве не закричат реалисты, что это фантазия! А между тем это исконный, настоящий реализм. Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавают... Ихним реализмом – сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты. Случалось»².

Итак, внутренний смысл слушающегося улавливает тот, кто различает под его движением сокровенный ход иных, чисто реальных событий. Действующие лица внутренней, реальной драмы – люди, но не как личности, эмирически выявленные в действии внешнем или психологически постигнутые в заветных тайниках душевной жизни, но как личности духовные, созерцаемые в их глубочайших, умопостигаемых глубинах, где они соприкасаются с живыми силами миров иных.

«При полном реализме найти в человеке человека... Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой»³.

Но личность для Достоевского антиномична, – не только вследствие противоречивой сложности своего внутреннего состава, но и потому, что она одновременно и отделена от других личностей, и со всеми ими непостижимо слита; ее границы неопределимы и таинственны.

«Попробуйте разделить, попробуйте определить, где кончается ваша личность и начинается другая. Определите это наукой! Наука именно за это борется. Социализм именно опирается на науку. В христианстве и вопрос немыслим этот. (Н.В. Картина христианского разрешения.) Где шансы того и другого решения? Повеет дух новый, внезапный...»⁴

Достоевский явно чувствует, что дух христианства не допускает нашего отрицательного определения личности («я» и «не-я», «мое» и «не-мое») и требует, чтобы она самоопределялась положительно («я» через «ты»), что мы можем лишь отчасти и смутно предвзирать во внутреннем опыте любви и вселенского сочувствования, то есть чает в самоощущении личности некоего трансценса («повеет дух новый»). В связи с этими намеками на мистическое учение о личности – *in statu nascendi* – должно рассматривать и догмат Достоевского о вине каждого перед всеми, за всех и за все.

Неудивительно, что народ в глазах Достоевского – личность, не мысленно синтетическая, но существенно самостоятельная, жизненно целостная: есть в ней периферия многоликости, и есть внутренняя святость единого сознания, единой воли. В этом единстве различимы два начала: женственное, – душевное, совершенное, – и мужественное, духовное, зачинательное. Первое вырастает из общей Матери – живой Земли, Мировой Души; корни второго – в иерархиях сил небесных. Свободное, оно – это второе, мужественное начало – может самоутвердиться в себе, сказав: «я – бог и жених небесный», – или, отдав свое я Христу, предстать Земле богоносным вестником; и только богоносность народного я делает его всечеловеческим. О русском народе Достоевский веровал, что он – «народ-богоносец». Очевидно, богоносный народ не есть народ эмпирический, хотя эмпирический народ и составляет его земное тело; богоносный народ не есть, по существу, ни этнографическое, ни политическое понятие, но один из светочей в многосвечнике мистической Церкви, горящей перед Престолом Слова. Национальное и государственное начала обретают свой смысл и освящение, лишь как сосуды богоносного духа. Покровы этого духа могут казаться и быть гре-

ховными, недужными, разлагающимися; но ведь Дух дышит, где хочет. Народ-богоносец – живой светильник Церкви и некий ангел; но пока не кончилась всемирная история, ангел волен в путях своих, и если колеблется в верности, над ним тяготеет апокалипсическая угроза: «сдвину светильник твой с места, извергну тебя из уст Моих». Поэтому о России ничего достоверно нельзя знать, «в Россию можно только верить», как сказал близкий к Достоевскому в этом круге представлений Тютчев; и сам Достоевский в Россию просто верил, отчего, в духе христианской надежды, – она же лишь другая ипостась Веры, – и говорил будущему благодатному свершению, которое представлялось ему как истинная теократия на Руси, где и преступников будет судить своим Христовым судом Церковь, – «буди, буди!».

Достоевский, приближающийся к идее богоносной соборности в «Преступлении и Наказании», к идее Вечной Женственности в «Идиоте» (как уже и раньше в повести «Хозяйка»), анализом причин одержания России духами безбожия и своеволия был подвигнут к положительным прозрениям в таинственное соотношение выше намеченных сущностей. И когда эти прозрения с яркостью вспыхнули, дотоле казавшийся неудачно задуманным и мертворожденным роман внезапно озарился ослепительным светом⁵; в «поэтическом порыве» поэт принял перестраивать начатую постройку, ища и отчаиваясь выявить и воплотить разоблачившуюся перед ним во всей своей огромности «идею». Он как бы воочию увидел, как может замыкаться от Христа мужское начало сокровенного народного бытия и как женское его начало, Душа-Земля русская, стенает и томится ожиданием окончательных решений суженого жениха своего, героя Христова и богоносца: пускай безумствует она в пленении и покинутости, но изменника и само-

званца под личиною желанного и долгожданного всегда узнает, и обличит его, и проклянет.

Достоевский хотел показать в «Бесах», как Вечная Женственность в аспекте русской Души страдает от засилия и насильничества «бесов», искони борющихся в народе с Христом за обладание мужественным началом народного сознания. Он хотел показать, как обижают бесы, в лице Души русской, самое Богородицу (отсюда символический эпизод поругания почитаемой иконы), хотя до самих невидимых покровов Ее достигнуть не могут (символ нетронутой серебряной ризы на иконе Пречистой в доме убитой Хромоножки). Задумав основать роман на символике соотношений между Душою Земли, человеческим я, держащим и зачинательным, и силами Зла, Достоевский естественно должен был оглянуться на уже данное во всемирной поэзии изображение того же по символическому составу мифа – в «Фаусте» Гете. Хромоножка заняла место Гретхен, которая, по разоблачениям второй части трагедии, тождественна и с Еленой, и с Матерью-Землей; Николай Ставрогин – отрицательный русский Фауст, – отрицательный потому, что в нем угасла любовь и с нею угасло то неустанное стремление, которое спасает Фауста; роль Мефистофеля играет Петр Верховенский, во все важные мгновения возникающий за Ставрогиным с ужимками своего прототипа. Отношение между Гретхен и Mater Gloriosa – то же, что отношение между Хромоножкой и Богоматерью. Ужас Хромоножки при появлении Ставрогина в ее комнате предначертан в сцене безумия Маргариты в тюрьме. Ее грезы о ребенке почти те же, что бредовые воспоминания гетевской Гретхен...

Мне не надобен нов-высок терем,
Я останусь в этой кельеке;
Уж я стану жить, спасатися,
За тебя Богу молитися.

Эта песня Хромоножки – песня русской Души, таинственный символ ее сокровенного келейничества. Она молится о возлюбленном, чтобы он пребыл верен – не столько ей самой, сколько своему богоносному назначению, и терпеливо ждет его, тоскуя и спасаясь – ради его спасения. У Гете Гретхен песней о старом короле, когда-то славном на крайнем Западе, в ultima Thule, и о его кубке, также обращает к отсутствующему возлюбленному чаровательное напоминание о верности.

Та, кто поет песню о келейничестве любви, – не просто «медиум» Матери-Земли (эллинические систематики экстазов и исступлений сказали бы: «от Земли одержимая», $\kappa\alpha\tau\omicron\chi\omicron\varsigma \acute{\epsilon}\kappa \tau\eta\varsigma \Gamma\eta\varsigma$), но и символ ее: она представляет в мифе Душу Земли русской. И не даром она – без достаточных прагматических оснований – законная жена протагониста трагедии, Николая Ставрогина. И не даром также она вместе и не жена ему, но остается девственною: «князь мира сего» господствует над Душою Мира, но не может реально овладеть ею, – как не муж Самаритянки четвертого Евангелия тот, кого она имеет шестым мужем. Ставрогина же ясновидящая, оправившись от первого ужаса, упрямо величает «князем», противопоставляя ему в то же время подлинного «его».

«Виновата я, должно быть, пред ним в чем-нибудь очень большом, – вот не знаю только, в чем виновата, вся в этом беда моя век... Молюсь я, бывало, молюсь, и все думаю про вину мою великую пред ним».

Это другой, светлый князь – герой-богоносец, в лице которого ждет юродивая духовидица самого Князя Славы. И уже хромота знаменует ее тайную боготорческую вину – вину какой-то изначальной нецельности, какого-то исконного противления Жениху, ее покинувшему, как Эрос поки-

дает Психею, грешную неким первородным грехом естества перед божественною Любовью.

«Как? разве вы не князь?.. Всего от врагов *его* ожидала, но такой дерзости – никогда! Жив ли он? Убил ты его или нет, признавайся!.. Говори, самозванец, много ли взял? За большие ли деньги согласился? ...Гришка Отрепьев, анафема!»

«Сова слепая», «сыч» и «плохой актер», Грешка Отрепьев, «проклятый на семи соборах», христопродавец и сам дьявол, подменивший собою (загубивший, быть может, – во всяком случае, как-то предавший) «сокола ясного», который «где-то там, за горами, живет и летает, на солнце взирает», – вот «дурной сон», приснившийся Хромоножке перед приходом Ставрогина и вторично переживаемый ею в бреде пророческом – уже наяву.

Но кто же Николай Ставрогин? Поэт определенно указывает на его высокое призвание; недаром он носитель крестного имени ($\sigma\tau\alpha\upsilon\rho\acute{o}\varsigma$ – крест). Ему таинственно предложено было некое царственное помазание. Он – Иван Царевич; все, к нему приближающиеся, испытывают его необычайное, нечеловеческое обаяние. На него была излита благодать мистического постижения последних тайн о Душе народной и ее ожиданиях богоносца. Он посвящает Шатова и Кириллова в начальные мистерии русского мессианизма. Но сам, в какое-то решительное мгновение своего скрытого от нас и ужасного прошлого, изменяет даруемой ему святыне. Он дружится с сатанистами, беседует с Сатаной, явно ему предается. Отдает ему свое я, обещанное Христу, и оказывается опустошенным, – до предварения еще при жизни «смерти второй», до конечного уничтожения личности в живом теле. Он нужен злым силам своею личною, – нужен, как сосуд их воли и проявитель их действия; своей же воли уже вовсе не имеет. Изменник перед Хри-

стом, он неверен и Сатане. Ему должен он предоставить себя, как маску, чтобы соблазнить мир самозванством, чтобы сыграть роль лже-Царевича, – и не находит на то в себе воли. Он изменяет революции, изменяет и России (символы: переход в чужеземное подданство и, в особенности, отречение от своей жены Хромоножки). Всем и всему изменяет он, и вешается, как Иуда, не добравшись до своей демонической берлоги в утрюмом горном ущелье. Но измена Сатане не лишает его страдательной роли восприимчивого проводника и носителя сатанинской силы, которая овладевает вокруг него и через него стадом одержимых. Они – стадо, потому что изо всех них как бы вынута я: парализовано в них живое я и заменено чуждою волей. Лишь двое людей, отмеченных Ставрогиным, своего я не отдали и от стада отделились: это – Кириллов и Шатов. Как же распорядились они своим я?

Кириллов утверждает свое я для себя, в замкнутости личного отъединения, но Христу им не жертвует, хотя Христа как-то знает и любит. Он сам хочет стать богом: ведь был же Богом Христос!.. Кириллов все чай пьет по ночам; чаепитие – симптом русского медитативного идеализма... Христос смерти не убоился, – не убоится и Кириллов. Для этого надлежит ему взойти на одинокую Голгофу своевольного дерзновения – убить самого себя, ради себя же... И обезумев от разрыва всех вселенских связей, он совершает, в пустынной гордыне духа, свою анти-христову, свою анти-голгофскую жертву, богочеловек наизнанку – «человеко-бог», захотевший сохранить свою личность и ее погубивший, воздвигнуть сыновство на отрицании отчества, на небытии (– seine Sach auf Nichts).

Шатов также не отдал своего я бесам, за что и был ими растерзан. Свое я пожелал он слить с я народным, но зато и утвердить народное я, как Христа. Он отшатнулся от бесов, но

зашатался в вере народной. Признак неправого отношения Шатова ко Христу – в том, что через Него он не познал Отца. Он надумал, злоупотребив светлыми откровениями, почерпнутыми из отравленного колодца ставрогинской души, – что русский Христос – сам народ, долженствующий воплотить в своем грядущем мессии духовное и мужское свое начало, чтобы провозгласить устами этого мессии и опять-таки самозванца: «я есмь жених». Мистик Шатов, поистине, не божество делает атрибутом народа, но народ возводит до Божества, как говорит сам. Пощечина его Ставрогину – черта необходимая: еретик казнит предательство своего ерисиарха за то, что Ставрогин «христом» русским стать не захотел, и веру Шатова обманул, и жизнь его разбил. Тем не менее, заслуга этого шатуна в том, что от одержимого стада он все же отшатнулся и в Душу Земли все же поверил: оттого и дружна с ним юродивая Мария Тимофеевна. «Шатушка» озарен, – через любовь к истинному Христу, пусть неправую и темную, но бессознательно коренящуюся в его народной стихии, – скользнувшим по нему отблеском некоей благодати: он выступает великодушным, всепрощающим защитником и опекуном женской Души в ее грехе и уничтожении (Marie) – и умирает мученической смертью.

Теургическая загадка, загаданная пророчесственным творением Достоевского: как возможен Иван-Царевич, грядущий по имя Господне, – как возможен приход суженого земли Русской жениха-богоносца? И не таит ли в себе внутреннего противоречия самочаяние богоносца? Ведь Христом помыслить его религиозно нельзя; но что же богоносец, если не тот, кто отдал свое я Христу и Христа вместил? Как религиозно преодолевается эта антиномия, составляющая корень русской трагедии? Как земля Русская может стать Русью Святой? Народ – цер-

ковью? Как невозможное для людей возможным становится для Бога?.. Достоевский начинает мечтать о таинственном посланнике старца Зосимы,

одном из ожидаемых «чистых и избранных», – как о предготовителе свершительного чуда, как о зачинателе «нового рода людей и новой жизни».

¹ Письмо к Страхову от 23 апр. 1871 г. («Письма и Заметки», Спб., 1883 г., стр. 311).

² Письмо к А. Майкову от 11 дек. 1868 г. (ibid., стр. 202).

³ «Из записной книжки» (ibid., стр. 373).

⁴ «Из записной книжки» (ibid., стр. 356).

⁵ «Откуда взялись нигилисты? Да они ниоткуда и не взялись, а все были с нами, в нас и при нас («Бесы»)....», «Из записной книжки» (стр. 370).

Н. А. БЕРДЯЕВ

Духи русской революции

Сбились мы. Что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Пушкин

ВВЕДЕНИЕ

С Россией произошла страшная катастрофа. Она ниспала в темную бездну. И многим начинает казаться, что единая и великая Россия была лишь призраком, что не было в ней подлинной реальности. Нелегко улавливается связь настоящего с нашим прошлым. Слишком изменилось выражение лиц русских людей, за несколько месяцев оно сделалось неузнаваемым. При поверхностном взгляде кажется, что в России произошел небывалый по радикализму переворот. Но более углубленное и проникновенное познание должно открыть в России революционной образ старой России, духов, давно уже обнаруженных в творчестве наших великих писателей, бесов, давно уже владеющих русскими людьми. Долгий исторический путь ведет к революциям, и в них открываются национальные особенности даже тогда, когда они наносят тяжелый удар национальной мощи и национальному достоинству. Каждый народ имеет свой стиль революционный, как имеет и свой стиль консервативный. Национальна

была английская революция, и столь же национальна революция французская. В них узнается прошлое Англии и Франции. Каждый народ делает революцию с тем духовным багажом, который копил в своем прошлом, он вносит в революцию свои грехи и пороки, но также и свою способность к жертве и к энтузиазму. Русская революция антинациональна по своему характеру, она превратила Россию в бездыханный труп. Но и в этом антинациональном ее характере отразились национальные особенности русского народа и стиль нашей несчастливой и губительной революции – русский стиль. Наши старые национальные болезни и грехи привели к революции и определили ее характер. Духи русской революции – русские духи, хотя и использованы врагом нашим на погибель нашу. Призрачность ее – характерно русская одержимость. Революции, происходящие на поверхности жизни, ничего существенного никогда и не открывают, они лишь обнаруживают болезни, таившиеся внутри народного организма, по-новому переставляют все те же элементы и являют старые образы

в новых одеяниях. Революция всегда есть в значительной степени маскарад, и если сорвать маски, то можно встретить старые, знакомые лица. Новые души рождаются позже, после глубокого перерождения и осмысливания опыта революции. На поверхности все кажется новым в русской революции – новые выражения лиц, новые жесты, новые костюмы, новые формулы господствуют над жизнью; те, которые были внизу, возносятся на самую вершину, а те, которые были на вершине, упали вниз; властвуют те, которые были гонимы, и гонимы те, которые властвовали; рабы стали безгранично свободными, а свободные духом подвергаются насилию. Но попробуйте проникнуть за поверхностные покровы революционной России в глубину. Там узнаете вы старую Россию, встретите старые, знакомые лица. Бессмертные образы Хлестакова, Петра Верховенского и Смердякова на каждом шагу встречаются в революционной России и играют в ней немалую роль, они подобрались к самым вершинам власти. Метафизическая диалектика Достоевского и моральная рефлексия Толстого определяют внутренний ход революций. Если пойти в глубь России, то за революционной борьбой и революционной фразеологией не трудно обнаружить хрюкающие гоголевские морды и рожи. Всякий народ в любой момент своего существования живет в разные времена и разные века. Но нет народа, в котором соединились бы столь разные возрасты, который так совмещал бы XX век с XIV веком, как русский народ. И эта разновозрастность есть источник нездоровья и помеха для целостности нашей национальной жизни.

Великим писателям всегда открывались образы национальной жизни, имеющие значение существенное и непреходящее. Россия, раскрывавшаяся ее великим писателям, Россия Гоголя и Достоевского, может быть обнаружена и в русской революции, и в ней столкнетесь вы с основными оценками, предпо-

ределенными Л. Толстым. В образах Гоголя и Достоевского, в моральных оценках Толстого можно искать загадки тех бедствий и несчастий, которые революция принесла нашей родине, познания духов, владеющих революцией. У Гоголя и Достоевского были художественные прозрения о России и русских людях, превышающие их время. По-разному раскрывалась им Россия, художественные методы их противоположны, но у того и у другого было поистине что-то пророческое для России, что-то проникающее в самое существо, в самые тайники природы русского человека. Толстой, как художник, для нашей цели неинтересен. Россия, раскрывавшаяся его великому художеству, в русской революции разлагается и умирает. Он был художником статичности русского быта, дворянского и крестьянского, вечное же открывалось ему, как художнику, лишь в элементарных природных стихиях. Толстой более космичен, чем антропологичен. Но в русской революции раскрылся и по-своему восторжествовал другой Толстой – Толстой моральных оценок, обнаружилось толстовство, как характерное для русских мирозерцание и мировоззрение. Много есть русских бесов, которые раскрылись русским писателям или владели ими, – бес лжи и подмены, бес равенства, бес бесчестия, бес отрицания, бес непротivления и многие, многие другие. Все это нигилистические бесы, давно уже терзающие Россию. В центре для меня стоят прозрения Достоевского, который пророчески раскрыл все духовные основы и движущие пружины русской революции...

ДОСТОЕВСКИЙ В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

...Достоевский открыл одержимость, бесноватость в русских революционерах. Он почувал, что в революционной стихии активен не сам человек, что им владеют не человеческие духи. Когда в

дни осуществляющейся революции перечитываешь «Бесы», то охватывает жуткое чувство. Почти невероятно, как можно было все так предвидеть и предсказать. В маленьком городе, во внешне маленьких масштабах давно уже разыгралась русская революция и вскрылись ее духовные первоосновы, даны были ее духовные первообразы. Поводом к фавбуле «Бесов» послужило нечаевское дело. Левые круги наши увидели тогда в «Бесах» карикатуру, почти пасквиль на революционное движение и революционных деятелей. «Бесы» были внесены в index книг, осужденных «прогрессивным» сознанием. Понять всю глубину и правду «Бесов» можно лишь в свете иного сознания, сознания религиозного; эта глубина и эта правда ускользают от сознания позитивистического. Если рассматривать этот роман как реалистический, то многое в нем неправдоподобно и не соответствует действительности того времени. Но все романы Достоевского неправдоподобны, все они написаны о глубине, которую нельзя увидеть на поверхности действительности, все они были пророчеством. Пророчество приняли за пасквиль. Сейчас, после опыта русской революции, даже враги Достоевского должны признать, что «Бесы» – книга пророческая. Достоевский видел духовным зрением, что русская революция будет именно такой и иной быть не может. Он предвидел неизбежность беснования в революции. Русский нигилизм, действующий в хлыстовской русской стихии, не может не быть беснованием, иступленным и вихревым кружением. Это иступленное вихревое кружение и описано в «Бесах». Там происходит оно в небольшом городке. Ныне происходит оно по всей необъятной земле Русской. И начало это иступленное вихревое кружение от того же духа, от тех же начал, от которых пошло оно и в том же маленьком городке. Ныне родители русской революции поведали миру русский революционный мессианизм, они несут наро-

дам Запада, пребывающим в «буржуазной» тьме, свет с Востока. Этот русский революционный мессианизм был раскрыт Достоевским и понят им, как негатив какого-то позитива, как извращенный апокалипсис, как вывернутый наизнанку положительный русский мессианизм, не революционный, а религиозный. Все герои «Бесов» в той или иной форме проповедают русский революционный мессианизм, все они одержимы этой идеей. У колеблющегося и раздвоенного Шатова перемешано сознание славянофильское с сознанием революционным. Такими Шатовыми полна русская революция. Все они, как и Шатов Достоевского, готовы в исступлении выкрикивать, что русский революционный народ – народ-богоносец, но в Бога они не верят. Некоторые из них хотели бы верить в Бога – и не могут; большинство же довольствуется тем, что верит в богоносный революционный народ. В типичном народнике Шатове перемешаны элементы революционные с элементами реакционными, «черносотенными». И это характерно. Шатов может быть и крайне левым и крайне правым, но и в том, и в другом случае он остается народолюбцем, демократом, верующим прежде всего в народ. Такими Шатовыми полна русская революция; у всех у них не разберешь, где кончается их крайняя левость и революционность и начинается крайняя правость и реакционность. Они всегда враги культуры, враги права, всегда истребляют свободу лица. Это они утверждают, что Россия выше цивилизации и что никакой закон для нее не писан. Эти люди готовы истребить Россию во имя русского мессианизма. У Достоевского была слабость к Шатову, он в себе самом чувствовал шатовские соблазны. Но силой своего художественного прозрения он сделал образ Шатова отталкивающим и отрицательным.

В центре революционного беснования стоит образ Петра Верховенско-

го. Это и есть главный бес русской революции. В образе Петра Верховенского Достоевский обнажил более глубокий слой революционного беснования, в действительности прикрытый и невидимый. Петр Верховенский может иметь и более благообразный вид. Но Достоевский сорвал с него покровы и обнажил его душу. Тогда образ революционного беснования предстал во всем своем безобразии. Он весь трясется от бесовской одержимости, вовлекая всех в иступленное вихревое кружение. Всюду он в центре, он за всеми и за всех. Он – бес, вселяющийся во всех и овладевающий всеми. Но он и сам бесноватый. Петр Верховенский прежде всего человек совершенно опустошенный, в нем нет никакого содержания. Бесы окончательно овладели им и сделали его своим послушным орудием. Он перестал быть образом и подобием Божиим, в нем потерян уже лик человеческий. Одержимость ложной идеей сделала Петра Верховенского нравственным идиотом. Он одержим был идеей всемирного переустройства, всемирной революции, он поддался соблазнительной лжи, допустил бесов овладеть своей душой и потерял элементарное различие между добром и злом, потерял духовный центр. В образе Петра Верховенского мы встречаемся с уже распавшейся личностью, в которой нельзя уже нащупать ничего онтологического. Он весь есть ложь и обман, и он всех вводит в обман, повергает в царство лжи. Зло есть изолгание бытия, лже-бытие, небытие. Достоевский показал, как ложная идея, охватившая целиком человека и доведшая его до беснования, ведет к небытию, к распаданию личности. Достоевский был большой мастер в обнаружении онтологических последствий лживых идей, когда они целиком овладевают человеком. Какая же идея овладела целиком Петром Верховенским и довела его до распада, превратила его в лжеца и сеятеля лжи? Это все

та же основная идея русского нигилизма, русского социализма, русского максимализма, все та же inferнальная страсть к всемирному уравниванию, все тот же бунт против Бога во имя всемирного счастья людей, все та же подмена царства Христова царством антихриста. Таких бесноватых Верховенских много в русской революции, они повсюду стараются вовлечь в бесовское вихревое движение, они пропитывают русский народ ложью и влекут его к небытию. Не всегда узнают этих Верховенских, не все умеют проникнуть вглубь, за внешние покровы. Хлестаковых революции легче различить, чем Верховенских, но и их не все различают, и толпа возносит их и венчает славой.

Достоевский предвидел, что революция в России будет безрадостной, жуткой и мрачной, что не будет в ней возрождения народного. Он знал, что немалую роль в ней будет играть Федька-каторжник и что победит в ней шигалевщина. Петр Верховенский давно уже открыл ценность Федьки-каторжника для дела русской революции. И вся торжествующая идеология русской революции есть идеология шигалевщины. Жутко в наши дни читать слова Верховенского: «В сущности наше учение есть отрицание чести, и откровенным правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно». И ответ Ставрогина: «Право на бесчестье – да это все к нам прибегут, ни одного там не останется!» И русская революция провозгласила «право на бесчестье», и все побежали за ней. А вот не менее важные слова: «Социализм у нас распространяется преимущественно из сентиментальности». Бесчестье и сентиментальность – основные начала русского социализма. Эти начала, увиденные Достоевским, и торжествуют в революции. Петр Верховенский видел, какую роль в революции будут играть «чистые мошенники». «Ну, эти, пожалуй, хороший

народ, иной раз выгодны очень, но на них много времени идет, неусыпный надзор требуется». И дальше размышляет П. Верховенский о факторах русской революции: «Самая главная сила – цемент, всё связующий, – это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал, кто этот «миленький» трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове! За стыд почитают». Это было очень глубокое проникновение в революционную Россию. В русской революционной мысли всегда был «стыд собственного мнения». Этот стыд почитался у нас за коллективное сознание, сознание более высокое, чем личное. В русской революции окончательно угасло всякое индивидуальное мышление, мышление сделалось совершенно безличным, массовым. Почитайте революционные газеты, прислушайтесь к революционным речам, и вы получите подтверждение слов Петра Верховенского. Кто-то потрудился-таки над тем, чтобы «ни одной собственной идеи не осталось ни у кого в голове». Русский революционный мессианизм предоставляет собственные идеи и мнения буржуазному Западу. В России все должно быть коллективным, массовым, безличным. Русский революционный мессианизм есть шигалевщина. Шигалевщина движет и правит русской революцией.

«Шигалев смотрел так, как будто ждал разрушения мира, и не то чтобы когда-нибудь, по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так-этак послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут одиннадцатого». Все русские революционеры-максималисты смотрят так, как смотрел Шигалев, все ждут разрушения старого мира послезавтра утром. И тот новый мир, который возникнет на развалинах старого мира, есть мир шигалевщины. «Выходя из безграничной свободы, – говорит

Шигалев, – я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что, кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого». Все революционные Шигалевы так говорят и так поступают. Петр Верховенский так формулирует сущность шигалевщины Ставрогину: «Горы сравнять – хорошая мысль, не смешная... Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию... Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Всё к одному знаменателю, полное равенство... Необходимо лишь необходимое – вот девиз земного шара отселе. Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вокруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно, чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое». В этих изумительных по своей пророческой силе словах Достоевский устами П. Верховенского приводит все к ходу мыслей Великого Инквизитора. Это доказывает, что в «Легенде о Великом Инквизиторе» Достоевский в значительной степени имел в виду социализм. Достоевский обнаруживает всю призрачность демократии в революции. Никакой демократии не существует, правит тираническое меньшинство. Но тирания эта, неслыханная в истории мира, будет основана на всеобщем принудительном уравнивании. Шигалевщина и есть иступленная страсть к равенству, доведенному до конца, до предела, до небытия. Безбрежная социальная мечтательность ведет к истреблению бы-

тия со всеми его богатствами, она у фанатиков перерождается в зло. Социальная мечтательность совсем не невинная вещь. Это понимал Достоевский. Русская революционно-социалистическая мечтательность и есть шигалевщина. Во имя равенства мечтательность эта хотела бы истребить Бога и Божий мир. В этой тирании и том абсолютном уравниении, которыми увенчалось «развитие и углубление» русской революции, осуществляются золотые сны и мечты русской революционной интеллигенции. Это были сны и мечты о царстве шигалевщины. Многим оно представлялось более прекрасным, чем оказалось в действи-

тельности. Многих наивных и простых русских социалистов, мечтавших о социальной революции, смущают торжествующие крики: «Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны... Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей!» Достоевский был более проницателен, чем признанные учителя русской интеллигенции, он знал, что русский революционизм, русский социализм в час своего торжества должен кончиться этими шигалевскими выкриками...

Н. А. БЕРДЯЕВ

Ставрогин

Постановка «Бесов» в Художественном театре вновь обращает нас к одному из самых загадочных образов не только Достоевского, но и всей мировой литературы. Поражает отношение самого Достоевского к Николаю Всеволодовичу Ставрогину. Он романтически влюблен в своего героя, пленен и обольщен им. Никогда ни в кого он не был так влюблен, никого не рисовал так романтично. Николай Ставрогин – слабость, прельщение, грех Достоевского. Других он проповедовал, как идеи, Ставрогина он знает, как зло и гибель. И все-таки любит и никому не отдаст его, не уступит его никакой морали, никакой религиозной проповеди. Николай Ставрогин – красавец, аристократ, гордый, безмерно сильный, «Иван-Царевич», «Принц Гарри», «Сокол»; все ждут от него чего-то необыкновенного и великого, все женщины в него влюблены, лицо его – прекрасная маска, он – весь загадка и тайна, он весь из полярных противо-

положностей, все вращается вокруг него, как солнца. И тот же Ставрогин – человек потухший, мертвенный, бесильный творить и жить, совершенно импотентный в чувствах, ничего уже не желающий достаточно сильно, неспособный совершить выбор между полюсами добра и зла, света и тьмы, неспособный любить женщину, равнодушный ко всем идеям, блазированный и истощенный до гибели всего человеческого, познавший большой разврат, ко всему безразличный, почти неспособный к членораздельной речи. Под красивой, холодной, застывшей маской ставрогинского лица погребены потухшие страсти, истощенные силы, великие идеи, безмерные, безудержные человеческие стремления. В «Бесах» не дано прямой и ясной разгадки тайны Ставрогина. Чтобы разгадать эту тайну, нужно проникнуть глубже и дальше самого романа, в то, что было до его раскрывшегося действия. И тайну индивидуальности Став-

рогина можно разгадать лишь любовью, как и всякую тайну индивидуальности. Постигнуть Ставрогина и «Бесы», как символическую трагедию, можно лишь через мифотворчество, через интуитивное раскрытие мифа о Ставрогине, как явления мировом. Если мы прочтем религиозную мораль над трупом Ставрогина, мы ничего в нем не разгадаем. Нельзя отвечать катехизисом на трагедию героев Достоевского, трагедию Раскольникова, Мышкина, Ставрогина, Версилова, Ивана Карамазова. Это принижает величие Достоевского, отрицает все подлинно новое и оригинальное в нем. Все положительные доктрины и платформы «Дневника писателя» так жалки и плоско по сравнению с откровениями трагедий Достоевского! Достоевский свидетельствует о (возможном) положительном смысле прохождения через зло, через бездонные испытания и последнюю свободу. Через опыт Ставрогина, Ивана Карамазова и др. открывается новое. Сам опыт зла есть путь, и гибель на этом пути не есть вечная гибель. После трагедии Ставрогина нет возврата назад, к тому, от чего отпал он в путях своей жизни и смерти.

Действие в романе «Бесы» начинается после смерти Ставрогина. Подлинная его жизнь была в прошлом, до начала «Бесов». Ставрогин угас, истощился, умер, и с покойника была снята маска. В романе среди всеобщего беснования является лишь эта мертвая маска, жуткая и загадочная. Ставрогина уже нет в «Бесах», и в «Бесах» никого и ничего нет, кроме самого Ставрогина. В этом смысл символической трагедии «Бесов». В «Бесах» есть двойной смысл и двойное содержание. С одной стороны, это роман с реалистической фабулой, с разнообразными действующими лицами, с объективным содержанием русской жизни¹. Внешним толчком к написанию «Бесов» послужило нечаевское дело. С этой стороны в «Бесах» есть много недостат-

ков, много неверного, почти приближающегося к пасквилю. Революционное движение конца 60-х годов не было таким, каким оно изображено в «Бесах». Есть в этом реалистическом романе и художественные недостатки. То, что открылось Достоевскому о русской революции и русском революционере, о религиозных глубинах, скрытых за внешним обликом социально-политического движения, было скорее пророчеством о том, что будет, что развернется в русской жизни, чем верным воспроизведением того, что было. Шатов, Кириллов с их последними, предельными религиозными муками появились у нас только в XX веке, когда обнаружилась неполитическая природа русских революционеров, для которых революция не социальное строительство, а мировое спасение. Достоевский предвосхитил Ницше и многое, раскрывшееся лишь теперь. Но я не предполагаю рассматривать «Бесы» с этой стороны, наиболее ясной. «Бесы» – также мировая символическая трагедия. И в этой символической трагедии есть только одно действующее лицо – Николай Ставрогин и его эманации. Как внутреннюю трагедию духа Ставрогина, хочу разгадать я «Бесы», ибо она донныне недостаточно разгадана. Поистине все в «Бесах» есть лишь судьба Ставрогина, история души человека, его бесконечных стремлений, его созданий и его гибели. Тема «Бесов», как мировой трагедии, есть тема о том, как огромная личность – человек Николай Ставрогин – вся изошла, истощилась в ею порожденном, из нее эманировавшем хаотическом бесновании.

Мы встречаем Николая Ставрогина, когда нет у него уже никакой творческой духовной жизни. Он уже ни к чему не способен. Вся жизнь его в прошлом. Ставрогин – творческий, (почти) гениальный человек. Все последние и крайние идеи родились в нем: идея русского народа-богоносца,

идея человекобога, идея социальной революции и человеческого муравейника. Великие идеи вышли из него, породили других людей, в других людей перешли. Из духа Ставрогина вышел и Шатов, и П. Верховенский, и Кириллов, и все действующие лица «Бесов». В духе Ставрогина зародились и из него эманировали не только носители идей, но и все эти Лебядкины, Липутины, все низшие иерархии «Бесов», элементарные духи. Из эротизма ставрогинского духа родились и все женщины «Бесов». От него идут все линии. Все живут тем, что было некогда внутренней жизнью Ставрогина. Все бесконечно ему обязаны, все чувствуют свое происхождение от него, все от него ждут великого и безмерного – и в идеях, и в любви. Все влюблены в Ставрогина, и мужчины и женщины. П. Верховенский и Шатов не менее, чем Лиза и Хромоножка, все прельщены им, все боготворят его, как кумира, и в то же время ненавидят его, оскорбляют его, не могут простить Ставрогину его брезгливого презрения к собственным созданиям. Идеи и чувства Ставрогина отделились от него и демократизировались, вульгаризировались. И собственные ходячие идеи и чувства вызывают в нем отвращение, брезгливость. Николай Ставрогин прежде всего аристократ, аристократ духа и русский барин. Достоевскому был чужд аристократизм, и лишь через влюбленность свою в Ставрогина он постиг и художественно воспроизвел этот дух. Тот же аристократизм повторяется у Версилова, во многом родственного Ставрогину. Безграничный аристократизм Ставрогина делает его необщественным, антиобщественным. Он индивидуалист крайний, его мировые идеи – лишь трагедия его духа, его судьба, судьба человека.

В чем же трагедия ставрогинского духа, в чем тайна и загадка его исключительной личности? Как понять бессилие Ставрогина, его гибель?

Ставрогин остается неразрешенным противоречием и вызывает чувства противоположные. Приблизить к разрешению этой загадки может лишь миф о Ставрогине, как творческой, мировой личности, которая ничего не сотворила, но вся изошла, иссякла в эманировавших из нее «бесах». *Это мировая трагедия истощения от безмерности, трагедия омертвения и гибели человеческой индивидуальности от дерзновения на безмерные, бесконечные стремления, не знавшие границы, выбора и оформления.* «Я пробовал везде мою силу... На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказалась беспредельною... Но к чему приложить эту силу – вот чего никогда не видел, не вижу и теперь... Я все так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от этого удовольствие... Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы; но я не люблю и не хотел разврата... Я никогда не могу потерять рассудок и никогда не могу поверить идее в той степени, как он (Кириллов). Я даже заняться идеей в той степени не могу». Так писал Николай Ставрогин о себе Даше. Но писал это он тогда, когда уже весь истощился, изошел, омертвел, перестал существовать, когда ничего уже не желал и ни к чему не стремился. Ему дано было жизнью и смертью своей показать, что желать всего без выбора и границы, оформляющей лик человека, и ничего уже не желать – одно, и что безмерность силы, ни на что не направленной, и совершенное бессилие – тоже одно.

Этому творческому и знавшему безмерность желаний человеку не дано было ничего сотворить, не дано было просто жить, остаться живым. Безмерность желаний привела к отсутствию желаний, безграничность личности к утере личности, неуравновешенность силы привела к слабости, бесформенная полнота жизни к безжизненности и смерти, безудержный эротизм к неспо-

способности любить. Ставрогин все испытал и перепробовал, как великие, крайние идеи, так и великий, крайний разврат и насмешливость. Он не мог сильно пожелать одного и одному отдаться. Ходят темные слухи о том, что он принадлежал к тайному обществу растления малолетних и что маркиз де Сад мог бы ему позавидовать. Бездарный Шатов, плебейски принявший великую идею Ставрогина, в испуге допрашивает его, правда ли это, мог ли все это совершить носитель великой идеи. Он боготворит Ставрогина и ненавидит его, хочет убить его. Все с тем же жутким сладострастием безмерности Ставрогин берет ни в чем не повинного человека за нос или кусает за ухо. Он ищет предельного, безмерного, как в добре, так и в зле. Одного божественного ему казалось слишком мало, во всем ему нужно было перейти за пределы и границы в тьму, в зло, в дьявольское. Он не мог и не хотел сделать выбора между Христом и антихристом, Богочеловеком и человекобогом, он утверждал и того и другого разом, он хотел всего, всего добра и всего зла, хотел безмерного, беспредельного и безграничного. Утверждать только антихриста и отвергнуть Христа – это уже выбор, предел, граница. Но в духе Ставрогина жило и знание Богочеловека, и от Христа он не хотел отказаться в безмерности своих стремлений. Но утверждать разом и Христа и антихриста, значит все потерять, стать бедным, ничего уже не иметь. От безмерности наступает истощение. Николай Ставрогин – это личность, потерявшая границы, от безмерного утверждения себя потерявшая себя. И даже когда испытывает Ставрогин свою силу через самообуздание, через своеобразную аскезу (он вынес пощечину Шатова, хотел объявить о своем браке с Хромоножкой и многое другое), он исходит, истощается в безмерности этого испытания. Его аскеза не есть оформление, не есть кристаллизация личности, в ней есть сладострастие.

Разврат Ставрогина есть перелив личности за грани в безмерность небытия. Ему мало бытия, он хотел и всего небытия, полюса отрицательного, не менее, чем полюса положительного. Жуткая безмерность небытия – соблазн разврата. В нем есть прельщение смерти, как равносильной и равнопритягательной жизни. Метафизику разврата, бездонную глубину его тьмы Достоевский понимал, как ни один писатель мира. Разврат Ставрогина, его жуткое сладострастие, скрытое под маской бесстрастия, спокойствия, холодности, – глубокая метафизическая проблема. Это одно из выражений трагедии истощения от безмерности. В этом разврате сила переходит в совершенное бессилие, оргийность – в ледяной холод, в сладострастии истощается и гибнет всякая страсть. Беспредельный эротизм Ставрогина перелился в небытие. Его обратная сторона – окончательная импотенция чувства. Николай Ставрогин – родоначальник многого, разных линий жизни, разных идей и явлений. И русское декадентство зародилось в Ставрогине. Декадентство есть истощение Ставрогина, его маска. Огромная, исключительно одаренная личность Ставрогина не оформлена и не кристаллизована. Единственное ее оформление и кристаллизация – жуткая, застывшая маска, призрачный аполлонизм. Под этой маской – безмерность и безудержность потухших и истощенных страстей и желаний.

Трагедия «Бесов» есть трагедия одержания, беснования. В ней раскрывает Достоевский метафизическую историю русского духа. Все одержимы, все беснуются, все в корчах и в судороге. Один Ставрогин не беснуется, – он жутко спокоен, мертвенно холоден, он застыл, утих, умолк. В этом вся суть «Бесов». Ставрогин породил этот бушующий хаос, из себя выпустил всех бесов и в беснование вокруг себя перелил свою внутреннюю жизнь, сам же замер, потух. Безмерность желаний

Ставрогина вышла наружу и породила беснование и хаос. Он не совершил творческого акта, не перевел ни одного из своих стремлений в творческое действие, ему не было дано ничего сотворить и осуществить. Его личность расковалась, расплылась и изошла, иссякла в бесновании хаоса, бесновании идей, бесновании страстей, революционных, эротических, и просто мерзости человеческой. Личность ничего не сотворившая утерьяла себя в эманировавших из нее бесах. Только подлинный творческий акт сохраняет личность, не истощает ее. Истошающая эманация ничего не творит и умерщвляет личность. И трагедия Ставрогина, как трагедия мировая, может быть связана с проблемами творчества и эманации. Всё и все в «Бесах» есть эманация Ставрогина, его внутреннего хаоса безмерности. В этой эманации иссякли силы Ставрогина и перелились во всех и вся, в мужчин и женщин, в идейные страсти, в беснование революции, в беснование любви и ненависти. От самого же Ставрогина осталась лишь мертвая маска. Эта маска бродит среди порожденного некогда живым лицом беснования. Маска мертвеца Ставрогина и беснование из него вышедших, им истощенных сил. Это перевоплощение Ставрогина в П. Верховенского, в Шатова, Кириллова, даже в Липутину и Лебядкина, и воплощение чувств его в Лизе, в Хромоножке, в Даше и есть содержание «Бесов». Ставрогин ни с кем не может соединиться, потому что все лишь его порождение, его собственный внутренний хаос. У Ставрогина нет его *другого*, нет выхода из себя, а есть лишь выходящее из него, лишь истошающая его эманация. Он не сохранил, не собрал своей личности. Выход из себя в другого, с которым совершается подлинное соединение, кует личность, укрепляет ее. Невозможность выйти из себя в творческом акте любви, познания или действия и истощение в собствен-

ных эманациях ослабляет личность и распыляет ее. Судьба Ставрогина есть распад большой творческой личности, которая вместо творчества новой жизни и нового бытия, творческого выхода из себя в мир, истощилась в хаосе, потеряла себя в безграничности. Сила перешла не в творчество, а в самоистребление личности. И там, где огромная личность погибла и силу свою расточила, там началось беснование выпущенных сил, отделившихся от личности. Беснование вместо творчества – вот тема «Бесов». Это беснование совершается на могиле Ставрогина. «Бесы», как трагедия символическая, есть лишь феноменология духа Николая Ставрогина. Реально и объективно и нет ничего и никого, кроме Ставрогина. Все – он, все – вокруг него. Он – солнце, истощившее свой свет. И вокруг солнца потухшего, не излучающего уже ни света, ни тепла, вращаются все бесы. И всё еще ждут от солнца света и тепла, предъявляют безмерные требования к своему источнику, тянутся к нему с бесконечной влюбленностью и ненавидят и злобствуют, когда видят солнце потухшее и охлажденное. Одна Даша ничего не ждет, согласна быть сиделкой у постели больного и умирающего. Жизнь с Дашей, маленькая, бесконечно маленькая жизнь, и есть то, во что перешла истощенная безмерность стремлений, не знавшая границ и избраний, бесконечность желаний. Ставрогин обречен Даше. И есть глубокая правда, глубокое прозрение в том, что Ставрогин мог потянуться только к серой и прозаической, умеренной и аккуратной Даше, только около нее искать успокоение.

Очень замечательны эти переходы в противоположных оценках Ставрогина со стороны всех связанных с ним людей. Для всех образ Ставрогина двоятся: для Хромоножки он то князь и сокол, то самозванец-купчик, стыдящийся ее; для П. Верховенского он

то Иван-Царевич, о котором пойдет легенда в русском народе, который станет во главе переворота, то развратный, бессильный, ни к чему не годный барчонок; и для Шатова он то великий носитель идеи русского народа-богоносца, который тоже призван стать во главе движения, то барич, развратник, изменник идее, то же двойственное отношение у Лизы, которая его обожает и ненавидит. Барство Ставрогина всех прельщает, – аристократ в демократии обаятелен, – и никто не может ему простить его барства. Барство – метафизическое свойство Ставрогина, оно – ноуменально в нем. Его трагическая судьба связана с тем, что он – обреченный барин и аристократ. Барин и аристократ обаятелен, когда идет в демократию, но он ничего не может с ней сделать, он вообще не может быть полезен, неспособен к «делу». Аристократизм всегда хочет творчества, а не «дела». Только барин и аристократ мог бы быть Иваном-Царевичем и поднять за собой народ. Но он никогда этого не сделает, не захочет этого сделать и не будет иметь силы этого сделать. Его не пленяет, не вдохновляет никакая демократизация собственных идей, ему противно и брезгливо встречаться с собственными идеями в других, в объективном мире и его движении. И реализация собственной любви, собственной эротической мечты нежеланна ему, почти отвратительна. Жизнь с Дашей лучше жизни с Лизой. Великие идеи и мечты вышли из барина и аристократа Ставрогина не потому, что он в мире совершил творческий акт, а потому, что он истощился от внутреннего хаоса. Порожденные им идеи и мечты персонифицировались и потребовали от него, чтобы он осуществил, реализовал то великое, что в нем зародилось, и негодуют, и ненавидят, когда встречают истощенного, потухшего, бессильного, мертвого. Ставрогин все мог бы: он мог бы быть и Иваном-

Царевичем, и носителем идеи русского мессианизма, и человекобогом, побеждающим смерть, мог бы он и любить Лизу прекрасной, божественной любовью. И он ничего не может, ни на что не имеет силы; безмерность страстей и стремлений истощила его, ноуменальное барство не позволило ему совершить тот акт жертвы, после которого начинается подлинное творчество. Он остался в себе и утерял себя, он не нашел своего другого и изошел в других, не своих. Он бессилен над выпущенными им бесами и духами, как злыми, так и добрыми. Он не знает заклинаний. Как бессилен Ставрогин перед Хромоножкой, которая оказывается выше его. У Хромоножки есть глубокие прозрения. Разговор Хромоножки с Шатовым о Богородице и земле по небесной красоте своей и глубине принадлежит к лучшим страницам мировой литературы. Бессилие Ставрогина перед Хромоножкой есть бессилие ноуменального барства перед Русской землей, землей – вечной женственностью, ожидающей своего жениха. Идея Русской земли жила в Ставрогине, но и тут он был бессилен выйти из себя, соединиться. Жениха своего ждет и Лиза, но встретит его лишь на час. Образ жениха двоятся. Ставрогин неспособен к браку, бессилен соединиться, не может оплодотворить землю. Ему под силу лишь тихая, угасшая жизнь с Дашей в унылых швейцарских горах. Он обречен ей, этот барин и аристократ, никогда не вышедший из себя через жертву, – Даша не требует от него ничего, не ждет ничего, она примет его погасшего. Только при Даше он может говорить вслух о себе. Это – страшный конец безмерности во всем. Но и этот конец оказался невозможным. Ставрогин боялся самоубийства, боялся показать великодушие. Но он совершил акт великодушия и повесился. То же ноуменальное барство показал нам Достоевский в образе Версилова, но человечески смягченное.

Трагедия Ставрогина – трагедия человека и его творчества, трагедия человека, оторвавшегося от органических корней, аристократа, оторвавшегося от демократической матери-земли и дерзнувшего идти своими путями. Трагедия Ставрогина ставит проблему о человеке, отделившемся от природной жизни, жизни в роде и родовых традициях, и возжелавшем творческого почина. Путь творчества для Ставрогина, как и для Ницше, был путем богоотступничества, убийства Бога. Ницше ненавидел Бога, потому что видел в Нем помеху для творчества человека. Ставрогин, как и Ницше, не знал религиозного сознания, в котором было бы откровение о творчестве человека, откровение божественности человеческого творчества. Старое религиозное сознание воспрещало творческий почин. Путь к откровению творчества человека лежит через смерть Ставрогина, через гибель Ницше. Достоевский ставит новую проблему, и на муку Ставрогина и Кириллова не может быть старого ответа. Трагедия Ставрогина неизлечима старыми религиозными рецептами, и Достоевский глубоко чувствовал это. Здоровые не могут судить о болезнях, раскрывшихся духу Достоевского. И лишь те, которые следуют не за духом Достоевского и не за гениальными и подлинно новыми его прозрениями, а лишь за поверхностным сознанием и платформой «Дневника писателя», могут думать, что у Достоевского все обстоит религиозно благополучно и что отпадение от православной веры любимых его героев есть лишь грех, обыкновенный грех, а не огненная жажда нового откровения, от которой сгорал сам Достоевский. *У Достоевского было в глубочайшем смысле антиномическое отношение ко злу. Зло есть зло, оно должно быть побеждено, должно сгореть. И зло должно быть изжито и испытано, через зло что-то откроется, оно – тоже путь. Сама гибель Ставро-*

гина, как и всякая гибель, – не окончательная и не вечная гибель, это лишь путь. Проблема творчества человека не разрешилась и не могла разрешиться в старом сознании, из которого не вышел еще Ставрогин. Где нет исхода для творчества, там началось беснование и разврат. У Достоевского сама проблема разврата несоизмеримо более глубокая, чем проблема греха. Через гибель что-то открывается, больше открывается, чем через религиозное благополучие. Ставрогин не только отрицательное явление, и гибель не окончательная. Была судьба Ставрогина до «Бесов», и будет судьба его после «Бесов». После трагической гибели будет новое рождение, будет воскресение. И нашей любовью к Ставрогину мы поможем этому воскресению. Сам Достоевский слишком любил Ставрогина, чтобы примириться с его гибелью. Он тоже возносил молитвы о его воскресении, о его новом рождении. Идея всеобщего спасения есть русская религиозная идея. Для православного сознания Ставрогин погиб безвозвратно, он обречен на вечную смерть. Но это не есть сознание Достоевского, подлинного Достоевского, знавшего откровения. И мы вместе с Достоевским будем ждать нового рождения Николая Ставрогина, красавца, сильного, обаятельного, гениального творца. Для нас невозможна та вера, в которой нет спасения для Ставрогина, нет выхода его силам в творчество. Христос пришел весь мир спасти, а не погубить Ставрогина. Но в старом христианском сознании еще не раскрылся смысл гибели Ставрогина, как момента пути к новой жизни. И в этой гибели есть прохождение через Голгофу. Но Голгофа не последний этап пути. Лишь в новом откровении раскроется возможность воскресения Ставрогина и жертвенный смысл гибели того, кто бессилен был совершить сознательную жертву. И вновь будет собрана его истощив-

шаяся, распавшаяся личность, которую трудно не ненавидеть и нельзя не любить. Безмерность желаний и стремлений должна быть насыщена и осуществлена в безмерности божественной жизни. Жизнь в мире губила

все безмерное². Безмерность не могла еще осуществиться. Но наступит мессианский пир, на который призван будет и Ставрогин, и там утолит он свой безмерный голод и безмерную свою жажду.

¹ Внешним толчком к написанию «Бесов» послужило нечаевское дело. В изображении революционеров в романе Достоевского есть много неверного и приближающегося к пасквилю. Петр Верховенский совсем не походит на Нечаева. Но у Достоевского есть глубокие прозрения, которые не зависят от верности эмпирическим фактам.

² Подлинную безмерность в жизни божественно знали германские мистики и в безмерности переходили к сверхбожественному. Ангелус Силезиус говорит:

Ich werfe mich allein
Ins ungeschaffne Meer der blossen Gottheit ein.

И потом:

Ich muss noch ueber Gott in eine Wüste ziehn.

И:

Die Ueber-Gottheit ist mein Leben und mein Licht.

В. Ф. ПЕРЕВЕРЗЕВ

Достоевский и революция

(К столетию со дня рождения)

Столетний юбилей Достоевского нам приходится встречать в момент великого революционного сдвига, в момент катастрофического разрушения отжившего старого мира и постройки нового. Хронологически Достоевский принадлежит старому миру.

Казалось бы, день его юбилея будет днем, который оторвет нас от живых острых тем, от современности, чтобы отдать дань уважения великому деятелю прошлого, а затем поспешить вернуться к текущей жизни, к ее властным требованиям и неотложным запросам. Так оно и было бы в отношении ко всем нашим классикам, начиная с Пушкина и Гоголя и кончая Толстым. Но не так обстоит дело в отношении к Достоевскому. Писатель 40-х годов, сверстник Тургенева, Писемского, Салтыкова, Толстого – он чужой среди них. Его язык, его думы и чувства лишь механически связаны с эпохой 40-х годов, с классическим пе-

риодом русской литературы. Органического родства нет здесь. Недаром для критиков самых тонких, даже корифея критики 40-х годов Белинского, Достоевский остался неясной, непонятной фигурой. Чужой среди писательской плеяды классиков, Достоевский по стилю и духу близок популярнейшим писателям начала XX века, и в произведениях Горького, Андреева, Арцыбашева, Сологуба продолжается разработка тех же мотивов, что и в произведениях классика Достоевского. Можно сказать, что вся современная художественная литература идет по стопам Достоевского, как литература классическая шла по стопам Пушкина. Достоевский – все еще современный писатель; современность еще не изжила тех проблем, которые решаются в творчестве этого писателя. Говорить о Достоевском для нас все еще значит говорить о самых больных и глубоких вопросах нашей текущей жизни. За-

хваченные вихрем великой революции, вращаясь среди поставленных ею проблем, страстно и болезненно воспринимая все перипетии революционной трагедии, мы находим у Достоевского себя самих, находим у него такую болезненно-страстную постановку проблем революции, как будто писатель вместе с нами переживает революционную грозу. На эту особенность писательской физиономии Достоевского уже неоднократно указывалось в новейшей критике. «Пророк русской революции» – так озаглавил одну из своих критических работ о Достоевском Мережковский. Пророк не пророк, но что Достоевский глубоко понимал психологическую стихию революции, что еще до революции он ясно видел в ней то, о чем в его пору, а многие и в дни революции, даже и не догадывались, – это неоспоримый факт. Читайте Достоевского, и вы многое поймете в переживаемой драме русской революции, чего не понимали; многое оправдаете и примете, как должное, чего не понимали и не оправдывали.

В дни революции Достоевского следует вспомнить не только ради столетнего юбилея, но и ради самой революции, ради революционного самопознания. Подход Достоевского к революции заслуживает глубокого внимания всех, кто взирает на разворачивающиеся события не ковыряя пальцем в носу, а стремясь осмысленно на них реагировать.

Всем известен факт, что Достоевский жил не в ладу с революционной Россией. В его произведениях немало наговорено резкостей по адресу радикального лагеря. Его перу принадлежит злобный памфлет на Чернышевского. С истерической злобой нарисовал он революционное подполье в романе «Бесы». Радикалы не оставались в долгу, браня Достоевского, как мракобеса и апостола застоя. Эта ссора великого писателя с революционной

интеллигенцией доставила немало удовольствия черносотенным публицистам, которые всячески старались выставить Достоевского, как своего союзника в борьбе против революционного движения. Но союза не было, и это великолепно понимали публицисты реакции. Они не находили в нем прямолинейного, стоеросового ретроградства, какое было, например, в писаниях таких врагов революции, как Крестовский, Лесков и Маркевич. Среди самых жестоких нападков на подпольную Россию в произведениях Достоевского чуткое ухо всегда улавливало нотки сочувствия и оправдания подполья. Для реакционера он недостаточно отмежевался от революции, даже слишком недостаточно. Консерватизм как-то странно причудливо переплетается у него с мятежными бунтарскими порывами. Все это заставляло наших мракобесов подозрительно коситься в сторону Достоевского, быть вечно настороже по отношению в этому странному союзнику-врагу. Этим объясняется тот подозрительный, сдержанно-сторожкий подход к Достоевскому, какой мы находим в статье виднейшего реакционного публициста Леонтьева, написанной по поводу речи Достоевского на Пушкинском празднестве. Таким образом, доброе согласие между Достоевским и охранительной консервативной печатью оказывается больше видимостью, чем действительным согласием, потому что оно съедается дотла ржавчиной недоверия и опаски. С другой стороны, и ожесточенный разлад между революционной Россией и Достоевским всегда сопровождался чувством боли от этого разлада, чувством взаимного влечения и какой-то невольной близости. Среди резкой полемики срывались признания этой близости, и порой между Достоевским и идейным вождем народнического радикализма Михайловским протягивались какие-то связующие нити.

Отношение Достоевского к революционной России оказывается, таким образом, чрезвычайно сложным. Было бы ошибкой, несправедливостью назвать его реакционером, ибо в нем есть несомненное понимание обаятельности революционной грозы, обаяния мятежа. Но революционером его никто не назовет уже потому только, что добрая половина его писаний борется против революционного духа, который рисуется им в виде беса-искусителя, в виде духа тьмы. Он и не реакционер и не революционер: он и то и другое в одно и то же время. Это парадоксально, иррационально, но Достоевский и был такой иррациональной, противоречивой, внутренне не согласованной натурой. Раздвоение, борьба противоречивых устремлений – характерная особенность его душевной организации. В понимании всех жизненных отношений он вносит свою раздвоенность: двойственно его отношение и к революции. Повторяем еще раз: Достоевский и революционер и ретроград в одно и то же время; в нем одинаково живо звучат и революционные и реакционные струны. В его произведениях всегда есть что-то напоминающее ту «забавную штучку», которую сочинил для фортепиано один из героев романа «Бесы» – Лямшин. «Штучка начиналась грозными звуками Марсельезы: *Qu'un sang impur abreuve nos sillons!* Слышался напыщенный вызов, упоение будущими победами. Но вдруг, вместе с мастерски варьированными тактами гимна, где-то сбоку, внизу, в уголку, но очень близко, послышались гаденькие звуки: *Mein liber Augustin*. Марсельеза не замечает их, Марсельеза на высшей точке упоения своим величием; но *Augustin* укрепляется, *Augustin* все нахальнее, и вот такты *Augustin* как-то неожиданно начинают совпадать с тактами Марсельезы» («Бесы», 287/VIII, изд. VI-e). Творческий дух Достоевского звучит как фортепиано под пальца-

ми Лямшина: грозные звуки Марсельезы спутались здесь в причудливом клубке с гаденькими звуками *Mein liber Augustin*; зовущая к свободе мелодия гимна: «Вставай, проклятем заклеименный» – с рабьей мелодией «Боже, царя храни». У него революция всегда чревата реакцией, реакция чревата революцией.

Излюбленным героем его романов является революционер, бунтарь, носящий в себе элементы глубочайшего консерватизма и реакционного примирения, вроде Раскольников или Ставрогина. Таков и сам Достоевский: он весь в своих героях. Как и они, он мечется от революции к реакции, ищет удовлетворения то в крайностях мятежа, то в крайностях консервативного смирения и не удовлетворяется ни тем, ни другим.

Чтобы понять это двойственно-противоречивое отношение к революции, необходимо внимательно рассмотреть и вдуматься в психологию той революционной России, какую мы находим в произведениях Достоевского. Полнее всего психология революции изображена Достоевским в романе «Бесы», который поэтому и представляет наибольший интерес для изучения отношения Достоевского к революционной России. Первое, что бросается в глаза при чтении этого произведения, это нескрываемое презрение Достоевского к сентиментальному идеализму, который претендует на революционность. Движущей психологической пружиной революционного движения является у него не сентиментальное жаление униженных и оскорбленных, а тот сдавленный гнев и разрушительный бунтарский огонь, который клопочет в душе самих униженных и оскорбленных. В основе революции лежит не великая жалость, а великий гнев, не самоотвержение, а самоутверждение, своеволие.

В противоположность сентиментализму революционных народников,

Достоевский чужд всякой идеализации революции. Революция жестока и безнравственна, она ступает по трупам и купается в крови, она предпочитает мучительство, издевательство, потому что совершается теми, кого мучили и над кем издевались. Революция – дело униженных и оскорбленных, в душе которых накапливается, как пар в закрытом котле, разрушительная жажда мести, жажда унижить и оскорбить. Мы привыкли видеть униженных и оскорбленных жалкими и не подозревали, что в них есть много страшного. В революции и обнаруживается во всей силе то страшное, что заключено в психике угнетенных и оскорбленных в виде потенции. Революция несет с собой ужас, террор, деспотизм, потому что те, кого держали под страхом и в покорности, хотят внушить страх и покорность, стремятся стать деспотами и террористами. Кого пугает деспотизм, террор, кровь и трупы, тот не революционер и все призывает имя революции. Не великодушный заступник слабых и угнетенных, вдохновленный жалостью, а суровый завоеватель власти, вдохновляемый своеволием, является подлинным революционером. У Достоевского таков Петр Верховенский в «Бесах», таков и Ставрогин в своей революционной сущности. Итак, психологическая механика революции сводится к стремлению угнетенных стать угнетателями, лишенных всякой воли рабов – своевольными, деспотами. В революции есть при всем ее ужасе, при всем имморализме, несомненный очистительный, очеловечивающий огонь свободы. Лишенный воли, униженный до положения вьючной скотины, раб поднимается до головокружительных вершин свободы, не обузданной никакими нормами права и морали несвязанного своеволия. Тот, кто ничего не смел и не мог, благодаря революции все смеет и все может. Но в той же революции куются цепи нового рабства. Оно рождается из своеволия,

из опьянения свободой. Опьяненный свободой, раб становится деспотом, стряхнувший гнет унижения становится угнетателем, и все снова возвращается к исходной точке лишь с переменной ролей. В революции переплелись освобождение с порабощением. «Без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства», – говорит у Достоевского герой революционного подполья Петр Верховенский, высказывая заветную мысль автора, в которой, тематически сжато, в краткой формуле, выражено представление автора о революции. В революционном бунте есть и обаятельная сила и жуткое бессилие: сила ее в захватывающей дух свободе, бессилие в неизбежности революционного деспотизма. В революции есть что-то дьявольски хитрое, бесовски лукавое. Ужас революции не в том, что она имморальна, обрызгана кровью, напоена жестокостью, а в том, что она дает золото дьявольских кладов, которое обращается в битые черепки после совершения ради этого золота всех жестокостей. Революция соблазнительна, и понятно вполне почти маниакальное увлечение ею. Достоевский и его герои прекрасно знают этот революционный соблазн. Порой их охватывает неудержимое влечение броситься «вверх пятами» в бездну революции, испытать восторг своеволия, ничем не ограниченной свободы. Но вот из бездны поднимается навстречу, рассеивая обаятельные призраки, ничем не ограниченная тирания, – и соблазн уступает место отвращению, Достоевский и его герои бросаются из объятий революции в объятия реакции, проклиная революционный соблазн, как бесовское наваждение. Автор и сердцевед униженных и оскорбленных открывает в их душе, как и в себе самом, огромный запас потенциально-революционной энергии, но и такой же запас энергии реакционной, – способность броситься от самой углубленной революции к самой

глубокой реакции, потому что в революции униженных и оскорбленных есть момент очарования, но с ним необходимо связан и момент разочарования. В этом анализе революции и ее героев чувствуется много проникновенной правды, трезвого и глубокого понимания природы революции. Во всяком случае здесь гораздо больше правды, чем в сентиментальных и, в сущности, довольно детских представлениях революционных утопистов народнического склада. У них острый перец революции превращался в какую-то сладенькую водицу. У одних это происходило потому, что они были гуманными, жалостливыми людьми, но вовсе не были революционерами, хотя и воображали себя такими. Другие, будучи действительными революционерами-бунтарями, даже и не подозревали в себе самих тех психических конфликтов и заложенных в них потенций, которые ясно видел острый взор Достоевского. Анатомируя и распластывая душу революционного подполья, Достоевский добрался до таких интимных тайников ее, в какие не хотели заглядывать, робко обходя их, сами деятели революционного подполья. Потому-то и рассердились на него, что он вынес на всеобщее позорище те грозные диссонансы революционного подполья, от которых отделялись сознательной или бессознательной глухотой. Достоевский раздражал радикалов гораздо сильнее, чем реакционные борзописцы вроде Лескова, Авсеенки, Маркевича и иных, которые вращали всякий взор о революции и революционерах.. Вранье было неопасно, над вздором легко было смеяться. Но от Достоевского нельзя было отмахнуться смехом, с ним шутки были плохие. Тут приходилось иметь дело не со вздорной болтовней, а с дерзкой вызывающей исповедью, в чем боялись признаваться даже самим себе. Не прошлое зубоскальство беззубых мракобесов, а надрывающие стоны охвачен-

ного сомнениями верующего неслись с речью Достоевского в лицо не знавших сомнения радикалов. Этот колеблющийся в вере революционер требовал от столпов революционного подполья, чтобы они укрепили его в вере, а столпы только растерянно и раздраженно таращили на него глаза. «Есть ли в поле жив человек! – кричит русский богатырь; кричу и я, не богатырь, и никто не откликается», – скорбно жалуется Достоевский. Единственным откликом ему была брань, потому что он кричит на площади о том, о чем принято было не разговаривать между собой, о чем избегали даже про себя думать. Этот истерический крикун был гораздо опасней озлобленных, но бессильных мракобесов, и потому-то он вызвал ожесточенные нападки и резкую брань со стороны революционного подполья. А кроме брани откликаться было нечем, потому что никакой сладкой водицей нельзя было заглушить той едкой горечи, которая жгла уста Достоевского, раскусившего самую сердцевину красного перца революции. Он знал о революции больше, чем радикальнейшие из радикалов, и то, что он знал о ней, было мучительно и жутко, раскалывало надвое и терзало противоречиями его душу. Дело в том, что революционная Россия, которую знал Достоевский, была мелкобуржуазной Россией. Революционность мелкой буржуазии в капиталистическом обществе носит своеобразный и чрезвычайно парадоксальный характер. В условиях капитализма мелкая буржуазия оказывается в положении угнетенного класса. Капитализм душит мелкобуржуазное хозяйство, разлагает его, доводит до разорения и обнищания. И оттого мелкая буржуазия от всей души ненавидит капитализм, бунтарски настроена против него, жаждет его разрушения. Она злобно критикует капитализм и всегда не прочь перейти от критики словом к критике действием, т.е. к революции. В

своей критике она не останавливается перед крайностями, доходит до отрицания собственности, до требования экономического равенства. Во всем этом звучат ярко революционные ноты. Мы находим у мелкой буржуазии огромный запас революционной энергии, готовый всегда претвориться в революционный взрыв. Но, разрушая капитализм, мелкая буржуазия строит на его развалинах мелкобуржуазное хозяйство, из которого как раз родится капиталистическое с неизбежностью естественного процесса. Мелкобуржуазное хозяйство – основа капитализма. Мелкая буржуазия по своей социальной сущности оказывается строителем капитализма, и не может его не строить, как не может не родить беременная женщина. Стремясь одной рукой разрушить капитализм, мелкая буржуазия другой рукой создает его. Перед нами белка в колесе, социологическое *perpetuum mobile*, очень похожее на переливание из пустого в порожнее. И от этой роли белки в колесе мелкая буржуазия по своей социологической сущности не может отказаться: она не может не выступать в революционной роли разрушителя капитала и в то же время не может не выступать в реакционной роли зиждителя капитала. Мелкая буржуазия в одно время и революционна и реакционна. Больше: чем она революционнее, тем реакционнее, и наоборот. Над мелкой буржуазией тяготеет какое-то проклятие, как над евангельской смоковницей: она социологически бесплодна, неспособна к исторически-созидательной роли. Трагедия этого класса в том, что революционность ее нейтрализуется реакционностью, а реакционность нейтрализуется революционностью: самые бурные напряжения революционной энергии разрешаются реакцией, и самая напряженная реакция должна разрешиться революцией.

Достоевский назвал бы эту трагедию «дьявольским водевилем», со-

зерцание которого сводит с ума его и его героев. Социально-экономическая природа мелкой буржуазии определяет психологическую природу этого класса: внутренне противоречивая, двойственная экономическая сущность порождает внутренне противоречивую, двойственную психологическую сущность. Вот эту двойственность психологии мелкобуржуазной революционной России и подметил острый взор художника, вот о ней и говорит он в своих произведениях. И прямо поражаешься, как глубоко постиг художник психологию мелкобуржуазной революционности. Его не обманул радикализм, яркое революционное бунтарство допролетарского русского подполья. В самых крайних течениях современного ему революционного бунтарства он ясно видел наличность надрыва, наличность реакционного излома. Самый крикливый радикализм не мог скрыть от него таящейся в глубинах мелкобуржуазной души реакционности. И это в пору, когда ни в революционном стане, ни в стане реакции никто не замечал того, что было так ясно Достоевскому. Он был одинок со своим скорбным знанием – этот великий сердцевед-художник.

Современники плохо понимали, да и не могли понять его, ибо слишком остро было у него зрение и трудно слепому понимать зрячего. Скажем больше: мелкобуржуазные идеологи русской революции и в наши дни оказались отсталыми людьми по сравнению с Достоевским. Разразившаяся революция поразила этих утопических революционеров рядом неожиданностей, когда в ней обнаружили те самые черты, которыми характеризовал ее Достоевский. Она испугала их своим имморализмом, террором, деспотизмом, и увлечение революцией сменилось в них разочарованием. Все сбылось по Достоевскому, даже их разочарование предвидел он, рисуя революционных бунтарей, «собствен-

ного своего бунта не выносящих». Таким образом, Достоевский, которого отделяют от нынешней революции десятки лет, оказывается гораздо больше понимающим ее механику, чем значительная доля современных революционных идеологов мелкобуржуазного склада. Это-то и делает Достоевского таким близким современности.

Переживаемая нами великая революция в значительной мере движется силами революционной мелкой буржуазии. Правда, роль передового застрельщика в этой революции выпала на долю пролетариата, революционность которого носит иной характер. И поскольку наша революция движется революционной энергией пролетариата, постольку она оказывается вне постижения Достоевского. В ту пору, когда складывались произведения Достоевского, пролетариат был еще не сложившейся и не открытой силой, и естественно, что в художественных откровениях Достоевского, относящихся к психологии революционной России, нет места психологии революционного пролетариата. Зато для понимания мелкобуржуазной революционной стихии, которой густо разбавлена наша революция, Достоевский и теперь оказывается незаменимым художником. То, что сказал он о революции, является для нас до сих пор самым глубоким постижением ее сущности, поскольку она плод мелкобуржуазного бунтарства. У Достоевского многому можно научиться, многое понять и на многое трезво взглянуть в происходящей на наших глазах революции. В мощных взлетах революционной волны и ее падениях, в неровном, колеблющемся ритме нашей революции мы увидели

бы отражение социальной и психологической раздвоенности мелкобуржуазной стихии. Это она с ее вечными метаниями между революцией и реакцией, с ее способностью броситься в сторону самой крайней, самой радикальной революционности и тотчас охлаждаться, уставать, пятиться назад, вносить в революционное движение зигзагообразность, с величайшим трудом выравниваемую напряжением революционной энергии пролетариата. Достоевский приучил бы нас не испытывать головокружения от этой революционной качки, сделавши для нас ясной естественность и неизбежность резких колебаний в революции, построенной в значительной степени на мелкобуржуазном основании. Он помог бы нам сохранить ясность мышления и спокойную уверенность в обстановке революционной грозы, правильно реагировать на все перипетии революции, не пьянея от захватывающего дух широкого размаха ее, не впадая в панику от ее стремительных срывов. Знакома нас с самыми интимными уголками психологии мелкобуржуазной революционности, Достоевский воспитывает в нас чувство осторожной недоверчивости к этой лукавой силе и приучает нас быть готовыми к самым резким поворотам в ходе переживаемой революции. И именно в данный момент, когда напор мелкобуржуазной стихии особенно силен, когда пролетарская волна сильно растворилась в этой стихии, особенно уместно и своевременно вспомнить Достоевского, вновь перечитать его проникновенные, глубокие страницы, посвященные психоанализу революционной России.

В. В. ВИНОГРАДОВ

Последний день приговоренного к смерти

(Конец Кириллова)

Архитектоника романов Достоевского почти не изучена, и осуществленные в них приемы построения остаются нераскрытыми. Между тем проблема композиции в поэтике Достоевского, особенно во второй период его творчества, имеет настолько же существенное значение, как вопрос о сформировании стиля в пору его молодых художественных исканий.

Есть два пути, которые ведут к уяснению этой сложной проблемы: один – анализ приемов постройки каждого романа с точки зрения поставленного автором художественного задания; другой – изучение происхождения и литературной истории того материала, который, подчиняясь известному принципу, организован и претворен в оригинальное художественное целое. Поэтому скопление историко-литературных реалий вроде, напр., указаний на то, что речи Фомы Опискина в «Селе Степанчикове» полны почти буквальными цитатами из «Переписки с друзьями» Гоголя, сочинений Н.А. Полевого (напр., фраза: «Я знаю Русь, и Русь меня знает») и, вероятно, других авторов (ср. упоминание о переписчике, т.е. Н.В. Кукольнике), часто бросает новые лучи на приемы построения романа у Достоевского.

Но еще важнее разыскание целых новелл, воспринятых Достоевским у любимых писателей, и наблюдение над способами их стилистической переработки и приемами включения их в данный композиционный план.

С этой точки зрения в высшей степени интересно сопоставление сцены самоубийства Кириллова в романе Достоевского «Бесы» с «последним сном» приговоренного к смерти из романа Виктора Гюго «Последний день

приговоренного к смерти» (русс. пер. 1830 г.).

Приговоренному к смерти снилась ночь. Он и два-три приятеля – в кабинете. Жена с ребенком спит. Вдруг как будто послышался шум – «слабый, странный, неизъяснимый... Розыски по комнатам...».

«Подойдя к печи, увидел я, что шкаф с бельем отперт, а дверь его откинута на угол стены, как бы для прикрытия оного.

Это показалось мне странным... Кто-нибудь притаился за дверью. Я хотел запереть шкаф, но дверь от стены не отходила. В удивлении я стал тянуть дверь крепче, она вдруг отскочила, и мы увидели низенькую старуху. Руки у нее висели, глаза были сомкнуты: она стояла неподвижно и как будто вдавлена была в угол стены. Во всем этом было что-то отвратительно ужасное...»

На все вопросы старуха «не отвечала, не пошевелинулась, не открыла глаз».

Друзья высказали предположение, что она – «соучастница мошенников, которые ушли, а она не успела убежать и спряталась тут...».

Старуха по-прежнему «пребывала без голоса, без движения, без взора».

«Один из нас толкнул ее, она упала. Она рухнула всем телом, как кусок дерева, как нечто мертвое.

Мы пошевелили ее ногой, потом двое из нас подняли ее и опять прислонили к стене. Она не подала ни малого знака жизни. Ей кричали на ухо, она молчала, как глухая.

Мы теряли терпение, и страх наш был не без досады... Я поднес к ее лицу горящую свечу. Она раскрыла немного

один глаз; впалый, мертвенный, ужасный глаз сей не глядел...

– Кто ты? – Глаз закрылся, как будто сам собою...

Опять свечу! Опять! Надо же добиться от нее ответа.

Я поднес опять огонь к подбородку старухи.

Тут стала она медленно открывать оба глаза, посмотрела по очереди на всех нас, потом, вдруг наклонясь, задула свечу холодным дыханием. В ту же минуту почувствовал я, что в темноте укусили меня в руку три острые зуба...»

У Достоевского этот сон превращается в явь. И роль Старухи разыгрывает Кириллов. В соответствии с тем новым композиционным планом, в который вовлекается эта новелла, она лишается некоторых своих аксессуаров: друзей и их догадок, ослабляющих кошмарный характер сцены. Остаются только два действующих лица. Но они не сталкиваются с такой стремительной внезапностью, как у Виктора Гюго, который ограничивается лишь внешним и быстрым описанием движений и обстановки, лаконически и ослабленно передавая настроение («Во всем этом было что-то отвратительно ужасное, и, при одной мысли о сем зрелище, волосы мои становятся дыбом... Мы теряли терпение, и страх наш был не без досады») и основывая все эффекты на подборе эпитетов и сравнений («впалый, мертвенный, ужасный глаз»... «задула свечу холодным дыханием»... «рухнула... как кусок дерева» и т.д.). Стремительное бегство Кириллова в другую комнату, томительное ожидание у ее дверей Петра Верховенского со свечой, прерываемое попыткой проникнуть в нее, беспорядочно-взволнованный монолог – сгущают жуткую атмосферу. Игра неожиданностями, антитезами, порывисто разрушающими нарастание эмоциональной насыщенности фраз, – усиливает эффект встречи.

«Вдруг он быстро обернулся, и что-то необычное сотрясло его».

Далее совпадение в основной ситуации с новеллой Викт. Гюго поразительно.

«Вправо от двери стоял шкаф. С правой стороны этого шкафа, в углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кириллов, и стоял ужасно странно, – неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, приподняв голову и плотно прижавшись затылком к стене, в самом углу, казалось желая весь стусеваться и спрятаться. По всем признакам он прятался, но как-то нельзя было поверить...

Фигура, несмотря на крик и на бешеный наскок его (Верховенского), даже не двинулась, не шевельнулась ни одним своим членом – точно окаменевшая или восковая. Бледность лица ее была неестественная, черные глаза совсем неподвижны и глядели в какую-то точку в пространстве. Петр Степанович провел свечой сверху вниз и опять вверх, освещая со всех точек и разглядывая это лицо. Он вдруг заметил, что Кириллов хоть и смотрит куда-то пред собой, но искоса его видит и даже, может быть, наблюдает. Тут пришла мысль ему поднести огонь прямо к лицу «этого мерзавца»...

Затем произошло нечто безобразное и быстрое... Едва он дотронулся до Кириллова, как тот быстро нагнул голову и головой же выбил из рук его свечку... В то же мгновение он почувствовал ужасную боль в мизинце своей левой руки...»

Таким образом, в этом действии все ситуации сна приговоренного к смерти Виктора Гюго – налицо: мертвенно-неподвижная фигура в углу между стеной и шкафом, двукратное приближение огня к ее лицу, потухшая свеча и укусы зубами в руку. Выброшена лишь сцена падения фигуры, «как куска дерева», и ее установки. Она внесла бы неуместный комизм. Кроме того, сделано Достоевским несколько

– с первого взгляда – мелких дополнений; однако – они существенно изменили общий характер действия. У Гюго неподвижная фигура старухи сразу выступает перед читателем. Загадкой лишь остается, кто она и что тут делает. К ее разрешению направлен медленно движущийся допрос терпеливой компании («мы теряли терпение»). Затем, как средство против молчания, начинается пытка огнем.

Так как в роли *неизвестной* старухи выступил *определенный* персонаж «Бесов» – Кириллов, то загадочность, переносясь с лица на положение, становится более напряженной и страшной. Жуткая таинственность возрастает оттого, что фигура Кириллова, рисуясь в преломлении через восприятие Верховенского, предстает пред зрителем не сразу во всех своих частях. «Петр Степанович... мог наблюдать *только выдающиеся части* фигуры. Он все еще не решался подвинуться влево, чтобы разглядеть *всего* Кириллова...» Далее в контрастном освещении вырисовываются сразу оба действующие лица: яростно сорвавшийся с места, кричащий и топающий ногами Верховенский и окаменевшая фигура Кириллова с неестественно бледностью лица и совсем неподвижными черными глазами.

В соответствии с таким медленным раскрытием фигуры Кириллова

первое движение свечи в руках Верховенского имело целью – «осветить со всех точек это лицо».

После того как фигура Кириллова дана в полном освещении, начинаются над нею эксперименты («тут пришла ему мысль... поджечь и посмотреть, что тот сделает»). И вместе с тем осуществляется новый контраст между освещенным фоном, на котором она должна теперь выступить, и помрачением сознания Верховенского, через восприятие которого преломляется изложение («Вдруг ему почудилось...», «Петр Степанович никак не мог потом уладить свои воспоминания в каком-нибудь порядке»). Благодаря этому приему открылась возможность придать движениям, которыми обмениваются два действующих лица, характер причудливого гротеска («насмешливая улыбка» Кириллова, как ответ на пытку огнем... Верховенский «крепко схватил Кириллова за плечо». – Ответ: выбитая наклоненной головой свечка и укус в руку...), и образовавшийся, таким образом, «узел психологических загадок» не мог разгадать даже А. Волынский.

Так своеобразно переработанный кошмар приговоренного к смерти превратился у Достоевского в литературную действительность, в предсмертные движения самоубийцы.

А. С. ДОЛИНИН

«Исповедь Ставрогина»

(В связи с композицией «Бесов»)

I

Ставя решение вопросов, возникающих в связи с недавно опубликованной «Исповедью Ставрогина»¹, в прямую зависимость от общего характера построения романа, я имею в виду пре-

имущественно только один из композиционных элементов у Достоевского, правда, быть может самый главный, – его тенденцию разворачивать сюжет и, в соответствии с ним, и идеи свои вокруг одной или нескольких центральных личностей. Надо сказать, что тен-

денция эта создает для него огромные трудности, вступая часто в столкновение с общими принципами сюжетосложения, и это первое, что делает композицию Достоевского очень сложной, порою путаной, почти всегда асимметричной. Каков бы ни был первоначальный план художественного замысла, в процессе исполнения в него всегда врываются новые неожиданные элементы, в виде ли, как отмечала старая критика в лице Михайловского, эксцентрических идей или необоснованных событий, порою и целых эпизодов. Со временем, когда будут изданы все автографы, от момента первых набросков до последней завершающей редакции хоть одного из больших его произведений, станет ясным, каких трудностей стоило ему согласование концов и как часто они все-таки оставались у него несогласованными. Быть может, в связи с этим находится тот факт, что на разработку сюжета, как такового, на связное, более или менее органическое развертывание событий Достоевским тратилось чрезвычайно много усилий, я бы сказал: больше всего усилий.

Михайловский говорит о Достоевском, что фельетонный характер его творчества, то самое, очевидно, что Страхов разумеет под тоном публициста, – взят им у Бальзака. Так ли это или нет, но завязи, первоначальные основы его замыслов, в самом деле, как будто всегда философского или общественно-идейного порядка. Наиболее откровенные его письма к Майкову (опубликованные в материалах Страхова и в моем сборнике) ясно свидетельствуют о том, что идеи им уже ставлены в то время, когда воплотители их, образы, герои, еще в тумане, как Достоевский сам выражается, еще не «выношены» в его сердце. В 1-м М. Сборнике «Свиток», где опубликованы первые наброски к «Бесам», эта особенность наиболее выпукло сказывается. На первых же страницах идео-

логическая сторона сразу прикрепляется к Шатову и к Петру Верховенскому, дальше о ней уже почти не говорится, а вся работа идет в области сюжетосложения, где комбинации беспрестанно меняются, нередко без всякой связи с стремлением к детализированию личности главного героя. Точно решается математическая задача на сочетание по два и больше элементов из общего количества элементов, равняющегося числу действующих лиц и главных событий. Однако, при всей пестроте меняющихся комбинаций, некоторые элементы все же выделяются, как наиболее четкие и чаще повторяемые, я бы сказал, как кристаллизующие пункты, в виде тех или иных черт характера; порою это отдельные детали, острые эпитеты, порою целые эпизоды, которые непременно присутствуют при всех сюжетных комбинациях (вроде «плаксивая баба» – неизменная характеристика Степана Верховенского; или эпизод – грубое оскорбление отца Нечаевым, т. е. Петром Верховенским). Это как бы вехи, сдерживающие в известных пределах удаляющийся от основного стержня скачущий полет его комбинирующей фантазии. Центральная идея в самом начале замысла, центральный герой, эту идею воплощающий, и вместе с ним и те образы, которые наиболее тесно к нему примыкают, – вот что заметно дает себя чувствовать, как главный формирующий фактор, при первом же анализе не только романа в целом, но и первоначального хода его творчества.

Вот почему «Исповедь Ставрогина» приобретает особую ценность и значение при раскрытии основного замысла «Бесов», тем более, как мы увидим ниже, Достоевский работает над ней с чрезвычайным напряжением, очевидно сам считая ее моментом, исключительно важным в строе романа. Это обязывает нас прежде всего к тому, чтобы дать надлежащую оценку опубликованному тексту, как таково-

му, установить хотя бы в общих чертах разницу, существующую между обоими текстами, а также решить, на наш взгляд, чрезвычайно важный вопрос, какой из этих текстов более ранний (далее будет видно, почему последний вопрос имеет значение далеко не одно хронологическое).

1

Петербургский текст озаглавлен: глава 9, в Московском «глава 9» зачеркнуто, переправлено на часть II, глава I. Не подлежит сомнению, что мы имеем здесь опisku: не часть II, а часть III (см. вступительную статью Комаровича, «Былое» № 18).

Исповедь предполагает известным читателю содержание целого ряда глав 2-ой части. Промежуток между напечатанием 2-ой части и 3-ей длился почти год: от декабря 1871 г. до ноября 1872 года. В части 2-ой, в теперешнем каноническом тексте, установленном по отдельному изданию, а не по Рус. Вестнику, «Исповедь» должна была идти главой 9-ой. Может быть, главой 9-ой она бы шла и в «Ист. Вестнике», если б не случилось с ней то, о чем сообщает Страхов в письме к Толстому: «Сцену из Ставрогина (растление и проч.) Катков отказался печатать»². Здесь-то и произошла какая-то остановка, очевидно вынужденная, косвенный след которой остался в виде приписки по окончании 2-ой части: «продолжение следует», вместо обычного в таких случаях – конец такой-то части. В течение года перерыва совершается перераспределение материала – по чисто ли техническим соображениям или более глубоким – судить трудно; нам думается, если б «Исповедь» была напечатана, можно было бы в этом перераспределении увидеть смысл внутренний, органический. Во всяком случае, в «Рус. Вестнике» третья часть открывается нынешней 9-ой главой: «Степана Трофи-

мовича описали» – она должна была быть второй, если б «Исповедь» была напечатана.

Если верен факт, о котором сообщает Страхов, что главным препятствием к печатанию «Исповеди» послужила сцена растления, – то не должен ли был попытаться Достоевский переделать «Исповедь» так, чтобы эта сцена оказалась тщательно замаскированной, по крайней мере, не была бы воспроизведена в деталях, приближающих нас к последнему моменту акта насилия, и осталось бы сомнение, было ли на самом деле совершено Ставрогиным преступление, или это сплошная выдумка с его стороны, «психологическое ухищрение».

«Исповедь» разделена на 3 части: в первой, подготовительной, в разговоре с Тихоном до чтения «Листков», расхождения между обоими текстами по существу не имеется. Сюжет же 2-ой, центральной, части именно и колеблется в этих двух направлениях. Приводим самые яркие места расхождения.

Оно появляется как раз в том самом месте, когда начинает вырисовываться ясно преступление. Мы подходим к самому последнему моменту: «девочка вдруг обняла его и стала страстно целовать».

Дальше следует такое разночтение.

В Московском тексте:

«Я чуть не встал и не ушел...» многогочие. И дальше: «Когда все уже кончилось...»

В Петербургском тексте:

«Я встал почти в негодовании, чувство гадливости как бы побороло звериную страсть».

В Московском тексте дальше идет утонченно болезненное описание душевного состояния девочки: подчеркнуто чувство смущения и неоправимости совершившегося в перебое с аналогичным душевным состоянием Ставрогина, у него осложненным обос-

тренной работой наблюдения над собою и над нею. В Петербургском же тексте психологизация заменена эпизодом со вторым листком «Исповеди». Ставрогин задерживает 2-ой листок: «второй листок пока под цензурой». На слова Тихона: «Ведь уже теперь, что второй номер, что третий – все одно», Ставрогин взволнованно отвечает: «Как все одно? Почему? Совсем не одно... я не виноват, что девочка глупа и не так поняла... Ничего не было. Ничего».

Сюда же идет и третье крупное расхождение: в Московском тексте опущено рассуждение Достоевского в целую страницу, в виде авторского предисловия к «Листкам», после слов: «во всяком случае ясно, что автор прежде всего не литератор» (см. «Документы», стр. 14). В нем заранее подвергается сомнению правдивость всего эпизода, толкнувшего Ставрогина на «Исповедь», оно явно рассчитано на ослабление впечатления от рассказанного таким конечным выводом: если документ не до конца «фальшивый, т.е. совершенно выдуманный и сочиненный», то во всяком случае в нем правды только наполовину: «правды искать надо где-нибудь в середине».

Так и в 3-ей части «Исповеди», в разговоре с Тихоном уже после прочтения «Листков», в Петербургском тексте Ставрогин говорит в одном месте: «Я написал этот вздор так, потому что мне это в голову пришло, для бесстыдства... а может быть, просто наврал, преувеличил в минуту фантастическую». В Московской редакции этой Ставрогинской реплики нет.

2

Но вот что на первый взгляд кажется непонятным: в резком противоречии с только что приведенными словами Ставрогина в той же третьей части Петербургской редакции, всего двумя страницами раньше, Достоевским вво-

дится такое отступление, безусловно рассчитанное на то, чтобы вернуть доверие к основному моменту 2-ой части, к факту преступления: «Замечательно, что ни слова о том, что было им давеча высказано в объяснение конфискации 2-го листка, не было уже более повторено во все продолжение дальнейших речей, даже как будто и забыто с обеих сторон». Такое противоречие есть, конечно, *lapsus* памяти. Но в то же время не подлежит сомнению, в этом последнем отступлении, которое автор делает от себя, мы имеем первое ясное проявление акта раздумья над тем внутренним, неустрашимым, логическим и психологическим противоречием, в котором пребывает вся концепция «Исповеди» в Петербургской редакции. Ведь все, что происходит после преступления, совершенно тождественно в ней с редакцией Московской по крайней мере в основном: вторая и третья встреча Ставрогина с девочкой, страх, им пережитый, – не откроется ли преступление, нравственный ужас, внушенный ему ее безмолвными жестами: частое кивание головой, угроза кулачком; дважды повторенный мотив: «Бога убила»; его нелепый брак со скудоумной юрודивой Лебядкиной, которым он мстит самому себе. И дальше – раскаяние или угрызение совести после появления призрака девочки вслед за пророческим полусном, полуявью, – видением гармонически-счастливого детства, а может быть и старости человечества, в связи с картиной в Дрезденской галерее Клод-Лорена «Асис и Галатея». Также совпадает в основных мотивах и третья часть «Исповеди», с той лишь разницей, что самый акт раскаяния, чувства смирения, его сопровождающего, в Петербургском тексте подчеркнут несколько более резко.

«Исповедь» так, как она дана, и в Петербургской редакции мыслима и художественно и психологически может быть приемлема лишь на основе

доподлинного преступления. Особенно страшна в своей категоричности сцена самоубийства девочки, и серьезен тон, и убедительны, по своей искренности, страдания Ставрогина. В Петербургском тексте нет конца; бегство Ставрогина с криком: «проклятый психолог», – конец Московской редакции ничем не заменен. Не потому ли, что, не справившись в данной концепции, по которой преступления, может быть, вовсе и не было, с только что указанным неодолимым внутренним противоречием и почему-либо отказавшись от коренной ее переделки: оттого ли, что слишком уж тяжело было отречься от вскрытых в «Исповеди» глубин, в художественном предвидении, что эти все мотивы в иной концепции неповторимы; или по каким-нибудь иным причинам, – во всяком случае, не одолев в этом плане внутренних противоречий темы, Достоевский бросил ее незаконченной? Так пришлось бы объяснить, если думать, что текст Петербургский более поздний. Разберемся в доводах за это предположение. Несомненен факт колебания Достоевского в основном плане сюжета «Исповеди», в психологической ее трактовке. Несомненно, что самые существенные расхождения во 2-ой части обоих текстов объясняются именно тем, что в одном из них, в Петербургском, образ Ставрогина ставится так, что делается возможным для него пережить акт живой религиозной воли, истинное раскаяние. Если принять еще во внимание, что для Достоевского такое преступление, как насилие над ребенком, является, быть может, актом непоправимым, что не может быть прощения такому преступлению, даже в аспекте высшего Божьего порядка, то тем понятнее станет, почему самый факт насилия почти отрицается. Но хронологию этим никак нельзя определить. Все же одинаково вероятно толкование в ту и в другую сторону, скорее даже наоборот. Если «Бесы» в самом деле варьируют

некоторые основные темы и образы ненаписанной поэмы «Жития Великого Грешника» (см. статью Бродского, в Московск. сборнике, и особенно интересную статью Комаровича, в моем сборнике «Достоевский»), в частности, если образ Ставрогина восходит в генезисе своем к образу Грешника, то само собой разумеется, что, чем больше мы находим у них общих элементов, тем ближе мы к исходному пункту первоисточника. Было бы невероятно, чтобы почти у самого конца завершенного замысла в 1872 году, когда должна была печататься уже последняя часть «Бесов», финал Ставрогина снова вдруг сблизился с финалом «Грешника», воскресенье во Христе через церковь, народ, как тело Христово, снова стало бы для него возможным.

Соображение это, в известной мере, конечно, гадательно. Но мы насчитываем свыше сорока мест: в одну, две, три, четыре и пять строк из текста Петербургского, бывших такою в тексте Московском, т.е. в корректорных гранках, собственноручно Достоевским зачеркнутых. Будь Московский текст более ранний, пришлось бы допустить, что Достоевский почему-то решил восстановить их вновь, что неправдоподобно. Тем более, что целый ряд поправок явно делают Московский текст улучшенным, более выдержанным и стилистически, и композиционно.

На это же указывает и приписка рукой Достоевского на корректуре перед вышеуказанным уже пропуском в целую страницу после слов: «автор прежде всего не литератор» – «одного замечания, только одного». К кому бы ни была направлена эта явно выраженная воля – судя по другим его рукописям, быть может, к самому себе, – во всяком случае, вывод ясен: он имеет в виду – держа его в памяти или перед собою – тот текст, в котором это примечание находится, т.е. текст Петербургский; впрочем, быть может, даже и

не Петербургский, а еще один, промежуточный между Петербургским и Московским. Уже на основании тех расхождений, которые мы приводили до сих пор, трудно допустить, чтобы Московский текст появился в результате лишь поправок на тексте Петербургском, по крайней мере в части второй «Исповеди», наиболее сложной и ответственной. Но расхождения идут еще дальше. В тексте Московском имеются две крупные вставки, около трех страниц, роль которых в композиции «Исповеди» кажется достаточно ясна. Они углубляют одну из основных черт Ставрогина, доведя до осязаемой ясности то раздвоение его мировосприятия, которое в каноническом тексте очерчено сравнительно слабо, больше предугадывается из рассказа глухого и скомканного об его прошлом, чем воспринимается реально, в плоскости психологической (стр. 17 «Документов», начиная со слов: «Всякое чрезвычайно позорное» и кончая «так мне тогда показалось»).

В этой вставке прежде всего ясны нити, ведущие к последней главе первой части, к сцене с пощечиной: «если сдержать при этом гнев, то наслаждение превысит все, что можно вообразить». И контрастно брошен некий свет и на третью главу 2-ой части, на «Поединок». Поединок с Гагановым обычно воспринимается как второй момент устремления Ставрогина к возрождению, после резко контрастирующих между собою двух его встреч на мосту с Федькой Каторжным – до и после ночного свидания с Хромоножкой, о чем рассказывается в предшествующей главе – «Продолжение ночи», которая в свою очередь контрастирует с первой главой: «Ночь», тоже распадающейся по принципу контраста: на свидание с Кирилловым, потом с Шатовым.

Необходимость этой вставки мотивируется Ставровиным тем, что она ясно доказывает, насколько он владеет

своим сознанием, умеет останавливать на верхней точке всякое чувство, хотя бы оно доходило в нем до совершенного огня. «Если б что-нибудь крал, то я бы чувствовал при совершении кражи упоение от сознания глубины своей подлости»: слова эти подготавливают вторую вставку – эпизод с кражей в нумерах, соответствующий в Петерб. тексте отступлению, слабо мотивированному, с сюжетом плохо связанному, – словом, одному из тех отступлений, про которые обычно говорят, не имея других объяснений, что они появляются с целью заторможения сюжета³.

3

Я привел только четыре самых крупных расхождения между обоими текстами, есть много и других, тоже значительных и весьма характерных. Частота и обилие их еще более утверждают в мысли, что Достоевский долго и напряженно работал над «Исповедью Ставрогина», в особенности над второй ее частью, придавая ей исключительное значение.

Несколько слов о 3-ей части. В Московской редакции она имеет особое заглавие: глава 9. Не говорит ли это о том, что Достоевский работал над ней отдельно от первых двух, быть может в разное время; тогда: «глава 9» есть простой знак указания на то, куда, к какой главе следует ее отнести. Любопытно, что ни одна из этих сорока поправок, непосредственно связывающих Московский текст с Петербургским, указывая в то же время ясно и определенно их хронологию, – ни одна из них не падает на часть 3-ю. Те поправки и выброски, которые в ней имеются, очевидно, исходят к какому-то неизвестному тексту, который мы и называем промежуточным. Органическая же связь, которая существует, как было уже указано, в каждом отдельном тексте между частью 3-ей и второй заставляет думать, что и 3-я часть

«Исповеди» в Московской редакции является более поздней, чем в редакции Петербургской.

В Московской редакции, как указано в примечании (см. «Документы», стр. 38) между концом 14 гранки: «по Евангелию больше преступления нет» – и началом следующей, 15: «просто-напросто вам очень не хочется» – нет согласованности. Надо думать, что здесь пропала целая гранка, которую восстановить, кажется, нетрудно. По всей вероятности, здесь следовал вариант того нового мотива, который мы имеем в продолжении разговора Тихона со Ставрогиным (Петерб. редакция, где Тихон осторожно начинает его убеждать в ненужности опубликования «Листков» начиная со слов: «он указал на Евангелие» (стр. 251, Былое, кн. 18) до слов последнего абзаца на следующей стр. 252). Дальше тексты в основном уже совпадают.

II

Теперь мы можем перейти ко 2-ой теме нашей статьи, которая и определяет ее заглавие.

Именно потому, что Достоевский так много работал над «Исповедью», придавал ей, по-видимому, чрезвычайно серьезное, б.м. даже центральное в композиции романа, значение, работая над ней тогда, когда первые две части «Бесов» были уже напечатаны и сюжет подходил уже к концу, и большинство лиц, в романе участвующих, были уже обрисованы, и, что всего характернее для Достоевского, все идеи уже высказаны, – именно поэтому вопрос о том, почему «Исповедь» не напечатана: сам ли Достоевский от нее отказался и тогда – по каким причинам, внутренним ли, органически связанным с образом ли Ставрогина, как центральным лицом в романе, или с композицией целого; или по причинам внешним: Катков отказался от этой главы, – этот

вопрос приобретает первенствующее значение.

Как бы ни была неустойчива композиция у Достоевского, как бы часто ни колебали ее эти эксцентрические его идеи и внезапные эпизоды, которые он нередко связывает самым неожиданным образом с тем или другим героем произведения, – посторонние элементы только осложняют основной рисунок, но не искажают. Перейти к целым главам в каком-нибудь произведении, нарушающих органическую цельность, мы, по крайней мере, не знаем.

Против того, что тут виноваты причины внешние – цензура Каткова, – свидетельствует как будто тот факт, что глава: «Исповедь» отсутствует не только в «Рус. Вестнике», но и в последующих прижизненных изданиях, на которые цензура Каткова, конечно, не простиралась.

Но сила этого довода не очень велика. Были переизданы «Бесы» при жизни Достоевского только один раз, в самом начале 1873 года, почти одновременно с окончанием печатания их в «Р. Вестнике» (третья часть романа, которая должна была открыться «Исповедью», прошла в последних двух книгах журнала 1872 года). Ввести такую сенсационную, в смысле сюжетном, главу (б.м., уже тогда вызывавшую много толков – пусть даже в кругу ограниченном) в отдельное издание, в то время, как в только что напечатанном ее не было, – не значило ли это: сделать эту главу еще более выпуклой, привлечь к ней особое внимание.

Ведь как понять самый-то факт: «Катков отказался печатать...» Катков, конечно, приводил доводы, и, само собою разумеется, отнюдь не эстетического порядка, не в связи с композицией целого, или с становлением образа Ставрогина, или даже с основной идеей романа. Доводы могли быть, скорее всего, в плоскости общественно-политической. Часть памфлетная «Бесов»,

злые и страстные нападки на революционную молодежь, на «интернационалку», на «женевские идеи» (особенно глава: «У наших»), явно пародийный характер Степана Верховенского (особенно зло пародируемый в первых частях романа), в котором современники могли сразу узнать Грановского, если они уж раз нашли в «Крокодиле» пародию на Чернышевского; злое, насмешливое отношение ко всей политической деятельности недавно скончавшегося Герцена, имя которого несколько раз упоминалось в романе в сочетании всегда обидном и злобном; явно обозначившаяся едкость карикатуры на некогда любимого и вскоре ставшего опять любимым Тургенева (глава: «Чужие грехи») – все это должно было вызвать бурю негодования в лагере политических противников. А глава о растлении и проч. ... даже на общем мрачном фоне «Бесов» выделяется слишком ярко. Клевета настороже. Ссора с Тургеневым, б.м., стала давать уже свои отравленные плоды. Спор может быть перенесен из плоскости принципиальной в плоскость личную, «Маркиз де Сад», и тем самым будет ослаблена, если не совсем искажена, общественно-политическая сентенция романа. – Так приблизительно должен был говорить политик Катков с политиком Достоевским, и эти доводы могли возыметь свое действие. Мы знаем, как часто вторгалось в творческо-художественную сферу Достоевского «бытийное», временно-политическое, какие заметные следы оно в ней оставляло, и было у Страхова полное основание утверждать, что для Достоевского – Достоевского-художника, не только журналиста – «произвести впечатление, возбудить мысли – или еще ярче – «не само произведение, а минута и впечатление, хотя бы не полное, было главным делом в его творчестве». Только один раз при жизни – говорили мы выше – были переизданы «Бесы», в самом начале 1873 года, почти одно-

временно с окончанием романа в «Рус. Вестнике». В течение такого короткого промежутка времени доводы Каткова, если они тогда показались Достоевскому более или менее убедительными, не могли, конечно, потерять свою силу. Тем более, что самые серьезные политические противники – «Отеч. записки» и «Дело» – о «Бесах» еще ничего не сказали (отзывы о «Бесах» см. «От. зап.», кн. I и II, и «Дело», кн. III, 1873 года).

Мы с ясностью сознаем всю ответственность наших соображений: мысль, направляемая осторожностью, не может не считаться прежде всего с тем общим представлением, что художник, чем он крупнее, тем упорнее отстаивает он художественные замыслы свои от вторжения каких бы то ни было посторонних сил и влияний. Легче поддаться соблазну, подыскать оснований более внутреннего характера, по которым Достоевский отказался от «Исповеди», но чтобы воля его художественная оставалась до конца свободной. Это усугубляет нашу обязанность рассмотреть все доводы в пользу того или другого толкования и, прежде чем перейти к решению вопроса по существу – к определению места и значения «Исповеди» в общей концепции романа и в обрисовке личности Ставрогина, – еще и еще раз вдуматься в обстоятельства побочные. Анна Григорьевна Достоевская в юбилейном изд. 1906 г. дала всю первую часть «Исповеди» и кусок второй; перед центральной частью, перед «сценой растления и проч.», – она остановилась. В то время, казалось бы, творчество Достоевского, после работ о нем Розанова, Волынского, Мережковского, Шестова, уже потеряло свою общественно-политическую остроту, и в связи с этим улеглись бывшие страсти, и самая легенда о Достоевском, как о Маркизе де Сад, если и имела какое-нибудь значение в годы 70-ые, достаточно поблекла, чтобы нанести ей последний

удар именно «Исповедью», опубликованием ее, как художественно почти законченного отрывка, в себе самом несущего свое оправдание. Не совпала ли в этом случае воля Анны Григорьевны с неким волеизъявлением самого Достоевского, ей уже, конечно, известным, – с волей автора, почему-либо особенно ревниво относившегося к «Исповеди», именно к самой теме сюжетной, имевшего на то свои основания, о которых мы можем только гадать.

И здесь следует, б.м., обратить особое внимание на тот факт – нам он кажется отнюдь не случайным, – что сюжет «Исповеди», столь упорно его преследовавший и столь полно им разработанный, больше уже никогда им не воспроизводится. Мы знаем за Достоевским такую черту: художественный опыт, раз пережитый, чем он значительнее, тем чаще повторяется в разных вариациях. Так «Сон Ставрогина» из «Исповеди» восстановлен частью в «Исповеди» Версилова, дан в пародийном плане в кошмаре Ивана Карамазова, в чётке, и разработан полнее всего, в размерах целого фантастического рассказа, в замечательном «Сне смешного человека». Основной мотив «Хозяйки» повторен, хотя и осложненный почти до неузнаваемости, в «Легенде о Великом Инквизиторе» (см. мою статью в юбилейной газете «Достоевский»). Похороны студента Покровского в «Бедных Людях» проносятся через все творчество и даются вновь, с повторением тех же деталей и в том же порядке временной последовательности, в «Братьях Карамазовых» (похороны Ильюши) (см. мою статью в февр. № В. литературы 1921 г.). Сравнить еще рассказ о Ларьке в «Неточке Незвановой» и Фома Опискин в «Селе Степанчикове», сюда же целый ряд сцен из «Бесов» (Степан Верховенский перед бегством) и т.д. и т.д. – Таких повторяющих образов, эпизодов – в целом или частями – в его

произведениях чрезвычайно много. В этом смысле Достоевский, б.м., единственный среди больших художников, который весьма откровенно обнажает свое упорное постоянство по отношению к определенной, как бы раз навсегда данной, группе образов-видений и тем; точно помимо его воли всплывают они в его художественном воображении, оседая вокруг какой-нибудь мысли или образа, играющего в данном произведении централизующую роль. И скорее он нуждался в особом усилии воли, в некоем акте раздумья, чтобы их, эти навязчивые образы пережитые, устранить, чем для того, чтобы вновь вызвать их к жизни.

Нам кажется с этой точки зрения особенно интересной глава из «Братьев Карамазовых» – «Таинственный посетитель». Ситуация целиком взята из «Исповеди Ставрогина»: снова «Великий Грешник» приходит с покаянием к Тихону Задонскому. Правда, в несколько иной психологической трактовке, но только что прозвучали мотивы «поединка» из «Бесов», при совпадении, в основном и главном, сюжетной схемы. Ставрогинское возрождение, дважды намеченное по восходящей ступени – сначала слабее в поведении его на дуэли, а потом уже ярче, в попытке раскаяния в «Исповеди», – намеченное, но до конца не обнаружившееся, – здесь, в «Таинственном посетителе», дано как реализованное в тех же фактах и в той же схеме, будучи размещено по обоим участвующим в сюжете лицам; и в этом вся разница. Воспроизведены даже некоторые детали (ср. отношение Ставрогина и Посетителя к евангельским текстам, колебание на последней тончайшей грани между актом доподлинного раскаяния и возможностью совершить новое преступление, еще более тяжкое; кража кошелька после преступления). Точно видится ясно, как витает художественное воображение Достоевского вокруг основной темы Ставрогинской

«Исповеди», суживая все более и более круги свои; уже касается ее, берет из ее окружения определенные мотивы, ее саму как бы не решается восстановить.

А между тем «таинственный посетитель» – единственный у Достоевского случай доподлинного возрождения, рассказанный не на веру, а действительно данный в плоскости эмпирической, и усилие грешника должно было соответствовать, в напряженности своей, силе его греха. Одно из двух: или тема «Исповеди» почему-либо осталась для Достоевского запретной, или «поступок Ставрогина с отроковицей, по выражению Тихона, такое великое и такое страшное преступление», которому нет прощения; человек, его совершивший, несет в себе такие неисторжимые корни изначального зла, что неспособен он, как бы ни нудился, на истинное раскаяние. Оттого грех «таинственного посетителя» должен был быть другой.

Ко второму предположению мы потом еще вернемся. Допуская пока первое, как более вероятное, т.к., согласно религиозным взглядам Достоевского, кажется, нет такого греха, которому не может быть прощения, как и нет абсолютно безнадежного грешника, – не должны ли мы в этом усмотреть пусть отдаленное, но все же некое подтверждение тому, что «Исповеди Ставрогина» помешали появиться в свет в свое время и в своем месте именно причины внешние, которые действовали, однако, весьма длительно⁴.

2

Мы обращаемся к установленному тексту «Бесов» и там находим множество следов «Исповеди», определенные и точные указания на нее, рассеянные по всему роману, вплоть до последних глав третьей части. Почему Достоевский не исправил, не снял этих указаний хотя бы во втором отдельном издании, если к моменту печатания

3-й части замысел действительно вдруг изменился и «Исповедь» отпала по причинам органическим? Ставрогин сидит на диване и «как бы упорно и любопытно всматривается в какой-то поразивший его предмет в углу комнаты, хотя там ничего не было ни нового, ни особенного» (изд. Провс., т. 12, стр. 318). Это явное указание на преследующего его беса, о котором мы узнаем только в «Исповеди». В конце первой главы второй части, главы «Ночь», одной из самых значительных в романе, в котором личность Ставрогина впервые ставится в высшем ее аспекте, – как одно из центральных мест романа, как финал, ее завершающий, воспринимаются слова Шатова и ответ Ставрогина. «Слушайте, – говорит Шатов, – сходите к Тихону... живет на покое, здесь в городе, в нашем Ефимовском Богородском монастыре. – Благодарю вас, *схожу*», – отвечает Ставрогин (там же, стр. 356). Согласие Ставрогина особенно запоминается, как мотив впервые прозвучавший, которому предстоит дальнейшее развитие в ходе действия романа. В той же главе, в предшествующей части, происходит одна из глубочайших по смыслу бесед Ставрогина с Кирилловым; тон выдержан трагически серьезный – открывается лик сатанинский Ставрогина, отраженный в идее Кирилловского своеволия. «Я, конечно, понимаю застрелиться, – говорит Ставрогин, – я иногда сам представлял, и тут всегда какая-то новая мысль: если бы сделать злодейство или, главное, *стыд, то есть позор*, только очень подлый и... смешной, так что запомнят люди на тысячу лет... и вдруг мысль: один удар в висок и ничего не будет» (там же, стр. 326). Только в «Исповеди» его злодейство, растление, так квалифицируется, как стыд, позор очень подлый и... смешной. Через несколько страниц Ставрогин точно конкретизирует свои слова: «а кто обидит и обесчестит девочку». Мысль о

девочке его неустанно преследует, это его галлюцинация, от которой он не может, да и не хочет, отделаться, – это мы узнаем опять же из «Исповеди». В ту же многотрудную ночь Шатов мучает Ставрогина такими жестокими вопросами:

Правда ли, что вы принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу? Правда ли, что Маркиз де Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей? – «Я эти слова говорил, но детей *не я обижал*, – произнес Ставрогин, но только после слишком долгого молчания. Он побледнел, и глаза его вспыхнули» (там же, стр. 352). Употреблены все средства, чтобы это место выделить, привлечь к нему особое внимание. Здесь как бы все полно таинственными и очень значительными намеками: и самый ответ – детей не я обижал – вместо ожидаемого: детей я не обижал, и то, что отвечает он «после *слишком долгого молчания*», и выражение его лица: «побледнел, и глаза его вспыхнули». Кто знает творческую манеру Достоевского, тот не удивится, что все эти указания на преступление сосредоточены в главе «Ночь»: так у него всегда замысел концентрируется в двух-трех, во всяком случае, в очень немногих господствующих моментах, наиболее тесно связанных между собою, которые и являются основными узлами, откуда исходят нити к остальным пунктам романа. В «Ночи» мы имеем первое раскрытие лика Ставрогина; в «Исповеди» – последнее. Они друг друга обусловливают, в них преимущественно и дано становление личности Ставрогина в одном и том же метафизическом плане.

То же и со стороны сюжетной – весь Петербургский период, играющий такую исключительную роль в композиции романа, поскольку в этом периоде завязка всех развертывающихся в нем событий, в той части по крайней

мере, в какой они комбинируются вокруг личности Ставрогина: он становится ясным опять же только из «Исповеди». Рассказ о нем Петра Верховенского в намеренно суженной перспективе только одного момента, брака с Лебядиной, – скользкий, дурной своей низкой полуправдой, согласно контрастирующему принципу Достоевского, потому и нужен и возможен в романе, что ему должна противостоять другая передача, до конца правдивая во всей своей суровой искренности.

И еще одно восхождение к «Исповеди», уже в третьей части «Бесов», у самой развязки, в главе: «Законченный роман», тоже в страшную ночь пожара и убийства Лебядиной, симметрично соответствующей второй главе из второй части: «Продолжение ночи», где Федька, каторжник, предлагает Ставрогину свои услуги и Ставрогин высыпает ему кредитки, как бы в задаток: в ту ночь преступление, связанное с вождением его к Лизе, впервые выступило из темных недр, едва рожденное в ясном сознании, а в эту ночь оно свершилось после того, как вождение закончилось внутренней катастрофой и для него, и для Лизы. – Здесь образ Ставрогина уже дорисован, остался один только момент: «письмо» к Даше и самоубийство; мотив «Исповеди» звучит в последний раз уже безнадежно трагически, точно для того, чтобы здесь напомнить нам ту первопричину, которая заранее и фатально предопределила разражающиеся сейчас катастрофы. Вводится в цепь главных моментов романа еще и эта ночь: три ночи наиболее тесно связаны между собою, и им противостоит ясный, солнечный день «Исповеди», в которой Ставрогин был так близок к доподлинному акту переживания истинного религиозного чувства. Ставрогин говорит Лизе: «Если бы только знала цену моей теперешней невозможной искренности, если б я только мог открыть тебе... – Открыть? Вы хотите

мне что-то открыть? – прервала она почти с испугом. Он остановился и ждал с беспокойством. – Я вам должна признаться, у меня тогда еще в самой Швейцарии укрепилась мысль, что у вас что-то есть на душе ужасное, грязное и кровавое и... в то же время такое, что ставит вас в ужасно смешном виде. – Мучь меня, казни меня, срывай на мне злобу, – вскричал он в отчаянии».

Мы еще раз повторяем, это ясное указание на сюжет «Исповеди» дано уже в самом конце романа, когда замысел уже не мог меняться, образ Ставрогина дорисован до конца. Одно-два указания можно бы еще объяснить своеобразной памятью Достоевского, механически расстроенной, или его небрежностью; но если этот образ преступления, «стыдного, позорного и, главное, смешного», повторяется так упорно, если основные узлы романа ведут к определенному сосредоточию, а сосредоточие это отсутствует, то это уже такой органический изъян, который должен быть восстановлен.

3

Выше мы говорили, что в композициях Достоевского центральная идея и центральный герой, ее воплощающий, играют главную формирующую роль. Возникает вопрос наиболее серьезный: не противоречит ли «Исповедь» основной религиозной идее, символизируемой Ставрогиным, и тем самым не нарушает ли она правильности и сюжетной схемы? Пусть все эти указания, это множество линий, ведущих в плане романа к одному сосредоточию, к «Исповеди», останутся необъяснимой тайной или даже художественной несообразностью, но если Ставрогин, как его обычно себе представляют, в самом деле является лишь «мертвой маской, тающей под собою безразличие добра и зла», то как он может вдруг пережить акт живой религиозной воли,

каким воспринимается его раскаяние, хотя бы оно и совершилось в той уродливой форме, в какой оно дано в «Исповеди»? И дальше: если Достоевский уже наделил его этой способностью к покаянию, придвинув его так близко к церкви и ко Христу, то как мирится с этим его позорная смерть: «Гражданин Кантона Ури висел тут же за дверцей...»? (Для Комаровича это противоречие неустранимое, и оно-то главным образом и побуждает его к допущению, что Достоевский сам отказался от «Исповеди» по причинам внутренним. См. Былое, кн. 18.)

Анализ личности Ставрогина мы дадим ниже. Отметим здесь прежде всего эту деталь – самую форму самоубийства; она может быть художественно оправдана только в связи с «Исповедью»: суровое возмездие за «преступление с отроковицей» сказывается в одинаковости орудия смерти и обстановки – тоже чуланчик и петля и для насильника. Оттого, быть может, и звучит так упорно в романе мотив злодейства, что финалом его является этот акт сурового возмездия.

Но почему все-таки гибель, а не возрождение, раз перед нами совершен акт живой религиозной воли? Здесь мы должны подчеркнуть общий фон романа, как исключительно суровый даже для трагических концепций Достоевского. Мы не знаем тому причин, почему именно в эту пору мир воспринимался Достоевским в таком безнадежно-трагическом аспекте. Гибнет Шатов в тот самый момент, когда обрел, наконец, столь чаемую веру в тайне рождения нового существа, не от него зачатого, и в радости великой всезахватывающей любви к этому существу и к обидчице-матери его. Гибнет Хромоножка, единственное лицо у Достоевского, которому дано без всяких усилий, без нужения, постичь тайну новой ипостаси: «Богородица что есть, как мнишь? – Мать сыра земля...» Гибнет и Лиза, задетая лишь косвенно

самым отдаленным краем Ставругинского зла. Гибнет – именно в конце своего жизненного пути, уже очищенный, просветленный, познавший истину апокалипсического пророчества: «И Ангелу Лаодикийской церкви...» – Степан Верховенский. Гибнет, наконец, и Кириллов, так близко подошедший ко Христу: отдаленный тончайшей гранью, лик человекобога уже начинает сливаться с ликом Богочеловека. И над всем и всеми торжествует одна Ставругинская обезьяна, «ложный ум» и «бездарность», всего лишь «мелкий бес с насморком и с флюсом», – Петр Верховенский. Не возводится ли тем самым Ставругин в высшую категорию, что место его среди избранных, погибающих?

В отрывках «Из записных книжек» (опубликованных в сборнике: «Творчество Достоевского» под ред. Гросмана) трижды варьируется мотив самоубийства Ставругина в органической близости с темой «Ночи» – разговора с Шатовым, и с темой «Исповеди». Эти три кульминационных пункта соединены в единой цепи внутренней друг от друга зависимости. Мысли, высказываемые Ставругиным Тихону, сливаются с мыслями, которые он высказывает Шатову. В одном месте даже самая «Исповедь» преподносится не Тихону, а Шатову. И здесь вполне ясно, что Достоевскому определенно мыслилась такая концепция: отчаяние и смерть – несмотря на доподлинную веру, переживаемую Ставругиным. «Князь (т.е. Ставругин) ищет подвига, дела действительного, заявления русской силы о себе миру. Идея его – православие настоящее, деятельное... Вообще иметь в виду, что князь обворожителен, как демон, и ужасные страсти борются с... подвигом. При этом неверие и мука. Рост веры. Подвиг осиливает. Вера берет верх, но и бесы веруют и трепещут. «Поздно», – говорит князь и бежит в Ури, а потом повесился» (стр. 16).

Мотив этот развернут еще подробнее в отрывке, воспроизведенном в юбилейном издании, который гласит так: «Последний образ князя» (11-го марта): «Князь приехал, уже все разрешив, все сомнения. Он – новый человек... Мирится с обиженными, сносит пощечину, вступается за кошунство, отыскивает убийцу и, наконец, торжественно объявляет воспитаннице, что любит ее, объявляет условия. Они состоят в том, что отныне он русский человек и что надо верить даже в то, что... (Россия и русская мысль спасет человечество). Он молится иконам и проч. ... Он все время в городе – отличается самой дикой энергией нового убеждения и дивит свою мать... И потом вдруг застреливается». Здесь не только одна тень раскаяния, да еще в такой уродливой форме, в какой оно дано в «Исповеди», так что, может быть, истинного раскаяния, доподлинного акта живой религиозной воли, вовсе и не было – здесь длительное и весьма активное пребывание на новом пути; «подвиг» не только «осиливает», но уже «осилил»... и все же: «вдруг застреливается»...

Но мы, действительно, скажем, что никакого акта раскаяния в «Исповеди», по крайней мере, Московской редакции, и нет.

4

В отрывках из «Записной книжки» (напечатанных в сборнике «Творчество»), на которые мы уже раз указали, основные мотивы «Исповеди» разбросаны по разным кускам, формулированы сжато, в виде программных тезисов. Там все время идет колебание по отношению к главному пункту: верит или не верит Ставругин. Но в последнем отрывке, его характеризующем, представляющем собою как бы сводку основных его черт и, вместе с тем, детально разработанный конспект

центральной части «Исповеди», поскольку она освещает петербургский период жизни Ставрогина, мы имеем, наконец, решение уже определенное. Оно-то и есть, по-видимому, движущий мотив всей «Исповеди», создавший ее двойственный тон и в то же время наиболее соответствующий всему облику Ставрогина.

Еще более. Нам думается, что мотив этот и бросает настоящий свет на загадочный лик Ставрогина, ярче вскрывая основной замысел Достоевского, ту основную идею его, которую мы разгадываем в романе. Верит ли князь? Да, верит: «это как и иные грешники (говорят, что и бесы) могут уверовать и, стало быть, понимать и ясно видеть, во что они уверовали». Так снимается трагедия Ставрогинская определенно и четко с плоскости интеллектуальной – «он понимает и ясно видит» – и переносится в плоскость психологическую, сводится к вопросу: насколько верует? «Князь исповедует Шатову свою подлость с ребенком (изнасиловал). Написал исповедь, хочет напечатать... Говорит, что хочет, чтобы ему плевали в лицо... Князь понимает, что его мог бы спасти энтузиазм (напр., монашество, самопожертвование исповедью), но для энтузиазма недостает *нравственного чувства* (частью от неверия). *Ангелу Сардийской церкви напиши. Частью от буйных телесных инстинктов. Из горькой иронии на несовладание с самим собою он женился. Из страсти к мучительству изнасиловал ребенка. Страсть к угрызениям совести...* Тоска. Но главное все-таки безверие. Ужас к самому себе; напр., от сознания наслаждения в страдании других. Князь говорит Тихону прямо, что иногда он глубоко «страждет укорами совести, иногда эти укоры обращаются в наслаждение». «Безверие» – дважды здесь употребленное – означает не отсутствие веры, а недостаток, неполноту ее. Из дальнейшего это совершенно ясно. Послед-

ний вывод в форме категорической таков: «Князь совершенно верует и в Антихриста, и в спасение православием». Но так как он по совести *недостаточно*⁵ верует, то и говорит формулу: коли недостаточно верую – значит ничему не верую...» («Творчество», стр. 18–19).

Согласно вот этой психологической схеме и построена «Исповедь». Тихон все время сомневается: смирение ли привело Ставрогина к нему и к самой исповеди, т.е. действительно ли Ставрогин одержим энтузиазмом, жаждой стать «последним, чтоб ему плевали в лицо», или здесь высшее презрение к людям, гордость безмерная до конца утверждающегося своеволия: «нарочно расскажу им про это позорное и, главное, смешное злодейство, чтобы потом плевались тысячу лет». По прочтении «Листков», Тихон так и говорит Ставрогину: «Мысль эта – великая мысль, и полнее не может выразиться христианская мысль. Дальше подобного удивительного подвига... идти покаяние не может, если бы только... – Если бы что? – спрашивает Ставрогин. – Если б это действительно было покаяние и действительно христианская мысль». И через несколько строк дальше: «Вы как бы уже ненавидите и презираете всех тех, которые прочтут здесь описанное... Не стыдитесь признаться в преступлении, зачем стыдитесь вы покаяния? – Стыжусь? – И стыдитесь и боитесь! – Боюсь? – Смертельно!»⁶ Анализируя дальше мотивы, приведшие Ставрогина к исповеди, Тихон чувствует, что здесь большую роль играет злоба и желание вызвать ответную злобу со стороны людей и их ненависть. Ставрогин это подтверждает. На вопрос Тихона: «А скоро вы надеетесь исполнить сие намерение?» – Ставрогин отвечает: «Сегодня, завтра, послезавтра, почему я знаю. Только очень скоро. Вы правы: я думаю, именно так придется, что оглашу внезапно и именно в какую-нибудь *мстительную ненавистную* минуту, когда всего больше буду их *ненавидеть*»⁷.

Но это только одна сторона Ставрогина, одна часть формулы: «булавки под ногтями у ребенка или Христос». Не безразличие характеризует Ставрогина, а одинаковость тяготения к добру и злу, одновременность пребывания в обеих сферах: «Бог с дьяволом борется, и поле битвы – сердца людей». «Я хочу простить сам себе, и вот моя главная цель, вся моя цель! – сказал вдруг Ставрогин с мрачным восторгом в глазах. – Я знаю, что только тогда исчезнет видение. Вот почему я и ищу страдания безмерного, сам ищу его. Не пугайте же меня, не то погибну во злобе»⁸. Тихон, действительно, почувствовал в этих словах какие-то проблески раскаяния, и великое страдание за содеянный грех, и жажду искупления. Никогда Ставрогин не был так близок к благодати, как в эту минуту. – «Если веруете, что можете простить сами себе и сего прощения себе в сем мире страданием достигнуть, если такую цель себе поставляете с верой, то вы уже во все веруете! – восторженно воскликнул Тихон». И через несколько строк дальше: «Вам за неверие Бог простит, ибо Духа Святого чтите, не зная его...» Но светил луч только одно мгновение; победа остается за дьяволом. «Кстати, Христос простит, – скривив улыбку и быстро изменив тон, спросил Ставрогин, и в тоне вопроса послышался легкий оттенок иронии». За иронией – изломанный смех (он «изломанно усмехнулся» после длинной тирады) и потом уже чувство безгласности («безгласно прервал») в ответ на предложение Тихона пойти к старцу «в послушание, под начало его лет на пять, на семь». И вот Тихон ясно видит, как бес снова овладевает Ставрогиным, «судорога... как бы от величайшего испуга проходит мгновенно по лицу его». «Я вижу... я вижу, как на яву, – воскликнул Тихон проницающим в душу голосом, – что никогда вы, бедный, погибший юноша, не стояли так близко к новому и еще сильнейшему преступлению, как в сию минуту... Не после обна-

рождения, а еще до того, за день, за час... броситесь в новое преступление... и совершите его единственно, чтобы только избежать сего обнарождения листков». «Ставрогин даже задрожал от гнева и почти от испуга. «Проклятый психолог!» – оборвал он вдруг в бешенстве и, не оглядываясь, вышел из кельи»⁹.

Так кончается «Исповедь», на этом ясновидении Тихона. Так подготовлены мы к страшным катастрофам третьей части: к убийству Лебядкиных и к мученической смерти Лизы; вина за эти смерти целиком ведь падает на Ставрогина, и это он сам сознает.

«Подвиг» не осилил, доподлинного акта живой религиозной воли, раскаяния, Ставрогин не пережил. В лучшем случае был только «рост веры», кульминационный пункт этого роста, выразившийся в одной лишь попытке «самопожертвования исповедью», которая, однако, оказалась неудачной; была последняя и окончательная битва между «верой в Антихриста и верой в православие», в результате которой подтвердилась вся правда его «формулы»: «если недостаточно верую – значит ничему не верую».

5

Нам нужно теперь сосредоточить все свое внимание на образе Ставрогина и на той роли, которую он играет в композиции романа, дабы ответить на самый главный вопрос, который должен быть поставлен в связи с «Исповедью»: не потому ли, что ее нет в каноническом тексте, личность Ставрогина кажется нам столь неясной и загадочной и определенно чувствуется, что в развитии романа выпущены какие-то необходимые звенья? Достоевский рисует Ставрогина способом особым, нигде, кажется, больше в такой исключительности у него не встречающимся; Ставрогин дан опосредованно, не в собственном становлении духа, а в его

«эманациях», главным образом в отражениях его на других, – в тех, которые, сформировавшись когда-то под его влиянием, теперь действуют как будто самостоятельно, на самом же деле осуществляют его волю, его идеи, целиком покорившие их волю и сознание. Ближе всех сплетены с ним четыре лица: Шатов, Кириллов, Петр Верховенский и Хромоножка. Первые три – односторонние отражения его духа, последняя – как высший идеал цельности и доподлинного знания высшей правды. Процесс его внутренней борьбы и степени его достижений символизируются его отношением к ней.

В замысле «Бесов» играло роль, быть может, желание Достоевского дать и свой ответ на тему Тургеневских «Отцов и детей» – сходство линий в обеих художественных концепциях достаточно ясно. Однако, как ни тесно переплетены здесь оба поколения, мотив борьбы между ними ослаблен, и старшее поколение берется скорее как фон для драматических действий, в которых главную роль играют преимущественно дети. Композиция первой части такова: вся первая глава – почти четверть всей первой части романа – посвящена целиком биографии Степана Верховенского и матери Ставрогина. Пять подразделений второй главы – биографии Ставрогина, начиная с его детства и кончая загадочным петербургским периодом, – все это в строгом описательно-повествовательном стиле. Так, целую треть всей первой части Достоевский сам называет прологом: «отсюда», с шестого подразделения второй главы, – «по-настоящему и начинается моя хроника». Но, в сущности, ту же роль пролога, по крайней мере, поскольку речь идет о Ставрогине, играют и вторые две главы; вместе с предшествующими главами они несут на себе всю тяжесть сюжетную – это основная их задача – дают возможность Достоевскому набросать в общих чертах эти вспомога-

тельные образы – Шатова, Кириллова и Хромоножки.

Нити сюжетные плетутся вокруг личности Ставрогина, к нему тянутся, как к узловому центру. До момента его вторичного появления в главе: «Премудрый змий», когда собственно и начинается настоящая драма, его образ дан дважды в двух контрастирующих друг другу аспектах; они и определяют характер дальнейшего развертывания образа по тому же способу контраста, во всех трех, обычных для Достоевского, плоскостях: в общественно-бытовой, индивидуально-психологической и идейно-метафизической.

С людьми 40-х годов находясь в борьбе, Достоевский в то же время чувствует органическую связь с ними. В истории для него нет прорывов: за видимой пестротой неустанных конфликтов он улавливает единство вечно становящегося духа. В плоскости эмпирической он позитивист и со злорадством подчеркивает причинную зависимость, наследственную преемственность от старика Верховенского к сыну, но это внешняя линия развития – дань времени, ответ на злобу дня, по упрощенной Тургеневской схеме. Но в глубине, за планом передним, воспринимается другой, доподлинно исторический, и линия иная идет от воспитателя к воспитаннику, к Ставрогину. Про нее говорится так: «Степан Тимофеевич сумел дотронуться в сердце своего друга до глубочайших струн и вызвать в нем первое еще не определенное ощущение той вековой священной тоски, которую иная избранная душа, раз вкусив и познав, уже не променяет потом никогда на дешевое удовлетворение».

Несколькими страницами позже, после передачи глухих слухов о петербургском периоде Ставрогина, в первое эпизодическое его появление в городе дан его физический портрет, на который обыкновенно и ссылаются исследователи, когда рисуют его в образе

«мертвой маски, таящей под собою безразличие добра и зла».

«Волосы его были что-то уж очень черны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел... зубы как жемчужины, губы как коралловые, – казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто отвратителен. Говорили, что лицо его напминает маску». Маске соответствует автоматизм поступков (скандальная история в клубе с Гагановским носом и потом с откушенным губернаторским ухом), которому дается реалистическое объяснение: Ставрогин заболевает белой горячкой. Но через несколько страниц дальше (напр., в эпизоде с Липутиным) Достоевский определенно дает понять, что объяснение это по крайней мере недостаточно, и тем самым внешний облик маски и автоматизм поступков Ставрогина приобретают уже значение символическое.

В плоскости психологической, через призму которой Достоевский обычно и преломляет свою метафизику, этой мертвенной неподвижности лица-маски могло бы соответствовать либо изначальное отсутствие духовной силы – перед нами была бы неодожденная косность, либо полная ее истощенность – идея, некогда формировавшая материю, погасла, и лик превратился в личину; либо это сила, внутри скованная, которая ждет некоего потрясения, чтобы выйти из состояния дурного равновесия и раскрыться.

Состояние маски закончилось кризисом духовным и физическим, и мы видим Ставрогина в момент второго его появления уже после заграницы, где с ним произошел некий переворот. После таинственного петербургского периода это второй крепкий узел, связывающий «Исповедь» с концепцией всего романа; только в «Исповеди» раскрывается тайна и глубочайший смысл этого переворота и дается ему психологическое и мистическо-метафизическое обоснование. Здесь Достоевский снова рисует Ставрогинский

портрет, внешне подчеркнуто тождественный с первым, внутренне же глубоко контрастирующий. Летописец «Бесов» утверждает, что он точно запомнил его лицо четыре года тому назад. Теперь «он был все тот же: так же изящен, та же улыбка... тот же взгляд...» и т.д. и т.д. «Одним словом, казалось, мы вчера только и расстались. Но одно поразило меня: прежде хоть и считали его красавцем, но лицо его действительно походило на маску... Теперь же, теперь же... он показался мне действительно неоспоримым красавцем, так что уже никак нельзя было сказать, что лицо его походит на маску». Был он после петербургского периода у порога духовной смерти – вместе с духом померкла и воля, и действия стали автоматичны. Но теперь нарушено дурное равновесие, кончилось состояние скованности, и вновь началось восхождение. «Может быть, – продолжает летописец, – какая-нибудь новая мысль светилась теперь в его взгляде».

Второй Ставрогинский портрет дан в главе: «Премудрый змий», к которой непосредственно примыкает, в ходе развития сюжета, глава предшествующая: «Хромоножка». Здесь ясно сквозит формирующая роль идеи и воплощающего ее героя в композиции романа. В третьей главе: «Чужие грехи», даны двое из четырех, наиболее тесно сплетенных с Ставрогиным, как эманации его духа, Кириллов и Шатов; даны пока в плоскости только психологической, – глава же четвертая: «Хромоножка», поднята еще на большую высоту, поскольку весь творческий пафос Достоевского сосредоточен на личности Лебядкиной, точнее, на той мистической сущности его новых религиозных откровений, которая в ней находит наиболее полное свое воплощение.

В «Плане Жития Великого Грешника» есть указание на такой символический прием: каждый раз, вместо: «он раскаивается», – «он пошел к Хро-

моножке». Новая мысль, осветившая лицо Ставрогина и сделавшая его таким прекрасным, сама по себе не дана, но она воспринимается именно согласно этому приему в сцене встречи Ставрогина со всеми главными действующими лицами романа, собравшимися в доме его матери, в том числе с Хромоножкой. Она одна им всем противостоит, как начало противоположное, как существо, которому дано постижение мистической тайны жизни.

Бросаются косвенно новые лучи на весь петербургский период. Если он до сих пор, в предшествующих двух главах: «Принц Гарри» и «Чужие грехи», воспринимался только с точки зрения «булавок под ногтями у ребенка», то «Хромоножка» намекает на такие прозрения Ставрогина, по которым «буйство инстинктов» уже не может быть отвергнуто целиком, как проявление исключительно греховности; обожение матери сырой земли какой-то стороной их оправдывает. И, как это часто бывает у Достоевского, раскрывающаяся нам во мгновенных проблесках высшая правда делает толстый покров эмпирии, под которым она обычно прячется, до того зыбким, что мы легко начинаем видеть сквозь него иную – не внешнюю, а внутреннюю органическую связь явлений; – так и здесь волнениям и страстям людей, пребывающих в суете, противостоят Ставрогин и Хромоножка, связанные между собою нитями иного, высшего порядка.

Мы придаем в становлении идейной стороны романа, для Достоевского самой существенной, главе: «Хромоножка» особое значение. С главой первой второй части – с «Ночью», и с «Исповедью» должна быть поставлена она в близкую связь.

6

Платя дань эпохе, Достоевский, как известно, почти каждый раз, когда ему приходится говорить о видениях

мистического порядка, прибегает к психопатологии. Так хитро он обычно узаконяет борьбу свою с «Эвклидовским разумом». В плане эстетического воздействия здесь, очевидно, преследовалась определенная цель: его образы и воплощаемые ими идеи становились если не приемлемыми, то, по крайней мере, понятными и для позитивистически настроенных его современников. На фоне этой психопатологии расковывалась его творческая интуиция, и он после таких трезвых объяснений мог дальше рисовать свои образы так, как ему хотелось. Хромоножка не только лишена рассудка, но и обычные восприятия наши для нее как бы чужды, во всяком случае, чрезвычайно зыбки и протекают по каким-то другим нормам. Едва ли это не черта, в известной степени, автобиографическая: «у ней какие-то припадки нервные, чуть не ежедневные, и ей память отбивают, так что она после них все забывает, что сейчас было, и всегда время перепутывает». Шатов говорит спутнику своему: «Вы думаете, она помнит, как мы вошли; может, и помнит, но уж наверно переделала все по-своему и нас принимает теперь за каких-нибудь иных, чем мы есть, хоть и помнит, что я Шатушка» (т. 12, изд. Просв., стр. 195). Так противопоставлены в ней мир имманентный и мир, если можно так выразиться, внутренне-трансцендентный, для нее единственный конкретно-реальный, причем первый совершенно подчинен второму, воспринимается, как мир малозначущий и случайный. Шатов продолжает: «Это ничего, что я громко говорю; тех, которые с нею говорят, она тотчас же перестает слушать и тотчас же бросается мечтать про себя. Мечтательница чрезвычайная; по восьми часов, по целому дню сидит на месте. Вот булка лежит, она ее, может, с утра только раз закусил, а докончит завтра. Вот в карты теперь гадать начала. – Гадаю-то я, гадаю, Шатушка, да не то как-то выходит, –

подхватила вдруг Марья Тимофеевна, расслышав последнее слово, и, не глядя, протянула левую руку к булке (тоже, вероятно, расслышав и про булку). Булочку она, наконец, захватила, но, продержав несколько времени в левой руке... положила, не примечая, опять на стол, не откусив ни разу».

В религиозно-метафизической концепции Достоевского Земля, как обоженная природа, играет центральную роль. Не всегда приуроченная к образу Богородицы, она появляется в целом ряде его произведений в самые высшие моменты религиозных переживаний его героев. Раскольников, в момент своего покаяния на площади перед всем народом, должен целовать землю. Алеша Карамазов в экстазе религиозном, когда преодолены были сомнения в связи с тем, что ожидаемое чудо над телом умершего старца не свершилось, целует землю. Религиозное превращение у брата Зосимы начинается соучастием в радости, великой и светлой, со всею тварью земной, поющей молитву Господню восходящему солнцу. У Хромоножки обоженная природа конкретизируется уже определенно в символ Богоматери, и не только как любящего сердца человечества и вселенной, но и как души вселенной, как именно того материального начала, «через которое все человечество и тварь рождается и одухотворяется в Боге». «Богородица, что есть, как мнишь? – Великая мать, упование рода человеческого». Так, говорит, «Богородица – великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная, и всякая слеза земная – радость нам есть; а как напоишь слезами своими под собою землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей больше не будет, таково, говорит, есть пророчество». Так старца объяснила Хромоножке ее же слова: «а по-моему, Бог и природа есть

все одно». А дальше описывается типическими чертами опыт религиозного экстаза, в котором теряются грани индивидуации, и снова подчеркивается интуитивное постижение связи своей с мировой душой, ощущаемой именно тогда, когда рассудочные категории наши бездействуют. «Запало мне тогда это слово, – продолжает Хромоножка, – старицы-то о Богородице, стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу... Уйду я, бывало, на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой – наша острая гора, так и зовут ее горой Острою. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращаюсь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное... Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы далеко по озеру, как стрела, бежит, узкая, длинная-длинная и на версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров как есть пополам его перережет, и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет и все вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать, тут вдруг и память придет, боюсь сумраку, Шатушка» (т. 12, стр. 198–199¹⁰).

«Хромоножкой» названа четвертая глава первой части, несмотря на то, что вся сюжетная тяжесть этой главы падает совсем не на нее. И это у Достоевского отнюдь не случайность – в этом смысле заглавие почти никогда у него не совпадает ни с центральным сюжетным событием, ни с лицом, играющим главную роль в данном сцеплении событий. Заглавия точно обозначают какие-то вехи иного, не сюжетного порядка, определенно указывая на другие факторы, играющие главную композиционную роль в романе.

Видится ясно такая последовательность в творческом замысле: сначала идеи религиозно-метафизического, общественного или исторического порядка, рядом с ними герои, эти идеи воплощающие или их реализующие, а потом уже, к ним приспособляясь, разворачивается сложный сюжет. Так строится произведение как бы в трех параллельных плоскостях, и далеко не всегда они в строгом соответствии; отсюда и те «внезапные идеи» и «эксцентрические события», о которых говорил еще Михайловский. Взаимоотношение идей, между собою родственных или враждебных, группирующихся вокруг одной центральной, ее пополняющих или детализирующих, – определяет собою взаимоотношение главных действующих лиц, тем самым и сюжетную схему, точнее говоря, порядок последовательности в размещении материала по частям и главам.

7

«Премудрый змий» следует за главой: «Хромоножка». Новый Ставрогин, «действительно красавец» – ибо лицо его осветилось новой мыслью, – воспринимается таковым – говорили мы – в сцене его встречи с Хромоножкой.

Ставрогин один из тех, которые не продумывают мысль, а чувствуют мысль. В разговоре с Кирилловым, с которым он до конца откровенен, Ставрогин так и говорит: «почувствовала» новая мысль», и Кириллов подхватывает это слово: «мысль почувствовали? – Это хорошо». Светилась в его взгляде новая мысль, сейчас же проявившаяся. «Он окинул взглядом всю комнату и по-прежнему не спеша», минув всех, ни с кем, кроме матери, не поздоровавшись, «направился прямо к Марье Тимофеевне» – к Хромоножке. Почувствовавшаяся новая мысль не погасила старых: борьба между «булавками под ногтями у ребенка» и Христом вступает в новую фазу, победа

временно клонится в сторону Христа. Вот что переживает она по мере его приближения: «Марья Тимофеевна, вся замирая от испуга, поднялась к нему навстречу и сложила, как бы умоляя его, – пред собою руки; и вместе с тем вспоминается, – пишет летописец, – и восторг, почти исказивший ее черты, – восторг, который трудно людьми выносятся. Может, было и то, и другое – и испуг, и восторг...

– Вам нельзя быть здесь, – проговорил ей Николай Всеволодович ласковым, мелодическим голосом, и в глазах его засветилась необыкновенная нежность. Он стоял перед нею в самой почтительной позе, и в каждом движении его сказывалось самое искреннее уважение... Стремительным полупешепотом, задыхаясь, пролепетала ему:

– А мне можно... сейчас... стать перед вами на колени?

– Нет, этого никак нельзя, – великолепно улыбнулся он ей, так что и она вдруг радостно усмехнулась...» (стр. 251–52).

Победила в это мгновение радость и любовь. Богородица – мать сыра земля; испуг исчез, остался только восторг. Не случайно, что только здесь, в сцене с Хромоножкой, был голос ласков и мелодичен, и в глазах светилась необыкновенная нежность, и в каждом движении было самое искреннее уважение. Со всеми другими мучение и мучительство, сугубо личная жалость, трагедия падения.

Но ущербность Ставрогинского духа, его органическая неспособность проникнуться одним началом до конца, сказывается и здесь, в самом моменте его подъема. Характерно расположение группы. Шатов помещен от всех в отдалении. Никем не замечаемый, он наблюдает и прислушивается. Юлит около Ставрогина его обезьяна, ложный ум, воплощение низкой полуправды – Петр Верховенский; Ставрогин не пережил настоящего энтузиазма, не оказался на его уровне.

– Подумайте о том, что вы девушка, а я хоть и самый преданный друг ваш, но все же вам посторонний человек, не муж, не отец, не жених.

Здесь все правда и в то же время ложь, – в соответствии с характером следующего сейчас же за этим рассказа Петра Верховенского обо всем петерб. периоде, в частности об истории его с Хромоножкой. Эта полуправда-полужошь была сказана «тем же мелодическим голосом» и с той же нежностью. «Она выслушала и как бы в раздумии склонила голову. – Пойдемте, – сказала она, вздохнув и подавая ему руку». Во второй главе второй части мы узнаем, что по дороге с нею в карете Ставрогин окончательно решил объявить о своем браке. В борьбе «ужасных страстей с... подвигом» подвиг все же как будто усиливает. Вернувшись, «он был весел и спокоен». «Может, – намекает автор, – что-нибудь случилось сейчас очень хорошее, еще нам неизвестное... Он, казалось, был даже чем-то особенно доволен» (т. 12, стр. 268).

8

Ставрогин введен в самый центр событий, которые к концу первой части успели уже до того развернуться, что стало необходимым раскрыть основную идею, их осмысливающую, подняться в плоскость борьбы чистых идей. Мы подходим к теме, объединяющей обе первые главы второй части, в которых сокровенная сущность Ставрогина дана в самом высшем ее аспекте. Прием объективации, впервые примененный в «Двойнике», в «Братьях Карамазовых», проявляющийся с особой силой в Ивановском «Черте» и «Легенде о Великом Инквизиторе», – он здесь дан в этих двух контрастирующих друг другу идеях, носителями которых являются Кириллов и Шагов: в идее о человекобоге и Богочеловеке. Каждый из них проделывает один из путей Ставрогина до конца, легко не-

сет свое бремя, «потому что от природы». В этом смысле они и последовательнее и счастливее его, но прежде всего сильнее.

Трижды рисует Достоевский, как-то особенно углубленно, человеческую мечту устроиться на земле без Бога и трижды вскрывает в ней ее религиозные глубины, наделяя ее чаемыми для страждущего сердца атрибутами Божества: атрибуты как бы сняты с лика Богочеловека и переданы некоему, еще не ясно представимому, воплостителю идеалов человеческих, которого Кириллов и называет человекобогом. Простирается одинаково бесконечная линия в бесконечно далекое прошлое человечества во «Сне смешного человека» – и в бесконечно далекое будущее во сне Версилова; исходной же точкой, откуда проецирование начинается, является безумная мечта Кириллова, внушенная ему Ставрогиным. И это тоже возводит нас к «Исповеди», где этот золотой сон о золотом веке впервые и выражен.

Во всех этих трех концепциях, объемлющих начало и конец истории и некий момент их providения, осуществлены все истинные идеалы и стремления человеческие, достигнута, наконец, полная гармония в любви каждого ко всем и всех к каждому и в радости со всей природой, так что все получает как бы свой смысл и оправдание. Мыслится и акт некоего откровения, соответствующий, хотя бы в аналогии, второму пришествию: «Кто научит, что все хороши, тот мир закончит... он придет, и имя ему будет человекобог...» (т. 12, стр. 330). «Богочеловек?» – спрашивает Ставрогин. – «Человекобог, в этом разница» – так отвечает ему его предтеча, Кириллов, пророк и благовеститель Того, Кто должен прийти, чтобы спасти и мир завершить.

Но тот же учитель, тот же Ставрогин, вещал и другие «огромные слова», и был еще один «ученик, воскресший из мертвых», который восприни-

мал их: слова, наиболее личные у Достоевского, сказанные им в первый раз, в письме к жене декабриста Фонвизина, в марте 1854 г., когда только что кончилась каторга и вряд ли он думал тогда вынести их в публику, – «если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно (курсив Д.) было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»¹¹. Только Ставрогину он отдал эту мысль свою и способность сделать из нее все дальнейшие выводы о русском народе, как о народе-богоносце, «грядущем обновить и спасти мир именем нового Бога и кому единому даны ключи жизни и нового слова»... И еще дальше: отношение свое к Риму, который уже давно отвернулся от Христа: «провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение», «провозгласил антихриста и тем погубил весь западный мир»¹². Эти мысли свои, вложенные в уста Ставрогина, Достоевский окружает своим же ореолом страдания, тем самым «горнилом сомнений», сквозь которое прошла его собственная осанна. Шатов спрашивает Ставрогина: «Если вы отступились теперь от тогдашних слов про народ, то как могли вы их тогда выговорить?» «Не шутил же я с вами и тогда, – загадочно произнес Ставрогин, – убеждая вас, я, может, еще больше хлопотал о себе, чем о вас...» «Я не лгал, говоря как верующий, – очень серьезно произнес он». Ни того, ни другого не обманывал Ставрогин, равно как Шатова, так и Кириллова, когда в одно и то же время, даже, может быть, в те же самые дни, «насаждал в одном сердце Бога и родину, а в другом утверждал ложь и клевету и довел разум до иступления» (т. 12, стр. 344).

«Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин!» – с одинаковым правом и с горечью утверждает как тот, так и другой. А он, над обоими возвышаясь, жаждет, как «травы ис-

сохшая», их ограниченности, способности отдаваться целиком одной идее, да не может, как не мог и сам Достоевский. Ставрогина «идея съела»: «если верует, то не верует, что не верует, если не верует, то не верует, что не верует» – так определил его Кириллов за несколько часов до самоубийства.

9

С высот вопросов метафизических мы снова спускаемся в мир эмпирии. Главой первой: «Ночь», сюжет получил остановку в своем развитии с определенной целью – раскрыть перед нами истинные причины видимого, дать нам возможность в мире явлений узнать скрывающийся за ним мир идей. В плоскости психологической движение в сторону зла определенно намечилось в течение этих восьми дней болезни после удара Шатова, после того, как Ставрогин успел «обдумать свои дела» и снова допустить к себе своего беса, «ко всему готового» Петра Верховенского. Как и в первый раз, отношением его к Хромоножке символизируется состояние его духа – во второй главе 2-ой части: «Продолжение ночи». Происходит второе в романе и последнее его свидание с ней. С лица исчезла та новая мысль, которая делала его тогда столь прекрасным, в его взгляде уже не было ни «нежности, ни искреннего уважения», а была «суровость, отвращение и даже злорадное наслаждение ее испугом». Теперь он видел в ней не больше, чем другие, – внутренний свет погас, осталось одно только внешнее сходство с прежним Ставрогиным.

Трижды она поднимает глаза на него, и каждый раз в ее лице выражается совершенный ужас. Особым знанием своим она первая предугадывает грядущие катастрофы, ясно видя, что он не спасется, погубив двоих, погибнет и сам. Бесовское начало и есть в известном аспекте самозванство, которое она в нем изобличает, – так впер-

вые звучит мотив восьмой главы: «Иван-Царевич», где это же самозванство дано будет в плоскости общественно-исторической. Глава «Премудрый змий» в первой своей части и противостоит главе: «Ночь (продолжение)», обозначая весь размах амплитуды его колебаний.

Ставрогин «бросился бежать», и с визгом и с хохотом вслед в темноту уже с крыльца успела ему еще прокричать: «Гришка От-реп-ев а-на-фе-ма!» С точки зрения композиционной, финал этой сцены созвучен финалу «Исповеди», тоже кончающейся бегством Ставрогина после пророчества Тихона о том же преступлении, которое он неминуемо должен совершить.

Две встречи Ставрогина с орудием исполнения бесовских замыслов Верховенского, они же его собственные – с Федькой Каторжным на мосту до и после свидания с Хромоножкой – обрамляют эту главу. «Режь еще, обокради еще», – кричит ему Ставрогин, а Федька подхватывает: «То же самое и Петр Степанович, как есть в одно слово с вами советуют-с». Преступление, предугаданное Хромоножкой, вступает в первую стадию своей реализации в то самое мгновение, когда Федька ловит кредитки, брошенные ему Ставрогиным в ответ на последние его слова: «Так три-то рублика, выше сиятельство... Развязали бы вы меня, сударь, чтоб я что есть знал правду истинную».

Мы поднимаемся еще на одну ступень ближе к «Исповеди» – в третьей главе, «Поединок»; завтра же утром, после сцены с Хромоножкой, Ставрогин снова делает попытку осилить беса, точно отдаленное отражение мысли Шатова, которая ему показалась очень значительной: «добыть Бога трудом». В «Братьях Карамазовых» – выше было нами указано – возрождение началось тоже с поединка.

«Не хочу больше никого убивать» – так формулирует Ставрогин свое душевное состояние, точно в от-

вет начатому в ночи преступлению. В одной и той же сфере психологической развернуты события обеих глав, и связь между ними сказывается в разговоре Ставрогина с Дашей после поединка – не о дуэли, а именно о «Федькиной лавочке». Взяты некоторые элементы из сложного чувства раскаяния, в том числе как будто и смирение, но неполнота этого чувства, невозможность для Ставрогина до конца уверовать, изболчивается на этот раз Кирилловым. На фоне мотивов Хромоножки: «Богородица – мать сыра земля» и «Бог и природа одно», дан поединок Зосимы в «Братьях Карамазовых»: «Небо ясное... природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит нам только захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей, обнимемся мы и заплачем». Здесь же была «злоба» до конца и полная отъединенность человека от «земли» в высшем значении этого понятия у Достоевского. На слова Ставрогина: «Я сделал, однако, все, что мог», Кириллов, знающий власть единой идеи над собой, определенно отвечает: «Нет! – Что же надо было сделать? – Не вызывать. – Еще снести битье по лицу? – Да, снести и битье». Тогда Ставрогин проговорил злобно: «Почему все ждут от меня чего-то, чего от других не ждут? К чему мне переносить то, чего никто не переносит, и напрашиваться на бремена, которых никто не может снести? – Я думал, вы сами ищите бременя. – Я ищу бременя? – Да. – Вы... это видели? – Да. – Это так заметно? – Да».

Для Кириллова бремя – это идея, целиком покоряющая человека, в нем реализующаяся до конца. На путь Кирилловский пробовал вступить Ставрогин, да органически не мог. Он «имел очень озабоченный вид, был почти поражен». – Так комментирует Достоевский то впечатление, которое произвел на него этот разговор.

Один Кириллов постигает истинную причину Ставрогинских исканий, видит его органический недостаток, его неумение проделать предназначенный человеку путь. «Если, – говорит он, – мне легко бремя, потому что от природы, то, может быть, вам труднее бремя, потому что такая природа. Очень нечего стыдиться, а только немного. – Я знаю, что я ничтожный характер, но я и не лезу в сильные. – И не лезьте, вы не сильный человек...»

10

При свете «Легенды о Великом Инквизиторе», раскрывающей не до конца проясненный в последнем, общественно-историческом аспекте идейный замысел «Бесов», становится окончательно понятной та художественная концепция, которая органически связывает в единое целое три главных отображения Ставрогинского лика: Кириллова, Шатова и Петра Верховенского. Если Шатов и Кириллов – крайние пункты Ставрогинских устремлений – друг другу противостоят, как конечные воплощения в индивидуальности двух борющихся в плане истории сверхличных и трансцендентных начал, в их идеальной беспримесной чистоте, то самая «сапожность» этого процесса исторического, направляемого началом Кирилловским, «Умным духом», олицетворена в образе Петра Верховенского, в главе «Иван-Царевич», вдруг вырастающего в огромную демоническую фигуру.

Может быть, даже правильнее было бы так сказать, что самому Достоевскому еще не был достаточно ясен грядущий путь человеческий, или мы снова имеем факт зависимости его от случайных общественно-политических явлений той эпохи, – во всяком случае, путь этот рисуется им двояко: то в виде, как мы знаем, разрешения всех скорбей человечества, всех чаяний его,

без Бога и без Христа, но все же в чувстве великой любви, охватывающей всю вселенную, все человечество, на бесконечные времена (Кириллов, дальнейшее развитие его в образе Версилова в «Подростке»), то в виде колоссальных и страшных потрясений, периодически повторяющихся, и каждый раз «с изменением лика сего» – в виде судорог, пускаемых раз в тридцать лет «шигалевщиной». Полное послушание, полная безличность, равенство, единственное возможное – в деспотизме, словом, Раскольниково: молчи, дрожащая тварь! – таково то хрустальное царство, которое должно быть построено, чтобы усмирить и успокоить бесчисленное, как песок морской, стадо слабовольных бунтующих рабов. «Желание и страдание для нас», для избранных, «а для рабов», чтоб не было скучно, шигалевщина – такова последняя формула Петра Верховенского. В «Бесах» «раскачка» только начинается, и уже видимы и слышны «проклятия, комья грязи и свистки»; в «Легенде» же историческая перспектива отодвинута в даль прошлого, поединок происходит в плоскости исключительно метафизической, но мотивы основные одни и те же – у Верховенского и Великого Инквизитора. Римский папа, выходящий к черни пеш и бос: «Вот, дескать, до чего меня довели!» – одна из идей Верховенского; в «Легенде» она найдет свое воплощение, в ходе времен осуществляя его же замысел.

Так ставится в новом плане общественного созидания, в плане истории будущего человечества, еще раз та проблема, которая до сих пор в романе мучила Ставрогина в плоскости исключительно личной: «с Христом или против Христа». «Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк» – в представлении Верховенского только у Ставрогина та сила и обаяние, которыми должен обладать тот, кому предстоит быть главным орудием в руках темной

силы, господствующей над историческими путями человечества. В этом смысле Ставрогин оказывается двойным самозванцем, поскольку он не способен вступить ни на один из путей: ни на путь Христа, ни на путь «Умного духа».

Один Петр Верховенский не знает никаких колебаний, ибо есть у него «такая точка, где он перестает быть шутком и обращается в... полупомешанного». «Даю вам день... ну два... ну три; больше трех не могу, а там ваш ответ», – крикнул он вслед Ставрогину, поднимавшемуся вверх по лестнице. Этот повелительный тон человека, почувствовавшего свою силу, стал возможен только потому, что он единственный в романе настоящий «энтузиаст».

«Самопожертвование Исповедью» – так конкретизирует Достоевский тот «энтузиазм, который мог бы спасти» Ставрогина. «Исповедью» он и ответил на последний повелительный зов Верховенского, ея спасаясь от самого страшного соблазна.

За главою «Иван-Царевич» должна была следовать глава 9, «У Тихона», т.е. «Исповедь».

В «Исповеди» Московской редакции весь акт проходит таким образом, что перед нами сила погасающая. Еще один порыв, последнее усилие преодолеть самого себя, какие-то подергивания в разные стороны, а затем падение окончательное, сознание своей

обреченности (пророчество Тихона), духовное разложение («Законченный роман» и предсмертное письмо к Даше) и смерть. Доподлинного акта живой религиозной воли, истинного раскаяния, в «Исповеди» – как мы видели, – конечно, нет. Если характернейшей формой Достоевского является, как вполне правильно доказывает Вячеслав Иванов, форма роман-трагедия и всякая у него идея, символизирующаяся в образе, равно как и человеческая душа, его идеей формируемая, должны непременно актуализироваться в действии, то «Исповедь» выражает в высшем драматическом моменте сокровенную сущность Ставрогина, как переломный момент в развитии сюжета, она является органическим звеном романа, кульминационным его пунктом, композиционно вполне оправдываемым и законным.

Нам воли своей Достоевский не оставил – Страховское объяснение не может быть легко отброшено. И если позволительно в таких случаях гадать, то, кажется, мы имеем известное право думать, что Достоевский как бы намеренно сохранил в единственном прижизненном отдельном издании все свои намеки и указания, определенно ведущие к «Исповеди», дабы мы, потомки более далеких поколений, смогли восстановить то единство и целостность романа «Бесы», которое мыслимо воссоздать только при свете новой главы об «Исповеди Ставрогина».

¹ Условимся называть текст в копии Анны Григорьевны, хранящийся в Пушкинском доме, напечатанный в 18 кн. «Былого» Комаровичем, – *Петербургским*; а текст в корректурных гранках для «Рус. Вестника», где «Бесы» впервые печатались, хранится в Московском Главархиве, напечатан отдельной книжкой вместе с планом «Жития Великого Грешника» – текстом *Московским* («Документы по ист. литер. и общ. Ф.М. Достоевский»). Несколько слов, как они напечатаны. По-видимому, отношение к «Исповеди» как оно было в свое время, так и осталось до наших дней, в особом нехорошем смысле, недостаточно беспристрастным. Ее сенсационная занимательность помешала, очевидно, первым, имевшим теперь с ней дело, оставаться вполне спокойными. Почерк Анны Григорьевны удивительно четкий и ясный. Ее копия, в высшей степени старательно (во всем тексте не больше пяти помарок и двух случаев надстрочных прибавлений) крупными буквами перепи-санная, могла бы быть воспроизведена с точностью почти идеальной. Но проделана чьей-то рукой

под чей-то вкус очень большая стилизация в расстановке синтаксических знаков и распределении синтаксически сложных целых по абзацам, пропущены слова (около 15), целые фразы (около пяти), одни слова заменены другими, в нескольких местах сняты скобки, искажены окончания глагольные и прилагательные и т.д. и т.д., точно кто-то очень спешил, шло состязание, кто кого перегонит: Петербург или Москва.

Копия Анны Григорьевны была в моих руках, что касается текста Московского, то редактор его, Фриче, сам, не стесняясь, заявляет о допущенном им произволе. Из множества собственноручных поправок Достоевского, часто очень сложных, имеющих первостепенное значение, сделанных на корректурных гранках (как много их и насколько они сложны, можно судить хотя бы по приведенным примечаниям, особенно по репродукции двух страниц текста, приложенных в конце книжки), – из этих поправок одни воспроизводятся в самом тексте, другие попадают в примечания; большинство же, именно наиболее существенных, почему-то оставлены до другого раза. Чем руководствовался редактор Фриче, – нам, к сожалению, неизвестно. В смысле стилистическом, точнее – языка, на Петербургском тексте нет никаких следов работы. Московский их не воспроизводит. До сих пор мы знали несколько вариантов целых сложных эпизодов или характеристик (см. Юбилейное издание). Между тем, усилия Достоевского именно в этом отношении, насколько могу судить на основании известного мне рукописного материала, в частности «Кроткой», поистине огромны. Мне кажется, что они всегда увеличиваются по мере приближения к последней редакции. Падает на последнюю минуту не только внешняя стилистическая отделка, но и та сложная работа, которую в наше время так любят ставить в причинную зависимость от ритмического строя фразы или синтаксического целого. От сравнительного анализа стиля обоих текстов, ввиду сознательного сокрытия от нас самого важного, последнего момента, мы должны воздержаться, сосредоточив свое внимание на анализе сюжета и архитектонике «Исповеди».

² См. Толстов. Музей, т. II, стр. 307–09.

³

Петербург. текст:

(стр. 236) начиная со слов: «В этих номерах
гнездилося» и кончая на стр. 237 словами:
«никто бы не захотел жить...».

Московский текст:

(стр. 18 до конца 19 стр.)
«В этих номерах гнездилося».

⁴ В. Комарович (см. кн. Былое, 18), придерживаясь мнения противоположного, ссылается на те два факта, что сон Ставрогина частью переносится в «Исповедь» Версилова, а слова из Апокалипсиса «и Ангелу Лаодикийской Церкви напиши» повторяются устами Степана Верховенского в конце «Бесов». Но понятно, что отсюда можно сделать только один вывод: к следствию Д. решил не печатать «Исповеди», но не к причине – почему так решил. И это в лучшем случае, ибо сон повторяется в другом произведении, а слова Апокалипсиса – слова чужие, они могли бы быть восприняты как своего рода созвучные рефрены в устах воспитателя и воспитаника, постигающих одну и ту же истину в самые серьезные моменты своей жизни.

⁵ Курсив всюду Достоевского.

⁶ Документы, стр. 33.

⁷ Документы, стр. 35.

⁸ Там же, стр. 38.

⁹ Там же, стр. 40.

¹⁰ Вопрос о пейзаже у Достоевского едва лишь затронут; он нарушает традиции какой бы то ни было школы: романтической или реалистической – и по приемам его рисования, и по теме – но роль его в композиции настолько затухает, что его обычно не воспринимают. Отметим здесь, что солнце, в частности яркий летний полдень, имеет у него огромное значение. В этот час происходят самые важные события. Мистически природа воспринимается не столько при луне и звездах, а именно в ослепительно яркий миг, когда земля ликует.

¹¹ См. сборник «Помощь голодающим», М., 1892 г., стр. 390. В «Бесах» так: «Не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали нам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?» (т. 12, стр. 346).

¹² Т. 12, стр. 345.

Н. Л. БРОДСКИЙ

Угасший замысел

Вихрем кружились творческие замыслы над вечно смятанным Достоевским. Его душевный мир не знал покоя, всегда был в кипении и одновременно рвался по разным дорогам, в нескольких направлениях. Художественные видения неслись перед ним сразу многими потоками. «Мысли в его голове родились подобно брызгам в водовороте», – вспоминал А.Е. Ризенкамф о Достоевском-юноше, воспитаннике Инженерного училища. То же впечатление динамического духа, до крайности насыщенного мыслями, образами, оставлял Достоевский в зрелую пору своей жизни. «Слушайте, слушайте», – начинал обыкновенно Федор Михайлович свое вступление в область какого-нибудь серьезного, занимавшего вопроса, – читаем мы в воспоминаниях кн. В.М. – «Я вам вот что скажу», – говорил он затем; потом тотчас же схватит себя рукою за голову, как будто разом столько приходило в его голову мыслей, что ему было трудно именно начать. Весьма часто вследствие этого... он начинал говорить с конца, с вывода, так сказать, из нескольких, самых отдаленных, самых сложных сплетений мысли, или же скажет первую мысль, главную, а потом откроет скобки и начнет говорить о придаточном, объясняющем, или о пришедшем в голову кстати или по поводу... Это внезапное наитие так было сильно в нем, что оно как будто чувствовалось не только в нем, но и вокруг него...»¹

Эту творческую особенность Достоевского легко установить, вслушиваясь в его собственные признания. «У меня бездна идей», – писал он в 1845 году брату Михаилу, только что вступив на литературную дорогу. «В моей жизни каждый день столько нового, столько перемен, столько впечатле-

ний... Я весь занят. Идей бездна, и пишу беспрерывно», – заявлял он в 1846 году. Из крепости, в 1849, он пишет брату: «Я времени даром не теряю: выдумал три повести и два романа, один из них пишу теперь». В 1856 году, выйдя из каторги, он писал из Семипалатинска Ап. Майкову: «Не могу вам выразить, сколько я мук терпел оттого, что не мог в каторге писать. А между прочим внутренняя работа кипела...» Через несколько лет мы слышим те же признания, говорящие о безостановочной, сложной, многоплановой работе духа Достоевского. «У меня на уме теперь, – писал он из Флоренции в 1868 году Ап. Майкову, – огромный роман. Есть у меня идея одной довольно большой повести в 12 печатных листов и привлекает меня. Есть и еще одна мысль». – «Тем куча», – признается он в 1870 году тому же Майкову. «Повестей, задуманных и хорошо записанных, у меня до 6», – пишет он в 1870 году Н.Н. Страхову.

Не мудрено, что Достоевский, охваченный шумным потоком множества образов, не смог задержать их всех, не смог закрепить их печатно. Каждый миг являлись новые сюжеты, новые персонажи, – где-то в подсознательной и идеологической сфере весь этот материал сплавливался единым, монолитным сплавом, но он вырывался на поверхность так стремительно и зигзагообразно, разбегался по тропинкам столь бесчисленным, что схватить все детали, все подробности не было никакой возможности. Близкий друг Достоевского, Н.Н. Страхов, оставил замечательную характеристику писателя, утверждающую этот безбрежный разлив творческой фантазии автора «Бесов». «Новые образы, новые планы романов, новые задачи являлись у него беспрестанно, осаждали его. Это даже

мешало ему работать, – вспоминал Страхов, – конечно, он написал десятую долю тех романов, которые он уже обдумал, уже носил иногда в себе многие годы; некоторые он рассказывал подробно и с большим увлечением, а таким темам, которых он не успевал разработать, у него конца не было». К сожалению, друзья Достоевского оказались «любопытными», но... «ленивыми»: ни Страхов, ни другие мемуаристы (за вычетом С. Ковалевской) не рассказали читателям, чтущим Достоевского, тех замыслов писателя, которые он поведал им «с большим увлечением...». В записных книжках Достоевского остались следы его творческих раздумий, «мысли новых повестей», «*temento*. На всю жизнь», планы незавершенных творений: так, на одном листке я нашел заметку: «В 1860 год. 1) Миньона. 2) Весенняя любовь. 3) Двойник (переделать). 4) Записки каторжника (отрывки). 5) Апатия и впечатления». «Весенняя любовь» – это заглавие романа, от которого остался только план... В том же, 1859 году, 23 ноября, он записал «план трагедии Фатум – План комедии: барыня сажает в карцер женатого учителя за то, что он женат». Среди рассказов Макара Ивановича (в «Подростке») предполагались рассказы «о помещике, выстроившем погорелую деревню. Лизавета смердящая. О том, как святые иноки убили еще инока и проч.»².

В 1868 году 11 декабря Достоевский извещал Аполлона Майкова, что задумал «огромный роман. Название ему «Атеизм» (поспеет не раньше, как через 2 года)». Этому роману писатель придавал большое значение: «Написать этот последний роман, да хоть бы и умереть, – весь выскажусь». «Ныне, кажется, я весь выскажусь в нем», – писал он о том же романе 8 марта 1869 г. С.А. Ивановой-Хмыровой.

Главным лицом этого романа намечался «русский человек нашего общества, и в *летах*, не очень образованный, но и не необразованный, не

без чинов, – *вдруг*, уже в *летах* (он) теряет веру в Бога. Всю жизнь он занимался одной только службой, из колеи не выходил и до 45 лет ничем не отличился. (Разгадка психологическая: глубокое чувство, человек и русский человек.) Потеря веры в Бога действует на него колоссально (собственно действие в романе, обстановка – очень большие, писал Достоевский 11 дек. 1868 года Ап. Майкову). Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между прочим, попадает на крючок иезуиту пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины и под конец обретает и Христа, и русскую землю, русского Христа и русского Бога». «Два-три лица ужасно хорошо сложились у меня в голове, между прочим, католического энтузиаста-священника (вроде St. François Fanier)», – писал Достоевский С.А. Ивановой-Хмыровой 8 марта 1869 года, уверенный, что роман – «поэма настоящая» – «должен иметь эффект по своей теме», «поневоле» завлечет читателя. Но не суждено было оформиться этому роману – новые замыслы ворвались... Однако таинственные нити творческой идеи не были порваны, они тянутся в новых сплетениях в другом романе, о котором Достоевский писал Н.Н. Страхову 24 марта 1870 года, что «идея (его) существует уже три года»³. Этот новый роман предназначался для журнала «Заря». Автор писал, что «весь план романа «вызрел»: «за три года созрело много»; «идея романа требовала большого размера», объемом по крайней мере такого же, как роман Толстого («Война и мир»). Этот роман будет состоять из пяти больших повестей (листов 15 в каждой). Повести совершенно отделены одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно (письмо Ап. Майкову 25 марта 1870) и печатать в разных журналах (кроме

двух средних повестей). «Общее название» свяжет их в целостный роман. В письме Н.Н. Страхову 24 марта/5 апреля 1870 года мы узнаем заглавие романа – «Житие великого грешника». Написанное на следующий день письмо Ап. Майкову дает драгоценные подробности об этом романе: действие первой повести «еще в сороковых годах». «Главный вопрос, который проведется во всех частях, – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование Божие. Герой, – в продолжение жизни то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист. 2-я повесть будет происходить вся в монастыре. На эту 2-ю повесть я возложил все мои надежды. Может быть, скажут, наконец, что не все писал пустяки. (Вам одному исповедуюсь, Аполлон Николаевич: хочу выставить во 2-й повести главной фигурой Тихона Задонского, конечно, под другим именем, но тоже архиерей будет проживать в монастыре на спокойе.) 13-летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развитой и развращенный (я этот тип знаю), будущий герой всего романа, посажен в монастырь родителями (круг наш, образованный) для обучения. Волчонок и нигилист-ребенок сходится с Тихоном (вы ведь знаете характер и все лицо Тихона). Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре. Предположите, что Чаадаев после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, например, за границей на французском языке брошюру, – очень и очень могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать в гости и другие, Белинский, например, Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип.) В мо-

настыре есть и Павел Прусский⁴, есть и Голубов⁵, и инок Парфений⁶. (В этом мире я знаток, и монастырь русский знаю с детства.) Но главное Тихон и мальчик. Ради Бога не передавайте никому содержания этой 2-й части. Я никогда вперед не рассказываю моих тем, стыдно как-то; а вам исповедуюсь. Для других пусть это гроша не стоит, но для меня сокровище. Не говорите же про Тихона. Я писал о монастыре Страхову, но про Тихона не писал. Авось, выведу величавую, положительную, святую фигуру. Это уже не Костанжогло-с и не немец (забыл фамилию) в Обломове, и не Лопуховы, не Рахметовы. Правда, я ничего не создам, а только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя уже важным подвигом. Не сообщайте же никому. Но для 2-го романа, для монастыря, я должен быть в России⁷. Ах, кабы удалось! Первая же повесть – детство героя. Разумеется, не дети на сцене; роман есть».

Достоевский придавал этому роману значение своей исповеди, завершительного аккорда. «Это будет мой последний роман». «Этот роман я считаю моим последним словом в литературной карьере моей». На обработку его должно было уйти шесть лет. Перебитый замыслом «Бесов», занятый писанием для «Русского Вестника», Достоевский ждал момента, когда он сядет за свое огромное полотнище «с наслаждением». Но роман спланировался в более или менее отчетливую форму только в первоначальной стадии – в черновых записях конспекта, разлетевшись отдельными персонажами, идеями, сценами в ряде других романов...

Среди рукописных реликвий Достоевского, сохранных А.Г. Достоевской и переданных вдовой писателя в Российский Исторический Музей, в одной из записных книг имеется

подробный план романа, рисуящий главного героя в детские годы, в монастыре и по выходе из монастыря. Фабула романа менялась во время самого писания: мальчик то в родной семье, то с самого начала в семье Альфонского. Детали романа тоже были блуждающими: «канва» его всегда могла быть перешита новыми узорами. Любимое словечко романиста «подсочинить» служит указанием, что известный нам план романа никоим образом нельзя рассматривать как нечто устойчивое, статическое⁸.

Мы печатаем полный текст плана «Жития великого грешника»⁹, сохраняя все особенности написания и пунктуации подлинника.

Роман планировался в 1869–70 году, в разные месяцы.

Автобиографическое значение этого романа бесспорно. Еще Н.Н. Страхов называл Достоевского самым субъективным писателем. Многие говорят за то, что в «Житии» Достоевский собирался разъять свою душу, вскрыть ее язвы, освободиться от мучащих, тревожных порываний своего Я, казнить ростки злых, порочных дум, обнажить перед собой тайники своей души и вынести наружу, на свет Божий эту тьму, чтоб рассеять ее, подобно Гоголю, наносившему удары моральным изъясам своего внутреннего мира при изображении литературных персонажей.

Герой «Жития» – не автопортрет писателя, разумеется; фактические подробности в его характеристике – от «вымысла»¹⁰, но для понимания личности романиста «Житие» дает немало штрихов любопытнейших.

Весь фон романа в первой части густо насыщен сырьем подлинной жизни, воспоминаний о реальном опыте писателя. «Брат Миша» – не Михаил ли Михайлович, один из младших братьев писателя? Сушар – это Николай Иванович Сушард, учитель французского языка, ходивший к Достоевским давать уроки. Чермак – это Леонтий Ива-

нович Чермак, в пансионе коего в 1834–1837 гг. учился Федор Михайлович. Умнов – один из сверстников братьев Достоевских, бывавший у них дома, Ванчик Умнов, доставлявший им разные книжки и рукописные произведения (напр., «Дом Сумасшедших» Воейкова и проч.).

Список авторов и книг, известных начитанному герою «Жития», живо переносит в детские и отроческие годы самого автора: Евангелие, Библия, Гоголь, Пушкин, Вальтер Скотт, Карамзин, исторические и географические сочинения, Арабские сказки и проч., – все это находит подтверждение в подлинных признаниях Достоевского о ранних годах его жизни и в воспоминаниях о нем брата, Андрея Михайловича. Последний, вспоминая о семейных чтениях, прежде всего отмечает, что отец или мать вслух читали детям исторические сочинения: «История Государства Российского» Карамзина, и чаще всего 11-й и 12-й томы. «История» Карамзина была настольною книгою Федора Михайловича, читавшего ее всегда, когда не было чего-либо новенького. Читались вслух повести Карамзина «Бедная Лиза» и «Марфа Посадница», а также «Письма русского путешественника». Достоевский сам признавался Н.Н. Страхову (2 декабря 1870 года): «Я возрос на Карамзине», а в «Дневнике писателя» писал, что 10 лет «уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина». «В руках брата Федора я чаще всего видал Вальтер Скотта...» – вспоминал Андрей Михайлович. «12 лет, я в деревне, во время вакаций прочел всего Вальтер Скотта, – писал Достоевский в 1880 году одному корреспонденту, спрашивавшему у него совета насчет литературного чтения для своей дочери, – захватил с собой, в жизнь из этого чтения, столько прекрасных и высоких впечатлений, что, конечно, они составили в душе моей большую силу для

борьбы с впечатлениями соблазнительными, страстными и растлевающими... Вальтер Скотт имеет высокое воспитательное значение». По воспоминанию Андрея Михайловича, Пушкин перечитывался неоднократно и был чуть ли не наизусть выучен, «Гоголь также был любимым писателем» в детские годы его брата. О любви Достоевского к Гоголю вспоминал его знакомый А.Е. Ризенкамф, которому Достоевский, будучи юношей, наизусть читал целые страницы из «Мертвых Душ». По поводу Евангелия Достоевский писал: «Я происходил из семейства русского и благочестивого... Мы, в семействе нашем, знали Евангелие чуть ли не с первого детства». Глубочайшее волнение испытал он еще восьмилетним мальчиком, слушая в церкви библейское сказание об Иове¹¹. По воспоминаниям родственников Ф.М. Достоевского, сказки из «Тысячи и одной ночи» рассказывала братьям Достоевским «какая-то часто гостившая у них старушка Александра Николаевна. Сказка так и лилась у нее за сказкой, и дети не отходили от нее». По собственным словам Ф.М., он очень любил читать путешествия. Этой любви писателя соответствуют «мечты о путешествиях» его героя: «Жители луны», очевидно, заглавие популярной в 30-х годах книжки – «О жителях луны и о других достопримечательных открытиях, сделанных астрономом Сир Джоном Гершелем во время пребывания его на Мысе Доброй Надежды. Перевод с немецкого. СПб. 1836»¹². Театральные увлечения героя «Жития», в частности Гамлетом, находят также подтверждения в биографии Достоевского¹³...

Обилие в «Житии» фактических подробностей, почерпнутых писателем из его детской жизни, невольно ставит вопрос о праве исследователя искать личный авторский ключ к пониманию характера, натуры литературного героя. Действительно, субъективная

окраска вскрывается на многих душевных переживаниях этого персонажа.

Он любил «испытывать себя, упражнял силу воли», «воспитывал себя мучениями». Эта жажда мучительства, стремление измучить себя, чтоб убедиться в способности «выдержки», была присуща и Достоевскому. Ему приносят письмо от брата – «Я изобрел для себя нового рода наслаждение – престранное – томить себя (рассказывает он брату Михаилу 1 января 1840). Возьму твое письмо, перевертываю несколько минут в руках, щупаю его, полновесно ли оно, и, насмотревшись, налюбовавшись на запечатанный конверт, кладу его в карман... Ты не поверишь, что за сладострастное состояние души, чувств и сердца! И таким образом жду иногда с четверть часа...»

Герой «Жития» – «нелюдимый», «несообщительный», многое держит про «себя», скрытен и чуждается людей. Михаил Достоевский в 1838 году называет своего брата «скрытным» – не без основания: Ф.М. Достоевский, передавая ему о «странном и чудесном» в своей жизни, писал ему, что этой «предолгой повести никому не расскажет». В Инженерном училище Достоевский, по воспоминаниям его товарищей, обычно сидел или ходил одиноким, держал себя вдали от всех. В 1854 году писал из Семипалатинска: «Живу я здесь уединенно; от людей по обыкновению прячусь». Эта отчужденность от людей питалась у героя «Жития» его презрением к ним, чувством гадливости и исходила «из страстности гордой и владычествующей натуры». Припомним отрывок из письма Достоевского к брату Михаилу 1847 г.: «Но, Боже, как много отвратительных подло-ограниченных седобородых мудрецов, знатоков, фарисеев жизни, гордящихся опытностью, т. е. своею безличностью (ибо все в одну мерку сточаны), негодных, которые вечно проповедуют довольство судьбой, веру во что-то, ограничение в жизни и до-

вольство своим местом, не вникнув в сущность слов этих, – довольство, похожее на монастырское истязание и ограничение, и с неистощимую мелкою злостью осуждающих сильную, горячую душу не выносящего их пошлого дневного расписания и календаря жизненного. Подлецы они с их водевильным земным счастьем. Подлецы они!»

Герою «Жития» было присуще резко выраженное чувство личности, сознание своего превосходства, внутренней силы, своей необыкновенности. Не тот же ли тон звучит в горделивых и «гиперболических» признаниях самого автора, опьяненного успехом «Бедных людей», своих первых литературных шагов¹⁴: «Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров. Их ужасно хвалят. Первенство остается за мною покамест, и надеюсь, что навсегда».

Много позже после написанных строк, пережив каторгу, он в том же тоне писал брату из Твери (1 октября 1859 года): «К половине декабря я пришлю тебе (или привезу сам) исправленного «Двойника». Поверь, брат, что это исправление, снабженное предисловием, будет стоять нового романа. Они увидят наконец – что такое «Двойник». Я надеюсь слишком даже заинтересовать. Одним словом, я вызываю всех на бой. (И, наконец, если я теперь не поправлю «Двойника», то когда же я его поправлю? Зачем мне терять превосходную идею, величайший тип, по своей социальной важности, который я первый открыл и которого я был провозвестником?)» Титанический индивидуализм литературного персонажа, не раз подчеркиваемый автором романа, звучит в характерном признании Ф.М. Достоевского Аполлону Майкову: «Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил» (16 августа 1867 г.).

Обращают на себя внимание некоторые «странности» характера героя «Жития»: он любил «удивлять всех» неожиданно-грубыми выходками, «держал себя извергом», «оскорбил старуху». Нечто подобное, какие-то срывы в душевной жизни и обращения с людьми были и у Достоевского: так, он, по собственному признанию, нагрубил в Инженерном училище офицеру, преподавателю алгебры (1838); в письме к брату от 1847 дает себе следующую характеристику: «У меня такой скверный отталкивающий характер... Я за тебя и за твоих готов жизнь отдать, но иногда, когда сердце мое плавает в любви, не добьешься от меня ласкового слова. Мои нервы не повинуются мне в эти минуты... Сколько раз я грубил Эмилии Федоровне¹⁵, благороднейшей женщине, в 1000 раз лучше меня. Помню, как иногда я нарочно злился на Федю, которого любил в то же самое время даже больше тебя...»

В герое «Жития» вспыхивало иногда «чувство разрушения», – тот же мотив входил в мироощущение Достоевского-юноши: «До сих пор я не знал, что значит оскорбленное самолюбие (писал он 31 октября 1838 года). Я бы краснел, ежели бы это чувство овладело мною... но знаешь? Хотелось бы раздавить весь мир за один раз». Провалы в «бездны», сладострастие главного героя «Жития» находят аналогии в некоторых подробностях, сообщаемых самим Достоевским о своей юности: «Прощай, – заканчивает он письмо брату 16 ноября 1845 года, – Минушки, Кларушки, Марианны и т.п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь».

«Идея накопления денег» – одно из затаенных построений мысли «великого грешника» – рано приковала внимание величайшего мученика в рядах разночинцев-писателей, всю жизнь нуж-

давшегося в деньгах и страстно ожидавшего возможности жить и творить в условиях обеспеченной жизни Л. Толстого и Тургенева. «Деньги и обеспечение хорошая вещь. Когда-то я выйду из долгов»; «денег у меня ни малейшей сломанной копейки»; «очень мне тяжело»; «если можно спасти меня, то спасите»; «я опять в такой нужде, что хоть повеситься»; «я положительно в ужасном теперь состоянии... Денег нет ни копейки»; «я всю жизнь работал из-за денег и всю жизнь нуждался ежеминутно»; «как я могу писать, когда я голоден... да черт со мной и с моим голодом. Но ведь она (жена) кормит ребенка, что же если она последнюю шерстяную юбку идет сама закладывать. А ведь у нас второй день снег идет... И после того у меня требуют художественности, чистоты поэзии, без напряжения, без угару, и указывают на Тургенева, Гончарова! Пусть посмотрят, в каком положении я работаю...» – вот крик, стоном стоящий над письмами Достоевского разных периодов его жизни, особенно заграничного, тех лет, когда слагалось «Житие». Надо думать, что религиозная проблема решалась Достоевским приблизительно так же, как в жизни героя романа, – «полосами» веры и безверия...

Анализ «Жития», вскрывающий пласты автобиографизма, позволяет с большей убедительностью видеть личные черты в других романах Достоевского, на которые раскололось «Житие великого грешника». Сын Версилова, урожденный Долгоруков («Подросток»), с его идеей «дисциплины» тянется к персонажу неосуществленного романа Достоевского, на том же пункте между прочим близкому к Ставрогину. Герой «Бесов» своими падениями, «безднами», развратом также родственен «великому грешнику». Страницы о пансионе «Тущара», о подкинутом младенце, фигура

Lambert'a в «Подростке» отскочили из того же «Жития». Отдельными штрихами великий грешник тянется к Ивану Карамазову и Дмитрию Карамазову. Тихон «Жития» перешел в романы «Бесы» и «Братья Карамазовы» в образах архиерея и старца Зосимы¹⁶.

Так, роман связывает главные произведения Достоевского последнего периода, кое в чем протягивая нити к ранним опытам, напр. к «Запискам из подполья». Но многое из того, что было задумано, осталось незавершенным и сильно потускнело в разработке избранных тем: где та широкая картина народной религиозной жизни с сектантским и старообрядческим миром, куда окунался великий грешник? Бледный облик странника Макара Ивановича Долгорукого далеко не соответствует грандиозной «поэме». Главный персонаж сильно умалился, духовно обеднел в «подростке» Версилове.

Конспект ненаписанного романа вообще ценен для определения творческой манеры Достоевского. Роман не был бы написан. Огромное полотнище не было бы зачерчено той массой лиц, что реяли в воображении писателя. Романы «Атеизм» и «Житие великого грешника» ярко свидетельствуют, что Достоевский не в силах был справиться с динамическим бегом его творческой фантазии, не мог укротить, победить нахлынувшей образной стихии: слишком пламенела душа, чтоб удовлетвориться зажегшимся светом; объятая кострами, она сжигала мелькавшие видения. И, кажется, только железная необходимость приковывала писателя к столу и дала нам возможность читать его творения. Что-то случайное есть в печатном творчестве Достоевского: оно не покрывает всего творца, оно бледнее его первоначальных замыслов...

¹ Кн. В.М. Воспоминания о Ф.М. Достоевском. «Добро», 1881, № 2-3.

² Из неизданных материалов.

³ «Этот будущий роман уже более трех лет как мучает меня».

⁴ Старообрядец, в 60-х г. основавший в Иоганнесбурге типографию для печатания старообрядческих книг, позднее перешедший в православие.

⁵ Редактор старообрядческого журнала «Истина»; в 60-х г. под влиянием инок Павла перешел в православие.

⁶ Автор трехтомной книги «Сказание о странствии по России, Молдавии, Турции и Св. Земле», М., 1856 г.

⁷ Достоевский в это время жил в Дрездене.

⁸ Первоначальный набросок отлился в след. характеристику героя:

– Ничего авторитетного.

– Зародыши сильнейших страстей телесных.

– Наклонности к безграничному владычеству и вера непоколебимая в свой авторитет. Горы сдвигать. И рад испытать свою мощь.

– Борьба – вторая природа. – Но спокойная, не бурливая.

– Презирает ложь от всей силы.

⁹ На 59 листе рукописи встречается заглавие: Житие величай – Повесть – Житие Живоедов – Живо; 1 января 1870 г. на одном листке Достоевский написал: Житие Живорезов – тут же дан отрывок, неточно напечатанный Н.Н. Страховым в юбилейном издании соч. Достоевского, стр. 597, и без достаточных оснований отнесенный к роману «Бесы».

¹⁰ По-видимому, некоторый материал давала «натура» в лице друга юности – И.Н. Шидловского, служившего прототипом и для Ставрогина в первой стадии творческой обработки.

¹¹ К цитате-заглавию в «Братьях Карамазовых» (7 издание, стр. 308) – Сто четыре священные истории Ветхого и Нового Завета – А.Г. Достоевская сделала на полях примечание: «По этой книге Федор Михайлович учился читать. Имеется в «Музее памяти Ф.М. Достоевского» (Из неизданных материалов).

¹² На эту книжку была рецензия Белинского в «Молве», 1836, № 11.

¹³ Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, том I, СПб., 1883, стр. 11. – Н.Н. Фон-Фохт. К биографии Достоевского. «Исторический Вестник», 1901, XII, стр. 1028. См. также в письме Мих. Мих. Достоевскому от 9 августа 1838 г.

¹⁴ «Я теперь почти упоен собственной славой своей» (в письме от 16 ноября 1845 г.).

¹⁵ Жене М.М. Достоевского.

¹⁶ Некоторые выражения, типичные для Достоевского, встречаются в «Житии» и позднейших произведениях: так, выражение «Жертвы жизнью» нашло место здесь и в «Братьях Карамазовых», ч. I, кн. I, гл. 5, стр. 33 (3-е издание сочинений Ф.М. Достоевского).

В. Л. КОМАРОВИЧ

Неизданная глава романа «Бесы»

Мережковскому, первому из исследователей Достоевского, стала известна исповедь Ставрогина Тихону, признание в страшном грехе, – целая глава романа «Бесы», исключенная из законченного романа. А.Г. Достоевская, предполагая первоначально привлечь Мережковского к редактированию юбилейного издания 1906 года, познакомила его с этим ценным рукописным отрывком. В своей книге («Толстой и Достоевский») Мережковский сохранил как бы первое впечатление от этого чтения, говоря, что искусство здесь выходит за пределы своих возможностей

сосредоточенным выражением ужаса... Напечатать эту главу полностью в своем издании А.Г. Достоевская не решилась и дала лишь отрывки ее, как приложение к «Бесам». Нерешительность эта понятна: страшная исповедь Ставрогина не осталась совершенной тайной уже для современников Достоевского; исключенная из романа, по требованию Каткова, она стала известна по слухам, а вокруг этих слухов создавалась темная легенда о Достоевском – «маркизе де Саде», – создавалась врагами его и неверными друзьями¹. Но то, что удерживало вдову пи-

сателя от опубликования фрагмента «Бесов», не должно, кажется, удерживать его исследователей. Ведь темная легенда о сладострастнике Достоевском построена (главным образом Н. Страховым) или на явной клевете, или на грубых, нечутких отгадках той тайны слишком тревожной, слишком взыскательной совести, которой была отмечена душа Достоевского². И, думается, наиболее верный путь к освобождению памяти Достоевского от этих призрачных обвинений – путь открытого исследования и возможно полного понимания его, как художника.

«Одна сцена из Ставрогина (растление и пр.)», о которой говорит Страхов в указанном письме к Л. Толстому и которую позже читал Мережковский, сохранилась в архиве Достоевского, принадлежащем Пушкинскому Дому при Российской Академии Наук. Это – тетрадка из 77 страниц, тщательно выполненная (почерком А.Г. Достоевской), хотя и не доведенная до конца, копия с неизвестного пока автографа Достоевского. Место, предназначавшееся этому отрывку в романе, определить нетрудно: рукопись озаглавлена «Глава 9. У Тихона». Из содержания видно, что только ко второй части романа может относиться этот № главы; в нашем отрывке предполагаются свершившимися следующие события романа: пощечина Шатова Ставрогину (последняя глава первой части), ночной разговор Ставрогина с Шатовым (первая глава второй части); а с другой стороны, публичное заявление Ставрогина о своем браке с Марьей Тимофеевной (глава X второй части) еще только ожидается, обдумывается Ставрогиным и Тихоном. Таким образом, наша «глава 9» должна была непосредственно следовать за главой восьмой второй части («Иван-Царевич»), где обезумевший Петр Верховенский страстным шепотом признается в своей невероятной влюбленности в Ставрогина, – где Ставрогин – в наивысшем драматиче-

ском напряжении (как всегда у Достоевского) до конца обнаруживает свою сокровенную сущность (Ставрогин – «Иван-Царевич», неведомый «он» целой России и «скрывается»; «красавец» и «солнце», но вождениями Верховенского уже почти порабощен бесу нигилизма). Однако, основа и средоточие этого романа в религиозных судьбах России, – Ставрогин имеет два пути и два направления: кроме обольщений нигилизма, он, подобно будущему Алеше Карамазову, знает путь к монастырю и религиозному послушанию. Так, после поцелуев беса – Верховенского (в восьмой главе) – исповедь старцу Тихону (в нашей «главе 9»).

Вопрос, который прежде всего должен быть разрешен исследователями этого отрывка, – вопрос об его отношении к тексту законченного романа «Бесы». Является ли эта «глава 9» случайно, помимо воли художника, выпавшей частью художественного целого, которая, следовательно, должна быть восстановлена теперь в соответствующем месте этого целого; или это один из тех многочисленных у Достоевского фрагментов, которые, отвечая какой-то ранней, позже измененной формации романа, сами собой отпадали от законченного романа, не включались в окончательный текст его художником и сохраняются теперь только в черновых рукописях Достоевского, как любопытные свидетельства сложного генезиса романов его... За первое из этих предположений определенно говорят слова Н. Страхова, которым нет основания не доверять: «Сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать». Таким образом, исключение главы «У Тихона» из романа было вызвано не свободным решением художника, а причиной внешней: требованием редактора «Русского Вестника», где печатались «Бесы».

Свидетельство Страхова подтверждается как будто той связью, ко-

торая, несомненно, существует у пропущенной «главы девятой» с творчеством Достоевского вообще, а затем и с романом «Бесы», как художественным целым.

Мотив жестоко обиженной девочки, развитый в исповеди Ставрогина «У Тихона», – очевидно, один из давних и устойчивых замыслов Достоевского. В 1866 году, в пору сближения своего с семьей Корвин-Круковских, Достоевский рассказывал этот замысел свой, как «сцену из задуманного еще в молодости романа». Герой романа однажды поутру перебирает в памяти старые воспоминания, и «вдруг в самом разгаре... приятных грез и переживаний начинает он ощущать неловкость – не то боль внутреннюю, не то беспокойство... Начинает ему казаться, что должен он что-то припомнить, и вот он силится, напрягает память... И вдруг, действительно, вспомнил, да так жизненно, реально, как будто вчера это случилось... А между тем за все эти 20 лет и не беспокоило это его вовсе. Вспомнил он, как однажды, после разгульной ночи и подзадоренный товарищами, он изнасилоval десятилетнюю девочку»³.

Связь этого замысла с «Исповедью» Ставрогина несомненна: это припоминание греха после долгого забвения прямо ведет к заключительной сцене «исповеди» Ставрогина, к заключительному «видению».

Но между этим замыслом (уже в 1866 году – ранним и давнишним) и «главою девятою» «Бесов» видны некоторые связующие звенья. Оставляя в стороне «Преступление и наказание», где предсмертная греза Свидригайлова тоже как бы откликается этому замыслу, – «Житие великого грешника», задуманное в 1869–70 гг. и сохранившееся в виде конспективного плана⁴, несомненно, должно было развить этот мотив опозоренной девочки.

Герой «Жития» всей своей жизнью должен был обнаружить религиозную

закономерность жизни вообще, неизбежность приятия Бога. «Житие» в первых своих частях должно было повествовать о последовательном и все более и более глубоком погружении человека в грех. Художнику это предельное, сверхмерное погружение героя в грех было необходимо. Тут Достоевский как бы опытом художественным поверял свою самую дорогую и тайную мысль, – свое верование, что всякая и каждая личность, что земная человеческая жизнь вообще не уйдет и не может уйти, сохраняя себя, из царства Благодати Духа; что грех не имеет в себе ничего онтологического, что человеческая душа уже по природе своей «христианка». Вчитываясь в записи «Жития», замечаешь, как стремится Достоевский довести греховность и падение своего героя до последних пределов, до последней черты, – и все это только для того и надо, чтобы оптимистическая вера художника в изначальную просветленность жизни Благодатью тем разительнее оправдывалась и торжествовала в заключительных частях «Жития», где «все яснее», грешник («великий») обращается к Богу, «умирает, признаваясь в преступлении»⁵.

Грех, самый глубокий, – не органичен, а случаен в человеке, вот какое верование Достоевского руководило замыслом «Жития» и толкало художника к таким сюжетным ситуациям, где бы проявлялась предельная греховность. Таким пределом и был для Достоевского образ опозоренной девочки. Мотив этот и был предусмотрен художником для религиозных испытаний героя «Жития»; среди записей его плана встречается и следующая: «Посягает на хроменькую...»

И теперь ясно должно быть, что интерес Достоевского к этой сюжетной схеме вызывался и поддерживался не какими-либо автобиографическими реминисценциями, а стремлением художника найти в сюжете адекватную вы-

разительность своему религиозному постижению мира.

Но и не только схему «главы девятой» предвосхищает план «Жития»; связь здесь глубже и ближе.

Записи плана: «посвящает на хроменькую» – стоят во внутренней связи, как частное развитие общего, – с другой записью: «Прямо в бездну». Но эта последняя неразрывно связана с иной совершенно записью, краткой, но многозначительной для Достоевского: «Монастырь». «Великий грешник», осквернитель девочки, в монастыре на покаянии у Тихона – это должно было составлять содержание 2-ой части «Жития», которая в плане намечена самостоятельными записями⁶.

Но, одновременно, это – художественный остов нашей «главы девятой» «Бесов»... Отношения «великого грешника» и Тихона в плане «Жития» прямо предвосхищают диалог Ставругина и Тихона. «Пошел на послушание к мальчику» (т.е. Тихон к «великому грешнику»); «Дружба с мальчиком, который позволяет себе мучить Тихона выходками (Бес в нем)» – эти записи роднятся с теми местами диалога «главы девятой», где Тихон смиренно принижается перед Ставругиным, просит простить, признается в любви к Ставругину, а тот высокомерен и насмешлив... «Про Тихона у мальчика иногда низкие мысли, он так смешон, он так ничего не знает, слаб и беспомощен, ко мне лезет за советом, но под конец он догадывается, что Тихон коренником крепок, как ребенок чист, мысли дурной иметь не может...»⁷

Эта запись является уже как бы прямым конспектом диалога Ставругина и Тихона, где отношения грешника к подвижнику изображены так же двойственно, колебаниями между недоверчивой насмешкой и преклонением.

Такая близость «Исповеди» Ставругина к плану «Жития» объясняется историей последовательного сложения романа «Бесы»... Он возник путем

сложного перерождения первоначально простого памфлетного замысла, который, ширясь и вырастая, принял в себя осколки одновременно задуманного, но тогда не осуществленного «Жития». Появление Ставругина в «Бесах» в роли главного героя – сравнительно поздняя стадия генезиса этого романа, как раз совпадающая с отказом Достоевского от осуществления «Жития». Образ Ставругина и внес с собою в роман-памфлет широкие религиозно-художественные задачи «Жития великого грешника»⁸. Встреча «великого грешника» с Тихоном и исповедь ему – это было органической частью «Жития», предусмотренной художником еще в первые минуты вдохновения⁹. Поскольку Ставругин – «великий грешник» («Житие»), встреча его с Тихоном и «Исповедь» (т.е. наша «глава девятая») – необходимая часть романа «Бесы». Такой вывод как будто оправдывается уже непосредственным свидетельством самого Достоевского. Ведь, несомненно, нашу «главу девятую» имеет в виду Достоевский, когда в письме к Каткову от 8/20 октября 1870 года признается, что в печатавшемся уже тогда романе «Бесы» хочет в первый раз «...прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой. Идеалом такого лица беру Тихона Задонского. Это тоже святитель, живущий на спокойе в монастыре. С ним сопоставляю и свожу на время героя романа»¹⁰. Т.е. до самых последних моментов сложения романа «глава девятая» для самого Достоевского была необходимой и неотъемлемой его частью. Преемственность от «Жития великого грешника» к «Бесам» объясняет эту необходимость...

Обращаясь к законченному тексту «Бесов», находим и здесь признаки как будто случайного – вопреки замыслу художника – исчезновения «главы девятой». Без нее некоторые детали романа носят характер недо-

вершенности. Ставрогин, проснувшись, «как бы упорно и любопытно всматривается в какой-то поразивший его предмет в углу комнаты, хотя там ничего не было ни нового, ни особенного»¹¹. Шатов, провожая Ставрогина, говорит ему: «Слушайте, сходите к Тихону... Тихон, бывший архиерей, по болезни живет теперь на покое здесь в городе, в нашем Ефимьевском Богородском монастыре»¹². Та и другая подробность (можно указать еще несколько подобных же) без «главы девятой» оказываются лишними и художественно не обоснованными. И только признание Ставрогина о преследующем его бесе, только встреча и беседа с Тихоном, – только «глава девятая», – дает этим подробностям смысл художественных предвосхищений того или другого мотива, которыми так любит пользоваться Достоевский.

Наконец, исключая «главу девятую» из романа, мы нарушаем характерную стройность построения романа Достоевского, нарушаем один принцип поэтики Достоевского, согласно которому действие в начальных своих фазах движется скрытыми от читателя побуждениями и, только вступая в фазы, близкие к катастрофе, вдруг и сразу поясняется в своих скрытых причинах пространной исповедью героя. Такой «запоздалой экспозицией» является теория Раскольникова, сообщаемая уже после убийства; «Бунт» и «Легенда о великом инквизиторе» – исповедь Ивана Карамазова – сообщаются читателю после того, как внутреннее согласие Ивана на отцеубийство ему известно уже («Сладострастники»); исповедь Версилова сыну – после нелепого письма к Ахмаковой и непосредственно перед катастрофой... «Исповедь» Ставрогина перед катастрофическими событиями последней главы второй части и главами третьей части вполне отвечала бы этому, очевидно, характерному принципу построения романов Достоевского.

Таковы доводы за то, чтобы считать «главу девятую» исключенной из романа случайно, а восстановление ее в соответствующем месте текста романа – необходимым.

Есть, однако, доводы и за противоположное решение вопроса, и они, кажется, убедительнее.

Если сопоставить образ Ставрогина, каким является он в романе, и то новое, что присоединяет к этому образу наш отрывок, – сразу заметны неустрашимые противоречия... Омертвевшая маска, таящая под собою безразличие добра и зла, – таков Ставрогин, донныне известный в романе. «Глава девятая» явно оживляет эту неживую, на религиозном пути – косную силу. Здесь покаяние Ставрогина, – какими бы нелепыми формами ни облекалось, – все же есть покаяние, т.е. акт живой религиозной воли. «Вы попали на великий путь, путь из неслыханных, – говорит Ставрогину Тихон, – казнить себя перед целым миром заслуженным вами позором: вы обратились к суду всей церкви, хотя и не веруя в церковь...» Есть тут в Ставрогине и истинное смирение: «Вы... говорите со мной точно с равным», – замечает он Тихону; а Тихон отвечает: «Слово ваше, что я говорю «как с равным» – хоть и невольное, но прекрасное ваше слово»; и наконец, – последний приговор исповедника: «Вам за неверие Бог простит, ибо поистине Духа Святого чтите, не зная Его». Если включить эту исповедь в роман – совершенно невозможным, художественно не подготовленным окажется конец Ставрогина, его безразличное – в смысле религиозном – самоубийство. Тот, кто «поистине Духа Святого чтит», не мог написать предсмертного письма к Дарье Павловне; для избранника Духа уготовлен был бы Достоевским иной совершенно конец, чем этот конец Ставрогина: «гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей и т.д.»

Это противоречие в главном характере романа, возникающее при

включении «главы девятой», явно за-
прещает такое включение. Кроме того,
есть и прямые свидетельства тому, что
в пору завершительной работы над
«Бесами» и позже Достоевский считал
«главу девятую» навсегда исключен-
ной из романа. Слова Апокалипсиса:
«И Ангелу Лаодикийской церкви на-
пиши...» – едва ли повторил бы Дosto-
евский в конце романа, – в предсмерт-
ной беседе Степана Трофимовича с
«книгоношей», – если бы не считал,
что «глава девятая» исключена наве-
гда (где эти же слова вложены в уста
Тихона).

Не раз издавая «Бесы» после 1871
года, Достоевский, – уже не связанный
цензурой Каткова, – все же не включал
«главу девятую». И, наконец, самое яв-
ное свидетельство тому, как рассматри-
вал Достоевский этот отрывок по от-
ношению к тексту «Бесов»: значитель-
ную часть «Исповеди» Ставрогина Дosto-
евский почти без изменений внес в
исповедь Версилова («Подросток») в
1874 г.¹³ Художник мог использовать
для нового романа только лишь мате-
риал черновой рукописи предшест-
вующего романа, но никак не отрывок
канонического текста его.

Так, законченность характера Ста-
врогина и явно выраженная воля худо-
жника принуждают считать «главу девя-
тую» не только случайно отпавшей, но
действительно чуждой роману, – вари-
антом рукописи, не больше. Как же
примирить этот вывод с тем, что было
указано в пользу противоположного
решения вопроса? Ведь письмо Дosto-
евского к Каткову от 8–20 октября 1870
года явно указывает на наш отрывок,
как на необходимую часть романа...

Дата эта хотя и совпадает с на-
чалом печатания романа, однако не
определяет собою окончательного мо-
мента генезиса «Бесов». Осень 1870 го-
да – период, когда замысел «Бесов»
особенно сблизился у художника с за-
мыслом «Жития великого грешника».
Ставрогин почти отождествлялся с ге-

роем «Жития». И так как главным мо-
ментом этого задуманного жизнеопи-
сания было покаяние и обращение
грешника к Богу помощью Тихона, –
Достоевский и Ставрогина предназна-
чал тогда это преображение. В тот мо-
мент (казалось бы, окончательный
момент формирования романа, т. к. пер-
вая часть уже печаталась) Достоевско-
му действительно представлялась не-
обходимой «глава девятая» – рассказ о
встрече грешника с Тихоном и начало
его покаяния.

Вторая часть романа писалась,
очевидно, Достоевским еще с твердой
надеждой показать исцеляющегося «ве-
ликого грешника» (Ставрогина); наша
«глава девятая» соответствует тому
«светлому» Ставрогину, который в ро-
мане не дан, но сохранился лишь в не-
скольких намеках черновых записок
Достоевского, несомненно исходящих
от житийного замысла: «Это просто
тип из коренника, бессознательно бес-
покоемый собственной титанической
силою, совершенно непосредственно...
Он устанавливается наконец на Христе,
но вся жизнь – буря и беспорядок»¹⁴.

Так далеко (хронологически) про-
стирались колебания и неустойчивость
замысла этого романа: уже заканчивая
вторую часть романа – «главу девя-
тую», – Достоевский все еще был ближе
к замыслу «Жития великого грешника»,
чем к окончательному сплаву «Бесов».
Все еще верил он, что изобразит своего
«великого грешника» – Ставрогина
просветленным Благодатью. Но вот,
работая только уже над последними
главами романа, подходя к разреши-
тельным катастрофам третьей части,
увидал, очевидно, Достоевский невы-
полнимость своих первоначальных ре-
лигиозно-художественных целей. Исце-
лить «великого грешника» Достоевский
не нашел в себе художественных сил; и
все, что вело к этому ожидавшемуся ис-
целению («глава девятая»), – отпало.
Только отголосок этих первоначальных
чаяний художника сохранился... не в

романе даже, а на первой странице его: эпитафия из Евангелия, – это обетование грешнику исцелиться у ног Христа... Как будто вдруг и неожиданно для самого художника, в момент завершительной работы над романом, греховность героя обнаружила самодовлеющую крепость и устойчивость...

И в этой, приблизительно намеченной эволюции замысла «Бесов», – главного характера их, – отразилась, думается, обычная последовательность творческих заданий и осуществлений Достоевского. «Идиот», «Подросток», «Братья Карамазовы» тоже, подобно «Бесам», должны были, кажется, в первом замысле служить обнаружени-

ем желанной Достоевскому «мировой гармонии», той вселенской «Осанны», которая грезилась мыслителю Достоевскому сокровенной сущностью мира, лишь случайно затененной призраком греховности. Но всякий раз в завершенном создании художника Достоевского торжествовало иное, более суровое, зато и более церковное воззрение на мир, – подчиненный греху вне Благодати Духа, которая дается, как дар, а не скрыта в природе, как ее сущность.

«Исповедь» Ставрогина, как отголосок оптимистического замысла Достоевского, неизбежно должна была исчезнуть в его *chef d'œuvre*.

¹ См. письмо Тургенева к Салтыкову-Щедрину от 21 сент. 1882 года (Ч. Ветринский «Достоевский в воспоминаниях и т.д.», стр. 165); письмо Н.Н. Страхова к Л. Толстому от 28 ноября 1883 года («Толстовский музей», т. II, стр. 307–309).

² См. Булгаков «Тихие Думы» (статья «Русская трагедия»).

³ «Воспоминания детства» С.В. Ковалевской, «Вестник Европы», 1890 г., кн. VIII.

⁴ См. «Юбилейный сборник» памяти Д-го (под ред. Долинина); в сборнике «Творчество Достоевского» (под ред. Гроссмана) даны лишь отрывки плана.

⁵ См. мою статью: «Ненаписанная поэма Д-го» (сборник под редакцией Долинина).

⁶ В сборнике «Творчество Д-го» план второй части «Жития» совершенно опущен. См. эти записи плана в «Сборнике» под ред. Долинина.

⁷ См. *ibid.*

⁸ См. подробнее в моей статье «Ненаписанная поэма Достоевского» (Юбилейный сборник под ред. Долинина).

⁹ См. «Биография, письма...», стр. 202, 233 и др.

¹⁰ См. «Былое», 1919 г., № 14, стр. 49. «Достоевский – сотрудник «Русского Вестника». Незданные письма Ф.М. Достоевского 1866–1873 гг.», Б.Л. Модзалевского.

¹¹ См. «Бесы». Третье издание, соч. 1888 г., т. 7, стр. 212–213.

¹² См. *ibid.*, стр. 238.

¹³ Ср. в исповеди Ставрогина от слов: «Тому назад с той весной, следуя через Германию, я в рассеянности проехал станцию...» и до слов: «прорывался целый пук ярких косых лучей заходящего солнца и обливал меня светом» – с соответствующим местом главы седьмой третьей части «Подростка». См. изд. третье, 1888 г., стр. 461–462.

¹⁴ См. Зелинский «Критический комментарий...».

Ю. АЛЕКСАНДРОВИЧ

Матрешкина проблема

«Исповедь Ставрогина» Ф.М. Достоевского и проблема женской души

1

Не могу отделаться от впечатления этого вечера...

Весенняя распутица. Лужи, слякоть. Темь и грязь. Ветер... В свете уличных фонарей кружатся и падают мухи мокрого снега... Садятся на лицо, на ресницы и брови...

Ноги хлюпают в промоченной обуви.

...Но вот и Никитский бульвар.

Зрительный зал «Дома Печати». Анонс – «Исповедь Ставрогина». Доклад Бродского. Прочтет «Исповедь» артист Художественного театра Леонидов. На диспут приглашены такие-то и такие-то.

Стоим. Хвост очереди у кассы с семи часов. Длительное ожидание кассира. Ожидание в зале. Публика стучит – торопит.

Началось в десятом часу.

На сцене – издатель «Исповеди Бакунина» Вяч. Полонский, докладчик Бродский, Леонидов. В зале – молодежь, мужская и женская, есть и великовозрастные. Среди публики, в ложе – Стеклов, за кулисами – Литовский, Брюсов.

Бродский встает и взволнованным голосом, нервно жестикулируя, делает краткий доклад. Говорит о жутком веянии гения, излучившемся на него от найденных рукописей Достоевского. Говорит возбужденно, насыщенно, остро-напряженно, муссируя и без того напряженное состояние публики. Нервы натягиваются, как струны, и, чувствуется, у многих настраиваются в унисон с докладчиком.

Гений Достоевского представляется им как равный гениям Данте, Шекспира. Найденные страницы ри-

суются, как что-то высшее самих «Бесов», одной из ненапечатанных глав которых они являются.

Достоевского не знают. Известно лишь то, что он напечатал. Но публика не знает того, что не было никогда напечатано.

Достоевский еще не известен. И то, что в нем неизвестно, – огромное, важнее, гениальнее того, что знает читатель. Известное – ничтожнее скрытого, того, что осталось под спудом, затеряно в черновиках, в обрывках, в фрагментах.

Углышек завесы над этим Достоевским приоткрывают вот эти страницы романа, не вошедшие в текст. Страницы, от печатания которых отговорили Достоевского друзья его, против опубликования которых вдовой писателя восстал Кони и т.д. и т.д. Словом, страницы, в которых что-то такое страшное, что испугало самого Достоевского и всех, кто знал о их существовании.

О чем они?

О растлении девочки. Ребенка 12 лет. О сладострастии страдания. О наслаждении мучительством.

Докладчик «деликатно» сообщает, что автору *слишком* знакома психология растления. Есть намеки на то, что он сам лично пережил эту психологию, изнасиловав девочку.

По этому поводу что-то говорили Толстой и Тургенев, об этом писал друг Достоевского Н.Н. Страхов...

Но к личности Достоевского, ко всей этой тайне писателя-гения не надо подходить. Нельзя подходить! Надо прослушать эту повесть и умолкнуть. Принять ее и – преклониться.

Личность Достоевского – священное табу.

«Исповедь Ставрогина» – это глубины души человеческой, которые умел искать, находить, создавать один только мировой гений – Ф.М. Достоевский. Это – глубины пропасти, в которую можно лишь заглянуть на момент и – отпрянуть.

Жутью насыщено все вступительное слово докладчика, – истерический, из шкуры вылезающий кошмар.

Жутью веет от заметно настраивающегося ему в тон лица Леонидова.

Жутью прониклась и вся аудитория, загипнотизированная, замороженная пассажами, словом, жестом и мимикой.

Не мало ораторского искусства положено было для создания этой насыщенной жутью похоти и преступления атмосферы. Настолько насыщенной, что потребовался перерыв между небольшим сравнительно докладом и чтением текста, о котором, торжественно священнодействуя, и объявил Вяч. Полонский.

И это надо было. Надо было очнуться от этой прикоснувшейся прямо к лицу ослизлой длани сладострастия. Страхнуться, опомниться от надвинувшегося кошмара. Посмотреть друг другу в глаза...

2

После небольшого антракта на сцену вышел и сел за столик Леонидов. За ним сунулся было Брюсов, но предпочел занавески кулис. Сел на стул среди складок.

Рядом с артистом поместился Полонский.

Кто видел Леонидова в «Каине» и знает лицо его, с огромным черепом и нависшим круто лбом над бровями, и самые брови его, и челюсти, и весь облик этого странного, почти уродливого, почти преступно-дегенеративного склада лица, от которого веет и жутью и тысячекратней раввинской премудростью, тот может представить

себе, как дополняла громоздкая, неуклюжая фигура артиста то настроение, которое старался создать перед этим докладчик. Да еще и во время доклада взгляд невольно падал на Леонидова, видимо в это время нагнетавшего на себя «настроение» и угрюмой и мрачной мимикой дополнявшего и иллюстрировавшего слова доклада.

Когда артист начал читать вступительный текст «Исповеди Ставрогина», сцену у Тихона и самую «Исповедь», стало ясно, что это совсем не то, что давал в Ставрогине Качалов. Неверность тона, сугубая напряженность грубости, понятная скорее у разжиревшего немецкого бурбона, чем у утонченно-преступного русского барина, князя; отсутствие глубины, неумение дать почувствовать психологический надлом, надрыв, подполье души преступника, – все это оголяло, огрубляло и без того топорный рисунок Ставрогина, данный здесь Достоевским, делало его смесью Спинозы и Ноздрева, поручиком Луженовским, изнасиловавшим и выпоровшим Спиридонову и затем написавшим Юмовский «Диалог о религии».

Смесь грубости, дикости Ноздрева и тончайшей диалектики, – подчеркиваем: только диалектики, – метафизика Юма, Спинозы или кого-либо в этом роде – вот что дал Достоевский и что подчеркнул Леонидов.

Грубое муссирование трагедии, которой совсем не чувствуешь нервами, и не постигаешь умом, и не веришь ей совестью, – не хочешь и не можешь принять, – вот что создавал Леонидов.

Метафизически словоблудящий бурбон. Вряд ли это входило в замыслы «мирового гения».

Пугает, стучит кулаком, рычит и рывкает, а нам, – повторяем слова Льва Толстого, – не страшно. Мало того, было страшнее, когда мы читали Андреевские «В тумане», «Мысль» и «Бездну». И темы-то близкие...

В чем же дело? Одна ли здесь вина артиста или виноват и писатель?

Нас мало трогает вина артиста. Одним бездарным исполнением больше, одним меньше, – право, это не важно.

Но вопрос о писателе... Вопрос о Достоевском...

Это нас слишком касается. Слишком болит.

Повторяю, я не мог отделаться от впечатления этого вечера¹. И странное оно, впечатление... И странные мысли оно породило.

Позвольте. Это – Достоевский?

Не верю.

Не верю. Не верю!

Не хочется верить. Не надо верить!

Как? Достоевский, который из-за «слезинки ребенка» отвергнул весь мир? Как? Достоевский, который дал нам «Униженных и оскорбленных»? Достоевский, сказавший: «познается, что последний человек есть тоже человек и называется брат твой»?

Это – Достоевский?

Не верю!

3

К «Исповеди Ставрогина» можно подходить с двух сторон:

1) Смотреть на нее, как на игру великого ума, как на гениально отшлифованный бриллиант метафизической диалектики, как на нечто совершенно отвлеченное от жизни, как на тригонометрию, нечто вроде новых «Диалогов о религии», диалогов о совести, о Боге, о грехе и покаянии. Или –

2) Смотреть на нее, как на реально-психологический анализ души преступника и его жертвы, анализ преступления и его психологии и патологии, как на проблему мужской и женской души, столкнувшихся около пола, около похоти.

Отношение наше к ней резко меняется в зависимости от точки зрения, на которую мы встанем.

Если в первом случае мы восхищаемся остротой и искусством диалектически-метафизического ума Достоевского, извиняем ему то, что он эту *свою* гениальную диалектику навязывает неподходящей фигуре Ставрогина, и ставим остроту его философского дерзания рядом с Андреевской «Мыслью», а оголенность проблемы – рядом с его же «В тумане» и «Бездной», то во втором случае мы остановимся в изумлении перед необъяснимым на первый взгляд нонсенсом.

Если мы взглянем на нее, как на реальный психологический подход к бездонной половой проблеме, в изучении которой человечество не сделало еще и половины дела, как на анализ мужской и женской души, мужского и женского начала в великом столкновении полов, на анализ того инстинкта первозданности, когда, при встрече двух, внезапно загорается неведомо отчего и неведомо как

из-под опущенных ресниц угрюмый,
тусклый огонь желанья,

мы отойдем от этой вещи Достоевского, как от *жалкой* попытки проникнуть за завесу изначального инстинкта.

Глубокое недоумение, глубокое разочарование нас охватит. И тем более горькое, что самая попытка эта сделана *Достоевским*. И сделана – неудачно. Он дотронулся дрожащей рукой до завесы – и отскочил.

И это Достоевский?

Не может быть.

4

Двенадцатилетнюю девочку, названную автором презрительным именем Матрешки, с грязными руками и, вероятно, с красненьким мокнувшим носом, мать жестоко наказывает. Режет розги и порет ее по оголенному телу.

Один раз, благодаря Ставрогину (у него пропал перочинный ножичек), она была высечена при нем розгами

так, что кровавые рубцы остались на детском теле. Ставрогин смотрел на нее. Его глаза обшаривали ее тело и видели его вздрагивания при каждом ударе.

Глаза мужчины...

Что *она* чувствовала в это время?

Достоевский не знает...

Он говорит, что она молча, без плача переносила экзекуцию и только при каждом ударе как-то странно всхлипывала.

Не правда ли, – странная девочка?

Станный, не в меру терпеливый ребенок.

Достоевский это отметил, но не заметил.

Душа маленькой женщины-ребенка осталась для него тайной.

Матрешка... Да и есть ли у нее душа!

Что она чувствовала? Что она думала в это время? Что переживала? О, это автору не важно! Ни одного человеческого слова не вложено в уста Матрешки.

Она – бессловесна на всем протяжении повести.

И он весь уходит в психологию Ставрогина. Негодяя. Преступника.

А может быть... и не преступника?

Быть может, просто мужчины, почувствовавшего внезапно на себе жуткую, стихийную власть пола? Власть, с которой не борются? Ибо борьба безнадёжна? Желание, идущее навстречу желанию другого?

И это опять упускает Достоевский.

5

Во время экзекуции Ставрогин задумал свое преступление.

Через три дня он приступил к его выполнению, оставшись с ней с глазу на глаз. Вот как описывает он эту сцену.

«Через три дня я воротился в Гороховую. Мать куда-то собиралась с узлом; мещанина, разумеется, не было, остались я и Матреша. Окна

были отперты. В доме всё жили мастеровые, и целый день изо всех этажей слышался стук молотков или песни. Мы пробыли уже с час. Матреша сидела в своей каморке, на скамеечке, ко мне спиной, и что-то копалась с иголкой. Наконец вдруг тихо запела, очень тихо; это с ней иногда бывало. Я вынул часы и посмотрел, который час, было два. У меня начинало биться сердце²... Я встал и начал к ней подкрадываться. У них на окнах стояло много герани, и солнце ужасно ярко светило. Я тихо сел подле на полу. Она вздрогнула и сначала невероятно испугалась и вскочила. Я взял ее руку и тихо поцеловал, принагнул ее опять на скамейку и стал смотреть ей в глаза. То, что я поцеловал у ней руку, вдруг рассмешило ее, как дитя, но только на одну секунду, потому что она стремительно вскочила в другой раз, и уже в таком испуге, что судорога прошла по лицу. Она смотрела на меня до ужаса неподвижными глазами, а губы стали дергаться, но все-таки не закричала. Я опять поцеловал ей руку и взял ее к себе на колени».

Далее Достоевский говорит, что когда Ставрогин «поцеловал ей руку, взяв ее к себе на колени», а в черновике: «целовал ее лицо и ноги» и повторяет: «Когда поцеловал ноги – она вся отдернулась и *улыбнулась* как от стыда... Все лицо вспыхнуло стыдом».

«Наконец, – говорит он дальше, – вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление: девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг *ужасно целовать сама*. Лицо ее выражало *совершенное восхищение*».

«Я чуть не встал и не ушел – так это было неприятно в маленьком существе от жалости, которую я вдруг почувствовал» (зачеркнуто: «но я преодолел внезапное чувство моего страха и остался»).

6

Что это значит? Пол? Встреча двух желаний?

А если это так, если желания скрестились, – при чем же здесь преступление?

Где его моральное обоснование? (Мы не говорим о юрисдикции³.)

В чем же трагедия? В страхе казны, в боязни расплаты? Но это пошлость, а не трагедия!

Где граница между глубиной трагедии и просто – мещанской драмой? Между Голгофой души и простым страхом каторги?

И в чем трагедия Ставрогина?

В том, что в его время, в пределах его расы, в известной среде и атмосфере данного момента, *считается*, что девочка двенадцати лет еще не женщина? Но кто скажет, где грань между женщиной и ребенком, между ребенком и женщиной? Когда и где кончается одно и начинается другое?

И в чем преступление: в том ли, что она взята насильно, или в том, что она взята рано, хотя и не насильно?

История нравов знает, что в других народах и странах и в другие эпохи двенадцать лет – признанное начало правовой правоспособности. Есть народы (Индия), у которых в этом возрасте готовятся стать матерью. Есть натуры, пол которых в двенадцать лет кричит и брызжет. В Европе в наши дни и ранее известны проститутки двенадцати и менее лет. Недавно они были и в России, в Москве, на юге.

Неужели это осталось неизвестным писателю?

Вот сейчас перед нами Брюсов, который в своей автобиографии писал, что знал женщин, имея возраст до десяти лет. Это же мы знаем от Бальмонта и иных. Чем тоньше и одареннее натура, тем ранее в ней пробуждается пол. Мы знаем эпоху в России расцвета свободной любви, эпоху «огарков» и «лиг», когда дети двенадцати лет

узнавали всю радость и горе страсти и похоти.

Достоевский был истерик. Он мог написать повесть о растлении, лично взяв девицу и восемнадцати лет.

Недаром он путается в черновике отрывка.

Матреше то двенадцатый год, то четырнадцатый. И только на вид она «ребенок».

В структуре фразы: «я оставался один с их дочерью, совсем ребенком на вид», – после «с их дочерью» зачеркнуто: «думаю, лет четырнадцати».

А в конце следующего абзаца сказано: «ей *уже* был двенадцатый год».

Словом, этот «ребенок на вид» мог оказаться и пятнадцатилетним, и шестнадцатилетним на деле.

А может быть, его и вовсе не было, а была одна фантазия, бред, галлюцинация?

Но тогда...

Где же «мировая трагедия»? И в чем? И для кого?

Для презренной Матрешки или для самолюбующегося и самосверлящего диалектика князя Ставрогина?

Где ответы на все эти вопросы? Где Достоевский?

А между тем вопросы эти – наипервейшие. От того или иного ответа на них ломается и летит к черту вся филигранная работа Достоевского над этой частью романа. От того или иного решения зависит ответ на то, есть ли реальные основания, обоснована ли реальными фактами словесная эквилибристика Ставрогина. От того или иного ответа зависит наш вывод, не подобны ли и Достоевский, и Ставрогин со всею этою метафизикой добра и зла, религии и атеизма – обезьяне, вращающей чурбан, белке в колесе, только воображающим, что они делают дело, решают величайшие мировые вопросы? Быть может, вопросов этих и нет?

И надо отдать должное «Исповеди Ставрогина» – здесь сделано все для этого вывода.

Казуистика, напоминающая споры и словесные состязания и турниры талмудистов, притянута к факту, что называется, за уши.

Сущность такого рода поэтического и литературного творчества, которое реальные переживания с дешевой этюальной петербургских панелей претворяло в «стихи о прекрасной даме», о «незнакомке», роман праздного барчука с горничной – в мировую трагедию, – эта сущность получила неблагоприятную, но меткую характеристику в устах нашего народа:

«Выпил на пятак, а пьян на целый».

Ставрогинская «Исповедь» и вся его беседа с Тихоном – это то, что на этом языке называется «куражиться».

И еще точнее, но непередаваемое: «удалось некоему человеку что-то сделать, – рад мир протушить».

Черта – определенно несимпатичная.

Вот почему, и это я почувствовал на публике и в этот раз, и через две недели в «Союзе Писателей», на повторении сеанса с послесловием Гроссмана, – все эти мировые вопросы, навинченные Достоевским, – для русского человека яйца выеденного не стоят.

В этом его национальная особенность. Здравость мысли и презрение к тому, кто «куражится» без толку.

7

Вяние абсурда, вяние какого-то сплошного недоразумения висит над всей пресловутой трагедией князя, которая вся держится на ниточке, и над всем пестованием Достоевским его личности.

В самом деле.

Вот перед нами сцена, полная, по-видимому, глубочайшего, наивысшего трагизма в коллизии двух этих личностей: Матрешки и Ставрогина.

Изнасиловав девочку, Ставрогин дрожал за себя и гаденько следил

за тем, что она будет теперь делать дальше.

Девочка была больна, видимо страдала; встречаясь со Ставрогиным, смотрела на него широко раскрытыми недоуменными глазами и, наконец, столкнулась с ним лицом к лицу.

Эта сцена написана Достоевским со всей присущей ему силой. Она не забывается.

Ставрогин сидел в одной комнате. Она была в другой. Незримо они следили друг за другом.

Что думала девочка – нам неизвестно. Была ли она поражена, обижена, оскорблена после жгучих поцелуев Ставрогина его полным от нее отчуждением, даже враждебностью, – мы не знаем. Была ли она, наоборот, только озлоблена за причиненное ей страдание и ненавидела, – Достоевский не знает, по-видимому, сам. Ему неинтересно, как отразился на ней факт внезапной половой близости с мужчиной, который незадолго пред тем смотрел на вздрагивавшее ее обнаженное тело под розгой. Проснулась ли в ней женщина под внезапным наплывом его мужских ласк и объятий, или, – наоборот, в ней говорил только ребенок, которому сделали больно.

Повторяем, мы этого не знаем. Не знает и сам Достоевский. И вот совсем не как реалист и психолог, а как натуралист, фотограф, он дает эту незабываемую, жуткую сцену без слов.

Девочка встает со своего места, подходит к порогу и молча и долго смотрит на Ставрогина. Тот встречает ее взгляд, и в нем загорается ненависть к ней, его жертве. Эта ненависть светится из его глаз, и ребенок, разумеется, ее чувствует.

Тогда девочка опять-таки молча, без слов и не двигаясь с места качает своей головой, как бы с упреком. За что? За то, что он ее взял? Или, быть может, за то, что, взявши, отбросил, как более уже ненужную вещь? Как игрушку? За то, что не взял еще и еще?

Достоевский говорил, описывая сцену изнасилования: «Когда все кончилось, она была смущена... Она глядела на меня, робко улыбаясь».

И только потом, *увидав, что она ему более не нужна*, «наконец закрыла лицо руками и стала в угол лицом к стене неподвижно».

В чем же дело?

Что хочет сказать она своему соблазнительно теперь, после нескольких дней отчуждения?

Неясно. А между тем важно. Важно, *кто* перед ним: проснувшаяся маленькая женщина или ребенок, который вот-вот заплачет.

Но она не плачет.

Ставрогин «очень скоро заметил, что она совсем его не пугается, а, может быть, скорее в бреду. *Но она и в бреду не была*».

Тихо и медленно, с воспаленными глазами и молча поднимает она кулачки и грозит, потрясает бессильным маленьким кулачком.

Тогда Ставрогину становится страшно. Немой ужас пробегает мурашками по спине...

«Первое мгновение, – рассказывает Ставрогин, – мне это движение показалось смешным, но дальше я не мог его вынести. На ее лице было такое отчаяние, которое невозможно было видеть в лице ребенка. Она все махала на меня своим кулачком с угрозой и все кивала укоряя. Я встал и подвинулся к ней в страхе, осторожно заговорил негромко и ласковее, но увидел, что она не поймет. Потом вдруг она стремительно закрылась обеими руками, как тогда, отошла и стала к окну, ко мне спиной».

Потом исчезла.

Ставрогин встает и глядит, как бы что-то предвидя, в окно на двор. Он видит, как девочка вышла на крыльцо и прошла по двору на другую сторону, к чулану, рядом с отхожим местом. Вошла и скрылась внутри, тщательно притворив за собой дверь.

Сцена окончена.

Что она значит? Что хотело сказать своей мимикой дитя? Что хотел сказать Достоевский?

Автор нам ранее сообщал, что мать часто и больно секла девочку розгами по обнаженному телу.

Позорное, стыдное наказание. Часто дети, подвергаясь ему, ощущают смесь этого жгучего стыда и страдания боли. Сложное чувство. По большей части оно вызывает преждевременное пробуждение полового чувства. Кровь приливает к органам, вызывает новые ощущения, боль начинает смешиваться с острым чувством наслаждения. За рождаются первичные формы пассивного садизма. Мастурбация.

Мы мало знаем о женской душе. Писатели-мужчины до сих пор не могли проникнуть в ее тайны. Мы не знаем, как, при каких обстоятельствах рождается, растет и развивается половая индивидуальность женщины.

Чудовищный пробел, непростительная небрежность.

Есть даже в науке такие господа, которые констатируют «физиологическое слабоумие», «половой идиотизм» женщины (д-р Мебиус). Есть такие, что отрицают вообще у нее остроту полового инстинкта (Вейнингер).

Они невежды – эти ученые.

Но мы их понимаем. В то время как литература, научная и художественная, о мужской душе полна материалами и бесспорностями, женская интимная жизнь пола от них закрыта. Женщина молчит. Она – бессловесна. И это гениально подчеркнуто Достоевским.

Она иногда только поднимет кулачок и трясет им с глазами, полными слез или горящими сухим огнем негодования.

Что хочет сказать она?

Мы не знаем. Никогда не знаем. Роковое по своим последствиям незнание. Сколько ошибок оно рождает! Сколько лишних слез, которых могло и не быть!

Совсем недавно написана книжечка покойной польской писательницы Анны Мар «Женщина на кресте». Чуть ли не первая книга о самом интимном в тихой, застенчивой женской душе, написанная женщиной с жестокой оголенностью. Из этой повести о женщине мы узнаем, *что* рождается из обычая телесного наказания в раннем возрасте, из обычая сечения. Узнаем, как темна, глубока и загадочна эта стыдливая душа женщины. И как бездонно она подчас порочна.

Достоевский – специалист по садизму и половому, и нравственному, и умственному. По извращению.

Где же он был, когда писал «Исповедь Ставрогина»? Где девалась его наблюдательность? Или душа этой маленькой женщины Матрешки с грязными кулачками менее ценна, чем душа князя Ставрогина?

Почему он обошел ее душу? Почему предоставил нам думать о ней как угодно? Неужели так ничтожно, мелко, безобидно и безрезультатно для нее было деяние Ставрогина? Неужели о жертвах Ставрогиных (а имена их обильны, напомним о деле профессора Мережковского, о пансионке Дюлу и о мн. др.), неужели об их жертвах *Достоевский* не должен писать? Подойдя так близко к вопросу, неужели возможно ограничиться моментальной фотографией и на том остановиться, обратясь к «любимцу публики» Ставрогину?

8

И вот теперь:

Мы не знаем, за что грозила она кулачком соблазнителью: за то ли, что он бросил ее, насладившись, или за то, что сделал ей больно.

Мы не знаем, зачем пошла она в темный чулан, – плакать или доступными ей средствами утолить возникшую жгучую похоть.

И следим вместе с Ставрогиным за ее действиями.

Что происходит там, за дверью чулана, во тьме прикрытия? Что делают тонкие ручки ребенка?

Мы тихо подходим с ним вместе к дверце, поднимаемся на носки и смотрим в верхнюю щель.

Глаз преодолевает темноту, и... мы в ужасе отскакиваем.

На веревке болтается детское тело...

9

Эффект? Кино? Дешевка?

Нет. Роман Достоевского. Роман «мирового гения».

В чем же дело? Почему? Как это могло случиться?

Ни Ставрогину, ни Достоевскому – не интересно.

Но для нас – слышите! – для живых людей – это коренной вопрос жизни. Это вопрос, стоящий всей метафизической болтовни негодяя Ставрогина. Всей этой гениальной эквилибристики мысли и диалектики.

Это – вопрос жизни и смерти!

Вы не смее молчать об этом, когда говорите о Боге, о грехе, об искуплении! Иначе вы – шарлатаны, лжецы, актеры, кривляющиеся на дощатом помосте святочного гулянья!

Смерть должна быть оправдана. А она неожиданна, она нереальна, она – картонаж. Она не подготовлена ничем и не объяснена.

Почему – смерть?

10

И вот. Мы понимаем теперь, почему Достоевский, а в гении его мы не сомневаемся, выбросил из текста этот большой эпизод.

Он – неудачен.

Этот бриллиант – не чистой воды.

Дитя, созревшее для смерти, не могло не созреть для любви.

Все построение рушится.

Он понял, что *это* ему не удалось.

Не понять этого он не мог.

И, бессильно стукнувшись лбом об эту проблему, перечеркнул все крест-накрест.

Он был прав. Лучше не касаться этой огромной проблемы, этой пропасти, чем, коснувшись, писать о ней однобоко.

Касаться проблемы похоти, проблемы изначального влечения человека к человеку, мужчины к женщине, — и знать только *все* о мужчине и *ничего* о женщине, — лучше оставить эту затею.

Достоевскому не надо было читать Леонида Андреева, чтобы сделать вывод о том, что существуют мужчины, в мозгу которых с раннего детства, чуть не с младенчества огненными буквами выжжено слово «женщина» («В тумане», Павел Рыбаков), и не надо было читать Анну Мар, чтобы знать, что бывают и женщины, у которых в мозгу тоже с младенчества чьей-то рукой выжжено слово «мужчина».

И жжет их, делая их обреченными...

Он знал это, конечно. Но ни фантазировать, ни лгать не хотел. Он попробовал умолчать, — и ничего не вышло. Получились ходули, необоснованная, однобокая вещь, неоправданная, оторванная от жизни, от почвы, от пролитой крови.

А там, где проливается кровь, — надо сказать или все, или — ничего.

Разводить по этому «поводу» туры на колесах для большого художника, для «мирового гения» — непозволительно.

И думается нам, что Достоевский понял это. Почувствовал, что свернул себе шею на этой проблеме. И вычеркнул все на корню.

Мы преклоняемся перед его решением.

Да, так было надо.

Но мы не понимаем вот чего. Кому и для какой надобности пона-

добилось нарушать эту волю покойного писателя и делать бум и событие из чисто академического обретения где-то типографских гранок первоначального набора этой повести о растлении ребенка? И зачем понадобилось подавать это блюдо широкой публике под крепким перцем и пикантным соусом намеков на слишком близкое знакомство Достоевского с актом и патологией растления девочек? Для кого оказалась не священной эта спорная тайна покойного русского писателя, которую он унес с собою в могилу? Для кого имя его оказалось недостаточной гарантией священности его воли? Оправданности его дел.

Разве Достоевский не весь оправдан?

Очень больно. Но надо сказать. Рынок и улица, спрос и законы товарообращения захлестывают и в эти дни русскую литературу. Биржа и спекуляция, торговля всем, что подвернется под руки. Лишь бы было ходко.

Жрать хочется!

Поистине, мы близки к тому моменту, когда, найдя грязное белье большого русского писателя, понесут его на рынок и будут махать им и кричать:

— Ново! Ново! Сенсационно! Достоевский в роли растлителя. Вот доказательство: кровь на белье!

— Разбирайте живее! Завтра будет дороже!

Противно и стыдно.

За русскую литературу больно.

Распинают и растлевают, как эту вот бедную, всеми презренную Матрешку!

И защитить ее некому! Гробовое молчание...

.....

А и где же тот темный чулан, где б она удушилась!?

¹ Характерно, что подавленная впечатлениями публика единогласно отказалась от диспута и прений.

² Первоначально после этого стояло: «но тут я вдруг спросил себя: могу ли остановиться, и тотчас ответил, что могу». Эта фраза зачеркнута, из чего ясно желание автора показать, что остановиться Ставрогин *не мог*.

³ Нам возражат: но ведь она же не сознавала. Желание ее было бессознательным.

Ответим: а разве инстинкт и сознание неразлучны? Говоря принципиально, обобщая – разве в 99 случаях из 100 пол не стихия? Разве пол не сама бессознательность? Не подсознание? Чем было бы человечество, если б оно рассуждало, не подчиняясь инстинкту? Позднышевскими толстовской «Крейцеровой сонаты»? Философом скопчества Львом Толстым?

Оно не знало бы любви. Ибо любовь сознательная – достояние избранных душ. В массе она – подсознание. Человечество вымерло бы, если б оно рассуждало. Оно превратилось бы в Андреевских старух из «Жизни человека», рассуждающих шамкающими губами о женщинах, которые «рожают и умирают».

– Да, рожают и умирают. И все же рожают.

СЕРГЕЙ БОБРОВ

«Я, Николай Ставрогин...»

«Я, Николай Ставрогин, отставной офицер, в 186... г. жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия...»

«Всякое чрезвычайно позорное, без меры унижительное, подлое и, главное, смешное положение, в каких мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение...»

«Это была единственная кража в моей жизни... Было тридцать два рубля, три красных и две желтых... Часа через четыре, и уже вечером, чиновник выждал меня в коридоре.

– Вы, Николай Всеволодович, когда давеча заходили, не сронили ли нечаянно со стула вицмундир... у двери лежал?

– Нет, не помню. А у вас лежал вицмундир?

– Да, лежал-с.

– На полу?

– Сначала на стуле, а потом на полу.

– Что ж, вы его подняли?

– Поднял.

– Ну, так чего же вам еще?

– Да, коли так, так ничего-с...»

«(Девочка) была белобрысая и

весноватая, лицо обыкновенное, но очень много детского и тихого, чрезвычайно тихого. (Зачеркнуто: «думаю, лет четырнадцати...») Мать ее любила, но часто была и по их привычке ужасно кричала на нее по-бабьи... Но прежде того было вот что: в ту самую минуту, когда хозяйка бросилась к венику, чтобы надергать розог, я нашел ножик на моей кровати, куда он как-нибудь упал со стола. Мне тотчас пришлось в голову не объявлять, для того чтоб ее высекли. Решился я мгновенно; в такие минуты у меня всегда прерывается дыхание...»

«Мать куда-то собиралась с узлом; мещанина, разумеется, не было. Остались я и Матреша... Матреша сидела в своей каморке, на скамеечке, ко мне спиной, и что-то копалась с иголкой. Наконец вдруг тихо запела, очень тихо, это с ней иногда бывало... У меня начинало биться сердце... Я взял ее руку и тихо поцеловал... Наконец, вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление: девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо ее выражало совершенное восхищение... Когда всё кончилось, она была смущена...»

* * *

Выписанное не исчерпывает чудовищной мрачности подлежащего материала. Это: «Документы по истории литературы и общественности. – Ф.М. Достоевский. Вып. первый. 1. Исповедь Ставрогина. 2. План Жития великого грешника. – Издательство Центrarхива Р.С.Ф.С.Р. М., 1922». Стр. 80 и четыре таблицы-факсимиле. Тираж десять тысяч экз.

Все это найдено в недавно вскрытых ящиках Достоевского в Центrarхиве. И напечатано в десяти (!) тысячах экземпляров.

Достоевский мрачен, свыше всякой мыслимой меры, эти же страницы раскрывают перед нами пропасть такой глубины и такого отчаянного антигуманизма, что это несомненно писано нездоровым человеком. Эти страницы – в руки психиатров. Им это нужно и важно. Их наука живет гуманизмом: она стремится облегчить ужасы сумасшествия, они должны изучать все это. Зачем это нам, читателям, обществу?

* * *

Подумайте о Пушкине. Мы не знаем и не узнаем (в скорости по крайней мере), каков был тот тяжелый материал, который послужил жизненным постулатом (мы говорим не о биографических данных, а о данных сознания) для «Пиковой Дамы» и маленьких трагедий. Они напоены тяжелым мраком. Очевидно, что жизненные основания этих произведений в достаточной степени страшны. Ряд преступлений и разнообразных убийств. Общий тяжелый фон происшествий. Величина Пушкина определяется в данном случае тем, что он умел организовать этот материал и дать нам не кашу противоречивых метаний интеллекта из одной бессмыслицы в другую, – а трагедию.

У Достоевского – никакой трагедии нет. Сырой разложившийся мозг сумасшедшего не трагичен. В нем нет никакой антитезы, кроме противоположения узаконенных форм жизни с бессмысленными нарушениями их. Нарушения эти постулируются тем, что откроет микроскоп психиатра на вскрытии черепа.

* * *

У Альтенберга где-то есть фраза, что художник должен обладать опьяненным сердцем и холодным трезвым умом.

Опьяненное сердце объективирует мир из восхищения и сострадания. У Достоевского это подменяется сходными по виду, но противоположными по существу, – болезненным замиранием перед совершением гнусности (восхищение) и тем же замиранием при вызывании чужого страдания (сострадание). Больница, палата № такой-то, – недаром брюзгливо косился Тургенев на Достоевского: «Больницей пахнет...»

Страшная подробность описания приводит к механическому (магия слов...) закреплению в уме читателя чудовищного фантома разлагающейся души. Воображение расстроено, – оно фиксируется на подробностях: быта преступления. Истерика втягивает в себя читателя. Искушение читателя не имеет подобия, – вот бездна, прыгайте, это всякому доступно. В этом что-то есть, – так обманывает читателя автор.

* * *

Достоевский стоит в определенной связи с Гофманом. Но он перенял у немецкого романтика лишь метод общения с читателем. Сарказм Гофмана разлагается в сарказм над собственной бутафоричностью, его здоровый темперамент вытаскивает его из любой

путаницы. Да, говорит Гофман, пертурбации переживаний могут создавать такие и такие-то фантазмы, но живое сердце их побеждает. У Гофмана человек прост, и эта-то простота его спасает.

У Достоевского, как у Ставрогина, «великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость» (слова Тихона), ей постулируется и сарказм и все остальное. И любовь к смешному положению и неожиданный страх перед ним (перед Тихоном, когда он указывает, что исповедь – смешна). И ужас перед обществом, кончающийся тем, что после раскрытия секрета Ставрогину приходит мысль убить Тихона.

Что остается? – Остается петля, которую и получает Ставрогин. Но при чем тут искусство?

Ясно, что ни при чем, не его это дело.

Художник – это здоровый человек. Иначе... иначе получается исповедь, никому не нужная, – «великая праздная сила».

Да ведь и эта фраза – только издевательство, ибо и на эту фразу – наплевать Ставрогину.

Преступление в трагедии – результат неизбежности (фатум). У Достоевского до крайности подчеркнуто, что все это было неизбежно и есть результат злой воли, актуального зла.

Пушкинский Сальери находит рациональные основания для преступления, – у Ставрогина их нет, они кончатся в ощущениях, и только.

Подробность описания, подчеркивание нехарактерных и неважных мелочей, фиксирование внимания на обстановке, по существу безразличной, но важной тем, что она – вместилище происходящего, – гипнотический прием, направленный к читателю. Эстетики нет, есть дерганье читателя за нервы, есть механическое прикрепление

воспринимающих и воссоздающих центров к такой-то данности, оболганной медиумическим автором (она объявляется вместилищем гнусностей, а «стало быть» – очевидная деформация силлогизма, вызываемая медиумом – их причиной), подготовка рамолизованным сознанию, дабы сломить сопротивление рассудка. В рассудок со сломленным сопротивлением внедряется актуальное зло. Это не искусство, и ничего общего с этой, как говорил Вольфганг Гете (и как повторил Шопенгауэр), радугой мира это занятие не имеет.

«Униженные и оскорбленные» персонажи здесь лишь материал для злой воли, они ввещены, реализованы, лишь с теми же гипнотическими целями (реализации обстановки), по существу они фантомы, они – фон, где разыгрывается бесстыжейший фарс актуального зла, не имеющего другой цели, кроме себя.

Автор говорит за злую волю, этим она еще актуализируется. Ее актуальность подчеркивается всячески: «Исповедь» еще стилизует, подделывается под стиль полицейского документа.

Пустите по людной улице никем не управляемый автомобиль, и, несмотря на то что его движение не имеет отношения ни к добру, ни к злу и несмотря на то что он добросовестно выполнит заданное ему, результатом его действия будет зло. Нам скажут с хихиканьем: – а-а! искусство должно иметь морально чистую подкладку! – Старая песня! – Да: искусство этично и эстетично. Не-этичное искусство одновременно и не-эстетично, и, стало быть, оно совсем не искусство.

Есть сила, и, может быть, кто-нибудь назовет ее красотой – в «Исповеди»: но травля людей диким

зверьем из ложи Нерона, наверное, тоже казалась красивой. Наше современное сознание переводит такую «силу» в гнусность. Спорьте с ним, с этим сознанием, если вам нравится; вам придется спорить с человечеством, – надо полагать, оно одолеет.

Труд постулирует существование. Ряд заработанных ценностей есть жизнь. Работа, не направленная никуда (не направленная на строение жизни), обязательно направляется на разрушение жизни, ибо всякая работа имеет результат, а середины здесь быть не может.

Не в коротенькой журнальной заметке решать вопросы, касающиеся эстетики Достоевского. Но этот вопрос приходится хотя бы поставить, затронуть походя, ибо ведь «Исповедь» писана Достоевским, она как-то входит в круг его творчества, – это кусок Достоевского, и – из песни слова не выкинешь.

Существенно было бы важно выяснить, по каким причинам не напечатал Достоевский сам «Исповедь»; но как бы ни был решен этот вопрос, он для нас теперь не настолько существен. Для нас «Исповедь» ныне уже входит в Достоевского (хоть и с оговорками), в наше представление о нем.

Достоевский не раз подходил к теме «Исповеди». Сцена Свидригайлова с Дунечкой, стрельба, веселенькие реплики мишени, наконец, «умоляющие глаза» несопротивляющейся Дуни (вечное у Достоевского: разложение доброго начала под влиянием злого) и проч. Да и один ли Свидригайлов? В любом романе Достоевского потенциально заключается тот же материал, который пошел на выделку «Исповеди». У того же Свидригайлова в его кошмаре – девочка-самоубийца, утопленница, четырнадцати лет (жертве Ставрогина по варианту столько же),

она «погубила себя, оскорбленная обидой, ужаснувшись и удивившись это молодое детское сознание», в том же кошмаре приснившаяся еще меньше девочка, кухаркина дочь, которую «мамасы плибьет» и в которой далее раскрываются какие-то сексуально-демонические черты, – все это то же самое.

Подходил и отскакивал. Еще немножко, чуть-чуть... нет, невозможно: герой стреляется (Свидригайлов), вешается (Ставрогин), и его тайна умирает вместе с ним. Но болезненная тяга к окончательному раскрытию была, оставалась, наконец победила. Смысл общий: злое сильнее доброго, злое разлагает своим соблазном доброе. В «Исповеди» доброе (Тихон) пугается злого (Ставрогина) и откидывает его от себя, не побеждая, по существу, своим знанием злого. Злое отскакивает, разоблаченное, но ни в какой мере не побежденное. Читатель, следовательно, может вывести: злое непобедимо.

Эстетика Достоевского: красивое страшно, ибо имморально. Можно любоваться и светлым идеалом, и темным... и вдруг прорывается: «что уму представляется позором, то сердцу – сплошь красотой». Очевидно, дело не в иммориализме красоты Достоевского, а в анти-морализме его красоты. К тому идут вечные доказательства, что злое легко разлагает доброе и внедряется в побежденное и разложенное сознание. «Жизнь – копейка, – говорит какой-нибудь Свидригайлов, подставляя лоб под Дунечкин револьвер, – я ею не дорожу, вот я какой». В сознании партнера (жертвы обыкновенно) происходит размышление: если этот человек сейчас так играет жизнью, то очевидно ему есть за что ею играть, он хочет или вот этого, или – ему и на жизнь наплевать. Так рассуждает человек – и ошибается, ибо никакого «вот этого», загадочность которого и губит Дунечку и всяких Дунечек, нет у

Свидригайлова и не было, а жизнь ему не нужна, и он с ней расплывается через сутки. Вся иллюзорная сила злых героев Достоевского в том, что они уже разложились и вообще представляют собой категорию «еще не застрелившихся за недосугом людей». Простое человеческое сознание отказывается абсорбировать этот полоумный факт, ищет рациональных и сентиментальных объяснений, в порядке этого искания тянется жалостно к этому же разлагающемуся самоубийце – тут и пропасть: он – самоубийца-профессионал и

больше у него за душой ни гроша нет. В пропасти пустоты гибнет и новое сознание. Некий духовный упыризм.

Окрестность наполнена идиотами: что-то блеет первый русский имажинист капитан Лебядкин, с паучьим добродушием острит Федька-каторжник над зарезанным им человеком. Самоубийцы охотятся друг за другом да пополняют свои ряды, «удивляя» четырнадцатилетних девочек.

Есть связь у «Исповеди» с Достоевским? – Есть. Выводы? – Мы представляем их читателю.

Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ

Русская стихия у Достоевского

Русская стихия – она чувствуется каждым русским, как непонятная и непередаваемая иностранцам сущность русской души, русского характера, русской судьбы, даже русской природы. Нужно сознаться, что и нам самим она не вполне понятна – «умом России не понять» – уму непонятна, хотя близка и знакома и родственна, ибо мы живем в ней и из нее рождены, из этой иррациональной стихии. Теперь уже иностранцы начинают ее чувствовать – «das Russentum», – говорит Шпенглер, и переживает это, как особую стихию, глубоко отличную от западноевропейской культуры.

Шпенглер думает, что нужно ее понять, нужно – даже для Запада. Но и нам нужно ее понять, чтобы не погибнуть в ее стихийности, чтобы не потонуть в ее бурях и вихрях... А может быть – будем верить в это, – чтобы создать из этого хаоса русской души новый прекрасный Космос.

Достоевский верил, что мы создадим нечто великое для всемирной культуры. «Народ-богоносец» – это звучит теперь наивно и претенциозно.

Но его вера не наивная вера, она прошла через горнило величайших сомнений. Все произведения Достоевского вовсе не напоминают наивность Руссо, Толстого с их верою в добрый народ, в сущность человека, которую вы тотчас получите во всей чистоте, лишь только уничтожите власть тиранов или всякую власть вообще: человек уже готов для земного рая – уничтожьте досадное заблуждение власти, и все устроится.

Достоевский обладал, напротив, редкой зоркостью ко злу; чувство первородного греха, «das radikale Böse», живет повсюду в его произведениях... Можно подумать, читая их, что он желал избразить преступность, нигилизм, тиранство и лакейство русской души; грязь, пьянство, разврат, тьму русской жизни, ее призрачность, ее дику фантазмагорию... Я вполне понимаю, что один немец, очень культурный и философски образованный, мог сказать мне, что произведения Достоевского внушают ему отвращение к России. Это так и должно быть, ибо в изображении

Достоевского мы видим прежде всего хаос стихийных сил и в этом хаосе замечаем прежде всего разгул зла, безумия, болезни душевной. Может ли быть что-нибудь более неприемлемое для представителя германской культуры с ее порядком, с ее здоровьем, с ее чувством долга?

Но Достоевский верит, что из русской хаотической стихии создается дивный Космос, он, значит, видит в ней не одно только безумие, распад, преступление, но и еще что-то другое – какую-то бесконечную мощь, какие-то таинственные возможности. Ведь в хаосе содержится потенциально все – и добро, и зло, и гармония, и диссонанс, и красота, и безобразие, в нем все титанически нагромождено и дико смешано. Такова и русская душа, полная невероятных противоречий, и она связана с русской природой, с ее могучими контрастами. Разве природа Италии, Франции, Германии знает контрасты огненного лета и ледяной зимы, бога Ярилы и Деда Мороза с его вьюгами, разве там есть эти снежные пустыни и раскаленные степи, где гуляет ветер? А медленное таяние меланхолической весны, а заывание осеннего ветра?

О чем так воешь, ветер ночной,
О чем так сетуешь безумно?
Что значит этот голос твой,
То глухо-жалобный, то шумный?

Так говорит поэт, познавший связь русской природы и русской души с хаотическим началом в мире; он говорит о той же самой стихии, о которой все время думает и пишет Достоевский. Быть может, я лучше сумею показать, какую стихию я здесь разумею, если приведу эти всем известные слова. Представьте себе, что они прямо обращаются к Достоевскому, и они зазвучат для вас совсем по-новому и откроют некоторую таинственную сущность его творчества:

Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке
И будишь и взрываешь в нем
Давно умолкнувшие звуки.
О, страшных песен сих не пой
Про древний Хаос, про родимый,
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой.
Из смертной рвется он груди
И с беспредельным жаждет слиться.
О, бурь заснувших не буди,
Под ними Хаос шевелится!

Здесь высказано в одном слове и сразу то, что есть в этом хаосе могучего и сильного: это – беспредельность, жажда души слиться с беспредельным; есть беспредельность в русской природе и в русской душе, она не знает ни в чем предела: в этом ее трагизм, порою ее комизм, иногда ее гибель, но всегда своеобразное величие!

Душа Запада закована в пределы, она вся оформлена и потому ограничена. Душа России не оформлена; она полна страшных неопределенностей, она безобразна и потому порою безобразна... Что Достоевский прежде всего усмотрел на Западе? Его поразили порядок, дисциплина души, завершенность форм. «Париж – это самый нравственный и самый добродетельный город на всем земном шаре. Что за порядок! Какое благоразумие, какие определенные и прочно ставшие отношения... так сказать, затишье порядка... И какая «регламентация», не внешняя, конечно, а колоссальная внутренняя, духовная, из души происшедшая». «А Лондон... исплинская мысль», достижение, победа, торжество: «в этом колоссальном дворце... что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось». «Как бы вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал?» Но почему же страшно? Разве плохо достигнуть идеала? Вот загадка русской души – она как бы любит бесформенность, незавершен-

ность. И если французы самый нравственный народ в силу душевой дисциплины и порядка, то вывод очевиден: самый безнравственный народ – это русские. Достоевский, конечно, этого не думает, но в силу чего? Здесь поставлена основная проблема его творческой мысли: проблема русской стихии.

Во всех произведениях Достоевского изображена эта русская стихия, и, в сущности, только она одна. Он обладал по отношению к ней редким пророческим ясновидением. И если среди спокойного затишья 80-х и 90-х годов, когда русская стихия дремала и не было даже слышно подземных ударов, если тогда можно было говорить о Достоевском «больной талант» и «глубокий психолог преступления», полагая при этом, что он какой-то криминальный писатель, изображающий жизнь ненормальную, исключительную, невероятную, – то теперь, когда русская стихия разбушвалась и грозит затопить весь мир, – мы должны сказать о нем, что он был действительно ясновидцем, показавшим нечто самое реальное и самое глубокое в русской действительности, ее скрытые подземные силы, которые должны были прорваться наружу, изумляя все народы, и прежде всего самих русских.

Что же такое эта русская стихия? Достоевский для ее изображения пользуется средствами искусства. Трудно было бы подойти к ней иначе, ибо имеешь дело с элементом иррациональным, невыразимым в понятиях. Его искусство гениально; поразительно, как он привлекает и показывает скрытую правду. Но теперь, когда она уже запечатлена в образах, можно попытаться дать и ее философский и психологический анализ.

Итак, что такое эта стихия? Она есть нечто духовно-душевное, нематериальное, хотя она связана с материальной природой и из нее черпает порою свои настроения. Это стихия

души, стихия страстей, море страстей с его бурями. И оно бушует не только в сфере одинокой индивидуальной души, но и в отношениях между индивидуальностями, в сфере социальной, в душе народа. Достоевский все время видит сам и показывает читателю, что душевная стихия таинственна в своей сущности и скрыта в своей глубине, ее нельзя понять из того, что разыгрывается на поверхности; если она выбрасывает порою совершенно неожиданно то лаву, то пепел, то огонь, – то это в силу процессов скрытых, подпочвенных, происходящих под порогом сознания.

В русской душе эта бессознательная и подсознательная стихия играет особенно важную роль – отсюда те удивительные взрывы и вспышки, которые взрываются из души его героев.

Вот Ставрогин, красавец и «барич», человек сверхчеловеческой силы, сумевший снести удар по лицу без всякой христианской кротости князя Мышкина, сверхчеловек, в которого влюблялись все женщины и делались его рабынями, а мужчины тоже рабствовали и лакействовали перед ним. Ему Верховенский, который поцеловал у него руку, хотел вручить знамя Стеньки Разина «по необыкновенной способности к преступлению», а Шатов хотел вручить ему знамя «народа-богоносца», знамя православия, и сделать его действительным Иваном-Царевичем. И оба были проницательны, умели выбирать людей и искали героя для своих целей: один для целей разрушения, другой для целей созидания. И странно – оба сошлись на Ставригине. Вот настоящее воплощение мощи русской стихии, которая как бы создана для того, чтобы совершить нечто великое, от которой все ждут, что она совершит нечто великое; ну, и что же? что она совершает? Ничего – хаос, бессмыслицу, дикое нагромождение добра и зла, которое кончается самоубийством.

Прикусывает губернатору ухо, женится на хромоножке, по словам Шатова, потому что «тут позор и бессмыслица доходили до гениальности...», «вызов здравому смыслу был уж слишком прельстителен! Ставрогин и плюговая, скудоумная, нищая хромоножка!». Предается скотскому разврату, так что «маркиз де Сад мог бы у него поучиться»; «не знает различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества...», «в обоих полюсах находит совпадение красоты, одинаковость наслаждения». В конце концов «теряет различие добра и зла».

Дикая, хаотическая, но бесконечно мощная стихия. Самообладание его моментами так громадно, что он сносит публичную пощечину от Шатова и затем с царственным, полупрезрительным великодушием предупреждает, после пощечины, Шатова о грозящей ему смертельной опасности.

Ум Ставрогина мощен. Все самое великое и самое страшное, что носилось пред Достоевским, он вкладывает в его душу, ему приписывает; ему и затем еще близкому по идеям и вообще однородному по стихийности – Ивану Карамазову. Над этой мощной стихией первозданного хаоса могли носить только мощные формирующие идеи, и они были Бог, Христос и православие, с одной стороны («народ-богоседец...») и «атеист не может быть русским...»); и полный атеизм, нигилизм, бунт и разрушение – с другой стороны («сравнять высокие горы» и «все сжечь и разрушить...»). Как он сам формулирует в одном месте в разговоре с Шатовым, отвергая «разные пищеварительные философии»: «Ведь мы с вами знаем, что все это вздор и что есть только две инициативы: или вера, или жечь».

Ставрогин не выбрал того или другого: формирующие силы оказа-

лись бессильными, хаос бушевал по-прежнему, и он погиб в нем; его я не могло овладеть стихийными силами, бушевавшими в душе, и оно погибло; в чем же? В стихии безумия (галлюцинации, самоубийство, явление злого двойника).

Вот русская стихия во всем ее трагизме. Никакого оптимизма, никакого самохвальства! Самые мрачные пророчества! Но сила ее, мощь этого хаоса, то дающего огонь, взлетающий к небу, то падающий на землю пепел, смрад, разрушение и землетрясение, его напряжение – огромны. Ставрогин так говорит о себе сам в письме к Даше, где он вполне откровенен: «Я пробовал везде мою силу. Вы мне советовали это, «чтоб узнать себя». На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказывалась беспредельною. На ваших глазах я снес пощечину от вашего брата; я признался в браке публично. Но к чему приложить эту силу – вот чего никогда не видел...»; «я все так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовольствие».

В записных книжках Достоевского мы находим материал к «Бесам», очень ценный, выбранный Н.Н. Страховым. Тут мы прямо встречаем подтверждение нашего понимания «русской стихии» и Николая Ставрогина, как ее порождения и воплощения:

«Тип из коренника, бессознательно беспокойный собственной титанической своею силою, совершенно непосредственною и не знающего, на чем основаться. Такие типы из коренника бывают часто или Стеньки Разины, или Данилы Филипповичи, или доходят до всей хлыстовщины и скопчества. Это необычайная, для них самих тяжелая непосредственная сила, требующая и ищущая, на чем устояться и что взять в руководство, требующая до страдания покою от бурь и не

могущая пока не буревать до времени успокоения. Он устает наконец на Христе, – так верует и так надеется Достоевский, – но вся жизнь – буря и беспорядок. (Масса народа живет непосредственно, тихо и складно, коренником, но – чуть покажется в ней движение, т.е. простое жизненное отправление, – всегда выставляет эти типы.)»

Дальнейшие слова Достоевского уже прямо характеризуют то, что мы называли «русской стихией»:

«Необъятная сила непосредственная, ищущая покою, волнуемая до страдания и с радостью бросающаяся – во время исканий и странствий – в чудовищные уклонения и эксперименты, до тех пор, пока не установится на такой сильной идее, которая вполне пропорциональна их непосредственной животной силе, – идее, которая до того сильна, что может наконец организовать эту силу и успокоить ее до елейной тишины».

Здесь говорится о Николае Ставрогине, но стихия, в нем живущая, присуща в конце концов всем героям Достоевского, как женщинам, так и мужчинам: разве не все они живут в буре и беспорядке? волнуются до страдания? бросаются в искания и странствия, в чудовищные уклонения и эксперименты? Да и не в них одних живет эта таинственная подсознательная животная сила: она действительна и в Стеньках Разиных, и в Пугачевых, и в хлыстовстве, и в скопцах. Это древнерусская стихия, яростная стихия бога Ярилы, уходящая во тьму времен. Недаром Грушенька говорит: «Неистовая я и яростная». И все же женщины неистовы и иступленны и готовы резать себя на части и терзать ради оскорбленной гордости, ради любви и ради воображаемого подвига.

Русская стихия всюду трепещет в произведениях Достоевского, он говорит почти только о ней одной, но большею частью в образах и воплощениях, как художник; редко он опреде-

ляет ее прямо и непосредственно, как философ. Мы привели одно место поразительной яркости и точности, определение, сделанное для себя и не напечатанное в романе. Но есть и другое место, совершенно ему соответствующее и вошедшее в роман «Идиот». Вот что говорит там князь Мышкин:

«И не нас одних, а всю Европу дивит в таких случаях русская страсть наша; у нас коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще из самых подземных; коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилем, то есть, стало быть, и мечом! Отчего это, отчего разом такое исступление?»

«И наши не просто становятся атеистами, а непременно *уверуют* в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль».

«Ведь подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались... Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже, может, и поглубже еще!»

«Есть в нас какое-то Колумбово искание «Нового Света!»»

Здесь удивительное раскрытие русского национального характера, загадочного и странного; и оно дается через проникновение в сущность русской душевной стихии, обладающей поразительной степенью напряжения. И это та же самая стихия, глухо кипящая под порогом сознания, те же подпочвенные вулканические силы, которые в одних индивидуальностях взлетают гордым пламенем к небу, в других текут неудержимым потоком горячей лавы, ползущей по земле, в третьих – твердеют серой корою, делающей душу как бы телесною. Все три типа людей – пневматики, психики, гилики, то есть люди духа, люди души и люди тела, – сформированы у Достоевского из одной и той же стихии, – точнее, не сформированы, а пытаются ее формировать.

Характеры люциферианского и прометеевского типа, как Ставрогин, Иван Карамазов, Раскольников и даже Кириллов, по-иному переживают русскую стихию, чем, например, Рогожин или Дмитрий Карамазов. Их пламенеющий дух все время ищет неба, их замыслы титаничны, но есть раздвоение, есть «дух отрицанья, дух сомнения» и потому падение назад, в стихию безумия. Это люди духа, русские философы, но как они непохожи на западноевропейских критиков и скептиков! Русская стихия, над которой витает их дух, делает их вулканическими, трагическими; ненахождение всекосмического центра делает их не насмешливыми, а безумными.

Иначе живут в родной стихии такие, как Рогожин и Дмитрий Карамазов. Их я фатально пленено страстями души, оно захвачено потоком горячей лавы, но эта лава течет из тех же странных, скифских, азиатских вулканов, и в ней восточный фатализм, какая-то древняя мудрость земли:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья, –
Бессмертья, может быть, залог!

В любви они сознают гибель, любовь для них фатальна, женщины, которых они любят, для них «инфернальны». Дмитрий называл Грушеньку «инфернальной» женщиной, но и Настасья Филипповна инфернальна для Рогожина, она не сияет для него небесным светом, он не видит ее вечного, божественно-прекрасного прообраза, который открыт князю, а потому его любовь скорее похожа не на умиление, не на жалость, а на ненависть, и она приводит его к убийству, приводит его в infernum. Подобно Ромео, он влюбляется в нее с первого взгляда, бесповоротно и навсегда. И страсть его, по силе напряжения, не уступает юному итальянскому любовнику, но это другая стихия: там солнце любви, стреми-

тельный ритм действий, красивый жест, пластика, форма; здесь пьяный угар, мрак душевный, темный хаос бессознательных и нецелесообразных действий. Как и Ромео, он является на бал со свитой друзей; но какая безобразная и нелепая полупьяная свита! И зачем он привез ее? И какая бессмыслица: торгует за деньги женщину, за которую трижды готов умереть! Однажды даже избивает ее до синяков – свою «королеву»! Нам скажут, что Ромео был рыцарь и дворянин; но Митя Карамазов тоже был дворянин и офицер, однако во многом он действует, как Рогожин, – в нем та же стихия и он так же бессилен ее преодолеть.

В Рогожине громадная подсознательная мощь страстей, унаследованная от предков; там она проявлялась иначе; в мрачном самовластье, в тихом скрытом накоплении денег; «У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить, – говорит Рогожин, – одна расправа, убьет!». Этот родитель «говорил, что по старой вере правильнее. Скопцов тоже уважал очень».

Есть поразительное прозрение в эту таинственную рогожинскую природу в следующих словах князя:

«А мне на мысль пришло, что если бы не было с тобой этой напасти, не приключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй, точь-в-точь как твой отец бы стал, да и в весьма скором времени. Засел бы молча один в этом доме с женой, послушною и бессловесною, с редким и строгим словом, ни одному человеку не веря, да и не нуждаясь в этом совсем и только деньги молча и сумрачно наживая. Да много-много что старые бы книги когда похвалил да двуперстным сложением заинтересовался, да и то разве к старости...»

И такая же гениальная интуиция содержится в словах Настасьи Филипповны. Как и князь, она все поняла, увидав мрачный рогожинский дом, взглянув на портрет родителя.

«Ты вот точно такой бы и был... У тебя, Парфен Семеныч, сильные страсти, такие страсти, что ты как раз бы с ними в Сибирь, на каторгу, улетел, если б у тебя тоже ума не было, потому что у тебя большой ум есть... Ты всё это баловство теперешнее скоро бы и бросил. А так как ты совсем необразованный человек, то и стал бы деньги копить, и сел бы, как отец, в этом доме с своими скопцами; пожалуй бы, и сам в их веру под конец перешел, и уж так бы свои деньги полюбил, что и не два миллиона, а, пожалуй бы, и десять скопил, да на мешках своих с голоду бы и помер, потому у тебя во всем страсть, всё ты до страсти доводишь».

Здесь, в рогожинском доме, живет особый модус русской стихии. Как не узнать, не почувствовать, что это все та же она – и в скопцах, и в древних самосожжителях, и в сжигающих страстях Парфена!

А вот еще один странный и дикий модус той же субстанции:

«Два крестьянина, и в летах, и не пьяные, и знавшие уже давно друг друга, приятели, напились чаю и хотели вместе, в одной каморке, ложиться спать. Но один у другого поглядел, в последние два дня, часы, серебряные, на бисерном желтом шнурке, которых, видно, не знал у него прежде. Этот человек был не вор, был даже честный и, по крестьянскому быту, совсем не бедный. Но ему до того понравились эти часы и до того соблазнили его, что он наконец не выдержал: взял нож и, когда приятель отвернулся, подошел к нему осторожно сзади, наметился, возвел глаза к небу, перекрестился и, проговорив про себя с горькою молитвой: «Господи, прости ради Христа!» – зарезал приятеля с одного раза, как ба-рана, и вынул у него часы».

Внезапно вспыхнувшее желание достигает такой стихийной силы, что опрокидывает все препятствия. Это бывает у детей, у дикарей... изуми-

тельно здесь это ясное сознание греха, это чувство присутствия Бога. Бог не потерян, но я потеряно, человек «не в себе», самообладание потеряно; нет центра воли, а образовался какой-то неожиданный преступный центрик, вокруг которого завертелись все страсти и все силы; это как бы бесовский центрик: «бес попутал», – говорит в таких случаях народ. Трудно после этого обвинить Достоевского в идеализации русского народа. И сколько, сколько еще раз желание украсть часы будет внезапно и стихийно определять поступки русского человека!

А вот потрясающий случай с расстреливанием причастия, рассказанный Достоевским, это странное состояние парней в русской деревне: «Кто кого дерзостнее сделает?» Быть может, это дикое патологическое исключение, которое в счет не идет? О нет, совсем не так думает Достоевский. Этот факт и эти типы, по его мнению, – «в высшей степени изображают нам весь русский народ в его целом. Это, прежде всего, забвение всякой мерки во всем (и, заметьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся как бы каким-то наваждением). Это – потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до крайности, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и – в частных случаях, но весьма не редких – броситься в нее, как ошалелому, вниз головой».

Не ту же ли стихию изображает Пушкин? Но только, как поэт и как сын иного века, он изображает ее в красоте, в романтической дымке:

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю...

Достоевский скептичнее, сатиричнее; он не романтизирует русскую стихию, он говорит ту же правду о ней, но говорит горше Пушкина. Его Рогожин и Митя Карамазов менее красивы, чем Алеко, но это братья по крови и духу.

«Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть – тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего: от семьи, обычая, Бога. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительнейшим безобразником и преступником – стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни».

Но замечательно: несмотря на этот самый крайний скепсис, несмотря на самую горькую правду о русском человеке, несмотря на самое неумолимое исповедание его грехов, Достоевский никогда не теряет веру в Россию и русский народ. В той же самой русской стихии, в ее могучем напряжении он черпает свою уверенность: в стихийности есть а ф ф е к т, жажда бытия, которая не может остановиться на разрушении. Как это ни странно, в самом разрушении есть бессознательный аффект бытия, жажда какой-то полноты, не воплощенной в этой остановившейся и затвердевшей жизни. Встретившись с чистым небытием, аффект поворачивает назад, он не хочет конца, он хочет бесконечности. Так, думается мне, можно объяснить веру Достоевского, вложенную в его дальнейшие слова:

«Но зато с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, т.е. когда уже идти больше некуда». Причем Достоевский убежден, что «обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва – порыва отрицания и саморазрушения...» и что «в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным и серь-

езным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе».

Залогом этой веры является наличность русской стихии, ее напряжение. Пока есть аффект бытия, будет порыв самосохранения; если он иссякнет, если стихия охладает – тогда ничто не поможет, никакая дисциплина, никакая цивилизация.

Есть и еще одна, совсем особая, категория характеров у Достоевского, тоже являющихся воплощением русской стихии, но только особенно редким и ценным. Это князь Мышкин, Алеша Карамазов и Зосима. Если правда, что хаос есть смесь добра и зла, нагромождение всех потенций, то в хаосе русской жизни, среди безумств и преступлений, должен когда-нибудь сверкнуть и луч небесный, в волнах этой темной стихии должен отразиться и лик Божества. И вот эти три лица являются такими вестниками из иного мира; в них есть нечто ангельское, и оно роднит их с люциферианскими характерами – недаром Иван так любил беседовать с Алешей о предельных вопросах бытия, – роднит в одном: они тоже люди духа, высокого предельно-ищущего духа, а не души и не тела; они тоже пневматики. Но только им чужд «дух отрицанья и сомненья», они нечто нашли и увидели и хотят показать людям.

Вся жизнь князя Мышкина сплошной хаос и беспорядок, он неловок в движениях, светски неприличен, неудержим в слове, в выражении внезапных чувств, неистов в своих объятиях, протянутых навстречу людям. Это вполне русская стихия, но только в добром аспекте. Он в силах снести удар по лицу с кротким величием христианина, и здесь даже нет могучего желания самоопределения, как у Ставрогина, здесь все счастливый дар, все благодать. И все его мысли, часто гениальные, – всегда внезапное наитие, прозрение. Он говорит, как Пифия, в

«божественном умоисступлении», и говорит часто пророчески. Все лучшие пророческие свои идеи Достоевский вкладывает в его уста. Все он знает и понимает; он знает русскую стихию, знает ее разрушительный уклон, знает страшную предстоящую опасность:

«Извините меня, надо уметь предчувствовать... Нам нужен отбор, и скорей, скорей! Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос!»

А петербургский «хладный свет» сановников и бюрократов говорит этому одержимому, этому бестактному молодому человеку: успокойтесь, успокойтесь, не волнуйтесь так, все это преувеличено; какой отпор, какое предчувствие? Католицизм, социализм, атеизм – все это интересно, конечно, но вовсе не так для нас важно. «Хладный свет» давно потерял всякую связь с русской стихией, она в нем давно остыла и окаменела, он даже не подозревает, что она существует. Но князь живет в ней, кипит в ней, и это то, что в нем шокирует.

Есть, однако, и в ангельском аспекте русской стихии нечто странное, индивидуально-русское, чудное: это юродивость, какое-то отсутствие таланта формы, умения формировать, отсутствие пластики, жеста. Русское добро часто принимает этот неуклюжий вид. Вспомним Пьера Безухова у Толстого, даже и Левина. Но паразитально об этом говорит сам князь Мышкин: «Я всегда боюсь моим смешным видом скомпрометировать мысль и главную идею. Я не имею жеста. Я имею жест всегда противоположный, а это вызывает смех и унижает идею. Чувства меры тоже нет, а это главное; это даже самое главное...» Какая здесь глубокая противоположность латинской расе!

Если эта юродивость порою смешит и сердит в князе, то все же сияние подлинной любви притягивает к нему сердца женщин и мужчин. В нем русский аффект бытия становится аф-

фектом любви, но не ревнивой и корыстной, а всеобъемлющей и мистической. Он любит Настасью Филиппову «жалостью, а не любовью» (и это тоже глубоко народная форма любви); он любит, наконец, двух женщин – ее и Аглаю, и никто этого не понимает; а все дело в том, что он их любит святой, мистической, христианской любовью: «Конечно, люблю ту и другую», – отвечает он не задумываясь на прямой вопрос. Есть в нем и моменты прикосновения к мировой гармонии, как бы созерцание рая:

«Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божью зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят...»

Но вот что трагично – именно в этот момент восторга, и после этих самых слов, князь падает в припадок падучей. Мы ведь и забыли, что он все же «Идиот», он вышел из стихии безумия и снова упадает в стихию безумия. Какой страшный символ! Неужели Россия всегда одержима и в добре и в зле? Неужели нам даны лишь мгновения болезненного экстаза, лишь в священной болезни можем мы созерцать иные миры?

Мы в небе скоро устает, –
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем...

Поэт, по-видимому, думает, что для нас неизбежны такие падения:

Вновь упадем не к покою,
Но в утомительные сны...

Значит – в стихию безумия, она всегда сторожит нас, и освободиться от нее, овладеть ею можно, лишь освободившись от всякой одержимости, найдя свое я, овладев собою.

Как бы с целью показать, что это возможно, Достоевский ставит перед нами образы Алеши Карамазова и Зосимы. В них осуществлено то, о чем он мечтал: русская непосредственная сила

наконец «организована» и «успокоена до елейной тишины». Но русской жизни они все же не организуют пока, до поры до времени. Быть может, этот старец и этот послушник образы далекого пошлого, а может быть, им предстоит далекое будущее. Алеша проходит как-то безмолвно, хотя любовно, через ад и чистилище земного круговорота; он весь устремлен в какую-то бесконечную даль – быть может, в будущее своего народа, быть может, в иные миры, из которых он пришел. Достоевский делает их живыми и дает почувствовать их силу, но все же райские видения, как и у Данте, оказываются более бледными, чем пластические осязаемые образы ада.

Но не только живет эта могучая древняя стихия в сильных героях Достоевского – в Ставрогине, в Иване Карамазове, в Мите, в князе Мышкине, в Настасье Филипповне и Грушеньке; ее можно почувствовать и узнать и в самых презренных и мелких людях – в Федоре Павловиче, в Смердякове, в Фоме Опискине, во всех этих генералах, приживалах и приживалках... она живет в пьяном разврате, в кутеже, в слезах, в словесном блуде, в угнетении, в лакействе – везде какое-то своеобразие радения и верчение, везде хаос подсознательных душевных сил, везде отсутствие настоящего я и самообладания. Не люди действуют, а страсти и животные поползновения владеют ими, бесы действуют, крупные и мелкие; а внезапно отразится лик Божества в этом кипящем хаосе, в этом мире... отразится и потухнет.

Русская стихия роднит у Достоевского всех, великих и малых, в одном удивительном признаке: в необыкновенном напряжении аффекта бытия, в стремлении как можно полнее воплотить себя, занять самое универсальное место в мироздании. Самые мелкие и пошлые «бесы» больше всего боятся быть нереальными, незаметными, они изо всех сил стараются дока-

зать свою реальность и жаждут воплощения. Черт Ивана Карамазова хочет воплотиться в семипудовую купчиху – надежная и заметная реальность! Русский человек, говорит Достоевский, изо всех сил спешит заявить себя – «заявить себя в хорошем или в поганом». Если он находится в состоянии падения, то он будет играть роль шута, как Федор Павлович или генерал Иволгин с его героическим враньем, но только бы не пройти незамеченным, только бы поразить воображение, произвести эффект, в крайнем случае – замешательство или скандал. Достоевский часто изображает необъятное, не пропорциональное ничему и не сообразное ни с чем самолюбие русского человека: чем ничтожнее его я, тем более оно себя раздувает; эти пузыри земли хотя и раздуться до пределов мироздания, и чем более знают свою пустоту, тем более озлоблены, отравлены завистью. Известна поразительная, стихийная обидчивость русских людей, и особенно русских мальчиков. Они должны быть недотрогами, ибо мыльный пузырь может лопнуть при каждом прикосновении. Самая яркая индивидуальность этого рода – Фома Опискин:

«Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем самолюбия особенного, именно: случающегося при самом полном ничтожестве, и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загнывшегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче».

В нем воплощена русская стихия, одержимая бесом деспотизма, «похотью господства» (выражение Августина). Она странным образом зарождается в состоянии угнетения. Здесь какая-то удивительная диалектика страстей: «Наверстал-таки он свое прошедшее!

Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет. Фому угнетали – и он тотчас же ощутил потребность сам угнетать; над ним ломались – и он сам стал над другими ломаться». Здесь Достоевским поставлена еще другая проблема: трагедия села Степанчиково есть трагедия власти и подчинения. Как властвует Фома, при помощи какого гипноза он подчиняет себе людей более умных, более добрых, чем он? Это странная загадка. «Люди, – говорит Достоевский, – считали всё это за чудо, за наваждение, крестились и отплевывались».

Похоть господства, как одно из проявлений русской стихии, изображена была затем Чеховым в образе унтера Пришибеева.

Достоевский ненавидит, конечно, сам своего Фому Опискина, но все-таки он видит в его душе некоторый трагизм и как бы некоторое извращение когда-то существовавшего человеческого достоинства. Падение есть во всех подобных типах, но пасть может лишь тот, кто когда-то стоял, кто хоть мгновение был на высоте.

«Кто знает, может быть, это безобразно вырастающее самолюбие есть только ложное, первоначально извращенное чувство собственного достоинства, оскорбленного в первый раз еще, может, в детстве гнетом, бедностью, грязью, оплеванного, может быть, еще в лице родителей будущего скитальца, на его же глазах?»

И в этих ничтожествах повторяется вечная трагедия и комедия потенциально-бесконечной души человека, «бесконечного в возможности», по выражению В. Соловьева, и «ничтожного в действительности». Русская стихия воплощает ее по-своему в странных изломах и наваждениях.

До сих пор мы рассматривали русскую стихию у Достоевского, так сказать, статически, – в ее сущности, в ее особенностях и модификациях, в ее носителях и воплощениях. Но

ее необходимо рассматривать динамически – в движении, в развертывании событий, в смене страстей; только здесь она раскрывается вполне, ибо она неустойчива и динамична по существу.

В романах Достоевского всегда происходит нагромождение событий, которые завершаются сценами высшего напряжения. Они странны, хаотичны, иррациональны, стихийны. Герои действуют наперекор рассудку, не отдавая себе отчета, потеряв власть над событиями; подпочвенные течения в душе влекут к поступкам. В конце концов действуют не сами люди, а неведомые им скрытые стихийные силы.

Не сами – это чрезвычайно важно: они одержимы какими-то неистовыми силами, иногда им самим непонятными, одержимы бесами крупными и мелкими. Часто это бес уязвленной гордости, необъятного самолюбия, бес господства и раболепия, бес предательства и бес разрушения святых и надругательства... Но это не сам человек: его сальность как будто куда-то ушла.

«Разве вы такая, какую теперь представлялись? Да может ли это быть!»

Это говорит князь Настасья Филипповна после знаменитой сцены у Иволгиных. Конечно, это не она сама, не сама сущность ее души говорила эти слова цинического самоунижения, направленного к унижению других:

«– Я ведь и в самом деле не такая, он угадал, – прошептала она...»

И мгновенно вся одержимость исчезла, демон гордости удалился.

Вспомните эту знаменитую сцену, когда Ганя ударяет князя по лицу, или другую, когда Настасья Филипповна бросает деньги в камин. Есть что-то общее во всех этих сценах Достоевского, где совершается какое-то чудовищное нагромождение событий, накопление страстей невероятного давления, какой-то бесовский шабаш всеобщей одержимости, поистине сума-

шедший дом. Здесь Достоевский становится драматургом, и великим драматургом, и здесь-то он и раскрывает динамику русской стихии. Как непохоже это стихийное движение на развитие западноевропейской драмы!

Совсем другой ритм событий; быть может, даже полная аритмичность. Здесь герои теряют себя и несутся в какую-то бездну... Здесь есть русское «эхма!» или «пропадай моя телега»... Вихрь, кружение, метель, бесы:

Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам...

Никто не идет прямо к своей цели, каждый действует и говорит себе во вред... разгулялись духи стихийных сил, и никто не может их заковать. Иногда они мощны и страшны, иногда мелки, смешны и подлы – эти духи... Иногда их хоровод становится широким, почти всеохватывающим: вспомните бал у губернатора в «Бесах» – стихия разрушения, дерзновения вырастает из хулиганства и грозит разлиться до пределов страны. Все здесь непохоже на западноевропейскую трагедию: там действующие лица действуют по целям, частью добрым, частью преступным, сталкиваются, борются... Здесь – бесцельный вихрь, никто не действует, никто не строит жизни, последовательны и сильны только разрушители, как Верховенский, здесь много личин и мало лиц, мало кто нашел свое лицо, даже свою главную страсть. Все движется, все переливается, все неопределенно и беспредельно.

Стихия страстей есть, конечно, во всякой душе и во всяком народе. Нет истории, нет трагедии без страстей. Но западноевропейская трагедия дает картину формирования страстей центром самосознания, а Достоевский показывает странную картину бесформенности страстной стихии, над которой беспомощно и удивленно стоит высшее я, постоянно бросающее

свою душу на произвол низших сил, на произвол стихийных вихрей, где образуются центры вращений, затягивающих душу в круговорот, эфемерные формирующие центры всяких одержимостей, мешающих истинному самообладанию. А где же высшее я? Может быть, его и нет совсем у русского человека? О нет, напротив, оно очень гордое и высокое; только оно не может никак найти какой-то точки опоры, без которой нельзя творить. И творить как-то не хочет русский человек, и дух его пока «носится над бездной». Все он думает, выбирает, не решается; все готовится к какому-то великому подвигу, для которого нужно сначала решить предельные вопросы. А Запад строит ежедневную, насущную жизнь и без решения этих вопросов.

«– Э! К чему предрешать, – вскричал Шатов, – на тысячу лет вперед!.. Будем жить в современности, делать лишь насущное дело, не сомневаясь, что Бог поможет впоследствии».

– Попробуйте ужиться, – засмеялся князь (Ставрогин) и вышел (Материалы к «Бесам»).

Да, неуживчив русский человек, не может ужиться ни с другими, ни с самим собою: все ему жизнь не по плечу – мелка, пошла, ничтожна. Взыскует он какого-то града. В этой уродливости есть великая правда: он ищет непременно отношения к вселенскому центру, оттуда должны идти формирующие силы, к нему должен тяготеть формирующий центр микрокосма, центр самосознания. Пока центр великий не найден, нет и центра малого, жизнь остается эксцентричной, хаотичной, антиномичной, раздвоенной; а при могучем напряжении русской стихии это приводит к безумию, к раздвоению личности, к злему двойнику, как у Ивана Карамазова и Ставрогина.

Где творческие индивидуальности у Достоевского? Творится ли космос из русского хаоса или ничего не реализу-

ется из этого моря возможностей? Ставрогин и Иван Карамазов ничего не творят, хотя могли бы – и по мощи душевой стихии, и по силе ума, но они не решили, с кем идти: «С Тобою или с ним». То же самое можно сказать и о Раскольникове, и о Кириллове – все это «чудовищные эксперименты», имеющие целью решить предельные вопросы, без которых ничего делать и не стоит. Дмитрий Карамазов и Рогожин не строят жизни, ибо их дух всецело и фатально погружен в стихию страстей и даже еще не поднимался над этой бездной, не витал над ней, ища формирующего центра. Женщины Достоевского не делают жизнь, потому что они рожают жизнь, они носительницы стихийного начала души по преимуществу, они могут показать из этого темного лона «лик Мадонны», но могут и погрузить мужскую душу в «неистовую и яростную» хлыстовскую стихию. Семена Логоса должны упасть в душу женщины, а Логос есть мужское начало; если бесплодны в творчестве мужчины, то бесплодны и женщины и гибнут бесплодно.

Наконец, не строят никакой жизни и положительные типы: князь Мышкин и Алеша Карамазов; это, пожалуй, особенно странно – ведь они несомненно нашли вселенский центр и находятся в сфере его притяжения, в них есть подлинная святость, божественная любовь, самообладание. Ведь лишь только Алеша уверовал, что есть Бог и бессмертие, как тотчас и решил: «буду жить для Бога и бессмертия», и решил уже бесповоротно и без колебаний. И все же они оба только странники в миру, юродивые, монахи, ангелы Божии, восхищающие и привлекающие сердца, но не творящие жизни. Жизнь течет мимо них, течет по своим законам. Они не делают этой жизни так же, как не делают ее старцы настоящего монастыря, как не делает ее Зосима. Достоевский знал, что это великие светильники жизни, маяки, – но не корабельщики, не лоцманы.

Не делает жизни, конечно, и бессмертный тип русского либерала, Степан Верховенский:

Воплощенной укоризною
Ты стоишь перед отчизною
Либерал-идеалист...

Фигура совершенно пророческая для всего развития русского либерализма: из «идеи» вытекает только «укоризна» и единственное реальное дело всей жизни – это уход, предсмертный, протестующий уход Степана Трофимовича! Впрочем, в нем русская стихия поослабла и поостыла: ведь он не холоден и не горяч, он тепл... Как он поразился, прочтя впервые, в конце жизни, эти слова! Тут уже нет ничего стихийного и мало осталось русского, разве только русское неделание.

Но есть одна личность у Достоевского, которую хотя нельзя назвать творческою, ибо она занимается делом противоположным, однако следует признать необыкновенно деятельной, активной, настойчивой и последовательной, – это Петр Верховенский, крайний антипод и противник своего отца (как символично: отца!). Он лучше знал и понимал русскую стихию, чем «либерал-идеалист», и даже сам имел в себе нечто стихийное, хотя, конечно, в отрицательном полюсе. Это тоже личность пророческая, и в нем раскрывается великое ясновидение Достоевского. Без этой личности нельзя понять русскую стихию и ее будущее. Вот его программа:

«Я делаю дело, потому что надо делать. С этого (с разрушения), естественно, всякое дело должно начаться; я это знаю, а потому и начинаю... а прочее всё болтовня и только растлевает и время берет. Все эти реформы, и поправки, и улучшения – вздор». «Нужно все разрушить, чтоб поставить новое здание, а подпирать подпорками старое здание – одно безобразие». Он «ужасно иногда невежественен» и «со-

вершенно спокоен в своем невежестве». И народа он, собственно, не желает узнавать и изучать: «Мне, собственно, до народа и до знания его нет никакого дела. Я знаю, что смуту теперь можно сделать в народе, и всё тут». Ему отвечают, что смуту он не сделает, не зная народа... «Это вздор, – отвечает он, – дайте мне четверть часа только поговорить без цензуры с народом, и он тотчас за мной пойдет. Когда его уверяют, что народ гораздо крепче сидит, он говорит: «Ну вот, вздор» – и показывает факты – разбои, поджоги, фон Зон».

Это показательная характеристика Верховенского-сына мало известна, ибо она извлечена не из романа, а из записных книжек Достоевского. В ней концентрирована вся сущность этой личности. Верховенский угадал одну сторону русской стихии и сам есть ее воплощение.

Но кто же в конце концов делает русскую жизнь, ежедневную, насущную? Кем держится государство и строится общество? Романы Достоевского дают нам один ответ – ясный и неумолимый: ее делают те, кто занят не совершением дел, а устраиванием «делишек». Губернатор-немец, который клеит картонные домики, аристократическая бюрократия, занятая борьбою честолубий, сплетнями, пенсиями, любовницами, выгодными браками, залогами имений... и наконец, – Федор Павлович, Фердыщенко, Лебедевы, Иволгины... все эти мелкие бесы, которые в баню любят ходить и стараются воплотиться в семипудовую купчиху. Вот кто строители жизни – это гнилики, люди тела, те самые, души которых и за гробом заняты той же гнилью, как это изображено в страшном рассказе «Бобок».

Значит, она, эта жизнь, творится не прометеевски, огонь не похищается с неба, она творится без духовного начала, люди духа бездействуют? Удивительно ли, что лава охлаждается, лопается и рассыпается в прах?

Но, может быть, жизнь эта опирается на народную массу, которая живет «тихо-складно, коренником»? О нет, фундамент непрочен: там разбои, грабежи, украденные часы, хулиганство и богохульство. Верховенский прав: если масса начнет что-то делать, она прежде всего начнет разрушать.

Безгранично презрение Верховенского-сына к русской жизни и русской интеллигенции. Все, по его мнению, одна болтовня и провождение времени; особенно он презирает либеральную болтовню. Он совершенно циничен, ибо ничто вокруг не кажется ему заслуживающим уважения. Но он уважает русскую стихию в модусе разрушения. Он целует руку Ставрогина, ибо видит в нем огромную разрушительную силу. Мэоническое должно быть погружено в небытие. Таков философский смысл этого духа. Он дух отрицания в квадрате.

Неумолимая диалектика истории осуществляет в нем отрицание тезиса и переход к какому-то, ему самому неизвестному, антитезису. Он страшен, этот жрец небытия в своем двойном отрицании; он не различает добра и зла, он интриган, – но все же есть нечто в нем, заставляющее задуматься, есть великая историческая проблема, почти чудо. Его нельзя уничтожить никакой логикой и никакой этикой, ибо он выражает русскую стихию в ее историческом модусе, в ее судьбе.

А что, если правда мэонична русская жизнь, та жизнь, которую изображают нам Гоголь, Лев Толстой, Чехов, а главное, и больше всего, – сам Достоевский? Жизнь Хлестакова, Чичикова, мертвых душ – разве это подлинная жизнь? Разве дух веет здесь? А тоскливые тени Чехова, мечтающие о том, что будет через 100, 200 лет, разве это не эфемерное бытие, не царство теней? Толстой со своим могучим аффектом бытия уж, кажется, творит наиреальнейшие образы, но весь он, вся его душа – в со-

знании неподлинности этой жизни. Что-то здесь не так, в этой дворянской культуре, даже все не так; нужно уйти от нее, прикоснуться к природной стихии, уйти в землю, ниспасть и затем начать совсем иной путь восхождения. Но сам Достоевский всех определеннее высказывается: в его изображении русская жизнь есть сплошное бесовское наваждение, сплошная одержимость, фантазмагория, призрачные туманы Петербурга, «утомительные сны»... Если русская стихия жива, если она действительно есть аффект бытия, то она прежде всего должна желать разорвать эту дымовую завесу, рассеять эти удушливые газы, уничтожить все формы, все перегородки, разбить все оковы, все переплавить, все погрузить в хаос и затем начать строить новый космос. Иначе говоря, русская стихия должна вступить в фазис революционный. Дворянски-интеллигентская аристократическая культура завершила цикл развития и пришла к распаду, к «семейке» Карамазовых. Самый умный и сильный из этого мира, Ставрогин, говорит так: «Я прежде судил нигилизм и был врагом его ожесточенным, а теперь вижу, что и всех виноватее и всех хуже мы, баре, оторванные от почвы, и потому мы, мы прежде всех переродиться должны; мы – главная гниль, на нас главное проклятие, и из нас все произошло».

Но, может быть, это неправда, может быть, это клевета, может быть, прекрасна, уютна и богата была русская жизнь? Как многим и сколько еще раз будет приходить эта мысль! Если так, то, значит, неправда вся русская литература, начиная с Пушкина, ибо это она осудила и похоронила старую Россию; если так, то не имел Пушкин права сказать высшему свету:

В разврате камнейте смело!

И народной массе:

Паситесь, добрые народы,
Вас не разбудит чести клич!
На что стадам дары свободы?
Их надо резать или стричь!

Но нет, в словах этих правда, и еще надолго в русской истории они сохраняют свою правду.

Наконец, оставим всю русскую литературу и вспомним наше самочувствие, основной мотив всей нашей жизни: разве это не было сплошным сознанием какой-то неправды, постоянной жаждой переродиться, постоянным стремлением что-то изменить, начать какую-то новую жизнь, которая всегда не удавалась?..

Нет, кто хочет творить жизнь, никогда не должен оглядываться назад, иначе он разделит судьбу жены Лота.

Теперь ясно, почему у Достоевского нет творческих личностей, почему творческое, прометеевское начало, петровское начало исчезло из русской стихии. А ведь Петр был классическим ее воплощением когда-то – «он весь как Божия гроза!». – Петровская Россия достигла возможного совершенства, окаменела и одряхла. Русская стихия вступает в фазис великих переворотов, разрушений и землетрясений. И Достоевский, как пророк, видит судьбу России.

Ясно также, почему носители божественного, гармонического начала не деятельны. Здесь великая проблема: Зосима в затворе, его брат умирает молодым, Алеша в молчании, князь – в падучей. Это так оттого, что время еще не пришло для них, они лишь семена далекого будущего, семена Логоса, но они должны попасть в родную землю, которую еще всю предстоит поднять, перепахать и разрыхлить; иначе на этом камне, на этой коре они погибают бесплодно: их любят, ими восхищаются, над ними смеются, на них смотрят, как на иконы, но никто не берет их всерьез. «Не оживет, аще не умрет...» – вот пророчество

Достоевского. Россия должна пойти «путем зерна»:

Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.

Так говорит современный поэт, угадывая пророчество Достоевского.

И вот еще другое прозрение этого духовидца: беснование русской стихии должно дойти до предела, до полного выявления из ее недр и полного выделения всего самого низкого – бесы должны войти в стадо свиней и свергнуться в бездну.

Видит ли Достоевский ясно грядущую судьбу русской стихии, тот уклон, который ей предстоит? Не вполне. Как все духовидцы, он видит отчасти, «как бы в зеркале, как бы в гадании» и выражает свое видение в символах. С другой стороны, быть может, он видит многое, чего еще мы не видим, и мы не знаем, исполнятся ли все его пророчества. Он не думал, что Петру Верховенскому принадлежит такая грандиозная роль. Он делает ему уничтожающие возражения. Но, с другой стороны, он знает, что его невежество побеждает странным образом всякую логику. И он допускает возможность и такого пути. В своих эпиграфах он даже предначертывает именно этот путь зерна.

Все великие русские писатели знали, переживали, воплощали и любили русскую стихию. По отношению к Пушкину это отлично показал Гершензон. В нем он угадал русскую стихию и через ее переживание нашел истинный подход к пониманию русской литературы. Его мысль глубоко родственна моему пониманию Достоевского и сущности русской души. Это ясно из следующих прекрасных слов:

«Как из-за Уральских гор вечно несется ветер по великой русской равнине, день и ночь дует в полях и на улицах городов, так неусыпно бушует в русской душе необъятная стихийная сила, и хочет свободы, чтобы ничто не

стесняло ее, и в то же время томится по гармонии, жаждет тишины и покоя». «И Лермонтов, и Тютчев, и Гоголь, и Толстой, и Достоевский, они все обожают незаконную, буйную, первоначальную силу, хотят ее одной свободы, но и как тоскуют по святости и совершенству, по благолепию и тишине, как мучительно, каждый по-иному, ищут выхода».

Мне кажется только, что в обожании незаконной стихии ни у Пушкина, ни, тем более, у Толстого и Достоевского – нет никакого иммoralизма. Достоевский в своей знаменитой речи понял Пушкина как глубочайшего моралиста, и он, пожалуй, прав. Стихия может быть и незаконной, и преступной, и вдохновенно героической, и в ней все смешано, но дух великого поэта, витающий над нею и творящий из нее образы, никогда не смешивает добра и зла, прекрасно различает их, хотя равно прекрасно изображает и добро, и зло и их стихийное смешение. В этом особенность русской души, в этом отличие Достоевского от Ницше. Западный дух, если влюбится в стихийность, непременно станет «по ту сторону добра и зла». Так было со времен Цезаря Борджия и Бенвенуто Челлини.

Как удивительно Пугачев привлекал внимание Пушкина. Это потому, что в нем с большой яркостью воплощена русская стихия. Ее можно было бы проследить во всей русской истории. Иван Грозный, самозванцы, Петр, Пугачев, Стенька Разин и, наконец, Распутин – все это русская стихия в странном многообразии своих модусов.

И вот есть для России, для русского народа две опасности: погибнуть от напряжения стихии и от иссякновения и охлаждения стихии. Море может поглотить в своих бурях, но может и иссохнуть в полном затишье. Нужно формировать русскую стихию, но так, чтобы форма не убила живой материи, не иссушила материнского лона. В этом ле-

жит разгадка отношения Достоевского к западноевропейской цивилизации и к переносу ее форм в русскую стихию. И не один Достоевский боялся здесь теплохладности европейской гуманной уравнительной цивилизации... С другой стороны, Достоевский понимал, что без формирующего центра грозит гибель в стихии безумия и преступления.

Где же выход? Он в том, чтобы найти свое я, высокое, божественное по происхождению, прекрасное в своей скрытой сущности; в том, чтобы это я овладело стихийными силами страстной души и того, что лежит ниже души, той «животной силы», которая живет под порогом сознания и которая корнями своими погружена в живое тело; все эти темные обитатели стихийных сил дух должен пронзить своим лучом, просветить, преобразить, оформить. Тогда даже напряжение пороков преобразается в добродетели, по мысли Ницше, которого, кстати сказать, роднит с Достоевским тоска по потере стихийной мощи в западноевропейской цивилизации.

Что нужно для этого? Нужно овладеть собой, нужно создать прочный центр духа, преодолеть центробежные силы страстей и бессознательных стихий, нужно постоянно самопреодоление, постоянная концентрация растекающейся и разбегающейся души, ибо мощь души, как указал еще Августин, есть концентрация. И вот Достоевский постоянно возвращается к понятию самообладания. Русскому человеку, русской стихии более всего не хватает самообладания. Достоевский восхищается самообладанием Ставрогина и князя Мышкина, когда они сносят пощечину. Он восхищается подвигом самоопределения, совершенным Зосимом в юности. Подвиг самообладания есть для него высший подвиг, и во всяком подвиге есть самообладание.

«Прежде всякого возрождения и воскресения – самообладание», – говорит Ставрогин. «Он ищет укрепиться в

убеждениях у Голубова» (лицо, в романе не фигурирующее), «а идеи Голубова суть смирение и самообладание и что Бог и царство небесное внутри нас, в самообладании, и свобода тут же» (Материалы к «Бесам»). К этой любимой своей идее Достоевский возвращается в Пушкинской речи; он говорит: вот «русское решение вопроса», «проклятого вопроса», по «народной вере и правде... не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой – и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя – и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его».

Но, конечно, недостаточно одного этого формирующего центра в себе, в микрокосме, хотя без него ничего не может быть сделано, без него даже религиозные порывы превращаются в падучую болезнь или в хлыстовское радение. Необходим еще центр всекосмический, и это для Достоевского – русский Бог и русский Христос: «Дайте отыскать русскому человеку это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле! Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресение его, может быть, одною только русскою мыслью, русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин могучий и праведный, мудрый и кроткий вырастет пред изумленным миром, изумленным и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия...» (слова князя Мышкина). Этого пророчества Достоевского мы, конечно, не сможем проверить.

Но вот, в конце концов, мы должны спросить себя: можно ли любить русскую стихию, стихию безумия и

преступления? Да, можно и должно, но она прекрасна только в самоопределении, в самопреображении; она отвратительна в самохвальстве, в самодовольстве, в распоясанности, в стоячем болоте. Во всякой душе есть стихийность и во всякой душе есть стихия безумия, но в русской душе она сильнее, чем в какой-либо другой; и не случайно, что русский философ и психолог С.Л. Франк указал на значение той стихийности в составе сознания в своей замечательной и еще не оцененной книге «Душа человека». Термин «безумно» есть самый распространенный на всех языках (*wahnsinning, follement*) – «безумно люблю», «безумно рад», «безумно несчастен» – чувства и поступки людей так часто безумны, и особенно у нас в России. Но разве хорошо, если будут любить и радоваться только рационально, если никто ничего не будет творить из бессознательно-го?

В безумии есть одна странная особенность: оно родственно с фантазией, бесконечно близко к ней, почти едино. Безумие и фантазия – дети одной и той же стихии, живут в одном и том же лоне; все безумцы – фантасты, и все фантасты немного безумцы. Фантазия есть преобразование и просветленное безумие. И если нет искусства без фантазии, то, значит, искусству нужна стихия безумия. В ней оно зарождается. Поэт одержим манией. Это знал Платон. Художник, говорил он, творит в некотором божественном умоисступлении. Пушкин выразил эту мысль с милым юмором: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». Творить вне священного безумия – значит творить, как Сальери. Сон, грезы, бред – все это порождение той же стихии, родные братья безумия и фантазии. «Сновидение» – это любимое слово всех поэтов, и вся поэзия, пожалуй, состоит из гениальных снов, сохраненных от забвения силою Мнемосины:

Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их муза после оживила.

Из родной стихии, из стихии безумия, черпает русское искусство огненные вихри своего вдохновения, оно преобразует безумие и огнецветную фантазию в расплавленную или кристалльно-граневую красоту. А если чем и можем мы, русские, бесспорно гордиться перед Западом, если можем чем покорять сердца и завоевывать народы, то это прежде всего нашим искусством: музыкой, танцем, живописью, театром, поэзией, романом.

Шпенглер правильно угадал, что только мы, русские, можем дать миру новую религию: он думает, что в наш век нужно быть немного сумасшедшим, чтобы обладать религиозной одержимостью, и он прав по-своему. И еще есть нечто, связанное с той же стихией: это наш фантастический утопизм, способность внезапно вдохновляться к действию самыми безумными проектами. Черта, которая удивляет Запад и скорее пугает, чем внушает насмешку.

Как океан объемлет шар земной,
Так наша жизнь кругом объята снами...

Das Russentum может это сказать; das Deutschtum, пожалуй, уже нет: там все рефлексивно, аналитично, рационально.

Но есть в русской стихии и другая, страшная сторона: в безумии есть преступление. И это, конечно, ужасно. Преступление нельзя преобразить. Его можно только искупить. Но преступника можно преобразить; и в этом – высшая радость и счастье. Достоевский вскрывает здесь исконную народную веру: баба, «молодка», видит первую улыбку своего ребенка:

«Что ты, говорит, молодка? А вот, говорит, точно так, как бывает материна радость, когда она первую от своего младенца улыбку за приме-

тит, такая же точно бывает и у Бога радость, всякий раз, когда он с неба завидит, что грешник перед Ним от всего сердца на молитву становится». Это, конечно, князь Мышкин рассказывает и поражается: «Главнейшая мысль Христава! Простая баба! Правда, мать...»

Но нелегко достигнуть такого преобразования грешника. Не все разбойники и на кресте «благоразумны». Много преступлений гнездится во тьме стихии безумия, искупленных и незабытых. «Власть тьмы» – это национальная трагедия: в ней изображена русская стихия, с ее страстной жадью покаяния. Здесь лежит объяснение того, почему величайшие русские умы, и преимущественно люди чести и эстетического чувства, могли переживать такое отвращение к русской стихии, к славянству, могли так презирать его. Нет, с другой стороны, народа, который до такой степени был бы склонен к покаянию, к самобичеванию, к самоунижению. Русский человек боится сам себя.

Но искупление осуществляется не иначе, как путем страдания. Вот откуда та жажда страдания, которую Достоевский так подчеркивал в русском человеке. В душе Ставрогина есть стихия преступления, и это она приводит его к «потребности кары, креста, всенародной казни». И не должно роптать и обращаться в бегство, когда это страдание приходит. В нем должно искать самообладания и самопреобразования, нужно уметь увидеть в нем карму дел, извлечь из нее высшую мудрость. Это любимая мысль и Достоевского и Толстого: «Мне отмщение и Аз воздам».

Почему взор Достоевского так прикован к душе преступника, к сущности преступления? И у Толстого есть эта тенденция. Русская жалостливость, сентиментальность? Вовсе нет! Стихию преступности нужно осветить в русской душе, нужно до дна заглянуть в нее, чтобы преодолеть, чтобы преоб-

разить русскую душу. Нельзя действовать только извне: законом, судом, наказанием; наивно думать, что легко укротить стихию. Надо действовать изнутри, из центра; тем более, что есть преступность, и даже глубокая, которая умеет уживаться с какими угодно уголовными кодексами.

Теперь в заключение оторвемся от Достоевского, отойдем в сторону от его образов и философских построений и зададим себе один тревожный вопрос: да правда ли так мощна «русская стихия» и где ее богатыри? Была, правда, великая гора, но что, если она начнет рожать мышей? Произошло извержение русского «Этноса», но, может быть, вулкан потухает и стихия охлаждается в тепловатом быту, в жалком мещанстве? Как ответить а этот вопрос? Здесь не может быть объективного знания; здесь все – субъективная вера. Каждый скептик, каждый мещанин реально охлаждает русскую стихию; каждый энтузиаст, каждый герой – ее воспламеняет. Все дело в том, как мы захотим переживать самих себя – как великих или как ничтожных. Надежды не рождаются в бездейственном унынии: в нем лежит безнадежность; надежды расцветают в действии. А потому самые трезвые практики и реалисты суть хранители наших надежд, если только они рождены русской стихией, если в них есть размах, инициатива, аффект бытия, а не одна только мелкая трусливая корысть.

Аффект бытия надо хранить в себе, он жив и мощен еще в хаосе нашей жизни, в бурях нашей революции, в песнях нашей поэзии:

Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит!

Мы любим всё – и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё – и острый гальский смысл,
И сумрачный германский гений...

Так говорит Блок, поэт эпохи революции, воплотивший с огромной силою русскую стихию в своих двух поэмах: «Двенадцать» и «Скифы». Он угадал, что аффект бытия есть любовь и что любовь, рожденная русской стихией, может быть и слепой и губительной, но хочет быть потенциально-бесконечной, всепроникающей, всемирной, хочет быть тем Эросом, который как-то залетел к нам из далекой Греции.

Русская стихия действенна, беспокойна, не любит затишья, противоречива, всегда сразу утверждает и отрицает; она родственна по природе

этому странному богу эллинов и влечется к нему. Никто с такою силою ее не постиг; никто не выразил так ее революционной, разрушительной мощи, никто не дал о ней таких пророчеств, идущих в глубь времен, как это сделал великий Пушкин; лучше сказать невозможно:

Кто, волны, вас остановил,
Кто оковал ваш бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?

Вы, ветры, бури, взойте воды,
Разрушьте гибельный оплот.
Где ты, гроза, символ свободы?
Промчись поверх невольных вод.

Л. П. ГРОССМАН

Стилистика Ставрогина

К изучению новой главы «Бесов»

I

«Исповедь Ставрогина», возбуждая целый ряд вопросов биографического, текстуального и психологического характера, представляет крупнейший интерес с чисто художественной стороны. Это одно из самых тонких стилистических достижений Достоевского по трудности поставленного задания и уверенности в его разрешении. Романисту-новатору удалось здесь достигнуть максимального разложения повествовательного шаблона, сохранив в процессе непрерывной деформации своего материала всю его композиционную целостность и художественную органичность.

Система речевых средств, приемы построения этой центральной главы «Бесов» чрезвычайно своеобразны. Форма официального протокола, намеренно неправильный, грубо-разговорный язык, почти канцелярская небрежность записей с явными ошибка-

ми и неточностями, – все это должно здесь создать впечатление сырого клочка действительности, вырванного из самой житейской гущи и брошенного на страницы романа во всей своей уродливой неотделанности и отталкивающей неприглядности.

Достоевский стремится всячески подчеркнуть безыскусственность Ставрогинской исповеди. Он хочет внушить читателю, что перед ним необработанный человеческий документ, передающий во всем обнажении и резкости пережитого свои страшные признания. Здесь все угловато, неприкрашено и буднично-жутко, как во всякой уголовной действительности. Автору важно выделить этот упрощенный характер своей записи, заранее освободить ее от всякого налета литературности. Это, по его замыслу, официальное показание, судебный или психопатологический отчет, криминальная заметка, холодная, точная, пристальная, и при этом нестройная,

полная погрешности против орфографии, синтаксиса, стиля и традиционного расположения частей.

«Вношу в мою летопись этот документ буквально, – предваряет автор самый текст «Исповеди». – Я позволил себе лишь исправить орфографические ошибки, довольно многочисленные и даже несколько меня удивившие... В слог же изменений не сделал никаких, несмотря на неправильности... Во всяком случае явно, что автор прежде всего не литератор». В подготовительных записях самому Ставрогину принадлежит это знаменательное заявление: «Я не литератор». И далее: «Я устранил всякие рассуждения от моего лица», – подчеркивает Ставрогин строго протокольный характер своей рукописи.

Так, целым рядом оговорок, а затем и обдуманной повествовательной системой самой «Исповеди», Достоевский стремится лишить ее всякой литературности, превратив ее в голое признание. Это не отшлифованная межуарная страница, это просто говорящий голос грешника.

II

Тончайшим композиционным приемом Достоевский очерчивает внелитературный характер этого странного психографического препарата. На отточенном острие стилистических контрастов он обнажает жуткое убожество речевых примитивов Ставрогина. Бесформенным глыбам его фразеологии здесь противопоставлено тонкое чутье художественного стиля в лице его исповедника. Жадному к чувственным эмоциям грешнику противостоит тонкий созерцатель – эстет, церковный иерарх, прошедший испытанную веками дисциплину литературного вкуса.

Достоевский всячески подчеркивает неугасимый артистический инстинкт дряхлеющего архиерея. Замечательно, что этот аскет, уже близкий к

могиле, окружен атмосферой художественных восприятий и умеет сохранить ее даже в чужих кельях захолустного монастыря, куда он удалился «на покой». Эстетизм Тихона оттеняется прежде всего его обстановкой: мебель превосходной отделки, дорогой бухарский ковер, гравюры светского содержания из времен мифологических и, наконец, резной шкаф для книг, где «рядом с сочинениями великих святителей и подвижников христианства находились сочинения театральные и романы, а может быть и гораздо хуже». Характерно внимание Тихона даже к историко-военным сочинениям, но лишь поскольку они являют «интереснейшее описание», «талантливое изложение в чисто литературном отношении», то есть представляют ценности стилистико-композиционного порядка.

Ибо старый епископ прошел за свою долгую жизнь трудную и богатую школу словесного искусства. Вековые традиции литургической поэтики и святоотеческих творений приучили его к изысканным и пышным облачениям византийского стиля даже во всевозможных покаяниях и душевных сокрушениях. Блистательное красноречие и узорно-выразительный слог поэтов-богословов, искусившихся в многосторонней разработке эротической темы со всеми ее разжигающими соблазнами и темными провалами, сразу же обнаруживают пред этим зорким читателем Исаака Сирина или Василия Великого всю страшную словесную нищету Николая Ставрогина. Вместо великолепного смирения этих православных поэтов какая горделивая скудость и высокомерное бесплодие! Не служит ли это искаленное слово самым полным выражением души опустошенной и бескрылой? Не стилистика ли Ставрогина – самое страшное показание против него? Так, по-видимому, думает старый исповедник.

Листки «Исповеди» с потрясающими разоблачениями вызывают в ее

первом читателе прежде всего литературную критику.

«Тихон снял очки...

– А нельзя ли в документе сем сделать иные исправления?

– Зачем? я писал искренно, – ответил Ставрогин.

– Немного бы в слоге...

Но Ставрогин торопится лишний раз отмежеваться от всякой литературности, словесной озабоченности риторических требований. «Заметьте, что этою неловкою фразой, или ловкою – думайте как хотите, – я вовсе не напрашиваюсь...» и проч. Он с пренебрежением относится к этой писательской кухне и не понимает глубокого подхода духовного оратора к его рукописи; мастер устной и, вероятно, письменной речи, начетчик во всех видах церковной и светской литературы, привык прозревать в слове органическое создание личного духа, его прямое выражение и прозрачную кристаллизацию.

Вот почему изломанная стилистика Ставрогина поражает его духовника не менее содеянного им преступления. В возникающей беседе проблема художественной формы и литературного стиля настойчиво сопровождает основную тему о грехе и покаянии. Моралист и духовный пастырь несколько не угадают в Тихоне ценителя словесных ценностей. Он вводит в свою проповедь вместе с этической проблемой и неожиданную эстетическую тему. Это превращает местами разговор грешника со святителем в диспут двух риториков враждебных школ.

Словно забывая о главной проблеме, они непрерывно спорят о художественном слоге, о литературной форме «Исповеди», о различных речевых формулах, наконец, даже об изяществе или недостаточной красивости самого преступления.

Вслушиваемся в странные реплики этой беседы «на духу» под

взглядом икон и языческих божеств, среди чувственного комфорта монашеской кельи.

«– Даже в форме самого великого покаяния сего заключается уже нечто смешное», – тонко критикует прочитанную рукопись монастырский словесник. Но в случае покаяния – «даже сия форма победит (указал он на листки)».

Ставрогин поражен этой эстетической доминантой в поучениях монаха:

«– Итак, вы в одной форме, в слоге, может быть, находите смешное?»

Тихон разъясняет, но не покидает своей эстетической позиции:

«– И в сущности. Убьет некрасивость, – прошептал Тихон, опуская глаза.

– Некрасивость! Какая некрасивость?

– Преступления. Есть преступления поистине некрасивые... даже слишком уж не изящные...» И, отвлекаясь от всякой морали, Тихон, в духе Константина Леонтьева, говорит о картинности ужасных, кровопролитных преступлений, о их эффектной «внушительности»... Уж не прочел ли он, при своих безбрежных читательских интересах, знаменитого английского трактата «Убийство как одно из изящных искусств»?

Недаром еще в первой беседе Ставрогин изумляется: «Прелестные, странные слова для архиерея...» Впрочем, он гораздо более склонен осуждать чужую ему стилистическую манеру:

«– Эти монашеские формулы даже совсем не изящны... Скажите поциничнее», – обрывает он Тихона.

И свой собственный мемуарный фрагмент он выдерживает – за исключением финальной части – в каком-то предумышленном тоне полной словесной оголенности и неприкрашенности. Одинаково отвергнуты стилистические манеры всех учителей его молодости:

изящная и вдохновенная речь Степана Трофимовича, расцветенная остроумными цитатами и французскими афоризмами, так же забыта им, как и кафедральное красноречие геттингенских профессоров с редкостными учеными терминами и живыми логическими синтетами. Припомнилась скорее обнаженная детальность устного гептамерона Прохора Малова или тех бессапожных чиновников, с которыми водился одно время принц Гарри. Быть может, мелькнуло воспоминание и об автоматической речевой импульсивности члена того же нелепого кружка – полубезумного инженера Кириллова.

Все это могло содействовать стремительному выявлению той беспримечной словесной системы, в которой нашли свое резкое отражение механически пересекающиеся плоскости этого мертвенного сознания.

III

Вслушаемся в эти неумелые, неудачно сложенные фразы, тормозящие рассказ на всем его протяжении:

«В одной принимал одну любившую меня даму»; «одну из сих двух квартир»; «но прежде того было вот что»; «рассмешило ее как дитя»; «отошла и встала к окну ко мне спиной»; «сами они помещались рядом в другой – теснее, и до того, что дверь разделявшая всегда стояла открытой, чего я и хотел». Или еще: «Я так был низок, что у меня дрогнуло сердце от радости, что выдержал характер и дождался, что она вышла первая...», «Я почувствовал ужасный соблазн на новое преступление, именно совершить двоеженство, потому что я уже женат, но я бежал по совету другой девушки, которой я открылся почти во всем, и даже в том, что совсем не люблю ту, которую так желал, и что никого никогда не могу любить».

Такой беспомощный синтаксис на каждом шагу развивчивает фразу и

как бы бросает ее на произвол устной интонации, единственно способной сгладить эти беспрерывные ухабы записанных предложений.

Таково задание художника: передать весь характер прерывающейся устной речи, возникающей в извращенном интеллекте преступника. И конечно, это стремление деформировать обычный литературный рассказ, эти приемы намеренного косноязычия являют труднейший опыт для романиста. Разложение традиционной литературной гладкости, разрушение всех налаженных способов стройной словесной передачи, внешний разрыв с общепринятой печатной традицией – все это представляет собой сложнейший стилистический эксперимент, замечательно удавшийся Достоевскому.

Расслоение традиционно-правильной речи, разрушение синтаксиса, ломка «художественной прозы» создают совершенно новый эффект обнажения преступного сознания.

В тексте романа этому соответствует предсмертное письмо Ставрогина, переданное также «слово в слово, без исправления малейшей ошибки в слоге русского барича, не совсем доучившегося русской грамоте»...

Эпистолярный стиль Ставрогина так же уродливо бессилен, как и его профессиональная манера. Правда, здесь есть попытки на некоторый своеобразный лиризм; но при изолированности таких признаний на общем фоне протокольного самоанализа они производят леденящее впечатление. Любовное письмо Ставрогина выдержано в характерном для него глухом и бездушном тоне следственного показания. Он словно отвечает на допросе или откликается на полицейскую анкету: «Я еду через два дня... У меня еще есть двенадцать тысяч рублей... Подтверждаю, что советью я виноват в смерти жены. Я с вами не видался после того, а потому подтверждаю» и т.п.

Письмо к Даше в стилистическом отношении – прямое продолжение «Исповеди». В финале романа перед гибелью героя звучит отголосок самой трагической темы его жизненного пути. Этим словно компенсируется выпадение центральной главы из общей романтической композиции. Важный для автора прием изображения героя его собственным литературным стилем, таким образом, не упущен Достоевским. Последнее письмо Ставрогина, при отсутствии в нем потрясающей темы «Исповеди», внушает такое же жуткое впечатление своей расплывающейся, словно разложившейся и гнилой фразой. Здесь синтаксис и общая манера свидетельствуют о нравственном крушении, о катастрофических сдвигах, о внутренней гибели, о наступившем уже небытии. Духовный тлен – вот формула Ставрогинской стилистики в листках подпольной заграничной типографии и в письме, отосланном с глухой российской станции.

IV

Но вся эта «внелитературность» «Исповеди», конечно, сплошная видимость. Стилистическая ломка имеет здесь свою закономерность и сочетается с замечательной верностью художественной форме автобиографического признания. Разрушая безукоризнишую гладкость установленного повествовательного вида, Достоевский сохраняет неприкосновенным канон литературной исповеди. Рассказ Ставрогина в этом смысле глубоко литературен, ибо он безукоризненно воспроизводит все признаки конфессионального жанра, как он установился в европейском романе середины столетия. Внешне не отделанный и явно симулирующий небрежную запись, рассказ Ставрогина с внутренней стороны строго подчинен художественному уставу исповеди, как определенного литературного жанра.

Вглядимся прежде всего в сложную систему эстетических эффектов этой намеренно расстроенной и искусственно искаженной речи.

Сплошная ткань рассказа здесь, как мы видели, повсеместно надорвана странными ошибочными оборотами. Неправильности слога прокламируются автором, как поставленное задание, и тщательно выдерживаются на протяжении всей «Исповеди». Прием проведен с замечательным тактом и чутьем меры: он еле заметен при чтении, а между тем как-то невидимо ощущается и, наконец, обнаруживается во всем своем объеме лишь при пристальном изучении.

Но нестройная, грубовато сколоченная, вывихнутая фраза служит превосходным обрамлением к метким, проникновенным и остро-удачным формулам. На фоне этого уродливого синтаксиса и тусклых выражений ярко вспыхивают отчетливые, рельефные и резко очерченные образы: «Она была белобрысая и весноватая, лицо обыкновенное, но очень много детского, и тихого, чрезвычайно тихого...» Какая портретная выразительность в одной короткой и нестройной фразе! Эти нарушения литературного канона сообщают подчас исключительную экспрессию описанию: «Баба остервенилась, потому что в первый раз прибила несправедливо...» Или: «Я убежден, что мог бы прожить целую жизнь как монах, несмотря на звериное сладострастие, которым одарен и которое всегда вызывал...» При этом поразительная живописность и почти патологическая зоркость к острым деталям, даже в безразлично построенных фразах, вроде описания крошечного красненького паучка на листке герани. Сюда же следует отнести превосходную звуковую картину: «Окна были отперты. В доме всё жили мастеровые, и целый день изо всех этажей слышался стук молотков или песни...»

Стилистика «Исповеди» органически связана с ее тематикой; всюду, где

доминируют темы позорного преступления, речь исповедующегося, несмотря на его стремление сохранить протокольный тон, вся изломана необычными, сбитыми и осекающимися фразами. Эта манера нарушается только моментом «катарсиса» – видением Дрезденской картины Клода Лорена «Асис и Галатея», преображенной в мечту о Золотом Веке. Этот отрывок, перенесенный впоследствии в признания Версикова, отличается исключительной стройностью словесного построения, ритмической плавностью почти стихотворного лада, воздушностью и легким лётным гармонически слагающихся фраз. Обилие сочетаний ла, ло, ал, ол создает, волнообразует и методическую плавную звуковую картину: «Это – уголок греческого архипелага; голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее побережье, волшебная панорама вдали, заходящее, зовущее солнце – словами не передашь. Тут запомнило свою колыбель европейское человечество...» Проза фрагмента слагается в свободный размер:

Тут жили прекрасные люди!
Они вставали и засыпали
Счастливые и невинные;
Рожи наполнялись их веселыми песнями,
Великий избыток непочатых сил
Уходил в любовь и в простодушную радость.
Солнце обливало лучами
Эти острова и море,
Радуюсь на своих прекрасных детей...
Чудный сон, высокое заблуждение!

Уголовное показание здесь вырастает в античный дифирамб, и деревянный язык протокола о грязном преступлении очищается до высокого строя хромового гимна.

Вся эта сложная и разнообразная композиция обрамлена сырыми ключьями канцелярского стиля. «Исповедь» начинается и заканчивается традиционными формами официальных показаний. Словно углы документа с казенными штемпелями врываються своими судебно-полицейскими формами в за-

чин и концовку этой криминальной новеллы.

«От Ставрогина. Я, Николай Ставрогин, отставной офицер, в 186... году жил в Петербурге...» и проч. И в заключение – ссылка на петербургскую полицию и «местную власть», затем вопрос о «юридическом преследовании» и, наконец, – заявление: «Я же никуда не уеду и некоторое время (с год или два) всегда буду находиться в Скворешниках, имении моей матери. Если же потребуют, явлюсь всюду. Николай Ставрогин».

Все по форме: имя, звание, дата и место действия, указание свидетелей («мещане, может быть, и теперь в Петербурге. Дом, конечно, припомнят...»), постоянный адрес, обязательство о невыезде, подпись. Все отдает следовательской камерой. Только и ждешь, что «места печати» и узорной неразборчивости официальных грифов.

Таковы эти обнаженные ключья канцелярского документа в житии Великого грешника.

V

При всем своеобразии приемов Достоевского композиция Ставрогинского показания выдержана в традиционном стиле классической исповеди.

Этот литературный вид был особенно в ходу в эпоху творческой работы Достоевского. В 1839 году Фредерик Сулье, которым интересовался молодой автор «Двойника», выпустил роман под заглавием: «Общая Исповедь» («Confession générale»). Тогда же появился известный роман Альфреда де Мюссе: «Исповедь сына века» («Confession d'un enfant du siècle»). Незадолго перед тем была переведена на русский язык монография Томаса де Квинси: «Исповедь англичанина, принимавшего опиум» («The Confession of an opiumeater») – книга, которую Достоевский читал в Инженерном училище. Один из поздних романов Жорж

Занд, к которой Достоевский сохранил до конца чувство благоговейного поклонения, озаглавлен: «Исповедь девушки» («Confession d'une jeune fille»).

В конце сороковых годов вышла книга Прудона: «Исповедь революционера». Наконец, две классические работы этого типа: «Исповедь блаженного Августина» и знаменитая «Исповедь» Жан-Жака Руссо, могли служить Достоевскому наиболее выразительными образцами для центральной главы «Бесов».

В эпоху литературных выступлений Достоевского в его кругу интересовались «Исповедью» Руссо. Белинский отмечает в своих письмах (сент. 1846 г.): «Теперь читаю «Confessions» – не много книг в жизни действовали на меня так сильно, как эта». И в одном из следующих писем по поводу самого Руссо: «Сильное омерзение к этому господину. Он так похож на Достоевского...»

Это раннее сопоставление автора «Бедных Людей» с творцом знаменитой «Исповеди» не лишено большой литературно-психологической зоркости.

К этому малоизученному литературному жанру Достоевский всегда питал решительную склонность. Стиль исповеди, действительно, замечательно подходил к природе его замыслов. Эпистолярная форма его первого романа являет в сущности видоизменение этого литературного рода. Обилие разработок темы в первом лице, несомненное пристрастие Достоевского к типу *Ich Erzählung*'а – от «Белых Ночей», «Неточки Незвановой» и «Елки и Свадьбы» до «Игрока», «Бесов» и «Подростка» – все это намечает влечение к той же форме. Прорывами они сказываются и на других произведениях, напр. на «Идиоте» (Исповедь Ипполита) или «Братьях Карамазовых», где имеется характерное название трех глав: «Исповедь горячего сердца». В начале 60-х годов Достоевский объявил в своем журнале о предстоящем

опубликовании своего нового романа «Исповедь». Это заглавие почему-то не удержалось, и произведение было названо: «Записки из подполья». Но замысел, стиль и жанр традиционной литературной «конфессии» явственно сказываются здесь, как сказались впоследствии в «Кроткой» и в «Сне смешного человека».

В чем основные признаки этого жанра? В центре композиции стоит рассказ о тайном преступлении – это главный узел всей повествовательной системы. История греха, тяжелых душевных блужданий и тайных пороков – вот основная тема, намечающая развитие всей экспозиции. Сюжет, как таковой, может отсутствовать, цепь эпизодов нанизывается на некоторую моральную, философскую или психологическую тему исправления, нравственного возрождения, усыпления или же очищения совести и искупления греха страданием. Таков тип литературного вида, сказавшийся в знаменитой книге блаженного Августина, в автобиографии Жан-Жака Руссо, в «Исповеди англичанина, принимавшего опиум».

Достоевский безусловно выдерживает этот канон: в центре – изложение страшного преступления; в заключение, вместо обычного возрождения и спасения грешника, – видение рая, возвышенная греза о Золотом Веке. Inferno злых страстей хоть на мгновение озаряется отблеском недостижимого рая. У блаженного Августина развернута обширная картина грехопадений, внезапно прорезанная обрачением на путь истинный. В «Исповеди англичанина», столь увлекавшей Достоевского в его молодые годы, тема мучительных блужданий и тягостное осознание себя преступником, под действием наркоза, сменяются ослепительными просветлениями опиомана. Наконец, у Руссо обширная летопись грехов, ошибок и тяжких моральных заблуждений приводит к гордому со-

знанию своего превосходства над всеми людьми.

Признания Ставрогина ближе всего к «Confessions» Руссо. Там чувствуется такая же сексуальная насыщенность рассказа, такая же извращенность эротической темы. Нужно подчеркнуть, что преступление над малолетней Ставрогин совершает в своей холостой квартире, где он собирается свести для потехи любящую его даму с ее горничной – по первоначальному варианту – «при своих приятелях и при муже».

Сцена наказания Матрешы розгами, будящая в Ставрогине «сладо-страстие зверя», определенно свидетельствует о его садических инстинктах. Все это, несмотря на усиление трагических ощущений, выдержано в духе обстоятельных рассказов Жан-Жака о его половых аномалиях и страстном темпераменте при холодном уме.

Так же показателен рассказ Ставрогина о другом его преступлении – о похищении денег у бедного чиновника. Руссо истязает себя и читателя рассказами о различных своих кражах, нигде не понижая при этом горделивого тона своих заявлений: «*Je ne me souviens pas d'avoir pris de ma vie un liard à personne hors une seule fois il n'y a pas quinze ans que je volai sept livres dix sous*» и пр. – «Это была единственная кража в моей жизни», – аналогично предупреждает Ставрогин обстоятельный рассказ о похищении тридцати двух рублей из вицмундира.

Когда Руссо рассказывает о своем подлом поступке с несчастной Марианной – он сознается, что тяжесть, давившая с тех пор его совесть, заставила его взяться за писание своей «Исповеди». Он не скрывает при этом, что в ощущениях стыда и позора он находил примесь чувственного наслаждения. Он приступает к своему рассказу с высокомерием и с особым чувством своего превосходства над всякими «порядочными людьми», совершаю-

щими втайне темные дела. Он кидает надменный вызов всем тем недостойным и лицемерным, которым придется читать повесть о его грехах и падениях. И, тем не менее, самый рассказ имеет в себе немало черт грубой обнаженности и отталкивающего цинизма.

Все это, казалось бы, глубоко личное и неповторяемое, воспроизведено с различными вариациями в главе «У Тихона», Ставрогин несомненно повторяет психологический опыт Руссо, как Достоевский воспроизводит стиль его гениального покаяния. Примечательно, что в первоначальной редакции Ставрогин ссылаясь на эту классическую книгу: в гранках сохранилась зачеркнутая запись: «Предаваясь до шестнадцати лет, с необыкновенною умеренностью, пороку, в котором исповедовался Жан-Жак Руссо, я прекратил в ту же минуту, как положил захотеть, на семнадцатом году».

Так шедевр исповедального жанра, хорошо знакомый Ставрогину, отразился на построении его автобиографического фрагмента. Выпущенная глава «Бесов», отмеченная некоторыми характерными приемами знаменитых «Confessions», носит на себе явные следы этого своеобразного литературного жанра.

VI

Такова необычайная и тонкая композиционная система Ставрогинской «Исповеди». Острый самоанализ преступного сознания и беспощадная запись всех его мельчайших разветвлений – требовали и в самом тоне рассказа какого-то нового принципа расслоения слова и распластования цельной и гладкой речи. Почти на всем протяжении рассказа чувствуется принцип разложения стройного повествовательного стиля. Убийственно-аналитическая тема исповеди страшного грешника требовала такого же расчлененного и как бы беспрерывно распадающегося воплоще-

ния. Синтетически законченная, плавная и уравновешенная речь литературного описания меньше всего соответствовала бы этому хаотически-жуткому и встревоженно-зыбкому миру преступного духа. Вся чудовищная уродливость и неистощимый ужас Ставрогинских воспоминаний требовали этого расстройства традиционного слова. Кошмарность темы настойчиво искала каких-то новых приемов искаженной и раздражающей фразы.

«Исповедь Ставрогина» – замечательный стилистический эксперимент, в котором гладкая художественная проза русского романа впервые судорожно пошатнулась, исказилась и сдвинулась в сторону каких-то неизвестных будущих достижений. Только на фоне европейского искусства нашей современности можно найти критерий для оценки всех пророческих приемов этой дезорганизованной Ставрогинской стилистики.

Л. П. ГРОССМАН

Спешнев и Ставрогин¹

I

Обычное обращение Достоевского к фигурам своих современников, как к живым прототипам для романических героев, сказалось с особенной сложностью при разработке главных образов «Бесов». Достоевский не довольствовался здесь одним оригиналом для каждого типа, но производил сложный художественный эксперимент синтеза, сочетания и даже полного слияния различных прототипов в лице одного героя. Наблюдение и изучение политической современности своеобразно сочетались с личными воспоминаниями о минувших заговорах – герои «нечаевщины» соприкасались с образами петрашевцев, – и деятели обеих эпох, разлученные протекшим двадцатилетием, а главное, глубоким различием программ и форм революционной активности, сливались воедино в том или ином герое «Бесов». Политическая атмосфера конца 60-х годов дублировалась революционной действительностью конца 40-х. Заочно изучаемое, современное подполье усложнялось непосредственными впечатлениями о лицах и настроениях «давно минувшей истории», одним из

участников которой был сам автор «Бесов».

Так Петр Верховенский, – изображающий в основных чертах Нечаева, по замыслу Достоевского – отчасти и Петрашевский, которого он действительно напоминает своей возбужденной активностью гораздо сильнее, чем холодного, сосредоточенного, методического Нечаева.

Точно так же и главный герой романа, списанный в основном с Бакунина, оживлен некоторыми чертами одного из виднейших петрашевцев. – Мы имеем в виду Николая Александровича Спешнева, чрезвычайно близкого к Достоевскому в конце 40-х годов. По некоторым данным, эта любопытная и колоритная фигура служила Тургеневу прототипом для Базарова. Есть несравненно более оснований утверждать, что с нею генетически связан образ Ставрогина.

II

Один из первых русских коммунистов, богатый курский помещик и петербургский домовладелец, живший несколько лет за границей – в Париже и Швейцарии – и отличавшийся широ-

ким образованием, блестящими способностями, сильным умом, – Спешнев произвел на Достоевского в молодости совершенно неотразимое впечатление. Красавец и богач, бывший, по-видимому, под непосредственным влиянием знаменитого швейцарского коммуниста Вейтлинга, он являл идеальное воплощение поразившего Достоевского типа, «аристократа, идущего в демократию».

По описанию Огаревой-Тучковой, он обращал особенное внимание своей наружностью: «он был высокого роста, имел правильные черты лица, темно-русые кудри падали волнами на его плечи, глаза его – большие, серые – были подернуты какою-то тихой грустью». По показанию петрашевца Момбелли, Спешнев держал себя «как-то таинственно», «был всегда холоден, ненарушимо спокоен, наружность его никогда не изменяла выражения». Особенно значителен портрет Спешнева, зарисованный Бакуниным в его письмах.

«В 1848 г., в первых порах западной революции, прибыл к ним (т.е. к петрашевцам) Спешнев, человек замечательный во многих отношениях: умен, богат, образован, хорош собою, наружности самой благородной, далеко не отталкивающей, хотя спокойно-холодной, вселяющей доверие, как всякая спокойная сила, – джентльмен с ног до головы. Мужчины не могут им увлекаться, – он слишком бесстрастен и, удовлетворенный собой и в себе, кажется, не требует ничьей любви; но зато женщины, молодые и старые, замужние и незамужние, были и, пожалуй, если он захочет, будут от него без ума. Женщинам не противно маленькое шарлатанство, а Спешнев очень эффектен: он особенно хорошо облекается мантией многотумной спокойной непроницаемости. История его молодости – целый роман. Едва вышел он из лица, как встретился с молодой

прекрасною полькою, которая оставила для него и мужа и детей, увлекла его за собой за границу, родила ему сына, потом стала ревновать его и в припадке ревности отравилась. Какие следы оставило это происшествие в его сердце, – не знаю, он никогда не говорил со мною об этом. Знаю только, что оно немало способствовало к возвышению его ценности в глазах женского пола, окружив его прекрасную голову грустно-романтическим ореолом. В 1846 году он слыл львом иностранного, особенно же польско-русского, дрезденского общества... И матушки, и дочери, и все их приятельницы, даже одна 70-летняя польская графиня были в него влюблены. Другом, неразлучным его сеидом, был блондин-шарлатан Эдмонд Хоецкий. Но не одни дамы, молодые поляки – преимущественно аристократической партии Чарторыйского – были от него без ума...» Впоследствии, в Сибири, «все отзывались о нем с большим уважением, хотя и без всякой симпатии»².

Романтический эпизод, рассказанный Бакуниным, вполне подтверждается документальными данными: некая г-жа Савельева, рожденная Цехановецкая, бросила мужа и двоих детей и бежала со Спешневым за границу, где через несколько лет отравилась из ревности к нему. Не отголосок ли этой истории слышится в следующем эпизоде ставрогинской биографии: «Рассказывали... о зверском поступке с одною дамою из хорошего общества, с которою он был в связи, а потом оскорбил ее публично...»

Собственные показания Спешнева следственной комиссии дополняют его образ характерными чертами. Он отмечает не без некоторого высокомерия, что «общество, собиравшееся у Петрашевского, не нравилось ему и казалось как-то грубоватым и необразованным»... Вспоминается Ставрогин у «наших», т.е. в обществе Липутина, Виргинского, Шигалева и др. Далее

Спешнев заявляет, что, приехав из-за границы в Петербург, «везде он был вроде почетного гостя», и оттого всегда его приглашали, зная, что он социалист, а социализм был в моде в этом обществе. Притом же он вернулся не так давно из-за границы, имел сам некоторый запас сведений и вообще должен был казаться очень интересным. Сверх того он стоял посреди означенных лиц совершенно самостоятельно, ни в ком не нуждался, тогда как иные в нем нуждались; говорил мало, проводил большую часть времени у себя за книгами и должен был казаться таинственным человеком; бывал иногда резок на слова, так что перед ним не скрывались, и успел узнавать все задние мысли, чтобы самому узнать, с кем он состоит в сношениях³.

Среди революционеров 40-х годов Спешнев стоял на самом крайнем фланге. Следственная комиссия смотрела на него как на самого важного преступника. В.И. Семевский допускает, что Спешнев не был чужд «влияния революционно-пролетарского коммунизма в духе Маркса и Энгельса». Исследователи отмечают большую близость спешневского коммунизма к учениям Дезами и Вейтлинга. Он во всяком случае считался вождем левого крыла петрашевцев, проектировал тайное общество для восстания, пропагандировал идею центрального комитета, вел переговоры о бунте на Урале и в Сибири. В бумагах Спешнева найден проект подписки для членов тайного общества, в котором имеется обязательство принять участие в восстании «вооружившись огнестрельным или холодным оружием». Крайние из петрашевцев, в том числе и Спешнев, составляя комитет тайного общества, формулировали условие «про смерть изменнику».

По убеждениям своим Спешнев был атеистом, он произносил смелые речи против религии, и в бумагах его

было найдено рассуждение, в котором отвергалось существование Бога. Достоевский, сблизившись со Спешневым, называл его своим Мефистофелем.

Это сближение произошло в 1848 году. Достоевский долгое время противился ему. В своих беседах он, по свидетельству Яновского, или ничего не говорил о Спешневе, или отделялся лаконически: «Я его мало знаю, да по правде и не желаю ближе с ним сходиться, так как этот барин чересчур силен и не чета Петрашевскому».

Последовавшее все же сближение Яновский довольно неудачно толкует денежной услугой, оказанной Достоевскому Спешневым. Если принять это толкование, придется заключить, что Достоевский из-за полученных денег переменял свои убеждения и, подкупленный Спешневым, стал разделять его социалистические воззрения. Между тем, совершенно очевидно, что Достоевский мог из конспиративных целей дать Яновскому такое объяснение своей связи со Спешневым, но что сближение с ним произошло на совершенно иных основаниях. Обольстительно-прекрасный, спокойно-холодный, уверенный в себе новатор подчинил своему личному влиянию впечатлительного и пылкого мечтателя «о всеобщем счастье». Сам простодушный, Яновский чувствовал, что с Достоевским «совершилось что-то особенное», и придавал его признанию какое-то «фатальное значение». – «Теперь я с ним и его, – говорил Достоевский. – Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель».

Это глубоко знаменательное определение. Творческие натуры склонны в пору своих исканий подпадать подчас под влияние противоположной духовной организации, скептицизм которой производит на них впечатление какой-то чарующей демоничности. Вспомним Пушкина:

Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу холодный яд.
Неистоимой клеветой
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою,
Он вдохновенье презирал...

У Пушкина свой «демон» – Раевский, у Достоевского – свой Мефистофель – Спешнев. И тот и другой отражаются в творчестве своих младших друзей. В лирике Пушкина это тайно навещающий его «злой гений», в романах Достоевского – Ставрогин.

Яновский дал невольное истолкование этим словам: «Прежде, когда, бывало, Федор Михайлович разговаривает со своим братом Михаилом Михайловичем, то они бывали постоянно согласны в своих положениях и выводах, но после визита Федора Михайловича к Спешневу Федор Михайлович часто говорил брату: «Это не так; почитал бы ты ту книгу, которую я тебе принес (это было какое-то сочинение Луи Блана), заговорил бы ты другое...» Он поддался видимым образом авторитету Спешнева, который был безусловный социалист».

Таковы довольно прозрачные намеки, разбросанные в мемуарах Яновского. Пожалуй, в катковском «Русском Вестнике» 80-х годов, где были напечатаны эти воспоминания, трудно было говорить определеннее. Опубликованное недавно письмо А. Майкова вскрывает чисто революционный характер связи Спешнева с Достоевским. Оказывается, группа молодых людей, разочаровавшихся в Петрашевском, тайно откололась от его кружка и, по плану Спешнева, решила устроить домашнюю типографию. Достоевскому было поручено привлечь к этому делу и Аполлона Майкова. В начале 1849 года Достоевский, оставшись ночевать у своего друга-поэта, стал уговаривать его вступить в их тайный союз. Майков

ужасался легкомыслию плана и предсказывал гибель его исполнителям. «И помню я, – вспоминал впоследствии поэт, – Достоевский, сидя, как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти отечество и пр.»; очевидно, Достоевский всецело подпал под влияние Спешнева и был, действительно, с ним и его.

Это увлечение властной натурой одного из самых замечательных русских революционеров 40-х годов не могло пройти бесследно для Достоевского. Он навсегда запомнил свое духовное подчинение Спешневу, неодолимость исключительного очарования его личности и проповеди, и, когда перед ним возникло художественное задание изобразить вождя русской революции, он вспомнил прельстительный образ своего Мефистофеля.

Ряд характерных черт внешнего и внутреннего облика Спешнева явно отразился на Ставрогине. Прежде всего здесь сказались черты внешней холодности, ненарушимого спокойствия, вид бесстрастия и столь характерное для маски Ставрогина свидетельство современников о лице Спешнева: «Наружность его никогда не изменяла выражения». Центральность фигуры в революционных кружках, благоговейное отношение к ней окружающих, глубокое уважение, и даже поголовное, влюбленность без всякой симпатии, – таковы характерные черты этой самой эффектной, романической фигуры среди петрашевцев.

Особенно существенна отмеченная Бакуниным черта «многодумной спокойной непроницаемости». Полная независимость Спешнева, его таинственность, молчаливость, рыцарственность и высокий авторитет самого крайнего из революционеров создавали вокруг него особую атмосферу признания, почитания и подчинения. Это была

личность, созданная для предводительства, для возглавления, для властвования. Небывалый успех у женщин, осложненный какой-то трагической историей, сообщал новый блеск ореолу славы этого героя. В среде тогдашних революционеров он представлял разительный контраст другому их вождю – Петрашевскому. Рядом с этим активным, хлопотливым, многословным, вечно движущимся и борющимся агитатором, – особую прелесть представляла величественно-спокойная, таинственно-молчаливая, почти неподвижная фигура красавца вождя, возбуждающего вокруг себя небывалую влюбленность и поклонение.

Достоевский-художник не мог не прельститься этой личностью и должен был почувствовать в ней богатейший материал для романической обработки. В своей картине революционной России он должен был выдвинуть на первый план эту властно-чарующую фигуру и рядом с революционером-практиком, организатором и активистом поставить таинственно-прельстительный в своей внешней пассивности и мощный внутренним воздействием образ революционного мыслителя-теоретика. Рядом с буйно-деятельным устройтеlem кружков, пятамок, заговоров и убийств в центре романа недвижно стоит этот всеподчиняющий создатель разрушительных философий, взрывающих целые мирозерцания и смертельно отравляющих души своей духовной паствы. Так противостоят в романе Верховенский и Ставрогин, так в современности противо-

стояли Достоевскому Нечаев и Бакунин, так еще более разительным контрастом выступали перед ним на фоне отошедшего прошлого Петрашевский и Спешнев. Они-то и стали в центре романа, в качестве главных оплотов смутного и глухо бурлящего движения. Для Достоевского, говоря пушкинским стихом:

...То были двух бесов изображенья.

Но сквозь фантастические маски «Бесов» здесь снова явственно проступают черты живых лиц, поразивших фантазию молодого автора «Неточки Незвановой».

Таков был сложный процесс создания отдельных образов в «Бесах»: данные текущей истории, подкрепленные книгами и газетами, сочетались с воспоминаниями личного участия автора в революционном движении сороковых годов. Фигуры, выхваченные из самой гущи современного подполья, своеобразно сливались с обликами давно ушедших бунтарей. Так же, как Петр Верховенский или Шатов, Ставрогин – сложно воссозданная из разных прообразов фигура. Воплощая Бакунина, его личность, его судьбу, его идеологию, он одновременно отражает и близко знакомую Достоевскому фигуру таинственного и демонического Спешнева. Так, в тайниках творческого процесса, черты различных прототипов синтетически сливаются, воплощаясь в живом и законченном образе единого романического героя.

¹ Настоящая статья откололась от моего доклада «Бакунин и Достоевский». Доклад о Спешневе и Ставрогине был прочитан в Обществе Любителей Российской Словесности 25 мая 1923 г. Напечатан в журнале «Каторга и ссылка», 1924, IV.

² «Письма М.А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву», 46–47.

³ В.И. Семеvский. «Петрашевцы». «Голос Минувш.», 1915, XII, 71.

ВЯЧ. П. ПОЛОНСКИЙ

*Николай Ставрогин и роман «Бесы»¹*I. НЕКОТОРЫЕ
ОСОБЕННОСТИ РОМАНА

I

Среди других произведений Достоевского, писателя необычайного, особенным своеобразием поражает именно роман «Бесы». На первый взгляд это как будто – «хроника», т.е. некое беспристрастное «описание» некоторых «недавних» и «странных» событий, случившихся в городе, имя которого в романе не произнесено. Значительная часть романа действительно выдержана в духе хроники: все происшествия, вплоть до тайных и интимных, передаются читателю невидимым, но вездесущим летописцем. Но уже в конце второй части хроникер исчезает, уступая место самому автору: одно из главных действующих лиц, именно то, которое определяло характер хроники, оказалось лицом подставным.

Это обстоятельство не может показаться неожиданным: первые же страницы «летописи» с очевидностью говорят о том, что летописец, которому по роду его деятельности подобает быть беспристрастным, *этого* именно качества и лишен. Первые штрихи, которыми характеризуется «многочтимый Степан Трофимович Верховенский», обличают в летописце такую злую иронию, такой кипящий избыток язвительной насмешливости, что всякая мысль о «хронике», как своеобразной форме беспристрастного «почти исторического» повествования, – отпадает: роман написан страстно, с сгущенной силой озлобления, без каких бы то ни было претензий на объективность: *недаром* на первой же странице автор вспоминает «*один сатирический английский роман*» и его знаменитого героя Гулливера.

Намек, весьма прозрачный, оказался, однако, не раскрытым современниками. Значительная литература о «Бесах» пестрит оценками, как злобной карикатуры на некоторых почтенных деятелей. «Достоевский следует по стопам Стебницкого, – его соблазнили лавры автора «Некуда»; этот упрек, пожалуй, наиболее распространенный. Самый характер упрека говорит о том, что существенное содержание романа, его основное задание, было либо понято неправильно, либо непонятно совсем.

А в характере задания коренились главнейшие особенности произведения. Больше всего взволновали современную критику Степан Трофимович Верховенский и писатель Кармазинов. В этих персонажах мгновенно узнали Т.Н. Грановского и И.С. Тургенева. Но странное дело: вступившись за обиженных писателей, критика не обратила или не хотела обратить внимания на то, что *весь* роман, – за исключениями, о которых мы будем говорить ниже, – *все* действующие лица, *вся* его ткань, развитие фабулы и положения, в которые становятся его персонажи, – все это было взято под тем самым углом зрения, который преобразил Грановского в Верховенского-отца, а Тургенева – в Кармазинова.

II

Прием, с помощью которого преобразжены «Грановские»² в Степана Верховенского, есть прием *сатирический*. Этот именно прием и господствует в романе. Его язвительная сила ярче всего дала себя знать на образе Кармазинова, сделанном со злобой, с презрительной и, как известно, с личной ненавистью. Но разве только на Кармазинове? Раскроем наудачу роман и

прочтем описание путешествия Варвары Петровны Ставрогиной в Петербург. Взглянем на столичную среду, как изобразил ее Достоевский: здесь господствует тот прием преображения, деформации душевных обликов, извращения ликов, идей и событий в сторону осмеяния и осуждения.

Вся «*петербургская литература*» с ее «*новыми идеями*» и с «*высшим кругом*», откуда «*управляли движением*», превращена в удивительную кунсткамеру, в собрание уродов, монстров, чудовищных карикатур. В этом кратковременном и неудачном путешествии, в вызывающем презрительную жалость виде, показаны не только надутно-глупая Варвара Петровна Ставрогина и ее ученый друг, вдруг сделавшийся страшно высокомерным, – но вся духовная аристократия эпохи шестидесятых-семидесятых годов, все «*вожди*», «*светочи*», «*борцы за высокие идеалы*», как издевательски называет их Достоевский. Осмеяны литературные споры того времени и руководители споров, «*критики, романисты, драматурги, обличители*». Характер одного этого описания говорит о том, что в основе «Бесов» лежало задание, по размаху и глубине далеко выходящее за пределы сведения личных счетов и памфлетирования отдельных представителей тогдашнего общества.

Тот же прием продолжает быть характерным при изображении большинства остальных фигур. Как постыдно смешны – покровительница молодежи, Юлия Михайловна, болтливое олицетворение передовой женщины того времени, и ее супруг, фон Лембке, тупой немец, дослужившийся до степеней известных, – весьма внушительная общественная фигура, зло и дерзко осмеянная Достоевским; не уступают этой фигуре прочие вожди общества и законодатели, а также случайно всплывающие представители его и случайно всплывающие в поле зрения откуда-то из глубин его рядовые

экземпляры, вплоть до студентки, представительницы учащейся женщины, странствующей с целью «принять участие в страданиях бедных студентов и возбудить их к протесту»; вплоть до гимназиста, страдавшего за свои восемнадцать лет, но уже слепившего самостоятельную кучку заговорщиков в старшем классе гимназии; вплоть до глупого майора, через руки которого, в молодости, «прошли целые склады «Колокола» и прокламаций»; вплоть до учителей и семинаристов – и целого ряда других, подчеркнуто смешных, надутно-глупых или возбуждающих сомнение насчет сохранности их умственных способностей³.

Охватим одним общим взглядом все богатое многообразие этих осмеянных и оскандаленных персонажей, взгляните на них со стороны: все население *неведомого города* – сверху и до самого низу – предстанет пред нами в вихре странных событий.

Случаен ли этот город, оставшийся безыменным? Да «город» ли это? Если современники романа могли раздумывать над ответом – в наши дни нет места для колебаний. *Город этот, конечно, Русь, Россия*, – но не с одного боку, а вся целиком, со всех сторон – таков был размах Достоевского. И пред лицом этого поистине величественного задания кажется детским лепетом возмущение его современников, негодовавших на неделикатное преображение «идеалистов тридцатых годов». Автор преображал всю страну, превращал ее в трагический балаган, с иступлением раскрашивал чудовищные маски, он хотел быть Свифтом и кровавые рубцы оставлять в душе своих современников, а они обидчиво недоумевали и, переглядываясь, вопрошали:

С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышат?

Наша историко-литературная критика указывает на Грановского и Тургенева, как на прототипы двух крупных

фигур романа. Было бы очень хорошо, если бы какой-нибудь исследователь попытался открыть житейские прототипы других его действующих лиц. Результаты, вероятно, получились бы чрезвычайно интересные.

«...Какие-то Лямшины, Телятниковы, помещики Тентетниковы, доморощенные соплики *Радищевы*, скорбно, но надменно улыбающиеся жидишки, хохотуны, заезжие путешественники, поэты с направлением из столицы, *поэты, взамен направления и таланта в поддевках и смазных сапогах, майоры и полковники*, смеющиеся над бессмысленностью своего звания и *за лишний рубль готовые* тотчас же снять свою шпагу и *улизнуть в писаря* на железную дорогу, *генералы, перебежавшие в адвокаты*; развитые посредники, *развивающиеся купчики*, бесчисленные семинаристы, женщины, изображающие собою женский вопрос, – все это вдруг у нас взяло полный верх, и над кем же!»

Разрешение хотя бы одного вопроса о том, как могли затесаться в хронику нашего неведомого града «Тентетниковы» и «доморощенные соплики Радищевы», – дало бы очень много любопытнейших заключений. Не менее интересно раскрытие общественных фигур, скрытых за «поэтами в поддевках» и «смазных сапогах» и генералами, перебежавшими в адвокаты. Не случайно попали они на страницы «хроники» – а ведь до сего времени эти псевдонимы, в изобилии рассыпанные по страницам «Бесов», оказываются еще не расслабленными⁴.

Сделав сатирический прием при построении романа основным, обобщая, типизируя каждое действующее лицо, Достоевский вполне последовательно спутником романа сделал *пародию*. Чаще всего пародийными элементами «Бесов» называли «Довольно» Тургенева, «Студент» Огарева, «Письма» Грановского. А между тем *весь текст романа пересыпан пародиями*. Знаменитые «рассказы из испанской

истории» – пародийного происхождения. Далее следуют – превосходная пародия на романтическую поэму Степана Трофимовича; пародия на эстетику Чернышевского; речь маньяка на литературном вечере, устроенном Юлией Михайловной, есть пародия на речь проф. Павлова, посвященную тысячелетию России⁵, а самый праздник пародирует знаменитый литературный вечер в зале Руадзе; кадрили литературы изображает тогдашние литературные направления; теория Шигалева есть крепко сделанная, обобщенная пародия на сенсимонизм, фурьеризм, кабетизм, т.е. на мечту утопического социализма о будущей мировой гармонии, о рае на земле, и неспроста Петр Степанович называет Шигалева: «господин Фурье»; идеология Петра Верховенского – сознательная и искусная пародия на воззрения Сергея Нечаева, и даже стихи капитана Лебядкина, как и все его вообще поэтические притязания, по моему мнению, также являются пародийным элементом.

III

Сам Достоевский, работая над «Бесами», придавал роману значение, гораздо большее того, какое увидела в нем современная критика.

«Никогда еще я не брал на себя подобной темы в таком роде», – писал он Н. Страхову из Дрездена 28 мая (9 июня) 1870 г. – «Совершенно не могу угадать, что выйдет из этого», – добавлял он, проявляя большое спокойствие.

Переписка Достоевского обнаруживает всю мучительность, с какой выформлял он свои замыслы. Писательство не было для него игрой. Это был труд сверхчеловеческий с постоянными колебаниями от удовлетворения к сомненьям. Неверие в успех с особенной силой терзало Достоевского во время писания «Бесов» именно потому, что задание он себе поставил необычайное.

«То, что я пишу, – вещь *тенденциозная*, хочется высказаться погорячее, – сообщает он Майкову, добавляя с скрытым ликованием: – Вот завопят про меня нигилисты и западники, что *ретроград*. Да черт с ними, а я до последнего слова выскажусь»⁶.

Те же соображения почти дословно повторяет он в письме Н.Н. Страхову (24 марта (5 апреля) 1870 года), замечая при этом, что он хочет «высказать несколько мыслей», хотя бы при этом погибла *художественность*, ибо его увлекает «*накопившееся в уме и сердце*». «Пусть выйдет хоть памфлет, – заявляет он, – но я выскажусь».

Горячность и волнение, с какими Достоевский приступал к работе, убедительно говорят о том, что задачи себе он ставил неизмеримо более широкие, чем изображение «нечаевщины», или «подполья русской интеллигенции». Это части задания, детали, вошедшие в картину, но не само задание, не вся картина.

«Нечаевское дело» (подчеркиваю: не «*процесс нечаевцев*», – а «*дело*», возбужденное вслед за убийством Иванова в ноябре 1869 г.) послужило лишь *предлогом* для романа. Это был, быть может, тот кусочек кристалла, который, падая в насыщенный раствор, вызывает процесс кристаллизации. Но, послужив предлогом для романа, «нечаевское дело» ни в замысле Достоевского, ни в самом романе не заняло центрального места, сохранив житейский характер *эпизода*, частного случая, который сам Достоевский называл лишь «крупнейшим происшествием» своего рассказа.

В 1873 г., в послании А.А. Романову, наследнику русского престола, в ответ на запрос его – «как автор «Бесов» смотрит на свое произведение» – Достоевский назвал роман «почти историческим этюдом» и подчеркивал, что в романе своем хотел

выразить «родственность и преемственность мысли, развивавшуюся отцов к детям», т.е. от поколения идеалистов 30–40-х годов к поколению нигилистов 60-х. «Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если бы им сказали, что они прямые отцы нечаевцев»⁷.

Поставив своей задачей изобразить «преемственность» мысли, Достоевский вместе с тем решил убедительно показать, как именно в нашем обществе могут возникнуть и развиваться и найти осуществление такие явления, как нечаевщина. Но ведь нечаевщина была для него не простой случайностью, а порождением революции. Именно потому, что в эпизоде этом Достоевский увидел лик революции, он за него и ухватился, – в уверенности, что вот тут-то и нанесет революции удар в самое сердце, разоблачив ее нравственную природу.

Потому-то «общество» и оказалось объектом сатирического изображения, что прониклось революционными идеями. Достоевский не делал при этом разницы между либералами и социалистами – и те и другие одинаково были для него «нигилистами», отрицателями, людьми, в которых вселились бесы. Всю силу ненависти собрал он, чтобы ударить в одну точку: «то-то завопят либералы, что – ретроград». Чтобы понять, с каким методом подходил к своему повествованию Достоевский, – достаточно вспомнить следующие его строки Н.Н. Страхову, написанные в Дрездене 24 марта (5 апреля) 1870 г.

«Вы слишком, слишком мягки, – писал он по поводу некоторых выпадов Страхова против нигилистов и западников в статье «Женский вопрос». – Для них надо писать с плетью в руке. Во многих случаях вы для них слишком умны. Если бы вы на них поазартнее и *погрубее* нападали, было бы лучше. Нигилисты и западники требуют окончательной плети».

* * *

Таким было первоначальное задание. Тенденциозный роман даже в ущерб художественности, направленный против пороков революционной заразы, против нигилистов и либералишек, против поколения отцов и поколения детей, написанный с плетью в руке, т.е. зло, беспощадно, с единственной целью «высказаться погорячее», не заигрывая с молодежью, а раскрывая ей глаза, т.е. разоблачая, издеваясь, наказывая. Такое задание предопределило форму романа, как произведения сатирического, сопровождаемого пародией, насмешкой, эпиграммой. Все эти элементы в «Бесах» налицо.

Но в процессе своего развития роман испытал вторжение других творческих элементов. Они осложнили его композицию, создали параллельное повествование и вдвинули в роман целый ряд фигур совершенно другого плана и происхождения. Это вторжение делается нам понятным, если мы проанализируем психологическую и социальную подпочву, на которой развивалось мировоззрение Достоевского и его отношение к революции.

II. AVE, CAESAR, MORITURI TE SALUTANT!

I

Мы мало знаем о душевных переживаниях Достоевского. Нам неясна картина социалистических увлечений его юности. Осталось неизвестным, как именно произошел духовный переворот в сибирские годы его жизни. Мы знаем лишь, что именно после Сибири сформулировал он свои мысли о почве, о народе, как о твердой опоре, без которой ни жить, ни спастись невозможно. Эти мысли были тяжелой платой за горький опыт жизни. Но им суждено было остаться неосуществленной мечтой, к которой протягивал он руки. Прилепиться к народу, слиться с

ним, стать твердым «почвенником» Достоевский не смог, не сумел, как того ни хотел. Всю свою долгую жизнь он был страшно одиноким – столь же одиноким на родной земле, как и на чужбине.

Достоевский, гениальный художник, принадлежал не только своему времени, но определенному социальному слою. Он был порождением мещанства, в смысле социальном, т.е. художником, сознание которого сформировалось в среде городской нищеты, печальная участь которой с юных лет уязвила его сердце⁸. Если бы история жизни Достоевского развивалась без катастрофы – наша литература имела бы гениальные произведения, овеянные гуманизмом, который звучал еще в ранних произведениях его, может быть с оттенком христианского социализма, полные веры в человечество, в его силы и будущее, – недаром в юности увлекался Достоевский Шиллером и Жорж Занд и записался в тайное общество фурийиста Петрашевского. Трагическая судьба бросила его на каюту; долгие годы пробыл он в мертвой глубине самых низких низов социального дна, среди впечатлений и испытаний, которых не могло вынести живое человеческое сердце. Достоевский не только поставлен был в условия, позволившие ему глаза в глаза смотреть, как безвозвратно и без смысла погибал человек, он сам почувствовал себя под колесом, за той чертой, откуда никто не возвращался и никогда ничего никому не рассказывал.

Достоевскому посчастливилось. Он вернулся, и его гениальность стала рупором, через который с неимоверной силой, на весь мир зазвучали слова и образы, рожденные отчаянием, тоской и протестом погибавших и погибающих. Достоевский не изменил своему кругу: он до последних дней остался ему верен. Но все дело в том, что, войдя в «Мертвый Дом» социалистом, фурийистом с христианским оттен-

ком, – он вышел оттуда с душой, в которой оказались испепеленными социализм и фурьеризм.

Пройдя сквозь каторгу и бесконечные унижения, – биографами не опровергнуты еще показания некоторых свидетелей о применении к Достоевскому телесного наказания, – он вышел из «Мертвого Дома» сутуловатым человеком с темным взглядом, опущенным к земле, с припадками эпилепсии и кошмарами, клубившимися в душе. Спустившись в Дантов ад приверженцем социалистических идей, тесно переплетенных с Христом, – Ветхий и Новый завет были первыми книгами его детства, – в каторге, где чуть ли не единственным чтением его было Евангелие, Достоевский нашел, – или заставил себя уверовать, что нашел, – другую правду, непохожую на ту, какую раскрывал перед ним Белинский в своих проповедях. До «Мертвого Дома» в его душе пытались ужиться рядом христианство и социализм. «Мертвый Дом» это сожительство разрушил, и когда Достоевский после освобождения вновь столкнулся с социализмом, именно в эпоху 60-х годов делавшим в России свои широкие завоевания, – он почувствовал, что не только немыслимо мирное сосуществование христианства и социализма, но невозможно вообще их совместное существование в этом мире. Или христианство, или социализм, но только один из них – такое убеждение Достоевский принес с каторги. Острее других и глубже других – недаром он был гением – *Достоевский понял, что христианство отвергает социализм. И наоборот: социализм не может не отвергнуть христианства.*

II

Психологам-исследователям предстоит еще интересная задача до тонкостей выяснить этот процесс, но какова бы ни была картина духовных превраще-

ний Достоевского, – предопределяющим моментом в ее развитии были впечатления, полученные им с детства, обстановка, напитавшая его юность впечатлениями, другими словами, то духовное наследство, которым наградила его взрастившая его социальная среда. Эти обстоятельства, играющие первенствующую роль в формировании навыков, предрасположений, вкусов, точек зрения, – все то, что составляет классовый психологический костяк индивидуальности, – еще до каторги сделали из Достоевского сумрачного нелюдима, с жадностью всматривавшегося в жестокие гримасы жизни, одинокого и нервного, с честолюбивыми мечтами и с предчувствием какой-то своей избранности. В кружок Петрашевского он забрел в поисках разгадки жизни, потрясшей его своей дисгармонией, в которой он не видел смысла и которой не мог преодолеть до самой смерти. Вброшенный же на каторгу, увидев себя не на краю, но *за краем* гибели, подавленный всем, что было вокруг, одинокий в огромном страшном мире, отчаявшийся и покинутый – у кого же было ему искать помощи? – Достоевский так же, – как это было тысячу раз до него, как это бывало неоднократно и после него, – увидел спасение в мечте о Христе. Первая книга его детства засияла перед ним, как спасение. Или с Христом против социализма, или с социализмом против Христа – это сделалось основой мировоззрения Достоевского после возвращения с каторги. Он пошел с Христом. Больше того – он проникся убеждением, «что если бы математически доказали, что истина вне Христа, он согласился бы лучше остаться с Христом, нежели с истиной. Это было глубочайшим его убеждением. Именно со стороны анти-христианства, со стороны отрицания Бога, Достоевский по выходе из «Мертвого Дома» стал воспринимать социализм. «Он объявил мне, что он окончательно

ный атеист», – с ненавистью вспоминал Белинского Достоевский в письме Майкову из Женевы (16/28 августа 1867 г.), а в другом месте обозвал великого критика «самым смрадным явлением русской жизни» за то только, что тот при нем «ругал Христа».

Шесть лет спустя, уже после окончания «Бесов», неоднократно возвращаясь к роману в «Дневнике писателя», бросая отдельные комментарии, Достоевский подробнее говорил о Белинском, христианстве и социализме.

«В первые дни знакомства привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился, с самою простодушною торопливостью, обращать меня в свою веру... Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного, – именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Интернационалка в одном из своих воззваний начала прямо с знаменательного заявления: «мы прежде всего общество атеистическое», т.е. начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский... Как социалисту, ему следовало прежде всего низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начать с атеизма»⁹.

«Французский социализм, – писал он еще четыре года спустя¹⁰, – т.е. успокоение и устройство человеческого общества уже без Христа и вне Христа». А в одном из неопубликованных черновиков к «Бесам», хранящихся в Центрархиве, он в уста Липутину вкладывает эту самую мысль: «Социализм, – говорит Липутин, – ведь это замена христианства, ведь это новое христианство, которое ведет обновить весь мир. Это совершенно то же христианство, только без Бога».

Совершенно очевидно, что в упорном повторении одной и той же мысли на протяжении многих лет скачивается ее значительность в системе

воззрений автора «Бесов». Противопоставление социализма и Бога было ее краеугольным камнем; – этот камень лежал в основе всех его художественных и публицистических произведений, написанных после «Бесов».

«Начав возводить свою «вавилонскую башню» без Бога и без всякой религии, человек кончит антропофагией», – уверял он, и эту антропофагию искал в социализме – недаром так горячо ухватился он за «нечаевское дело»: происшествие-то, рассмакованное газетами всего мира, очень уж было соблазнительно. За «атеизм», за «безбожие» ненавидел он социалистов и нигилистов, за равнодушие – презирал либералишек. Или «гнусные атеисты», или «равнодушная развратная дрянь» – вот что видел он в современном ему русском образованном обществе¹¹.

В безрелигиозности революции, которую отождествлял он с либерализмом и социализмом, для Достоевского было все дело. *Та самая особенность революции, которую мы ныне считаем ее великим, положительным качеством, в глазах этого писателя, устами которого говорило погибающее мещанство, – была ее самой страшной чертой.* Но строить жизнь без Бога – по его мнению – значило идти против Бога. Бесхристианский социализм превращался в анти-христианство.

«Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов», – писал он¹².

По первоначальному его замыслу «Бесы» и были призваны показать человечеству эти удивительные результаты.

Как радиусы к центру круга, так все персонажи «Бесов» сходятся к безбожию. Отсюда трагическое равнодушие Ставрогина, безумие Кириллова («если нет Бога, то я Бог»), сатанинское злодейство Петра Верховенского, фанатическая тупость Шигалева, мелкие жульничества Липутиных, самодовольная глупость генеральши Ставро-

гиной, простодушная жестокость Федьки Каторжного, болтливое пустозвонство Юлии Михайловны, пошлая самовлюбленность Кармазинова. – *«Или гнусные атеисты или равнодушная развратная дрянь».*

Остановим несколько наше внимание на этом противопоставлении Достоевского: Христос и социализм.

III

Очень много было исписано бумаги на тему о вере Достоевского. К сожалению, очень мало места было уделено вопросу не менее интересному: *о его неверии.*

«*Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицания Бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием. Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицания, которое перешел я».*

Мерзавцы, олухи – какой странный стиль! Не дает ли он оснований предположить, что не все обстояло благополучно в темной душе нашего апостола христианства.

В той же «Записной книжке», откуда взяты эти строки, мы находим повторение их в записи, адресованной Кавелину. «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую в Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла...»¹³

Другими словами: и в Европе никто и никогда так остро временами не ощущал своего неверия, как это делал Достоевский. Он был самым сильным отрицателем, неверующим из неверующих – иначе невозможно объяснить создание такой редкой галереи богоборцев, какую находим мы у Достоевского.

Алеша Карамазов говорил как-то Мите: вся жизнь – борьба Бога и дьявола, а поле битвы – сердца людей. Это, прежде всего, следует отнести к самому Достоевскому, в душе которого попеременно побеждали то неверие, то вера. Все творчество его, этот потрясающий мир загадочных, прекрасных и омерзительных героев были ведь не чем иным, как объективированным, художественным воплощением его внутреннего мира. В его душе жили те пауки, которые нередко зловеще скользят по его страницам. Достоевский не много признаний оставил о себе, оберегая свой внутренний мир от вторжения посторонних взоров. Но создания этого писателя дают полное основание заключить, что, яростно браня Белинского за атеизм, странно обличая нигилистов и безбожников, с иступлением убеждая весь мир в том, что потерять Бога – значит потерять все, – *Достоевский более чем кого бы то ни было самого себя уверить хотел*, именно себя первого стараясь убедить в победе над неверием. Можно лгать в переписке, можно говорить неправду в мемуарах – не лжет только художник, когда из хаоса своей души творчески лепит художественные образы. «Творения Достоевского» были правдивым выформлением его внутреннего мира, полного бесконечных сомнений и глубочайшего отрицания. Мир этот не походил на внешний мир, ибо был отражением, преломленным сквозь больную, истерзанную, необычайную душу художника. Проходя сквозь призму его творческой души, они приобретали своеобразный, почти фантастический характер, и герои Достоевского стоят особняком в истории русской и мировой литературы. Поэтому-то от произведений Достоевского никак нельзя умозаключить об общественных, бытовых, исторических событиях его эпохи. Это самый неисторический писатель в мире.

Достоевский-неверующий был вторым и (кто знает?) не настоящим ли я, –

ибо автор «Двойника» был двойником сам, – недаром он возлюбил раздвоение человека, и двойники проходят по его страницам от первых произведений до последних.

Только наличием внутренней борьбы в нем самом можно объяснить такое неотступное, такое постоянное утверждение и отрицание, какое мы видим в его произведениях, – не случайно же главные произведения Достоевского представляют сплошной диспут, страстный спор непримиримых противников. Не в этом ли внутреннем споре с самим собою, не в той ли вечной борьбе «двух душ» в Достоевском кроется пристрастие его к диалогу, неоднократно указывавшееся критикой. *Форма романа Достоевского, романа-трагедии, рождалась, таким образом, из особенностей его душевного состояния.*

Чем ярче ощущал Достоевский-христианин правоту своей веры, тем сильнее сомневался Достоевский-неверующий; чем упорней первый обращал глаза к Христу, тем кощунственной издевался над ним его безбожный двойник, доводя до пределов игру своей богоборческой фантазии.

Религиозные диспуты Шатова и Ставрогина есть ведь не что иное, как объективирование этой внутренней борьбы. *Ставрогин и Шатов, две стороны его собственной души, раздвоенной и сомневающейся, неверующей и верующей одновременно.* Если одной стороной ее он с иступлением уверял, что верует, хочет верить, – другой ее половиной подвергал осмеянию эту веру, издевался над нею, кощунствовал, увлекаясь в то горнило сомнений, в то отрицание Бога, какого, по его собственным словам, не было даже на Западе. И чем сильнее звучал голос его неверия, чем острее было сомнение, тем более страстно прикидал он к Христу, тем с большим отчаянием – ибо это последняя точка в жизни погибающего мещанина – убеждал он себя в том, что, кроме нее, ничего нет, не

было и не будет, тем с большей силой загоралась в нем ненависть против всяких попыток погасить этот свет, казавшийся ему спасительным.

Здесь коренится источник его злобы к социализму. То самое, чего больше всего боялся Достоевский, **безбожие, неверие, атеизм, – открыто и победно делали свои завоевания.** «Интернационалка начала с самого главного – с атеизма» – вот с чем не мог примириться Достоевский, вот что страшило его, приводило в неистовство, вызывая в его сознании образ апокалипсического зверя из бездны. Социализм, как враг Христа, превращался в Антихриста, которого надо было победить, разоблачить, уничтожить. Либерализм отцов, нигилизм детей, преступность темных низов, пьянство, разврат, – все это от социализма, от безверия, от атеизма, – так сплетались в один клубок в потрясенном сознании Достоевского нечестивость мира, жестокость жизни, ее неоправданная дисгармония.

А глубоко внизу, под этой философско-религиозной постройкой, покоился фундамент, простой и прочный, классовый фундамент городского мещанства, хотя и погибающего, но протягивающего все же истощенные руки к священному праву собственности. «Несмотря на все воздвигаемые цели, – писал Достоевский в «Дневнике писателя», – социализм покамест состоит лишь в желании повсеместного грабежа всех собственников классами неимущими, а затем будь что будет»¹⁴. Это – классическое определение социализма, как понимает его мещанин.

Из религиозно-философского страха и мещанской боязни «повсеместного грабежа», из борьбы за Христа и против социализма родился роман «Бесы», «тенденциозное», по словам автора, произведение, в жертву которому он готов был принести даже «художественность» – качество, для него исключительно дорогое.

Какую же роль в этом тенденциозном произведении призван был сыграть Николай Ставрогин?

III. «БЕСЫ» И СТАВРОГИН

I

В первоначальном замысле «Бесов» Ставрогин, как известно, отсутствовал. Представим себе, какой вид приобрел бы роман без Николая Всеволодовича.

Это может показаться странным, но с уходом центральной как будто фигуры общий план «тенденциозного» произведения, направленного против либералишек и нигилистов, не рассыпается в прах. Вглядываясь в его воображаемый вид после ухода Ставрогина, мы замечаем любопытные вещи: *Ставрогин, выпадая из романа, увлекает за собой целый ряд фигур, связанных только с ним.* С Ставрогиным уходят, не разрывая нитей замысла: Даша, Лиза Дроздова с матерью и Мавриkiem Николаевичем, Марья Тимофеевна Лебядкина с братцем, Алексей Егорович, камердинер Ставрогина, и, наконец, Тихон. Все остальные действующие лица романа остаются на своих местах, потерпев лишь некоторые изменения: Варвара Петровна Ставрогина окажется бездетной, у нее не будет также воспитанницы, и Степан Трофимович Верховенский из гувернера ее сына превращается просто в «друга-приживала»; Шатов будет добросовестно играть роль убиенного студента Иванова; в центре происшествий по-прежнему будет стоять вездесущий, неуловимый и интригующий нигилист Петр Степанович, а все остальные лица будут делать то, что им было назначено. Впрочем, у генеральши Ставрогиной мог быть сын, и Степан Трофимович был бы его гувернером, но этот генеральский сынок не играл бы той роли, какая предоставлена ему в осуществленном варианте романа.

О, я не хочу, разумеется, сказать, будто с уходом Ставрогина так-таки ничего не произошло! Конечно же, роман потерял свою углубленность, он сделался плоским – пустым и скучным, в самом деле похожим на ограниченно-злые писания Стебницкого. *Но ведь все дело в том-то и заключается, что первоначальный набросок «Бесов», первоначальный-то замысел «тенденциозного» произведения был именно таким, каким мы его сейчас показали; в том-то и дело, что Ставрогин со своими спутниками вторгся в роман позднее, неожиданно для автора, что первоначальное задание, им себе поставленное, не требовало присутствия Николая Всеволодовича, ибо ставило в центре замысла нигилиста, атеиста, злодея Петра Верховенского.* Разумеется, лучше, чем кто бы то ни было, сам Достоевский замечательным чутьем своим понимал, что роман, в том виде, как он его первоначально задумал и осуществлял, – не вытанцовывается. Проследим кратко этапы его развития.

Вначале, загоревшись мыслью «высказаться погорячее», Достоевский был увлечен «идеей» произведения. Вот что писал он Майкову из Дрездена 12 (24) февраля 1870 г.:

«Сел за богатую идею; не про исполнение говорю, а про идею; одна из тех идей, которые имеют несомненный эффект в публике. Вроде «Преступления и наказания», но еще ближе, еще насущнее к действительности и прямо касается самого важного современного вопроса. Кончу к осени, не спешу и не тороплюсь...

...Только уж слишком горяча тема. Никогда я не работал с таким наслаждением и с такой легкостью...»¹⁵

II

Но по мере того, как «горячая» идея принимала определенные формы, автора стали мучить сомнения. Начав писать роман в конце 1869 г., он рас-

считывал окончить его к июлю 1870 г. Расчет оказался неверным. «Весь год я только рвал и переиначивал, – сообщает он Н.Н. Страхову из Дрездена 2(14) декабря 1870 г. – Я исписал такие груды бумаги, что потерял даже систему для справок с записанным. Не менее 10 раз я изменял весь план и писал всю первую часть снова. Два-три месяца назад я был в отчаянии». Роман, очевидно, получал вид совершенно неудовлетворительный. И лишь после нескольких месяцев неудач («никогда никакая вещь не стоила мне большего труда») Достоевский стал овладевать замыслом. «Вначале, – общал он Н.Н. Страхову 9(21) октября 1870 г., – т.е. еще в конце прошлого года, я смотрел на эту вещь, как на вымученную, как на сочиненную, смотрел свысока. Потом посетило меня вдохновение настоящее, и вдруг полюбил вещь, схватился за нее обеими руками – давай черкать написанное»¹⁶.

Здесь, очевидно, был окончательно намечен тот абрис «Бесов», но еще без Николая Ставрогина, который мы представляли себе выше. Наконец, после приведенных только что строк, Достоевский продолжает:

«Потом летом опять перемена: выступило еще новое лицо с претензией на настоящего героя романа, так что прежний герой (лицо любопытное, но действительно не стоящее имени героя) стал на второй план. Новый герой до того пленил меня, что я опять принялся за перделку».

Новый герой – Николай Ставрогин. Как же произошло вторжение этого героя на страницы романа, спустя почти целый год после того, как было намечено его содержание? Откуда он появился? Возник ли и развился он из недр воплощавшегося в то время замысла, как необходимое звено в цепи художественных образов, или происхождение и развитие этого образа протекало в стороне от этого замысла, независимо от него, а хронологически и до него?

Исследовать этот вопрос подробно – нам нет необходимости, так как можно считать установленным, что образ Николая Ставрогина возник и развился еще до того, как Достоевский задумал роман «Бесы»; связь его с замыслами «Атеизма» и «Жития великого грешника» не подлежит никакому сомнению. Этого не отрицает даже Л.П. Гроссман, признающий, что «некоторые черты героя «Атеизма» и «Жития» отразились на образе Ставрогина». Он не хочет только признать, что эти *некоторые* черты *существеннейшие*, именно те самые, которые определяют характер образа. Достаточно внимательно прочесть черновые записи «Бесов» – те сцены, о которых Достоевский упоминает в одном из своих писем¹⁷, и сличить их с черновыми набросками «Атеизма» и «Жития», чтобы просто и спокойно убедиться, что образ Ставрогина эмигрировал из этих замыслов в роман «Бесы».

Не следует, конечно, забывать, что по мере того, как Достоевский от мнемонических записей переходил к воплощению образа, – Ставрогин претерпел ряд различных изменений. Подчиняясь интуиции своего художественного гения, Достоевский отсекал одни, ранее намеченные черты, присоединял другие, видоизменял третьи. Это, однако, нисколько не колеблет утверждения, что, *создавая Ставрогина, Достоевский «исходил» из того, волновавшего его, еще не осуществленного образа*, который, по его словам, давно носил в своем сердце и в котором отражались его собственные сомнения и поиски. На множество автобиографических черточек, рассеянных в Ставрогине, критика указывала неоднократно.

Подчеркивая эту органическую близость Ставрогина, героя романа «Бесы», с князем, – из черновиков к этому роману, – я утверждаю – и мое утверждение не является открытием, – что князь-Ставрогин оказывается за-

крепленным случайно вариантом того именно героя, который стоял в центре «Атеизма» и затем «Жития великого грешника»¹⁸. «Главный вопрос, который проведется во всех частях, – писал Достоевский об «Атеизме», – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование Божие. Герой, – в продолжение жизни, – то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист». Здесь тремя строчками выражена сущность Ставрогина. Все остальные черты его – лишь выводы, которые делал Достоевский из основных посылок.

III

Для всего творчества Достоевского был характерен один образ, постоянно его волновавший, отдельные черты которого фрагментарно проявлялись то в одном, то в другом романе, который можно было бы уподобить *навязчивой идее*. Н.Н. Страхов говорит об этом следующими словами:

«Покаявшийся нигилист, вот тема, которую он любил, на которую написано «Преступление и наказание»... и которая отзывается во всех последующих его произведениях»¹⁹.

Этот покаявшийся нигилист и есть ведь герой «Атеизма», «Жития», «Бесов». Ни в одном произведении своем, ни до, ни после «Бесов», Достоевский не давал так широко разработанного, так трагически освещенного образа «великого грешника», каким представлен Ставрогин. Все дело в том, что, намереваясь нарисовать нигилиста раскаявшегося (что явствует из черновых записей романа), под пером Достоевского, так же, вероятно, неожиданно, он оказался нераскаянным. По этой-то причине Достоевский и повесил брезгливо «гражданина кантона Ури» – на первом попавшемся гвозде, в чулане, затканном пауками, пред лицом той вечности, о которой

гадал некогда Свидригайлов. Потому-то, говоря о Ставрогине, я и назвал его «характернейшим» персонажем Достоевского, и разве это было далеко от истины? Не случайно же «**во время работы над Бесами**» набрасывает Достоевский в письмо Майкову содержание романа о «великом грешнике», имевшем все главнейшие духовные черты Николая Ставрогина. Вот поистине знаменательное соседство! И нет ничего удивительного в том, что, *обдумывая одновременно оба замысла «Бесов» и «Жития»*, перечеркивая и переписывая заново неудавшиеся главы «Бесов», недовольный плоскостью первоначально намеченного героя, который выходил смешным²⁰, – Достоевский неожиданно для самого себя, после нескольких месяцев упорной работы, – вдруг увидел, что произошла новая «перемена». Письмо Майкову, в котором Достоевский излагал содержание «Жития великого грешника» и облик его героя («то атеист, то верующий» и т.д.), написано было в апреле 1870 г. **Новый герой «Бесов» выступил летом того же года**, т.е. два-три месяца спустя. Образ «великого грешника» из «Жития» переплелся в роман «Бесы», заняв в нем подобающее ему центральное положение. *Вместе с ним из этого замысла перекочевали «хроменькая» спутница его, превратившаяся Марью Тимофеевну Лебядкину, и старец Тихон* – одно из главнейших действующих лиц «Жития великого грешника».

Гениальная интуиция Достоевского не изменила ему, Ставрогин «спасал» роман «Бесы». Тенденциозное политическое произведение с появлением Ставрогина приобретало ту психологическую углубленность, ту художественную значительность, которых оно до того не имело и отсутствие которых, очевидно, не удовлетворяло Достоевского.

Но, появившись в романе как бы из другого мира, приведя с собой в роман ряд новых лиц, не связанных

органически с основной темой «Бесов», Ставрогин, *вместе со своими спутниками, составил как бы второй план романа, некое параллельное повествование*, отличающееся от основного замысла как внутренними свойствами, так и внешними, формальными особенностями. Два повествования эти отличаются друг от друга по стилю. Николай Ставрогин и его спутники сделаны с помощью приема, резко непохожего на тот, который господствует в «Бесах». Своеобразное построение каждой фигуры в «Бесах», сатирическое подчеркивание психических и физических особенностей вроде огромных ушей Шигалева, неумолимой вертлявости Петра Степановича или трусливой угодливости Кармазинова, придает каждой из них вид карикатуры, гротеска, где характерная черта преувеличена, выпячена, шаржирована. С этой стороны «Бесы» производят впечатление трагического балагана. Действующие лица кажутся загримированными, играющими заученные роли. Каждое из них представляет собой маску, как бы олицетворяющую отдельный порок, или порочную черту, и только Николай Ставрогин вместе с его спутниками кажутся людьми, случайно зашедшими за кулисы театра масок прямо из зрительного зала: так отличны они от прочих участников своим внешним видом, отсутствием грима, углубленной духовностью, трагической серьезностью, без какой бы то ни было тени шаржа. Таковы Лиза Дроздова, Даша, Маврикий Николаевич. Они выпадают из общего стиля «Бесов», сделанные с помощью другого художественного приема. Персонажи *подлинной трагедии*, они принуждены выступать в окружении балагана. По этой именно причине главный трагический герой кажется загадкой. Его появление и существование в «Бесах» мотивированы случайными причинами. Его органическая чуждость основной стихии «Бесов» сдела-

ется нам более ясной, если мы проанализируем душевное состояние Ставрогина и отношение его к революции.

Традиционная история литературы приписывает Николаю Всеволодовичу некую революционную роль: Ставрогин, по утверждениям, напр., Л.П. Гроссмана, представителя установившихся традиций, является подлинным средоточием «заговора», изображенного в «Бесах». Верховенский лишь лакей Ставрогина, его подручный, обезьяна.

На решительной ошибочности традиционного понимания Ставрогина нам необходимо остановиться несколько более подробно.

Представим себе Николая Ставрогина и его деятельность в романе «Бесы».

IV. СТАВРОГИН В «БЕСАХ»

I

Полагая, что для нашей цели нет необходимости привлекать к рассмотрению мнения традиционной истории литературы в целом, ограничимся привлечением лишь Л.П. Гроссмана, ее новейшего представителя. Вот что утверждает по этому поводу наш автор:

Приобщившись на Западе к международной революции, пишет он, Ставрогин ведет «блистательную пропаганду своих *политико-философских* убеждений, властно подчиняющих ему разнообразных адептов в лице Шатова, Кириллова, *Петра Верховенского*» и др.

«В прошлом – Ставрогин и Верховенский прочно связаны общей революционной работой в Швейцарии, где они сообща составляли устав революционной организации». «В Ставрогине живет страсть к разрушению, он дает Федьке Каторжному зловещий сигнал к убийствам и поджогам, и по его верховному мановению сгорают половина города и начинается поножьщина. Пожары, массовые убийст-

ва, раскачка и смута исходят в романе от него, несмотря на всю его видимую пассивность».

Обратимся за свидетельствами к роману «Бесы». Перед нами стоят следующие вопросы, на которые должен нам дать ответ анализ романа: был ли Ставрогин революционером; вел ли он блистательную политико-философскую пропаганду; был ли в числе его заграничных адептов Петр Верховенский; связаны ли были Ставрогин и Верховенский в Швейцарии, да еще «прочно», общей революционной работой; исходят ли от Ставрогина массовые убийства, пожары, поножовщина, вся раскачка и смута,

другими словами – *был ли Ставрогин вождем и руководителем движения*, изображенного Достоевским в романе «Бесы», – или это традиционное представление, как выражаются газеты, «не соответствует действительности».

II

Раскроем первую главу второй части романа и последуем за Ставрогиным в его ночных путешествиях. Ставрогин сообщает Шатову, что его хотят убить.

«Шатов дико посмотрел на него.

– Я знаю, что мне могла бы угрожать опасность, – проговорил он размеренно, – но вам, вам-то почему это может быть известно?

– Потому, – отвечает Ставрогин, – что я тоже принадлежу к ним, как и вы, и такой же член их общества, как вы.

– Вы... вы член общества?

– Я по глазам вашим вижу, что вы всего от меня ожидали, только не этого, – чуть-чуть усмехнулся Николай Всеволодович».

Все это звучит странно. Л.П. Гроссман уверяет нас, что за границей Ставрогин ведет блистательную политико-философскую пропаганду, вербуя адептов, в число которых попадает и Ша-

тов. Но когда этот самый адепт узнает, что учитель, завербовавший его, также является членом того общества, куда он его завербовал, – то выражает дикое удивление. Куда же в таком случае «вербовал» Шатова Ставрогин? Правильно ли излагает характер блистательной ставрогинской пропаганды наш автор? Но прислушаемся к дальнейшей беседе. Шатов, пораженный открытием, кричит Ставрогину:

«– Вы, вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость! Вы член их общества?! Это ли подвиг Николая Ставрогина!.. – вскричал он чуть не в отчаянии».

Можно было бы допустить, что Шатов ровным счетом ничего не понимал в политико-философской пропаганде человека, которого считал своим учителем. Такое допущение отвергается текстом романа и ролью в нем Шатова. Последний превосходно все понимал. Но в таком случае возникает вопрос, без разрешения которого мы ничего не поймем ни в романе «Бесы», ни в облике Ставрогина. По уверениям традиционной критики, и Л.П. Гроссмана в ее числе, выходит, что Ставрогин – революционер, член тайного общества (вместе с Верховенским «устав писал»); по точному же смыслу реплик, бросаемых Шатовым, – этого именно менее всего можно было бы ожидать от Ставрогина. Разрешение этого вопроса мы найдем в той же беседе, в словах самого Николая Всеволодовича, которыми он разъясняет недоумение Шатова. Эти слова заслуживают внимания.

«– Вы спрашиваете, как я мог затереться в такую трущобу, – говорит Ставрогин. – После моего сообщения я вам даже обязан некоторою откровенностью по этому делу. Видите, *в строгом смысле я к этому обществу совсем не принадлежу, не принадлежал и прежде и гораздо более вас имею право их оставить, потому что и не поступал.*

Напротив, с самого начала заявлял, что я им не товарищ, а если и помогал случайно, то только так, как праздный человек. Я отчасти участвовал в переорганизации общества по новому плану и только. Но они теперь одумались и решили про себя, что и меня отпустить опасно, и, кажется, я тоже приговорен»²¹.

Вот так «вождь», вот так «руководитель» движения, по мановению руки которого происходят «раскачка», «смута», пожары, «массовые убийства», «поножовщина» и прочие чудеса! Самый «стиль», в каком ведет речь Ставрогин, говорит о том, что он в революции «гость случайный». «У них есть связи с Internationale», – говорит он Шатову. У них – разве так скажет, – не говорим о вожде, – но просто «рядовой» член организации, связанный с интернационалом? «Они сумели завести агентов», «что касается до их здешних намерений», «все они мало понимают в России» – эта маленькая стилистическая деталь выдает, конечно, отчужденность Ставрогина от «движения».

«– Я вас предупредил, чтобы вы все-таки имели в виду. По-моему, тут уж нечего обижаться, что опасность грозит от дураков; дело не в их уме: и не на таких, как мы с вами, у них подымалась рука».

«Мы» и «они». Картина, как видим, при чтении романа получается далеко не та, которую рисует нам традиция.

III

Но, может быть, в разговоре с Шатовым Ставрогин кривит душой? Быть может, эта беседа недостаточно убеждает? Обратимся поэтому к другому источнику и прислушаемся к разговору Николая Всеволодовича с Петром Верховенским. Разговор этот тем более любопытен, что поможет нам убедиться, был ли также адептом Ставро-

гина сын Степана Трофимовича и связаны ли они были еще в Швейцарии прочной революционной связью.

«– Я вам давеча сказал, для чего вам Шатова кровь нужна, – засверкал глазами Ставрогин. – Вы этой мазью ваши кучки слепить хотите. Сейчас вы отлично выгнали Шатова: вы слишком знали, что он не сказал бы: «не донесу», а солгать пред вами почел бы низостью. Но я-то для чего вам теперь понадобился? Вы ко мне пристааете почти что с заграницы. То, чем вы это объясняли мне до сих пор, – один только бред. Меж тем вы клоните, чтоб я, отдав полторы тысячи Лебядкину, дал тем случай Федьке его зарезать. Я знаю, у вас мысль, что мне хочется зарезать заодно и жену. Связав меня преступлением, вы, конечно, думаете получить надо мною власть, ведь так? Для чего вам власть? На кой черт я вам понадобился? Раз навсегда рассмотрите ближе: *ваш ли я человек, и оставьте меня в покое*».

И когда Верховенский, потрясенный возможностью разрыва с Ставрогиным, умоляюще шепчет ему «помиримтесь»:

«– Да на что я вам, наконец, черт! – вскричал в решительном гневе и изумлении Ставрогин. – Тайна, что ль, тут какая? Что я вам за талисман достался?»

И дальше предлагает Верховенскому взять Шигалева, а его оставить в покое, с злобной усмешкой иронизируя над Верховенским:

«– Так это вы серьезно на меня рассчитывали?»

Вслушиваясь в эту беседу, раскрывающую подлинные отношения этих двух героев «Бесов», – просто диву даешься: откуда могла возникнуть легенда о Ставрогине, как руководителе и центре движения? Из чего видно, что Петр Верховенский, душа «заговора», оказывается его адептом, связанным с ним прочной революционной связью?

Обратимся, наконец, к последнему источнику, к предсмертному письму Николая Всеволодовича Даше. Здесь Ставрогин, – одной ногой в могиле, – делает свои последние признания:

«Знаете ли, – пишет он, – что я смотрел даже на отрицающих наших со злобой, от ненависти к их надеждам. Но вы напрасно боялись: я не мог быть тут товарищем, ибо не разделял ничего. А для смеху, со злобы, тоже не мог, и не потому, чтобы боялся смешного, – я смешного не могу испугаться, – а потому, что все-таки имею привычки порядочного человека, и мне мерзило. Но если б имел к ним злобы и зависти больше, то, может, и пошел бы с ними. Судите, до какой степени мне было легко и сколько я метался».

Такова картина участия Ставрогина в революции, связи его с революционерами, руководства движением.

IV

Легендарность подобной трактовки личности Ставрогина делается нам еще более ясной, если мы попытаемся представить себе, какую именно «пропаганду» вел за границей Ставрогин, какие «огромные слова» вещал учитель.

Слова эти были о том, что «теперь на земле единственный народ – «богоносец», грядущий обновить и спасти мир именем нового бога и кому единому даны клюки жизни нового слова». И этот единственный народ – русский народ.

Ставрогин говорил за границей Шатову, что «атеист тотчас же перестает быть русским», «неправославный не может быть русским».

«– Но вы еще дальше шли, – напоминает ему Шатов, – вы утверждали, что Рим провозгласил Христа, подавшегося на третье дьяволово искушение, и что, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество

тем самым провозгласило Антихриста и тем погубило западный мир». Вот какие удивительные мысли, предвосхитившие идеи из «Дневника» Ф.М. Достоевского, проповедовал за границей наш «вождь и руководитель» нигилистов и социалистов! Он высказывал кроме того еще и другую заветную мысль Достоевского, что «если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться с Христом, нежели с истиной».

И Шатов, напомнив Ставрогину все это, повторяет перед ним «главную его тогдашнюю мысль», собственно говоря, целую религиозно-философскую систему о народе и Боге, о науке и разуме, о зле и добре, – ту самую систему идей, которую, позднее, уже от своего имени, будет развивать и защищать в «Дневнике писателя» сам Ф.М. Достоевский.

V

Так вот какую «политико-философскую пропаганду» вел «аристократ, пошедший в демократию», революционер и социалист – Николай Ставрогин! Отсюда можно с полнейшим основанием заключить, что эта блестящая *политико-философская* пропаганда заключалась в распространении идей, *острие которых было направлено против революции*. Фигура Шатова, последовавшего по стопам учителя, – тому красноречивое доказательство. На деле оказывается, что благодаря пропаганде Ставрогина Шатов не вошел в «общество», которым будто бы руководил Ставрогин, а вышел из него.

Таков результат нашего анализа. Сам Ставрогин вполне подтверждает это заключение:

«– В наших словах, – говорит он Шатову, – я признаю мое собственное настроение два года назад, и теперь уже я не скажу вам, как давеча, что вы мои тогдашние мысли преувеличили».

Но образ Ставрогина ни в какой степени не исчерпывается этой стороной деятельности. Только бесконечно упрощая и принося сложность в жертву тенденции, можно определить деятельность этого героя «Бесов» как «блистательную политико-философскую пропаганду». В романе подчеркнута, обнажена, заострена та особенность Ставрогина, которая бросает на его духовный облик мрачный ответ; насаждая в сердце Шатова Бога и родину, в то же самое время, даже, может быть, в те самые дни, он отравил Кириллова «ядом» и довел «разум его до исступления», разрушая в нем Бога и родину, т.е. то самое, что насаждал в душе Шатов; и *эти обе* «блистательные политико-философские пропаганды» *вел искренно, не обманывая ни того, ни другого.*

Таков Ставрогин – «одна из самых выдающихся трактовок личности Бакунина во всей мировой литературе», как уверяет Л.П. Гроссман. Попытаемся несколько глубже заглянуть в эту «выдающуюся трактовку», тем более, что глава «Ночь» и введена Достоевским лишь для того, чтобы слегка приподнять «завесу» ставрогинской души.

VI

«– А правда ли, что вы, – злобно ухмыльнулся Шатов, – правда ли, что вы принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу? Правда ли, что маркиз де Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей?» – забрасывает он Ставрогина вопросами, и забрасывает неспроста, – ибо Ставрогин не может опровергнуть ни одного из этих обвинений. Сущность их никак нельзя назвать «политико-философской пропагандой», да еще блистательной. Пройти мимо этих обвинений, значит закрыть глаза на существеннейшие основные

черты Ставрогина, отрицать всякую возможность более или менее правильного его понимания.

Звериное сладострастие Ставрогина, петербургские притоны, хромоножка, грязные номера на Гороховой, разврат, картежная игра, кабаки, тоска по Богу, изнасилование ребенка, погружение в «бездны» – *ведь без этих особенностей нет Ставрогина.* Ведь в этих именно чертах и заключен Ставрогин, это в нем основное, трагическое, роковое.

Мрачную темноту души «великого грешника» и освещал Достоевский. Разбираться в этом черном, порочном клубке было для него делом высокого значения – ведь клубок этот и вмещает в себя все то, что называется *достоевщиной, карамазовщиной.* Здесь лежит центр ставрогинской души, здесь должна быть и разгадка его образа, ибо не случайно же нагромождены в нем проповедь Бога и безбожия и чудовищные пороки, перед которыми в самом деле маркиз де Сад должен чувствовать себя гимназистом.

Ставрогин не революционер и никогда им не был; это в романе показано с определенной ясностью. Ставрогин никогда не был ни «вождем», ни «руководителем» движения. Если он и соприкасался с революцией, то «случайно», «как праздный человек», который ищет, куда избыть свою тоску. «Я... хотел убить себя от болезни равнодушия», – признается Ставрогин в «Исповеди»; – «главное, мне было скучно жить до одури», «я уже с год назад помышлял застрелиться»; «чрезвычайно позорное, без меры унижительное, подлое и, главное, смешное положение» возбуждает в нем рядом с гневом неимоверное наслаждение; и, погружаясь в «бездны» порока, женившись на хромой уборщице притона, безумствуя и скрывая от чужих глаз то, что происходило в его душе, – Ставрогин, как по нотам, разыгрывал ту программу, которую набросал Дос-

товеский для «Жития великого грешника».

«Зарождающиеся сильные страсти. Усиление воли и внутренней силы. Гордость безмерная и борьба с тщеславием, чтоб ничего не бояться. Жертвы жизнью. Действие разврата; ужас и холод от него. Его называют извергом, и держит себя извергом. Страстное желание удивляет всех неожиданно наглыми выходками. Сила воли – главное себе поставил. Сам дивится себе, сам испытывает себя и любит опускаться в бездну. Так как многое его иногда трогает сердечно, то он в страшном припадке злости и гордости бросается в разгул. (Это главное.)»

«В отклонениях фантазии мечты бесконечные, до ниспровержения Бога и постановления себя на место его».

И здесь я хочу повторить то, что писал в своей первой критической статье по поводу гипотезы о Бакунине, прототипе Ставрогина.

«Теперь понятно, почему Ставрогин взят «из сердца». Это – *характернейший персонаж Достоевского, излюбленный и постоянный герой его романов, раскаявшийся нигилист, прошедший через неверие в Бога, через преступления и падения*. Оригинальностью Ставрогина является то обстоятельство, что он живет в революционной среде, в окружении либералов и социалистов, и эта безбожная среда оказывается горнилом для испытаний его духа». И то обстоятельство, что Ставрогин почти неожиданно появляется в «Бесах», много времени спустя после начала работы над романом, – объясняет многие дополнительные черты, появившиеся в облике Ставрогина. Наиболее значительной является его прикосновенность к революции. Эта прикосновенность, не прямая, а косвенная («от нечего делать», «скука», «тоска»), является *спайкой двух замыслов*, двух творческих пластов разного происхождения, узлом, которым связаны два разнородных плана – **трагиче-**

ческий балаган, в центре которого стоит нигилист Петр Верховенский, и **подлинная трагедия**, героем которой Достоевский хотел сделать Ставрогина. Это отразилось на всей композиции романа, придав ей своеобразную сложность. Но так как соединение этих двух планов не было органическим, то все места этой спайки романа являются слабыми местами, случайно мотивированными, производящими загадочное впечатление. Ставрогин, как художественный образ, давно лелеянный Достоевским, которого, как самого Достоевского, всю жизнь мучила мысль о существовании Бога, – не нуждался в революции, как горниле для испытаний, точно так же как революция не нуждалась в Ставрогине. Таким горнилом революция на самом деле и не послужила; Ставрогин лишь механически и случайно оказался в нее вовлеченным, равнодушно слушая речь Верховенского, равнодушно присутствуя на собрании «наших» и с неудовольствием замечая, что «все» навязывают ему «какое-то знамя».

В беседе Ставрогина с Кирилловым Достоевский бросил намек, освещающий загадочную роль, которую играет Ставрогин в романе.

«– Я думал, вы сами ищете бремени, – говорит Кириллов Ставрогину.

– Я ишу бремени?

– Да.

– Вы... это видели?

– Да.

– Это так заметно?

– Да.

Помолчали с минуту. Ставрогин имел очень озабоченный вид, был почти поражен».

«Потерявший веру в Бога», – как тот «русский человек нашего общества», который должен был сделаться героем «Атеизма», – Ставрогин, – проповедуя в одно время веру Шатову и неверие Кириллову, – прежде всего самого себя уверить хотел, колебался между верой и неверием, т.е. играл

роль самого Достоевского в те моменты, когда тот находился «в горниле» сомнений.

«Не шутил же я с вами и тогда, убеждая вас, я, может, еще больше хлопотал о себе, чем о вас», – загадочно произнес Ставрогин в разговоре с Шатовым²².

* * *

Совершенно очевидно, что с традиционным представлением о Ставрогине приходится расстаться. Подлинный облик этого героя не дает никаких оснований для традиционного толкования.

Вовлекая Ставрогина в намеченный план «Бесов», где центральная роль предназначалась Петру Степановичу, Достоевский стоял перед задачей весьма трудной: спаять два замысла таким образом, чтобы не ослабить всей силы первоначального «тенденциозного» произведения, осуществлявшегося, как сатирическое повествование с центральной фигурой «вроде Хлестакова», и вместе с тем не обезобразить, не принизить, не уплощить всей значительности нового героя, приносившего с собой в трагический балаган дух подлинной трагедии²³. Взаимоотношения Петра Верховенского и Николая Всеволодовича и были тем швом, который скрепил эти два разнородных замысла.

Необъяснимое, непонятное самому Ставрогину (а также и читателю романа) пристрастие к нему Верховенского и является теми «белыми нитками», которые этот шов обозначают. Ставрогин привязан к интриге «заговора» бредовым, совсем не убеждающим пристрастием Верховенского. «Нет на свете иного, как вы! Я вас с границы выдумал» – другого ответа Ставрогину не сумел дать «мошенник, а не социалист», лелеющий дикую мечту о «всеобщей раскачке» с помощью самозванца, «Ивана Царевича».

Встреча Ставрогина и Верховенского – случайна. Их близость была продиктована не органическим развитием задуманного «тенденциозного» произведения, а случайным соседством, которое надо было как-то композиционно разрешить. Разрешение это и было найдено искусственно. Герой трагического балагана, теряя свою самостоятельность и уступая место герою высокой трагедии, превращался в его оруженосца, хотя это превращение осталось внешним, случайным, обманчивым, так как каждый из них, вопреки своей внешней близости, продолжал выполнять свою первоначальную роль: один – вроде Хлестакова, другой – «русского человека», вдруг потерявшего Бога и в поисках его проходящего сквозь «бездны» падения, неверия и разврата.

¹ Содержание настоящей работы было изложено в заседании Общества Любителей Российской Словесности 14 декабря 1924 г. и в Коммунистической Академии 23 февраля 1925 г. Напечатана в «Печати и Революции», 1925, II.

² Мы не будем здесь повторять того, что уже известно читателю: в лице Степана Трофимовича выведен не «Грановский», как историческая фигура, а «Грановские», т.е. некий общественный слой эпохи 30–40-х годов.

³ Вспомним, напр., подлоручика, «молчаливого и важного с виду», который бросился однажды на своего командира и укусил его в плечо. Он изрубил топором хозяйские образа, вместо которых разложил на подставки сочинения Фихте, Молешотта и Бюхнера, и пред каждым наломал зажженных восковых церковных свечки. «Если б у него было пятьдесят тысяч франков, – добавляет дальше Достоевский, – то он уплыл бы, может быть, на Маркизские острова, как тот «кадет», о котором упоминает с таким веселым юмором г. Герцен в одном из своих сочинений». «Бесы», стр. 311.

⁴ Замечу мимоходом, что между «Бесами» и романом Тургенева «Отцы и дети» существует определенное композиционное сходство. В Петре Верховенском есть кое-что напоминающее пародию на Базарова. Связь между этими образами, параллельная связи между Степаном Трофимовичем и сатирками Кирсановыми, мне представляется несомненной.

⁵ См. сборник статей, недозволенных цензурой в 1862 г., том II, стр. 351. «Тысячелетие России».

«Россия прожила *тысячелетие*», – говорил Павлов.

«...В XVIII и XIX столетиях русская земля наказалась вполне за страдания и позор низшего земского сословия... *Никогда* Россия не испытала *более тягостного состояния*...» (стр. 351, 353).

Смысл всей речи, за которую Павлов через четыре дня после прочтения был отправлен в Ветлугу, Достоевским сжат в одну фразу, которую упорно повторяет маньяк: «*Но никогда Россия за всю бес-толковую тысячу лет своей жизни не доходила до такого позора*» («Бесы», стр. 437, 478, изд. 1883 г.).

⁶ Дрезден 25 марта (6 апреля) 1870 г., т. I, стр. 231.) Все цитаты по Собр. соч. Достоевского, изд. 1883 г.

⁷ Сборник «Недра». Книга вторая, 1923 г., Изд. «Новая Москва», стр. 275–6.

⁸ В. Переверзев в своей книге о Достоевском дал прекрасный анализ социальных корней творчества этого художника.

⁹ «Дневник писателя» за 1873 г.

¹⁰ «Дневник писателя», 1877. Январь, т. XII.

¹¹ «Дневник писателя» за 1877 г., т. X, стр. 5.

¹² «Дневник писателя», том X, стр. 156: «Одна из современных фальшей».

¹³ Курсив Достоевского, том I (Собр. соч., 1883 г., стр. 268–9, 375). В предыдущей цитате жирный шрифт мой.

¹⁴ Собр. соч., том X, стр. 154: «Одна из современных фальшей».

¹⁵ А. Майкову из Дрездена 12/24 февраля 1870 г. Собр. соч., т. I, стр. 229–230.

¹⁶ Собр. соч., т. I, стр. 296. Курсив здесь и дальше мой.

¹⁷ Опубликовано Н. Л. Бродским в сборнике «Свиток», № 1, 1922 г.

¹⁸ Прав Н. Л. Бродский, когда замечает в «Творческой истории «Бесов», что «лишь случайный факт закрепления в печати романа закончил сложную игру творческих замыслов Достоевского».

¹⁹ Н. Стрехов. Помян. Полн. Собр. соч. Достоевского, т. I, стр. 315.

²⁰ В неопубликованных черновиках к «Бесам», хранящихся в Центархиве, имеется такая пометка: «Приезд сына Ст. Трофимовича (*вроде Хлестакова*)» – (тетрадь № 10, стр. 29). Курсив мой.

²¹ «Бесы», изд. 1883 г., стр. 220 и дальше. Курсив и жирный шрифт здесь и дальше мой.

²² И эту загадку он раскрывает еще в своей беседе с Тихоном, вместе с ним перекочевавшим из «Жития».

«– Не приготовлены, не закалены, – робко прошептал Тихон, опустив глаза, – оторваны от почвы, не веруете.

– Слушайте, отец Тихон: я хочу простить сам себе, и вот моя главная цель, вся моя цель, – сказал вдруг Ставрогин с мрачным восторгом в глазах. – Я знаю, что только тогда исчезнет видение. Вот почему я и ищу «страдания безмерного», сам и ищу его. Не пугайте же меня, не то погибну во злобе.

Эта искренность была столь неожиданна, что Тихон встал.

– Если веруете, что можете простить сами себе и сего прощения себе в сем мире страданьем достигнуть, если такую цель себе поставяете с верой, то вы уже во все веруете, – восторженно воскликнул Тихон. – Как же сказали вы, что в Бога не веруете?»

Ставрогин не ответил».

(«Исповедь Ставрогина». Изд. Центархива, 38.)

²³ Резкую противоположность этих героев подчеркнул сам Достоевский следующими словами: «У Нечаева все ясно до комичности, до омерзения. У князя – все вопрос». (Неопубликованные черновые записки к «Бесам». Центархив.)

А. Л. БЕМ

Эволюция образа Ставрогина

(К спору об «Исповеди Ставрогина»)¹

1

17 января 1869 г. Достоевский закончил роман «Идиот», отнявший у него столько творческих сил и душевного напряжения. Как всегда у Достоевско-

го, окончание произведения для печати не означало завершения творческого акта над этим произведением. Это скорее была – в его личных ощущениях – творческая катастрофа, внезапный срыв, кем-то сторонним и враждебным

ему поставленная точка над его мучительными исканиями.

Круг творческих идей, связанных с «Идиотом», был далеко не исчерпан романом. Окончание его сопровождалось острым чувством неудовлетворенности. Он писал тогда же об этом Н.Н. Страхову: «В романе много написано наскоро, много растянуто и не удалось, но кой-что и удалось. Я не за роман, а за идею мою стою... Я бы желал, чтобы Вы прочли конец. Тем не менее я нахожусь в очень хлопотливом положении. Впрочем, я сам очень многим не доволен в моем романе. А я, к тому же, еще отец его»². В самом процессе работы над «Идиотом» с Достоевским произошел характерный для него срыв. Тщательно продумав роман, набросав его план, написав уже значительную часть его, он вдруг приходит к убеждению, что вся работа никуда не годится. И несмотря на то, что рукопись романа надо было спешно направлять в печать, он бросает все «к черту» и принимается за работу заново. Так 4 декабря 1867 г. был оставлен первоначальный план романа «Идиот» и 18 декабря начат, в сущности, новый роман, резко изменивший первоначальный замысел. Как бурно для Достоевского протекал этот процесс творческой перестройки, видно из его письма к А.Н. Майкову от 31 декабря 1867 г., в котором он между прочим пишет: «Затем (так как вся будущность моя тут сидела) я стал мучиться выдумыванием нового романа. Старый не хотел продолжать ни за что. Не мог. Я думал от 4-го до 18-го декабря нового стиля включительно. Средним числом, я думаю, выходило планов по шести (не менее) ежедневно. Голова моя обратилась в мельницу. Как я не помешался – не понимаю»³.

Этот новый роман был для Достоевского связан с идеей истинно прекрасного человека. «Идея романа – моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее, а если взялся теперь, то решительно

потому, что был в положении чуть не отчаянном. Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете...» – пишет он 1(13) января 1868 г. в исключительно ценном для понимания замысла «Идиота» письме к С.А. Ивановой⁴. В сущности, только этот замысел мы вправе связывать с именем главного героя «Идиота». Все то, что ему предшествовало в стадии подготовительных работ, было уничтожено или заброшено. Но, не найдя себе места в новом романе о положительном-прекрасном человеке, оно осталось в творческом сознании Достоевского и требовало художественного оформления. Поэтому для изучения Достоевского приобретают такое большое значение – творческие остатки его законченных романов. Они важны не только и не столько для того произведения, с которым формально связаны, сколько для изучения общего развития творческих идей Достоевского, и часто имеют большую органическую связь с его позднейшим творчеством, чем с ближайшим, вызвавшим их к жизни произведением. Так случилось и с рукописями к «Идиоту»⁵. Формально связанные с этим романом, они по существу тяготеют к иному творческому ряду, идущему от Раскольников к «Великому Грешнику», Ставрогину, Версикову и Ивану Карамазову. Как видно из этих рукописных заметок к «Идиоту», первоначальная редакция романа находится в близкой связи с планом «Жития Великого Грешника» (1869–1870). «Идиот», как именуется герой романа уже в ранних записях, задуман все в том же направлении гордого, необыкновенного, замкнутого, преступного, но в своей преступности привлекательного и загадочного человека, высшим выражением которого позже явился Ставрогин.

Уже в этой первоначальной стадии работы над романом облик «преступного» героя Достоевского носит двойственные черты. С одной сторо-

ны – это полное душевное разложение, окончательная опустошенность, без возможности выхода к спасению через живую веру и покаяние. Так, напр., в первоначальном плане, который датируется сентябрем-октябрем 1867 г.: «Страсти у Идиота сильные, потребность любви жгучая, гордость непомерная, из гордости хочет совладать с собой и победить себя. В унижениях находит наслаждение», «он угрюм и несообщителен», он «говорит, смотрит и чувствует, как властелин»⁶, с другой – это Великий грешник, прошедший путь падений и восставаний, чтобы закончить спасением в живой вере. В одном из вариантов, например, говорится: «Он бы мог дойти до чудовищности, но любовь спасает его. Он проникается глубочайшим состраданием и прощает ошибки... Взамен получает высокое нравственное чувство в развитии и делает подвиг»⁷. Правда, в конечном счете, как будто в этом раннем замысле «Идиота» верх берет нераскаянный грешник, являющийся воплощением эгоизма, гордости и рабства страстей, но все же показательно это колебание Достоевского между двумя возможными исходами в его судьбе. Возможно, что эти колебания и привели Достоевского к отказу от первоначального замысла. Он сам сознается, что замысел романа у него еще не созрел, что бросился он в свой роман «на ура», что предчувствовал «фальшь и маловыжитость идеи»⁸. Мы увидим, что и в дальнейшем у Достоевского наблюдается двойственность в отношении к своему «преступному герою», и именно эта двойственность определила судьбу романа «Бесы» и место в нем «Исповеди Ставрогина».

2

Ближайший во времени художественный замысел Достоевского, его неосу-

ществленный роман «Атеизм» (1868–1869), подхватывает тему, временно оставленную в процессе работы над «Идиотом». Только здесь ударение ставится уже не на преступности героя, а на его отпадении от Бога, его атеизме, его блужданиях и исканиях и конечном обретении Христа. В письме к А.Н. Майкову от 11 декабря 1868 г., в период работы над окончанием «Идиота»⁹, Достоевский пишет впервые об этом замысле. Его герой «русский человек нашего общества, и в *летах*, не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов, – *вдруг*, уже в *летах*, теряет веру в Бога. Всю жизнь он занимался одной только службой, из колеи не выходил и до 45 лет ничем не отличился. (Разгадка психологическая: глубокое чувство, человек и русский человек.) Потеря веры в Бога действует на него колоссально. (Собственно действие в романе, обстановка – очень большие.) Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по Славянам и Европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по Священникам; сильно между прочим попадает на крючок Иезуиту, пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины – и под конец обретает и Христа и русскую землю, русского Христа и русского Бога...»¹⁰. Эта идея – потеря и обретение Бога – становится для Достоевского особенно притягательной. Она связывается в его собственном духовном росте с таким же обретением Христа, с окончательным разрывом с остатками просвещенско-позитивистского отношения к образу Спасителя. Очень характерно в этом отношении его письмо к А.Н. Майкову, в котором он упрекает его в религиозной робости в вопросе о вере в Икону. «Одно слово, – пишет он, – верите вы иконе или нет? Храбрее, смелее, дорогой мой, уверуйте»¹¹. А вскоре, в связи с чтением статьи Данилевского «Россия и Европа», когда роман «Атеизм» все еще находился в

процессе обдумывания, Достоевский заявит, что «окончательная сущность русского призвания» состоит в «разоблачении перед миром Русского Христа, миру неведомого и которого начало заключается в нашем родном Православии»¹². Что эти идеи включались Достоевским и в круг его более ранних художественных замыслов, видно из того, что частично они оказались вложенными в уста князя Мышкина, в его страстном монологе о католичестве и атеизме на памятном вечере у Епанчиных. Обновление всего человечества и воскресение его связывается князем Мышкиным с «русской мыслью, русским Богом и Христом»¹³. Впрочем, всю историю Николая Андреевича Павлищева, рассказанную на вечере Иваном Петровичем и так взволновавшую кн. Мышкина, можно рассматривать, как первоначальную версию романа «Атеизм». Эта связь устанавливается и частичным совпадением с намеченным для этого романа сюжетом и кругом идей, к нему прикреплённых. Павлищев, подобно герою романа, человек почтенный и уже немолодой: «родовой, с состоянием и камергер». Внезапно, на почве религиозного кризиса, он резко меняет свою жизнь. Правда, здесь не говорится прямо о потере веры в Бога, но смысл кризиса в истолковании кн. Мышкина тот же. Павлищев «попадает на крючок»¹⁴ иезуиту, аббату Гуро, и сам принимает католицизм и становится иезуитом. Для кн. Мышкина это равносильно отречению от Христа, ибо «католичество – все равно, что вера нехристианская». Для него между католицизмом и атеизмом имеется непосредственная связь, даже больше – атеизм – порождение католицизма. «Атеизм от них вышел, из самого римского католичества», – страстно уверяет кн. Мышкин. И если герой «Атеизма» подпадает влиянию поляка-иезуита (по другому варианту это должен быть «католический энтузиаст-священник,

вроде St. François Xavier»¹⁵), а затем «опускается от него в глубину хлыстовщины», то он повторяет жизненный путь русского интеллигента, колебавшегося в вере, как он рисуется кн. Мышкину. «У нас коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще из самых подземных; коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилем, то есть, стало быть, и мечом!.. И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда! Ведь подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались... Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже, может, и поглубже еще!..»¹⁶

Герой «Атеизма», по мысли Достоевского, «под конец обретает и Христа и русскую землю, русского Христа и русского Бога». Но и мысленный герой кн. Мышкина должен кончить обретением утерянной веры. «Покажите ему в будущем обновление всего человечества и обновление его, может быть, одною только русскою мыслью, русским Богом и Христом, и вы увидите, какой исполин, могучий и правдивый, мудрый и кроткий, вырастет перед изумленным миром...»¹⁷ Не подлежит сомнению, что рассказ о Павлищеве и взволнованная речь кн. Мышкина о католицизме и атеизме заключают в себе завязь неосуществленного, но дорогого для Достоевского сюжета о судьбе потерявшего веру в Бога и вновь обретшего его русского интеллигента. Сам Достоевский сознавался, что его романы представляют сложное сплетение ряда сюжетных узлов, из которых в процессе творчества ему удастся развязать только часть их. «Множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что

ни меры, ни гармонии», – пишет он Н.Н. Страхову¹⁸.

Этот эпизод романа, написанный с большим творческим подъемом, недаром речь князя Мышкина кончается припадком, свидетельствует о том, как дорог был самому Достоевскому круг идей, с которым он связывал свой роман об «Атеизме». Понятно поэтому, что он такое решающее значение придавал этому роману. «Писал я вам или нет о том, – говорится в письме к А.Н. Майкову от 15 мая 1869 г., – что у меня есть одна литературная мысль (роман, *притча об Атеизме*), пред которой вся моя прежняя литературная карьера была только дрянь и введение и которой я *всю* мою жизнь будущую посвящаю»¹⁹. Долго Достоевский не хотел отказываться от идеи романа об «Атеизме», но в том виде, как он был задуман, его нельзя было написать без возвращения в Россию. Еще в конце августа 1869 г., когда уже приходилось спешно продумывать планы новых произведений для «Зари» («Вечный Муж») и «Русского Вестника», Достоевский не оставляет мысли об «Атеизме»: «Есть у меня идея, которой я предан всецело; но я не могу, не должен приниматься за нее, потому что еще к ней не готов: не обдумал и нужны материалы»²⁰.

Вероятно, необходимость спешно приступить к роману для «Русского Вестника» и заставила Достоевского видоизменить план романа, отодвинув время действия к юности героя. Так возникает план «Жития Великого Грешника». Сохраняя идейную связь с замыслом «Атеизма», этот новый роман-эпопея снова возвращает нас к образу «преступного героя», намеченному уже в ранних набросках к «Идиоту». «Житие Великого Грешника» приобретает, однако, особое значение, так как в нем впервые намечается встреча героя с Тихоном, которая затем художественно была реализована в «Исповеди Ставрогина».

План «Жития Великого Грешника» набрасывался параллельно с работой над будущими «Бесами». Как убедительно показано А.С. Долининым, работа над последними даже несколько опережала – по большей своей определенности и полноте характеристик действующих лиц – «Житие Великого Грешника»²¹. Одновременность эта требовала достаточно четкого размежевания двух замыслов. Без такого размежевания неизбежно должна была возникнуть борьба между ними, и один из замыслов должен был в конечном счете поглотить другой. Достоевскому удалось довершить своего «Вечного Мужа», над которым он работал в это же время, только потому, что эта повесть идейно и сюжетно выпадала из того художественного ряда, звеньями которого были романы «Идиот», «Житие Великого Грешника» и «Бесы»²². Между замыслом «Жития Великого Грешника» и первоначальным планом «Бесов» такого четкого размежевания не было, и отсюда постоянное столкновение двух замыслов, общность идейных характеристик и даже совпадение в некоторых сюжетных подробностях. Достоевский одно время хотел, видимо, оправдать такую близость тем, что мыслил оба романа как отдельные части единой эпопеи, развивающейся в двух разных отрезках времени. На это указывают письма Достоевского, в которых он рисует себе «Житие» большим романом, размером с «Войну и Мир», состоящим из «пяти больших повестей»²³, представляющих каждая в отдельности самостоятельный интерес. Лишенный возможности вернуться в Россию и собрать там материал для 2-й части романа, действие которого должно происходить в монастыре, и вынужденный немедленно приступить к работе над романом для «Русского Вестника», Достоевский допускает уже

не только расчленение романа во времени, но и расхождение идейно-сюжетного порядка. Не могу в этом вопросе согласиться с А.С. Долининым, который ставит слишком большое ударение на этом расчленении во времени двух замыслов. «Когда сравниваем все эти рассеянные черты князя (Ставрогина), как и основную идею, которую он должен был выразить собою в романе, с образом Великого Грешника и его центральной идеей, – говорит Долинин, – то видим именно эту одновременность параллельно существующих и развивающихся замыслов в двух разных только аспектах во времени: Грешник должен быть дан в детстве и юности; князь (Ставрогин) как герой романа – активно действующее лицо, уже сложившееся». Хотя дальше сам Долинин указывает, что «главное зависит от сюжета, от тех событий, в которых герой должен себя проявлять, равно как и от других персонажей, с которыми он вступает в сюжетные коллизии»²⁴, но он упускает из виду, что уже в самых первоначальных записях к «Бесам» имеется совершенно иная жанровая установка обоих романов. «Житие Великого Грешника» уже своим названием предопределяет особый характер этого романа. Это «рассказ-житие», требующий эпического изложения. В отдельных заметках к роману Достоевский сам отмечает те требования, которые к нему предъявляет этот жанр. Так, он между прочим пишет: «NB Тон (рассказ-житие – т.е. хоть и от автора, но сжато, не скупясь на изъяснения, но и представляя сценами. Тут надо гармонию). Сухость рассказа иногда до Жиль-Блаза. На эффектных и сценических местах *как бы* вовсе этим нечего дорожить. Но и владычествующая идея жития чтоб видна была, – т.е. хотя и не объяснять словами всю владычествующую идею и всегда оставлять ее в загадке, но чтоб читатель всегда видел, что идея эта благочестива, что житие – вещь до

того важная, что стоило начинать даже с ребяческих лет. Тоже – подбором того, об чем пойдет рассказ, всех фактов, как бы беспрерывно выставляется *что-то* и беспрерывно постанавляется на вид и на пьедестал будущий человек»²⁵. Поставив себе задачей художественно изобразить «падение и восстановление» человека и его конечное просветление, Достоевский неизбежно должен был держаться в рамках индивидуально-психологического романа.

«Бесы» были задуманы в ином жанре. Здесь мы должны были встретиться с героем в критический фазис его духовной жизни. Существен не рост личности, а ее закреплённость на известной ступени, не предпрещающая, однако, ее конечной судьбы. Здесь дана загадочность личности, ее нераскрытость вовне. Греховность и святость сведены к одной точке, и оба исхода равно даны. Загадочность личности лежит именно в раскрытии того, что скрывается за этой «маской» героя. Не касаясь даже вопроса о предусмотренной Достоевским в известной стадии его работы «тенденциозности» романа, уже эта своеобразная планировка образа героя давала роману особое место в ряду его замыслов. И это дает нам право рассматривать «Житие Великого Грешника» и «Бесов» (в их первоначальных записях), как самостоятельные звенья в цепи замыслов Достоевского того времени.

4

«Житие Великого Грешника», как я уже говорил, довольно близко примыкает к первоначальной редакции «Идиота». Местами близость характеристик двух героев настолько разительна, что можно подумать, не хотел ли Достоевский уже в «Идиоте» (ранней редакции) дать нам эпоху жизни Великого Грешника, план «жития» которого он набросал позже. В этом плане имеется программное изложение этой эпохи:

«Вдруг юношество и разврат. Подвиг и страшные злодеяния. Самоотвержение. Безумная гордость. От гордости идет в схимники и в странники. Путешествие по России. (Роман-любовь. Жажда смирения) и проч. и т.д. и т.д. (Канва богатая). Падение и восставание. Человек необычайный – но что же он сделал и совершил»²⁶. Но ведь и в «Идиоте» – «последняя степень гордости и эгоизма», в нем одной из главных черт характера было «самовладение от гордости (а не от нравственности) и бешеное саморазрешение всего», и ему унижения доставляют удовлетворение. О нем говорится между прочим в записках: «Кто его не знает, смеется над ним, кто его знает, начинает его бояться». Немало и преступлений на его совести – он «зажигает дом» и «в один из разов насилует Миньону (героиню романа)»²⁷. Но тогда, в конце 1867 года, Достоевскому рисовался план романа еще в форме романа общественно-психологического, на фоне изображения жизни двух русских семей – разоренной помещицей и дворянско-аристократической. Эта канва и была до известной меры перенесена позже в роман «Идиот», резко, однако, изменивший облик главного его героя.

В отличие от ранней редакции «Идиота», герой «Жития Великого Грешника» как будто заранее предопределен автором к духовному возрождению. В этом и должна была заключаться «житийность» замысла. Через падения и преступления к духовному просветлению, к конечному обретению веры – так рисовалась Достоевскому теология романа. В этой предопределенности и была органическая связь с неосуществленным замыслом романа «Атеизм». Их связывает и общая повышенная эмоциональность в отношении к основной мысли обоих замыслов. «Это будет мой последний роман», «этот роман я считаю моим последним словом в литературной карье-

ре моей» – таковы собственные оценки Достоевского его будущего романа²⁸. Как и в «Атеизме», здесь для Достоевского стоял основной для него вопрос – о существовании Бога. «Главный вопрос, – пишет он А.Н. Майкову, – который проведется во всех частях, – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование Божие»²⁹.

Здесь у Достоевского вновь является мысль об романе-эпопее. Начинает Достоевский детством героя, которому должна была быть посвящена первая часть («первая же повесть – детство героя»), затем помещает его в монастырь, сталкивает с Тихоном, затем снова ведет в свет («выходит вновь на свет, чтобы быть величайшим из людей»), заставляет пройти искушениями разума («образование Конт. Атеизм. Товарищи. Образование мучит его и идея и философия, но он овладевает тем, в чем главное дело»), проводит через юношеский разврат и страшные злодеяния, затем делает схимником и странником. Только к концу – «все яснее», и Великий Грешник умирает, признаваясь в преступлении. Здесь снова замечается совпадение с сюжетом о Павлищеве, как он изложен в «Идиоте», еще значительнее оно в том плане романа «Великий Грешник», который Достоевский сообщает А.Н. Майкову. Там «герой в продолжение жизни то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист...»³⁰.

Хотя в плане «Жития», таким образом, как бы и предопределено спасение и преобразование героя, но, если внимательно вчитаться в него, невольно остается впечатление все той же двойственности, которая имела уже в ранней редакции «Идиота». Преступный лик героя вырисован четко и психологически убедительно, лик просветленный рисуется смутно, и его конечную победу приходится брать на веру. Даже столкновение мальчика с Тихо-

ном не дает предощущения этой конечной победы. Встреча эта происходит между 13-летним мальчиком, «посаженым родителями в монастырь для обучения». Волчонок и нигилист – ребенок сходится с Тихоном, и эта встреча должна сыграть решающую роль в жизни героя. Однако в сохранившемся плане эта встреча скорее укрепляет Грешника в его ложном пути, чем ведет его на путь просветления. Пусть в конце концов герой и признает душевную чистоту Тихона, пусть он догадается, что «Тихон коренником крепок, как ребенок чист, мысли дурной иметь не может, смущаться не может, и потому все поступки его ясные и прекрасные», но это не внутренний духовный переворот, а только переоценка личности самого Тихона. Существенно то, что герой из встречи с Тихоном выводит неожиданное заключение, еще глубже укрепляющее его греховность, в конечном счете коренящуюся в его непобедимой самости. «После монастыря и Тихона великий грешник с тем выходит вновь на свет, чтобы быть *величайшим из людей*. Он уверен, что он будет величайшим из людей. Он так и ведет себя: он гордейший из всех гордецов и с величайшей надменностью относится к людям»³¹. Не случайно стоит в записи: «после монастыря и Тихона». Именно жизнь Тихона дает ему в руки новое орудие для утверждения своего превосходства над людьми. «Но он (и это главное) *через Тихона* овладел мыслью (убеждением), что, чтоб победить весь мир, надо победить только себя. Победи себя и победишь мир». И отсюда вырисовывается новый облик Великого Грешника, облик кроткого и милостивого гордеца. «От гордости и от безмерной надменности к людям он становится для всех кроток и милостив – именно потому, что уже безмерно выше всех»³². Так почти до конца герой «Жития» пребывает в своей гордыне, пути преодоления которой в сохранившемся плане не даны.

Образ же Тихона Задонского, как можно думать, имел в глазах Достоевского самодовлеющую ценность; он был ему так дорог и близок, что в его художественные планы не могло входить намерения превратить его только в орудие обращения Великого Грешника. По замыслу Достоевского, Тихон Задонский отнюдь не должен был явиться лицом эпизодическим в романе. «Хочу выставить во второй повести главной фигурой Тихона Задонского, конечно под другим именем, но тоже Архиерей будет проживать в монастыре на спокойное... Авось, выведу величавую, *положительную*, святую фигуру. Это уж не Костанжоло-с и не немец (забыл фамилию) в Обломове. Почем мы знаем: может быть, именно Тихон-то и составляет наш русский *положительный* тип, который ищет наша литература, а не Лавровский, не Чичиков, не Рахметов и проч. и не Лопуховы, не Рахметовы. Правда, я ничего не создам, я только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя важным подвигом»³³.

Схематические наброски плана «Жития Великого Грешника» там, где они говорят о Тихоне, тоже свидетельствуют о том, что вторая часть романа должна была дать Тихону равноправное место с героем романа. Здесь предполагается включение жития в житие – жизнь Тихона прошла бы перед нами в его рассказах о себе мальчику. «Ясные рассказы Тихона о жизни и земной радости. О семье, отце, матери, братьях. Чрезвычайно наивные, а потому трогательные рассказы Тихона о своих прегрешениях против домашних, относительно гордости, тщеславия, насмешек. (Так бы все переделал теперь, говорит Тихон.) Уж одно то трогательно, что он с мальчиком связался. Рассказ Тихона о своей первой любви, о детях, монахом жить

ниже, надо иметь детей и *выше*, когда призвание имеешь.

Therèse-philosophe смутила Тихона. А я думал, что уже закалился. Пошел в послушание к мальчику; слушается его. (Высоко, сильно и трогательно.)» – значит в записях плана³⁴.

Повторяю, внимательный анализ плана «Жития Великого Грешника» заставляет усомниться в удаче основного замысла Достоевского, в приведении героя к спасению и вере. Не случайно, уже в самом конце плана, как бы подводя итоги, Достоевский сам себе ставит вопрос: «Человек необычайный – но что же он сделал и совершил»³⁵. «Кончает воспитательным домом у себя и *Гасом* становится», – звучит какой-то внутренней фальшью в общей системе творчества Достоевского. Неужели для Достоевского образ доктора-филантропа Гааза может явиться доподлинной пристанью после бурного плаванья его героя? Поэтому я не стал бы с такой решительностью, как это делает В. Комарович, утверждать, что герой «Жития» всей своей жизнью «должен был обнаружить религиозную закономерность жизни вообще, неизбежность приятия Бога»³⁶. Для меня план «Жития» скорее лишнее доказательство того, что Достоевскому в этот период его творчества не давался замысел преодоления греховности. В его герое, вопреки желанию автора, греховность пускает такие глубокие корни, приводит к такому внутреннему опустошению, что путь спасения, несмотря на все усилия востосковавшегося о правде духа, оказывается тщетным. Не побежденный в своей гордости, неспособный на подлинный акт смирения и раскаяния, мятущийся герой Достоевского вплотную подходит к самоубийству: «застрелиться хотел», – говорится о нем в одной из заключительных записей. И этот конец художественно кажется более оправданным, чем заключение плана образом филантропа Гааза.

Творческая история романа «Бесы» уже в достаточной мере разработана, чтобы сейчас возвращаться к ней во всей подробности. Для нас здесь – при анализе творческих исканий Достоевского – важно выделить лишь самое существенное.

Будучи задуман еще в конце 1869 г.³⁷, роман «Бесы» занимает творческое воображение Достоевского наряду и одновременно с продумыванием «Атеизма» и работой над планом «Жития Великого Грешника». Однако до февраля 1870 г. мы ничего определенного об этом замысле не знаем. К февралю-марту относятся первые дошедшие до нас датированные заметки, с несомненностью относящиеся к сюжету будущего романа «Бесы». И вновь, с первых же шагов, образ будущего Ставрогина, носящего в ранних записях имя «Князя», носит черты двойственности.

В этих записях, относящихся к февралю-марту 1870 года, Князь еще мыслится «новым человеком», пришедшим к решению начать «новую» жизнь и зовущим к этой жизни «воспитанницу», будущую Дашу романа. «Князь приехал, уже все разрешив, все сомнения. Он – *новый* человек... В бешеной, засевшей внутри энергии, мало высказывается, смотрит насмешливо и скептически, как человек, уже имеющий у себя окончательную разгадку и идею»³⁸, – говорится о Князе в одной из ранних записей. Или же в другом месте: «Главная же идея (т.е. пафос романа) это князь и воспитанница – *новые люди*, выдержавшие искушение и решающиеся начать *новую*, обновленную жизнь»³⁹. Подобно герою «Жития Великого Грешника», он находит идею, которая дает ему возможность укрепиться в жизни. Он из одержимых идей. «Это человек *идеи*. Идея обхватывает его и владеет им, но имея то свойство, что владыче-

ствуется в нем не столько в голове его, сколько *воплощаясь* в него, переходя в натуру, всегда с страданием и беспокоейством, и уже раз поселившись в натуре, требуя и немедленного приложения к делу»⁴⁰. Эта идея, овладевшая им, шла от Голубова, духовного лица, игравшего роль Тихона в «Житии Великого Грешника». «Идеи Голубова суть смирение с самообладанием и что Бог и царство небесное внутри нас, в самообладании, и свобода тут же»⁴¹.

Ему кажется, что идею эту он сам выдумал, хотя она явно осознана им под влиянием Голубова: «Быть новыми людьми, начать переработку с самих себя. Я не гений, но я, однако же, выдумал новую вещь, которую никто, кроме меня, на Руси не выдумывал: самоисправление», – горделиво говорит о себе Князь⁴². В уста Князя Достоевский влагает самые дорогие ему мысли о спасительной роли России и православия. Его устами он торжественно объявляет, что «отныне он Русский человек» и что надо верить даже в то, что сказано им у Голубова (что Россия и русская мысль спасет человечество). Он молится иконам и проч.»⁴³; он «ищет правду; нашел правду в идеале России и христианства»⁴⁴. Здесь мы входим в круг любимых идей самого Достоевского, и любопытно, что идеи эти связаны с Князем, будущим Ставрогиным. Следует сейчас же отметить, что, по сравнению с образом Ставрогина, в начальных записях Князь перед нами является менее психологически расчлененным, менее собранным в одну точку. Если примкнуть к положению, что Шатов и Кириллов романа только эманации Ставрогина, расчленение единой личности на несколько отражений его духа⁴⁵, то в образе Князя первоначальных записей еще налицо эта нерасчлененность, совмещение в одном облике ликов и Шатова и Кириллова. Отсюда психологическая несобранность образа Князя, перемежающиеся характеристики,

друг другу противоречащие. Видно, что сам автор не прояснил себе образа Князя, все время находится в колебании, каким чертам характера дать перевес. Поэтому в записях и встречаются такого рода заметки для себя: «Задача. (Украсить и создать эту пару – князя и воспитанницу.) Тут-то и беда. Князь готовится в мировые судьи. Больше поэзии...», «...всякому свой эпитет, а главное о князе крупные две-три черты», «...вообще создать князя...» и т.д.⁴⁶ Но чем далее идут записи, тем все более и более проясняется этот первоначальный образ Ставрогина. Сначала в положительные характеристики «нового человека» врываются уже знакомые нам черты «преступного» героя, идущего от ранней редакции «Идиота»... «И уж конечно, он не идеал, ибо рвения, упрям, горд и настойчив, молчалив и болезнен, т.е. грустен»⁴⁷, – говорится, например, сейчас же вслед за указанием на необходимость сообщить о Князе две-три черты, и в других местах рассеян целый ряд таких отрицательных характеристик: «упрям и самостоятелен до болезни»⁴⁸, «князь ненавидит все и всех...» и т.п.⁴⁹ Следует еще отметить, что уже с ранних записей Князь воспринимает себя, как явление, типичное для русской жизни, и сознает ответственность, лежащую на нем, как представителе известной группы русской интеллигенции. Эта мысль, очевидно, входила в замысел Достоевского уже с самого начала работы над романом. Он и позже будет повторять, что Ставрогины хотя и редко, но бывают в жизни, что это не исключение, а тип. «Я, – говорит Князь в одной из записей, – прежде судил нигилизм и был врагом его ожесточенным, а теперь вижу, что и всех виноватее и всех хуже мы, баре, оторванные от почвы, и потому мы, мы прежде всех переродиться должны; мы – главная гниль, на нас главное проклятие, и из нас все произошло»⁵⁰. Эта выписка имеет особен-

ное значение для понимания места Ставрогина в плане общественно-политического романа-памфлета, каким были задуманы «Бесы».

Оторванность от почвы служит для Достоевского и в дальнейшем объяснением многих поступков Ставрогина, вплоть до объяснения этой оторванностью страшного преступления, в котором он признается в «Исповеди». Но к этим мотивам мы вернемся, когда остановимся на ранних вариантах встречи Князя с Тихоном. Пока же отметим, что к концу марта 1870 г. в понимании образа Князя происходит какой-то резкий поворот. Сейчас его еще трудно установить в подробностях, но записи показывают, что Достоевский решил этот тип значительно упростить, как бы отчаявшись в возможности осуществить первоначальный слишком сложный и внутренне противоречивый замысел⁵¹. Сначала появляется запись промежуточного характера: «Князь – симпатичная фигура, прекрасен (под видом легкомыслия – глубоко поражен и мыслит). Скептик и Дон-Жуан, но только с отчаяния»⁵², а затем следуют более решительные и беспощадные характеристики, резко меняющие первоначальный облик Князя: «Мысль. Игра жизнью. Махание руками и закрытие глазами (!) и верчение в омуте, чтобы не видать. Если ж раз увидит, то застрелится. Дон-Жуан, но с сознанием. Не то мы племя, живи, пока живется», «скептик и насмешник над всеми, но свысока и спустя рукава», «полное равнодушие ко всему гражданскому. Одно упоение *сладострастием* и, как заключение, неожиданный ярлык, завершающий эту эволюцию образа Князя: *«изящный Ноздрев»*⁵³.

Именно с этим изменившимся образом все настойчивее связывается мотив самоубийства, вновь приоткрывающий в Князе какие-то глубины. «Человек легкомысленный, занятый одной игрою жизнью, изящный Нозд-

рев делает ужасно много штук и благородных и пакостных, и он-то вдруг и застреливается... Только пустой и легкомысленный, а под конец оказывающийся глубже всех человек и больше ничего. ??? (что-то выйдет из этого?)»⁵⁴ Таким недоуменным вопросом заканчиваются творческие усилия Достоевского создать образ своего загадочного героя в этой ранней стадии работы.

Что же привело Достоевского к перелому в толковании образа Князя? Нам думается, что он, незаметно для самого себя, настолько близко подошел в своем первом плане к герою «Великого Грешника», что испугался за судьбу последнего. Продолжая работать в том же направлении, он вынужден был бы отказаться от мысли создать роман о «Великом Грешнике», что не входило в его планы. Эта одновременность двух сходных замыслов заставила его искать для героя романа, обещанного в «Русский Вестник», т.е. будущих «Бесов», иные черты, не совпадающие с образом Великого Грешника. Не с этим ли связано и решение придать новому роману характер тенденциозный, о чем Достоевский впервые пишет в письме к Н.Н. Страхову 24 марта 1870 г. «На вещь, которую я теперь пишу в Русский Вестник, я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны; хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и сердце; пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь. Надеюсь на успех»⁵⁵. Хотя уже ранние записи начала 1870 г. дают план общественного романа, героем первых страниц которого является Грановский (Г-й), будущий Степан Трофимович, но тенденциозная заостренность романа явилась, очевидно, позже, под влиянием каких-то иных мотивов. Одним из таких мотивов и могло явиться желание спасти «Житие Великого Грешника», роману-житию противо-

поставив роман-памфлет, выполнение которого казалось ему сравнительно простым. Это вызывало необходимость упрощения и образа Князя, которому отводилось в ходе романа место второстепенное. Он слишком вырос в своей значительности в первоначальных записях и нарушал бы своей излишней «психологичностью» новый замысел романа-памфлета⁵⁶.

6

Входила ли уже в первоначальный замысел Достоевского встреча Князя с Тихоном и какое место в романе этой встрече отводилось? Вопрос этот существен для определения в дальнейшем места так называемой «Исповеди Ставрогина» в общей композиции романа «Бесы». Как известно, вокруг «Исповеди Ставрогина» между исследователями Достоевского ведется горячий спор, до сих пор окончательно не разрешенный⁵⁷. Если мы проследим, как у самого Достоевского складывается замысел встречи героя с Тихоном, то это может помочь нам установить свою точку зрения на сущность этого спора и занять в нем самостоятельную точку зрения.

Первые записи Достоевского, несомненно относящиеся к сюжету будущего романа «Бесы», датировка которых нам известна (январь-март 1870 г.), вовсе не содержат упоминания о встрече героя с Архиепископом⁵⁸. Это объясняется тем, что в это время образ Тихона сюжетно еще не был прочно связан с «Житием Великого Грешника», где ему отводилась, как мы видели, существенная роль во второй части романа. До начала мая 1870 г. Достоевский работал над планом этого романа, и вплоть до августа этого года он не оставлял мысли, что к нему еще вернется⁵⁹. Но уже в этих ранних набросках роль Тихона была отведена Голубову, прототипом которого служил старообрядческий деятель, позже

вернувшийся к единоверию, Константин Ефимович Голубов. Здесь предусмотрена встреча с ним Князя и глубокое влияние, произведенное его личностью и учением на него. Он «предается» Голубову, который «потрясает» его; встреча с ним «волнует и поражает его», смирение Голубова заставляет его задуматься над самим собою. Голубова он «слушает почтительно» и заражается его идеей⁶⁰. Встреча с Голубовым сыграла в жизни Князя решающее значение. Князь, встретив его, «поражается, ужасается и поддается ему беззаветно» и «укрепляется в его идеях, а остальное все отвергает»⁶¹. Так Достоевский пытался сохранить Тихона Задонского для своего «Жития Великого Грешника», отведя сходную ему роль в другом романе Голубову, менее яркому и духовно ему близкому человеку. Однако он не мог долго удержаться на этой компромиссной позиции.

Судя по черновым записям к роману «Бесы», опубликованным первоначально Л.П. Гроссманом⁶² и теперь вошедшим в «Записные тетради», Достоевский уже в первоначальной концепции романа отводил «Исповеди» довольно значительное место в общем развитии сюжета. В этих записях говорится о свидании Князя с Архиепископом, названным уже далее прямо Тихоном. Таким образом перед нами налицо прямое перенесение образа Тихона из плана «Жития Великого Грешника» в будущий роман «Бесы». Однако такое перенесение стоит в противоречии с тем, что Достоевский долго еще не оставлял мысли о романе «Житие Великого Грешника»; ведь «главная мысль» романа, набросанная в конце плана «Жития», в которой имеется прямое упоминание Тихона, носит определенную дату: 3 мая 1870 г., т.е. время, когда Достоевский уже работал над «Бесами» и определял их как роман с «тенденцией». Даже в августе 1870 г.,

когда к роману «Бесы» было написано уже до 15 листов, Достоевский еще не бросает мысли доставить в будущем году в журнал «Заря» роман «Житие Великого Грешника».

Как же выйти из этого противоречия? Я думаю, только предположением, что Достоевский определил в романе «Бесы» Тихону сравнительно ограниченную роль, сохранив его для своего «Жития» под другим именем в роли главного лица второй части романа. Одно время Достоевский не вводил вовсе Тихона в роман, сохраняя, однако, мысль об «Исповеди». Об этом свидетельствует следующая запись: «Князь исповедует Ш. (т.е. Шатову) свою подлость с ребенком (изнасилование). Написал исповедь, хочет напечатать, показал Ш., прося совета. Говорит, что хочет, чтобы ему плевали в лицо. Но после того возненавидел Ш. и рад, что его убили»⁶³.

Чрезвычайно существенным является в этих записях то, что «Исповедь» предусмотрена Достоевским еще тогда, когда образ Князя он мыслил во многом иным, чем он сложился позже. Здесь все еще Князь является носителем новых идей: он принял «катехизис новой веры», по которому православие является «главным основанием новой цивилизации с Востока», и именно идеей православия он поражает Шатова⁶⁴. Признание в ужасном преступлении происходит на иной душевной почве, и образ Князя здесь вырисовывается иным, чем Ставрогин в «Бесах». В Князе происходит большая внутренняя борьба, и если он не осиливает в себе беса «праздности и уныния», то все же он ближе к победе над собой, чем Ставрогин. О последнем никак нельзя было бы сказать: «Князь обворожителен, как демон, и ужасные страсти борются с... подвигом. При этом неверие и – мука – от веры. Подвиг осиливает. Вера берет верх, но и бесы веруют и трепещут. «Поздно», – говорит князь и бежит в Ури, а потом повесился»⁶⁵.

Иная психологическая задача стояла здесь перед Достоевским, и «Исповедь» играла здесь иную роль в разрешении ее. Самое преступление отодвинуто на задний план, и ему уделено мало внимания в записях. Главный интерес сосредоточен на самом Князе, на раскрытии его душевного состояния. Одна из главных причин, выдвигаемых в объяснение его бессилия, – это «неполнота» веры, отсутствие той «непосредственной» веры, которая одна только и является полным выражением православия. Князь сам сознает эту ущербность своей веры, связанную с ущербностью его личности. «Князь совершенно верует и в Антихриста, и в спасение православием. Но так как он, по совести его, *недостаточно* верует, то и говорит формулу: коли недостаточно верую – значит ничему не верую»⁶⁶. Он готов на «самопожертвование исповедью», но не готов к подвигу смирения, не высшего «классического» подвига, связанного с презрением к другим, а труднейшего «труда православного». Тут вплетается у Достоевского его любимая идея об «оторванности» от почвы, как одной из основных причин, обуславливающих ущербность духа. В записке об изнасиловании должно было быть место: «Все это я сделал, как барин, как праздный, оторванный от почвы человек». Скука и праздность – вот главные симптомы этой болезни духа. «Я праздный ум, и мне скучно. Я знаю, что на земле можно быть счастливым (и должно) и что есть что-то, в чем счастье, чего я не знаю. Но потому-то мне и грустно, что я не знаю, что это за вещь. Нет, я не из развратных и праздных»⁶⁷. «Исповедь», – это не только попытка сломить свою гордость, но и последний порыв к «энтузиазму», к непосредственному растворению себя в покаянии. Но этот порыв гаснет, ибо нет подлинного смирения.

Ясно, что для Достоевского самое преступление, будь оно даже столь

ужасное, как изнасилование Матрешы, еще не закрывало пути к спасению. Ему это преступление было необходимо, как указание глубины падения человека, впавшего в безверие.

Так эти записи закрепили особую стадию в эволюции образа Ставрогина: в нем еще сохранилась порывистость духа, еще не опустошена его душа до мертвенности и неподвижности, еще рвется она к последнему подвигу, но уже подрезаны крылья живой и непосредственной веры, и в итоге – Ури.

7

В августе 1870 г. происходит резкий перелом в работе над «Бесами». Достоевский почувствовал неудовлетворенность своей работой и решил на коренную переработку романа, которого уже было написано до 15 листов. «Теперь я решил окончательно, – пишет он в первой половине августа В.В. Кашпиреву, – все написанное уничтожить, роман переделать радикально, и хоть часть написанного и войдет в новую редакцию, но тоже в радикальной переделке»⁶⁸. Эта перемена произошла в связи с каким-то изменением в идейной оценке Достоевским своего романа. «Отказываться же от новой идеи и остаться при прежней редакции романа я не в силах совершенно. Я не мог представить всего этого», – пишет он в том же письме. Очевидно, Достоевский остался не удовлетворенным слишком «тенденциозным» уклоном романа, и по мере углубления в работу идейное значение романа выросло в его глазах. Происходил двойной процесс – с одной стороны, отходил несколько в сторону замысел «Жития Великого Грешника», над которым работа приостановилась, с другой – работа над «Бесами» все более углублялась в своем идейном содержании. Создавалась внутренняя неудовлетворенность, которая и привела к решению радикально изменить план рома-

на «Бесы». Несомненно, этому сопутствовал полный отказ от осуществления в ближайшее время «Жития Великого Грешника». Таким образом создавалась возможность использования уже накопленного материала, предназначавшегося для оставленного замысла, в частности, образ Тихона мог усложниться и занять более самостоятельное место в романе. Во всяком случае, Достоевский придает теперь своему роману большое идейное значение, и на него переходит тот пафос, который характеризовал его отношение к «Атеизму» и «Житию Великого Грешника». Он пишет с восторгом об идее новой редакции: «Идея так хороша, так многозначительна, что я сам перед ней преклоняюсь»⁶⁹. Работа значительно продвигается вперед, и уже в начале октября он высылает половину первой части романа в «Русский Вестник»⁷⁰.

Кризис в работе над «Бесами» был вызван главным образом тем, что образ Князя-Ставрогина уже в черновых записках перерос ту роль, которая ему отводилась Достоевским в плане «тенденциозного» романа. Он незаметно перерос главного героя и занял первое место в творческих раздумьях Достоевского. Правда, ему самому далеко не ясен был его облик, он двоился в его сознании и временами сливался с чертами героя «Великого Грешника». Но теперь, когда была оставлена надежда на ближайшее осуществление замысла, можно было смелее дорисовать облик Князя-Ставрогина. В письме от 8 октября 1870 г. к М.Н. Каткову Достоевский впервые говорит о Ставрогине, как главном герое романа, и, что особенно важно, дает свое авторское толкование этому типу. Говоря о Нечаеве, как вдохновителе образа Петра Верховенского, Достоевский пишет в этом письме: «Моя фантазия может в высшей степени разниться с бывшей действительностью, и мой Петр Верховенский может несколько не походить на Нечаева; но мне кажет-

ся, что в пораженном уме моем создалось воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству. Без сомнения, бесполезно выставить такого человека; но он один не соблазнил бы меня. По-моему, эти жалкие уродства не стоят литературы. К собственному моему удивлению, это лицо наполовину выходит у меня комическим. И потому, несмотря на то, что все это происшествие занимает один из первых планов романа, оно, тем не менее, – только аксессуар и обстановка действий другого лица, которое действительно могло бы назваться главным лицом романа. Это другое лицо (Николай Ставрогин) – тоже мрачное лицо, тоже злодей. Но мне кажется, что это лицо трагическое, хотя многие наверно скажут по прочтении: «Что это такое?» Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. По моему мнению, это и русское, и типическое лицо. Мне очень, очень будет грустно, если оно у меня не удастся. Еще грустнее будет, если услышу приговор, что лицо ходульное. Я из сердца взял его. Конечно, это характер, редко являющийся во всей своей типичности, но это характер русский (известного слоя общества)».

Это чрезвычайно ценное для истории творческой работы Достоевского над «Бесами» письмо содержит в дальнейшем прямое указание на будущую встречу Ставрогина с Тихоном. Характер этого свидетельства не допускает сомнения в том, что здесь роль Тихона разрастается за счет замысла «Великого Грешника» и что ему отводится в романе известная самостоятельная роль. «Мрачное» лицо Ставрогина должно здесь оттенить светлый облик Тихона, выдвинуть его на роль положительного героя романа. «Но не все здесь будут мрачные лица, – пишет Достоевский далее, – будут и светлые. Вообще боюсь, что многое не по моим силам. В первый раз, например, хочу

прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой. Идеалом такого лица беру Тихона Задонского. Это тоже святитель, живущий на спокойе в монастыре. С ним сопоставляю и свожу на время героя романа. Боюсь очень; никогда не пробовал; но в этом мире я кое-что знаю»⁷¹.

Могло ли в таком случае это свидание Ставрогина с Тихоном пройти безрезультатно для него, могло ли оно остаться без всякого влияния на его дальнейшую судьбу? Неужели эта встреча, задуманная Достоевским еще в пору обдумывания романа «Атеизм», теперь, когда он наконец подошел к тому, чтобы художественно воплотить ее в новом романе, нужна была только для выявления несостоятельности преступного героя? Достоевский в таком случае отказался бы от слишком дорогого для него, запавшего ему в душу замысла, отказался бы без надежды воплотить его когда-либо в жизнь. Ведь появившись «Исповедь» в печати, в таком виде, как мы ее знаем, ему уже трудно было бы подойти позже даже к образу старца Зосимы, которому отчасти передана роль Тихона в романе «Братья Карамазовы». Нет, очевидно, вводя Тихона действующим лицом романа, сводя и сопоставляя его со Ставрогиным, Достоевский отводил этой встрече существенное место в развитии внутренней трагедии своего героя. На это отчасти указывает и письмо Достоевского к С.А. Ивановой от 6 января 1871 г. В нем имеется место, связанное с высказанным М.А. Ивановой желанием, чтобы роман «Бесы» был посвящен ей. По этому поводу Достоевский пишет ее сестре следующие, исключительно для нас ценные строки: «Я уже отослал первую половину 1-й части, когда получил это желание. Правда, тотчас же хотел было написать в редакцию, чтобы вставить строчку о посвящении, потому что тогда еще наверное не начинали печатать. Но – остановился за совершенною невозможностью посвятить Марье Алек-

сандровне. В романе (во 2-й и в 3-й части) будут места, которые хоть и можно читать даже девушке, но все-таки нехорошо посвятить ей. Одно из главных лиц романа признается таинственно другому лицу в одном своем преступлении. Нравственное влияние этого преступления играет большую роль в романе, преступление же, повторяю, хоть о нем и можно прочесть, но посвятить не годится... Не знаю, может, я рассуждаю неправильно. Я еще далеко не дошел до того места и все будет, может быть, очень прилично; но теперь все-таки посвятить не решусь»⁷². Не подлежит сомнению, что здесь речь идет об «Исповеди Ставрогина», которой отводилось существенное место в общей композиции романа. Но можно ли говорить о «нравственном» влиянии этого преступления на Ставрогина, если его брать таким, каким мы его знаем по каноническому тексту? Я думаю, мы здесь имеем прямое указание на то, что «Исповедь Ставрогина» была внутренней связана с иным образом Ставрогина, с возможностью для него нравственного воскресения, и встреча с Тихоном должна была вплотную подвести его к этой возможности. Я не решусь утверждать, как это делает В. Комарович, что Достоевский действительно предназначал Ставрогину «преображение»; для такого категорического утверждения мы не располагаем объективно доказательным материалом, но что «Исповедь» предполагала иную ступень душевного опустошения Ставрогина, чем она дана в каноническом тексте, это мне кажется несомненным. За это говорят и те колебания, какие были у Достоевского во время непосредственной работы над «Исповедью».

8

Дошедшая до нас «Исповедь Ставрогина» в двух редакциях⁷³ носит на себе следы все того же колебания в обри-

совке образа Ставрогина. Петербургская редакция все время держит нас на известной грани, оставляя возможность толковать признание Ставрогина в преступлении, как поклеп на самого себя, как очередную фантазию больного воображения. Самому автору по каким-то художественным мотивам не хочется допустить Ставрогина до этого последнего падения, как бы закрывающего ему путь к душевному преображению. Уже в черновых записях Достоевский колебался в своем решении провести своего героя через грех растления девочки: он в нескольких местах намекает на то, что самого преступления, в сущности, не было.

Архиерей перед уходом Князя обращается к нему: «Скажите, заклинаю вас, правду ли вы мне сказали или все это солгали?» – Князь смотрит на него: «Я все солгал?» Архиерей посмотрел на него, подумал, благословил: «Гряди с миром». После чего, на завтра, от Князя записка: «Все это я вам солгал, и вы можете убедиться, что теперь не лгу, уже потому, что не из боязни огласки пишу вам, ибо вы не перескажете, а из одного лишь желания хоть сколько-нибудь смягчить мой недостойный поступок с вами. Я немног был не в своем уме; болезнь у меня такая; простите же меня и помолитесь за меня. Сын ваш Ставрогин»⁷⁴. Хотя дальше сам Достоевский и старается ослабить это место следующими разъяснениями: «Затем князь непременно в романе еще раз проговаривается так (и пишет в записке со станции об Ури), что ясно читателю, что грех его действительно был сделан и он не солгал Тихону. «Пусть Тихон помолится», – написал он»⁷⁵, но все же и после этого остается возможным толкование в пользу Ставрогина, который почему-либо мог снова изменить свое решение и постарался укрепить Тихона в своей виноватости. Взять на себя преступление, которое ему молва и так приписывала, вынести это бремя уни-

жения и поругания за другие, уже подлинно содеянные грехи, так могла Достоевскому рисоваться психология Ставрогина, толкнувшая его на этот новый фантастический шаг.

Петербургская редакция содержит в себе ряд мест, которые дают возможность именно такого толкования. И любопытно, что в этом лежит отличие двух известных нам редакций «Исповеди». Петербургский текст, подводя Ставрогина вплотную к преступлению, искусственно оставляет читателя в недоумении, было ли оно действительно совершено. После того, как Матреша обхватила Ставрогина «за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама», в петербургском тексте значится: «Я *встал* почти в негодовании – так это было мне неприятно в таком маленьком существе, от жалости, которую я вдруг почувствовал»⁷⁶. Далее пропущен весь «Листок 2-й», удержанный у себя Ставрогиным «под цензурой» и содержащий откровенное психологическое описание духовного состояния Матрешы после того, как «все кончилось». Но пусть это был только литературный прием, чтобы освободить читателя от слишком реалистической страницы «Исповеди». От этого ведь самое преступление не становится менее вероятным. Но вряд ли можно найти отвод против другого места, где устами самого автора хроники Достоевский стремится вызвать у читателя сомнение в правдивости «Исповеди» Ставрогина. Это место особенно важно, потому что, как мы увидим далее, Достоевский имел в виду его восстановить и во второй, московской редакции. Второй раздел «главы IX», озаглавленной «У Тихона», содержит в петербургской редакции следующую вставку от автора хроники, которая следует сейчас же после слов «Во всяком случае ясно, что автор прежде всего не литератор»: «...позволю себе и еще замечание, хотя и забегаю вперед. Документ этот, по-моему, – дело бо-

лезненное, дело беса, овладевшего своим господином. Похоже на то, когда страдающий острой болью мечется в постели, желая найти положение, чтобы хотя на миг облегчить себя. Даже и не облегчить, а лишь бы только заменить, хотя на минуту, прежнее страдание другим. И тут уже, разумеется, не до красоты или разумности положения. Основная мысль документа – страшная, непритворная потребность кары, потребность креста, все-народной казни. А между тем эта потребность креста – все-таки в человеке, не верующем в крест, – «а уж это одно составляет идею», – как однажды выразился Степан Трофимович в другом, впрочем, случае. С другой стороны, весь документ в то же время есть нечто буйное и азартное, хотя и написан, по видимому, с другой целью». Автор объявляет, что он «не мог» не написать, что он был «принужден», и это довольно вероятно: он рад бы миновать эту чашу, если бы мог, но он действительно, кажется, не мог и ухватился лишь за удобный случай к новому буйству. Да, больной мечется в постели и хочет заменить одно страдание другим, – и вот борьба с обществом показалась ему положением легчайшим, и он бросает ему вызов. Действительно, в самом факте подобного документа предчувствуется новый, неожиданный и непочтительный вызов обществу. Тут скорее бы только встретить какого-нибудь врага... А кто знает, может быть, все это, то есть листки с предназначенною им публикацией, – опять-таки не что иное, как то же самое прикушенное губернаторское ухо в другом только виде? Почему даже мне это теперь приходит в голову, когда уже так много объяснилось, – не могу понять. Я и не привожу доказательства и вовсе не утверждаю, что документ фальшивый, то есть совершенно выдуманный и сочиненный. Вероятнее всего, что правды надо искать где-нибудь в середине... А впрочем, я

уже слишком забежал вперед; вернее обратиться к самому документу. Вот что прочел Тихон...»⁷⁷

И вот что особенно следует отметить: на полях корректурной гранки московской редакции, как раз в соответствующем этой выдержке месте, имеется рукописная приписка рукою Достоевского: *«одного замечанья, только одного»*⁷⁸. Без сомнения, эта отметка имеет в виду начальные слова приведенного выше отступления: «Позволю себе еще замечание». На что эта приписка указывает? Само по себе требует разъяснения, почему корректурные гранки, сохранившиеся в архиве А.Г. Достоевской, носят на себе не только следы обычных корректурных исправлений для типографии, но почти сплошь – особенно начиная с конца первой главы – и на полях и в самом тексте испещрены величайшим множеством сделанных рукою автора поправок, вставок и дополнений⁷⁹. Это свидетельствует о том, что Достоевский, уже после полученного им отказа печатать «Исповедь» в «Русском Вестнике», все еще продолжал над ней работать, т.е. не оставляя мысли так или иначе сохранить эту главу в романе. Это подтверждается письмом Достоевского к С.И. Ивановой из Петербурга от 4 февраля 1872 г. В этом письме он пишет: «Вторая часть моих забот был роман. Правда, возясь с кредиторами, и писать ничего не мог; но по крайней мере, выехав из Москвы, я думал, что переправить забракованную главу романа так, как они хотят в Редакции, все-таки будет не Бог знает как трудно. Но когда я принялся за дело, то оказалось, что исправить ничего нельзя, разве сделать какие-нибудь перемены самые легкие. И вот в то время, когда я ездил по кредиторам, я выдумал, большей частью сидя на извозчиках, четыре плана и почти три недели мучился, который взять. Кончил тем, что все забраковал и выдумал перемену новую, т.е., оставляя сущность дела,

изменил текст настолько, чтобы удовлетворить целомудрие Редакции. И в этом смысле пошло им ultimatum. Если не согласятся, то уж я и не знаю, как сделать»⁸⁰.

Наличие на полях замечания со ссылкой на петербургскую редакцию, в которой содержится ограничительное толкование правдоподобия «Исповеди», совершенно ясно указывает на желание Достоевского внести известное смягчение и в переработанный текст. Отсюда, во всяком случае, следует, что Достоевский до конца колебался в одном из самых существенных вопросов «Исповеди»: сделать ли ее только проявлением очередного фантастического бреда героя или исходить в ней из факта беспримерного его падения? От того или иного толкования могла в дальнейшем сложиться судьба Ставрогина – его большая просветленность, даже при трагическом исходе, или позорный конец «гражданина города Ури».

А.С. Долинин, горячий сторонник органичности «Исповеди» в общей концепции романа «Бесы», признает, что у Достоевского эти колебания в изображении внутреннего мира Ставрогина были налицо. «Несомненен факт колебания Достоевского в основном плане сюжета «Исповеди», в психологической ее трактовке. Несомненно, что самые существенные расхождения во 2-й части обоих текстов объясняются именно тем, что в одном из них, в петербургском, образ Ставрогина ставится так, что делается возможным для него пережить акт живой религиозной воли, истинное раскаяние»⁸¹. Правда, московский текст как будто бы устранил все колебания; в нем Достоевский исходит в своей концепции образа Ставрогина из факта преступления над «отроковицей». Впрочем, и здесь имеется характерная оговорка в словах Ставрогина: «Я, может быть, не так страдаю, как здесь написал, и, может быть,

действительно много налгал на себя, — прибавил он неожиданно», и дальше, как бы нарочно подчеркивая сказанное, он повторяет: «Я, может быть, вам очень налгал на себя, — настойчиво повторил Ставрогин»⁸².

Но мы знаем, что и этот московский текст нельзя считать окончательным. Он сохранил следы дальнейших колебаний Достоевского, характер которых как будто говорит за то, что московская редакция снова приближалась к петербургской. Во всяком случае, в настоящее время мы не располагаем таким текстом «Исповеди», который мы были бы вправе рассматривать, как часть канонического текста романа. Внешняя причина, оборвавшая печатание «исповеди» в журнале «Русский Вестник», совпала с какими-то внутренними колебаниями Достоевского, не нашедшими себе, к сожалению, более полного выявления. Вплоть до «Исповеди Ставрогина», когда уже определились и композиционные и сюжетные его линии, для Достоевского не была исключена возможность иной судьбы Ставрогина. Все говорит за то, что исключение «Исповеди» совпало с какими-то творческими колебаниями, заставившими Достоевского в конечном счете привести героя к позорной гибели, не оправдав ни одного его усилия к нравственному возрождению. Этот конец не был предreshен вплоть до «Исповеди», исключение которой предопределило и нынешнее окончание романа, и тот образ Ставрогина, каким мы его знаем по каноническому тексту романа.

9

Почти год перерыва отделяет появление в печати 2-й части романа «Бесы» в «Русском Вестнике» от начала печатания 3-й части: от декабря 1871 года до ноября 1872 г. Этот перерыв в печатании романа отражает не менее зна-

чительную остановку в самой работе над ним. Время это в жизни Достоевского было чрезвычайно сложно. Сознание дальнейшей невозможности оставаться вне России, постоянная и острая денежная нужда, неудовлетворенность собою и своею работою, неожиданный прорыв игровой страсти (апрель 1871 г.), возвращение на родину и хлопоты, с этим связанные, рождение сына Федора сейчас же по возвращении в Россию (16.7.1871) — все это не могло содействовать успеху работы над незаконченным романом. Только с мая 1871 г. Достоевский вновь садится за прерванную работу. Надо думать, что к этому времени часть 2-я, включая «Исповедь», уже была вчерне готова. Еще в марте Достоевский был убежден, что закончит роман в 1871 г. Мы имеем указание на то, что уже к началу 1872 г. «Исповедь Ставрогина» была «забракована» редакцией «Русского Вестника»; об этом сохранилось прямое свидетельство в письме Достоевского к жене от 4 января 1872 г.⁸³ В феврале же Достоевский «дописывал» последнюю часть романа⁸⁴. Остановка в печатании романа давала Достоевскому возможность вновь продумать окончание романа, над которым он работал почти вплоть до появления его в печати. Этого нового продумывания требовал прежде всего образ Ставрогина.

Достоевский был слишком большим художником, чтобы не чувствовать, какую роль играла «Исповедь» в общей композиции романа и в понимании облика Ставрогина. На острие ножа подвел Достоевский своего героя к встрече с Тихоном, оставляя одинаково возможным для Ставрогина оба пути — путь просветления и путь гибели. «Исповедь» так, как мы ее знаем, отразила на себе еще раз колебания Достоевского в окончательном выборе пути. Но даже во второй редакции, предусматривающей нераскаянность Ставрогина, она содержала такое на-

пряжение его воли к возрождению, что предопределяла собой трагическую гибель героя, а не позорное безвольное самоистребление.

Устранение «Исповеди» возлагало на Достоевского, как художника, труднейшую задачу: сохранить художественную цельность Ставрогина, уже вплотную к «Исповеди» подведенного и внезапно от нее устраненного. Как Достоевский справился с этой задачей?

Если кульминационным пунктом романа должна была явиться исповедь с пророческим предвидением Тихона нового преступления Ставрогина, то теперь Достоевский такое вершинное значение переносит на ночное свидание с Хромоножкой. Именно ее проклятие вслед убегающему в ночь Ставрогину: «Гришка Отрепьев анафема!» – ложится пророческой тенью на облик героя. И все, что следует дальше, только судорожное метание предопределенного к гибели героя. «Поединок» с Гагановым уже последняя вспышка самоиспытывающей воли Ставрогина, вспышка перед угасанием. Кириллов произносит над Ставрогиным именно после поединка уничтожающий приговор: «вы не сильный человек». И, как бы символизируя это угасание духа Ставрогина, его душевное разложение, всплывает вслед за этим, в разговоре с Дашей, мотив двойника, беса Ставрогина, который сливается затем с образом Федьки Каторжного.

С этим местом связан любопытный эпизод в истории текста романа. Просматривая «Бесы» для первого отдельного издания, Достоевский, оказывается, вовсе не стремился, как полагает А.С. Долинин, сохранить «все свои намеки и указания, определенно ведущие к «Исповеди», дабы мы, потомки более отдаленных поколений, смогли восстановить то единство и целостность романа «Бесы», которые мыслимо воссоздать только при свете

новой главы об «Исповеди Ставрогина»⁸⁵... Наоборот, он произвел сокращения и изменения журнального текста, внутренне связанные с устранением «Исповеди». Так, в упомянутой беседе с Дашей в первоначальном тексте мотиву привидений у Ставрогина отведено было значительно больше места и не так тщательно было проведено противоположение демона мелкому бесу Ставрогина. «Бес» журнального текста ближе к «бесу» Ивана Карамазова и в этом смысле иерархически не соответствовал Ставрогину канонического текста. Если последний действительно «просто маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся», то первый сохранил, правда отдаленные, черты «демона» юного Ставрогина. Недаром он злится, «что его собственный бес мог явиться в такой дрянной маске». Ставрогин жалуется Даше: «Вчера он был глуп и дерзок. Это тупой семинарист, самодовольство шестидесятих годов, лакейство мысли, лакейство среды, души, развития, с полным убеждением в непобедимости своей красоты... ничего не могло быть гаже...» Однако этот «лакей мысли» сохраняет поползновение играть роль настоящего беса, и эта роль ему не так плохо удастся. Его значительность, отражающая значительность самого Ставрогина, дает себя явно знать. «Я знаю, – говорит Ставрогин, – что это я сам в разных видах, двоюсь и говорю сам с собою. Но все-таки он очень злился; ему ужасно хочется быть самостоятельным бесом и чтоб я в него уверовал в самом деле. Он смеялся вчера и уверял, что атеизм тому не мешает»⁸⁶. Это слишком явно ведет к тому бесу, о котором Ставрогин говорит Тихону в «Исповеди». Там он признавался, что «видит иногда или чувствует подле себя какое-то злобное существо, насмешливое и «разумное», в разных лицах и разных характерах, но одно и то же, а я всегда злюсь»⁸⁷, и его атеизм действительно

не помешал ему окончательно уверовать в своего «беса»: «Я верую в беса, верую канонически, в личного, не в аллегорию, и мне ничего не нужно ни от кого выпытывать, вот вам и все», – горячо и раздраженно бросает он Тихону. Ему – Гришке Отрепьеву – в спутники дан не «разумный и злобный» бес, а «расчетливый бесенок», принявший облик Федьки Каторжного.

Достоевский мог сохранить в тексте отдельного издания романа, куда он уже сознательно, по доброй воле не внес «Исповеди», отдельные места, как бы ведущие к «Исповеди» (напр., совет Шатова Ставрогину пойти к Тихону), ибо они ни в чем существенном не меняли самого облика Ставрогина, но сохранить в прежнем виде ему его «беса» он не мог. Художественное чутье подсказало ему необходимость переработать это место. Образ Ставрогина «Исповеди», с которым было связано это место, не укладывался в канонический текст романа.

10

Не подлежит сомнению, что еще с большей решительностью Достоевский принялся за переработку образа Ставрогина в последней части романа. В каком-то соответствии с внутреннею своею жизнью Достоевский необычайно суров по отношению к своему герою, о котором еще недавно говорил, что взял его «из сердца своего». Эту суровость мироощущения, отразившуюся в романе «Бесы», уже отметил в печати А.С. Долинин: «Здесь мы должны подчеркнуть общий фон романа, как исключительно суровый даже для трагических концепций Достоевского, – говорит Долинин. – Мы не знаем тому причин, почему именно в эту пору мир воспринимался Достоевским в таком безнадежно-трагическом аспекте. Гибнет Шатов в тот самый момент, когда обрел, наконец, столь чаемую веру в тайне рождения нового

существа, не от него зачатого, и в радости великой всезахватывающей любви к этому существу и к обидчице-матери его. Гибнет Хромоножка, единственное лицо у Достоевского, которому дано без всяких усилий, без нужения, постичь тайну новой ипостаси: «Богородица, что есть: как мнишь? – Мать сыра земля...» Гибнет и Лиза, задетая лишь косвенно самым отдаленным краем Ставрогинского зла. Гибнет – именно в конце своего жизненного пути, уже очищенный, просветленный, познавший тайну апокалиптического пророчества: «И Ангелу Лаодикийской церкви...» – Степан Верховенский. Гибнет, наконец, и Кириллов, так близко подошедший ко Христу: отделенный тончайшей гранью, лик человекобога уже начинает сливаться с ликом Богочеловека. И над всем и всеми торжествует одна Ставрогинская обезьяна, «ложный ум» и «бездарность», всего лишь «мелкий бес» с «насморком и флюсом» – Петр Верховенский»⁸⁸.

Эта суровость лежит именно на третьей части романа, выросшей на почве нового переосмысливания его героя. «Законченный роман», последнее преступление Ставрогина, жалкая попытка найти забвение в подвернувшейся любви Лизы, снимает остатки очарования с его лица. Предсмертное письмо к Даше только дорисовывает облик Ставрогина. Ни одной смягчающей черты, ни одного намека на трагичность гибели героя не нашлось у Достоевского для последних страниц романа. «Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей...» И неужели в плоскости бытийственности реального греха преступления над «отроковицей» лежит объяснение этой мрачной смерти? Для Достоевского такое объяснение было бы слишком примитивно-психологично. Это преступление в плане «Исповеди» должно было играть другую роль, и оно ничуть не углубляет понимания Ставрогина, каким мы его

знаем по роману. Но Ставрогин «Исповеди» оставался дорог Достоевскому, и он не мог отказаться от попытки его дальнейшего художественного воплощения. К нему он еще раз вернется в «Подростке», наделяя Версилова его чертами. Не случайно Версильову он влагает в уста замечательный сон о «золотом веке», приснившийся ему под влиянием картины Клода Лорена «Ацис и Галатея», тот сон, который привиделся и Ставрoгину «Исповеди». Ставрoгинские черты отразятся позже в Иване Карамзове, которого «борют мысли», некогда волновавшие и Ставрoгина. К Ивану Карамзoву перейдет и «бес» Ставрoгина – «лакей и приживальщик», не потерявший, однако, своей значительности. Наконец, сама «Исповедь», как мотив встречи с праведником и покаяния перед ним в содеянном преступлении, сюжетно будет

повторена в связи с житием старца Зосимы («Таинственный посетитель»). Здесь покаяние в преступлении ведет к душевному просветлению и воскресению, вскрывая таким образом неосуществленный мотив «Исповеди Ставрoгина». И образ самого Архиепископа Тихона, найдет, наконец, свое конечное воплощение в старце Зосиме.

«Исповедь Ставрoгина», выпав из общей концепции романа «Бесы», осталась художественно действенной и реализовалась в позднейшем творчестве Достоевского. Но в истории эволюции образа Ставрoгина она играет лишь вспомогательную роль, являясь следом одного из этапов в развитии этого образа. Этап этот отразил колебания самого Достоевского в понимании «преступного» героя. Ставрoгин «Исповеди» стоит ближе к Версильову, чем к гражданину кантона Ури, висевшему за дверцей.

¹ В первоначальном виде напечатано в «Трудах I Съезда Русск. Академ. Организаций за границей». София, 1931, стр. 177–213. Кроме того вышло на чешском и немецком языках: «Evoluce obrazu Stavrogina» в юбил. сборн. «Dostoevskij», Praha, 1931, стр. 147–181, и «Die Entwicklung der Gestalt Stavrogins». Reichenberg, Stiepel, 1931, стр. 67–97. См. обстоятельный отзыв о настоящей работе Leone Savoj в «La nuova Italia», 1932, № 5, стр. 196–198. Для настоящего издания в статью внесены существенные исправления и дополнения.

² Письмо от 26 февр. (10 марта) 1869 г. Письма. II, 170.

³ Письма. II, 60. Подчеркнуто самим Достоевским, мною в примечаниях не оговорено.

⁴ Письма. II, 71.

⁵ Они опубликованы П.Н. Сакулиным. См. Из архива Ф.М. Достоевского. Идиот. Незданные материалы. Редакция П.Н. Сакулина и Н.Ф. Бельчикова. М., 1931.

⁶ Рукописи к «Идиоту», стр. в порядке цитирования 12, 14 (два раза).

⁷ Там же, 16–17.

⁸ См. письма от 9 окт. 1867 г. к А.Н. Майкову (Письма. II, 47) и от 31 дек. 1867 г. ему же (Письма. II, 59).

⁹ «Первое упоминание об «Атеизме» имеется в письме к Майкову от 11 дек. 1868 г., когда «Идиот» уже закончен», – говорит А.С. Долинин в предисловии к изданию писем (см. Письма. I, 19). Это неверно: о работе над «Идиотом» имеются еще упоминания в письмах после 11 декабря (см. Письма. II, 156). Только 25 января 1869 г. Достоевский писал о романе: «Теперь он окончен, наконец» (см. II, 159). Мы принимаем за дату окончания романа 17 января 1869 г., проставленную в конце печатного текста романа в журнале «Русский Вестник» (см. Полн. собр. худ. произв. VII, 557).

¹⁰ Письма. II, 150.

¹¹ Письмо от 11/23 декабря 1868 г. Письма. II, 154. Речь здесь идет в связи со словами И. Киреевского о чудотворной иконе, а не А.С. Хомякова, как ошибочно говорит Достоевский, что видно прямо из одной позднейшей записи к роману «Бесы», опубликованной Л.П. Гроссманом: Шатов объясняет разницу: «Славянофилы – барская затея, икона (Киреевский), никогда они не смогут верить непосредственно». Сборн. «Творчество Достоевского». Одесса, 1921, стр. 16. Сравни «Записные тетради Достоевского». М.–Л., 1935, стр. 108, примечания А.С. Долинина к Письмам, II, 139–441.

¹² Письмо Н.Н. Страхову от 18/30 марта 1869 г. Письма, II, 1817.

¹³ Идиот. VI, 481.

¹⁴ Выражение «попадает на крючок иезуитам» из речи кн. Мышкина (см. указ. текст, стр. 480) переходит затем в сюжет «Атеизма» (см. письмо Майкову, II, 150).

¹⁵ Письма, II, 161. В предисловии к плану «Жития Великого Грешника» Н. Бродского в этом месте допущено досадное искажение: «вроде St. François Fanier». См. Документы по истории литературы и общественности. В. I. Ф.М. Достоевский. М., 1922, стр. 49.

¹⁶ Идиот. VI, 480–481.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Письмо от 23 апреля/5 мая 1871 г. Письма, II, 358.

¹⁹ Письма, II, 195.

²⁰ Письмо С.А. Ивановой 29 авг./10 сент. 1869 г. Письма, II, 207.

²¹ Предисловие к изд. «Писем», I, 20. Расхождение в понимании Долининым взаимоотношения «Жития» и «Бесов» с точкой зрения В. Комаровича сформулировано последним в статье «Neue Probleme der Dostojewskij Forschung» (Z-tschr. für slav. Phil.), стр. 414–417. X, 3–4, 1933.

²² Об идейном замысле «Вечного Мужа» см. мою работу «Развертывания сна» («Вечный Муж» Достоевского) в книге: «Достоевский. Психологические этюды». Прага, 1938, стр. 54–76.

²³ Письма, II, 261.

²⁴ Предисловие к Письмам, I, 21.

²⁵ Документы по истории лит. и обществ. В. I. Ф.М., Достоевский. М., 1922, стр. 71–72. Далее цитирую это издание всюду так: «Докум.» Ср. «Записные тетради Достоевского». М.–Л., 1935, стр. 103. Записи к «Житию Вел. Грешн.» в этом издании воспроизведены на стр. 96–107.

²⁶ «Докум.», 77. ср. Зап. тетр., стр. 107.

²⁷ Рук. к «Идиоту», стр. 20, 16, 12 (три раза) в порядке цитирования.

²⁸ «Письма» (в порядке цитирования), II, 263 и 298.

²⁹ Письмо от 25 марта/6 апреля 1870 г. Письма, II, 263.

³⁰ Письма, II, 263.

³¹ «Докум.», 76. Зап. тетр., 107, подчеркнуто Достоевским.

³² «Докум.», 76 и 77.

³³ Письмо к Майкову от 25 марта/6 апреля 1870 г. Письма, II, 264. Перечисляя положительных героев русской литературы: Костанжогло (2-я часть «Мертвых Душ» Гоголя), «немца» в ром. «Обломов» – Штольца, Лопухова и Рахметова из ром. «Что делать?» Чернышевского, Достоевский очевидно допустил опisku, назвав Лаврецкого (из «Дворянского Гнезда» Тургенева) Лавровским. См. примечание к письму у Долинина. II, 476.

³⁴ «Докум.», 75. Зап. тетр., 161.

³⁵ «Докум.», стр. 77. Зап. тетр., 107.

³⁶ В. Комарович. Неизданная глава романа «Бесы» – «Былое», 1922, № 18, стр. 221.

³⁷ Первое упоминание нового замысла можно видеть в фразе письма Достоевского к Майкову от 17/29 сент. 1869 г.: «Замыслил вещь в Русский Вестник, которая очень волнует меня» (Письма. II, 213). Записная тетрадь № 1/10 под 2/14 ноября 1869 г.: «Подпольная идея для Русского Вестника» (Зап. тетр., 39), хотя и напрашивается на связь с сюжетом романа «Бесы», но соприкасается также с «Житием Великого Грешника» (см. Зап. тетр., прим. к тексту, стр. 398).

³⁸ Зап. тетр., 94 (11 марта 1870).

³⁹ Там же, 142.

⁴⁰ Там же, 90 (запись 7 марта 1870).

⁴¹ Там же, 90.

⁴² Там же, 160.

⁴³ Зап. тетр., 94.

⁴⁴ Там же, 158.

⁴⁵ См. А.С. Долинин «Исповедь Ставрогина» – Альманах «Литературная Мысль». Петр., 1922, I, стр. 153, и Д. Чижевский: «К проблеме двойника» в сборн. п.р. А. Бека – «О Достоевском»/I. Прага, 1928, стр. 23.

⁴⁶ Зап. тетр., 143.

⁴⁷ Там же, 143–144.

⁴⁸ Там же, 143.

⁴⁹ Там же, 159.

⁵⁰ Там же, 170.

⁵¹ Здесь я расхожусь с Н.Л. Бродским, который считает, что Ставрогин был «проще, понятнее в первоначальных записях». См. Творческая история романа «Бесы» (Неизданные материалы). «Свиток». М., 1922, стр. 85.

⁵² Зап. тетр., 162.

⁵³ Там же, 163.

⁵⁴ Там же.

⁵⁵ Письма. II, 257.

⁵⁶ Это различие трех стадий в эволюции образа Ставрогина имеет существенное значение. Оно объясняет тот странный факт, что Достоевский в известном письме своем к Страхову от 9/21 октября 1870 г. говорит о выступлении на первый план нового лица «с претензией на настоящего героя романа» (Письма. II, 294). Это утверждение, при обычном различении двух стадий в эволюции образа Ставрогина, находится в противоречии с многочисленными записями-характеристиками Князя, свидетельствующими о значительности его роли в романе уже в самой начальной стадии работы над ним. Только предположением, что «роман-памфлет» является второй упрощенной стадией в развитии замысла «Бесов», можно устранить это противоречие. На стр. 62 черновой тетради № 3 имеются две записи, отводящие Ставрогину центральное место в романе: «Выходит так, что главный герой романа князь», – говорится в одном месте; «итак, весь пафос романа в князе, он герой. Все остальное движется около него, как калейдоскоп. Он заменяет и Голубова...» – сказано о Князе несколько ниже. Любопытно, что эти записи находятся на отдельном листе, вклеенном в тетрадь № 3, и снабжены датой 10 апр./29 марта 1870 г., в то время как записи тетради № 3 сплошь более позднего времени (23 мая 1870 – 13 мая 1871 г.). Наш анализ, таким образом, является косвенным подтверждением предположения, что листок с этими записями м.б. вырван из тетр. № 2 и по ошибке вклеен в тетрадь № 3. Ср. Зап. тетр., 243–244, и комментарий на стр. 426. Это соответствует записи в тетр. № 2, на стр. 36: «Все заключается в характере Ставрогина. Ставрогин все» (Зап. тетр., 61).

⁵⁷ По вопросу о месте «Исповеди Ставрогина» в общей композиции романа установились две прямо противоположные точки зрения. По одной – «Исповедь» была исключена Достоевским добровольно в связи с тем, что в процессе работы образ Ставрогина изменился, и «Исповедь», предполагавшая возможность подлинного раскаяния Ставрогина и его религиозного просветления, оказалась в противоречии с образом Ставрогина, не способного на акт живой веры. По другой – «Исповедь» является органической частью романа, его кульминационным пунктом, и ее выпадение зависело от причин чисто случайного характера (отказ М.Н. Каткова напечатать эти главы в своем журнале). Первая точка зрения высказана наиболее полно В. Комаровичем в статьях: Неизданная глава романа «Бесы» (журн. «Былое», 1922, № 18, стр. 219–226), «Die inneren Motive für die Weglassung der Beichte» von W. Komarowitsch («Der unbekannte Dostojewskij», S. 373–385). Этой же точки зрения придерживается Н.Л. Бродский в статье: Unbekannte Fragmente und ausgelassene Kapitel aus den «Dämonen» (Ibid., 127–245). См. также Александр Шрейдер «Николай Ставрогин» (в книге «Тетрадь о Достоевском». Пар., 1929, стр. 19–21). На другой точке зрения стоит А.С. Долинин, несколько раз возвращавшийся к этой теме. См. «Исповедь Ставрогина» (в связи с композицией «Бесов») в «Литерат. Мысли». Петр., 1922, стр. 139–162, «Страницы из «Бесов» (в канонический текст не включенные)» в сборн. Долинина «Достоевский», Лен., 1924, кн. II, стр. 544–556, и по-немецки: «Die fremden Einflüsse bei der Weglassung von «Stavrogins Beichte» («Der Unbek. Dost.», S. 298–354), «Ausgelass. Seit. aus d. Dämonen», 354–374. Близок к последней точке зрения и проф. С.И. Геццен (см. Sergius Hessen: «Stavrogin als philosophische Gestalt. Die Idee des Bösen in den «Dämonen» Dostojewskijs» – в сб. «Dost. Studien», Reichenberg, 1931, стр. 63–68). В чешской печати тема эта приобрела особую актуальность в связи с тем, что «Исповедь» была включена в драматическую переработку романа «Бесы» Ф. Гетца (F. Goetz) и таким образом была поставлена на сцене. Против такого включения с точки зрения идейного понимания выступил проф. Эмиль Свобода (Česke Slovo, 1930, 28. I): Dve roznamky na tema «Besu».

⁵⁸ Записи конца или начала марта 1870 г. «Архиерея для увещания (красавица)» (Зап. тетр., 129), «Кошунство красавицы, мать зовет Архиерея» (стр. 157), «На помолвке Гр-й соединяет руки князя и невесты. До помолвки кошунство, Архиерей» (стр. 168) отводят композиционно Архиерею иную роль и к «Исповеди» отношения не имеют.

⁵⁹ См. письмо к В.В. Кашпиреву от половины августа 1870 г. Письма, II, 280.

⁶⁰ Зап. тетр., 160, 162, 94 (в порядке цитирования).

⁶¹ Зап. тетр., 90.

⁶² Сб. «Творчество Достоевского» п.р. Гроссмана. Одесса, 1921, стр. 13–20.

⁶³ Зап. тетр., 294.

⁶⁴ Зап. тетр., 214–215.

⁶⁵ Зап. тетр., 217.

⁶⁶ То же, стр. 286.

⁶⁷ Зап. тетр., стр. 203 и 228 (в порядке цитирования).

⁶⁸ Письма, II, 279.

⁶⁹ Письмо к С.А. Ивановой от 17/29 августа 1870 г. Письма, II, 283.

⁷⁰ См. Письма, II, 287.

⁷¹ Письма, II, 288–289.

⁷² Письма, II, 315.

⁷³ «Исповедь Ставрогина» известна в двух редакциях. Петербургская редакция представляет собою копию с неизвестного оригинала, сделанную А.Г. Достоевской, и хранится в настоящее время

в Институте Литературы (б. «Пушкинском доме») Академии Наук. Она опубликована впервые В. Комаровичем в журн. «Былое», 1922 г., № 18, стр. 227–252. Вторая, московская редакция представляет собою корректурные гранки для журн. «Русский Вестник», где роман печатался. Частично этот текст опубликован А.Г. Достоевской в юбилейном издании 1906 г. Полностью опубликован он под редакцией В. Фриче в изд. «Документы по истории литературы и общественности». Вып. 1. Ф.М. Достоевский. М., изд. Центрархива, 1922, стр. 3–40. В наст. время хранится в Главархиве. В.Л. Комарович, внимательно изучавший соотношение обеих редакций, пришел к выводу, что «первоначальным текстом главы является текст гранок (т.е. московский) в том виде, в каком они были набраны до корректурных правок» (см. Полн. собр. соч., Госизд., VII, 592). Эту же первоначальную редакцию отражает и копия Анны Григорьевны (т.е. петербургский текст), но лишь частично, в пределах первого поддела главы и второй половины самой «Исповеди»; в остальном же дает позднейшую редакцию, в которую введены корректурные правки гранок и развиты намеченные на полях эпизоды. Такая неоднородность копии объясняется тем, что «в момент копирования А.Г. Достоевская почему-нибудь не имела под руками всего рукописного материала». «Литературное наследство Достоевского за годы революции» в сборн. «Литературное наследство», XV, 1934 г., стр. 259. Вопросу о разночтениях двух редакций посвящен тщательный анализ А.С. Долинина в статье «Исповедь Ставрогина» в журнале «Литературная Мысль», кн. 1. П., 1922 г.

⁷⁴ Зап. тетр., 202.

⁷⁵ Там же.

⁷⁶ А.С. Долинин приводит еще более определенную редакцию этого места: «Я встал почти в негодовании, чувство гадливости как бы побороло звериную страсть» (Лит. Мысль, 1, стр. 141). Московская редакция соответственно имеет два варианта: 1) «Я чуть не встал и не ушел – так это было мне неприятно в маленьком существе от жалости, которую я вдруг почувствовал». 2) «Я чуть не встал и не ушел – так это было мне неприятно в таком крошечном ребенке от жалости. Но я преодолел внезапное чувство моего страха и остался» («Докум.», стр. 20). У Долинина соответственный вариант читается так: «Я чуть не встал и не ушел... многоточие». И дальше: «Когда все уже кончилось» («Лит. Мысль», 1, 141).

⁷⁷ «Былое», № 18, стр. 234–235.

⁷⁸ «Докум.», 14, прим. 2-е.

⁷⁹ Новые записные тетради Ф.М. Достоевского – «Докум.», стр. VII.

⁸⁰ Письма. III, 21. Ср. Замечания Б. Томашевского к новым текстам романа «Бесы» в изд. «Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования», п.р. А.С. Долинина. Лен., 1935, стр. 398.

⁸¹ «Лит. Мысль», 1, 143.

⁸² «Докум.», 34.

⁸³ Говоря о денежных расчетах с «Русским Вестником», Достоевский здесь прибавляет: «Заметь, что два последние забракованные ими листа в счет не вошли». – Письма. III, 19.

⁸⁴ Письмо С.Д. Яновскому от 4 февраля с.с. 1872 г. Письма, III, 23.

⁸⁵ «Лит. Мысль», 1, 162.

⁸⁶ А.С. Долинин. Страницы из «Бесов» (в канонический текст не включенные). Сборн. «Достоевский» под ред. Долинина, т. II, стр. 544–545.

⁸⁷ «Докум.», 8.

⁸⁸ «Литературная Мысль», 1, стр. 150.

А. Л. БЕМ

Сумерки героя

(Этюд к работе: Отражение «Пиковой дамы»
в творчестве Достоевского)

Образ «фантастического» героя Достоевского занимал исключительное место в русской литературе. Его психологию ведут обыкновенно от странных героев петербургских повестей Гоголя и романтических чудаков Гоф-

мана. И то, и другое мне представляется спорным, несмотря на несомненность литературного влияния на манеру Достоевского обоих писателей. Мне представляется, что родоначальником «фантастических» героев Достоевско-

го надо считать пушкинского Германа. Посильному доказательству этой мысли я посвятил свою работу: Отражение «Пиковой дамы» в творчестве Достоевского¹.

В этой работе я пытался уловить момент «рождения героя» в творчестве Достоевского и прикрепил этот момент к «видению на Неве» приятеля Васи Шумкова – Аркадия Ивановича («Слабое сердце»). Трагическая судьба Васи, не вынесшего своего счастья, вызвала в Аркадии Ивановиче подлинный душевный переворот. Здесь, в момент «видения на Неве», родился новый герой Достоевского, который в размышлении о судьбе «слабых сердцем», «униженных и оскорбленных», затоскует по силе, попытается утвердить свое место в жизни даже через преступление. Однако этому бунту наблюдателя чужого горя предшествовал назревший бунт самого страдальца, безответного героя ранних повестей Достоевского. Он уже намечался в отдельных местах писем Макара Деушкина, он давал себя знать в бредовых галлюцинациях Голядкина, но полнее всего отразился он в «Господине Прохарчине». Здесь этот бунт прорвался наружу, но только с тем, чтобы сокрушить самого вольнодумца, в больной фантазии своей дошедшего уже до отождествления себя с Наполеоном. «Слабый» Прохарчин не вынес подсказанной ему мысли о Наполеоне. Свой бунт он искупает смертью. На иную почву пала мысль о Наполеоне, подсказанная новому бунтарю, рождение которого было связано с роковым «видением на Неве». Здесь бунт приводит к «преступлению героя». Образ пушкинского Германа, «напоминающего портрет Наполеона», вновь всплывает перед нами в «Преступлении и наказании». Раскольников еще не теряет своей романтической привлекательности, именно потому, что в основе его преступления лежит бунт, источником которого явилось страдание.

Но уже в «Игроке» намечается у Достоевского преодоление романтического героя пушкинской «Пиковой дамы». «Дикая» мысль – одним поворотом колеса, одной ставкой на удачу выпрямить свою личную судьбу и отвоевать у нее свое счастье – приводит Алексея Ивановича к моральному преступлению, не менее тяжкому, чем преступление Раскольникова. В самоослеплении своей удачей, он не видит чужого горя и теряет способность сочувствия и сострадания. Минутную слабость Полины, пришедшей к нему за моральной поддержкой, он принимает за осуществление своей мечты о счастье. Вместо того чтобы непосредственно отдать свое чувство к Полине, он попадает под власть навязчивой идеи о выигрыше и бежит в игорный дом, оставляя Полину одну. Страсть любви вытеснена страстью игры. Когда он возвращается к Полине, нагруженный выигранными деньгами, он уже не способен к пониманию чужого горя. Он не понимает, что перед ним не прежняя гордая Полина, а надломленное, морально раздавленное существо. Он пользуется временной слабостью Полины и совершает моральное преступление над личностью человека. В минуту сближения с Полиной у него была только страсть, но не было того, что оправдывает эту страсть, – не было любви. Так своеобразно переосмысливает Достоевский трагедию Германа, вкладывая в нее тот «моральный стержень», которого ей не доставало. И этим Достоевский уже отчасти лишает пушкинского Германа того романтического ореола, которым он окружен. Но только позже, в образе Ставрогина и в одном из эпизодов «Идиота», мы находим окончательное развенчание пушкинского Германа².

«Homme sans mœurs et sans religion» нашел свое высшее выражение у Достоевского в образе Ставрогина. Конечно, было бы методологи-

чески ошибочно и наивно устанавливать черты сходства между Германом «Пиковой дамы» и Ставрогиным «Бесов». Слишком уж далеко по пути душевного разложения и рафинированного морального падения продвинулся вперед этот отдаленный наследник пушкинского преступного героя. Правда, можно бы припомнить, что и в прошлом у Германа, как и у Ставрогина, много темного. Слова Томского, что на душе у Германа «по крайней мере три злодейства», сказаны неспроста. Его замкнутая суровая душа способна на многое. Но из этих намеков едва ли можно было художественно создать соблазнительный образ «Принца Гарри». При создании образа Ставрогина Достоевский опирался на сложный эволюционный ряд, который в его собственном творчестве прошел этот образ³. Но все же не следует забывать, что в этом ряду, в самом начальном моменте, он исходил из родной литературной традиции, в которой пушкинский Герман занимал исключительное место. И не будет преувеличением сказать, что в момент создания Ставрогина, этой высшей точки в этом ряду, перед Достоевским, где-то на заднем плане его сознания, маячил все тот же образ фантастического героя из «Пиковой дамы».

К этому, столь парадоксальному, на первый взгляд, выводу мы приходим не прямыми, но обходными путями. Именно на этих окольных путях Достоевский часто выдает источники своих творческих импульсов.

Выше нами была установлена идейно-художественная связь между «Пиковой дамой» и «Игроком». Она лежала в моральном осуждении героя, перешагнувшего любовь девушки, ему отдавшейся. Или если пойти дальше по пути обобщения: моральный стержень был найден в утверждении, что любовь оправданна только тогда, когда она является самоцелью, когда она охватывает все существо, вытесняя все дру-

гие чувства. Там, где этого нет, где простая страсть заменяет чувство любви, там сближение превращается в поругание этого чувства, и женщина, издававшая на себе такое поругание, никогда этого не прощает. Любовь превращается в свою противоположность, переходит у нее в ненависть.

Но разве в «Бесах», в романе Лизы Тушиной и Ставрогина, Достоевский не повторил, конечно, в усложненной и измененной соответственно иному художественному заданию форме, это моральное положение? Разве здесь крушение Ставрогина не происходит на той же почве? Он знал, что не любит Лизы, но не мог отказать себе в желании еще раз испытать свои силы в любви, еще раз проделать над собой опыт, на котором он мог бы убедить себя, что он еще не окончательный мертвец. Еще мерцала в нем последняя надежда, что любовь Лизы может вернуть его к жизни, хотя и сам он уже был неспособен ответить на эту любовь ничем, кроме вспышки слепой страсти. В ней он искал хоть временно спасение от неминуемо надвигающейся гибели. Как и Алексея Ивановича, наступившее утро, после ночи, проведенной с Лизой, убедило его, что, погубив Лизу, он не спас себя. Он понял, по взрыву ненависти к себе со стороны Лизы, где причина столь резкой в ней перемены. В разговоре на следующее утро с Петром Степановичем Верховенским он сам об этом говорит, пытаясь объяснить решение Лизы оставить его: «Догадалась как-нибудь в эту ночь, что я вовсе ее не люблю... о чем, конечно, всегда знала». Тут он еще бравирует, подделывается под стиль Верховенского, но сам-то он знает, что Лиза перед своей гибелью нанесла и ему смертельный удар. Его двойник, его «обезьяна», кривляясь и ломаясь перед ним, произносит ему здесь же беспощадный приговор.

«— Да разве вы ее не любите? — подхватил Петр Степанович с видом

беспредельного удивления. – А коли так, зачем же вы ее вчера, как вошла, у себя оставили и как благородный человек не уведомили прямо, что не любите? Это ужасно подло с вашей стороны...»

Что в этих словах Петра Степановича не только простое фиглярство, а отражение внутренних переживаний самого Ставрогина, видно из того, что в минуту «невозможной» для него искренности он признает полностью свою вину перед Лизой.

«– Мучь меня, казни меня, срывай на мне злобу, – вскричал он в отчаянии. – Ты имеешь полное право. Я знал, что я не люблю тебя, и погубил тебя».

Правда, была минута, когда ему казалось, что и в нем просыпается к Лизе настоящее чувство, но это произошло тогда, когда было уже поздно. Это наступившее полное непонимание друг друга наутро, после вместе проведенной ночи, налагает особый отпечаток трагичности на всю сцену главы о «законченном романе».

Ставрогин тщетно старается вернуть в Лизе прежнее чувство к себе:

«– Лиза, – воскликнул он, – клянусь, я теперь больше люблю тебя, чем вчера, когда ты вошла ко мне!

– Какое странное признание! Зачем тут вчера и сегодня, и обе мерки?

– Ты не оставишь меня, – продолжал он почти с отчаянием, – мы уедем вместе, сегодня же, так ли? Так ли?»

Но эта попытка спастись в любви, после того как любовь была втоптана в грязь, обречена на крушение. Лиза не может простить Ставрогину того, что он «оставил мгновение за собой», что, не любя, он воспользовался припадком ее непреодолимого к нему влечения. Как и Полина, она не отвечала за себя, когда прямо после «литературного чтения» дала себя увести в поджидавшей карете к Ставрогину. «Пощадите меня», – был ее последний возглас отчаяния перед тем, как карета

во всю прыть понеслась в Скворешники. Ее шаг был сделан в состоянии болезненного припадка. Как и Алексей Иванович, герой «Игрока», Ставрогин хоть и знал, что ее приезд болезненная «фантазия», но «не обратил на это внимания» и... «оставил мгновение за собою».

В довершение сходства своего с Полиной из «Игрока» Лиза Тушина пытается после своего крушения опереться на подлинную любовь-жертвенность, которой она раньше пренебрегла, на любовь к ней Маврикия Николаевича. Но ей, в отличие от Полины, не пришлось изведать дружеской и беззаветно-жертвенной любви, которой окружил м-р Астлей Полину после ее душевной катастрофы. Лиза трагически погибает. «Окровавленный, обезумевший» Маврикий Николаевич стоял над ее бездыханным телом, «плача и ломая руки».

В литературе есть другое истолкование внутреннего смысла романа Лизы и Ставрогина. Принадлежит оно А. Волынскому в его известной работе о Достоевском. Но при сопоставлении этого романа с «Игроком» толкование Волынского становится не только неприемлемым, но и представляется нам нарочито изысканным. Для А. Волынского причина внезапной вспышки ненависти Лизы к Ставрогину объясняется патологичностью его сексуальной сферы, обнаружившейся в роковую для Лизы ночь. Переходя к анализу замечательной по своей художественной недосказанности сцены утренней встречи Лизы и Ставрогина после вместе проведенной ночи, А. Волынский задает вопрос: «Была ли тут со стороны Ставрогина страсть, в ее обычных, нормальных проявлениях, с ее обычным пафосом, та страсть, которой он начал искать тоже, быть может желая окончательно выяснить для себя свой жизненный «уровень», или тут было с его стороны, при банкротстве нормальных сил, одно только оскорбительное для

Лизы фантазирование опытного, но слабосильного эротического беса?» И, как уже можно предугадать, приходит к выводу, что Ставрогин оскорбил Лизу именно своей патологической изощренностью. «Анализ происшедшего между ними разговора, отдельных пластических и психических деталей этой сцены, – продолжает А. Волынский, – показывает, как мне думается, что обычного нормального течения чувства здесь не было, что тут и для Лизы, и для самого Ставрогина обнаружилось полное бессилие и что, вместо живых страстей, он пытался дать себе и Лизе бледные декадентские суррогаты настоящего живого сладострастия. Тут было что-то типично ставрогинское – бездушное и бессердечное, как и во времена его молодых разгулов, но в то же время и подло бессильное. Она пришла к человеку – и нашла маску, она пришла за горячими человеческими наслаждениями и восторгами – и нашла только осквернение своего естества, какое-то циническое кощунство над мистерией любви. Из этого ужасного падения – не в бездну, а в болото холодного телесного разврата – Лиза могла выйти только в всеочищающую, все искупляющую смерть. Таков был ужас этой ночи, и таково значение ее для главных героев романа»⁴.

В этом объяснении трагедии Лизы, при всей своей чуткости, А. Волынский невольно становится на уровень Петра Степановича Верховенского, наблюдения которого, только в менее изысканной форме, могли бы подкрепить его толкование. На наш взгляд, дело здесь вовсе не в извращенности сексуальных переживаний Ставрогина, а в нарушении им одного из основных моральных законов: человек не должен рассматриваться как средство для достижения своих эгоистических целей.

Если нам удалось, таким образом, установить идейную связь между «Игроком» и романом Лизы с Ставрогиным, то невольно является вопрос:

нет ли в этой сцене романа «Бесы» отдельных моментов, сближающих и ее в свою очередь с «Пиковой дамой» Пушкина? Ведь это было бы так понятно, после того, как выяснилась идейно-художественная связь между «Игроком» и повестью Пушкина.

Героиня этого столь печально закончившегося романа Достоевского носит имя пушкинской героини из «Пиковой дамы». Снова, и это уже в третий раз, мы встречаемся с именем Лизы в случаях, где нити тянутся к «Пиковой даме». И в этом случае перед нами не простая случайность. Не так уж трудно установить черты сходства между фантастической Лизой Тушиной и Лизой из «Пиковой дамы». Пусть образ Лизы у Пушкина едва лишь намечен, но судьба ее говорит сама за себя. Самолюбивая и мечтательная, она, не задумываясь, отдается страстному порыву, рискуя всею своею будущностью. Она сама назначает Герману ночное свидание у себя в комнате после бала, сама торопит роковую встречу. И в этой торопливой решительности и страстности нельзя не усмотреть сходства с ее одноименной героиней из романа «Бесы». Лиза Тушина также безрассудно отдается своему страстному влечению к Ставрогину. Она дает себя увести в Скворешники, к Ставрогину, и приходит к нему «сама, одна, первая».

Но сходство идет еще глубже и намечается в такой специфической для «Пиковой дамы» области, что дает право поставить вопрос о непосредственной связи двух сюжетных положений.

И Герман, и Ставрогин идут на сближение с добровольно пришедшими к ним девушками в тот момент, когда над ними тяготеет сознание только что совершенного преступления. Герман входит к Лизе сейчас же после смерти графини, виною которой был он сам. Между ним и Лизой происходит памятная сцена:

«– Где же вы были? – спросила она испуганным шепотом.

– В спальне у старой графини, – отвечал Герман, – и сейчас от нее. Графиня умерла.

– Боже мой!.. Что вы говорите?..

– И, кажется, – продолжал Герман, – я причиною ее смерти»⁵.

Все время ночного свидания Герман находится во власти охватившего его безумия. Он ищет спасения в страсти, проснувшейся в нем при ночном свидании с Лизой. Разве не видно, что так можно истолковать смысл ночной сцены в «Пиковой даме», и Достоевский так ее и истолковал.

Ставрогин ко времени прихода к нему Лизы Тушиной уже имел на своей совести ужасное преступление. Руками Федьки Каторжного уже было осуществлено убийство, которому он не воспротивился. Именно в эту роковую ночь свидания с Лизой были зверски зарезаны Лебядкина, ее брат и их служанка. Он знал, что так именно и должно было произойти, и только ждал неминуемого подтверждения. Его душа уже была во власти кошмаров. Лиза явилась временным спасением, последней надеждой уйти от ужаса этой ночи. Страстью он пытается отогнать надвигающееся безумие. Правда, еще теплилась где-то надежда, что можно спастись чужою любовью, самому не любя. Но наступает крушение и этой последней надежды.

Герман сознает, что он виноват в смерти графини, но все же не хочет в глазах Лизы остаться простым «разбойником» и «убийцей». Он пытается оправдать себя в ее глазах. «Я не хотел ее смерти, – говорит он Лизе, – пистолет мой не заряжен». Но тяжесть морального убийства все же остается на нем. Ставрогин, который отчетливо сознает свою виновность, тоже не может примириться с мыслью, что останется для Лизы простым убийцею и поджигателем. В его ответе на тревожные вопросы Лизы содержится такое же полуоправдание: «Я не убивал и

был против, но я знал, что они будут убиты, и не остановил убийцу».

Нет сомнения, что Достоевский, может быть и сам того не сознавая, при художественном воплощении сцены в Скворешниках, закончившей так трагически роман Ставрогина с Лизой, был во власти литературных припоминаний сходной сцены ночного свидания Германа и Лизы. Ему не могла не врезаться в память картина ожидания Лизой после возвращения с бала прихода запоздавшего Германа. Она ждала его в своей комнате, «еще в бальном своем наряде», погруженная в глубокое раздумье. «Она сидела, сложив крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами... Вдруг дверь отворилась, и Герман вошел. Она затрепетала...»⁶

Достоевский усиливает этот образ «случайной невесты», девушки, пришедшей прямо с вечера на свидание, тем, что показывает нам Лизу Тушину уже в утренней сцене, после ночного свидания. Вот эта картина. «На рассвете, часу в шестом утра, у крайнего окна справа стояла Лиза и пристально глядела на потухавшее зарево. Она была одна в комнате. Платье было на ней вчерашнее, праздничное, в котором она явилась на чтении, – светло-зеленое, пышное, всё в кружевах, но уже измятое, надетое наскоро и небрежно. Заметив вдруг неплотно застегнутую грудь, она покраснела, торопливо оправила платье, схватила с кресел еще вчера брошенный ею при входе красный платок и накинула на шею. Пышные волосы в разбившихся локонах выбились из-под платка на правое плечо. Лицо ее было усталое, озабоченное, но глаза горели из-под нахмуренных бровей. Она вновь подошла к окну и прислонилась горячим лбом к холодному стеклу. Отворилась дверь, и вошел Николай Всеволодович»⁷. Картина эта, так детально и психологически тонко передающая одними внешними чертами мир внутренних переживаний Лизы, несо-

мненно восходит к скупой и сжатой сцене, нарисованной Пушкиным.

Так окольными путями мы приходим к убеждению, что образ Германа, поразивший воображение Достоевского на самой заре его литературной деятельности, отразился и в одном из его последних романов.

* * *

Мы видим, что Достоевский кончает полным осуждением Германа, сни

мая с него постепенно обаяние романтической привлекательности. Эволюция образа Германа в творчестве Достоевского представляет собою как бы музыкальную симфонию, отдельные части которой могли бы носить наименования: рождение героя, бунт героя, преступление героя и, наконец, как завершение всего — «сумерки героя». Пусть это сравнение и послужит оправданием несколько необычному наименованию настоящей работы.

¹ См. статью «Гоголь и Пушкин в творчестве Достоевского», ч. II, в журнале «Slavia», 1929, т. VIII, стр. 82–100 и 297–311.

² Здесь, по необходимости, дано только сжатое изложение моего понимания судьбы Германа в творчестве Достоевского. Обоснованию высказанных здесь положений посвящена уже упомянутая работа «Отражения «Пиковой дамы» в творчестве Достоевского» и статья «Игрок» Достоевского (в свете новых биографических данных)», «Совр. записки», 1925, XXIV, стр. 372–392.

³ См. мою статью: «Evoluce obrazu Stavroginova» в чешском юбилейном сборнике «Dostojevskij», Прага, 1931.

⁴ А. Волынский. Ф.М. Достоевский, Спб., изд. «Энергия», 1906, стр. 386–387.

⁵ «Пиковая дама», гл. IV.

⁶ Глава IV.

⁷ Ч. III, гл. 3.

С. И. ГЕССЕН

Трагедия зла

(Философский смысл образа Ставрогина)

1

Среди всех романов Достоевского «Бесы» занимают совсем особое место. В этом романе, который самым автором его был задуман как «тенденциозное сочинение», наш «фантастический» писатель более всего приблизился к эмпирической действительности. Правда, в течение работы над этим своим произведением Достоевский изменил первоначальный замысел романа: из «памфлета» выросло само собою творение с глубоким метафизическим содержанием, имеющее сверхвременное значение. Как это всегда бывало с Достоевским, он не в си-

лах был совладать со множеством «обступивших его» в то время идей и образов. Поэтому в романе, который первоначально был задуман им как чуть ли не полемическое сочинение, он включил целый ряд своих «самых любимых» мыслей, которые, по его словам, предназначались им ранее для другого, более «монументального труда». И в данном случае он следовал лишь закону своего художественного творчества: эмпирическая действительность всегда была для Достоевского только символом более глубокой реальности метафизического порядка, реальности идеи, в чем он и сам справедливо усматривал особенность сво-

его «более реального идеализма». И все же, несмотря на то метафизическое углубление, которое испытали «Бесы», они остались если и не тенденциозным, то во всяком случае полемическим сочинением, в котором современная Достоевскому действительность оказывается часто изображенной с почти фотографической точностью. Двуплановость эмпирического и метафизического действия, которая столь характерна для всех больших романов Достоевского, усугубляется в «Бесах» до чрезвычайной степени: изображение современной эмпирической действительности, нередко граничащее с полемической на нее карикатурой, тесно переплетается здесь с глубокой символикой, изображающей реальнейшую реальность мира идей. Вся архитектура романа и самый его стиль становятся вполне понятными, только если принять во внимание эту заостренную полярность двух планов бытия, в которых протекает напряженное действие романа.

Действительное событие, которое изображено во внешнем действии «Бесов», хорошо известно. Это было убийство студента Иванова Нечаевым и его товарищами. Нетрудно также узнать в образах отца и сына Верховенских, а также в образе писателя Кармазинова реальных лиц: Грановского, Нечаева и Тургенева, из коих двое первых фигурируют даже в рукописных записках Достоевского к роману под их собственными именами. А. Долинину недавно удалось показать, что даже такая подробность, как рассказ Шатова о его и Кириллова приключениях в Америке, почти дословно заимствована Достоевским из журнальной статьи, в которой описывалось путешествие двух русских студентов в Америку, им в романе пародируемое. Однако Достоевский не ограничивается только фактами, заимствованными им из внешних источников. Он наделяет своих героев также и

чертами, взятыми им из личного опыта. Так, Петр Верховенский есть, по его собственным словам, не только Нечаев, но «отчасти также Петрашевский», к революционному кружку которого Достоевский принадлежал в своей юности. Отцу Верховенскому Достоевский вложил в уста бесспорно много из того, что он слышал или во всяком случае мог слышать от Белинского, тем более, что как раз во время писания «Бесов» он с особенной остротой переживал как бы восстание против «открывшего» его когда-то критика. Известно также, что одна из бесед Кармазинова есть прямая пародия на разговор Тургенева с Достоевским, о котором последний в свое время с возмущением писал в одном из своих писем Майкову. Описание «наших» (революционеров) в «Бесах» полно чертами (как, например, увлечение идеями Фурье), которые гораздо более подходят к кружку Петрашевского, чем к нечаевцам, хотя, с другой стороны, понимание революции Верховенским-сыном почти дословно совпадает с «Катехизисом революции» Нечаева.

Вполне понятно поэтому, что исследователи Достоевского давно уже подняли вопрос об эмпирическом прототипе главного героя «Бесов». Бесспорно, образ Ставрогина выделяется среди всех других мужских образов романа (включая даже Шатова и Кириллова) тем, что в нем трудно уловить даже малейшие черты какой бы то ни было карикатуры или даже только иронии. Только самому себе иногда кажется Ставрогин «смешным», но не другим героям романа и уж менее всего читателю, которому он представляется чисто трагическим героем. Отсюда его «загадочный», даже «фантастический» характер, как бы выделяющий его среди других, более эмпирических героев. А между тем бесспорно, что Достоевский не только взял своего героя «из своего сердца», как он сам однажды говорил, но и из

личных своих воспоминаний. Более того, из всех героев «Бесов» Ставрогин является, пожалуй, наиболее точным изображением совершенно конкретной исторической личности. Первоначальное предположение, что прототипом Ставрогина был М. Бакунин, представляется теперь уже всеми оставленным. Л. Гроссман, выставивший это предположение, сам, в сущности, уже отказался от него в своих последних работах. Если даже и верно, что отношение Николая Ставрогина к революционерам напоминает отношение Бакунина к нечаевскому кружку, если иные черты Бакунина, как, например, его славянофильство, воспроизведены в образе Ставрогина, то все же ныне является уже совершенно бесспорным, что эмпирическим прототипом Ставрогина был Николай Спешнев, член кружка петрашевцев, с которым Достоевский находился в тесных личных отношениях, называя его «своим Мефистофелем». В образе Ставрогина личное воспоминание возобладало, таким образом, над «тенденцией», как и вообще последняя совершенно ступшевывается в характеристике Ставрогина. «Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, – казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску». Достаточно только сравнить это описание Ставрогина в романе с сохранившимся портретом Спешнева, чтобы сразу же узнать в Спешневе эмпирический прототип Ставрогина. Да и описания Спешнева его современниками вполне соответствуют тому, что говорит Достоевский о Ставрогине. «Умен, богат, образован, хорош собою, наружности самой благородной, далеко не отталкивающей, хотя и спокойно

холодной, вселяющей доверие, как всякая спокойная сила, – джентльмен с ног до головы. Мужчины не могут им увлекаться, он слишком бесстрастен и, удовлетворенный собой и в себе, кажется, не требует ничьей любви; зато женщины, молодые и старые, замужние и незамужние, были и, пожалуй, если он захочет, будут от него без ума... Спешнев очень эффектен: он особенно хорошо облекается мантией многодумной, спокойной непроницаемости». По словам того же Бакунина, Спешнев, как и Ставрогин, умел внушать к себе доверие, «все отзывались о нем с большим уважением, хотя и без всякой симпатии», и это несмотря на всем известные слухи о его распущенной жизни за границей и о будто бы причиненном им самоубийстве его жены. Точно так же и характеристика Спешнева, имеющаяся в актах следственной комиссии по делу петрашевцев, во всех подробностях вполне подходит к Ставрогину. «Спешнев, гордый и богатый, видя самолюбие свое неудовлетворенным, желал играть роль между своими воспитанниками (как и Ставрогин, он воспитывался в лицее). Он не имел глубокого политического убеждения, не был исключительно пристрастен ни к одной из систем социалистских, не стремился, как Петрашевский, постоянно и настойчиво к достижению либеральных своих целей; замыслами и заговорами он занимался как бы от нечего делать; оставляя их по прихоти, по лени, по какому-то презрению к своим товарищам, слишком, по мнению его, молодым и малообразованным, – и вслед за тем готов был приняться опять же за прежнее, приняться, чтобы опять оставить». По тем же данным, и интересовался он больше проблемой атеизма, чем социальными проблемами.

Если, таким образом, вопрос об эмпирическом прототипе Ставрогина может в настоящее время почитаться достаточно выясненным, то совсем

иначе обстоит дело с философским содержанием образа Ставрогина. Вопрос о месте, которое главный герой «Бесов» занимает в метафизическом плане действия романа, остается до сих пор еще не решенным, а опубликованная недавно «Исповедь Ставрогина» еще более обострила спор об идеологическом смысле этого загадочного героя Достоевского. Между тем для самого Достоевского герой его был прежде всего воплощением идеи. «Идея обхватывает и владеет им, — говорит Достоевский в своих записках, — но имеет то свойство, что владычествует в нем не столько в голове его, сколько воплощаясь в него, переходя в него, переходя в натуру, всегда со страданием и беспокойством и, уже раз поселившись в натуре, требует и немедленного применения к делу». На этом именно основании и говорил про Ставрогина Достоевский: «Весь этот характер записан у меня сценами, действием, а не рассуждениями; стало быть, есть надежда, что выйдет лицо»¹. Ибо подлинное лицо есть у Достоевского всегда воплощение идеи, проявляющейся, однако, как метафизическая сила во всем образе действий данного лица, а не в одном только его мышлении или его словах.

2

Ставрогин не только главный герой «Бесов», но и центральная в нем фигура, «солнце», вокруг которого вращаются все другие образы романа. Только через отношения к ним понимаем мы вполне его образ, точно так же как и все другие лица романа в нем находят свое последнее объяснение. Это видно уже из отношения Ставрогина к его воспитателю Верховенскому. Он имеет со Степаном Трофимовичем то общее, что оба они «оторвались от почвы», отошли от народа, не имеют корней в народной жизни. Они в известной мере суть порождения петровской революции, вы-

рывшей трагическую пропасть между народом и интеллигенцией. Они относятся к тем многочисленным русским людям, которые, будучи не в силах найти свое место в мире, так часто кончают свою жизнь «лишними людьми». Как говорит Достоевский позднее в своей Пушкинской речи, Пушкин был первый, кто ясно понял и как бы открыл это характерное для всей послепетровской России «поколение странников», которое он и изобразил в лице Алеко и Онегина. После Пушкина тип этого оторвавшегося от почвы и парализованного в своей воле, не находящего себе места в мире интеллигента стал излюбленным типом русской литературы XIX века. В Ставрогине он получил свое самое трагическое и философски самое глубокое воплощение. Версиров уже уступает ему по силе и трагичности, а Иван Карамазов, являющийся как бы последним в ряду этого «поколения странников», выходит уже из рамок этого чисто русского типа и вырастает в образ общечеловеческого метафизического значения.

Подобно своему духовному отцу Степану Трофимовичу, и Николай Ставрогин — отщепенец, еретик в первоначальном смысле этого слова (αἰρετῖς) и как таковой — отвлеченный, рассудочный человек. Однако он представляет собою уже как бы второе поколение этого типа людей, рассудочность утрачивает в нем свою первоначальную наивность. Ставши предметом рефлексии и самокритики, она становится у него несчастьем, горем от ума. Комическое Верховенского становится у Ставрогина трагическим. Тогда как старик Верховенский с наивностью просвещенца верит в идеалы добра и красоты и может воодушевляться ими, то Ставрогин уже подточен неверием. Туманный, отвлеченный деизм первого превращается у него в атеизм. Тогда как Верховенский верит в прогресс, будучи воодушевленным поклонником западной культуры, для Ставрогина

Европа есть уже не что иное, как «дорогое кладбище». Если Верховенский совершенно не сознает всей легкомысленности своего приживальщического существования на счет русского народа, а духовно на счет Запада, то у Ставрогина «скука и лень русского барича» приобретают уже размеры развратной праздности, не останавливающейся даже перед преступлением. Невинные «малые грешки» воспитателя усугубляются у «принца Гарри» в загадочную и мрачную «жизнь великого грешника», вполне ясно сознающего уже греховность своего существования. Тогда как невинный, почти что детский оптимизм первого заставляет его однажды, в момент глубокого духовного прозрения, про себя самого сказать: «Друг мой, я всю жизнь свою лгал, даже когда говорил правду», – то Ставрогин уже точно знает, что вся жизнь его есть обман и ложь, что даже его покаяние есть не что иное, как только маска его презрения к людям и его вызывающей гордости. Быстро утешаясь, старик Верховенский не замечает того, как он с каждым годом все более засасывается бытом. Напротив, Ставрогин остается непримиримым в своем несчастном одиночестве, которое носит у него характер сознательного уединения. Никак нельзя представить себе его плачущим. Старик Верховенский, напротив, изображен плаксивой бабой – комическая транспозиция благодатного «дара слезного», который Достоевский так высоко ценил. Бесплодие и полное бессилие пребывающего в абстракциях воодушевления Верховенского вырождается у Ставрогина уже явно в «чистое отрицание», отрицание «безо всякого великодушия и безо всякой силы», лишенное всякой любви, в том числе даже любви к дальнему, и вполне сознающее это свое собственное небытие. Тем, что разум у Ставрогина утратил свою наивность и стал предметом саморефлексии, он разложил себя, как начало жизни, и сделался уже началом смерти.

Это сознание потерянности уединившегося в себе самом разума составляет существенную черту характера Ставрогина. Ею он и отличается прежде всего от своих либерально-оптимистических отцов. Пленник своего отвлеченного разума, он отталкивается от разума. Неверующий, он стремится к вере, хочет ее, он непрерывно колеблется между безверием и желанием веры, и так как к необходимости веры приводит его все тот же разум, то его желание веры носит расщепленный и «надрывный» характер. Образы Кириллова и Шатова воплощают в себе это основное противоречие Ставрогинской души. В них Ставрогин «созерцает себя, как в зеркале». Оба они верят в него, «не могут вырвать его из своего сердца», думают, что следуют только его идеям. Вот Кириллов, которого «съела его идея». Он верит, или, вернее, он чувствует себя «обязанным верить, что он не верит». Он весь охвачен своим неверием и делает из него все выводы, не останавливаясь ни перед чем в своем атеистическом восторге: прямая противоположность Ставрогину, который правильно про себя говорит: «Я никогда не могу потерять рассудок и никогда не могу поверить идее в той степени, как он». Кириллов верит в абсолютную мощь разума. «Человек несчастлив, – говорит он, – потому, что не знает, что он счастлив; только потому». «Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого». «Кто научит, что все хороши, тот мир закончит», по вере Кириллова. Он есть как бы чистое воплощение разума, этого, по словам Достоевского, «чисто человеческого начала в человеке». Поэтому идеи Кириллова и есть не что иное, как абсолютирование человека. Он верит «не в будущую вечную жизнь, а в здешнюю вечную». Человек для него довлеет себе, и он чувствует себя одиноким в мире со своей «страшной свободой». «Время для него

не предмет, а идея: погаснет в уме». «Своеволие» есть атрибут его человекобога. Вполне последовательно выводит он из этого абсолютного уединения человека самоубийство, как средство «показать своеволие», как практическое осуществление опустошенного я, в котором нет уже ничего другого, которое в полной мере «поставило свое дело на ничто». Но здесь как раз мы наталкиваемся на ограниченность разума и безверия. Кириллов сам чувствует эту ограниченность, но, охваченный своей идеей, не хочет ее видеть. «Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет Бога, и не убить себя тотчас же. Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам Богом стал, – есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам. Если признаешь – ты царь, и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но один, тот, кто первый должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнет и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать. Я еще только Бог поневоле, и я несчастен, ибо *обязан* заявить своеволие». Этой обязанностью, которую чувствует Кириллов, он все же связан с другими людьми вопреки своему уединению. Ставрогин ясно видит этот разлад и противоречие внутри Кириллова. «Великодушный» и «хороший» Кириллов чувствует себя *обязанным* доводами разума преодолеть свой страх, которым он все еще остается привязанным к миру и к Богу. Вот это воодушевление Кириллова, которого предметом только является разум, но которое менее всего рассудочно, его-то и недостает Ставрогину. Ставрогин бессилен даже утверждать свое неверие. Будучи «чистым отрицанием», он «не может никогда воодушевиться идеей». Он-то видит, что неверие Кириллова только тонкой перегородкой отделено от веры в Бога. Потому он более неверующий, чем Кириллов. Он не верит не только своим разумом, как

это делает Кириллов, но, в отличие от последнего, не верит сердцем своим и волей, будучи лишен всякой любви и восторга. Не веря всем своим существом, он, напротив, разумом сознает границы неверия, необходимость веры, к которой толкает его его разум, он принимает даже Бога своим разумом, но именно потому его атеизм, атеизм сердца, во много раз превосходит чисто рассудочный атеизм Кириллова.

Эту именно надрывную, разумом навязанную веру в Бога воплощает Шатов. Он тоже поклонник и ученик Ставрогина, несмотря на все возмущение свое против учителя. Шатов утверждает, что он повторяет только слова Ставрогина, «воскресившего его из мертвых». «Никогда, – утверждает он, – разум не в силах был определить зло и добро, или даже отделить зло от добра, хотя бы приблизительно». На этом именно основании он отрицает социализм, который есть для него не что иное, как атеистическая «попытка построить мир единственно на началах разума и науки». Он видит, что атеизм коренится в оторванности атеиста от народа, от почвы, и он умоляет Ставрогина: «целуйте землю», «добудьте Бога трудом, мужицким трудом». В возвращении к народу, который есть для него «тело Божье», видит он единственный еще остающийся Ставрогину путь спасения. Русский народ есть единственный народ-богоносец, и в своей ненависти к мертвой Европе заходит Шатов так далеко, что видит в католицизме родоначальника атеизма и социализма. Для него католицизм вообще гораздо хуже атеизма. В этом отношении он идет гораздо дальше славянофилов, с которыми, по словам Ставрогина, у него то общее, что и он также подменяет утраченную непосредственную веру желанием веры, будучи только, как и они, богоискателем, жаждущим веры. На слова Ставрогина, что он низводит Бога до атрибута

народности, Шатов отвечает: «Напротив, я народ возношу до Бога». Поэтому-то забота о народе превозмогает в нем заботу о Боге. Он абсолютирует народ, точно так же, как Кириллов абсолютирует разум. Ставрогин, бессильный воодушевиться какой-нибудь идеей, не разделяет этого воодушевления Шатова, этой его веры в народ. «В России я ничем не связан, – говорит он, – в ней мне все так же чужое, как и везде». Он даже «не мог в ней ничего возненавидеть». Поэтому в словах Шатова, возвращающего ему его собственные рассудочные доводы в пользу веры, он слышит только надрывность этой веры, несмотря на всю страстность шатовского искания. «Я хотел лишь узнать, – спросил он Шатова, сурово посмотрев на него, – веруете вы сами в Бога или нет? – Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я верую в тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую, – залепетал в исступлении Шатов. – А в Бога, в Бога? – Я... Я буду веровать в Бога». Если по отношению к Шатову можно применить известные слова Паскаля о том, что «кто Меня ищет, тот уже владеет Мною», то Ставрогин не ищет Бога, зная уже, что он Его никогда не найдет. Неверие Кириллова, видели мы, было чисто рассудочным неверием, к которому, в последней глубине его существа, примешивалась вера в Бога. Наоборот, вера Шатова слишком рассудочная вера, подтачиваемая изнутри неверием. Его любовь и ненависть превозмогают, однако, его сомнения, Ставрогин же, напротив, «ни холоден ни горяч». Он ничего не может противопоставить своим сомнениям, ибо сердце его исполнено безразличия. «Если я недостаточно верую, то, значит, я вообще не верую», – говорит он про себя. В отличие от Кириллова, которого съела его идея, Ставрогин разъеден идеей. «Ставрогин если верует, то не верует, что он веру-

ет, – говорит про него Кириллов. – Если же не верует, то не верует, что он не верует». Поэтому он и осужден постоянно качаться между неверием и желанием веры. Отрицание, нашедшее в нем свое воплощение, так и осуждено было остаться «без всякого великодушия и без всякой силы». «Даже отрицания не вылилось», – признается он сам в последнем письме к Даше. Из «двух возможностей» – верить или сжечь – он не в силах был даже избрать второй.

Что он стоял перед этим выбором и что его неверие часто понуждало его к тому, чтобы избрать эту вторую возможность, – об этом свидетельствует отношение Ставрогина к революционерам и к их предводителю Петру Верховенскому. От своего отца Петр Верховенский унаследовал убеждение, за которым, однако, не стоит уже более никакого воодушевления, а только самый беззащитный цинизм. В той самой мере, в какой воодушевление выродилось у него в цинизм, бессильная мечтательность его отца уплотнилась у него в действенный фанатизм. Петр Верховенский всегда в движении. Он ходит и движется очень торопливо, но никуда не торопится. Кажется, ничто не может привести его в смущение; при всяких обстоятельствах и в каком угодно обществе он останется тот же. В нем большое самодовольство, но сам он его в себе не замечает ни сколько. Говорит он скоро, торопливо, но в то же время самоуверенно и не лезет за словом в карман. Его мысли спокойны, несмотря на торопливый вид, отчетливы и окончательны, – и это особенно выдается. Выговор его удивительно ясен; «слова его сыплются, как ровные, крупные зернушки, всегда подобранные и всегда готовые к вашим услугам». Активность как бы совершенно закупорила в нем всякую созерцательность и вообще всякую духовность, он и описан Достоевским, как чистый механизм действия. Мелким

чертам его соответствуют короткие мысли и плоскость всего его существа. Нет в нем импонирующего, хотя и пустого, достоинства его отца. Идеи интересуют его мало. Он расценивает их лишь как орудие действия, да у него и нет никаких собственных идей, это все чужие идеи, но «как все это искажено, исковеркано», как в ужасе восклицает Степан Трофимович. Отцовский либерализм выродился у него в последовательное и бесшабашное отрицание всех ценностей. Добро, Красота, Святое, даже самая Истина, – все это для него лишь порождения Пользы. В атеизме его нет уже ничего от глубокой проблематики Кириллова, почему он и неизбежно вырождается в простое богохульство. Свобода есть для него давно уже не что иное, как сентиментальная иллюзия, почему он и заменил ее рабским равенством. Отвлеченная любовь к человечеству дошла у него до своего логического конца, выродившись в циническое презрение к народу, в котором он видит лишь простое удобрение революции. Убийство, грабеж, поджог, все средства хороши для поставленной им себе цели. Но самая-то цель, их освящающая, – о ней Петр Верховенский предпочитает вообще не думать. «Филантропами» презрительно обзывает он всех тех, кто тратят время на размышления о будущем строе. Новый мир построится уж как-нибудь сам собой, после разрушения старого мира. Сейчас все дело в разрушении, на которое и должны быть направлены все усилия. Отвлеченное отрицание, на дрожжах которого вырос беспочвенный рационализм отцов, породило здесь как свой плод реальное отрицание, разрушение и уничтожение. Если у отцов было мировоззрение, то у сына Верховенского есть только программа, да и программа эта с течением времени стянулась в одну тактику. Для этого в голую тактику иссякшего мировоззрения нужен еще только один талант – талант нахрапа. Петр Верховенский, который, как ни-

кто другой, обладает этим «даром бездарности», есть чистое воплощение отвлеченности разума, выродившейся в чистое отрицание.

И все же диалектика отрицания ставит перед ним необходимость подчиниться какому-то авторитету, хотя бы и вымышленному им самим. Сын Верховенский принимает систему Шигаева, которая, «исходя из безграничной свободы, приходит к безграничному деспотизму», в которой «убито всякое желание, только необходимое позволено», а «горе и воля» разрешены только «властвующей одной десятой». Так нигилист и атеист жаждет поклониться идолу, богохульник становится идолоискателем, если не идолопоклонником. Но если Ставрогина толкает желать веры в Бога его разум, то Петра Верховенского влечет поклониться идолу его безудержная активность. Разуму, иссякшему до простой тактики, более всего и соответствует ложный бог, бог скрытый, не открывающий себя людям, но действующий тайно, вынуждающий себе подчинение насильно, чудесами, а не привлекающий к себе людей, как свободные существа, одной только чисто духовной силой явленного им нравственного идеала.

Верховенский влечется к Ставрогину, как к своему Ивану-Царевичу, потому что он чувствует в нем все те дары Антихриста, в которых он нуждается и которых у него самого нет. «Я люблю красоту, – говорит он Ставрогину, – я нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят, ну, а я люблю идола! Вы мой идол! Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все боятся, это хорошо. К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ! Аристократ, когда идет в демократы, обаятелен! Вам ничего не значит пожертвовать жизнью, и своей, и чужою. Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как

вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк...» В Ставругине Петра Верховенского восхищает не только его «изумительная способность к преступлению», за которой стоит полное безразличие к добру и злу и которой он сам обладает в высокой степени, но великолепие этого дара у Ставругина, как бы полная его бескорыстность, демоническая сила, излучаемая Ставругиным и совершенно отсутствующая у него, чело века пользы. Он тоже не останавливается ни перед каким преступлением, но он делает это из соображений рассудочной пользы, тогда как Ставругин совершает свои преступления даже без всякого умысла, как своего рода гений в кантовском смысле, как бы некая природная сила, не знающая, что она творит. Впрочем, Ставругин сознает свои преступления, и трагическое его образа состоит как раз в том, что демон его стоит выше всякой пользы и что никакие утилитаристические соображения не могут его обмануть относительно истинного характера его существа, не могут заглушить в нем сознания собственной гибели. Ставругин навеки осужден созерцать разумом безверие своего сердца, почему разум и толкает его к тому, чтобы желать веры. В этом именно и заключается его крестный путь, озаменованный в его имени (σταυρός): ему недостает любви, которая есть единственный источник истинной веры, и он сам сознает это совершенное отсутствие в себе любви. Если зло действует в Петре Верховенском разлагающе, то в Ставругине оно само уже внутренне разложено, и потому оно у него более созерцательно, чем активно, действует тем, что привлекает, а не орудует. Поэтому также если Ставругин есть идол Верховенского, то этот последний – не что иное, как «обезьяна» Ставругина. Глубоко правильно определил Вячеслав Иванов Петра Верховенского как ставругинского Мефистофеля, а Ставругина –

как отрицательного русского Фауста, – «отрицательного потому, что в нем иссякла любовь, а с иссякшей любовью и то стремление, которым спасается Фауст»². Обе «ночи», когда Ставругин соблазняется своим Мефистофелем и смотрится в него как бы в свое зеркало, занимают в композиции «Бесов» центральное место. Весь характер Ставругина и его судьба уже вполне определены здесь.

3

«Никогда никого не могу я любить», – признается Ставругин в своей «Исповеди», и эта неспособность его любить проявляется в особенно яркой форме в его отношении к женским образам романа. Сын своенравной и деспотической генеральши Ставругиной, тайным браком женатый на безумной Марье Лебядкиной, любовник гордой и страстной Лизы, он «бесценным другом своим» имеет «нежную и великодушную» Дашу, воспитанницу его матери и сестру Шатова. При этом, однако, он ни сын, ни супруг, ни любовник, ни друг, ему недостает любви, чтобы это его внешнее отношение к близко стоящим к нему женщинам сделалось конкретным и живым отношением. Отношение его к ним отвлеченно и мертво, не только внутренне раздвоено, но и пропитано все обманом и ложью. Все четыре женщины живут им, любят его до самозабвения, и все же он внушает им столько же смертного страха, сколько и любви. Их любовь проявляется наружу всю двойственность его природы: его оторванность от Бога и его горькое сознание этого отпада. Страстная и наивная Лиза мечтает его спасти своей любовью, вдохнуть в него снова жизнь своей страстью, но наталкивается на такое безразличие души, что одной ночи оказалось достаточным для того, чтобы ее мечта рассеялась, как «опереточная иллюзия». «Мне всегда каза-

лось, – говорит она, – что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться, в том и пройдет наша взаимная любовь». Даша тоже вполне сознает, какая перспектива ее ожидает, хотя любовь ее и ее вера питают в ней надежду, что смирение ее и терпение в конце концов превозмогут безразличие Ставрогина и она сможет ему «восставить цель». На этот раз, однако, сам Ставрогин не вынес перспективы «жизни в Ури». Он чувствует, что в своем абсолютном уединении он не только не может ничего дать, но и ничего взять от Даши, как бы ни была прекрасна и действительна ее любовь. «Вникните тоже, что я вас не жалею, коли зову, и не уважаю, коли жду. А между тем и зову и жду», – пишет он Даше. Он находит в себе силы отказаться от обмана такой любви без жалости и без уважения, и из гордости в конце концов выбирает он второй путь, тоже обманный, – «показать великодушные», которого у него на деле нет. Гордость заставляет его все же избрать этот второй путь – самоубийства. Настолько хватило в нем все-таки силы, чтобы мгновенную смерть предпочесть медленному умиранию.

Это бессилие Ставрогина выйти из обмана, в котором он пребывает, приобретает глубокий символический смысл в отношении Ставрогина к Хромоножке. Девственная душа тайной жены Ставрогина заперта в ее больном теле, как в темнице. Сумасшедшая Марья Лебядкина тоскует по своему возлюбленному, по небесному своему князе, который бы освободил душу ее от власти князя тьмы, искупил бы ее неведомый грех своей любовью³. Ставрогин то представляется ей этим именно князем, то, напротив, она чувствует смертный грех в его присутствии. Когда Ставрогин принимает решение объявить свой брак с ней, то все, что он может предложить ей, – это

безнадежность существования, ничем не отличающегося от той же медленной смерти. Из гордости и презрения к людям Ставрогин готов нести тяжесть своего каприза. Он готов наказать себя, но он не может сострадать, не может нести бремени любви и, стало быть, также и бремени жизни. Для этого он слишком уединен, и нет веры в его равнодушном сердце. Он не только не верит разумом в искупление и в воскресение, но он отрицает их всем своим существом, не способен ни своим сердцем, ни своей волей приобщиться к ним. За маской «князя» и «сокола» Хромоножка ясно видит самозванца, «проклятого Гришку Отрепьева», она не только видит нож в кармане, которым он убьет ее немощное тело, но видит и его самого, самозванца, осужденным на гибель. «Прочь, самозванец, – повелительно вскричала она, – я моего князя жена, не боюсь твоего ножа». (Замечательно, что не только герои романа, но и его истолкователи были введены в заблуждение маской Ставрогина.) Хотя сам Достоевский совершенно определенно говорит о своем герое как о «мрачном явлении», даже «злодее», большинство критиков Достоевского видят в нем не отрицательный, а положительный образ. Видеть зло изображенным трагически так необычно, что и трагичность Ставрогина (а сам Достоевский называет Ставрогина «трагической фигурой») пытаются истолковать как добро, подпадающее злу или судьбе. На деле, однако, главным героем метафизического действия «Бесов» является не добро, соблазненное злом, а самое зло, трагедия которого и символизирована в образе Ставрогина. В этом отношении «Бесы» представляют прямую противоположность «Братьям Карамазовым», имеющим своим предметом трагедию добра. Тогда как в «Братьях Карамазовых» добро изображено в динамической схеме своих восходящих ступеней,

метафизическое действие «Бесов» носит, напротив, статический характер: зло отражается здесь в образах других героев романа, которые кружатся вокруг него, как главного героя трагедии, и эта статичность метафизического действия еще усиливается от своего контраста с напряженной динамикой эмпирического действия романа. Сознание неисполненной любви, соединенное с бессилием любить, – в этом ад Ставрогина. Не только своим разумом, но всем своим существом не верит он в Бога, от которого он отпал, разорвав связь любви, коей все существа связаны с Богом и друг с другом. Тем, что он сознает этот собственный свой отпад от Бога, он преодолевает сам границы своего неверия, однако и это он делает только своим разумом, побуждающим его желать веры и тем самым еще острее переживать свое собственное бессилие любить и, следовательно, верить. Подобно тому, как беспочвенность русского интеллигента потенцирована у Ставрогина в отпад от Бога, точно так же и скука русского барича приобретает у него размеры чисто люциферовской трагедии. Тип приживальщика и лишнего человека, оторванного от народа и не имеющего собственной жизни, усугубляется в образе Ставрогина до двойничества, до чисто призрачного бытия, которое для Достоевского и есть бытие зла. Зло, думает Достоевский, живет всегда на чужой счет, как приживальщик, на счет добра, маску которого оно принимает и отраженным светом которого оно обманывает. У него нет собственной жизни, а есть только мнимая жизнь, видимость жизни. И, действительно, сознание жизни вытеснило у Ставрогина самое жизнь. Ставрогин живет в своих отражениях, или в своих «бесах». Или, вернее, другие живут им, для него (вспомним о женских типах романа) и «от него», а он сам не живет, он нереален, он только Самозванец в действительности и возможности,

«Иван-Царевич», «Гришка Отрепьев». Ведь за ним идут живые люди, принимающие его за нечто совсем другое, чем он есть в действительности. Ибо в действительности он «рассыпан», «двоится», безлико-многоликий, «вселикий». В тот момент, когда сумасшедшая Марья Лебядкина распознает Ставрогина как самозванца, его судьба окончательно определяется. Раньше он думал еще, что черт, являющийся ему, есть только галлюцинация, которую он сможет отогнать напряжением своей жизненной силы, теперь он видит в нем реальность, против которой он ничего уже не может поделать. С этого момента Ставрогин верит в черта: сознав вполне свою неспособность верить в Бога, он теряет даже волю верить. С этого времени он уже обречен смерти. Подобно тому, как вера в Бога и Христа для Достоевского есть дело не разума, а любви, являющейся источником жизни, точно так же и вера в черта и в Антихриста есть для него не что иное, как совершенное иссякновение любви и омертвление души, за которым следует и телесная смерть. Даши видит это с совершенной ясностью, говоря Ставрогину: «В ту минуту, как вы уверуете в него, вы погибли».

4

Как известно, эти слова Даши, как и все место, где Ставрогин рассказывает ей о своих галлюцинациях, выпущены Достоевским из окончательного текста «Бесов», очевидно, потому, что он полагал, что место это слишком тесно связано с «Исповедью», которая должна была за ним следовать, и только из связи с последней может быть понято читателем. В самом деле, «Исповедь Ставрогина», как и вся выпущенная глава «У Тихона», к которой она относится, составляет, на наш взгляд, органическую часть «Бесов», и если она и не представляет собой «кульминационной точки романа», как думает А. До-

линин, то все же она бросает яркий свет на образ Ставрогина, существенно восполняя его характеристику. Что Достоевский выпустил главу «У Тихона» против своей воли, следуя лишь категорическому настоянию Каткова, тогдашнего редактора «Русского Вестника», — обстоятельство это столь же бесспорно, как и то, что он впоследствии примирился с этим пропуском и уже не думал восстанавливать в отдельном издании романа пропущенной главы. Не подлежит также сомнению, что этот вынужденный пропуск «Исповеди» существенно отразился на плане романа, изменив первоначально предполагавшийся ход его действия. Из письма Достоевского к Каткову от 8.X.1870 г. по поводу отсылки первой части «Бесов» мы узнаем в точности, в чем состояло это изменение. Достоевский предполагал в последней части романа противопоставить «мрачным фигурам» ряд положительных типов, среди которых, в частности, большую роль должен был играть епископ Тихон, прообразом которого Достоевскому служил св. Тихон Задонский. Уже тогда, во время писания первой части «Бесов», Достоевскому предносился возвышенный образ «русского инока», нашедший свое окончательное воплощение лишь десять лет спустя в «Братьях Карамазовых». В выпущенной главе «Бесов» образ этот только бегло намечен. Тихон не участвует в действии романа, стоит вне изображенной в нем трагедии, и вся роль его сводится к тому, чтобы еще резче оттенить черты главного героя романа, ему столь противоположного. Что и сам по себе идеальный образ русского инока мало годился для того, чтобы быть активным участником действия романа, видно из того, что в последующих попытках образ этот точно так же остается вне действия трагедии. Так, в «Подростке» Макар Алексеевич изображен странником, появление которого каждый раз ярко освещает и

действие и героев романа, но мало воздействует на них, и даже старец Зосима, в образе которого этот замысел писателя получил свое окончательное и совершенное воплощение, остается по ту сторону как эмпирического, так и метафизического действия изображенной в «Братьях Карамазовых» трагедии, несмотря на все влияние, оказанное им на характер и судьбу младшего героя ее, Алеши. Вынужденному пропуску «Исповеди» из «Бесов» мы обязаны тем обстоятельством, что Достоевский отказался от своего первоначального замысла включить Тихона в действие романа и что «Бесы» остались, таким образом, чистой трагедией зла. Замысел Достоевского противопоставить злу «величавый образ добра» от этого только выиграл: за десять лет, прошедших от «Бесов» до «Братьев Карамазовых», образ «русского инока» вырос в душе Достоевского, созрел и смог получить свое совершенное воплощение в лице старца Зосимы. С другой стороны, у нас нет никаких оснований предполагать, что пропуск «Исповеди» хотя бы в чем-либо изменил характер и судьбу Ставрогина, как это полагают В. Комарович и А. Бем. Утратилась не «возможность в характере и судьбе Ставрогина», будто бы существовавшая в уме автора до вынужденного пропуска «Исповеди», но лишь включение в общую канву «Бесов» того «ряда положительных фигур», которое действительно составляло первоначальный замысел писателя. Если Достоевский в конце концов примирился с пропуском главы и не включил ее снова в отдельное издание романа, то только потому, что положительная идея, которую он хотел выразить в образе «русского инока», была ему слишком дорога, и он не хотел ее, по собственному своему признанию, испортить тем беглым изображением ее, которое только и дано в пропущенной главе⁴. Таким образом, он не восста-

новил этой главы ради не удовлетворяющего его в ней образа Тихона, а не потому, чтобы изображение Ставрогина в ней противоречило образу Ставрогина в романе. Он, так сказать, пожертвовал Ставрогиным ради Тихона – будущего Зосимы.

В самом деле, предположение, что Достоевский выпустил «Исповедь» «из внутренних оснований», тесно связано с определенным истолкованием «Исповеди». Исследователи, защищающие эту точку зрения, видят в «Исповеди» искренний акт покаяния и веры, открывающий, действительно, новую жизнь перед героем романа в духе фабулы так и не написанного Достоевским «Жития великого грешника», работа над которым была прервана «Бесами». Однако нет ничего более превратного, чем такое толкование. Прежде всего, оно резко противоречит словам повествователя «Бесов», бесспорно выражающего мнение самого автора. «Документ этот, по-моему, – говорит про «Исповедь» повествователь, – дело бесполезное, дело беса, овладевшего этим господином. Похоже на то, когда страдающий острою болью мечется в постели, желая найти положение, чтобы хотя на миг облегчить себя. Даже и не облегчить, а лишь бы только заменить хотя на минуту прежнее страдание другим. И тут уже, разумеется, не до красоты или разумности положения. Основная мысль документа – страшная, непритворная потребность кары, потребность креста, всенародной казни. А между тем эта потребность креста все-таки в человеке, не верующем в крест, – «а уж это одно составляет идею», – как однажды выразился Степан Трофимович в другом, впрочем, случае. С другой стороны, весь документ в то же время есть нечто буйное и азартное, хоть и написан, по видимому, с другой целью. Автор объявляет, что он «не мог» не написать, что он был «принужден», и это довольно вероятно: он рад бы миновать эту чашу, если бы мог, но он действительно, ка-

жется, не мог и ухватился лишь за удобный случай к новому буйству. Да, больной мечется в постели и хочет заменить одно страдание другим, – и вот борьба с обществом показалась ему положением легчайшим, и он бросает ему вызов. Действительно, в самом факте подобного документа предчувствуется новый, неожиданный и непочтительный вызов обществу. Тут поскорее бы только встретить врага...»

То же думает об «Исповеди Ставрогина» и Тихон. «Если бы это действительно было покаяние и действительно христианская мысль, – говорит он, прочтя «документ». – Вас поразило до вопроса жизни и смерти страдание обиженного вами существа: стало быть, в вас есть еще надежда, и вы попали на великий путь, путь из неслыханных: казнить себя перед целым миром заслуженным вами позором. Вы обратились к суду всей церкви, хотя и не веруя в церковь; так ли я понимаю? Но вы как бы уже ненавидите и презираете вперед всех тех, которые прочтут здесь написанное, и зовете нас в бой». «О, вам нужен не вызов, а непомерное смирение и принижение. Нужно, чтобы вы не презирали судей своих, а искренне уверовали в них, как в великую церковь, тогда вы их победите и обратите к себе примером и сольетесь в любви». Но Ставрогин далек в «Исповеди» от всякой любви. Его «Исповедь» есть акт гордости, а не смирения, есть вызов, а не принижение, он не в состоянии преодолеть своего уединения и той «брезгливости», которую он испытывает по отношению к своим ближним. Отсюда эта «боязнь смешного», которая, по мнению Тихона, его «убьет». Поэтому и отговаривает Ставрогина от опубликования его «листков». «Вас борет желание мученичества и жертвы собою; поборите и сие желание ваше, отложите листки и намерения ваши, и тогда уже все поборете. Всю гордость свою и беса вашего посрамите. Победителем кончите, свободы достигнете».

Наконец, и сам Ставрогин тоже вполне сознает, что представляет собою в своем истинном существе его «Исповедь». «Я, может быть, вам очень напал на себя, – настойчиво повторил вдруг Ставрогин, – я даже не знаю еще сам... Впрочем, что же, что я их вызываю грубостью моей исповеди, если вы уже так заметили вызов? Так и надо. Они стоят того». – «То есть, ненавидя их, вам станет легче, чем если принять от них сожаление?» – отвечает на это Тихон, чтобы вскоре с выражением сильнейшей горести воскликнуть: «Я вижу... я вижу, как наяву, что никогда вы, бедный погибший юноша, не стояли так близко к новому и еще сильнейшему преступлению, как в сию минуту». «Ставрогин даже задрожал от гнева и почти от испуга. «Проклятый психолог!» – оборвал он вдруг в бешенстве и, не оглядываясь, вышел из кельи».

В самом деле, когда Ставрогин передавал Тихону листки своей «Исповеди», он уже точно знал, что в это самое время жена его будет убита одним из его «бесов», каторжником Федькой, и притом убита по его собственному слову. Он знал это, знал также, что он есть настоящий убийца, и все же пальцем об палец не ударил, чтобы предотвратить убийство. Подобно убийству Иваном Карамазовым своего отца, и убийство Ставровиным Хромоножки есть следствие гордыни и духовного безразличия. Но если в случае Ивана Карамазова смертоносным оказалось добро, перекинувшееся в зло, отвлеченное добро в виде морального закона разума, презирающего ближнего и его осуждающего, – то Ставрогин убивает свою жену, как игрок, ни на что уже не надеющийся в будущем и все же в отчаянии своем ожидающий хотя бы и невозможного чуда. В этом последнем своем преступлении Ставрогин представляется тем же чистым воплощением зла: его презрение к ближнему, уединение его души, ложь перед самим

собою и уныние, переходящее в отчаяние, – все эти смертоносные силы его души проистекают из одного и того же источника, будучи следствиями безверия сердца, как отпада от Бога.

Для того, кто понял истинный смысл «Исповеди Ставровина», теряет всякое значение вопрос, совершили ли действительно Ставрогин то преступление над девочкой, которое в ней описано. Ведь у него «было много воспоминаний, может быть, еще гораздо худших перед судом людей», и, следовательно, достаточно оснований для исповеди независимо от эпизода с Матрешей. Совершенно неправильно также ставить в зависимость от факта совершения или несовершения этого преступления возможность спасения Ставровина. Ведь, по глубокому убеждению Достоевского, мысли которого в данном случае высказывает Тихон, даже самое страшное преступление будет прощено Христом – «если только достигнете того, что простите сами себе». «О нет, нет, не верьте, я хулу сказал: если не достигнете примирения с собою и прощения себе, то и тогда Он простит за намерение и страдание ваше великое: ибо нет ни слов, ни мыслей в языке человеческом для выражения *всех* путей и поводов Агнца, «дондеже пути Его въявь не откроются нам». Кто обнимает Его, необъятного, кто поймет *всего* бесконечного». По Достоевскому, Бог выше добра и зла, и эта основная идея отрицательного богословия высказывается в данном случае Тихоном для того, чтобы показать Ставровину возможный еще и для него путь спасения⁵. Любовь Божия бесконечна, и нет преступления, которое она не могла бы искупить. Ставрогин обречен не потому, что он совершил преступление, которому якобы «нет прощения», а потому, что совершенное отсутствие в нем любви и невозможность для него преодолеть то уединение, в которое загнала его его

гордость, отрезают ему всякий путь к Богу, как к всепрощающей бесконечной любви. Правда, Ставрогин мучится «сознанием неисполненной любви», и его разум толкает его к тому, чтобы теоретически принять существование Бога, однако ж, он не верит в Бога своим сердцем, у него нет органа, чтобы почувствовать себя объединенным со своим ближним и с Богом в любви, т.е. у него нет действительной (практической) веры в Бога, которая только и есть подлинная вера. Не чувствуя себя жизненно связанным с Богом, Ставрогин видит себя во власти дьявола. Он чувствует живое присутствие черта, видит его воочию перед собой, хотя разум его и толкует ему его черта как галлюцинацию. Таким образом, отношение Ставрогина к дьяволу прямо противоположно отношению к Богу: с чертом, реальность которого его разум отказывается признавать, он чувствует себя связанным всем своим существом; напротив, Бога он отрицает всем существом своим, хотя «сознание неисполненной любви» заставляет его разум признавать существование Бога. Его отчаяние и сознание обреченности есть не что иное, как ощущение начала смерти, которому он подпал, разорвав связь свою с началом любви и жизни. Воскресение же души достигается, по Достоевскому, не «катехизисом новой веры» и даже не «внезапным подъемом» или отдельным «героическим подвигом», но, чтобы воскреснуть душою, нужно «нечто более трудное – серьезная и долгая нравственная работа, упорство в любви». Иначе «из ангельского дела выйдет дело дьявола».

Ставрогин знает это так же хорошо, как и Тихон, он знает, что он «осужден», и потому вместо того, чтобы надеяться на божественную любовь, он бросается во все стороны, ожидая чуда то от своей «Исповеди», то от Лизинной любви, то от жалости к нему Даши, – подобно игроку, последняя надежда которого лежит не в нем самом и не Боге, а в «повороте колеса». Подобно тому, как подлинная, имеющая источником своим любовь, вера в Бога есть жизнь, точно так же и вера в дьявола, будучи следствием совершенного иссякновения в человеке любви, есть духовное разложение человека и его смерть. Поэтому-то и говорит Тихон, что совершенный атеист выше верующего в дьявола без веры в Бога, ибо вера в дьявола без веры в Бога есть безразличие души и ее смерть. «Совершенный атеист, как хотите, а все-таки стоит на предпоследней, верхней ступени до совершеннейшей веры (там перешагнет ли ее, нет ли), а равнодушный никакой уже веры не имеет, кроме дурного страха». В этом и состоит смысл слов из Откровения Иоанна, которые Тихон читает Ставрогину по его настоянию: «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: сие глаголет Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия, знаю твои дела; ни холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты жалок, и беден, и нищ, и слеп, и наг...»

¹ Ср. Материалы к «Бесам» в т. VIII собрания сочинений изд. 1906 г., стр. 559, и Письма, II, 289.

² Ср. статью его – «Достоевский и роман-трагедия». Борозды и Межи, М., 1916. – Эта замечательная статья включена Вяч. Ивановым в недавно вышедшую по-немецки его книгу: W. Iwanow. Dostoevskij. Tübingen, 1932, – пожалуй, самое значительное, что написано о Достоевском.

³ В цитированной выше статье (и книге) Вяч. Иванов дает глубокое истолкование представленного здесь символа: в Хромоножке символизирована русская «мать-земля», ожидающая своего жениха и мучимая лже князем и его бесами.

⁴ Ср. письмо к Майкову от 9.X.1870 – Письма, II, 291.

⁵ Поэтому совершенно неправильно предполагать, что «в глазах Достоевского изнасилование ребенка есть преступление, для которого нет прощения, даже согласно высшему божественному порядку», как это утверждает А. Долинин (цит. статья, стр. 305). Мысль о том, что божественная любовь, будучи бесконечной, преодолевает самое противоречие добра и зла, Достоевский развивает подробнее в «Братьях Карамазовых». О тесной связи между этой любимой мыслью Достоевского и «отрицательным богословием», см., кроме цитированной выше моей статьи, также статьи мои «О посмертных записках Достоевского», «Борьба утопии и автономии Добра в мировоззрении Достоевского и Вл. Соловьева» (Совр. Зап., кн. 39, 45–46). Эту же мысль положил в основу своей замечательной книги «Назначение человека» (1932) Н.А. Бердяев, уже ранее близко подошедший к ней в своей работе «Мировоззрение Достоевского», Берлин, 1923.

Ф. А. СТЕПУН

«Бесы» и большевистская революция

О большевистской революции написано несметное количество умных статей и солидных исследований. Но никто из авторов этих работ не превзошел по глубине мысли пророческих раздумий Достоевского о метафизических основах большевизма.

Живя в 1867 году за границей, Достоевский с тревогой всматривался во все происходящее на родине. И чем больше он всматривался, тем настойчивее укреплялась в нем мысль о неизбежности столкновения между «европейским антихристом» и «русским Христом». Волновала его больше всего мысль, не заразится ли Россия западными ядами атеизма, позитивизма и социализма.

В этих размышлениях застал Достоевского приехавший в Дрезден брат его жены, Анны Григорьевны, студент Петровско-Разумовской академии. Под влиянием его живых рассказов у Достоевского родилась мысль написать роман о студенческом движении и выдвинуть на первый план фигуру студента Иванова, который, по рассказам шурина, играл в движении большую роль. Узнав впоследствии, что Иванов, названный в романе Шатовым, был убит Нечаевым, Достоевский поразился этим фактом, как сбывшимся предсказанием. Убедившись, что он не оторвался от России,

что чувствует биение ее пульса, Достоевский окончательно решил засесть за роман-памфлет и показать в нем, как «бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней».

К счастью для русской литературы, Достоевский своего романа-памфлета, центральной фигурой которого должен был стать Нечаев-Верховенский, не написал. Длинная и сложная история создания «Бесов», подробно рассказанная Мочульским, является редко убедительным доказательством того, что большой художник не всегда и не до конца властен над своим замыслом, так как сам находится во власти творимого им произведения. Из письма к Каткову от 8 октября 1870 года видно, что «памфлет», который писался без подлинного вдохновения, постепенно начал как бы по своей воле перерождаться в глубокомысленный трагический роман, в котором мелкий бес Верховенский стал постепенно вытесняться сложной фигурой Николая Всеволодовича Ставрогина. Благодаря этой подмене героев роман переместился из плоскости политической в плоскость философскую, как бы в доказательство правды вещей слов датского богослова Киркегарда: «Коммунизм будет выдавать себя за движение политическое, но окажется, в конце концов, движением религиозным», — конечно, только по

структуре своего сознания, по страстности своего исповедничества, но не по содержанию своей веры.

* * *

В замечательном рассказе «Хозяйка», который не разобравшийся в нем Белинский легкомысленно объявил «страшною ерундою», герой рассказа, снедаемый жаждой знания писатель Ордын, в скупых, но глубокомысленных словах рисует образ художника, устремленного не к изображению цветущей плоти мира, но к постижению его идейных первооснов, вскрывавшихся ему иной раз совершенно случайно в связи с какой-нибудь жизненной мелочью. Отрицая порядок научного мышления, Ордын все же стремится к постижению и даже к созданию своей собственной философской системы, — не системы отвлеченных понятий, а системы конкретных образов.

Все, сказанное Достоевским в «Хозяйке» о природе художественного творчества, он впоследствии кратко, но точно выразил в своем «Дневнике писателя», определив себя не как психолога, а как «высшего реалиста», то есть как исследователя духовных реальностей мира и жизни. Это признание подсказало Мережковскому определение Достоевского, как тайновидца духа. Формула Бердяева: Достоевский не психолог, а пневмотолог, — в сущности, говорит то же самое. Учения Владимира Соловьева о художнике-теурге и Вячеслава Иванова о религиозном символизме тесно связаны с противопоставлением художника-психолога высшему реалисту и дают очень много для правильного понимания религиозно-философской сущности искусства Достоевского.

Чем, если не этой духоустремленностью творчества Достоевского, объяснить то, что из всех современников только он один в бунтарских идеях

Ткачева–Нечаева уловил сущность коммунистического рационализма и большевистского безумия. Герцен отнесся к нечаевщине гораздо мягче: увидел в ней только смесь Шиллера с Баббефом. Чернышевский осудил крайнюю революционность ткачевских идей и нечаевской практики, но осудил лишь как бессмысленно быстрый, упреждающий ход событий, революционный темп. Еще слепее были те, кто считали нечаевскую деятельность сплошной провокацией, подстроеной тайной полицией.

* * *

Достоевский мыслил в образах, тем не менее он мыслил не импрессионистически, а систематически. Рисуя и анализируя сложные взаимоотношения между героями «Бесов», он без малейших уступок требованиям искусства тщательно вычерчивал свою метафизику революции. Первое, что читателю сразу же бросается в глаза, — это подчеркнутое Достоевским диалектическое взаимоотношение между либеральным профессором Степаном Трофимовичем Верховенским и главарями революционного движения. Не случайно, конечно, что все они — родной сын профессора Петр, его воспитанник аристократ Ставрогин и потомок крепостного Шатов — выступают в романе не только как ученики Степана Трофимовича, но, до некоторой степени, и как его духовные дети, перекинувшиеся в лагерь безбожно-аморального социализма. Ясно, что за этим сюжетным построением скрывается прозорливое убеждение Достоевского, что бессильный либерализм неизбежно порождает насильнический социализм.

Было бы несправедливо обвинять Достоевского в злостном отношении к профессору-либералу. Образ Степана Трофимовича написан не без иронии, но и не без любви. Есть в нем и лжегероическая поза, и благородная фраза, и

чрезмерная обидчивость приживальщика, но есть в нем и подлинное благородство и патетическое гражданское мужество. На празднике нигилистов Степан Трофимович не только с вдохновением, но даже с нравственным пафосом выкрикивает, что «мир спасет красота», что Шекспир и Рафаэль выше освобождения крестьян, выше народности и выше социализма. Освистанный на празднике, он надевает дорожную шинель и, умиленно чувствуя себя русским скитальцем и лишним человеком, выходит на большак, чтобы утонуть в русских просторах. На постоялом дворе он встречается с книгоношей, которая читает ему рассказ об исцелении гадаринского бесноватого. Степан Трофимович потрясен: ему вдруг открываются глаза на народ, за который он всю жизнь боролся, но которого никогда не знал, на великую правду, которой испокон веков живет этот народ, на правду православия. В этом внезапном прозрении: «oui, cette Russie, que j'aimais toujours... сядет у ног Иисусовых», Степан Трофимович, сам того не замечая, обретает единственно возможную основу и подлинного либерализма, и подлинного народничества, ибо свобода непостижима и незащитима вне связи с освобождающей истиной («Познайте истину, и истина сделает вас свободными»), народничество же бессмысленно и беспочвенно вне убеждения, что русский народ воистину является верующим носителем этой истины: корни народничества целиком уходят в славянофильство. Народничество и западный либерализм, отрицающий связь между свободой и абсолютной истиной, в сущности, несовместимы. Таковы выводы, к которым нас приводит перерождение Степана Трофимовича. Этим запоздалым осознанием живых корней своего либерально-народнического мирозерцания в конце концов и объясняется подчеркнутый сюжетным развитием романа факт, что все питомцы профессора отошли от него: когда ме-

сто свято превращается в место пусто, оно неизбежно заполняется темными супостатскими силами.

* * *

Темные силы «Бесов» располагаются Достоевским как бы по двум палатам. В верхней палате царствуют Кириллов и Ставрогин. В нижней верховодят Верховенский и Шигалев с их многочисленным охвостом. Для бесов верхней палаты характерно, что они бытийствуют, но, в сущности, не действуют, в то время как бесы нижней палаты неустанно крутятся в суе небытия, провозвестником которого является инженер Нил Федорович Кириллов, быть может самый сложный и глубокий образ Достоевского.

Внешность Кириллова нарисована Достоевским с исключительной силой символического означенания его внутренней сущности. Он живет только по ночам, когда все и вся спит, живет в отрешенности от мира, в глубоком одиночестве. Он почти ничего не ест, как монах-аскет, но неустанно пьет крепчайший чай. На всем его образе лежит печать безблагодатно-наркотического мистицизма. Цвет лица у него грязновато-бледный, землистый («прах ты и в землю отыдеси»). У него черные глаза без блеска: они поглощают, но не излучают света. Его речь порывиста и невнятна («мысль изреченная есть ложь»).

Как ни мрачен мир Кириллова, в нем все же светятся несколько светлых пятен: лампада перед иконой, которую он, «атеист», зажигает как будто бы ради своей хозяйки (верно ли это?), дети, с которыми он играет в мяч, и зеленые, яркие с жилками листья, о которых он ребенком любил вспоминать зимой. Иногда его мрачное лицо освещается, принимает детское выражение, что очень идет ему.

За этой раздвоенностью внешнего облика скрывается глубочайшая траге-

дия. Кириллов чувствует, что «Бог необходим, а потому и должен быть», но признать разумом существование Бога он не в силах; разумом он утверждает, что «Бога нет и быть не может». Трагическую глубину раздвоенности Кириллова отчетливее всего вскрывает его отношение к Христу. Эта тема, если не ошибаюсь, была впервые затронута Сергеем Булгаковым еще в его статье «Русская трагедия». В ней Булгаков отмечает, что Кириллов горячо любит Христа, но не может поверить в Него, как в Сына Божия. Верность этой мысли доказывается разговором Кириллова с Петром Степановичем. На пронизательные слова Верховенского: «Знаете что, по-моему, вы веруете, пожалуй, еще больше попа», Кириллов отвечает взволнованным рассказом о том, как один из трех распятых до того веровал, что сказал другому: «Будешь сегодня со Мною в раю». «Но вот кончился день, – продолжает Кириллов, – и ни рая, ни воскресения не оказалось». Казалось бы, что для атеиста тут нечему удивляться. Но Кириллов не только удивлен, он потрясен тем, что Человек, без которого «вся планета – одно сумасшествие», умер за ложь и этой смертью обессмыслил всю жизнь, не только человеческую, но и планетарную. Спрашивается, не доказывает ли кирилловская антитеза: или Иисус, имени которого Кириллов не называет, единственный смысл вселенной и ее бытия, или вселенная вся целиком – ложь и безумие, что он бессознательно верил в того Господа Бога Иисуса Христа, которого своим сознанием отрицал. Дальнейшее развитие диалога так же неожиданно, как и показательно. На рассказ Кириллова Петр Верховенский, как бы улавливая еще не выраженную, тайную мысль Кириллова, неожиданно отвечает вопросом: «Но позвольте, а если вы – Бог, если кончилась ложь и вы догадались, что вся ложь оттого, что прежде был Бог, что раньше верили в Него, что тогда?» – «Наконец-то ты понял», –

вскрикивает Кириллов и как бы в обоснование и оправдание богоборческой догадки Верховенского, революционера и убийцы, развивает свою гениально-революционную метафизику.

Известно признание Ницше, что он многим обязан Достоевскому. Говоря об этом, немецкий философ упоминает лишь «Записки из мертвого дома». Читал ли он «Преступление и наказание», немецкий перевод которого вышел в 1867 году, точно не установлено, но это более чем вероятно, так как ницшеанская концепция сверхчеловека весьма напоминает философию Раскольникова, с которой многими чертами связан глубокомысленный бред Кириллова. Ницше и Кириллов согласно утверждают, что Бог умер, и объявляют наследником умершего Бога всемогущего человека, по терминологии Ницше – сверхчеловека, по терминологии Кириллова – человекобога. Мысль о смене Бога сверхчеловеком для Ницше никаких трудностей не представляет, так как она покоится на учении Фейербаха, что не Бог создал человека, а человек выдумал Бога, вложив в его образ мечту о своем собственном совершенстве.

В душе и сознании Кириллова все обстоит гораздо сложнее и мучительнее. Как и Ницше, он в личного Бога не верит. Для него Бог только мираж, созданный человеком ради избавления от страха смерти; но от боли этого страха («Бог есть страх смерти», – говорит Кириллов) созданный человеком Бог освободить своего создателя не сумел, а потому не остается иного выхода, как низвергнуть бессильного Бога и провозгласить Богом всемогущего Человека-Бога. Но как человеку доказать себе, что он действительно вырвал Бога из своей души и поверил в себя, как в истинного Бога? В парадоксальном ответе Кириллова на этот вопрос перед нами раскрывается не только тайна его больной души, но и глубочайшая мысль Достоев-

ского о сверхчеловеке, его революционном пафосе и его революционном замысле. Доказать себе, что он действительно не верит в Бога, что он не боится ни смерти, ни загробной жизни, человекобог, по мысли Кириллова, может только «заявлением своеволия», то есть решением на беспричинное самоубийство. На этом, как бы сакраментальном акте, на черном таинстве самоуправства, мечтает Кириллов создать общество новых свободных уже в следующем поколении не только физических, но и психически перерожденных людей.

* * *

С религиозной темой революции связан в «Бесах» не только Кириллов, но и Ставрогин, человек еще более неуловимый, а потому и более страшный, чем Кириллов. Тайна его личности – она же тайна его безликости в самом романе, как на то было в свое время указано Н.А. Бердяевым, – не раскрывается. В сущности, Ставрогина в романе нет: он присутствует в нем, как только что опустившееся за горизонт солнце. О том, чем Ставрогин был до своего появления в романе, читатель может лишь смутно догадываться по той сложной борьбе идей и чувств, которыми он где-то за границей сумел отравить души своих, впоследствии отвернувшихся от него, друзей и последователей – Кириллова, Шатова и Верховенского. Эта изытость Ставрогина из всего происходящего в романе, эта его отодвинутость в бывшее, а быть может даже и никогда не бывшее, эта его омертвелость были впервые отмечены опять-таки С. Булгаковым: «Героем трагедии, – читаем мы у него, – бесспорно является Ставрогин; из него исходят все мысли романа, а на самом деле его нет».

В концепции Булгакова это «на самом деле его нет» означает, что Ставрогин является сыном небытия, а

тем самым уже и слугою антихриста. Правильность такого понимания подтверждается признанием самого Ставрогина митрополиту Тихону в том, что он «канонически верует в личного беса».

Сообщение Достоевского Страврову, что он собирается писать роман-памфлет из жизни революционеров, вызвало после выхода «Бесов» ряд догадок о том, с кого Достоевским были списаны его темные герои. Не раз высказывалось предположение, что прообразом Ставрогина надо считать Михаила Бакунина. Некоторое, и даже существенное, сходство здесь бесспорно налицо. Бакунин, как и Ставрогин, верит в дьявола, быть может, даже канонически. В своих размышлениях о Боге и Государстве Бакунин, во всяком случае, восторженно славит этого извечного «бунтаря» и «безбожника», как «первого революционера», начавшего великое дело освобождения человека от «позора незнания и рабства». Бог и свобода для Бакунина несовместимы, а потому он и определяет свободу, как действительное разрушение созданного Богом мира. Страсть к разрушению для него подлинно творческая страсть, и он вдохновенно призывает революционеров «довериться вечному духу разрушения, который потому только все разрушает, что таит в себе вечно бьющий ключ жизни и творчества».

Несмотря на это сходство, Ставрогин и Бакунин все же весьма разные люди. Бакунин – огнедышащий вулкан, Ставрогин – вулкан уже давно потухший. Бакунин действительно несется над жизнью, Ставрогин мертво и бездейственно созерцает ее полет. О мертвенности Ставрогина Достоевский не раз говорит в «Бесах», отмечая механичность души своего героя и «марионеточность» его тела. И действительно: любое душевное движение Ставрогин может словно поршнем вытолкнуть вперед и снова взять обратно.

Романо Гвардини отмечает, что за механичностью Ставрогина чувствуется неподвижность скелета. К этой механичности смерти прибавляется еще механичность летаргика.

Мертвенности Ставрогина, на первый по крайней мере взгляд, противоречит многоликость его души и заразительность его идей. Кириллов просит Ставрогина не забывать, чем он для него был в прошлом. Шатов бьет его по лицу за то, что он так много значил в его жизни. Верховенский целует ему руку и называет солнцем, перед которым он, Верховенский, чувствует себя червем. Перед страстностью этих признаний невольно приходит на память удивление Александра Блока тому, что

Мертвому дано рождать
Бушующее жизнью слово.

И действительно, как понять, что несуществующий, по слову Булгакова, Ставрогин является движущей силой как фабульного, так и идейного развития романа? Ставя этот вопрос, мы подходим к последней тайне Ставрогина. Думаю, что эта тайна заключается в полной утрате Ставрогиным своей личности, этой дарохранительницы богоподобия человека. Об этой утрате свидетельствует как признание Ставрогина в том, что он верит в дьявола, спокон веков озабоченного расторжением связи между человеком и Богом, так и вся его безлично-многолика провокаторская деятельность, или вернее, быть может, его провоцирующая бездейственность.

Глубокомысленная богословская система Николая Кузанского, которую С.Л. Франк положил в основу своей интерпретации православия, покоится, как известно, на принципе единства противоречий (*coincidentia oppositorum*). О Боге, по учению великого мистика и ученого, могут быть высказаны самые противоречивые мысли, и тем не менее все они могут быть согласо-

ваны, так как все противоположности и даже противоречия человеческих высказываний погашаются несказуемостью Бога, который выше всех противоречий. Это, на глубоком мистическом опыте основанное, учение представляет собой, конечно, полную противоположность ставрогинской практике совмещения любых идей и теорий. Разница заключается в том, что не верующий в Бога Ставрогин не ведет опытно того мистического места, в котором могут быть погашены и тем самым примирены все противоречия. В его душе все проповедуемые им мирозерцания живут во веки веков непримиримыми, друг с другом враждующими силами. У Николая Кузанского все высказывания в последнем счете верны потому, что истина — несказуема, для Ставрогина, наоборот, потому, что никакой несказуемой истины нет. Но где нет истины, там нет и лжи, там господствует абсолютное безразличие по отношению к этой разнице. Так мистика негативной теологии превращается в цинизм положительной демонологии.

Провокация, широкой волной разлившаяся по России, по-настоящему еще не изучена. Выяснено только то, что продажностью и корыстной беспринципностью ее до конца не объяснить. В исследовании души Ставрогина Достоевский одним из первых проник в ее тайну. Омертвевшая, оторванная от корней бытия душа Ставрогина все же тоскует о жизни и действии, на что она, по своей природе и по пройденному жизненному пути, не способна. Для утоления этой тоски она, безлика, перевоплощается в любые обличья и, не верующая ни в какие идеи, отравляет своими вымыслами сердца и сознания своих многоликих двойников; похотливо наслаждаясь своею властью над ними, эта опустошенная душа ощущает, что она живет. Но эта иллюзия власти над жизнью неизбежно рассеивается, как случилось

и со Ставрогиным; это рассеивание погружает многоликого провокатора в небытие. Как Кириллов, так и Ставрогин кончают свою жизнь самоубийством. Но смысл ставрогинского самоубийства иной. Первый сверхчеловек, или, по терминологии Достоевского, человекобог, Кириллов стреляется потому, что не осознал своей любви к Спасителю. Ставрогин затягивает петлю на шее потому, что осознал свою каноническую веру в беса. В очень разных, но диалектически все же очень связанных друг с другом образах и судьбах Кириллова и Ставрогина Достоевский с никем еще не превзойденно глубиной раскрыл богоборческую природу только еще зарождавшейся на его глазах большевистской революции.

* * *

Переходим к бесам нижней палаты. Их возглавляет Петр Степанович Верховенский. Мнение решительно всех действующих лиц романа об этом герое – самое отрицательное. Ставрогин называет его помешанным и спрашивает, не служит ли он в тайной полиции. Кириллов считает Верховенского политическим обманщиком и интриганом, Шатов – шпионом и подлецом, а каторжник Федька, сам убийца, – первым убийцей. Мистику Кириллову Верховенский внушает такое брезгливое чувство, что он содрогается при мысли осуществить при нем свое «сакральное» самоубийство. В отличие от красавца Ставрогина Верховенский никого не влечет к себе и многих от себя отталкивает. Тем не менее Ставрогин и Верховенский тесно связаны друг с другом. Даже и внешность Верховенского представляет собой несколько карикатурный вариант внешности Ставрогина. Ставрогин – красавец, но в его красоте есть какая-то чрезмерность. «Волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то

уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел... зубы – как жемчужины, губы – как коралловые, – казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен». Верховенский не красавец, но все же недурен собой. Как и у Ставрогина, у него – высокий лоб. Как и в лице Ставрогина, есть и в его лице нечто излишнее. Взор слишком пристален, нос слишком остр, губы слишком тонки. Хотя в его лице не чувствуется мертвой маски, как в лице Ставрогина, в нем все же чувствуется нечто болезненное. Несмотря на то, что Верховенский хорошо выглядит, его лицо никому не нравится.

Оба молодых человека обладают большой физической силой и самоуверенностью, с той только разницей, что самоуверенность Ставрогина сосредоточена на вере в себя, а самоуверенность Верховенского держится уж очень развязным самодовольством. Сосредоточенность Ставрогина выражается его скупостью на слова. Верховенский, напротив, болтлив; он «сыплет словами», «трещит», «тараторит». Он говорит весьма отчетливо, словно ровным зерном засеивает землю. Когда он входит в комнату, то создается впечатление, что он уже в передней начал говорить, вертеть необычайно длинным, тонким, красным языком. Этим змеиным языком он снижает и выбалтывает мрачную тайну богоборца Ставрогина.

Глава «Иван-Царевич», в которой Петр Степанович умоляет Ставрогина возглавить революцию, одна из самых замечательных глав романа. Все, что Верховенский говорит о себе, с психологической точки зрения более чем неправдоподобно, оно, в сущности, совершенно невозможно. Какой революционер будет признаваться избранному им вождю, которого он к тому же втайне ненавидит, в том, что он не социалист, а мошенник, что он ни во что не верующий нигилист, со-

бирающийся разрушать жизнь пьянством, развратом, сплетнями, доносами, шпионажем и свеженькою кровушкой.

Не ясно ли, что все эти мысли – не мысли Нечаева-Верховенского о революции, а мысли самого Достоевского о том кровавом кошмаре, который неизбежно вспыхнет в России, когда бесы войдут в стадо свиней, то есть в Нечаевых, Серно-Соловьевичей и других. То, что читатель пророческий анализ революции Достоевского послушно принимает за программу и тактику Верховенского, доказывает громадную художественную силу Достоевского. Чтобы придать словам Верховенского некоторую правдоподобность, Достоевский словами Ставрогина высказывает предположение, что Петр Степанович пьян, а может быть даже и помешан. Но, странным образом, все эти догадки, долженствующие объяснить поведение Верховенского, преподносятся читателю так, что он в них как-то не верит, а только чувствует иступленность Верховенского, одержимость его таинственными бесовскими силами.

Если отбросить психологический колорит сумбурно-восторженной речи Верховенского и сосредоточить свое внимание на заключающейся в ней историософской и социологической характеристике грядущей большевистской революции, то нельзя будет не поразиться исключительной дальнорзкости Достоевского.

До захвата власти Лениным «Бесы» многими общественными деятелями и почти всеми партийными революционерами воспринимались, как злостное издевательство над русским освободительным движением. Таким отношением к «Бесам» объясняется то, что протест Горького против их постановки на сцене Художественного театра нашел широкий отклик в кругах русской общественности. Но времена изменились: сейчас, думается, всем должно быть ясно, что «Бесы»

гораздо в большей степени произведение пророческое, чем злостно-сатирическое.

Ни народникам (социалистам-революционерам и трудовикам), ни социал-демократам меньшевикам нет ни малейшего основания сетовать на Достоевского, так как Достоевскому, когда он писал «Бесы», явно предносились не февральская, а октябрьская революция. Правильность этого предположения в достаточной мере и степени доказывается его религиозно-социологическим подходом к людям и событиям нарисованной им смуты. Такой подход по отношению к деятелям и партиям «Февраля», явно незнакомым с дьяволом и отнюдь не склонным к разрушению Божьего мира и России, был бы совершенно бессмысленным. Но не менее бессмысленным был бы, с другой стороны, безрелигиозный, научно-рационалистический подход к таким социалистам, как Ткачев и Нечаев, и к таким явлениям, как «Катехизис революционера», публицистика «Великоросса» и «Набата» и прокламационные призывы «к топору». Этот мир кипит и перекипает страстным богоборчеством, глубоким презрением к народу и злым духом фашистской государственности. Здесь идет речь об уничтожении Бога и боговерия, о закрытии монастырей, как рассадников лени и разврата, об освобождении женщин из рабства брака и о государственном воспитании детей. Написанный Нечаевым портрет революционера – явный автопортрет – являет образ человека, лишённого чувств «родства, дружбы, любви, благодарности и чести». В нем все задавлено холодной страстью революционера, готовностью умереть за свои идеи и уничтожить каждого, кто восстанет против них.

Читая бредовую проповедь Верховенского, нельзя не чувствовать, что она кипит бакунинской страстью к разрушению и нечаевским презрением не

только к народу, но даже и к собственным «шелудивым» революционным кучкам, которые он сколачивал, чтобы пустить смуту и раскачать Россию. В духе Нечаева и Ткачева Верховенский обещает Ставрогину, что народ к построению «каменного здания» допущен не будет, что строить они будут вдвоем, он, Верховенский, со своим Иваном-Царевичем. Надо ли доказывать, что следы бакунинской страсти к разрушению и фашистских теорий Ткачева и Нечаева можно искать только в программе и тактике большевизма. Интересно, что, мечтая о великой революционной смуте, Верховенский жалел о том, что мало остается времени и что в России нет пролетариата. Этими жалобами он касался разногласий между народниками и Плехановым, за примирением которых Вера Засулич в 1881 году обращалась к Карлу Марксу.

Думаю, что не будет преувеличением сказать, что Достоевский почувствовал, что социалистическая революция будет произведена по рецепту Нечаева и Ткачева, то есть преждевременно и без участия необходимого для нее пролетариата. Предчувствие это сбылось.

* * *

Глава «У наших», в которой теоретик коммунизма Шигалев развивает перед собравшимися революционерами свои мысли о будущем социальном строе, быть может, единственный в «Бесах» остаток задуманного Достоевским романа-памфлета. Несмотря на то, что в этой главе Достоевский обнаруживает громадное сатирическое дарование, она по своему тону и стилю несколько снижает уровень повествования.

Метод показа Шигалева тот же, что и метод показа Петра Верховенского. Как Верховенский, так и Шигалев не только развивают свои взгляды, но и критикуют их. Верховенский называет себя мошенником, а Шигалев – путани-

ком. Под смех своих слушателей он так прямо и заявляет: «Однако ж, кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого». Под этой самокритикой Шигалева скрывается, конечно, направленная против шигалевщины критика самого Достоевского. Надо сказать, что созданный Достоевским прием критики «революции» в форме самокритики ее представителей и героев удался ему в применении к Верховенскому много лучше, чем в применении к Шигалеву, что объясняется тем, что безумие может само себе противоречить, не умаляя своего, разум же противоречить себе не может, не снижая и даже не отменяя себя самого. Шигалев же не безумец, как Верховенский, в сцене ночного разговора со Ставрогиным: он рационалист. Безумцем Шигалев становится только в бреду Верховенского, высказывающего непримиримые друг с другом суждения о нем. «Шигалев, – вскипает Верховенский, – гениальный человек!.. Он выдумал равенство». И тут же: «Шигалев ювелир и глуп, как всякий филантроп». Что значат эти противоречия? На этот вопрос мы в словах Верховенского находим вполне точный ответ. Гениальность Шигалева в том, что он выдумал всеразрушающее равенство, глупость же в его вере, что равенство может привести к счастью. Тут-то он и запутался. Исходя из бесконечной свободы (филантроп), пришел к безграничному деспотизму (диктатор). Система Шигалева весьма проста. Чтобы осчастливить всех людей, надо разделить все человечество на две неравные части. «Одна десятая получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми, которые превращаются в стадо безличных, послушных, но сытых и по-своему счастливых животных». Выслушав это предложение, один из участников беседы (Лямшин) предложил не перерождать, а взорвать девять десятых на воздух и оставить только кучку людей

образованных, которые начали бы жить по-ученому. Шигалев считает, что «это было бы самым лучшим разрешением задачи», если бы только такое разрешение было возможно. В возможности такого совершенного рая на земле он, как филантроп, все же сомневается.

Эту утопию зла нельзя, конечно, выдавать целиком за большевистскую программу перевоспитания русского народа. Но нельзя и не видеть существенного сходства между шигалевщиной и ленинизмом. Как и Шигалев, большевики начали с провозглашения полной свободы и пришли к безграничному деспотизму, начали с борьбы против смертной казни и кончили уничтожением буржуазии, как класса. Как и Шигалев, они затеяли свою поравниловку во славу народного счастья, но осуществили ее на всенародное горе. В полном согласии с учением Шигалева, они произвели партийный отбор на основе марксистской идеологии и на стремлении «жить по-ученому». Превратить девять десятых русского народа в рабов им, слава Богу, не удалось. Но у нас все еще нет гарантии, что эта мысль окончательно потухла в их сознании. Читая и перечитывая главу «У наших», не перестаешь удивляться тому, с какой отчетливостью Достоевский понял и показал, что глубочайший корень утопического безумия таится в последовательном, бескомпромиссном рационализме, весьма нерационально отрицающем иррациональные начала человеческой души, а потому и истории человечества.

Заканчивая раскрытие подспудно тающейся в «Бесах» социологии большевистской революции, необходимо еще остановиться на бывшем студенте и бывшем революционере Шатове и на Марье Тимофеевне Лебядкиной, убогой жене блестящего Ставрогина. Как объяснить этот брак? Психологическое объяснение дает Николай Всеволодович сам в разговоре с братом Лебядкиной: «Женился же я

тогда на вашей сестре... после пьяного обеда, из-за пари на вино». Это объяснение вряд ли можно считать достаточным. Причины, которые побудили Ставрогина на столь безумный шаг, вероятно, гораздо сложнее. Но для моего подхода к Достоевскому в данной статье это неважно. Меня интересует не психолог Достоевский, а вышедший реалист, пневмотолог или, говоря проще, философ, мыслящий не в отвлеченных понятиях, а в живых образах. Подходя к вопросу о женитьбе Ставрогина с этой точки зрения, трудно не видеть, что обостряющее фабулу романа загадочное венчание Ставрогина с Хромоножкой таит в себе веру Достоевского в то, что исцелиться от всех своих духовных недугов опустошенная безверием революционная интеллигенция может, только соприкоснувшись с народом и матерью-землей, веру в которую исповедует Хромоножка. Написана Хромоножка очень сложно, можно сказать двупланным. На первом плане – болезненная, худошавая тридцатилетняя женщина с высоким морщинистым лбом, длинной шеей и жиденькими темными волосами, свернутыми на затылке в смешной узелочек. Несмотря на свое уродство, Марья Тимофеевна белится, румянится и чем-то мажет губы. За этим неприглядным образом таится, однако, другой: образ большой духовной красоты. У Марьи Тимофеевны «тихие ласковые серые глаза». В ее взгляде светится «что-то мечтательное и искреннее». Эта вторая внешность Марьи Тимофеевны – не только внешность. Она отражает и ее внутренний мир. Есть в Марье Тимофеевне большая духовная свобода: своего брата, который бьет ее и издевается над ней, она называет ласково и живет иллюзией, что командует им. Сердце ее полно любви к людям (как она нежна с Шатушкой) и к природе. Ее рассказ о своих вечерних прогулках к озеру, когда солнце опускается за горизонт, дышит такой глубокой

религиозной любовью к природе, что верится – для нее «Бог и природа есть все одно».

Этой своей верой Марья Тимофеевна Ставрогина, однако, не спасла – потому не спасла, что мистическим пантеизмом, который исповедует Марья Тимофеевна, человека христианской эпохи нельзя излечить от неверия. На недостаточность и даже некоторую еретичность веры Хромоножки Достоевский сам указывает намеком на то, что ученье о Земле-Богородице Марье Тимофеевне нашептала старица, живущая в монастыре «на покаянии за пророчество». Об этом, в уже цитированной мною выше статье, очень хорошо говорит Булгаков: «Марья Лебядкина, конечно, праведна и светла, но лишь природною праведностью Матери-Земли... она исполнена глубокого понимания святости земли, Бог и природа для нее тождественны, но она еще не знает того Бога, с последним вздохом которого на голгофском кресте умер великий Пан. Оттого она, подобно своей античной сестре Кассандре, и низвергается разоблаченным ею узурпатором в бездну небытия – в смерть».

С Марьей Тимофеевной духовно и идейно связан Шатов. Вера Марьи Тимофеевны в природу, в мать сыру-землю Богородицу ей простительна, так как Хромоножка еще не знает Христа. Заблуждение Шатова глубже, так как он, по его словам, верует в православие и в Тело Христово, хотя еще не верует в Бога, а лишь надеется, что со временем поверит в Него. Но что значит вера в народ-богоносец без веры в Бога? Не ясно ли, что религия Шатова еще не христианство, а лишь религиозно окрашенный русский миссионизм. В иступлении Шатов напоминает Ставрогину их некогда общую, Ставрогиным преданную веру, что народ – это Тело Божие. И что всякий народ до тех пор только и народ, а не этнографический материал, пока имеет

своего Бога особого, а всех остальных богов на свете исключает без всякого примирения; пока верует, что своим Богом победит и изгонит из мира остальных богов.

Как образ Марьи Тимофеевны, так и образ Шатова нарисован Достоевским в двух планах. Чувствуется, что автор любит своего героя, человека редкой душевной красоты, любвеобильного, горячего, искреннего, гибнущего, быть может, накануне своего духовного просветления. Это нравственное обаяние Шатова побудило Мочульского, вряд ли с достаточным основанием, слить мирозерцание, а отчасти даже и мироощущение Достоевского не только с безликим мистическим космизмом Марьи Тимофеевны, но и с воинствующим национализмом Шатова. Что Достоевский, в особенности в «Дневнике писателя», нередко впадал и в грех конфессионального шовинизма, и в грех националистического миссионизма, оспаривать невозможно. Но все же между его подлинными взглядами и верованиями Шатова – большая разница. Достоевский все же знал и веровал, что быть русским – значит быть не только русским, но и всечеловеком. В «Дневнике писателя» он утверждает, что русские люди литературу других народов понимают лучше представителей других наций, что «Шиллер вместе с Жуковским всосался в душу русского народа и своим влиянием определил целый период в истории нашего развития». Следя за судьбами Франции, Достоевский высказывал боязнь, что она отступится от католичества и духовно падет. Слов Шатова «лучше атеизм, чем католичество» он, несмотря на свое отрицательное отношение к Риму и к Папе, сознательно и ответственно не подписал бы. Если говорить не о несчастном Иване Шатове, а о его злосчастной идеологии, то нельзя не увидеть, что шатовщина все же ближе к языческому национализму германцев, и в особенности Гитлера, чем к

православно-национальной историософии Достоевского. Верность этого положения подсказывается хотя бы тем, что Достоевский отнюдь не был слеп к тем недостаткам рабствующей у государства синодальной церкви, о которых в 1860 году писал Иван Аксаков в своей «Руси»: «Оттого и коснеет религиозная мысль, оттого и водворяется мерзость запустения на месте святе... что у ограды церковной стоят не грозные ангелы Божии, а квартальные надзиратели... Стоят, как стражи нашего русского душеспасения, как охранители догматов православной Церкви, как блюстители и руководители русской совести».

Прямых размышлений об отношении Церкви к государству в «Бесах», правда, нет, но на то, что Достоевский чувствовал связь атеистического революционного беснования с тем «параличом» Церкви, как исторического явления, о котором сам говорил, указывает, как мне кажется, то, что, не нарисовав в «Бесах» ни одного подлинного христианского образа, он вывел в них целый ряд христианством помраченных и даже изуродованных людей. Кириллов бессознательно любит Христа, но своим сознанием отрицает его. Ставрогин, некогда верующий человек, в романе канонически исповедует дьявола, Марья Тимофеевна, праведница и святая, исповедует дохристианский мистический космизм, Шатов, душа которого прирожденная христианка, почитает Божиим Телом не Тело Иисуса Христа, а тело русского народа, Федька-каторжный, зажигающий Кириллову лампадку, изучающий и проповедующий апокалипсис, – убийца и вор; обкрадывая икону Божьей Матери и кладя жемчужины себе в карман, он успокаивается тем, что жемчуга – слезы Богоматери, которые она льет о его окаянстве.

Наряду с этими душевно сложными и отчасти глубокими помрачителями христианства в «Бесах» встречаются с беспощадною яркостью на-

писанные типы прицерковного шулерского уродства. Почти жуткое впечатление оставляет сцена посещения веселой праздной компанией проживающего у купца Севастьянова блаженного пророчествующего Семёна Яковлевича. Его обслуживают целых три человека, оплачиваемые купцом, при нем кроме того постоянно дежурит старый монах, старающийся захватить в пользу Богородского монастыря возможно большую часть приносимых старцу вещей и денежных подарков.

Композиционно очень интересно, что в главе, предшествующей описанию веселого пикника к блаженному, рассказывается о том, как в городе была разбита вделанная в монастырскую стену икона Божьей Матери и за стекло озорно пущена живая мышь. Сам же рассказ о пикнике начинается с упоминания о том, что в городской гостинице только что застрелился девятнадцатилетний мальчик с прекрасным и чистым лицом. Читая после этих двух введений о приезде компании в келью Семёна Яковлевича, чувствуешь, что и в ней происходит как бы самоубийство чистого и прекрасного лица Церкви.

Комната, в которую были введены приезжие, оказалась разделенной на две части: одна предназначалась для обыкновенных посетителей, а другая для «счастливых». Обе были полны народа. Все были в ожидании, все взволнованы: что скажет, что изречет известный даже в столицах Семен Яковлевич и как нужно будет его понимать? И вот Семен Яковлевич изрекает: «Миловзоры, миловзоры». Слуги в это время разносят всем посетителям чай, а блаженный приказывает, кому сколько положить сахару, кому дать сахар внакладку, кому вприкуску, а кого оставить и вовсе без сахара. Одному купцу Семен Яковлевич велел навалить столько сахару, что получился густой сироп – пить противно. Но

купец принялся беспрекословно пить, а народ стал шептать: Господи! Господи! И даже принялся креститься. На помещика, который уже целый час стоял на коленях, а потом покался, что не мог, как велел блаженный, перестать драться, – «собственные силы одолевают», – блаженный вдруг закричал: «Гони, гони, метлой его, метлой». Помещик, не дождавшись исполнения кары, вскочил и бросился вон из комнаты. Вдруг неожиданно послышался вопрос: а что значит, если галка вылетит из воды и бросится в огонь? На что блаженный сразу же ответил: «К морозу». Послышался шепот: видимое пророчество. И народ снова стал креститься. Стилистически с Семеном Яковлевичем связана и та женщина, которая своими глазами видела, как Иван Филиппович прямо покатылся в небо.

В большом художественном произведении все связано между собой: каждая деталь тяготеет и к идейному и к повествовательному центру. А потому нельзя сомневаться в том, что Семен Яковлевич, человек с хмурым лицом, на котором крепко наживают и купец и церковь, в которого с тупым суеверием по-своему верит народ и над

которым смеются, рассматривая его, как зверя, «наши дамы», не случайно попал в роман. Семену Яковлевичу и ему подобным принадлежит все же не последнее место в той темноте, которая сыграла свою роль в революции. Описывая приезд к блаженному дореволюционной интеллигенции, Достоевский дорисовал тот многомотивный спектр превращения подлинной народной веры в какое-то сумбурное наваждение, которое помогло бесам осуществить свои революционные планы.

За годы революции на Западе много читали Достоевского, даже увлекались им. Анализ революции находили и глубоким, и интересным, но в его историософскую и социологическую правильность не очень верили. Считали, что это скорее философия Достоевского, чем психология революционных вождей. Не верили, конечно, потому, что давно разучились «мыслить глазами» и закреплять добытые постижения в «образах идей». Хочется надеяться, что Россия, и пройдя через рационалистическую школу диалектического материализма, не утратит способности «мыслить глазами».

Ю. П. ИВАСК

Упоение Достоевского

Все, что делают герои Достоевского, они делают с увлечением и никогда не устают. То же самое Розанов сказал о Достоевском, и он, несомненно, был духовным иудеем, а не эллином, как новый Гомер – Толстой. Известны досадные антисемитские выпады Достоевского, напр. в письмах к жене, но неприятных евреев он не выводил. «Блаженнейший и незабвенный» Исай Бумштейн в «Мертвом доме» несколь-

ко комичен, но это не отрицательный тип, а вот неприятных поляков, немцев, французов у него немало...

Достоевский смолodu увлекался Шиллером, но его страстность негерманская, философская. Он не Маркиз Поза, хотя этот *герой-идея* предвосхищает его спорящих «русских мальчиков». Достоевский сродни Иову и ветхозаветным пророкам: и с ними его иногда сравнивали. Еще ближе ему но-

возаветные апостолы, тоже иудей, которые стали верными учениками Христа через отречение, сомнения, ненависть: Петр, Фома, Павел.

Измерение Достоевского: напряжение, а также упоение, и о его героях следовало бы судить по двенадцатибалльной шкале, установленной для землетрясений, но приспособленной для душедухотрясений! Достоевский, как и пророки, апостолы, прежде всего «переворачивает» личность и потом уже общество. В этом его отличие от политических революционеров. «Чтобы переделать мир по-новому, – учил старец Зосима, – надо, чтобы люди сами психологически повернулись на другую сторону». Это древняя иудейская мудрость библейских пророков, которые, прежде чем учить, духовно воскресали в Боге. Это религия личного Бога, от которого его герои часто отступали, но, вместе с тем, никогда о Нем не забывали.

Черные козлища Достоевского: самодовольные неподвижные пошляки, Лужин, Кармазинов или Миусов, но уже не Вельчанинов, которого встряхнула неожиданная встреча с «вечным мужем» – Трусюцким. Есть пошлость и в добровольных шутах Достоевского, но их неуверенность в себе, их скандальные буффонады повышают этих паяцев в чине, и при измерении силы их напряжения и упоения они дают несколько очков вперед многим праведникам. Сократим шкалу душедухотрясений до шести баллов и попытаемся оценить героев романа «Бесы». Окарикатуренный Тургенев – «нувеллист» Кармазинов – безнадёжный пошляк, мертвая душа, впрочем с аппетитом поглощающая котлетку за завтраком! Его измерение нулевое, как и у бездушного фанатика Шигалева.

Единицу в этой шкале заслуживает Ставрогин, вызвавший столько душедухосотрясений у бесов, но сам не сотрясавшийся. Он «пустое место» под

маской красавца и в конце концов осознает свое небытие: вешается, и уже поэтому он выше нулевых героев – вульгарного Кармазинова и автоматического Шигалева. Может быть, ту же отметку заслуживает и праведник – епископ Тихон, не христианский иудей, а христианский эллин: он хорошо (изнутри) понимает заблудших овец, но сам – уже успокоился в духовной гармонии: обратился к Богу, свидетельствуя о Нем, но никого не обращает, ничего в мире изменить не может.

Двойку поставим бесоводцу Петру Верховенскому, и не за энергию динамику, а за энтузиазм, за упоительную мечту о революционном Иване-Царевиче – Ставрогине, которому он неожиданно целует руку. Та же отметка неврастеническим бесам: Виргинскому, Лямшину или пошлому, но умному обывателю Липутину, которого сбила-таки с панталыку революционная мечта. Также и шути Лебядкину – за воображение, за комический дар («Краса красот сломала член»). Влепим двойку и двум бесам реакции, отметив, что были и такие, хотя критики обыкновенно их не замечают. Это губернатор Лембке, немчик-полуидиот, который втайне от жены склеивает из картона игрушечный театр или же пишет роман... Его очеловечило безумие, и не только комично, но и трагично его сидение в поле с букетиком желтеньких цветочков! Другой бес реакции – русский полуидиот Семен Яковлевич, не лишенный прозорливости и наградивший верного рыцаря Лизы Маврикия Николаевича чаем «внакладку».

Кому тройка? То есть удовлетворительная отметка. – Генеральше Ставрогиной – за девичьи вздохи о красавце Кукольник, за материнские мечты и тревоги о сыне – принце Харри, за все разочарования в презренном, но любимом Степане Трофимовиче. Тот же балл простым *служащим* женским душам – Даше и Книгоноше. Удовле-

творителен и юный Эркель – ангел, попавшийся в сети демонов.

Четверка Федьке Каторжному, хотя бы за то, что он режет-грабит, а убийцам ведь легче покаяться, чем честным обывателям... Но сверхчеловеки-душегубцы в «Мертвом доме» (напр., Орлов) куда правдоподобнее, живее, чем этот фольклорный разбойник... Рядом с ним барышня Лиза, которая рискнула-таки и убежала с бала к Ставрогину, а также и ее рыцарь Маврикий Николаевич.

Пятерка Степану Трофимовичу, хотя в первых главах он сродни пошлому Кармазинову, либералу и атеисту. Он духовный отец бесов и, к тому же, еще паразит, приживальщик. Все же его тревожит-сотрясает «вечная тоска». Вот он взрывается на фестивале литературы, и Достоевский вкладывает в его уста свои заветные мысли о красоте, которую не понимают гоголевские «коротенькие люди», все эти новые Бобчинские-Добчинские, ставшие интеллигентами – прогрессивными личностями и даже революционерами-заговорщиками. Но настоящей высоты духа Верховенский достигает в финале, – когда с палочкой-посохом уходит в романтические дали, а на самом деле к Богу, которого он на своем вольтерьянском жаргоне называет Великой Мыслью. Это самый грандиозный герой Достоевского, и не ближе ли он Ламанческому рыцарю, чем кихотик-христосик Мышкин! Степан Трофимович Верховенский, большое испорченное дитя, до самого конца лепечет свои русско-французские фразочки и, сам того не ведая, приобщается не Великой Мысли, а самому Христу... Пятерка и честному плебею Ивану Шатову, разочаровавшемуся в бедах революции и в прекрасном, побитом им, Ставрогине. Он поверил в Россию, ну а в Бога он еще будет верить! Но есть блаженство в его кротости, а кроткие наследуют землю... Пусть Бога Шатов не обрел, но в не-

винной своей гибели он *христоподобен*, как свв. мчч. Борис и Глеб в гениальной поэме-сказании 11-го века.

Шестерка Кириллову – любимому герою Альбера Камю, француза с «русской душой». Как и его духовный брат и «идейный» недруг Шатов, он с собой не «возился», но стал личностью... Может быть, по силе напряжения нет ему равных в мире Достоевского. Он утверждал человекобога, а любил только Христа, хотя и не верил в Его воскресение. Петр Верховенский, на лакейском своем языке, верно определил Кириллова: свинство в том, что в Бога он верит пуще, чем поп... Кириллов гибнет во мраке отчаяния, безумия, а мог бы стать новым Петром, Фомой, Павлом.

Самый «положительный», самый светлый и вполне удавшийся образ Достоевского – Хромоножка, которую он не побоялся скомпрометировать клиническим идиотизмом! И ей самая высокая отметка! Пусть Лебядкина не понимает самых простых разговоров, но она понимает ту высшую правду, которая скрыта от других героев «Бесов». Эта правда – Христос, и потому она видит в Шатушке праведника, а в Ставрогине самозванца. Не портит ее даже стилизованная фольклорная философия из песен духовных (мать сыра земля – Богородица). Эта святая идиотка – единственная в мире Достоевского *героиня-идея*, и ее высокое упоение – белое, а не красное или черное.

Мои отметки-баллы можно изменить... Но явно: героев Достоевского нужно судить преимущественно по силе напряжения из страстей, по мощи их идей, по упоению муками и восторгами, а не по одним только проблемам «экзистенциальной» философии их творца.

Достоевский был философом, но его мысли слиты с его образами. Он философ-поэт, и свои романы он часто называл в письмах поэмами. Многие

из его героев (а также и Марья Лебядкина) – тоже философы-поэты, страстные мечтатели. Но они не идеалисты-романтики, увлекавшие его в драмах Шиллера или в романах Санд, а реалисты «в высшей степени» или же «евангельские реалисты», как сказал бы Эрих Ауербах. Тезис его ученой и мудрой книги «Мимесис»: античный классицизм – абстрактен, враждебен живой жизни. Для греков отрекающийся Петр годился бы разве что для комедии: это жалкий, струхнувший рыбак! Но в Средние века и в эпоху т.н. европейского реализма, *в особенности же русского*, утверждает Ауербах, в новом облике возродился евангельский реализм, и трагических царей сменили обыкновенные люди, которые, то отталкиваясь от Спасителя, то притягиваясь к Нему, иногда падают ниже Эдипов, но зато и куда выше их поднимаются. Именно поэтому едва ли, по-моему, прав Вячеслав Иванов, назвавший романы Достоевского романами-трагедиями в классическом смысле. Достоевский отчасти и драматург, но не классик, а евангельский реалист.

Герои Достоевского чаще мучаются, чем восторгаются! Счастливых среди них нет. Относительно счастливы только безнадежные пошляки вроде Лужина, Кармазинова, Миусова. Но зато его Несчастливцевы полны напряжения и упоения как в восхищении, так и в страдании. Разве не упоительно умирает Катерина Ивановна, распеваящая на улице французские и немецкие песенки? Разве чахоточный студент Ипполит не упивается своим необходимым объяснением и эффектом «неполучившегося» самоубийства на восходе солнца?

Иннокентий Анненский (в «Книге отражений») вскользь заметил, что в мире Достоевского смерти нет. Мысль, казалось бы, нелепая! Так, в эпилоге «Бесов» погибает почти все многочисленное население этого романа! Но

сравним *достоевские* смерти с толстовскими! Кто не умирал с князем Андреем, с Николаем Левиным, с Иваном Ильичом! Их смерть страшная, окончательная. А герои Достоевского, при всей страстности, слишком духовны, чтобы принимать их смерть всерьез. Их динамическая диалектика не обрывается в читательских душах и часто продолжается другими героями. Так, бунт Ипполита продолжают Кириллов и Иван. Отец Зосима очень реалистически «провонял», но смутившийся было Алеша оправился, и позднее он пойдет по пути старца-учителя, хотя бы и через участие в революционном движении (если верить рассказу А.С. Суворина). Смерть у Достоевского неокончательна, как неокончательны и его герои. Они не классические маски, и у них нет племенных или родовых признаков эпических героев Гомера или Толстого. Можно даже утверждать, что его люди не очень русские, что, конечно, очень возмутило бы Федора Михайловича. Отсюда: необыкновенная популярность Достоевского на Западе. Один французский критик сказал: «У нас в Париже вы за каждым углом найдете Раскольникова!»

Быт у Достоевского имеет второстепенное значение. У него больше бытия, граничащего с небытием, но не побеждаемого смертью. В его мире никто не работает; инженер Кириллов не строит мосты, студенты не учатся, генералы не воюют. Все гуляют-бродят, думают-говорят, убивают-убиваются. Для других занятий у них не остается времени. Они напрягаются-упиваются, словно предчувствуя, что время когда-нибудь погаснет в уме (Кириллов). Это понял в своей замечательной книге М.М. Бахтин («Проблемы поэтики Достоевского»). Известен его тезис о полифоничности, но существеннее другое: в романах Достоевского он обнаруживает черты и приемы сатиры Мениппа (мениппеи) или же средневеко-

вых скандальных действий, т.е. элементы серьезно-смехового жанра, которые ярче всего выражены в упоительных *достоевских* скандалах. Достоевский, несомненно, был мастером увлекательных сцен, в которых нарушаются общепринятые нормы, и все летит вверх тормашками. Так, почтенные генеральши Епанчина и Ставрогина вступают в «речевые мезальянсы» с шутами гороховыми, будь то Лебедев или Лебядкин, хотя «по этикету» им не полагалось бы даже сидеть с ними в той же комнате. Но Достоевский позволяет этим дамам присутствовать на скандалах! Все позволено и на карнавалах. Так, в Риме Гете слышал, как мальчишка, потушив свечку отца, весело крикнул ему: «Смерть тебе, синьор падре!» (Бахтин). А у Достоевского мелкий чиновник Лебедев запугивает их превосходительство апокалиптическими ужасами. Но тот «римский» отец только засмеялся, а вельможу (в «Идиоте»)хватила кондрашка.

Карнавал – веселый праздник-скандал, нарушающий монотонию будней. А в литературе карнавальная функция мениппеи зачастую сатирическая или пародийная. Достоевский не был сатириком, как Свифт или Салтыков. Для чего же нужны были ему мрачноватые, но и карнавально-упоительные скандалы? Настоящего ответа я у Бахтина не нашел. Может быть, эти его мениппеи – репетиция грядущих катастроф. Так, еще до окончания безобразного фестиваля в «Бесах» разгорается пожар в городе, Федька Каторжный убивает Лебядкиных, и вскоре погибают многие другие герои. Первый большой скандал Настасьи Филипповны предопределяет ее гибель от руки Рогожина. Митины неистовства в селе Мокром оканчиваются его арестом. Так комический взрыв предваряет трагический взрыв (климакс). Напряженно-упоительны у Достоевского не только скандалы, но и многое другое: бесконечные блуждания по фантастическо-

му Петербургу мечтателя из «Белых ночей», Подпольного человека, Раскольникова, Мышкина, Рогожина, Вельчанинова, Труссоцкого или новые сократические диалоги в кабаках – Версилова и Подростка, Ивана и Алеши, буффонады Мармеладова, Лебедева, Лебядкина, Ф.П. Карамазова. Все это делается с увлечением, без усталости, со страстью! Но для чего? Это особенное библейское богострастие. Достоевского и его героев поистине Бог мучил, Бог присутствующий или же чаще отсутствующий, и это мучение было упоительное, не сравнимое ни с каким семейным счастьем Толстого или же с роковыми «влюбленностями» Тургенева.

Обратная сторона медали... Лакей в доме М.К. Морозовой в Москве, отказывая непрошеным посетителям, говорил: «Барыня нынче заперлись, они Бога ищут!» (По рассказам покойной М.М. Морозовой.) Федор Михайлович искал Бога иначе, но для некоторых его врагов он недалеко ушел от той московской барыни, окруженной Скрибиным, Бердяевым, Вячеславом Ивановым, Андреем Белым... Для профессиональных убийц Достоевского (будь то, напр., Бунин), достоевщина – безвкусица. Зачем вообще понадобилось ему совать Христа в бульварные романы? (Фраза из бунинского рассказа «Петлистые уши».)

Тоцкий, соблазнитель Настасьи Филипповны, после учиненного ею скандала, восхищается: «Как все это эфемерно, романтично, неприлично!» Пусть он и пошляк, но в данном случае он попал «в точку» скандально-карнавального Достоевского. И немало есть здравомыслящих, талантливых, но все же *коротеньких людей*, которых «неприличие» Достоевского не восхищает, а только раздражает. При этом они обыкновенно видят только его промахи: мелодраматическую Соню Мармеладову или же сюсюканье над *деточками* в «Братьях Карамазо-

вых» (забывая, что Коля Красоткин, несомненно, удался и на *деточку* не похож).

Литературно неприличен и богословски неприемлем был Достоевский и для совсем не *коротенького* Константина Леонтьева, обвинявшего в розовом христианстве будто бы поддельного, т.е. непохожего на настоящих (оптинских) старцев, Зосиму. Но этот «великий разбиватель стекол» (как его одобрительно, хотя и не соглашаясь с ним, называл Толстой) сам был скандалистом и с упоением описывал карнавальный кавардак на консульском приеме («Одиссей Полихрониадес»), а в дерзновенной своей публицистике был реакционером с темпераментом древнегреческого хулигана Алкивиада! Это хорошо понял Розанов, и я не сомневаюсь, что Леонтьеву было бы куда интереснее разговаривать не с одобряемым им Вронским, а с «неприличными» богоскательями Достоевского. Христианство Сони, может быть, и розоватое, но не христианство Зосимы и Паисия. И как пламенно боготворчество бунтарей – Ипполита, Кириллова, Ивана, – которые, отрицая или отвергая Бога, Его утверждали хотя бы уже тем, что принимали веру всерьез и ничего положительного противопоставить Богу не могли. Они сродни Савлу, еще не ставшему Павлом.

Замечание не отрицателя, а только не любителя Достоевского. Х. как-то сказал мне: «Достоевский – писатель для гимназистов старшего возраста!» Да, молодежь он увлекал и увлекает, напр. американскую. Если во взрослом человеке уже ничего юношеского нет, он едва ли будет перечитывать Достоевского (а юные энтузиасты редко увлекаются Толстым или читают Бунину). Но и старикам не следует вытравлять из души пережитков юности. А мужественность *достоевских* бунтарей: не смелее ли они толстовских офицеров? Но все же и Кириллов мельче Иакова, которому, однако,

легче было жить: он, богоборец, не знал безбожия...

Увлекающийся, упоительный Достоевский Христа нам не раскрыл; раскрыться Он может только в жизни. Но мы знаем: живой личный Христос был ему дороже всего, дороже справедливости и прочих положительных понятий. Об этом он писал в Сибири Фонвизиной, и то же самое сказал его любимый герой – Шатов. *Самое главное* Достоевского: Христос есть мера всех вещей, мера, прежде всего, человеку, но и Богу. Это знают не только успокоившийся старец Зосима и не вполне воплотившийся Алеша, но и реализовавшиеся бунтари Достоевского. Ипполит сказал: вся земля «создавалась-то, может быть, единственно для появления этого существа», т.е. Христа. Почти то же самое говорит Кириллов: «Этот человек был высший на земле, составлял то, для чего ей жить». А в «Легенде» Ивана Карамазова хотя Христос ни в чем не убедил Великого инквизитора, но побеждает его силой духа. Поэтому инквизитор не сжег Его, а отпустил на волю. Может быть, в будущем ко Христу скорее приведут не благообразные старцы, не христианские эллины, а страстное отрицание духовных иудеев обернется еще более страстным утверждением.

Немало было написано о стиле Достоевского, и многое было верно подмечено, но далеко не все еще угадано и объяснено. Так, остался не понят комизм Достоевского, хотя писалось и об этом. Увлечение, упоение многих его героев было выражено ими на языке странном, нелепом, даже неправильном и иногда комическом. Неправильно говорят и герои Толстого, а также и он сам, но по другой причине. Еще в одном из Севастопольских рассказов Толстой провозгласил, что главный его герой – Правда, которая, по его убеждению, не любит и даже не может изъясняться красноречиво, как, напр., ненавистный ему Тургенев (который возмущал и Достоевского).

Академик Виноградов собрал немало примеров сомнительных синтаксических построений у Толстого, который так боялся писать красиво. Функция *красной* и бедной речи очевиднее всего в драме «Власть тьмы».

У Достоевского «люди одного безумия» живут в упоительной для них атмосфере сумасшедшего дома, о чем они сами иногда догадываются (в «Идиоте», «Подростке», «Братьях Карамазовых»). Они часто завираются от избытка пафоса, как искреннего, так и лицемерного (батоса). Весь Митя в этом упоительном восклицании: «Смрадный переулочек и inferнальница!» И как наслаждается своими издевательскими суперлативами Лебедев, величающий Мышкина «лучезарнейший князь!». А старый Карамазов в насмешку величает отца Зосиму «божественный и святейший старец!». Добровольные шуты Достоевского – комики, но и энтузиасты. Экстазы переживают самовозвеличивающий себя бывший приживальщик Фома Фомич и самоуничтожающий себя пьяненький Мармеладов в смрадной распивочной.

У Гоголя великие словесники и гении гротеска – пошляки, хотя бы Ноздрев с его эвфонической бессмыслицей: трюши-трюши, суптильное суперфлю, каналья-канарейка... Или молчаливый Собакевич, неожиданно и очень красноречиво расхваливающий силу и сноровку проданных им мертвых душ. Словесно одарен и Чичиков, задумавшийся о судьбе беглых душ Плюшкина. А лучшие словесники Достоевского – его шуты. Особенно талантливы Лебедев в прозе и Лебядкин в поэзии.

Песня песней Лебедева – его уже упоминавшийся рассказ о том, как он толковал Апокалипсис вельможе Нилу Александровичу, спросившему: «Правда ли, что ты профессор Антихриста?» И не потаил: «Аз есмь, говорю...» Одарен и Лебядкин, мастер звучных виршей. Он нелеп, смешон, гадок, но был у него слух к поэзии:

И порхает звезда на коне
В хороводе других амазонок...

В своих увлечениях, в безумной спешке многие герои Достоевского, сами того не замечая, говорят до нелепости отрывисто, с перескоками. Мышкин спрашивает Лебедева: «...участвовали ли вы сколько-нибудь в этой вчерашней коляске?» Аглая впопыхах признается Мышкину: «...из бутылки замуж пойду». Татьяна Павловна говорит Подростку, что он любовник из бумажки. Петр Верховенский отцу: «Я ведь думал, что мы тут свои, Степан Трофимович, твои свои, а я-то, в сущности, чужой». Ополумевший губернатор Лембке кричит полицмейстеру: «Для зажигания домов употребили гувернанток!» Лиза издевается над Ставрогиным: «Я оперной ладью соблазнилась!...»

Лучший пример нелепой и вдобавок неправильной речи, которая, однако, не воспринимается как комическая, – это монологи Кириллова. Его дурной русский язык будто бы объясняется оторванностью от России, отвлеченностью мыслей. Но речи Кириллова не беспомощные, эмоциональные, как у других запыхавшихся героев, и не издевательски-насмешливые. Существенно, что этот «отрывистый человек» и гениальный философ-атеист, любивший Христа больше многих правоверных христиан, не хочет тратить лишних слов, которые расточают более болтливые богоскаты. «Я презираю, чтобы говорить», – заявляет он при первой нашей встрече с ним. А перед самоубийством он кричит Петру Верховенскому: «Я и теперь каждый день хочу, чтобы не слова!» Это – не эпиграф ли ко всему Достоевскому, а также и к Толстому: оба ведь стремились к тому, чтобы слова, наконец, перешли в дело! Какой накал философского бешенства в скупых речах Кириллова! Он самый мужественный из бунтарей Достоевского. Неловко-нелепо, но и живо-убеди-

тельно он утверждает, что надо всем людям «узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши», т.е. наступит рай на земле. Той же мыслью Достоевский позднее одарил рано умершего Маркела, брата о. Зосимы, но в речах старца эта мысль теряет электрическую силу: слова как будто те же самые, но вялые, не заряжающие энергией. Есть в Кириллове и детские черты, он играет с ребенком хозяйки, «который кричит очень, живот. Мать спит, старуха приносит; я мячом» (развлекаю). Кириллов дружит с Федькой Каторжным, который его почитает: «Я ему апокалипсис читал, и чай...» – говорит он, и здесь та же предельная сжатость языка. Если бы Кириллов обратился, то учил бы убедительнее, доходчивее, чем житийный старец Зосима. Учил бы сухо-кратко и огненно-опалюще. Может быть, такие вот нехристи и возродят христианство, если только обратятся к Богу. Кириллов – «неполучившийся» апостол Спасителя, еще отрекающийся Петр, еще не верующий Фома, еще ослепленный Павел.

Замечательно, что Достоевский не боялся вкладывать в уста своих гротескных героев самые заветные мысли. Забавен анекдотец Лебедева о средневековом людоеде, который «умертил и съел лично и в глубочайшем секрете шестьдесят монахов и несколько светских младенцев, – штук шесть, но не более». Финал: преступник доносит на себя духовенству, его ждут колеса, костры... В этом его величие, объясняет Лебедев: у раскаявшегося антропофага 12-го в. была «связующая мысль», т.е. была совесть, был Бог в душе. В 19-м в., продолжает Лебедев, чаще прежнего подвозят хлеб голодающему человечеству, и уже незачем заниматься людоедством, теперь прогресс по сравнению с 12-м в., но есть и регресс: нет Бога. Люди живут сытнее, но бессмысленнее. Пусть Лебедев всех потешает, но его идея не смешная, это одна из главных идей самого Достоевского. Без Бога можно жить с удобствами, и даже жить

честно, но такая жизнь лишена настоящего смысла и доведет человечество до неслыханной бесчеловечности, что и случилось в 20-м веке.

Потешен и Степан Трофимович с его комическим гимном красоте на фестивале литературы, но и здесь слышится голос Достоевского, утверждавшего, что красота спасет мир, тогда как его яростный противник Константин Леонтьев знал только то, что красота вдохновляет...

Здесь Достоевский – «барочен»: сжимая до нелепости речи Кириллова или снижая, высмеивая свои верования в серьезно-смеховом жанре мениппеи, он иногда утверждал дорогие ему идеи с большим успехом, чем в полуфольклорной повести о старом Долгоруком или в полужитийных записках о старце Зосиме. А в рассказе о Хромоножке слились мотивы фольклорные, житийные, мениппейные, и эта бедная дева Мария не просияла ли в его мире, как омытое любовью евангельское солнце? Она и святая, и смешная, и глупая, и мудрая.

Книгу о Христе Достоевский не написал: не было для нее материала в религиозно-равнодушно 19-м в. Но напрягая-потрясая души, он страстно, с упоением, подводил-приближал своих бунтарей, безумцев, шутов, юристов, убийц, самоубийц к Евангелию, ко Христу: Христом только и можно измерять человека, то низко падающего, то высоко поднимающегося. В этом выразилось его библейское богорвение. Странник Долгорукий, епископ Тихон, старец Зосима уже обрели Христа, и он перед ними благоговел, но живого слова о них сказать не сумел. Нет в мире Достоевского эллинской гармонии, нет дневного света, а есть иудейский ночной огонь, опаляющий неисправимых энтузиастов: они без устали бунтуют, губят, гибнут, но на самом деле не умирают: и не потому ли, что их упоение вне времени, которого они в вечной спешке почти не замечают.

КОММЕНТАРИЙ

Антология русской критики о романе Ф.М. Достоевского «Бесы», издаваемая в год 175-летнего юбилея писателя, имеет в виду и еще одну знаменательную дату: 125 лет назад, в январском номере «Русского вестника» за 1871 год, началось печатание «Бесов», растянувшееся на двадцать четыре месяца и имевшее в высшей степени драматическую цензурную историю.

Прижизненная критика, как и писатели, современники Достоевского, при оценке «Бесов» обращалась в основном к вопросу о том, насколько верно или неверно изображены в романе представители революционных партий, и, как правило, упрекала автора за «карикатурность» и «фантастичность» героев. Вспоминая полемику вокруг «Бесов» семь лет спустя, Достоевский писал сотруднику «Русского вестника» Н.А. Любимову: «В “Бесах” было множество лиц, за которые меня укоряли как за фантастические, потом же, верите ли, они все оправдались действительностью, стало быть, верно были угаданы. Мне передавал, например, К.П. Победоносцев о двух, трех случаях из задержанных анархистов, которые поразительно были схожи с изображенными мною в “Бесах”».

Судьба романа, обусловленная сложившейся критической традицией, осудившей его политическую тенденцию, а также «подпольным» существованием запрещенной и «усекновенной» главы, предопределила и главные вехи эстетического изучения «Бесов». Опыт русских революций, которые были восприняты современниками как «пророчество, сбывшееся по Достоевскому», стал мощным импульсом обращения к роману с точки зрения политической истории и религиозной философии.

Среди факторов, несомненно способствовавших появлению новаторских концепций «Бесов» в первой четверти XX века, следует упомянуть:

- подготовленное А.Г. Достоевской юбилейное Полное собрание сочинений Достоевского (1906), вышедшее в свет в разгар первой русской революции и впервые представившее читателям часть запрещенной главы и фрагменты черновых материалов к роману;

- постановку «Бесов», осуществленную в канун Первой мировой войны на сцене Московского Художественного театра (1913), и полемику в русской печати, развернувшуюся в этой связи;

- публикацию, приуроченную к столетнему юбилею Ф.М. Достоевского, его документов из Централархива (1921), среди которых была записная тетрадь с текстом запрещенной в 1872 году главы «У Тихона» и корректурными оттисками к роману «Бесы».

Собранные в Антологии тексты не образуют, разумеется, исчерпывающей картины осмысления романа. Сюда включены наиболее значительные работы, опубликованные до начала 30-х годов и специально посвященные «Бесам», – эссе, критические и полемические статьи, философские этюды, – авторы которых явились в свое время первооткрывателями темы и заложили основы для современных научно-филологических и философско-критических исследований. Работы более позднего времени, вошедшие в Антологию, принадлежат перу авторов-эмигрантов, продолживших традиции русской философской критики 10–20-х годов, но недостаточно известные современному читателю.

Антология содержит два ряда примечаний: авторские (они помещаются в конце соответствующего текста) и комментаторские (находятся в конце издания). В комментаторских примечаниях указываются краткие сведения об авторе, источники публикуемого текста и первопубликации, расшифровываются упоминаемые имена (если они имеются в научном обиходе) и реалии, раскрывается смысл спорных и «темных» мест, даются переводы с иностранных языков.

Все тексты Антологии даются в современной орфографии – с сохранением, по возможности, авторской пунктуации. Случаи неточного цитирования источников оговариваются в примечаниях. Ссылки на произведения и письма Ф.М. Достоевского даются по изданию: Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. В 30-ти тт. Л.: Наука, 1972–1990. (В скобках указаны том и страница.)

Работы публикуются в соответствии с хронологией их появления в печати.

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Пророк русской революции

(К юбилею Достоевского)

Печатается по первопубликации: Весы. 1906. № 2. С. 27–45; № 3. С. 19–47.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) – писатель, религиозный мыслитель, критик, публицист. В эмиграции с 1920 года.

С. 461. *...умер накануне первого марта...* – Убийство Александра II 1 марта 1881 года произошло спустя 31 день после смерти Достоевского 28 января 1881 года.

...писал он в своем предсмертном дневнике... – См.: Записи литературно-критического и публицистического характера из записной тетради 1880–1881 гг. (27, 76).

Вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной... – фраза из письма Достоевского от 18 апреля 1878 года, адресованного студентам Московского университета, в ответ на письмо (от 8 апреля) студентов-филологов с просьбой к писателю публично изложить свои взгляды на проблему взаимоотношений народа и интеллигенции.

Православие в большем «параличе», нежели когда-либо... – В дневнике 1881 года Достоевский писал: «Церковь в параличе с Петра Великого» (27, 49).

С. 462. *Однажды в детстве...* – эпизод, рассказанный Достоевским в «Дневнике писателя» (1876, февраль. Глава первая. «Мужик Марей»).

«Христианин – крестьянин», – объясняет сам Достоевский... – См. у Достоевского: «Пока народ наш хоть только носитель Христа, на него одного и надеется. Он назвал себя крестьянином, то есть христианином, и тут не одно только слово, тут идея на всё его будущее» (Дневник писателя, 1880, август. Глава третья. «Две половинки»).

Микула Селянинович – один из героев русских былин, богатырь-пахарь, распахивающий огромные пространства каменистой земли, художественный символ могучих сил народа, его трудовой доблести.

...новый Святогор... – Святогор – один из героев русских былин, старейший богатырь-исполнин. В былине «Святогор и Микула Селянинович» богатыри про-

тивопоставлены друг другу: Святогор при неимоверной силе не может поднять суму с «тягой земной», а Микула Селянинович легко несет эту суму на плечах.

Святой Егорий – Георгий Победоносец (в русском фольклоре Егорий Храбрый), в христианских и мусульманских (под именем Джирджис) преданиях воин-мученик, с подвигами которого традиция связывает мотив драконоборчества. Ортодоксальная христианская житийная литература говорит о Георгии Победоносце как о христианском мученике из военного сословия, современнике римского императора Диоклетиана (284–305).

С. 463. *...Господи, Владыко живота моего...* – начало молитвы, сочиненной религиозным деятелем и писателем Ефремом Сирином, жившим на рубеже IV и V веков. См. у Достоевского: «Зато выйдет поп и прочтет: “Господи, Владыко живота моего” – а в этой молитве *вся суть христианства*, весь его катехизис, а народ знает эту молитву наизусть» (Дневник писателя, 1880, август. Глава третья. «Придирка к случаю»).

С. 464. *Исаак Сирин* (VII в.) – христианский писатель, епископ Ниневийский (Месопотамия).

С. 466. *...общение света с тьмою, Христа с Велиаром...* – Велиар, или Велиал, – в иудаистической и христианской мифологии демоническое существо, дух небытия, лжи и разрушения, выступающий как обольститель человека, совращающий его к преступлению.

С. 467. *«Если бы вы знали», – пишет он приятелю из Дрездена в 1870 г.* – фраза из письма Ф.М. Достоевского от 30 декабря (11 января) 1870 года к А.Н. Майкову.

С. 468. *По поводу унтер-офицера Фомы Данилова...* – О «мученической смерти унтер-офицера 2-го Туркестанского стрелкового батальона Фомы Данилова, захваченного в плен кипчаками и варварски умерщвленного ими после многочисленных и утонченнейших истязаний 21 ноября 1875 года, в Маргелане, за то, что не хотел перейти к ним на службу и в магометанство» Достоевский писал в «Дневнике писателя» (1877, январь. Глава первая. «Фома Данилов, замученный русский герой»): «Сам хан обещал ему помилование, награду и честь, если согласится отречься от Христа. Данилов отвечал, что изменить он кресту не может и, как царский подданный, хотя и в плену, должен исполнить к царю и к христианству свою обязанность. Мучители, замучив его до смерти, удивились силе его духа и называли его батырем...»

С. 471. *Берет Его дьявол на весьма высокую гору...* – См.: Мф. 4: 8–9.

...это сказал Достоевский о Германии... – В письме к А.Н. Майкову от 26 января (7 февраля) 1871 года Достоевский писал: «Но помните текст Евангелия: “Взявший меч и погибнет от меча”. Нет, непрочно мечом составленное! И после этого кричат: “Юная Германия!” Напротив – изживший свои силы народ, ибо после такого духа, после такой науки – верить в идею меча, крови, насилия и даже не подозревать, что есть дух и торжество духа, а смеяться над этим с капральскою грубостию!»

О Русь! Забудь былую славу... – заключительные строфы стихотворения Вл. С. Соловьева «Панмонголизм» (1894). Биограф Соловьева, А.Ф. Лосев, писал: «Еще в 1890 г. Вл. Соловьев страшился уничтожения западной цивилизации новым монгольским нашествием, и на этот раз – из Китая. Эта идея панмонголизма, как и вообще все главнейшие соловьевские идеи, была продумана им обстоятельно и глубоко на основании анализа всей исторической жизни Китая. Вл. Соловьев стал полагать, что в этом столкновении Китая с западной цивилизацией китайская идея порядка столкнется с западной идеей прогресса. В стихотво-

рении 1894 г. “Панмонголизм” философ напоминает, как изменившая своим идеалам Византия пала в свое время в результате торжества чуждого ей народа и чуждой религии» (А.Ф. Лосев. Владимир Соловьев и его время. М.: Прогресс, 1990. С. 87).

С. 472. *Значит, прав атеист Фейербах...* – Одно из основных положений атеистического учения немецкого философа Людвиг Фейербаха (1804–1872), выдвинутое в работе «Сущность христианства» (1841), – «Человек человеку Бог» – обсуждалось на «пятницах» у Петрашевского, многие из посетителей которых были фейербахианцами. До вступления в кружок Петрашевского Достоевский обсуждал взгляды Фейербаха с Белинским, который, по словам П.В. Анненкова, был «поражен и оглушен» фейербаховской критикой, «опрокидывавшей его старые мистические и философские идола» (В.Г. Белинский в воспоминаниях современников. М.: ГИХЛ, 1948. С. 284). Впервые у Достоевского Фейербах упомянут в насмешливо-ироническом контексте («Феферкухен», «Фрауенмилх») в романе «Униженные и оскорбленные» (3, 337).

С. 474. *Но под личиною Бога скрывалось лицо Зверя – Нерона, Тиберия, Калигулы.* – Римских императоров Нерона (37–68), Тиберия (43 до н. э. – 37), Калигулу (12–41) историческая традиция рисует как свирепых и жестоких тиранов, правление которых отличалось неслыханным деспотическим произволом.

По слову Достоевского... – здесь и далее фрагмент из «Дневника писателя» (1880, август. Глава третья. «Две половинки»).

...по выражению Петра Великого... – Священный Синод, новоучрежденный Петром I в 1721 году, должен был, по мысли учредителя, заниматься: устройством духовенства, преимущественно черного, противодействием расколу, преследованием суеверий и распространением религиозно-нравственного просвещения в народе (см.: 25 января 1721 года. Регламент, или устав Духовной коллегии // Полное собрание законов. Собр. 1-е. Т. 6, № 3718).

С. 475. *Говорят, Достоевский боялся, что цензура запретит эти слова.* – «Дней за десять до той кратковременной болезни, которая свела Федора Михайловича в могилу, зашел к нему О.Ф. Миллер напомнить ему о данном им обещании участвовать в Пушкинском вечере 29-го января (в день смерти поэта). Незванный гость, как это и часто случалось с Федором Михайловичем, оказался для него хуже татарина. О.Ф. Миллер не сообразил, что Федор Михайлович как раз дописывал тогда январский номер возобновляемого им “Дневника писателя”. Он выбежал к посетителю в прихожую с пером в руке, страшно взволнованный – отчасти, как сам тут и высказал, опасением, пропустит ли ему цензура несколько таких строк, содержание которых должно развиваться в дальнейших номерах “Дневника”, – в течение всего года. “Не пропустят этого, – говорил он, – и все пропало” (известно, что, не имея средств для внесения залога, он должен был издавать свой “Дневник” под предварительною цензурою). Строки, так его беспокоившие, надо думать, те, которыми открывается 5-й отдел 1-й главы “Дневника” (под заглавием: “Пусть первые скажут, а мы пока постоим в сторонке, единственно чтоб уму-разуму поучиться”): “На это есть одно магическое словцо, именно: “Оказать доверие”. Да, нашему народу можно оказать доверие...” (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. СПб.: Изд. А.С. Суворина, 1883. С. 321).

...над которою Медный Всадник Россию «вздернул на дыбы»... – неточная цитата из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» (1833).

Я слуга царю... – В дневниковой записи января (не ранее 12-го) 1881 года Достоевский писал: «Я, как и Пушкин, слуга царю, потому что дети его, народ его не по-

гнушаются слугой царевым. Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит» (27, 86).

С. 476. *...от Константина Великого до наших дней...* – Римский император Константин Великий (273–337), сын Констанция Хлора, был провозглашен по смерти отца в 306 году одним из цезарей, в 312-м захватил Италию, в 323-м объединил всю Римскую империю, в 330 году перенес столицу из Рима в Византию и назвал ее Константинополем. При Константине христианство стало главной религией Священной Римской империи, а он сам главой христианской церкви.

С. 478. *...таким вопросом Бакунин озаглавил одну из своих статей...* – Брошюра революционера-анархиста Михаила Александровича Бакунина (1814–1876) «Народное дело. Романов, Пугачев или Пестель?» была издана в Лондоне в 1862 году.

...были Рюрики... – Рюрики, или Рюриковичи, – общее название династии русских князей и московских царей, правивших с IX века до 1598 года, родоначальником которой был Рюрик, вождь варяжской дружины, приглашенной, по преданию, новгородцами в 862 году, в разгар борьбы, вспыхнувшей внутри Новгородского государства.

Шуйские – то есть боярин Василий Иванович Шуйский (1552–1612), ставший царем 19 мая 1606 года и царствовавший по 17 июля 1610 года, в эпоху Смутного времени.

Годуновы – московский боярский род, по родословному преданию происходивший от татарского мурзы Чета (приехавшего ок. 1330 года на службу к Московскому великому князю Ивану Калите) и возвысившийся во второй половине XVI века.

Романовы – династия русских царей, правивших с 1613 по 1918 год.

...повторить слова Наполеона... – Имеются в виду слова, сказанные Наполеоном I Бонапартом (1769–1821) при провозглашении его в 1804 году наследственным «императором французов» и короновании с участием Папы Пия VII. Папа совершил над ним и императрицей миропомазание, но, когда хотел возложить на голову Наполеона корону, Наполеон схватил ее и короновал себя собственноручно.

...по слову Платона... – Об «искусстве царствовать» древнегреческий философ Платон Афинский (427–347 до н. э.) рассуждает в диалоге «Политик», развивая учение об идеальном правителе, начатое в «Государстве».

С. 479. *Кромвель, Оливер* (1599–1658) – вождь английской революции XVII века, лорд-протектор Англии (с 1653), добившийся введения открытой военной диктатуры (1656).

С. 483. *...глиняные ноги Истукана в видении пророка Даниила...* – Речь идет о дарованных пророку Даниилу божественных откровениях о сне царя Навуходоносор. «Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его – из серебра, чрево его и бедра его – медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные» (Дан. 2: 31–33).

С. 484. *Пал, пал Вавилон, великая блудница...* – неточная цитата из Отк. 18: 2, 8–10, 21.

С. 486. *Чтоб из низости душою...* – строки из стихотворения Ф. Шиллера «Элевзинский праздник» (1798).

...песне элевзинских таинств... – то есть песне в честь богини плодородия Деметры, чей храм построен в греческом городе Элевсине.

...«Богородица что́ есть, как мнишь?» – спрашивает кто-то в «Бесах»... – См. в «Бесах»: «А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество...» (10, 116).

...о котором сказано в Откровении... – См.: Отк. 21: 1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет».

...эту заповедь Ницше, который сам не знал, Кого проповедовал в образе «Диониса Распятого»... – В книге «Рождение трагедии из духа музыки» (1872, гл. 10) немецкий философ и поэт Фридрих Ницше (1844–1900) писал: «Греческая трагедия в ее древнейшей форме имела своей темой исключительно страдания Диониса... Никогда, вплоть до Еврипида, Дионис не переставал оставаться трагическим героем... Все знаменитые фигуры греческой сцены – Прометей, Эдип и т. д. – являются только масками этого первоначального героя – Диониса».

И после видения Каны Галилейской... – См.: Ин. 2: 1–11: «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Мать Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Мать Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, жено? еще не пришел час Мой. Мать Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителям. И понесли...»

С. 487. ...русский бунт, бессмысленный и беспощадный... – выражение из повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836).

С. 488. ...по выражению Гоббса... – В трактате английского философа Томаса Гоббса (1588–1679) «Левиафан» (1651) государство сравнивается с искусственным человеком, более крупным по размерам и более сильным, чем естественный человек, для охраны и защиты которого он был создан.

Если семя не умрет, то не оживет. – Евангельские слова «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12: 24) Достоевский взял эпиграфом к роману «Братья Карамазовы».

С. Н. БУЛГАКОВ

Русская трагедия

О «Бесах» Достоевского, в связи с инсценировкой романа
в Московском Художественном театре

Печатается по первопубликации: Русская мысль. 1914. № 4. С. 1–26.

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) – богослов, философ, историк, критик, общественный деятель. В эмиграции с 1923 года.

С. 489. ...в связи с инсценировкой романа... – Инсценировка «Бесов» в Московском Художественном театре была осуществлена в 1913 году (премьера спектакля после 107 репетиций состоялась 23 октября) под названием «Николай Ставрогин». Автором инсценировки и режиссером-постановщиком был В.И. Немирович-Данченко, художником, автором декораций, – М.В. Добужинский. В

спектакле были заняты ведущие артисты театра – В.И. Качалов (Ставрогин), И.Н. Берсенев (Петр Верховенский), В.В. Лужский (фон Лембке), М.П. Лилина (Лебядкина), Н.С. Бутова (В.П. Ставругина), Л.М. Коренева (Лиза), Н.О. Мас-салитинов (Шатов), Е.М. Раевская (П.И. Дроздова), А.А. Стахович (С.Т. Верховенский), В.В. Барановская (Даша), В.Ф. Грибунин (Лебядкин), К.П. Хохлов (Маврикий Николаевич), М.А. Ефремова (Юлия Михайловна фон Лембке), В.М. Михайлов (Алексей Егорыч). Спектакль прошел 45 раз.

С. 490. *a realibus ad realiora* – от реального к реальному (лат.).

С. 493. ...в «Серебряном голубе», а равно и в «Петербурге»... – «Серебряный голубь» (1909) – роман русского поэта и писателя Андрея Белого (Б.Н. Бугаев, 1880–1934). К началу 1914 года в альманахе «Сирин» были опубликованы пять из восьми глав романа «Петербург».

С. 494. *tertium non datur* – третьего не дано (лат.).

...в высокоталантливом исполнении г-жи Лилиной... – Об исполнении роли Хромоножки Марией Петровной Лилиной (1866–1943, один из основателей МХТ, жена К.С. Станиславского) критика писала: «Безумие жалкой, изуродованной личности Марьи Тимофеевны было воспринято Лилиной как странная, почти гениальная чуткость больной души. В продолжение всего своего пребывания на сцене это хрупкое, удивительно женственное, загадочное существо жило среди других людей замкнутой, блаженной, сосредоточенной жизнью. Те немногие слова, которые она говорила, а еще больше – ее детски-взрослый взор иногда приоткрывали этот внутренний мир, в котором искалеченная любовь преобразилась в вечное терпение, самопожертвование и веру... Лилина поражала и глубиной своего постижения трагедии этой страдальческой жизни, и мастерством, с которым она донесла до зрителя всю ее противоречивую сложность». «Это была самая замечательная ее роль, – сказал как-то партнер Лилиной по спектаклю, В.И. Качалов, – и она создала ее с какой-то неженской силой» (Ежегодник Московского Художественного театра. М.: Музей МХАТ, 1945. С. 456). Т.Л. Щепкина-Куперник вспоминала: «...Хромоножка в “Бесах” Достоевского. Тут она для меня опять заслонила всех остальных персонажей. Эта жалкая фигурка с грубо накрашенными щеками и бумажной розой в волосах так и стоит передо мной. Ее глаза – то пустые и безумные, то полные “святого страдания” и какого-то презрения, слова ее, когда она становится на колени перед Ставругиным, потрясали, и недаром знаменитый бельгийский поэт Верхарн признал ее исполнение наиболее совершенным среди всех остальных» (Театр в моей жизни. М.–Л.: Искусство, 1948. С. 261).

С. 495. ...говорил еще Платон в «Тимее»... – «Тимей» – натурфилософский диалог об уме-демиурге; герой диалога Тимей – знаменитый пифагорец, философ и общественный деятель.

С. 496. ...шепот Додонского дуба... – Додона – город в Древней Греции, где находился древнейший из греческих оракулов. Прорицания осуществлялись при помощи толкования шума листьев священного дуба Зевса и звона развешанных на дереве медных сосудов, а также журчания источника.

...оргастическому лепету пифийской жрицы... – Жрица-пифия в дельфийском храме Аполлона прорицала под воздействием холодных дурманящих испарений, которые шли из трещины в горе, вызывали помутнение сознания и заставляли издавать непонятные звуки, толковавшиеся прихрамовыми пророками.

...умер великий Пан... – Пан – древнегреческое божество, изображавшееся в виде человека с рогами козла, сын бога Гермеса, покровитель леса, пастухов и – позднее – всей природы.

Wahlverwandschaft – избирательное сродство (нем.).

С. 500. *Ueber: Ueberwelt, Uebermensch, Uebergott* – Сверх: Сверхмир, Сверхчеловек, Сверхбог (нем.).

...*Воскресение – документ истинного Бога.* – См. сочинение религиозного философа, публициста, поэта Владимира Сергеевича Соловьева (1853–1900) «Три разговора» (1900): «Действительная победа над злом в действительном воскресении. Только этим, повторяю, открывается и действительное Царство Божие, а без этого есть лишь царство смерти и греха и творца их, дьявола. Воскресение – только не в переносном, а в настоящем – вот документ истинного Бога» (Вл. Соловьев. Три разговора. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1954. С. 188).

С. 501. *Рядом с Кирилловым в окружении Ставрогина стоит Шатов.* – В.И. Немирович-Данченко, взявшись за инсценировку «Бесов», писал (25 июля 1913 года) К.С. Станиславскому: «Есть две пьесы из “Бесов”. Первая называется “Николай Ставрогин”... Это самая романтическая и, пожалуй, самая сценическая, но не самая глубокая часть романа. Другая пьеса “Шатов и Кириллов”... Эта глубже, но менее сценична и очень мрачная». Однако вопреки первоначальному намерению взять именно революционную часть «Бесов» Немирович-Данченко в конце концов остановился на первой пьесе. «Убийство Шатова... революционные собрания, Кириллов – все это составляет второй спектакль, который пойдет, может быть, в будущем году. Здесь же только роман Николая Ставрогина», – писал он жене (цит. по: Л.М. Фрейдкина. Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко. М., 1962. С. 296–298). В спектакле «Николай Ставрогин» действительно не было Кириллова, а вторая пьеса никогда не была поставлена на сцене МХТ.

Теперь, после высокохудожественного воплощения этого образа... – Театральный критик Н. Эфрос, побывавший на премьере спектакля «Николай Ставрогин» 23 октября 1913 года, спустя несколько дней опубликовал обширную рецензию, где, в частности, писал: «Шатову даны в пьесе лишь две сцены, причем одна – почти без слов. Но г. Массалитинов сумел сразу приковать напряженное внимание к своему герою. Сразу прочувствовался в этом утрюмо молчащем, напряженно глядящем то погасающими, то вдруг на мгновение зажигающимися глазами человеке, в его позе, когда сидит он в углу, вдали от всего, что разыгрывается в красной гостиной, – подлинный Шатов, который тяжело, грузно, но упорно вынашивает в себе одну, все для него поглощающую мысль. Чувствовался фанатик. Тут дело, конечно, не в гриме, как он ни удачен, не в игре внешней, но в том, что актер зажил тем, что нашел в Шатове, ввел это в свою душу...» (Рампа и жизнь. 1913. № 44. 3 ноября. С. 7). Николай Осипович Массалитинов (1880–1961), исполнитель роли Шатова в спектакле МХТ, с 1925 года жил и работал в Болгарии; с 1948 года – народный артист Болгарии.

С. 503. ...*с таким высоким искусством воплощенный на сцене Художественного театра.* – В рецензии Н. Эфроса исполнителю роли Петра Верховенского Ивану Николаевичу Берсеневу (1889–1951) уделялось особое внимание. «Я считаю, что его исполнение самое интересное и самое значительное во всем спектакле, хотя и не самое совершенное. И внешность у него великолепная, и вся суетливая жестикуляция, и даже тот тик, какой ввел актер, это жевание каких-то комочков, не лишний, характерный, только разве чуть-чуть часто пускаемый в ход №. А во внутреннем содержании образа многое схвачено глубоко, тонко и передано выразительно и ярко. За игрою все время следишь с вниманием напряженным, и целый рой мыслей бежит в это время в голове. Лучше всего – первое появление, в красной гостиной, где у г. Берсенева по-настоящему великолепное по богатству содержания лицо, и особенно тот разговор с Ставрогиным, когда

Петр Верховенский впадает в жуткий пафос, который ему присущ, когда говорит Николай Всеволодович об Иване-Царевиче. Тут только этот бес становится не только гаденьким, но и страшным, тут открывается краешек покрыва над тайной его влияния» (Рампа и жизнь. 1913. № 43. 27 октября. С. 7). Советская критика позднее писала: «Рядом с центральным образом Ставрогина проходила фигура Петра Верховенского – человека, лишенного каких-либо моральных устоев, одержимого духом зла и разрушения. Берсенев в то время не отдавал себе отчета в порочной, реакционной сущности этого образа. Так же, как и режиссуру спектакля, его интересовал психологический тип фанатика, неудержимо стремящегося к своей цели, человека, который ни перед чем не останавливается ради достижения этой цели. Он создал образ страшной, отталкивающей силы и острой характерности. Но выразительность образа, созданного актером, еще больше усугубляла реакционный смысл произведения Достоевского, представляющего собою злобный пасквиль на революционеров» (Л. Вендровская. Иван Николаевич Берсенев. М.: Искусство, 1950. С. 15).

С. 505. *...представляет ли собою Азеф-Верховенский и вообще азефовщина лишь случайное явление...* – Азеф Евно Фишелевич (1869–1918) – известный провокатор, один из руководителей партии эсеров, секретный сотрудник (с 1892) департамента полиции, развивший свою деятельность до небывалых в истории революционных партий размеров. Став в 1903 году во главе боевой организации социал-революционеров, он провел несколько террористических актов (убийство министра внутренних дел Плеве в 1904 году, московского генерал-губернатора, великого князя Сергея, в 1905 году), успех которых обеспечил ему неограниченное доверие партии.

...читателям «Вех» известно... – В сборнике статей о русской интеллигенции «Вехи» (1909) С.Н. Булгаков выступил со статьей «Героизм и подвижничество (из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции)».

С. 506. *...его стараются заглушить надругательством над Достоевским, топаньем, кашлем, протестами...* – Предыстория «протестов» выглядела так. В июле 1913 года Горький, находясь в Италии, в Римини, встретился с актером МХТ Леонидовым, от которого впервые узнал о готовящейся постановке «Бесов» в Художественном театре, и сразу же высказал резко отрицательное отношение к «затее» театра, так как считал в то время, что «пришла пора выступить против достоевщины во всех ее пунктах». Леонидов, вернувшись в Россию, рассказал о беседе с Горьким Немировичу-Данченко, и тот немедленно отправил Горькому телеграмму: «Приношу благодарность за обещание прислать пьесу. Мне передавали Ваш взгляд на Достоевского. Позвольте написать Вам письмо». Леонидов со своей стороны сообщал Горькому, что передал его мнение о постановке «Бесов» Немировичу-Данченко и что тот заверил его, Леонидова, будто в инсценировку не войдет политическое содержание «Бесов» и пьеса поэтому будет названа «Николай Ставрогин». Горький ответил: «Очень жду Вашего письма по этому поводу». Но еще до получения письма Горький начал жалеть, что обещал свою пьесу Художественному театру. «Сердце мое не лежит к этому мрачному учреждению, где показывают голого Достоевского и где законодателем является Немирович...» Немирович-Данченко в обещанном письме не стал пояснять свое намерение относительно «Бесов»; это вызвало первый протест Горького, который написал режиссеру, что меняет отношение к нему как к театральному деятелю и берет назад свою пьесу из Художественного театра. «Инсценировку произведений Достоевского я считаю делом вредным, и если бы я был в России, то непременно попытался бы возбудить в обществе протест против Ваших

опытов, будучи убежден, что они способствуют разрушению и без того не очень здоровой общественной психики. Может быть, я попробую сделать это отсюда». В начале сентября 1913 года Горький в письме к другу семьи, большевичке Е.К. Малиновской, попытался начать компанию протеста из Италии: «Ох, было бы очень хорошо, если бы Вы, собрав несколько человек, убедили их протестовать против инсценировки “Бесов”! К чему сводится воспитательное значение театра, что могут внушить “Бесы” юношеству? А взрослым – только нервы расстроят. Пишите – протестуем! И – в “Русское слово”!» (цит. по: Б.А. Бялик. М. Горький – литературный критик. М., 1960. С. 249). Вернувшись из Италии и посмотрев 7 февраля 1914 года спектакль «Николай Ставрогин», Горький сказал: «Я помню, писали, что в инсценировку не войдет “политический” элемент романа. Ну, а разве нет “политики” в сцене Ставрогина с Шатовым? На полотно “Ставрогина” попали самые мрачные краски “Бесов»» (Утро России. 1914. № 38. 15 февраля).

μετανοια – букв.: перемена мышления, в христианском смысле – раскаяние, покаяние (греч.).

...популярным писателем наших дней... – Речь идет о М. Горьком, заявившем со страниц газеты «Русское слово» (1913. 22 сентября): «Неоспоримо и несомненно: Достоевский – гений, но это злой гений наш. Он изумительно глубоко почувствовал, понял и с наслаждением изобразил две болезни, воспитанные в русском человеке его уродливой историей, тяжелой и обидной жизнью: садическую жестокость во всем разочарованного нигилиста и – противоположность ее – мазохизм существа забитого, запуганного, способного наслаждаться своим страданием, не без злорадства, однако, рисуясь им пред всеми и пред самим собою. Был нещадно бит, чем и хвастается... Достоевский – сам великий мучитель и человек большой совести – любил писать именно эту темную, спутанную, противную душу... Пора подумать, как отразится это озеро яда на здоровье будущих поколений... После “Братьев Карамазовых” Художественный театр инсценирует “Бесов” – произведение еще более садическое и болезненное. Русское общество имеет основание ждать, что однажды господин Немирович-Данченко поставит на сцене “лучшего театра Европы” “Сад пыток” Мирбо, – почему бы не показать в лицах картины из этой книги?.. Я предлагаю всем духовно здоровым людям, всем, кому ясна необходимость оздоровления русской жизни, – протестовать против постановки произведений Достоевского на подмостках театров...» («О “карамазовщине”»). Одним из первых на протест Горького ответил М.П. Арцыбашев в статье «Максим Горький»: «Когда началось то, что называют “концом Горького”, когда большой и свободный художник подчинил свое творчество служению партийным целям, многие думали, что это временное, и надеялись на скорое возрождение писателя. Я не верил этому, я знал, что искусство – это любовница, которая никогда не прощает и мстит за себя... Искусство, которому он изменил, ушло от него, между ними порвалась живая связь, и как следствие этого разрыва явилась какая-то странная духовная слепота некогда яркого и большого художника... Надев шоры известных политических убеждений, он не видит и не хочет видеть ничего вне той прямой линии, которую начертала для него программа и тактика его партии. Все, что не входит в узкие рамки этих предназначений, ему представляется не только ненужным, но и просто вредным. Как все узкопартийные люди, он признает лозунг: кто не с нами, тот против нас. А так как не с нами и, следовательно, против нас оказывается слишком многое и это многое слишком разнообразно, то, чтобы быть логичным до конца, ему не

остается ничего другого, как все оказавшееся за чертой свалить в одну кучу. Поэтому-то он смешивает великого богоборца Достоевского с бульварным садистом Мирбо, гениальных “Бесов” с желтым пасквилом забытого Ключникова, вопросы патологии с вопросами психологии. Иначе нельзя: ему нужно доказать, что все, что не с ним, – вредно, что все, в чем нет “маленькой пользы” служения политическому моменту, – равно ненужно и равно безнравственно... Маленький “великий инквизитор” Горький остановился на полпути, не дерзая вслух выговорить логическое заключение своей проповеди: если не нужна и вредна одна постановка Художественного театра, то не нужна и вредна сама книга, лишь отдельные страницы которой под силу даже и лучшему театру. А если так, то не протест против постановки – призыв к уничтожению книги, вот логический конец для человека последовательной и смелой мысли» (Рампа и жизнь. 1913. № 39. 29 сентября. С. 10–11).

нежели многие постановки репертуара даже и Художественного театра. – Репертуар Художественного театра в 1913–1914 годах включал спектакли: «Три сестры», «Синяя птица», «Нахлебник», «Где тонко, там и рвется», «Провинциалка», «Гамлет», «Мнимый больной», «Смерть Пазухина», «Хозяйка гостиницы», «Пер Гюнт», «Екатерина Ивановна», «Мысль», «У царских врат».

...следует помнить, что трагедия имеет свою мораль... – В интервью, которое дал журналу «Рампа и жизнь» (1913. № 39. 29 сентября) Немирович-Данченко в связи с протестом Горького, говорилось: «Обвинение Горького направлено прежде всего против меня. На то, что при инсценировке “Бесов” я увлекаюсь, вероятно, пасквилом на Тургенева, а в произведениях Достоевского вообще садизмом, – мне не приходится возражать. Меня даже удивляет, что Горький прибегнул к такому дешевому полемическому приему. Важнее то, что он считает меня единственным в Художественном театре сторонником постановки Достоевского. Выходит так, как будто благодаря моей роли руководителя репертуаром Художественный театр занимается Достоевским. Лучшим ответом на это является открытое письмо М. Горькому всего театра. Таким образом, обвинение Горького должно быть направлено против всех артистов Художественного театра. Они действительно работают над Достоевским с таким подъемом всех своих лучших духовных сил, какой выпадает на долю только великих драматургов». Рядом с интервью было помещено «Открытое письмо Горькому».

«В разгаре нашей трудной и радостной работы над постановкой второго романа Достоевского Ваше выступление в печати нам особенно чувствительно.

Нас не смущает, что Ваше письмо может возбудить в обществе отношение к нашему театру как к учреждению, усыпляющему общественную совесть, – репертуар театра в целом за 15 лет вполне ответил на такое обвинение.

Но нам тяжело было узнать, что Горький в образах Достоевского не видит ничего, кроме садизма, истерии и эпилепсии, что весь интерес “Братьев Карамазовых” в Ваших глазах исчерпывается Федором Павловичем, а “Бесы” – для Вас не что иное, как пасквиль временно-политического характера, и что великому богоискателю и глубочайшему художнику Достоевскому Вы предъявляете обвинение в растлении общества.

Наша обязанность, как корпорации художников, напомнить, что те самые “высшие запросы духа”, в которых Вы видите лишь праздное “красноречие, отвлекающее от живого дела”, мы считаем основным назначением театра.

Если бы Вам удалось убедить нас в правоте своего взгляда, то мы должны были бы отречься от искусства как утратившего свою цель.

В то же время мы должны были бы отречься и от всего лучшего в русской литературе, отданного служению тем самым запросам духа. *Московский Художественный театр*».

contradictio in adjecto – противоречие в определении (лат.).

Он же гений... – цитата из маленькой трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830).

...в лице биографа Достоевского Н.Н. Страхова... – «Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском» литературного критика, публициста, философа Николая Николаевича Страхова (1828–1896) были опубликованы в изд.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского (СПб., 1883), подготовленном первым биографом писателя, историком литературы Орестом Федоровичем Миллером (1833–1889).

С. 507. *...московская коллекция С.И. Щукина...* – Щукин Сергей Иванович (1854–1937) – фабрикант, коллекционер произведений французской живописи конца XIX – начала XX века.

С. 508. *Рассказ Достоевского Висковатову...* – Висковатов Павел Александрович (1842–1905) – историк литературы, доктор философии, профессор словесности в Дерптском университете, с которым Достоевский познакомился в Петербурге в 1860-х годах и встречался за границей. Н.Н. Страхов писал Л. Толстому: «Висковатов стал мне рассказывать, как он (Достоевский. – Л.С.) похвалялся, что... в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка» (Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым// Современный мир. 1913. Декабрь. С. 308).

...аналогию с рассказом Тургеневу... – По свидетельству мемуариста И.И. Ясинского (И.И. Ясинский. Роман моей жизни. Книга воспоминаний. М. – Л., 1926. С. 168–169), однажды Достоевский пришел к Тургеневу, чтобы покаяться в совершенном им преступлении: «Ах, Иван Сергеевич, я пришел к вам, дабы высотой ваших этических взглядов измерить бездну моей низости!» И когда Тургенев пришел в негодование от признаний Достоевского, тот, уходя, сказал: «А ведь это я все изобрел единственно из любви к вам и для вашего развлечения». Тургенев, уже после ухода Достоевского, согласился с тем, что «низкий эпизод» был Достоевским выдуман.

ВЯЧ. И. ИВАНОВ

Основной миф в романе «Бесы»

Печатается по первопубликации: Русская мысль. 1914. № 4. С. 111–117.

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) – поэт, драматург, критик, филолог-классик, теоретик символизма. В эмиграции с 1924 года.

Основной миф... – См. прим. автора к заголовку статьи (журнальный вариант): «Нижеследующее рассмотрение вызвано докладом С.Н. Булгакова “Русская трагедия” в Московском религиозно-философском обществе и служит дополнением к моей статье “Достоевский и роман-трагедия” (“Русская мысль”, 1911, май-июнь), на примере отдельного произведения, подвергаемого специальному анализу, подтверждаются здесь общие положения статьи. В.И.».

...миф... имеет в виду Достоевский... – В письме к Н.Н. Страхову от 23 апреля 1871 года Достоевский писал: «Я, не спросясь со средствами моими и увлекаясь поэтическим порывом, берусь выразить художественную идею не по силам» (29, кн. 1, 208).

С. 509. *in statu nascendi* – в состоянии зарождения (лат.).

С. 511. *Эрос покидает Психею...* – В «Метаморфозах» древнеримского писателя Апулея (ок. 124 – ?) рассказана история о том, как царская дочь Психея нарушила запрет никогда не видеть лица своего супруга Амура (Эрота), сына Венеры (Афродиты). Ночью, стгорая от любопытства, она зажигает светильник и восхищенно рассматривает спящего юного бога. «Разгораясь все большей и большей страстью к богу страсти, она, полная вожделения, наклонилась к нему и торопливо начала осыпать его жаркими и долгими поцелуями, боясь, как бы не прервался сон его. Но пока она, таким блаженством упоенная, рассудком своим не владеющая, волнуется, лампа ее, то ли по негоднейшему предательству, то ли по зловредной зависти, то ли и сама пожелав прикоснуться и как бы поцеловать столь блистательное тело, брызгает с конца фитиля горячим маслом на правое плечо богу... Почувствовав ожог, бог вскочил и, увидев запятнанной и нарушенной клятву, быстро освободился от объятий и поцелуев несчастнейшей своей супруги и, не произнеся ни слова, поднялся в воздух» (М.: Наука, 1993. С. 184. Пер. М.А. Кузмина).

С. 512. *seine Sach auf Nichts* – свое существование на Ничто (нем.).

Н. А. БЕРДЯЕВ

Духи русской революции

Печатается введение и фрагмент второй главы по первоизданию: Из глубины. Сборник статей о русской революции. М.–Пг.: Русская мысль, 1918.

С. 517. ...в «Легенде о Великом инквизиторе»... – Сочинение Ивана Карамзова, рассказанное им брату Алеше в главе пятой книги пятой (Pro и contra) части второй романа «Братья Карамазовы», называется поэмой «Великий инквизитор» (14, 224). «Легендой» впервые его назвал В.В. Розанов в своем «Опыте критического комментария» (1891).

Н. А. БЕРДЯЕВ

Ставрогин

Печатается по первопубликации: Русская мысль. 1914. № 5. С. 80–89.

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) – философ, публицист, литературный критик и общественный деятель. В эмиграции с 1922 года.

С. 524. *Путь Ставрогина, как и для Ницше, был путем богоотступничества, убийства Бога. Ницше ненавидел Бога...* – В книге «Веселая наука» (1882) Ницше писал (афоризм 125): «Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал:

“Я ищу Бога! Я ищу Бога!” – Поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не верил в Бога, вокруг него раздался хохот. Он что, пропал? – сказал один. Он заблудился, как ребенок, – сказал другой. Или спрятался? Боится ли он нас? Пустился ли он в плавание? эмигрировал? – так кричали и смеялись они вперемешку. Тогда безумец вбежал в толпу и пронзил их своим взглядом. «Где Бог? – воскликнул он. – Я хочу сказать вам это! *Мы его убили* – вы и я. Мы все его убийцы!.. Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами – кто смает с нас эту кровь?.. Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его? Никогда не было совершено дела более великого, и кто родится после нас, будет, благодаря этому деянию, принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история!»

С. 525. *Ангелус Силезиус* (наст. имя и фам. Иоганн Шефлер, 1624–1677) – немецкий поэт-мистик, автор книги философских изречений в стихах «Херувимский странник» (1674) и сборника духовных песен «Священная радость души» (1657).

Ich werfe mich allein... – Я бросаюсь один / В несотворенное море единственного Божества, / Я должен еще через Бога уйти в пустыню, / Сверхбожество – моя жизнь и мой свет (нем.).

В. Ф. ПЕРЕВЕРЗЕВ

Достоевский и революция

(К столетию со дня рождения)

Печатается по первопубликации: Печать и революция. 1921. № 3. С. 3–10.

Переверзев Валериан Федорович (1882–1968) – историк литературы, критик, литературовед.

С. 526. ...так озаглавил одну из своих критических работ... – Статью Д.С. Мережковского «Пророк русской революции» см. в наст. Антологии.

Его перу принадлежит злобный памфлет на Чернышевского. – О рассказе Достоевского «Крокодил», воспринятом журналом «Современник» как пасквиль на Чернышевского, см. в прим. к с. 541.

...в писаниях таких врагов революции, как *Крестовский, Лесков и Маркевич...* – Имеются в виду антиинициалистические сочинения Всеволода Владимировича Крестовского (1840–1895) «Панургово стадо» (1869) и «Две силы» (1874); Николая Семеновича Лескова (1831–1895) «Некуда» (1864) и «На ножах» (1870–1871); Болеслава Михайловича Маркевича (1822–1884) «Марина из Алого Рога» (1873), трилогия «Четверть века назад» (1878), «Перелом» (1880–1881), «Бездна» (1883–1884).

...в статье виднейшего реакционного публициста *Леонтьева...* – Речь идет о статье религиозного мыслителя, писателя, литературного критика и публициста Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891) «О всемирной любви, по поводу речи Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике» (Варшавский дневник. 1880. № 162, 169, 173).

С. 529. *Авсеев Василий Григорьевич* (1842–1913) – русский писатель, автор антинигилистического романа «Злой дух» (1881–1883).

В. В. ВИНОГРАДОВ

Последний день приговоренного к смерти

(*Конец Кириллова*)

Печатается по первопубликации: «Достоевский». Однодневная газета Русского библиологического общества. Пг.: Госиздат, 1921. 30 октября.

Виноградов Виктор Владимирович (1895–1969) – филолог, лингвист, историк литературы, действительный член АН СССР (с 1946).

С. 532. *...речи Фомы Опискина... полны почти буквальными цитатами из «Переписки с друзьями» Гоголя...* – Еще А.А. Краевский, редактор «Отечественных записок», напечатавших в 1859 году «Село Степанчиково», утверждал, что Фома Опискин «напомнил ему Н.В. Гоголя в грустные минуты его жизни» (Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования / Под ред. А.С. Долинина. Л.: Изд-во АН СССР, 1935. С. 525). Вопрос о Гоголе как возможном прототипе Фомы Опискина был детально исследован в статье Ю.Н. Тынянова «К теории пародии» (см.: Ю.Н. Тынянов. Архаисты и новаторы. Л.: Прибой, 1929. С. 412–455). См. также комментарий к «Селу Степанчикову» в ПСС Ф.М. Достоевского (3, 496–516).

Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) – писатель, журналист, историк, переводчик. Выражение Фомы Опискина «Я знаю Русь, и Русь меня знает» взято из исторического романа Н.А. Полевого «Клятва при Гробе Господнем» (1832): «Кто читал, что писано мною доньше, тот, конечно, скажет вам, что квасного патриотизма я точно не терплю, но Русь знаю, Русь люблю, и – еще более, позвольте прибавить к этому, – Русь меня знает и любит».

Кукольник Нестор Васильевич (1809–1868) – писатель и драматург, автор патриотических трагедий, неоднократно упоминавшийся в произведениях Достоевского. См., например, в «Бесах»: «Этот человек, двадцать лет нам пророчествовавший, наш проповедник, наставник, патриарх, Кукольник, так высоко и величественно державший себя над всеми нами, пред которым мы так от души преклонялись, считая за честь, – и вдруг он теперь рыдал, рыдал, как крошечный, нашаливший мальчик в ожидании розги, за которою отправился учитель» (10, 331). Упоминание в «Селе Степанчикове», в реплике Фомы Опискина, о «Переписчике» («А если хотите, из новейших мне более всех нравится “Переписчик” – легкое перо!» – 3, 70) является намеком не на Н.В. Кукольника, а на А.В. Дружинина и его «Письма иногороднего подписчика в редакцию “Современника” о русской журналистике» (1849–1850).

...интересно сопоставление сцены самоубийства Кириллова... с «последним сном» приговоренного к смерти из романа Виктора Гюго... – Роман В. Гюго (1802–1885) Достоевский в предисловии к рассказу «Кроткая» назвал шедевром, «самым реальнейшим и самым правдивейшим произведением из всех им написанных».

...рус. пер. 1830 г. – Скорее всего, Достоевский читал роман В. Гюго по-французски; из русских переводов ему был более близок перевод 1860 года, выполненный братом Михаилом (см.: Светоч. 1860. Кн. III).

С. 534. ...не мог разгадать даже А. Волынский... – Аким Львович Волынский (псевд., наст. имя и фам. Хаим Лейбович Флексер, 1861–1926) – теоретик и историк искусства, литературный, театральный и балетный критик, публицист, автор работ «Человекобог и Богочеловек» (С.-Петербургские ведомости. 1900. 14 августа), «Царство Карамазовых» (СПб., 1901), «Ф.М. Достоевский» (СПб., 1906), в которых творчество Достоевского рассматривается под углом зрения психологических и философских «загадок». См. также прим. к с. 541.

А. С. ДОЛИНИН
«Исповедь Ставрогина»
(В связи с композицией «Бесов»)

Печатается по первопубликации: Литературная мысль. Вып. 1. Пг.: Мысль, 1922. С. 139–162.

Долинин (псевд., наст. фам. Искоз) Аркадий Семенович (1883–1968) – историк литературы, литературовед, издатель Полного собрания писем Ф.М. Достоевского, редактор сборников статей о Ф.М. Достоевском, исследователь его творчества.

С. 535. ...как отмечала старая критика в лице Михайловского... – Имеются в виду работы критика и публициста Н.К. Михайловского (1842–1904). Комментируя роман «Бесы» (Отечественные записки. 1873. № 2), Михайловский писал, что таким героям, как Кириллов и Шатов, Достоевский сообщает свои собственные «эксцентрические идеи». В своей более поздней работе «Жестокий талант» (Отечественные записки. 1882. № 9, 10) Михайловский утверждал: «Отличительным свойством нашего жестокого таланта будет ненужность причиняемого им страдания, беспричинность его и бесцельность. Наш жестокий талант будет именно вышеупомянутою требовательною натурою, которой нужное совсем не нужно, для которой нужное слишком пресно. Формальным образом на архитектуре романа или повести это отразится непомерными и совершенно нехудожественными длиннотами, вводными сценами, отступлениями, во всех тех случаях, когда будет соблазн мучительно пощекотать нервы читателя или подвергнуть жестокому воздействию кого-нибудь из персонажей».

...Страхов понимает под тоном публициста... – В «Воспоминаниях» о Достоевском его соратник по журналам «Время» и «Эпоха» Н.Н. Страхов писал: «Для него главное было подействовать на читателей, заявить свою мысль, произвести впечатление в известную сторону. В этом смысле он был вполне журналист и отступник теории чистого искусства... Федор Михайлович любил журналистику и охотно служил ей, разумеется ясно осознавая, что он делает и в чем отступает от строгой формы мысли и искусства. Он с молодости был воспитан на журналистике и остался ей верен до конца. Он вполне и без разделения примыкал к той литературе, которая кипела вокруг

него, не оставался никогда в стороне от нее» (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 216, 218–219).

...сборнике «Свиток»... – Имеется в виду работа Н.Л. Бродского «Творческая история романа “Бесы”» (см.: Свиток. Кн. 1. М.: Никитинские субботники, 1922. С. 83–119), где были опубликованы фрагменты черновых записей к «Бесам».

С. 538. ...интересную статью Комаровича... – Статью В.Л. Комаровича см. в наст. Антологии.

С. 540. Катков Михаил Никифорович (1818–1887) – публицист, редактор и издатель газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник».

...почти одновременно с окончанием их печатания в «Р. Вестнике»... – Между выходом последних глав «Бесов» в декабрьском номере «Русского вестника» (1872) и появлением отдельного издания романа (23 января 1873 года) прошло чуть больше месяца.

С. 541. ...если они уж раз нашли в «Крокодиле» пародию на Чернышевского... – Газета «Голос» (1865. № 93. 5 апреля), рецензируя рассказ «Крокодил» (Эпоха. 1865. № 2), выдвинула против Достоевского обвинение, что его рассказ представляет памфлет на недавно осужденного Чернышевского. Толкование «Крокодила» как аллегории, в которой осмеяна личная судьба Чернышевского, разделялось и сотрудниками «Современника». Достоевский, став редактором «Гражданина», выступил с опровержением этой версии: «Значит, предположим, что я, сам бывший ссыльный и каторжный, обрадовался ссылке другого “несчастливого”; мало того – написал на этот случай радостный пашквиль. Но где же тому доказательства: в аллегории? Но принесите мне что хотите... “Записки сумасшедшего”, оду “Бог”, “Юрия Милославского”, стихи Фета – что хотите, и я берусь вам вывести тотчас же... что тут именно аллегория о франко-прусской войне или пашквиль на актера Горбунова...» (Дневник писателя, 1873. IV. Нечто личное).

...недавно скончавшегося Герцена... – А.И. Герцен умер 9 (21) января 1870 года.

...едкость карикатуры на некогда любимого... Тургенева... – В письме к брату Михаилу от 16 ноября 1845 года Достоевский писал: «На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слышал) и с первого раза привязался ко мне такую привязанностию, такую дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, – я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец: характер неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе».

...вскоре ставшего опять любимым Тургенева... – Имеются в виду, по-видимому, примирительные слова Достоевского в Пушкинской речи, сказанные по адресу Тургенева после длительной ссоры (см. статью А.С. Долинина «Тургенев в «Бесах»// Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 2 / Под ред. А.С. Долинина. Л.: Мысль, 1924. С. 119–136).

В то время, казалось бы, творчество Достоевского, после работ о нем Розанова, Волынского, Мережковского, Шестова... – К моменту подготовки А.Г. Достоевской юбилейного издания Собрания сочинений Достоевского, в 1906 году, успели приобрести широкую известность: книга В.В. Розанова «Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. Опыт критического комментария» (Русский вестник. 1891. № 1–4), а также его предисловие к Полному собранию сочинений Ф.М. Достоевского в 12 томах (СПб.: Изд. Маркса, 1894. С. V–XXIV), публиковавшееся впоследствии как статья под названием «О Достоевском»; статьи А.Л. Волынского, вошедшие в его книгу «Ф.М. Достоевский»

(СПб., 1906); книги Д.С. Мережковского «Вечные спутники» (СПб., 1897) и «Л. Толстой и Достоевский» (СПб., 1901–1903); книга Л. Шестова «Достоевский и Ницше. Философия трагедии» (СПб., 1903).

С. 542. ...см. мою статью в юбилейной газете «Достоевский». – См.: А.С. Долинин. Зарождение главной идеи Великого инквизитора («Достоевский»). Однодневная газета Русского библиологического общества. Пг., 1921. 30 октября. С. 16–17)

...см. мою статью в февр. № В. литературы... – См.: А.С. Долинин. Блуждающие образы (О художественной манере Достоевского) // Вестник литературы. 1921. № 2. С. 1–3.

С. 545. Для Комаровича это противоречие неустранимое... – См. статью В.Л. Комаровича в наст. Антологии.

С. 546. ...опубликованных в сборнике... – См.: Творчество Достоевского. Сб. статей и материалов / Под ред. Л.П. Гроссмана. Одесса: Всеукр. гос. изд-во, 1921.

Н. Л. БРОДСКИЙ Угасший замысел

Печатается по первопубликации: Угасший замысел. Этюд Н.Л. Бродского // Документы по истории литературы и общественности. Вып. первый. Ф.М. Достоевский. 1. «Исповедь Ставрогина». 2. План «Жития великого грешника». М.: Изд-во Централхива РСФСР, 1922. С. 47–59.

Бродский Николай Леонтьевич (1881–1851) – историк литературы, литературовед.

С. 560. *Ризенкампф Александр Егорович* (1821–1895) – врач, близкий приятель Достоевского в 1840-х годах, автор «Воспоминаний о Федоре Михайловиче Достоевском» (см.: Литературное наследство. М.: Наука, 1973. Т. 86. С. 322–331).

...читаем мы в воспоминаниях кн. В.М. – то есть князя Мещерского Владимира Петровича (1839–1914), писателя, журналиста, издателя журнала «Гражданин».

С. 561. ...за вычетом С. Ковалевской... – Имеются в виду «Воспоминания детства» С.В. Ковалевской (1850–1891), рассказавшей, со слов Достоевского, об одной сцене (имевшей отношение к замыслу «Исповеди Ставрогина») из его романа, задуманного еще в молодости (см.: С.В. Ковалевская. Воспоминания детства // Вестник Европы. 1890. Кн. VIII; ее же. Воспоминания и письма. М.: Изд-во АН СССР, 1961).

Иванова Софья Александровна, в замужестве Хмырова (1846–1907) – любимая племянница Ф.М. Достоевского, дочь его сестры, В.М. Ивановой, адресат его многочисленных писем.

...вроде St. François Fanier... – Здесь неточность: о миссионере Франциске Ксаверии (St. François Xavier), ревностном католике, насаждавшем католицизм на Востоке, одном из основателей ордена иезуитов Игнатия Лойолы, Достоевский писал своей племяннице С.А. Ивановой 25 января (6 февраля) 1869 года из Флоренции (29, кн. 1, 11).

С. 563. ...одному корреспонденту... – Речь идет об Озмидове Николае Лукиче, подписчике «Дневника писателя».

В. Л. КОМАРОВИЧ

Неизданная глава романа «Бесы»

(«Исповедь Ставрогина»)

Печатается по первопубликации: Былое. 1922. № 18. С. 219–226.

Комарович Василий Леонидович (1894–1942) – историк литературы, литературовед.

С. 567. ...Мережковский сохранил как бы первое впечатление от этого чтения... – В книге «Л. Толстой и Достоевский» (часть первая, глава восьмая) Д.С. Мережковский писал: «Существует в рукописи ненапечатанная глава из “Бесов”, исповедь Ставрогина, где, между прочим, он рассказывает о растлении девочки. Это одно из могущественнейших созданий Достоевского, в котором слышится звук такой ужасающей искренности, что понимаешь тех, кто не решается напечатать этого даже после смерти Достоевского: тут что-то, действительно, есть, что переступает “за черту” искусства: это *слишком живо*».

С. 572. *Не раз издавая «Бесы» после 1871 года...* – Здесь неточность: Достоевский смог опубликовать «Бесы» отдельным изданием всего один раз, в 1873 году.

Ю. АЛЕКСАНДРОВИЧ

Матрешкина проблема

«Исповедь Ставрогина» и проблема женской души

Печатается по первопубликации: Ю. Александрович. Матрешкина проблема. «Исповедь Ставрогина» и проблема женской души. М.: Поморье, 1922.

Александрович Ю. (псевд., наст. имя и фам. Потеряхин Александр Николаевич, 1881–?) – критик, историк литературы.

С. 574. *Зрительный зал «Дома Печати»...* – Организатором и председателем Дома печати с 1919 по 1923 год был Вяч. П. Полонский.

Доклад Бродского... – Речь идет о Николае Леонтьевиче Бродском (см. прим. к с. 560).

Леонидов Леонид Миронович (1873–1941) – артист Московского Художественного театра (с 1903), исполнитель роли Дмитрия Карамазова в спектакле МХТ «Братья Карамазовы» (1910).

...издатель «Исповеди Бакунина». – Вяч. П. Полонский (см. прим. к с. 000) в 1920 году опубликовал краткую биографию М.А. Бакунина; в 1922 году появилось исследование «М.А. Бакунин. Жизнь, деятельность, мышление», т. 1. «Бакунин-романтик».

Стеклов (псевд., наст. фам. – Нахамкис) Юрий Михайлович (1873–1941) – публицист, историк, с 1918 по 1925 год – редактор газеты «Известия».

Литовский Осаф Семенович (1892–1971) – драматург, театральный критик, редактор первых советских театральных журналов «Театр и драматургия», «Рабочий и искусство» и др.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) – поэт, писатель, общественный деятель: в 1922 году занимал ответственные посты в Наркомпросе (вместе с А.В. Луначарским), возглавлял Высший литературно-художественный институт.

...страницы, от печатания которых отговорили Достоевского друзья его... – См. «Воспоминания» А.Г. Достоевской (М.: Правда, 1987): «Федору Михайловичу для художественной характеристики Николая Ставрогина необходимо было приписать герою своего романа какое-либо позорящее его преступление. Эту главу романа Катков действительно не хотел напечатать и просил автора ее изменить. Федор Михайлович был огорчен отказом и, желая проверить правильность впечатления Каткова, читал эту главу своим друзьям: К.П. Победоносцеву, А.Н. Майкову, Н.Н. Страхову и др., но не для похвалы, как объясняет Страхов, а прося их мнения и как бы суда над собой. Когда же все они нашли, что сцена “чересчур реальна”, то муж стал придумывать новый вариант этой необходимой, по его мнению, для характеристики Ставрогина сцены» (с. 424).

...против опубликования которых вдовой писателя восстал Кони... – Впервые фрагменты главы «У Тихона» были опубликованы А.Г. Достоевской в издании: Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. Изд. 6-е. Т. 8. Бесы. Роман в 3-х частях. Материалы к роману «Бесы» (из «Записных книжек» Ф.М. Достоевского). СПб.: Тип. П. Пантелеева, 1906. Обстоятельства, связанные с первой публикацией материалов к роману «Бесы», см. в наст. Антологии (В.Л. Комарович. Незданная глава романа «Бесы»).

Кони Анатолий Федорович (1844–1927) – судебный и общественный деятель, публицист и литератор; случайно познакомившись с Ф.М. Достоевским в 1873 году, на долгие годы сохранил дружбу с ним, а после смерти писателя с его вдовой.

...что-то говорили Толстой и Тургенев... – Отвечая Н.Н. Страхову на «разоблачительное» письмо о Достоевском, Л.Н. Толстой писал: «Чем я больше живу, тем больше ценю людей без заминки. Вы говорите, что помирились с Тургеневым. А я очень полюбил. И забавно, – за то, что он был без заминки и свезет; а то рысак, да никуда на нем не уедешь, если еще не завезет в канаву. И Прессансе и Достоевский оба с заминкой. И у одного вся ученость, у другого – ум и сердце пропали ни за что. Ведь Тургенев и переживет Достоевского – и не за художественность, а за то, что без заминки» (Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. С. 309). В письме к М.Е. Салтыкову-Щедрину от 24 сентября (6 октября) 1882 года И.С. Тургенев писал: «Прочел я также статью Михайловского о Достоевском (“Жестокий талант”). Он верно подметил основную черту его творчества. Он мог бы вспомнить, что и во французской литературе было схожее явление, а именно пресловутый маркиз де Сад».

...писал друг Достоевского Н.Н. Страхов... – См. прим. к с. 506.

С. 575. ...кто видел Леонидова в «Каине»... – Спектакль «Каин» по Байрону был поставлен К.С. Станиславским на сцене МХТ в 1920 году.

...что давал в Ставригине Качалов... – «То, что сделал г. Качалов в первых нескольких сценах “Николая Ставрогина”, великолепно, очень ценно, – писал Н. Эфрос. – Ему не дали почти нужных для сценической характеристики слов, – он заменил их игрою своего неожиданно загримированного лица. Он замечательно молчал, замечательно слушал. И когда молчал, когда слушал, – рассказывал так много о своих самых сокровенных переживаниях... Особенно удачно слушал г. Качалов Шатова в знаменитом разговоре о народе-богоносце. Такова же была сцена перед тем, как Ставрогин уходит к Шатову и к Лебядкиным. Но Ставригин много шире сейчас обозначенного. У исполнителя, может быть по вине отведенного ему текста, совсем, для примера, ушла и напряженная до край-

них пределов, “оргийная”, по определению Мережковского, животная жизнь, ушла и та злоба, в которой у него “выходил прогресс против Лермонтова”, и оттого Ставрогин был в сценической характеристике обуженный и несколько однобокий» (Рампа и жизнь. 1913. № 43. 27 октября. С. 8–9).

Критика советского времени, находившаяся под влиянием оценок Горького, отмечала: «Ставрогин, этот живой мертвец, был насквозь враждебен органически здоровой, ясной, жизнелюбивой, глубоко гуманной душе Качалова... Все в этом образе было до конца чуждым Качалову. Его внутреннее самочувствие подсказывало ему, что из роли ничего не вышло» (Василий Иванович Качалов. Сборник статей, воспоминаний, писем. М.: Искусство, 1954. С. 528–529).

...делало его смесью Спинозы и Ноздрева... – Спиноза, Барух (1632–1677) – голландский философ, с учением которого Достоевский мог быть знаком по переводу «Истории философии» Куно Фишера (отрывок из книги Фишера «Учение Спинозы о Боге» в переводе Н.Н. Страхова был опубликован в журнале «Время». 1861. № 9). В черновиках к роману «Подросток» Аркадий Долгорукий учит мать и Лизу философии «по Спинозе» (16, 264, 267). В черновиках к «Бесам» (запись между 26 февраля и 2 марта 1870 года) Достоевский писал в связи с образом Ставрогина: «Человек легкомысленный, занятый одной игрою жизнью, изящный Ноздрев, делает ужасно много штук, и благородных, и пакостных, и он-то вдруг и застреливается...» (11, 119).

...поручиком Луженовским, изнасиловавшим и выпоротившим Спиридонову... – Спиридонова Мария Александровна (1884–1941) – один из лидеров левых эсеров. В 1906 году по решению тамбовской организации эсеров в г. Козлове смертельно ранила Г.Н. Луженовского, возглавлявшего монархическую организацию и карательные экспедиции в Тамбовской губернии в период 1905–1907 годов. После приговора к смертной казни (12 марта 1906 года), замененной бессрочной каторгой, отбывала заключение на Нерчинской каторге. После Февральской революции 1917 года стала одним из организаторов партии левых эсеров в Петрограде, была участником мятежа левых эсеров в 1918 году, арестована, приговорена к году заключения, в день приговора амнистирована. С 30-х годов жила в Уфе, оставила воспоминания о Нерчинской каторге.

...написавшим юмовский «Диалог о религии». – Юм, Дейвид (1711–1776) – английский философ, историк, экономист, публицист, сформулировавший основные принципы агностицизма. «Dialogues concerning Natural Religion» («Диалоги о естественной религии») были написаны в 1751 году, изданы посмертно в 1779 году. На русском языке «Диалоги» впервые были опубликованы в 1908 году в переводе С.М. Роговина.

Пугает... а нам, – повторяем слова Льва Толстого, – не страшно. – 5 июля 1907 года А.С. Суворин записал в дневнике, со слов П.А. Сергиенко, мнение Л.Н. Толстого о рассказах Леонида Андреева: «Андреев всё меня пугает, а мне не страшно» (Дневник А.С. Суворина. М.–Л., 1923. С. 357).

...было страшнее, когда мы читали андреевские «В тумане», «Мысль» и «Бездну». – Речь идет о рассказах Леонида Николаевича Андреева (1871–1916) «В тумане» (1902), «Мысль» (1902), «Бездна» (1902).

С. 576. ...из-под опущенных ресниц.... – неточная цитата из стихотворения Ф.И. Тютчева «Люблю глаза твои, мой друг» (1836).

С. 578. ...Брюсов, который в своей автобиографии написал... – О своих первых эротических опытах В. Брюсов писал в автобиографической повести «Моя юность» (1900).

...это же мы знаем от Бальмонта... – См. автобиографические сочинения К.Д. Бальмонта (1867–1942) «Под новым серпом» (1923) и «Воздушный путь» (1923).

Мы знаем эпоху в России расцвета свободной любви, эпоху «огарков» и «лиг»... – Речь идет об эпохе между двух революций, отмеченной в том числе и повестью Скитальца (Степана Гавриловича Петрова, 1869–1941) «Огарки» (1906), посвященной людям «дна», «огаркам», проводившим время в «вертепе Венеры погребальной» в пьянстве и кутежах (подзаголовок повести – «Типы русской богемы»). Слово «огарки» быстро вошло в обиход, стало нарицательным. Эпоха свободных нравов в России ознаменовалась также созданием всевозможных ассоциаций – «лиг свободной любви».

С. 579. ...*послесловием Гроссмана...* – О Леониде Петровиче Гроссмани см. прим. к с. 606.

С. 560. *Вейнинггер, Отто* (1880–1903) – венский психолог. В книге «Пол и характер» (1902) он развивал теорию бисексуальности и доказывал, что женское начало, а следовательно, и женщина не представляют собой метафизической ценности, что для нее непостижимо мужское сознание, так как она лишена памяти, фантазии и «аморальна». Сексуальной мистикой Вейнингера увлекались в России в период 1905–1913 годов.

Мёбиус, Пауль Юлиус – профессор Лейпцигского университета, специалист по нервным болезням, автор книги «Гигиена нервных людей» (рус. пер.: Киев–Харьков, 1894), а также работы «Пол и неучтивость. Критический разбор книги “Пол и характер” Отто Вейнингера» (М.: Сфинкс, 1909).

С. 561. *Мар, Анна* (псевд., наст. имя и фам. Анна Яковлевна Бровар, в замужестве – Леншина, 1887–1917) – русская писательница (ее героинями всегда выступали молодые, чувственные, религиозно экзальтированные польки), автор многочисленных рассказов и повестей на эротические темы, затрагивавших проблемы эмансипации плоти и сексуальных аномалий; один из ведущих сценаристов дореволюционного кино. Роман «Женщина на кресте» (М.: Современные проблемы, 1916), вышедший с огромными цензурными изъятиями, вызвал скандал в связи с натуралистическим изображением садизма, мазохизма и лесбийской любви и был назван современными критиками «порнографической грязью». В авторском предисловии к роману говорилось: «Я принадлежу к людям, которые слишком эгоистичны, чтобы заботиться о чужой нравственности, и слишком равнодушны, чтобы оберегать свою собственную. Я боюсь не обвинений в разврате, не насмешек, не брани, не критики, не читателя, я боюсь мысли, что могла исполнить этот роман ярче, чем исполнила».

...*о деле профессора Мережковского...* – Речь идет, по-видимому, о скандале, в котором был замешан брат Д.С. Мережковского, К.С. Мережковский, профессор зоологии и ботаники С.-Петербургского университета.

С. 582. *Павел Рыбаков* – персонаж рассказа Л. Андреева «В тумане».

С. 583. *Позднышев* – персонаж повести Л.Н. Толстого «Крейцерова соната» (1887–1889).

...*андреевских старух из «Жизни человека»...* – См. сцену из первой картины («Рождение Человека и муки матери») в драме Л. Андреева «Жизнь человека» (1906).

С. П. БОБРОВ

«Я, Николай Ставрогин...»

Печатается по первопубликации: Красная новь. 1922. № 2 (6). Март-апрель. С. 332–336.

Бобров Сергей Павлович (1889–1971) – поэт, критик, стиховед, переводчик, автор социально-утопических романов.

С. 584. *Мы не знаем и не узнаем, каков был тот тяжелый материал, который послужил жизненным постулатом... для «Пиковой дамы» и маленьких трагедий...* – О «жизненных постулатах» «Пиковой дамы» и маленьких трагедий А.С. Пушкина писали в 20-е годы М.О. Гершензон, В.Ф. Ходасевич, Н.О. Лернер, А. Слонимский.

Альтенберг, Петер (псевд., наст. имя и фам. Рихард Энглендер, 1859–1919) – австрийский писатель, один из видных представителей австрийского импрессионизма, мастер малых форм, стихотворений в прозе, афоризмов.

...недаром брюзгливо косился Тургенев на Достоевского. – В письме к И.П. Борисову из Баден-Бадена от 30 сентября 1866 года по поводу неприятия психологической манеры Достоевского И.С. Тургенев писал: «А “Преступление и наказание” Достоевского я отказался читать: это что-то вроде продолжительной колики – в холерное время помилуй Бог».

Достоевский стоит в определенной связи с Гофманом... – О своем отношении к творчеству немецкого писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822) Достоевский писал брату Михаилу 9 августа 1838 года: «Я сам читал в Петергофе по крайней мере не меньше твоего. Весь Гофман русский и немецкий (то есть непереуменьшенный “Кот Мурр”)... Если ты читал всего Гофмана, то наверно помнишь характер Альбана. Как он тебе нравится? Ужасно видеть человека, у которого во власти непостижимое, человека, который не знает, что делать ему, играет игрушкой, которая есть – Бог!» (28, кн. 1, 51). В статье 1861 года «Три рассказа Эдгара Поэ» Достоевский писал: «Гофман неизмеримо выше Поэ как поэт. У Гофмана есть идеал, правда иногда не точно поставленный; но в этом идеале есть чистота, есть красота действительная, истинная, присущая человеку. Это всего виднее в его нефантастических повестях, каковы, например, “Мейстер Мартин” или изящнейшая, прелестнейшая повесть “Сальватор Роза”. Мы уже не говорим о его лучшем произведении “Кот Мурр”. Что за истинный, зрелый юмор, какая сила действительности, какая злость, какие типы и портреты, и рядом – какая жажда красоты, какой светлый идеал!» (19, 89).

С. 585. *...как говорил Вольфганг Гете (и как повторил Шопенгауэр)...* – Подобные взгляды на искусство Гёте провозглашал в работах «Изящные искусства» (1772), «О пластическом подражании прекрасному» (1789), «Максимы и рефлексии». Свое отношение к искусству немецкий философ Артур Шопенгауэр (1786–1861) изложил в книге «Мир как воля и представление» (1919), где в § 36–50 («Основные идеи эстетики») искусство рассматривается как средство, существенно приближающее людей к познанию Мировой Воли и к освобождению как людей, так и самой Воли от тягот и страданий существования. Сравнивая аристотелевское и платоновское понятия гениальности в искусстве, Шопенгауэр писал: «Первый подобен могучей буре, которая несется без начала и цели, все преклоняя, шатая и унося с собою; второй – покойному солнечному лучу, который перерезывает путь

этой буре и которого она нимало не колеблет. Первый подобен бесчисленным, сильно мягущимся брызгам водопада, вечно меняющимся, ни на мгновение не отдыхающим; второй – на этом бушующем смятии тихо почившей радуге» (§ 36).

С. 586. *...травля людей диким зверьем из ложи Нерона...* – Речь идет о гонениях на первых христиан, которых при римском императоре Нероне (37–68) подвергали страшным мучениям: одетые в звериные шкуры, они растерзывались собаками, другие пригвождались к кресту, третьих завертывали в одежду, пропитанную горючими веществами и затем поджигали; четвертых, намазанных смолой и салом, использовали как освещение на ночных состязаниях в цирке (что называлось «факелы Нерона»).

...в том же кошмаре приснившаяся еще меньше девочка... – Имеется в виду сон Свидригайлова о пятилетней девочке с «нахальным лицом продажной камелии из француженок». «Как! пятилетняя! – прошептал в настоящем ужасе Свидригайлов, – это... что ж это такое?» (6, 393).

С. 587. *...первый русский имажинист капитан Лебядкин...* – О принципе «поедания образом смысла», свойственного первым имажинистам, а также об их литературно-поэтических манифестах см.: В. Львов-Рогачевский. Имажинизм и его образоносцы. М., 1921.

Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ

Русская стихия у Достоевского

Печатается по первопубликации: Б.П. Вышеславцев. Русская стихия у Достоевского. Берлин: Обелиск, 1923.

Вышеславцев Борис Петрович (1877–1954) – философ, юрист. В эмиграции с 1922 года.

das Russentum – русскость (нем.).

Шпенглер, Освальд (1880–1936) – немецкий философ, один из основателей современной философии культуры, историк, публицист, автор книги «Закат Европы» (1920–1922), имевшей сенсационный успех.

das radikale Böse – радикальное зло (нем.).

С. 588. *О чем так воешь, ветер ночной...* – здесь и далее неточная цитата из стихотворения Ф.И. Тютчева «О чем ты воешь, ветер ночной?» (1836).

С. 590. *...мы находим материал к «Бесам»...* – Приведенная запись в рабочей тетради, датированная Достоевским 1 января 1870 года, является материалом не к «Бесам», а к «Житию великого грешника» (9, 126).

С. 591. *...какое-то Колумбово сияние «Нового света»...* – См. у Достоевского: «Откройте жаждущим и воспаленным Колумбовым спутникам берег Нового света, откройте русскому человеку русский Свет, дайте отыскать ему его золото, это сокровище, сокрытое от него в земле!» (8, 453).

С. 592. *Все, все, что гибелью грозит...* – здесь и далее цитата из маленькой трагедии А.С. Пушкина «Пир во время чумы» (1830).

С. 595. *Мы в небе скоро устаем...* – строки из стихотворения Ф.И. Тютчева «Проблеск» (1825).

С. 596. *...русская стихия, одержимая бесом деспотизма, «похотью государства» (выражение Августина)...* – О «граде земном», то есть о государст-

венности, основанной на насилии (государственная власть – «большая разбойничья шайка»), Августин Блаженный Аврелий (354–430, христианский теолог, один из представителей западной патристики) писал в трактате «О граде Божием» (410).

С. 597. *...по выражению В. Соловьева...* – В «Чтениях о Богочеловечестве» (Чтение второе) Вл. С. Соловьев писал: «Человеческое я безусловно в возможности и ничтожно в действительности. В этом противоречии зло и страдание, в этом несвобода, внутреннее рабство человека. Освобождение от этого рабства может состоять только в достижении того безусловного содержания, той полноты бытия, которая утверждается бесконечным стремлением человеческого я».

С. 598. *Сбились мы. Что делать нам!* – строки из стихотворения А.С. Пушкина «Бесы» (1830).

С. 599. *Воплощенной укоризной...* – неточная, вслед за Достоевским, цитата из лирической комедии Н.А. Некрасова «Медвежья охота» (1866).

С. 600. *А что, если правда мзонична русская жизнь...* – Мзоничный – букв.: относящийся к сфере несуществования (от греч. Мзон – несуществующий).

С. 601. *В разврате каменейте смело!* – строка из стихотворения А.С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

Паситесь, добрые народы... – неточная цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Свободы сеятель пустынный» (1823).

С. 602. *Затем, что мудрость нам единая дана...* – строки из стихотворения Вл. Ф. Ходасевича (1886–1939) «Путем зерна» (1917).

Как из-за Уральских гор... – цитата из книги историка литературы и общественной мысли М.О. Гершензона (1869–1925) «Мудрость Пушкина» (М., 1919. С. 36–37).

Борджия, Цезарь (1476–1507) – политический деятель Италии эпохи Возрождения, герой трактата Макиавелли «Государь».

Челлини, Бенвенуто (1500–1571) – знаменитый итальянский скульптор, ювелир и медальер, автор известной автобиографии «Жизнь Бенвенуто...».

С. 603. *...мощь души, указал еще Августин, есть концентрация.* – См.: Исповедь. Кн. одиннадцатая.

С. 604. *...в своей замечательной и еще не оцененной книге...* – О книге религиозного философа и общественного деятеля С.Л. Франка (1877–1950) «Душа человека» (М., 1917), ставшей его докторской диссертацией, см.: Н.О. Лосский. История русской философии. Пер. с англ. М., 1954; В.В. Зенковский. История русской философии. В 2-х тт. Париж, 1989.

Художник, говорил он, творит в некотором божественном умоисступлении. – В платоновском диалоге «Критон» Сократ утверждает, что «все хорошие эпические поэты слагают свои прекрасные поэмы не благодаря искусству, а лишь в состоянии вдохновения и одержимости... Поэт – это существо легкое, крылатое и священное, и он может творить лишь тогда, когда сделается вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка; а пока у человека есть этот дар, он не способен творить и пророчествовать» (534, е, в).

...поэзия... должна быть глуповата... – цитата из письма А.С. Пушкина к П.А. Вяземскому от мая (не позднее 26-го) 1826 года.

Бывало, милые предметы... – неточная цитата из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (часть I, строфа 57).

Как океан объемлет шар земной... – неточная цитата из стихотворения Ф.И. Тютчева «Как океан объемлет шар земной» (1830).

Das Deutshtum – немецкость (нем.).

С. 605. *Да, так любить, как любит наша кровь...* – строфы из поэмы А.А. Блока «Скифы» (1918).

С. 606. *Кто, волны, вас остановил...* – строфы из стихотворения А.С. Пушкина «Кто, волны, вас остановил» (1823).

Л. П. ГРОССМАН
Стилистика Ставрогина
К изучению новой главы «Бесов»

Печатается по первопубликации: Л. Гроссман. Стилистика Ставрогина. К изучению новой главы «Бесов» // Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долинина. Сб. второй. М.–Л.: Мысль, 1924. С. 139–148.

Гроссман Леонид Петрович (1888–1965) – историк литературы, литературовед, писатель, биограф Ф.М. Достоевского.

С. 607. *Василий Великий* (329–378) – Василий Кесарийский, епископ г. Кесария (Малая Азия), один из отцов церкви, видный деятель греческой церкви в эпоху, когда закладывались основы православной догматики, возникало патриаршество; церковный писатель. Первое полное собрание сочинений относится к XVII веку.

С. 608. *...знаменитого английского трактата «Убийство как одно из изящных искусств»...* – Речь идет о книге английского писателя Томаса де Квинси (1795–1859), которая, по-видимому, была хорошо известна Достоевскому (см.: М.П. Алексеев. Ф.М. Достоевский и книга де Квинси // Ученые записки Высшей школы. Одесса, 1922).

С. 609. *...кафедральное красноречие геттингенских профессоров...* – Имеется в виду рассказ Ставрогина в «Исповеди»: «...просидел целый годовой курс в Геттингене» (ср. повествование от Хроникера: «Передавали тоже, что он одну зиму слушал лекции в одном немецком университете»).

...детальность устного гептамерона Прохора Малова... – Имеются в виду гипотетические фивольные рассказы персонажа «Исповеди Ставрогина» Прохора Малова, о котором говорится: «Прохор Малов заметил, что “когда Николай Всеволодович довольны и не хандрят, то все наши веселы и умно говорят”». О Прохоре Малове известно также, что «теперь», то есть на момент составления исповеди, он умер.

С. 611. *Фредерик Сулье, которым интересовался молодой автор «Двойника»...* – По свидетельству Д.В. Григоровича (Д.В. Григорович. Литературные воспоминания. М.: ГИХЛ, 1961. С. 88), Достоевский одно время очень пристрастился к романам французского писателя Фредерика Мельхиора Сулье (1800–1847), «особенно восхищали его “Записки демона”» (то есть «*Les mémoires du Diable*» – «Записки дьявола», социально-авантюрный роман, 1837–1838). Предположительно Достоевский читал и роман «*Confession générale*» («Всеобщая исповедь», 1839).

Тогда же появился известный роман Альфреда де Мюссе... – Трудно утверждать положительно, что к моменту работы над «Бесами» Достоевский был знаком с романом Альфреда де Мюссе (1810–1857) «Исповедь сына века» (Paris,

1836). В записной книжке Достоевского 1874–1875 годов (27, 111) имеется запись: «NB. Книги в Эмской библиотеке прочитать, если будет время». В перечне книг, восьмой строкой, значится: «NB. *Musset Alfred. La confession d'un enfant du siècle*».

Незадолго перед тем была переведена на русский язык монография Томаса Квинси... – Русский перевод автобиографической книги Томаса де Квинси «Исповедь англичанина-опиомана» («*Confessions of an English opium-eater*», 1822) появился в 1834 году.

Одних из поздних романов Жорж Санд... – Единственное упоминание о романе Жорж Санд (1804–1876) «*La confession d'une jeune fille*» (Исповедь девушки. Paris, 1865) как о книге, которую, «если будет время», надо прочесть, также содержится в записной книжке Достоевского 1874–1875 годов (27, 111).

С. 612. *В конце сороковых годов вышла книга Прудона... –* Книги французского экономиста и социолога Пьера Жозефа Прудона (1809–1865) находились в поле зрения Достоевского с молодости: при обыске и аресте его в 1849 году была обнаружена работа «О пользе празднования воскресенья» (1839), взятая, по-видимому, из библиотеки Петрашевского, в которой насчитывалось 15 сочинений Прудона. Книгу «*Les confessions d'un révolutionnaire*» (Paris, 1849) Достоевский мог прочесть позднее.

Две классические работы этого типа... – Книга св. Августина «*Confessions*» упоминалась в записной книжке Достоевского 1875–1876 годов в перечне других книг, необходимых для работы (см. 27, 113). Мемуарная книга «Исповедь» (1782–1789) французского философа, писателя и политического мыслителя Жан-Жака Руссо (1712–1778) упоминалась Достоевском еще в «Неточке Незвановой»: «Жан-Жак не авторитет. Жан-Жак не смел говорить о воспитании, не имел права на то. Жан-Жак Руссо отказался от собственных детей, сударыня! Жан-Жак дурной человек, сударыня!» (2, 216).

Белинский отмечает в своих письмах... – В письме к П.В. Анненкову от 15 февраля 1848 года В.Г. Белинский писал: «Из Руссо я только читал его “Исповедь” и, судя по ней... возымел сильное омерзение к этому господину. Он так похож на Достоевского, который убежден глубоко, что все человечество завидует ему и преследует его. Жизнь Руссо была мерзка, безнравственна».

Ich Erzählung – повествование «от я» (нем.).

С. 613. *Je ne me souviens pas d'avoir pris de ma vie un liard... –* Ни в детстве, ни в зрелом возрасте я не помню, чтобы когда-нибудь украл у кого-либо хоть ливр, за одним исключением, когда без малого пятнадцать лет назад украл семь ливров и десять су (фр.) (Ж.-Ж. Руссо. Избр. соч. в 3-х тт. Т. III. М.: ГИХЛ, 1961. С. 39).

Л. П. ГРОССМАН Спешнев и Ставрогин

Печатается по первопубликации: Каторга и ссылка. 1924. № 4 (11). С. 130–136.

С. 614. *...главный герой романа, списанный в основном с Бакунина... –* Докладом Л.П. Гроссмана «Бакунин и Достоевский», прочитанным в Обществе любителей российской словесности 25 февраля 1923 года и напечатанным затем в журнале «Печать и революция» (1923. № 4), была открыта широкая полемика о

прототипах Ставрогина (см.: Спор о Бакунине и Достоевском. Статьи Л.П. Гроссмана и Вяч. Полонского. Л.: Госиздат, 1926).

...эта любопытная и колоритная фигура служила Тургеневу прототипом для Базарова. – В развернутой авторецензии на «Отцов и детей» Тургенев писал (письмо к К.К. Случевскому от 14 (26) апреля 1862 года): «Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса. Вглядитесь в лица Николая Петровича, Павла Петровича, Аркадия. Слабость и вялость или ограниченность. Эстетическое чувство заставило меня взять именно хороших представителей дворянства, чтобы тем вернее доказать мою тему: если сливки плохи, что же молоко?.. Все истинные отрицатели, которых я знал – без исключения (Белинский, Бакунин, Герцен, Добролюбов, Спешнев и т. д.), происходили от сравнительно добрых и честных родителей. И в этом заключается великий смысл: это отнимает у деятелей, у отрицателей всякую тень личного негодования, личной раздражительности. Они идут по своей дороге потому только, что более чутки к требованиям народной жизни».

С. 615. ...под непосредственным влиянием коммуниста Вейтлинга... – Объясняя Следственной комиссии свои политические и идейные пристрастия, Н.А. Спешнев указал на эволюцию, происшедшую в нем, – от юношеского либерализма «вследствие чтения французских историков» к социализму. Среди петрашевцев Спешнев слыл и сам называл себя коммунистом. С деятельностью Вильгельма Вейтлинга (1808–1871), немецкого коммуниста-утописта и революционера, Спешнев мог познакомиться во время пребывания в Швейцарии, где перед революцией 1848 года находился в эмиграции и Вейтлинг (см.: В.И. Семеvский. М.В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. М., 1922. Автор также высказывает предположение о возможном влиянии на Спешнева учения Теодора Дезами, 1803–1850, представителя французского «народного коммунизма»).

По описанию Огаревой-Тучковой... – Наталия Алексеевна Огарева-Тучкова (1829–1913), жена Н.П. Огарева (с 1857 года гражданская жена А.И. Герцена), познакомилась со Спешневым вечером 22 апреля 1849 года, накануне ареста петрашевцев: в гости к Н.П. и Н.А. Огаревым Спешнева привел К.Д. Кавелин (см.: Н.А. Огарева-Тучкова. Воспоминания. 1848–1870. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1903. С. 67).

По показанию петрашевца Момбелли... – Петрашевец Николай Александрович Момбелли (1823–1891), принадлежавший к наиболее радикально настроенной группе кружка С.Ф. Дурова, по конфирмации был приговорен к 15 годам каторги, которые отбывал вместе со Спешневым в Александровском сереброплавильном заводе Нерчинского округа.

...блондин-шарлатан Эдмонд Хоецкий... – По свидетельству Бакунина, из всего круга заграничных знакомых ближе всего к Спешневу был Карл Эдмонд Хоецкий (1822–1899) – польский эмигрант, журналист, писатель, драматург, который в 1844 году покинул Польшу и поселился в Париже. Спешнев познакомился с ним во время своего пребывания за границей; по возвращении в Петербург переписывался с ним и собирался составить русскую историю для напечатания в заграничной типографии, которую Хоецкий намеревался устроить в Париже. (Письма Спешнева к Хоецкому см.: Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М.: Госполитиздат, 1953. С. 477–504.)

...аристократической партии Чарторыйского... – Чарторыйский, Адам Юрий (1770–1861) – лидер польской аристократической эмиграции в Париже.

...некая госпожа Савельева, рожденная Цехановецкая... – Об Анне Феликсовне Савельевой (?–1844), гражданской жене Спешнева, см.: В.Р. Лейкина-

Свирская. Петрашевец Н.А. Спешнев в свете новых материалов // История СССР. 1978. № 4. С. 128–140.

С. 616. *В.И. Семецкий допускает...* – См. прим. к с. 615.

В бумагах Спешнева найден проект подписки... – Текст «Чернового проекта обязательной подписки» опубликован в Докладе генерал-аудиториата по делу петрашевцев (см.: Петрашевцы. Сборник материалов / Под ред. П.Е. Щеголева. Т. 3. М.–Л.: Госиздат, 1928. С. 52).

Достоевский, сблизившись со Спешневым, называл его своим Мефистофелем. – Здесь и далее излагается история знакомства Достоевского со Спешневым по тексту «Воспоминаний» С.Д. Яновского (см.: Русский вестник. 1885. № 4. С. 796–819).

С. 617. *Печальны были наши встречи...* – строки из стихотворения А.С. Пушкина «Демон» (1823).

Опубликованное недавно письмо А. Майкова... – Речь идет о письме А.Н. Майкова (1821–1897), поэта и ближайшего друга Ф.М. Достоевского, к П.А. Висковатову, датированном 1885 годом и впервые опубликованном Е.Б. Покровской (см.: Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 1 / Под ред. А.С. Долинина. Пг.: Мысль, 1922. С. 266–277).

...наружность его никогда не изменяла выражения. – Имеется в виду высказывание о Спешневе замешанного в деле петрашевцев золотопромышленника Р.А. Черношвитова (см.: Доклад генерал-аудиториата... С. 241).

С. 618. *...так в современности противостояли Достоевскому Нечаев и Бакунин...* – Здесь очевидная натяжка: в отношении Нечаева к Бакунину вовсе не было той фанатической влюбленности, какой отмечено отношение Верховенского к Ставрогину. Скорее как раз Бакунин проявлял к Нечаеву (которого называл «прелестным юным фанатиком, верующим без Бога и героем без фраз») повышенный, экзальтированный интерес. «Я вас любил глубоко и Вас люблю до сих пор, Нечаев, я горячо верил, слишком верил в Вас», – писал Бакунин Нечаеву даже тогда, когда для любви оставалось уже слишком мало оснований (см. об этом: Н. Пирумова. Бакунин. М.: Молодая гвардия, 1970. С. 292).

...то были двух бесов изображения... – строка из стихотворения А.С. Пушкина «В начале жизни школу помню я...» (1830).

Воплощая Бакунина... – «Гипотеза “Бакунин – Ставрогин” должна быть сдана в архив, несмотря на обольстительность, с какой облек ее в плоть и кровь талантливый автор», – возражал Л.П. Гроссману Вяч. П. Полонский (Спор о Бакунине и Достоевском. С. 71).

ВЯЧ. П. ПОЛОНСКИЙ

Николай Ставрогин и роман «Бесы»

Печатается по первопубликации: Печать и революция. 1925. № 2. С. 79–104.

Полонский (псевд., наст. фам. – Гусин) Вячеслав Павлович (1886–1932) – историк литературы, литературный критик, журналист.

С. 619. *Достоевский следует по стопам Стебницкого...* – Антиинигилистический роман Н.А. Лескова «Некуда» (1864) был опубликован под псевд. М. Стебницкий и переиздавался при жизни автора пять раз. Резко негатив-

ная оценка «Некуда» и его автора исходила из радикально-демократических кругов. «На таких джентльменов, как гг. Писемский, Ключников, Стебницкий, все здравомыслящие люди, – заявлял, например, Д.И. Писарев, – смотрят как на людей отпетых. С ними не следует рассуждать о направлениях, их обходят с тою осторожностью, с какой благоразумный путник обходит очень топкое болото... Найдется ли теперь в России – кроме “Русского вестника” – хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь выходящее из-под пера г. Стебницкого и подписанное его фамилиею? Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами г. Стебницкого?» (Прогулка по садам российской словесности // Русское слово. 1864. № 3).

С. 620. *С кого они портреты пишут?..* – строки из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840).

С. 621. *...пародийными элементами «Бесов» называли...* – О пародии на повесть И.С. Тургенева «Призраки» и элегию «Довольно» см.: А.С. Долинин. Тургенев в «Бесах» // Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долинина. Сб. второй. С. 119–138. О пародии на стихотворение Н.П. Огарева «Студент» см.: Ю.Г. Оксман. Судьба одной пародии Достоевского // Красный архив. 1923. Т. III. С. 301–303. О пародии на письма Т.Н. Грановского, известные Достоевскому по биографической книге А.В. Станкевича (М., 1869), см.: 12, 169–178.

...Петр Степанович называет Шигалева: «господин Фурье»... – Свое отношение к учению французского социалиста-утописта Шарля Фурье (1772–1837) Достоевский изложил в «Объяснениях» по делу петрашевцев (18, 133–134).

...проявляя большое спокойствие... – Здесь, скорее всего, опечатка: по смыслу правильно – беспокойство или беспокойство.

С. 623. *Ave, Caesar, moritute te salutant!* – Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя! (лат.)

С. 624. *...биографами не опровергнуты еще показания...* – О несостоятельности легенды, будто Достоевский был высечен на каторге, когда пытался вступить за товарищей по несчастью, писал еще О.Ф. Миллер, указывая, что «Ф.М. прямо не признавал в своей каторжной жизни этого случая, с которым легенда традиционно связывает начало его эпилептического недуга» (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 139).

С. 625. *...в другом месте обозвал великого критика...* – В письме к Н.Н. Страхову от 23 апреля (5 мая) 1871 года Достоевский писал: «Смрадная букашка Белинский (которого вы до сих пор цените) именно был немощен и бессилен талантишком, а потому и проклял Россию и принес ей сознательно столько вреда...» В письме к Н.Н. Страхову от 18(30) мая 1871 года Достоевский повторил: «Я обругал Белинского более как явление русской жизни, нежели лицо: это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни. Одно извинение – в неизбежности этого явления».

...в одном из неопубликованных черновиков к «Бесам»... – Впервые процитированный фрагмент был опубликован в изд.: Записные тетради Ф.М. Достоевского / Подготовка к печати и комментарии Е.Н. Коншиной. М.–Л.: Academia, 1935).

С. 626. *Мерзавцы дразнили меня...* – фрагмент из дневника Достоевского 1881 года (27, 48).

С. 628. *...ограниченно-злые писания Стебницкого...* – См. прим. к с. 526.

А. Л. БЕМ

Эволюция образа Ставрогина

(К спору об «Исповеди Ставрогина»)

Печатается по изданию: O Dostojevském. Sborník statí a materiálů. Praha, 1972. С. 84–130. Впервые в сб.: Труды 1-го Съезда Русских академических организаций за границей. София, 1931. С. 177–213.

С. 640. *...в связи с чтением статьи Данилевского «Россия и Европа»...* – О Данилевском Николае Яковлевиче (1822–1885), философе, публицисте, с которым Достоевский познакомился в 1848 году на «пятницах» у Петрашевского, и о его книге «Россия и Европа» (1869) он писал в письме к Н.Н. Страхову от 30 марта 1869 года: «Статья же Данилевского, в моих глазах, становится всё более важной и капитальной. Да ведь это – будущая настольная книга всех русских надолго; – и как много способствует тому язык ее и ясность его, популярность его, несмотря на строго научный прием... Она до того совпала с моими собственными выводами и убеждениями, что я даже изумляюсь, на иных страницах, сходству выводов...»

С. 641. *...католический энтузиаст-священник...* – См. прим. к с. 561.

С. 646. *...образ доктора-филантропа Гааза...* – Ф.П. Гааз (1780–1853), старший врач московских тюремных больниц, раздавший все свое состояние на благотворительные цели, воспринимался Достоевским как образ идеального деятеля, способного влиять на человеческие души, которого, однако, люди «практические» привыкли воспринимать только как «сумасшедшего безумца» (см. подготовительные материалы к «Преступлению и наказанию» (7, 77, 80)).

А. Л. БЕМ

Сумерки героя

(Этюд к работе: *Отражение «Пиковой дамы»*
в творчестве Достоевского)

Фрагмент статьи, написанной в 1920 году, печатается по первопубликации: Научные труды Русского Народного университета в Праге. 1931. Т. IV. С. 158–172.

Бем Альфред Людвигович (1886–1945) – историк литературы, критик, литературовед. В эмиграции с 1919 года.

С. 663. *Homme sans mœurs et sans religion* – Человек без морали и без религии (фр.).

С. И. ГЕССЕН

Трагедия зла

(Философский смысл образа Ставрогина)

Печатается по первопубликации: Путь. Париж, 1932. № 36. С. 44–74.

Гессен Сергей Иосифович (1887–1950) – философ и педагог. В эмиграции с 1923 года.

С. 669. *А. Долинину недавно удалось показать...* – Комментируя слова Шатова: «Третьего года мы отправились втроем на эмигрантском пароходе в Американские Штаты на последние деньжишки, “чтобы испробовать на себе жизнь американского рабочего и таким образом личным опытом проверить на себе состояние человека в самом тяжелом его общественном положении”», – А.С. Долинин (см.: Последние романы Достоевского. М.–Л.: Советский писатель, 1963. С. 159) установил источник цитаты: П.И. Огородников. От Нью-Йорка до Сан-Франциско и обратно в Россию (Заря. 1870. № 11, отд. 2. С. 21).

С. 670. *По словам того же Бакунина...* – См. прим. к с. 478.

Спешнев, гордый и богатый... – См. об этом: В.Р. Лейкина-Свирская. Петрашевец Н.А. Спешнев (Былое. 1924. № 25. С. 15).

С. 674. *...известные слова Паскаля...* – слова французского ученого-математика, философа и писателя Блеза Паскаля (1623–1662), высказанные им в «Мыслях (о религии)» (1656–1669).

С. 675. *...гений в кантовском смысле...* – В эстетических воззрениях немецкого философа-классика Иммануила Канта (1724–1804) субъектом художественного творчества является гений: гениальность в искусстве есть способность создавать образцовые для других произведения искусства, не руководствуясь при этом никакими готовыми образцами, усвоенными посредством обучения.

С. 676. *...ее мечта рассеялась, «как опереточная иллюзия»...* – Лиза Тушина говорит: «Я дурная, я капризная, я оперною ладьей соблазнилась, я барышня...» (10, 401).

Ф. А. СТЕПУН

«Бесы» и большевистская революция

Печатается по первопубликации: Федор Степун. Встречи. Достоевский – Л. Толстой – Бунин – Зайцев – В. Иванов – Белый – Леонов. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962. С. 38–57.

Степун Федор Августович (1884–1965) – философ, историк и социолог культуры, писатель, литературный критик. В эмиграции с 1922 года.

С. 683 *Мочульский Константин Васильевич* (1892–1948) – философ и критик, автор работы «Достоевский. Жизнь и творчество» (1947), в которой творческой истории «Бесов» посвящена специальная глава.

Из письма к Каткову от 8 октября 1870 года... – 8 (20) октября Достоевский писал из Дрездена: «Моя фантазия может в высшей степени разниться с бывшей

действительностью, и мой Петр Верховенский может несколько не походить на Нечаева; но мне кажется, что в пораженном уме моем создано воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству. Без сомнения, бесполезно выставить такого человека; но он один не соблазнил бы меня. По-моему, эти жалкие уродства не стоят литературы. К собственному моему удивлению, это лицо наполовину выходит у меня лицом комическим. И потому, несмотря на то что всё это происшествие занимает один из первых планов романа, оно, тем не менее, – только аксессуар и обстановка действий другого лица, которое действительно могло бы назваться главным лицом романа» (29, кн. 1, 142).

...датского богослова Киркегарда... – Кьеркегор, Сёрен (1813–1855) – датский теолог, философ, писатель. В предисловии ко «Взгляду на мою деятельность как писателя» («Единичный») Кьеркегор, развивая тезисы «антикоммунистического манифеста» «Литературное сообщение» (1846), писал: «Лишь религиозное может при помощи вечного провести до конца человеческое равенство, человечность, богоугодное, существенное, немирское, подлинное, единственно возможное человеческое равенство, человечность, и поэтому также – да будет это сказано к его величию – религиозное есть истинная человечность».

С. 684. ...Белинский легкомысленно объявил... – В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» В.Г. Белинский так отозвался о повести «Хозяйка» (1847): «Во всей этой повести нет ни одного простого и живого слова или выражения: всё изысканно, натянуто, на ходулях, поддельно и фальшиво». В письме Белинского к В.П. Боткину от 4–8 ноября 1847 года «Хозяйка» названа «мерзостью», а в письме к П.В. Анненкову от 20 ноября (2 декабря) 1847 года – «ерундой страшной».

...писатель Ордынов... – В повести «Хозяйка» ее главный герой Ордынов, обладатель ученой степени, назван «художником в науке».

Это признание подсказало Мережковскому... – См. работу Мережковского «Пророк русской революции» в наст. Антологии.

Формула Бердяева... – См. работу Н.А. Бердяева «Откровение о человеке в творчестве Достоевского» (Русская мысль. 1918. № 3–6. С. 39–61).

Учения Владимира Соловьева о художнике-теурге... – Эстетика Вл. Соловьева предполагала двоякую миссию искусства. В широком смысле искусство есть «теургия», то есть жизненно-практическое дело претворения и преображения действительности в идеально-телесный космос абсолютной красоты. Поэтому истинный художник-теург оформляет красотой косный материал, служа совершенной красоте и только через нее – добру и истине (см., например: Общий смысл искусства // Вопросы философии и психологии. 1890. Кн. 5).

Учение... Вячеслава Иванова о религиозном символизме... – Имеется в виду цикл философских и литературно-критических работ теоретика символизма Вяч. И. Иванова, в которых высшая задача поэта обозначалась автором как выявление божественной сущности вещей, раскрытие символов, являющихся зерном религиозного мифа (см., например, работу «Основной миф в романе “Бесы”» в наст. Антологии).

Герцен отнесся к нечаевщине гораздо мягче: увидел в ней только смесь Шиллера с Бабёфом. – В отличие от Н.П. Огарева и М.А. Бакунина, всецело доверившихся Нечаеву и поверивших в будто бы существующую в России крупную революционную организацию, А.И. Герцен не питал никакого доверия к Нечаеву и его идеям и был против передачи ему крупной суммы денег (из Бахметьевского фонда). В цикле полемических статей против Бакунина и той авантюристической агитационно-пропагандистской кампании, которую вели в 1869–1870 годах Бакунин и Нечаев, Герцен писал («К старому товарищу», письмо первое):

«Насильем и террором... можно разрушать и расчищать место – не больше. Петроградизмом социальный переворот дальше каторжного равенства Гракха Бабефа и коммунистической барщины Кабе не пойдет» (Литературное наследство. Т. 61. М.: Наука, 1953. С. 201). В письме к Огареву от 12 января 1870 года Герцен писал о Нечаеве: «Юношу видеть я могу и мужеству его отдаю полную справедливость, но деятельность его и двух старцев (то есть Огарева и Бакунина. – Л.С.) считаю положительно вредной и несвоевременной. Всякий день вижу русских и убеждаюсь больше и больше в том». «Редко кто был так антипатичен Герцену, как Нечаев, – писала Н.А. Огарева-Тучкова. – Александр Иванович находил, что во взгляде последнего есть что-то суровое и дикое» (Воспоминания. М., 1929. С. 411). Т.П. Пассек, со слов Н.А. Огаревой-Тучковой, вспоминала: «Нечаев был до того антипатичен Герцену, что он постоянно отдалял его и никогда не допустил в свое семейство. Если же Нечаев появлялся у него в доме, то говорил своим: “Ступайте куда хотите – вам незачем видеть эту змею”» (Из дальних лет. Т. III. СПб., 1889. С. 143). Когда, уже после смерти Герцена, Бакунину стали ясны масштабы обмана Нечаева, он написал Огареву и дочери Герцена (2 августа 1870 года): «Ничего не скажешь, мы были глупцами, и если бы жив был Герцен, как он посмеялся бы над нами, и он был бы прав нас ругать».

Чернышевский осудил крайнюю революционность ткачевских идей и нечаевской практики... – Подборку отзывов о нечаевской программе и организации см.: Б.П. Козьмин. С.Г. Нечаев и его враги // Революционное движение 1860-х годов. М., 1932. С. 204–210.

С. 685. *...инженер Нил Федорович Кириллов...* – Кириллова в романе «Бесы» зовут Алексеем Ниловичем.

...прах ты и в землю отыдеши... – Ср.: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Быт. 3: 19); «Все идет в одно место; все произошло из праха, и все возвратится в прах» (Еккл. 3: 20).

...мысль изреченная есть ложь. – строка из стихотворения Ф.И. Тютчева «Silentium!» (1830) – «Молчание!» (лат.).

С. 686. *...в его статье «Русская трагедия».* – См. статью С.Н. Булгакова в наст. Антологии.

Известно признание Ницше, что он многим обязан Достоевскому. – В книге «Сумерки идолов, или Как философствуют молотом» (1887–1889) Ницше писал (глава «Чего недостает немцам», отрывок 45): «Для проблемы, являющейся перед нами здесь («Преступник и что ему родственно». – Л.С.), важно свидетельство Достоевского – Достоевского, единственного психолога, у которого я мог кое-чему поучиться: он принадлежит к самым счастливым случаям моей жизни, даже еще более, чем открытие Стендаля. Этот глубокий человек, который был десять раз вправе презирать поверхностных немцев, нашел сибирских каторжников, в среде которых он долго жил, исключительно тяжких преступников, для которых уже не было возврата в общество, совершенно иными, чем сам ожидал, – как бы выточенными из самого лучшего, самого твердого и драгоценнейшего дерева, которое только растет на русской земле». В письме к Ф. Овербеку от 23 февраля 1887 года Ницше признавался: «Еще несколько недель назад я не знал даже имени Достоевского – необразованный человек, не читающий “газет”! При случайном посещении книжной лавки мне бросилась в глаза только что переведенная на французский книга L'esprit souterrain («Записки из подполья». – Л.С.) – столь же случайно было это со мной, в возрасте 21 года с Шопенгауэром и в 35 лет со Стендалем! Инстинкт родства (или как его еще назвать?) среагиро-

вал моментально, радость моя была чрезвычайной...» (Ф. Ницше. Сочинения. В 2-х тт. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 798).

...немецкий перевод которого вышел в 1867 году... – Первый перевод «Преступления и наказания» на немецкий язык под названием «Раскольников» был осуществлен в 1882 году пропагандистом русской литературы в Германии В. Генкелем (1825–1910). Начало романа в 1866 году было опубликовано во французском переводе в петербургской газете «*Courrier russe*». Быть может, имеется в виду не перевод, а статья «Новые произведения русской литературы» анонимного автора в журнале «*Magazin für die Literatur des Auslandes*» (1867. № 23), в которой давалась подробная характеристика романа «Преступление и наказание». Однако Ницше «открыл» Достоевского только в 1887 году (см. прим. к с. 686).

...она покоится на учении Фейербаха... – См. прим. к с. 472.

С. 687. ...как на то было в свое время указано Н.А. Бердяевым... – См. статью Н.А. Бердяева «Ставрогин» в наст. Антологии.

Сообщение Достоевского Страхову... – В письме от 24 марта (5 апреля) 1870 года Достоевский писал Н.Н. Страхову из Дрездена: «На вещь, которую я теперь пишу в “Русский вестник”, я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны; хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце; пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь» (29, кн. 1, 111–112).

...прображом Ставрогина надо считать Бакунина. – О М.А. Бакунине как прототипе Ставрогина см.: Спор о Бакунине и Достоевском. Статьи Л.П. Гроссмана и Вяч. Полонского. Л.: Госиздат, 1926.

В своих размышлениях о Боге и государстве... – Имеется в виду книга М.А. Бакунина «Государственность и анархия» (1871–1873).

С. 688. *Гвардини, Романо* (1885–1968) – немецкий католический теолог и религиозный философ итальянского происхождения, автор работы «*Der Mensch und der Glaube. Versuche über die religiöse Existenz in Dostojewskijs grossen Romanen*» («Человек и вера. Очерки о религиозном существовании в больших романах Достоевского», 1933).

Мертвому дано рождать... – цитата из стихотворения А.А. Блока «Всю жизнь ждала. Устала ждать» (1908).

Глубокомысленная богословская система Николая Кузанского... – Ученый кардинал и философ, один из предшественников науки и философии эпохи Возрождения, Николай Кузанский (1401–1464) подверг критике незыблемость закона противоречия, сформулированного Аристотелем. Способность человеческого разума усматривать совпадение противоположностей вытекает из присущего ему понимания бесконечности. Единство противоположностей представляет собой и Божественное существо: как вмещающее весь мир оно – абсолютный максимум, а как находящееся в любом, даже в самом ничтожном предмете – абсолютный минимум. Основное положение учения Николая Кузанского о совпадении противоположностей состоит в том, что истина неотделима от своей противоположности – заблуждения.

С. 690. ...Серно-Соловьевичей... – Братья Серно-Соловьевичи – Николай Александрович (1834–1866) и Александр Александрович (1838–1869) – были соратниками Н.Г. Чернышевского, революционерами и радикальными публицистами.

...протест Горького против их постановки на сцене... – См. прим. к с. 506.

...широкий отклик в кругах русской общественности... – Статья Горького «О “карамазовщине”» вызвала протест со стороны значительной группы ли-

тераторов, обвинивших Горького в попытке установления цензуры общества над свободой художника. В ответ на обвинения Горький написал статью «Еще о “карамазовщине”» (Русское слово. 1913. 27 октября), где утверждал: «Не Ставровых надобно ей показывать, а что-то другое. Необходима проповедь бодрости, необходимо духовное здоровье, деяние, а не самосозерцание, необходим возврат к источнику энергии – к демократии, к народу, к общественности и науке». Горького поддержал В.И. Ленин: «Вчера прочитал... Ваш ответ на “вой” за Достоевского и готов был радоваться...» (Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 48. С. 226). Большевицкая печать, публиковавшая коллективные протесты, подписанные «группой учащихся-рабочих», «группой читателей» и т. п., оценивала статьи Горького как выступления большой политической значимости. Сущность полемики определялась по формуле: «На вопросе о Достоевском столкнулись два мира. Пролетарский мир, в лице М. Горького, выступил против соглашения с реакцией, против антисемитизма, против неблагородства человеческой души. А против него – другой мир, готовый обниматься и с реакцией и с антисемитизмом, готовый продать свое благородство души первому, кто пожелает выступить покупателем. На этом примере рабочие должны учиться понимать те неблагородные вождения, которые обычно кроются под пышными фразами о святости искусства и о чистом искусстве» (М. Ольминский. По литературным вопросам. М.–Л., 1932. С. 25–26). Статьи и письма литераторов, выступавших в защиту инсценировок произведений Достоевского, были опубликованы в № 13792 и 13793 «Биржевых ведомостей» (1913. 8 и 9 октября) под рубриками: «Горький против Достоевского», «Скандал вокруг “Бесов”», «Горький обвиняет Достоевского» – и принадлежали А. Куприну, А. Будищеву, И. Ясинскому, И. Потапенко, Д. Мережковскому, Ф. Сологубу, А. Ремизову, С. Венгеру, Ф. Батюшкову, Р. Иванову-Разумнику. В журнале князя В.П. Мещерского «Гражданин» (1914. № 19) была, в частности, напечатана полемическая заметка «Современная действительность и Ф.М. Достоевский», подписанная псевдонимом Независимый, которую Горький в статье «Еще о “карамазовщине”» (в более позднем варианте) привел как пример «реакционного» отклика на спектакль Художественного театра. Независимый писал: «Впечатление от спектакля тем сильнее, что все действующие лица романа “Бесы” вот вчера, сегодня проходили и проходят перед нами и сам сюжет буквально выхвачен из нашей текущей жизни. Все сцены – сплошное развенчивание деятелей революции: каждый монолог говорит о тех низменных чувствах, которыми руководствуются эти деятели, – все время вы не можете отличить, где кончается революционная партийная работа и где начинается грязная провокация этих грязных дельцов. Как все это современно! И как все это поучительно! Недаром Максим Горький так энергично кричал против этой постановки Художественного театра, и, вероятно, руководителям театра немало пришлось перенести затруднений, прежде чем поставить этот спектакль. Пусть наша молодежь, которая жаждет подвигов, которая, будучи очень отзывчивой на горе и несчастье ближних, бросается в революционные кружки и, веря красивым песням о свободе, равенстве и братстве руководителей этих кружков, отдает работе в них все свои силы в надежде изменить существующий строй и тем якобы обеспечить для всех счастливую и справедливую жизнь, – пусть эта молодежь, которая видит в своих руководителях богов и на них молится, пусть она пойдет на представление Московского Художественного театра посмотреть “Бесы” и перечтет потом дома это бессмертное произведение русского гения.

Вот он Азеф – Петр Верховенский, вот все эти нищие духом и умом Кирилловы и Шатовы, вот они, безвольные, бесхарактерные, неумные государственные деятели типа фон Лембке! Вот оно, постоянное запугивание каким-то “центральным комитетом”, находящимся где-то за границей, но которого никто не знает и который состоял, вероятно, из тех же грязных, порочных людей...

Разве все это не видим мы в наше время? Разве все это не портреты наших дней?»

Вопрос о постановке «Бесов» и реакции на нее «левых» поднимался даже в Думе. Выступая 23 октября 1913 года в Думе, депутат Марков 2-й заявил: «На днях мы имели доказательство того, как понимают люди, единомышленники здесь сидящих, свободу слова. Небезызвестный писатель, который так раздут еврейской кагальной печатью, Максим Горький, вооружился не только против всех инакомыслящих современников, но и против почивающего уже много лет Достоевского. Устранить-де Достоевского, ибо он думает не так, как я, Максим Горький. Это красочный пример того, до чего эти господа могут дойти, коли им дать полную свободу. Не только современникам запретят думать иначе, как они сами думают, но даже великих мертвецов захотят упразднить» (Государственная Дума. Стенографические отчеты 1913–1914 гг. Сессия вторая. Часть 1. СПб., 1914. С. 230).

Полемика в связи с инсценировкой «Бесов» на сцене МХТ и протестами Горького охватила несколько десятков периодических изданий (газет и журналов) разной политической ориентации и длилась около полутора лет – пока спектакль «Николай Ставрогин» не был снят с репертуара.

...публицистика «Великоросса» и «Набата»... – «Великоросс», или «Великорус», – политическая прокламация начала 1860-х годов. «Набат» – журнал яacobинского направления, издававшийся в 1875 году в Женеве русским публицистом и революционером-народником П.Н. Ткачевым (1844–1885).

С. 691. *Одна десятая получает свободу личности...* – неточная цитата из «Бесов». См. у Достоевского: «Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятими. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая...» (10, 312).

...за примирением которых Вера Засулич в 1881 году обращалась к Карлу Марксу. – Письмо Веры Ивановны Засулич (1849–1919), одного из первых деятелей русского социал-демократического движения, к К. Марксу и ответ К. Маркса см.: Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Кн. 1. М., 1930. С. 265–286.

С. 693. *...побудило Мочульского...* – К.В. Мочульский писал: «У Шатова идейное раздвоение превращается в личную трагедию. Достоевский делает его провозвестником своего религиозно-национального credo и вводит в его историю большой автобиографический материал» (Достоевский. Жизнь и творчество. С. 441).

С. 694. *...о которых в 1860 году писал Иван Аксаков в своей «Руси»...* – Здесь неточность. Газета «Русь» была основана Иваном Сергеевичем Аксаковым (1823–1886), поэтом, журналистом, общественным деятелем, только в 1880 году. В 1860-х годах И.С. Аксаков публиковался в основанных им газетах «День» (1861–1865) и «Москва» (1867–1868). Процитированный фрагмент относится к статье «Почему в православной России не допускается свобода совести» (Москва. 1868. 16 апреля).

Ю. П. ИВАСК

Упоение Достоевским

Печатается по первопубликации: Новый журнал. Нью-Йорк. 1972. № 107. С. 62–75.

Иваск Юрий Павлович (1907–1986) – литературный критик, поэт, историк культуры. В эмиграции с 1940 года.

С. 695. *То же самое Розанов сказал о Достоевском...* – См. статью В.В. Розанова «Возле “русской идеи”...» (1911).

Он не маркиз Поза... – Маркиз Поза – герой драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1787).

Достоевский сродни Иову... – Иов – в иудаистских и христианских преданиях страдающий праведник, испытываемый сатаной («Был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». – Иов. 1: 1).

С. 696. *...девичьи вздохи о красавце Кукольнике...* – См. прим. к с. 000.

С. 697. *...Борис и Глеб в гениальной поэме-сказании 11-го века.* – Анонимное «Сказание о Борисе и Глебе» возникло на рубеже XI–XII веков, предположительно в связи со столетней годовщиной (1115) смерти братьев-мучеников.

...любимому герою Альбера Камю... – Альбер Камю (1913–1960), французский философ и литератор, лауреат Нобелевской премии по литературе (1957), обосновывая в «Мифе о Сизифе» (1942) свою гуманистическую версию философии экзистенциализма, опирался на человекобожество Кириллова. Камю, автор одной из самых известных инсценировок «Бесов» (премьера состоялась 30 января 1959 года в парижском театре «Антуан»), писал: «...наконец “Бесы” на сцене. Чтобы их поставить, понадобилось много лет упорного труда. И, однако, я способен осознать все, что отделяет эту пьесу от великого романа. Я старался только проследить глубинное движение книги и подняться вместе с ней от сатирической комедии к драме, затем к трагедии...» (A. Camus. Théâtre, recits, nouvelles. Paris, 1962. P. 1877).

...мог бы стать новым Петром, Фомой, Павлом... – то есть новым Апостолом, учеником Христа.

С. 698. *...как сказал бы Эрих Ауэрбах.* – В книге немецкого литературоведа, специалиста по романской филологии, Эрика Ауэрбаха (1892–1957) «Мимесис» (1946, рус. пер. 1976) речь идет о «раннехристианском реализме». «Если рассматривать русскую реалистическую литературу, которая достигла полного расцвета лишь в XIX веке, даже во второй половине, складывается впечатление, что русская литература опирается на фундамент раннехристианского патриархального представления о “тварном” достоинстве каждого человека, к какому бы сословию он ни принадлежал и какое бы положение ни занимал; получается, что русская литература в своих основах скорее родственна раннехристианскому реализму, чем современному реализму Западной Европы» (М.: Прогресс, 1976. С. 512).

Вячеслав Иванов, назвавший романы Достоевского романами-трагедиями... – См. работу Вяч. Иванова «Достоевский и роман-трагедия» (Борозды и Межи. Опыты эстетические и критические. М.: Мусaget, 1916).

...его Несчастливцевы... – Геннадий Демьяныч Несчастливцев – персонаж комедии А.Н. Островского «Лес» (1870). «Ему лет 35, но на лицо он гораздо старше, брюнет, с большими усами. Черты резкие, глубокие и очень подвижные, сле-

ды беспокойной и неводержанной жизни. На нем длинное и широкое парусиновое пальто, очень поношенная шляпа, с широкими полями, сапоги русские, большие, в руках толстая, суковатая палка, за спиной небольшой чемодан, вроде ранца, на ремнях. Он видимо утомлен, часто останавливается, вздыхает и бросает мрачные взгляды исподлобья» (действие второе, явление второе).

Иннокентий Анненский (в «Книге Отражений»)... – В первой «Книге отражений» (1906) И.Ф. Анненский (1856–1909) в связи с рассказом Достоевского «Господин Прохарчин» писал о том, что героем владеет не страх смерти, а страх жизни. «Мотив повести – непосильная для наивной души борьба со страхом жизни» (с. 44). «А отсюда нечто высшее, чем жизнь отдельного человека, замкнутая между его рождением и смертью, отсюда и совесть как искание Бога, отсюда же, наконец, *второстепенность* вопроса о смерти» (с. 46). «Смерть героя “Бесов” Ставрогина, может быть, единственная у Достоевского *страшная* смерть, если кому-нибудь ее картина не покажется, впрочем, скорее тошнотной» (с. 49).

...в эпилоге «Бесов» погибает почти все многочисленное население этого романа! – Из тридцати девяти «говорящих» персонажей «Бесов» к концу романа погибает тринадцать, то есть треть «вселенной» романа.

...если верить рассказу А.С. Суворина... – Имеется в виду рассказ Алексея Сергеевича Суворина (1834–1912), издателя газеты «Новое время», из его «Дневника» (М.–Пг., 1923), об эпизоде 20 февраля 1880 года, в день покушения Млодецкого на Лорис-Меликова, когда Суворин посетил Достоевского и тот признался, что из боязни прослыть доносчиком он не смог бы сообщить в полицию о готовящемся взрыве Зимнего дворца, если бы случайно узнал о нем.

Это понял в своей замечательной книге М.М. Бахтин... – См.: изд. 1-е – М., 1929; изд. 2-е, перераб. и доп., – М.: Советский писатель, 1963.

С. 699. *...в Риме Гете слышал...* – В своем знаменитом описании римского карнавала (в «Итальянском путешествии») Гете, пытающийся раскрыть за карнавальными образами их глубинный смысл, приводит глубоко символическую сценку: во время “*moscoli*” мальчик гасит свечу своего отца с веселым карнавальным криком “*Sia ammazzato il Signore Padre!*” (то есть “Смерть тебе, синьор отец!”)) (М.М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 2-е. С. 169).

Лакей в доме М.К. Морозовой в Москве... – Имеется в виду Маргарита Кирилловна Морозова (1873–1958), жена миллионера Арсения Абрамовича Морозова, которая после смерти мужа учредила издательство «Путь» и Московское религиозно-философское общество. В Москве особняк Морозовых находился на углу Смоленского бул. и Глазовского пер. («В ней Ницше, Кант, Скрябин, Владимир Соловьев встречались в нелепейших сочетаниях; будучи совершенно беспомощной, не умея разобраться ни в одном из идейных течений, которые подняли в ней вихрь вопросов без возможности ей разрешить любой, она с какой-то ненасытимой жадностью устраивала тет-а-тет с посетителями своего салона – лидерами разных течений и направлений. – См.: А. Белый. Начало века. М.: СТД СССР, 1990. С. 484–490.)

...фраза из бунинского рассказа «Петлистые уши»... – В рассказе И.А. Бунина «Петлистые уши» (1916) герой-убийца Адам Соколович, бывший моряк, говорит: «И вообще пора бросить эту сказку о муках совести, об ужасах, будто бы преследующих убийц. Довольно людям лгать, будто они так уж содрогаются от крови. Довольно сочинять романы о преступлениях и наказаниях, пора написать преступление без наказания... Мучился-то, оказывается, один Раскольников, да и то только по собственному малокровию и по воле своего злобного автора, со-

вавшего Христа во все свои бульварные романы» (И.А. Бунин. Собрание сочинений. В 9-ти тт. Т. 4. М.: ГИХЛ, 1961. С. 389, 391).

С. 700. *...обвинявшего в розовом христианстве будто бы поддельного, то есть непохожего на настоящих (оптинских) старцев Зосиму.* – В письме к В.В. Розанову от 8 мая 1891 года из Оптиной пустыни К.Н. Леонтьев писал: «В Оптиной „Братьев Карамазовых“ правильным православным сочинением не признают, и старец Зосима ничуть ни учением, ни характером на отца Амвросия не похож. Достоевский описал только его наружность, но говорить его заставил совершенно не то, что он говорит, и не в том стиле, в каком Амвросий выражается. У от. Амвросия прежде всего строго церковная мистика и уже потом – прикладная мораль. У от. Зосимы (устаи которого говорит сам Фед. Мих.!) – прежде всего мораль, „любовь“, „любовь“ и т. д. ...Ну, а мистика очень слаба. Не верьте ему, когда он хвалится, что знает монашество, он знает хорошо только свою проповедь любви – и больше ничего. Он в Оптиной пустыни пробыл дня два-три всего!..» В примечании к этому письму его адресат и публикатор В.В. Розанов отвечал: «Леонтьев, в оценке этого факта, многого не принял во внимание. Прежде всего, Д-ский, не менее Л-ва странный и самостоятельный, удался в литературе и горит на небосклоне ее огромною (и вещью) кометою, с бесчисленными искрами хвоста ее. Вся Россия прочла его „Братьев Карамазовых“ и изображению старца Зосимы поверила. От этого произошло два последствия. Авторитет монашества, слабый и неинтересный дотоле (кроме специалистов), чрезвычайно поднялся. „Русский инок“ (термин Д-го) появился, как родной и как обязательный образ, в глазах всей России, даже неверующих ее частей. Это первое чрезвычайное последствие. Второе заключалось в следующем: иноки русские, из образованных, невольно подались в сторону любви и ожидания, пусть и неверных, какие возбудил Д-ский своим старцем Зосимою...»

...великий разбиватель стекол... – Л.Н. Толстой говорил, что К. Леонтьев «все точно стекла выбивает; но такие выбиватели стекол, как он, мне нравятся» (цит. по: К.Н. Леонтьев. О романах гр. Л.Н. Толстого: Анализ, стиль и веяние. М., 1911. С. 7).

...карнавальный кавардак на консульском приеме («Одиссей Полихрониадес»)... – Имеются в виду сцены «консульского гуляния» с танцами, пением и вином, изображенные в романе К.Н. Леонтьева «Одиссей Полихрониадес (воспоминания загорского грека)» (1875) (см.: К.Н. Леонтьев. Собрание сочинений. Т. 4. М.: Изд. В.М. Саблина, 1912. С. 224–231, 430–462).

...древнегреческого хулигана Алкивиада... – Алкивиад (451–404 до н. э.) – государственный деятель древних Афин, организатор экспедиции для завоевания Сицилии. Обвинялся в святотатстве, измене родине и был убит. В.В. Розанов, рассматривая после смерти «этого монаха», К.Н. Леонтьева, его библиотеку, увидел толстый том с надписью «Alciviade» – французскую монографию о знаменитом афинянине – и заметил: «Все Филельфо и Петрарки проваливаются, как поддельные куклы, в попытках подражать грекам, сравнительно с этим калужским помещиком, который и не хотел никому подражать, но был в точности как бы вернувшимся с азиатских берегов Алкивиадом, которого не догнали стрелы врагов, когда он выбежал из зажженного дома возлюбленной» (В.В. Розанов. Предисловие к публикации писем К.Н. Леонтьева // Русский вестник. 1903. № 4).

Леонтьеву было бы куда интереснее разговаривать не с одобряемым им Вронским... – См. предисловие В.В. Розанова к публикации писем К.Н. Леонтьева: «Я как бы встал на дыбы при его предложении восхититься и Вронским (из

“Анны Карениной”), а он еще выше поднялся на дыбы из-за моего прямо отворачивания к этому болвану, мясистому герою... Юбочник Вронский, с его “жирными ляжками” и т. п., *не был для меня героем*, не был представителем героического, т. е. эстетическим лицом, а для Леонтьева был».

Это хорошо понял Розанов... – В.В. Розанов сказал о К.Н. Леонтьеве, что он «есть самое свободомыслящее явление, может быть, за все существование русской литературы... Все они (то есть Радищев, Герцен, Вл. Соловьев и др. – Л.С.) гораздо более были подчинены давлению окружающих обстоятельств, идей,словия или воспитания» (В.В. Розанов. Неузнанный феномен // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 175).

Они сродни Савлу, еще не ставшему Павлом. – Согласно христианской традиции, «апостол язычников», не знавший Христа во время его земной жизни и не входивший в число двенадцати апостолов, римский гражданин Савл исповедовал консервативный иудаизм и ненавидел первых христиан. По пути в Дамаск, куда Савл отправился, чтобы начать преследование бежавших из Иерусалима членов общины, он испытал чудесное явление света с неба, от которого он упал на землю и потерял зрение; голос с неба укорил его («Савл, Савл! что ты гонишь меня?») – Деян. 9: 4) и велел слушаться тех, кто скажет ему в Дамаске, что делать. Видение в Дамаске преобразило Савла: исцеленный от слепоты по христианской молитве, он принял крещение и стал проповедником.

...Кириллов мельче Иакова... – Иаков – в ветхозаветном предании патриарх, внук Авраама, купивший у своего брата, близнеца, Исава право первородства за кушанье из чечевицы.

...он, богоборец, не знал безбожия... – Имеется в виду эпизод из жизни Иакова, который однажды, во время ночевки, боролся с Богом. «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним, до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним» (Быт. 32: 24–25).

Об этом он писал в Сибири Фонвизиной, и то же самое сказал его любимый герой – Шатов. – Символ веры о Христе и истине, который Достоевский выразил в 1854 году в письме к Н.Д. Фонвизиной, повторяет Шатов – как слова, якобы принадлежащие Ставрогину.

С. 701. *Академик Виноградов собрал немало примеров...* – См. работу В.В. Виноградова «О языке Толстого (50–60-е годы)» // Литературное наследство. Т. 35–36. М.: Наука, 1939.

...люди одного безумия... – выражение Версилова («Подросток»): «Мы с вами – одного безумия люди! Будьте всегда такая безумная, не меняйтесь, и мы встретимся друзьями – это я вам пророчу, клянусь вам!» (13, 417).

Батос – глубина, бездна, глубокомыслие (греч.).

С. 702. *...яростный противник Константин Леонтьев знал только, что красота вдохновляет...* – По словам С.Л. Франка, Леонтьеву, превыше всего ценившему красоту силы, избранности, было свойственно «эстетическое изуверство», то есть сочетание эстетизма с мрачным пессимизмом, с суровой, почти извращенной любовью к жестокости и насилию... «Эстетический фанатизм есть загадка, воплотившаяся в трагической личности Леонтьева» (С.Л. Франк. Философия и жизнь. СПб., 1910. С. 385).

СОДЕРЖАНИЕ

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. БЕСЫ. Роман в трех частях	5
Л.И. Сараскина. «Бесы», или Русская трагедия	435

«БЕСЫ»: АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ КРИТИКИ

Д.С. Мережковский. Пророк русской революции	461
С.Н. Булгаков. Русская трагедия	489
Вяч. И. Иванов. Основно й миф в романе «Бесы»	508
Н.А. Бердяев. Духи русской революции	513
Н.А. Бердяев. Ставрогин	518
В.Ф. Переверзев. Достоевский и революция	525
В.В. Виноградов. Последний день приговоренного к смерти. (Конец Кириллова)	532
А.С. Долинин. «Исповедь Ставрогина»	534
Н.Л. Бродский. Угасший замысел	560
В.Л. Комарович. Неизданная глава романа «Бесы»	567
Ю. Александрович. Матрешкина проблема. «Исповедь Ставрогина» и проблема женской души	574
С.П. Бобров. «Я, Николай Ставрогин...»	583
Б.П. Вышеславцев. Русская стихия у Достоевского	587
Л.П. Гроссман. Стилистика Ставрогина	606
Л.П. Гроссман. Спешнев и Ставрогин	614
Вяч. П. Полонский. Николай Ставрогин и роман «Бесы»	619
А.Л. Бем. Эволюция образа Ставрогина	638
А.Л. Бем. Сумерки героя	662
С.И. Гессен. Трагедия зла (Философский смысл образа Ставрогина)	668
Ф.А. Степун. «Бесы» и большевистская революция	683
Ю.П. Иваск. Упоение Достоевского	695
КОММЕНТАРИЙ	703

Д 70 Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. БЕСЫ. Роман в трех частях
 «БЕСЫ»: АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ КРИТИКИ.

Составление, подготовка текста, послесловие, комментарии Л.И. Сараскиной.
М.: Согласие, 1996. 752 с.
ISBN 5-86884-045-3

В данном издании во вторую часть романа «Бесы» включена глава «У Тихона», в свое время не опубликованная журналом «Русский вестник» по соображениям нравственной цензуры (препятствием к напечатанию послужила сцена растления Ставрогиным малолетней девочки). В академических изданиях принято давать главу «У Тихона» в приложениях. Однако текстологические накладки, связанные с изъятием главы «У Тихона» и последовавшей правкой романа автором, неизмеримо менее ощутимы для целостного восприятия романа, чем те смысловые потери, которые неизбежны при чтении романа без главы или главы без романа.

Впервые «Бесы» публикуются вместе с Антологией критических статей о романе. В корпус Антологии, снабженной обстоятельным научным комментарием, включены наиболее значительные работы, опубликованные до начала 30-х годов и специально посвященные «Бесам», — эссе, критические и полемические статьи, философские этюды, — авторы которых явились в свое время первооткрывателями темы и заложили основы для современных филологических и философско-критических исследований. Труды более позднего времени, вошедшие в Антологию, принадлежат перу авторов-эмигрантов, продолживших традиции русской философской критики 10–20-х годов, но недостаточно известные современному читателю.

Федор Михайлович Достоевский

Бесы

Роман в трех частях

«БЕСЫ»:

АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ КРИТИКИ

Составление, подготовка текста, послесловие, комментарии

Л.И. Сараскиной

Компьютерный набор
М.Д. Алламова, Д.А. Глазков

Компьютерная верстка
А.Е. Падежнов

Корректор
И.В. Леонтьева

Сдано в набор 01. 07. 96. Подписано к печати 29. 09. 96.
Формат 70 x 100¹/₁₆. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 60,63. Уч-изд. л. 65,50

АО «Согласие»
113054, Москва, ул. Бахрушина, 28

Заказ № 2957. Тир. 10000 экз.
АО «Типография „Новости”»
107005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46

Издательство «Согласие»

в 1996 году выпустило книгу

Людмилы Сараскиной

ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ. ОДОЛЕНИЕ ДЕМОНОВ

«Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла...»

Литературное призвание Достоевского, воспринятое им со всей страстностью, со всем присущим ему фанатизмом и нарушением чувства меры, в конечном счете спасло его — дало силы выжить, не затерявшись в трагическом хаосе бытия, высвободило энергию сопротивления житейским невзгодам и страшным ударам судьбы, помогло преодолеть роковые соблазны и заблуждения.

Центральным сюжетом биографической истории, рассказанной в книге Л.И. Сараскиной, стал эпизод знакомства Ф.М. Достоевского с Н.А. Спешневым, вдохновившим писателя на создание одного из самых загадочных образов мировой литературы —

Николая Ставрогина.

«Он романтически влюблен в своего героя,
пленен и обольщен им.

Никогда ни в кого он не был так влюблен,
никого не рисовал так романтично.

Николай Ставрогин — слабость, прельщение,
грех Достоевского...» (Н.А. Бердяев).

По вопросам оптовых поставок тиража
обращайтесь по адресу:

113054, Москва, ул. Бахрушина 28, АО «Согласие».

Тел. 235-01-70. Факс (095) 235-08-37

E-Mail: ao.soglasie@g23.relcom.ru

Издательство «Согласие»

в 1996 году выпустило книгу
Александра Солженицына

БОДАЛСЯ ТЕЛЁНОК С ДУБОМ

Очерки литературной жизни
Издание 2-е, исправленное и дополненное

Одна из самых удивительных и знаменитых мемуарных книг XX века рассказывает о почти невероятном: о том, как писатель безоглядно вступил в неравный и драматический поединок с тоталитарным государством («бодался телёнок с дубом») и поединка этого не проиграл.

В книге много литературных и окололитературных лиц; особенно подробно показан круг «Нового мира» — с яркой, самобытной фигурой Александра Трифоновича Твардовского во главе. Последний раздел, «Невидимки», посвящен более чем ста тайным помощникам и сотоварищам автора в его подпольной работе. Полный текст книги с последней авторской правкой впервые печатается в этом издании.

В книге публикуются фотографии, собранные из частных архивов.

Большая часть из них также печатается впервые.

Свою новую, только что законченную книгу

«Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания»

Александр Исаевич Солженицын передает в издательство «Согласие».

Она увидит свет в скором будущем.

По вопросам оптовых поставок тиража

обращайтесь по адресу:

113054, Москва, ул. Бахрушина 28, АО «Согласие».

Тел. 235-01-70. Факс (095) 235-08-37

E-Mail: ao.soglasie@g23.relcom.ru

Издательство «Согласие»

в 1996 году выпустило

**Гайто
Газданов**

Собрание сочинений в трех томах

Гайто Газданов
(1903-1971)

осетин по происхождению, один из самых ярких прозаиков русского зарубежья, пока еще недостаточно известен российскому читателю. Критики не раз сравнивали его с Владимиром Набоковым, Марселем Прустом, Альбером Камю, и в то же время наиболее проникательные из них верно угадывали, что "предшественников у Газданова нет", что он абсолютно самобытен, а реализм его называли магическим. Как прозаик Гайто Газданов сложился за пределами России (он покинул родину семнадцатилетним солдатом Добровольческой армии), но был и остался на всю жизнь русским писателем. В первый том вошли романы, написанные в период с конца 1920-х до начала 1940-х годов:

«Вечер у Клэр», «История одного путешествия»,
«Полет», «Ночные дороги».

Во втором томе публикуются романы конца 1940-х — 1960-х годов:

«Призрак Александра Вольфа», «Возвращение Будды»,
«Пилигримы», «Пробуждение» (восстановлен по авторской рукописи),
«Эвелина и ее друзья».

Третий том включает документальную повесть
«На французской земле» и более тридцати рассказов.

Издание подготовлено и прокомментировано ведущими российскими и американскими специалистами.

По вопросам оптовых поставок тиража
обращайтесь по адресу:

113054, Москва, ул. Бахрушина 28, АО «Согласие».

Тел. 235-01-70. Факс (095) 235-08-37

E-Mail: ao.soglasie@g23.relcom.ru

Издательство «Согласие»

в 1996-1997 годах выпустит

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Настоящее четырехтомное собрание сочинений Владислава Фелициановича Ходасевича (1886—1939) — первое столь представительное издание творческого наследия выдающегося поэта, прозаика, критика, мемуариста, литературоведа. Сюда вошли все книги, изданные Ходасевичем при жизни, а также большой массив произведений, рассеянных по газетам и журналам русского зарубежья. Впервые в собрание сочинений В.Ф. Ходасевича включены его письма, солидный объем которых завершает издание. Собрание сочинений подготовлено на высоком научном уровне; составители и авторы комментариев И. Андреева, Н. Богомолов, С. Бочаров и др. В первом томе представлены стихотворения и ранние литературно-критические работы В.Ф. Ходасевича (1906—1922). Во втором томе — впервые публикуемая «Записная книжка» (1922), книга «Статьи о русской поэзии» (1922) и литературно-критические работы В.Ф. Ходасевича эмигрантского периода (1922—1939). В третьем томе содержится проза В.Ф. Ходасевича, в том числе книги «Державин», «О Пушкине». В четвертый том вошли «Некрополь», другие воспоминания, а также письма поэта.

По вопросам оптовых поставок тиража
обращайтесь по адресу:
113054, Москва, ул. Бахрушина 28, АО «Согласие».
Тел. 235-01-70. Факс (095) 235-08-37
E-Mail: ao.soglasie@g23.relcom.ru

Издательство «Согласие»

в 1996-1997 году выпускает трехтомник:

Лидия Чуковская

Записки об Анне Ахматовой

Книга Л.К. Чуковской об Анне Ахматовой — не воспоминания. Это — дневник, записи для себя, где отчетливо проступают приметы ахматовского быта, черты личности и характер литературных интересов поэта. В 1976 году в Париже в издательстве ИМКА-пресс вышел первый том «Записок об Анне Ахматовой. 1938—1941». В 1980-м там же был издан второй том (1952—1962). Оба тома переведены на многие языки мира. Летом 1995 года за свои «Записки» Л.К. Чуковская получила Государственную премию. Над третьим томом (1963—1966) она работала до последних дней своей жизни.

Издательство «Согласие» впервые выпускает полностью весь трехтомник «Записок». Впервые печатается дневник об Ахматовой, который писался в Ташкенте, т. е. «Ташкентские тетради» (1941—1942) — в виде «Приложения» к первому тому. Во втором томе рассказано о десятилетиях, вместившем смерть Сталина, возвращение из лагеря сына Ахматовой, посмертную реабилитацию мужа Л.К. Чуковской, запечатлены многие события литературной жизни. В «Приложении» к третьему тому впервые печатается статья Л.К. Чуковской «Голая арифметика», а также статья немецкого публициста Ганса Вернера Рихтера «Эвтерпа с берегов Невы» и др.

Издание богато иллюстрировано автографами Анны Ахматовой из архива Л.К. Чуковской.

По вопросам оптовых поставок тиража
обращайтесь по адресу:
113054, Москва, ул. Бахрушина 28, АО «Согласие».
Тел. 235-01-70. Факс (095) 235-08-37
E-Mail: ao.soglasie@g23.relcom.ru

Только Достоевским можно обличить Достоевского; только Достоевским можно оправдать Достоевского. С ним я против него, с ним я за него. То, что я делаю, он сделал бы сам

Д.С. Мережковский
Пророк русской революции

Роман «Бесы» нужен современной России не меньше, чем раньше, должна же она углубиться в себя и совершить... переворот в мыслях и чувствах, то «покаяние», о котором говорится в самом начале евангельской проповеди. Достоевский приносил в этом романе покаяние за свою родину...

С.Н. Булгаков.
Русская трагедия

Мы вместе с Достоевским будем ждать нового рождения Николая Ставрогина, красавца, сильного, обаятельного, гениального творца. Для нас невозможна та вера, в которой нет спасения для Ставрогина, нет выхода его силам в творчество. Христос пришел весь мир спасти, а не погубить Ставрогина.

Н.А. Бердяев
Ставрогин